[redacted]
[redacted]бліотека
[redacted]илища.
[redacted]
5288
Сочинения
Михайловского
10/4-90 [illegible]

8(С)
М-68

СОЧИНЕНІЯ

Н. К. МИХАЙЛОВСКАГО

ТОМЪ ТРЕТІЙ.

СОДЕРЖАНІЕ: 1) Философія исторіи Луи Блана. 2) Вико и его «новая наука». 3) Новый историкъ еврейскаго народа. 4) Что такое счастье? 5) Утопія Ренана и теорія автономіи личности Дюринга. 6) Критика утилитаризма. 7) Записки Профана.

5288

Изданіе редакціи журнала „Русское Богатство“.

3437
89(09)
М-68

ЦѢНА 2 РУБЛЯ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типо-Литографія Б. М. Вольфа, Разъѣзжая ул., 15.
1897.

Оглавленіе третьяго тома.

стр.

Философія исторіи Луи Блана (1871 г.) 1
Вико и его «новая наука» (1872 г.) 73
Новый историкъ еврейскаго народа (1878 г.) 105
Что такое счастье? (1872 г.) 135
Утопія Ренана и теорія автономіи личности Дюринга (1878 г.) . . 207
Критика утилитаризма (1880 г.) 253

Записки профана (1875—1876 г.г.).

I. О демократизмѣ естественныхъ наукъ 275
II. Буря въ стаканѣ педагогической воды 294
III. О жаждѣ познанія 330
IV. Объ изученіи соціологіи 354
V. Объ истинѣ, совершенствѣ и другихъ скучныхъ вещахъ 382
VI. Борьба за индивидуальность 407
VII. Десница и шуйца Льва Толстого 424
VIII. Нѣсколько мелочей 459
IX. Нѣчто о г. Марковѣ 471
X. Десница и шуйца гр. Толстого (Продолженіе) 484
XI. Десница и шуйца гр. Толстого (Окончаніе). 509
XII. Аракчеевъ 551
XIII. Мордвиновъ 563
XIV. Оборотная сторона медали 576
XV. Похороны В. С. Курочкина 593
XVI. Мнѣнія одного Леонарда и трехъ ученыхъ о женскомъ вопросѣ 600
XVII. Прудонъ и Бѣлинскій 639
XVIII. Разныя разности 685
XIX. О Шиллерѣ и о многомъ другомъ 709
XX. Газета «Недѣля», «мыслящіе провинціалы», г. Кавелинъ и проч. 738
XXI. Продолженіе предыдущаго 784
XXII. Все о томъ же. 815
XXIII. Къ настоящей минутѣ 832
XXIV. Россія и Европа 754
XXV. Новь 887

ОПЕЧАТКИ.

Стр.	*Строчки.*	*Напечатано.*	*Надо читать.*
5	34 сверху	пѣкогда	пекогда
150	14 „	но совершенный	несовершенный
185	3 „	поверхность	поверхностность
209	20 снизу	не добродѣтель	но добродѣтель
249	24 „	вопросу	допросу
266	10 „	спеціализирующаго	спеціализирующагося
„	7 „	же	уже
309	24 сверху	Regewürmer	Regenwürmer
399	28 „	150	15°
416	9 „	vollees	volles
447	23 снизу	сниманіе	вниманіе
523	2 „	разчитію	развитію
„	1 „	назавло	начало
549	20 сверху	званіи	знаніи
593	19 снизу	основаго	основаннаго
„	„ „	ависимости	зависимости
605	4 „	такъ уже и	и такъ уже
619	14 сверху	желѣзъ	железъ
622	13 снизу	желѣзистыхъ	железистыхъ
629	2 сверху	представлены	предоставлены
634	13 „	Шкляреский	Шкляревскій
644	14 „	антимоніи	антиноміи
661	6 снизу	подводами	подвохами
664	4 „	резолюціи	революціи
691	13 „	Р.	Г.
699	19 сверху	частности	честности
735	12 „	grünu	grüne
743	1 снизу	бюлять	любять
808	7 сверху	это	эти
826	17 „	тому	такому
„	31 „	признаваемъ управленіе	признаемъ уравненіе
„	15 снизу	самобытность	самобытности
848	1 „	униженіе	уничтоженіе
879	1 сверху	то-	от-
881	28 „	до я	доля
894	25 снизу	зачконенная	законченная
896	16 „	ее	нее

ФИЛОССФІЯ ИСТОРІИ. ЛУИ БЛАНА *).

Исторія великой французской революціи Луи Блана. Въ двѣнадцати томахъ. Т. I. Переводъ съ французскаго М. А. Антоповича. Спб. 1871. Изданіе Н. П. Полякова.

Философія исторіи! Сколько ядовитой ироніи и ѣдкаго остроумія можетъ вложить теперь любой пустозвонъ въ эти два слова! Глаза разбѣгаются по лужамъ крови и пожарищамъ, въ ушахъ звенитъ отъ пушечной пальбы и стоновъ, мысль отказывается ориентироваться въ этомъ хаосѣ ужасныхъ сюрпризовъ. И чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ... Пустозвонъ смѣло устраиваетъ руки фертомъ передъ исторіей и человѣческой мыслью. Онѣ снизошли до его уровня. Одна становится непонятною, другая отказывается понимать. Философія исторіи! Давно ли Бокль утверждалъ, что періодъ большихъ войнъ между цивилизованными народами прошелъ безвозвратно? Давно ли Контъ доказывалъ, что военный и теологическій духъ изсякъ въ Европѣ? Давно ли Прудонъ доказывалъ, что историческая миссія войны кончилась или по крайней мѣрѣ близка къ своему концу? Давно ли цѣлый рядъ второстепенныхъ мыслителей давалъ намъ, такъ-сказать, ощупать утѣшительный выводъ: близокъ часъ мира и науки, труда и мысли... Философія исторіи!—когда послѣднее усиліе человѣческаго ума есть паровая армія; когда къ самой рампѣ исторіи прокрадываются, яко тати въ нощи, забытыя фигуры христіанѣйшаго короля Генриха V, германскаго императора, непогрѣшимаго папы; когда прославившаяся своимъ безстрастіемъ нѣмецкая наука идетъ на службу микроскопическимъ, барабанно-патріотическимъ цѣлямъ; когда мы присутствуемъ при зрѣлищахъ, какія и не снились нашимъ далекимъ войнолюбивымъ предкамъ... Чего же послѣ этого нельзя вернуть изъ добраго стараго времени? Гдѣ это торжественное, неустанное шествіе цивилизаціи впередъ? Гдѣ эта смѣна однихъ историческихъ началъ другими? Гдѣ смыслъ исторіи?

Торжествуетъ реакція, ибо она празднуетъ задній ходъ исторіи. Торжествуютъ азбучные моралисты, ибо они могутъ разсыпаться бисеромъ чистѣйшей воды. Торжествуютъ практики-эмпирики, ибо они могутъ пустить въ ходъ свои золотыя правила: подражай побѣдителю, не смотри дальше своего носа, не отдѣляй идеи отъ факта, сути отъ формы. Всѣ торжествуютъ внезапное исчезновеніе смысла исторіи. Путаница еще увеличивается явленіями, отошедшими временно на задній планъ, но тѣмъ не менѣе знаменательными. Рядомъ съ Вильгельмомъ побѣдоноснымъ стоитъ Дарвинъ съ своей теоріей борьбы, показывающій намъ нашего предполагаемаго предка: четвероногое, покрытое шерстью животное съ острыми подвижными ушами. Возлѣ мрачнаго экъ-императора Наполеона, стоитъ веселый маэстро Оффенбахъ, пасвистывая свои каскадно-революціонные мотивы. Спиритъ Юмъ нагло вступаетъ въ состязаніе съ наукой...

И однако мы все-таки намѣрены трактовать о философіи, о смыслѣ исторіи, ибо онъ несомнѣнно существуетъ. Мало того,—уловить его теперь не только нужнѣе, а можетъ быть даже возможнѣе чѣмъ когда-нибудь. Мы присутствуемъ съ одной стороны, при родахъ исторіи, а роды исторіи трудны, и часто вѣка проходятъ, прежде чѣмъ рожденныя въ болѣзняхъ чада болѣе или менѣе прочно становятся на ноги. Съ другой стороны мы присутствуемъ при одномъ изъ самыхъ рѣзкихъ случаевъ историческаго атавизма, т.-е. внезапнаго и на первый взглядъ безпричиннаго и необъяснимаго возрожденія отжившихъ или отживающихъ факторовъ исторіи. Случайное совпаденіе трудныхъ родовъ съ крупнымъ случаемъ атавизма дѣй-

*) 1871, августъ и сентябрь.

ствительно затемняетъ смыслъ исторіи и при поверхностномъ обзорѣ способно довести однихъ до неосновательнаго отчаянія, другихъ до столь же неосновательнаго торжества. Но стоитъ только ближе подойти къ этому сфинксу, чтобы почерпнуть изъ него не только отрицательное убѣжденіе въ совершенной неприкосновенности философіи исторіи, но и полновѣсныя положительныя данныя въ пользу этой неприкосновенности. Мы убѣдимся въ этомъ.

Предполагая изложить и разсмотрѣть философію исторіи Луи Блана, мы однако заранѣе оговариваемся, что едва-ли удастся намъ исполнить это дѣло вполнѣ удовлетворительно. Помимо тѣхъ недостатковъ, которые могутъ быть внесены въ работу лично нами, помимо далѣе вліянія условій, въ которыхъ находится русская печать, трудности лежатъ въ самомъ Луи Бланѣ, въ самомъ характерѣ его литературной и общественной дѣятельности.

Семнадцатилѣтнимъ юношей прибылъ Луи Бланъ въ Парижъ и тотчасъ же выступилъ на скользкое поприще политическаго писателя и политическаго дѣятеля вообще, а время было бойкое — 1830-й годъ. Ему не было еще тридцати лѣтъ, когда онъ написалъ книгу, взволновавшую всю Францію. Затѣмъ онъ былъ членомъ временнаго правительства, затѣмъ бѣглецомъ и изгнанникомъ, и нынѣ — шестидесятилѣтнимъ старикомъ — опять выступилъ на арену политической дѣятельности, правда безъ прежней смѣлости и оригинальности, хотя и съ прежнею безупречностью въ нравственномъ отношеніи. Онъ одинъ изъ немногихъ избѣжалъ Сциллы и Харибды — парижскихъ и версальскихъ неистовствъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ его теперешняя дѣятельность отличается до сихъ поръ крайнею тусклостью, хотя отъ него ждали многаго, и онъ имѣлъ полную возможность еще во время прусской осады Парижа низвергнуть правительство 4-го сентября и тѣмъ, по всей вѣроятности, дать другой ходъ дальнѣйшимъ событіямъ. Вообще онъ обманулъ многія ожиданія, а что эти ожиданія были до нѣкоторой степени основательны, — это можно видѣть изъ слѣдующихъ, напримѣръ, его словъ, писанныхъ въ 1866 году: «Замѣтьте, въ какую пропасть влечетъ насъ эта централизація. До сихъ поръ никто не сомнѣвался въ томъ, что Франція, въ случаѣ нападенія, въ состояніи защищаться. И однако весьма компетентные люди утверждаютъ, что мы висимъ на волоскѣ. Приводимые ими резоны заслуживаютъ вниманія. Они говорятъ: «въ три прыжка непріятель въ Парижѣ, а, властвуя въ Парижѣ, онъ властелинъ и всей Франціи». Однимъ почеркомъ пера они уничтожаютъ цѣлое великое государство! И я утверждаю, что эти опасенія основательны. Чудовищное дѣло! — мы добились того, что обширное государство умѣстилось въ стѣнахъ города въ нѣсколько миль въ окружности. А такъ какъ за этотъ городъ боялись, то рѣшились его укрѣпить. Смѣлѣй! Зачѣмъ останавливаться на этомъ пути измельчанія? Мы обратили Францію въ Парижъ; обратимъ Парижъ въ фортъ. Гарнизонъ вмѣсто общества! Крѣпость вмѣсто государства! Вотъ логика этой системы». Не Франція должна быть втиснута въ Парижъ, а напротивъ Парижъ долженъ развиться по всей Франціи, «а это можетъ быть достигнуто сильною организаціей общины». (L'état et la commune, 60, 62).

Луи Бланъ пережилъ многое. Онъ имѣлъ передъ собою обширнѣйшее поле для наблюденій и долженъ былъ пріобрѣсти богатый запасъ соціологическаго опыта. Но онъ такъ пылко бросился въ самую глубину бурныхъ волнъ французской исторіи, что ему было не до систематизаціи своихъ наблюденій и выводовъ. То на него направляются пистолетныя дула, и онъ едва избѣгаетъ насильственной смерти, то народъ носитъ его на рукахъ по парижскимъ улицамъ; онъ подъзуется рѣдкою популярностью, и въ то же время на него клевещутъ, какъ рѣдко на кого другого; членъ правительства,—онъ не только лишенъ всякой силы для приведенія въ исполненіе своихъ завѣтныхъ плановъ, но еще долженъ присутствовать при фальсификаціи своихъ идей и проведеніи ихъ въ такомъ извращенномъ видѣ въ практическую жизнь. Естественное дѣло, что вся совокупность этихъ обстоятельствъ, побуждая Луи Блана къ торопливой, лихорадочной дѣятельности, въ то же время закрывала для него возможность привести свои воззрѣнія въ стройную систему, придать имъ законченную обработку, свести на очную ставку различныя стороны своего ученія. Луи Бланъ лишенъ той страшной діалектической силы, какая свойственна безпощадно послѣдовательной логикѣ его знаменитаго противника-товарища Прудона. Съ другой стороны въ Луи Бланѣ бурно клокочетъ чувство живой конкретной дѣйствительности. Сообразно этому, во всѣхъ воззрѣніяхъ Луи Блана прежде всего бросается въ глаза неясность, непослѣдовательность и расплывчатость отвлеченныхъ источниковъ рядомъ съ замѣчательною яркостью и смѣлостью конкретныхъ устьевъ. Идетъ ли рѣчь о правѣ и свободѣ или о централизаціи и самоуправленіи, о законахъ, управляющихъ ходомъ исторіи, или о значеніи рабочаго сословія, — вездѣ мы встрѣчаемъ одно и то же: пока вопросъ стоитъ на болѣе или менѣе отвлеченной почвѣ, Луи Бланъ колеблется, сбивается,

издаетъ рѣзко фальшивыя ноты, довольствуется очень бѣдными аргументами и безсодержательными фразами; но по мѣрѣ того, какъ вопросъ принимаетъ конкретный характеръ, по мѣрѣ того, какъ онъ спускается съ облаковъ на землю и одѣвается, такъ сказать, плотью и кровью, шаги Луи Блана становятся рѣшительнѣе, тверже, смѣлѣе, звучная фраза получаетъ содержаніе и слѣдовательно перестаетъ быть фразой, являются солидные аргументы. Будучи поставленъ въ такія условія, что для него особенно важны и дороги интересы данной минуты, Луи Бланъ мало заботится о полнотѣ и опредѣленности своей соціологической системы и о строгой научности своихъ пріемовъ. Имѣя главнымъ образомъ въ виду произвести извѣстное впечатлѣніе или вообще добиться извѣстныхъ результатовъ, онъ иногда не колеблется обойти трудность цвѣтистой фразой или такимъ оборотомъ мысли, который стоитъ совершенно въ разрѣзъ съ общимъ колоритомъ его воззрѣній. Не по недобросовѣстности онъ къ этому прибѣгаетъ. Его цвѣтистая фраза для него лично есть вовсе не фраза, не сознательная уловка. Это просто краснорѣчивый взрывъ негодованія, скорби, восторга или отчаянія передъ такимъ явленіемъ, которое онъ, захваченный волною событій и не хочетъ, и не можетъ подвергать спокойному анализу*). И тѣмъ же объясняется и та непослѣдовательность и неразборчивость аргументаціи, въ которую онъ довольно часто впадаетъ: ему нѣкогда быть послѣдовательнымъ и разборчивымъ. Онъ очень хорошо понимаетъ, что «нѣтъ отвлеченія тамъ, гдѣ не находится въ зародышѣ реальность, что метафизическіе споры, повидимому столь неопредѣленные по своему предмету, имѣютъ по своимъ результатамъ громадное практическое значеніе» (Исторія великой французской революціи. Т. I, 291). И однако онъ тѣмъ менѣе дорожитъ отвлеченными вопросами, чѣмъ болѣе они удалены отъ его непосредственно практическихъ цѣлей, хотя бы вопросы эти были первостепенной важности въ теоретическомъ отношеніи, и хотя бы ихъ неважность для непосредственно практическихъ цѣлей была только кажущеюся.

Луи Бланъ дастъ, напримѣръ, понять, что пантеизмъ есть религіозное представленіе, наиболѣе соотвѣтствующее его политическимъ воззрѣніямъ. Но онъ ограничивается въ этомъ отношеніи весьма неопредѣленными и поверхностными указаніями, такъ что едва-ли есть какая-нибудь возможность съ достаточною ясностью уловить характеръ его взглядовъ на сверхъестественные элементы міра. А между тѣмъ эти слишкомъ туманно очерчиваемые имъ элементы онъ не прочь ввести иногда, въ качествѣ дѣятелей, въ пеструю картину человѣческихъ дѣлъ. Вслѣдствіе этого, неясность основныхъ началъ отзывается въ такихъ сферахъ, которыя, повидимому, стоятъ безконечно далеко отъ вопросовъ религіозныхъ. Не трудно отыскать у Луи Блана въ этомъ отношеніи даже прямыя, буквальныя противорѣчія. Мы, впрочемъ, совсѣмъ обойдемъ эту сторону его міросозерцанія, развѣ къ слову придется. Но и въ области собственно общественной науки, различныхъ сторонъ которой намъ придется касаться, мы на каждомъ шагу можемъ встрѣтить у Луи Блана ту же самую особенность: небрежность въ отношеніи къ отвлеченнымъ вопросамъ рядомъ съ рѣшительностью практическихъ выводовъ, которые однако уже въ силу неясности отвлеченныхъ началъ не застрахованы отъ ошибокъ.

Прежде всего здѣсь поражаетъ отсутствіе

*) Часто до вычурности блестящій языкъ Луи Блана весьма затрудняетъ переводъ его сочиненій, ибо всѣ эти блестки естественно должны утратить въ переводѣ свою яркость и даже свой raison d'être. Но русскій переводчикъ перваго тома Исторіи великой революціи достигъ въ этомъ направленіи геркулесовыхъ столбовъ и даже перевалилъ за нихъ. Если и допустить, что Луи Бланъ виноватъ во множествѣ совершенно безсмысленныхъ фразъ, попадающихся въ переводѣ г. Антоновича, то онъ уже нисколько невиноватъ въ томъ, что г. Антоновичъ называетъ Генриха IV «Беарне» (Bearnais—беарнскій, беарнецъ), не употребляя, однако, въ то же время аналогичныхъ и столь же благозвучныхъ выраженій «Франсе» или «Англе»; или въ томъ, что г. Антоновичъ переводитъ слово «ministre» словомъ «министръ» даже въ тѣхъ случаяхъ, когда оно значитъ «священникъ»; или въ томъ, что г. Антоновичъ не знаетъ, что «capitaine» иногда дѣйствительно значитъ «капитанъ», но иногда значитъ и «полководецъ», или въ томъ, что слово «prince» г. Антоновичъ переводитъ не иначе, какъ словомъ «принцъ» или «князь», тогда какъ оно значитъ и «государь» и «повелитель» и «владыка», такъ что, напримѣръ, Іисуса Христа ни въ какомъ случаѣ нельзя называть «принцемъ» (стр. 1 или 85); въ томъ, что г. Антоновичъ для перевода слова «vue courte» не находитъ другого выраженія, какъ «короткое зрѣніе». Вообще давно уже не портились у насъ такимъ дурнымъ переводомъ такія хорошія книги. Насъ, пожалуй, опять заподозрятъ въ пристрастіи и придирчивости къ г. Антоновичу, какъ заподозрили относительно г. Жуковскаго. Но что же дѣлать, если «Римъ по вѣроломнымъ покатостямъ (?) дошелъ до диктатуры Суллы» (369). Что дѣлать, если г. Антоновичъ говоритъ: «Уже вокругъ него распространилось необыкновенное *безпокойство*. Многіе предчувствовали ужасныя волненія, гражданскія войны. Императоръ Максимиліанъ, жившій въ *спокойныхъ* сферахъ, не могъ избавиться отъ нѣкотораго *безпокойства*. Увѣдомленный имъ, Левъ X началъ наконецъ *безпокоиться*» (60). Надо видѣть, чтобы вѣрить. И такихъ перловъ мы могли бы привести цѣлыя сотни.

чего-нибудь похожаго на методологію. Конечно, разсужденія о методѣ сами по себѣ нисколько не гарантируютъ намъ ни вѣрнаго метода, ни правильнаго примѣненія. Мы знаемъ тысячи примѣровъ очень пространныхъ и глубокомысленныхъ разсужденій о методѣ—и въ особенности о методѣ нравственныхъ и политическихъ наукъ, которыя однако по цѣнности своей равняются толченію въ ступѣ воды. Но это прискорбное обстоятельство отнюдь не должно насъ смущать. Въ задачѣ разысканія пути, котораго мы должны держаться въ своихъ изслѣдованіяхъ, все-таки лежатъ въ зародышѣ альфа и омега задачи построенія самой науки. А между тѣмъ это предметъ, совершенно не интересующій Луи Блана, что, какъ увидимъ, не проходитъ ему даромъ и даетъ себя знать и въ областяхъ, принимаемыхъ имъ очень близко къ сердцу. Луи Бланъ столкнулъ лѣстницу, по которой онъ взобрался на высоту своихъ идей, и каждому предоставляется самому рѣшить, какая именно лѣстница была употреблена имъ въ дѣло. Вѣрнѣе всего, однако, что Луи Бланъ совершенно обошелся безъ лѣстницы и въ одинъ прыжокъ очутился у конца пути. Разумѣется, это пріемъ ненадежный. И, принимая въ соображеніе всѣ обстоятельства, надо удивляться не тому, что въ соціологической системѣ Луи Блана есть дурно заштопанныя и вовсе не заштопанныя прорѣхи, а, напротивъ, тому, что знаменитый дѣятель 1848 года все-таки такъ удачно справился съ своимъ дѣломъ. Эта удача обусловливается, какъ блестящими качествами ума Луи Блана, такъ и глубиною интересовъ, которымъ онъ отдался душой и тѣломъ.

Когда Луи Бланъ говоритъ о «живомъ и правильномъ воображеніи, которое посредствомъ увлеченія прекраснымъ ведетъ насъ къ истинѣ столь же вѣрно, какъ и самъ разумъ» (Исторія великой революціи, I, 446),—онъ, конечно, преувеличиваетъ, но тѣмъ не менѣе въ его словахъ есть нѣкоторая доля истины. Теоріи должны строиться на фактическихъ основаніяхъ; фундаментомъ обобщенія должны служить факты. Это несомнѣнныя истины. Но они давно уже перешли въ разрядъ истинъ азбучныхъ, заученныхъ, повторяемыхъ всѣми и каждымъ механически, безъ участія мысли. Въ свое время это были очень важныя истины. Но нынѣ онѣ уже въ значительной степени утратили свою важность, ибо нынѣ для насъ стоитъ внѣ всякаго сомнѣнія, что теорія не то что *должна* опираться на фактическія данныя, *а не можетъ* на нихъ не опираться. Говоря уже цитированными словами Луи Блана, «нѣтъ отвлеченія тамъ, гдѣ не находится въ зародышѣ реальность». Теорія безъ фактической почвы не то что невѣрна, а просто невозможна; такихъ теорій нѣтъ. Вѣрность же теоріи обусловливается количествомъ фактическихъ данныхъ, принимаемыхъ въ соображеніе, и ихъ качествомъ, то-есть ихъ относительною важностью. Но для оцѣнки важности факта нужна уже теорія, и мы попадаемъ такимъ образомъ въ замкнутый логическій кругъ, изъ котораго, повидимому, нѣтъ выхода. Однако, выходъ вовсе не труденъ, ибо научное міросозерцаніе избавляетъ насъ отъ точки зрѣнія средневѣковыхъ схоластиковъ, мучившихся надъ вопросомъ о томъ, кто кому предшествовалъ во времени,—курица или яйцо, молотокъ или наковальня. Наука убѣдила насъ, что въ послѣднемъ счетѣ знанія и чувства наши имѣютъ происхожденіе опытное, что идеи наши имѣютъ основаніе фактическое, что теоріи наши только обобщаютъ факты. Но вмѣстѣ съ тѣмъ наука убѣждаетъ насъ, что только въ весьма рѣдкихъ случаяхъ можно надѣяться непосредственно прослѣдить зарожденіе и ходъ развитія какой-либо идеи или теоріи. Для того, чтобы приступить къ самому безхитростному изученію фактовъ, нужна уже какая-нибудь руководящая нить, какая-нибудь теорія. Откуда она возьмется? Изъ комбинаціи разнородныхъ, болѣе раннихъ впечатлѣній, изъ безсознательно усвоенныхъ понятій, изъ разрозненныхъ ощущеній, сгруппировавшихся, по неизвѣстнымъ намъ законамъ психической жизни. Эта теорія есть дѣло генія, дѣло счастливой умственной и нравственной организаціи и качества духовной пищи, вспоившей и вскормившей генія, быть можетъ, совсѣмъ помимо его сознанія. И, конечно, воображеніе играетъ здѣсь весьма видную роль. Постройкою гипотезъ оно, такъ сказать, закидываетъ сѣти, въ которыя могутъ быть уловлены предметы, въ извѣстныхъ предѣлахъ весьма разнообразные, но все-таки соотвѣтствующіе размѣрамъ и крѣпости сѣтей. Въ области вопросовъ нравственныхъ и политическихъ роль воображенія осложняется выработкою идеаловъ, субъективнымъ элементомъ. Разумѣется, первые контуры теоріи весьма смутны, слабы и быстро выслуживаютъ свою службу. Но и они бросаютъ хотя бы очень слабый свѣтъ на болѣе или менѣе обширный кругъ фактовъ, который, то-есть свѣтъ, отражается обратно на теоріи и т. д. Благодаря этому постоянному взаимодѣйствію, человѣкъ получаетъ наконецъ возможность дать своей теоріи раціональное основаніе, дать полный и ясный отчетъ въ томъ, въ силу какихъ соображеній онъ выбираетъ изъ множества возможныхъ построеній именно такое-то. Этого-то вѣнца зданія у Луи Блана почти вездѣ недостаетъ. Его историче-

ская теорія, не смотря на смѣлость и оригинальность замысла, не смотря на то, что она ярко расцвѣчена конкретными примѣрами, страдаетъ блѣдностью, незаконченностью, такъ сказать, недоженностью. Но эти блѣдные контуры заслуживаютъ полнаго вниманія, благодаря составу политическаго воздуха, которымъ дышалъ Луи Бланъ, благодаря свойствамъ его субъективныхъ воззрѣній.

Мы много и часто говорили о необходимости объективнаго метода въ наукѣ, о природѣ и о незаконности его въ наукѣ общественной, такъ что, можетъ быть, à force de forger, успѣли кого-нибудь заинтересовать этимъ сухимъ и отвлеченнымъ вопросомъ. Поэтому пользуемся подходящимъ случаемъ, чтобы обратить вниманіе на одно замѣчаніе, сдѣланное г. Павловскимъ въ статьѣ «Классификація наукъ» («Отечественныя Записки», іюнь). Защищая положительную философію отъ упрековъ въ объективизмѣ, г. Павловскій говоритъ, между прочимъ, что разница между объективнымъ и субъективнымъ изученіемъ соціальной жизни состоитъ въ томъ, что послѣднее ставитъ задачи общества и соціальныя обязанности въ началѣ, тогда какъ первое получаетъ ихъ въ результатѣ изслѣдованія. Это, можетъ быть, и резонно, но только для тѣхъ, кто вѣритъ въ возможность единодержавія объективнаго метода въ соціологіи. Мы въ нее не вѣримъ. Объективизмъ въ соціологіи есть, по нашему мнѣнію, неоднократно высказанному, не болѣе, какъ маска, которою люди недобросовѣстные обманываютъ другихъ, а добросовѣстные самихъ себя. Очень жаль, что г. Павловскій, принимая на себя защиту положительной философіи отъ упрековъ въ объективизмѣ, не обратилъ вниманія на тѣхъ людей, которые не только не думаютъ, «будто эта объективность несовмѣстна съ субъективнымъ отношеніемъ къ жизни», но напротивъ, утверждаютъ, что это субъективное отношеніе составляетъ неизбѣжную подкладку всякой, такъ-называемой объективности. Только отсюда вытекающее отрицаніе объективнаго метода въ соціологіи и заслуживаетъ вниманія, только его и слѣдовало опровергать. Теперь же замѣчаніе г. Павловскаго бьетъ мимо цѣли. Что лучше—поставить задачи общества и соціальныя обязанности въ началѣ изслѣдованія законовъ соціальныхъ явленій, или получить ихъ въ результатѣ работы? Поставить вопросъ такимъ образомъ, значитъ рѣшить его. Конечно, лучше вывести задачи общества въ итогѣ изслѣдованія, если это возможно. Но въ томъ-то и дѣло, что приведенный вопросъ есть вопросъ совершенно праздный, ибо по свойствамъ своей природы человѣкъ не можетъ не внести субъективный элементъ въ соціологическое изслѣдованіе. Такова, по крайней мѣрѣ, единственная сторона въ вопросѣ о субъективномъ и объективномъ методѣ, подлежащая обсужденію и вовсе г. Павловскимъ не обсуждаемая. Если приведенное мнѣніе справедливо, если субъективный элементъ дѣйствительно неизбѣженъ въ изученіи соціальныхъ явленій, то приходится поневолѣ съ нимъ считаться, а не отрицать его, какъ приходится принимать въ соображеніе, а не отрицать предвзятое мнѣніе вообще. Будутъ ли наши цѣли велики или мелки, будутъ ли наши желанія нравственны или безнравственны, будутъ ли наши идеалы достижимы или недостижимы, но они непремѣнно будутъ и неизмѣнно наложатъ свою печать на изслѣдованіе, можетъ быть, даже извратятъ его, хотя, можетъ быть, также получатъ отъ него болѣе или менѣе важный коррективъ.

Поэтому въ дѣлѣ наукъ нравственныхъ и политическихъ весьма важно знать, чѣмъ живетъ душа того или другого дѣятеля. Направленіе его симпатій и антипатій получаетъ съ этой точки зрѣнія особенную важность. Чѣмъ жила душа Луи Блана?

Политическій вопросъ былъ рѣшенъ великою революціей: феодализмъ палъ, принципы права и свободы восторжествовали. Но уже въ моментъ рѣшенія спеціально-политическаго вопроса въ нѣдрахъ общества копошился вопросъ гораздо болѣе глубокій и коренной, вопросъ соціальный, вопросъ не о принципѣ свободы, а его фактическомъ осуществленіи, не о правѣ, а о возможности пользоваться имъ, вопросъ, собственно говоря, о кускѣ хлѣба, резюмировавшійся девизами: «хлѣба или свинца!» «Жить, работая, или умереть, сражаясь!» Къ сороковымъ годамъ вопросъ этотъ назрѣлъ окончательно, сталъ вопросомъ дня, носился въ воздухѣ и буравилъ землю. На него-то палъ центръ тяжести литературной и общественной дѣятельности Луи Блана. Это, конечно, его заслуга, но здѣсь же въ значительной степени лежитъ и причина его успѣха, причина удачи вышеупомянутаго прыжка. Луи Бланъ имѣлъ въ виду главнымъ образомъ интересы минуты, преимущественно практическія задачи, концы, а не начала. Но практическія задачи, вызванныя его временемъ, были до такой степени глубоки, что къ нимъ нельзя было приступиться, не опираясь на новыя теоретическія начала. Такими они остаются и до сихъ поръ, не смотря на князя Бисмарка и производимый имъ кавардакъ, не смотря на несчастную путаницу, изморившую Францію, не смотря на жирный хохотъ, покрывающій въ нѣмецкомъ парламентѣ рѣчи одинокаго Бебеля. Луи Блану достаточно было отдаться историческому те-

ченію, полною грудью дышать тѣмъ, что носилось въ воздухѣ, чтобы создать нѣчто достойное вниманія. Луи Бланъ—это Антей, котораго нетрудно задушить на воздухѣ, но съ которымъ подчасъ не справиться и Геркулесу, когда онъ коснется матери-земли. Въ жизненной дѣйствительности общественной атмосферы Франціи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ Луи Бланъ почерпаетъ такую же громадную силу, какъ Антей въ прикосновеніи къ землѣ. Эта живая дѣйствительность давала много, очень много и требовала и, снабжая захваченныхъ ею людей силами, въ то же время ставила ихъ въ положеніе, въ высшей степени трудное. Рутинныя политическія комбинаціи, въ которыхъ многіе какъ нельзя лучше набили себѣ руку, не удовлетворяли требованіямъ времени. Надвигались совершенно новыя практическія задачи, къ которымъ рутина даже и приступиться не могла, которыя она просто отрицала, хотя ихъ неотложная настоятельность била по глазамъ. Рутина бѣжитъ по разъ протоптанной дорожкѣ, не оглядываясь ни по сторонамъ, ни назадъ; это безсмысленная, хотя подчасъ довольно искусно сдѣланная машина; она не знаетъ критическаго отношенія ни къ своимъ исходнымъ точкамъ, ни къ результатамъ; она вся въ привычномъ процессѣ дѣятельности, утрачиваетъ всякій теоретическій и мало-мальски широкій практическій смыслъ, и если и твердитъ о принципахъ, то чисто механически. Разъ встрѣтилось на пути рутины нѣчто совершенно новое, она или не замѣчаетъ этого и продолжаетъ бѣжать по свой дорожкѣ въ сторону или останавливается въ полномъ недоумѣніи. Тщетно припоминаетъ она свою азбуку, тщетно прикидываетъ свой изношенный аршинъ къ такимъ вещамъ, которыя аршинами не мѣряются. Въ такомъ именно положеніи была политическая рутина въ сороковыхъ годахъ во Франціи. Она полагала удовлетворить исторію какою-нибудь привычною комбинаціей въ родѣ перемѣны министерства или, самое большое, династіи. Но тѣ, кто прислушивался къ гулу исторіи, видѣли, что время требуетъ новыхъ боговъ, новыхъ храмовъ, новаго служенія и новыхъ служителей. Требовалось совершенно новое міросозерцаніе. Дотолѣ во всѣхъ сферахъ жизни и мысли властвовали, то временно примиряясь, то вступая въ жестокій бой, два противоположныя міросозерцанія: феодально-католическое, окончательно побѣжденное въ 1830 г., и буржуазно-либеральное, блиставшее на поверхности общественнаго сознанія, царившее на трибунахъ и въ школахъ, на биржѣ и на министерскихъ скамьяхъ, въ грошовыхъ газетахъ и въ трудахъ ученыхъ академиковъ. Надо было мѣряться съ ними обоими, ибо ученики Вольтера, Монтескьё, Констана и экономистовъ оказывались не мѣньше учениковъ Де-Мэстра неприспособленными къ характеру историческаго момента. Требовалось, слѣдовательно, не только быстрое рѣшеніе новыхъ практическихъ задачъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и возведеніе новаго теоретическаго фундамента, среди событій крайне бурнаго характера. Луи Бланъ взялся за это дѣло, да и не могъ не взяться. Роковымъ образомъ тянуло его отъ чисто-практическихъ вопросовъ въ высшія теоретическія сферы. Таково уже было свойство этихъ практическихъ вопросовъ. Не забудемъ, что около того же времени вырабатывалось геніальное твореніе Конта. Но Контъ стоялъ въ сторонѣ отъ бурной практики. Луи Блану же предстояло строить единовременно и фундаментъ, и стѣны, и крышу дома. Онъ долженъ былъ бороться съ двумя господствовавшими теченіями мысли и жизни на всемъ ихъ протяженіи, то-есть и съ ихъ исходными теоретическими положеніями, и со всѣми ихъ развѣтвленіями, и со всѣми ихъ практическими правилами и заключеніями. Это сама по себѣ задача трудная, тѣмъ болѣе, что оба враждебныя теченія представляютъ собою стройныя, окрѣпшія, пустившія глубокіе корни, системы, имѣвшія своихъ героевъ, мучениковъ, великихъ людей, свою богатую литературу, науку и философію. Но этою критическою работою не могла ограничиться задача жизни Луи Блана. Онъ долженъ былъ выработать нѣчто, могущее замѣнить старые мѣхи со старымъ виномъ; противопоставить теоріямъ феодально-католической и либерально-буржуазной новую и въ то же время на свой рискъ и страхъ фактически рѣшить самые жгучіе практическіе вопросы. При такихъ обстоятельствахъ естественно было, если не окончательно растеряться, то въ значительной степени утратить то, что́ можно бы было назвать чувствомъ философской перспективы. Это именно и случилось съ Луи Бланомъ. Онъ далеко не всегда въ состояніи надлежащимъ образомъ оцѣнить относительную важность той или другой стороны вопроса, измѣрить логическое разстояніе, отдѣляющее явленія практической жизни отъ соотвѣтственныхъ теоретическихъ элементовъ. Сплошь и рядомъ онъ относится сомнительно и даже прямо отрицательно къ такой посылкѣ, выводы изъ которой принимаются имъ съ распростертыми объятіями и даже составляютъ всю его силу.

Движеніе, во главѣ котораго стоялъ Луи Бланъ, не было преждевременнымъ выкидышемъ исторіи. Оно коренилось въ общественныхъ законахъ общества, было законорожденнымъ дѣтищемъ исторіи, и эта историческая законность движенія именно носилась въ воздухѣ. Чувствовалось и по-

нималось, что это не безпочвенная утопія, не фантазія какого-нибудь одинокаго мечтателя, созидающаго счастіе всего человѣчества изъ ничего, хотя, можетъ быть, никто не былъ еще въ состояніи вычислить всѣ элементы формулы движенія. Прислушиваясь къ голосу исторіи, Луи Бланъ долженъ былъ доказать, что движеніе сороковыхъ годовъ было дѣйствительно законнымъ, логическимъ продуктомъ цѣлой цѣпи событій, правильно смѣнявшихъ другъ друга. Онъ долженъ былъ, показать историческую миссію и преемственную связь послѣдовательныхъ историческихъ напластованій и найти такую точку зрѣнія, которая проливала бы свѣтъ на порядокъ явленій, смѣняющихся, повидимому, самымъ капризнымъ образомъ. Онъ долженъ былъ, однимъ словомъ, создать философію исторіи. Онъ это сдѣлалъ. Говоря: онъ *долженъ* былъ создать философію исторіи,—мы разумѣемъ свойства историческаго момента, съ которымъ совпадаетъ дѣятельность Луи Блана. Платонъ, Моръ, Кампанелла могли и должны были довольствоваться только логической и этической санкціей своихъ идеаловъ. То были утописты, благородные мечтатели, наивные строители на пескѣ. Могли обходиться безъ историческаго оправданія своихъ идеаловъ и Конфуцій и Будды: они несли съ собой велѣнія своихъ боговъ, стоящихъ внѣ времени и пространства. Луи Бланъ могъ и долженъ былъ прибавить къ санкціи логической и этической—санкцію историческую. Это одно изъ знаменій времени.

II.

Но прежде, чѣмъ изслѣдовать законы исторіи, уму представляется вопросъ о самомъ существованіи этихъ законовъ. И здѣсь, на самомъ общемъ и элементарномъ вопросѣ общественной науки, на вопросѣ о законосообразности соціальныхъ явленій, мы впервые встрѣчаемся съ теоретическою неряшливостью Луи Блана. Хотя вопросъ этотъ именно по своей общности и элементарности въ значительной степени — по скольку дѣло идетъ объ отдѣльныхъ личностяхъ — выступаетъ изъ предѣловъ общественой науки въ область біологіи, но тѣмъ не менѣе соціологъ не имѣетъ, собственно говоря, права ступить ни одного шага, не рѣшивъ его безповоротно въ ту или другую сторону. Отъ этого рѣшенія зависитъ существованіе не только науки, а и самой практики. Нельзя изучать явленія, измѣненія которыхъ не подлежатъ никакой правильности, нельзя и осмотрѣться въ нихъ съ какими-нибудь практическими цѣлями; невозможно вліять на нихъ сколько-нибудь разумнымъ образомъ. Отвѣтъ, предлагаемый современною наукою на пресловутый вопросъ о свободѣ воли и необходимости, весьма простъ: человѣческая дѣятельность есть одно изъ звеньевъ цѣлой цѣпи причинъ и слѣдствій, звено ни безусловно пассивное, ни безусловно самоопредѣляющееся. Не смотря однако на очевидную изъ этого отвѣта крайнюю простоту задачи, едва-ли какая либо другая возбуждала столь ожесточенные споры и вызывала столь противоположныя рѣшенія, на выработку которыхъ была потрачена страшная масса остроумія и глубокомыслія. Двигатели нравственныхъ и практическихъ наукъ, благодаря усвоеннымъ ими ошибочнымъ пріемамъ мысли и полученнымъ по преданію догматамъ, рѣшали проблему вкривь и вкось, гоняясь за безусловнымъ рѣшеніемъ. Что касается до окончательныхъ выводовъ, то возможны два безусловныя рѣшенія: либо человѣкъ абсолютно свободенъ въ своей дѣятельности, либо онъ безусловно подчиненъ теченію событій. Но этими противоположностями еще не исчерпывается разногласіе. Человѣкъ можетъ быть подчиненъ волѣ всепредусматривающаго сверхъестественнаго существа, либо разъ навсегда установившаго свои велѣнія, либо для каждаго частнаго случая издающаго спеціальный законъ. Но кромѣ того человѣкъ можетъ находиться въ полной власти и слѣпыхъ, неразумныхъ силъ природы, роковымъ образомъ влекущихъ его въ извѣстномъ направленіи. Вопросъ объ этомъ направленіи составляетъ дальнѣйшее яблоко раздора. Сообразно рѣшенію, которое мы примемъ относительно этого пункта, окрасится для насъ тѣмъ или другимъ цвѣтомъ и вся совокупность общественныхъ явленій. Но, помимо того, что всѣ приведенныя рѣшенія не могутъ быть согласованы съ законными требованіями науки, а можетъ быть, именно вслѣдствіе этой невозможности согласованія, двигатели нравственныхъ и политическихъ наукъ даже и избранныхъ ими отвѣтовъ весьма рѣдко придерживаются съ достаточною послѣдовательностью. Одни, напримѣръ, исходя изъ принципа свободы воли, въ концѣ концовъ, нагромоздивъ кучу діалектическихъ тонкостей, приходятъ къ неожиданному заключенію, что эта безусловно свободная воля можетъ быть весьма удобно погнута различными репрессивными мѣрами. Другіе, исходя изъ принципа необходимости, впадаютъ въ фатализмъ, не доводя однако своего ученія до его логическихъ концовъ, до магометанскаго смиренія передъ всякимъ фактомъ. Третьи совершенно запутываются, стараясь уловить ту цѣль, къ которой стремятся судьбы чело-

вѣка сами собой или же въ качествѣ орудій нѣкоторой высшей силы.

Что касается Луи Блана, то пока вопросъ стоитъ передъ нимъ въ отвлеченной формѣ, онъ колеблется, спотыкается, фразируетъ, безъ всякой надобности взываетъ къ провидѣнію и т. п. Очень характерны, по своей безхарактерности, его фразистыя разсужденія о назначеніи добра и зла на землѣ. Такъ-какъ онъ прибѣгаетъ къ нимъ очень часто и вездѣ говоритъ объ этомъ предметѣ даже почти одними и тѣми же словами, то мы приведемъ одну его такую тираду. «Развѣ—спрашиваетъ онъ—развѣ верховный, страшный законъ не поставилъ рядомъ съ добромъ зло, какъ вѣчное, неотвратимое условіе? Что такое вселенная?—сцена нескончаемой борьбы. Что такое истина?—пламя, вѣчно растущее и блистающее на могилахъ. Въ природѣ виды существуютъ только истребленіемъ низшихъ видовъ. Земля, на которой волнуются живые, состоитъ изъ праха мертвыхъ.—Не торопитесь выводить заключеніе!—тутъ же утѣшаетъ Луи Бланъ. Пламенный, непобѣдимый протестъ, исходящій изъ глубины человѣческаго сознанія,—вотъ что показываетъ, что необходимость зла есть ложь. Въ этой вѣрѣ обнаруживается достоинство человѣка, его могущество будетъ состоять въ доказательствѣ этой истины» (Histoire de la révolution française. II, 1847, p. 492; см. также Histoire de dix ans. I, 133; Исторія великой французской революціи. I, 462, 463: «одно только добро абсолютно, одно оно необходимо; зло въ мірѣ—это громадная случайность, и вотъ почему роль его—постоянно быть побѣждаемымъ» и т. п.). Рядомъ съ этимъ толканіемъ на мѣстѣ стоитъ поставить слѣдующее разсужденіе: «Мы не смѣемъ утверждать, что люди родятся съ преступными наклонностями: это значило бы оскорблять Бога. Будемъ вѣрить, что дѣло божіе благо, что оно свято. Если мы его испортили—сознаемся въ этомъ безъ богохульства. Великіе философы сомнѣвались въ томъ—существуетъ ли въ строгомъ смыслѣ слова свобода воли: во всякомъ случаѣ, она сильно сдавлена въ бѣднякѣ» (Organisation du travail, 27). Эта тирада могла бы служить образцомъ теолого-метафизической путаницы, обыкновенно вводимой въ разсужденія о границахъ свободы и необходимости въ человѣческихъ дѣйствіяхъ. Но ей недостаетъ свойственной этимъ разсужденіямъ самоувѣренности. Взамѣнъ теологическихъ и метафизическихъ ухищреній, взамѣнъ текстовъ и силлогизмовъ, Луи Бланъ предлагаетъ просто: «будемъ вѣрить». Онъ не рѣшается прямо подать свой голосъ въ великомъ спорѣ, а довольствуется ссылкою на сомнѣнія великихъ философовъ. И, не смотря на эту нерѣшительность и осторожность, воззрѣнія Луи Блана на основные вопросы общественной науки все-таки представляютъ самую странную смѣсь діаметрально противоположныхъ элементовъ. «Будемъ вѣрить»,—это пріемъ чисто теологическій или, употребляя терминологію самого Луи Блана, пріемъ, соотвѣтствующій принципу авторитета. Почерпать же аргументы «изъ глубины человѣческаго сознанія», значитъ прибѣгать къ пріемамъ метафизическимъ или, опять-таки пользуясь выраженіемъ Луи Блана, впадать въ индивидуализмъ. Это пріемы, взаимно исключающіеся, и между ними-то весьма часто лавируетъ Луи Бланъ, путаясь и отдѣлываясь восклицательными знаками, пока вопросъ стоитъ на высотахъ отвлеченности. И читатель не безъ удивленія видитъ, что въ области живыхъ, конкретныхъ явленій Луи Бланъ борется не на животъ, а на смерть съ вещами, связанными неразрывно логическою цѣпью съ обоими вышеупомянутыми элементами. Конечно, борьба эта не можетъ идти совершенно успѣшно, и Луи Бланъ дастъ такимъ образомъ блистательный, хотя и прискорбный урокъ тѣмъ узколобымъ утилитаристамъ, которые думаютъ, что злоба дня сидитъ цѣликомъ въ практическихъ вопросахъ, оторванныхъ отъ всякой теоретической почвы.

Но Луи Блана въ значительной степени спасаетъ вѣрное чутье—даръ атмосферы Франціи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Вопросъ о значеніи великихъ людей есть тотъ же вопросъ о свободѣ воли и необходимости, о законосообразности явленій индивидуальной и соціальной жизни, но въ болѣе конкретной формѣ. Онъ подвергался тѣмъ же перепетіямъ, какія прошелъ и его болѣе отвлеченный родичъ. Великіе люди разсматривались, какъ посланники свыше, и въ качествѣ таковыхъ, то превозносились, то низводились на степень слѣпыхъ орудій. Разсматривались они и какъ люди, почерпающіе всю силу свою изъ глубины собственнаго духа, появляющіеся въ обществѣ, какъ Минерва изъ головы Юпитера, и т. д. Можно бы было думать, что колебанія въ общемъ вопросѣ въ его отвлеченной формѣ невыгодно отразятся и на отвѣтѣ Луи Блана въ вопросѣ о значеніи великихъ людей. И однако послѣдній рѣшается имъ блистательно. Оговорки, недомолвки, болтовня, колебанія внезапно исчезаютъ. «Личность—говоритъ Луи Бланъ — можетъ играть въ исторіи большую роль только подъ тѣмъ условіемъ, если она есть то, что я желалъ бы назвать *представительнымъ человѣкомъ*. Сила, которою обладаютъ могучія личности, почерпается ими изъ себя

только весьма меньшею частью; большею же частью онѣ почерпаютъ ее изъ окружающей ихъ среды. Жизнь ихъ есть ничто иное, какъ только сосредоточеніе коллективной жизни, въ которую онѣ погружены. Импульсъ, который онѣ даютъ обществу, въ сущности невеликъ въ сравненіи съ импульсомъ, который онѣ получаютъ отъ него» (Исторія великой французской революціи, I, 20). Въ другомъ мѣстѣ Луи Бланъ говоритъ: «Великіе люди управляютъ обществомъ только при помощи силы, которую получаютъ онъ него же. Они освѣщаютъ его, только сосредоточивая въ одномъ фокусѣ всѣ исходящіе изъ него лучи» (Organisation du travail, 201). Это одно изъ самыхъ яркихъ и энергическихъ опредѣленій значенія личности въ исторіи, какія намъ только случалось встрѣчать. Здѣсь удачно обойдены обѣ обычныя крайности—неразумное отрицаніе великихъ людей и столь же неразумный «культъ героевъ».

Замѣтимъ мимоходомъ, что Луи Бланъ большой мастеръ и любитель рисовать портреты выдающихся личностей. Они во множествѣ разсыпаны во всѣхъ его историческихъ трудахъ. Нѣсколькими удачными штрихами онъ вполнѣ обрисовываетъ личность, которая стоитъ послѣ этого передъ вами, какъ живая. Иногда эти мѣткія характеристики сопровождаются весьма цѣннымъ и глубокимъ анализомъ обстоятельствъ, обусловливавшихъ успѣхи и неудачи той или другой исторической личности. И здѣсь-то вполнѣ обнаруживается, что приведенныя опредѣленія значенія личности въ исторіи вовсе не составляютъ для Луи Блана случайно свернувшейся съ пера удачной фразы. Не смотря на свои колебанія въ основномъ вопросѣ соціологіи, онъ, рукою глубоко убѣжденнаго мастера, твердо и рѣшительно очерчиваетъ тѣ статическія и динамическія условія, которыми дѣятельность личности ограничивается, подобно тому, какъ положеніе точки въ пространствѣ опредѣляется ея горизонтальною и вертикальною проэкціями. Тщетно однако стали бы мы искать у Луи Блана вполнѣ опредѣленныхъ понятій о законахъ сосуществованія и послѣдовательности соціальныхъ явленій. Онъ прилагаетъ ихъ прямо къ дѣлу, не отвлекая отъ разсказа о событіяхъ и не думая объ ихъ формулировкѣ, какъ и обо всей отвлеченной, методологической, догматической и формально логической сторонѣ науки. Для него важно какъ можно скорѣе дойти до окончательныхъ результатовъ, хотя бы въ ущербъ ихъ цѣнности.

И онъ подходитъ къ этимъ результатамъ съ изумительной быстротой. Введеніе въ исторію великой французской революціи, въ первомъ томѣ которой наиболѣе полно изложена историческая теорія Луи Блана, начинается съ abrupto («Планъ и цѣль», стр. 41) такъ:

«Три великихъ принципа господствуютъ въ мірѣ и въ исторіи: *авторитетъ, индивидуализмъ, братство.*

«Принципъ авторитета состоитъ въ томъ, что онъ основываетъ жизнь націй на вѣрованіяхъ, слѣпо принимаемыхъ, на суевѣрномъ уваженіи преданія, на неравенствѣ, и посредствомъ правительства употребляетъ принужденіе.

«Принципъ индивидуализма состоитъ въ томъ, что онъ беретъ человѣка внѣ общества и независимо отъ общества и дѣлаетъ его единственнымъ судьей его самого и всего, что его окружаетъ, даетъ ему преувеличенное чувство своихъ (о, переводъ!) правъ, не указывая его обязанностей, предоставляетъ его собственнымъ его силамъ и вмѣсто всякаго правительства провозглашаетъ полный произволъ.

«Принципъ братства состоитъ въ томъ, что онъ, считая солидарными членовъ великой семьи, стремится организовать общества, дѣло человѣка, по образцу тѣла человѣческаго, которое есть дѣло божіе, и основываетъ правящую власть на убѣжденіи, на добровольномъ согласіи сердецъ.

«*Авторитетъ* былъ приложенъ къ дѣлу католичествомъ съ удивительнымъ блескомъ; онъ преобладалъ до Лютера.

«*Индивидуализмъ*, провозглашенный Лютеромъ, развился съ непреодолимой силой и, освободившись отъ религіознаго элемента, восторжествовалъ во Франціи при посредствѣ публицистовъ учредительнаго собранія: онъ правитъ нашимъ временемъ; онъ есть душа вещей.

Братство, провозглашенное мыслителями партіи *горы*, исчезло тогда среди бури и въ настоящее время является намъ еще только въ дали идеала; но всѣ великія сердца призываютъ его, и уже оно занимаетъ и озаряетъ самыя высшія умственныя сферы.

«Между этими тремя принципами первый порождаетъ угнетеніе посредствомъ подавленія личности; второй ведетъ къ угнетенію посредствомъ анархіи; одинъ только третій посредствомъ гармоніи производитъ свободу».

И такъ исторія человѣчества состоитъ въ борьбѣ и послѣдовательной смѣнѣ принциповъ авторитета, индивидуализма и братства или ассоціаціи, какъ выражается безразлично Луи Бланъ. Это положеніе удовлетворяетъ основному требованію всякой исторической теоріи, въ силу котораго разноцвѣтныя арабески исторіи должны быть сведены къ возможно малому количеству общихъ началъ; условіе необходимое, потому что въ

противномъ случаѣ грубый глазъ человѣческій не въ состояніи оріентироваться въ событіяхъ. Но какимъ путемъ дошелъ Луи Бланъ до своего обобщенія? Гдѣ ручательства за его правильность? Дѣйствительно ли, съ какой точки зрѣнія и почему, принципы авторитета, индивидуализма и братства суммируютъ собою всю сложную сѣть борящихся въ обществѣ началъ? Все это вопросы весьма естественные, и однако Луи Бланъ не даетъ на нихъ никакого отвѣта и, повидимому, даже не подозрѣваетъ ихъ возможности. Эти вопросы не составляютъ пустой, педантической придирки, потому что еслибы Луи Бланъ попытался отвѣтить на нихъ, хотя бы только самому себѣ, онъ, безъ сомнѣнія, увидѣлъ бы нѣкоторыя слабыя стороны своей, во всякомъ случаѣ замѣчательной, исторической теоріи.

Вглядываясь въ проведенную схему, нетрудно замѣтить, что она составилась изъ разрозненныхъ, не доваренныхъ элементовъ, не связанныхъ цементомъ окончательной обработки. Это не картина, а подмалевокъ. Схема какъ бы задернута туманомъ, скрывающимъ нѣкоторыя очертанія предметовъ и вообще придающимъ имъ какой-то смутный характеръ. Всякій, самостоятельно мыслившій, знаетъ, что въ извѣстномъ фазисѣ развитія, обобщенія отличаются именно такимъ смутнымъ характеромъ. Отрывочныя впечатлѣнія, иногда богъ-вѣсть гдѣ и когда полученныя, чувства, желанія, мысли ассоціируются, группируются, общіе контуры намѣчены, нѣкоторыя частности рисуются ярко и живо, другія умъ тщетно старается уловить, здѣсь чего-то не достаетъ, тамъ что-то лишнее. Но вотъ мало-по-малу возстановляются правильныя пропорціи, вся картина понемногу выясняется, мысль проходитъ ее еще разъ, и наконецъ теорія готова. Теорія Луи Блана неготова, она дана въ полу-сыромъ видѣ. Совсѣмъ не то мы видимъ въ философіи исторіи, напримѣръ, Конта, который рѣзко и опредѣленно беретъ за центръ изслѣдованія интеллектуальный элементъ, показываетъ, почему онъ поступаетъ такимъ образомъ, и систематически связываетъ развитіе этого элемента съ развитіемъ другихъ соціальныхъ факторовъ; или даже въ болѣе узкой, но все-таки болѣе отчетливой философіи исторіи Лассаля, отправляющейся отъ имущественныхъ отношеній. Теологія, метафизика и наука, точно также, какъ землевладѣніе, капиталъ и трудъ, суть категоріи однородныя, соизмѣримыя. Принятые же Луи Бланомъ три принципа, если и приведены къ одному знаменателю, то на совершенно частномъ, хотя и весьма важномъ въ практическомъ отношеніи пунктѣ, на предѣлахъ дѣятельности правительства. Во всемъ же остальномъ они мало согласованы, и не видно той общей почвы, на которой могутъ выясниться ихъ различія. Что это три дѣйствительно различныхъ принципа,—съ этимъ всякій согласится. Но мало ли различныхъ вещей, которыя однако, вслѣдствіе своей несоизмѣримости, вовсе не подлежатъ сопоставленію! Принципы авторитета, индивидуализма и братства, какъ они выше очерчены, покоятся на различныхъ, неоднородныхъ плоскостяхъ и потому суть ихъ различія остается невыясненною. Луи Блану надлежало завершить свое дѣло установкою ихъ на одной и той же плоскости, на одномъ и томъ же теоретическомъ основаніи. Но онъ довольствуется первыми и сравнительно незначительными услугами, которыя оказываетъ не доваренная теорія, и торопится пустить ихъ въ оборотъ, т.-е. окончательно приложить ихъ къ міру конкретныхъ явленій. Здѣсь, вслѣдствіе упомянутыхъ уже особенностей Луи Блана, какъ мыслителя, дѣло идетъ успѣшнѣе, хотя опять-таки неясность отвлеченныхъ началъ не можетъ не отзываться и здѣсь.

Обратимся и мы въ міръ конкретныхъ явленій, какъ онъ рисуется Луи Блану. Разсмотримъ послѣдовательно частности фактическаго осуществленія принциповъ авторитета, индивидуализма и братства. Замѣтимъ однако, что Луи Бланъ ограничиваетъ свой обзоръ почти исключительно исторіей Франціи. Это, конечно, неудобство, съ которымъ можно однако помириться: Франція—старшій членъ семьи европейскихъ народовъ, старшій, если не по возрасту, то по вынесеннымъ ею страданіямъ и видѣннымъ ею радостямъ, по жизненному опыту. Ни одинъ народъ не пережилъ всего, что пережила Франція, и ни одинъ народъ не можетъ выставить ничего такого, что не было бы пережито Франціей. Поэтому ея судьбы наиболѣе поучительны. Болѣе достойно сожалѣнія то обстоятельство, что Луи Бланъ, можетъ быть считая пѣсенку принципа авторитета спѣтою и во всякомъ случаѣ не видя въ немъ опаснаго соперника принципу братства, не идетъ въ глубь временъ полновластнаго господства авторитета. Онъ поднимаетъ занавѣсъ исторіи уже въ моментъ его разложенія. Не будемъ и мы пытаться реставрировать картину господства принципа авторитета вполнѣ. Подробности ея гораздо лучше выяснятся для насъ при изложеніи развитія и постепеннаго усиленія принципа индивидуализма. А пока мы ограничимся нѣсколькими чертами.

Если мы, не довольствуясь блѣдными очертаніями принципа авторитета въ вышеприведенной схемѣ, обратимся къ Луи Бланову анализу конкретныхъ явленій, то найдемъ, что все значеніе этого принципа сводится

къ угнетенію личности. Луи Бланъ говоритъ это и прямо (напримѣръ, въ Исторіи великой революціи. I, 362). Личность подавлена природой, съ которой она еще не умѣетъ бороться. Прикованная къ землѣ, какъ къ единственному источнику своего существованія, не знающая промышленности, переходящей туда гдѣ лучше, личность терпѣливо сноситъ всякую тиранію. Въ сферѣ мысли она закована въ кандалы предразсудковъ и суевѣрія. Надъ ней высится двойная іерархія—свѣтская и духовная—завершающаяся королемъ или императоромъ и папою и каждый членъ которой сдерживается въ своемъ произволѣ только произволомъ высшаго члена. Власть принадлежитъ различнымъ степенямъ землевладѣнія и духовнаго званія. Война и молитва, въ перемежку съ дикимъ развратомъ, и земледѣльческій трудъ,—вотъ преобладающія занятія въ эту пору. Народъ даетъ на государственныя нужды свое имущество, дворянство свою кровь, а духовенство свои молитвы,—такъ пояснилъ однажды одинъ архіепископъ. Въ сферѣ едва развитой промышленности личность угнетена цеховой системой, безчисленными таможнями и тяжелыми налогами. Личность — ничто, и въ сферѣ гражданскаго и уголовнаго права понятіе «терпимости» не существуетъ. Изо всего этого образуется цѣльная, плотная система, покоющаяся на общихъ вѣрованіяхъ и учрежденіяхъ и потому прочная. Она не воплощалась, правда, въ единствѣ политическомъ, но это только способствовало ея прочности. «Вообразите себѣ — говоритъ Луи Бланъ — страну съ централизаціей, развившейся до излишества; власть въ ней будетъ сильна все время, пока она будетъ существовать. Но для измѣненія такого общества достаточенъ только одинъ ударъ. Феодальное общество имѣло тысячи головъ и невозможно было поразить ихъ однимъ ударомъ. Въ періодъ отъ X до XVI вѣка сколько было частныхъ потрясеній и послѣдовательныхъ толчковъ! И однако же феодализмъ держался все время; и въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Всѣ эти сеньоры жили среди своихъ земель разъединенно въ своихъ укрѣпленныхъ замкахъ; революціи должны были быть мѣстными, какъ сама тиранія, вызывавшая ихъ» (Исторія великой революціи. I, 131).

Однако, пробилъ наконецъ часъ и для удивительной феодально-католической машины. Первый грозный ударъ былъ нанесенъ ей Лютеромъ, провозвѣстникомъ принципа индивидуализма. Дѣло было, собственно говоря, на мази и безъ Лютера. «Относительно фактовъ, которые должны были взволновать половину міра, замѣчаетъ по этому поводу Луи Бланъ, — что могло значить поведеніе нѣсколькихъ людей, ихъ благоразуміе или глупость? Каждый движетъ и соединяетъ по произволу песчинки на морскомъ берегу, но никто не можетъ ни ускорить, ни замедлить наступленіе часа восходящаго прилива». Цѣлый рядъ причинъ, неслышныхъ и невидимыхъ, подтачивалъ со всѣхъ сторонъ принципъ авторитета. Развивалась наука, развивалась промышленность; продажность и развратъ римской куріи росли; короли, за деньги или изъ политическихъ видовъ, подавали руку общинамъ, боровшимся съ феодалами; ереси колебали авторитетъ церкви; дворянство, разоряясь на рыцарскія потѣхи, дробило свои земли и тѣмъ нарушало территоріальную іерархію—основу іерархіи феодальной и т. д. Но лютеровскій погромъ былъ первымъ крупнымъ, на весь міръ раздавшимся ударомъ.

III.

Лютеръ возсталъ противъ католическаго преданія, во имя личнаго индивидуальнаго права всякаго—обсуждать вопросы, принимавшіеся дотолѣ на вѣру, во имя свободы совѣсти и свободы изслѣдованія. За нимъ послѣдовали другіе реформаторы. Но не смотря на бурное проявленіе этого движенія, оно далеко не было радикальнымъ, даже съ точки зрѣнія принципа индивидуализма. Личность освобождалась пока далеко не вполнѣ. Съ одной стороны, Лютеръ отчасти подновилъ одряхлѣвшія основы старыхъ вѣрованій и, такимъ образомъ, задержалъ моментъ окончательнаго ихъ паденія. Съ другой стороны, онъ ограничился въ своихъ нападкахъ спеціально теологическою, церковною стороною принципа авторитета, тогда какъ свѣтскіе его элементы имъ не только не тревожились, но еще закрѣплялись. Если онъ и вступалъ въ горячую борьбу, напримѣръ, съ Генрихомъ VIII англійскимъ, то единственно какъ съ теологомъ. Лютеръ желалъ, какъ выражается Луи Бланъ, «свободнаго христіанина, но порабощеннаго человѣка». Всею своею дѣятельностью Лютеръ какъ бы пародировалъ слова Христа: «Царство мое не отъ міра сего». Это была дѣятельность глубоко непослѣдовательная по своей односторонности, ибо различныя стороны принципа авторитета тѣсно связаны между собой, и положеніе Рима подкапывало всю феодально-католическую организацію. Еще непослѣдовательнѣе была программа Кальвина. Его проповѣдь свѣтской власти, «столь же необходимой для людей, какъ хлѣбъ, вода, солнце и воздухъ»; его нетерпимость, теоретизированная и практически выразившаяся сожженіемъ Серве и т. п.; его взглядъ на аристократію, какъ на лучшую форму правле-

нія, его раздѣленіе людей на отъ вѣка избранныхъ и отъ вѣка осужденныхъ, — все это было далеко отъ подвижного, самоувѣреннаго, самодѣятельнаго, анархическаго духа нараставшаго индивидуализма, все это были детали принципа авторитета, хотя Кальвинъ и былъ реформаторомъ. И этимъ только и можно объяснить то любопытное обстоятельство, что кальвинизмъ, продуктъ борьбы съ отживающимъ феодально-католическимъ принципомъ, былъ введенъ во Францію военнымъ феодализмомъ. Такъ смотритъ на дѣло Луи Бланъ. Бокль совершенно игнорируетъ это важное обстоятельство, когда голословно или по крайней мѣрѣ на самыхъ поверхностныхъ основаніяхъ утверждаетъ, что кальвинизмъ по существу своему демократиченъ (Исторія цивилизаціи въ Англіи, 634).

За то Бокль указываетъ другое важное обстоятельство изъ исторіи французскаго протестантизма, упущенное изъ виду Луи Блапомъ, именно, что впослѣдствіи, при Генрихѣ IV и Людовикѣ XIII, когда улеглись страсти, вызванныя реформаціонной бурей, и земные интересы вступили въ свои права, знатнѣйшіе французскіе дворяне стали вновь обращаться въ католичество изъ-за личныхъ выгодъ. Всѣ эти герцоги Ледигьеры, Буйльоны, Ла-Тремуйли и проч. практически исправляли непослѣдовательность Кальвина; они шли туда, гдѣ принципъ авторитета, кость отъ кости и плоть отъ плоти котораго они составляли, осуществлялся полнѣе и ярче.

Какъ бы то ни было, но цѣльная ткань средневѣковой жизни была разорвана. Въ лицѣ папы потерпѣла пораженіе самая уважаемая форма принципа авторитета, и это не могло не отозваться на другихъ сторонахъ жизни. Провозглашенное реформаціей индивидуальное право, право угнетенной авторитетомъ личности не замедлило заявить себя и въ политической сферѣ. За палой его ударамъ подверглись короли. Этимъ дѣломъ занялся цѣлый рядъ публицистовъ XVI столѣтія, вспоенныхъ реформаціей. Одинъ изъ нихъ говоритъ: «Не должно повиноваться властямъ, когда онѣ приказываютъ что-нибудь противорелигіозное или безчестное; а подъ безчестнымъ нужно понимать то, что́ нельзя исполнить, не нарушая своего призванія, общественнаго или частнаго». Но кто же будетъ судить, нарушается ли исполненіемъ приказанія власти призваніе личности? Сама личность, самъ индивидуумъ, дотолѣ безмолвный предъ велѣніями Бога и государя. Другой публицистъ утверждаетъ, что «противъ государя, узурпатора или нѣтъ, право сопротивленія мечемъ принадлежитъ всякому частному человѣку, имѣющему призваніе отъ Бога». Но авторитетъ Бога тутъ, очевидно, не причемъ. Не особеннаго какого-либо знаменія Божія должна ждать, по этой теоріи, личность для разрѣшенія своихъ сомнѣній. Личность сама становится судьей призванія, и сама въ себѣ несетъ право сопротивленія. «Никто не рождается королемъ, — говоритъ третій протестантскій публицистъ, — никто не бываетъ королемъ самъ по себѣ, никто не можетъ царствовать безъ народа». Четвертый высказывается за наслѣдственную монархію, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, требуетъ права смѣнять династію, для того, «чтобы, когда король будетъ уклоняться отъ обязанностей своего сана, то народы могли ему показать, что существуетъ разница между владѣніемъ помѣстьемъ и между обязанностью и службой управленія».—«Прослѣдите ходъ этихъ идей чрезъ всю новую исторію, замѣчаетъ Луи Бланъ, и вы отъ 1588 года придете къ 1830». И дѣйствительно, сходство между этими идеями XVI столѣтія и доктринами Монтескьё, Констана и ихъ послѣдователей— полное, даже до подробностей вродѣ преклоненія передъ конституціонными формами Англіи. Изъ замѣчательныхъ публицистовъ XVI столѣтія, только одинъ Боденъ пытался возстать на защиту колеблющагося принципа авторитета. Но индивидуализмъ быстро и рѣшительно шелъ впередъ, проникая все въ новыя сферы.

Въ лицѣ Монтеня онъ проникъ въ среду нравственной философіи. Скептикъ, отрицающій и осмѣивающій все, чѣмъ былъ гордъ человѣкъ временъ принципа авторитета; блестящій эгоистъ, проповѣдующій удаленіе отъ общества ради личнаго спокойствія и рекомендующій современному ему человѣку, человѣку только-что вырвавшемуся изъ путъ авторитета, замкнуться въ своей личности и въ ней искать полнаго удовлетворенія,—таковъ этотъ философъ индивидуализма. Рядомъ съ нимъ стоитъ менѣе глубокій, но не менѣе вліятельный, грубый и цинический Рабле, настолько впрочемъ темный, что трудно рѣшить — что́ хотѣлъ онъ сказать, влагая въ уста своего Панурга знаменательныя слова: «дѣлай, что хочешь». Во всякомъ случаѣ, однако, сатира это или программа,—въ этихъ словахъ заключалось знаменіе времени, времени возстанія личности противъ всякихъ стѣсненій.

Индивидуализмъ дружно надвигался, со всѣхъ сторонъ напирая на авторитетъ. Онъ все болѣе и болѣе сплачивался, между тѣмъ какъ въ противномъ лагерѣ господствовалъ разладъ, вслѣдствіе ударовъ, нанесенныхъ цѣльности феодально-католической организаціи. На защиту принципа авторитета поднялись его естественные столпы — дворян-

ство и духовенство, составивъ союзъ подъ главенствомъ Генриха Гиза и потомъ герцога Майенскаго. Филиппъ II испанскій обѣщалъ лигѣ свою помощь; папа посылалъ ей свои благословенія. Но обстоятельства были такого рода, что члены лиги проповѣдывали, что «воля божія дѣлаетъ королей, а эта воля божія есть гласъ народа, который ее провозглашаетъ»; что «король еретикъ, король преступникъ, могутъ и должны быть низлагаемы». Принципъ авторитета фатально шелъ къ своему окончательному разложенію. Свѣтскій и духовный элементы его вступили въ дѣроковую борьбу между собой. Это не было новостью. Доктрина двухъ мечей, врученныхъ Богомъ папѣ и императору, власти духовной и свѣтской, была давно поколеблена практически. Но въ былыя времена для самаго принципа авторитета было неважно, кто побѣдитъ — Генрихъ VII или Гильдебрандтъ. Одинъ дѣйствовалъ солдатами, другой громилъ отлученіями. Это была домашняя борьба, элементы которой не выходили изъ предѣловъ господствующаго принципа. Здѣсь мы видимъ совсѣмъ другое. Въ борьбу вовлечены новые элементы и результаты выходятъ совершенно парадоксальные. Побѣждаетъ папа, потому что Генрихъ IV (или «князь Беарне», какъ выражается переводчикъ перваго тома Исторія революціи) отрекается для трона отъ ереси кальвинизма. Но за этой побѣдой скрывается полное пораженіе. Знаменитыя слова «князя Беарне»: «Парижъ стóитъ католической обѣдни», одни уже эти слова показываютъ, что вмѣстѣ съ Генрихомъ IV на престолъ вступаетъ не только религіозная терпимость, а религіозный индиферентизмъ. Генрихъ IV откликнулся Вольтеромъ, а за Вольтеромъ слѣдовали Гельвецій, Гольбахъ, Ла-Меттри.

Разложеніе принципа авторитета шло своимъ чередомъ и другими путями, хотя и тутъ временно побѣду одерживали его же собственные элементы. И тутъ въ борьбу были вовлекаемы элементы новые. Было время, когда феодальная система сама въ себѣ носила гарантіи равновѣсія. Это была федерація людей занятыхъ исключительно войной и іерархически расположенныхъ, такъ что вассалъ, которому грозила опасность отъ непосредственно надъ нимъ стоящаго сюзерена, обращался за помощью къ еще болѣе высоко стоящему сеньору; а послѣдній имѣлъ прямой интересъ оказать ему свое покровительство. Такимъ образомъ, не смотря на постоянныя распри, равновѣсіе въ общинѣ сохранялось. Но вотъ, рядомъ съ укрѣпленными феодальными замками, выросли мало по малу города, занятые мирными промышленными и торговыми жителями—буржуазіей. Города или находились въ зависимости отъ сеньоровъ, или составляли муниципіи, т.-е. управлялись сами собой. Постоянно терпя отъ буйныхъ и хищныхъ феодаловъ всяческія насилія, мирные буржуа обращались за помощью къ королямъ, которые представляли въ феодальной системѣ только высшую ступень, совершенно однородную съ остальной лѣстницей. Короли были тѣмъ болѣе не прочь оказать услугу городамъ, что въ нихъ, не смотря на грабежи феодаловъ, постепенно и постоянно накапливались большія богатства, и слѣдовательно, имѣлась возможность оплатить услугу. Но короли дѣлали больше. Они, за деньги или за военную помощь, давали городамъ право силою оружія сопротивляться феодаламъ. Такимъ образомъ возникли общины, которыя Луи Бланъ строго отличаетъ отъ муниципій. Подъ общиной онъ разумѣетъ — и очень остроумно доказываетъ вѣрность своего воззрѣнія—союзъ горожанъ, организованный на военный ладъ для борьбы съ феодалами, «военную ассоціацію, возникшую изъ узаконеннаго возстанія буржуа противъ сеньоровъ». Короли противопоставляли такимъ образомъ военной силѣ феодаловъ, военную организацію буржуазіи. Но это былъ элементъ, чуждый принципу авторитета, военная организація буржуазіи имѣла только оборонительный характеръ. Занятія, чувства, идеалы буржуазіи не имѣли ничего общаго съ феодализмомъ. И она помогла королямъ ниспровергнуть феодализмъ, какъ своими собственными, присущими ей мирными средствами, такъ и средствами военными, заимствованными у принципа авторитета. Поэтому усиленіе буржуазіи идетъ рядомъ съ процессомъ объединенія государства, «собираніемъ земли» и ростомъ монархической власти. За деньги или изъ политическихъ видовъ французскіе короли, и въ особенности Филиппъ Красивый, ввели въ домашнія распри, не сходившія съ почвы авторитета, новый элементъ. Запрещеніе частныхъ войнъ между феодалами, отчужденіе и дробленіе дворянскихъ земель, дарованіе дворянскихъ грамотъ не дворянамъ,—всѣ эти мѣры были выгодны для развитія монархической власти, но вмѣстѣ съ тѣмъ и для буржуазіи. И хотя ближайшимъ образомъ, паденіе феодализма доставило торжество монархіи, но недалеко было уже время, когда съ ней вступитъ въ борьбу и побѣдитъ покровительствуемая ею буржуазія. Но только послѣ окончательнаго низверженія феодализма, буржуазія, за выпаденіемъ промежуточнаго звена, становится лицомъ къ лицу съ монархіей и принимаетъ относительно ея враждебное положеніе. До тѣхъ же поръ интересы ихъ идутъ рука объ руку. Такъ учрежденіе общихъ собраній сословій съ допуще-

ніемъ на нихъ представителей буржуазіи, было невыгодно ни для духовенства, ни для дворянства, такъ какъ на этихъ собраніяхъ третье сословіе публично доводило до свѣдѣнія верховной власти ихъ злоупотребленія. Но они были выгодны для монархіи, ибо парализовали значеніе провинціальныхъ собраній, гдѣ царили феодалы. Что касается буржуазіи, то фактически она извлекала мало пользы для себя изъ этихъ собраній вплоть до 1789 года, но они имѣли для нея важность какъ правовый институтъ, не говоря уже о томъ, что буржуазія была не менѣе центральной власти заинтересована въ униженіи феодализма. Временная тождественность интересовъ буржуазіи и монархіи была до такой степени характерна, что ею окрашиваются самые, повидимому, не подходящіе моменты французской исторіи. Въ этомъ отношеніи особенно любопытно правленіе Ришелье. Этотъ непреклонный человѣкъ, находившій, что продажность должностей имѣетъ ту хорошую сторону, что устраняетъ людей низкаго происхожденія, всегда и систематически, по принципу предпочитавшій, при равенствѣ другихъ условій, дворянина недворянину; сравнивавшій народъ съ мулами, которые портятся отъ бездѣйствія; человѣкъ, слѣдовательно, лично далеко не расположенный къ буржуазіи, — всею своею дѣятельностью только расчищалъ путь для ея тріумфальнаго шествія въ исторіи. Преслѣдуя феодализмъ, ради чисто государственнаго интереса, онъ только временно оказывалъ услугу абсолютизму. Въ концѣ-концовъ, плоды его энергической работы собиранія земли достались буржуазіи. Да и при жизни его, буржуазія не могла не рукоплескать паденію феодальнаго дворянства, стѣснявшаго ея мирныя занятія своимъ дикимъ военнымъ произволомъ и возмущавшаго ее своею надменностью. На общемъ собраніи сословій 1614 года дворянство объявило, что между нимъ и третьимъ сословіемъ существуетъ такая же разница, какъ между господиномъ и слугой. Ришелье, сбивая спѣсь съ этого господина, тѣмъ самымъ уже поднималъ значеніе слуги. Политическія и военныя соображенія побудили Ришелье заботиться о флотѣ. Но флотъ вызвалъ колоніи, колоніи—торговлю, торговля—ростъ буржуазіи. Даже слабости Ришелье шли на благо грядущему принципу индивидуализма. Страшный кардиналъ былъ литераторомъ и считалъ себя талантомъ. Отсюда его покровительство наукѣ и литературѣ, хотя въ своемъ политическомъ завѣщаніи онъ, между прочимъ, пишетъ: «если-бы литература была профанизована предоставленіемъ ея всякаго рода умамъ, то мы увидѣли бы больше людей, способныхъ представлять сомнѣнія, чѣмъ людей, способныхъ разрѣшать ихъ, и многіе были бы способны болѣе сопротивляться коронамъ, чѣмъ защищать ихъ». Ришелье основалъ первую французскую политическую газету. Это была газета правительственная, долженствовавшая служить новымъ орудіемъ абсолютизму; но впослѣдствіи это орудіе обратилось на службу буржуазіи и противъ монархіи. Ришелье, не смотря на свою кардинальскую шапку, можно сказать, не имѣлъ религіозныхъ интересовъ. Дома онъ преслѣдовалъ протестантовъ изъ видовъ государственно-полицейскихъ, а за границей, изъ такихъ же мірскихъ соображеній, такихъ же мятежныхъ протестантовъ поддерживалъ и деньгами, и оружіемъ. Это было также на руку принципу индивидуализма.

Здѣсь Луи Бланъ дѣлаетъ пропускъ, весьма важный для его собственной теоріи. Онъ ни единымъ словомъ не помянаетъ знаменитаго современника Ришелье—Декарта, не менѣе его послужившаго дѣлу индивидуализма. До сихъ поръ для читателя, можетъ быть, не совсѣмъ ясно мѣсто, занимаемое экономическими и политическими интересами буржуазіи въ системѣ индивидуализма. Протестантизмъ провозгласилъ право личности обсуждать религіозные вопросы. Публицисты XVI вѣка провозгласили право личности сопротивляться велѣніямъ земныхъ властей. Монтень совѣтовалъ личности замкнуться въ самой себѣ. Рабле разрѣшилъ личности «дѣлать, что она хочетъ». Аналогія и единство источника всѣхъ этихъ явленій очевидны. Во всѣхъ этихъ случаяхъ личность сбрасываетъ съ себя оковы авторитета и въ самой себѣ ищетъ и практической точки опоры, и нравственныхъ правилъ, и теоретическихъ посылокъ, вмѣсто того, чтобы искать ихъ, какъ прежде, при господствѣ принципа авторитета, внѣ себя. Экономическое же развитіе буржуазіи, какъ мы видѣли его до сихъ поръ, хотя и враждебно сталкивается съ принципомъ авторитета въ лицѣ феодализма, но вмѣстѣ съ тѣмъ тѣсно переплетается съ судьбами другой его формы—монархіи. Буржуазія продолжаетъ искать точки опоры внѣ личности, именно въ центральной государственной власти. Ея индивидуалистическій характеръ въ сферѣ экономической до сихъ поръ не выяснился. Впослѣдствіи она переведетъ слова Панурга: «дѣлай, что хочешь» формулой: «laissez faire, laissez passer». И въ этой смѣнѣ принципа централизаціи принципомъ невмѣшательства практически нѣтъ никакого противорѣчія: буржуазія пользовалась покровительствомъ государственной власти, пока въ немъ нуждалась, и стала его отрицать, когда эта нужда прекратилась. Въ этомъ отношеніи буржуазія послѣдовательна, какъ нельзя болѣе. Историческая особен-

ность экономическихъ и политическихъ интересовъ буржуазіи состоитъ въ томъ, что имъ пришлось долго засидѣться на борьбѣ съ формами или двумя степенями принципа авторитета. Эти интересы только гораздо позже получили возможность сформулировать свою частную доктрину и обнаружить вполнѣ свой истинный характеръ. Однако, и духовно-нравственная сторона индивидуализма знакома съ этой скачкой съ препятствіями, хотя и не въ такой степени. Отъ Лютера, хотя и провозгласившаго индивидуализмъ, но все-таки не отрицавшаго авторитета христіанства, до деиста Вольтера и атеиста Ла-Меттри—очень далеко. Весьма важно обозначить промежуточныя ступени этого пути, и Луи Бланъ дѣлаетъ большой недосмотръ, удѣляя такъ мало вниманія Декарту. Онъ упоминаетъ объ немъ позже только вскользь, именно говоря о нападкахъ на него Вольтера, причемъ Декартъ оказывается чуть не поборникомъ принципа авторитета. Но это несправедливо съ точки зрѣнія самого Луи Блана. Въ Декартѣ индивидуализмъ выразился гораздо рѣзче и глубже, чѣмъ въ Монтенѣ, не говоря уже о Рабле. Въ самомъ дѣлѣ, Декартъ систематически разрушалъ всѣ старыя вѣрованія, почерпнутыя изъ области авторитета. Онъ поставилъ Бога не въ началѣ силлогизма, какъ дѣлали средневѣковые схоластики, а напротивъ въ концѣ его; а посылкой этому силлогизму служило существованіе личности, существованіе его, Декартова, *я*. Онъ ищетъ доказательства бытія божія, не въ знаменіяхъ и чудесахъ и вообще не въ дѣлахъ божіихъ, а не выходя изъ предѣловъ личности, въ присущей ей идеѣ божества, и это для него единственный источникъ познанія Бога, какъ и всего міра. И вообще вѣра въ личность, въ ея самодѣятельность и самостоятельность выступаетъ въ философіи Декарта съ невиданною до тѣхъ поръ, и въ особенности въ этой области, силою. Къ этому слѣдуетъ прибавить его научныя заслуги, которыя сами по себѣ требуютъ бо̀льшаго вниманія къ нему, чѣмъ какое можетъ быть удѣлено Монтеню.

Но обратимся къ дальнѣйшему бѣглому обзору развитія индивидуализма.

Кольберъ еще усерднѣе Ришелье работалъ на буржуазію, имѣя въ виду все тотъ же чисто государственный интересъ. Это былъ не большой баронъ, какъ Ришелье, а чистокровный буржуа и по происхожденію, и по привычкамъ, и по наклонностямъ; не широкій, по энергическій, практическій дѣлецъ. Всю свою энергію онъ употребилъ на развитіе промышленности и торговли во Франціи. И это принесло свои плоды. Страна, дотолѣ преимущественно земледѣльческая, Франція именно съ Кольбера стала получать рѣзко промышленный характеръ, вслѣдствіе чего окончательно подрывался принципъ авторитета: дворянство, униженное Ришелье, теряло и ту долю своего значенія, которое оно имѣло въ качествѣ владѣльца недвижимой собственности. Правда, впослѣдствіи дѣятельность Кольбера вызвала упреки заднимъ числомъ со стороны либеральной буржуазіи за свой покровительственный характеръ, но подъ этимъ покровительствомъ она все-таки выросла и окрѣпла. До какихъ размѣровъ доводилъ Кольберъ свое покровительство буржуазіи, можно видѣть изъ слѣдующаго примѣра. Онъ писалъ одному интенданту: «лучше позволяйте купцамъ немного обманывать себя, только не стѣсняйте торговлю».

Не менѣе Кольбера способствовалъ усиленію буржуазіи и его государь, хотя билъ, повидимому, въ совершенно другую сторону. Не смотря на блескъ и громъ своего самодержавнаго царствованія, не смотря на знаменитую формулу: «государство—это *я*», Людовикъ XIV былъ прямой предтеча революціи, которая устами Сіейса объявила, что государство — это буржуазія. Царствованіе Людовика XIV имѣло такой характеръ не только потому, что неизбѣжно должно было вызвать крутую реакцію абсолютизму. Помимо этого, онъ покончилъ счеты монархіи съ дворянствомъ, не прямымъ истребленіемъ, какъ дѣлалъ Ришелье, и не заботами о промышленности на манеръ Кольбера, а поглощая дворянство въ своей самодержавной особѣ, превращая его въ служилое сословіе и въ придворныхъ прихвостней. Расточительностью своей, своимъ трехъ-милльярднымъ долгомъ онъ отдался въ руки богатой буржуазіи. Своими раздорами съ папой—провозглашеніемъ національной французской церкви, превосходства соборовъ надъ папой и т. п. онъ опять-таки колебалъ принципъ авторитета. И послѣ его смерти оказалось, до какой степени онъ успѣлъ расшатать его. Это оказалось прежде всего въ спорѣ легитимированныхъ принцевъ, то-есть незаконнорожденныхъ дѣтей Людовика XIV, съ принцами крови. Принцы крови отрицали права легитимированныхъ принцевъ на престолъ. Они утверждали, что «допустить къ коронѣ герцога Менскаго или графа Тулузскаго значитъ отнять у націи прекраснѣйшее изъ ея правъ, которое состоитъ въ томъ, что когда королевская фамилія угасла, то она можетъ располагать сама собой». Легитимированные принцы отвѣчали съ своей стороны, что они «по самой природѣ принадлежатъ царской крови; поэтому они входятъ въ договоръ, сдѣланный націей съ царствующимъ домомъ. Давая корону извѣстному дому, народы имѣли въ виду утвержденіе своего

спокойствія и предполагали избѣжать этимъ неудобствъ выборовъ. Такимъ образомъ все, что устраняетъ прекращеніе царствующей фамиліи, должно считаться согласнымъ съ желаніемъ націи, сообразнымъ съ ея интересами». И далѣе: «Это дѣло можетъ быть рѣшено только совершеннолѣтнимъ королемъ или опредѣленіемъ трехъ сословій». Знаменательное препирательство, ясно свидѣтельствующее, что уже въ ту пору для Франціи миновалъ періодъ божественнаго права королей. На него не ссылаются ни принцы крови, ни легитимированные принцы. И тѣ, и другіе говорятъ о правахъ націи, о договорѣ націи съ царствующимъ домомъ, о желаніяхъ націи, о трехъ сословіяхъ— и ни слова о божественномъ правѣ. Верховная власть общихъ собраній сословій была такимъ образомъ провозглашена у самыхъ ступеней трона самодержавнаго Людовика XIV.

Разразилась буря, вызванная финансовыми операціями Лау. Не смотря на относительную ея непродолжительность, она, по крайней мѣрѣ временно, вдохнула лихорадочную жизнь въ народъ. Передъ нами открылись новыя цѣли, новыя возбужденія, новыя страсти вполнѣ соотвѣтствовавшія нормальному тону буржуазіи. Превратить цѣлую націю въ акціонерную компанію, сдѣлать ее цѣликомъ націей купцовъ и промышленниковъ,—что болѣе этихъ плановъ, едва не приведенныхъ въ исполненіе, могло свидѣтельствовать о паденіи стараго военнаго міра, и что болѣе ихъ могло подходить къ характеру буржуазіи. Но, на пути къ осуществленію, предпріятія Лау тѣмъ не менѣе лопнули и лопнули, благодаря индивидуализму, съ которымъ они, повидимому, должны были бы идти рука объ руку. Извѣстно, какъ и почему это произошло. Планы Лау были въ высшей степени смѣлы и грандіозны. Онъ проектировалъ уничтоженіе налоговъ, займовъ и государственныхъ долговъ путемъ слитія капиталовъ и энергіи къ одному государственному центру, безъ запрещенія однако частной дѣятельности. Онъ началъ свое дѣло исподволь и быстро достигъ результатовъ изумительныхъ, но изъза которыхъ выглядывало уже паденіе его системы. Горячка ажіотажа, жажда обогащенія достигли небывалыхъ размѣровъ. Герцоги и поденщики, банкиры и куртизанки—всѣ сумасшествовали. Самъ регентъ, не говоря о знати, былъ директоромъ акціонерной компаніи. Но въ программу Лау входили вещи, не совсѣмъ подходившія къ такому настроенію. Онъ говорилъ: «деньги вы имѣете право брать и пропускать черезъ свои руки только для того, чтобы удовлетворять вашимъ потребностямъ и вашимъ желаніямъ, а помимо этого пользованіе ими принадлежатъ вашимъ согражданамъ, и вы не можете присвоить ихъ себѣ, не совершая общественной несправедливости и государственнаго преступленія. Деньги имѣютъ на себѣ знакъ государя, а не вашъ, чтобы показать вамъ, что онѣ принадлежатъ вамъ только путемъ циркуляціи, и что вамъ недозволительно присваивать ихъ въ другомъ какомъ-либо смыслѣ». Съ этимъ не могла примириться разбивающая всякія оковы личность. Индивидуалистическій характеръ историческаго момента сталъ выясняться. Вмѣсто того, чтобы оцѣнить призывъ Лау къ солидарности, буржуазія просто занялась биржевой игрой и, поторопившись реализировать выпущенныя Лау бумаги, подорвала дѣло. Безумная расточительность регента и миссисипцевъ—такъ прозвали членовъ основанной Лау компаніи—довершили паденіе системы. Буржуазія руководилась правилами: «каждый за себя» «и спасайся кто можетъ и какъ можетъ» *).

IV.

Всевозможные горючіе матеріалы были такимъ образомъ собраны подъ тронами папы и королей, подъ феодальными замками и монастырями. Оставалось приложить фитиль, сгруппировать эти матеріалы, дать имъ общую доктрину. Этимъ занялась блестящая, смѣлая, задорная литература XVIII вѣка.

Вольтеръ и Кене, Тюрго и Гельвецій, Гольбахъ и Даламберъ, Ла-Меттри и Монтескьё, не смотря на свои частные, такъ сказать, домашніе раздоры и разногласія, работали одному и тому же дѣлу: освобожденію личности и низверженію авторитета. Все было пущено въ ходъ для этой ломки: наука и насмѣшка, стихи и проза, метафизика и водевиль. Нетерпимость и фанатизмъ въ области мысли, абсолютизмъ въ политической сферѣ, монополія въ сферѣ экономической,—таковы были наличныя три уже распатанныя исторіей формы принципа авторитета, съ которыми приходилось бороться. Литература XVIII вѣка выставила противъ нихъ деизмъ Вольтера, отчасти перешедшій въ атеизмъ Гольбаха, конституціонализмъ Монтескье и либерализмъ экономистовъ. Около этихъ, болѣе или менѣе ясно очерченныхъ группъ работаютъ Фенелонъ, аббатъ Сенъ-Пьеръ, Бомарше, Беккаріа. Особо стоятъ Руссо, Морелли, Мабли. Борьба велась единодушно въ виду общей цѣли—свободы личности; но различные члены этой разрушительной ассоціаціи, подъ могучей рукой которой охотно склонялись и коронованныя головы, не предвидя

*) Любопытно, что уже по паденіи системы Петръ Великій приглашалъ Лау въ Россію для управленія ея финансами.

ея окончательныхъ результатовъ,—различно понимали предѣлы борьбы и направляли свои удары въ различныя стороны принципа авторитета. Вольтеръ, продолжая и логически развивая дѣло Лютера, отрицалъ христіанскаго и всякаго другого откровеннаго Бога, но признавалъ своего личнаго Бога, какимъ онъ рисовался ему, Вольтеру. Гельвецій и Гольбахъ боролись не только съ католичествомъ, какъ Лютеръ, не только съ христіанствомъ, какъ Вольтеръ, а и съ деизмомъ Вольтера. Вольтеръ гнулъ спину передъ всѣми государями Европы и предлагалъ имъ соединиться съ философами противъ священниковъ. Гольбахъ, къ ужасу Фридриха и Вольтера, доказывалъ, что дѣло государей и священниковъ общее. Вольтеръ носился съ своимъ дворянствомъ, Бомарше его осмѣивалъ. Монтескье, продолжая дѣло протестантскихъ публицистовъ XVI столѣтія, указывалъ на конституцію Англіи, какъ на идеалъ, и при этомъ опирался на тотъ принципъ, что «власть должна сдерживать власть». Вольфъ говорилъ о «врожденныхъ правахъ» личности, а тутъ же рядомъ отрицались врожденныя идеи. Физіократы требовали свободы личнаго труда и свободы распоряженія личною собственностью, но еще стояли одной ногой въ области принципа авторитета, принимая за центръ своей теоріи земледѣліе и землевладѣніе. Школа Гурне шла дальше, на мѣсто земли поставила капиталъ, на мѣсто не движимой собственности—болѣе способную къ освобожденію личности промышленность и торговлю и дала знаменитую формулу «laissez faire, laissez passer».

Все это были разногласія только относительно станцій, до которыхъ слѣдуетъ дойти по пути, всѣми единогласно принятому. Да здравствуетъ свобода! таковъ былъ общій бранный крикъ, къ которому жадно прислушивалась Европа. Да здравствуетъ *я*, личность, сбросившая съ себя оковы божественнаго права и таможенъ, абсолютизма и теологической морали, цеховъ и религіи. Прежде всего личность стремится развѣять ореолъ, окружающій старые символы и иллюзіи, все, передъ чѣмъ она до тѣхъ поръ дрожала, передъ чѣмъ она благоговѣла, чему молилась, чѣмъ гордилась! По мѣрѣ того, какъ личность топтала такимъ образомъ все, нѣкогда надъ нею тяготѣвшее, она становилась все смѣлѣе и проникалась все больше сознаніемъ своего верховнаго значенія. Она рѣшила, что завоюетъ міръ сама безъ всякой сверхъестественной или отъ земныхъ властей исходящей помощи. И въ то время, когда Вольтеръ вздыхалъ еще по меценатству Людовика XIV и «просвѣщенный деспотизмъ» поднималъ крупицы, падавшія съ роскошнаго стола мысли XVIII вѣка, Мирабо (отецъ) спрашивалъ: «что нужно для поддержанія благоденствія въ государствѣ?» и отвѣчалъ: «ничего». Все должно быть предоставлено самостоятельной, самодѣятельной личности; никакое вмѣшательство, хотя бы самое благонамѣренное, не должно стѣснять ея свободы. Божественное право совсѣмъ стушевывается передъ правомъ личности, правомъ индивидуальнымъ; велѣнія Бога уступаютъ мѣсто желаніямъ личности, съ которыми должны сообразоваться и положительныя законодательства. Прочь законы, запрещающіе лихоимство,—заимодавецъ вправѣ ставить условія ссуды, какія онъ хочетъ (Тюрго), точно также какъ берущій въ ссуду воленъ принимать или не принимать ихъ. Личность вправѣ запереться въ своемъ домѣ въ непогоду и не отворить ея для страдальца, стучащаго въ дверь (Морелли). Пусть религія предписываетъ накормить алчущихъ и напоить жаждущихъ, пусть то же предписываетъ обычная мораль: прерогативы личности стоятъ выше этихъ велѣній.

Мы подошли къ такой сторонѣ индивидуализма, которой еще не касались, и намъ придется подняться опять къ Лютеру, чтобы подвести полный итогъ. Но прежде чѣмъ пополнить такимъ образомъ нашъ бѣглый обзоръ развитія индивидуализма, необходимо сказать нѣсколько словъ о заключительныхъ главахъ перваго тома Исторіи великой революціи, содержащихъ оцѣнку доктринъ XVIII вѣка.

Читатель, безъ сомнѣнія, замѣтилъ уже сходство исторической теоріи Луи Блана съ философіей исторіи Конта, съ которою, впрочемъ, Луи Бланъ вовсе не былъ знакомъ. Дѣйствительно, періодъ принципа авторитета очевидно весьма близко подходитъ къ тому, что Контъ называетъ теологическимъ фазисомъ. При этомъ мы, разумѣется, не думаемъ сравнивать Луи Блана съ Контомъ ни относительно степени эрудиціи, ни относительно философской глубины, ни относительно наконецъ ясности, отчетливости міросозерцанія. Но тѣмъ не менѣе очевидно, что смутная картина Луи Бланова принципа авторитета и въ общемъ, и по многимъ деталямъ напоминаетъ картину Контова теологическаго фазиса. Труднѣе установить отношеніе метафизическаго фазиса къ періоду принципа индивидуализма, хотя и здѣсь, на первомъ же шагу бросается въ глаза то обстоятельство, что и тотъ, и другой ведутъ свое начало отъ Лютера. Но слѣдующія слова Конта значительно облегчаютъ сравненіе: «Для облегченія общей оцѣнки протестантизма (подъ протестантизмомъ Контъ разумѣетъ здѣсь все критическое направленіе отъ Лютера до философіи XVIII вѣка) мы можемъ свести его здѣсь къ безусловному догмату свободы личнаго из-

слѣдованія... Остальные существенные догматы революціонной философіи составляютъ не болѣе, какъ простые политическіе выводы изъ этого основного догмата, возвышающаго всякій индивидуальный разумъ на степень верховнаго судьи всѣхъ соціальныхъ вопросовъ» (Cours de philosophie positive. V, 448). Такимъ образомъ «индивидуализмъ» Луи Блана есть ничто иное, какъ эссенція «метафизики» Конта. Такая концентрація принципа обезпечиваетъ, повидимому, за Луи Бланомъ чрезвычайно выгодное положеніе. И дѣйствительно, напримѣръ, доктрины либеральныхъ экономистовъ гораздо полнѣе и всесторонѣе укладываются въ рамки «индивидуализма», чѣмъ «метафизики», куда ихъ относитъ Контъ. Далѣе, напримѣръ, между Вольтеромъ и Руссо разница, съ точки зрѣнія Конта, состоитъ только въ томъ, что одинъ избралъ предметомъ своихъ нападеній духовный, а другой—свѣтскій элементъ стараго общества. На самомъ дѣлѣ эта разница гораздо глубже; она не менѣе глубока, чѣмъ разница между Аристотелемъ и Платономъ. Этой глубинѣ различія соотвѣтствуетъ и исторія дальнѣйшаго развитія и примѣненія идей Вольтера и Руссо, ученики которыхъ уже въ слѣдующемъ поколѣніи встрѣтились какъ открытые враги и вражда эта все растетъ. Съ точки зрѣнія Луи Блана это обстоятельство можетъ быть весьма просто и удобно разъяснено. Но Луи Бланъ, вслѣдствіе упомянутой уже нами неясности отвлеченныхъ началъ, не могъ вполнѣ воспользоваться выгодами своего положенія. И понятно, что больше всего при этомъ должна была пострадать разработка того самаго элемента, которымъ особенно занятъ Контъ—элемента интеллектуальнаго. Изъ трехъ категорій Конта, которыми интеллектуальный элементъ исчерпывается, можно сказать, до дна, только теологіи можетъ быть указано опредѣленное мѣсто въ схемѣ Луи Блана, да и то, какъ увидимъ впослѣдствіи, не совсѣмъ. Что же касается метафизики и науки, то ихъ положеніе въ его системѣ весьма двусмысленно. Изъ людей положительной науки XVIII вѣка, Луи Бланъ упоминаетъ едва-ли не одного Бюффона, который является въ качествѣ противника принципа авторитета; но рѣшительно не видно, во имя чего ведетъ Бюффонъ свою борьбу, во имя ли индивидуализма или во имя братства, или же, наконецъ, что всего вѣрнѣе, ему, какъ и вообще наукѣ, просто нѣтъ мѣста въ томъ освѣщеніи, которое дастъ исторіи мысли Луи Бланъ. Его счеты съ метафизикой могли бы быть, повидимому, приведены въ бо́льшую ясность. Въ самомъ дѣлѣ, что́ такое метафизика, какъ не индивидуализмъ въ области отвлеченной мысли? Метафизикъ вѣритъ, что въ немъ самомъ, въ его личности лежитъ источникъ всякаго познанія; онъ вѣритъ, что его личность свободна отъ внѣшнихъ вліяній; онъ ставитъ наконецъ свою личность такъ высоко, что приписываетъ ей свойство проникать въ сущности вещей, независимо отъ ихъ феноменальнаго обнаруженія. Точки соприкосновенія индивидуализма и метафизики опредѣляются такимъ образомъ сами собой. Но Луи Бланъ ухитряется ихъ не замѣчать. Мы уже говорили о его небрежномъ отношеніи къ методологіи. Въ соединеніи съ поразительною ничтожностью выраженій (окончательно обезображенныхъ въ русскомъ переводѣ) это обстоятельство приводитъ его къ невообразимымъ путаницамъ. Вотъ образчикъ: «Стараясь потрясти репутацію Декарта, опровергая его метафизику, превознося Локка, проповѣдуя доктрину ощущеній, Вольтеръ былъ человѣкомъ своей эпохи и вѣрнымъ апостоломъ индивидуализма. Потому что если посредствомъ мысли человѣкъ исходитъ изъ себя и распространяется вовнѣ, то напротивъ посредствомъ ощущенія онъ все сводитъ къ себѣ. Возьмите философа, принимающаго сенсуализмъ и послѣдовательнаго въ своихъ убѣжденіяхъ: все существующее вокругъ него создано только для того, чтобы служить или нравиться ему. Солнце блеститъ въ небесахъ только для того чтобы черезъ чувство зрѣнія сообщить ему понятіе о свѣтѣ. Онъ становится фокусомъ во вселенной. Какая важность приписывается индивидууму! Но также какое поощреніе для эгоизма! По логикѣ этой системы не ждите отъ человѣка высокаго самоотверженія относительно отвлеченныхъ несчастій или отдаленныхъ отъ него страданій: сенсуалистъ имѣетъ только относительныя понятія; онъ интересуется единственно только тѣмъ, что́ его касается; онъ сочувствуетъ только видимымъ страданіямъ, только осязаемому несчастію; его потрясаютъ только стоны, поражающіе его ухо; его идеалъ переходитъ за предѣлы горизонта. Онъ не имѣетъ, если только его сердце не противорѣчитъ его теоріи, тѣхъ благородныхъ порывовъ, которые на крыльяхъ мысли съ безкорыстіемъ и быстротою ея полета переносятъ насъ выше чувственнаго міра и возносятъ насъ отъ окружающихъ ощущеній до тѣхъ вершинъ, съ которыхъ мы объемлемъ человѣчество» (Исторія великой революціи. I, 313). Или: «Такимъ образомъ въ книгѣ Гельвеція абсолютное было изгнано изъ міра. Истина, добродѣтель, самоотверженіе, героизмъ, умъ, геній, все признано относительнымъ; и такъ какъ каждый судитъ обо всемъ по себѣ и только по себѣ, то вслѣдствіе этого должно распасться всякое общество» (327), откуда слѣдуетъ, что книга Гельвеція есть «кодексъ индивидуализма». Пусть читатель

не подумаетъ, что несообразности приведенныхъ строкъ должны цѣликомъ пасть на переводчика. Правда, г. Антоновичъ сдѣлалъ въ этомъ отношеніи много, но главная доля грѣха все-таки лежитъ на самомъ Луи Бланѣ. Мы не станемъ разбирать всю эту путаницу и отмѣтимъ только слѣдующее. Въ сферѣ практической никто, можетъ быть, болѣе Луи Блана не ратовалъ противъ безусловнаго. Вся жизнь его прошла въ борьбѣ съ безусловною собственностью и безусловною свободою, съ безусловнымъ невмѣшательствомъ государства. Здѣсь его тонкое чутье подсказало ему, что погоня за абсолютомъ есть одинъ изъ наиболѣе характеристическихъ признаковъ индивидуализма. Здѣсь кровью и слезами обмывается абсолютъ, и Луи Бланъ отлично чуетъ его значеніе; онъ энергично заявляетъ, что понятія свободы, собственности, невмѣшательства, централизаціи — относительны. Но когда онъ встрѣчается съ тѣмъ же абсолютомъ въ области чисто-спекулятивной, въ области отвлеченной мысли, съ нимъ случается то же самое, что случалось съ Антеемъ всякій разъ, какъ Геркулесъ поднималъ его на воздухъ, отрывая отъ земли. Имъ овладѣваетъ полное безсиліе, и онъ отдѣлывается пустыми и противорѣчивыми фразами, такъ что вчужѣ становится обидно. Здѣсь онъ преклоняетъ передъ абсолютомъ колѣна, молится ему, ждетъ отъ него всякаго спасенія и страшно негодуетъ на тѣхъ, кто не согласенъ молиться вмѣстѣ съ нимъ. Въ его ни съ чѣмъ несообразныхъ фразахъ сквозитъ полнѣйшая невинность относительно вопроса о методахъ познаванія, т.-е. о путяхъ, которыми получаются нами познанія объ окружающемъ мірѣ и объ насъ самихъ. И это не проходитъ ему даромъ. Онъ, благодаря этой невинности, становится въ полное противорѣчіе съ самимъ собой и оказывается совершенно неспособнымъ къ послѣдовательному проведенію своей собственной и замѣчательной идеи. Онъ упрекаетъ философію XVIII вѣка въ томъ, что она будто бы ставила человѣка центромъ вселенной, что будто бы, по этой философіи, «все существующее вокругъ человѣка создано только для того, чтобы служить или нравиться ему; что солнце блеститъ въ небесахъ только для того, чтобы сообщить ему черезъ чувство зрѣнія понятіе о свѣтѣ». Упрекъ, по истинѣ изумительный, по своей чисто-фактической невѣрности и исторической несправедливости. Достаточно вспомнить Кандида. Философія XVIII вѣка главнымъ образомъ составляла крутую реакцію именно противъ идеи центральнаго положенія человѣка во вселенной, идеи, существенно характеристичной для періода принципа авторитета. Въ этотъ періодъ личность угнетенная дѣйствительно полагала, что и солнце блеститъ въ небесахъ, и все остальное создано спеціально для нея. Стряхивая съ себя иго, личность, напротивъ, отказывалась отъ мысли о покровительствѣ, оказываемомъ ей природою или ея творцомъ. Она, правда, какъ замѣчаетъ Луи Бланъ, осталась при той мысли, что «все хорошо, что̀ существуетъ». Но на это есть особыя причины, совершенно удобно уловимыя съ точки зрѣнія самого Луи Блана, если только привести ее въ ясность.

Личность не только во времена индивидуализма, а и во всѣ времена ставитъ себя на первый планъ, но самый этотъ первый планъ, по мѣрѣ развитія личности, измѣняетъ свое положеніе. На личности временъ авторитета лежитъ тяжелое ярмо, къ которому она совершенно привыкла, съ которымъ она и появляется изъ праха, и обращается въ него. Но замѣтьте, какъ вмѣстѣ съ тѣмъ высокомѣрна эта забитая, цѣлующая свои кандалы личность. Она воображаетъ, что для нея и вода отдѣлена отъ земли, и солнце, и луна, и звѣзды сотворены, и растенія, и гады, и рыбы, и птицы. Она воображаетъ, что когда земной шаръ пустился въ пространство выдѣлывать свое монотонное вращательное движеніе, ему было сказано: да правда и милость для людей царствуютъ на тебѣ; что для поддержанія этой правды въ міръ посланы страшныя кары и великія радости. Высокомѣріе возмутившейся личности временъ индивидуализма направлено совсѣмъ въ другую сторону. Она отказывается цѣловать кандалы, смѣется надъ иллюзіями принципа авторитета, топчетъ ихъ и требуетъ себѣ безусловной свободы. Изъ себя самой она строитъ весь міръ, въ себѣ самой, въ своемъ «духѣ» ищетъ источника своихъ познаній и своихъ правъ. Но эта революціонная работа, это бурное возстаніе не мѣшаетъ личности признавать, что «все хорошо, что̀ существуетъ». Личность временъ индивидуализма смѣется надъ вѣрованіемъ, что Творецъ рѣшилъ: да правда и милость царствуютъ на землѣ, но вѣритъ, что и безъ этого, какъ и безъ всякаго другого посторонняго вмѣшательства, и даже непремѣнно безъ вмѣшательства, все само собой идетъ какъ по маслу, единственно свободнымъ движеніемъ личности. Забѣжимъ немного впередъ. Изъ-за принципа индивидуализма выглядываетъ уже другой, извѣстная сторона котораго можетъ совпасть съ принципомъ братства Луи Блана. Этотъ новый принципъ отчасти продолжаетъ дѣло индивидуализма, отчасти же составляетъ реакцію противъ него. Въ этотъ періодъ личность вновь обращается къ внѣшнему міру для добычи своихъ познаній и правъ. На этотъ разъ она черпаетъ свои познанія изъ реальнаго міра, изъ міра явленій, а не изъ фикцій, какъ въ періодъ авторитета, и не

изъ самой себя, какъ въ періодъ индивидуализма. Точно также права свои она почерпаетъ не изъ чуждыхъ человѣку велѣній и опять-таки не изъ самой себя, а изъ кооперації, изъ ассоціаціи, какъ сказалъ бы Луи Бланъ. Предложеніе, подлежащія котораго суть: правда и милость, а сказуемое да царствуютъ, это предложеніе она переноситъ изъ прошедшаго и настоящаго на будущее. Она говоритъ: упорнымъ трудомъ я добьюсь того, что будутъ на землѣ царствовать правда и милость. Это тоже достаточно высокомѣрно. Гдѣ залогъ бо́льшей основательности этого высокомѣрія? Залогъ этотъ заключается въ томъ, что только въ третьемъ изъ указанныхъ моментовъ своего развитія личность приводитъ себя въ ясность. Ибо и въ періодъ принципа авторитета личность черпала свои познанія изъ міра реальнаго, а свои права изъ кооперації, но реальный міръ былъ ей мало доступенъ, а формы кооперації были грубы, вслѣдствіе чего личности казалось, что она зависитъ отъ языческихъ боговъ и что эти же боги составляютъ источникъ ея правъ. Точно также въ періодъ индивидуализма личности только казалось, что она добываетъ свои познанія изъ самой себя, а не изъ внѣшняго міра, и что права ея даны ея собственною сущностью, а не формою кооперації. Послѣдній моментъ развитія личности свободенъ отъ этихъ иллюзій.

Вотъ краткое и потому, можетъ быть, не совсѣмъ ясное—оно станетъ намъ яснѣе впослѣдствіи—резюме исторической теоріи, какая можетъ быть построена по указаніямъ Луи Блана. Указанія эти, какъ мы уже говорили, крайне сбивчивы, неопредѣленны и противорѣчивы, но реставрація истиннаго смысла теоріи можетъ быть произведена безъ всякихъ натяжекъ. Мы взяли теорію самого Луи Блана и только рѣзче обозначили тѣ черты, которыя, по общему смыслу теоріи, наиболѣе важны, и выбросили то, что́ составляетъ случайный напосъ. Читатель убѣдится, что натяжками занимается самъ Луи Бланъ, когда уклоняется отъ приведеннаго резюме. Одна изъ такихъ натяжекъ передъ нами на лицо. Это именно упрекъ философіи XVIII столѣтія въ антропоцентризмѣ. Другая, тѣсно связанная съ первою, состоитъ въ положеніи, что сенсуализмъ будто бы особенно характеристиченъ для принципа индивидуализма. Это грубая ошибка. Сенсуализмъ прошлаго столѣтія, при всей своей заносчивости, составляетъ переходъ къ новѣйшему міросозерцанію и во всякомъ случаѣ имѣетъ съ нимъ больше общаго, чѣмъ съ индивидуализмомъ, какъ послѣдній опредѣляется самимъ Луи Бланомъ. Какой же это индивидуализмъ, когда личность стремится найти опору внѣ себя, когда она признаетъ свою полную зависимость отъ внѣшняго міра и исключительно его вліяніями объясняетъ всю свою дѣятельность? Третья очевидная натяжка состоитъ въ поклоненіи абсолюту въ области мысли, при преслѣдованіи его въ мірѣ конкретныхъ явленій.

Мы упоминали уже, что, говоря о нападкахъ Вольтера на Декарта, Луи Бланъ посвящаетъ нѣсколько строкъ и этому знаменитому метафизику, единственному крупному представителю чистой метафизики во Франціи. Луи Блану нужно объяснить мотивы ярости Вольтера. Это сдѣлать не трудно, если принять въ соображеніе различныя стороны міросозерцанія Вольтера. Но Луи Бланъ не имѣетъ ни склонности, ни способности, ни времени для такого отвлеченнаго анализа. Поэтому онъ ставитъ Вольтера цѣликомъ въ омутъ индивидуализма, а относительно Декарта принимаетъ положеніе двусмысленное. Разсказавъ о скептицизмѣ Декарта и о томъ, что онъ не могъ усомниться только въ присутствіи своей мысли, Луи Бланъ продолжаетъ: «*Я мыслю, слѣдовательно, я существую*—есть истина первая, неоспоримая, изъ которой онъ, рядомъ выводовъ, получитъ всѣ другія истины. Изъ принятаго положенія о существованіи мыслящей природы человѣка Декартъ выведетъ послѣдовательно доказательство того, что мы имѣемъ душу, отличную отъ тѣла, доказательство того, что существуетъ Богъ, доказательство реальности внѣшняго міра и пр. И выстроивши такимъ образомъ вновь зданіе, которое ему угодно было разрушить, Декартъ гордо и смѣло провозгласилъ его неразрушимымъ. Не сомнѣвайтесь болѣе ни въ Богѣ, ни въ душѣ, ни въ реальности міра, Декартъ нашелъ принципъ несомнѣнности, и эти понятія, выведенныя имъ изъ него, онъ выдаетъ за столь же достовѣрныя, какъ теоремы геометріи. Онъ вышелъ изъ сомнѣнія; но онъ исчерпалъ сомнѣніе, побѣдивъ его. Онъ воспользовался для своего личнаго употребленія правомъ изслѣдованія, но потомъ обезоружилъ его. Сдѣлавшись на одинъ моментъ революціонеромъ въ философіи, Декартъ, кажется, имѣлъ претензію запереть навсегда двери революціямъ. Вчера онъ сомнѣвался, а сегодня онъ дѣйствуетъ повелительно» (312).

Еслибы Луи Бланъ глубже вдумался въ исторію картезіанской революціи въ философіи, онъ могъ бы открыть любопытныя вещи. Онъ увидѣлъ бы, что эта исторія можетъ служить прототипомъ метафизическаго философствованія, которое сводится къ тому, что человѣкъ выкладываетъ изъ себя въ безусловномъ видѣ то, что предварительно самъ же въ себя вложилъ опытнымъ путемъ. Оттого, не смотря на необыкновенную смѣ-

лость метафизическихъ теорій, онѣ весьма мало двигаютъ насъ впередъ. Замѣтивъ это, Луи Бланъ могъ бы весьма удобно найти связь между метафизикой и другими сторонами индивидуализма. Въ особенности любопытна аналогія между сторонниками безусловныхъ категорій мысли и безусловнаго невмѣшательства опыта съ одной стороны и проповѣдниками безусловной свободы и безусловнаго невмѣшательства общества въ дѣла личности съ другой. Послѣдніе, какъ и первые, обезоруживаютъ то, чѣмъ предварительно пользовались для своего личнаго употребленія; «сдѣлавшись на одинъ моментъ революціонерами, имѣютъ претензію запереть навсегда двери революціямъ»; вчера возставали, а сегодня «дѣйствуютъ повелительно». Эта аналогія объяснила бы, почему «сущность индивидуализма состоитъ въ томъ, что онъ превращается въ возстаніе, когда онъ подчиненъ власти, и въ тиранію, когда онъ имѣетъ ее въ своихъ рукахъ» (83). Она объяснила бы также, почему революціонный пылъ можетъ уживаться съ афоризмомъ: все, что существуетъ, хорошо. Она пролила бы наконецъ свѣтъ на многія страницы исторіи и избавила бы Луи Блана отъ многихъ печальныхъ ошибокъ.

V.

Прошедшее, настоящее и будущее человѣчества, какъ и всякаго предмета или явленія, причинно связаны между собой. Настоящее родилось изъ прошедшаго и само, по выраженію, кажется, Лейбница, чревато будущимъ. Располагая явленія исторіи въ извѣстномъ направленіи, опредѣляющемся степенью его умственнаго и нравственнаго развитія и знакомства съ сырымъ матеріаломъ—фактами, историкъ долженъ сознавать, что, каковы бы ни были его представленія о будущемъ, оно во всякомъ случаѣ должно имѣть нѣкоторые корни въ настоящемъ и прошедшемъ. Но разъ человѣкъ ожидаетъ и желаетъ будущаго, рѣзко отличнаго отъ того, что ему приходится на каждомъ шагу видѣть кругомъ себя, ему не легко сохранить должное безпристрастіе относительно отжившихъ и живущихъ еще формъ общественныхъ отношеній. Мы разумѣемъ здѣсь подъ безпристрастіемъ не фантастическій объективизмъ, а только умѣнье различать въ явленіяхъ прошедшаго и настоящаго тѣ элементы, которые должны отпасть, отъ тѣхъ, которые могутъ пойти на выработку желательнаго и ожидаемаго будущаго. При этомъ субъективная сторона изслѣдованія нисколько не теряетъ своего значенія и точно такъ же подлежитъ оцѣнкѣ, какъ и логическіе пріемы историка и степень его эрудиціи. Мы отнюдь не говоримъ, чтобы симпатіи и антипатіи историка оказывали всегда непремѣнно благопріятное вліяніе на его работу. Напротивъ, онѣ сплошь и рядомъ заводятъ его совершенно въ сторону, особенно если онъ, подъ маской объективизма, отказывается отъ всякаго контроля надъ ними, хотя иногда могутъ оказать и дѣйствительно оказываютъ существенную помощь. Но, во всякомъ случаѣ, онѣ неустранимы.

При оцѣнкѣ прошедшаго и настоящаго въ видахъ будущаго, въ чемъ собственно и состоитъ смыслъ и цѣль исторіи, весьма обыкновенны слѣдующія явленія. Люди, вполнѣ довольные нѣкоторыми сторонами настоящаго, переносятъ свои симпатіи и на всѣ его стороны, возводятъ его въ безусловный принципъ и находятъ, что если есть въ немъ нѣкоторыя, даже чрезвычайно важныя неудобства, то тѣмъ не менѣе въ общемъ никакой лучшій порядокъ вещей немыслимъ. Поэтому они склонны съ одной стороны предавать анаѳемѣ, какъ все прошедшее цѣликомъ, такъ и нѣкоторые, сохранившіеся и въ настоящемъ, въ видѣ небольшихъ оазисовъ, слабые его остатки, на томъ единственно основаніи, что изъ Назарета не можетъ явиться ничего путнаго. Съ другой стороны они склонны смотрѣть на всѣ попытки возрожденія, какъ на безумныя утопіи, лишенныя всякаго практическаго значенія. На это люди будущаго отвѣчаютъ: «Экономическая и политическая наука изучаетъ факты, это несомнѣнно. Но кто же настоящій мечтатель, настоящій утопистъ: тотъ ли, кто держится за факты, которые въ данную историческую минуту существуютъ, но дальнѣйшее существованіе которыхъ, очевидно, невозможно? или тотъ, кто имѣетъ въ виду факты, еще не существующіе, но наступленіе которыхъ неизбѣжно? Вотъ домъ съ растрескавшимися стѣнами. Неужели вы, въ самомъ дѣлѣ, практическій человѣкъ, если вы упрямитесь выйти, рискуя погибнуть подъ развалинами?» (Organisation du travail, 169). Они говорятъ, что «вѣчный софизмъ всѣхъ угнетателей состоитъ въ признаваніи абсолютнаго значенія за той частной формой общественныхъ отношеній, которою они пользуются» (Pages d'histoire de la révolution de fevrier 1848, 76); что разлагавшееся римское общество точно такъ же смотрѣло на христіанъ, какъ на безумныхъ дерзкихъ и смѣшныхъ мечтателей и враговъ общества, а не частной только формы древняго римскаго общества. Реагируя такимъ образомъ противъ беззавѣтнаго увлеченія настоящимъ, противъ возведенія его—голаго факта—на степень безусловнаго принципа, люди будущаго оказываютъ существенную услугу историческому пониманію.

Но при этомъ они и сами не всегда бываютъ въ состояніи выдержать строгія требованія безпристрастія. Увлеченные борьбой, они нерѣдко впадаютъ въ противоположную крайность, огуломъ отрицая все историческое значеніе нѣкоторыхъ переходныхъ явленій развитія мысли или общественныхъ отношеній. Далѣе, въ жару борьбы они нерѣдко вступаютъ въ тѣсный теоретическій и практическій союзъ съ прошедшимъ или завѣдомо отживающимъ, союзъ — впрочемъ, совершенно естественный, такъ какъ прошедшее и будущее, отживающее и нарождающееся одинаково враждебны настоящему. Можно бы было привести цѣлый рядъ замѣчательныхъ мыслителей и болѣе или менѣе видныхъ практическихъ дѣятелей, которые, борясь съ настоящимъ во имя будущаго, ищутъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ убѣжища въ прошедшемъ, въ его патріархальности, цѣльности, суровой простотѣ, въ нѣкоторыхъ формахъ общественности и т. п. Это фактъ до такой степени часто повторяющійся, что на него нельзя смотрѣть какъ на случайное увлеченіе того или другого единичнаго мыслителя того или другого дѣятеля; тѣмъ болѣе, что народъ рядовой, мелкотравчатый этимъ вовсе не грѣшенъ, а грѣшны бываютъ люди, высоко поднимающіеся надъ толпой. Приписывать эти обращенія къ прошедшему вліянію идеи мозаическаго рая, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые изъ рядовыхъ и мелкотравчатыхъ либераловъ—смѣшно. Мы имѣли уже случай намекнуть на то, что въ этихъ обращеніяхъ къ прошедшему есть дѣйствительно законнаго. Но дѣло въ томъ, что обращенія эти производятся большею частью весьма односторонне и неумѣренно. Какъ увидимъ, такой односторонности и неумѣренности весьма и весьма не чуждъ и Луи Бланъ. А теперь взглянемъ на его отношенія къ настоящему, то-есть къ индивидуализму, потому что на господствѣ именно этого принципа застаетъ насъ исторія.

Луи Бланъ до такой степени мало скрываетъ свою ненависть къ индивидуалистическому фазису развитія и до такой степени не маскируется объективизмомъ, что употребляетъ иногда слово «индивидуализмъ» чуть не какъ ругательное, забывая имъ же самимъ признаваемыя заслуги индивидуализма, какъ историческаго фактора. Такъ по поводу доктринъ протестантскихъ публицистовъ XVI столѣтія, онъ замѣчаетъ, что «неудовлетворительная сторона этихъ доктринъ есть индивидуализмъ, а хорошая сторона—терпимость». Между тѣмъ изъ его собственнаго анализа видно, что «терпимость» есть одинъ изъ атрибутовъ «индивидуализма», одна изъ его составныхъ частей, которую нельзя слѣдовательно противопоставлять цѣлому. Но въ общемъ Луи Бланъ все-таки гораздо безпристрастнѣе относится къ индивидуализму, чѣмъ можно было бы ожидать отъ него. Не смотря на странныя оговорки въ родѣ вышеприведенной, онъ вполнѣ признаетъ заслуги, преимущественно, впрочемъ, отрицательныя, индивидуализма въ борьбѣ съ тройческимъ проявленіемъ принципа авторитета—съ фанатизмомъ въ дѣлѣ религіи, съ абсолютизмомъ въ сферѣ политики и съ монополіей въ области экономической. Онъ не иначе, какъ съ почтеніемъ относится къ этой сторонѣ индивидуализма. Но значеніе индивидуализма не исчерпывается этою стороной.

Протестантизмъ былъ, въ мысли Лютера, движеніемъ исключительно религіознымъ и даже просто церковнымъ. Онъ въ извѣстной мѣрѣ, именно въ предѣлахъ католицизма, колебалъ только церковныя основы принципа авторитета. Однако, разъ было провозглашено во всеуслышаніе цивилизованнаго міра право личнаго изслѣдованія, разъ съ такою силою проявился критическій духъ и поколебалъ все-таки самую священную сторону преданія—это колебаніе необходимо должно было перейти и на другія его стороны. Крестьяне выставили свои знаменитые двѣнадцать параграфовъ и началась страшная рѣзня. Для подавленія крестьянскаго возстанія поднялись и колеблемый Лютеромъ авторитетъ, и самъ Лютеръ. Покровитель Лютера, ландграфъ Гессенскій, и одинъ изъ самыхъ ярыхъ его преслѣдователей, Георгъ Саксонскій, шли на крестьянъ рука объ руку. Лютеръ, правда, совѣтовалъ феодаламъ умѣрить свою тиранію и объяснилъ имъ, что «власть установлена для того, чтобы покровительствовать народамъ, а не доводить ихъ до отчаянія». Но не въ этомъ состояла главнымъ образомъ его дѣятельность по отношенію къ крестьянскому возстанію. Онъ главнымъ образомъ проповѣдывалъ крестьянамъ смиреніе и терпѣніе, ссылался на то, что Іисусъ Христосъ велѣлъ нѣкогда апостолу Петру вложить мечъ въ ножны, указывалъ на Авраама и другихъ, которые, не смотря на свою близость къ Богу, имѣли рабовъ и т. п. А когда эти увѣщанія не помогли, онъ обратился къ феодаламъ съ дикою проповѣдью рѣзни и пожаровъ.

И Кальвинъ въ своей реформаторской дѣятельности не шелъ дальше исключительно церковной революціи. Но воспитанные кальвинизмомъ публицисты XVI вѣка перенесли битву въ область политики. Мы видѣли ихъ борьбу съ идеей неограниченной монархической власти, но мы не видѣли еще другой стороны ихъ доктрины. Рядомъ съ горячею проповѣдью политической свободы и ненавистью къ абсолютизму, протестантскіе публицисты XVI столѣтія были полны презрѣнія и недовѣрія къ народу. Они называли его

«звѣремъ» и считали совершенно невозможнымъ припустить его къ свободѣ. Они желали имѣть противовѣсъ абсолютизму, но только въ лицѣ трехъ сословій, т.-е. дворянства, духовенства и буржуазіи. Что же касается собственно народа, то онъ въ принципѣ устранялся отъ свободы и участія въ государственныхъ дѣлахъ. Повидимому, мы имѣемъ здѣсь дѣло съ противорѣчіемъ въ предѣлахъ самаго принципа индивидуализма, такъ-какъ революціонное ученіе протестантскихъ публицистовъ XVI столѣтія оставляло внѣ движенія и освобожденія громадное число личностей. Это, безъ сомнѣнія, дѣйствительно противорѣчіе, но оно заключается въ самой сути индивидуализма и красною нитью проходитъ черезъ всю его исторію. Вольтеръ, искренно жаждавшій свободы мысли, взывавшій къ политической свободѣ, требовавшій свободы торговли, словомъ, во всемъ искавшій свободы, свободы и свободы, тѣмъ не менѣе раздѣлялъ людей на «порядочныхъ» и «сволочь», и всяческой свободы требовалъ только для первыхъ, а «сволочи», предоставлялъ невѣжество и воловье ярмо. Страшная революція 1789 года, разбившая феодальные гербы, изорвавшая старинные пергаменты, низвергнувшая тронъ и казнившая короля, тѣмъ не менѣе раздѣлила гражданъ на «активныхъ» и «пассивныхъ», силою оружія разгоняла работниковъ, собиравшихся для обсужденія и заявленія своихъ нуждъ, строго блюла за тѣмъ, чтобы не всплывалъ такъ-называемый соціальный вопросъ, и пыталась предоставить свободу печати только торжествующей буржуазіи. Подобныя же явленія представляетъ исторія и послѣдующихъ революцій ,не менѣе первой имѣвшихъ въ виду свободу, борьбу съ фанатизмомъ, абсолютизмомъ и монополіей. Такое отношеніе представителей индивидуализма, апостоловъ свободы къ свободѣ огромнаго числа людей выражается иногда въ грубыхъ формахъ ругани («звѣрь», «сволочь») декретовъ, насилій, и въ такомъ случаѣ противорѣчіе ясно, его можно указать пальцемъ. Но это же отношеніе проявляется иногда въ формѣ теоретической, болѣе или менѣе научной и совершенно благообразной, и тутъ противорѣчіе исчезаетъ; появляются доктрины, стройныя, изящныя, подъ которыя иголки не подточишь. Такія доктрины представлены двумя областями мысли: политическою экономіей и метафизикой.

Условимся въ терминахъ. Что такое буржуазія? «Совокупность гражданъ, которые, владѣя орудіями труда или капиталовъ, работаютъ на счетъ своихъ собственныхъ рессурсовъ и только въ нѣкоторой мѣрѣ зависятъ отъ другихъ». Что такое народъ? «Совокупность гражданъ, которые, не владѣя никакимъ капиталомъ, вполнѣ зависятъ отъ другихъ даже въ томъ, что касается первыхъ потребностей жизни» (Исторія великой французской революціи. Т. I, 124).

Буржуазія не принадлежитъ къ какой-либо особой расѣ побѣдителей, что не безъ основанія утверждали нѣкоторые публицисты относительно феодаловъ. Буржуазія обособилась изъ среды народа, промѣнявъ тяжелый земледѣльческій трудъ на торговлю и промышленность. Выдѣленіе ея началось еще въ очень раннюю пору, въ пору полнаго господства принципа авторитета и при помощи средствъ и представителей послѣдняго. Общины дали буржуазіи гражданскія права, общія собранія сословій — политическую власть, цеховая система — экономическое господство. Средневѣковыя промышленныя корпораціи представляли замкнутые кружки, вѣчно спорящіе о своихъ границахъ и ревниво слѣдящіе за тѣмъ, чтобы по возможности затруднить доступъ въ свою среду постороннимъ лицамъ. Книгопродавцы и букинисты вели постоянные споры изъ-за границъ своего ремесла, изъ-за того—что такое старая и что такое новая книга. То же самое происходило между сѣдельниками и каретниками, между бочарами и кузнецами и т. д. Портные и продавцы стараго платья препирались три вѣка сряду, впродолженіе которыхъ судебная власть постановила по искамъ тѣхъ и другихъ 4—5,000 приговоровъ. Каждая корпорація имѣла и внѣшніе отличительные признаки. Такъ портной не смѣлъ надѣть парикъ съ двумя буклями,—эта честь принадлежала золотыхъ дѣлъ мастерамъ, а золотыхъ дѣлъ мастеръ не смѣлъ подумать о трехъ букляхъ, потому что это украшеніе было присвоено аптекарямъ. Подмастерье кузнецъ носилъ въ ухѣ на сережкѣ изображеніе подковы, подмастерье кровельщикъ—крюкъ и молотокъ, плотникъ—наугольникъ и ватерпасъ и т. д. Помимо этого рѣзкаго обособленія общественныхъ функцій, помимо этого чудовищнаго раздѣленія труда, для каждаго желающаго работать, былъ до послѣдней степени затрудненъ доступъ въ какую бы то ни было изъ отраслей промышленности. Даже собираніе милостыни у церковныхъ дверей было привиллегіей. Для занятія какою-нибудь профессіею требовалось, во-первыхъ, быть ученикомъ впродолженіе извѣстнаго срока и, слѣдовательно, найти себѣ учителя мастера, а это было нелегко, потому что уставами корпорацій число учениковъ было крайне ограничено. Расходы, которыми сопровождалось поступленіе въ ученики, были громадны, такъ что многіе умирали, не кончивъ срока ученія. Но за ученичествомъ слѣдовало другое мытарство, обставленное подобными же условіями. Надо было пробыть

извѣстный, еще болѣе продолжительный, чѣмъ для ученика, срокъ подмастерьемъ. Наконецъ, чтобы попасть въ мастера, надо было опять платить громадныя деньги. Такъ въ корпораціи пирожниковъ одинъ только титулъ «стараго» стоилъ 1,200 ливровъ; букетчица, отъ которой требовалось только умѣнье связывать цвѣты, должна была платить за право «мастерицы» 200 ливровъ и т. п. Но сыновья мастеровъ были поставлены въ условія, несравненно болѣе благопріятныя. Если сынъ мастера работалъ у своего отца до 17-тилѣтняго возраста, такъ онъ уже имѣлъ право на званіе подмастерья. Такимъ образомъ каждая отрасль промышленности составляла монополію нѣсколькихъ семействъ, изъ рода въ родъ передававшихъ свои знанія, свои богатства и свои права и разлагавшихъ тяжесть наложенныхъ на нихъ жадною королевскою властью податей на потребителей и учениковъ. Понятное дѣло, что здѣсь же сосредоточивались и умственныя силы, такъ-какъ только здѣсь существовалъ досугъ. Такимъ путемъ регламентаціи, привиллегій, дружбы съ центральною властью сложилась и окрѣпла буржуазія. Пока этотъ медленный процессъ обособленія и концентраціи капиталовъ и знаній тянулся, буржуазія находилась, очевидно, въ двусмысленномъ положеніи относительно принципа свободы. Она желала быть свободною отъ притязаній и насилій ненасытной королевской власти, но на нее именно и должна была опираться какъ въ интересахъ своего обособленія отъ народа, такъ и въ интересахъ борьбы съ феодалами, которые еще болѣе, чѣмъ короли, стѣсняли ея мирную дѣятельность. Когда феодализмъ палъ подъ совокупными ударами монархіи и буржуазіи, послѣдняя, очутясь лицомъ къ лицу съ монархическою властью, торжественно и отчетливо провозгласила: да здравствуетъ свобода! И это было тѣмъ удобнѣе, что къ тому времени процессъ обособленія буржуазіи былъ уже оконченъ. Стало очевиднымъ, что вся масса крестьянъ, а равно и городскихъ рабочихъ, передъ которыми цеховая система закрыла двери труда, есть нѣчто очень отличное и по развитію, и по матеріальному благосостоянію, отъ буржуазіи. Съ одной стороны «звѣрь», «сволочь», а съ другой— «порядочные люди». Можно было говорить объ этомъ фактѣ болѣе или менѣе рѣзко, болѣе или менѣе сдержанно, можно было пріискать совершенно иныя выраженія для опредѣленія обѣихъ его сторонъ, но фактъ стоялъ во всей своей очевидности. Выраженія, слова здѣсь послѣднее дѣло. Точно также намъ нѣтъ дѣла и до тѣхъ дѣйствій буржуазіи, которыя соотвѣтствовали и соотвѣтствуютъ площадной ругани. Дѣйствія эти сводятся къ тому, что буржуазія, сама надѣвая намордникъ на центральную власть, въ то же время требовала и требуетъ, чтобы такой же намордникъ былъ надѣтъ и на народъ. Гораздо интереснѣе тѣ доктрины «порядочныхъ людей», въ которыхъ то же самое въ сущности отношеніе къ вышеупомянутому факту замаскировано.

Узкія и мелкія ячейки средневѣковой жизни съ раздѣлявшими ихъ неприступными перегородками совершенно поглощали въ себѣ личность, не давали ей дохнуть, вязали ее по рукамъ и по ногамъ. Въ области мысли личность была связана неподвижными догматами католицизма, въ области политической—лѣстницеобразной іерархіей, въ области экономической—монополіей и интересами корпорацій и цеховъ. Освобожденіе личности началось религіознымъ движеніемъ. Освобожденіе политическое началось позже, экономическое еще позже. И это совершенно понятно, потому что для буржуазіи, выдвигавшейся на сценѣ исторіи на первый планъ, феодальная іерархія и замкнутость корпорацій и цеховъ, не смотря на свой гнетущій характеръ, представляли средства роста и развитія. Только благодаря лѣстницеобразной феодальной іерархіи, буржуазія могла добиться политическихъ и гражданскихъ правъ; только благодаря системѣ цеховъ и корпорацій, буржуазія могла такъ рѣзко обособиться отъ народа. Только согнувшись временно подъ этими двумя воротами, буржуазія могла затѣмъ вытянуться во весь ростъ. И ни въ какомъ случаѣ эмансипація политическая и экономическая не могла совершиться раньше провозглашенія права личнаго изслѣдованія, тѣмъ болѣе, что политическій и экономическій гнетъ былъ подбитъ религіозной подкладкой: короли ссылались на свое божественное право, цехи и мастерства находились подъ покровительствомъ святыхъ угодниковъ.

Лютеръ былъ еще попъ, еще твердо стоялъ на почвѣ авторитета. Его преемникъ и продолжатель Декартъ былъ уже чистый метафизикъ, ни на волосъ не опиравшійся на авторитетъ св. писанія, а искавшій себѣ точки опоры въ индивидуальномъ разумѣ, въ личности, освобожденной отъ всякихъ преданій и предразсудковъ. Картезіанизмъ, съ котораго собственно начинается новѣйшая метафизика, былъ настоящей революціей, настоящимъ возстаніемъ личности, въ области мысли, противъ преданій католицизма и, возобновленнаго, дополненнаго и исправленнаго католическими эрудитами, Аристотеля. Таковъ былъ и общій тонъ работы Декарта, и частности въ родѣ опроверженія библейскаго преданія о происхожденіи и значеніи радуги, или въ родѣ открытаго презрѣнія къ

освященному преданіемъ употребленію латинскаго языка и т. п. Но, вырываясь изъ ячеекъ средневѣковой жизни, личность надолго еще сохраняла на себѣ слѣды главныхъ граней этихъ ячеекъ. И, не смотря на весь свой революціонный пылъ, философія Декарта не избѣгла этой участи. Католицизмъ завѣщалъ метафизикѣ дуализмъ духа и матеріи и презрѣніе къ нашей бренной плотской оболочкѣ. Лютеръ, не обинуясь, принялъ это наслѣдство. «Какая польза душѣ», говорилъ онъ, «отъ того, что тѣло здорово, что оно свободно и живо, что оно ѣстъ и пьетъ, что оно дѣйствуетъ по своему произволу: не достается ли все это на долю даже рабамъ преступленій? И съ другой стороны, какимъ препятствіемъ для души можетъ быть нездоровье, заключеніе, голодъ или жажда, или какое бы то ни было внѣшнее зло? ужели всему этому не подвержены самые благочестивые люди, самые свободные по чистотѣ совѣсти?» (De libertate Christiane. Omn. oper. Lutheri, t. I, p. 387. Исторія великой французской революціи. Т. I, 63). Такое презрѣніе къ бренной тѣлесной оболочкѣ, со всѣми вытекающими изъ этого презрѣнія этическими и соціологическими выводами, въ Лютерѣ не требуетъ особыхъ объясненій. Лютеръ сложилъ съ себя всякія заботы о свѣтской сторонѣ принципа авторитета и потому судьбы матеріальной стороны человѣка его интересовать не могли. Что же касается до психологическаго значенія его дуализма, то Лютеръ въ этомъ отношеніи и не пытался становиться на критическую точку зрѣнія. Провозглашенная имъ эмансипація ограничивалась свободою личнаго истолкованія св. писанія и преданія, на почвѣ которыхъ онъ слѣдовательно и стоялъ. Совсѣмъ другое мы видимъ въ картезіанизмѣ и метафизической философіи вообще. Но презрѣніе къ бренной оболочкѣ безсмертнаго духа остается и здѣсь, принимая только у разныхъ мыслителей различныя направленія, сообразно ихъ личнымъ особенностямъ и сферѣ интересующихъ ихъ явленій. Декарта интересовали почти исключительно вопросы метафизическіе, и вотъ какъ сказалось здѣсь наслѣдство средневѣковаго уклада жизни. Декартъ прямо начинаетъ съ заявленія, что онъ хочетъ заняться разрушеніемъ всего, чѣмъ кормилась до тѣхъ поръ мысль. Онъ дѣлаетъ это во имя права и обязанности личности самостоятельно рѣшать вопросы, дотолѣ находившіеся въ вѣдѣніи неподвижныхъ, навязанныхъ личности догматовъ. Но однимъ изъ первыхъ шаговъ въ этомъ направленіи Декартъ признаетъ безусловное довѣріе къ разуму, къ безсмертному духу, и безусловное недовѣріе къ опыту, къ чувственнымъ воспріятіямъ, то-есть къ бренной оболочкѣ безсмертнаго духа. Любопытно, что, упоминая объ этомъ важномъ обстоятельствѣ, Бокль, увлеченный анти-теологическимъ характеромъ картезіанской революціи, не находитъ нужнымъ указать хоть какое-нибудь пятно въ положеніяхъ Декарта. Бокль говоритъ: «Такіе недостатки и несовершенства (какъ «недовѣріе къ человѣческимъ способностямъ» у предшественниковъ Декарта) показываютъ только, какъ медленно растетъ общество и какъ даже величайшимъ мыслителямъ невозможно перерости своихъ современниковъ далѣе извѣстнаго предѣла. Съ развитіемъ знаній эти недостатки были отстранены: поколѣніе, слѣдовавшее за Гукеромъ, выставило Чиллингворта; поколѣніе, слѣдовавшее за Монтенемъ—Декарта. Оба—и Чиллингвортъ и Декартъ — полнѣйшіе скептики. Но скептицизмъ ихъ былъ направленъ не противъ человѣческаго разума, а противъ обращеній къ преданію и авторитету, безъ которыхъ, какъ думали до сихъ поръ, разумъ не можетъ дѣйствовать успѣшно. Мы видѣли, что таково мнѣніе Чиллингворта; что таково мнѣніе Декарта—это едва-ли не еще очевиднѣе, ибо этотъ глубокій мыслитель вѣритъ не только въ то, что умъ можетъ собственными усиліями искоренить самые застарѣлые предразсудки, но также и въ то, что онъ можетъ безъ посторонней помощи воздвигнуть новую и прочную систему, взамѣнъ той, которая низвергнута. Эта-то чрезвычайная довѣренность къ силѣ человѣческаго разума составляетъ существенный характеръ философіи Декарта и придаетъ ей ту возвышенность, которая отличаетъ ее отъ всѣхъ другихъ системъ. Онъ не только не считаетъ знаніе внѣшняго міра необходимымъ для открытія истины, но еще высказываетъ тотъ основной принципъ, что мы должны начать съ игнорированія подобнаго знанія; что первый шагъ состоитъ въ томъ, чтобы замкнуть себя отъ обмановъ природы и отрицать явленія, представляющіяся нашимъ чувствамъ» (Исторія цивилизаціи въ Англіи, изд. Тиблена, Т. I, 439).

Весьма достойно вниманія то обстоятельство, что Бокль, такъ много сдѣлавшій для популяризаціи идей, діаметрально противоположныхъ положительной сторонѣ картезіанизма, такъ увлекается его отрицательною стороною, что видитъ въ воззрѣніяхъ Декарта только «возвышенность» и «глубину» и не видитъ ихъ высокомѣрія и несостоятельности. Впрочемъ, у Бокля можно бы было найти не мало такихъ проблесковъ дешеваго либерализма. Луи Бланъ стоитъ совершенно въ иномъ положеніи. Онъ всю жизнь провелъ въ борьбѣ съ дешевымъ либерализмомъ, про-

изводящимъ революцію затѣмъ, чтобы потомъ «запереть навсегда двери революціямъ». Онъ скорѣе способенъ впасть въ противоположную крайность и отринуть отрицательныя заслуги Декарта. Но, какъ мы уже упоминали, Луи Бланъ занялъ двусмысленное положеніе относительно этого замѣчательнаго мыслителя. Онъ готовъ отнести его даже къ представителямъ авторитета, и о всякомъ случаѣ прямо утверждаетъ, что, ратуя противъ Декарта, Вольтеръ былъ апостоломъ индивидуализма. Мы видѣли, что наиболѣе яркимъ философскимъ выраженіемъ индивидуализма Луи Бланъ считаетъ сенсуализмъ, именно, за его довѣріе къ чувственнымъ воспріятіямъ и недовѣріе къ чистой мысли. Ошибка здѣсь очевидна, такъ какъ Луи Бланъ самъ же признаетъ за индивидуализмомъ ту особенность, что личность ищетъ себѣ опоры исключительно въ своихъ предѣлахъ. Сенсуализмъ составляетъ, наоборотъ, реакцію противъ чистѣйшаго философскаго выраженія индивидуализма. Луи Бланъ имѣетъ полное право видѣть въ Вольтерѣ одного изъ апостоловъ индивидуализма, но только отнюдь не по поводу его борьбы съ Декартомъ. Если искать во Франціи апостола индивидуализма въ области отвлеченной мысли, то только и стоитъ остановиться на Декартѣ. И если Декартъ, совершивъ революцію, заперъ ей двери на будущее время; если онъ «вчера сомнѣвался, а сегодня дѣйствуетъ повелительно»; если онъ, по разрушеніи зданія, вновь выстроилъ и отдѣлалъ существенныя черты разрушеннаго, придавъ имъ только иной архитектурный стиль,—то въ этомъ состоитъ особенность индивидуализма вообще. Луи Бланъ не оцѣнилъ этого по своей отчужденности отъ отвлеченныхъ вопросовъ. Но весьма не трудно перенести дѣло въ ту инстанцію, гдѣ Луи Бланъ окажется компетентнымъ судьей. Въ самомъ дѣлѣ, картезіанская философія признаетъ критеріемъ истинности или несомнѣнности личное сознаніе. Относительно сознающей личности это критерій возможный: если я сознаю, что я мыслю, такъ ужъ я въ этомъ не могу усомниться. Но, какъ совершенно справедливо замѣчаетъ Льюисъ (Исторія философіи, 461), сознанію доступно только то, что̀ *во мнѣ* происходитъ,—далѣе этого оно простираться не можетъ. Я сознаю все, что̀ происходитъ *во мнѣ*, но не сознаю, что̀ происходитъ *внѣ меня*: мое знаніе о томъ, что̀ есть *не я*, не можетъ простираться далѣе того дѣйствія, какое это *не я* имѣетъ на меня. Но дѣйствіе это можетъ выразиться для меня не иначе, какъ ощущеніемъ, которое и будетъ *сознаніемъ* происходящей *во мнѣ* перемѣны. Такимъ образомъ мы подходимъ довольно близко къ сенсуалистамъ, которые «имѣютъ только относительныя понятія, интересуются только тѣмъ, что̀ ихъ касается... не имѣютъ, если только ихъ сердце не противорѣчитъ ихъ теоріи, тѣхъ благородныхъ порывовъ, которые на крыльяхъ мысли съ безкорыстіемъ и быстротою ея полета переносятъ насъ выше чувственнаго міра и возносятъ насъ отъ окружающихъ ощущеній до тѣхъ вершинъ, съ которыхъ мы объемлемъ человѣчество» и проч. (Исторія великой революціи. I, 313). Цитируя эту страстную, но неосновательную тираду, которую мы вдобавокъ уже разъ приводили, мы, разумѣется, не глумиться хотимъ надъ благороднымъ и высоко даровитымъ человѣкомъ, состарѣвшимся на службѣ священнѣйшимъ интересамъ. Мы хотимъ только показать, что несправедливыя нападки Луи Блана на сенсуалистовъ могутъ быть приложены къ Декарту и его школѣ ровно въ такой же мѣрѣ. Всегда и вездѣ люди, подъ какимъ бы философскимъ знаменемъ они ни стояли, черпали свои познанія изъ внѣшняго міра, всегда и вездѣ умъ человѣческій возбуждался внѣшними причинами, не будучи, разумѣется, при этомъ пассивною мишенью. Но на эту-то пассивную роль и обрекъ картезіанизмъ обоготворенный имъ разумъ, когда предписалъ ему сторониться отъ «обмановъ природы», отъ изученія внѣшняго міра, и добывать истину изъ самого себя. Такъ-какъ послѣднее есть дѣло въ концѣ концовъ невозможное, а сторониться отъ «обмановъ природы», напротивъ, очень легко, то вся картезіанская, какъ и всякая другая метафизическая операція сводится къ тому, что человѣкъ, воспринявъ опытнымъ путемъ извѣстный фактъ, выпускаетъ его изъ себя уже въ видѣ незыблемаго принципа. Идею дуализма духа и матеріи и превосходства перваго надъ второй Декартъ получилъ путемъ чисто чувственныхъ воспріятій реальныхъ явленій средневѣковой жизни. Онъ ратовалъ противъ этихъ явленій, но, благодаря своему методу, только пропустилъ многія изъ нихъ сквозь горнило своего самосозерцанія и затѣмъ выпустилъ на бѣлый свѣтъ, придавъ имъ новый принципіальный характеръ. Дуализмъ и презрѣніе къ матеріальной сторонѣ человѣка, составляютъ коренныя черты католицизма. И, не смотря на высокомѣріе своего ученія, не смотря на его чисто революціонный характеръ, Декартъ только перемѣнилъ пьедесталъ подъ этими чертами: замѣнилъ теологію метафизикой, авторитетъ—индивидуализмомъ. То, что̀ до сихъ поръ выдавалось за велѣніе божіе, стало выдаваться за продуктъ индивидуальнаго разума, полученный безъ всякаго вмѣшательства, какъ сверхъестественныхъ силъ, такъ и чувствен-

ныхъ воспріятій. Человѣкъ всегда и вездѣ человѣкъ, но онъ можетъ ошибаться относительно своихъ собственныхъ границъ. Такъ ошибался и Декартъ. Но какому слою исторіи принадлежитъ его ошибка? Въ какомъ вѣкѣ возможно такое явленіе, что замѣчательно сильный умъ не хочетъ знать ничего, кромѣ своего *я* и отказывается отъ пониманія всего, что́ *не я*, т.-е. цѣлаго міра со включеніемъ всѣхъ людей? Конечно, Луи Бланъ отвѣтилъ бы на этотъ вопросъ, не обинуясь: «въ вѣкѣ индивидуализма. Еслибы Декартъ интересовался не онтологическими, а соціологическими вопросами, его индивидуализмъ былъ бы, разумѣется, для Луи Блана яснѣе.

Картезіанская революція была очень громка, очень шумна, но центръ тяжести ея значенія заключается главнымъ образомъ въ отрицаніи, въ ниспроверженіи теологическихъ пріемовъ мысли. Не смотря на свой блескъ, она оставила не нарушимымъ относительное положеніе категорій духа и матеріи и только передвинула всю систему средневѣковыхъ воззрѣній на другое мѣсто. Луи Бланъ видитъ эту сравнительную маловажность результатовъ революціи, но не даетъ ей никакого объясненія. А между тѣмъ объясненіе напрашивается само собой, если взять во вниманіе связь между метафизикой съ одной стороны и политическимъ и экономическимъ либерализмомъ съ другой. Дѣло въ томъ, что картезіанская философія, провозглашая права личности и ниспроверженіе теологіи, освобождала въ сущности не личность, а произвольно, подъ тайнымъ вліяніемъ среднихъ вѣковъ намѣченную долю личности, именно духъ, оставляя матеріальную сторону человѣка подъ гнетомъ. Понятно, что при такихъ обстоятельствахъ говорить о свободѣ личности значитъ играть словами. Сопоставьте философскую революцію Декарта съ политической революціей 1789 года, и вы получите такую параллель: ниспроверженной теологіи будетъ соотвѣтствовать ниспроверженный феодализмъ, освобожденному духу—освобождаемая буржуазія, оставляемой на старомъ положеніи матеріи—оставляемые на старомъ положеніи представители матеріальнаго труда. Аналогія полная. И тамъ, и тутъ провозглашается свобода личности; и тамъ, и тутъ эта свобода получаетъ двусмысленный характеръ; и тамъ, и тутъ, не смотря на страшныя формы революціонной грозы, происходитъ только выкидываніе изъ счета феодально-католическаго элемента, или принципа авторитета; что же касается до взаимныхъ отношеній остальныхъ элементовъ, то они оставляются въ томъ самомъ положеніи, въ какомъ они сложились подъ вліяніемъ и при господствѣ принципа авторитета.

Принципіальная связь и общность происхожденія метафизики и буржуазнаго либерализма были бы еще очевиднѣе, если бы Луи Бланъ имѣлъ въ виду исторію не только Франціи, а и другихъ странъ. Франція имѣла всего одного замѣчательнаго метафизика—Декарта, и тотъ упорно обходилъ общественные вопросы. Декартъ есть одинъ изъ сильнѣйшихъ и глубочайшихъ представителей философіи индивидуализма, но только въ области онтологическихъ вопросовъ. И, для ближайшаго разсмотрѣнія означенной связи, во Франціи пришлось бы взять несравненно менѣе глубокаго Вольтера, философія котораго не оригинальна, а политическія воззрѣнія крайне шатки.

Философія индивидуализма должна прежде всего обрушиться на теологическую телеологію, ибо въ послѣдней выражается сверхъестественная опека и регламентація, которая, какъ и всякая опека и регламентація, такъ противна свободолюбивому, высокомѣрному, анархическому духу индивидуализма. Личность объявляетъ, что она свободна, что надъ ней нѣтъ никакого сверхъестественнаго существа, посылающаго ей награды и наказанія, наблюдающаго за каждымъ ея шагомъ или отъ вѣка предназначившаго ей тотъ или другой жизненный путь. Однако это не значитъ, чтобы философія индивидуализма непремѣнно отрицала существованіе Бога. Напротивъ, атеизмъ составляетъ здѣсь сравнительно рѣдкое явленіе. Индивидуализмъ отрицаетъ только откровеннаго Бога и вообще боговъ всѣхъ существовавшихъ и существующихъ религій, которые (боги) стѣсняютъ личность своимъ вмѣшательствомъ, хотя бы и направленнымъ къ ея благу. Но индивидуализмъ почти неизбѣжно создаетъ своего собственнаго бога, благодаря именно своей тенденціи опираться исключительно на личность. Такъ и Декартъ отъ своего личнаго существованія заключалъ къ существованію Бога. «Я существую—говоритъ Вольтеръ во второй главѣ своего Traité de Metaphysique, — слѣдовательно есть вообще бытіе. Нѣчто можетъ существовать или само собою, или получаетъ свое бытіе отъ чего-нибудь другого. Если оно существуетъ само собой, то оно необходимо, и какъ необходимое оно было всегда. Это есть Богъ. Но если нѣчто имѣетъ свое бытіе отъ чего-нибудь другого, а это другое имѣетъ свое бытіе отъ третьяго, то тѣмъ, отъ чего имѣетъ свое бытіе послѣднее, необходимо долженъ быть Богъ». Но индивидуализмъ имѣетъ и другіе мотивы для признанія бытія божія. Мы ихъ разсматривали въ статьѣ о Вольтерѣ. Далѣе, наблюдая свою личность, принятую имъ за точку исхода своего міросозерцанія, и замѣчая цѣлесо-

образность своихъ дѣйствій, индивидуалистъ переноситъ это качество въ число атрибутовъ Бога. Индивидуалистъ можетъ и обратно отъ цѣлесообразности своихъ дѣйствій придти къ заключенію о бытіи божіемъ. Но такъ или иначе, а возникаетъ индивидуалистическая телеологія, существенно отличающаяся отъ телеологіи временъ принципа авторитета. Тамъ приниженная личность охотно и даже съ гордостью признаетъ надъ собой опеку и регламентацію, исходящую отъ великой вѣковой личности. Здѣсь эта опека ниспровергается со всею страстностью и со всѣмъ блескомъ жажды свободы. Но за всѣмъ тѣмъ разнузданная такимъ образомъ личность утверждаетъ, что все на свѣтѣ цѣлесообразно, т.-е. разумно, т.-е. благо, — революція оканчивается новою санкціей голаго факта. А если на свѣтѣ цѣлесообразно и благо все, то хороши и существующія въ данную минуту фактическія отношенія между людьми. Если въ нихъ и есть какія нибудь темныя стороны, то все-таки предоставимъ дѣла ихъ естественному теченію, свободному движенію отдѣльныхъ личностей, и все само собой придетъ къ извѣстной благотворной цѣли. Болѣе полное развитіе этой частной идеи взяла на себя другая группа представителей индивидуализма—экономисты. Но уже и здѣсь видно, какую полезную службу можетъ сослужить метафизика буржуазіи. Метафизика, очевидно, можетъ облечь въ стройную, благопристойную систему то отношеніе буржуазіи къ народу, которое въ доктринахъ протестантскихъ публицистовъ XVI вѣка и т. п. поражаетъ своею кажущеюся противорѣчивостью основнымъ догматамъ индивидуализма. Въ лицѣ метафизиковъ и, какъ дальше увидимъ, экономистовъ, индивидуализмъ надѣваетъ бѣлыя перчатки и вѣжливо, хотя и твердо, рекомендуетъ удовлетвориться тѣмъ, что́ есть. Правда, на всякую старуху бываетъ проруха, и бѣлыя перчатки иногда снимаются. Отъ царя мысли XVIII вѣка, съ его «порядочными людьми» и «сволочью», до пигмея мысли XIX вѣка Густава Іегера, съ его «ферштандсменшами» и «гефюльсменшами», многіе изъ представителей индивидуализма открыто предлаютъ оставить «сволочь» и «гефюльсменшовъ» даже при томъ суевѣріи, съ которымъ они, въ качествѣ жрецовъ науки, борятся всѣми силами своей души. Такъ и одинъ изъ французскихъ экономистовъ, Гарнье, отрицаетъ народное образованіе, которое грозитъ «уничтожить всю нашу общественную систему», сглаживая различіе между представителями физическаго и умственнаго труда, между «ферштандсменшами» и «сволочью». Но мы опять подошли къ экономистамъ. Пусть Луи Бланъ говоритъ самъ.

VI.

За нѣсколько лѣтъ до великой революціи, когда Тюрго предложилъ замѣнить дорожную повинность особымъ налогомъ, значительная доля котораго должна была пасть на дворянскія имущества, графъ Конти объявилъ, что подобная мѣра невозможна, ибо это значило бы стереть съ чела народа первобытное пятно рабства. Графъ Конти является здѣсь какимъ-то плезіозавромъ, хотя, впрочемъ, такихъ плезіозавровъ было не мало. Давно уже прошли тѣ времена, когда дворянство могло основывать свои привиллегіи на своемъ происхожденіи отъ франкскихъ завоевателей, а безправіе остальныхъ сословій — на ихъ происхожденіи отъ крѣпостныхъ галловъ. Дворянство, подтачиваемое сверху монархическою властью, а снизу буржуазіей, давно уже утратило свое значеніе. Такъ что знаменитая ночь 4-го августа, не смотря на все увлеченіе, съ которымъ она продѣлалась, была въ сущности не болѣе, какъ красивою завитушкой росчерка въ полученіи указа объ отставкѣ. Указъ, формальное заявленіе факта нѣсколько запоздало, и плезіозавры Конти могли быть этимъ обстоятельствомъ вводимы въ обманъ. Но буржуазія давно уже видѣла, что ей незачѣмъ болѣе опираться на монархическую власть для борьбы съ феодалами, ибо послѣдніе видимо выбывали изъ строя. И какъ только это стало яснымъ, буржуазія направила свои удары противъ неограниченной монархіи. Теперь она могла безпрепятственно съ этой стороны требовать свободы. Ограничить произволъ королевской власти и добить аристократическія и клерикальныя привиллегіи, — такова была цѣль великой революціи. Народъ шелъ въ этой борьбѣ за буржуазіей, дрался и умиралъ. Когда теоретическими усиліями Кене и Гурнэ и практическими мѣрами Тюрго система цеховъ и корпорацій пала, народъ ликовалъ и не могъ не ликовать: передъ нимъ открывалось широкое поле свободы, онъ могъ вздохнуть полною грудью. Буржуазія не несла съ собой какихъ-либо извнѣ поставленныхъ привиллегій, она была кость отъ кости и плоть отъ плоти народа. Она не требовала себѣ и на будущее время никакихъ привиллегій. Она провозглашала *свободу* естественнымъ, прирожденнымъ *правомъ* личности. Такъ говорили экономисты и философы буржуазіи до революціи; такъ значилось и въ «Декларацiи правъ человѣка», предшествовавшей конституціи 1791 г. и написанной знаменитымъ Кондорсе. И это послѣ цѣлыхъ вѣковъ гнета, въ моментъ, когда, по выраженію Луи Блана, имѣло чарующее значеніе «слово, одно слово *свобода*,

а слово *запрещеніе* отдавалось въ глубинѣ души, какъ шумъ еще не вполнѣ разорванной цѣпи». Энтузіазмомъ дышала вся Франція, и революціи аплодировали и въ Европѣ всѣ не угрожаемые ею элементы. Особенно любопытно восторженное отношеніе къ ней нѣмецкой метафизики. Старикъ Кантъ привѣтствовалъ ее съ юношескимъ пыломъ, Фихте называетъ ее великой картиной на тему «человѣческое право и человѣческое достоинство», Гегель называетъ ее «прекраснымъ восходомъ солнца». Народу ли, на которомъ всею своею тяжестью лежали замкнутость цеховъ, грабежъ королевскихъ интендантовъ и коммисаровъ и безчисленныя привиллегіи дворянъ-помѣщиковъ, народу ли было не отозваться на требованіе *права свободы*? Ему ли было разбирать двусмысленность и лживость этого сочетанія словъ?

Но высокія волны революціи, утопившія въ себѣ тысячи людей, еще не успѣли окончательно улечься, какъ настоящее положеніе вещей стало уясняться всесторонне. Конституція 1791 года раздѣлила французовъ на гражданъ активныхъ и пассивныхъ. Обновленіе очевидно произошло, родовая аристократія очевидно пала, ибо въ основаніе различія гражданъ брался имущественный цензъ, а не старинные пергаменты. Но народу отъ этого было не легче. Въ политическомъ отношеніи онъ съ точки зрѣнія новаго государственнаго принципа былъ объявленъ «пассивнымъ». Въ экономическомъ отношеніи онъ былъ не менѣе пассивенъ, хоть это и не было объявлено. Онъ имѣлъ право на собственность, на свободу, на любую должность въ государствѣ, но онъ не имѣлъ собственности, не имѣлъ кредита, знаній, словомъ не имѣлъ возможности воспользоваться тѣми самыми правами, изъ-за которыхъ пролилъ свою кровь и которыя были, наконецъ, ему даны. А передъ нимъ все росла и росла буржуазія, вооруженная капиталами, кредитомъ, умственнымъ развитіемъ, машинами и, на основаніи всего этого, — политическимъ могуществомъ. Въ принципѣ права свободы оказалась такимъ образомъ маленькая двусмысленность, которая, какъ катящаяся лавина, все увеличиваясь, надвигалась, по мѣрѣ роста промышленности, на рабочаго, грозя ему голодною смертью,—ему, свободному и полноправному гражданину.

Основаніемъ новаго общества, какъ оно сложилось послѣ революціи 1789 года, служитъ свободная конкуренція. Личности, ничѣмъ и никѣмъ не поддерживаемой, предоставляется состязаться въ жизненной борьбѣ съ другими личностями. Предполагается, что такимъ путемъ свободнаго соперничества личностей достигается благосостояніе общества и въ частности соперничающихъ личностей, такъ какъ онѣ размѣщаются въ обществѣ исключительно сообразно своимъ способностямъ и склонностямъ. Это убѣжденіе въ благихъ результатахъ свободной конкуренціи Гурнэ выразилъ знаменитымъ «laissez faire», а Мирабо-отецъ, можетъ быть, еще рельефнѣе словами: «что̀ нужно для того, чтобы поддержать благосостояніе государства?—ничего».

Каждый слыхалъ, конечно, что Луи Бланъ есть противникъ конкуренціи и защитникъ государственнаго вмѣшательства въ промышленныя отношенія, и у каждаго, безъ сомнѣнія, готовы возраженія противъ его воззрѣній. Но едва-ли многими продумано истинное значеніе этихъ воззрѣній. Мы приведемъ нѣкоторые изъ его аргументовъ. Луи Бланъ почти всегда излагаетъ ихъ, сообразно основному характеру своей умственной физіономіи, при помощи образовъ, картинъ, выхваченныхъ изъ дѣйствительности. Въ свое время этими картинами увлекались. Нынѣ въ нихъ готовы видѣть только декламацію, жалкія слова, и не безъ основанія; но если вы такъ презираете фразу, такъ не обращайте на нее вниманія: смотрите на то, что завернуто въ фразу.

«Что такое конкуренція для рабочихъ?— Аукціонъ труда. Предпринимателю нуженъ одинъ работникъ. Является трое.—Вы сколько хотите за свой трудъ?—Три франка: у меня жена и дѣти. — Хорошо, а вы?— Два съ половиною франка: у меня дѣтей нѣтъ, только жена.—А вы?—Съ меня довольно двухъ франковъ, я холостой.—Работа за вами.—Торгъ заключенъ. А куда дѣнутся оба отринутые пролетарія? Можетъ быть, умрутъ съ голода, а можетъ быть, пойдутъ воровать, сдѣлаются убійцами. Но не бойтесь, у насъ есть жандармы, есть палачи. Что же касается до счастливца, то онъ торжествуетъ ненадолго. Является четвертый работникъ, достаточно здоровый и сильный для того, чтобы поститься черезъ день, и заработная плата спускается до крайняго предѣла» (Organisation du travail, 9).

«Представьте себѣ двухъ человѣкъ, отправляющихся единовременно въ дорогу. Одинъ изъ нихъ крѣпокъ, здоровъ, другой боленъ и раненъ. До революціи 1789 года правительство, вмѣсто того, чтобы протянуть руку второму, думало только о томъ, какъ бы ускорить и еще болѣе облегчить путь первому. Съ 1789 года дѣло пошло иначе: правительство было обезоружено и обоимъ путешественникамъ было сказано: дорога свободна, ваши права равны, идите. И однако слабый могъ бы сказать: Какое мнѣ дѣло до того, что дорога свободна? развѣ

вы не видите, что я боленъ, что кровь течетъ изъ моихъ ранъ, что мои босыя ноги изрѣзаны о камни мостовой, что я падаю отъ изнеможенія. Пусть мой сосѣдъ не нуждается ни въ какомъ покровительствѣ, но зачѣмъ вы мнѣ толкуете о равноправности. Это жестокая насмѣшка!—Вотъ что могли бы сказать пролетаріи въ 1789 году. Годъ этотъ засталъ буржуазію обладательницей всѣхъ орудій труда, земли, денегъ, кредита, знаній. Какую же цѣну могъ дать лишенный всего этого пролетарій дару свободы, метафизически опредѣляемой и разсматриваемой какъ право? Какой толкъ для нихъ въ свободѣ писать и разсуждать, когда у нихъ на это нѣтъ ни умѣнья, ни досуга? На что имъ право на высокое положеніе въ обществѣ, когда у нихъ нѣтъ никакихъ средствъ занять его? Политическая свобода, свобода промышленности, свобода совѣсти,— все это цѣнныя пріобрѣтенія для буржуазіи, но не для народа, который, имѣя на нихъ *право*, не имѣетъ *возможности* имъ воспользоваться» (Histoire de dix ans. IV, 114).

Съ насъ достаточно этихъ двухъ цитатъ. Мы дополнимъ ихъ только соображеніями Луи Блана насчетъ значенія конкуренціи для самой буржуазіи и мелкой поземельной собственности.

Конкуренція понижаетъ рабочую плату до минимума, до цифры, только что способной прокормить рабочаго, и этою цѣною голода рабочаго удешевляетъ продукты труда, но это удешевленіе достигаетъ, наконецъ, предѣла, за которымъ средніе и мелкіе производители не въ состояніи уже конкурировать съ крупными капиталистами. Въ рукахъ послѣднихъ сосредоточивается такимъ образомъ все производство страны, и какъ естественный логическій конецъ такъ называемой свободной конкуренціи, мы получаемъ монополію. Но не въ эту только сторону возможно движеніе. Естественный ходъ событій можетъ вызвать союзъ, ассоціацію мелкихъ производителей, каковая ассоціація получитъ возможность съ равными силами вступить въ борьбу съ крупными капиталами. Далѣе можетъ наступить новое слитіе уже ассоціированныхъ производительныхъ силъ и такимъ образомъ поле конкуренціи будетъ все суживаться. Итакъ, свободная конкуренція, на которую возлагается столько надеждъ, оказывается чѣмъ-то въ родѣ вершины конуса, математической точки. Выражаясь слогомъ переводчика перваго тома «Исторіи великой революціи», двѣ «вѣроломныя покатости» неизбѣжно увлекаютъ всякаго утописта, мечтающаго усидѣть на этой вершинѣ: одна ведетъ къ монополіи, къ авторитету, другая—къ ассоціаціи, къ братству. Это именно тотъ домъ съ растрескавшимися стѣнами, въ которомъ сидѣть, выжидая его паденія, вовсе не практично. А между тѣмъ либералы, видящіе въ принципахъ 89 года предѣлъ, его же не прейдеши, одинаково боятся и монополіи, и ассоціаціи.

Въ отношеніи поземельной собственности положеніе индивидуализма столь же невозможно. Революція уничтожила маіораты и вообще феодальныя формы землевладѣнія Земля стала дробиться. Собственность родовая, фамильная, даже оставаясь, путемъ наслѣдства, въ рукахъ одной и той же фамиліи, обратилась въ собственность личную, индивидуальную. Это одинъ изъ таранов, которыми индивидуализмъ пробилъ брешь въ стѣнахъ авторитета. А если прибавить къ этому то обстоятельство, что значительная часть поземельной собственности эмигрировавшихъ, изгнанныхъ и казненныхъ феодаловъ попала въ руки побѣдительницы буржуазіи, то станетъ совершенно понятнымъ, почему французская буржуазія и буржуазная наука такъ стоятъ за дробленіе земли. Мелкая личная поземельная собственность соблазняетъ и англійскую либеральную буржуазію. Но тамъ на нее смотрятъ, какъ на нѣчто, еще ожидаемое. Въ 1866 году Брайтъ доказывалъ, что половина пространства всей Англіи принадлежитъ 150 помѣщикамъ, а половина всей Шотландіи находится въ рукахъ 10—12 лицъ. Поэтому въ Англіи еще вполнѣ осязательны опасности и невыгоды крупнаго землевладѣнія. Но такъ или иначе, а «пульверизація» земли, какъ выражается Луи Бланъ (Droit au travail. Réponse à M. Thiers, 1848), составляетъ одинъ изъ догматовъ либерализма. И дѣйствительно, какъ съ экономической, такъ и съ политической точки зрѣнія, можно бы было привести весьма многое въ пользу «пульверизаціи», хотя большинство доводовъ будетъ отрицательнаго свойства,—не столько въ пользу пульверизаціи, сколько во вредъ монополіи. Но и противники дробленія земли выставляютъ доводы не менѣе вѣскіе. Они говорятъ, что земледѣліе требуетъ непремѣнно широкихъ размѣровъ эксплоатаціи; что ничтожныя средства владѣльца ничтожнаго клочка пульверизированной земли не позволяютъ ему приложить къ дѣлу лучшіе и новѣйшіе способы обработки; что дробленіе земли вызываетъ паденіе скотоводства, требующаго обширныхъ пастбищъ; что оно такимъ образомъ стремится къ замѣнѣ животной пищи растительною и къ истощенію почвы, и т. д. Но для насъ важнѣе всего замѣтить, что мелкіе поземельные участки, по мѣрѣ обѣдненія ихъ владѣльцевъ и развитія промышленности, неизбѣжно переходятъ въ руки скупщиковъ и вновь сливаются въ крупную поземельную соб-

ственность. И единственнымъ средствомъ противъ такого возвращенія къ феодализму и развитія батрачества является земледѣльческая ассоціація, поземельная община. И такъ мы опять имѣемъ двѣ «вѣроломныя покатости», а дробленіе земли, какъ и конкуренія вообще, оказывается вершиною конуса, математическою точкою, на которой въ дѣйствительности нѣтъ никакой возможности удержаться.

Во всемъ этомъ нетрудно замѣтить нѣчто, кромѣ декламаціи и жалкихъ словъ, и даже нѣчто, кромѣ ходячихъ представленій, какія имѣются въ обществѣ относительно Луи Блановой борьбы съ конкуренціей. Наука и литература находятся нынѣ почти исключительно въ рукахъ либерализма. Это та сила, съ которою приходится считаться и папѣ, и императору Вильгельму сверху, и народу, и соціализму снизу. На трибунахъ, на каѳедрахъ, въ журналистикѣ либералы совершаютъ служеніе своему идолу — свободѣ и жестоко позорятъ тѣхъ, кто не согласенъ понимать свободу на ихъ манеръ, кто осмѣливается въ этомъ дѣлѣ «свое сужденіе имѣть». У либераловъ есть два рода противниковъ—феодало-католики и военный абсолютизмъ съ одной стороны и соціализмъ—съ другой. Нѣкоторые изъ соціалистовъ, пораженные темными сторонами превозносимаго либералами порядка, сочиняли утопіи, т. е. чисто фантастическія произведенія, въ которыхъ описывались и предлагались порядки, по мнѣнію авторовъ лучшіе, нежели существующій. Въ этихъ утопіяхъ можно найти много смѣшного, нелѣпаго, чѣмъ и занимаются либералы. Въ одной изъ нихъ изъ презрѣннаго металла, золота, приготовляются цѣпи для каторжниковъ и ночныя вазы, въ другой—государственный долгъ Англіи уплачивается въ теченіе полугода выручкой отъ продажи куриныхъ яицъ и т. п. Это, конечно, смѣшно. Но все это мелочи, частности, внѣшнія формы, на которыя, собственно говоря, не слѣдовало бы обращать вниманія. А между тѣмъ либералы пользуются ими — можетъ быть, не злонамѣренно, а по близорукости— для дискредитированія такихъ сторонъ ученія своихъ противниковъ, которыя не имѣютъ ничего общаго съ золотыми цѣпями на каторжникахъ и курами, оплачивающими государственный долгъ Англіи. Въ такомъ же смыслѣ эксплоатируютъ либералы и обнаруженную нѣкоторыми соціалистами наклонность къ регламентированію общественной жизни. Здѣсь либералы попадаютъ на своего любимаго, хотя и заѣзженнаго конька, и извергаютъ потоки краснорѣчивыхъ фразъ противъ сторонниковъ диктатуры, регламентаціи и опеки, заклятыхъ враговъ свободы, апостоловъ насильственнаго передѣла имуществъ и т. п. Діатриба оканчивается утвержденіемъ, что свобода есть единственное средство для упроченія благосостоянія людей. При этомъ исходною точкою для либераловъ служитъ личность, которую будто бы соціализмъ грозитъ совершенно растворить въ обществѣ, подчинить ее, сковать. Краснорѣчиво и глубокомысленно развивая свою тему, либералы не замѣчаютъ, что противники ихъ подкопались подъ самые ея корни, что слѣдуетъ остановиться и либо придумать новые аргументы, либо замолчать.

Въ числѣ подкопавшихъ корни либерализма Луи Бланъ занимаетъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ своимъ анализомъ свободной конкуренціи. Съ его точки зрѣнія вопросъ ставится такимъ образомъ.

— Вы говорите, что свобода есть единственное средство для достиженія благосостоянія. Я не меньше васъ дорожу свободой народа, но мнѣ кажется, что вы смѣшали цѣль со средствомъ. Не пугайте меня тѣмъ, что вы меня прославите ретроградомъ реакціонеромъ, врагомъ революціи 1789 года. Я въ извѣстномъ смыслѣ дѣйствительно ея врагъ и заявляю это открыто. Вы говорите, что революція освободила народъ. Да, она освободила его отъ сеньеріальной юрисдикціи, отъ сервитутовъ, права охоты и т. п. Но она дала ему новыхъ господъ, и эти господа — вы. Вы говорите, что въ промышленномъ обществѣ человѣкъ, лишенный собственности, орудій труда, кредита, свободенъ. Я утверждаю, что это неправда. Пусть вы невиноваты въ осажденномъ исторіей фактѣ. Выбирайте ему какое хотите названіе, но не называйте же его свободой. Свобода, по вашему опредѣленію, есть право пользоваться своими силами и способностями, поскольку пользованіе это не стѣсняетъ чужихъ правъ. Это фикція, если не насмѣшка. Свобода есть не право, а возможность пользоваться своими способностями и силами. Дайте народу эту возможность, и я скажу, что онъ свободенъ. Вы говорите о свободной конкуренціи. Покажите мнѣ ее сперва. Гдѣ она? Я знаю, что мелкій собственникъ имѣетъ право конкурировать съ крупнымъ, что ему это не возбраняется законами. Но я знаю также, какъ знаете и вы, что онъ не можетъ конкурировать. При чемъ же тутъ свобода?

Вопросъ такимъ образомъ переносился на новую почву. Изъ вопроса о выгодахъ и невыгодахъ свободной конкуренціи онъ обращался въ вопросъ о самомъ ея существованіи. Если не Луи Бланъ первый поставилъ его, то до него во всякомъ случаѣ никто не дѣлалъ этого съ такою отчетливостью. Либеральные экономисты, отрицающіе или игнорирующіе указываемый Луи Бланомъ

фактъ, не менѣе метафизиковъ служатъ интересамъ буржуазіи. Какъ метафизики прикрываютъ дѣйствительность, какъ она сложилась средними вѣками, призрачнымъ покрываломъ цѣлесообразности всего, что дѣлается на бѣломъ свѣтѣ, такъ либеральные экономисты набрасываютъ на ту же дѣйствительность столь же обманчивое покрывало свободы. А изъ-подъ обоихъ покрываловъ, изящныхъ и искусно сдѣланныхъ, выглядываетъ все тотъ же фактъ: «сволочь» и «порядочные люди». Какъ и метафизика, экономическій либерализмъ ищетъ точки опоры въ личности, но не въ какой либо идеальной, а въ личности, стилифованной эмпирическими условіями средневѣковой жизни. Утверждая право заимодавца на проценты со ссуды, Тюрго доказывалъ, что право это совершенно независимо отъ какихъ либо сторонніхъ соображеній. Конечно, говорилъ онъ, заемщикъ извлечетъ изъ ссуды пользу, но не это даетъ заимодавцу право на проценты: «для этого права достаточно, чтобы деньги принадлежали ему». Абсолютная собственность и абсолютное право, возведеніе въ принципъ голой эмпиріи,—вотъ программа либерализма. Пораженный этою стороной индивидуализма. Неккеръ представилъ на разсмотрѣніе либераловъ слѣдующій вопросъ. Представьте, что нѣсколько человѣкъ нашли средство присвоить себѣ въ собственность воздухъ, подобно тому, какъ другіе присвоили себѣ землю. Представьте, что они придумали трубы, изобрѣли воздушные насосы, которые даютъ имъ возможность по произволу разрѣжать воздухъ въ одномъ мѣстѣ и сгущать его въ другомъ. Ужели бы дозволили этимъ людямъ распоряжаться человѣческимъ дыханіемъ? — Это reductio ad absurdum, но гипербола все-таки била въ цѣль. Принимая на себя въ принципѣ защиту интересовъ и свободы личности, либерализмъ фактически поддерживаетъ гнетъ одной личности надъ другой и, слѣдовательно, въ сущности впадаетъ въ тотъ именно грѣхъ, въ которомъ обвиняетъ соціализмъ. Разница между упреками соціализму и собственнымъ его поведеніемъ состоитъ только въ слѣдующемъ. По мнѣнію либераловъ, соціализмъ требуетъ поглощенія личности въ обществѣ, идеальномъ, построенномъ на основаніи тѣхъ, или другихъ субъективныхъ требованій, не мирящихся съ дѣйствительностью. Самъ же либерализмъ жертвуетъ личностью для исторически-сложившейся, эмпирической, въ данную минуту существующей формы общества. Это прекрасно выражается въ приведенномъ уже нами выше мнѣніи Гарнье о народномъ образованіи. Съ одной стороны Гарнье требуетъ естественнаго, свободнаго теченія событій и невмѣшательства государства въ дѣло народнаго образованія. Это и есть обыкновенное требованіе экономистовъ свободы, какъ средства для достиженія всевозможныхъ благихъ цѣлей. Но Гарнье тутъ же приподымаетъ завѣсу, прикрывающую эти благія цѣли. Онъ утверждаетъ, что раздѣленіе труда на умственный и физическій должно быть проведено во имя интересовъ «нашей общественной системы», какъ можно послѣдовательнѣе; поэтому народное образованіе есть нѣчто противуобщественное. Итакъ, свобода требуется какъ средство для достиженія отупѣнія народа.

Луи Блановa критика свободной конкуренціи интересуетъ насъ здѣсь только, какъ одинъ изъ моментовъ его философіи исторіи, и потому намъ нѣтъ надобности долго останавливаться на ней. Перейдемъ къ другому догмату индивидуализма, значеніе котораго очевиднѣе, чѣмъ какая либо другая сторона буржуазно-либеральнаго періода развитія, ибо здѣсь мы встрѣчаемся съ фактами, съ ходячей точки зрѣнія историческими по преимуществу. Мы разумѣемъ политическую программу буржуазіи.

«Монархическая буржуазія есть безсмыслица», говоритъ Луи Бланъ. И въ самомъ дѣлѣ, и интересы французской буржуазіи, и ея свободолюбіе, тянутъ ее къ республиканской формѣ правленія. Совершенно естественно, что, господствуя въ соціальномъ строѣ своими капиталами и умственнымъ развитіемъ, буржуазія должна стараться захватить въ свои руки и политическую власть, управлять страною при помощи избранныхъ изъ своей среды представителей. И однако буржуазія останавливается на этомъ пути на полдорогѣ. Ея идеалъ есть конституціонная монархія: наслѣдственный монархъ, окруженный совѣтниками, избранными изъ передніхъ рядовъ буржуазіи. Однако не смотря на совершенную ясность и опредѣленность этого идеала, разработаннаго множествомъ ученыхъ и публицистовъ, ровно съ тѣхъ поръ, какъ буржуазія завладѣла полемъ политики, Франція стала биться, какъ птица въ клѣткѣ, толкаясь то въ двери республики, то въ омутъ абсолютизма. Это постоянное колебаніе, это циклическое движеніе формъ правленій и конституцій во Франціи объясняется, по Луи Блану, невозможностью буржуазнаго политическаго идеала, его утопичностью. Задача — соединить принципъ наслѣдственности съ выборнымъ началомъ, власти одного съ властью многихъ—есть опять-таки математическая точка, домъ съ растрескавшимися стѣнами, въ которомъ оставаться очень непрактично. Борьба этихъ двухъ, взаимно исключающихся началъ, наполняетъ собою политиче-

скую исторію Франціи съ начала нынѣшняго столѣтія: попеременно одолѣваетъ то наслѣдственный принципъ, то выборный абсолютизмъ, то республика, то король, то буржуазія. Людовикъ XI, Ришелье, Людовикъ XIV полагали, что они служатъ дѣлу абсолютизма, когда они истребляли и унижали высшее дворянство. Но, достигая временно блестящихъ въ этомъ смыслѣ результатовъ, они въ то же самое время подрубали пьедесталъ, на который поднимались. Монархія необходимо должна опираться на сильную аристократію, иначе она стоитъ на воздухѣ, такъ что Людовикъ XIV, абсолютнѣйшій изъ королей, оказывается прямымъ предтечей революціи. Революція повела къ свободѣ промышленности, къ раздробленію феодальныхъ земель, къ униженію идеи божественнаго права, а всѣмъ этимъ было обезпечено торжество буржуазіи въ дальнѣйшихъ ея столкновеніяхъ съ монархическимъ принципомъ. Самъ Наполеонъ и не пытался расшатывать вызванный революціей экономическій и гражданскій порядокъ, т.-е. господство буржуазіи, да это было бы напраснымъ трудомъ: здѣсь исторія уже поставила точку. Но, какъ монархъ, какъ представитель наслѣдственнаго принципа, Наполеонъ долженъ былъ въ политикѣ играть свою собственную, монархическую роль. Онъ пытался создать аристократію, онъ враждебно сталкивался съ мирными интересами буржуазіи своею воинственною дѣятельностью. Реставрація Бурбоновъ, холодно и съ недовѣріемъ принятая народомъ, была покрыта рукоплесканіями сливокъ буржуазіи. Они расчитывали, что теперь наступило наконецъ золотое время либеральнаго парламентаризма, что высшая буржуазія займетъ въ правительствѣ мѣсто, соотвѣтствующее положенію аристократіи въ Англіи. Но если аристократія можетъ кульминироваться въ своемъ собственномъ символѣ—наслѣдственной монархіи, то для буржуазіи это дѣло невозможное. Людовикъ XVIII и Карлъ X не замедлили войти въ свою роль истыхъ монарховъ: старинное дворянство заняло свое соотвѣтственное мѣсто возлѣ трона, хартія была надорвана. Съ своей стороны и буржуазія, готовая на соглашеніе, оказалась не въ состояніи его выполнить. Она изобрѣла знаменитую формулу: король царствуетъ, но не управляетъ, и желала непремѣнно имѣть короля, но въ видѣ молчаливой и безучастной тѣни, а короли на это не поддавались. Произошелъ взрывъ, Бурбоны изгнаны, Орлеаны призваны. Сливки буржуазіи полагали, что дѣло было только въ личностяхъ Людовика XVIII и Карла X, а не въ невозможности усидѣть на вершинѣ конуса. Въ то время, какъ дворянство агитировало въ пользу преемниковъ Гуго Капета, буржуазія готовилась нанести окончательный ударъ старому порядку, уничтоженіемъ наслѣдственности перскаго достоинства. Она поражала такимъ образомъ принципъ наслѣдственности въ одной его формѣ и въ то же время, провозглашая Луи Филиппа наслѣдственнымъ королемъ, пыталась сохранить тотъ же принципъ въ другой формѣ. Правда, сливки изъ сливокъ буржуазіи — Ройе-Колларъ, Казиміръ Перье, Тьеръ, Гизо—требовали неприкосновенности перовъ. Но съ чего было сохранять этотъ жалкій остатокъ правомѣрно, по мнѣнію тѣхъ же людей, разбитаго феодализма? Такимъ образомъ буржуазія продолжала балансировать на вершинѣ конуса. Людовикъ-Филиппъ, этотъ «Наполеонъ мира», этотъ «король-буржуа», не смотря на свои мирныя и буржуазныя наклонности, не желалъ принять на себя роль молчаливой статуи, и монархія смѣнилась наконецъ республикой. Республика получила президента, президентъ обратился въ императора, императоръ смѣнился республикой, республика получила президента. И дальше не предвидится прекращенія этихъ скачковъ, пока соціальная реформа не уравновѣситъ политическаго значенія буржуазіи. Не смотря на все свое уваженіе къ принципу всеобщей подачи голосовъ, Луи Бланъ, какъ могъ въ качествѣ политическаго бѣглеца и изгнанника, противился президентству Луи Наполеона. Онъ находилъ, что это президентство компрометтировало принципъ всеобщей подачи голосовъ. Онъ предсказывалъ далѣе, что Луи Наполеонъ не остановится на президентствѣ и что затѣмъ произойдетъ новая схватка между двумя непримиримыми началами—буржуазнымъ и монархическимъ. Въ числѣ соображеній, выставленныхъ при этомъ Луи Бланомъ, любопытно слѣдующее. Онъ утверждалъ, что все, справедливое относительно положенія наслѣдственнаго монарха, въ такой же мѣрѣ приложимо къ положенію выборнаго президента, если онъ облеченъ такою властью, какая вручалась ему конституціей 1848 года. Власти этой какъ разъ достаточно для того, чтобы облеченный ею человѣкъ пожелалъ большаго и добился своей цѣли. Луи Бланъ находилъ даже, что президентство отзовется на колебаніяхъ отъ республики къ обсолютизму еще сильнѣе, чѣмъ конституціонная монархія. Монархъ спокойно, не возбуждая ничьей зависти и не прибѣгая къ интригамъ, вступаетъ на наслѣдственный престолъ. Это становится дѣломъ привычнымъ, впрочемъ не во Франціи, которая привыкла, напротивъ, къ тому, что сынъ не вступаетъ на престолъ отца. Президенту же придется добираться до своего

кресла, а съ него до трона, интригуя и вмѣстѣ съ тѣмъ служа мишенью для интригъ.

Сторонники парламентаризма указываютъ обыкновенно на Англію, гдѣ конституціонная монархія стоитъ прочно, не вызывая никакихъ колебаній и скачковъ. На это Луи Бланъ отвѣчаетъ слѣдующее. Въ Англіи, не смотря на громадное развитіе ея промышленности и торговли, господствующее начало есть аристократическое. Королевская власть, палата лордовъ и палата общинъ составляютъ въ Англіи не три отдѣльныя власти, а три отдѣльныя функціи, три выраженія одного и того же принципа. И королевская власть тамъ можетъ существовать въ видѣ простого символа господствующаго принципа передачи политической власти въ силу правъ рожденія. Такъ было по крайней мѣрѣ до сихъ поръ, а что будетъ дальше—неизвѣстно. Во Франціи аристократическое начало вымерло окончательно, а буржуазія давно уже лизнула крови. Оттого здѣсь несовмѣстность монархической власти съ характеромъ буржуазіи выступаетъ рѣзче, чѣмъ гдѣ нибудь.

Подведемъ итоги главнымъ догматамъ индивидуализма:

Возможность познанія, полученія истины путемъ самосозерцанія безъ вмѣшательства какъ супранатуральныхъ силъ, такъ и чувственнаго опыта—миражъ.

Самоопредѣляющаяся воля, свободная какъ отъ божественнаго предопредѣленія, такъ и отъ вліянія внѣшняго міра—миражъ.

Свободная конкуренція—миражъ.

Демократизированіе и индивидуализація землевладѣнія путемъ раздробленія поземельной собственности—миражъ.

Конституціонная монархія, застрахованная отъ абсолютизма и республики—миражъ.

Отъ каждаго изъ этихъ миражей идутъ двѣ «вѣроломныя покатости», направляющіяся одна въ сторону принципа авторитета, другая въ сторону принципа братства. Отсюда ясно видно, что индивидуализмъ есть переходная форма развитія человѣчества, долженствующая смѣниться иною системою интересовъ, идей, чувствъ и положеній.

Эту грядущую систему Луи Бланъ называетъ системой братства. Къ сожалѣнію, это наименѣе разработанная часть доктрины Луи Блана. Онъ говоритъ: «Принципъ братства состоитъ въ томъ, что онъ, считая солидарными членовъ великой семьи, стремится организовать общества, дѣло человѣка, по образцу тѣла человѣческаго, которое есть дѣло божіе, и основываетъ правящую власть на убѣжденіи, на добровольномъ согласіи сердецъ». Если мы выкинемъ отсюда уподобленіе общества организму, которое здѣсь есть не болѣе какъ метафора и не играетъ никакой сколько нибудь важной роли въ системѣ Луи Блана, то, въ качествѣ атрибута принципа братства, у насъ останется только извѣстное представленіе о роли правительства. Такая скудость красокъ, формъ и даже прямо содержанія въ картинѣ будущаго объясняется чисто практическимъ складомъ ума Луи Блана. Отказываясь отъ произвольныхъ фантазій, Луи Бланъ ограничивается намѣчиваніемъ нѣсколькихъ вѣхъ по направленію къ будущему—такія вѣхи, какъ увидимъ, есть—и затѣмъ все свое вниманіе сосредоточиваетъ на главномъ практическомъ вопросѣ дня. Опредѣливъ свободу, какъ *возможность* безпрепятственно развивать и прилагать свои силы и способности, Луи Бланъ естественно видитъ въ ней только болѣе или менѣе близкое будущее. Разоблачая буржуазный принципъ свободы, какъ *права*, какъ средства достигнуть извѣстныхъ результатовъ, онъ противопоставляетъ ему другой принципъ, принципъ права на трудъ, гарантированнаго государствомъ. Такимъ образомъ практическій вопросъ о государственномъ вмѣшательствѣ, вопросъ о средствѣ заслонилъ для него собою теоретическія стороны «братства», какъ цѣли. Вслѣдствіе этого принципъ братства оказывается недостаточно выясненнымъ и недостаточно полнымъ, не захватывающимъ многихъ первостепенной важности сторонъ жизни. Такъ, въ немъ нѣтъ мѣста наукѣ. Чѣмъ замѣнитъ принципъ братства самосозерцаніе индивидуализма? Уже изъ отношенія Луи Блана къ сенсуализму видно, что онъ не можетъ дать удовлетворительнаго отвѣта на этотъ вопросъ. И дѣйствительно, воззрѣнія Луи Блана на этотъ предметъ, какъ и слѣдовало ожидать по общимъ свойствамъ его ума и наклонностей, крайне сбивчивы и неопредѣленны. Однако у него самого можно найти матеріалы для правильнаго рѣшенія поставленнаго вопроса.

Въ предисловіи къ «Organisation du travail» Луи Бланъ говоритъ, что и язычество и католицизмъ одинаково неосновательно дробили недѣлимаго человѣка на двѣ враждебныя половины—духъ и матерію. Язычество обоготворило матерію, выше всего поставивъ чувственныя наслажденія. Католицизмомъ была провозглашена эмансипація духа, но, реагируя противъ языческаго міросозерцанія, католицизмъ предалъ вмѣстѣ съ тѣмъ анаѳемѣ матерію. Эта странная и жестокая борьба между духомъ и матеріей усиливается еще неравномѣрнымъ распредѣленіемъ труда и наслажденій, которое мѣшаетъ гармоническому развитію человѣческихъ силъ и способностей: атрофія поражаетъ однихъ, гипертрофія другихъ.

Отправляясь отъ этого факта, Луи Бланъ приступаетъ къ анализу конкретныхъ явленій жизни. Но очевидно, что отсюда же можетъ

быть выведенъ рядъ требованій относительно эмансипаціи матеріи въ процессахъ познаванія. Эмансипація матеріи выразится здѣсь отрицаніемъ самосозерцанія и утвержденіемъ опыта и наблюденія, какъ основъ познаванія. Но если такой выводъ и возможно сдѣлать изъ нѣкоторыхъ положеній самого Луи Блана, то ближайшая связь науки съ принципомъ «братства» все-таки имъ вовсе не указана и даже не упомянута. Это самая слабая сторона философіи исторіи Луи Блана. Если, анализируя индивидуалистическую философію, онъ и впадаетъ въ грубыя ошибки, то по крайней мѣрѣ пытается обнять однимъ принципомъ всѣ сферы жизни, показать какъ въ каждой изъ нихъ прорывается индивидуализмъ, и слѣдовательно сознаетъ важность отвлеченныхъ вопросовъ. Въ картинѣ «братства» нѣтъ ничего подобнаго.

Мы уже упоминали о томъ, что Луи Бланъ только вскользь и при случаѣ намѣчаетъ характерныя черты періода господства авторитета. Первый томъ Исторіи великой революціи, составляющій обширное введеніе въ собственно исторію Франціи конца XVIII и начала XIX вѣка и заключающій въ себѣ въ наиболѣе полномъ и выработанномъ видѣ философско-историческія идеи Луи Блана, начинается Констанцскимъ соборомъ. Это моментъ борьбы принципа авторитета, представляемаго папою, императоромъ, толпою духовныхъ и свѣтскихъ сановниковъ, съ принципомъ братства, представителемъ котораго является на этотъ разъ Іоаннъ Гусъ. Съ одной стороны мы видимъ здѣсь сильныхъ міра сего, утратившихъ смыслъ и духъ ученія Христа и первобытной церкви, а съ другой бѣднаго священника, напоминающаго собой, »что ученіе о братствѣ неразрушимо по своей сущности; что измѣненное церковью оно было въ религіозномъ отношеніи сохраняемо въ ересяхъ; что даже среди самаго густого мрака оно всегда находилось въ какомъ-нибудь уголку Европы, свѣтя гдѣ-нибудь въ сторонѣ, какъ вѣчная и сохраняющаяся въ запасѣ лампада; что для его уничтоженія напрасно созывались соборы, собирались арміи, проповѣдывались дикіе крестовые походы, употреблялись желѣзо и огонь. Іоаннъ Гусъ былъ продолжателемъ всѣхъ тѣхъ, которые въ теологической формѣ протестовали противъ злоупотребленія принципомъ авторитета, и до того времени апеллировали отъ церкви къ евангелію, отъ папы къ Христу и отъ тиранніи человѣка къ покровительству Бога» (Ист. великой революціи. I, 46). Надо замѣтить, что Луи Бланъ неоднократно упоминаетъ о протестахъ во имя «братства», облеченныхъ въ теологическую, слѣдовательно принадлежащую слою «авторитета» форму. Такъ, напримѣръ, онъ говоритъ, что въ XVI вѣкѣ крестьяне «взялись за оружіе во имя принципа человѣческаго братства, религіозной формулой котораго былъ въ то время анабаптизмъ». Самое упоминаніе о теологической формѣ принципа братства предполагаетъ другія формы того же принципа и заставляетъ думать, что Луи Бланъ смотритъ на гусситское движеніе, анабаптизмъ и т. п., какъ на приготовительныя формы братства, долженствующія смѣниться болѣе совершенными. Такъ оно и есть въ дѣйствительности. Луи Бланъ прямо говоритъ объ этомъ. Что же касается до религіозныхъ формъ принципа братства, то онъ строитъ слѣдующую философію исторіи ересей. Католицизмъ провелъ глубокую раздѣльную черту между духомъ и плотью, между церковью и міромъ, между священникомъ и міряниномъ. Поэтому, прежде чѣмъ исторія могла заняться уничтоженіемъ болѣе или менѣе частныхъ различій въ средѣ общества, она должна была, какъ выражается Луи Бланъ, сблизить небо съ землей; стереть прежде всего самое широкое и глубокое неравенство—неравенство между священникомъ и міряниномъ. Таковъ и былъ смыслъ ересей. Луи Бланъ, впрочемъ, тутъ же рядомъ даетъ другое, гораздо болѣе вѣрное и менѣе натянутое объясненіе занимающему его факту. «Церковь завладѣла всѣмъ человѣкомъ» говоритъ онъ. Религія, какъ паутина, облегла все общество, и ничто въ нѣдрахъ его не могло пошевельнуться, не завернувшись предварительно въ теологическую оболочку. Самая наука не могла выбиться изъ этихъ путъ, а потому и то, что̀ Луи Бланъ называетъ братствомъ, могло проходить въ практическую жизнь только въ теологической формѣ. При этомъ естественно спросить: каково же дѣйствительное отношеніе теологическихъ формъ принципа братства къ принципу авторитета? То обстоятельство, что мы застаемъ ихъ въ борьбѣ, еще ничего не значитъ: черезъ всѣ средніе вѣка проходитъ борьба между властью папской и императорской, а между тѣмъ оба эти фактора тѣсно связаны между собой и стоятъ на общей почвѣ принципа авторитета. Если ереси имѣли въ виду возвратъ къ первобытному христіанству, то надлежитъ подвергнуть анализу самое христіанство и примѣрять къ нему три предлагаемые Луи Бланомъ принципа. Луи Бланъ однако этого не дѣлаетъ; не будемъ пытаться и мы сдѣлать это за него. Не трудно однако видѣть, что если принципъ авторитета, между прочимъ, «основываетъ жизнь націй на вѣрованіяхъ, слѣпо принимаемыхъ, на суевѣрномъ уваженіи преданія», то это въ значительной степени относится не только къ католичеству, а и къ ересямъ. Луи Бланъ и самъ намекаетъ,

что ереси протестовали только противъ *злоупотребленія* принципомъ авторитета и слѣдовательно не выступали изъ его района, не выступали по крайней мѣрѣ цѣликомъ. Вотъ нѣкоторые изъ двѣнадцати параграфовъ, составлявшихъ программу крестьянъ XVI вѣка:

«Птицы, рыбы въ рѣкахъ, звѣри въ лѣсахъ должны принадлежать всѣмъ, потому что *въ лицѣ перваго человѣка Господь всѣмъ далъ право надъ животными*».

«Пусть насъ судятъ *по формальностямъ, прежде предписаннымъ*, а не по произволу пристрастія или ненависти».

«Если мы въ чемъ нибудь ошибаемся, то признаемъ свою ошибку, *если только это докажутъ намъ словомъ божіимъ и авторитетомъ писанія*».

Гдѣ здѣсь оканчивается авторитетъ и гдѣ начинается братство? Луи Бланъ не только не развязалъ этого узла, а даже не разрубилъ его; да онъ и не могъ съ нимъ справиться, какъ по общему, уже отмѣченному нами складу своей мысли, такъ и вслѣдствіе неудовлетворительности своей философско-исторической схемы. Между многими прорѣхами этой схемы особенно замѣчательно отсутствіе въ системѣ братства элементовъ, соотвѣтствующихъ теологіи въ системѣ авторитета и метафизикѣ въ системѣ индивидуализма. А между тѣмъ элементы эти оказываются иногда нужными, и Луи Бланъ беретъ ихъ въ такихъ случаяхъ взаймы, преимущественно изъ области принципа авторитета. Въ основѣ гусситскаго движенія и анабаптизма несомнѣнно лежали нѣкоторые чисто реальные, земные интересы, могущіе быть выдѣленными изъ теологической оболочки. Но выдѣленіе это можетъ быть произведено только путемъ отвлеченія, такъ-какъ въ дѣйствительности земные интересы эти переплетались безчисленными нитями съ религіозными вѣрованіями, принадлежащими области авторитета. Эту эмпирическую смѣсь Луи Бланъ принимаетъ или, по крайней мѣрѣ, готовъ принять за нѣчто, логически связанное въ одно цѣлое. Онъ чуетъ демократическій духъ, которымъ вѣетъ отъ гусситскаго движенія и крестьянскаго возстанія, и этотъ демократическій духъ подкупаетъ его: онъ распространяетъ свое сочувствіе на такія стороны упомянутыхъ явленій, которыя, съ точки зрѣнія его же собственной классификаціи, цѣликомъ стоятъ на почвѣ принципа авторитета. Конечно, будь эта классификація лучше построена, подобная ошибка была бы гораздо менѣе вѣроятна. А построена она такъ вслѣдствіе невыработанности отвлеченныхъ началъ. Не будь этого, Луи Бланъ иначе оцѣнилъ бы девизъ Вальденсовъ: «всѣ христіане—священники»; иначе взглянулъ бы на требованіе, чтобы всякій мірянинъ могъ совершать причащеніе и говорить проповѣди: или на то, что «посредствомъ причащенія христіане соединяются въ Богѣ, становятся братьями». Онъ увидѣлъ бы, что радикальная постановка вопроса заключалась не въ томъ, чтобы сдѣлать мірянъ священниками, а наоборотъ въ томъ, чтобы обратить священниковъ въ мірянъ,—проблема для того времени невозможная, вслѣдствіе чего не могли удаться попытки разбить оковы авторитета.

До какой степени Луи Бланъ мало продумалъ этотъ пунктъ своего ученія, можно видѣть изъ слѣдующаго. По поводу доктрины Ламенне онъ замѣчаетъ: «Очевидна счастливая смѣлость этихъ проповѣдей. То былъ ультрамонтанизмъ, призванный на помощь къ свободѣ; то было Богомъ указанное принесеніе королевскаго деспотизма въ жертву двумъ великимъ силамъ,—папѣ и народу» (Histoire de dix ans. II, 257). И тотъ же человѣкъ, который написалъ эти строки, разсказывая исторію лиги говоритъ: «Стараться спасти принципъ авторитета, соединяя взгляды Григорія VII съ преждевременнымъ развитіемъ демократіи,—это была попытка, неслыханная въ исторіи; подобныхъ анахронизмовъ исторія не терпитъ. Лига въ одно и то же время и слишкомъ далеко ушла назадъ въ прошедшее и слишкомъ далеко ушла впередъ въ будущее» (Исторія великой революціи. I, 120). Достаточно сопоставить эти два мѣста, комментаріевъ не требуется.

Глубоко презирая катехизисъ безшабашнаго либерализма, Луи Бланъ впадаетъ иногда въ противоположную крайность. Желая выпрямить лукъ, онъ перегибаетъ его часто въ противоположную сторону и тѣмъ безъ всякой надобности даетъ поводъ къ разнымъ инсинуаціямъ и клеветамъ. Луи Бланъ требовалъ, какъ извѣстно, государственнаго вмѣшательства въ экономическую жизнь страны. Въ противоположность буржуазнымъ теоріямъ, онъ видѣлъ въ государствѣ не организмъ, состоящій изъ людей-органовъ, а органъ, функція котораго состоитъ въ облегченіи развитія и примѣненія человѣческихъ силъ и способностей. Онъ, слѣдовательно, вовсе не требовалъ такого государственнаго устройства, въ которомъ личность исчезала бы со всѣми своими особенностями. Онъ требовалъ для государства роли не господина, а служителя. Никакія либеральныя фразы, никакія звучныя слова не могли сбить его съ этой крѣпкой позиціи. Онъ зналъ, что дорожитъ свободой больше и понимаетъ ее лучше, чѣмъ его противники разныхъ оттѣнковъ. Но въ развитіи

и примѣненіи своей мысли онъ нерѣдко оступается. Это, конечно, достойно сожалѣнія. Но если Мальтусъ, сидя въ своемъ кабинетѣ, могъ расчитывать на снисхожденіе къ себѣ за то, что онъ, «найдя лукъ слишкомъ согнутымъ въ одну сторону, перегнулъ его въ другую, желая его выпрямить», то тѣмъ извинительнѣе ошибки и увлеченія среди борьбы политическихъ партій, среди парижскихъ уличныхъ схватокъ. Да дѣло и не въ извиненіи, а въ простой справедливости: откиньте негодное и возьмите годное. Пораженный призрачностью буржуазнаго принципа свободы, Луи Бланъ не только съ любовью останавливается на нѣкоторыхъ сторонахъ феодальнаго быта, но готовъ признать, что весь этотъ бытъ основывался «на трехъ великихъ силахъ: вѣрѣ самоотверженіи и любви». Пораженный послѣдствіями завѣщанной намъ XVIII вѣкомъ свободной конкуренціи, Луи Бланъ уже слишкомъ свѣтлыми красками рисуетъ нѣкоторыя средневѣковыя попытки регламентировать промышленныя отношенія. А между тѣмъ, всѣ эти перегибы лука въ противоположную сторону совершенно ненужны съ точки зрѣнія самого Луи Блана, только компрометтируютъ его дѣло и спутываютъ матеріалы для рѣшенія любопытнаго вопроса объ относительной цѣнности прошедшаго и настоящаго, т.-е. вопроса о прогрессѣ.

ВИКО И ЕГО «НОВАЯ НАУКА» *).

I.

Сенъ-Симонъ предложилъ различать въ исторіи человѣчества эпохи органическія и критическія. Подъ первыми слѣдуетъ разумѣть такіе періоды исторіи, когда въ извѣстномъ народѣ или въ цѣлой системѣ народовъ господствуетъ одинъ принципъ, когда извѣстная соціальная группа во всѣхъ своихъ отправленіяхъ и направленіяхъ проникнута однимъ началомъ, безспорнымъ, всѣми признаваемымъ. Эпохи критическія характеризуются, напротивъ, стремленіемъ замѣнить наличный порядокъ вещей новымъ, что́ предполагаетъ борьбу, по крайней мѣрѣ, двухъ взаимно-исключающихся соціальныхъ принциповъ. Борьба оканчивается въ пользу того или другого, и если въ дѣло не замѣшается третій принципъ, равновѣсіе возстановляется, наступаетъ опять органическая эпоха. Трудно, конечно, иногда указать съ достаточною опредѣленностью пограничную черту между органическою и критическою эпохами. Но есть, однако, періоды, которые могутъ служить очень характерными представителями того и другого направленія общественной жизни. Такъ, развитіе католико-феодальной системы вплоть до Лютера можетъ быть безспорно признано эпохою органическою. Всѣ стороны этой системы проникнуты однимъ и тѣмъ же началомъ власти авторитета. На немъ зиждется все зданіе до мельчайшихъ подробностей, до самыхъ незамѣтныхъ орнаментовъ. Самыя распри, которыми такъ обиленъ этотъ періодъ исторіи, не выходятъ за предѣлы основного принципа, вертятся на немъ и изъ-за него. Одинокія вспышки, чуждыя системѣ по своему принципіальному характеру, немедленно затираются или даже угасаютъ сами собой. Въ своихъ теоретическихъ изслѣдованіяхъ и практическихъ предпріятіяхъ люди имѣютъ всѣ одну и ту же точку отправленія, всѣмъ одинаково близкую. Никакому скептицизму здѣсь мѣста нѣтъ. Но вотъ, мало-по-малу, накапливаются тучи, и Лютеромъ открывается эпоха критическая. Она не окончилась и до сихъ поръ, ибо три несовмѣстимыхъ принципа борятся до сихъ поръ за преобладаніе въ Европѣ. Самый разгаръ этой эпохи, самый жаркій пунктъ борьбы выпалъ на долю прошлаго столѣтія.

Эпохи органическія и критическія требуютъ и производятъ дѣятелей совершенно различныхъ и по складу мысли, и по характеру. Спокойные созерцатели, люди, ясно сознающіе свои задачи, не колеблющіеся, не раздвапвающіеся, умы преимущественно творческіе—таковы дѣятели органическихъ эпохъ. Возможны подобныя фигуры и въ эпохи критическія, но не онѣ окрашиваютъ

*) 1872, ноябрь.

собою вѣкъ, а если и окрашиваютъ, то не этими сторонами. Смѣлость отрицанія, пылкость темперамента, юркость, скептицизмъ, нѣкоторая односторонность, увертливость, наклонности преимущественно разрушительныя, а не творческія—вотъ качества, вызываемыя и увѣнчиваемыя критическими эпохами. При помощи такихъ людей производится броженіе, изъ котораго возникаетъ новый соціальный принципъ. Трудно представить себѣ что-нибудь печальнѣе положенія человѣка, принадлежащаго по складу ума и характера къ органическому типу, но осужденнаго жить въ эпоху критическую, или наоборотъ. Вольтеръ въ XV столѣтіи былъ бы несчастнѣйшимъ человѣкомъ, онъ бы задохся подъ тяжестью своихъ собственныхъ силъ. За то какимъ пышнымъ цвѣтомъ могли бы расцвѣсть Монтень или Рабле, живи они въ моментъ разгара борьбы съ феодально-католическою системою. Можетъ показаться, что такія разсужденія слишкомъ напоминаютъ извѣстную присказку о томъ, что было бы, еслибы да кабы и т. д. Но это не совсѣмъ справедливо. Можно привести много примѣровъ людей, очевидно, родившихся не во время, даромъ растратившихъ иногда громадныя силы. Мы намѣрены остановить вниманіе читателя на одномъ такомъ примѣрѣ, именно на человѣкѣ органическаго типа, имѣвшемъ несчастіе родиться и жить въ критическую эпоху.

Джіованни-Батиста Вико принадлежитъ къ числу оригинальнѣйшихъ фигуръ прошлаго столѣтія, оригинальнѣйшихъ и по своимъ произведеніямъ, и по своей судьбѣ. Творецъ геніальнаго произведенія, онъ сорокъ лѣтъ преподаетъ элоквенцію, сочиняетъ эпитафіи, эпиталамы, привѣтствія и похвальныя слова разнымъ дюкамъ, маркизамъ и курфюрстамъ. Писатель XVIII вѣка, онъ носится съ Платономъ. Замѣчательный мыслитель, во многомъ опередившій свой вѣкъ, онъ, можно сказать, неизвѣстенъ своимъ современникамъ и почти безполезенъ потомкамъ. Вико, удрученный бѣдностью и всякими невзгодами, говорилъ, что несчастіе будетъ его преслѣдовать до могилы. Пророчество это исполнилось буквально. Когда онъ умеръ, трупъ его желали нести товарищи-профессора, но того же добивались и какіе-то монахи. Споръ кончился тѣмъ, что гробъ опять внесли въ комнаты и оставили на произволъ судьбы. Сыну Вико едва удалось, наконецъ, устроить печальное торжество. Эта исторія похоронъ Вико есть какъ бы символическое изображеніе его жизни. Изъ-за его мысли, какъ изъ-за его трупа, могли бы, если бы пожелали, поспорить ученые и монахи, наука и богословіе. Но споръ долженъ бы былъ окончиться, какъ и похороны: изъ него ничего бы не вышло, а дальше забвеніе, а человѣкъ имѣлъ всѣ задатки, всѣ права не быть забытымъ.

Вико родился въ 1668 и умеръ въ 1744 году. Слѣдовательно, борьба съ феодально-католическимъ преданіемъ, которою наполнено все прошлое столѣтіе, развертывалась на его глазахъ. Но онъ былъ ей совершенно чуждъ. Его не смущали конституціонные идеалы, вывезенные въ Европу изъ Англіи. Онъ твердо вѣрилъ, что «высшій законъ, которымъ должны провѣряться всѣ другіе, есть величіе и слава монархіи, благо и слава государя» (Ср. Макіавелли, для котораго уже въ XV столѣтіи «высшій законъ», suprema lex, былъ salus populi). Своею преданностью католицизму Вико хвалился съ почти дѣтскою наивностью. Онъ отказывался комментировать De jure belli et pacis Гуго Гроція на томъ основаніи, что «неприлично христіанину украшать своими замѣчаніями произведеніе еретика». Онъ сильно негодовалъ на Бейля и особенно не могъ ему простить его гипотезы народа, не имѣющаго никакихъ представленій о Богѣ. Но достойно вниманія, что дальше Бейля правовѣрное негодованіе Вико не идетъ. Онъ едва упоминаетъ о Локкѣ, и притомъ сравнительно весьма снисходительно, а о французскомъ движеніи просвѣтителей онъ какъ будто никогда ничего не слыхалъ. Главный врагъ, съ которымъ онъ сражается всю жизнь, есть еще Декартъ, давно затертый Ньютономъ въ физикѣ и Локкомъ—въ философіи. Изъ этой неустанной борьбы съ мертвымъ и похороненнымъ противникомъ можно бы было заключить, что Вико вообще былъ гораздо ниже своего времени и не умѣлъ цѣнить злобы дня. Это все равно, какъ еслибы современный русскій критикъ-«охранитель» поставилъ задачею своей жизни борьбу съ фонъ-Визинымъ и до конца дней своихъ доказывалъ бы, что неблагонамѣренно и неправильно позорить Простаковыхъ и Скотининыхъ. Казалось бы, поведеніе Вико обнаруживаетъ въ этомъ случаѣ крайнюю недальновидность, совершенное непониманіе того, что̀ вокругъ него дѣлается. Но такой приговоръ будетъ далеко несправедливъ. Передъ нами тутъ возникаетъ психологическая задача, гораздо болѣе сложная, которую не разрубить по-Александровски. Мы имѣемъ дѣло съ мыслителемъ глубокимъ и сильнымъ но не во̀ время родившимся. Отношенія Вико къ господствовавшимъ въ его время доктринамъ крайне любопытны. Для уясненія ихъ посмотримъ сперва, что именно такъ претило Вико въ картезіанской философіи.

«Въ наше время—писалъ Вико въ 1708 го-

ду *) — люди занимаются только критикой, а топика (искусство изобрѣтенія), которая должна бы была ей предшествовать, находится въ полномъ пренебреженіи... Но величайшій недостатокъ современнаго направленія состоитъ въ томъ, что науки естественныя изучаются нынѣ въ ущербъ нравственнымъ. Въ большомъ пренебреженіи находится та часть морали, которая изучаетъ склонности человѣческой души, свойства добродѣтелей и пороковъ, различіе нравовъ, смотря по возрасту, полу, условіямъ жизни, богатству, отечеству личностей. Это наука трудная, но весьма полезная, какъ въ практическомъ отношеніи, такъ и для краснорѣчія. Почти совсѣмъ оставлена великая и благородная наука политики. Нынѣ преслѣдуется только одна цѣль — познаніе истины. Изучается природа вещей, потому что такое изученіе кажется точнымъ; не изучается природа человѣка, потому что, будучи свободною, она не поддается точному знанію».—Въ другомъ мѣстѣ Вико пишетъ: «Мнѣ кажется недостойнымъ философа говорить: *сообразно опредѣленію* 4, *принимая въ соображеніе постулатъ 2, въ силу аксіомы 3*... и затѣмъ заключить торжественно буквами Q. E. D. (quod est demonstrandum, что и требовалось доказать); а въ сущности нисколько не принудить разумъ признать какую нибудь истину, оставить человѣка въ состояніи той же свободы думать, что ему угодно, въ какомъ онъ былъ и до того... Безъ сомнѣнія, мы много обязаны Декарту, который установилъ мѣриломъ истины индивидуальную мысль; господствовавшая до него исключительная вѣра въ авторитетъ была слишкомъ унизительнымъ рабствомъ. Мы много обязаны ему и за его методъ: онъ внесъ извѣстную стройность въ хаосъ схоластики. Но желать исключительнаго господства индивидуальнаго сужденія и исключительнаго употребленія геометрическаго метода—значитъ впадать въ противоположную крайность. Пора принять средній путь: слѣдовать личному сужденію, но съ ограниченіями извѣстнаго авторитета; держаться метода, но не одного и того же во всѣхъ случаяхъ, а сообразнаго природѣ изучаемыхъ вещей. Скоро станетъ очевиднымъ, что Декартъ подобенъ тѣмъ, которые прочищаютъ себѣ дорогу къ тиранніи, объявляя себя защитниками свободы, и которые, овладѣвъ властью, подвергаютъ народъ гораздо сильнѣйшему гнету, чѣмъ низвергнутый ими. Онъ заставилъ отвернуться отъ изученія другихъ философовъ, проповѣдуя, что каждый человѣкъ, единственно при помощи своего личнаго разума, можетъ добыть всѣ знанія. Молодые люди легко поддаются соблазну такой доктрины, ибо много читать утомительно. Но самъ Декартъ былъ человѣкъ глубокой учености, вдобавокъ онъ былъ геній, какіе родятся даже не каждые сто лѣтъ. Человѣкъ, въ такой мѣрѣ одаренный, можетъ довѣриться своей личной мысли. Но можно ли обратить это исключеніе въ общее правило? Пусть люди такъ же основательно, какъ Декартъ, изучаютъ Платона, Аристотеля, св. Августина, Бэкона и Галилея; пусть они столь же упорно размышляютъ, какъ это дѣлалъ Декартъ въ своемъ уединеніи,— и міръ будетъ имѣть философовъ, подобныхъ Декарту. Но они никогда не сравняются съ нимъ, если будутъ довольствоваться чтеніемъ только Декарта, да своимъ личнымъ разумомъ. Декартъ будетъ господствовать надъ ними, слѣдуя макіавеллистическому правилу: уничтожай тѣхъ, при помощи которыхъ ты возвысился» *).

Кромѣ этихъ, главнымъ образомъ логическихъ недостатковъ картезіанской философіи, Вико часто выставляетъ на видъ ея несостоятельность еще съ одной стороны, чисто соціальной. «Современная метафизическая критика, — говоритъ онъ, напримѣръ,—исходитъ изъ скептицизма и имъ и завершается. Когда души молодыхъ людей волнуются бурею страстей и готовы уступить натиску порока, скептицизмъ весьма способенъ заглушить голосъ совѣсти. Напрасно домашнее воспитаніе положило въ ихъ душахъ основаніе правилъ здраваго, общечеловѣческаго смысла, которыя современемъ закрѣпились бы философскою мудростью. Должно поступать, какъ поступаютъ благоразумные люди (hommes d'un sens droit),—что можетъ замѣнить это правило въ практикѣ? Но скептицизмъ, подвергая сомнѣнію истины, эти узы, связующія всѣхъ людей, располагаетъ людей уступать первому

*) Всѣ цитаты мы приводимъ по переводу произведеній Вико, сдѣланному Мишле и вошедшему въ первый томъ собранія сочиненій послѣдняго (изд. 1840 г.).

*) Трудно удержаться, чтобы не сопоставить эти соображенія Вико съ характеристикой Декарта, которую дѣлаетъ въ своей исторіи революціи Луи Блапъ: «Выстроивши такимъ образомъ вновь зданіе, которое ему угодно было разрушить, Декартъ гордо и смѣло провозгласилъ его неразрушимость. Не сомнѣвайтесь болѣе ни въ Богѣ, ни въ душѣ, ни въ реальности міра. Декартъ нашелъ принципъ несомнѣнности, и эти понятія, выведенныя имъ изъ него, онъ выдаетъ за столь же достовѣрныя, какъ теоремы геометріи. Онъ началъ сомнѣніемъ, но онъ исчерпалъ сомнѣніе, побѣдилъ его. Онъ воспользовался для своего личнаго употребленія правомъ изслѣдованія, но потомъ обезоружилъ его. Сдѣлавшись на одинъ моментъ революціонеромъ въ философіи, Декартъ, кажется, имѣлъ претензію запереть навсегда двери революціямъ. Вчера онъ сомнѣвался, а сегодня дѣйствуетъ повелительно».

собою вѣкъ, а если и окрашиваютъ, то не этими сторонами. Смѣлость отрицанія, пылкость темперамента, юркость, скептицизмъ, нѣкоторая односторонность, увертливость, наклонности преимущественно разрушительныя, а не творческія—вотъ качества, вызываемыя и увѣнчиваемыя критическими эпохами. При помощи такихъ людей производится броженіе, изъ котораго возникаетъ новый соціальный принципъ. Трудно представить себѣ что-нибудь печальнѣе положенія человѣка, принадлежащаго по складу ума и характера къ органическому типу, но осужденнаго жить въ эпоху критическую, или наоборотъ. Вольтеръ въ XV столѣтіи былъ бы несчастнѣйшимъ человѣкомъ, онъ бы задохся подъ тяжестью своихъ собственныхъ силъ. За то какимъ пышнымъ цвѣтомъ могли бы расцвѣсть Монтень или Рабле, живи они въ моментъ разгара борьбы съ феодально-католическою системою. Можетъ показаться, что такія разсужденія слишкомъ напоминаютъ извѣстную присказку о томъ, что было бы, еслибы да кабы и т. д. Но это не совсѣмъ справедливо. Можно привести много примѣровъ людей, очевидно, родившихся не во время, даромъ растратившихъ иногда громадныя силы. Мы намѣрены остановить вниманіе читателя на одномъ такомъ примѣрѣ, именно на человѣкѣ органическаго типа, имѣвшемъ несчастіе родиться и жить въ критическую эпоху.

Джіованни-Батиста Вико принадлежитъ къ числу оригинальнѣйшихъ фигуръ прошлаго столѣтія, оригинальнѣйшихъ и по своимъ произведеніямъ, и по своей судьбѣ. Творецъ геніальнаго произведенія, онъ сорокъ лѣтъ преподаетъ элоквенцію, сочиняетъ эпитафіи, эпиталамы, привѣтствія и похвальныя слова разнымъ дюкамъ, маркизамъ и курфюрстамъ. Писатель XVIII вѣка, онъ носится съ Платономъ. Замѣчательный мыслитель, во многомъ опередившій свой вѣкъ, онъ, можно сказать, неизвѣстенъ своимъ современникамъ и почти безполезенъ потомкамъ. Вико, удрученный бѣдностью и всякими невзгодами, говорилъ, что несчастіе будетъ его преслѣдовать до могилы. Пророчество это исполнилось буквально. Когда онъ умеръ, трупъ его желали нести товарищи-профессора, но того же добивались и какіе-то монахи. Споръ кончился тѣмъ, что гробъ опять внесли въ комнаты и оставили на произволъ судьбы. Сыну Вико едва удалось, наконецъ, устроить печальное торжество. Эта исторія похоронъ Вико есть какъ бы символическое изображеніе его жизни. Изъ-за его мысли, какъ изъ-за его трупа, могли бы, если бы пожелали, поспорить ученые и монахи, наука и богословіе. Но споръ долженъ бы былъ окончиться, какъ и похороны: изъ него ничего бы не вышло, а дальше забвеніе, а человѣкъ имѣлъ всѣ задатки, всѣ права не быть забытымъ.

Вико родился въ 1668 и умеръ въ 1744 году. Слѣдовательно, борьба съ феодально-католическимъ преданіемъ, которою наполнено все прошлое столѣтіе, развертывалась на его глазахъ. Но онъ былъ ей совершенно чуждъ. Его не смущали конституціонные идеалы, вывезенные въ Европу изъ Англіи. Онъ твердо вѣрилъ, что «высшій законъ, которымъ должны провѣряться всѣ другіе, есть величіе и слава монархіи, благо и слава государя» (Ср. Макіавелли, для котораго уже въ XV столѣтіи «высшій законъ», suprema lex, былъ salus populi). Своею преданностью католицизму Вико хвалился съ почти дѣтскою наивностью. Онъ отказывался комментировать De jure belli et pacis Гуго Гроція на томъ основаніи, что «неприлично христіанину украшать своими замѣчаніями произведеніе еретика». Онъ сильно негодовалъ на Бейля и особенно не могъ ему простить его гипотезы народа, не имѣющаго никакихъ представленій о Богѣ. Но достойно вниманія, что дальше Бейля правовѣрное негодованіе Вико не идетъ. Онъ едва упоминаетъ о Локкѣ, и притомъ сравнительно весьма снисходительно, а о французскомъ движеніи просвѣтителей онъ какъ будто никогда ничего не слыхалъ. Главный врагъ, съ которымъ онъ сражается всю жизнь, есть еще Декартъ, давно затертый Ньютономъ въ физикѣ и Локкомъ—въ философіи. Изъ этой неустанной борьбы съ мертвымъ и похороненнымъ противникомъ можно бы было заключить, что Вико вообще былъ гораздо ниже своего времени и не умѣлъ цѣнить злобы дня. Это все равно, какъ еслибы современный русскій критикъ-«охранитель» поставилъ задачею своей жизни борьбу съ фонъ-Визинымъ и до конца дней своихъ доказывалъ бы, что неблагонамѣренно и неправильно позорить Простаковыхъ и Скотининыхъ. Казалось бы, поведеніе Вико обнаруживаетъ въ этомъ случаѣ крайнюю недальновидность, совершенное непониманіе того, что вокругъ него дѣлается. Но такой приговоръ будетъ далеко несправедливъ. Передъ нами тутъ возникаетъ психологическая задача, гораздо болѣе сложная, которую не разрубить по-Александровски. Мы имѣемъ дѣло съ мыслителемъ глубокимъ и сильнымъ но не во время родившимся. Отношенія Вико къ господствовавшимъ въ его время доктринамъ крайне любопытны. Для уясненія ихъ посмотримъ сперва, что именно такъ претило Вико въ картезіанской философіи.

«Въ наше время—писалъ Вико въ 1708 го-

ду *) — люди занимаются только критикой, а топика (искусство изобрѣтенія), которая должна бы была ей предшествовать, находится въ полномъ пренебреженіи... Но величайшій недостатокъ современнаго направленія состоитъ въ томъ, что науки естественныя изучаются нынѣ въ ущербъ нравственнымъ. Въ большомъ пренебреженіи находится та часть морали, которая изучаетъ склонности человѣческой души, свойства добродѣтелей и пороковъ, различіе нравовъ, смотря по возрасту, полу, условіямъ жизни, богатству, отечеству личностей. Это наука трудная, но весьма полезная, какъ въ практическомъ отношеніи, такъ и для краснорѣчія. Почти совсѣмъ оставлена великая и благородная наука политики. Нынѣ преслѣдуется только одна цѣль — познаніе истины. Изучается природа вещей, потому что такое изученіе кажется точнымъ; не изучается природа человѣка, потому что, будучи свободною, она не поддается точному знанію».—Въ другомъ мѣстѣ Вико пишетъ: «Мнѣ кажется недостойнымъ философа говорить: *сообразно опредѣленію* 4, *принимая въ соображеніе постулатъ 2, въ силу аксіомы 3*... и затѣмъ заключить торжественно буквами Q. E. D. (quod est demonstrandum, что и требовалось доказать); а въ сущности нисколько не принудить разумъ признать какую нибудь истину, оставить человѣка въ состояніи той же свободы думать, что ему угодно, въ какомъ онъ былъ и до того... Безъ сомнѣнія, мы много обязаны Декарту, который установилъ мѣриломъ истины индивидуальную мысль; господствовавшая до него исключительная вѣра въ авторитетъ была слишкомъ унизительнымъ рабствомъ. Мы много обязаны ему и за его методъ: онъ внесъ извѣстную стройность въ хаосъ схоластики. Но желать исключительнаго господства индивидуальнаго сужденія и исключительнаго употребленія геометрическаго метода—значитъ впадать въ противоположную крайность. Пора принять средній путь: слѣдовать личному сужденію, но съ ограниченіями извѣстнаго авторитета; держаться метода, но не одного и того же во всѣхъ случаяхъ, а сообразнаго природѣ изучаемыхъ вещей. Скоро станетъ очевиднымъ, что Декартъ подобенъ тѣмъ, которые прочищаютъ себѣ дорогу къ тиранніи, объявляя себя защитниками свободы, и которые, овладѣвъ властью, подвергаютъ народъ гораздо сильнѣйшему гнету, чѣмъ низвергнутый ими. Онъ заставилъ отвернуться отъ изученія другихъ философовъ, проповѣдуя, что каждый человѣкъ, единственно при помощи своего личнаго разума, можетъ добыть всѣ знанія. Молодые люди легко поддаются соблазну такой доктрины, ибо много читать утомительно. Но самъ Декартъ былъ человѣкъ глубокой учености, вдобавокъ онъ былъ геній, какіе родятся даже не каждые сто лѣтъ. Человѣкъ, въ такой мѣрѣ одаренный, можетъ довѣриться своей личной мысли. Но можно ли обратить это исключеніе въ общее правило? Пусть люди такъ же основательно, какъ Декартъ, изучаютъ Платона, Аристотеля, св. Августина, Бэкона и Галилея; пусть они столь же упорно размышляютъ, какъ это дѣлалъ Декартъ въ своемъ уединеніи,— и міръ будетъ имѣть философовъ, подобныхъ Декарту. Но они никогда не сравняются съ нимъ, если будутъ довольствоваться чтеніемъ только Декарта, да своимъ личнымъ разумомъ. Декартъ будетъ господствовать надъ ними, слѣдуя макіавеллистическому правилу: уничтожай тѣхъ, при помощи которыхъ ты возвысился» *).

Кромѣ этихъ, главнымъ образомъ логическихъ недостатковъ картезіанской философіи, Вико часто выставляетъ на видъ ея несостоятельность еще съ одной стороны, чисто соціальной. «Современная метафизическая критика, — говоритъ онъ, напримѣръ,—исходитъ изъ скептицизма и имъ и завершается. Когда души молодыхъ людей волнуются бурею страстей и готовы уступить натиску порока, скептицизмъ весьма способенъ заглушить голосъ совѣсти. Напрасно домашнее воспитаніе положило въ ихъ душахъ основаніе правилъ здраваго, общечеловѣческаго смысла, которыя современемъ закрѣпились бы философскою мудростью. Должно поступать, какъ поступаютъ благоразумные люди (hommes d'un sens droit),—что можетъ замѣнить это правило въ практикѣ? Но скептицизмъ, подвергая сомнѣнію истины, эти узы, связующія всѣхъ людей, располагаетъ людей уступать первому

*) Всѣ цитаты мы приводимъ по переводу произведеній Вико, сдѣланному Мишле и вошедшему въ первый томъ собранія сочиненій послѣдняго (изд. 1840 г.).

*) Трудно удержаться, чтобы не сопоставить эти соображенія Вико съ характеристикой Декарта, которую дѣлаетъ въ своей исторіи революціи Луи Блапъ: «Выстроивши такимъ образомъ вновь зданіе, которое ему угодно было разрушить, Декартъ гордо и смѣло провозгласилъ его неразрушимость. Не сомнѣвайтесь болѣе ни въ Богѣ, ни въ душѣ, ни въ реальности міра. Декартъ нашелъ принципъ несомнѣнности, и эти понятія, выведенныя имъ изъ него, онъ выдаетъ за столь же достовѣрныя, какъ теоремы геометріи. Онъ началъ сомнѣніемъ, но онъ исчерпалъ сомнѣніе, побѣдилъ его. Онъ воспользовался для своего личнаго употребленія правомъ изслѣдованія, но потомъ обезоружилъ его. Сдѣлавшись на одинъ моментъ революціонеромъ въ философіи, Декартъ, кажется, имѣлъ претензію запереть навсегда двери революціямъ. Вчера онъ сомнѣвался, а сегодня дѣйствуетъ повелительно».

мотиву выгоды или наслажденія, который дастъ имъ ихъ личное чувство. А такимъ путемъ скептицизмъ ведетъ людей изъ общественнаго состоянія, въ которомъ мы живемъ, къ изолированности, не къ уединенію мирныхъ животныхъ, которыхъ инстинктъ все-таки побуждаетъ собираться въ стада, а къ уединенію дикихъ звѣрей, живущихъ каждый въ своей берлогѣ. Философская мудрость просвѣщенныхъ умовъ, которая должна бы была направлять практическую мудрость народовъ къ благу, ведетъ ихъ такимъ образомъ къ гибели и паденію».

Итакъ, противообщественность картезіанской философіи, — вотъ второй аргументъ Вико. Онъ придаетъ ему весьма важное значеніе, прибѣгаетъ къ нему не разъ и выставляетъ его не противъ однихъ картезіанцевъ. Тотъ же мотивъ побуждаетъ его называть стоицизмъ и эпикуреизмъ «уединенными философіями» (philosophies solitaires).

Все это переплетено у Вико идеями Платона и самыми страннымі, иногда очень забавными разсужденіями о великомъ значеніи риторики и латыни, какъ языка католической церкви и римскаго права. Но во всякомъ случаѣ во всемъ приведенномъ нѣтъ ничего теологическаго по существу. Вѣрно или невѣрно разсуждаетъ здѣсь Вико, но онъ разсуждаетъ не какъ католикъ. Изъ католическихъ писателей, онъ рекомендуетъ только св. Августина, на ряду съ язычниками Платономъ и Аристотелемъ, духовнымъ отцомъ Локка и энциклопедистовъ Бэкономъ и неладившимъ съ католицизмомъ Галилеемъ. Вико очевидно желаетъ ограничить чѣмъ-то свободу личнаго сужденія, но это «что-то» не есть авторитетъ религіи. Въ письмѣ къ одному іезуиту (1726 г.) находимъ слѣдующую любопытную жалобу: «Европейскій геній, повидимому, изсякъ во всѣхъ наукахъ. Строгое изученіе классическихъ языковъ окончилось съ писателями XV и критиками XVI вѣка. Католическая церковь, справедливо опирающаяся на свою древность и преемственность, держится исключительно латинскаго перевода библіи, и это предпочтеніе гарантировало протестантамъ славу оріенталистовъ. Въ богословскихъ наукахъ полемика молчитъ, догматика ничего новаго не требуетъ. Философы какъ бы притупили свой геній картезіанскимъ методомъ; они довольствуются своимъ «яснымъ и отчетливымъ представленіемъ», въ которомъ находятъ удобную и не требующую труда замѣну всѣхъ библіотекъ въ мірѣ. *Системы физики не провѣряются уже опытами и наблюденіемъ; нравственныя науки не изучаются: довольно, говорятъ, морали, изложенной въ Евангеліи.* Политическія науки изучаются еще меньше; всѣми признано, что для успѣшнаго веденія дѣлъ достаточно извѣстной умственной ловкости и присутствія духа».

Вико весьма часто ставитъ картезіанцамъ въ примѣръ «экспериментализтовъ». Бэкона онъ глубоко уважалъ. Онъ называлъ его «несравненнымъ» человѣкомъ и находилъ, что древній міръ весьма много потерялъ, не имѣя своего Бэкона. Въ своихъ мемуарахъ Вико говоритъ, что и самъ онъ одно время началъ было заниматься «экспериментальной физикой». Онъ очень наивно разсказываетъ, почему это дѣло не выгорѣло: «экспериментальная физика показалась ему полезной для медицины, но онъ не пожелалъ заниматься наукой, которая не имѣла никакого отношенія къ философіи человѣка и языкъ которой былъ варварскій. Во всякомъ случаѣ онъ болѣе или менѣе открыто формулируетъ требованіе приложенія опытно-наблюдательныхъ пріемовъ въ наукѣ о природѣ. Но очевидно, что онъ того же самаго требуетъ и для наукъ нравственныхъ, ибо какъ иначе объяснить его заботы о «той части морали, которая изучаетъ измѣненіе нравовъ подъ вліяніемъ пола, возраста, отечества, условій жизни» и т. д. Но онъ какъ бы не рѣшается или не можетъ выразить съ достаточною опредѣленностью это требованіе. которое такъ приблизило бы его къ Локку и энциклопедистамъ. Ближе вглядываясь въ систему Вико, мы найдемъ въ ней, рядомъ съ наивными вѣрованіями и глубокою преданностью католицизму, такія вещи, которыя сближаютъ ее съ самыми крайними противниками католицизма не только въ XVIII, а и въ нынѣшнемъ вѣкѣ. Мы найдемъ далѣе, что и общій тонъ работы Вико не только не ниже своего вѣка, а во многихъ отношеніяхъ даже выше, что нѣкоторые весьма важные вопросы впервые именно имъ поставлены на научную точку зрѣнія. Вотъ нѣкоторыя изъ «аксіомъ», которыми начинается «Новая наука».

Аксіома 1. «Человѣческій разумъ устроенъ такъ, что, останавливаясь по недостатку знанія, онъ принимаетъ себя самого за мѣру вещей».

Аксіома 2. «Не имѣя возможности составить себѣ понятія о вещахъ отдаленныхъ и неизвѣстныхъ, человѣкъ судитъ объ нихъ по вещамъ извѣстнымъ и близкимъ».

Аксіома 32. «Когда люди не знаютъ естественныхъ причинъ явленій и не могутъ ихъ объяснить аналогіями, они приписываютъ имъ свои собственныя свойства».

Намъ, свыкшимся уже съ этими идеями, онѣ могутъ, разумѣется, показаться крайне простыми. Но онѣ въ значительной степени составили славу одного изъ современниковъ Вико и вмѣстѣ одного изъ самыхъ крайнихъ анти-теологовъ—Юма. Онѣ же лежатъ въ ос-

нованіи исторической теоріи Фейербаха и концентрируются въ извѣстномъ положеніи: люди сотворили боговъ по образу и подобію своему.

Аксіома 17. «Языки суть важнѣйшія свидѣтельства о народныхъ правахъ и обычаяхъ того времени, когда языки эти складывались».

Великое значеніе выраженной въ этой аксіомѣ мысли вполнѣ можетъ быть оцѣнено только въ наше время, когда приложеніе филологіи къ исторіи дало такіе богатые результаты.

Въ аксіомахъ 37, 48, 50, 52 и другихъ, Вико исходитъ изъ нѣкоторыхъ аналогій между, такъ сказать, дѣтскимъ возрастомъ идей и идеями дѣтскаго возраста. Этотъ сравнительно-психологическій пріемъ, введенный въ науку Локкомъ, получаетъ въ настоящее время весьма широкое приложеніе. Вико прилагаетъ также ко всему человѣчеству извѣстный тезисъ: въ разумѣ нѣтъ ничего, что́ не было бы предварительно въ чувствѣ.

Подобныя еретическія мнѣнія во множествѣ выливаются изъ-подъ правовѣрнаго пера Вико. Въ своемъ изслѣдованіи онъ впалъ во множество ошибокъ, вполнѣ, впрочемъ, естественныхъ въ его время (любопытно, что чуть ли не самыя грубыя изъ нихъ Гегель ввелъ въ свою философію исторіи). Съ другой стороны нѣкоторыя его указанія, какъ, напримѣръ, его объясненіе Гомеровыхъ поэмъ, какъ произведеній коллективныхъ, обнаруживаютъ глубокую проницательность забытаго неаполитанскаго мыслителя. Но дѣло не въ этихъ частностяхъ, а въ общемъ топѣ его главнаго сочиненія, уже достаточно опредѣляющемся приведенными аксіомами. Онъ здѣсь непосредственно примыкаетъ къ «Естественной исторіи религій» Юма и къ «Опыту о нравахъ» Вольтера. Правда, Вико, подобно Боссюэту, отводитъ евреямъ, какъ народу избранному, совершенно особое мѣсто. Но въ то время, какъ у Боссюэта исторія евреевъ составляетъ центръ всемірной исторіи, у Вико она стоитъ именно особнякомъ: это пристройка, совсѣмъ отдѣльный флигель, который можно сломать до основанія, не пошатнувъ въ главномъ зданіи ни одного кирпича. Признавая, что евреи получили свою религію откровеннымъ путемъ, Вико въ то же самое время занятъ исторіей религіознаго развитія всѣхъ другихъ народовъ, и религія является у него при этомъ такимъ же естественнымъ продуктомъ человѣческой природы, какъ и общество, законы, языки и т. п. Мы увидимъ, что еврейская исторія и христіанство не производятъ въ его системѣ никакихъ измѣненій: формулированный имъ законъ историческаго круговорота дѣлаетъ свое дѣло, нисколько не стѣсняясь этими моментами исторіи, да и сами они въ значительной степени включаются въ естественную цѣпь причинъ и слѣдствій.

Послѣднимъ матеріаломъ для уразумѣнія отношенія Вико къ современнымъ ему доктринамъ послужитъ намъ его аксіома 5: «Чтобы быть полезной человѣческому роду, философія должна возвышать и направлять человѣка; она не должна ни отрывать человѣка отъ его природы, ни предоставлять его его испорченности». Къ аксіомѣ приложены слѣдующія объясненія: «Такимъ образомъ, изъ школы новой науки исключены и стоики, желающіе умерщвленія плоти, и эпикурейцы, основывающіе на ней свои правила. И тѣ, и другіе отрицаютъ Провидѣніе. Эти двѣ системы уединяютъ человѣка и должны бы были быть называемы уединенными философіями... Принципъ естественнаго права есть *справедливое въ его единствѣ*, цѣлостности, другими словами: единство идей человѣческаго рода, необходимость или полезность которыхъ обща всей человѣческой природѣ. Пирронизмъ уничтожаетъ *человѣчество*, потому что не даетъ единства; эпикуреизмъ раздробляетъ его, потому что предоставляетъ сужденіе о полезности индивидуальному чувству; стоицизмъ уничтожаетъ его, потому что игнорируетъ все полезное или необходимое для тѣла, да и о полезномъ для души разрѣшаетъ судить только *мудрецу*. Только ученіе Платона представляетъ *справедливое въ его единствѣ*. Философъ этотъ полагаетъ, что мѣрою истины можетъ служить то, что *едино* для всѣхъ людей, на что всѣ люди одинаково смотрятъ».

Декартъ поставилъ критеріемъ истины ясность и отчетливость личнаго сознанія: всякая ясная для меня идея—истинна. Вико возсталъ противъ такого воззрѣнія, объявляя его неправильнымъ и противообщественнымъ. Но картезіанскому критерію истины онъ противопоставляетъ не откровеніе, какъ можно бы было ждать отъ человѣка, боящагося замарать руки объ книгу еретика и ни мало не сомнѣвающагося въ библейской исторіи, а сознаніе всего человѣчества или большинства людей, авторитетъ человѣческаго рода, со включеніемъ всѣхъ язычниковъ. Истинно то, что признается таковымъ человѣческимъ родомъ или, по крайней мѣрѣ, большинствомъ его. Положеніе это играетъ весьма важную роль въ «Новой наукѣ». Вико часто оговаривается, что при этомъ слѣдуетъ имѣть въ виду вовсе не воззрѣнія философовъ, а идеи самыхъ народовъ, какъ онѣ выразились главнымъ образомъ въ преданіяхъ и языкѣ. Этому критерію истины онъ подчиняетъ даже идею провидѣнія, ведущаго человѣчество сквозь безконечный круговоротъ исторіи.

XVIII вѣкъ, можно сказать, былъ вдвойнѣ критической эпохой. Не только нарушено было равновѣсіе феодально - католической системы, не только новый принципъ жестоко побивалъ старыя начала, но и самый принципъ этотъ былъ существенно критическаго свойства. Не XVIII вѣкъ собственно началъ это дѣло. Знамя критики, свободнаго личнаго изслѣдованія было приподнято Лютеромъ, Декартъ развернулъ его окончательно, Локкъ и энциклопедисты продолжали дѣло Декарта, сдѣлавъ однако въ немъ поправку на столько значительную, что должны были стать по нѣкоторымъ важнѣйшимъ пунктамъ въ совершенно враждебное къ нему отношеніе. Оставляя пока эту поправку въ сторонѣ, мы увидимъ, что ближайшіе предшественники и современники Вико прежде всего напирали на право каждаго отдѣльнаго человѣка рѣшать по своему усмотрѣнію всѣ важнѣйшіе теоретическіе и практическіе вопросы, которые дотолѣ рѣшались единогласно, подъ давленіемъ феодально - католическаго строя. Люди критическаго типа должны были чувствовать себя очень привольно среди этой анархіи мыслей и чувствъ, возведенной въ принципъ. Какъ рьяные побѣдители, носились они на борзыхъ коняхъ по полю, усѣянному трупами и оружіемъ побѣжденныхъ враговъ. Самый фактъ борьбы, самый процессъ анализа и, такъ сказать, допроса отживающихъ вѣрованій, составлялъ для нихъ источникъ величайшаго наслажденія. Не таково было положеніе людей органическаго типа, изъ тѣхъ, разумѣется, на которыхъ подулъ духъ времени. Безъ сомнѣнія, личная судьба всѣхъ вѣровавшихъ въ безупречность отживающаго общественнаго строя и отживающаго міросозерцанія была крайне печальна: имъ приходилось присутствовать при разореніи ихъ гнѣзда. Но мы говоримъ не объ этихъ людяхъ, предметы поклоненія которыхъ исчерпали себя въ своемъ историческомъ развитіи до дна. Мы говоримъ о людяхъ, способныхъ къ дальнѣйшему развитію, но по натурѣ своей склонныхъ болѣе къ «топикѣ», чѣмъ къ критикѣ, способныхъ болѣе къ синтезу, чѣмъ къ анализу. Такимъ именно человѣкомъ былъ Вико. Есть что-то меланхолическое въ его умственной физіономіи, что-то, при всей силѣ ума, безпомощное и неумѣлое въ дѣятельности. Это рыба, выкинутая приливомъ на берегъ. Одного взгляда на нее достаточно, чтобы убѣдиться, что она далеко оставила бы за собой многихъ изъ крупныхъ и мелкихъ сестеръ, весело играющихъ въ бурныхъ волнахъ, но она осуждена валяться на берегу.

Если многіе изъ современниковъ Вико, страдая избыткомъ критической напряженности, часто даже не вполнѣ сознавали свои положительныя цѣли и увлекались самымъ процессомъ борьбы, то Вико впадаетъ въ противоположную крайность. Для него почти безразлично—чѣмъ именно должна обуздываться свобода личнаго сужденія: всѣмъ доступными и подлежащими провѣркѣ опытно-наблюдательными пріемами, религіей, авторитетомъ древнихъ и новыхъ философовъ, или авторитетомъ народовъ, всего человѣчества. Одно для него ясно: анархія мыслей и чувствъ ведетъ къ пагубнымъ логическимъ и соціальнымъ послѣдствіямъ и потому должна быть прекращена во что бы то ни стало; долженъ быть выработанъ какой-нибудь единый принципъ, передъ которымъ обязаны преклониться всѣ личныя чувства и мысли. Органическій умъ Вико, не допускавшій разлада, двойственности, скептицизма въ самомъ себѣ, желалъ прежде всего и общество подчинить нѣкоторымъ безспорнымъ, для всѣхъ равно обязательнымъ истинамъ. Суть критическаго движенія, начавшагося Декартомъ, состояла въ томъ, что каждая отдѣльная личность объявлялась носительницею всѣхъ истинъ, для добычи которыхъ ей стоило только углубиться въ самое себя. Отсюда безусловное право каждой личности рѣшать всѣ научные и соціальные, теоретическіе и практическіе вопросы, не сообразуясь ни съ какимъ авторитетомъ, вообще ни съ чѣмъ, лежащимъ за предѣлами личности. Это-то право и должно было быть ненавистно умамъ органическимъ по преимуществу, какимъ былъ Вико. Изъ этого не слѣдуетъ однако, чтобы онъ считалъ критику дѣломъ ненужнымъ, лишнимъ или вреднымъ. Онъ самъ поставилъ одною изъ своихъ задачъ строго-критическое отношеніе къ миѳическому міросозерцанію *). Но онъ желалъ, выражаясь его языкомъ, подчиненія критики, «топикѣ». Онъ возставалъ только противъ критики, безусловно довѣряющей голому личному разуму, на немъ одномъ опирающейся. Поэтому, совершенно понятно его уваженіе къ Бэкону и враждебное отношеніе къ Декарту. Гораздо темнѣе его отношенія къ Локку и его продолжателямъ. Онъ не питалъ къ нимъ той ненависти, которою награждалъ картезіанскую философію, но вмѣстѣ съ тѣмъ, оче-

*) Любопытенъ тонъ слѣдующаго объясненія Вико: «Изъ приведеннаго видно, что все, дошедшее до насъ о языческой древности, вполнѣ темно. И мы не боимся вступить въ эту область, какъ въ землю, не имѣющую владѣльца и принадлежащую первому занявшему ее (res nullius quae occupanti conceduntur). Мы не нарушимъ ни чьихъ правъ, если, трактуя объ этомъ предметѣ, отступимъ отъ господствующихъ мнѣній о *началѣ цивилизаціи*, даже выскажемъ нѣчто противоположное имъ и сведемъ вопросъ къ *научнымъ основаніямъ*».

видно, не замѣчалъ преемственной связи, существующей между ними и Бэкономъ. Въ одномъ мѣстѣ онъ полупрезрительно, полуснисходительно называетъ философію Локка «смѣсью эпикуреизма съ платонизмомъ». Въ другомъ мѣстѣ, именно въ своихъ мемуарахъ, онъ замѣчаетъ: «Не смотря на невѣжество въ геометріи, эпикуру удалось, при помощи довольно хорошаго метода, построить на своей механической физикѣ чисто-сенсуалистическую метафизику, въ родѣ метафизики Локка, и этику, основанную на наслажденіи, годную единственно для людей, живущихъ въ уединеніи, что онъ и совѣтовалъ своимъ ученикамъ». О популяризаторахъ и продолжателяхъ Локка Вико умалчиваетъ совершенно. Съ другой стороны, его собственные пріемы и взгляды, какъ мы видѣли, во многихъ отношеніяхъ очень близки къ пріемамъ и воззрѣніямъ Локка. Локкъ и его школа ставили, повидимому, Вико въ тупикъ. Съ одной стороны это могли быть для него люди, просто пользовавшіеся безусловнымъ правомъ свободнаго изслѣдованія, провозглашеннымъ Декартомъ. Поэтому онъ могъ думать, что, поражая Декарта, онъ уничтожаетъ корень заблужденія, такъ что отпрыски должны исчезнуть сами собой. Съ другой стороны, онъ не могъ однако не видѣть, что критеріемъ истины для Локка и его послѣдователей не была уже ясность и отчетливость личнаго сознанія. Разъ личность перестаетъ быть носительницею всѣхъ истинъ, которыя врождены ей, разъ источникомъ нашихъ идей признанъ опытъ,—тѣмъ самымъ налагается извѣстное ограниченіе на голое личное сужденіе: анархія прекращается или, по крайней мѣрѣ, сдерживается. Философія Локка и его преемниковъ говорила взбунтовавшейся въ лицѣ картезіанизма личности: идеи, которыми ты обладаешь, не родились съ тобой, ты усвоила ихъ путемъ опыта; слѣдовательно, твое сужденіе не непогрѣшимо, оно существенно зависитъ отъ свойствъ пройденнаго тобою жизненнаго пути. Этой стороны дѣла, которая, повидимому, должна бы была удовлетворить Вико, онъ какъ бы не замѣчалъ, а если и замѣчалъ, то точно чуждался ея. Можно думать, что здѣсь вліяло слѣдующее важное обстоятельство. Вико неоднократно жалуется на преобладаніе въ его время изученія природы надъ изученіемъ общества. И онъ былъ правъ. Правъ, во-первыхъ, фактически, ибо усилія мысли не только во время Декарта, а и позже сосредоточивались преимущественно на ней самой. Актъ мышленія, — вотъ что составляло центръ всѣхъ изслѣдованій, собственно философскихъ въ обычномъ смыслѣ этого слова. Къ этому центру непосредственно примыкалъ вопросъ объ отношеніяхъ человѣка къ природѣ. Затѣмъ совершенно независимо стояло точное знаніе, дѣлавшее въ лицѣ Ньютона, Гюйгенса и другихъ громадные шаги впередъ. Вопросы общественной жизни занимали послѣднее мѣсто. Оттого ли это зависѣло, что таковъ былъ критическій толчокъ, данный Лютеромъ, оттого ли, что таковъ неизбѣжный порядокъ обновленія міросозерцанія, такъ или иначе, но фактъ былъ указанъ Вико вѣрно. Бокль, совершенно, впрочемъ, произвольно, что́ онъ и самъ говоритъ, признаетъ 1750 годъ моментомъ перелома въ пользу нравственно-политическихъ вопросовъ. Во всякомъ случаѣ Вико могъ захватить этотъ переломъ только развѣ послѣдними днями своей жизни. Не въ томъ дѣло, что нравственно-политическія истины, опираясь на изученіе законовъ природы, неизбѣжно позже естественныхъ наукъ принимаютъ законченный научный характеръ. Вико видѣлъ, что самый интересъ къ этого рода вопросамъ, самое желаніе ихъ такъ или иначе разрѣшить отступаетъ на задній планъ. А между тѣмъ онъ въ то же самое время видѣлъ, какія пагубныя соціальныя послѣдствія можетъ имѣть картезіанская философія, вовсе того не желая и не подозрѣвая. Дѣлая проломъ въ средневѣковой системѣ, Декартъ имѣлъ въ виду только онтологическіе, метафизическіе вопросы и силою своего ума притянулъ къ нимъ интересы мыслящихъ людей. Локкъ и его преемники сдѣлали въ декартовой работѣ весьма важную поправку и вмѣстѣ съ тѣмъ сосредоточили философскій интересъ на психологіи. Въ то же время своимъ чередомъ развивалась наука о природѣ. Забвеніе вопросовъ нравственно-политическихъ должно было возмущать органическій умъ Вико, какъ пробѣлъ, какъ односторонность, какъ неравномѣрное, негармоническое распредѣленіе составныхъ частей новаго міросозерцанія. При этомъ если Локкъ и его школа съ одной стороны и астрономы и физики съ другой положили извѣстныя границы безусловной свободѣ личнаго сужденія, то Вико не могъ этимъ удовлетвориться; ибо въ области нравственно-политической картезіанскій принципъ продолжалъ жить и только слегка осложнялся опытно-наблюдательною примѣсью. Доживи Вико до торжества Гурнэ и его школы, онъ, безъ сомнѣнія, усмотрѣлъ бы въ этомъ отпрыскѣ Локка значительную примѣсь картезіанства: какъ картезіанцы признавали каждую отдѣльную личность носительницей всѣхъ истинъ, такъ экономисты признавали ее носительницею всѣхъ правъ, не обязанною смущаться ничѣмъ, лежащимъ за ея предѣлами. Зерно этой доктрины заключалось уже въ Локкѣ, и въ смутномъ пониманіи или вѣрнѣе

угадываніи этого положенія дѣлъ слѣдуетъ, можетъ быть, искать причинъ антипатіи Вико къ школѣ Локка. На эту мысль можетъ навести уже одно отмѣченное выше совпаденіе аргументацій противника картезіанства Вико и противника либерально-экономической доктрины Луи Блана.

Таковы, по нашему мнѣнію, отношенія Вико къ господствовавшимъ въ его время ученіямъ. Ими объясняется и судьба его творенія: оно было неумѣстно. Вико выпалъ несчастный билетъ изъ урны судьбы. Задача вѣка состояла въ борьбѣ, въ томъ, чтобы рѣзко отдѣлить настоящій моментъ исторіи отъ всего предшествовавшаго, а Вико стремился понять прошлое и связать его съ настоящимъ неразрывною цѣпью причинъ и слѣдствій. Всѣ живыя общественныя силы были направлены къ тому, чтобы разнуздать личность, а онъ требовалъ для нея узды, хоть какой-нибудь. Онъ былъ слишкомъ одинокъ, и современники не только не слушали, а и не слышали его голоса. Что касается до потомства, то и оно не могло воспользоваться трудами Вико: оно прежде чѣмъ вспомнило объ немъ, другими путями дошло уже до нѣкоторыхъ изъ его положеній, и притомъ съ гораздо большею ясностью и опредѣленностью и безъ теологической примѣси. Съ десятокъ людей, признающихъ себя его учениками, титулъ основателя философіи исторіи,—вотъ все, что̀ заработалъ великій мыслитель.

Наглядпымъ образомъ мы представимъ судьбу Вико такъ. У Бокля мы нашли только слѣдующія слова о немъ: «До Монтескье единственные великіе мыслители, дѣйствительно изучавшіе исторію Рима, были Макіавелли и Вико. Но Макіавелли не предпринималъ ничего подобнаго обобщеніямъ Монтескье и страдалъ еще тѣмъ, что былъ слишкомъ много занятъ практическою полезностью своего предмета. А Вико, геній котораго былъ, можетъ быть, и обширнѣе генія Монтескье, едва ли имѣетъ право считаться его соперникомъ,—потому что хотя его Scienza Nova и отличается глубиною взгляда на древнюю исторію, но представляетъ все-таки скорѣе проблески истины, нежели систематическое изслѣдованіе какого нибудь періода» (Исторія цивилизаціи въ Англіи, 1863, т. I, часть II, 612). Съ другой стороны тотъ же Бокль, за нѣсколько словъ, сказанныхъ Вольтеромъ объ архангельской торговлѣ, требуетъ для него мѣста въ исторіи политической экономіи. Для царя мысли XVIII вѣка это, пожалуй, слишкомъ много, для одинокаго Вико, пожалуй—слишкомъ мало: шишки валятся и на богатаго, и на бѣднаго Макара.

II.

«Новая наука» представляетъ сочиненіе въ высшей степени неуклюжее и утомительное для чтенія: постоянныя повторенія, неумѣлое обращеніе съ мыслями, мѣстами крайняя сжатость, странное раздѣленіе матеріала,—все это очень затрудняетъ знакомство съ книгой Вико.

Сочиненіе открывается хронологической таблицей, обнимающей время отъ всемірнаго потопа до второй пунической войны. Въ объясненіяхъ къ этой таблицѣ, составляющихъ первую главу сочиненія, Вико занятъ преимущественно разборомъ мнѣній о древности народовъ. Вопросъ этотъ онъ рѣшаетъ въ пользу евреевъ, такъ что народы древняго міра распредѣляются въ слѣдующемъ порядкѣ: евреи, халдеи, скиѳы, финикіяне, египтяне, греки и римляне. При этомъ Вико руководствуется исключительно свѣтскими, какъ онъ говоритъ «философскими» и «филологическими» соображеніями. Онъ говоритъ о потопѣ и смѣшеніи языковъ, какъ о событіяхъ, засвидѣтельствованныхъ несомнѣнными для него историческими памятниками. Затѣмъ слѣдуютъ аксіомы, раздѣленныя на нѣсколько рубрикъ. Аксіомъ этихъ 114, но онѣ могли бы быть сведены къ гораздо меньшему числу, потому что Вико въ нихъ безпрестанно повторяется. Съ характеромъ ихъ читатель могъ отчасти познакомиться выше, а приводить ихъ всѣ нѣтъ никакой надобности, тѣмъ болѣе, что въ дальнѣйшемъ изложеніи онѣ выступаютъ въ главныхъ своихъ частяхъ опять. Независимо отъ этихъ аксіомъ, Вико устанавляетъ еще три положенія: 1) всѣ народы имѣютъ какую-нибудь религію; 2) всѣ народы болѣе или менѣе торжественно заключаютъ браки; 3) всѣ народы хоронятъ мертвыхъ. Положенія эти доказываются не особенно убѣдительнымъ образомъ, да, за исключеніемъ перваго, они и не играютъ въ дальнѣйшемъ построеніи особенно важной роли, такъ что трудно понять, зачѣмъ Вико понадобилось поставить ихъ особо отъ другихъ аксіомъ. Слѣдующая глава, озаглавленная: «о методѣ», трактуетъ о разныхъ вещахъ и главнымъ образомъ о предметѣ «Новой науки». Здѣсь мы, во-первыхъ, опять встрѣчаемся съ аксіомой: «Обезсиленный, слабый человѣкъ, не ожидая уже помощи отъ природы, призываетъ для своего спасенія нѣчто сверхъестественное», а это сверхъестественное и есть Богъ. «Таковъ свѣтъ, разлитый Богомъ на всѣ народы», наивно замѣчаетъ Вико, и еще наивнѣе продолжаетъ: «Въ подтвержденіе этой идеи является слѣдующее наблюденіе: распутные люди, старѣя и чувствуя упадокъ силъ, дѣлаются людьми

религіозными». Рядомъ съ этою совершенно несверхъестественною причиною возникновенія религіи Вико ставитъ другую, столь же мало сверхъестественную, именно страхъ передъ грозными явленіями природы. Такъ или иначе, долго-ли, коротко-ли, но возникаетъ религія. Однако люди продолжаютъ быть грубыми животными, все сосредоточивающими на своемъ личномъ интересѣ. Только мало-по-малу, они расширяютъ свои интересы до семейныхъ, общинныхъ, національныхъ и, наконецъ, общечеловѣческихъ. Во всѣхъ этихъ фазисахъ человѣкъ продолжаетъ заботиться, главнымъ образомъ, о своихъ личныхъ интересахъ. Но Провидѣніе устроило дѣло такъ, что этотъ личный интересъ сопрягается постепенно съ интересами все бо̀льшаго числа людей, вслѣдствіе чего *личнополезное* возвышается до *справедливаго*. Раскрытіе этой дѣятельности Провидѣнія составляетъ предметъ новой науки. Она есть «гражданская теологія божественнаго Провидѣнія». Вмѣстѣ съ тѣмъ она есть «исторія человѣческихъ идей» и изслѣдованіе тѣхъ «всеобщихъ и вѣчныхъ законовъ», которымъ слѣдуетъ въ своемъ развитіи всякое общество. Вико даетъ этой наукѣ еще одно опредѣленіе, касающееся самой темной, но тѣмъ не менѣе замѣчательной стороны его ученія. Онъ называетъ ее «философіей авторитета», разумѣя здѣсь подъ авторитетомъ сумму идей, сдерживающихъ или долженствующихъ сдерживать умственный и нравственный произволъ отдѣльныхъ личностей. Слѣдовательно, философія авторитета есть ученіе объ историческомъ развитіи явленій, общихъ всѣмъ народамъ и обществамъ. Словомъ сказать, говоря теперешнимъ языкомъ, Новая наука есть философія исторіи или соціальная динамика. Не смотря на неуклюжесть сочиненія и какую-то странную толкотню мыслей, Вико съ поразительною въ его время ясностью сознавалъ возможность, необходимость и великое значеніе философіи исторіи. Одно это обстоятельство способно обезпечить Вико одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ исторіи литературы XVIII вѣка и въ исторіи политической литературы всѣхъ временъ.

Исторію Вико раздѣляетъ на три періода: божественный, героическій и человѣческій. И подъ очеркомъ перваго изъ нихъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ частностей и чистовитѣйшей приставки провиденціальнаго характера, не отказался бы подписаться ни одинъ изъ современныхъ передовыхъ мыслителей. Общія черты воззрѣнія Вико на отдаленнѣйшій періодъ цивилизаціи суть тѣ же самыя, какія выработаны современною наукою.

Выдѣливъ исторію маленькаго еврейскаго народца, Вико замѣчаетъ, что у всѣхъ другихъ народовъ первыя представленія о мірѣ, первыя формы общественнаго устройства, первыя формы языковъ и проч., и проч., запечатлѣны «божественнымъ» характеромъ. Но слово «божественный» имѣетъ здѣсь совершенно особый смыслъ: оно означаетъ то же самое, что́ у Конта «теологическій». Грубые, дикіе первобытные люди, благодаря особенностямъ человѣческой природы, разъясненнымъ въ аксіомахъ, одушевляютъ всю окружающую природу, приписываютъ ея дѣятелямъ силы и качества, сходныя съ ихъ собственными. Совокупность идей и учрежденій, проникнутыхъ этимъ «божественнымъ» характеромъ, Вико называетъ «поэтическою мудростью». Люди того времени были настоящіе поэты, творцы, съ сильнымъ преобладаніемъ воображенія надъ разумомъ, съ звѣрскими наклонностями, едва умѣряемыми страхомъ передъ боготворимыми грозными явленіями природы. Миѳъ и пѣсня,—вотъ продукты ихъ умственной жизни. Это было полное сплетеніе началъ варварства и религіозности. Въ политическомъ отношеніи эти времена характеризуются теократіей: каждый отецъ былъ полнымъ господиномъ жизни и имущества членовъ своего семейства, ихъ судьею и жрецомъ. Подъ сильную руку этихъ царьковъ-патріарховъ стали съ теченіемъ времени стекаться одинокіе люди, не имѣвшіе женъ, не знавшіе общества и религіи. Они входили въ составъ первобытной семьи въ качествѣ покровительствуемыхъ, слугъ, рабовъ. И если древніе говорили, что Аяксъ сражался съ цѣлою арміею троянцевъ, или, что Горацій выдержалъ натискъ цѣлой арміи этрусковъ, то это значило: Аяксъ или Горацій со своими дѣтьми, рабами, слугами. Мы не будемъ входить въ частности, весьма запутанныя и не всегда выдержанныя, очерка божественнаго періода, и отмѣтимъ еще только одну черту, на которую Вико постоянно обращаетъ особенное вниманіе: языкъ божественнаго періода былъ по преимуществу «нѣмой», то есть состоящій изъ нечленораздѣльныхъ звуковъ, а письмена—іероглифическія.

Періодъ героическій очерченъ далеко не такъ ярко. Нравы становятся мягче настолько, что Полифемы и Циклопы смѣняются «бурными» Ахиллами, которые все-таки суть грубые эгоисты. Религіозныя представленія становятся утонченнѣе и такъ сказать отвлеченнѣе; говоря теперешнимъ языкомъ, фетишизмъ замѣняется политеизмомъ. Іероглифическія письмена уступаютъ мѣсто символическому языку. Наконецъ, теократія замѣняется аристократическими республиками. Это послѣднее измѣненіе представляется въ исторической теоріи Вико самымъ яркимъ

и важнымъ, ибо онъ и самъ слѣдитъ за историческимъ круговоротомъ преимущественно въ области политическаго устройства. Третій или человѣческій періодъ наименѣе характеренъ и ясенъ. Самое видное мѣсто здѣсь, все-таки, занимаютъ формы политическаго строя, которыми въ человѣческомъ періодѣ являются демократическія республики и монархіи.

Всѣ эти мысли разбросаны въ первыхъ четырехъ книгахъ Новой науки въ невообразимомъ безпорядкѣ. Нѣтъ почти возможности слѣдить за основною нитью сочиненія, тѣмъ болѣе, что она завалена громаднымъ количествомъ, иногда остроумныхъ и глубокомысленныхъ, иногда забавныхъ историческихъ и филологическихъ сближеній, эпизодическихъ замѣчаній, принимающихъ, напримѣръ, относительно гомерическихъ поэмъ размѣръ цѣлой книги (кн. III) и т. п. Пятую и послѣднюю книгу, составляющую собственно экстрактъ всего сочиненія, мы разсмотримъ подробнѣе. Читатель получитъ такимъ образомъ возможность составить себѣ по ней одной удовлетворительное понятіе о системѣ Вико.

Древній міръ прошелъ черезъ всѣ три фазиса исторической жизни. Римъ, переживъ эпоху божественную, героическую и человѣческую, палъ. Но исторія не прекратилась вмѣстѣ съ нимъ, человѣчество возродилось, какъ фениксъ изъ пепла, чтобы вновь идти по тому же пути, который разъ навсегда указанъ Провидѣніемъ. «Когда Богъ открылъ и утвердилъ сверхъестественными путями истину христіанства и противопоставилъ римскому могуществу добродѣтель мучениковъ, а суемудрію грековъ ученіе отцовъ церкви и чудеса святыхъ, тогда поднялись вооруженные народы, на сѣверѣ варвары аріане, на югѣ магометане-сарацины, которые со всѣхъ сторонъ напали на божественность Іисуса Христа *). Дабы установить новую истину непоколебимо и естественнымъ ходомъ человѣческихъ дѣлъ, Богъ дозволилъ явиться новому порядку вещей». Въ этомъ приступѣ мы имѣемъ характерный образчикъ пріемовъ Вико, той странной и притомъ чисто-механической смѣси теологическихъ и научныхъ объясненій, какою начинается чуть не каждая глава его сочиненія. Въ дальнѣйшемъ изложеніи и здѣсь, и въ другихъ случаяхъ, смѣсь эта распадается.

Новый порядокъ вещей выразился возвращеніемъ «божественныхъ» нравовъ первобытныхъ временъ. Во-первыхъ, воскресла теократія. Свѣтскіе князья и сами короли католическіе пожелали осѣнить себя нѣкоторымъ религіознымъ свѣтомъ и занимали весьма часто церковныя должности: дюки и бароны были часто, вмѣстѣ съ тѣмъ, и духовными лицами; самъ Гуго Капетъ былъ графомъ и аббатомъ парижскимъ. Короли воздвигали крестъ на своихъ знаменахъ, основывали военно-монастырскіе ордена и воевали съ невѣрными. Опять настали времена тѣснаго сплетенія варварства и религіозности. Въ древности глашатай, объявлявшій войну, приглашалъ боговъ выйти изъ вражескаго города (evocabat deos). Такъ и въ средніе вѣка люди постоянно были заняты мыслью похитить, удалить изъ осажденнаго города мощи и вообще предметы религіознаго поклоненія. Начиная съ V вѣка, когда варвары наводнили римскій міръ, побѣдители и побѣжденные не понимали другъ друга. Никакая народная письменность не существовала ни у французовъ, ни у итальянцевъ, ни у испанцевъ, ни у нѣмцевъ. Письменность вся происходила на варварской латыни, то есть на языкѣ, доступномъ только малой горсти людей высшаго сословія, облеченныхъ духовнымъ саномъ. Такимъ образомъ, возвратились времена первобытной нѣмоты. Вмѣстѣ съ тѣмъ, за неимѣніемъ письменъ, воскресли іероглифы въ видѣ эмблемъ, гербовъ и т. д. Воскресъ и *божественный, божій судъ* подъ именемъ *каноническихъ очищеній*. Настали времена древнихъ разбоевъ, жестокихъ казней, кулачнаго права. Такъ какъ на побѣду смотрѣли какъ на судъ божій, то побѣдители вѣрили, что у побѣжденныхъ нѣтъ Бога и обращались съ ними, какъ съ дикими звѣрями. Въ эту эпоху вторичнаго варварства вновь возникло и право убѣжища, которое, по Титу Ливію, положило основаніе всѣмъ древнимъ городамъ. Спасаясь отъ грабежей и разбоевъ, люди тѣсни-

*) Такъ по Мишле. Г. Стасюлевичъ въ своемъ «Опытѣ историческаго обзора главныхъ системъ философіи исторіи», переводитъ это мѣсто слѣдующимъ образомъ: «Богъ поднялъ затѣмъ вооруженные народы, явившіеся со всѣхъ сторонъ сражаться за истинную божественность своего (?) основателя» (114). Не говоря о странной конструкціи фразы, мы имѣемъ здѣсь пропускъ «аріанскихъ варваровъ» и «магометанъ-сарацынъ» и, вмѣстѣ съ тѣмъ, нѣчто совершенно противоположное тому, что, очевидно, хотѣлъ сказать Вико. Что переводъ г. Стасюлевича въ этомъ случаѣ ошибоченъ,—это ясно. Эта и другія, столь же очевидныя ошибки подрываютъ, къ сожалѣнію, довѣріе къ переводу г. Стасюлевича, а между тѣмъ, Мишле позволялъ себѣ сокращать мѣстами подлинникъ, сохраняя однако его наивный тонъ. Такимъ образомъ мы лишены возможности провѣрить нѣкоторыя любопытныя частности. Напримѣръ, аксіома 35-я переведена у Мишле такъ. *L'admiration* est fille de l'ignorance. У г. Стасюлевича она не только длиннѣе, но и имѣетъ другой смыслъ: «*Чудесное* есть дитя невѣжества, и чѣмъ удивительнѣе явленіе, тѣмъ въ большихъ размѣрахъ является чудесное».

лись около епископовъ, аббатовъ, отдавая подъ ихъ покровительство и себя, и свое семейство. и имущество. Это покровительство положило начало ленной системѣ. Епископы и аббаты, оказывавшіе его, становились, вмѣстѣ съ тѣмъ, и баронами извѣстныхъ мѣстностей, часто весьма обширныхъ.

За божественнымъ періодомъ возродился героическій. Жестоко ошибаются, говоритъ Вико, писатели, полагающіе, что феодальное право родилось изъ «искръ пожара, которымъ варвары разрушили римское право». Напротивъ, само римское право родилось изъ феодализма, разумѣя подъ послѣднимъ нѣкоторыя черты, общія всѣмъ человѣческимъ обществамъ на извѣстной ступени развитія. Тамъ патриціи, здѣсь бароны окружаютъ себя одни кліентами, другіе вассалами, которые находятся подъ ихъ покровительствомъ. И патриціи, и бароны, приписывая себѣ высшее происхожденіе отъ *героевъ* легендъ и преданій, съ одинаковымъ презрѣніемъ относятся къ *людямъ* (homines) въ технически-феодальномъ смыслѣ слова. И тѣ, и другіе, разлагая *божественный* порядокъ вещей, образуютъ изъ себя одни сенатъ, другіе парламентъ. И тамъ, и тутъ кліенты и вассалы возстаютъ, наконецъ, противъ аристократіи бароновъ и патриціевъ, требуя себѣ участія въ политической жизни. Вико тщательно сравниваетъ подробности феодальнаго права съ подробностями римскаго законодательства и при помощи филологическихъ соображеній утверждаетъ ихъ полнѣйшую аналогію.

Обращаясь къ современному ему положенію вещей, Вико замѣчаетъ въ немъ господство человѣчности. За исключеніемъ сѣверныхъ и южныхъ окраинъ извѣстнаго европейцамъ міра (сюда Вико относитъ и «Московію», царь которой, «будучи вполнѣ христіаниномъ, господствуетъ однако надъ людьми слишкомъ лѣниваго и медлительнаго характера»), вездѣ водворились начала мирной и человѣческой цивилизаціи. На крайнемъ востокѣ только Японія находится еще въ героическомъ періодѣ развитія. «По словамъ миссіонеровъ, замѣчаетъ Вико, главное препятствіе обращенію японцевъ въ христіанство составляетъ невозможность убѣдить высшее сословіе въ томъ, что представители низшихъ классовъ суть такіе же люди». Въ Европѣ господствуетъ христіанская религія, «дающая самую чистую и совершенную идею о божествѣ и внушающая любовь ко всему человѣческому роду». Поэтому здѣсь только спорадически, т. е. случайно и временно сохранился мѣстами и отчасти героическій порядокъ вещей. Таковы судьбы Англіи, Польши, Швейцарскихъ кантоновъ, Голландскихъ штатовъ, отчасти Германіи. Во всѣхъ этихъ государствахъ сохранилось сильное аристократическое начало, составляющее одну изъ существенныхъ чертъ героическаго періода развитія. Но Вико не сомнѣвается въ томъ, что, по крайней мѣрѣ, Польша и Англія весьма быстро обратятся въ чистыя монархіи, вмѣстѣ съ чѣмъ окончательно восторжествуетъ *человѣческій* періодъ исторіи.

Наконецъ, Вико дѣлаетъ въ заключеніе своего сочиненія отвлеченную характеристику взаимныхъ отношеній трехъ періодовъ исторіи, удаляя всякіе конкретные примѣры.

Провидѣнію угодно было, чтобы наши отдаленные предки-исполины, испуганные первыми грозами послѣ потопа, стали искать убѣжища въ пещерахъ. Тамъ, не смотря на свою гордость, они склонились предъ божествомъ, которое сами себѣ создали. Тамъ же они основали общественную ячейку, семью, которою управляли съ крайнею суровостью. Таковъ былъ первый типъ общественныхъ отношеній. Эта семейная монархія съ теченіемъ времени разрослась, принимая подъ свое покровительство бездомныхъ бродягъ. Какъ бы ни были дики и звѣрообразны понятія и нравы первыхъ отцовъ семейства, но это все-таки были люди, связанные извѣстными нравственными отношеніями и извѣстными религіозными идеями. И потому они были гораздо выше тѣхъ бобылей, которыхъ принимали подъ свою защиту. Эти кліенты, вассалы повиновались имъ и работали на нихъ, какъ на людей высшаго, героическаго происхожденія. Съ теченіемъ времени отцы семействъ, патриція, бароны презрѣли тѣ условія, на которыхъ у нихъ поселились пришлые люди и вмѣсто обѣщаннаго покровительства стали ихъ притѣснять. Кліенты дѣлали попытки возмущенія. Это заставило отцовъ семействъ составить между собою союзъ и установить извѣстный легальный гражданскій порядокъ. Теократическое правленіе замѣнилось героическимъ, небольшія семейныя монархіи слились въ обширныя аристократическія группы, которыя и управляли плебсями. Плебеи долго признавали исключительное благородство героевъ, но, наконецъ, додумались до того, что они и сами такіе же люди. Они пожелали вступить въ составъ полноправныхъ гражданъ и дѣйствительно путемъ долгой борьбы добились того, что «гражданскій порядокъ» значительно осложнился элементами «естественнаго или, что то же, справедливаго порядка». Возникли демократическія республики. Различіе между героями и людьми сгладилось, но условіемъ достиженія высокаго положенія былъ поставленъ извѣстный цензъ, дабы правителями могли быть только трудолюбивые, бережливые и

осторожные люди. Однако и этотъ порядокъ вещей не могъ долго удержаться. Полноправные граждане вскорѣ обратили находящееся въ ихъ рукахъ правительство въ оружіе своего личнаго могущества, направили его не на поддержаніе порядка, а на усиленіе своей власти. «Подобно бурнымъ вѣтрамъ, вздымающимъ море, они возмутили спокойствіе республики гражданскою войной, повергли ее во всеобщій безпорядокъ и изъ состоянія свободы низвели ее къ самой ужасной тиранніи,—къ анархіи» *).

Когда общество впадаетъ въ такое ужасное состояніе, провидѣніе избираетъ одинъ изъ слѣдующихъ трехъ путей для введенія народа въ новый оборотъ историческаго колеса. Во-первыхъ, изъ среды самого народа выдвигается личность, подобная Августу, и установляетъ монархію. Законы и учрежденія, основанные на народной свободѣ, оказались нестоятельными, и монархъ ниспровергаетъ ихъ силою оружія. «Самая форма монархіи, замѣчаетъ Вико, удерживаетъ волю монарха, какъ бы она ни была могуча, въ предѣлахъ естественнаго (или справедливаго) порядка, потому что правленіе его можетъ быть прочно и долговременно только подъ условіемъ охраненія религіи и естественной свободы». Если внутри самаго общества нѣтъ этого спасительнаго средства, то провидѣніе избираетъ себѣ орудіе въ лицѣ другого народа. Народы, прошедшіе вышеприведенный историческій путь, благодаря своей испорченности, необузданности, роскоши, изнѣженности, корыстолюбію и проч., и проч., по природѣ своей суть уже рабы. И по естественному праву народовъ они должны сдѣлаться рабами и фактически: ихъ порабощаютъ силою оружія другіе народы. Въ третьихъ, наконецъ, провидѣніе прибѣгаетъ къ такому крайнему средству. Народы, прошедшіе всѣ ступени развитія, падаютъ все глубже и глубже, обращаются въ какихъ-то звѣрей, неимѣющихъ человѣческаго подобія, не знающихъ ничего, кромѣ своихъ личныхъ и притомъ самыхъ грубыхъ интересовъ, не могущихъ жить безъ постоянныхъ ссоръ и дракъ. Возникаютъ междоусобныя войны, города пустѣютъ, люди бѣгутъ въ лѣса. То утонченное варварство, которое при этомъ получается, гораздо хуже варварства первобытнаго, ибо оно, «соединенное съ низкою жестокостью, покушается на жизнь и имущество лучшихъ друзей, расточая имъ ласки и объятія». Мало-по-малу одичалые люди забываютъ всѣ тонкости и сладости жизни и сосредоточиваютъ свои желанія на предметахъ безусловной необходимости. Съ теченіемъ вѣковъ они возвращаются къ первобытной простотѣ. «Они вновь познаютъ религію, обращаются къ истинѣ и справедливости, составляющимъ красоту вѣчнаго порядка, установленнаго провидѣніемъ».

Вотъ вкратцѣ ядро исторической теоріи Вико. Подведемъ итоги, включивъ въ нихъ нѣчто изъ не вошедшаго въ наше изложеніе.

Общество въ своемъ развитіи повинуется извѣстнымъ законамъ,—вотъ первая мысль, которою насквозь проникнуто сочиненіе Вико и которую до него едва-ли кто-нибудь высказывалъ съ такою ясностью и рѣшительностью. Нѣтъ ничего мудренаго, что, ослѣпленный новизною идеи, Вико впалъ отчасти въ фатализмъ и замкнулъ исторію въ почти математически-провиденціальную формулу. Фатализмъ этотъ однако далеко не достигаетъ тѣхъ размѣровъ, какихъ можно бы было ожидать отъ теоріи искренняго католика, вѣрующаго при томъ въ строгую законосообразность явленій общественной жизни. Вико съ особенною силою напираетъ на то обстоятельство, что исторію свою, соціальный міръ—люди дѣлаютъ сами, въ противоположность природѣ, которая создается Богомъ. Правда, онъ все-таки ставитъ во главу угла своего зданія идею провидѣнія, направляющаго все ко благу человѣчества. Но идея эта играетъ въ системѣ «роль безъ рѣчей». Провидѣнію угодно было вслѣдъ за развитіемъ христіанства возсоздать времена первобытнаго варварства, но это возсозданіе объясняется тутъ же прямою связью естественныхъ причинъ и слѣдствій. Провидѣнію угодно вырвать погибающее общество изъ анархіи, и оно употребляетъ для этого извѣстныя средства; а если по наличнымъ естественнымъ условіямъ эти средства невозможны для провидѣнія, то идутъ въ ходъ другія. И т. п. Вслѣдствіе этого, не смотря на провиденціализмъ, множество вопросовъ общественной жизни впервые именно Вико поставлены на научную почву. Мы не говоримъ, чтобы они получили на этой почвѣ вполнѣ вѣрное разрѣшеніе, но они несомнѣнно на нее поставлены, и «Новая наука» была дѣйствительно новой наукой. Въ тѣсной связи съ идеей законосообразности соціальныхъ явленій находится историческая критика Вико. Она главнымъ образомъ состоитъ въ «философскихъ и филологическихъ», т.-е. дедуктивныхъ и индуктивныхъ доказательствахъ, что такое-то и такое-то явленіе не могло существовать въ такое-то время

*) Въ переводѣ г. Стасюлевича этотъ очеркъ дополняется еще слѣдующими характерными чертами: «философія, склоняясь къ скептицизму, обольщаетъ ограниченныхъ ученыхъ и заставляетъ отвергать истину; является также ложное краснорѣчіе, готовое защищать обѣ противоположныя стороны, и граждане, злоупотребляя этимъ краснорѣчіемъ, какъ то и дѣлали народные трибуны у римлянъ, на богатствѣ стремятся основать не порядокъ, но власть». (1. c., 129).

въ томъ видѣ, въ какомъ дошли до насъ объ немъ извѣстія. Для этого Вико не употребляетъ никакихъ иныхъ орудій, кромѣ соображеній объ общихъ свойствахъ человѣческой природы (доказательства философскія) и анализа историческихъ фактовъ (доказательства филологическія). Особенно удачно приложена эта критика ко временамъ отдаленнымъ, къ періоду зачатковъ цивилизаціи, а также къ греческой и римской исторіи. И здѣсь Вико не имѣлъ предшественниковъ. Съ очевидно громаднымъ трудомъ пробирается онъ въ чащу исторіи, то возвращаясь къ пройденному уже мѣсту, то дѣлая рекогносцировку въ одну, въ другую сторону. Обыкновенно считаютъ Вольтера реформаторомъ исторіографіи. Но Вико предвосхитилъ всю эту реформу. Во-первыхъ, въ его сочиненіи основной идеѣ реформы, идеѣ законосообразности исторіи, придано гораздо большее значеніе, чѣмъ у Вольтера. Далѣе онъ раньше Вольтера взглянулъ на исторію не какъ на описаніе сраженій и царствованій, а какъ на изслѣдованіе развитія идей, нравовъ и соціальнаго положенія народовъ. Наконецъ, онъ раньше Вольтера развѣялъ басни и преданія, густымъ туманомъ заволакивающія сѣдую древность, первоначальные источники исторіи всѣхъ народовъ. Онъ сдѣлалъ это не только раньше, а и полнѣе и глубже, чѣмъ Вольтеръ. Но Вольтеръ дѣлалъ изъ своихъ изслѣдованій убійственныя митральезы, а Вико предлагалъ критическому вѣку историческое оправданіе отжившихъ и отживающихъ началъ. Этимъ и опредѣляется успѣхъ одного и неуспѣхъ другого. Собственно говоря, развѣнчивая боговъ и героевъ древности, доказывая, что въ лицѣ ихъ человѣчество преклонялось передъ самимъ собой, передъ своей фантазіей, передъ своими созданіями, Вико дѣлалъ общее дѣло вѣка, и Мишле справедливо характеризуетъ его воззрѣнія именемъ «историческаго радикализма». Но разница въ тонѣ и пріемахъ изслѣдованія. И эти-то тонъ и пріемы сдѣлали то, что вся та часть теоріи Вико, которая совпадала по своимъ результатамъ съ теоріями его болѣе счастливыхъ современниковъ и нынѣ господствующими взглядами, — вся эта часть пропала безслѣдно. Современники, шедшіе отчасти по одной съ нимъ дорогѣ, внесли въ свою работу, если не больше глубины и оригинальности, то больше блеску и задору,—и они остались въ памяти потомства. Другая часть теоріи Вико, которою онъ рѣзко расходился съ современниками, именно все, связанное съ его ненавистью къ безусловной личной свободѣ или, говоря нынѣшнимъ языкомъ, къ индивидуализму, осталась въ положеніи цвѣтка, который отцвѣлъ, не успѣвши расцвѣсть. Это было растеніе, всѣмъ чужое и самому Вико недостаточно ясное. Въ концѣ концовъ Вико удалось связать свое имя только съ идеей историческаго круговорота. Здѣсь онъ занимаетъ какъ бы середину между огромнымъ большинствомъ писателей прошлаго вѣка, вѣровавшихъ въ безостановочный, прямолинейный прогрессъ, и Руссо, гордо бросившимъ этому прогрессу перчатку и объявившимъ, что человѣчество безостановочно, прямолинейно регрессируетъ.

Идея круговорота имѣетъ въ себѣ нѣчто соблазнительное. Въ качествѣ удобной и яркой метафоры, къ ней прибѣгаютъ очень многіе политическіе писатели. Есть не мало и открытыхъ, прямыхъ сторонниковъ ея. Но замѣчательно, что со времени Вико теорія эта не подвинулась ни на шагъ впередъ. Вотъ что говоритъ, напримѣръ, Гервинусъ въ своемъ «Введеніи въ исторію девятнадцатаго вѣка» (С.-Пб. 1864, 9): «Исторія европейскихъ государствъ христіанской эпохи составляетъ такое-же общее цѣлое, какое въ древности представляла исторія группы государствъ греческаго полуострова и ихъ колоній. Въ ту и другую эпоху, въ ходѣ внутренняго развитія обнаруживается одинакій порядокъ и одинъ и тотъ-же законъ. И этотъ законъ есть тотъ самый, который мы видимъ въ цѣлой исторіи человѣчества. Отъ деспотическаго устройства восточныхъ государствъ древняго міра и среднихъ вѣковъ, и отъ нихъ до современнаго, еще не выработавшагося окончательно политическаго состоянія—вездѣ замѣчаемъ правильный прогрессъ свободы духовной и гражданской, которая сначала принадлежитъ только нѣсколькимъ личностямъ, потомъ распространяется на большее число ихъ и, наконецъ, достается многимъ. Но потомъ, когда государство совершило свой жизненный путь, мы снова видимъ, что отъ высшей точки этой восходящей лѣстницы развитія начинается обратное движеніе просвѣщенія, свободы и власти, которыя отъ многихъ переходятъ къ немногимъ и, наконецъ, нѣсколькимъ. Этотъ законъ обнаруживается въ каждой части исторіи, — какъ въ каждомъ отдѣльно взятомъ государствѣ, такъ и въ цѣлыхъ ихъ группахъ, которыя мы назвали». Соображенія эти Гервинусъ подтверждаетъ небольшою параллелью между древнею исторіею Греціи и новою исторіею Европы. Мы не найдемъ здѣсь такихъ натяжекъ, какъ у Вико, такихъ совершенно фантастическихъ указаній, какъ вышеприведенный третій способъ обновленія народа, такой неудовлетворительной оцѣнки современнаго положенія вещей, какую Вико дѣлаетъ для своего времени. Но, не смотря на это улучшеніе частностей, не

только идея остается та же самая иногда до мельчайшихъ подробностей, но она остается на той-же ступени неразработанности. Описаніе круговорота сдѣлано обстоятельнѣе, но причина его остается неизвѣстною. И Вико, и Гервинусъ, и Дреперъ, и всѣ другіе сторонники идеи историческаго круговорота разсказываютъ факты, описываютъ болѣе или менѣе вѣрно, такъ что приходится сознаться, что фактъ круговорота въ описываемыхъ случаяхъ имѣетъ мѣсто. Можно бы было привести не мало и другихъ случаевъ въ подтвержденіе теоріи Вико. Прудонъ въ своихъ «Политическихъ противорѣчіяхъ» еще недавно обратилъ вниманіе на циклическое, круговое развитіе конституціонныхъ формъ во Франціи, и представленная имъ формула этого цикла весьма близка къ формулѣ Вико. Въ другой частной области, экономической, давно уже указанъ кругъ, въ которомъ вращается человѣчество: увеличеніе населенія ведетъ къ недостатку средствъ существованія; недостатокъ средствъ существованія вызываетъ усиленное приложеніе труда; усиленное приложеніе труда вызываетъ изобиліе, вмѣстѣ съ чѣмъ опять начинается усиленіе размноженія, и круговоротъ продолжается до безконечности. Живи Вико въ наше время, онъ имѣлъ бы полную возможность привести въ подтвержденіе своей теоріи, какъ исторію Франціи, такъ и общее современное положеніе европейскихъ дѣлъ. Въ исторіи Франціи новѣйшаго времени онъ увидѣлъ-бы, безъ сомнѣнія, приложеніе, по крайней мѣрѣ, первыхъ двухъ способовъ, употребляемыхъ провидѣніемъ для возрожденія народа: здѣсь есть и монархъ, подобный Августу, и вторженіе иноземцевъ. А въ нашемъ времени вообще онъ не усомнился бы признать эпоху новаго возрожденія варварства, когда, вслѣдъ за усиленнымъ развитіемъ свободы, просвѣщенія, цивилизаціи, возникаютъ яростныя войны, разбойническіе нравы, дикія понятія. Словомъ, за фактами дѣло не станетъ, какъ не станетъ и за болѣе тщательнымъ и обстоятельнымъ описаніемъ ихъ. Но явленіе остается все-таки на той-же степени ясности или, вѣрнѣе, неясности, на какой оно было оставлено родоначальницею всѣхъ круговоротовъ, теоріей Вико. Только экономистамъ удалось, худо-ли, хорошо-ли, развернуть свой кругъ. Они рѣшили, что задержка размноженія способна превратить циклическое движеніе въ прямолинейное. Вопросъ въ томъ, можетъ ли быть подобнымъ же образомъ развернутъ и общій круговоротъ политической жизни народовъ, или это кругъ фатальный, неизбѣжный, какъ рожденіе и смерть отдѣльныхъ недѣлимыхъ.

Надо замѣтить, что если идея историческаго круговорота соблазнительна для человѣческаго ума, естественно наклоннаго къ аналогіямъ и охотно видящаго въ политическихъ перемѣнахъ нѣчто сходное съ жизнью отдѣльныхъ личностей, ихъ молодостью, возмужалостью и старостью,—то съ другой стороны не менѣе естественно желаніе развернуть историческій кругъ. Каждый сторонникъ идеи историческаго круговорота, признавая въ абстрактѣ желѣзную необходимость циклическаго движенія, на дѣлѣ, руководимый своими политическими вѣрованіями, считаетъ возможнымъ остановить движеніе на томъ или другомъ фазисѣ и допускаетъ въ будущемъ только прямолинейное развитіе этого фазиса. Возьмемъ, напримѣръ, Гервинуса. Онъ очень опредѣленно формулируетъ законъ круговорота въ отвлеченномъ видѣ: за абсолютизмомъ слѣдуетъ развитіе духовной и гражданской свободы, достающейся сначала нѣсколькимъ, потомъ немногимъ, потомъ многимъ; затѣмъ начинается обратное движеніе, и свобода переходитъ отъ многихъ къ немногимъ и нѣсколькимъ. Къ прошедшему, именно къ древней Греціи и средневѣковой Европѣ, Гервинусъ прилагаетъ эту формулу вполнѣ. Переходя же къ новѣйшему времени, онъ говоритъ: «Все время съ исхода среднихъ вѣковъ до насъ наполняетъ одна и та же борьба повсюду распространенныхъ реформаціей демократическихъ идей съ аристократическими учрежденіями среднихъ вѣковъ и съ абсолютизмомъ, который движется между обоими элементами, попеременно оказываетъ содѣйствіе то старому феодальному порядку, то новому гражданскому, то опирается на среднее сословіе и, заботясь о его потребностяхъ, помогаетъ ему смирить аристократію, то укрывается подъ защиту аристократіи и борется съ возрастающею силою нисшихъ сословій. Еще во времена французской революціи всѣ эти непріязненныя силы, со всѣмъ юношескимъ пыломъ, состязались въ борьбѣ, казалось бы послѣдней. Однако исторія текущаго столѣтія есть не что иное, какъ возобновленіе все той же, нерѣшенной еще борьбы на постоянно увеличивающемся пространствѣ. Эта борьба передается и грядущимъ поколѣніямъ для дальнѣйшаго разрѣшенія». Здѣсь уже нѣтъ такого яснаго представленія о круговоротѣ: просто идетъ борьба, результаты которой склоняются то на одну, то на другую сторону. Наконецъ, въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ Гервинусъ провидитъ торжество демократическихъ началъ, ни единымъ словомъ не проговариваясь о томъ, что торжество это будетъ не чѣмъ инымъ, какъ моментомъ оборота историческаго колеса. Точно также, признавая въ абстрактѣ законъ круговo-

рота закономъ развитія всякаго общества, Гервинусъ не прилагаетъ и не можетъ приложить его къ Америкѣ.

У Вико мы встрѣчаемъ то же самое. Въ отвлеченномъ изложеніи закона круговорота и въ приложеніи его къ пережитому уже человѣчествомъ, Вико доказываетъ, что каждая ступень циклическаго развитія, будучи по наличнымъ условіямъ наиболѣе подходящею, ломитъ предъидущую и затѣмъ уступаетъ мѣсто послѣдующей. Но, когда дѣло доходитъ до современнаго положенія вещей, Вико говоритъ объ окончательномъ торжествѣ человѣчности, какъ бы отгоняя отъ себя мысль, что за этимъ торжествомъ долженъ опять начаться божественный періодъ варварства. Здѣсь кстати будетъ взглянуть на политическія убѣжденія Вико. Это не либеральный демократъ, какъ Гервинусъ. Это просто честный человѣкъ прошлаго столѣтія, желающій блага народу, но стоящій совершенно въ сторонѣ отъ современныхъ ему политическихъ доктринъ и партій. Если онъ и демократъ, то онъ самъ этого не знаетъ, какъ извѣстный герой Мольера не зналъ, что онъ говоритъ прозой. Въ его время роль монархическаго начала была практически опредѣлена весьма ясно: оно ломило аристократическій элементъ, опираясь при этомъ на низшіе классы, слѣдовательно работало на равенство и свободу, комбинировавшіяся для Вико въ понятіи человѣчности. Въ идеѣ героизма для него заключались, напротивъ, элементы неравенства и зависимости; и кто бы ни давилъ народъ,— аристократія въ настоящемъ смыслѣ слова, съ которою боролась монархія, или буржуазія, роль которой еще недостаточно опредѣлилась,—Вико безразлично называлъ такой порядокъ вещей героическимъ или аристократическимъ. Теперь, когда элементы политической жизни прошлаго столѣтія развернулись, картина, нарисованная Вико, разумѣется, неудовлетворительна, но неудовлетворительность эта опредѣляется просто временемъ Вико. Гервинусъ говоритъ, напримѣръ: «Никто не въ состояніи повѣрить, чтобы неподвижныя учрежденія Англіи могли быть перенесены на материкъ; всякій считаетъ неизбѣжнымъ, что демократическія идеи, которыя волнуютъ міръ, напротивъ, постепенно проникнутъ и въ Англію». Вико былъ, напротивъ, увѣренъ, что Англія въ ближайшемъ будущемъ обратится въ чистую монархію. Но здѣсь вовсе нѣтъ рѣзкаго противорѣчія, потому что для Вико монархическій принципъ былъ проводникомъ тѣхъ самыхъ демократическихъ началъ, вторженія которыхъ въ Англію ждетъ и желаетъ Гервинусъ. Сообразно этому, современное Вико положеніе вещей представлялось ему не фазисомъ циклическаго развитія, а моментомъ превращенія круговорота въ движеніе прямолинейное. Онъ говоритъ объ «окончательномъ торжествѣ человѣчности», о присущей монархическому принципу устойчивости. Съ другой стороны Вико говоритъ, что, напримѣръ, исторія Карѳагена, Нуманціи, Капуи не подходитъ подъ законъ круговорота; что Польша и Англія обратятся въ чистыя монархіи, то-есть подчинятся закону круговорота, только въ такомъ случаѣ, если въ дѣло не замѣшаются непредвидѣнныя обстоятельства; что прибытіе европейцевъ въ Америку не дало ей возможности пройти черезъ всѣ указанные провидѣніемъ фазисы.

Эти исключенія, которыя, разумѣется, гораздо многочисленнѣе, чѣмъ то кажется Вико, сами по себѣ еще ничего не говорятъ противъ его закона. Нѣтъ правила безъ исключенія, говоритъ пословица, и въ большинствѣ случаевъ исключенія только подтверждаютъ собою правила. Но исключенія эти свидѣтельствуютъ о томъ, что размѣръ дѣйствій закона можетъ быть болѣе или менѣе опредѣленно указанъ, что эмпирическій законъ, если онъ дѣйствительно существуетъ, можетъ быть обращенъ въ раціональный, путемъ разложенія его на простѣйшіе элементы. Ничего такого до сихъ поръ съ закономъ историческаго круговорота сдѣлано не было, не смотря на то, что всѣ его сторонники на дѣлѣ весьма склонны измѣнить ему, а измѣнить ему, значитъ увѣровать въ возможность прекратить это вѣчное коловращеніе, а прекратить его можно только по разъясненіи условій, при которыхъ и вслѣдствіе которыхъ онъ дѣйствуетъ. Не сдѣлано этого было потому, что этого и нельзя сдѣлать.

Сторонники круговорота вынуждены подгонять факты, натягивать одни, умалчивать о другихъ. Но допустимъ, что факты указываются ими вѣрно. Но для нихъ возможно весьма простое объясненіе. Въ двухъ обществахъ существуютъ и дѣйствуютъ одни и тѣ же начала. Начала эти борятся между собой. Успѣхъ, смотря по обстоятельствамъ, склоняется то на одну, то на другую, то на третью сторону. Понятное дѣло, что если мы будемъ сравнивать наши два общества въ моменты торжества одного и того же начала, то между ними окажется болѣе или менѣе близкое сходство. Къ этому собственно и сводится идея круговорота въ общемъ. Остальное есть дѣло болѣе или менѣе искусной группировки фактовъ, остроумія писателей и мыслителей. Такимъ образомъ идея круговорота лишается своего таинственнаго, мистическаго характера. Главный узелъ ея сводится къ слѣдующему. Не вѣчны-ли, не присущи-ли человѣческой природѣ тѣ поли-

тическія (въ самомъ широкомъ смыслѣ, то-есть собственно политическія, экономическія и нравственныя) начала, результаты борьбы между которыми въ извѣстные моменты по необходимости сходны? Если да, то идея круговорота оправдана. Но ни одинъ изъ ея сторонниковъ не пытался подвергнуть ее анализу съ этой точки зрѣнія. Не вдадимся и мы въ этотъ анализъ, потому что онъ завлекъ бы насъ слишкомъ далеко. Мы укажемъ только на несомнѣнный фактъ отсутствія въ нѣкоторыхъ европейскихъ государствахъ политическихъ элементовъ, одержи-вающихъ еще громкія побѣды въ другихъ, и на историческое развитіе Америки.

Какъ бы ни была несостоятельна идея круговорота въ принципѣ, нельзя не замѣтить, что она фактически въ частныхъ случаяхъ оправдывается и должна оправдываться. Нельзя также не отдать справедливости ея отрезвляющему значенію. Значеніе это впрочемъ, оставалось болѣе im Werden, какъ говорятъ нѣмцы. Явись теорія Вико въ наше чудотворное время, къ ней, можетъ быть, прислушались бы, она помогла бы, можетъ быть, оцѣнить настоящее положеніе вещей. Но она явилась въ прошломъ вѣкѣ, когда Европа была полна веселыхъ надеждъ и пламенныхъ стремленій, еще не потерпѣвшихъ осѣчки. Не мудрено, что и эта идея Вико потерпѣла фіаско. Вѣкъ прошелъ мимо нея, даже не замѣтивъ ея. Въ то самое время, какъ настоящее объявляло прошедшему безпощадную войну и стремилось разорвать всѣ связи съ нимъ, по мысли Вико не только это настоящее вытекало изъ прошедшаго, но съ теченіемъ времени должно ему опять уступить мѣсто. Современники не могли отдѣлить здѣсь истину отъ заблужденія. А истина заключалась въ мысли Вико. Политическія явленія повторяются,—это фактъ; общества умираютъ,—это тоже фактъ. На этихъ двухъ фактахъ Вико построилъ теорію историческаго круговорота, и позднѣйшіе ея сторонники не прибавили къ ней ни одной существенной черты. Фактъ повторенія явленій освѣщается все тѣмъ же мистическимъ провиденціальнымъ свѣтомъ, не объясняющимъ ровно ничего. Что же касается до факта смерти обществъ, то въ этомъ отношеніи позднѣйшіе писатели стоятъ даже ниже Вико. Мы видѣли, какъ онъ въ одномъ мѣстѣ описываетъ это явленіе. Онъ повторяетъ это описаніе довольно часто съ легкими варіантами выраженій. Соображая всѣ эти мѣста, мы придемъ къ тому заключенію, что условіе смерти общества есть, по мысли Вико, нравственная, умственная и политическая анархія, безусловная свобода личнаго сужденія и дѣйствованія. Такимъ образомъ мы возвращаемся къ тому пункту, который наиболѣе рѣзко выдѣляетъ Вико изъ среды писателей и мыслителей XVIII вѣка. Слово «анархія» имѣетъ здѣсь вовсе не тотъ узкій смыслъ, какой съ нимъ соединяется въ обыкновенномъ разговорномъ языкѣ. Идея Вико гораздо шире. Анархія есть для него отсутствіе всякихъ общихъ или точнѣе общественныхъ руководящихъ началъ. Съ этой именно точки зрѣнія картезіанская философія была для него явленіемъ анархическимъ, противообщественнымъ. Уже при жизни Вико анархія эта была до извѣстной степени обуздана: личная мысль, сбросивъ авторитетъ теологіи, потоптавшись затѣмъ нѣсколько времени на всей своей вольной волѣ, наконецъ признала надъ собою авторитетъ науки. Въ другихъ областяхъ жизни современники Вико не знали и не сознавали важности авторитета, общественнаго руководящаго начала. Они были слишкомъ заняты ниспроверженіемъ отжившихъ авторитетовъ. Вико, по складу своего ума и характера, не могъ удовлетвориться этою почти исключительно критической работой. Но онъ не имѣлъ подъ ногами почвы, онъ могъ только ощупью искать спасительнаго авторитета, хватаясь то за одно, то за другое. На этомъ неясномъ ему самому пунктѣ сливаются и его практическія стремленія, и его теоретическіе выводы. Разъ для всѣхъ областей жизни будутъ найдены такія же прочныя руководящія начала, такіе авторитеты, какими наука является въ области мысли, — историческій круговоротъ развернутъ: явленія перестанутъ повторяться, и смерть перестанетъ косить жатву жизни обществъ. Въ области нравственно-политической, какъ въ теоретическомъ, такъ и въ практическомъ отношеніи Европа колеблется до сихъ поръ между Сциллой отжившихъ авторитетовъ, уже не имѣющихъ прежней силы и обаянія, и Харибдой анархіи. Новые авторитеты, новыя общественныя руководящія начала только слабо даютъ себя знать. И пока этотъ порядокъ вещей не измѣнится, колесо исторіи будетъ періодически выбрасывать неожиданныя, но знакомыя явленія. Теорія Вико будетъ торжествовать.

Новый историкъ еврейскаго народа *).

Les pharisiens. Par J. Cohen. I. Paris 1877.

Священный характеръ, которымъ отмѣчена для христіанъ исторія евреевъ, отнюдь не обязываетъ насъ во *всей* этой исторіи видѣть нѣчто исключительное, не подлежащее изученію съ точки зрѣнія естественной связи причинъ и слѣдствій и общихъ законовъ развитія обществъ. Самъ Іисусъ Христосъ предсказывалъ для ближайшаго будущаго («не прейдетъ родъ сей, какъ все сіе будетъ») появленіе лжехристовъ и лжепророковъ. Самъ Богъ устами пророка Іереміи предостерегалъ отъ лжепророковъ: «они обманываютъ васъ, разсказываютъ мечты сердца своего, а не отъ устъ Господнихъ... Они говорятъ: мнѣ снилось, мнѣ снилось. Долго ли это будетъ въ сердцѣ пророковъ, пророчествующихъ ложь, пророчествующихъ обманъ своего сердца?.. Что общаго у мякины съ зерномъ?» Такимъ образомъ, рядомъ съ сверхъестественнымъ «зерномъ» мы видимъ въ исторіи евреевъ совершенно естественную «мякину». Видимъ лжемессій и лжепророковъ, злостно обманывающихъ людей или же дѣйствующихъ подъ вліяніемъ «обмана сердца своего». Имъ «снится», и сны, которые они видятъ, суть не божественныя откровенія, а обыкновенныя физіологическія явленія, имѣющія простой, земной источникъ. Они совершаютъ «знаменія и чудеса», но это не чудеса, а или обманы, фокусы, или же нѣчто вовсе небывалое въ дѣйствительности. Ихъ пророчествамъ внимаютъ, на ихъ зовъ идутъ, но не потому, чтобы тутъ сказывался божественный голосъ, а въ силу тѣхъ же причинъ, по какимъ и другіе народы шли и идутъ на зовъ своихъ учителей и вождей. Это причины нравственныя, хозяйственныя, политическія. Однажды въ пустынѣ евреямъ ниспала съ небесъ манна, а въ другой разъ имъ были посланы цѣлыя стада перепеловъ. Но въ обыкновенное время они добывали пищу обыкновеннымъ путемъ. Безъ сомнѣнія, эта человѣческая сторона исторіи переплетается со стороной божественной. Такъ, лжемессіи и лжепророки ссылаются на различныя подходящія мѣста священнаго писанія, толкуя ихъ въ благопріятномъ для «мечты ихъ сердца» смыслѣ. Но иногда буквально тѣ же ссылки встрѣчаемъ мы въ исторіи народныхъ движеній средневѣковой Европы и Россіи. Далѣе, идея мессіи, какъ избавителя, имѣющаго рано или поздно, явиться на землѣ, коренилась, совершенно независимо отъ откровенія, въ самыхъ условіяхъ жизни евреевъ и появлялась въ той или иной формѣ и у другихъ народовъ, какъ только они попадали въ сходныя условія. Понятно, что только эта «мякина», эта человѣческая сторона исторіи евреевъ подлежитъ изученію съ научной точки зрѣнія. Только она допускаетъ сравненіе съ другими историческими явленіями, только къ ней приложимъ, слѣдовательно, сравнительный методъ, безъ котораго немыслима ни философія исторіи, вообще, ни исторія какого нибудь народа въ частности. Сторона божественная стоитъ съ христіанской точки зрѣнія безпримѣрно одиноко, а потому составляетъ предметъ богословія и исторіи священной. Но ею не исчерпывается исторія евреевъ. А между тѣмъ, обстоятельства такъ сложились, что свѣтская исторія евреевъ для насъ какъ бы не существуетъ; не смотря на то, что во многихъ отношеніяхъ она ни мало не уступаетъ, по глубинѣ поучительности, ни исторіи Греціи, ни исторіи Рима, не говоря уже о древнихъ восточныхъ монархіяхъ, исторію которыхъ считаетъ себя обязаннымъ знать каждый образованный человѣкъ. Въ западной Европѣ дѣло поставлено, конечно, нѣсколько лучше, но и тамъ свѣтская сторона исторіи евреевъ далеко не привлекаетъ къ себѣ такого вниманія, какого она заслуживаетъ. Есть много сочиненій, посвященныхъ, какъ всей исторіи евреевъ въ ея совокупности, такъ и выдающимся ея эпизодамъ. Но и въ нихъ «зерно» настолько примируетъ надъ «мякиной», въ формѣ ли догматической, или полемической, что въ большинствѣ случаевъ они являются лишь подготовительными работами для положительнаго изученія собственно свѣтской стороны исторіи евреевъ. Какъ ни велики заслуги людей, критически изслѣдовавшихъ древнюю еврейскую литературу, а слѣдовательно, и исторію, какъ ни важны достигнутые ими результаты, но въ концѣ-концовъ, исторія евреевъ стоитъ все-таки особнякомъ. Историкъ крестовыхъ походовъ, напримѣръ, отмѣтивъ фактъ всеобщаго религіознаго увле-

*) 1878, январь.

ченія, перейдетъ къ изслѣдованію политическихъ, экономическихъ, нравственныхъ причинъ этого явленія. Такъ поступитъ и историкъ русскаго раскола, и историкъ реформаціи, такъ поступитъ всякій современный историкъ какого бы то ни было момента, окрашеннаго религіознымъ оттѣнкомъ. Самый скептическій историкъ еврейскаго народа можетъ просто сказать, что религіозный элементъ составляетъ самую суть занимающаго его предмета, и никого не удивитъ этимъ; никто не потребуетъ у него выясненія связи между несомнѣнно сильно-развитою религіозною стороною исторіи евреевъ и другими ея сторонами; никто, по крайней мѣрѣ, не будетъ протестовать, если онъ отдѣлается нѣсколькими общими фразами на этотъ счетъ. Нынѣ выработались два одинаково законные типа историческихъ сочиненій. Или событія прошлаго располагаются въ извѣстной, такъ сказать, нравственно-политической перспективѣ, съ чисто-педагогическими цѣлями, съ цѣлью именно дать современникамъ тотъ или другой практическій урокъ. Или въ событіяхъ прошлаго, въ ихъ послѣдовательной связи отыскивается то, что́ обыкновенно не совсѣмъ правильно называется законами исторіи, то есть неизмѣнная повторяемость явленій при опредѣленныхъ сходныхъ условіяхъ. Историкъ перваго типа дастъ нравственную оцѣнку того или другого дѣятеля исторіи, единичнаго или коллективнаго, дастъ художественную или научную оцѣнку литературнаго произведенія, ставшаго достояніемъ исторіи, дастъ политическую оцѣнку извѣстнаго правового или экономическаго учрежденія. Историкъ второго типа покажетъ, какъ данныя обстоятельства выдвинули и должны были выдвинуть именно такихъ, а не иныхъ дѣятелей, такую, а не иную литературу, такія, а не иныя учрежденія. Едва ли есть надобность распространяться о томъ, что оба эти типа историческихъ сочиненій могутъ выходить изъ-подъ пера одного и того же лица, даже непосредственно сливаться въ одно цѣлое, и что независимо отъ нихъ стоятъ еще философско-историческіе трактаты, стремящіеся обнять все прошлое одною формулою. Обращаясь къ евреямъ, мы увидимъ, что оба означенные типа историческихъ изслѣдованій до сихъ поръ прилагались къ нимъ далеко не въ такой мѣрѣ и не въ такомъ видѣ, какъ это дѣлается обыкновенно. При томъ стремленіи доказать присутствіе или отсутствіе «зерна» въ еврейской исторіи, которое такъ характеризуетъ большинство историковъ и превосходный, но зато едва ли не единственный результатъ котораго есть критика источниковъ, немудрено, что нравственная оцѣнка дѣятелей выходитъ одностороннею, а политическая оцѣнка учрежденій почти не существуетъ. Уроки, и очень важные, безъ сомнѣнія, извлекаются изъ еврейской исторіи, но главнымъ образомъ евреями для евреевъ и христіанами для христіанъ, а для историковъ-политиковъ, экономистовъ, моралистовъ это—почти непочатый еще уголъ. Какъ бы кто ни судилъ о значеніи субъективной точки зрѣнія въ исторіи, но несомнѣнно, что политическія убѣжденія историка сильно вліяютъ на изображеніе событія даже отдаленнѣйшаго прошлаго. Феодалъ не такъ напишетъ исторію Греціи, какъ Гротъ; соціалистъ иначе напишетъ исторію Англіи, чѣмъ Маколей; республиканецъ и Наполеонъ III не сойдутся въ воспроизведеніи римской исторіи; Костомаровъ и Погодинъ часто препирались не столько о фактѣ, сколько о политическомъ его значеніи. Исторія евреевъ находится какъ бы внѣ района вліянія политическихъ убѣжденій историковъ. Даже элементарнѣйшая изъ политическихъ доктринъ, доктрина національности, прилагается къ древней исторіи евреевъ лишь самими евреями и за этимъ малымъ исключеніемъ представляетъ поприще борьбы убѣжденій религіозныхъ. Въ глазахъ большинства еврейскіе герои-Маккавеи это—хранители религіознаго завѣта отцовъ; пламенный республиканецъ Іуда Галилейскій—тоже; юбилейный годъ—постановленіе религіозное; яростная борьба политическихъ и соціальныхъ партій, подъ звуки которой погибъ Іерусалимъ—борьба изъ-за вопросовъ религіозныхъ и проч., и проч., и проч. Но если такимъ образомъ историческій интересъ сосредоточивается на религіозной сторонѣ, то, конечно, съ этой точки зрѣнія исторія евреевъ вся цѣликомъ безпримѣрна, а потому и искать въ ней отраженія тѣхъ или другихъ соціологическихъ законовъ безполезно, ибо законъ предполагаетъ повторяемость явленій. Значитъ, тутъ нѣтъ мѣста общимъ типамъ историческихъ изслѣдованій. Вотъ почему, не смотря на множество сочиненій, касающихся исторіи евреевъ, между которыми есть своего рода chefs d'oeuvre'ы, евреи, какъ цѣльный, а не односторонній матеріалъ, становятся достояніемъ исторіи лишь съ тѣхъ поръ, какъ, утративъ свою государственную самостоятельность, инкорпорируются въ исторію Европы. Здѣсь, уже, какъ элементъ европейской исторіи, судьбы евреевъ разсматриваются съ экономической и политической точекъ зрѣнія и испытываютъ на себѣ всѣ измѣненія, происходящія въ физіономіи науки; хотя этому еще и препятствуетъ замкнутость внутренней жизни еврейскихъ общинъ—замкнутость, густо окрашенная религіознымъ началомъ, но имѣющая и другія причины.

Если поляки и евреи оскорбленіями православной святыни вызывали ужасы возстаній временъ Хмѣльницкаго и гайдамачины, то всякій историкъ, оцѣнивъ по достоинству роль кощунственнаго поруганія въ дѣлѣ народной вспышки, тѣмъ не менѣе, очень хорошо знаетъ, что это поруганіе и реакція противъ него были только одними изъ симптомовъ общественныхъ отношеній въ Юго-западной Руси; что гнетъ чуждыхъ національностей, равно какъ гнётъ чужихъ и своихъ пановъ, былъ всесторонній, благодаря чему возстанія и выражались въ столь ужасныхъ формахъ. Между тѣмъ, совершенно аналогичныя, и по кроваво-безпощадному характеру, и по всесторонности предыдущаго гнета, возстанія евреевъ временъ римскаго владычества большинствомъ историковъ пріурочиваются почти исключительно къ поруганіямъ еврейской святыни римлянами и самаритянами. Точно также аналогичны періодъ самозванства въ Великороссіи и періодъ лже-мессіанизма у евреевъ, аналогичны до многихъ чрезвычайно мелкихъ подробностей. А между тѣмъ, отношенія историковъ къ этимъ двумъ группамъ явленій, такъ близкимъ и родственнымъ, не смотря на отдѣляющіе ихъ вѣка, существенно различны. И именно въ томъ смыслѣ, что источникъ лже-мессіанизма предоставляется исключительно въ вѣдѣніе религіознаго начала, тогда какъ раскольничій крестъ на знамени Пугачева никому не внушаетъ такого односторонняго толкованія. Оставляя за собой право когда нибудь впослѣдствіи ближе разсмотрѣть эти любопытнѣйшія историческія параллели, мы укажемъ теперь читателю на сочиненіе, въ которомъ, сколько намъ извѣстно, впервые сознательно и послѣдовательно ищется политическая подкладка исторіи евреевъ. Мы не хотѣли бы однако дать понять читателю, что политическая исторія евреевъ до сихъ поръ совершенно не разрабатывалась. Мы говоримъ только, что этой сторонѣ дѣла удѣлялось сравнительно мало вниманія и что она уяснялась болѣе попутно, при преслѣдованіи историками совершенно другихъ цѣлей.

Сочиненіе, о которомъ мы говоримъ, называется «Les pharisiens». Авторъ, Коганъ (Cohen), пишетъ исторію собственно фарисеевъ, но онъ такъ широко понимаетъ свой предметъ, что вынужденъ писать настоящую и полную исторію еврейскаго народа. Книгѣ этой предшествовали разные лестные для нея слухи. Разсказывали, что авторъ на основаніи новыхъ документовъ совершенно заново освѣщаетъ свой предметъ, что книга блещетъ оригинальною и неожиданною постановкою историческихъ вопросовъ. Слухи эти справедливы развѣ на половину, но книга все-таки представляетъ значительный интересъ. Что касается источниковъ, то самъ авторъ на этотъ счетъ гораздо скромнѣе предшествовавшихъ его книгѣ слуховъ. Онъ говоритъ въ предисловіи, что широко пользовался готовыми уже результатами критическихъ и экзегетическихъ работъ. «Однако, прибавляетъ онъ:—да позволено мнѣ будетъ замѣтить, что и мнѣ удалось открыть и разработать нѣсколько драгоцѣнныхъ рудниковъ, незамѣченныхъ или пренебреженныхъ моими предшественниками». Тѣмъ не менѣе, «драгоцѣнные рудники» отысканы, главнымъ образомъ въ библіи, въ Іосифѣ Флавіи и въ талмудической литературѣ, то-есть тамъ, откуда черпаютъ и другіе историки еврейскаго народа. Оригинальность Когана состоитъ совсѣмъ не въ новизнѣ фактовъ, а въ попыткѣ извѣстнаго освѣщенія ихъ. Книга пересыпана разными случайными, мелкими сравненіями отдѣльныхъ эпизодовъ еврейской исторіи съ варооломеевской ночью, съ первой французской революціей, съ лютеровой реформаціей и т. п. Но они ровно ничего не объясняютъ, никого ни къ чему не обязываютъ, и суть дѣла не въ нихъ, а въ томъ, что фарисеи, по мнѣнію автора, представляли собою въ еврейскомъ обществѣ буржуазію (мысль, вскользь брошенная Ренаномъ), просвѣщенную, свободолюбивую, патріотическую хранительницу равновѣсія «свободы и порядка». Авторъ задался цѣлью реабилитировать фарисеевъ, показать, что ходячее объ нихъ мнѣніе, обратившее самое слово «фарисей» въ бранную кличку, совсѣмъ невѣрно, что «фарисаизмъ былъ самою значительною, самою либеральною, нравственною, соціальною и религіозною революціей, какую только можно себѣ представить; что онъ осуществилъ реформу изумительной широты и важности; что онъ есть истинный предшественникъ всѣхъ, кто впослѣдствіи строилъ зданіе вѣрованій на чистомъ разумѣ; что въ очень многихъ отношеніяхъ онъ и до сихъ поръ стоитъ далеко впереди результатовъ, до которыхъ дошли современныя общества».

Сочиненіе Когана еще не кончено, и мы имѣемъ только первый томъ, настолько однако подвигающій дѣло впередъ, что можно, не боясь ошибиться, сказать, что авторъ увлекся, что положеній своихъ онъ не доказалъ и не докажетъ. Несомнѣнно однако, что фарисаизмъ означаетъ собою глубокій поворотъ въ исторіи евреевъ. Но для правильной его оцѣнки необходимо сдѣлать нѣкоторыя существенныя оговорки, безъ которыхъ трудъ Когана можетъ ввести читателя въ большія заблужденія.

Коганъ часто говоритъ о фарисеяхъ, какъ о представителяхъ науки и свободной мысли, свободнаго изслѣдованія. Онъ упорно тол-

куетъ объ этомъ, хотя самъ же приводитъ факты, рѣзко его опровергающіе. Правда, онъ кое-что нелестное для фарисеевъ скрываетъ. Напримѣръ, говоря о временахъ Гиркана, онъ замѣчаетъ, что фарисеи были довольны результатами его правленія, вообще, его войнъ въ особенности. Онъ прямо говоритъ, что войны эти удовлетворяли «идеямъ фарисеевъ», но при этомъ очень коротко отмѣчаетъ, что, дескать, войны окончились обращеніемъ идумеевъ въ іудейство и пораженіемъ схизматиковъ-самаритянъ. Онъ не говоритъ однако, что обращеніе идумеевъ составляетъ такое пятно въ древней еврейской исторіи, на которое каждый мыслящій еврей смотритъ съ отвращеніемъ: идумеи были обращены насильственно, имъ была предложена дилемма: эмиграція или обрѣзаніе. Такъ какъ обстоятельство это могло бы набросить неблаговидную тѣнь на «идеи фарисеевъ», то Коганъ объ немъ совершенно умалчиваетъ. Въ другомъ мѣстѣ онъ съ торжествомъ приводитъ слова Христа: «на Моисеевомъ сѣдалищѣ сѣли книжники и фарисеи; и такъ все, что́ они велятъ вамъ соблюдать, соблюдайте и дѣлайте». Онъ забываетъ однако привести конецъ фразы: «по дѣламъ же ихъ не поступайте». Впрочемъ, такихъ прямыхъ извращеній или, вѣрнѣе, извращающихъ умолчаній у Когана сравнительно мало. Онъ охотно и даже съ нѣкоторымъ легкомыслеміемъ приводитъ такіе факты, которые подрываютъ самое основаніе его взглядовъ на фарисаизмъ. Такъ и относительно будто бы присущаго фарисеямъ духа свободнаго изслѣдованія. Въ числѣ вопросовъ, подававшихъ поводъ къ безконечнымъ спорамъ между фарисеями и саддукеями, одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ занималъ вопросъ о праздновании субботняго дня. Фарисеи, равно какъ и ихъ предшественники хасидеи, настаивали на томъ, что субботній день, во всякомъ случаѣ, неприкосновенъ, что даже въ случаѣ нападенія непріятеля, надо претерпѣть въ этотъ великій день всѣ мученія и смерть, но не браться за оружіе. Многочисленные враги евреевъ умѣли пользоваться этимъ предразсудкомъ и били ихъ по субботамъ, какъ барановъ. Коганъ все это разсказываетъ. И тѣмъ не менѣе фарисеи, поддерживавшіе этотъ предразсудокъ, черезъ нѣсколько страницъ, оказываются новаторами въ религіи и общественномъ быту, носителями свободнаго изслѣдованія. Наиболѣе общее подтвержденіе этой странной мысли Коганъ строитъ на томъ обстоятельствѣ, что фарисеи охотно прибѣгали къ преданію для разныхъ поправокъ въ законѣ писанномъ, котораго, напротивъ, строго держались саддукеи. Авторъ изображаетъ даже иногда фарисеевъ необыкновенно коварными людьми, которые, подобно древнимъ авгурамъ, должны были смѣяться, глядя другъ на друга, потому что преданіе пускалось ими въ ходъ съ разными побочными и главнымъ образомъ политическими цѣлями. До извѣстной степени это совершенно вѣрно. Многія догматическія тонкости фарисеевъ имѣли дѣйствительно цѣлью унизить въ глазахъ народа духовенство, аристократію, саддукеевъ, царей, вродѣ Ирода. Но достигалась или нѣтъ эта непосредственная практическая цѣль, средство было отъ свободнаго изслѣдованія далеко, какъ небо отъ земли. Всѣ мысли фарисеевъ совершенно такъ же, какъ и мысли ихъ противниковъ, внушались народу въ видѣ непререкаемыхъ истинъ, догматовъ. Фарисеи утверждали, напримѣръ, что свитки закона нечисты и что служителямъ алтаря запрещено прикасаться къ остаткамъ мертвыхъ животныхъ, а свитки дѣлались изъ кожи. Коганъ желаетъ дать понять, что, внушая народу эту мысль, фарисеи внушали вмѣстѣ съ тѣмъ идею, что духовенство осквернено. Допустимъ, что это предположеніе вѣрно. Но во всякомъ случаѣ при чемъ же тутъ наука и свободное изслѣдованіе? Очевидно, Коганъ слишкомъ увлекся своимъ желаніемъ провести параллель между фарисеями и европейской буржуазіей. Вольтеровъ и Дидро у евреевъ не было и не могло быть по той простой причинѣ, что вся «наука» и все «изслѣдованіе» ограничивались предѣлами «закона».

Да и вообще новая европейская буржуазія—явленіе слишкомъ сложное для того, чтобы можно было найти ему точную и полную параллель въ относительно простыхъ условіяхъ древней еврейской исторіи. Другое дѣло—чисто народныя движенія. Здѣсь можно подыскать истинно драгоцѣнныя черты сходства, но буржуазіи, въ европейскомъ смыслѣ слова, даже и помимо умственнаго элемента, у евреевъ не могло быть по сравнительно малой развитости промышленной жизни. Въ этомъ отношеніи нужно довольствоваться только самыми общими чертами аналогіи, и тогда можно получить результаты не безъинтересные.

Стараясь выяснить политическую подкладку борьбы еврейскихъ партій, Коганъ довольствуется, къ сожалѣнію, политикой въ тѣсномъ смыслѣ слова и не пытается приподнять завѣсу съ экономическихъ условій древней еврейской жизни. Это объясняется его политическимъ образомъ мыслей, такъ какъ онъ не безъ основанія можетъ считать себя представителемъ знаменитыхъ принциповъ 89 года и врагомъ принциповъ 48 и 71 годовъ. Правда, матеріаловъ для экономической исторіи евреевъ сравнительно не-

много, но они есть, притомъ у всѣхъ подъ руками и, въ связи съ другими обстоятельствами, могутъ уяснить многое. Мы, разумѣется, не можемъ взяться здѣсь за эту работу, но общую картину можно возстановить двумя-тремя штрихами.

Въ книгѣ пророка Исаіи, между прочимъ, читаемъ: «Горе вамъ, прибавляющіе домъ къ дому, присоединяющіе поле къ полю, такъ что другимъ не остается мѣста, какъ будто вы одни поселены на землѣ». (V, 8). Въ книгѣ пророка Іереміи: «Князья озлобились на Іеремію и били его, и заключили его въ темницу... Тогда князья сказали царю: да будетъ этотъ человѣкъ преданъ смерти... И сказалъ царь Седекія: вотъ, онъ въ вашихъ рукахъ, потому что царь ничего не можетъ дѣлать вопреки вамъ» (XXXVII, 15, XXXVIII, 4, 5). Необычайная мощь выраженія пророческихъ книгъ избавляютъ насъ отъ надобности приводить дальнѣйшія выписки. Этихъ двухъ цитатъ довольно, чтобы получить очень ясное понятіе о строѣ еврейской жизни передъ вавилонскимъ плѣномъ. Мы видимъ людей, присоединяющихъ поле къ полю и домъ къ дому, такъ что другимъ становится тѣсно — крупную поземельную аристократію. Видимъ далѣе, что она до такой степени сильна, что самъ царь съ горечью говоритъ объ этомъ. Видимъ, наконецъ, пророковъ, выступающихъ, во имя Бога и народа, грозными судьями всякаго нечестія и часто погибающихъ подъ ударами сильныхъ, обличаемыхъ ими. Тутъ на лицо всѣ дѣятельные элементы исторіи, но фарисеевъ еще нѣтъ.

Но вотъ грозныя предсказанія пророковъ сбылись. Навуходоносоръ покончилъ Іудею, царь Седекія ослѣпленъ, люди богатые, знатные и въ другихъ отношеніяхъ выдающіеся, пламенные патріоты, искусные ремесленники, сильные юноши выселены. На родинѣ остались только слабые, ничтожные люди, весьма быстро подпавшіе вліянію разноплеменныхъ сосѣдей и дошедшіе до самаго жалкаго состоянія. Что касается выселенныхъ евреевъ, то среди нихъ, во-первыхъ, не затихла дѣятельность пророковъ, но теперь они преимущественно громили своихъ поработителей и предсказывали ихъ близкую гибель. Далѣе, вдали отъ родины и храма, среди чужихъ людей естественно должны были получить высокое значеніе законоучители и притомъ не только изъ духовенства, а и «соферимъ», писцы, обязанность которыхъ первоначально состояла въ переписываніи книгъ закона и тщательномъ охраненіи текста. Весьма важно замѣтить (объ чемъ Когенъ не говоритъ ни слова), что эти учителя закона, равно какъ и значительная часть народа, усвоили себѣ многія среднеазіатскія ученія главнымъ образомъ изъ религіи Зороастра. Нельзя сказать, чтобы евреямъ жилось особенно дурно въ плѣну. Многіе изъ нихъ тамъ хорошо обжились и устроились, приспособились; знатные люди были приближены ко двору, средніе люди обзавелись хозяйствами; повидимому, между ними особенно процвѣтала торговля. Тѣмъ не менѣе, евреи съ восторгомъ встрѣтили разгромъ Вавилона Киромъ, и не даромъ: персидскій завоеватель въ первый же годъ своего царствованія разрѣшилъ евреямъ вернуться на родину и возстановить храмъ Іеговы. Причины этой милости Кира остаются и до сихъ поръ не вполнѣ разъясненными. Какъ бы то ни было, но съ того времени начинается обратная колонизація Іудеи. Не слѣдя за всѣми ея подробностями, отмѣтимъ только слѣдующія обстоятельства. На призывъ Зоровавеля откликнулись только колѣна Іуды и Веніамина, выставившіе около 50,000 переселенцевъ. Остатки Израильскаго Царства, уведенные еще за два вѣка Салманасаромъ и поселенные въ Месопотаміи, чувствовали себя хорошо въ новомъ отечествѣ, да и изъ навуходоносоровыхъ плѣнниковъ двинулись только люди бѣдные да религіозные и патріотическіе энтузіасты. Знатные и богатые только помогли имъ деньгами и разнаго рода имуществомъ. Лѣтъ черезъ восемьдесятъ двинулась вторая партія переселенцевъ подъ предводительствомъ Ездры и Нееміи. Вотъ что они застали въ своей святой землѣ: «И сдѣлался большой ропотъ въ народѣ и у женъ его на братьевъ, іудеевъ. Были такіе, которые говорили: насъ, сыновей нашихъ и дочерей нашихъ много; и мы желали бы доставать хлѣбъ и кормиться, и жить. Были и такіе, которые говорили: поля свои и виноградники свои, и домы свои мы закладываемъ, чтобы достать хлѣба отъ голода. Были и такіе, которые говорили: мы занимаемъ сребро на подать царю подъ залогъ полей нашихъ и виноградниковъ нашихъ. У насъ такія же тѣла, какія тѣла у братьевъ нашихъ, и сыновья наши такіе же, какъ ихъ сыновья, а вотъ, мы должны отдавать сыновей нашихъ и дочерей нашихъ въ рабы, и нѣкоторыя изъ дочерей нашихъ уже находятся въ порабощеніи. Нѣтъ никакихъ средствъ для выкупа въ рукахъ нашихъ; и поля наши и виноградники наши у другихъ» (Книга Нееміи, V, 1—5). Такъ жаловались первые переселенцы. Ездра и Неемія застали и другія неурядицы, вслѣдствіе чего предприняли рядъ замѣчательныхъ реформъ. Во-первыхъ—реформа экономическая. Трудно сказать, какимъ путемъ было достигнуто соглашеніе, но остается несомнѣннымъ фактомъ, что всѣ закладныя сдѣлки и долговыя обязательства внутри іудейской общины

были разрушены. Заложенныя земли, дома, виноградники были возвращены собственникамъ, которые получили обратно и «ростъ съ серебра и хлѣба, и вина, и масла», изъ котораго были даны ссуды. Это не была только единовременная реформа, потому что въ книгѣ Нееміи говорится о прекращеніи всѣхъ долговыхъ обязательствъ въ каждый седьмой годъ, а это напоминаетъ знаменитый законъ о юбилейномъ годѣ, занесенный въ книгу Левитъ и отчасти повторенный во Второзаконіи. Извѣстно, что по этому закону всѣ долги прощались черезъ каждыя семь лѣтъ, а черезъ каждыя 49 лѣтъ наступалъ юбилейный годъ, когда всѣ проданныя земли возвращались первоначальнымъ владѣльцамъ. Точныхъ указаній о времени этого постановленія и о приведеніи его въ исполненіе нѣтъ, вслѣдствіе чего многіе сомнѣваются и въ жизненности экономической реформы Ездры и Нееміи. Никто не сомнѣвается въ единовременной перетасовкѣ экономическихъ отношеній, но думаютъ, что возвращеніе къ ней черезъ каждыя семь лѣтъ было практически невозможно и въ дѣйствительности не имѣло мѣста. Грецъ устраняетъ эти сомнѣнія очень простымъ соображеніемъ: Гиллель, жившій въ послѣднемъ вѣкѣ передъ Р. Х., сдѣлалъ значительныя измѣненія въ законѣ о седьмомъ годѣ, вызванныя нѣкоторыми практическими соображеніями; значитъ, до тѣхъ поръ законъ дѣйствовалъ въ полной силѣ. Достойно также вниманія, что, по свидѣтельству Іосифа Флавія, евреи выхлопотали себѣ у Александра Македонскаго льготу отъ поземельныхъ податей на субботній, седьмой годъ—льготу вполнѣ естественную и даже безусловно необходимую, если признать, что въ седьмой годъ происходила перетасовка поземельныхъ отношеній. Инымъ же образомъ объяснить ее трудно.

Изъ другихъ подробностей реформы Ездры-Нееміи отмѣтимъ слѣдующія. Реформаторы застали къ своему ужасу сближеніе «народа божія» съ сосѣдними язычниками и множество смѣшанныхъ браковъ, то есть браковъ іудеевъ съ иноплеменницами, отъ которыхъ были уже и дѣти прижиты. Эти семейныя узы были немедленно расторгнуты, жены и дѣти отпущены. Далѣе были приняты разнообразныя мѣры для ознакомленія народа съ закономъ моисеевымъ и для введенія его въ жизнь: публичное чтеніе закона, толкованіе его и переводъ на понятный народу языкъ (арамейскій), публичные суды, школы. Всѣ эти мѣры естественно увеличивали значеніе законоучителей, свѣдущихъ въ законѣ соферовъ. Изъ нихъ то и выработалась партія фарисеевъ. Имя это является однако много позже.

Еврейская исторія замѣчательна тѣмъ, что въ ней, рядомъ съ установленными закономъ властями, всегда дѣйствовали власти, не имѣвшія прямой юридической санкціи, но тѣмъ не менѣе чрезвычайно сильныя, даже болѣе сильныя, чѣмъ власти законныя. Такимъ элементомъ до плѣна были пророки, а послѣ плѣна законоучители и затѣмъ спорадически лже-мессіи. Ездра и Неемія, сами «книжники», положили начало преобладанію книжниковъ. Коганъ приводитъ, между прочимъ слѣдующія характерныя изреченія талмуда: «Съ Аггеемъ, Захаріемъ и Малахіей святой духъ удалился изъ міра»; «законъ уже болѣе не на небесахъ: человѣку дано право оцѣнки закона разумомъ, и толкованіе его предоставляется мудрымъ»; «ученый (то-есть учитель, книжникъ) выше пророка». Дѣйствительно, люди боговдохновенные и выдающіе себя за таковыхъ, пророки и лжепророки, въ первое время послѣ реформы какъ бы оставляютъ историческую сцену, и на мѣсто ихъ становятся простые толкователи закона. Надо однако замѣтить, что работа Ездры и Нееміи нисколько не противорѣчила надеждамъ и предсказаніямъ пророковъ: единый Богъ былъ признанъ, своеобразная экономическая реформа обуздала присоединяющихъ поле къ полю и домъ къ дому, извѣстная, весьма высокая степень національной самостоятельности достигнута, связи съ язычниками порваны рѣзко и круто. Пламенные патріоты, для которыхъ ложные боги были нетолько ложные боги, но и символы иноземнаго господства, должны были быть довольны. Можно даже думать, что, кромѣ массы народа, только они и были довольны, потому что Ездра и Неемія встрѣтили множество препятствій и не разъ должны были начинать зданіе вновь. Не было розни и между книжниками и низшими слоями іудеевъ, народомъ въ тѣсномъ смыслѣ слова. Люди знатные и богатые, напротивъ, смотрѣли на реформу косо. Когда прочность дѣла Ездры и Нееміи стала очевидна, когда новая организація окрѣпла, многіе изъ представителей высшихъ классовъ, не хотѣвшихъ сначала покидать Вавилонъ, переселились въ святую землю. Борьба стала неизбѣжна.

По всей вѣроятности, уже въ плѣну сложились или, вѣрнѣе, зародились партіи цадокитовъ или саддукеевъ и хасидеевъ, хотя вполнѣ развертываются онѣ позже. Тяжесть неволи вызвала то, что она всегда вызываетъ—подвижничество, аскетизмъ, мысль и практику отреченія отъ той доли жизненныхъ благъ, которая оставляется неволей. Такими подвижниками были хасидеи. Они были естественно близки книжникамъ и, по всей вѣроятности, даже сливались съ ними. Саддукеи, напротивъ, принадлежа къ высшему духовенству и свѣтской аристократіи, сжи-

лись съ блестящими сторонами вавилонской и персидской жизни, любили власть, роскошь и никакихъ догматическихъ тонкостей не хотѣли знать. Въ концѣ войнъ Маккавеевъ хасидеи исчезаютъ, а на мѣсто ихъ являются ессеи и фарисеи. Коганъ справедливо полагаетъ, что эти двѣ партіи или секты произошли изъ хасидизма. Именно: ессеи остались при своихъ аскетическихъ стремленіяхъ, а фарисеи *отдѣлились* для практическаго вмѣшательства въ политическую жизнь, откуда и названіе «перушимъ», отдѣлившіеся. Обыкновенно, это «отдѣленіе», отщепенство толкуется совсѣмъ иначе. Предполагается, именно, что фарисеи получили свое имя отъ саддукеевъ, которые видѣли въ нихъ отщепенцевъ отъ древняго закона. Другіе думаютъ, что фарисеи назывались такъ въ смыслѣ аскетовъ, отдѣлившихся, удалившихся отъ тревогъ практической жизни. Въ виду единовременнаго существованія фарисеевъ и ессеевъ, а также дѣятельной исторической роли фарисеевъ, толкованіе Когана, кажется, всего вѣрнѣе.

Что касается самаго процесса выдѣленія фарисеевъ, то Коганъ рисуетъ его такъ: «Хасидеи, замкнувшіеся въ суровыя требованія назиреата (подвижничества), жили болѣе созерцательною, чѣмъ практическою жизнью. Не такъ было съ ихъ учениками. Молодые люди, слѣдовавшіе ихъ ученіямъ, не осуждали себя однако на аскетизмъ. Внося въ общество строгость нравственныхъ и религіозныхъ принциповъ, полученныхъ отъ учителей, они вносили также гораздо болѣе положительныя стремленія, желанія и надежды. Большая часть ихъ, по рожденію, принадлежала къ низшимъ классамъ: но они возвышались надъ массой своимъ образованіемъ, своими трудами, образомъ жизни, словомъ — тѣмъ интеллектуальнымъ превосходствомъ, которое вездѣ создавало буржуазію и отличало ее отъ пролетаріата. Притомъ, введеніе въ Іудею греческихъ и азіатскихъ нравовъ развило, вмѣстѣ съ вкусомъ къ роскоши, матеріальное благосостояніе, которое всегда составляетъ признакъ эпохъ испорченности. Благосостояніе средняго класса, составленнаго изъ людей, достигшихъ своего положенія трудомъ, наукой и промышленностью, значительно возросло. Вмѣстѣ съ матеріальнымъ улучшеніемъ положенія, въ этой части населенія явилось законное желаніе играть полезную роль въ современныхъ событіяхъ и воздвигнуть, рядомъ съ привилегіями родовой аристократіи, права аристократіи таланта».

Эта тирада, характерная для точки зрѣнія Когана, есть простой сколокъ съ обычныхъ изображеній возникновенія и развитія среднихъ классовъ. Надо однако думать, что фактически, то-есть за исключеніемъ идеализаціи фарисейства, Коганъ разсказываетъ дѣло вѣрно. «Надо думать», потому что фактическія данныя относительно этого предмета крайне скудны. Несомнѣнно, что многіе знаменитѣйшіе раввины (а раввины почти всѣ были фарисеями) происходили изъ низшихъ классовъ и, по крайней мѣрѣ, въ первую пору своего учительства даже зарабатывали свой хлѣбъ насущный физическимъ трудомъ. Но это относится, во всякомъ случаѣ, не ко всѣмъ фарисеямъ, и столь же несомнѣнно, что многіе изъ нихъ были людьми обезпеченными, каковое обезпеченіе достигалось торговлей, а иногда, какъ можно думать, не совсѣмъ чистыми путями. Несомнѣнно, что масса народа долгое время вполнѣ сочувствовала фарисеямъ, но болѣе чѣмъ сомнительно, чтобы народъ былъ во всѣхъ отношеніяхъ фарисейски настроенъ. Несомнѣнно, наконецъ, что въ самую тревожную и великую минуту еврейской исторіи добрыя отношенія между народомъ и фарисеями распались. Мы видимъ, такимъ образомъ, въ еврейской исторіи, въ общихъ чертахъ, конечно, повтореніе или, вѣрнѣе, предвосхищеніе процесса новой европейской исторіи. Какъ тамъ, такъ и здѣсь средніе классы и народъ идутъ нѣкоторое время вмѣстѣ, за одно до извѣстной степени мыслятъ, чувствуютъ, живутъ и умираютъ, но затѣмъ становятся другъ противъ друга. Надо однако замѣтить, что разсѣяніе евреевъ по лицу земли и другія крупныя особенности ихъ исторіи не дали означенному процессу возможности дойти до его логически неизбѣжнаго конца. Въ концѣ концовъ, евреи, утративъ свою государственную самостоятельность, сохранивъ свою національную физіономію, можно сказать, почти не существуютъ, какъ народъ, то-есть, какъ масса людей, непосредственнымъ трудомъ добывающихъ хлѣбъ. Евреи почти вездѣ или входятъ въ составъ буржуазіи, или, находясь въ положеніи самыхъ несчастныхъ пролетаріевъ, тѣмъ не менѣе представляютъ собою кандидатовъ буржуазіи. Если прибавить къ этому, что нынѣшніе евреи исповѣдуютъ въ сущности фарисизмъ, то станетъ понятна громадная соціальная роль этого элемента еврейской исторіи.

Персидское владычество смѣнилось македонскимъ, а затѣмъ живой трупъ святой земли поочередно топтался то египтянами, то сирійцами. Этотъ порядокъ или безпорядокъ вещей не могъ, разумѣется, нравиться ни массѣ народа, на спинахъ котораго разыгрывались кровавыя драмы, ни патріотамъ, сторонникамъ реформы юдаизма. Высшіе классы и въ особенности высшее духовенство, напротивъ, довольно легко мирились съ иноземнымъ владычествомъ и даже

извлекали изъ него выгоды въ ущербъ идеямъ Ездры и Неемін. Такъ, при Александрѣ Македонскомъ родной братъ первосвященника, женившись на иностранкѣ, удалился въ ненавистную іудеямъ Самарію, гдѣ имъ былъ основанъ храмъ—соперникъ Сіона, и куда онъ привелъ многихъ левитовъ и свѣтскихъ людей. Такъ, Онія основалъ другой подобный же храмъ въ Леонтополисѣ въ Египтѣ. Такъ первосвященники Язонъ и Менелай сдѣлались надежнѣйшими сообщниками знаменитаго юдофоба Антіоха Епифана. Усилія Антіоха, стремившагося эллинизировать Іудею, благодаря усердію первосвященниковъ и другихъ знатныхъ людей, имѣли значительный успѣхъ. Но какъ сильна была въ то же время въ извѣстной части населенія реакція, видно изъ одного приводимаго Коганомъ изреченія, по которому даже день перевода пятикнижія на греческій языкъ приравнивается временамъ поклоненія золотому тельцу. Дѣло разрѣшилось возстаніемъ Маккавеевъ и освобожденіемъ Іудеи. Въ это время являются фарисеи подъ настоящимъ именемъ, и начинается ихъ борьба съ саддукеями, причемъ вліяніе и оффиціальная власть переходятъ, то въ тѣ, то въ другія руки. Коганъ удѣляетъ очень много вниманія этой борьбѣ, стараясь показать, что фарисеи были свободолюбивые демократы и новаторы, а саддукеи—аристократы и реакціонеры. Мы уже отмѣтили выше одно ограниченіе, съ которымъ должно быть принято это заключеніе. Фарисеи были дѣйствительно новаторами, но совсѣмъ не въ томъ смыслѣ, какъ утверждаетъ Коганъ. Они были далеки отъ религіознаго свободомыслія, и въ этомъ отношеніи саддукеи стояли даже впереди ихъ, потому что постоянно осмѣивали скрупулёзныя догматическія убѣжденія своихъ противниковъ. Но является любопытный вопросъ. Народъ несомнѣнно сочувствовалъ фарисеямъ. Что же въ ихъ ученіи было такого соблазнительнаго для народа? Трудно предположить, чтобы народъ, не будучи «книжникомъ» и будучи занятъ текущими практическими дѣлами, могъ влагать душу свою въ споры о чистотѣ свитковъ закона, о томъ, какъ примѣнять законъ «око за око и зубъ за зубъ» къ одноглазому человѣку, кривому и т. п. Правда, мы знаемъ изъ исторіи русскаго раскола, что народъ можетъ глубоко интересоваться, какъ чисто обрядовыми вопросами, такъ и догматическими тонкостями. Но мы знаемъ также, что у этого интереса есть историческая подкладка въ самомъ ходѣ общественной жизни. Такая подкладка должна была быть и у фарисаизма. И она дѣйствительно была. Во-первыхъ, уже самая борьба съ саддукеями, какими-бы способами она ни велась, должна была располагать къ фарисеямъ сердце народа въ силу общественнаго положенія саддукеевъ. Но былъ и другой, гораздо болѣе опредѣленный и сильный мотивъ сочувствія. Его Коганъ, занятый исключительно самими фарисеями, вовсе не касается. Дѣло въ томъ, что, присматриваясь къ содержанію борьбы фарисеевъ и саддукеевъ, не трудно видѣть, что на обѣихъ партіяхъ сильно отпечатались вавилонско-персидскій плѣнъ и позднѣйшія сирійско-греческія вліянія. Саддукеи вынесли изъ этихъ чуждыхъ цивилизацій пристрастіе къ ихъ блестящимъ формамъ, свѣтскій лоскъ, практическую мудрость, извѣстное равнодушіе къ религіознымъ вопросамъ. Въ этомъ отношеніи они разорвали связь со всѣмъ прошлымъ еврейства, но за то, можетъ быть, именно вслѣдствіе своего равнодушія къ религіи, они не восприняли ничего изъ чужихъ религіозныхъ системъ, они держались буквы моисеева закона. Фарисеи, напротивъ, при всей своей ненависти ко всему иноземному, ввели въ юдаизмъ основныя положенія иранскихъ вѣрованій, совершенно чуждыя евреямъ до вавилонскаго плѣна. Мало того. Если евреи издревле склонны были измѣнять своему истинному Богу для преимущественно сирійскихъ божествъ, то это происходило лишь спорадически, и грозные голоса пророковъ громили отщепенцевъ. Фарисейской-же религіозной реформой всѣ, кромѣ саддукеевъ, остались довольны, и она навсегда осѣла въ юдаизмѣ. Правда, на этотъ разъ дѣло шло не объ измѣнѣ Іеговѣ. Общепризнанный фактъ фарисейскихъ заимствованій изъ иранскихъ вѣрованій Коганъ совершенно игнорируетъ, между тѣмъ какъ въ немъ именно лежитъ ключъ къ политическому положенію фарисеевъ и даже ко всей послѣдующей еврейской исторіи. Заимствованіе состояло въ иранскомъ дуализмѣ со всѣми его послѣдствіями. Есть въ этомъ ученіи какая-то всепокоряющая сила, дѣлающая его дорогимъ для всѣхъ угнетенныхъ народовъ на извѣстной ступени развитія. Сила впрочемъ очень понятная и естественная. Иранскій дуализмъ выросъ на почвѣ враждебныхъ международныхъ отношеній. Въ постоянной борьбѣ съ туранскими народами выработалось это удивительно законченное представленіе міра, какъ поприща неустанной борьбы добраго и злого начала, причемъ, въ концѣ концовъ, должно побѣдить добро, то есть, во-первыхъ, Иранъ, а, во-вторыхъ—все доброе внутри самого Ирана. Евреи въ плѣну, прислушиваясь къ этимъ ученіямъ, которыя были близки уже по своей противоположности съ остальнымъ, языческимъ міромъ, припоминая свое историческое прошлое, почти сплошь ушедшее на

борьбу съ эдомитянами, моавитянами, филистимлянами и проч., испытывая, наконецъ, всю тяжесть иноземнаго владычества и получая готовыя, выработанныя формулы дуализма естественно должны были склоняться къ нимъ. И склонились. Склонились фарисеи, склонилась вся масса народа. Саддукеи отрицали воскресеніе мертвыхъ, отрицали пришествіе Мессіи, отрицали будущее торжество добра на землѣ, предстоящее освобожденіе народа Израиля отъ всякаго зла, утверждая, что въ древнемъ законѣ нѣтъ никакихъ такихъ обѣщаній и слѣдовательно, отнимая у народа вѣру и надежду на будущее. Естественно, что враги саддукеевъ, по всѣмъ этимъ пунктамъ, должны были пользоваться сочувствіемъ народа. Въ связи съ этимъ, многія, самыя дикія на нашъ взглядъ, обрядовыя пререканія фарисеевъ и саддукеевъ получали особенный и очень важный смыслъ. Избранный народъ естественно долженъ былъ заботиться о своей «чистотѣ», по сравненію съ «нечистыми» народами. Отсюда масса фарисейскихъ предписаній: какъ содержать себя чисто, къ чему прикасаться и къ чему не прикасаться и т. п. Педантизмъ фарисеевъ въ этомъ отношеніи не зналъ предѣловъ, и хотя народъ никоимъ образомъ не могъ слѣдовать всѣмъ этимъ предписаніямъ, но общая идея «чистоты», въ виду перипетій борьбы добра и зла, была ему, конечно, дорога. Понятно уваженіе, съ которымъ былъ встрѣчаемъ «ученый» фарисей, доказывающій скверну и нечистоту внутреннихъ притѣснителей, саддукеевъ, якшающихся съ внѣшними притѣснителями — сирійцами, греками, римлянами. Ихъ скверна и нечисть и безъ того была неизгладимыми чертами записана въ сердцахъ народа, а тутъ являются свѣдующіе люди, доказывающіе, иногда, можетъ быть, не совсѣмъ понятно и слишкомъ утонченно, но во всякомъ случаѣ, отъ имени закона и «науки», что скверна и нечисть дѣйствительно на лицо. Притомъ же, между фарисеями несомнѣнно были люди глубокоубѣжденные, не только, какъ истинные патріоты и демократы, но и частною своею жизнью доказывавшіе, что они не на словахъ только заботятся о чистотѣ. А извѣстно, какое значеніе простой народъ всѣхъ временъ и странъ придаетъ чистотѣ личной жизни, хотя бы и не находилъ для себя возможнымъ слѣдовать высокому примѣру. Хотя такими недосягаемыми образцами для евреевъ были преимущественно ессеи, которымъ приписывались и пророческій даръ, и сила заклинанія духовъ зла, какъ результаты ихъ святой жизни, но ессеи держались вдалекѣ отъ текущихъ дѣлъ. Фарисеи же были на лицо, какъ защитники правъ народа и провозвѣстники его будущаго торжества. Это дѣлало ихъ вліяніе до такой степени сильнымъ, что царь-первосвященникъ Александръ Янней, всю жизнь боровшійся съ ними, варварски избивавшій ихъ цѣлыми тысячами, при смерти завѣщалъ своей женѣ Саломеѣ приблизить къ себѣ фарисеевъ, потому что сила въ нихъ. И фарисеи не упустили случая жестоко отомстить своимъ врагамъ: при Саломеѣ саддукеи гибли такъ же, какъ фарисеи при Александрѣ.

Отмѣтимъ кстати любопытную податную реформу, проведенную фарисеями въ правленіе той же Саломеи: личныя и добровольныя жертвоприношенія въ храмъ (за которыя всегда стояли саддукеи) были замѣнены національнымъ жертвоприношеніемъ, совершаемымъ, на казенный счетъ, въ какихъ видахъ былъ введенъ особый налогъ; часть этого налога шла однако кромѣ того на содержаніе законоучителей, экспертовъ по опредѣленію чистоты и нечистоты приносимыхъ жертвъ и т. п.

Вообще политическимъ идеаломъ большинства фарисеевъ была совершенно независимая теократическая республика, во главѣ которой должны были стоять «книжники», въ родѣ какъ бы намѣстниковъ единаго, невидимаго царя Бога. Долженствовавшая наступить въ будущемъ мессіаническая монархія не противорѣчила этому идеалу, но она представлялась очень смутно и толковалась разнорѣчиво. Сама собой понятна близость этого идеала массѣ народа со стороны національной независимости: гнетъ чужеземцевъ давилъ народъ и матеріально, и нравственно. Но положительная сторона идеала, преобладаніе книжниковъ, фарисеевъ требуетъ особеннаго разсмотрѣнія. Въ какой мѣрѣ и въ какомъ смыслѣ народъ сочувствовалъ этой сторонѣ политической программы фарисеевъ? Смотрѣлъ ли онъ на нихъ только, какъ на орудіе ниспроверженія внутреннихъ и внѣшнихъ враговъ, или сочувствіе его шло глубже? Что обѣщали фарисеи народу? Понятно, что «учености» фарисеевъ народъ могъ въ извѣстномъ направленіи сильно сочувствовать. Но не было ли у фарисеевъ какихъ-нибудь другихъ атрибутовъ, кромѣ учености? а если были, то какъ относился къ нимъ народъ? Было бы совершенно напраснымъ трудомъ обращаться съ этими вопросами къ Когану. Они его вовсе не занимаютъ. Чрезвычайно удивительно, что во всемъ обширномъ первомъ томѣ его сочиненія, можно сказать, не говорится о мессіанической идеѣ (объ ней упоминается только по поводу сивиллиныхъ книгъ), хотя разсказъ обнимаетъ образованіе партіи зелотовъ и возстаніе Іуды Галилейскаго, по всей вѣроятности, одного изъ лже-мессій.

Точно также не опредѣляетъ онъ ближайшимъ образомъ общественное положеніе фарисеевъ. Онъ говоритъ только, какъ мы видѣли, что они принадлежали къ среднему, достаточному классу, но каковы были ихъ отношенія къ низшимъ классамъ внѣ религіозно-національной и собственно политической доктрины—мы не знаемъ. Вслѣдствіе этого становится совершенно непонятнымъ тотъ любопытнѣйшій моментъ еврейской исторіи, когда фарисеи утратили роль дѣятельной, руководящей политической партіи. Послушаемъ, какъ разсказываетъ объ этомъ Коганъ.

Дѣло было въ послѣднемъ вѣкѣ передъ Р. Х. Въ синедріонѣ предсѣдательствовалъ знаменитый Гиллель, краса и гордость фарисеевъ. Вице-президентомъ былъ Шамаи, также изъ фарисеевъ, но значительно отклонявшійся отъ ученій Гиллеля и совершенная противоположность ему по личному характеру. Гиллель былъ кротокъ, уступчивъ, любезенъ, терпимъ. Шаммаи—суровъ, упрямъ, фанатиченъ. Преданіе сохранило объ нихъ такой анекдотъ. Одинъ язычникъ, ища просвѣщенія, обратился къ Шамаи. Тотъ сообщилъ такую массу правилъ поведенія, необходимыхъ для истиннаго іудея, что язычникъ ужаснулся. Гиллель, напротивъ, сказалъ: не дѣлай другому того, что́ бы ты не хотѣлъ, чтобы тебѣ дѣлали другіе; въ этомъ сущность іудейства, все остальное—только комментаріи. «Шамаи, одушевленный благочестіемъ, граничившимъ съ аскетизмомъ, утверждалъ, что надо думать прежде всего о Богѣ и будущей жизни и слѣдовательно жертвовать земною жизнью для небесной. Гиллель, не менѣе благочестивый, но болѣе практичный, отдавалъ преимущество земной жизни, то есть общественнымъ и нравственнымъ добродѣтелямъ (virtutes sociales et morales) передъ аскетизмомъ и самоотреченіемъ. Первый готовъ былъ бы сказать, что царство божіе не отъ міра сего, второй исповѣдывалъ, что человѣкъ созданъ для жизни и что его земное назначеніе состоитъ въ прославленіи Бога своими дѣлами». Знаменитѣйшимъ дѣломъ Гиллеля было установленіе такъ называемыхъ «семи правилъ» толкованія закона. Исходя изъ общаго положенія фарисеевъ, что законъ нельзя понимать буквально, Гиллель систематизировалъ пріемы толкованія. «Благодаря этимъ пріемамъ, наивно замѣчаетъ Коганъ:—изъ обширной библейской сокровищницы, изъ этого созданія столькихъ разновременныхъ писателей можно было почерпнуть все, что́ угодно. Это была свобода изслѣдованія въ самомъ полномъ смыслѣ слова. Гиллель подвелъ ее подъ опредѣленныя правила только для того, чтобы придать больше силы и авторитета всему, что́ пожелала бы провести фарисейская реформа». Не смотря на нѣкоторыя практическія мѣропріятія, введенныя Гиллелемъ, его все-таки больше тянуло въ міръ идей, тогда какъ Шаммаи стоялъ, напротивъ, ближе къ политической жизни современниковъ. Гиллелю народъ удивлялся, къ Шаммаи онъ былъ привязанъ. На ученикахъ того и другого разница ихъ ученій обнаружилась скоро въ самой рѣзкой формѣ.

Такъ разсказываетъ Коганъ. Разсказъ этотъ прежде всего односторонень и очень неполонъ. Если преданіе сохранило знаменитыя слова Гиллеля: не дѣлай другому и проч., то оно же сохранило и нѣкоторыя другія черты его жизни, изъ которыхъ видно, что онъ не уступалъ ни одному фарисею въ формализмѣ, но подъ старость, будучи уже и отъ природы кротокъ и уступчивъ, оказывалъ всевозможныя послабленія, какъ формальнаго, такъ и далеко неформальнаго свойства. Напримѣръ, Шаммаи утверждалъ, что слова закона о правѣ мужа дать женѣ разводъ въ случаѣ, если «онъ находитъ въ ней что нибудь *противное*» (Второзаконіе, XXIV, 1), надо толковать въ нравственномъ смыслѣ. Гиллель же находилъ, что мужъ можетъ прогнать жену, даже если она пережаритъ кушанье, что это будетъ то «противное», о которомъ говоритъ законъ. Гораздо болѣе важнымъ и характернымъ послабленіемъ Гиллеля было слѣдующее. Мы уже упоминали, что онъ измѣнилъ законъ о прекращеніи всѣхъ долговыхъ обязательствъ въ седьмой «годъ отпущенія»—законъ, можетъ быть, очень древній или, по крайней мѣрѣ, современный построенію второго храма. Но въ сущности Гиллель не только измѣнилъ, а фактически отмѣнилъ законъ. Грецъ, какъ и Коганъ, какъ и всѣ евреи, благоговѣющій передъ Гиллелемъ, разсказываетъ объ этомъ такъ. Имѣя въ виду роковой седьмой годъ, богатые люди неохотно давали бѣднымъ взаймы, а потому Гиллель постановилъ, что заимодавцы могутъ передъ наступленіемъ седьмого года письменно передавать свои права суду, совѣту старѣйшинъ, которому и предоставляется взыскивать долгъ. Это, дескать, было чрезвычайно выгодно для обѣихъ заинтересованныхъ сторонъ. Мы думаемъ, что это было выгодно главнымъ образомъ для заимодавцевъ и даже только въ ихъ интересахъ и предпринято. Во всякомъ случаѣ, Гиллель фактически отмѣнилъ постановленіе о седьмомъ годѣ. Изъ этого видно, въ какой мѣрѣ основательно считать его, какъ это обыкновенно дѣлается, прямымъ продолжателемъ и завершителемъ дѣла Ездры и Нееміи. Конечно, знаменитыя «семь правилъ» Гиллеля были вѣнцомъ «свободнаго изслѣдованія» или произвольнаго толкованія

закона. Но на практикѣ толкованіе это направлялось, при возобновленіи храма и наканунѣ его паденія, совершенно различно. Если можно говорить о древне-еврейской буржуазіи, то Ездра и Неемія представляютъ собою моментъ ея первыхъ, благородныхъ порывовъ, когда дѣло буржуазіи еще не отдѣлено отъ дѣла народа. Гиллель же есть представитель эпохи этого отдѣленія. Взглянувъ на дѣло съ этой точки зрѣнія, мы поймемъ суть прекаканій Гиллеля и Шаммаи и послѣдующихъ бурныхъ событій.

Въ характеристикѣ Шаммаи, сдѣланной Коганомъ, есть одна странность. По его словамъ, суровый товарищъ-соперникъ благодушнаго Гиллеля очень низко цѣнилъ земную жизнь и больше думалъ о небесномъ, но въ то же время онъ гораздо сильнѣе мѣшался въ политическія дѣла, чѣмъ Гиллель, который рекомендовалъ земную жизнь, «соціальныя добродѣтели», но въ политическія дѣла мѣшался мало, преимущественно въ качествѣ миротворца. Это—явное противорѣчіе, вскрыть которое Коганъ не можетъ уже просто потому, что даже не замѣчаетъ его. Взявъ тѣ же факты, но освѣтивъ ихъ иначе и, какъ мы увѣрены, справедливѣе, мы немедленно же устраняемъ противорѣчіе. Дѣло здѣсь далеко не въ личностяхъ только Гиллеля и Шамман, а въ цѣлыхъ двухъ политическихъ направленіяхъ.

Весь ходъ всемірной исторіи, поддерживаемый внутренними неурядицами въ Іудеѣ, свелъ эту несчастную страну съ Римомъ. Она не могла не пасть, но, надо ей отдать справедливость, пала со славой; въ ней нашлись люди, которые пали послѣ сравнительно долгой борьбы, въ которой есть и темныя, и свѣтлыя стороны. Римъ и Іудея столкнулись, римляне засѣли въ Іудеѣ, евреи проникли въ Римъ. Насколько можно возстановить, по отрывочнымъ замѣчаніямъ латинскихъ писателей, картину еврейской жизни въ Римѣ, она очень живо напоминаетъ теперешнюю жизнь евреевъ, напримѣръ, въ Варшавѣ или въ Вѣнѣ. Начиная съ Помпея, римскіе полководцы приводили цѣлыя толпы плѣнныхъ евреевъ, которые и осѣдали бо́льшею частью въ столицѣ, въ видѣ рабовъ. Но это были самые неудобные рабы. Съ характерною для евреевъ выдержкою они упорно держались обычаевъ своихъ отцовъ, выслушивали угрозы, терпѣли побои и все-таки не работали по субботамъ, не ѣли изъ общей кухни, не прикасались къ «нечистымъ» вещамъ и длиннымъ рядомъ подобныхъ мелочей ставили своихъ владѣльцевъ въ очень затруднительное положеніе. Поэтому ихъ охотно отпускали за дешевую плату, вслѣдствіе чего постепенно возникла въ Римѣ огромная община вольноотпущенныхъ евреевъ. При Августѣ ихъ было до сорока, а при Тиверіи до шестидесяти тысячъ душъ. Занимались они бо́льшею частью мелкою торговлей, ростовщичествомъ и всякаго рода факторствомъ. Имъ были отведены особые кварталы, въ которыхъ царили нищета, грязь, вонь, тѣснота, вѣчный гвалтъ. Римляне относились къ нимъ съ величайшимъ омерзеніемъ. Нѣчего и говорить о массѣ, когда даже лучшіе умы Рима дышали какою-то почти непонятною ненавистью. И внѣшній знакъ, какъ бы гербъ юдаизма—обрѣзаніе и шумные богословскіе споры, и почитаніе невидимаго, неизобразимаго Бога, и нравы, и обычаи евреевъ, со всѣми ихъ даже свѣтлыми сторонами, не говоря о темныхъ—все было дико, чуждо, отвратительно для римлянъ. Цицеронъ, Тацитъ, Аполлоній Тіанскій называли евреевъ суевѣрами, человѣконенавистниками. Ювеналъ, Марціалъ, Персій, Горацій обдавали ихъ презрѣніемъ и насмѣшками. Благодушный Маркъ-Аврелій, проѣзжая черезъ Палестину, восклицалъ, по словамъ Амміана Марцеллина; «о, маркоманны, о, квады, о, сарматы! я встрѣтилъ, наконецъ, людей, которые хуже васъ». Въ лѣтописи Тацита находимъ слѣдующую характерную, по формѣ и содержанію, замѣтку: «Было еще дѣло объ уничтоженіи египетскаго и іудейскаго богослуженія, и сенатъ рѣшилъ, чтобы четыре тысячи вольноотпущенныхъ, зараженныхъ этою ересью, если позволятъ ихъ лѣта, были отправлены въ Сардинію для усмиренія тамошнихъ разбойниковъ, что не о чемъ жалѣть, если они умрутъ отъ климата; чтобы остальные оставили Италію, если до извѣстнаго срока не покинутъ богохульныхъ обрядовъ». Но евреи не унывали. Среди всяческаго гнета, насилій, оскорбленій, они, какъ гибкое ползучее растеніе, цѣплялись за всякіе выступы и шероховатости, проникали во всѣ поры римскаго общества, опутывая его ростовщичествомъ и прозелитизмомъ. Враги были ихъ должниками, враги обращались даже въ друзей и почитателей. Повидимому, преимущественно женщины римскія и притомъ высшихъ классовъ склонялись къ еврейству, которому причастна была сама Поппея, жена Нерона. Понятно, что въ огромномъ большинствѣ римскаго народа и общества эти успѣхи евреевъ возбуждали еще пущую ненависть.

Такъ шли дѣла евреевъ въ Римѣ. Дѣла римлянъ въ Іудеѣ шли, разумѣется, иначе, но еще вѣрнѣе вели ко взаимной ненависти. Возстаніе шло за возстаніемъ, оскорбленіе за оскорбленіемъ. Фарисеи принимали сначала чрезвычайно дѣятельное участіе въ этой борьбѣ и не разъ жестоко расплачивались за идею національной независимости. Ожиданіе мессіи-избавителя все росло и наконецъ

дошло до такого напряженія, что всякій проходимецъ или юродивый, не говоря уже о выдающихся, талантливыхъ и искреннихъ личностяхъ, могъ увлекать цѣлыя толпы народа. Пастухъ Атронгей объявляетъ себя царемъ іудейскимъ и пріобрѣтаетъ массу сторонниковъ, хотя замѣчателенъ онъ, кажется, только своей необычайной физической силой и, разумѣется, ненавистью къ римлянамъ. Полоумный Ѳевда увлекаетъ цѣлыя толпы народа, ожидающаго, что передъ нимъ разступятся воды Іордана и онъ пройдетъ, какъ древле Моисей, по морю, яко по суху. И пр., и пр. Суровые побѣдители полу-міра съ презрѣніемъ и негодованіемъ смотрѣли на это упругое племя, полураздавленное и все-таки возстающее изъ-за того, что побѣдоносный римскій орелъ прибитъ къ стѣнамъ Іерусалима или что римскій полководецъ ограбилъ сокровищницу храма, или что римскій солдатъ разорвалъ свитокъ закона. Все въ этихъ двухъ столкнувшихся на міровой сценѣ національно-государственныхъ единицахъ было взаимно дико, отвратительно. Но, кромѣ разнообразныхъ, возникавшихъ отсюда столкновеній, побѣдитель давилъ побѣжденнаго и въ чисто матеріальномъ смыслѣ. Римъ бралъ подати: подушную, поземельную и различныя таможенныя пошлины, мостовыя, дорожныя и проч. Система взысканія состояла въ отдачѣ сбора податей на откупъ, а откупщики обыкновенно отъ себя еще разъ переуступали это право мелкимъ сборщикамъ. При этомъ, сборщики имѣли обыкновеніе уплачивать за неимущихъ сами, за извѣстный процентъ, разумѣется. Надо еще помнить, что евреи привыкли къ мысли, что налоги взимаются только для религіозныхъ цѣлей. Гаусратъ справедливо замѣчаетъ, что Іисусъ Христосъ, естественно бравшій темы для своихъ изреченій и притчъ изъ понятной слушателямъ окружающей дѣйствительности, всего охотнѣе говорилъ о должникахъ, о заимодавцахъ, о лихвенныхъ процентахъ, о деньгахъ, отданныхъ въ ростъ.

Все это такъ: Римъ разорялъ Іудею, оскорблялъ ее, сосалъ изъ нея кровь. Ненависть евреевъ къ римлянамъ имѣла чрезвычайно глубокія и вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ осязательныя основанія. Но мы знаемъ также, что Христосъ предписывалъ отдавать кесарево кесареви именно по вопросу о податяхъ; значитъ, онъ видѣлъ кругомъ еще какія-то независимыя отъ римской податной системы грабежи. Мы знаемъ, что мытарь, сборщикъ римскихъ податей, былъ противопоставленъ фарисею, который, исполняя всѣ религіозныя формальности, въ то же время «съѣдаетъ домы вдовъ» и вообще дѣлаетъ что́-то по существу противозаконное: что́ именно—ближайшимъ образомъ не опредѣлено. Мы знаемъ, что Гиллель, признанный глава фарисейства, возвеличиваемый всею талмудическою, то есть фарисейскою литературой, потворствовалъ заимодавцамъ. Мы знаемъ наконецъ что, какъ выражается Іосифъ Флавій, «четвертая секта» имѣла во главѣ Іуду Галилейскаго и Цадока, ученика Шаммаи, противника Гиллеля. Правда, намъ съ достовѣрностью извѣстенъ только одинъ политическій догматъ этой «секты»: надъ Іудеей не можетъ быть ни римскаго, никакого другого владыки, кромѣ Бога. Самъ по себѣ, этотъ догматъ ни мало не противорѣчилъ фарисейскимъ убѣжденіямъ. Напротивъ, имъ провозглашалась та самая теократическая независимая республика, которая всегда улыбалась фарисеямъ. Но было же, значитъ, въ программѣ Іуды и Цадока еще что-нибудь важное и не фарисейское, если съ этого времени гиллелисты отходятъ на задній планъ, а затѣмъ фарисеи преслѣдуются народною яростью наравнѣ съ саддукеями и римлянами. Къ сожалѣнію, мало кому доступная талмудическая литература до сихъ поръ еще ни разу не разрабатывалась съ точки зрѣнія, сочувственной шаммаистамъ и зелотамъ, а потому мы принуждены говорить гадательно. Но изъ совокупности скудныхъ фактическихъ данныхъ, а также по нѣкоторымъ апріорнымъ соображеніямъ, можно, кажется, заключить, что, кромѣ римлянъ, были еще какіе-то внутренніе разорители Іудеи. Были ли это саддукеи? Несомнѣнно, но не одни они. Преданіе упрекаетъ саддукеевъ и высшее духовенство въ открытомъ грабежѣ, во всевозможныхъ насиліяхъ, но не приписываетъ имъ язвы еврейскаго народа—ростовщической дѣятельности. Она, вмѣстѣ съ торговлей, выпала, повидимому, на долю фарисеевъ. (Любопытно, что ессеи, отъ которыхъ «отдѣлились» фарисеи, считали торговлю грѣховнымъ и нечистымъ дѣломъ). Относительно фарисеевъ произошло, повидимому, то же самое недоразумѣніе, которое часто повторяется въ исторіи угнетенныхъ народовъ. Гнетъ иностранцевъ и охотно иностранившихся саддукеевъ ощущался и сознавался въ качествѣ сильнѣйшей острой боли; гнетъ же фарисеевъ, блюстителей національности, толковавшихъ свой, національный, законъ, обвивавшихъ всю жизнь простого человѣка обрядностями, исполненіе которыхъ возможно было только при помощи ученаго книжника, фарисея, сознавался крайне слабо, и только долго накопляемое народное горе прибавило наконецъ къ подвижникамъ-ессеямъ вольницу-зелотовъ и сикаріевъ, которые уже явно отвергли фарисеевъ. Фарисеи мечтали только о національной независимости, зелоты (ревнители) пошли дальше и

отодвинули самихъ фарисеевъ, оставаясь все тѣми же и даже еще гораздо бо́льшими врагами римлянъ, борьба съ которыми напугала фарисеевъ, какъ только она осложнилась внутреннею борьбой. Главы фарисейства, этого нѣкогда столь радикальнаго по отношенію къ національной независимости, ученія, мирились съ римскимъ владычествомъ и готовы были даже признать мессію то въ Иродѣ, то въ Веспасіанѣ. Безъ признанія за фарисеями общественнаго положенія, хронически враждебнаго низшимъ классамъ, нѣтъ возможности объяснить ихъ удаленіе отъ дѣлъ въ первомъ вѣкѣ до Р. Х., ихъ примирительное настроеніе, ихъ, наконецъ, дальнѣйшую судьбу. Нельзя объяснять дѣло простою умѣренностью позднѣйшихъ фарисеевъ по вопросу о національной независимости. Это не рѣшеніе вопроса, а обходъ его, потому что дѣло именно въ томъ: съ чего фарисеи, эти борцы за національную независимость, борцы до послѣдней крайности, стали вдругъ умѣренны?

Если мы не имѣемъ прямыхъ свѣдѣній о соціальномъ положеніи большинства фарисеевъ, то намъ очень хорошо извѣстна, благодаря подробному разсказу Іосифа Флавія, вся обстановка ессеевъ, отъ которыхъ, по справедливому мнѣнію Когана, фарисеи «отдѣлились». Отдѣлились—значитъ, перешли къ чему-то другому, даже противоположному. Слѣдовательно, приглядываясь къ житью-бытью ессеевъ, мы можемъ получить небезъинтересныя отрицательныя указанія относительно отдѣлившихся фарисеевъ. Ессеи же жили вотъ какъ. Всякій вновь поступающій членъ отдавалъ все свое имущество братству и не имѣлъ никакой личной собственности. Прямымъ послѣдствіемъ этого было отсутствіе внутри братства всякихъ торговыхъ сдѣлокъ. Отправляясь куда-нибудь въ дорогу, ессей не бралъ съ собой рѣшительно ничего, кромѣ оружія на случай встрѣчи съ разбойниками, потому что вездѣ, гдѣ онъ встрѣчалъ своихъ собратій—а они были, повидимому, разсыпаны повсюду, хотя и имѣли нѣсколько излюбленныхъ поселеній—онъ находилъ тамъ пищу, одежду и все нужное. И это нужное онъ бралъ по праву, какъ свое собственное. Богатыхъ и бѣдныхъ, говоритъ Іосифъ Флавій, между ессеями нѣтъ. Далѣе, ессеи болѣе или менѣе сторонились отъ брачной жизни и половыхъ сношеній вообще. Одни отказывались отъ нихъ рѣшительно и навсегда, хотя охотно брали чужихъ дѣтей на воспитаніе, другіе женились именно только для того, чтобы имѣть дѣтей. Въ исполненіи субботняго дня и другихъ предписаній закона ессеи были строже, чѣмъ кто-нибудь, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ склонялись преимущественно къ аллегорическому, а не буквальному толкованію писанія. «Чистота» соблюдалась педантически. Случайное прикосновеніе не только къ иностранцу, но даже къ младшему, вновь поступившему члену секты, требовало очищенія, омовенія. Вообще, они часто купались и обливались холодной водой. Они много занимались изученіемъ цѣлебныхъ средствъ и слыли искусными врачами, въ особенности же удачно изгоняли бѣсовъ, а также имѣли даръ пророчества. Эти достоинства ессеевъ признавались всѣми, въ томъ же числѣ отчасти и фарисеями, но фарисеи думали, какъ мы уже видѣли, что съ послѣдними пророками, Аггеемъ, Захаріемъ и Малахіей, святой духъ оставилъ міръ; ессеи, напротивъ, полагали, что святой духъ живетъ среди нихъ, въ ихъ общинахъ. Конечно, это было не догматическое только разногласіе. Подъ «святымъ духомъ» здѣсь разумѣлась цѣлая программа нравственной жизни, освященная, санкціонированная религіознымъ началомъ. Нетрудно видѣть, въ чемъ она состояла. Относительно педантизма въ вопросахъ обрядовыхъ фарисеи могли, пожалуй, потягаться съ ессеями и не на этомъ пунктѣ могли они разойтись. Вопросъ о воздержаніи отъ брачной жизни самъ по себѣ также не могъ стать яблокомъ раздора. Безъ сомнѣнія, ессеи не могли уважать Гиллелево толкованіе закона о разводѣ изъ-за пережареннаго кушанья, но въ вопросѣ о бракѣ они сами не были единодушны: одни отвергали его, другіе нѣтъ. Остаются слѣдовательно только имущественныя отношенія. Только изъ-за нихъ, изъ-за вопроса о личной и общественной собственности фарисеи могли отдѣлиться отъ ессеевъ. Во всякомъ случаѣ, это былъ, если не единственный, то одинъ изъ главныхъ пунктовъ раздора. Ессеи думали, что идеи древнихъ пророковъ могутъ и должны быть доведены до ихъ логическаго конца. Фарисеи говорили: нѣтъ, съ послѣдними пророками святой духъ отлетѣлъ, надо жить и добро наживать. Конечно, отсюда еще очень далеко до грабительства въ какихъ бы то ни было формахъ, до поѣданія вдовьихъ домовъ. Но, въ связи со всѣмъ вышеизложеннымъ, точка расхожденія фарисеевъ и ессеевъ получаетъ свое значеніе. Съ нея, а не съ «аристократіи таланта», началось настоящее выдѣленіе фарисеевъ, какъ особаго класса. Можно, пожалуй, говорить, вмѣстѣ съ Коганомъ, что фарисеи «отдѣлились», потому что жаждали практической дѣятельности, хотѣли, не довольствуясь ессейскимъ удаленіемъ отъ міра, стать воинствующею партіей, хотѣли внести свои идеалы въ самый водоворотъ народной жизни. Но дѣло въ томъ, что они при этомъ измѣнили и идеалы свои. Они понесли въ народъ свою не-

нависть къ чужеземному владычеству, свою доходившую до нелѣпости ненависть ко всему иноземному вообще, наконецъ — свое «свободное изслѣдованіе» закона, сводящееся къ произвольному введенію нѣкоторыхъ важныхъ и множества ничтожныхъ до безсмыслія установленій. Но свои былые соціальные идеалы они оставили мирнымъ эссеямъ. Ихъ-то, эти самые идеалы, подхватила впослѣдствіи другая воинствующая партія, партія зелотовъ, рекрутировавшаяся изъ всякаго рода рѣшительныхъ людей, начиная съ чистѣйшихъ энтузіастовъ и кончая разбойниками съ большой дороги. Фарисеямъ тутъ уже не было мѣста. Но съ разгромомъ Іерусалима и разсѣяніемъ евреевъ фарисаизмъ, возродившійся въ талмудѣ, опять вступилъ въ силу, въ которой находится и понынѣ.

Такимъ образомъ, реформа, проведенная фарисеями, была дѣйствительно велика и обширна, но едва ли ей приличествуютъ тѣ восторженно хвалебные гимны, которые поетъ Коганъ. И прежде всего въ ней нѣтъ «свободнаго изслѣдованія». Напротивъ, она опутала еврейскій народъ цѣпью суевѣрія и обрядностей и усугубила его замкнутость и отрозненность отъ всего остального міра. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что, благодаря именно этой великой реформѣ, евреи—одна изъ наиболѣе одаренныхъ національностей, изъ наиболѣе способныхъ внести великіе вклады въ сокровищницу человѣчества — такъ часто оказываются паразитами на тѣлахъ другихъ народовъ. Фарисейская проповѣдь возникла въ необыкновенно счастливую для себя и въ очень несчастную для еврейскаго народа историческую минуту. Сплетясь съ мессіаническою надеждою, въ которую несчастный народъ клалъ всю душу свою, она заимствовала отъ нея свѣтъ, котораго не заслуживала, но отъ котораго она тѣмъ не менѣе была только на время оторвана въ бурный періодъ лже-мессій и разоренія Іерусалима.

Буржуазіей въ томъ смыслѣ, какъ мы привыкли понимать это слово, фарисеи не были; имъ недостовало для этого ни матеріальныхъ, ни умственныхъ условій. Строго говоря, они не представляли собой даже опредѣленнаго общественнаго класса. Но, конечно, они не были и «сектой», какъ мы привыкли говорить со словъ Іосифа Флавія. Многое въ ихъ ученіи было обще всему народу, но ядро фарисейства составлялъ все-таки средній классъ, отрицательно очень ясно характеризующійся въ экономическомъ отношеніи признаками, общими всякому среднему классу: фарисеи не были крупными землевладѣльцами, не были и непосредственными производителями, то-есть работниками. Что касается положительной характеристики ихъ экономической роли, то ее сдѣлать очень трудно, но, за вычетомъ землевладѣнія и личнаго труда, остается капиталъ, который въ тѣ времена пріобрѣтался почти исключительно торговлей и ростовщичествомъ. Умственныхъ условій для фарисеевъ, какъ для буржуазіи, тоже не хватало. Разговоры Когана о фарисейской «наукѣ» просто смѣшны. Нѣсколько болѣе серьезное значеніе имѣетъ его утвержденіе, что фарисеи способствовали облагороженію, утонченію, идеализаціи нѣкоторыхъ древнихъ вѣрованій. Но и это надо понимать очень условно. Иранскій элементъ внесъ въ юдаизмъ много мистическаго, но также и много дѣйствительно возвышеннаго. Замѣчательно однако, что даже въ наиболѣе возвышенной части своего ученія, въ представленіи о будущемъ торжествѣ правды на землѣ, фарисеи были иногда удивительно грубы и плоски. Судя по выпискамъ изъ талмудической литературы, приводимымъ Гфрёреромъ и Р. фон-деръ Альмомъ, понятія фарисеевъ и талмудистовъ о пришествіи мессіи сводятся главнымъ образомъ къ тому, что князья всего міра придутъ и поклонятся іудеямъ, и всѣ народы будутъ работать на нихъ. Кромѣ того, попадаются такого рода надежды: «Однажды раби Гамаліилъ сидѣлъ и училъ, что въ будущее время женщина будетъ рожать каждый день, потому что сказано: «беременная и родильница вмѣстѣ» (Іеремія, 31, 8; текстъ имѣетъ совершенно другой смыслъ). Одинъ изъ учениковъ засмѣялся и сказалъ: въ писаніи говорится, что нѣтъ ничего новаго подъ солнцемъ. Учитель отвѣчалъ: пойдемъ, я покажу тебѣ нѣчто подобное, и показалъ ему курицу». «Сказано: «почечнымъ тукомъ пшеницы» (Второзаконіе, XXXII, 14; въ русскомъ переводѣ: «тучною пшеницею»). Наши учителя говорятъ, что пшеничное зерно будетъ величиною, какъ двѣ почки самаго большого быка». «Въ будущей жизни повозка или корабль будутъ грузиться одною ягодою винограда; потомъ эту ягоду будутъ ставить въ домъ и цѣдить изъ нея, какъ изъ бочки, а вѣтка будетъ служить вмѣсто дровъ на кухнѣ; не будетъ ни одной виноградины меньше, какъ въ тридцать ведеръ вина».

Подобныя грубыя представленія, въ связи съ обѣщаніями о покореніи міра подъ ноги сыновъ Израиля, должны были много способствовать популярности фарисеевъ. Но надъ этой почвой, общей невѣжественному народу и ученымъ фарисеямъ, незамѣтно, безсознательно скапливались элементы раздора изъ повседневныхъ житейскихъ отношеній.

Безъ сомнѣнія, въ средѣ самихъ фари-

сеевъ были люди, настроенные враждебно къ фарисейству, но, понятно, что это были фарисеи только по рожденію или по своей «книжности». Таковъ именно былъ товарищъ-соперникъ Гиллеля Шамаи, такъ дурно и противорѣчиво оцѣненный Коганомъ. Строгій блюститель закона, даже педантически строгій, какъ и всѣ ученые фарисеи, онъ приближался къ ессеямъ, по своимъ нравственнымъ требованіямъ. Безъ сомнѣнія, на этой именно почвѣ происходили его пререканія съ благодушнымъ и слабымъ Гиллелемъ. «Соціальныя добродѣтели», проповѣдуемыя будто бы Гиллелемъ, въ противоположность удаленію отъ земныхъ интересовъ, на которомъ будто бы настаивалъ Шамаи, очевидно изобрѣтены Коганомъ. Общія формулы морали Гиллеля могли быть очень высоки; но двѣ вышеприведенныя черты его практической дѣятельности—введеніе развода изъ-за пережареннаго кушанья и отмѣна закона о седьмомъ годѣ—показываютъ, что онъ былъ человѣкъ крайне удобный для самой легкой морали, въ которой могло не быть и слѣда какой бы то ни было «соціальной добродѣтели». Очевидно, надо понимать дѣло такъ, что, отстаивая передъ Шамаи земные интересы, Гиллель отстаивалъ просто нѣкоторые грѣхи фарисеевъ. Суровый же Шамаи рекомендовалъ имъ поменьше заботиться о своихъ мелкихъ дѣлишкахъ и помнить объ обѣщанномъ «царствѣ небесномъ». Это напоминаніе нисколько не обязывало его удаляться отъ политическихъ треволненій минуты. Все дѣло было въ его личномъ характерѣ. Ессеи рекрутировались изъ мирныхъ по природѣ, недостаточно энергичныхъ и усталыхъ, но глубоко преданныхъ своей идеѣ людей, удалявшихся въ лѣса и пустыни иустраивавшихъ тамъ жизнь, сообразно своему идеалу. Понятно, что тѣ-же идеалы въ головѣ человѣка энергическаго, борца, какимъ былъ Шамаи, нетолько не удаляли его отъ политическихъ треволненій, а, напротивъ, кидали его въ самый водоворотъ ихъ. Такъ случилось, если не съ самимъ Шамаи, то съ непосредственными его учениками. Только благодаря, очевидно, малому знакомству Когана съ характеромъ народныхъ движеній вообще, могъ онъ сдѣлать такой блѣдный, противорѣчивый, ничего не значущій и висящій въ безвоздушномъ пространствѣ очеркъ дѣятельности Гиллеля и Шаммаи. Впрочемъ, онъ шелъ въ этомъ отношеніи по стопамъ всѣхъ доселешныхъ историковъ еврейскаго народа.

Въ заключеніе намъ остается только привести общую характеристику исторической роли фарисаизма, нѣсколько неожиданно сдѣланную въ концѣ книги самимъ Коганомъ: «Фарисеи представляли собой интеллигентную и либеральную буржуазію, всегда консервативную по инстинкту и по своимъ интересамъ, но которая къ несчастію постоянно колеблется между свободой и властью и почти всегда или затѣваетъ революціонную игру, когда отстаиваетъ права свободы, или игру деспотизма, когда хочетъ отстоять прерогативы власти. Фарисеи, которыхъ въ области религіи мы назвали протестантами юдаизма, могутъ быть съ такой же точностью названы жирондистами въ области политики. Для борьбы съ духовенствомъ и аристократіей, для расчистки пути либеральному и реформаторски-настроенному среднему классу, они дали сильный толчокъ демократическимъ идеямъ. Эти идеи выросли въ свою очередь. Они породили политическій и религіозный радикализмъ, которымъ мирные ученые не могли овладѣть и который фатально увлекъ ихъ въ пропасть вмѣстѣ со всею націей».

Оставляя Кифѣ Мокіевичу разсуждать о томъ, что́ было бы еслибы дѣла шли иначе, мы замѣтимъ только, что страшныя, кровавыя сцены внутреннихъ неурядицъ временъ агоніи Іудеи были вызваны нетолько демократическими идеями фарисеевъ. Противъ саддукеевъ и римлянъ народъ поднимали, пожалуй, идеи фарисеевъ, противъ самихъ фарисеевъ—ихъ дѣла.

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ? *)

(Herbert Spencer. «Social Statics». London, 1850).

«Соціальная Статика» Спенсера была обѣщана въ русскомъ переводѣ еще г. Тибленомъ. Но ни онъ, ни г. Печаткинъ, предпринявшій-было продолженіе изданія сочиненій Спенсера, ни г. Поляковъ, издавшій «Основанія Біологіи», до сихъ поръ намъ Статики не дали. А между тѣмъ, многіе весьма естественно интересуются единственнымъ большимъ сочиненіемъ по общественной наукѣ одного изъ замѣчательнѣйшихъ современныхъ мыслителей. Въ виду этого мы хотимъ дать отчетъ о книгѣ Спенсера, не дожидаясь русскаго изданія.

Книга Спенсера имѣетъ такое заглавіе: «Соціальная Статика. Изложеніе общественныхъ законовъ, обусловливающихъ счастье человѣчества». Физіономія Спенсера, какъ мыслителя, на столько выяснилась въ глазахъ русской публики, интересующейся философскими вопросами, что заглавіе это можетъ возбудить совершенно основательное недоумѣніе. Соціальная статика есть ученіе о законахъ существованія общественныхъ явленій. Ея дѣло анализировать различныя состоянія общества, различныя формы общественной жизни, сравнивать ихъ и отсюда выводить законы устойчивости политическихъ тѣлъ. Она указываетъ, что если даны такія-то и такія-то явленія, то имъ непремѣнно сопутствуютъ такія-то и такія-то; что если въ одномъ углу общественной жизни произошло такое-то измѣненіе, то на другихъ углахъ оно отзовется такъ-то; что сосуществованіе такихъ-то и такихъ-то явленій невозможно и т. п. «Счастье человѣчества» есть верховный принципъ этико-политической доктрины утилитаристовъ. Это цѣль, которую утилитаристы ставятъ людямъ, съ точки зрѣнія которой они оцѣниваютъ явленія въ практическомъ отношеніи и предписываютъ извѣстныя правила поведенія. Этика, ученіе о нравственности, какъ наука, распредѣляется между соціальною статикой и соціальною динамикой, т.-е. либо изучаетъ законы сосуществованія нравственныхъ идеаловъ и практическихъ побужденій, либо слѣдитъ за ихъ послѣдовательной смѣной. Этика же, какъ совокупность правилъ поведенія, есть не наука, а искусство, и, слѣдовательно, стоитъ совершенно отдѣльно и отъ статики, и отъ динамики; она только пользуется ихъ указаніями для достиженія извѣстныхъ практическихъ цѣлей. Что же значитъ заглавіе: «Соціальная статика *или* изложеніе общественныхъ законовъ, обусловливающихъ счастье человѣчества?» Оно бы имѣло вполнѣ ясный смыслъ только въ томъ случаѣ, еслибы изслѣдователь вѣрилъ въ предуставленную гармонію; еслибы онъ исходилъ изъ теологической или метафизической точки зрѣнія; еслибы онъ, напримѣръ, вѣрилъ, что Богъ ведетъ людей къ счастью путемъ установленныхъ имъ соціальныхъ законовъ. Да и то еще остается вопросъ: почему именно соціальная статика, а не динамика, есть «изложеніе соціальныхъ законовъ, обусловливающихъ счастье человѣчества?» Почему не искать предопредѣленнаго счастья въ области законовъ послѣдовательности явленій? Но, оставляя этотъ вопросъ въ сторонѣ, уже самые термины «предуставленная гармонія», «предопредѣленное счастье» не вяжутся съ именемъ Спенсера, какимъ мы его знаемъ. Онъ, въ своихъ «Основаніяхъ Біологіи» иронически спрашивавшій, какая цѣль природы удовлетворяется существованіемъ блохъ и другихъ паразитовъ, такъ безпокоящихъ человѣка, онъ, конечно, не можетъ быть заподозрѣнъ въ наклонности къ теологическому объясненію явленій природы или общественной жизни. Надо, повидимому, искать какого-нибудь другого объясненія странности заглавія «Соціальной Статики».

Оказывается однако, что никакого другого объясненія искать не требуется, потому что Спенсеръ дѣйствительно вѣритъ въ предоставленную гармонію, въ предопредѣленность нашего счастья и на этой вѣрѣ строитъ все зданіе «Соціальной Статики».

Надобно замѣтить, что «Соціальная Статика» есть, сколько мнѣ, по крайней мѣрѣ, извѣстно, самое раннее изъ произведеній Спенсера. Она издана въ 1850 году, тогда какъ, не говоря о большихъ сочиненіяхъ, самые ранніе изъ мелкихъ «опытовъ» Спенсера, изданныхъ по-русски, относятся къ 1852 году. Поэтому разница между воззрѣ-

*) 1872, мартъ и апрѣль.

ніями, проводимыми въ «Соціальной Статикѣ», и теперешними взглядами Спенсера не представляетъ ничего удивительнаго. Но вотъ что странно. Въ статьѣ «О причинахъ разногласія съ Контомъ», написанной въ 1864 году, Спенсеръ ссылается на «Соціальную Статику» и при этомъ не только не упоминаетъ о своемъ отреченіи отъ котораго-нибудь изъ ея положеній, но приводитъ «Соціальную Статику», какъ свидѣтельство и по нынѣ продолжающагося разногласія съ творцомъ положительной философіи. Въ предисловіи къ американскому изданію «Статики» 1864 года Спенсеръ говоритъ, правда, что въ четырнадцать лѣтъ, протекшихъ со времени перваго изданія, его воззрѣнія нѣсколько измѣнились и что онъ не совсѣмъ доволенъ «Статикой». Но это недовольство, по его собственнымъ словамъ, относится только къ частностямъ и отнюдь не распространяется на главныя основанія «Статики». Да это и понятно, потому что иначе онъ, разумѣется, не допустилъ бы второго изданія. Но какъ же согласить телеологическое міросозерцаніе, которымъ проникнута «Соціальная Статика», съ доктринами, напримѣръ, «Основаній Біологіи», которыя вышли въ томъ же 1864 году? Отвѣчать на это тѣмъ труднѣе, что въ «Соціальной Статикѣ» находится много идей и положеній, которымъ Спенсеръ не измѣняетъ и по сю пору и только развиваетъ ихъ въ своихъ послѣдующихъ произведеніяхъ. Возьмемъ, значитъ, книгу, какъ она есть.

Не смотря на значущееся въ заглавіи «Соціальной Статики» «счастье человѣчества», Спенсеръ начинаетъ свою книгу жестокою перепалкой съ утилитаристами. Вотъ основанія, по которымъ онъ отказывается признать всякое значеніе за ихъ ученіемъ.

Во-первыхъ, принципъ утилитаризма «наибольшее счастье наибольшаго числа людей» не представляетъ ничего опредѣленнаго, ничего такого, что всѣми понималось бы единообразно. Мѣрки счастья безконечно разнообразны, въ доказательство чего Спенсеръ, по своему обыкновенію, приводитъ длинный рядъ примѣровъ. Онъ ссылается, между прочимъ, на тѣ представленія, которыя разные народы имѣютъ о раѣ, о райскомъ блаженствѣ. Рай еврея, говоритъ онъ, полонъ золота и серебра, рай турка—гаремъ, населенный гуріями, рай краснокожаго американца—множество дичи, въ скандинавскомъ раю идетъ вѣчное сраженіе, и раны излѣчиваются чудотворною силой, австраліецъ мечтаетъ о томъ, какъ онъ послѣ смерти обгонитъ бѣлаго, и какое у него будетъ множество мелкой монеты. Такое же разнообразіе понятій о счастьи мы встрѣтимъ и у отдѣльныхъ людей въ разныя времена, при разныхъ условіяхъ, въ разные возрасты. Утилитаристы, не отрицая этого, говорятъ, что, по крайней мѣрѣ, для практическихъ цѣлей совершенно достаточно той степени единомыслія на счетъ счастья, какая имѣется. Но и это несправедливо, утверждаетъ Спенсеръ, потому что утилитаризмъ и по сіе время не разрѣшилъ множества вопросовъ, обойти которые невозможно. Напримѣръ: что составляетъ болѣе существенный элементъ желаемаго счастья — удовлетвореніе или стремленіе? Какимъ образомъ нужно распредѣлять удовлетвореніе между тѣлесными и душевными потребностями для достиженія «наибольшаго счастья»? Что слѣдуетъ понимать подъ словомъ «польза», этимъ синонимомъ наибольшаго счастья? и проч.

Кромѣ неопредѣленности выраженій, принципъ утилитаризма не выдерживаетъ критики еще потому, что человѣческій умъ рѣшительно не способенъ прослѣдить всѣ послѣдствія даннаго дѣйствія и опредѣлить такимъ способомъ пути къ наибольшему счастью Въ доказательство Спенсеръ приводитъ рядъ примѣровъ мѣропріятій, задуманныхъ съ благою цѣлью достигнуть или доставить счастье и тѣмъ не менѣе окончившихся самымъ печальнымъ образомъ. Онъ указываетъ на запрещенія браковъ между бѣдными, результаты которыхъ выразились множествомъ незаконныхъ дѣтей; на нѣкоторыя мѣры противъ торговли неграми, которыя повели къ разнымъ варварскимъ ухищреніямъ торговцевъ, и т. п. Исторія, говоритъ Спенсеръ, есть не болѣе, какъ разсказъ о неудачныхъ исходахъ эмпирическихъ попытокъ добиться счастья. Всякая мѣра, всякій законъ есть ни что иное, какъ отмѣна другого закона, и это—безконечная цѣпь. «Наше понятіе о человѣкѣ самое несовершенное, а между тѣмъ, *человѣкъ* есть и орудіе, которымъ дѣйствуетъ законодательство, и предметъ для котораго оно создается. Но еслибы мы и вполнѣ знали человѣка, то это былъ бы только первый шагъ къ познанію совокупности людей, называемой обществомъ. Ясно поэтому, что выводъ началъ истинной философіи общественной жизни изъ безконечно сложной комбинаціи, какою представляется человѣчество, составляетъ задачу, превышающую наши силы. Слѣдовательно, на подобныхъ основаніяхъ немыслимо составить правила для достиженія «наибольшаго счастья».

Утилитаризмъ, по мнѣнію Спенсера, имѣетъ еще одно, чрезвычайно важное неудобство, состоящее въ томъ, что онъ «предполагаетъ вѣчное существованіе правительства». Длинными соображеніями историческихъ фактовъ Спенсеръ доказываетъ, что сфера дѣятель-

ности правительства постепенно сужи-вается, что изъ его рукъ все большія и боль-шія области переходятъ въ руки частныя, по мѣрѣ того, какъ поднимается уровень силъ и развитія самого общества. Пра-вительство нужно людямъ на столько, на сколько они слабы и безнравственны. Это то же, что сумасшедшая рубашка для бѣше-ныхъ, костыли для хромыхъ, тюрьмы для преступниковъ. И, если мы видимъ, что на-добность въ правительствѣ естественнымъ путемъ уменьшается, то «каково же должно быть наше мнѣніе о системѣ нравственно-сти, для которой эти преходящія учрежденія служатъ основаніемъ, которая предполагаетъ ихъ вѣчными и создаетъ въ этомъ предпо-ложеніи длинный рядъ заключеній»? «Они (утилитаристы) дѣлаютъ изъ правительства жизненный принципъ, существо и душу своего ученія». «По ихъ мнѣнію, «польза» должна вести ко благу массъ, а не отдѣль-наго лица; она должна вести къ этому, какъ настоящія, такъ и будущія поколѣнія. Ясно, что кто-нибудь долженъ же рѣшить, какіе пути должны вести къ такому благу. Взгляды на пользу той или другой мѣры (каковы: покровительственная торговая политика, го-сударственная церковь, смертная казнь, законы о бѣдныхъ и т. п.) до такой сте-пени различны, что они дѣлаютъ прави-тельство существенно необходимымъ. Если-бы, независимо отъ государственной власти, каждый приводилъ въ исполненіе свои взгляды на обезпеченіе «наибольшаго сча-стья наибольшаго числа людей», то въ об-ществѣ очень скоро водворилось бы безъ-исходное замѣшательство. Если ученіе о нравственности основано на правилахъ, ко-торыя при практическомъ примѣненіи по-рождаютъ споры и противорѣчивые взгляды, то понятно, что для его осуществленія необ-ходима извѣстная власть, которая имѣла бы право окончательнаго рѣшенія, т.-е. законо-дательство».

Обвиненія свои Спенсеръ резюмируетъ такъ:

1) Утилитаризмъ не имѣетъ научнаго значенія, онъ не основанъ на аксіомахъ, онъ только ставитъ задачи, подлежащія раз-рѣшенію, и, если въ основаніи утилитаризма и видѣть что-нибудь въ родѣ аксіомъ, то, во всякомъ случаѣ, онѣ выражены словами, не имѣющими общепризнаннаго смысла.

2) Для своего практическаго примѣненія утилитаризмъ требуетъ всевѣдѣнія.

3) Стремясь создать совершенство, онъ принимаетъ себѣ въ основаніе несовершен-ство.

Мы не будемъ теперь разсматривать эти пункты обвиненія, потому что встрѣтимся съ ними ниже въ болѣе полной и развитой формѣ и притомъ рядомъ не съ отрица-тельными только, а и съ положительными взглядами автора.

Правильное понятіе объ обществѣ, гово-ритъ Спенсеръ, получается только путемъ изученія свойствъ отдѣльныхъ недѣлимыхъ. Соображенія объ этомъ предметѣ убѣждаютъ насъ, что «нравственный законъ общества, точно также, какъ и другіе его законы, имѣютъ своимъ источникомъ извѣстныя свой-ства человѣческой природы. Они не дозво-ляютъ намъ построить наше ученіе на осно-ваніи, которое неизбѣжно предполагаетъ существованіе общества, какъ напримѣръ, основаніе наибольшаго счастья наибольшаго числа людей».

Къ извлеченію новаго принципа нрав-ственности непосредственно изъ свойствъ человѣческой природы Спенсеръ приступаетъ слѣдующимъ рядомъ разсужденій.

Нужды тѣла и потребности расы удовле-творяются безъ помощи или только съ ма-лою помощью разума. Для удовлетворенія ихъ имѣются въ человѣческой природѣ осо-бые могучіе, неумолимые стимулы, каковы аппетитъ, половое влеченіе, материнская любовь и т. п. Еслибы, напримѣръ, стимулъ материнской любви не существовалъ, а былъ бы замѣненъ какимъ-нибудь отвлеченнымъ соображеніемъ о пользѣ и необходимости заселенія земного шара, то сила этого сооб-раженія едва ли перевѣсила бы силу не-пріятностей, съ которыми сопряжено воспи-таніе дѣтей, и въ концѣ концовъ получилось бы обезлюденіе. То же самое слѣдуетъ за-мѣтить относительно способовъ удовлетворе-нія и всѣхъ другихъ требованій человѣче-ской природы. Будь мы устроены иначе, утилитаристы могли бы очень удобно и часто прилагать свою систему разсчета выгодъ и невыгодъ, но за то дальше разсчетовъ мы бы и не ушли; потребности наши оказались бы весьма плохо удовлетворенными. Природа поступаетъ иначе. Она самымъ повелитель-нымъ образомъ, не давая времени на раз-счеты и не довѣряя имъ, толкаетъ насъ прямымъ путемъ къ удовлетворенію потреб-ностей. Извѣстные стимулы дѣйствуютъ, не только не справляясь съ разсчетами разума, а сплошь и рядомъ наперекоръ имъ. На основаніи этихъ соображеній Спенсеръ счи-таетъ себя вправѣ построить гипотезу «нрав-веннаго чувства», особаго стимула, кото-рый побуждаетъ насъ исполнять извѣстныя правила, совокупность которыхъ составляетъ нравственность. Спенсеръ разсуждаетъ такъ: такъ-какъ принятіе пищи необходимо для поддержанія нашего существованія, то при-рода вложила въ насъ соотвѣтственный сти-мулъ—аппетитъ; отсюда слѣдуетъ, что «такъ-какъ честное поведеніе каждаго необходимо

для общаго счастья, то долженъ существовать спеціальный стимулъ, побуждающій насъ вести себя честно; этотъ стимулъ есть нравственное чувство».

Единственнымъ благовиднымъ аргументомъ противъ существованія такого особаго стимула Спенсеръ признаетъ указаніе на разнорѣчивость побужденій нравственнаго чувства. Въ одномъ мѣстѣ, въ одно время, одному человѣку нравственное чувство говоритъ совсѣмъ не то, что въ другомъ мѣстѣ, въ другое время, другому человѣку. А потому можно усомниться, дѣйствительно ли существуетъ въ насъ такой спеціальный стимулъ. Но, говоритъ Спенсеръ, этотъ аргументъ не выдерживаетъ критики. Вѣдь и аппетитъ, и половой инстинктъ, и родительская любовь, и проч. дѣйствуютъ не однообразно и не всегда оказываются правильными руководителями. Это однако не даетъ намъ права отрицать существованія аппетита, полового инстинкта, материнской любви. Такъ и съ нравственнымъ чувствомъ. Если оно проявляется недостаточно однообразно, то это не говоритъ противъ его существованія, а только ставитъ передъ нами новыя задачи.

Механизмъ нравственнаго чувства таковъ. «Каждая наклонность сопровождается чувствомъ справедливости тѣхъ дѣйствій, которыя способствуютъ ея удовлетворенію. Каждая наклонность стремится создать понятіе о хорошихъ и дурныхъ поступкахъ, которое соотвѣтствовало бы испытываемымъ удовольствіямъ или страданіямъ». Правда, это замѣчается только въ тѣхъ случаяхъ, когда одна какая нибудь наклонность преобладаетъ надъ всѣми остальными; въ большинствѣ же случаевъ, вслѣдствіе сложнаго и сталкивающагося дѣйствія различныхъ наклонностей, получается нѣчто, не столь ярко опредѣленное. Во всякомъ случаѣ, каждое чувство стремится породить понятіе о справедливомъ и несправедливомъ въ спеціальныхъ предѣлахъ своей дѣятельности. Нравственное же чувство стремится опредѣлить справедливое по отношенію ко всѣмъ отраслямъ нашего поведенія. Поэтому не слѣдуетъ, казалось бы, относить терминъ «нравственное чувство» къ способности одного только порядка. Сдѣлавъ самому себѣ это возраженіе, Спенсеръ приводитъ нѣкоторыя практическія соображенія, въ силу которыхъ онъ считаетъ себя вправѣ специализировать понятіе «нравственнаго чувства», разумѣя подъ нимъ стимулъ нравственнаго поведенія по отношенію другъ къ другу.

Вся эта часть соображеній Спенсера нѣсколько запутана, въ особенности благодаря тому обстоятельству, что онъ придаетъ слову «чувство» очень своеобразное значеніе. Впрочемъ, это для насъ не важно. Во концѣ-концовъ Спенсеръ сознаетъ, что велѣнія нравственнаго чувства крайне разнообразны, что они сегодня не таковы, какъ вчера, въ Европѣ не таковы, какъ на Фиджійскихъ островахъ. Спрашивается, можно ли полагаться на авторитетъ, столь шаткій и непрочный? Мы видѣли, что вопросъ этотъ Спенсеръ бросилъ утилитаризму съ видомъ человѣка, не предвидящаго возможности резонныхъ возраженій. Но по отношенію къ «нравственному чувству» онъ не столь строгъ. Онъ находитъ, что изъ разнообразія его велѣній «слѣдуетъ только то, что отысканіе истины этимъ путемъ сопряжено съ такими же затрудненіями, какія представляются и при всѣхъ другихъ предложенныхъ способахъ». Какъ же справиться съ этими затрудненіями? Какъ выдти изъ лабиринта разнорѣчивыхъ предписаній нравственнаго чувства? Шафтсбери и другіе сторонники интуитивной, непосредственной морали, въ сущности, не ошибались, говоритъ Спенсеръ; они обращались куда слѣдуетъ и заблуждались только въ примѣненіи своихъ началъ. Предоставленное самому себѣ, нравственное чувство неизбѣжно заблуждается, поэтому нельзя думать, что всякая нравственная задача можетъ быть разрѣшена по вдохновенію; нравственное чувство замѣнить логики не можетъ. Но надлежитъ воздавать кесарево кесареви и божіе богови. Надо опредѣлить границы чувства и разума въ дѣлѣ нравственности. Для опредѣленія этихъ границъ Спенсеръ прибѣгаетъ къ очень любимому имъ пріему—къ аналогіи, связывая ее въ добавокъ съ новою гипотезой. Онъ предполагаетъ существованіе въ насъ особаго «геометрическаго чувства», завѣдывающаго нашими понятіями о линіяхъ, плоскостяхъ, объемахъ и т. д. Если на этомъ геометрическомъ чувствѣ, предоставленномъ самому себѣ, попытаться построить науку, то изъ этого не можетъ выдти ровно ничего. Но, сравнивая различныя сужденія о геометрическихъ явленіяхъ, мы увидимъ, что есть нѣсколько истинъ, относительно которыхъ всѣ согласны; напримѣръ, что двѣ величины, равныя порознь третьей, равны между собой. Такія общепризнанныя истины суть аксіомы, изъ которыхъ, рядомъ логическихъ выводовъ, строится наука, рѣшающая самыя сложныя задачи. Таковъ образецъ распредѣленія долей участія чувства и разума, по такому же образцу должно быть построено и ученіе о нравственности. Нравственное чувство должно дать аксіомы, изъ которыхъ, путемъ логическихъ выводовъ, можетъ быть построена научная теорія нравственности.

Мы можемъ на минуту остановиться и посмотрѣть, къ чему мы пришли.

Понятія Спенсера, по крайней мѣрѣ какъ автора «Соціальной Статики», о нравственномъ чувствѣ, о принципѣ утилитаризма, даже о такихъ вещахъ, какъ происхожденіе нашихъ знаній, очевидно крайне сбивчивы, сбивчивы до неуловимости. И дальше мы встрѣтимся съ этою сбивчивостью въ еще большихъ размѣрахъ. Такъ, напримѣръ, мы видѣли, какъ сильно отстаиваетъ онъ существованіе нравственнаго чувства; а ниже (глава XXX, § 9) онъ говоритъ, между прочимъ, что «*отсутствіе нравственнаго чувства* дѣлаетъ людей совершенно неспособными понимать отвлеченное право человѣка на свободу; такъ Платонъ, не смотря на свою интеллектуальную силу, допускалъ въ свой идеалъ деспотизмъ одного класса общества». Аргументація Спенсера, очевидно, также крайне слаба. Доводы его противъ утилитаризма или не выдерживаютъ никакой критики, или съ гораздо большимъ правомъ могутъ быть обращены противъ него самого. Если наши понятія о пользѣ, о счастьи крайне разнообразны, то развѣ не менѣе разнообразны велѣнія нравственнаго чувства? И если разнорѣчивость послѣднихъ показываетъ только, что построеніе этической доктрины сопряжено съ извѣстными трудностями, то почему не показываетъ того же разнорѣчивость понятій о счастьи? Далѣе, можно, конечно, привести еще длиннѣйшій, чѣмъ какой приводитъ Спенсеръ, рядъ примѣровъ неудачнаго исхода мѣръ, направленныхъ ко благу человѣчества, къ счастью. Но что же изъ этого слѣдуетъ? Только то, что это были мѣры неудачныя, а отнюдь не то, что мы должны отказаться отъ преслѣдованія своего счастія, какъ цѣли. Собственно говоря, здѣсь заключается единственное благовидное возраженіе Спенсера утилитаристамъ, но только утилитаристамъ, а не утилитаризму, исполнителямъ, а не принципу. Спенсеръ, повидимому, хочетъ доказать, что невозможно достигнуть счастія, если мы будемъ въ дѣйствіяхъ своихъ руководствоваться поверхностнымъ эмпиризмомъ; что мы не можемъ ограничиваться въ этомъ отношеніи эмпирическимъ обобщеніемъ грубыхъ наблюденій, а должны опираться на законы жизни, словомъ, ввести въ наши пріемы дедукцію. Это совершенно справедливо. Справедливо и то, что многіе утилитаристы грѣшатъ въ этомъ направленіи. Но какое до этого дѣло утилитаризму? Утилитаризмъ говоритъ только, что мы должны стремиться къ «наибольшему счастью наибольшаго числа», а затѣмъ, пріемы, при помощи которыхъ мы будемъ проводить это стремленіе, подлежатъ обыкновенной оцѣнкѣ логики. Пріемъ, противъ котораго ратуетъ Спенсеръ, одинъ изъ утилитаристовъ, Милль, прекрасно охарактеризовалъ въ своей «Системѣ Логики» подъ именемъ «опытнаго или химическаго метода» и призналъ его радикально негоднымъ. Еслибы въ самой доктринѣ утилитаризма заключалось что-нибудь такое, что требовало бы исключительно эмпирическихъ обобщеній, т.-е. несовершенныхъ пріемовъ, тогда упреки Спенсера были бы основательны. Но на дѣлѣ этого нѣтъ. Мало того, утилитаризмъ, вводя въ дѣло понятія личнаго страданія и наслажденія, уже тѣмъ самымъ обязываетъ насъ повѣрять эмпирическія обобщенія выводами изъ законовъ человѣческой природы. И какъ бы блистательно Спенсеръ ни доказывалъ, что такими-то и такими-то путями счастье не достигается, онъ не только не наноситъ никакого ущерба принципу утилитаризма, но и самъ не выходитъ изъ его предѣловъ. Въ самомъ дѣлѣ, когда человѣкъ отрицаетъ нѣчто единственно потому, что это нѣчто не ведетъ къ счастью, онъ разсуждаетъ, какъ настоящій утилитаристъ. Онъ этимъ только подтверждаетъ извѣстную похвальбу утилитаристовъ, что въ сущности всѣ ихъ самые ярые противники на дѣлѣ руководствуются утилитарными соображеніями и въ своихъ опроверженіяхъ не могутъ выбиться изъ круга идей утилитарнаго свойства. На Спенсерѣ эта похвальба оправдывается особенно блистательно. Дѣйствительно, если, какъ говоритъ самъ Спенсеръ, нравственное чувство, призываемое имъ для радикальной реформы въ области этики, «стремится создать понятіе о хорошихъ и дурныхъ поступкахъ, которое соотвѣтствовало бы испытываемымъ удовольствіямъ и страданіямъ», то что же это, какъ не утилитаризмъ? За вычетомъ гипотезы нравственнаго чувства, утилитаріанская этика, какъ наука, утверждаетъ именно тотъ фактъ, что всегда и вездѣ количество и качество страданій и наслажденій опредѣляетъ собою понятія о нравственности. Она даже больше ничего не утверждаетъ. Она только и говоритъ, что таково именно, свойство человѣческой природы, и затѣмъ расширяетъ понятіе личнаго счастья до идеи «наибольшаго счастья наибольшаго числа». Все, ведущее къ этому счастью, есть благо, все, вредящее ему—есть зло. Выгодное положеніе утилитаризма состоитъ именно въ томъ, что онъ, въ противность утвержденію Спенсера, обладаетъ аксіомой, истиной, безспорной до безсодержательности, если только мы не станемъ спорить о словахъ. Счастье есть критерій нравственности — это истина несомнѣнная, истина даже не этическая, а психологическая, даже, быть можетъ, физіологи-

ческая. И всѣ усилія противниковъ утилитаризма должны о нее разбиться. Трудности для утилитаризма лежатъ не въ этой аксіомѣ, а въ оцѣнкѣ различныхъ видовъ счастья, въ ихъ градаціи, въ уясненіи того кульминаціоннаго пункта счастья, къ которому для насъ обязательно стремиться, жертвуя низшими ступенями. Утилитаристы сами это всегда понимали и много работали надъ этими вопросами. Можно утверждать, что усилія ихъ не увѣнчались успѣхомъ, и мнѣ кажется, что оно въ самомъ дѣлѣ такъ. Но это не значитъ отвергать самый принципъ утилитаризма. Эти трудности много что равняются процессу логическихъ выводовъ, которые Спенсеръ рекомендуетъ дѣлать изъ аксіомъ, будто бы даваемыхъ намъ нравственнымъ чувствомъ.

Что касается до нравственнаго чувства, то трудно опредѣлить, какое мѣсто оно занимаетъ въ этической системѣ Спенсера, какъ онъ его понимаетъ и зачѣмъ оно ему понадобилось. Прибѣгая къ аналогіи съ гипотетическимъ «геометрическимъ чувствомъ», Спенсеръ замѣчаетъ, что для дѣла безразлично, какимъ путемъ добываются нами математическія аксіомы. Достаточно того, что мы ихъ имѣемъ, а усвоили ли мы ихъ путемъ наблюденія и опыта или же онѣ суть нѣкоторыя врожденныя намъ истины — это для настоящаго вопроса, для его аналогіи, не важно. Между тѣмъ, оно очень важно, потому что, съ одной стороны, утилитаристы утверждаютъ, что наши понятія о нравственно дурномъ и нравственно хорошемъ слагаются опытнымъ путемъ, и то же самое говоритъ собственно и Спенсеръ, когда объясняетъ, что нравственное чувство санктируетъ или отвергаетъ извѣстное поведеніе, сообразно испытываемымъ нами удовольствіямъ и страданіямъ; съ другой стороны, Спенсеръ иногда прямо говоритъ, что нравственныя идеи не могутъ быть получены опытнымъ путемъ. Понятна важность этого разногласія, и потому Спенсеру не слѣдовало обходить его, хоть бы просто въ видахъ ясности изложенія. Еслибы еще Спенсеръ прямо утверждалъ, что нравственное чувство есть врожденная способность безошибочно отличать добро отъ зла, мы, по крайней мѣрѣ, знали бы, съ кѣмъ мы имѣемъ дѣло. А то и этого нѣтъ. Спенсеръ говоритъ, что нравственное чувство замѣнить логики не можетъ, что въ построеніи этики ему всецѣло довѣряться нельзя. Наконецъ, мы увидимъ далѣе, что на дѣлѣ Спенсеръ и не думаетъ извлекать изъ нравственнаго чувства ни одной аксіомы, что на дѣлѣ онъ употребляетъ тѣ же пріемы, какихъ держатся утилитаристы, либо прибѣгаетъ къ телеологическимъ умствованіямъ, образчикъ которыхъ мы уже имѣли въ разсужденіи: такъ какъ честное поведеніе каждаго необходимо для общаго счастья, то долженъ существовать соотвѣтственный стимулъ—нравственное чувство.

Такъ или иначе, но мы до сихъ поръ не получили ничего взамѣнъ принципа утилитаризма. Нельзя, разумѣется, смотрѣть на нравственное чувство, какъ на этическій принципъ, потому что это только санкція неизвѣстнаго принципа, которую, пожалуй, и утилитаристы не отрицаютъ, если только не видѣть въ ней древа безошибочнаго познанія добра и зла. Такъ, напримѣръ, Милль, на страницѣ 65-й русскаго перевода статьи объ утилитаризмѣ говоритъ: «Внутренняя санкція нравственной обязанности всегда одна и та же, каковъ бы ни былъ нашъ нравственный принципъ. Санкцію эту составляетъ наше собственное чувство, то мученіе, болѣе или менѣе сильное, которое мы чувствуемъ при неисполненіи нами долга и которое въ правильно развитыхъ натурахъ доходитъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ до такой силы, что нарушеніе долга дѣлается для нихъ совершенною невозможностью. Это-то чувство, совершенно безкорыстное, истекающее изъ чистой идеи долга, безъ всякой примѣси какихъ-либо посторонихъ элементовъ, и есть то, что называется совѣстью... И на вопросъ: какая же санкція утилитаріанскаго принципа? я отвѣчаю, не колеблясь, что эта санкція—та же, что и всѣхъ другихъ нравственныхъ принциповъ, т.-е. совѣсть человѣческая». Что же это значитъ? что если дикарь видитъ свой долгъ въ принесеніи человѣческихъ жертвъ, то неисполненіе этой обязанности произведетъ въ немъ угрызенія совѣсти; такія же угрызенія совѣсти будетъ чувствовать вдова индуса, не взошедшая на костеръ вмѣстѣ съ его трупомъ; такія же угрызенія совѣсти будутъ мучить и аскета, соблазнившагося женскою красотой, и искренняго православнаго, оскоромившагося въ великій постъ, и утилитариста, свернувшаго съ пути наибольшаго счастья наибольшаго числа людей. Вотъ единственная, хотя и громадная роль нравственнаго чувства. Это роль тяжелой, прочной крышки, прикрывающей сосуды со всевозможнымъ содержаніемъ, именно крышки, а не содержимаго сосуда и даже не самого сосуда.

II.

Должна ли нравственная теорія принимать въ соображеніе людей, каковыми мы ихъ знаемъ въ настоящее время, каковы они въ дѣйствительности? Вотъ странный вопросъ который задаетъ себѣ Спенсеръ и

на который онъ къ удивленію отвѣчаетъ отрицательно: нѣтъ не должна. Потому не должна, что «такого рода изслѣдованіе могло бы имѣть значеніе только тогда, еслибы свойства человѣческія не измѣнялись. Если система нравственности принимается или отвергается только потому, что она согласна съ тѣмъ, что мы знаемъ о людяхъ и о вещахъ, то, слѣдовательно, предполагается, что люди и вещи всегда будутъ такими, какими мы ихъ теперь знаемъ». (Лемма первая, § 1). Заявивъ это странное мнѣніе, Спенсеръ на нѣсколькихъ страницахъ приводитъ доказательства измѣнчивости человѣческой природы. Факты, на которые онъ при этомъ ссылается, не особенно характерны. А главное, какова бы ни была сила его доказательствъ, они совершенно излишни. Вопросъ не въ томъ, измѣняется человѣкъ или нѣтъ; вопросъ въ томъ, должна ли нравственная теорія принимать въ соображеніе дѣйствительныхъ людей; вопросъ далѣе въ томъ, дѣйствительно ли это принятіе въ разсчетъ людей, какими мы ихъ знаемъ, неизбѣжно связано съ предположеніемъ абсолютной неизмѣняемости человѣка. Очевидно, что такой связи вовсе нѣтъ, потому что въ число нашихъ знаній о человѣкѣ входитъ и знаніе о его измѣняемости. Ничто не мѣшаетъ намъ, принимая въ соображеніе людей, каковы они въ дѣйствительности, ввести въ свои разсчеты и понятіе измѣняемости, роста человѣка. Мало того, всякая этическая доктрина уже своимъ существованіемъ свидѣтельствуетъ, что она вѣритъ въ измѣняемость человѣка, ибо она разсчитываетъ измѣнить характеръ его нравственныхъ воззрѣній, повліять на него въ ту или другую сторону. И изъ какихъ же матеріаловъ построимъ мы этику, если отбросимъ все, что мы знаемъ о человѣкѣ? Передъ этимъ вопросомъ отступятъ даже доктрины, приписывающія себѣ сверхъестественное происхожденіе и, слѣдовательно, наименѣе нуждающіяся въ знаніи дѣйствительныхъ силъ и свойствъ человѣка. Тѣмъ страннѣе взглядъ Спенсера, который только-что передъ тѣмъ укорялъ утилитаристовъ за недостаточное вниманіе къ законамъ человѣческой природы. Если Спенсеръ хотѣлъ сказать, что нѣкоторыя изъ извѣстныхъ намъ свойствъ человѣка должны лечь въ основаніе правильной нравственной теоріи, а другія — нѣтъ, то какимъ образомъ произвести такую сортировку, какъ узнать, что пойдетъ въ прокъ, что въ бракъ? Во всякомъ случаѣ, это задача, подлежащая рѣшенію уже готовой системы нравственности, и начинать постройку съ нея дѣло немыслимое. Ратуя противъ «согласія этической теоріи съ тѣмъ, что мы знаемъ о человѣкѣ», Спенсеръ просто пугается въ словахъ и смѣшиваетъ двѣ совершенно различныя вещи. Одно дѣло санктировать всѣ существующія отношенія и видѣть въ нихъ предѣлъ, его же не прейдеши. И другое дѣло дать людямъ, каковы они въ дѣйствительности, руководство для установленія нравственныхъ отношеній. Отрицая санкцію данныхъ отношеній, Спенсеръ, вслѣдствіе чистаго недоразумѣнія, за одно захватываетъ даже вовсе не по пути лежащую вещь: сообщеніе людямъ, каковы они есть, правилъ нравственности — и отрицаетъ и его. Онъ приходитъ къ тому заключенію, что «система нравственности заключаетъ въ себѣ собраніе правилъ, способныхъ руководить человѣчество въ самомъ совершенномъ его состояніи», т.-е. именно тогда, когда никакія правила и руководства не будутъ нужны. Ну, а намъ грѣшнымъ, что дѣлать? Вамъ?—отвѣчаетъ Спенсеръ:

Подите прочь! Какое дѣло
Философу до васъ?!

Это, конечно, сокращенная формула того, что Спенсеръ отвѣчаетъ намъ грѣшнымъ. Онъ говоритъ это гораздо болѣе пространно. Онъ говоритъ вотъ что:

Не смотря на то, что совершенный нравственный законъ неизбѣжно приходится не подъ силу нынѣ дѣйствующему несовершенному человѣку, послѣднему нѣтъ никакого другого выхода. Онъ не можетъ слѣдовать совершенному нравственному закону и потому ему остается только терпѣть послѣдствія нарушенія закона. Законы природы исключеній не знаютъ, таковъ же и нравственный законъ. «Идти противъ законовъ этики невозможно». Сознаніе ихъ непреложности никогда не оставляло человѣчество. Задатки идеи причинной связи въ примѣненіи къ міру нравственныхъ явленій Спенсеръ видитъ во всѣхъ древнихъ и новыхъ религіяхъ, ибо онѣ предсказывали, что такой-то проступокъ вызоветъ такое то наказаніе. Это воззрѣніе Спенсеръ считаетъ совершенно резоннымъ и приводитъ порабощеніе негровъ, запретительные тарифы и нѣкоторыя дѣйствія англичанъ въ Индіи, какъ образцы «уклоненій отъ нравственнаго закона», за коими немедленно слѣдуетъ наказаніе. Потомъ онъ изобрѣтаетъ даже особый «законъ возвратнаго дѣйствія», въ силу котораго всякій безнравственный поступокъ обрушивается своими вредными послѣдствіями на совершившаго его. Нравственныя требованія безусловны, говоритъ Спенсеръ, и говоритъ, что такое-то правило справедливо въ принципѣ, но неудобно на практикѣ, никто не имѣетъ права. «Если человѣкъ называетъ извѣстное поведеніе абстрактно истиннымъ или справедливымъ, то онъ выражаетъ этимъ убѣжденіе, что *оно*

ведетъ по пути къ человѣческому счастью. Подобное выраженіе или должно имѣть этотъ смыслъ, или оно не имѣетъ никакого. Затѣмъ, когда онъ на практикѣ предлагаетъ не слѣдовать этому правилу, онъ явно имѣетъ надежду исправить ошибку этого руководителя! Итакъ, сказавъ сначала, что такова-то истинная дорога къ счастью, онъ потомъ выражаетъ мнѣніе, что знаетъ болѣе близкую. На молчаливое повелѣніе природы «дѣлай это», онъ отвѣчаетъ, что, сообразивъ всѣ обстоятельства, онъ полагаетъ, что можетъ поступить лучше. Сомнѣваться въ предусмотрительности и въ дѣйствительности законовъ природы и предполагать съ безконечною самоувѣренностью, что человѣческое сужденіе можетъ быть безошибочнымъ—вотъ настоящее невѣріе, вотъ истинный атеизмъ. Пусть человѣкъ оставитъ свою неумѣстную претензію критиковать великій божій міръ съ точки зрѣнія своего кусочка мозга. Пусть онъ пойметъ, что существуетъ дѣйствительно истинный законъ, хотя онъ и лежитъ покуда за предѣлами его разсудка; пусть онъ слѣдуетъ этому закону въ благоразумномъ молчаніи, повинуясь ему, какъ закону несомнѣнному». (Лемма вторая, § 6).

Исходя изъ того положенія, что этика должна заниматься только совершенствомъ, Спенсеръ приходитъ къ утѣшительной мысли, что многіе, трудно одолимые вопросы, надъ которыми до сихъ поръ билась нравственная философія, должны быть выкинуты за бортъ. «Система чистой нравственности не можетъ признавать зла. Она вполнѣ игнорируетъ заблужденія, несправедливости и преступленія, она не указываетъ, что слѣдуетъ дѣлать, если подобные поступки совершены. Она игнорируетъ преступленіе закона, ибо излагаетъ только то, въ чемъ заключается существо закона. Она говоритъ только: вотъ начала, на основаніи которыхъ люди должны дѣйствовать, и если эти начала нарушены, то она только и можетъ сказать, что они нарушены. Если ее кто-нибудь спроситъ, что́ ему слѣдуетъ дѣлать, когда его сшибутъ съ ногъ, она не дастъ отвѣта, она можетъ только сказать, что нападеніе заключаетъ въ себѣ нарушеніе закона и порождаетъ ложное отношеніе. Она не говоритъ, какимъ образомъ нужно обращаться съ воромъ; она говоритъ только, что воровство заключаетъ въ себѣ нарушеніе соціальнаго равновѣсія. Вопросъ: въ чемъ состоятъ истинные принципы человѣческаго поведенія? совершенно отличенъ отъ вопроса: какъ слѣдуетъ поступать, когда эти принципы нарушены? Послѣдній даже едва ли допускаетъ какое-нибудь рѣшеніе». (Глава I, § 3).

Здѣсь грѣшный человѣкъ останавливаетъ, наконецъ, разбѣжавшагося философа и обращается къ нему съ такою рѣчью:

— Почтенный философъ, мнѣ очень нравится ваша мысль: построить никуда негодную нравственную философію. На этомъ пунктѣ васъ въ утилитаризмѣ упрекнуть нельзя. А что такова именно ваша задача, это очевидно: вы желаете построить такую этику, которая для меня недоступна, а для совершенныхъ людей не нужна, которая, значитъ, ни Богу свѣча, ни чорту кочерга. Но мнѣ кажется нѣсколько страннымъ, что вы, сколько мнѣ извѣстно, такой же грѣшный человѣкъ, какъ и я, человѣкъ но совершенный, нашли для себя возможнымъ писать для совершенныхъ людей руководство. Такая смѣлость развѣ только тѣмъ и объясняется, что совершеннымъ людямъ, какъ не нуждающимся ни въ какомъ руководствѣ, можно подсунуть какое угодно—все равно, они въ печку бросятъ. Во всякомъ случаѣ, ваша смѣлость тѣмъ поразительнѣе, что вы тутъ же громите «безконечную самоувѣренность» людей, полагающихъ, что «человѣческое сужденіе можетъ быть безошибочнымъ». Ваше сужденіе, смѣю думать, то же человѣческое. Мнѣ бы хотѣлось знать, кто вамъ сказалъ, что нравственный законъ записанъ гдѣ-нибудь на скрижаляхъ природы, что «долгъ» и «обязанность» суть объективныя реальности, а не факты, существующіе только въ нашемъ сознаніи. Я осмѣливаюсь думать, что «законъ возвратнаго дѣйствія», законъ естественной кары всякаго преступленія, вами сотворенъ изъ ничего. Вы считаете разныхъ брамиповъ предтечами своего ученія. Но я навѣрное знаю, что всѣ ихъ доктрины, не смотря на свои громкія заглавія, имѣютъ своимъ источникомъ человѣческое сужденіе, до такой степени человѣческое, что тутъ было даже не безъ грубаго мошенничества. Въ примѣръ «закона возвратнаго дѣйствія» вы приводите результаты порабощенія негровъ и покровительственной торговой политики. Но вы прежде всего забываете, что мы съ вами пока еще только толкаемся, такъ сказать, въ прихожей этики; мы еще не рѣшили и не знаемъ, въ чемъ состоитъ нравственный законъ. Зачѣмъ же вы забѣгаете впередъ и объявляете порабощеніе негровъ и запретительные тарифы, неизвѣстно на какомъ основаніи, нарушеніями нравственнаго закона? Я знаю, что были люди, которые, можетъ быть, и до сихъ поръ не перевелись, люди, совершенно искренно считавшіе извѣстныя отношенія къ неграмъ безусловно нравственными. Это имъ говорило ихъ нравственное чувство, и ни разу стоны негра подъ ударами плети не вызывали въ нихъ угрызеній совѣсти. Я знаю многихъ людей, не только не считающихъ запретительной торговой по-

литики нарушеніемъ нравственнаго закона, но видящихъ въ ней начало болѣе справедливаго порядка вещей. Это имъ говоритъ ихъ нравственное чувство. Вопросы эти, значитъ, по крайней мѣрѣ, открытые. Далѣе, вы ссылаетесь на невыгодные результаты обѣихъ вышеупомянутыхъ мѣръ. Но вы впадаете, такимъ образомъ, въ столь ненавистный вамъ утилитаризмъ. Впрочемъ, вы впадаете въ него еще глубже, когда говорите: «если человѣкъ называетъ извѣстное поведеніе абстрактно истиннымъ или справедливымъ, то онъ выражаетъ этимъ убѣжденіе, что оно ведетъ по пути къ человѣческому счастью. Подобное выраженіе или должно имѣть этотъ смыслъ, или оно не имѣетъ никакого». Это—утилитаризмъ pur sang. Но пойдемъ дальше. И такъ, вы оцѣниваете запретительную политику и порабощеніе негровъ съ точки зрѣнія невыгодности ихъ результатовъ. Но замѣтьте, что самая эта невыгодность есть еще вопросъ нерѣшенный. Многіе держатся противнаго мнѣнія. Конечно, подробный анализъ фактовъ можетъ устранить всякія разногласія на счетъ ихъ объективной стороны. Но при этомъ можетъ встрѣтиться вотъ что: сильные въ государствѣ фабриканты добиваются низкихъ пошлинъ на заграничные товары, что, въ концѣ концовъ, отзывается, предположимъ, тяжело на потребителяхъ и рабочихъ. Но виновники этого, фабриканты, по крайней мѣрѣ, то поколѣніе ихъ, которое затѣяло и провело это дѣло, обогащаются и чувствуютъ себя прекрасно. Съ точки зрѣнія утилитаризма изъ этого затрудненія выдти довольно просто, но законъ естественной кары въ этомъ случаѣ, очевидно, манкируетъ своею обязанностью. Виновники торжествуютъ, а наказаніе обрушивается на невинныхъ. Почтенный философъ, я могъ бы привести множество подобныхъ случаевъ, на основаніи которыхъ я вполнѣ удерживаю за собою право «критиковать великій божій міръ съ точки зрѣнія своего кусочка мозга». Я утверждаю, что ни въ природѣ, ни въ обществѣ нѣтъ такого предуставленнаго равновѣсія, въ силу котораго за преступленіемъ само собою слѣдуетъ наказаніе. Я утверждаю, что нравственный законъ существуетъ только въ нашемъ сознаніи. Я, грѣшный человѣкъ, котораго вы не хотите знать, я дошелъ до этой истины не только отвлеченными разсужденіями, я на своихъ плечахъ вынесъ ее изъ жизни. Впрочемъ, я знаю, что намъ еще придется съ вами объ этомъ побесѣдовать. Поэтому возвращаюсь къ вашему отношенію ко мнѣ. Вы негодовали на утилитаризмъ за то, что онъ не можетъ мнѣ помочь. Но утилитаризмъ не говорилъ, по крайней мѣрѣ, что вопросъ о томъ, какъ поправить зло, не допускаетъ никакого рѣшенія. Вы ставите меня въ положеніе, безъ сравненія труднѣйшее. Вы убѣждаете меня признать существованіе нравственнаго закона и повиноваться ему «въ благоразумномъ молчаніи» и тутъ же заявляете, что этотъ законъ «лежитъ покуда за предѣлами, доступными моему разсудку». Чему же я буду повиноваться? Какъ я буду слѣдовать закону, мнѣ неизвѣстному и недоступному? Можетъ быть, прочитавъ вашу книгу, я узнаю, въ чемъ дѣло. Но, во-первыхъ, ваша книга написана не для меня, вы мнѣ сами это сказали. Во-вторыхъ, меня удивляетъ, что законъ, недоступный мнѣ, оказывается доступнымъ вамъ: вѣдь вы такой же грѣшный человѣкъ. Въ-третьихъ, наконецъ, не знаю, что я найду въ концѣ вашей книги, но начинаете вы свое дѣло не особенно блистательно, по моему человѣческому сужденію. Вы выкидываете за бортъ корабля нравственной философіи множество вещей, меня крайне интересующихъ. Ну, дѣлать нечего. Но, не смотря на удобства вашего положенія, и оно имѣетъ свои трудности. Вы говорите, что система этики не должна признавать зла, что она вполнѣ игнорируетъ заблужденія, несправедливости и преступленія. Но возможно ли это? Мнѣ кажется, нѣтъ. Вѣдь, для того, чтобы отринуть зло, надо же его познать, надо надъ нимъ болѣе или менѣе долго оперировать, и, слѣдовательно, чистыя руки чистой этики неизбѣжно о него замараются. Конечно, этотъ процессъ отдѣленія плевелъ отъ пшеницы, козлищъ отъ овецъ можетъ быть обойденъ, но только въ такомъ случаѣ, если вы какъ-нибудь по вдохновенію получите списокъ добродѣтелей и преступленій, такъ что вамъ самимъ не придется надъ этимъ работать. Повидимому, вы отчасти уже и приступаете къ сортировкѣ дѣяній по вдохновенію. Мы еще съ вами не знаемъ, въ чемъ состоитъ нравственный законъ, еще не рѣшили даже, въ какой мѣрѣ онъ намъ доступенъ, а вы уже, какъ это и раньше съ вами случалось, забѣгаете впередъ и объявляете, что ошибаніе съ ногъ есть нарушеніе нравственнаго закона, что воровство заключаетъ въ себѣ нарушеніе соціальнаго равновѣсія. Намъ пока это вовсе не извѣстно. Я зналъ вора, который видѣлъ въ своей профессіи, напротивъ, возстановленіе соціальнаго равновѣсія и доказывалъ это довольно ловко, не прибѣгая къ вдохновенію, какъ вы. Ваше начало многаго не обѣщаетъ, не обѣщаетъ ни того, чтобы вы дѣйствительно, выполнили свою программу и совершенно игнорировали зло, ни того, чтобы внѣ-программныя экскурсіи въ область зла были сколько-нибудь удачны.

Что такое зло? спрашиваетъ Спенсеръ и

отвѣчаетъ: зло есть страданіе, а всякое страданіе имѣетъ своимъ источникомъ недостатокъ приспособленности къ условіямъ существованія. Это законъ для всѣхъ дѣятелей природы безъ исключенія, слѣдовательно, и для человѣка. Но почему же человѣкъ такъ долго не можетъ приспособиться къ условіямъ своего существованія, и можно ли разсчитывать, что когда-нибудь онъ избавится отъ страданій, отъ зла? «Люди не приспособлены къ жизни въ обществѣ исключительно потому, что они отчасти еще имѣютъ свойства, приспособленныя къ жизни въ состояніи, предшествовавшемъ обществу. Обстоятельства прежней жизни человѣка требовали, чтобы онъ жертвовалъ благосостояніемъ другихъ для своего собственнаго; современная его обстановка требуетъ совершенно другого». Но старыя дрожжи еще сидятъ, и отъ происходящей такимъ образомъ неприспособленности зависитъ все зло, какое существуетъ въ обществѣ, отъ войнъ до салонныхъ скандаловъ. Цивилизація есть сумма результатовъ уже имѣющагося приспособленія, а прогрессъ есть самый процессъ приспособленія, долженствующій, по мнѣнію Спенсера, завершиться совершенствомъ. Доказательства этого резюмируются у него въ слѣдующихъ пяти тезисахъ:

1) Всякое несовершенство заключается въ недостаткѣ приспособленія къ условіямъ существованія.

2) Этотъ недостатокъ долженъ заключаться или въ чрезмѣрности одного или нѣсколькихъ свойствъ, или въ ихъ недостаточности, или, наконецъ, въ чрезмѣрности однихъ и недостаточности другихъ.

3) Чрезмѣрна та способность, для которой условія существованія не представляютъ достаточнаго круга дѣятельности; недостаточна та, отъ которой условія существованія требуютъ больше, чѣмъ она можетъ дать.

4) Существенный принципъ жизни заключается въ томъ, что способность, которая по обстоятельствамъ не имѣетъ полнаго круга дѣятельности, ослабляется; а способность, отъ которой условіями существованія требуется усиленная дѣятельность, возрастаетъ.

5) Такое возрастаніе однѣхъ способностей и ослабленіе другихъ должно продолжаться до окончательнаго приспособленія, то-есть, до прекращенія несовершенства. Такимъ путемъ исчезнетъ все то, что мы называемъ зломъ и безнравственностью.

Эти пять тезисовъ чрезвычайно важны и заслуживаютъ самаго серьезнаго вниманія. Такъ какъ они тѣсно связаны съ самою сутью книги Спенсера, то мы ихъ разсмотримъ, когда дойдемъ до этой сути. А теперь взглянемъ на очень любопытную III главу, озаглавленную такъ: «Божественная идея и условія ея осуществленія». Въ ней Спенсеръ снисходительно замѣчаетъ, что «еслибы Бэнтамъ, не предлагая свою идею «наибольшаго счастья» въ видѣ правила для человѣческаго поведенія, сталъ просто утверждать, что наибольшее счастье есть цѣль творенія, то его положеніе было бы довольно вѣрно». «Немногіе между цивилизованными народами, продолжаетъ Спенсеръ, способны отвергать, что человѣческое благополучіе вполнѣ согласно съ желаніемъ божіимъ; можетъ быть, такого народа даже и вовсе не найдется. Ученіе это преподается всѣми нашими религіозными проповѣдниками, его придерживаются всѣ писатели о нравственности, его, безъ сомнѣнія, можно разсматривать, какъ общепринятую истину. Большая разница между мнѣніемъ, что наибольшее счастье есть цѣль творенія, и мнѣніемъ, что наибольшее счастье есть непосредственная цѣль человѣка (еще бы!). Роковая ошибка утилитарной философіи состояла въ томъ, что она смѣшала эти положенія... Наше дѣло состоитъ въ опредѣленіи условій, съ которыми намъ слѣдуетъ сообразоваться, чтобы наибольшее счастье могло быть достигнуто. Мы не должны основываться на предположеніяхъ; мы не должны дѣлать то или другое, потому что это кажется намъ полезнымъ; но мы должны разрѣшить, каково, дѣйствительно, должно быть наше поведеніе для того, чтобы оно привело къ желаемому концу». Въ другихъ мѣстахъ Спенсеръ еще энергичнѣе настаиваетъ на той мысли, что природа насъ сама ведетъ къ наибольшему счастью, и что соваться сюда, критиковать «гигантскій планъ», дѣлать въ немъ какія-либо поправки есть дерзость, преступленіе. Такъ, въ XXII главѣ, трактуя о дѣятельности государственныхъ людей и политиковъ, онъ не находитъ достаточно сильныхъ словъ для пораженія ихъ стремленія «поправлять ошибки Всевѣдующаго». На свѣтѣ, говоритъ онъ, нѣтъ ничего безцѣльнаго—все направлено къ добру, къ совершенству, и если и встрѣчаются мѣстами небольшія несчастія и несовершенства, то они также не мѣшаютъ общему благому теченію событій, какъ горы и пропасти не мѣшаютъ землѣ быть шарообразной. Въ главѣ XXV Спенсеръ въ нѣкоторомъ родѣ предвосхищаетъ теорію Дарвина ровно на столько, на сколько она не мѣшаетъ телеологическому міросозерцанію. Онъ говоритъ: «Мы видимъ, что во всей природѣ дѣйствуетъ строгая дисциплина, которая хотя нѣсколько жестока, но за то весьма благодѣтельна. Состояніе всеобщаго взаимнаго преслѣдованія, которое мы встрѣчаемъ вездѣ среди низшихъ видовъ, сбиваетъ съ толку многихъ. Однакожъ, это въ сущности самая милосердная комбинація, какая только была

возможна при данныхъ обстоятельствахъ». Въ подтвержденіе Спенсеръ указываетъ на такіе факты, какъ истребленіе хищными преимущественно такихъ травоядныхъ, которыя либо уже очень стары, либо болѣзненны, либо недостаточно быстры и ловки, чѣмъ предупреждается ухудшеніе расы; далѣе, на обычныя между животными сраженія въ періодъ течки, причемъ истребляются слабые, хилые, плохіе производители. Та же мысль о естественномъ тяготѣніи всѣхъ вещей къ совершенству, внушаетъ Спенсеру отвращеніе къ правительственному вмѣшательству. Въ главѣ XXVIII, посвященной вопросу о санитарной полиціи, онъ требуетъ уничтоженія всякой опеки и предлагаетъ предоставить невѣжественный народъ его невѣжеству и всякимъ шарлатанамъ и знахарямъ. Онъ доказываетъ, что страданіе есть совершенно естественное и заслуженное наказаніе для невѣжества, но что здѣсь же лежитъ и путь къ исправленію: наименѣе развитые истребятся, а остальные, будучи подчинены дисциплинѣ опыта, обезпечатъ развитіе расы, способной сообразоваться съ условіями существованія. Становиться между невѣжествомъ и его естественными послѣдствіями, значитъ, по мнѣнію Спенсера, изъявлять слишкомъ большія претензіи и мечтать превзойти благостію самого Бога.

Отвергать телеологическія воззрѣнія «Соціальной Статики» нѣсколько странно, и я думаю, что лучше всего сослаться въ этомъ случаѣ на самого Спенсера. Въ «Основаніяхъ Біологіи» (томъ I, 225), читаемъ:

«Какъ понять, что животныя были предначертаны и построены такъ, что стало необходимостью это кровопролитіе? Отчего, далѣе, почти во всякомъ видѣ численность рождающихся особей такъ велика, что большинство неизбѣжно гибнетъ съ голоду или отъ насилія, еще не достигнувъ зрѣлости? Признающіе, что каждый разрядъ организмовъ былъ спеціально предначертанъ, должны признать: либо, что со стороны Создателя было обдуманное желаніе вызвать эти результаты, либо, что онъ не могъ предупредить этихъ результатовъ.. Что же изъ двухъ предпочтутъ они? Напрасно станутъ намъ толковать, что уничтоженіе менѣе сильнаго болѣе сильнымъ есть средство къ предупрежденію бѣдствій, влекомыхъ немощью и неспособностью, и что, слѣдовательно, уничтоженіе это благодѣтельно. Потому что, еслибы наибольшая смертность была даже между престарѣлыми, а не между молодыми, то все-таки возникъ бы неотразимый вопросъ— отчего животныя не были такъ устроены, чтобы не существовало этого зла?.. До тѣхъ поръ, пока мы разсматриваемъ только истребленіе низшаго высшимъ, можно сказать, что нѣкоторое добро истекаетъ изъ зла — извѣстный итогъ жизни болѣе *высокаго* порядка поддерживается принесеніемъ ему въ жертву бо̀льшаго итога жизни болѣе *низкаго* порядка. Также, пока оставляется въ сторонѣ всякая смертность, кромѣ той, которая, унося наименѣе совершенныхъ представителей вида, оставляетъ жизнь болѣе совершеннымъ, то можно сказать, что причиненное страданіе вознаграждается нѣкоторымъ благомъ. Но что сказать о тѣхъ безчисленныхъ случаяхъ, когда страданіе не приноситъ вознаграждающаго блага? Что сказать объ уничтоженіи высшаго низшимъ? Что сказать о приспособленіяхъ, обезпечивающихъ благосостояніе неспособнаго къ ощущеніямъ существа на счетъ страданія существъ, способныхъ испытывать счастье?»

Такова разница между Спенсеромъ «Соціальной Статики» и Спенсеромъ «Основаній Біологіи». И по истинѣ изумительно, какъ могъ Спенсеръ допустить второе изданіе «Статики» въ 1864 году. Еслибы измѣненіе воззрѣній ограничивалось какими-нибудь мелочами, такъ куда ни шло. Но, не говоря уже о томъ, что вѣра въ счастье, какъ въ цѣль природы, составляетъ сплошной фонъ, на которомъ вышиты узоры «Соціальной Статики», это вѣрованіе самымъ тѣснымъ образомъ, органически связано со многими важнѣйшими ея положеніями. Выкинувъ ее, Спенсеръ долженъ бы былъ написать совершенно новую книгу. Съ другой стороны, однако, извѣстныя намъ изъ позднѣйшихъ сочиненій Спенсера воззрѣнія на прогрессъ и на соціальный организмъ весьма удобно вяжутся съ принятою имъ въ «Соціальной Статикѣ» телеологическою точкой зрѣнія.

Именно эта телеологическая точка зрѣнія обязала Спенсера написать, какъ онъ выражается, «систему чистой этики», практическое руководство для совершенныхъ людей, не нуждающихся въ руководствѣ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ ни ненаучна эта точка зрѣнія въ области чистой теоріи, она тутъ, все-таки можетъ кое-какъ держаться, можетъ давать свое объясненіе, хотя и несомнѣнно ложное, болѣе или менѣе обширному кругу явленій. Но въ области практики она, если можно такъ выразиться, физически невозможна. Если все, помимо нашего участія, само собой идетъ къ предопредѣленному счастливому концу, то очевидно, что нашего участія тутъ и не нужно. Основные вопросы всякой практики, въ томъ числѣ и этики, какъ искусства, вопросы: что дѣлать? какъ дѣлать? не могутъ быть даже и обращены къ послѣдовательному телеологу. Что дѣлать? когда и безъ моего дѣланія все идетъ прекрасно? Не знаю— вотъ все, что можетъ отвѣтить человѣкъ,

придерживающійся этого ученія, а иной можетъ еще прибавить, какъ Спенсеръ: и знать не хочу. Съ одной стороны, ничего не дѣлать нельзя, а съ другой — всякое наше дѣланіе имѣетъ въ виду учинить нѣкоторую поправку въ ходѣ вещей. Можно принять, что благія цѣли природы осуществляются при помощи людской дѣятельности, и тогда, повидимому, относительно практики споръ выйдетъ только о словахъ. Пусть существуетъ, положимъ, предопредѣленное счастье, какъ неизбѣжная цѣль природы. Я могу, вмѣстѣ съ тѣмъ, признать его своею собственною цѣлью и работать за одно съ природой. Но дѣло въ томъ, что телеологическая точка зрѣнія, послѣдовательно проведенная, должна санктировать всевозможныя дѣянія: разъ они существуютъ, значитъ входятъ въ планъ природы. Если, какъ говоритъ Спенсеръ, въ природѣ нѣтъ ничего безцѣльнаго, то не безцѣльны, значитъ, и войны, и порабощеніе негровъ, и правительственное вмѣшательство, и все, съ чѣмъ онъ такъ яро ратуетъ. Какое право имѣетъ онъ «критиковать великій божій міръ съ точки зрѣнія своего кусочка мозга»? Спенсеръ очень любитъ употреблять особенный критическій пріемъ, напоминающій извѣстный силлогизмъ о плѣшивомъ: если я у тебя вырву одинъ волосъ изъ головы, будешь ли ты плѣшивъ? — Нѣтъ. — А если два?—Нѣтъ.—А если три? — нѣтъ, и т. д., пока, наконецъ, я у тебя не вырву всѣхъ волосъ и ты все-таки плѣшивъ не будешь. Такъ противникамъ частной собственности Спенсеръ, между прочимъ, возражаетъ такъ: если яблоко, сорванное тобою въ своемъ саду, не есть твоя собственность, то оно не собственность и тогда, когда ты его кладешь въ ротъ, и тогда, когда ты его жуешь, и тогда, когда ты его переваривaешь, и тогда, когда оно поступаетъ въ составъ твоего тѣла: слѣдовательно, твое тѣло не принадлежитъ тебѣ. Съ гораздо большимъ правомъ подобный критическій пріемъ можетъ быть обращенъ къ самому Спенсеру, такъ какъ онъ ищетъ абсолюта и полагаетъ, что нашелъ его. И въ такомъ случаѣ его не трудно бы было заставить признать нарушеніями нравственнаго закона даже такія дѣянія, какъ вареніе и жареніе пищи или ношеніе одежды. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ жарить рябчиковъ и носить панталоны не значитъ «поправлять ошибки Всевѣдующаго?» Еслибы было нужно, онъ, безъ сомнѣнія, сотворилъ бы жареныхъ рябчиковъ, и мы рождались бы въ панталонахъ...

Вотъ непреодолимыя трудности, представляющіяся телеологу въ области практики. Понятно поэтому стремленіе Спенсера разрубить узелъ по александровски и, сочинивъ этику для совершенныхъ людей, обойти практику совершенно. Но такъ какъ самъ онъ человѣкъ не совершенный, то удержаться на предположенной высотѣ для него дѣло немыслимое, вслѣдствіе чего ему и приходится отдѣлываться фразами вродѣ вышеприведенныхъ: «Мы не должны основываться на предположеніяхъ; мы не должны дѣлать то или другое, потому что это кажется намъ полезнымъ; но мы должны разрѣшить, каково дѣйствительно должно быть наше поведеніе для того, чтобы оно привело къ желаемому концу». Рекомендуемое здѣсь, очевидно, равняется отрицаемому. Всякій утилитаристъ можетъ смѣло сказать вмѣстѣ со Спенсеромъ: да, мы должны разрѣшать, каково дѣйствительно должно быть наше поведеніе для того, чтобы оно привело къ желаемому концу.

Такимъ образомъ, выворачивая формулу утилитаризма на изнанку въ теоріи, практически Спенсеръ не можетъ выбиться изъ ея предѣловъ.

Мы видѣли, какъ Спенсеръ жестоко упрекалъ утилитаристовъ за то, что они, стремясь создать совершенное, берутъ себѣ въ основаніе несовершенство, именно правительственныя учрежденія, законодательство. При этомъ Спенсеръ отрицаетъ не ту или другую форму правленія, а самый принципъ; онъ отказывается признать даже такой порядокъ вещей, въ которомъ дѣла рѣшались бы большинствомъ девяноста девяти голосовъ изъ ста, ибо это все-таки несовершенство. Но утилитаристы и не претендуютъ на созданіе совершенства, они даютъ практическія правила намъ грѣшнымъ. Спенсеръ другое дѣло, и потому его собственныя требованія должны быть приложены къ нему во всей ихъ строгости.

Приступая къ изученію условій, съ которыми мы должны сообразоваться для полученія правилъ поведенія, Спенсеръ говоритъ, что на первомъ мѣстѣ здѣсь стоитъ непреложный фактъ — жизнь въ обществѣ. «Вслѣдствіе рокового хода вещей», говоритъ онъ, мы очутились въ обществѣ, «мы находимъ этотъ порядокъ въ дѣйствительности, мы поставлены въ необходимость существовать при этихъ условіяхъ и, слѣдовательно, мы должны разсматривать такое положеніе, какъ одно изъ условій, которыя намъ необходимо признать, создавая для себя правила къ достиженію наибольшаго счастья» (III, 2). Понятно, что къ этому разсужденію могутъ быть обращены всѣ тѣ упреки, какіе Спенсеръ дѣлаетъ утилитаристамъ на счетъ законодательства. И съ гораздо большимъ правомъ, потому что утилитаристы задаются цѣлями не столь «совершенными». (Замѣтимъ мимоходомъ, что

упреки Спенсера фактически несправедливы; достаточно вспомнить «Основанія политической экономіи» Милля и его статью «О свободѣ»). Общество также можетъ быть разсматриваемо, какъ продуктъ нашего несовершенства и слабости, и совершенные люди, кто ихъ знаетъ, можетъ быть, и не будутъ нуждаться въ помощи, услугахъ и вообще въ сообществѣ себѣ подобныхъ, будутъ находить въ своемъ личномъ совершенствѣ полное удовлетвореніе. Въ такомъ случаѣ и общество можетъ быть признано фактомъ преходящимъ, опираться на который значитъ признавать неизмѣняемость человѣческой природы. Спенсеръ, повидимому, и самъ чувствуетъ возможность этихъ возраженій, онъ точно измѣняется: конфузится, ставя жизнь въ обществѣ основнымъ условіемъ правилъ морали. Такой конфузъ тѣмъ умѣстнѣе, что вѣдь Спенсеръ отвергъ принципъ наибольшаго счастья, между прочимъ, потому, что неизбѣжно предполагаетъ общество.

III.

Впрочемъ, онъ отвергъ этотъ принципъ только на словахъ. На дѣлѣ же все-таки продолжаетъ имъ руководствоваться. Такъ и теперь, признавъ общество фактомъ неизбѣжнымъ и важнымъ, онъ замѣчаетъ, что въ общественной жизни кругъ дѣятельности каждаго ограниченъ сферами дѣятельности сосѣдей; слѣдовательно, заключаетъ онъ, для достиженія наибольшаго счастія каждый долженъ получить полное благополучіе въ своей сферѣ, не уменьшая благополучія сосѣдей. Исполненіе этого условія есть *справедливость*. Но люди могутъ, и не нарушая границъ справедливости, не вторгаясь въ сферу дѣятельности сосѣдей, тѣмъ не менѣе производить на нихъ тяжелое, болѣзненное впечатлѣніе, которое естественно уменьшаетъ сумму общаго счастья. Поэтому, кромѣ справедливости, требуется, для достиженія наибольшаго счастья еще *отрицательная симпатія*. Но еще выше будетъ сумма счастья, если мы будемъ посредствомъ сочувствія участвовать въ пріятныхъ ощущеніяхъ другихъ. Такимъ образомъ, получается требованіе *положительной симпатіи*. Наконецъ, каждый человѣкъ долженъ дѣлать все необходимое для возвышенія своего собственнаго, личнаго счастья. «Созданія, долженствующія осуществить божественную идею, замѣчаетъ Спенсеръ, должны быть устроены именно такъ», чтобы приведенныя четыре условія—справедливость, отрицательная симпатія, положительная симпатія и личное счастіе—были выполнены. Намъ незачѣмъ, говоритъ Спенсеръ, пытаться опредѣлить весь рядъ послѣдствій извѣстнаго дѣйствія, какъ предлагаютъ утилитаристы, мы должны просто прикинуть мѣрку, взглянуть, соотвѣтствуетъ ли дѣйствіе вышеименованнымъ четыремъ условіямъ. Соотвѣтствуетъ, значитъ, оно нравственно, не соотвѣтствуетъ — значитъ безнравственно.

Худо ли, хорошо ли разсуждаетъ здѣсь Спенсеръ, но онъ разсуждаетъ, какъ утилитаристъ. Его четыре условія представляютъ не болѣе, какъ справочную таблицу, нѣчто вродѣ таблицъ логарифмовъ или сложныхъ процентовъ. Если, пользуясь ею, намъ нѣтъ надобности въ каждомъ частномъ случаѣ стараться опредѣлить всю цѣпь послѣдствій даннаго дѣйствія, то только потому, что эти послѣдствія уже предусмотрѣны въ таблицѣ, сгруппированы, расположены по рубрикамъ. Заглядывая въ таблицу для рѣшенія какой-нибудь нравственной задачи, мы только облегчаемъ себѣ процессъ разсчета послѣдствій, а отнюдь не обходимъ его. Въ концѣ концовъ мы оцѣниваемъ наши и чужіе поступки, все-таки принимая въ соображеніе ихъ утилитарное значеніе. Утилитаристы никогда не отказывались свести всю пеструю массу возможныхъ рѣшеній къ нѣкоторой общей формулѣ. Уже эпикурейцы древнѣйшіе изъ утилитаристовъ, резюмировали свое ученіе въ четырехъ короткихъ правилахъ: предавайся удовольствію, которое не влечетъ за собою страданія; избѣгай страданія, которое не сопряжено съ удовольствіемъ; избѣгай удовольствія, которое устраняетъ бо̀льшее удовольствіе или влечетъ за собой большое страданіе; ищи страданія, которое устраняетъ бо́льшее страданіе или обезпечиваетъ большое удовольствіе. Но ни одному утилитаристу никогда не приходило въ голову обратить свое поведеніе въ чисто механическое; никто изъ нихъ не предлагалъ ни разсуждать, ни взвѣшивать послѣдствій своихъ поступковъ. Да и невозможное дѣло тутъ ограничиться простымъ прикидываніемъ разъ навсегда составленной мѣрки. Это обнаруживается и на самомъ Спенсерѣ, какъ только онъ, окончивъ прелиминаріи, приступаетъ къ опредѣленію самого счастья и анализу условій его осуществленія.

Въ чемъ состоитъ счастье? Въ удовлетвореніи желаній; желаніе есть потребность извѣстнаго ощущенія, а ощущеніе дается дѣятельностью извѣстной способности; слѣдовательно, полное счастье состоитъ въ удовлетвореніи *всѣхъ* желаній, достигаемыхъ надлежащимъ упражненіемъ *всѣхъ* способностей. Этотъ силлогизмъ Спенсеръ желаетъ еще прикрасить «божественною идеей», что достигается простою приставкой словъ: такъ хочетъ Богъ. Но упражненіе способностей

требуетъ свободы, слѣдовательно, первое условіе счастья есть свобода, слѣдовательно, Богъ желаетъ, чтобы человѣкъ былъ свободенъ. «Повторимъ рядъ нашихъ выводовъ, обязательно предлагаетъ Спенсеръ: Богъ желаетъ человѣческаго счастья (доказательства этого положенія состоятъ, какъ мы видѣли, въ согласіи на этотъ счетъ всѣхъ народовъ, всѣхъ религіозныхъ проповѣдниковъ и всѣхъ писателей о нравственности). Человѣческое счастье можетъ быть достигнуто только упражненіемъ всѣхъ способностей. Слѣдовательно, Богъ желаетъ, чтобы человѣкъ упражнялъ свои способности. Но для того, чтобы человѣкъ могъ упражнять свои способности, ему нужна свобода дѣлать все, къ чему естественнымъ образомъ побуждаютъ способности. Итакъ, Богъ желаетъ, чтобы онъ имѣлъ эту свободу. Слѣдовательно, онъ имѣетъ право на свободу». Рядомъ силлогизмовъ этого же чекана мы приходимъ затѣмъ къ заключенію, что *всѣ* имѣютъ право на свободу. Слѣдовательно, свобода каждаго должна быть ограничена свободой всѣхъ. «Условія существованія, въ которыя мы поставлены, говоритъ Спенсеръ, не представляютъ полнаго простора для не стѣсненной дѣятельности всѣхъ». И такъ каждый свободенъ въ той мѣрѣ, въ какой его свобода не стѣсняетъ чужой. Это «законъ равной свободы», который, какъ увѣряетъ Спенсеръ, есть «существенный законъ природы», хотя можно, конечно, утвердительно сказать, что никакого такого закона въ природѣ нѣтъ, что онъ существуетъ только въ сознаніи людей, и то, разумѣется, не всѣхъ. Что въ сущности и самъ Спенсеръ смотритъ такъ на дѣло и называетъ законъ равной свободы закономъ природы единственно по недоразумѣнію, — это видно изъ того, что онъ тутъ же ставитъ вопросъ: не лучше ли признать нравственнымъ закономъ не равную свободу, а нѣчто другое? Конечно, съ закономъ природы такъ обходиться нельзя, тогда какъ нравственный законъ, т.-е. формулу пути, ведущаго къ избранной нами цѣли, мы дѣйствительно можемъ измѣнять, ибо можемъ измѣнять и самую цѣль. Не лучше ли, спрашиваетъ Спенсеръ, признать нравственнымъ закономъ слѣдующій: всякій можетъ упражнять свои способности, лишь бы не вредилъ другимъ, не причинялъ имъ страданія. Нѣтъ, отвѣчаетъ Спенсеръ. Если ненормально устроенный человѣкъ причиняетъ страданія человѣку нормальному, то это должно быть признано нарушеніемъ нравственнаго закона. Но человѣкъ нормальный не долженъ стѣсняться, если его поведеніе причиняетъ страданіе человѣку ненормальному. Тутъ Спенсеръ, не смотря на свое убѣжденіе, что не дѣло чистой этики считаться со зломъ и возиться съ мелочами, приводитъ нѣсколько примѣровъ столкновенія «нормальнаго» поведенія съ «ненормальными» чувствами, и наоборотъ. Вотъ одинъ изъ этихъ примѣровъ. Протестантъ въ католической странѣ отказывается снять шапку при встрѣчѣ съ церковною процессіей. Онъ производитъ неудовольствіе въ участникахъ процессіи, причиняетъ имъ страданіе; но онъ при этомъ не нарушаетъ нравственнаго закона, потому что его чувства нормальны, а чувства участниковъ процессіи ненормальны.

Замѣтьте, что мы до сихъ поръ все еще топчемся на мѣстѣ. Мы только что нашли нравственный законъ — законъ равной свободы и еще присматриваемся къ нему, еще думаемъ, не признать ли намъ другой законъ. А Спенсеръ опять дѣлаетъ свой въ высшей степени нефилософскій промахъ и заранѣе объявляетъ извѣстныя чувства и поступки ненормальными, а другіе — нормальными. Правда, онъ говоритъ, что чувства участниковъ процессіи потому ненормальны, что заключаютъ въ себѣ деспотизмъ и, слѣдовательно, нарушеніе закона равной свободы. Но, вѣдь, законъ равной свободы есть въ настоящую минуту подсудимый. Можетъ ли же онъ быть въ то же время судьей?

Но, продолжаетъ Спенсеръ, могутъ быть и такіе случаи, когда человѣкъ, не стѣсняя чужой свободы, все-таки оскорбляетъ чувства, совершенно нормальныя и, слѣдовательно, причиняетъ страданія, не имѣя за себя вышеприведенныхъ оправданій. Онъ можетъ уменьшать счастье другихъ, напримѣръ, грубыми выраженьями, отвратительными привычками и т. п. Какъ же быть? Что мы должны признать нравственнымъ закономъ: законъ ли равной свободы или разрѣшеніе упражнять свои способности, не причиняя страданій другимъ? Спенсеръ понимаетъ, что это двѣ разныя, хоть и близкія между собою формулы, и что обѣ онѣ не вполнѣ удовлетворительны, потому что ни одна изъ нихъ не покрываетъ собою всѣхъ подлежащихъ явленій. Намъ была обѣщана формула безусловная, универсальная, при которой намъ не нужно бы было справляться съ возможными послѣдствіями нашихъ и чужихъ поступковъ. А между тѣмъ, мы сидимъ и разсчитываемъ послѣдствія, какъ какіе-нибудь утилитаристы. Наконецъ, Спенсеръ, какъ настоящій утилитаристъ, счетомъ и мѣрой доходитъ до признанія относительнаго превосходства закона равной свободы. Но передъ нимъ встаетъ новый рядъ явленій, завѣдомо разрушающихъ счастье, но не подлежащихъ осужденію съ точки зрѣнія закона равной свободы. Таковы самоубійство, пьянство, грубость, обжорство и т. п., по

сколько они чужой свободы не стѣсняютъ, а счастье и свое, и чужое несомнѣнно страшнымъ образомъ уменьшаютъ. Тутъ Спенсеру, наконецъ, ужъ надоѣдаетъ возиться съ нами грѣшными: онъ объявляетъ, что явленія вродѣ вышеприведенныхъ этика должна просто пренебречь, а противъ послѣдствій такого пренебреженія люди должны ограждать себя «какъ сумѣютъ лучше».

Такое пренебреженіе Спенсеръ мотивируетъ, между прочимъ, тѣмъ, что если наложить на дѣятельность человѣка еще рядъ ограниченій, кромѣ тѣхъ, которыя налагаются уже закономъ равной свободы, то приводить эти ограниченія въ исполненіе будутъ люди, и, слѣдовательно, эти люди будутъ имѣть больше свободы, чѣмъ остальные, а потому новый рядъ ограниченій долженъ повести къ нарушенію основного закона, то-есть, закона равной свободы. Но, очевидно, что, разсуждая такимъ образомъ, мы откроемъ въ самомъ законѣ равной свободы основное, коренное противорѣчіе. Одно изъ двухъ: либо мы можемъ и должны воспитать въ себѣ чувство долга, достаточно сильное для того, чтобы ни въ какомъ случаѣ не разрушать чужого счастья какъ на пунктѣ равной свободы, такъ и на пунктѣ дальнѣйшихъ ограниченій; либо же ограниченія, налагаемыя на нашу дѣятельность закономъ равной свободы, требуютъ себѣ такой же поддержки власти, какъ и всякія другія ограниченія. Въ послѣднемъ случаѣ законъ равной свободы будутъ приводить въ исполненіе люди, и, слѣдовательно, эти люди будутъ имѣть больше свободы, чѣмъ остальные, и, слѣдовательно, въ законѣ равной свободы окажется глубокая внутренняя трещина. Какъ бы то ни было, но, съ точки зрѣнія, принятой Спенсеромъ, съ точки зрѣнія «чистой этики», игнорирующей послѣдствія какъ жизненныхъ фактовъ, такъ и доктринъ, совершенно незаконно оставлять безъ призора цѣлые ряды явленій на основаніи такого двусмысленнаго и плоскоутилитарнаго соображенія.

Итакъ, божественная идея наибольшаго счастья должна осуществляться путемъ упражненія способностей, но для достиженія своей цѣли налагаетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, на человѣка извѣстныя ограниченія. Сообразно этому, въ самомъ человѣкѣ существуетъ нѣчто, побуждающее его упражнять свои способности и уважать назначенные его дѣятельности предѣлы. Это нѣчто есть нравственное чувство. Повинуясь этому стимулу, люди постоянно обнаруживаютъ, по мнѣнію Спенсера, наклонность утверждать равенство правъ. Онъ ссылается при этомъ на фразу какого-то манифеста короля Эдуарда I, на слова акта объ объявленіи американской независимости, на нѣкоторыя мысли Локка, даже, наконецъ, на уличную болтовню въ такомъ родѣ: «я имѣю такое же право, какъ ты». Эта наклонность, утверждаетъ Спенсеръ, постоянно растетъ, что доказывается опять примѣрами вродѣ вышеприведенныхъ. Параллельно съ развитіемъ и усиленіемъ идеи равноправности, развивается и усиливается энергія въ отстаиваніи каждымъ своихъ собственныхъ правъ. А отсюда Спенсеръ заключаетъ о существованіи особаго «инстинкта личныхъ правъ», необъяснимаго пріобрѣтеннымъ опытомъ (глава V, § 3-й).

Это разсужденіе представляетъ образецъ того грубаго эмпиризма, въ которомъ Спенсеръ уличаетъ утилитаристовъ — образецъ, какого, можетъ быть, не найдется во всей мало-мальски серьезной соціологической литературѣ. Что существуютъ люди, дѣйствительно одушевляемые идеей равноправности—на это можно бы было привести доказательства болѣе солидныя, чѣмъ фразы королевскихъ манифестовъ и уличная болтовня. Но еслибы даже таковыя и были приведены, то не въ сочиненіи же всякій разъ новыхъ инстинктовъ и стимуловъ должно состоять рекомендуемое Спенсеромъ обращеніе къ законамъ человѣческой природы. Такой методъ былъ бы ужъ черезчуръ простъ, особенно если принять въ соображеніе вѣсъ фактовъ, на которыхъ основывается Спенсеръ. Онъ нашелъ въ людяхъ наклонность утверждать равенство правъ. Но другой, порывшись въ исторіи даже менѣе поверхностно, чѣмъ онъ, можетъ натолкнуться на наклонность утверждать, напротивъ, неравенство правъ — наклонность, вслѣдствіе которой осуществленіе божественной идеи должно встрѣчать нѣкоторыя препятствія. Въ нынѣшнемъ году, 1872 отъ Рождества Христова, вышла книжка Ренана «La réforme intellectuelle et morale». Въ ней, между прочимъ, читаемъ: «Человѣческая жизнь стала просто невозможностью, еслибы человѣкъ отказался отъ права подчинять животныхъ своимъ требованіямъ. Точно такою же невозможностью жизнь оказалась бы и въ томъ случаѣ, еслибы восторжествовало отвлеченное ученіе, что всѣ родятся съ одинаковыми правами на богатство и всякое соціальное положеніе» (стр. 243). И далѣе: «Для воспитанія меньшинства требуется тяжелый трудъ большинства. И нельзя называть меньшинство привилегированнымъ, а большинство—обездоленнымъ, ибо задача человѣчества едина и нераздѣльна. Устраните этотъ великій законъ, подведите всѣхъ подъ одинъ уровень, дайте всѣмъ равныя права, развяжите узы подчиненія общему дѣлу — и вы получите эгоизмъ, мелочность, сухость, жизнь станетъ

невозможна» (стр. 247). Надо замѣтить, что строки эти написаны не въ состояніи невмѣняемости, не подъ вліяніемъ отчаянія въ виду несчастій Франціи; они перепечатаны изъ «Revue des Deux Mondes» 1869 года, когда горизонтъ Франціи еще не омрачался. Мы не думаемъ дѣлать какіе-либо выводы изъ существованія приведенныхъ мнѣній, хотя они, будучи высказаны во второй половинѣ XIX столѣтія извѣстнымъ ученымъ, могли бы послужить все-таки болѣе прочнымъ базисомъ, чѣмъ манифестъ Эдуарда I. Но если мы будемъ приглядываться не къ болѣе или менѣе удачно выбраннымъ единичнымъ воззрѣніямъ, а къ общему теченію современной мысли, то найдемъ въ немъ весьма широкую и весьма важную струю, мало соотвѣтствующую оптимистическому взгляду Спенсера.

По мѣрѣ того, какъ реальный смыслъ словъ «свобода» и «право» приближается къ своему окончательному выясненію, идеи, подобныя идеямъ Ренана, получаютъ сильное распространеніе. Въ новѣйшее время онѣ удостоились санкціи сливокъ науки и философіи въ лицѣ Дарвина и его комментаторовъ, въ лицѣ самого Спенсера и сторонниковъ идеи соціальнаго организма. Правда, между воззрѣніями представителей либеральной философіи и воззрѣніями Ренана есть разница. Либеральная философія дарвинистовъ составляетъ королларій либеральной экономической доктрины. Ренанъ же является сторонникомъ принципа родовой аристократіи, столь ненавистнаго либерализму. Либеральная философія не устаетъ требовать равенства правъ, Ренанъ его рѣшительно отрицаетъ. Однако это различіе чисто формальное, и если принимать въ соображеніе реальное содержаніе понятія права—а его принималъ въ соображеніе уже Гоббсъ («право на цѣль предполагаетъ право на средства, нужныя для достиженія ея». De Cive. I, 8)—то различіе исчезаетъ, и Ренанъ окажется, ни болѣе, ни менѣе, какъ откровеннымъ либеральнымъ философомъ.

Мы не настаиваемъ на этомъ пунктѣ. Но не трудно видѣть, что аргументація Спенсера представляетъ зданіе, построенное на пескѣ; что даже избранный имъ пріемъ—простое перечисленіе случаевъ обнаруженія наклонности утверждать равенство правъ—употребляется имъ поразительно легкомысленно. О мнѣніи же его, что идея равноправности есть идея врожденная, независимая отъ опыта, мы не считаемъ нужнымъ и говорить.

За то, вслѣдъ за этою легковѣсностью, Спенсеръ дастъ читателю нѣсколько отдохнуть падъ нѣсколькими страницами, чрезвычайно любопытными. Такъ какъ «инстинктъ личныхъ правъ» есть инстинктъ совершенно своекорыстный, то является вопросъ: какимъ образомъ можетъ онъ развиваться и усиливаться параллельно развитію и усиленію равноправности? Для разъясненія этого вопроса Спенсеръ прибѣгаетъ къ теоріи нравственныхъ чувствъ Адама Смита и, при помощи смитовской «симпатіи», доказываетъ, что высокое понятіе о своихъ собственныхъ правахъ всегда сопровождается уваженіемъ къ правамъ другихъ. Можно оспаривать существованіе такого закона, можно, а, по нашему мнѣнію, даже должно, требовать для него извѣстныхъ ограниченій, но, во всякомъ случаѣ, въ книгѣ Спенсера мы здѣсь впервые встрѣчаемся съ очеркомъ дѣйствительно статическаго закона—закона сосуществованія извѣстныхъ явленій. Это въ значительной степени должно быть приписано тому обстоятельству, что дедуктивная часть изслѣдованія Спенсера опирается на готовую и весьма замѣчательную теорію Смита.

Затѣмъ Спенсеръ приступаетъ къ перечисленію и анализу главнѣйшихъ правъ. Онъ разсматриваетъ «право на жизнь и личную свободу», «право пользованія землей», «право собственности», «право собственности на идею», «право собственности на репутацію», «право мѣны», «право свободнаго слова», «права женщинъ», «права дѣтей», «право игнорировать государство». Понятія объ этихъ правахъ получаются чисто діалектическимъ путемъ, такъ что логическій процессъ ихъ добычи мало интересенъ. Мы остановимся только на нѣкоторыхъ правахъ, любопытныхъ въ качествѣ элементовъ политической программы или по другимъ причинамъ.

Право поземельной собственности. Такъ какъ нравственный законъ разрѣшаетъ и даже предписываетъ каждому свободу, насколько оно не стѣсняетъ свободы другихъ, то, слѣдовательно, каждый можетъ пользоваться землей, насколько не мѣшаетъ пользоваться ею и другимъ. Поэтому, «естественная справедливость» не допускаетъ личной поземельной собственности. Въ самомъ дѣлѣ, если одинъ завладѣетъ извѣстнымъ клочкомъ земли, другой другимъ, третій третьимъ и т. д., то, наконецъ, весь земной шаръ попадетъ въ частныя руки и несобственникамъ не найдется мѣста даже для подошвы ноги; фактически они будутъ во власти землевладѣльцевъ, они будутъ лишены свободы. Притомъ, если мы обратимъ вниманіе на происхожденіе нынѣшней поземельной собственности, то увидимъ, что она пріобрѣтена насиліемъ, мечемъ. Правда, послѣдующіе владѣльцы тутъ не при чемъ,

они получили свои участки по наслѣдству, по завѣщанію, путемъ купли. Но развѣ завѣщаніе и продажа могутъ породить право тамъ, гдѣ его не было съ самаго начала? Если одинъ переходъ собственности изъ рукъ въ руки самъ по себѣ не можетъ служить основаніемъ праву, то, очевидно, также безсильны въ этомъ отношеніи и многіе переходы, ибо кто можетъ опредѣлить число переходовъ, достаточныхъ для обращенія несправедливаго въ справедливое? Можно бы было, повидимому, искать опоры въ давности. Но опять-таки, почему мы можемъ остановиться, напримѣръ, на десятилѣтнемъ срокѣ, а не на пятилѣтнемъ или двадцатипятилѣтнемъ? Что касается до того, полезно ли сохранить права нынѣшнихъ владѣльцевъ, то для чистой этики вопросъ этотъ не существуетъ. Обработка земли и вообще всѣ тѣ улучшенія, какія могутъ быть произведены въ полученномъ по наслѣдству или покупкой участкѣ земли, даютъ право только на вознагражденіе со стороны общества за вложенный трудъ и капиталъ. Относительно же права поземельной собственности представляются только два рѣшенія, не нарушающихъ закона равной свободы: либо страна должна быть раздѣлена по ровну между всѣми членами общества, либо она должна оставаться въ рукахъ общества и отдаваться имъ участками въ аренду частнымъ лицамъ. Равномѣрное распредѣленіе поземельныхъ участковъ представляется физически невозможнымъ, вслѣдствіе естественной неравномѣрности качествъ почвы, различія въ доступности участковъ, близости и отдаленности ихъ отъ центровъ населенія и т. п. Остается, слѣдовательно, арендная система, причемъ соискателемъ, на основаніи закона равной свободы, можетъ быть каждый. За уплатой ренты весь излишекъ произведеній земли составляетъ полную собственность арендатора. Но какъ привести эту операцію въ исполненіе? Какъ вознаградить нынѣшнихъ землевладѣльцевъ? Это вопросъ сложный и «рѣшить его справедливымъ путемъ трудно». Но до этого чистой этикѣ нѣтъ дѣла. «Пускай люди, виновные въ нарушеніи нравственнаго закона, справляются, какъ знаютъ».

Право собственности. Отрицаніе права личной поземельной собственности отнюдь не ведетъ къ отрицанію права собственности вообще. Коммунизмъ и соціализмъ совершенно несостоятельно и несправедливо требуютъ равнаго раздѣла произведеній земли. Справедливость требуетъ только равной свободы для всѣхъ и каждаго, причемъ всякій имѣетъ право на все то удовлетвореніе и на всѣ тѣ источники удовлетворенія, которыхъ онъ можетъ достигнуть въ предѣлахъ равной свободы. Если при этомъ берутъ верхъ ловкіе, прилежные, сильные надъ слабыми и лѣнивыми, то нравственный законъ и справедливость ни мало не нарушаются. Далѣе, отрицатели права собственности упускаютъ изъ виду, что потребность собственности есть одинъ изъ существенныхъ элементовъ человѣческой природы.

Права женщинъ. Если женщина не должна имѣть правъ, равныхъ правамъ мужчины, то, значитъ, Создатель предназначилъ ее для рабства. Но кто же посмѣетъ утверждать это? Затѣмъ, Спенсеръ даетъ очеркъ настоящаго статическаго закона; именно, онъ доказываетъ, что деспотизмъ въ государствѣ всегда и непремѣнно сопровождается деспотизмомъ въ семьѣ.

Права дѣтей. Здѣсь Спенсеръ развиваетъ систему воспитанія безъ всякихъ принудительныхъ мѣръ, рекомендуя кротость и благой примѣръ, какъ наилучшую дисциплину. При такихъ условіяхъ воспитатель и дитя становятся въ отношенія равной свободы; права дѣтей оказываются равными правамъ родителей и воспитателей. Но есть однако, повидимому, предѣлъ такой равноправности. Можно ли признать за дѣтьми политическія права? Нѣтъ, это нелѣпость, въ которой однако законъ равной свободы вовсе не виноватъ. «Еслибы всѣ повиновались нравственному закону, то не было бы и правительства, а еслибы не было правительства, то изъ нравственнаго закона не предстояло бы надобности выводить политическія права дѣтей». (XVII, 9).

Право игнорировать государство. Подъ этимъ Спенсеръ разумѣетъ права каждаго объявить себя внѣ закона, выдѣлить себя изъ государственной церкви, не платить налоговъ, не исполнять другихъ повинностей и проч. Спенсеръ весьма пространно доказываетъ это право, но заключаетъ главу о немъ такъ: «Пусть, впрочемъ, никто не пугается выше изложеннаго ученія. Еще много должно совершиться перемѣнъ, прежде чѣмъ оно начнетъ пользоваться большимъ вліяніемъ. Вѣроятно, много лѣтъ пройдетъ, прежде, чѣмъ право игнорировать государство получитъ всеобщее признаніе даже въ теоріи. Тяжкій опытъ достаточно проучитъ тѣхъ, кто слишкомъ рано откажется отъ законнаго покровительства». (XIX, 7).

Далѣе у Спенсера идетъ очеркъ границъ правительственнаго вмѣшательства. Въ принципѣ онъ отрицаетъ не только государство, не только ту или другую форму правленія, но и власть общины, и власть такого большинства, какъ 99 голосовъ изъ 100. Тѣмъ не менѣе, разными побочными путями онъ

приходитъ къ необходимости предоставить правительству судъ, защиту, охрану правъ, веденіе оборонительной войны, хотя все это, замѣчаетъ онъ, какъ проявленія насилія, съ отвлеченной точки зрѣнія безнравственно. Разсуждая объ этихъ пунктахъ, онъ говоритъ, между прочимъ, что что бы мы ни выбрали, то-есть, предоставимъ ли вышеозначенныя функціи правительству или упразднимъ ихъ вовсе, въ сущности, «мы, во всякомъ случаѣ, поступимъ дурно». Но если необходимость побуждаетъ насъ передать въ руки правительства защиту правъ, судъ и оборонительную войну, то далѣе нельзя уступить уже ни одной пяди. Народное образованіе, колонизація, санитарныя мѣры, почта, бумажныя деньги и чеканка монеты — все это должно быть въ рукахъ частныхъ лицъ на коммерческомъ правѣ. Только при этихъ условіяхъ можетъ быть осуществленъ законъ равной свободы, т. е. всѣ въ равной мѣрѣ могутъ упражнять свои способности, что собственно и составляетъ счастье. Могутъ замѣтить, что между свободой и упражненіемъ способностей, расширеніемъ дѣятельности возможны столкновенія. Правительство, дѣлая, напримѣръ, элементарное обученіе обязательнымъ, очевидно, вторгается въ область личной свободы, совершаетъ насиліе, но вмѣстѣ съ тѣмъ способствуетъ расширенію сферы личной дѣятельности и разностороннему упражненію способностей. Слѣдуетъ ли допускать такое, повидимому, благотворное вмѣшательство? Нѣтъ, отвѣчаетъ Спенсеръ, потому что «это будетъ добро, сопровождаемое зломъ». Притомъ же, такая опека ослабляетъ силы опекаемыхъ, препятствуя ихъ самодѣятельности. Пусть каждый дѣйствуетъ, какъ умѣетъ и можетъ. Чѣмъ болѣе дадутъ себя чувствовать неудобства неспособности, тѣмъ скорѣе народъ достигнетъ, въ теченіе поколѣній, достаточнаго развитія. Тутъ Спенсеръ предается уже извѣстнымъ намъ соображеніямъ о Провидѣніи, ведущемъ насъ прямымъ путемъ къ счастью, и о преступности вмѣшательства въ дѣло божіе. Съ этой точки зрѣнія правительственное вмѣшательство и революціи оказываются, по существу своему, одинаково несправедливыми, преждевременными и безплодными, ибо все, что должно придти, придетъ въ свое время, ни раньше, ни позже, придетъ само собой. Прогрессъ постепененъ. Онъ говоритъ однимъ: «будьте увѣрены, что демократія осуществится, какъ скоро народъ будетъ достаточно хорошъ для этого». Онъ говоритъ другимъ: «не бойтесь, демократія не явится слишкомъ рано, если только народъ дойдетъ до нея мирнымъ путемъ». (XX, 13).

IV.

Говорить о книгѣ Спенсера чрезвычайно трудно. Мы уже почти кончили ея изложеніе, а между тѣмъ, въ головѣ читателя едва ли составилось ясное и цѣльное представленіе какъ о предметѣ книги, такъ и о свойствахъ воззрѣній Спенсера. Какъ бы ни велика была въ этомъ доля нашего неумѣнья, но нельзя не видѣть, что само произведеніе Спенсера лишено всякой цѣльности. Это сочиненіе, такъ сказать, многоцентренное. Но такъ какъ оно при этомъ въ высшей степени слабо, и цѣнныя мысли, находящіяся въ немъ, можно сравнить развѣ съ маленькими кристаллами золота, вкрапленными въ груду кварца, то мы и не особенно старались сводить несведенные авторомъ, да и не подлежащіе сведенію концы съ концами. Мы дѣлаемъ исключеніе только въ пользу вышеупомянутыхъ пяти тезисовъ и не изложеннаго еще нами конца сочиненія Спенсера, которые тщательно разсмотримъ въ слѣдующій разъ. Они этого дѣйствительно заслуживаютъ и притомъ допускаютъ дѣйствительно критическое отношеніе къ себѣ. До сихъ же поръ мы должны были по необходимости довольствоваться простымъ изложеніемъ сочиненія Спенсера по главамъ и параграфамъ, сопровождая ихъ нѣкоторыми комментаріями. Мы можемъ теперь нѣсколько сконцентрировать свои замѣчанія на главахъ, содержащихъ перечисленіе и анализъ различныхъ «правъ» и очеркъ границъ правительственнаго вмѣшательства.

Невыдержанность и многоцентренность «Соціальной Статики» совершенно объясняются двумя главными ошибками Спенсера: желаніемъ его написать руководство для совершенныхъ людей и телеологическою точкой зрѣнія въ этикѣ. И то, и другое при малодальской послѣдовательности невозможно, а потому Спенсеру приходится на каждомъ шагу балансировать, то заявляя неисполнимыя требованія, то дѣлая ненужныя уступки. Что такое, напримѣръ, «право игнорировать государство»? Конечно, не болѣе, какъ пустой звукъ, потому что несовершенные люди, какъ говоритъ и самъ Спенсеръ, не пользуются, не пользовались, не будутъ и не могутъ имъ пользоваться; а люди совершенные, какими ихъ представляетъ себѣ опять таки самъ Спенсеръ, вовсе не будутъ нуждаться въ такомъ правѣ, ибо въ ту пору и государство существовать не будетъ. Желаніе Спенсера написать этику для совершенныхъ людей похоже, по своимъ результатамъ, на желаніе пройтись единовременно по двумъ плоскостямъ, изъ которыхъ одна на нѣсколько аршинъ выше другой. Человѣ-

ку, задумавшему столь головоломное предпріятіе, пришлось бы на каждомъ шагу отрекаться отъ него идти непремѣнно то по высшей, то по низшей плоскости обѣими ногами. Такъ и Спенсеру приходится писать то для совершенныхъ, то для несовершенныхъ людей, то принимать въ соображеніе зло, то не принимать, то снисходить къ слабости человѣка, то закрывать передъ ней глаза. Не менѣе головоломна и задача сопрячь этику съ телеологіей, ибо этика есть совокупность правилъ для борьбы съ стихійными силами, телеологія же предполагаетъ ненужность и вредность такой борьбы, вѣруя и неся, что стихійныя силы, по существу своему, благи. Поэтому Спенсеру, опять-таки, приходится идти то по одной, то по другой плоскости, то требовать измѣненія теченія стихійныхъ силъ, то настаивать на ихъ священной неприкосновенности. И, вглядываясь въ его очеркъ личныхъ правъ и границъ правительственнаго вмѣшательства, мы натыкаемся на цѣлый ворохъ противорѣчій, обязанныхъ своимъ происхожденіемъ головоломности основныхъ задачъ.

Ученіе Спенсера о поземельной собственности, будучи избавлено отъ телеологическихъ и метафизическихъ украшеній, могло бы стать ядромъ замѣчательнаго соціологическаго построенія — мы еще, вѣроятно, будемъ имѣть случай объ этомъ поговорить. Но здоровая сторона этого ученія стоитъ внѣ всякой связи съ остальными воззрѣніями Спенсера. Спрашивается, почему не предоставить поземельныя отношенія естественному теченію стихійныхъ силъ? Зачѣмъ эта картина земного шара, сплошь занятаго собственниками, такъ что несобственникамъ нѣтъ мѣста даже для подошвы ноги? Не богохульство ли это? Далѣе, кто будетъ производить сложную операцію оцѣнки, разверстки, отдачи въ аренду поземельныхъ участковъ, выдачи вознагражденія за сдѣланныя улучшенія, постройки и т. п.? Конечно, извѣстныя выборныя лица, тѣ самыя, которымъ предоставлены уже судъ и, слѣдовательно, вѣроятно, расправа, охраненіе правъ, оборонительная война. Но, какъ замѣчаетъ Спенсеръ въ другомъ мѣстѣ, эти лица будутъ, значитъ, пользоваться бо́льшею свободой, чѣмъ остальные, и этимъ нарушается основной нравственный законъ. Съ другой стороны, какъ попали въ чистую этику, игнорирующую зло, такія вещи, какъ война, судъ и т. п.? Спенсеръ признаетъ ихъ самъ съ отвлеченной точки зрѣнія, добровольно и самодовольно имъ избранной, явленіями безнравственности, но все-таки вводитъ въ свои разсчеты, между тѣмъ какъ утилитаризму ставится то же самое въ упрекъ. Спенсеръ спрашиваетъ: разъ допущено правительственное вмѣшательство, гдѣ вы положите ему предѣлъ? не станете ли предписывать извѣстный покрой платья, не будете ли регламентировать бракъ и т. п.— извѣстная уже намъ пѣсня о плѣшивомъ. Но «врачу, исцѣлися самъ», могли бы сказать сторонники правительственнаго вмѣшательства. Знаетъ ли самъ Спенсеръ предѣлы дѣятельности личности и общества? Въ этомъ, конечно, можно усомниться. Самая «либеральная» глава въ книгѣ Спенсера есть глава о санитарной полиціи. Тутъ предписываются, какъ мы видѣли, во имя свободы, и болѣзни и смерть, или, какъ выражается Спенсеръ, естественное наказаніе невѣжества. И однако тутъ же, критикуя дѣятельность санитарной лондонской полиціи во время холерной эпидеміи, Спенсеръ спрашиваетъ: почему не было сдѣлано распоряженіе первѣйшей важности, именно запрещеніе хоронить мертвыхъ въ городѣ? А почему бы это было обязательно? Хорони я своего отца хоть у себя на дворѣ, я закона равной свободы не нарушаю. И если я допущу правительство сюда, то почему бы мнѣ не регламентировать бракъ, не предписывать покрой одежды и проч.? Но допустимъ, что, отдавъ правительству судъ, оборонительную войну, надзоръ за поземельными отношеніями и кладбищами, мы вполнѣ очертили кругъ дѣятельности власти въ совершенномъ обществѣ. Во всякомъ случаѣ, мы допустили власть и, слѣдовательно, политическія права. Почему же мы вдругъ отлыниваемъ отъ рѣшенія щекотливаго вопроса о политическихъ правахъ дѣтей? Возвращаясь къ началу, мы можемъ спросить: почему разсужденіе о несправедливомъ происхожденіи нынѣшней поземельной собственности не можетъ быть приложено къ нынѣшней собственности вообще? Неужели, промѣнявъ завоеванную моимъ прапрадѣдомъ землю на фабрику или продавъ ее, я тѣмъ самымъ смываю пятно ея происхожденія? Такъ какъ при раздачѣ поземельныхъ участковъ въ аренду предполагается полная свобода конкуренціи, то не окажутся ли арендаторами исключительно теперешніе же поземельные собственники и, слѣдовательно, не окажется ли грандіозная реформа поземельныхъ отношеній фактически равною нулю? Почему потребность личной собственности признается не преходящею и вѣчной? Почему, доказавъ пользу измѣненія поземельныхъ отношеній, мы вдругъ замѣчаемъ, что «не дѣло чистой этики рѣшать, полезно ли сохранять права нынѣшнихъ владѣльцевъ»? Почему, предписывая довольно многія, чисто практическія мѣры, напримѣръ, перенесеніе кладбищъ за городъ, чистая этика вдругъ отворачивается отъ насъ грѣшныхъ и говоритъ по поводу позе-

мельнаго устройства: «Пускай люди, виновные въ нарушеніи нравственнаго закона, справляются, какъ знаютъ» и т. д., и т. д.

Вотъ безконечный рядъ противорѣчій, вызванныхъ невозможностью ходить одиновременно по двумъ плоскостямъ, изъ которыхъ одна гораздо выше другой. Очевидно, Спенсеръ, не смотря на свои громы, направленные противъ утилитаризма, есть утилитаристъ. Какъ и всякій утилитаристъ (мы могли бы сказать: какъ и всякій моралистъ, какъ и всякій человѣкъ), онъ ищетъ кратчайшихъ и легчайшихъ путей къ счастью. Другой цѣли жизни, другаго этическаго принципа онъ не знаетъ и не выставляетъ. Между нимъ и утилитаристами споръ можетъ идти только о логической правильности изысканія путей, да о томъ, что такое счастье. Каковы логическіе пріемы Спенсера—мы видѣли. Посмотримъ, что такое счастье.

V.

Припомнимъ пять тезисовъ Спенсера, на которые мы обратили вниманіе читателя, не подвергая ихъ ближайшему разсмотрѣнію:

1) Всякое несовершенство заключается въ недостаткѣ приспособленія къ условіямъ существованія.

2) Этотъ недостатокъ состоитъ или въ чрезмѣрности одного или нѣсколькихъ свойствъ, или въ недостаточности ихъ, или, наконецъ, въ чрезмѣрности однихъ и недостаточности другихъ.

3) Чрезмѣрна та способность, для которой условія существованія не представляютъ достаточнаго круга дѣятельности; неудовлетворительна та, отъ которой условія существованія требуютъ больше, чѣмъ она можетъ дать.

4) Существенный принципъ жизни состоитъ въ томъ, что способность, которая по обстоятельствамъ не имѣетъ полнаго круга дѣятельности, ослабляется; а способность, отъ которой требуется усиленная дѣятельность, возрастаетъ.

5) Такое возрастаніе способностей, на которыя есть спросъ, и ослабленіе способностей, на которыя нѣтъ спроса, должны продолжаться до окончательнаго приспособленія, то-есть, до прекращенія несовершенства. Такимъ путемъ исчезнетъ все то, что мы называемъ зломъ и безнравственностью.

Въ концѣ Соціальной Статики Спенсеръ дѣлаетъ бѣглый очеркъ ученій о прогрессѣ и соціальномъ организмѣ, которыя уже извѣстны намъ изъ позднѣйшихъ его сочиненій.

Прогрессъ есть процессъ индивидуализаціи. Степень совершенства пропорціональна степени индивидуальности. «Высшая индивидуализація должна быть связана съ наибольшею взаимною зависимостью». Противорѣчіе тутъ только кажущееся, ибо «для выполненія цѣли творенія, то-есть, для созданія наибольшей суммы счастья, должно существовать населеніе на столько значительное, что оно могло бы содержаться только при системѣ ведущей къ наибольшему производству, то-есть, при наибольшемъ раздѣленіи труда, то-есть, при наибольшей взаимной зависимости. Въ то-же время каждый долженъ имѣть возможность дѣлать все, къ чему его побуждаютъ его желанія. Эти два условія могутъ быть приведены въ гармонію только процессомъ приспособленія, которому подвергается человѣкъ». (Глава XXX, § 13-й). Именно приспособленіе постепенно отбиваетъ желанія, несообразныя съ условіями существованія въ «системѣ, ведущей къ наибольшему производству, то-есть, при наибольшемъ раздѣленіи труда, то-есть, при наибольшей взаимной зависимости».

Все это намъ болѣе или менѣе уже знакомо, но какъ часть этической доктрины, получаетъ особенный интересъ. Ближайшее опредѣленіе счастью Спенсеръ, какъ мы видѣли, даетъ такое: «Счастье состоитъ въ удовлетвореніи желаній, а желанія суть потребности въ извѣстномъ ощущеніи; ощущеніе же дается дѣятельностью извѣстныхъ способностей; удовлетвореніе *всѣхъ* желаній требуетъ надлежащаго упражненія *всѣхъ* способностей» (IV, 1). Если мы прибавимъ еще сюда законъ равной свободы, какъ высшій нравственный законъ, то получимъ все, заслуживающее вниманія въ Соціальной Статикѣ. Мы разумѣемъ все общее, не имѣя въ виду тѣхъ или другихъ частностей, замѣчательныхъ въ какомъ нибудь отношеніи. Что касается до безполезной и неудачной перебранки съ утилитаристами и самой задачи Спенсера построить этику для совершенныхъ людей, причемъ вовсе упускаются изъ виду предѣлы соціальной статики и этики, то, собственно говоря, они не стоили бы опроверженія или разбора, еслибы не принадлежали мыслителю, пользующемуся заслуженнымъ авторитетомъ. Другое дѣло совокупность вышеприведенныхъ положеній и разсужденій. Они составляютъ довольно стройное и удачно-обрамленное цѣлое, и мы не удивились бы, встрѣтивъ подъ ними подпись Спенсера не только въ 1850, а и въ нынѣшнемъ году. Они, несомнѣнно, и до сихъ поръ составляютъ его соціологическую profession de foi. Въ позднѣйшихъ его сочиненіяхъ мы вездѣ встрѣчаемъ тѣ-же самыя теоретическія начала и тѣ-же самыя практическія требованія.

Итакъ, фатальнымъ образомъ, повину-

ясь стихійной силѣ приспособленія, мы идемъ къ счастью. Собственно говоря, мы и теперь уже вполнѣ счастливы, если, отказавшись отъ всякой борьбы съ естественнымъ ходомъ вещей, забѣгаемъ ему, напротивъ, впередъ, дѣлаемъ цѣли природы своими собственными цѣлями, присоединяемъ къ ходу вещей свои личныя усилія. Съ такой точки зрѣнія, счастье состоитъ въ созерцаніи премудраго устройства вселенной и въ согласованіи съ этимъ устройствомъ своихъ поступковъ.

Это понятіе о счастьи, равно какъ и соотвѣтственные взгляды на нравственныя задачи человѣка, не новы. Они получили весьма высокое развитіе въ ученіи нѣкоторыхъ стоиковъ. Исходя изъ убѣжденія въ премудрости и цѣлесообразности устройства міра, стоики считали высокимъ счастьемъ спокойное, безстрастное созерцаніе этого божественнаго порядка. Сознаніе участія въ великомъ механизмѣ вселенной составляло другой источникъ счастья для стоиковъ. Они учили принимать отъ естественнаго хода вещей съ благодарностью все, что́ бы онъ намъ ни послалъ. Довѣріе къ мудрости Юпитера должно парализировать и слезы при потерѣ близкихъ сердцу, и стоны въ мученіяхъ лютой казни. «О вселенная—говоритъ Маркъ-Аврелій — все, что хорошо для тебя, хорошо и для меня; что необходимо въ настоящую минуту для тебя, приходитъ ни рано, ни поздно и представляется мнѣ какъ бы плодомъ, свойственнымъ этому времени года. Все исходитъ изъ тебя, все находится въ тебѣ, все существуетъ тобою, о возлюбленная обитель Юпитера!» Какъ врачъ предписываетъ невкусныя и непріятныя лекарства или даже ампутацію въ видахъ счастья больного, такъ и Богъ посылаетъ человѣку ту или другую тяжкую потерю, входящую въ великій планъ счастья вселенной. Поймите свое мѣсто въ природѣ, отождествите свое личное счастье съ цѣлями природы, и вы застрахованы отъ горя, вы счастливы. Безпорядокъ и неправильность въ природѣ не существуютъ: они только кажущіеся, и, присмотрѣвшись къ нимъ съ довѣріемъ къ мудрости боговъ, вы найдете въ нихъ только новый поводъ хвалить Юпитера, новый источникъ счастья. «Такъ, хлѣбъ трескается во время печенія въ разныхъ направленіяхъ, но эти трещины особенно вкусны». Сомнѣваться въ премудрости мірового порядка значитъ «оспаривать права Бога». Рабъ Эпиктетъ смотрѣлъ на вещи совершенно такъ-же, какъ и императоръ Маркъ-Аврелій. «Въ какомъ смыслѣ—спрашиваетъ онъ— одни дѣйствія наши считаются согласными съ нашею природой, между тѣмъ какъ другія противоположны ей? А въ томъ смыслѣ, что мы можемъ смотрѣть на себя отдѣльно и независимо отъ прочихъ предметовъ. Мы можемъ сказать, что ногѣ, по природѣ своей, слѣдуетъ быть всегда чистою; но если мы взглянемъ на нее съ точки зрѣнія ея назначенія, какъ ноги, а не отдѣльно отъ остального тѣла, то увидимъ, что часто ей приходится ступать по грязи и по колючкамъ, что иногда слѣдуетъ даже отрѣзать ее для спасенія тѣла; если она не служитъ болѣе для ходьбы, то перестаетъ быть ногой. Такимъ-же точно образомъ мы должны смотрѣть и на самихъ себя. Что я такое? Человѣкъ. Если я смотрю на себя, какъ на предметъ отдѣльный и независимый отъ прочихъ предметовъ, то слѣдуетъ, чтобы я жилъ долго, чтобы я былъ богатъ, счастливъ, здоровъ. Но если посмотрю на себя, какъ на часть вселенной, то можетъ случиться, что по отношенію къ этому цѣлому я долженъ подчиниться болѣзни, нуждѣ, или даже погибнуть преждевременною смертью. Какое-же право имѣю я жаловаться въ такомъ случаѣ? Развѣ мнѣ неизвѣстно, что, жалуясь, я перестаю быть человѣкомъ, какъ нога перестаетъ быть органомъ тѣла, когда отказывается ходить?» Разсказываютъ, что когда владѣлецъ Эпиктета, за какую-то провинность, подвергъ его пыткѣ, причемъ одна изъ ногъ стоика была закована въ особенную колодку, Эпиктетъ сказалъ: «вы сломаете мнѣ ногу». Такъ и случилось. Философъ не вскрикнулъ и ограничился словами: «я говорилъ, что сломаете». Итакъ, нога должна быть ногой. Чтобы видѣть, какъ примѣнялось стоиками это правило, достаточно вспомнить нѣкоторыя черты изъ жизни Марка-Аврелія. Всемогущій и высоко развитой императоръ, онъ терпѣливо переносилъ ненавистное ему зрѣлище гладіаторскихъ боевъ. Онъ удовольствовался тѣмъ, что далъ гладіаторамъ тупые мечи. Опережать-же свой вѣкъ онъ не считалъ себя вправѣ: нога должна быть ногой. Счастье наше, по ученію стоиковъ, всегда въ нашихъ рукахъ, при всякой обстановкѣ, при всевозможныхъ условіяхъ. Стоитъ только смотрѣть на себя, какъ на часть гигантскаго цѣлаго, вселенной, планъ которой требуетъ именно того, что съ нами случается. Природа устроена такъ премудро, что еслибы мы знали всю цѣпь причинъ и слѣдствій, приведшихъ насъ къ той или другой участи, то мы выбрали бы именно эту участь, какими бы ужасными страданіями она ни сопровождалась. Поэтому, послѣдствія нашихъ поступковъ насъ вовсе не должны интересовать. Они не въ нашихъ рукахъ, а предусмотрѣны Провидѣніемъ, Юпитеромъ. Намъ остается только принять ихъ изъ рукъ Творца и быть счастливыми сознаніемъ исполненія его воли.

Вотъ краткій очеркъ морали, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ стоиковъ, и чита-

тель видитъ, какъ близка къ ней мораль Спенсера: и тамъ, и тутъ вѣрованіе въ благое и премудрое устройство міра; и тамъ, и тутъ воззрѣніе на частныя страданія, какъ на составную часть общаго блага; и тамъ, и тутъ презрѣніе къ разсчету послѣдствій нашихъ дѣйствій; и тамъ, и тутъ предписаніе «не оспаривать правъ Юпитера»; и тамъ, и тутъ фатализмъ, для сопряженія котораго съ задачами этики требуются, утонченныя діалектическія ухищренія. Разница только въ томъ, что Спенсеръ облекаетъ свое ученіе въ болѣе опредѣленныя формы, такъ-какъ на дѣлѣ онъ все-таки не отказывается отъ разсчета послѣдствій нашей дѣятельности. Стоикъ сказалъ бы просто: я вѣрю, что смерть невѣжественныхъ людей отъ эпидемій и знахарей входитъ, какъ и все на свѣтѣ, въ великій планъ вселенной. Спенсеръ говоритъ: я знаю, что смерть невѣжественныхъ людей отъ эпидемій и знахарей входитъ въ великій планъ природы, потому что этимъ путемъ совершенствуется человѣческая раса.

Конечно, велико счастье человѣка, одѣтаго въ броню стоицизма; велико счастье человѣка, могущаго не плакать и не стонать, безстрастно смотрѣть на гибель всего для него близкаго и дорогого, спокойно переносить болѣзни и горести, утѣшая себя тѣмъ, что все это входитъ въ гигантскій планъ природы. Велико счастье Панглосса знающаго, что «все есть такъ, какъ есть, и ничто не можетъ быть не такъ, какъ оно есть, ибо все создано для извѣстной цѣли и, слѣдовательно, для самой лучшей цѣли. Такъ, носы созданы для того, чтобы носить очки, и вотъ почему мы носимъ очки; ноги, очевидно, существуютъ для штановъ, и дѣйствительно мы носимъ штаны. Камни созданы для тесанія и постройки замковъ, и вотъ у вашества прекрасный замокъ; оно и понятно—знатнѣйшему барону приличествуетъ лучшее помѣщеніе; а вотъ свиньи, такъ тѣ сотворены для того, чтобы ихъ ѣли, и мы круглый годъ ѣдимъ буженину. Значитъ, глупо говорятъ, будто все хорошо: надо говорить, что все превосходно». Велико счастье человѣка, знающаго все это. Но... но Панглоссъ преподавалъ «метафизико-теологокосмолого-нигилсологію». И съ тѣхъ поръ, какъ мы это узнали, съ тѣхъ поръ, какъ наука и сатира, философія и ежедневный практическій опытъ сняли съ природы парчевую ризу благодѣтельной матери человѣка, мы можемъ только стоять «у вратъ потеряннаго рая», стоять и вздыхать. Счастье стоиковъ уже не про насъ писано, его источилъ червь скептицизма и науки. «Человѣкъ, высоко одаренный—говоритъ Милль (Утилитаріанизмъ, 23) — постоянно будетъ чувствовать, что при тѣхъ несовершенствахъ, которыя его окружаютъ, счастье его не можетъ быть совершенно; но онъ можетъ научиться сносить эти несовершенства, если только вообще онѣ сносны, и никогда не позавидуетъ онъ тому человѣку, который ихъ не сознаетъ, но зато и не знаетъ того наслажденія, которое обусловливается ихъ сознаніемъ. Лучше быть недовольнымъ человѣкомъ, чѣмъ довольною свиньей, недовольнымъ Сократомъ, чѣмъ довольнымъ дуракомъ. Дуракъ и свинья думаютъ объ этомъ иначе, единственно потому, что для нихъ открыта только одна сторона вопроса, тогда какъ другимъ открыты для сравненія обѣ стороны». Точно также не пожелаетъ человѣкъ самаго полнаго счастья, разъ оно оказалось иллюзуарнымъ. Велико несчастье человѣка, которому приходится разставаться съ утѣшительнымъ и давно усвоеннымъ вѣрованіемъ. Горько смотрѣть, какъ вѣтеръ разноситъ во всѣ стороны обрывки идеала. Не всѣ даже способны перенести это глубокое несчастье; извѣстно, что моменты крутыхъ переломовъ въ исторіи отмѣчаются большимъ количествомъ самоубійствъ. Возможны, конечно, различныя колебанія и старанія задержать улетучиваніе счастья, сопряженнаго съ тою или другою иллюзіей. Но, въ концѣ-концовъ, Фаустъ не возьметъ счастья Вагнера, это для него гробъ повапленный, въ который онъ физіологически не можетъ лечь. Просвѣтленный наканунѣ смерти, Донъ-Кихотъ только съ горькою ироніей можетъ вспомнить о той порѣ, когда онъ былъ счастливъ своими побѣдами надъ вѣтряными мельницами и любовью къ Дульцинеѣ Тобосской. Извѣстно изреченіе Вольтера: еслибы Бога не было, слѣдовало бы его выдумать. Но и въ этомъ, и другихъ подобныхъ случаяхъ, когда человѣкъ рекомендуетъ извѣстное воззрѣніе, признаваемое имъ иллюзуарнымъ, какъ instrumentum regni, онъ имѣетъ въ виду счастье «сволочи», вообще людей, еще могущихъ жить подъ сѣнью иллюзій: самъ онъ подъ эту сѣнь не пойдетъ. Подъ ней не можетъ укрыться даже тотъ благодушный русскій философъ, который съ горечью внимаетъ «нерадостнымъ» рѣшеніямъ науки.

Въ сущности, можно сомнѣваться, чтобы сами стоики находили подъ этою сѣнью полное успокоеніе. Конечно, такіе каменные люди, какимъ преданіе рисуетъ Эпиктета, могли почти вполнѣ выдержать программу стоицизма, но такіе люди не олицетворяютъ собою общаго правила. Грусть, которою проникнуты всѣ мысли Марка-Аврелія, достаточно показываетъ, что стоическое довѣріе къ Юпитеру давалось не безъ борьбы. И это понятно. Такое безусловное довѣріе

не замыкается въ формулы, въ правила, въ доктрину. Оно можетъ быть только непосредственно, и разъ личность начинаетъ резонировать, формулировать свои отношенія къ природѣ, разъ она начинаетъ, слѣдовательно, сознавать себя, какъ личность—ея непосредственная связь съ природой нарушена. Самое существованіе доктрины безусловнаго довѣрія къ Юпитеру, къ его мудрости и благости, показываетъ, что личность уже поднимается на ноги и что она близка къ критикѣ. Сѣвероамериканскій индѣецъ гордо и спокойно умираетъ въ жесточайшихъ мученіяхъ, и ему при этомъ и въ голову не приходитъ составить что-нибудь похожее на доктрину, она ему ненужна. Стоикамъ она была нужна, потому что они запоздали своимъ появленіемъ. Собственно говоря, стоицизмъ былъ отчаяннымъ усиліемъ теологической, антропоцентрической мысли. Поэтому, какова бы ни была его чисто-практическая сторона, его теоретическія посылки успокоенія дать не могли, если не считать нѣсколькихъ исключительныхъ личностей. Единовременно со стоиками дѣятельно работали эпикурейцы, смотрѣвшіе на дѣла міра сего и того совершенно иначе.

«Когда вѣтры волнуютъ великое море, пріятно смотрѣть съ берега на чужія усилія въ трудной борьбѣ; не то пріятно, что другіе страдаютъ, а пріятно чувствовать себя избавленнымъ отъ бѣды... О, жалкій человѣческій разумъ! О ослѣпленіе! Въ какомъ мракѣ, въ какихъ опасностяхъ проводимъ мы свою жизнь! А между тѣмъ, чего требуетъ природа? Чтобы тѣло наше не испытывало страданій, чтобы духъ нашъ былъ веселъ, свободенъ отъ безпокойства и страха». Такъ говоритъ одинъ изъ римскихъ эпикурейцевъ, Лукрецій. На устраненіи изъ души страха и безпокойства сходились и эпикурейцы, и стоики, и Эпикуръ, и Зенонъ, и Лукрецій, и Эпиктетъ. Но они радикально расходились въ вопросѣ о средствахъ достиженія такого спокойствія. Стоики искали его въ сознаніи участія въ великомъ и непонятномъ коловоротѣ вселенной управляемой всеблагимъ и премудрымъ Юпитеромъ. Эпикурейцы гнали отъ себя тѣни олимпійцевъ и въ эмансипаціи личности видѣли именно источникъ ея спокойствія. Надо замѣтить, что нравственный вопросъ ставился и стоиками, и эпикурейцами весьма узко. И тѣ, и другіе, исходя изъ діаметрально-противоположныхъ теоретическихъ началъ, пришли вмѣстѣ къ тому практическому результату, что мудрецъ долженъ искать счастья внѣ бурь общественной жизни. И хотя работа ихъ мысли побочнымъ и попутнымъ образомъ отразилась въ области нравственно-политической, но непосредственно ею они интересовались мало. Этическіе вопросы сосредоточивались и для тѣхъ, и для другихъ на отношеніяхъ человѣка къ богамъ или природѣ и къ самому себѣ. И въ этихъ предѣлахъ эпикурейцы, очевидно, вѣрнѣе понимали человѣческую природу. Они, во-первыхъ, избѣгли многихъ двусмысленностей, назвавъ вопросъ его настоящимъ именемъ и открыто ставъ на утилитарную точку зрѣнія, на которой стояли ихъ противники, только въ замаскированномъ видѣ. Что такое стоическое понятіе о душевномъ спокойствіи какъ не понятіе, правильное или неправильное, о счастьи? Но за эпикурейцами исторія должна засчитать еще заслугу, кромѣ заслуги открытой и прямой постановки вопроса. Въ самое понятье счастья они внесли много реальнаго смысла отчетливости. Вопросъ могъ бы быть поставленъ слѣдующимъ образомъ: способствуютъ-ли извѣстныя вѣрованія, какъ утверждаютъ стоики, душевному спокойствію, или справедливы эпикурейцы, полагающіе, что эти вѣрованія способны только наводить страхъ, приводить душу въ смятеніе? Въ первомъ случаѣ ихъ надлежитъ удержать, во второмъ—отвергнуть. Надо замѣтить, что греческая жизнь того времени была уже до такой степени уродлива, что нѣкоторыми стоиками и эпикурейцами вопросъ ставился и разрѣшался именно такъ, но, конечно, только внѣшнимъ образомъ. Всякое вѣрованіе есть цвѣтокъ въ высшей степени нѣжный, не терпящій надъ собой никакого насилія, ни внѣшняго, ни внутренняго. Можно заставить совершать извѣстные обряды, но нельзя заставить вѣровать. Нельзя никакими утилитарными соображеніями и самого себя заставить вѣровать; точно такъ-же, какъ нельзя ни себя, ни другихъ заставитъ перестать вѣровать. Всякія вѣрованія лежатъ за предѣлами этики и нашимъ желаніямъ неподсудны. Поэтому, если стоики и эпикурейцы и говорили, что они принимаютъ или изгоняютъ извѣстныя вѣрованія, смотря потому, на сколько они способствуютъ душевному спокойствію, то это былъ только діалектическій пріемъ, обусловленный состояніемъ греческаго общества. Въ сущности, дѣло происходило наоборотъ: стоики были счастливы ровно по столько, по сколько вѣровали, а эпикурейцы ровно по столько, по сколько не вѣровали. Малѣйшее сомнѣніе въ благости и премудрости Юпитера—и счастье стоика лопнуло, какъ мыльный пузырь. Малѣйшій страхъ передъ грознымъ образомъ Олимпа—и душа эпикурейца неспокойна. Но въ этомъ отношеніи положеніе эпикурейцевъ было гораздо выгоднѣе положенія стоиковъ. Они гарантировали свое невѣріе весьма остроумною, простою и ясною философіей природы, во многомъ сход-

ною съ воззрѣніями современной европейской науки. Притомъ-же, разладъ между людьми и Олимпомъ былъ уже въ ходу вообще. Что-же касается до стоиковъ, то въ самой программѣ ихъ — согласованіи своей воли съ волею божественною—заключались непреодолимыя трудности. Отправляясь въ путь по водѣ—говорилъ Эпиктетъ—я выбираю хорошаго кормчаго, тихую погоду, надежное судно и затѣмъ уже не считаю себя обязаннымъ заботиться о благополучномъ исходѣ моего путешествія. Доплыву я или нѣтъ, это дѣло не мое, а Юпитера: онъ знаетъ, куда меня ведетъ, я ему довѣряю. Но, спрашивается, гдѣ граница дозволенныхъ и недозволенныхъ, нужныхъ и ненужныхъ предосторожностей и приготовленій къ благополучному исходу плаванія? Съ одной стороны, при безусловномъ довѣріи къ Юпитеру, можно бы было ѣхать и въ бурную погоду, и на душегубкѣ, и съ пьянымъ и неискуснымъ рулевымъ—Богъ захочетъ, такъ и безъ билета выиграешь. Съ другой стороны, разъ приняты *эти* предосторожности, почему бы не идти далѣе. Я ѣду по морю, выбравъ тихую погоду, хорошее судно и хорошаго лоцмана. Тѣмъ не менѣе, судно налетаетъ на подводную скалу и идетъ ко дну. Долженъ-ли я выкачивать воду? Я тону. Которую изъ волнъ, меня покрывающихъ долженъ я признать за посланницу небесъ, съ которою я не долженъ, не смѣю бороться? первую, пятую, десятую? Хорошо, если Юпитеръ понятнымъ мнѣ человѣческимъ языкомъ скажетъ прямо: вотъ девятый валъ—не борись съ нимъ, такъ нужно для моихъ высшихъ цѣлей. Допустимъ, что я въ такомъ случаѣ захлебнусь съ наслажденіемъ и довѣріемъ. Но Юпитеръ мнѣ ничего не говоритъ, мнѣ самому приходится опредѣлять точки столкновенія воли божественной съ своею собственной. Стоикъ Зенонъ прожилъ, какъ разсказываютъ, до глубокой старости, не будучи ни разу боленъ. Лѣтъ около ста онъ какъ-то споткнулся и ушибъ себѣ ногу; онъ рѣшилъ, что это голосъ Юпитера, и немедленно повѣсился. Съ другой стороны, стоикъ Эпиктетъ жилъ и хромой, и больной, хотя и говорилъ, что каждый долженъ «оставить свой домъ, если въ немъ печка сильно дымитъ». Почему Зенонъ узналъ гласъ божій въ ушибѣ, почему Эпиктетъ не ошибся насчетъ значенія своего жалкаго существованія? Пусть они не ошиблись, пусть они были счастливы, пусть Зенонъ спокойно и съ довѣріемъ къ Провидѣнію повѣсился, а Эпиктетъ спокойно и съ довѣріемъ къ Провидѣнію жилъ. Но понятно, какимъ колебаніямъ должно подвергаться счастье, основанное на подобномъ началѣ. Весьма естественно, что человѣкъ закричитъ отъ физической боли, заплачетъ при видѣ трупа дорогого человѣка, вознегодуетъ на притѣсняющихъ его и не утѣшится мыслью о непреложности божественной воли. Счастье двухъ, трехъ, десяти ста единицъ еще ничего не значитъ, пока мы не опредѣлили, при какихъ обстоятельствахъ такое счастье возможно. Стоическій-же идеалъ счастья требуетъ для своего осуществленія такихъ условій, которыя немыслимы не только въ настоящее время, но были невозможны и для самихъ стоиковъ.

«Война—говоритъ Ренанъ въ упомянутомъ уже нами сочиненіи— есть, по существу своему, принадлежность стараго порядка. Она предполагаетъ отсутствіе эгоистической разсудительности, ибо результатами побѣды не пользуются люди, наиболѣе ей способствовавшіе—они остаются на полѣ битвы. Война несовмѣстна съ тѣмъ недостаткомъ самоотверженія, съ тѣмъ горячимъ отстаиваніемъ личныхъ правъ, которое характеризуетъ нашу современную демократію. Демократія есть самый опасный врагъ военной организаціи... Поэтому, побѣда Германіи была побѣдой науки, но вмѣстѣ съ тѣмъ побѣдой стараго порядка, побѣдой принципа, отрицающаго самодержавіе народа и его право самому устраивать свои судьбы» (La réforme intellectuelle et morale, p. 54). Каковы бы ни были практическія слѣдствія, выводимыя Ренаномъ изъ этого положенія, въ нихъ нельзя отрицать извѣстной и весьма значительной доли правды. Солдатъ побѣдоносной арміи не сознаетъ себя, какъ личность. Выражаясь словами Эпиктета, онъ долженъ смотрѣть на себя, какъ на ногу, которой, по ея назначенію, приходится ступать по грязи и колючкамъ. Разъ въ немъ разбужена личность, имѣющая свои частные, особые интересы, онъ уже не можетъ быть солдатомъ побѣдоносной арміи. Понятное дѣло, что, выдѣлившись изъ одного цѣлаго, личность можетъ вступить, какъ составная часть, въ другое цѣлое; отказываясь отъ самопожертвованія въ пользу той или другой системы единицъ, она можетъ положить душу за иные интересы. То цѣлое, въ составъ котораго личность входила, по ученію стоиковъ какъ составная часть, какъ нога, была вселенная. Между тѣмъ, мы видимъ, что личность грека въ ту пору рвалась изо всѣхъ силъ и во всѣхъ сферахъ на волю. Частная собственность достигла такого развитія, что уже Платонъ испугался. Какъ эпикурейцы, такъ и стоики стремились сбросить съ личности оковы семейной жизни. Патріотизмъ признавался философами «отреченіемъ отъ мудрости въ пользу дураковъ». И стоики, и эпикурейцы стремились эмансипировать личность отъ всякихъ обязательствъ передъ обществомъ и совѣтовали ей уйти въ себя, бросить всякое служеніе

общественнымъ интересамъ. Число философскихъ сектъ росло, чѣмъ опять-таки выражался ростъ личности, личнаго убѣжденія. Мятежный Прометей уже давно возсталъ противъ боговъ и говорилъ:

Hast du nicht alles selbst vollendet.
Du, heilig glühendes Herz?!

И среди этого разложенія всѣхъ вѣками установившихся вѣрованій и связей, которому не мало способствовали сами стоики, они думали найти счастье въ примиреніи личности со всѣмъ, что ей пошлетъ готовый кануть въ Лету Зевесъ! Еще утопичнѣе былъ идеалъ римскихъ стоиковъ, ибо сухой, черствый, практическій эгоистъ римлянинъ, въ періодъ вторженія греческой философіи въ Римъ, представлялъ собою личность, еще болѣе разнузданную. Но что сказать о современныхъ стоикахъ?

Въ «Соціальной Статикѣ» Спенсера требуется сдѣлать только весьма небольшую поправку для того, чтобы она могла стать довольно полною представительницей господствующихъ нынѣ въ наукѣ воззрѣній. Выкиньте только изъ «Соціальной Статики» личность внѣмірового творца или даже просто замѣните ее чѣмъ-нибудь на подобіе туманныхъ фигуръ греческой Мойры или римскаго Фатума, стоявшихъ надъ яркими, расцвѣченными образами Зевеса и Юпитера.

Сдѣлавъ эту поправку, мы получимъ вмѣсто идеи согласованія своей воли съ волей божественной, идею приспособленія. Съ этой точки зрѣнія счастье будетъ состоять въ приспособленіи своихъ желаній и чувствъ къ условіямъ существованія, даннымъ фатальнымъ ходомъ вещей. Слово «фатализмъ» нынѣ въ загонѣ и, можетъ быть, не найдется человѣка, который открыто назвалъ бы себя фаталистомъ. Французскіе матеріалисты и атеисты прошлаго столѣтія были гораздо смѣлѣе и, напримѣръ, Гольбахъ прямо бралъ на себя защиту фаталистическаго міросозерцанія, называя его настоящимъ именемъ. У него же можно найти весьма отчетливую формулировку идеи приспособленія, какъ существеннаго элемента счастья. «Счастье — говоритъ онъ—есть, повидимому, вообще такое болѣе или менѣе продолжительное состояніе, къ которому мы стремимся, потому что находимъ его соотвѣтственнымъ нашей природѣ. Состояніе это представляетъ результатъ согласованія человѣка съ условіями, въ которыя его ставитъ природа. Иначе говоря, счастье есть согласованіе (coordination) человѣка съ дѣйствующими на него силами» (Système de la nature ou des lois etc. P. 1820, I, стр. 206). «Счастье человѣка зависитъ единственно отъ согласія его желаній съ его обстоятельствами» (стр. 410). Спенсеръ смотритъ на дѣло совершенно также. И это совершенно понятно, потому что таковъ необходимый выводъ изъ всякаго фатализма. Такъ какъ мы наткнулись уже на Гольбаха, то остановимся на немъ нѣсколько минутъ, чтобы видѣть несогласимость фатализма съ самыми элементарными требованіями этики даже у людей, наиболѣе смѣло разрубающихъ всякіе гордіевы узлы. Вотъ какъ разрѣшаетъ Гольбахъ нѣкоторыя сомнѣнія:

Всѣ наши дѣйствія—говоритъ онъ—необходимы, составляютъ неизбѣжное звѣно цѣлаго ряда естественныхъ причинъ и слѣдствій. Но нѣкоторые поступки людей полезны, способствуютъ прочному и дѣйствительному счастью человѣческаго рода, и потому необходимо нравятся намъ, если только страсти и ложные взгляды не извращаютъ нашего пониманія. Каждый дѣйствуетъ и разсуждаетъ сообразно условіямъ своего существованія (d'après sa propre façon d'être) и своимъ понятіямъ о счастьи. Но есть необходимыя дѣйствія, которыя мы вынуждены одобрять, и есть другія, столь-же необходимыя, но которыя мы не можемъ не порицать. И хорошій, и дурной человѣкъ повинуются одинаково необходимымъ мотивамъ. Они разнятся только своею организаціей и своими взглядами на счастье. Хорошаго человѣка мы столь-же необходимо любимъ, какъ необходимо ненавидимъ дурного. Законъ природы, предписавшій человѣку неустанно работать надъ своимъ самосохраненіемъ, не могъ предоставить человѣку возможность выбора или свободу предпочитать страданіе наслажденію, порокъ пользѣ, преступленіе добродѣтели. Человѣкъ самою природой своей вынужденъ различать полезныя для него дѣйствія отъ вредныхъ.

Говорятъ, фатализмъ ведетъ къ апатіи, къ индиферентизму, къ разрыву общественныхъ узъ. Говорятъ: если все необходимо, то надо предоставить всѣ дѣла самимъ себѣ и ничѣмъ не волноваться. Но, возражаетъ Гольбахъ, развѣ отъ меня зависитъ быть существомъ чувствительнымъ или безчувственнымъ? Властенъ-ли я ощущать и не ощущать страданія? Если природа дала мнѣ нѣжную душу, то для меня невозможно не принимать близко къ сердцу судьбу существъ, необходимыхъ для моего собственнаго счастья. Я очень хорошо знаю, что всѣ происходящія вокругъ меня бѣдствія суть необходимыя послѣдствія необходимыхъ причинъ, но это не мѣшаетъ мнѣ сожалѣть о нихъ, принимать противъ нихъ мѣры, плакать, потому что я знаю, что и сожалѣніе мое, и мои усилія, и мои слезы, суть также необходимыя послѣдствія необходимыхъ причинъ. Если природа дала мнѣ достаточно смѣлости, я буду проповѣдывать своимъ согражданамъ истину, въ полной увѣренности, что моя проповѣдь необходимо

произведетъ то дѣйствіе, которое она должна произвести.

Не смотря на всю поверхность Гольбаха, можно смѣло сказать, что онъ довелъ защиту фатализма до высшей, возможной степени совершенства. Съ теоретической точки зрѣнія эта защита почти неуязвима. Единственное возможное противъ нея возраженіе заключается не въ томъ, что она невѣрно рѣшаетъ вопросъ, не соотвѣтствуетъ чистой истинѣ, а въ томъ, что она неправильно ставитъ вопросъ. Возраженіе это такъ ясно формулировано авторомъ статьи «Задачи позитивизма и ихъ рѣшеніе» («Современное Обозрѣніе», май), что я могу только привести его цѣликомъ.

«Я не знаю, пойдетъ-ли вечеромъ дождь, говоритъ почтенный П. Л.; это возможно, но отъ меня не зависитъ. Я не знаю, попаду-ли я подъ дождь; это возможно, но я могу сдѣлать, что не попаду. Ядро, вылетѣвшее изъ орудія и направленное въ данную точку, можетъ отклониться направо и налѣво; которое изъ этихъ отклоненій произойдетъ—я не знаю, и вліять на это отклоненіе не въ моей власти. Я могу пойти изъ воротъ направо и налѣво, но который путь я выберу—зависитъ отъ меня. Конечно, съ точки зрѣнія весьма многихъ теорій, въ сравниваемыхъ случаяхъ разницы нѣтъ. И тамъ, и тутъ я *не знаю* условій, опредѣляющихъ заранѣе результатъ, но онъ неизбѣженъ во имя совокупности условій, мнѣ извѣстныхъ и неизвѣстныхъ; сила побужденій, увлекательность цѣли не устанавливаются мною, а только сознаются. Какъ два шара, столкнувшіеся на билліардѣ, непремѣнно пойдутъ послѣ толчка такимъ путемъ, а не другимъ, такъ нѣсколько побужденій, одновременно въ насъ вызванныхъ при данныхъ условіяхъ, неизбѣжно опредѣляютъ дальнѣйшій путь нашей мысли. Какъ нѣсколько растворовъ солей, слитыхъ вмѣстѣ, вслѣдствіе неизбѣжнаго процесса химическаго сродства, дадутъ опредѣленный осадокъ, выдѣлятъ опредѣленные газы и дадутъ процѣженный растворъ опредѣленнаго состава,—такъ и при нѣсколькихъ цѣляхъ, одновременно насъ привлекающихъ, можно бы было впередъ сказать, которая потеряетъ для насъ привлекательность, которая останется въ формѣ отложеннаго желанія и которая вызоветъ немедленное, болѣе или менѣе энергическое дѣйствіе. Такъ могутъ разсуждать тѣ, которые въ нашихъ чувствахъ и мысляхъ видятъ дѣйствіе Провидѣнія, ведущаго человѣка, впродолженіе всей его жизни, къ опредѣленной цѣли. Такъ могутъ разсуждать поклонники безусловнаго духа, воплощеннаго въ исторіи человѣчества, для которыхъ каждая личность есть лишь органъ жизни этого духа, неспособный ни задержать, ни ускорить теченіе его жизни. Такъ могутъ говорить матеріалисты, для которыхъ система чувствительныхъ нервовъ такъ-же неизбѣжно вызываетъ сознательный рефлективный процессъ произвольныхъ дѣйствій, какъ безсознательный рефлексъ—судороги, независимо отъ того, что мы сознаемъ. Но всѣ эти рѣшенія вопроса, независимо отъ ихъ правильности, суть рѣшенія *метафизическія*. Они берутъ фактъ не такъ, какъ мы его *воспринимаемъ*, а какъ мы его *строимъ* въ нашемъ представленіи. Они отбрасываютъ ежедневно наблюденіе, чтобы искать въ недоступной намъ области" (выраженіе Литтре). Намъ доступно лишь сознаніе *произвольнаго* поставленія цѣлей и произвольнаго выбора между побужденіями и между цѣлями, а вліяніе Провидѣнія, жизнь безусловнаго духа, послѣдовательность рефлекса, вызваннаго сознаннымъ ощущеніемъ и оканчивающагося дѣйствіемъ, которое мы сознаемъ, какъ произвольное, для насъ недоступны. Аналогіи могутъ насъ склонить къ принятію того или другого воззрѣнія, но *научно* можно признать лишь фактъ *сознанія произвольности* въ постановкѣ цѣлей, въ выборѣ между побужденіями и цѣлями, оставляя метафизикѣ вопросъ: призрачно это сознаніе или нѣтъ".

Фатализмъ, столь полный и послѣдовательный, каковъ фатализмъ Гольбаха, въ принципѣ не отрицаетъ борьбы съ ходомъ вещей, ибо признаетъ фатальною и самую эту борьбу. Но, купивъ этою цѣной возможность рѣшить теоретическую задачу, Гольбахъ не избѣгъ ни одной изъ трудностей, которыя представляются фатализму въ области этики. Всѣ его разсужденія о морали, о нравственности, большею частью весьма высокія и симпатичныя, тѣмъ не менѣе, являются просто принятыми на живую нитку къ его основному теоретическому положенію. Когда онъ говоритъ, что законъ природы не могъ предоставить человѣку возможность предпочитать преступленіе добродѣтели, то самъ собою является вопросъ: почему-же, однако, исторія человѣчества не есть исторія добродѣтели? Почему преступленіе существуетъ? Желая доказать, что преступникъ, злой, дурной человѣкъ непремѣнно несчастливъ, Гольбахъ строитъ такое предположеніе: человѣкъ рѣшилъ, что въ порочномъ обществѣ глупо быть честнымъ, и потому совершаетъ всевозможныя преступленія и низости и притомъ удачно, то-есть, избѣгаетъ кары закона и негодованія общества. Счастливъ-ли онъ? Нѣтъ, отвѣчаетъ Гольбахъ, потому что его постоянно одолѣваетъ безпокойство, страхъ и проч., такъ что, еслибы на смертномъ одрѣ ему предложили начать такую жизнь снизнова, онъ навѣрное отказался бы. Эту сантиментальную исторію Гольбаху приходится поневолѣ обволакивать въ напыщенныя фразы, весьма плохо гармонирующія съ общимъ сухимъ и положительнымъ тономъ его книги.

Такими фразами и увертками Гольбаху приходится отдѣлываться всякій разъ, какъ только онъ вздумаетъ предписывать что-нибудь съ фаталистической точки зрѣнія. «Понимая, что все существующее необходимо—говоритъ онъ (314) — фаталистъ, *если онъ имѣетъ чувствительную душу*, будетъ сожалѣть о своихъ согражданахъ» и проч. И далѣе ни единымъ словомъ не упоминается о томъ, что будетъ дѣлать фаталистъ, если онъ не имѣетъ чувствительной души. Это

умолчаніе есть, конечно, не болѣе, какъ увертка добродушнаго человѣка, отстаивающаго неудобный принципъ. «И въ самомъ дѣлѣ—продолжаетъ Гольбахъ — по какому праву сталъ бы онъ (то-есть фаталистъ) ненавидѣть или презирать людей, когда всѣ ихъ поступки суть необходимыя послѣдствія естественныхъ причинъ?» Какъ, по какому праву? По такому праву, что ненависть и презрѣніе къ людямъ, если они существуютъ, суть необходимыя послѣдствія естественныхъ причинъ. Крайности сходятся и фатализмъ Гольбаха есть не что иное, какъ санкція полнѣйшаго личнаго произвола, замаскированная идеею необходимости всего сущаго. Дѣлайте все, что хотите, ибо все одинаково необходимо—вотъ резюме фаталистическаго міросозерцанія, очевидно, неспособнаго удовлетворить человѣка. Оно не даетъ никакого руководящаго начала и совершенно безсодержательно. Подернутая имъ мысль осуждена вертѣться, какъ бѣлка въ колесѣ.

Весьма любопытно то, обстоятельство, что эта проповѣдь необходимости всего сущаго, это воззрѣніе на счастье, какъ на приспособленіе къ условіямъ существованія, даннымъ природой и исторіей, явилось наканунѣ великой революціи. Въ то самое время, какъ Гольбахъ утверждалъ, что «природа дѣлаетъ счастливыхъ и несчастныхъ» (400), давая однимъ способность примиряться съ условіями существованія, а другимъ—«слишкомъ горячую кровь», въ это самое время люди съ слишкомъ горячею кровью уже готовились завоевать себѣ счастье и создать новыя условія существованія, а не приспособляться къ старымъ. Наканунѣ великой ломки Гольбахъ говорилъ: «фаталистъ не нарушитъ общественнаго спокойствія, не подниметъ народа противъ верховной власти; онъ знаетъ, что испорченность и ослѣпленіе руководителей народа суть необходимыя слѣдствія льстивыхъ рѣчей, которыя они слышатъ съ дѣтства, и необходимой испорченности ихъ приближенныхъ» (315).

VI.

Насъ интересуетъ здѣсь не вопросъ о свободѣ воли и необходимости. Мы могли коснуться его только мимоходомъ и должны возвратиться къ вопросу о счастьи.

Намъ говорятъ, что счастье состоитъ въ приспособленіи къ условіямъ существованія. Намъ говорятъ это и атеистъ Гольбахъ, и негодующій на атеистовъ Спенсеръ. И съ ними нельзя не согласиться. Приспособиться къ условіямъ существованія значитъ имѣть только такія желанія, которыя условіями этими могутъ быть удовлетворены, а въ удовлетвореніи желаній и состоитъ счастье. Конечно, приспособься буржуазія къ феодально - католическому строю общества, не ищи она ни свободы мысли, ни свободы политической, ни свободы экономической, довольствуйся она папой, баронами и цеховой системой — она была бы счастлива. Довольствуйся современный рабочій скудною заработною платой, не имѣй полового влеченія, не пожелай онъ себѣ ни кола, ни двора, ни жены, ни осла — онъ былъ бы счастливъ. Съ другой стороны однако нельзя отрицать, что, отмѣнивъ папу, барововъ и цеховую систему, буржуазія получила въ свое распоряженіе цѣлый рядъ новыхъ наслажденій, новыхъ удовлетворенныхъ желаній и, слѣдовательно, новое счастье. Точно также нельзя отрицать возможности счастья рабочаго, имѣющаго колъ, дворъ, жену и осла. А разъ существуетъ нѣсколько видовъ счастья, мы должны признать, что счастье есть понятіе относительное. Вслѣдствіе этого мы должны опредѣлить относительную цѣнность различныхъ видовъ счастья, установить извѣстную градацію, найти высшую возможную для человѣка ступень счастья. Спенсеръ только въ одномъ мѣстѣ приступаетъ къ рѣшенію этой задачи и приступаетъ крайне неудовлетворительно. Во-первыхъ, онъ беретъ за мѣрило счастья только количество удовлетворенныхъ желаній, а не качество ихъ. Во-вторыхъ, и въ количественномъ отношеніи дѣлаетъ крупную ошибку. Какъ мы видѣли, опредѣливъ желаніе, какъ потребность въ извѣстномъ ощущеніи, а ощущеніе, какъ результатъ дѣятельности извѣстной способности, онъ прибавляетъ, что «удовлетвореніе всѣхъ желаній требуетъ надлежащаго упражненія всѣхъ способностей». Это, конечно, невѣрно. Ничто не мѣшаетъ мнѣ обладать извѣстною способностью, не имѣя въ то-же время соотвѣтственныхъ желаній. Если мы будемъ имѣть въ виду только кавказскую расу, то для насъ будетъ вполнѣ очевидно, что способности ея представителей приблизительно одинаковы, чего однако отнюдь нельзя сказать о ихъ желаніяхъ. Собственно говоря, это вполнѣ справедливо для всѣхъ людей, за малыми исключеніями. Но для ясности ограничимся обитателями Европы или даже хоть Россіи. За вычетомъ геніевъ и талантовъ способности русскаго народа приблизительно одинаковы, желанія-же въ высшей степени разнообразны. Въ сумму желаній мужика, напримѣръ, не входитъ желаніе не только образованности развитія, а и просто грамотности, тогда какъ въ способности его выучиться читать и писать не усомнится ни одинъ «охранитель». Поэтому удовлетвореніе всѣхъ желаній мужика отнюдь не вызо-

вѣтъ дѣятельности всѣхъ его способностей. Архангелогородскіе крестьяне и крестьянки, благодаря счастливой случайности — существованію мирового посредника съ артистическими наклонностями—выказали недавно изрядныя актерскія способности; между тѣмъ, они не только доголѣ никогда не имѣли потребности въ ощущеніи фигурировать на сценѣ или смотрѣть на театральное представленіе, но и тутъ-то нѣкоторыхъ бабъ приходилось чуть не силкомъ тащить. Съ другой стороны, весьма легко представить себѣ весьма сильныя желанія безъ соотвѣтственныхъ способностей. Это то, что называется «охота смертная, да участь горькая»—нѣчто, составляющее глубокое несчастіе, если только неспособность выступаетъ съ достаточною очевидностью. Ясно, что сумма желаній человѣка вовсе не есть математическая функція суммы его способностей. Обѣ онѣ могутъ въ извѣстныхъ, весьма широкихъ предѣлахъ измѣняться совершенно независимо одна отъ другой. При этомъ сумма способностей представляетъ величину гораздо болѣе постоянную, нежели сумма желаній. А потому было бы чрезвычайно удобно, если бы оказалось возможнымъ положить именно ее въ основаніе классификаціи видовъ счастья. Въ такомъ случаѣ оказалось бы, что счастье тѣмъ выше, чѣмъ большее количество силъ и способностей человѣка находится въ дѣйствіи. Эта формула удобна, между прочимъ, и потому, что она очень распространена въ образованномъ обществѣ и стала почти общимъ мѣстомъ, хотя мало кто вникаетъ въ ея смыслъ. «Гармоническое развитіе всѣхъ силъ и способностей», «высокая степень физіологическаго раздѣленія труда», «высокая степень индивидуализаціи»—кто не слыхалъ, кто самъ не говорилъ этихъ словъ, долженствующихъ обозначать понятіе счастья. Ихъ говоритъ и самъ Спенсеръ въ Соціальной же Статикѣ. Онъ утверждаетъ именно, что благо, счастье есть совершенство, а совершенство пропорціонально степени индивидуализаціи, то-есть, степени разнородности и напряженности индивидуальныхъ силъ и способностей. Говоря затѣмъ, что счастье состоитъ въ приспособленіи къ условіямъ существованія въ системѣ, ведущей къ наибольшему производству, то-есть, при наибольшемъ раздѣленіи труда, то-есть, при наибольшей зависимости и, вмѣстѣ съ тѣмъ, равной свободѣ, Спенсеръ полагаетъ, что первая формула заключается во второй. Въ первомъ случаѣ счастье будетъ измѣряться *количествомъ силъ и способностей, находящихся въ дѣятельномъ состояніи.* Во второмъ—*количествомъ желаній, могущихъ быть удовлетворенными въ системѣ, называемой Спенсеромъ системой наибольшаго производства и равной свободы.* Весьма естественно, что, по мнѣнію Спенсера, оба эти измѣренія должны дать тождественный результатъ, такъ какъ онъ полагаетъ, что количество дѣятельныхъ способностей всегда пропорціонально количеству удовлетворенныхъ желаній. Но мы видѣли, что это грубѣйшая ошибка, что такой пропорціональности между суммой желаній и суммой способностей вовсе нѣтъ. Поэтому намъ совершенно позволительно усомниться въ тождественности обѣихъ приведенныхъ формулъ счастья. Разсмотримъ же ихъ порознь. При этомъ, можетъ быть, и окажется, что системѣ, называемой Спенсеромъ системой наибольшаго производства и равной свободы, количество силъ и способностей, находящихся въ дѣятельномъ состояніи, достигаетъ своего maximum'a; въ такомъ случаѣ, приспособленіе къ условіямъ существованія въ этой системѣ мы должны признать счастіемъ. Въ противномъ же случаѣ, который на основаніи вышесказаннаго весьма возможенъ, намъ придется искать счастья гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ.

Посмотримъ, гдѣ въ Европѣ наиболѣе осуществлены указываемые Спенсеромъ во второй формулѣ элементы счастья. Конечно, въ отечествѣ нашего автора. Правда, поземельныя отношенія въ Англіи болѣе чѣмъ гдѣ-нибудь далеки отъ идеала Спенсера. Но, какъ мы видѣли, идеалъ этотъ не состоитъ въ органической связи съ остальными воззрѣніями автора и общимъ тономъ его книги, и нѣтъ ничего мудренаго, что существующія въ Англіи поземельныя отношенія окажутся, по изслѣдованіи, необходимымъ ингредіентомъ «системы наибольшаго производства». Правда, далѣе, законы о бѣдныхъ въ Англіи представляютъ образецъ самаго неразумнаго государственнаго вмѣшательства и потому не могутъ быть симпатичны нашему либеральному философу. Но, за всѣмъ тѣмъ, нигдѣ въ Европѣ, а если не считать Соединенныхъ Штатовъ, то и нигдѣ въ мірѣ, люди не подошли къ закону равной свободы такъ близко, какъ въ Англіи. Точно также нигдѣ въ Европѣ не получила такого колоссальнаго развитія «система, ведущая къ наибольшему производству, то-есть, при наибольшемъ раздѣленіи труда, то-есть, при наибольшей зависимости». Значитъ, если гдѣ искать счастія, такъ именно въ Англіи.

И дѣйствительно, что касается матеріальнаго довольства англійской націи, или, вѣрнѣе, національнаго богатства Англіи, то оно представляетъ буквально «ума помраченіе», въ томъ смыслѣ, что трудно даже себѣ составить о размѣрахъ его ясное понятіе. Приведемъ нѣсколько цифръ на удачу. По разсчету англійскаго инженера Фейборна, въ въ 1865 году, то-есть, почти десять лѣтъ

тому назадъ, въ Англіи было въ ходу 3,650,000 паровыхъ лошадиныхъ силъ, что равняется труду *76 милліоновъ* работниковъ. Принимая для Англіи пять милліоновъ семействъ, мы найдемъ, что на каждую англійскую семью приходится пятнадцать могучихъ паровыхъ рабовъ. Англійской семьѣ остается, повидимому, только сложа руки сидѣть да наслаждаться жизнью. Уже въ 1860 году Англія вывозила 2,673,960 километровъ бумажныхъ тканей, а этимъ можно 64 раза обвернуть земной шаръ по его окружности. Если Англія можетъ на свой счетъ такъ пышно нарядить нашу планету, то можно себѣ представить, какъ должны быть одѣты сами англичане. Потребленіе каменнаго угля равнялось въ 1865 году—64 милліонамъ тоннъ, въ 1869—107, въ 1871—115 милліоновъ. Англичанамъ, повидимому, очень тепло жить на свѣтѣ. По разсчету, приводимому въ статьѣ г. Жуковскаго «Желѣзныя дороги, какъ предметъ экономіи», сбереженіе времени, даваемое желѣзными путями, равнялось въ Англіи въ 1870 году 180 милліонамъ рабочихъ дней. Считая средній заработокъ въ день равнымъ 3,2 шиллинга, окажется, будто въ Англію съ неба даромъ упало 250,000 рабочихъ, что составило бы расходъ въ 14,400,000 фунт. стерл. или болѣе ста милліоновъ рублей...

Мнѣ вспоминается слѣдующее истинное происшествіе. Пошли изъ одной деревни всѣ мужики на-помочь версты за три. Какъ водится, разрядились: что у кого было получше, тотъ то и надѣлъ. Тѣмъ временемъ деревня, въ которой остались только старые да малые, сгорѣла до тла. Такъ и пошли мужики въ парадныхъ платьяхъ по міру. Ну, никто ничего и не даетъ, говорятъ: вонъ вы какъ разряжены, какого еще вамъ чорта нужно? Мнѣ кажется, Англія находится именно въ такомъ положеніи. Правда, она никуда не ходила на-помочь и не ходитъ по міру. Но, тѣмъ не менѣе, она не видала, какъ у нея сгорѣла деревня, и, глядя на ея парадный костюмъ, никто не хочетъ пожалѣть ее, тогда какъ она заслуживаетъ глубокаго сожалѣнія. Ей, могущей одѣть землю, а можетъ быть и луну на придачу, ей дѣйствительно нечѣмъ одѣть своихъ нищихъ. Число оффиціальныхъ нищихъ растетъ съ ужасающею быстротой. Вотъ опять нѣсколько цифръ:

		Государственною помощью пользовалось:
1-го марта	1865 г. . .	952,000 чел.
»	1866 » . .	916,000 »
»	1867 » . .	932,000 »
»	1868 » . .	993,000 »
»	1869 » . .	1,018,000 »

И знающіе люди говорятъ, что цифры эти могутъ дать только самое слабое понятіе о страданіяхъ народа, потому что бѣдняки только въ самомъ крайнемъ случаѣ прибѣгаютъ къ оффиціальной милостынѣ. Не смотря на то, что на каждую англійскую семью приходится пятнадцать даровыхъ паровыхъ рабочихъ; не смотря на то, что, къ великой радости нашихъ либеральныхъ экономистовъ, колоссальное развитіе желѣзныхъ дорогъ «сваливаетъ Англіи съ неба» сотни тысячъ другихъ даровыхъ работниковъ; не смотря на все это, Торнтонъ, человѣкъ честный, но умѣренный и благонамѣренный, говоритъ: «Въ Англіи на каждаго человѣка приходится два, которые болѣе трехъ сотъ дней въ году, отъ десяти до шестнадцати часовъ въ сутки, поглощены чернымъ трудомъ на фермѣ, на заводѣ, въ рудникахъ, въ лавкѣ. Два человѣка должны исполнять этотъ тяжелый черный трудъ для того, чтобы освободить отъ него третьяго» («Трудъ, его ложныя требованія» и проч., стр. 25). Въ какую же пропасть валятся однако съ неба даровыя рабочія силы? Говорятъ о парижскомъ развратѣ. Но развратъ этотъ—мальчишка и щенокъ передъ развратомъ Лондона, какъ доказываютъ компетентные люди. Въ концѣ *тридцатыхъ* годовъ, по разсчету доктора Ріана, приводимому у Парана-Дюшатле, посѣтители лондонскихъ притоновъ проституціи расходовали до двухъ сотъ милліоновъ франковъ въ годъ. Впрочемъ, это, пожалуй, ужъ и богатство... Разсчитываютъ, что преступникъ въ портландской тюрьмѣ потребляетъ въ недѣлю 183,69 унца пищи, а свободный земледѣлецъ 139,08...

Но за то онъ свободенъ. Англія есть страна свободы. Проституція, наука, стачки рабочихъ, трудъ, политическія убѣжденія, торговля—все въ ней свободно. Въ какомъ другомъ монархическомъ государствѣ возможны республиканскіе митинги въ нѣсколько тысячъ человѣкъ чуть не подъ окнами королевскаго дворца? Какое другое государство рѣшится оставить проституцію безъ малѣйшаго надзора? Какое другое государство имѣетъ что-нибудь подобное habeas corpus акту? Иногда англичане жалуются на недостатокъ свободы въ Англіи, но самыя эти жалобы свидѣтельствуютъ, какой высокой степени достигла тамъ свобода. Милль негодуетъ за то, что гдѣ-то въ провинціальномъ городѣ исключили изъ числа присяжныхъ двухъ людей, объявившихъ, что они не исповѣдуютъ никакой вѣры. Бокль поднимаетъ цѣлую бурю изъ за того, что человѣкъ подвергся наказанію за публичное богохульство. Выражаясь «подлымъ штилемъ», эти люди съ жиру бѣсятся.

Но, странное дѣло, народъ, можетъ быть,

тоже бѣсясь съ жиру, бѣжитъ отъ этой свободы. Члены рабочихъ ассоціацій, trades-unions, среди этого самодержавія свободы налагаютъ на себя ярмо часто средневѣковой тяжеловѣсности. На Лозанскомъ конгрессѣ рабочихъ 1867 года была, между прочимъ, принята такая резолюція: «Съ тѣхъ поръ, какъ революція, провозгласивъ свободу труда и промышленности, уничтожила корпораціи, стремленіе къ разобщенности возросло. Съ этимъ-то стремленіемъ должно бороться, не замыкаясь однако въ узкія рамки, разбитыя нашими отцами». Либеральные экономисты ужаснулись этой резолюціи, не пытаясь вдуматься въ причины такого отреченія отъ свободы. Но практическіе англичане, независимо отъ всякихъ конгрессовъ, повели это отреченіе гораздо дальше. Они почти возстановили цеховой институтъ и страшный вемгерихтъ. Не только безъ всякаго правительственнаго вмѣшательства, но даже вопреки ему, члены trades-unions наложили на себя тяжелыя цѣпи самой скрупулезной регламентаціи труда и за неисполненіе своихъ статутовъ грозятъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ смертною казнью, и не только грозятъ, а неоднократно уже приводили угрозу эту въ исполненіе. И замѣтьте, что это не капля въ морѣ. Ассоціаціи эти ворочаютъ милліонными капиталами и въ нѣкоторыхъ отрасляхъ труда болѣе половины всѣхъ англійскихъ работниковъ состоятъ ихъ членами. Спрашивается, почему эта масса людей бѣжитъ отъ свободы и ищетъ счастья тамъ, гдѣ царитъ притѣсненіе, по временамъ голодъ, наконецъ, иногда преступленіе? Неужели, говоря словами нашего поэта, «воля счастья не даетъ»?

Такъ идутъ дѣла въ нижнемъ этажѣ. Что касается до бельэтажа, то вотъ любопытный отрывокъ изъ рѣчи, сказанной Гладстономъ въ палатѣ общинъ въ 1864 году и приводимой Луи Бланомъ, съ чувствомъ весьма понятнаго въ немъ торжества, въ брошюрѣ «L'Etat et la Commune». Дѣло шло о разрѣшеніи правительству конкурировать съ обществами страхованія жизни въ видахъ интересовъ неимущихъ классовъ, именно совершать страховыя операціи на суммы не выше 100 фунтовъ стерлинговъ.

«Правительственное вмѣшательство — говорилъ Гладстонъ—есть принципъ, противъ котораго я, признаюсь, предубѣжденъ не менѣе большинства членовъ этой палаты. Но на нашихъ глазахъ онъ былъ уже неоднократно примѣняемъ. Приходилось предписывать въ торговыхъ сношеніяхъ то-то и то-то, дабы избѣжать извѣстнаго зла, соціальнаго, моральнаго или политическаго. Государственное вмѣшательство было вызвано нѣкоторыми статьями Factory Act'а, было вызвано необходимостью санитарныхъ мѣръ. Этимъ сильно подрывалась индивидуальная свобода, что весьма характерно для нашего времени. Я не буду разсматривать, всегда ли мы шли по этому пути съ достаточною осторожностью. Но во всякомъ случаѣ, принимая подобныя рѣшенія, парламентъ дѣйствовалъ не подъ вліяніемъ предвзятаго мнѣнія, но съ цѣлью избѣжать важныхъ золъ и притомъ, не имѣя возможности достигнуть нужнаго результата другими путями. Я долженъ сказать, что въ общемъ счетѣ дѣйствіе принципа было благопріятно. Былъ и еще случай вмѣшательства, представляющій просто-на-просто запрещеніе. Factory Act'омъ вы запретили дѣтямъ работать на фабрикахъ дольше опредѣленнаго часа. Это было важное нарушеніе свободы частныхъ сдѣлокъ, но относительно необходимости его, вы были единодушны. Благопріятные результаты его не подлежатъ сомнѣнію. Остается еще одна форма вмѣшательства, самая слабая, которою намъ придется заняться сегодня. Я не отрицаю, что вамъ предлагается государственное вмѣшательство. Но я отрицаю, что мы должны были отступить передъ возгласами противъ централизаціи и усиленія исполнительной власти и отказаться отъ разсмотрѣнія предлежащаго вопроса».

Итакъ, и вверху, и внизу замѣчается нѣкоторая реакція противъ системы «наибольшаго производства и равной свободы». Тѣмъ не менѣе, Англія и до сихъ поръ остается страной наибольшей свободы въ Европѣ. Объ этомъ можно судить уже по той конфузливости и осторожности, съ которою Гладстонъ говорилъ съ палатой общинъ. Эта конфузливость и осторожность почти равняются той мягкости, съ которою московскіе дворяне, предводительствуемые г. Самаринымъ, внесли свое извѣстное предложеніе.

Но любопытно, что если Англію называютъ «страной свободы», то называютъ ее также и «страной самоубійства». Правда, эта послѣдняя кличка не совсѣмъ вѣрна, потому что, вообще говоря, въ Англіи совершается самоубійствъ не болѣе, чѣмъ въ другихъ странахъ. Но въ то время, какъ, напримѣръ, во Франціи замѣчается относительное преобладаніе такъ-называемыхъ «политическихъ самоубійствъ», въ Англіи убиваютъ себя, главнымъ образомъ, отъ нищеты внизу и отъ скуки наверху. Сплинъ есть спеціальный продуктъ англійской жизни. Баловни цивилизаціи, англійскіе богачи шныряютъ по цѣлому свѣту, ища себѣ развлеченія, и, наконецъ, вѣшаются или стрѣляются. Нѣтъ у нихъ, кажется, такого желанія, которое не могло бы быть удовлетворено. Они должны бы были быть вполнѣ счастливы и, однако, они тоскуютъ Богъ-

вѣсть отъ чего и убиваютъ себя; значитъ, они несчастливы.

Совокупность этихъ фактовъ, которыхъ мы могли бы привести, конечно, гораздо больше, если бы имѣли достаточно времени и мѣста, способна навести на, повидимому, основательныя сомнѣнія въ совмѣстимости счастья съ системой наибольшаго производства и равной свободы. Система эта, повидимому, слагается изъ цѣлаго ряда антиномій: богатство и нищета, свобода и зависимость, удовлетворенныя желанія и отреченіе отъ жизни, счастье и несчастье. Одну изъ этихъ антиномій усматриваетъ и самъ Спенсеръ, такъ какъ онъ доказываетъ, что грядущее царство полной свободы есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и царство наибольшей взаимной зависимости. Къ этому можно прибавить давнишнее открытіе соціалистовъ, что такъ-называемое національное богатство есть нищета народа. Но оставимъ въ сторонѣ соціалистовъ, какъ подлежащихъ обвиненію въ злостно-враждебномъ отношеніи къ свободѣ. Оставимъ и страстнаго, увлекающагося Руссо съ его проклятіями системѣ наибольшаго производства. Надо, впрочемъ, замѣтить, что антиномичность «богатства народовъ» была указана не только соціалистами, а и весьма многими экономистами. Марксъ собралъ много такихъ признаній, изъ которыхъ мы приведемъ только слѣдующее категорическое заявленіе Дестю де-Траси: «бѣдныя націи суть тѣ, въ которыхъ народу живется хорошо; а богатыя націи суть тѣ, въ которыхъ народъ обыкновенно бѣденъ». Дѣло только въ томъ, что относительно этого факта экономисты не ограничивались ролью наблюдателей и большею частью обращались въ панегиристовъ, вслѣдствіе чего противники ихъ представлялись ими людьми злонамѣренными. Но вотъ почтенный нѣмецкій ученый и профессоръ, спеціально занимавшійся психологіей и антропологіей, то-есть, предметами, наиболѣе прикосновенными къ вопросу о счастьи, человѣкъ вполнѣ солидный и благонамѣренный, Вайцъ, въ концѣ своей извѣстной Anthropologie der Naturvölker, приходитъ къ не менѣе пессимистическому взгляду на вещи. Онъ утверждаетъ именно, что счастье не растетъ въ цивилизаціи, ибо по мѣрѣ увеличенія способности наслаждаться, разнообразія предметовъ наслажденія, напряженности наслажденій, растетъ и способность страдать и напряженность страданій. Вайцъ полагаетъ, что эти движенія, положительное и отрицательное, совершаются пропорціонально, такъ какъ наши страданія и наслажденія имѣютъ одинъ и тотъ же источникъ: извѣстныя блага, обладаніе которыми составляетъ счастье, а потеря—несчастье. Съ этой точки зрѣнія прогрессъ, собственно говоря, не только не существуетъ, а и невозможенъ.

Психологическое основаніе этого соображенія не подлежитъ никакому сомнѣнію. Всякое существо, несомнѣнно, въ такой же мѣрѣ способно страдать, въ какой способно наслаждаться. И чѣмъ существо выше, тѣмъ эта обоюдоострая способность ощущается въ немъ сильнѣе, такъ что самое развитіе могло бы быть названо ростомъ способности страдать и наслаждаться. Вотъ почему именно удовлетвореніе желаній не можетъ быть принято критеріемъ счастья. Конечно, счастье состоитъ въ исполненіи желаній; но это ужъ черезчуръ справедливо—это плеоназмъ, потому что счастье и исполненіе желаній синонимы. Это все равно, что сказать, что пустота есть пустое пространство. Съ точки зрѣнія удовлетворенія желаній нѣтъ никакой разницы не только между счастьемъ цивилизованнаго человѣка и счастьемъ дикаря, но и между счастьемъ величайшаго изъ людей и счастьемъ всякаго пса смердящаго. Поэтому, исходя изъ нашей способности страдать и наслаждаться, Вайцъ совершенно справедливо отрицаетъ возможность прогресса. Но тутъ виновата не цивилизація, а стихійная сила, законъ природы. Совсѣмъ другое дѣло было бы, если-бы Вайцъ принялъ за точку исхода не обоюдоострую способность ощущенія, а самое страданіе и наслажденіе. Если увеличеніе способности и источниковъ наслажденія есть въ то-же самое время увеличеніе способности и источниковъ страданія, то изъ этого слѣдуетъ только то, что *возможность* страданія и несчастія растетъ, но фактически, на дѣлѣ несчастье можетъ и не быть, потому что растетъ и возможность счастья. Съ точки зрѣнія удовлетворенныхъ желаній это зависитъ отъ того, даетъ-ли цивилизація средства для того, чтобы растущая возможность страданія не переходила въ дѣйствительность. Если та или другая форма общественныхъ отношеній, напримѣръ, занимающая насъ Спенсерова система наибольшаго производства, наибольшей свободы и наибольшей зависимости, возбуждая извѣстныя желанія, не даетъ средствъ для ихъ удовлетворенія, то въ ней нечего искать счастья. Она вполнѣ достойна проклятій Руссо и ненависти соціалистовъ. Но Спенсеръ утверждаетъ, что дѣло происходитъ совсѣмъ не такъ, что естественный ходъ вещей, тяготѣющій къ системѣ наибольшаго производства, отбиваетъ желанія, не подлежащія удовлетворенію, и усиливаетъ желанія, удовлетвореніе которыхъ возможно, вслѣдствіе чего въ концѣ-концовъ и получается, путемъ приспособленія счастье. Хотя вышеприведенные факты, не смотря на свою неполноту и отрывочность, способны отшатнуть отъ такого

розоваго воззрѣнія, но мы не можемъ, конечно, ими ограничиться. Мы должны ближе вглядѣться въ приспособленіе къ условіямъ существованія въ системѣ наибольшаго производства, прежде чѣмъ сказать, въ немъ-ли состоитъ наше счастье. Далѣе, къ какому бы отвѣту, положительному-ли или отрицательному, ни склоняли насъ вѣроятности изслѣдованія, мы не должны упускать изъ виду другую формулу счастья— количество способностей, находящихся въ дѣятельномъ состояніи.

VII.

На всѣ разсужденія о нищетѣ Англіи, сквозящей сквозь ея богатство, Спенсеръ могъ бы, повидимому, вполнѣ основательно возразить, что онъ указалъ основную причину всѣхъ этихъ бѣдствій, и не только указалъ, а и осудилъ съ точки зрѣнія закона равной свободы. Если Англія дѣйствительно наиболѣе подошла къ идеальной системѣ наибольшаго производства и равной свободы, то, тѣмъ не менѣе, она наиболѣе удалилась отъ нормальныхъ поземельныхъ отношеній. Если Англія дѣйствительно не имѣетъ соперниковъ въ промышленномъ отношеніи, то вмѣстѣ съ тѣмъ ни въ одной странѣ въ мірѣ трудъ и собственность не раздѣлены такою глубокою пропастью. Спенсеръ, правда, не говоритъ объ отдѣленіи труда отъ собственности и вообще подвергаетъ существующія поземельныя отношенія весьма поверхностной и чисто метафизической критикѣ. Но онъ дѣйствительно говоритъ, что страна, въ которой господствуетъ принципъ частной поземельной собственности, не можетъ быть ни свободна, ни счастлива; въ такой странѣ, говоритъ онъ, земля вскорѣ очутится во власти немногихъ собственниковъ и не-собственникамъ не будетъ мѣста даже для подошвы ихъ ногъ, вслѣдствіе чего фактически ихъ свобода будетъ равна нулю. Поэтому Спенсеръ могъ бы сказать: да, Англія несчастна, она кишитъ нищими, но не потому, что система наибольшаго производства неудовлетворительна, а потому, что система эта недостаточно развита: лежащій въ основаніи ея законъ равной свободы требуетъ искорененія частной поземельной собственности, а въ Англіи принципъ ея достигъ наивысшаго примѣненія. Значитъ пенять надо не на систему наибольшаго производства, а напротивъ, на недостаточное ея осуществленіе.

Но спрашивается, почему тотъ фатально-свѣтло-розовый естественный ходъ вещей, который отъ вѣка и до вѣка ведетъ насъ къ счастью, не устранилъ до сихъ поръ частной поземельной собственности? Если частная поземельная собственность есть зло, то, по Спенсеру, оно должно состоять въ недостаткѣ приспособленія къ условіямъ существованія и, какъ всякій подобный недостатокъ, должно съ теченіемъ времени исчезнуть. Будемъ надѣяться, что это случится. Но до сихъ поръ мы видимъ, что естественный ходъ вещей ведетъ насъ совсѣмъ не въ ту сторону. Извѣстно, что въ отдаленную пору исторіи частная поземельная собственность у всѣхъ народовъ Европы или вовсе не существовала или была крайне слабо развита. Это продуктъ цивилизаціи, постепенно разложившей поземельныя общины и приведшей или къ скопленію поземельной собственности въ немногихъ рукахъ, какъ въ древнемъ Римѣ и современной Англіи, или къ безконечному раздробленію, къ «пульверизаціи» земельныхъ участковъ, какъ во Франціи. Въ этомъ процессѣ разложенія общины и выработки личнаго начала, конечно, не малую роль играло насиліе. Но, во-первыхъ, съ извѣстной точки зрѣнія, насиліе можетъ входить въ общій благодѣтельный ходъ исторіи. А во-вторыхъ, во многихъ мѣстахъ разложеніе общины совершилось совершенно свободно, путемъ приспособленія къ измѣнившимся условіямъ существованія. Остановить это развитіе частной поземельной собственности со всѣми его послѣдствіями въ то время, какъ личное начало торжествовало во всѣхъ другихъ сферахъ, было бы невозможно и немыслимо. Въ статьѣ «Плутократія и ея основы» читатели найдутъ спеціальное разъясненіе тѣхъ причинъ, въ силу которыхъ обезземеленіе огромнаго большинства англійской націи было необходимымъ условіемъ ея промышленнаго процвѣтанія. Мы же должны довольствоваться здѣсь самымъ общимъ рѣшеніемъ вопроса о счастьи, въ которое экономическій элементъ входитъ только какъ одна изъ составныхъ частей. Замѣтимъ только слѣдующее. Почему бы безземеліе большинства націи не могло имѣть мѣста въ системѣ *наибольшей свободы и наибольшей зависимости?* Спенсеръ только на одномъ этомъ пунктѣ, безъ сомнѣнія, весьма важномъ, различаетъ *фактическую* свободу отъ свободы на словахъ. Но что такое фактическая свобода, какъ не отрицаніе зависимости? Намъ извѣстенъ процессъ, ведущій къ системѣ наибольшаго производства, наибольшей свободы и наибольшей зависимости. Намъ его неоднократно разсказывалъ самъ Спенсеръ. Онъ разсказываетъ его и въ Соціальной Статикѣ. Весь этотъ процессъ состоитъ изъ распаденія первобытнаго зародыша общества на управляющихъ и управляемыхъ, на

собственниковъ и не собственниковъ, на землевладѣльцевъ и земледѣльцевъ, на предпринимателей и исполнителей, и т. д. Процессъ оканчивается образованіемъ въ высшей степени сложнаго «соціальнаго организма», то-есть, такого цѣлаго, составныя части котораго не могутъ жить самостоятельно и находятся въ полнѣйшей взаимной зависимости. Съ чего-же мы вдругъ станемъ разрушать эту восхитительную симметрію на какомъ-нибудь пунктѣ, когда остаемся твердо увѣрены въ ея восхитительности вообще, и считаемъ разрушеніе ея грѣхомъ. Спенсеръ строитъ зданіе, по его мнѣнію, и красивое, и удобное, и прочное, и потомъ вдругъ объявляетъ, что одну изъ главныхъ балокъ необходимо вытащить. Отношенія между землевладѣльцами и земледѣльцами въ системѣ наибольшаго производства совершенно подобны отношеніямъ между всѣми другими ея взаимно зависимыми обособленіями. Поэтому надо выбирать что-нибудь одно изъ двухъ: если одинаково свободны и управляющіе и управляемые, и предприниматели и исполнители, то одинаково свободны и землевладѣльцы и земледѣльцы; если же признать, что не владѣющіе землей фактически не свободны, потому что находятся въ зависимости отъ землевладѣльцевъ, то все зданіе соціальнаго организма рушится. Изъ этого видно, какъ случайна Спенсерова теорія поземельной собственности, какъ она чужда всѣмъ его воззрѣніямъ. А потому мы смѣло можемъ оставить ее въ сторонѣ, даже должны оставить, если хотимъ получить надлежащее понятіе о значеніи приспособленія къ условіямъ существованія въ системѣ наибольшаго производства. Дѣйствительно, батраки очень зависимы отъ поземельныхъ собственниковъ, но вѣдь это такъ и должно быть въ системѣ наибольшей зависимости: въ этой именно зависимости, въ приспособленіи къ безземельному существованію состоитъ, между прочимъ, счастье.

Противники нашей поземельной общины ратуютъ за свободу личности. Они говорятъ, что община «прикрѣпляетъ владѣльца къ землѣ», связываетъ его по рукамъ и по ногамъ, не даетъ простору его индивидуальной дѣятельности. Такъ говорено было въ свое время и на Западѣ. Община тамъ распалась, личность восторжествовала и получила право выбора любой дѣятельности для себя. Ей оставалось только приспособиться къ новымъ условіямъ существованія. Но, выпустивъ личность на волю изъ оковъ общины, давъ ей *право* выбора, процессъ исторіи немедленно-же отнялъ у нея *возможность* выбора. Онъ погналъ ее въ батраки, въ фермеры, наконецъ въ города, ставшіе центрами промышленности и, слѣдовательно, центрами притяженія рабочихъ рукъ. Собственность и трудъ отдѣлились другъ отъ друга и на долю свободной личности выпало быть тѣмъ или другимъ колесомъ въ механизмѣ производства богатствъ, тою или другою частью нѣкотораго чуждаго ей цѣлаго. Чего искала личность, добиваясь свободы отъ земли и отъ другихъ стѣсненій, налагаемыхъ общиннымъ бытомъ? Конечно, счастья. Ничего другого никогда никакая личность не искала. Личность крестьянина, вылупляясь изъ общины, подобно цыпленку изъ яйца, искала, конечно, счастья самаго элементарнаго—порядочнаго пропитанія и косякакого досуга. Что она получила? Славу участія въ производствѣ колоссальныхъ богатствъ, существованіе въ десять разъ хуже и досугъ въ десять разъ меньше прежняго. Это фактъ, котораго болѣе или менѣе добросовѣстные экономисты не скрываютъ. Итакъ, личность во всемъ ея эгоизмѣ разбужена, а средства для достиженія возбужденныхъ желаній отняты. Такъ было въ Англіи. Во Франціи исторія поземельныхъ отношеній получила, благодаря великой революціи, нѣсколько болѣе благопріятный характеръ. Но за то во французскомъ крестьянинѣ начало личности гораздо менѣе развито, вслѣдствіе чего онъ и составляетъ такой тяжелый камень на дорогѣ политическаго либерализма.

Распаденіе феодализма и системы цеховъ и корпорацій имѣло аналогичные результаты. Свободная личность успѣла сдѣлать только нѣсколько радостныхъ прыжковъ и очутилась безъ средствъ для удовлетворенія новыхъ желаній. Немудрено, что она нынѣ, добровольно вступая въ trades-unions, вновь готова наложить на себя старыя цѣпи. Она долго мыкала горе, прежде чѣмъ рѣшиться на такой отчаянный шагъ и, наконецъ, отвернулась отъ счастья, предлагаемаго ей Спенсеромъ и весьма многими другими философами, публицистами, экономистами, юристами, политиками.

Въ настоящее время эти философы, публицисты и т. д., большею частью, уже примирились съ мыслею о необходимости, фатальности горькой судьбы личности, вылупившейся изъ крестьянской общины и ремесленнаго цеха, то-есть, личности крестьянина и городского рабочаго. Философы и публицисты пришли къ тому заключенію, что цѣною неудовлетворенія желаній низшихъ классовъ общества удовлетворяются желанія высшихъ, которые и составляютъ цвѣтъ и красу человѣчества. Поэтому счастье послѣднихъ есть счастье человѣчества, на алтарѣ котораго, въ случаѣ надобности, совершенно правомѣрно можно заколоть

счастье отдѣльныхъ личностей, отдѣльныхъ классовъ общества. Это возбуждаетъ слѣдующій рядъ вопросовъ. Дѣйствительно-ли, высшіе классы общества счастливы въ системѣ наибольшаго производства, наибольшей свободы и наибольшей зависимости? Дѣйствительно ли ихъ счастье есть счастье человѣчества? Дѣйствительно-ли процессъ приспособленія къ системѣ наибольшаго производства отбиваетъ у нихъ желанія, не подлежащія удовлетворенію? Дѣйствительно-ли количество силъ, находящихся въ дѣятельномъ состояніи, растетъ у нихъ въ системѣ наибольшаго производства? Разрѣшеніе этихъ проблемъ должно представить окончательный отвѣтъ на вопросъ о счастьи. Но намъ остается уже слишкомъ мало мѣста для такой обширной задачи. Поэтому, откладывая это дѣло до слѣдующаго раза, мы приведемъ теперь рядъ откровенныхъ мнѣній философовъ и публицистовъ о фатальности золъ, тяготѣющихъ надъ личностью, выбившеюся изъ оковъ поземельной общины и ремесленнаго цеха. Этотъ небольшой сводъ окажетъ намъ впослѣдствіи существенную помощь.

Весьма многіе были поражены послѣднею книгой Ренана, о которой мы упоминали выше. «Московскія Вѣдомости» даже возликовали обращенію почтеннаго французскаго ученаго на путь истины и «Московскихъ Вѣдомостей» и съ обычною своею тонкостью замѣтили, что Ренану, послѣдовательности ради, остается теперь только отказаться отъ нѣкоторыхъ анти-христіанскихъ идей. Не касаясь этого послѣдняго пункта, мы замѣтимъ только, что почтенный французскій ученый давно уже обрѣтается на пути истины и «Московскихъ Вѣдомостей». Вотъ что писалъ онъ въ 1854 году, говоря о политической программѣ Чаннинга: «Возможны двѣ точки зрѣнія на прогрессъ. Его можно видѣть либо въ постепенномъ возвышеніи уровня благосостоянія совокупности человѣчества, со включеніемъ низшихъ классовъ, либо-же въ развитіи аристократіи, имѣющей подъ собою приниженіе народныхъ массъ (un vaste abaissement). Чаннингъ рѣшительно склоняется къ первому воззрѣнію. Боже меня избави отъ упрека ему за это. Америкѣ, очевидно, предстоитъ сдѣлать опытъ приложенія этого новаго (?) понятія о прогрессѣ. Прекрасная и великая будущность, но не слѣдуетъ увлекаться ею и уклоняться отъ пути, которому цивилизація въ Европѣ слѣдовала и, вѣроятно, будетъ слѣдовать. Разъ навсегда признавъ, что для общаго дѣла должно жертвовать отдѣльными личностями; разъ навсегда признавъ, что общество, какъ и было въ древности, должно состоять изъ нѣсколькихъ тысячъ индивидовъ, живущихъ полною жизнью, тогда какъ остальные существуютъ только для первыхъ (les autres n'existant que pour leur procurer la vie complète), мы значительно упростимъ задачу и приблизимся къ гораздо высшему рѣшенію ея. При этомъ множество унизительныхъ подробностей, о которыхъ приходится думать современнымъ демократіямъ, можетъ быть оставлено безъ вниманія. Высота цивилизаціи обыкновенно обратно пропорціональна количеству имѣющихъ въ ней долю. Умственное развитіе перестаетъ возвышаться, какъ только оно пытается распространиться; вторгаясь въ цивилизованное общество, толпа почти всегда понижаетъ его уровень... Будетъ ли народъ, который осуществитъ идеалъ Чаннинга, организованъ сообразно началамъ современной цивилизаціи? Не думаемъ. Это будетъ народъ честный, добропорядочный, состоящій изъ людей добрыхъ и счастливыхъ; но это не будетъ народъ великій... Человѣкъ живетъ на землѣ не для того, чтобы быть счастливымъ, даже не для того, чтобы быть просто честнымъ. Онъ существуетъ для того, чтобы осуществить при помощи общества великое, чтобы достигнуть благородства и превзойти ничтожество, въ которомъ влачитъ свое существованіе большинство людей. Наименьшее неудобство идеала Чаннинга состоитъ въ томъ, что въ немъ можно умереть со скуки». (Revue des Deux Mondes, 1854, t. 9, p. 1,102—1,104).

Такъ говоритъ артистъ по натурѣ, историкъ и филологъ по профессіи. Русскій экономистъ г. Жуковскій, во времена оны нѣсколько легкомысленный, но нынѣ умудренный житейскимъ опытомъ и математикой, говоритъ то же самое, но болѣе zierlich-manierlich и съ болѣе ученымъ видомъ: «Мы должны ежегодно производить для нашего существованія, для поддержанія нашей животной жизни, цѣлыя массы сложнѣйшихъ органическихъ веществъ. Черезъ это самыя простыя, самыя низкія отправленія въ нашемъ существованіи поставлены въ зависимость отъ самыхъ трудныхъ и недоступныхъ намъ по выполненію задачъ. Между тѣмъ, какъ болѣе высшія отправленія жизни, удобства и наслажденія болѣе человѣческія, составляющія въ нашихъ глазахъ роскошь и цвѣтъ жизни, достигаются несравненно болѣе простыми и доступными для насъ средствами... Вотъ почему наша жизнь, то-есть, жизнь человѣческихъ обществъ вообще, оказалась скоро такъ богата роскошью, нападать на которую стало моднымъ словомъ, и такъ бѣдна предметами первой потребности; вотъ почему наша механика давно дѣлала успѣхи въ производствѣ предметовъ индустріи въ то время, какъ нашъ способъ

производства пищи остался тотъ-же, который намъ передали наши арійскіе предки изъ глубины Азіи, сами Богъ-вѣсть когда и отъ кого получившіе его по наслѣдству. Вотъ почему самый первый вопросъ въ жизни человѣка, вопросъ о первыхъ потребностяхъ, остался такимъ вопросомъ, который *если только когда-нибудь будетъ рѣшенъ, то будетъ рѣшенъ послѣднимъ*; и почему исторія человѣческихъ обществъ, не смотря ни на какія демократическія формы и стремленія, не смотря на вѣковой прорывающійся въ ней голосъ человѣка, безвинно оскорбленнаго у самой колыбели природой, должна была быть и осталась до сихъ поръ (у г. Жуковскаго не хватаетъ смѣлости отвѣтить за будущее) аристократическою исторіей. Не вправѣ-ли мы сказать послѣ этого, что аристократическій характеръ нашего политическаго и общественнаго устройства, нашей культуры, былъ предопредѣленъ нашею физіологическою организаціей, тѣми тѣсными предѣлами, въ которыхъ были совершенны наши чувства, какъ средства знанія, и той зависимости нашихъ самыхъ грубыхъ потребностей отъ самыхъ сложныхъ органическихъ формъ для своего удовлетворенія. Какъ видите, точное знаніе можетъ весьма многое объяснить въ нашемъ нравственномъ мірѣ весьма простыми причинами» («Исторія политической литературы XIX вѣка». Т. 1, 422). Къ сожалѣнію, г. Жуковскій, имѣя въ своемъ распоряженіи теорію, столь утѣшительную для однихъ и столь ужасную для другихъ, ограничился ролью Пиѳіи на священномъ треножникѣ. Онъ бросаетъ свою теорію мимоходомъ, основаніе ея мы привели вполнѣ, и, какъ видите, основаніе это не принадлежитъ къ числу разработанныхъ, хотя и высказывается самымъ категорическимъ тономъ. Подождемъ второго тома «Исторіи политической литературы».

Старые экономисты были не въ примѣръ проще и къ тѣмъ же самымъ результатамъ приходили при помощи средствъ, гораздо болѣе простыхъ. Мальтусъ слишкомъ извѣстенъ. Поэтому, мы приведемъ слова его соратника Тоунзенда: «Существуетъ, повидимому, законъ природы, въ силу котораго бѣдные нужны для исполненія самыхъ низкихъ, грязныхъ и рабскихъ отправленій общежитія. Чрезъ это весьма увеличивается фондъ человѣческаго счастья. Этимъ способомъ возвышенныя души избавляются отъ хлопотъ и могутъ безпрепятственно слѣдовать своему высшему призванію... Законъ о бѣдныхъ стремится разрушить гармонію и красоту, симметрію и порядокъ этой Богомъ и природой установленной системы». (Приведено у Маркса. Das Kapital, 634).

Съ той-же точки зрѣнія французскій экономистъ Гарнье отрицаетъ народное образованіе, ввести которое въ достаточно широкихъ размѣрахъ значило бы «уничтожить всю нашу общественную систему. Какъ всѣ другіе виды раздѣленія труда, раздѣленіе между трудомъ физическимъ и умственнымъ становится рѣзче по мѣрѣ обогащенія общества. Подобно всякому другому, это раздѣленіе труда есть результатъ прошедшихъ успѣховъ и причина будущихъ. Имѣетъ-ли правительство право противодѣйствовать ему и задерживать его дальнѣйшій естественный ходъ?» (Marx. 1. c., 348).

«Развитіе общественнаго богатства образуетъ полезный классъ общества, принимающій на свои плечи всѣ скучнѣйшія, унизительнѣйшія, отвратительнѣйшія обязанности—словомъ, все, что только есть въ жизни непріятнаго и рабскаго. Чрезъ это именно другіе классы общества получаютъ досугъ, бодрость духа (Heiterkeit des Geistes) и условное достоинство характера» (Шторхъ, у Маркса, 634).

Но всѣхъ этихъ философовъ, публицистовъ, экономистовъ далеко превзошелъ смѣлостью и откровенностью писатель прошлаго столѣтія Мандевиль въ своей знаменитой «Баснѣ о пчелахъ». Мы не приведемъ его разсужденій собственно о фатальности доли низшихъ классовъ въ цивилизованныхъ обществахъ, потому что они мало чѣмъ отличаются отъ вышеприведенныхъ. Мы ограничимся только заключеніемъ басни, ея окончательнымъ моральнымъ выводомъ: «Безумные смертные, оставьте ваши жалобы! Напрасно старается вы соединить величіе и честность. Только глупцы могутъ льститься тѣмъ, чтобы наслаждаться благами земли, пріобрѣсти славу на войнѣ, пріятно жить и въ то же время быть добродѣтельнымъ. Бросьте эти пустыя мечты. Обманъ, излишество, тщеславіе нужны, чтобы мы могли извлечь изъ нихъ сладкіе плоды. Конечно, голодъ есть отвратительное неудобство; но могли ли мы безъ него питаться, переваривать, расти? Какъ ни хороша виноградная лоза, но какъ любезно вино, составляющее ея плодъ. Порокъ также нуженъ для процвѣтанія государства, какъ голодъ для преуспѣянія человѣка. Одна добродѣтель не можетъ сдѣлать народъ счастливымъ и славнымъ. Если мы захотимъ воротиться въ золотой вѣкъ невинности, то мы должны быть также готовы снова питаться дикими желудями, какъ наши достопочтенные предки» (Геттнеръ, «Исторія англійской литературы XVIII вѣка», 177).

Конечно, благодушный Спенсеръ, въ своей философской невинности сочиняющій этику для совершенныхъ людей, далекъ отъ такой

безшабашности и такихъ яркихъ красокъ. Но онъ не вѣдаетъ, что творитъ. Впрочемъ, и онъ обнаруживаетъ достаточно безшабашности, утверждая, что смерть отъ эпидеміи и знахарей есть достойное возмездіе за невѣжество, и что остановиться между этими двумя моментами естественной справедливости, значитъ, совершать грѣхъ передъ Богомъ и человѣчествомъ. Умы болѣе практическіе давно уже расписали красоты системы наибольшаго производства, наибольшей свободы и наибольшей зависимости, расписали съ тою откровенностью, которая въ такомъ дѣлѣ особенно желательна. Откровенность эта, восторжествуй она окончательно на каѳедрахъ, на трибунахъ, въ книгахъ, сблизила бы всѣ партіи. Собственно говоря, факты уже достаточно взвѣшены и смѣрены, чтобы на этомъ пунктѣ устранить всякія разногласія между изслѣдователями самыхъ противоположныхъ направленій. Разъ напускной туманъ будетъ выкинутъ, силы изслѣдователей могутъ быть съ успѣхомъ сосредоточены на *оцѣнкѣ* фактовъ, въ которой собственно и лежитъ корень затрудненія. Одни говорятъ, что судьба личности, вышедшей изъ крестьянской общины и ремесленнаго цеха, неравномѣрна и не фатальна; что въ обществахъ новыхъ, или, пожалуй, старыхъ, отсталыхъ, она можетъ и должна быть болѣе или менѣе предотвращена, а въ обществахъ старыхъ или, что̀ тоже, передовыхъ, болѣе или менѣе измѣнена. Другіе утверждаютъ, что такое предотвращеніе или измѣненіе и невозможно и нежелательно; что, какъ говоритъ г. Жуковскій, «такое направленіе цивилизаціи не есть ни случайность, ни ошибка, ни произвольный выборъ, а такой же фактъ, естественно-историческій законъ, за какой мы считаемъ факты физической природы» (надо, впрочемъ, замѣтить, что *факта* никто, никогда и нигдѣ *закономъ* не считалъ и не можетъ считать, потому что это безсмыслица); что, далѣе, какъ говорятъ Ренанъ, Тоунзендъ и другіе, измѣненіе направленія цивилизаціи и нежелательно, ибо имъ обезпечивается счастье тѣхъ классовъ общества, въ которыхъ персонифицируется счастье человѣчества. Эти воззрѣнія являются любопытнымъ сочетаніемъ стоицизма и эпикуреизма древнихъ грековъ. Недаромъ Ренанъ ссылается на примѣръ античнаго общества, хотя тутъ же, впрочемъ, дѣлаетъ Чаннингу упрекъ, что его идеалъ не соотвѣтствуетъ началамъ современной цивилизаціи. Разница только въ томъ, что древніе стоики предлагали человѣку смотрѣть на себя въ случаѣ надобности, какъ на часть вселенной, какъ на ногу, которая ради *этого* цѣлаго должна быть грязною и исколотою колючками; современные философы предлагаютъ той же ногѣ пресмыкаться въ грязи и страдать отъ колючекъ ради другого цѣлаго, ради системы наибольшаго производства, наибольшей свободы и наибольшей зависимости. Разница далѣе въ томъ, что древніе эпикурейцы, не смотря на то, что ихъ мораль была прозвана «моралью свиней», никогда не доходили до Мандевилевскаго оправданія порока, сознаваемаго, какъ порокъ.

Что касается до стоическаго элемента этихъ новыхъ ученій, то его можно признать совершенно безсильнымъ. Не бороться съ фатальнымъ ходомъ вещей предлагаютъ только тѣ и въ такихъ случаяхъ, кому и въ какихъ случаяхъ такая борьба невыгодна. Борьба человѣка съ природой, взятая въ самомъ широкомъ смыслѣ, есть не что иное, какъ вынужденіе у природы тѣхъ ощущеній, которыя доставляютъ человѣку счастье, и устраненіе тѣхъ, въ которыхъ онъ видитъ свое несчастье. Этой борьбѣ съ природой, съ фатумомъ не предвидится ни конца, ни уменьшенія ея напряженности. Я не могу себѣ представить, чтобы человѣкъ когда-нибудь отказался отъ нея, какъ бы мы его ни увѣщевали смириться. Что можетъ быть фатальнѣе смерти, и однако всякій фаталистъ до послѣдней минуты будетъ отгонять отъ себя этотъ страшный образъ, и его послѣднія судороги скажутъ, что онъ не сдался безъ боя. Разсчитано, что черезъ двѣсти—триста лѣтъ въ Англіи не будетъ больше каменнаго угля, вслѣдствіе чего эта богачиха должна обнищать окончательно. Это фатально. Но я вѣрю, что человѣкъ въ такомъ случаѣ запряжетъ самое солнце. Я вѣрю, что если и солнце погаснетъ, человѣчество не сложитъ своихъ рукъ, ни покрытыхъ мозолями, ни унизанныхъ перстнями. Въ этой прометеевской борьбѣ съ стихійными силами, подавшей идею высочайшаго миѳа, какой когда-либо создавала мысль человѣка, я вижу и непосредственный источникъ счастья, и залогъ побѣды. Повѣрятъ ли обездоленные, что ихъ участь записана въ непреложной книгѣ судебъ, раскрытой фаталистами, хотя бы самыми учеными? А если не повѣрятъ, не сдадутся, то гдѣ же счастье въ системѣ наибольшаго производства, наибольшей свободы и наибольшей зависимости?

Намъ отвѣчаютъ на это современные эпикурейцы: въ пользованіи тѣми благами, которыя даются избраннымъ системой наибольшаго производства. Но дѣйствительно ли въ этомъ состоитъ счастье человѣчества и дѣйствительно ли счастливы упомянутые избранные? Мы отвѣчаемъ: нѣтъ. Мы утверждаемъ, что фатальный ходъ исторіи и во всѣхъ другихъ сферахъ человѣческой дѣятельности имѣлъ тѣ же результаты, что въ распаденіи общины и цеха. Существуетъ, говорятъ, страшная пыт-

ка, передъ которою блѣднѣютъ всѣ возможные застѣнки и дыбы: пытаемаго кормятъ селедками, возбуждаютъ въ немъ страшную жажду, а пить не даютъ. Такъ пытала до сихъ поръ человѣка исторія, ведя его къ системѣ наибольшаго производства, наибольшей свободы и наибольшей зависимости. Вездѣ и во всѣхъ областяхъ фатальный историческій процессъ разбивалъ старыя оковы, наложенныя на личность ея невѣжествомъ и безпомощностью, но тутъ-же вдвигалъ ее въ качествѣ безсмысленнаго колеса въ систему наибольшаго производства; возбуждалъ въ ней желанія, либо вовсе не подлежащія удовлетворенію, либо не подлежащія удовлетворенію въ системѣ наибольшаго производства. Мы утверждаемъ, что такихъ результатовъ не избѣгла ни одна изъ группъ избранныхъ. Если такой ходъ исторіи дѣйствительно фаталенъ, если человѣчество, будь оно семи пядей во лбу, скорѣе разобьетъ себѣ этотъ лобъ, чѣмъ измѣнитъ теченіе дѣлъ, то не называйте, по крайней мѣрѣ, результатовъ этого теченія счастьемъ.

Мы утверждаемъ, такимъ образомъ, какъ разъ противоположное тому, что говоритъ о результатахъ приспособленія къ системѣ наибольшаго производства Спенсеръ. А между тѣмъ, его пять тезисовъ представляютъ, повидимому, совершенно логическое построеніе, основанное на фактическихъ данныхъ. Но это только, повидимому. Когда Спенсеръ говоритъ, что всякое несовершенство состоитъ въ недостаткѣ приспособленія къ условіямъ существованія (первый тезисъ), то онъ предрѣшаетъ вопросъ о счастьи (слова: несовершенство, зло, несчастье онъ употребляетъ въ одномъ и томъ-же смыслѣ, точно такъ же, какъ и слова: совершенство, благо, счастье). Сколько-нибудь серьезныхъ основаній для такого утвержденія онъ не даетъ, придавая ему характеръ аксіомы, положенія, не требующаго доказательствъ. Это просто его личный взглядъ на счастье, который подлежитъ провѣркѣ. Поэтому мы не можемъ довѣриться ни этому положенію, ни тѣмъ, которыя представляютъ только логическій выводъ изъ него. Если мы примемъ первый тезисъ, то должны будемъ, разумѣется, принять и остальные, но весьма возможно, что мы его не примемъ. За вычетомъ этихъ сомнительныхъ пунктовъ, мы найдемъ только одинъ (четвертый) тезисъ, дѣйствительно имѣющій за себя неоспоримыя фактическія данныя. Тезисъ этотъ, какъ мы видѣли, гласитъ такъ: «Существенный принципъ жизни состоитъ въ томъ, что способность, которая по обстоятельствамъ не имѣетъ полнаго круга дѣятельности, ослабляется; а способность, отъ которой условіями существованія требуется усиленная дѣятельность, возрастаетъ». Новѣйшія біологическія изслѣдованія вполнѣ подтверждаютъ это положеніе. Мы смѣло можемъ, вмѣстѣ со Спенсеромъ, взять его за исходную точку нашего разсужденія.

УТОПІЯ РЕНАНА И ТЕОРІЯ АВТОНОМІИ ЛИЧНОСТИ ДЮРИНГА *).

I.

Въ первыхъ числахъ мая 1871 года, разсказываетъ Ренанъ въ книгѣ «Dialogues et fragments philosophiques» (Paris, 1876, 2-e éd.):—нѣсколько философовъ въ продолженіе трехъ дней бесѣдовали о судьбахъ человѣчества и вселенной. Философы принадлежали къ той школѣ, «основные принципы которой состоятъ въ культѣ идеала, отрицаніи всего супранатуральнаго и опытномъ изслѣдованіи реальнаго міра». Ренанъ заранѣе протестуетъ противъ тѣхъ, кто припишетъ ему солидарность, съ мнѣніями котораго либо изъ этихъ философовъ. Онъ утверждаетъ даже, что подобную неловкость могутъ сдѣлать только глупые и непросвѣщенные люди. Тѣмъ не менѣе, всякому знакомому съ образомъ мыслей Ренана ясно, что общіе результаты, къ которымъ приходятъ его бесѣдующіе философы, самому ему очень не чужды. Для насъ, впрочемъ, это довольно без-

*) 1878 г., августъ и сентябрь.

различно. Пусть собесѣдники діалоговъ Ренана суть не реальныя лица, а «отвлеченія», какъ онъ увѣряетъ. Въ діалогахъ, во всякомъ случаѣ, ярко отразилась очень любопытная сторона современной нравственно-политической мысли.

Согласно предложенію одного изъ собесѣдниковъ, діалоги ведутся въ три пріема. Въ первомъ отдѣлѣ трактуются «достовѣрности» (certitudes), во второмъ—«вѣроятности», въ третьемъ развиваются «мечты».

По мнѣнію друзей философовъ, нигдѣ въ природѣ, насколько хватаетъ умственное зрѣніе человѣка, не замѣчается слѣдовъ дѣятельности существъ, подобныхъ человѣку и высшихъ, чѣмъ онъ. Въ этомъ заключается первая достовѣрность. Однако, если никакой капризъ, ничья частная воля не вмѣшивается въ теченіе міровой жизни, то, тѣмъ не менѣе, міръ имѣетъ какую-то таинственную, божественную цѣль и стремится къ ней, какъ растеніе къ свѣту, какъ ребенокъ изъ утробы матери на бѣлый свѣтъ.. Міръ, какъ цѣлое, стремясь къ своей цѣли, эксплуатируетъ, все частное, индивидуальное, въ томъ числѣ и человѣка. Природа заставляетъ насъ служить своимъ собственнымъ цѣлямъ, но дѣлаетъ это такъ искусно, съ такимъ макіавеллизмомъ, что мы и не догадываемся о подчиненности своей роли. Природа вложила въ насъ извѣстныя стремленія, желанія, потребности, по удовлетвореніи которыхъ мы однако немедленно разочаровываемся. Это потому, что, въ существѣ вещей, мы совсѣмъ не ради себя желаемъ и стремимся, а ради верховныхъ цѣлей природы, которая заманиваетъ насъ и надуваетъ. Что то организуется на нашъ счетъ; мы—игрушка въ рукахъ высшаго эгоизма, эгоизма природы. Напримѣръ, съ точки зрѣнія нашего личнаго счастья, добродѣтель совсѣмъ не нужна и даже необъяснима, не добродѣтель индивида нужна для цѣлей природы, и вотъ почему мы слышимъ въ себѣ ея голосъ, вотъ почему мы способны на самоотверженіе, совершенно безсмысленное съ личной точки зрѣнія. Возьмемъ болѣе частный и болѣе осязательный примѣръ. Общественное мнѣніе жестоко караетъ нецѣломудренность женщины и болѣе, чѣмъ снисходительно смотритъ на нецѣломудренность мужчины, оно почти смѣется надъ тѣми самыми качествами въ мужчинѣ, которыя почти боготворитъ въ женщинѣ. Почему такая нелѣпая разница? Но она совсѣмъ не нелѣпа съ точки зрѣнія цѣлей природы. Недостатокъ цѣломудрія въ женщинахъ мѣшалъ бы оплодотворенію и, слѣдовательно, пріостановилъ бы распространеніе рода человѣческаго: наоборотъ, недостатокъ цѣломудрія въ мужчинахъ можетъ только способствовать размноженію. А природѣ это и нужно, ей нужны люди, какъ кирпичи для воздвигаемаго ею зданія. Вотъ почему она искусно вложила въ людей убѣжденія, которыя могутъ казаться странными, нелѣпыми предразсудками. Самое важное изъ этихъ недоразумѣній есть питаемое людьми инстинктивное уваженіе, а иногда и прямое стремленіе къ самопожертвованію. Съ личной точки зрѣнія, эгоизмъ разуменъ, но, повинуясь голосу природы, которой нужно самопожертвованіе индивидовъ (мы сейчасъ увидимъ зачѣмъ), мы презираемъ эгоизмъ и стыдимся его. И въ этомъ заключается высшая правда. Такимъ образомъ, какой-то высшій планъ управляетъ нами и увлекаетъ насъ. Это—вторая достовѣрность. Изъ нея вытекаютъ чрезвычайно важныя слѣдствія.

Въ огромномъ большинствѣ случаевъ люди не понимаютъ характера своей жизненной роли. Они любятъ, плодятся, сѣютъ, жнутъ, собираютъ въ житницы, борятся, добиваются, достигаютъ, падаютъ, не замѣчая иллюзуарнаго характера своей дѣятельности, ничему не научаясь изъ опыта разочарованій, и слѣпо увѣрены, что продѣлываютъ все это ради своихъ собственныхъ интересовъ. Но нѣкоторымъ удается проникнуть въ хитроумные обманы природы, сознать свое положеніе вѣчно обманываемыхъ и куда-то заманиваемыхъ. Такимъ предстоитъ два пути: возмущеніе и покорность. (Типомъ возмутившихся Ренанъ считаетъ Шопенгауера, а покорившихся — Фихте). Возмутившійся беретъ въ руки оружіе критики и рубитъ имъ направо и налѣво, разрушая всѣ иллюзіи, обязанныя своимъ существованіемъ ковамъ природы: истину, благо, любовь. Онъ разбиваетъ въ людяхъ вѣру въ жизнь, показывая ея ничтожество: отравляетъ каждое наслажденіе, показывая, нелѣпость всѣхъ стремленій, желаній, идеаловъ; разнуздываетъ людей, показывая, что, съ точки зрѣнія ихъ эгоистическихъ интересовъ, узы, налагаемыя инстинктами религіи, любви, потребностями въ добрѣ и истинѣ, не выдерживаютъ критики. Такая революціонная дѣятельность преступна и безполезна. Въ концѣ концовъ, побѣда останется всегда на сторонѣ природы, которая слишкомъ хорошо приготовилась. И еслибы революціонеру удалось кого-нибудь соблазнить, то всегда останется громадная масса людей, безсознательно подчиняющихся велѣніямъ и хитростямъ природы, наивно ищущихъ непосредственнаго счастья, отдающихся иллюзіямъ. Однако это—удѣлъ непросвѣщенной массы, черни, а не мудрецовъ. Мудрецамъ предстоитъ сознательная покорность и содѣйствіе цѣлямъ природы. Мудрецъ долженъ быть сотрудникомъ высшаго существа, помогать ему обманывать

индивидовъ для блага цѣлаго для мірового блага. Онъ долженъ быть орудіемъ великой иллюзіи, проповѣдуя людямъ добродѣтель и очень хорошо зная, что они не извлекутъ изъ нея никакой личной пользы. Такъ, полководецъ ведетъ пушечное мясо на смерть за дѣло, чуждое и непонятное этому мясу.

На этомъ кончается область достовѣрнаго и вытекающихъ изъ него практическихъ слѣдствій. Перейдемъ къ вѣроятностямъ.

Что вывело вещи изъ ихъ первобытнаго равновѣсія въ движеніе? Желаніе быть, идея. Все исходитъ изъ матеріи, но все оживляется идеей, которая, стремясь реализироваться, порождаетъ бытіе. Нѣтъ зданія безъ камней или дерева, нѣтъ музыки безъ струнъ или мѣди, нѣтъ мысли безъ нервной массы; но камни не зданіе, скрипка не музыка, мозгъ не мысль; это—условія, безъ которыхъ невозможны зданіе, музыка и мысль. Соната Бетховена на бумагѣ существуетъ только въ возможности; ея бытіе въ дѣйствительности обусловлено колебаніями воздуха, физическимъ фактомъ. Однако, будучи необходимымъ условіемъ бытія, матерія отнюдь не есть его причина. Причина—идея, которая одна реально существуетъ и вѣчно стремится къ полному существованію, создавая необходимыя для себя матеріальныя комбинаціи. Поэтому и міровая цѣль можетъ состоять только въ сознаніи, въ господствѣ разума. На каждой планетѣ фабрикуется мысль, эстетическое чувство, нравственное. На землѣ высшая мыслительная машина (machine à penser) есть человѣкъ, но и онъ—только орудіе и матеріалъ для высшей цѣли, для образованія существъ или существа съ еще болѣе концентрированнымъ сознаніемъ. Человѣку не дано постигнуть всевѣдѣнія и всемогущества, потому что ресурсы нашей планеты конечны, но нашей планетой міръ не исчерпывается. Что же касается человѣка, то тутъ могутъ быть различныя вѣроятности. Ходъ цивилизаціи, какъ уже и прежде не разъ случалось, можетъ задержаться какимъ-нибудь сильнымъ гоненіемъ на свободную мысль. Еще большими опасностями грозитъ истребленіе запасовъ каменнаго угля и сильное развитіе эгоистическихъ идей, образцы котораго уже нынѣ есть въ нѣкоторыхъ демократіяхъ. Это, собственно говоря—факты одного порядка: распространеніе эгоистическихъ идей демократіи есть своего рода конецъ каменнаго угля, конецъ нравственной теплоты и способности къ самоотверженію. Можетъ быть, въ будущемъ земля сплошь заселится идіотами, грѣющимися на солнцѣ и не думающими ни о чемъ, кромѣ необходимаго для матеріальной жизни. Однако наука можетъ парализировать оба страшные факта. Она можетъ придумать средства для замѣны каменнаго угля непосредственной утилизаціей солнечной теплоты. Она можетъ, путемъ прогресса военнаго искусства, сосредоточить страшную силу въ рукахъ умственной и нравственной аристократіи. Наши современныя арміи уже представляютъ собою нѣчто въ этомъ родѣ. Онѣ обезпечиваютъ ихъ повелителямъ господство надъ безоружной и недисциплинированной толпой. Но въ нихъ лежитъ зародышъ ихъ собственной слабости: они рекрутируются изъ рядовъ народа, и если весь народъ проникнется эгоистическими чувствами зависти и жадности, на него невозможно будетъ опереться для борьбы съ завистью и жадностью. Надо придумать что-нибудь болѣе солидное, что-нибудь вродѣ маленькой группы мудрецовъ, заправляющихъ человѣчествомъ при помощи средствъ, которыя требовали бы для своего примѣненія огромныхъ знаній и потому были бы недоступны толпѣ.

Такимъ образомъ, наука есть великій дѣятель божественнаго мірового сознанія. Теоретически, она есть міръ, природа, себя сознающая. Практически, она даетъ божественной, міровой силѣ такія средства опоры, могущество которыхъ теперь даже взвѣсить нельзя. Здѣсь мы уже нечувствительно переходимъ въ область мечты (rêve), утопіи.

Сознаніе требуетъ себѣ почвы въ видѣ индивидуальнаго единства, единаго sensorium'а, состоящаго изъ нервной массы, управляющей опредѣленнымъ организмомъ. Есть однако живыя единства, не до такой степени индивидуализированныя. Націи, какъ Франція, Германія, Англія, города, какъ Аѳины, Венеція, Флоренція, Парижъ, дѣйствуютъ подобно личностямъ, имѣющимъ опредѣленный характеръ и интересы. На нихъ, точно такъ же, какъ на церковь и нѣкоторыя ассоціаціи можно смотрѣть, какъ на индивидуальные организмы, болѣе или менѣе искусно борящіеся за свое личное существованіе и за поддержаніе своего вида. Физіологія показала, что жизнь растенія или животнаго есть равнодѣйствующая другихъ жизней, гармонически сподчиненныхъ нѣкоторому конкретному единству. Сознаніе есть тоже равнодѣйствующая милліоновъ другихъ сознаній, подчиненныхъ одной цѣли. Клѣточка представляетъ уже нѣкоторую индивидуальную концентрацію; нѣсколько клѣточекъ, связанныхъ въ одно цѣлое, образуютъ сознаніе второго порядка (человѣкъ или животное). Сознанія второго порядка, группируясь, образуютъ сознаніе третьяго порядка, сознаніе городовъ, церквей, націй, состоящихъ изъ милліоновъ личностей, проникнутыхъ одной идеей, одушевленныхъ одинаковыми чувствами. Съ матеріалистической точки зрѣнія, су-

ществуютъ, собственно говоря, только атомы, но для истиннаго философа, для идеалиста клѣточка существуетъ болѣе, чѣмъ атомъ (existe plus que l'atome); недѣлимое существуетъ больше, чѣмъ клѣточка; нація, церковь, городъ больше, чѣмъ индивидъ, потому что индивидъ жертвуетъ собой ради этихъ цѣлыхъ, въ которыхъ грубый реализмъ видитъ чистые абстракты. Отправляясь отсюда, можно представить себѣ будущее сознаніе человѣчества, какъ нѣчто единое и всеобщее. Тысячи почекъ входятъ въ составъ одного дерева. Такъ, въ будущемъ всѣ отдѣльныя сознанія сольются въ одно цѣлое. «Государство уже теперь представляетъ нѣчто аналогичное, потому что оно создаетъ идеальное (искусство, науку, благо) на деньги плательщиковъ податей, которые большею частью матеріалисты» *). Будущія формы божественнаго сознанія могутъ быть сведены къ тремъ типамъ. Логически возможны: форма демократическая, когда единство сознанія достигается своего рода договоромъ и всеобщей подачей голосовъ; форма олигархическая, когда носителемъ всеобщаго сознанія является небольшая группа, управляющая остальными; форма монархическая, когда сознаніе сосредоточено въ одномъ лицѣ, какъ бы резюмирующемъ все остальное.

Съ точки зрѣнія философскихъ идей бесѣдующихъ друзей, демократическое рѣшеніе задачи имѣетъ наименѣе шансовъ осуществиться. Цѣль природы состоитъ совсѣмъ не въ томъ, чтобы всѣ познали истину, а въ томъ, чтобы истина была познана нѣкоторыми и чтобы преданіе ея не затерялось. Поднять всѣхъ до одинаковаго уровня невозможно, да и вовсе не нужно. «Что за бѣда, что милліоны ограниченныхъ существъ, населяющихъ землю, не знаютъ истины или отрицаютъ ее, если мудрые ее видятъ и обожаютъ? Зачѣмъ стѣснять другихъ непосильными для нихъ умозрѣніями? Теоремы Абеля и Коши ничего не теряютъ въ своей достовѣрности отъ того, что ихъ понимаетъ только какая-нибудь сотня людей. Достаточно, чтобы эти высокія истины были познаны и записаны въ книгахъ въ виду тѣхъ, кто когда нибудь пожелаетъ ихъ узнать. Для полнаго существованія разума нѣтъ необходимости, чтобы весь міръ къ нему обратился. Во всякомъ случаѣ этого нельзя ожидать отъ низкой демократіи, которая, повидимому, тяготѣетъ, напротивъ, къ устраненію высшихъ научныхъ дисциплинъ и трудныхъ умственныхъ задачъ. Идеалъ американскаго общества, быть можетъ, наиболѣе удаленъ отъ идеала общества, управляемаго наукой. Тотъ принципъ, что общество существуетъ только для благополучія и свободы составляющихъ его индивидовъ, повидимому, не согласенъ съ планами природы, въ которыхъ недѣлимое приносится въ жертву виду и роду». Итакъ, мало вѣроятности, чтобы божественная идея реализовалась демократіей. Сектантская и ревнивая демократія есть, напротивъ, теологическая ошибка по преимуществу, потому что цѣли, преслѣдуемыя міромъ, состоятъ не въ устраненіи вершинъ, а напротивъ въ созданіи боговъ (sic), высшихъ существъ, которымъ остальныя существа будутъ служить и находить въ этомъ служеніи свое счастье. Спасители человѣчества не могутъ рождаться въ странахъ, преданныхъ эгоизму и низкимъ удовольствіямъ. «Рядомъ съ человѣкомъ науки должны стоять люди, готовые на него и за него работать, и притомъ не понимая его дѣятельности. Что можетъ быть противоположнѣе духу той демократіи, которая даетъ цѣну только тому, что она можетъ прямо понять? Распространеніе первоначальнаго образованія сократитъ число готовыхъ на самопожертвованіе; народъ, получившій первоначальное образованіе, полный глупаго тщеславія, не захочетъ содержать высшую культуру, то есть имѣть господъ. Въ концѣ концовъ, цѣль человѣчества состоитъ въ созданіи великихъ людей. Великое дѣло совершится наукой, а не демократіей. Надо отдать справедливость странамъ, производящимъ только утонченное, фабрикующимъ кружева, а не грубое полотно: они наиболѣе служатъ прогрессу. Важны не столько просвѣщенныя массы, сколько великіе геніи и публика, способная ихъ понять. Если невѣжество массъ есть необходимое условіе для этого—тѣмъ хуже. Природа не останавливается передъ такими препятствіями, она уничтожаетъ цѣлые виды для предоставленія другимъ необходимыхъ условій развитія». Надо замѣтить, что, при этихъ порядкахъ, вовсе нѣтъ жертвъ: всѣ служатъ высшимъ цѣлямъ, и личнаго счастья, пожалуй, больше на сторонѣ непросвѣщенной толпы. Уже и теперь радостей у простыхъ людей больше, чѣмъ у ученыхъ. А «тотъ высшій міръ, о которомъ мы теперь мечтаемъ, какъ о реализаціи чистаго

*) L'état. déja de notre temps, produit quelque chose d'analogue, puisqu'il fait de l'idéal (de l'art, de la science, du bien) avec de l'argent des contribuables, qui sont pour la plupart des matérialistes.—До сихъ поръ я гонялся за большою точностью передачи мыслей Ренана или фигурирующихъ въ его діалогахъ «отвлеченій». Это было и не нужно, и затруднительно, въ виду крайней двусмысленности философскаго языка Ренана. Я старался только извлечь изъ разговоровъ друзей-философовъ ихъ главную нить. Но нѣкоторыя мѣста истинно чудовищной утопіи Ренана я считаю нужнымъ привести подлинными его словами.

разума, не имѣлъ бы женщинъ. Женщина осталась бы простымъ людямъ въ вознагражденіе, чтобы они имѣли побужденіе жить».

Ясно, что грядущую судьбу человѣчества несравненно легче и пріятнѣе представить себѣ въ олигархической формѣ, чѣмъ въ демократической. Можно себѣ представить сливки интеллигенціи вооруженными такими могучими тайнами, которыя позволяютъ ихъ обладателямъ повелѣвать всѣмъ міромъ. Мы уже отчасти заглянули въ эту перспективу. Брахманизмъ царствовалъ цѣлые вѣка, благодаря вѣрованію, что взглядъ брахмана поражаетъ, какъ молніей, людей, вызвавшихъ его гнѣвъ. Такое вѣрованіе, основанное на ошибкѣ, не могло быть достаточно прочнымъ. Но, можетъ быть, наступитъ время, когда наука будетъ имѣть подобную власть помимо всякихъ иллюзій, когда власть науки станетъ такъ сильна, что всякое возстаніе противъ нея будетъ невозможно. Тогда-то и возродится настоящая духовная власть съ несравненно большею силою, чѣмъ средневѣковая католическая церковь, которая не имѣла въ своемъ распоряженіи достаточныхъ матеріальныхъ средствъ. Католическая церковь пугала адомъ, а наука предоставитъ, можетъ быть, въ распоряженіе власти настоящій, реальный адъ.

Конечно, безусловное господство одной части человѣчества надъ другою безнравственно, если управляющая часть руководится личнымъ или сословнымъ эгоизмомъ; но аристократія нашей утопіи есть воплощеніе разума, это—истинно непогрѣшимое папство, и власть его будетъ законна и благодѣтельна. И массы увѣруютъ въ нее. Какъ не увѣровать въ истину, которая есть вмѣстѣ съ тѣмъ сила, въ теорію, которая порождаетъ всепокоряющія и всеподчиняющія практическія орудія. Силы человѣчества будутъ сосредоточены въ очень маломъ количествѣ рукъ и сдѣлаются собственностью лиги, способной располагать даже существованіемъ планеты и терроризировать весь міръ. Разъ будутъ изобрѣтены средства для уничтоженія нашей планеты, обладатели истины будутъ всемогущи, потому что отъ нихъ будетъ зависѣть существованіе всѣхъ: они будутъ, можно сказать, боги: всякій, отрицающій ихъ силу, будетъ немедленно казненъ смертью.

Конечно, наша бѣдная земля, можетъ быть, и не увидитъ всѣхъ этихъ прелестей, но, какъ уже замѣчено, нашей планетой вселенная не исчерпывается. Не здѣсь, такъ въ другомъ мѣстѣ, но наука сдѣлаетъ свое дѣло. Широкое примѣненіе открытій физіологіи и принципа подбора можетъ повести къ созданію расы, почерпающей право повелѣвать не только изъ обширности и глубины своихъ знаній, но и изъ превосходства крови, мозга и нервовъ. Могутъ быть найдены способы искусственной фабрикаціи такихъ высшихъ существъ. Какъ садоводы производятъ, напримѣръ, махровые цвѣты, какъ пчелы и муравьи умѣютъ вырастить плодовитые и безполые экземпляры своихъ братьевъ, такъ и человѣческая наука изобрѣтетъ способы искусственной атрофіи однихъ органовъ и гипертрофіи другихъ. Она именно изобрѣтетъ способъ «сосредоточивать всю нервную силу въ мозгу, превращать ее всю въ мозгъ, если можно такъ выразиться, атрофируя другой полюсъ. Само собою разумѣется, что мы говоримъ не о тѣхъ позорныхъ операціяхъ, которыя создаютъ только неполныхъ людей. Мы говоримъ о внутреннемъ измѣненіи, благодаря которому силы, направленныя природою на различныя функціи, соединятся въ одной цѣли».

Таковы-то будутъ грядущіе владыки людей. Они будутъ стоять настолько же выше теперешнихъ людей, насколько послѣдніе выше звѣрей. Самая важная ошибка демократіи состоитъ въ отрицаніи естественнаго неравенства расъ. Конечно, напримѣръ, теперешнее французское дворянство не можетъ выставлять себя высшей расой: три четверти его—узурпаторы, а изъ остальной четверти большинство принадлежитъ къ пожалованному дворянству. Но когда дворянство свои права завоевывало, оно несомнѣнно было высшей расой. И въ будущемъ народится опять столь же несомнѣнно высшая порода людей, превосходство которой будетъ научной истиной. Однако это не дается безъ борьбы. По всей вѣроятности, чернь, замѣтивъ непріятное для нея направленіе исторіи, воздвигнетъ гоненіе на науку. Но, въ концѣ концовъ, разумъ восторжествуетъ.

Мы пропустили одну возможность: «тираны-позитивисты» могутъ содержать гдѣ-нибудь въ Азіи орды башкировъ и калмыковъ, лишенныхъ всякаго нравственнаго чувства и готовыхъ на всякія жестокости. Они будутъ, въ случаѣ надобности, выпускаться для усмиренія возстанія противъ «царства разума»...

Но, вѣдь, у насъ есть еще одно рѣшеніе міровой задачи—монархическое.

Франція временъ Людовика XIV и Людовика XV представляла зрѣлище цѣлой страны, служащей одной блестящей и полной жизни—жизни короля. Вообразите же такое устройство вселенной, при которомъ точно такъ же все тяготѣло бы къ единому центру сознанія, и вселенная сосредоточивалась бы въ одномъ существѣ. Въ его безконечности резюмируются милліарды милліардовъ жизней, образуя одну центральную

жизнь. Такъ, милліарды клѣточекъ сравнятся въ одинъ организмъ, множество отдѣльныхъ голосовъ въ одинъ гармоническій хоръ.

Разумѣется, образованіе такого колоссальнаго существа, которое совмѣстило бы въ себѣ всѣ нынѣ разрозненныя жизни и наслаждалось бы одно за всѣхъ, образованіе такой «божественной массы» (masse divine) должно быть куплено цѣною существующихъ жизней и наслажденій. Но всегда и вездѣ «единственная забота природы состоитъ въ полученіи высшаго результата насчетъ низшихъ индивидуальностей. Развѣ генералъ считаетъ бѣдняковъ, которыхъ убиваетъ? Единое существо, наслаждающееся всѣми наслажденіями вселенной и безчисленное множество частныхъ существъ, радостно способствующихъ ему наслаждаться—здѣсь только нашъ поверхностный индивидуализмъ можетъ находить противорѣчіе. Исторія есть рядъ человѣческихъ жертвоприношеній: радость и покорность смягчили бы этотъ процессъ. Есть же положенія общества, когда народъ радуется радостями своихъ господъ и видитъ свою славу въ ихъ славѣ. Животныя, которыми питается геніальный или добродѣтельный человѣкъ, были бы счастливы, еслибы понимали, чему они служатъ. Все зависитъ отъ цѣли, и въ будущемъ, если вивисекціи въ обширныхъ размѣрахъ станутъ необходимы для уразумѣнія великихъ тайнъ природы, живыя существа будутъ ложиться подъ ножъ въ экстазѣ добровольнаго мученичества, увѣнчанныя цвѣтами... Жертвовать живымъ существомъ эгоизму другого—чудовищное дѣло; но принесеніе живого существа въ жертву цѣлямъ природы—законно.

Большинство должно мыслить и наслаждаться посредственно, черезъ представителей (par procuration). Средневѣковая идея людей, молящихся за тѣхъ, кому некогда молиться, очень вѣрна. Масса работаетъ, нѣкоторые исполняютъ за нее высшія функціи жизни—вотъ картина человѣчества. Результатомъ темной работы тысячъ крѣпостныхъ крестьянъ какого-нибудь аббатства былъ готическій храмъ въ прекрасной долинѣ, осѣненный высокими тополями, куда благочестивые люди ходили шесть-восемь разъ въ день пѣть хвалу Вѣчному. Эта долина, эти воды, деревья, скалы хотѣли пѣть Богу, но у нихъ не было голоса; аббатство давало имъ голосъ. У грековъ, расы болѣе благородной, это лучше достигалось свирѣлью и играми пастуховъ. Со временемъ будетъ еще лучше, если химическая или физическая лабораторія замѣнитъ аббатство. Но, въ наши дни, тысячи бывшихъ крѣпостныхъ, а теперь свободныхъ крестьянъ предаются, можетъ быть, насчетъ земель того самаго аббатства грубому чревоугодію безъ какого бы то ни было идеальнаго результата. Только подати, уплачиваемыя съ этихъ земель, нѣсколько облагораживаютъ ихъ, заставляя ихъ служить нѣкоторой высшей цѣли. Нѣкоторые живутъ за всѣхъ. Если хотите измѣнить этотъ порядокъ—никто не будетъ жить. Египтянинъ, подданный Хефрена, надорвавшійся надъ постройкой пирамиды, больше жилъ, чѣмъ тотъ, кто безполезно проводилъ время подъ своими пальмами. Вотъ благородство народа, другого ему не нужно, онъ никогда не удовлетворится эгоизмомъ. Если онъ самъ не наслаждается, такъ хочетъ, чтобы существовали наслаждающіеся. Онъ охотно умираетъ ради славы вождя, то есть ради чего-то такого, въ чемъ нѣтъ никакой прямой выгоды для него. Я говорю о настоящемъ народѣ, о безсознательной массѣ, которой рефлексія еще не внушила, что погибнуть за что бы то ни было—значитъ сдѣлать величайшую глупость въ мірѣ».

Мы кончили съ друзьями философами, бесѣдующими по Ренанову хотѣнію, и, признаемся, насилу кончили. Не разъ я буквально бросалъ перо, не потому, разумѣется, чтобы боялся послужить орудіемъ пропаганды чудовищныхъ идей и фантазій Ренана—ихъ чудовищность слишкомъ очевидна—а потому, что тяжело и противно слѣдить за извращеніемъ человѣческаго здраваго смысла въ этой утопіи, такъ похожей на сатиру. А между тѣмъ, это—отнюдь не сатира. Повторяю: кто знаетъ прежнія политическія сочиненія Ренана (особенно «La réforme intellectuelle et morale») и успѣлъ прочитать его новѣйшее произведеніе «Калибанъ» («философская драма»), тотъ не усомнится въ его сочувствіи друзьямъ философамъ. Прежде онъ прямо отъ своего лица говорилъ, что «грубость многихъ есть условіе воспитанія одного, потъ многихъ позволяетъ немногимъ вести благородную жизнь; но нельзя сказать, чтобы одни были привилегированные, а другіе обдѣленные, ибо дѣло человѣчества нераздѣлимо: цѣлыя массы должны жить славою и наслажденіемъ другихъ». Теперь онъ развиваетъ эти мысли до ихъ логической крайности, вставляетъ въ фантастическія рамки утопіи и подставляетъ, вмѣсто себя, фантастическихъ друзей-философовъ Филарета, Теофраста, Теоктиста и проч. Излагая содержаніе «діалоговъ», мы должны были преодолѣвать чувство отвращенія и даже нѣкотораго ужаса за человѣческую мысль, въ виду ея способности къ такимъ дикимъ фантазіямъ. Эта аберрація такъ тяжело дѣйствуетъ на чувство читателя, что нужно довольно значительное

усиліе мысли, чтобы понять точку зрѣнія автора, безъ чего невозможно правильное отношеніе къ сочиненію.

«Діалоги» страдаютъ множествомъ недостатковъ. Друзья философы увѣрены или, по крайней мѣрѣ, увѣряютъ, что они «за тысячу верстъ отъ политики» и занимаются «теологіей». Въ этомъ ихъ убѣждаетъ, вѣроятно, та безпорядочность, недостойная неряшливость и полный произволъ, съ которыми они употребляютъ слова «Богъ», «божественный», «боги», вкладывая въ эти слова очень разнообразныя и очень неподходящія понятія. На самомъ же дѣлѣ, они занимаются политикой. Отсюда большая путаница. Тѣмъ не менѣе, «діалоги» представляютъ замѣчательное и чрезвычайно поучительное произведеніе, хотя—скажемъ прямо—поучительно оно въ томъ же смыслѣ, въ какомъ древле былъ поучителенъ примѣръ пьянаго плота. Но, какъ ни эксцентрична, съ перваго взгляда утопія Ренана, а есть въ ней черты, свойственныя значительной, даже значительнѣйшей (количественно) части всей современной нравственно-политической литературы.

Натурфилософская сторона «діалоговъ» лишена всякой оригинальности. Почти вся она заимствована у нѣмецкихъ пессимистовъ, хотя, какъ мы видѣли, Ренанъ въ одномъ мѣстѣ даже полемизируетъ съ Шопенгауеромъ (и больше нигдѣ о немъ не поминаетъ), и хотя, съ точки зрѣнія Шопенгауера, фантастическая «божественная масса» Ренана будетъ носительницей не наслажденій, а страданія всего міра. Даже примѣры обмановъ и хитростей природы, подсовывающей человѣку свои цѣли подъ видомъ его собственныхъ, Ренанъ прямо беретъ у нѣмецкихъ пессимистовъ. Эту сторону «діалоговъ» мы оставимъ совсѣмъ безъ вниманія. Заимствуя многое у пессимистовъ, Ренанъ не беретъ у нихъ пессимизма или, по крайней мѣрѣ, признаетъ его очень условно. Онъ скорѣе — оптимистъ, хотя опять-таки очень условный. Онъ съ восхищеніемъ слѣдитъ за тѣмъ самымъ процессомъ поглощенія низшаго высшимъ, простого сложнымъ, индивидуальнаго видовымъ, въ которомъ Шопенгауеръ видитъ необходимое условіе и отчасти даже источникъ переполняющихъ міръ страданій. Поэтому, Шопенгауеръ видитъ цѣль мірового процесса въ прекращеніи всякаго индивидуальнаго бытія, вмѣстѣ съ чѣмъ должна оборваться нить жизни вообще, а Ренанъ, напротивъ, видитъ цѣль въ поглощеніи всего индивидуальнаго однимъ колоссальнымъ существомъ, которое должно вмѣстить въ себѣ всю сумму жизни вселенной.

Идея личности, правомѣрно закланной на алтарѣ нѣкотораго высшаго цѣлаго (въ частности—общества), едва ли развита въ какомъ-нибудь нравственно-политическомъ ученіи съ такою если не послѣдовательностью, то смѣлостью, какъ въ утопіи Ренана. Отто-го-то она и поучительна, оттого-то она и имѣетъ видъ сатиры на цѣлый циклъ нравственно политическихъ ученій. Этой поучительности не вредитъ даже нѣкоторая аляповатость разработки. Едва ли кто другой осмѣлится въ настоящее время сказать, напримѣръ, что наука должна изобрѣсти средства для держанія непросвѣщенной черни въ страхѣ или что только налоги, употребляемые на чуждыя крестьянамъ цѣли, облагораживаютъ ихъ земли, обезчещенныя мужицкимъ чревоугодіемъ, или что человѣкъ долженъ радоваться, если его убиваютъ ради высшихъ и непонятныхъ ему цѣлей и т. п. А между тѣмъ, все это очень легко привести въ связь съ множествомъ ходячихъ мыслей, провозглашаемыхъ съ каѳедръ, трибунъ, въ книгахъ, газетахъ, никого не поражая и не шокируя. Дѣло въ томъ, что Ренанъ—больше художникъ, чѣмъ мыслитель—говоритъ образами и добирается до нихъ въ нѣсколько прыжковъ, минуя всю ту лѣстницу логическихъ и фактическихъ доказательствъ, которая у другихъ писателей, до извѣстной степени, скрадываетъ характеръ мысли, постепенно, шагъ за шагомъ, незамѣтно приготовляя читателя къ окончательному выводу. Тутъ, напротивъ, выводъ представляется сразу и притомъ въ видѣ образовъ, ошеломляющихъ своей осязательностью.

Ловя читателя на этой минутѣ возмущенія непосредственнаго нравственнаго чувства, мы обратимъ его вниманіе на слѣдующее обстоятельство. Онъ слышалъ много холодныхъ разсужденій и пламенныхъ рѣчей о величіи самопожертвованія и зловредности индивидуализма и эгоизма. Первая пропись, надъ которою онъ въ дѣтствѣ упражнялся въ каллиграфіи, и послѣдній нумеръ газеты, прочитанный имъ вчера, въ этомъ отношеніи солидарны. Но вотъ передъ нимъ этико-политическая доктрина, дышащая ненавистью и презрѣніемъ къ эгоизму, вся построенная на идеѣ самопожертвованія, а между тѣмъ, его непосредственное нравственное чувство возмущено. Забѣгая впередъ, скажемъ заранѣе что это непосредственное возмущеніе совершенно законно: доктрина друзей-философовъ не только возмутительна, а и неправильна съ логической и научной точки зрѣнія. Изъ этого слѣдуетъ не то, конечно, что индивидуализмъ и эгоизмъ, будучи поставлены во главу угла нравственно-политическаго ученія, дадутъ непремѣнно благіе результаты. Но изъ этого слѣдуетъ то, что пусть садовникъ понимаетъ, что значитъ слово «про-

зябаетъ», какъ говорится въ одной баснѣ Кузьмы Пруткова.

Если смотрѣть на міръ не съ человѣческой точки зрѣнія, а съ высоты, такъ сказать, птичьяго полета, какъ Ренанъ и смотритъ, то въ его утопіи можно найти много вѣрнаго. Несомнѣнно, что въ природѣ вездѣ происходитъ поглощеніе низшихъ индивидуальностей высшими. Это—настоящая борьба за индивидуальность, которую слѣдуетъ отличать отъ метафорической борьбы за существованіе Дарвина и которой мы теперь въ подробностяхъ разсматривать не будемъ, такъ какъ Ренанъ представляетъ для этого слишкомъ ничтожный поводъ. Но несомнѣнно есть правда въ его словахъ, что атомы, слагаясь въ клѣточку, образуютъ носителя сознанія перваго порядка; клѣточки, слагаясь въ организмъ, кладутъ начало носителю сознанія второго порядка и что въ этомъ состоитъ прогрессъ органической жизни. Очень соблазнительна мысль продолжить эту лѣстницу поглощенія простого сложнымъ, низшаго высшимъ и довести ее до степени общественной теоріи. Отсюда такъ называемая теорія общественнаго организма.

Впрочемъ, мысль эта явилась и безъ соблазна со стороны клѣточной теоріи и новѣйшихъ біологическихъ обобщеній. Она возникла раньше ихъ, какъ продуктъ простыхъ аналогій. Оставляя въ сторонѣ древность и ограничиваясь только новымъ временемъ, надо приписать сомнительную честь провозглашенія органической теоріи юристамъ.

Въ 1844 г., въ Цюрихѣ явились двѣ книги, надѣлавшія большого шума: Ромера «Ученіе о политическихъ партіяхъ» (Th. Rohmer. Friedrich Rohmer's Lehre von den politischen Parteien) и Блунчли «Психологическія изслѣдованія государства и церкви» (Psychologische Studien über Staat und Kirche). Оба сочиненія родились на одной и той же почвѣ, вырабатывались авторами отчасти сообща и не только появились въ свѣтъ въ одномъ и томъ же году, но и зачаты были единовременно — въ 1842 году. Нѣмецкіе юристы и философы и прежде не разъ подходили къ ученію, заключенному въ этихъ сочиненіяхъ, но Ромеръ и Блунчли первые довели его до нѣкоторой законченности. Тогда Цюрихъ волновался спорами политическихъ партій. Ромеръ приложилъ къ текущимъ обстоятельствамъ старую параллель между возрастами человѣка и государства и построилъ на этой аналогіи «ученіе о политическихъ партіяхъ». По мнѣнію Ромера, источникъ самого явленія политическихъ партій лежитъ въ органическомъ развитіи человѣка, въ жизненныхъ ступеняхъ человѣческаго духа, выражающихся возрастами. И сами партіи суть не что иное, какъ проявленія государственнаго развитія. Возрасту мальчика соотвѣтствуетъ радикальная партія, возрасту юноши—либеральная, возрасту мужа—консервативная, возрасту старца—абсолютистская. *Мальчикъ* обнаруживаетъ самостоятельность своенравія и склоненъ къ оппозиціи ради оппозиціи. Воображеніе, чувство, талантъ, отсутствіе опытности одинаково характеризуютъ, какъ раннюю молодость, такъ и *радикализмъ*, стремящійся подчинить органическую жизнь государства безусловному господству абстракта. Историческіе примѣры: Кола-ди-Ріензи, Іосифъ II, Помбаль, Струензе, сѣверо-американцы. Въ *юношѣ* развивается истинная самостоятельность, терпимость, критика и въ особенности организаторскій талантъ. *Либерализмъ*, въ своемъ полномъ развитіи, отличается тѣми же чертами и представляетъ высшую точку человѣческой и государственной жизни. Величайшій историческій примѣръ либерала—Христосъ. Другіе примѣры: древніе греки, Лютеръ, Лессингъ, Германія временъ Генриха I, Франція временъ перваго консула. Задача *мужа* состоитъ уже не въ творчествѣ, а въ сохраненіи и приведеніи въ порядокъ добытаго. Поэтому *консерваторы* характеризуются мудростью, знаніемъ, правосознаніемъ, способностью къ управленію и религіозностью. Въ *старцѣ* эти качества направляются къ усиленному сохраненію statu quo, что соотвѣтствуетъ характеру *абсолютизма*. Здѣсь преобладаетъ рефлексія, какъ въ мальчикѣ фантазія, и обѣ крайности сходятся въ деспотизмѣ и нетерпимости. Примѣры: Карлъ X и Полиньякъ съ одной стороны, Кромвель—съ другой. Сообразно преобладанію одного изъ перечисленныхъ принциповъ, государство можетъ быть или, Idolstaat, или Individualstaat, или Racestaat, или Formenstaat.

Это ученіе, имѣющее еще разные придатки, привело въ восторгъ многихъ и въ особенности Блунчли. Онъ говоритъ (въ «Психологическихъ изслѣдованіяхъ государства и церкви»), что Ромеръ примирилъ науку съ религіей и жизнью, «уловилъ психологическую природу каждой партіи, указалъ и уяснилъ ея мѣсто, принципъ и характеръ», совершилъ «политическое дѣяніе, достойное государственнаго человѣка, а не просто ученаго или публициста». Естественно было со стороны Блунчли желаніе вложить и свою каплю меда въ «науку Ромера», продолжить ее, дать ей дальнѣйшее развитіе. Онъ съ восторгомъ разсказываетъ, какъ явилась въ немъ мысль его книги лѣтомъ 1842 года среди ежедневнаго общенія съ братьями Ромерами. «Были—говоритъ онъ—минуты, когда я во всей полнотѣ испытывалъ блаженство научнаго открытія». Въ особенности дорогъ ему тотъ моментъ, когда

его во время одинокой прогулки осѣнила мысль о присутствіи въ государствѣ шестнадцати основныхъ органовъ человѣческаго тѣла. Первая глава «Психологическихъ изслѣдованій» называется «L'état c'est l'homme». Въ ней объясняется, что, какъ идеологи свободы и равенства, такъ и не признающіе духа живого въ государствѣ одинаково заблуждаются; что избѣжать обоего рода заблужденій можно только при помощи ученія о государственномъ организмѣ. «Организмъ государства есть подобіе (собственно сильнѣе: Abbild) человѣческаго организма». Это основное положеніе получаетъ дальнѣйшее развитіе въ слѣдующихъ главахъ, въ особенности въ главѣ о шестнадцати основныхъ органахъ. Все дѣло состоитъ въ параллеляхъ и аналогіяхъ. Напримѣръ, признавъ государство мужскимъ элементомъ, а церковь — женскимъ, Блунчли проводитъ параллель между первоначальнымъ слитіемъ и послѣдовательнымъ распаденіемъ, дифференцированіемъ государства и церкви (права и религіи) съ одной стороны, и постепеннымъ обнаруженіемъ половыхъ различій—съ другой. По наслышкѣ, большою, хотя и нѣсколько смѣхотворною извѣстностью пользуются нѣкоторыя другія аналогіи Блунчли, напримѣръ, между министерствомъ иностранныхъ дѣлъ и обоняніемъ, между уголовной юстиціей и пупомъ и т. д. Блунчли больше не возвращался къ своимъ психологическимъ изслѣдованіямъ, хотя никогда отъ нихъ не отрекался и въ позднѣйшихъ своихъ сочиненіяхъ не разъ жаловался, что его дурно поняли, что публика не дозрѣла до предложенныхъ имъ пріемовъ изслѣдованія.

Мы остановились на ученіяхъ Ромера и Блунчли съ нѣкоторою подробностью, слишкомъ большою для ихъ внутренняго достоинства; мы имѣли въ виду возникновеніе и распространеніе въ современной нравственно-политической литературѣ теорій общественнаго организма, творцы которыхъ, въ большинствѣ случаевъ, даже не подозрѣваютъ, что ихъ Америка давно открыта парой нѣмецкихъ юристовъ, не имѣвшихъ въ своемъ распоряженіи ни клѣточной теоріи, ни эмбріологіи, ни теоріи Дарвина, ни знакомства съ организаціей низшихъ животныхъ. За дальнѣйшей судьбой органической теоріи въ спеціальной области правовѣдѣнія намъ слѣдить нѣтъ надобности, такъ какъ теперь она попала въ другія руки: въ руки физіологовъ (какъ Дреперъ), неофитовъ естествознанія (какъ Кинэ), реалистическихъ философовъ (какъ Спенсеръ), свободомыслящихъ губернаторовъ (какъ Лиліенфельдъ), наконецъ, прозаическихъ поэтовъ (какъ Ренанъ). Этотъ переходъ отозвался на теоріи весьма важными измѣненіями. Во-первыхъ, новѣйшіе представители ея, не будучи юристами, строятъ теорію не государства, а общества, прихватывая, слѣдовательно, массу явленій, которыхъ Ромеръ и Блунчли не имѣли въ виду. Во-вторыхъ, большее знакомство съ естественными науками и поступательный ходъ послѣднихъ позволяютъ развивать тему съ несравненно большею утомительностью для читателя тѣмъ болѣе, что знакомство съ естествознаніемъ обязываетъ видѣть аналоговъ общества не въ человѣческомъ организмѣ, а въ организмѣ вообще. Фантазіи и усердію предоставляется, слѣдовательно, несравненно обширнѣйшее поле. Въ третьихъ, теорія органическаго развитія, разработанная великими біологами, показываетъ съ несомнѣнностью, что низшія индивидуальности поглощаются высшими, а отсюда уже очень легокъ переходъ къ поглощенію личности обществомъ.

Читателю знакомы эти теоріи общественнаго организма, хотя бы по Спенсеру, неутомимости пропаганды котораго можно поистинѣ удивляться. Наконецъ, у насъ есть свой собственный, національный органистъ г. Стронинъ и полу-собственный—курляндскій—г. Лиліенфельдъ. Но читатель, можетъ быть, лучше оцѣнитъ ихъ теоріи, если вглядится въ ихъ первообразъ—смѣхотворныя параллели Блунчли и ихъ заключительное слово—возмутительную утопію Ренана. Смѣхъ при встрѣчѣ, отвращеніе и гнѣвъ при проводахъ—вотъ крайніе пункты исторіи органической теоріи, но въ промежуткѣ между этими пунктами она такъ научно приглажена, такъ философски намомажена, что принимается съ большою почтительностью.

Есть люди, поставившіе себѣ задачей подвести принципіальный фундаментъ подъ эмпирическій, въ наличности существующій общественный порядокъ. Такихъ людей, естественно, много среди юристовъ умѣренно либеральнаго оттѣнка, и органическая теорія для ихъ цѣлей, конечно, чрезвычайно удобна. По самой техникѣ своей, она не только не требуетъ, а даже не допускаетъ принципіальной критики наличнаго порядка. Берется какое-нибудь существующее учрежденіе, наличная общественная функція и пріискивается ей аналогія въ организмѣ, а такъ какъ всѣ части организма необходимы и установлены самою природою, то эта необходимость переносится и на данную общественную функцію. Такимъ образомъ, наличный порядокъ въ принципѣ узаконяется аналогіей. Но въ предѣлахъ его принципа, его типа предоставляется довольно широкое поле для умѣренно либеральныхъ разглагольствованій, направлен-

ныхъ на критику подробностей: если министерство иностранныхъ дѣлъ есть государственный носъ, то можно довольно много интересныхъ вещей наговорить о томъ, что на берлинскомъ конгрессѣ англійское министерство иностранныхъ дѣлъ обнаружило сильно развитое обоняніе, а русское оказалось съ болѣе слабымъ нюхомъ. Словомъ, типъ данныхъ отношеній остается неприкосновеннымъ и получаетъ даже новую принципіальную поддержку; но степень его развитія критикуется, чѣмъ, опять-таки, типъ узаконяется, санкціонируется, ибо только хорошему, законному можно желать высокой степени развитія.

Новѣйшіе органисты, оставаясь при этой общей программѣ, далеко опередили наивности Ромера и Блунчли. Къ ихъ услугамъ оказалась теорія органическаго развитія, показывающая, какъ атомы утопаютъ въ клѣточкѣ, клѣточки—въ органахъ, органы—въ организмахъ. Къ ихъ же услугамъ оказалась и теорія Дарвина, устами своего творца выразившаяся однажды такъ: «хотя это намъ и трудно, но намъ слѣдуетъ восхищаться дикой, инстинктивной злобой пчелы-матки, уничтожающей молодыхъ матокъ, своихъ дочерей, тотчасъ по ихъ рожденіи, или погибающей въ борьбѣ съ ними; ибо это несомнѣнно полезно обществу (то-есть *данной формѣ общества*); и материнская любовь, и материнская ненависть, послѣдняя, къ счастью, большая рѣдкость — все едино передъ неумолимыми законами естественнаго подбора» («Происхожденіе видовъ», пер. Рачинскаго, 164). Это характернѣйшее изреченіе вполнѣ соотвѣтствуетъ общему смыслу теоріи, утверждающей, что самый фактъ побѣды свидѣтельствуетъ о превосходствѣ побѣдителя надъ побѣжденнымъ и о законности погибели послѣдняго. Эти новыя опоры сильно раздвинули горизонты органической теоріи: настоящій порядокъ очень похожъ на строй организма и потому превосходенъ, но онъ можетъ стать еще превосходнѣе, еще болѣе уподобляясь организму. Отсюда санкція типа общественныхъ отношеній и критика степени его развитія. Но до сихъ поръ глашатаи теоріи не осмѣливались раскрыть ея настоящій смыслъ или, занятые кропотливой работой подыскиванія аналогій, сами не додумывались до него. Они даже съ нѣкоторымъ благодушіемъ объясняли, что въ поступательномъ движеніи общественно-органическаго прогресса личность чувствуетъ себя все лучше и лучше. На самомъ дѣлѣ отношенія личности къ обществу, какъ организму, совсѣмъ не таковы. Высшая индивидуальность поглощаетъ низшую, покоряетъ ее, лишаетъ всякой самостоятельности и обращаетъ въ служебное орудіе. Это—общее и общепризнанное правило, а слѣдовательно и общество, развивающееся по типу органическаго процесса, общество-организмъ поглощаетъ человѣческую личность и лишаетъ ее самостоятельности. Ренанъ первый осмѣлился признать это какъ фактъ и признать за благо. За это нельзя не благодарить его.

Съ перваго взгляда можетъ показаться, что Ренанъ и въ самомъ дѣлѣ дерзко колеблетъ небо и землю. На самомъ дѣлѣ, его фантазія, не смотря на всю свою необузданность, вращается въ очень узкихъ предѣлахъ. Онъ поступаетъ подобно нынѣшнимъ петербургскимъ домовладѣльцамъ, громоздящимъ, въ видахъ вящаго барыша, этажъ на этажъ, не измѣняя архитектурнаго типа зданія. Домовладѣлецъ мечтаетъ, можетъ быть, даже о вавилонской башнѣ, но только въ эту сторону и направлена его пылкая фантазія. Такъ и Ренанъ. Излагая «Діалоги», мы пропустили одно любопытное мѣсто, чтобы не отклоняться отъ главной нити. Тамъ говорится, что «безполезное съ виду существованіе богатыхъ и свѣтскихъ людей имѣетъ болѣе цѣны, чѣмъ кажется. Такіе люди нужны, чтобы давать балы и вообще исполнять дѣлишки, которыя утомляли бы и разсѣевали бы мудрецовъ. Мы не подозрѣваемъ, какою благодарностью обязаны мы людямъ, берущимъ на себя трудъ быть за насъ (мудрецовъ) богатыми. Только очень немногія головы способны философствовать. Туалеты, кавалькада, опера, скачки поглощаютъ дѣятельность, которая иначе была бы вредна. Весь этотъ шумный свѣтъ необходимъ, чтобы какой-нибудь Кювье или Боппъ былъ спокоенъ въ своемъ кабинетѣ, имѣлъ хорошую библіотеку, чтобы ему не представлялось ни обязанности, ни искушенія заниматься разными пустяками». Замѣтьте, что разсужденіе это признается справедливымъ и для того времени, когда «мудрецы овладѣютъ землей», то-есть когда въ ихъ рукахъ будутъ средства даже весь земной шаръ стереть въ порошокъ. Такимъ образомъ, фантазія Ренана, даже на высшей точкѣ своего полета, не можетъ оторваться отъ туалетовъ, баловъ и кавалькадъ. Такъ и во всемъ Ренанъ въ сущности очень доволенъ дѣйствительностью, но хочетъ до невозможности усилить и обострить ея типическія черты. Ему нравятся наличныя арміи, какъ орудіе подавленія не просвѣщенной массы, но ему не нравится, что это орудіе, пополняясь изъ рядовъ самой не просвѣщенной массы, недостаточно приспособлено къ своей цѣли. Ему нравится наличное невѣжество массъ, но ему хочется, чтобы пропасть между не просвѣщенной чернью и всевѣдущими и все-

могущими мудрецами была непроходима. Ему нравится наличное принесеніе личности въ жертву нѣкоторому его обнимающему цѣлому, но ему хочется, чтобы личность шла на убой «въ экстазѣ добровольнаго мученичества, увѣнчанная цвѣтами». Отсюда, и только отсюда, его жестокіе нападки на эгоизмъ.

Независимо отъ этихъ частностей, которыхъ мы могли бы привести множество, и общая физіономія Ренановой теоріи общества состоитъ въ усугубленіи нѣкоторыхъ чертъ дѣйствительности. Подобно всѣмъ органистамъ, онъ видитъ прогрессъ общества въ обособленіи функцій, атрофированіи у каждой отдѣльной группы индивидовъ всѣхъ присущихъ человѣку силъ и способностей, кромѣ какой-нибудь одной. Въ этомъ отношеніи, онъ не щадитъ и своихъ излюбленныхъ мудрецовъ, великодушно уступая отъ ихъ имени «женщину», то-есть любовь, не просвѣщенной черни и проектируя искусственную парализацію половой дѣятельности. Такимъ образомъ, общество, какъ цѣлое, усвояя отдѣльнымъ группамъ индивидовъ ту или другую способность и атрофируя остальныя, превращаетъ ихъ въ свои служебные органы, покоряетъ личность. Фактически такъ и идутъ дѣла на землѣ, хотя, къ счастію, не доходятъ до желаемой Ренаномъ интенсивности. Спрашивается: можно ли на этомъ основаніи построить предлагаемую Ренаномъ этическую теорію самопожертвованія? Никакимъ образомъ нельзя построить ни этой, ни какой бы то ни было другой нравственной теоріи. Мы имѣемъ здѣсь фактъ покоренія, исключающій всякія нравственныя отношенія. Допустимъ, что здѣсь можетъ быть рѣчь о правѣ, въ смыслѣ предписанія, поддерживаемаго силой, насиліемъ, какъ думаетъ и Ренанъ, вручая своимъ всевѣдущимъ и всемогущимъ мудрецамъ страшныя средства угрозы и казни. Но никогда покоренный не впадетъ въ «экстазъ добровольнаго мученичества» pour les beaux yeux покорившаго—на это способенъ только свободный человѣкъ или, по крайней мѣрѣ, считающій себя свободнымъ. Занимая въ настоящую минуту Боснію, австрійцы вовсе не разсчитываютъ на нравственныя къ себѣ отношенія со стороны предположенныхъ къ покоренію босняковъ — они требуютъ отношеній покорности, признанія силы. Они при этомъ очень хорошо понимаютъ или, по крайней мѣрѣ, способны понимать, что требуемая ими покорность можетъ быть глубоко безнравственна. Тѣмъ болѣе неприложима категорія нравственности къ отношеніямъ, возникающимъ изъ побѣды высшей индивидуальности надъ низшею. Развѣ можно говорить о нравственности печени или сердца, если они исправно (самоотверженно?) работаютъ на благо цѣлаго организма, или объ ихъ безнравственности, если они отвлекаются отъ правильнаго исполненія своихъ спеціальныхъ функцій? Этого не сказалъ бы самъ Мененій Агриппа.

Такимъ образомъ, собственно изъ органической теоріи не можетъ быть извлечена никакая система нравственности, потому что въ основаніи этой теоріи лежатъ непосредственныя отношенія побѣдителя и побѣжденнаго. Органисты должны искать другихъ основаній для нравственности. Они и ищутъ ихъ и, разумѣется, находятъ, по пословицѣ: на ловца и звѣрь бѣжитъ.

Весьма замѣчательно, что, когда Спенсеру пришлось построить нѣкоторое подобіе этической теоріи (въ «Соціальной статикѣ»), онъ долженъ былъ прибѣгнуть къ телеологіи, къ принципу цѣлесообразности процессовъ природы, принципу, который имъ самимъ жестоко преслѣдуется въ другихъ сочиненіяхъ. Ренану не отъ чего было въ этомъ случаѣ отрекаться, а потому онъ съ тѣмъ большимъ удобствомъ могъ пристроить «цѣли природы» къ своему требованію экстаза добровольнаго мученичества. Съ этой точки зрѣнія, нравственность состоитъ въ согласованіи поведенія личности съ цѣлями природы. Это—очень старая постановка вопроса, уже стоиками исчерпанная до дна, и для возобновленія ея требуются большія ухищренія. Стоики понимали дѣло очень просто. Они вѣрили, что природа направляетъ все ко благу и въ этой увѣренности почерпали мужество при встрѣчѣ съ разными житейскими невзгодами. Если и такое пониманіе дѣла наталкивалось на многіе подводные камни не только въ примѣненіи къ практикѣ, а и въ послѣдовательномъ развитіи теоріи, то тѣмъ паче затруднительно положеніе Ренана. Мы не намѣрены разсуждать о законности или незаконности телеологическихъ понятій, потому что много разъ объ этомъ говорили; притомъ же Ренанъ опять таки представляетъ слишкомъ ничтожный поводъ для такой бесѣды. Мы просто скажемъ: природа не имѣетъ цѣлей или, что практически одно и то же, ея цѣли не уловимы, не существуютъ для человѣка, и вотъ почему каждый желающій можетъ съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ навязать природѣ любую цѣль. Спенсеръ утверждаетъ, что цѣль природы состоитъ въ нѣсколько туманномъ «наибольшемъ счастьи». Ренанъ видитъ ее въ торжествѣ сознанія или царствѣ разума, Гартманъ говоритъ свое, и каждый молодецъ на свой образецъ. Міръ великъ, выбирать есть изъ чего, было бы кому. И вотъ каждый молодецъ совершенно произвольно сортируетъ процессы природы, раздѣляя ихъ на соотвѣтственные и не со-

отвѣтственные міровымъ цѣлямъ. Если природа вложила въ человѣка инстинктъ самопожертвованія, то вѣдь она же вложила въ него и эгоизмъ. Намъ теперь нѣтъ дѣла до того, какъ понимаются Ренаномъ эгоизмъ и самопожертвованіе. Мы спрашиваемъ только объ основаніяхъ для признанія его самопожертвованія соотвѣтствующимъ цѣлямъ природы, а его эгоизма—не соотвѣтствующимъ. И почему бы хитроумной природѣ, такъ ловко надувающей человѣка въ однихъ случаяхъ, не надувать его въ остальныхъ? Допустимъ, что природа и въ самомъ дѣлѣ предписала побѣду обществу надъ личностью, но и въ такомъ случаѣ, предписавъ побѣду, она тѣмъ самымъ предписала борьбу. Значитъ, даже съ точки зрѣнія самого Ренана, поскольку она опирается на фактическій ходъ исторіи, борьба низшей индивидуальности противъ поглощенія ея высшею обязательна, и именно на почвѣ этой борьбы должна быть построена теорія нравственности. Ренанъ утверждаетъ, что только грубые матеріалисты отрицаютъ реальное существованіе общества, какъ цѣлаго, независимо отъ составляющихъ его индивидовъ; что на дѣлѣ общество подобно индивидуальному организму, имѣетъ свои собственные интересы, стремленія, цѣли, желанія, отличные отъ нашихъ людскихъ (гуманныхъ) интересовъ и стремленій. Такъ, говоритъ онъ, смотрятъ на дѣло «истинные философы, идеалисты». Ну и прекрасно, имъ и книги въ руки. Такъ пусть же это реальное цѣлое вырабатываетъ свои нравственныя теоріи, пусть оно имъ слѣдуетъ, а мы, люди, будемъ вырабатывать свои. Очень вѣроятно, что эти два сорта теорій столкнутся враждебно. Тогда—чья возьметъ.

Что касается кощунственнаго употребленія Ренаномъ словъ «Богъ», «божественный», «боги», то, въ связи съ незамысловатымъ процессомъ пріисканія «цѣлей природы», дѣло объясняется очень просто. Ренанъ хоть и не изъ тѣхъ всевѣдущихъ мудрецовъ, образы которыхъ носятся передъ его пылкой фантазіей, но, во всякомъ случаѣ, онъ посвятилъ себя научной дѣятельности. И вотъ цѣль своей личной жизни онъ, какъ это всегда бываетъ, подсунулъ природѣ, а изъ своего личнаго идеала сдѣлалъ «бога» и «боговъ». Онъ хочетъ знать и понимать, а потому и цѣль природы, по его мнѣнію, заключается въ торжествѣ сознанія. Свое собственное отраженіе въ зеркалѣ онъ раскрашиваетъ самыми яркими красками, какія только есть на его палитрѣ и затѣмъ самъ молится этому собственно преувеличенному образу и другихъ приглашаетъ молиться, грозя казнью за ослушаніе. Мы опять тутъ видимъ, какъ узки предѣлы, въ которыхъ вращается его необузданная фантазія. Повидимому, онъ летаетъ выше и лѣса стоячаго, и облака ходячаго. Повидимому, онъ сумѣлъ стать много выше человѣческой точки зрѣнія; онъ и самъ думаетъ, что стоитъ на точкѣ зрѣнія вселенной, какъ цѣлаго. Но для человѣка немыслимо перерости самого себя, стать выше человѣческой точки зрѣнія. И вотъ, Ренанъ становится, въ дѣйствительности, не выше, а ниже ея. Одну только функцію человѣческаго организма, одну только долю человѣка онъ превращаетъ въ кровожаднаго идола, требующаго милліоновъ цѣлыхъ людей на жертву себѣ: *милліоны жизней для одной мысли.*

Повторяемъ, какъ ни эксцентрична съ перваго взгляда утопія Ренана, но она очень характерна для значительной части современной нравственно-политической литературы, и не для органистовъ только. Эти отличаются такой тяжеловѣсной походкой, такой охотой рыться въ мелочныхъ аналогіяхъ и параллеляхъ, что заслуживаютъ усиленнаго вниманія только по относительной новости своего происхожденія, да еще потому, что за нихъ какъ будто стоитъ непреложная и безстрастная наука о природѣ. Но не одни они пытаются перерасти человѣческую точку зрѣнія, не одни они, приписывая обществу реальное существованіе, независимое отъ составляющихъ его индивидовъ, и пристегивая сюда, то «цѣли природы», то «историческія миссіи», то «національное богатство», то «честь государства», создаютъ идоловъ. Эти идолы требуютъ жертвъ, объѣдаются человѣческимъ тѣломъ, захлебываются человѣческою кровью, а ихъ служители и создатели называютъ ихъ «богами»...

Эти теоріи, не претендующія на титулъ «органическихъ», но имѣющія съ послѣдними много общаго, лучше освѣтятся для насъ когда мы познакомимся съ антиподомъ Ренана—Дюрингомъ.

II.

Какъ для философской физіономіи Дюринга вообще, такъ въ особенности для его нравственно-политическихъ взглядовъ, очень характерно то обстоятельство, что на границѣ психологіи и общественной теоріи мы находимъ въ его «Курсѣ философіи» защиту и даже апоѳеозъ нѣкоторыхъ чисто личныхъ, эгоистическихъ чувствъ: мести, ревности, зависти.

Оптимистскій, жизнерадостный взглядъ Дюринга на міръ естественно не мирится съ тою моралью, которая во всякой страсти видитъ гибельный порокъ. Хотя, по его мнѣнію, страсти способны достигать отвратительныхъ размѣровъ, но онѣ имѣютъ и

свою полезную роль въ жизни общества, по скольку коренятся въ совершенно законномъ чувствѣ самосохраненія личности.

Такъ обыкновенная пошлая зависть свидѣтельствуетъ о двойной дрянности субъекта: къ собственному недостатку лучшихъ качествъ онъ присоединяетъ еще положительную низость, которая дѣлаетъ его неспособнымъ признавать чужія достоинства и заслуги и заставляетъ вездѣ предполагать родственную ему самому грязь. Но въ лучшихъ своихъ проявленіяхъ зависть не такова. Естественныя условія зависти даны тогда, когда произошло дѣйствительное или кажущееся (завидующему) нарушеніе равенства и воздаяніе по заслугамъ. «Долю Немезиды (ein Stück Nemesis),—говоритъ Дюрингъ,—которая представляется правомѣрными формами зависти, мы беремъ подъ свою защиту отъ ходячихъ приговоровъ, въ качествѣ полезнаго мотива дѣйствія и, такъ сказать, экономіи общественной природы» (Cursus der Philosophie. Leipz. 1875, 173). Но особеннаго вниманія заслуживаетъ чувство мести по той громадной исторической роли, которую ему отводитъ нашъ мыслитель. Съ его точки зрѣнія месть есть основаніе всей философіи права.

Собственно теорія нравственности у Дюринга довольно блѣдна, какъ бы не додѣлана. Мы поэтому не будемъ на ней засиживаться и извлечемъ изъ нея только самое существенное и характерное для идеи автономіи личности, получающей полное развитіе въ теоріи юридической, экономической и политической организаціи общества.

Нравственность представляетъ равнодѣйствующую влеченій и аффектовъ съ одной стороны и разсудочной дѣятельности съ другой. Будучи проявленіемъ воли, она мыслима только въ области отношеній одной воли къ другой или другимъ. Въ отношеніяхъ человѣка къ природѣ категорія нравственности не имѣетъ мѣста. Силы природы многообразно возбуждаютъ насъ, но ни одна ни къ чему не обязываетъ въ смыслѣ нравственной обязанности. Человѣкъ самъ по себѣ, внѣ связи съ другими людьми, не несетъ никакихъ обязанностей, а имѣетъ только хотѣнія. Система нравственныхъ обязанностей покоится не на изолированной волѣ, а на взаимности междуличныхъ отношеній. Въ этихъ же послѣднихъ первымъ несомнѣннымъ фактомъ представляется естественная равноцѣнность двухъ соприкасающихся воль. Если кто-нибудь заявляетъ, что его воля вообще цѣннѣе моей, то фактическаго оправданія этого своего положенія онъ можетъ достигнуть только какимъ-нибудь внутреннимъ или внѣшнимъ насиліемъ; нравственной же связи въ подобныхъ отношеніяхъ нѣтъ. Взаимное воздержаніе отъ обидъ и насилій, то-есть признаніе чужой воли равноцѣнною своей, есть первый законъ междуличной морали и, вмѣстѣ съ тѣмъ, исходный пунктъ справедливости. Воля единичнаго человѣка, не будучи обязана подчиняться чужой волѣ, тѣмъ самымъ обязывается не подчинять себѣ волю другого человѣка. Такимъ образомъ, положительно для человѣка существуетъ только хотѣніе, и только отрицательно, въ виду возможныхъ или дѣйствительныхъ обидъ и насилій надъ чужою волею, возникаетъ обязанность *). «Такова истина,—замѣчаетъ Дюрингъ,—единственно соотвѣтствующая достоинству и свободѣ индивидуальной жизни». Взаимность нравственныхъ отношеній, кромѣ простого воздержанія отъ обидъ и насилій, требуетъ еще свободнаго соглашенія, договора. Намъ нечего бояться этого слова, замѣчаетъ Дюрингъ. Понятіе общественнаго договора, игравшее такую важную роль въ умственной жизни прошлаго столѣтія, подвергалось въ нашемъ вѣкѣ жестокой, но неосновательной критикѣ. Во всякомъ случаѣ, мы принимаемъ въ соображеніе естественныя условія первобытныхъ отношеній и представляемъ себѣ договоръ не въ видѣ случайной и произвольной сдѣлки, а какъ результатъ побужденій, объясняющихся законосообразностью хотѣнія. Изъ этого уже ясно видно, каковы нравственныя обязанности человѣка, разъ онъ испытываетъ на себѣ нарушеніе основного правила нравственности и терпитъ обиды и насилія.

Согласно опять-таки своему общему оптимистскому взгляду, Дюрингъ утверждаетъ, что по природѣ своей человѣкъ вовсе не злое существо, что онъ склоненъ относиться къ другимъ людямъ доброжелательно или, по крайней мѣрѣ, безразлично. Что же касается многихъ страстей или многихъ формъ страстей, обыкновенно осуждаемыхъ ходячею моралью, то мы уже видѣли, что онѣ, не противорѣча основному закону нравственности (равноцѣнности воль) и даже будучи направлены къ его вящшему осуществленію, исполняютъ важную и полезную функцію общественной жизни. Но ложный пессимизмъ, считающій человѣческую природу чѣмъ-то въ корень испорченнымъ, окончательно падаетъ, если мы примемъ въ соображеніе нѣкоторые другіе, заложенные природою въ человѣческую душу мотивы. Таково состраданіе. Туть сама природа позабо-

*) По-нѣмецки противоположность хотѣнія и обязанности выходитъ ярче: das Wollen и das Sollen. Переводить das Sollen терминомъ «долженствованіе» намъ казалось слишкомъ искусственнымъ.

тилась устроить дѣло такъ, чтобы чужое страданіе болѣзненно отзывалось въ нашемъ собственномъ чувствѣ.

Но изъ этого не слѣдуетъ, конечно, чтобы въ мірѣ не существовало зла и злыхъ людей. Дюрингъ рѣзко возстаетъ противъ того воспитанія и тѣхъ ученій, которыя открываютъ преимущественно только казовый конецъ человѣческихъ отношеній и пріучаютъ людей думать, что въ жизни все добро зѣло. Подобныя ложныя представленія отнимаютъ энергію въ жизненной борьбѣ, которая неизбѣжна. Зло существуетъ и съ нимъ надо бороться, бороться иногда жестокими, даже террористскими средствами. Мудрствовать о происхожденіи зла—дѣло совершенно излишнее, а тѣмъ паче нѣтъ надобности припутывать къ этому простому вопросу какую-нибудь мистику. Само чувство сострадания способно притупляться практикой военнаго ремесла, а также излишествомъ половыхъ сношеній (?). Въ подобныхъ случаяхъ, человѣкъ можетъ являться чудовищнѣйшимъ изъ всѣхъ чудовищъ. Да и вообще мы слишкомъ часто встрѣчаемся въ жизни съ такими экземплярами, которые представляютъ «смѣсь человѣка со скотомъ». Мало того, бываютъ историческіе моменты, когда даже благороднѣйшіе люди, вынужденные борьбою съ представителями подобной смѣси, прибѣгаютъ къ жестокимъ средствамъ и должны вслѣдствіе этого въ извѣстной мѣрѣ нравственно деградироваться. Разъ обида нанесена, разъ насиліе совершено, надо видѣть во врагѣ врага, причемъ оказываются дозволительными орудія хитрости и насилія. Но и въ подобныхъ крайнихъ случаяхъ нравственный человѣкъ не долженъ забывать, что онъ—человѣкъ и что онъ имѣетъ дѣло не съ чистымъ скотомъ (Bestie), а со смѣсью человѣка со скотомъ. Низость одной стороны не можетъ оправдать низость другой. «Кто выступаетъ противъ меня во имя принципа борьбы за существованіе, тотъ вызываетъ во мнѣ не подражаніе, а глубоко нравственное противодѣйствіе. Кто грозитъ убить или поработить меня ради своего благоденствія или властолюбія; кто говоритъ мнѣ, что задавитъ мое потомство, чтобы его собственное отродье лучше выводилось, того я буду уважать не больше, а скорѣе меньше, чѣмъ простого разбойника, который ведетъ частную борьбу за существованіе собственнымъ кулакомъ. Съ совершенно чистою совѣстью я буду относиться къ нему, какъ къ звѣрю (ein Stück Bestie) и человѣческія качества его буду цѣнить лишь постольку, поскольку они дѣйствительно существуютъ, а не поглощены замаскированными якобы необходимостью борьбы за существованіе низостью и эгоизмомъ». Понятно, что первоначальная обида или насиліе, первичное зло не имѣетъ никакого нравственнаго оправданія, но противодѣйствіе злу нетолько ни малѣйше не противорѣчитъ основному нравственному закону, но составляетъ одну изъ его формъ. «Чужая воля и здѣсь остается равноцѣнною, но ея извращенное и враждебное направленіе вызываетъ реакцію, и если она подвергается насилію, то только пожинаетъ плоды своей собственной несправедливости. Врага, нанесшаго намъ тяжкій ущербъ, мы не только накажемъ, но постараемся сдѣлать его на будущее время безвреднымъ, а это можетъ быть часто достигнуто и въ мягкихъ формахъ».

Само собою разумѣется, что нравственно-отвѣтственными могутъ быть только личности, а не общественныя группы. Единственный носитель сознанія, а, слѣдовательно, единственно отвѣтственный индивидъ не долженъ прятаться за группу, или вообще прикрываться чужой волей. Отчуждая же свою волю, слѣпо отдаваясь какому-нибудь авторитету, онъ превращается въ простое орудіе, въ «обезчеловѣченную машину», съ которою слѣдуетъ поступать такъ же, какъ мы вообще поступаемъ съ наносящими намъ вредъ орудіями—мы ихъ уничтожаемъ или какъ-нибудь убираемъ съ дороги. Надо однако замѣтить, что бываютъ такія обстоятельства, когда личности, вполнѣ сознательныя, отвѣтственны только за то, что терпятъ гнусные порядки, но не за спеціальныя дѣйствія, совершаемыя по необходимости въ рамкѣ этихъ порядковъ.

Особое мѣсто въ теоріи нравственности должны занимать обязанности по отношенію къ самому себѣ. Эти обязанности находятся, впрочемъ, въ нѣкоторой связи съ тѣмъ же основнымъ закономъ нравственности, закономъ равноцѣнности соприкасающихся волъ. Такъ, напримѣръ, заботы о собственномъ здоровьи обязательны и съ точки зрѣнія взаимности, въ виду возможности зараженія. Но никто, конечно, не проглядитъ пропасти, отдѣляющей обязанности непосредственныя отъ производныхъ и гораздо менѣе настоятельныхъ. Было бы даже смѣшно выводить изъ основного правила морали то, что отдѣльный человѣкъ долженъ дѣлать въ виду своего личнаго блага. Поэтому обязанности по отношенію къ самому себѣ выдѣляются изъ системы междуличной морали и сводятся къ правиламъ воспитанія «благороднѣйшей человѣчности». Но хотя для человѣка обязательно воздерживаться отъ всякаго рода излишествъ, но никогда это воздержаніе не должно быть доводимо до аскетизма. Напротивъ, способности къ наслажденію жизнью требуютъ ухода, гармоническаго развитія и

или вознагражденіемъ. Изъ за грубыхъ тарифовъ, по которымъ оплачивались тѣлесныя поврежденія и убійства родственниковъ, выглядываетъ и нѣчто иное: искреннее раскаяніе, измѣненіе направленія воли, мирное настроеніе. Потребность же мести удовлетворяется не только активнымъ нанесеніемъ вреда врагу, а и его готовностью самому наложить на себя соотвѣтствующую винѣ жертву. При этомъ нѣтъ никакой надобности окружать искупленіе мистическимъ туманомъ: это просто своего рода удовлетвореніе мести.

Но и въ болѣе развитомъ видѣ уголовное право не можетъ быть ничѣмъ, кромѣ публичной организаціи мести. Что касается нынѣ существующей уголовной юстиціи, то она не только не представляетъ чего-нибудь иного, но даже въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ значительно уступаетъ древнему правилу «око за око и зубъ за зубъ». Современныя теоріи криминалистовъ точно также несостоятельны. И даже лучшая изъ нихъ, старая, но до сихъ поръ не превзойденная теорія психическаго принужденія или устрашенія, предложенная Ансельмомъ Фейербахомъ, далека отъ истиннаго пониманія задачи уголовнаго права. Эта теорія, составлявшая въ свое время большой шагъ впередъ, имѣетъ въ виду только предупрежденіе преступныхъ дѣйствій путемъ страха, такъ что даже исполненіе угрозы нужно лишь въ видахъ сохраненія достоинства закона и продолженія психическаго давленія. При этомъ нѣтъ и тѣни удовлетворенія естественному, природою установленному чувству возмездія и справедливости. Одно дѣло—правосудіе, и другое дѣло — предупрежденіе преступленій. Цѣль мести состоитъ не въ предупрежденіи будущихъ обидъ и насилій и не въ полученіи вознагражденія за обиду, а въ возстановленіи оскорбленной воли и ея значенія. Это достигается только соотвѣтственнымъ приниженіемъ чужой воли, выступавшей изъ своихъ предѣловъ. Соотвѣтственнымъ, но не равнымъ. «Плохо было бы дѣло природы съ ея учрежденіемъ мести, еслибы она требовала только, чтобы два человѣка наносили другъ другу равный ущербъ, одинъ несправедливо, а другой по праву. Природа, къ счастью, не такъ тупа, какъ древняя логика, требовавшая око за око и зубъ за зубъ. Месть обыкновенно переступаетъ внѣшній итогъ несправедливо нанесеннаго вреда. И вмѣсто того, чтобы этотъ избытокъ воздаянія признавать распущенностью грубости, каковою онъ впрочемъ можетъ и быть, лучше сообразить, что несправедливость, какъ таковая, можетъ быть дѣйствительно наказана только избыткомъ внѣшняго возмездія. Дѣло идетъ, слѣдовательно, о болѣе тонкихъ и глубокихъ побужденіяхъ, чѣмъ какія доступны произвольному терроризму, потерявшему изъ виду естественные корни справедливости и руководствующемуся полицейскими соображеніями о цѣляхъ государства, которыя еще надо оправдать». (Cursus, 227).

Для выясненія основныхъ началъ права достаточно нашей схемы двухъ соприкасающихся воль. Вводя въ эту схематическую ячейку все большее и большее количество личностей, мы получаемъ возможность усиленія производнаго чувства возмездія; а именно, непричастный къ дѣлу человѣкъ можетъ, мысленно становясь въ положеніе обиженнаго, вмѣстѣ съ тѣмъ стать на сторонѣ справедливости. Но полное развитіе не только принудительной силы, а и безпристрастной оцѣнки столкновеній можетъ быть достигнуто только всеобщею солидарностью даннаго общества. Будетъ ли это общество дѣйствовать какъ единое цѣлое или изберетъ особыхъ людей въ органы правосудія, но во всякомъ случаѣ оно можетъ только превратить индивидуальную месть въ публичную, общественную. Уголовная самопомощь, непосредственно выражающаяся въ частной мести, должна уступить мѣсто упорядоченной, на взаимной связи и общей волѣ основанной мести. Но такой результатъ вовсе не долженъ покупаться цѣною личной свободы, какъ думалъ Гоббсъ, хотя его теорія и совпадаетъ съ фактическимъ ходомъ исторіи. Положимъ, что въ обществѣ Гоббса достигнутъ внутренній міръ и кое-какое отправленіе правосудія по дѣламъ второстепенной важности. Но оно основано на рабствѣ, а въ такомъ обществѣ немыслима дѣйствительная организація мести, немыслима стало быть и полная справедливость.

Могутъ замѣтить, что месть сама подлежитъ карѣ закона во всякомъ цивилизованномъ обществѣ и потому не можетъ быть основнымъ принципомъ и мѣриломъ права. Но это возраженіе неосновательно. Въ цивилизованномъ обществѣ преслѣдуется месть только какъ самопомощь, то-есть личныя и грубыя формы мести, враждебно сталкивающіяся съ ея высшею и обобщенною формою. Надо однако замѣтить слѣдующее. И личная самопомощь въ дѣлѣ мести, и общественно организованная месть одинаково предполагаютъ потребность воздаянія, но послѣдняя беретъ на себя исключительно функцію правосудія. Эта исключительность можетъ даже получить характеръ ненавистной монополіи, чрезмѣрной опеки, тогда какъ наиболѣе заинтересована въ дѣлѣ воздаянія сама обиженная личность. Поэтому такъ называемый общественный интересъ долженъ быть принимаемъ въ соображеніе только по-

средственно, только какъ обобщеніе естественнаго индивидуальнаго влеченія.

Таковъ основной принципъ права, скрытый отъ глазъ юристовъ, благодаря ихъ слѣпому поклоненію всякому совершившемуся факту. Въ международныхъ отношеніяхъ ложный позитивизмъ юриспруденціи едва возможенъ. Здѣсь месть, какъ принципъ справедливости, слишкомъ очевидна, поскольку вообще международная борьба требуетъ для своего объясненія особаго элемента, кромѣ хищническихъ и властолюбивыхъ стремленій. Справедливость и несправедливость внутренней, междусословной борьбы должны быть сведены къ тому же естественному началу и съ его точки зрѣнія обсуждаемы. Иначе придется возстановить право сильнаго, излюбленное Гуго Гроціемъ, смѣшать право съ успѣхомъ, признать право побѣдителя, кто бы онъ ни былъ: революціонеръ, реакціонеръ или творецъ удачнаго coup d'état. На самомъ же дѣлѣ онъ только вступаетъ въ обладаніе внѣшними формами и орудіями правосудія. При этомъ естественное основаніе права не замираетъ и ищетъ особыхъ, частныхъ путей для своего обнаруженія. Мы знаемъ, что среди цивилизаціи и вопреки ей пробиваются временами индивидуальныя попытки возстановленія попраннаго права. Эти поправки прискорбны, но еще прискорбнѣе порождающіе ихъ порядки. Бываютъ времена, когда «частная месть, которая въ первобытныя времена имѣла громадное значеніе, а среди цивилизаціи не должна бы имѣть никакого, поднимается точно изъ подъ земли, какъ призракъ, напоминающій, что есть сила, болѣе глубоко заложенная, чѣмъ произвольныя ограниченія такъ называемаго права. Машина криминалистики можетъ быть и захватитъ самомстителя и натѣшится надъ нимъ, но едва ли она поколеблетъ его совѣсть».

Хорошаго во всемъ этомъ мало. Желательны такія отношенія, при которыхъ не было бы нужды въ карающей справедливости, и справедливость, воздерживающая отъ обидъ, царила бы полновластно. Карающая справедливость исправляетъ зло зломъ, а кромѣ того месть, какъ мы видѣли, стремится перейти за итогъ нанесеннаго вреда. Такъ какъ точная мѣра мести не можетъ быть опредѣлена ни чувствомъ, ни разсудкомъ, опирающимся на матеріалъ, доставляемый чувствами же, то можно всегда опасаться, что предписанное природою *больше* перейдетъ въ *черезчуръ*. Это «черезчуръ» можетъ получить характеръ обиды для обидчика и вызвать новую месть уже съ его стороны. И такъ далѣе; такъ что ничтожное сравнительно явленіе можетъ путемъ наслоенія взаимныхъ обидъ возрасти до ужасающихъ размѣровъ. Тѣмъ болѣе, что жажда мести осложняется въ дѣйствительности еще посторонними мотивами: злобой, грубостью, ошибочной оцѣнкой оскорбленія и проч. Вывести людей изъ этого ужасающаго положенія можетъ главнымъ образомъ обобщеніе и правильная организація мести.

Тому же результату могутъ способствовать косвеннымъ образомъ развитіе великодушія, милосердія и другихъ чертъ «благороднѣйшей человѣчности». Но пока существуютъ обиды и насилія и, слѣдовательно, пища для чувства мести, наказаніе не можетъ быть устранено изъ обихода общественной жизни, хотя вполнѣ возможно «очеловѣченіе» наказаній. Не лишне замѣтить, что дѣло тутъ не въ строгости наказаній, а въ ихъ соразмѣрности обидѣ и въ присутствіи живого, реальнаго чувства мести. По мнѣнію Дюринга, смертная казнь, по крайней мѣрѣ, какъ она нынѣ практикуется, не соотвѣтствуетъ сполна этимъ условіямъ. Въ холодной оффиціальности, съ которою произносится смертный приговоръ, живое непосредственное влеченіе къ мести тонетъ до неузнаваемости. Какъ ни грубъ въ своихъ проявленіяхъ мотивъ мести, но по природѣ своей человѣкъ-мститель развѣ только въ видѣ исключенія способенъ убить врага покореннаго, безсильнаго и притомъ по долгомъ размышленіи. Наконецъ смертная казнь при такихъ условіяхъ представляетъ именно тотъ случай хватанія мести «черезъ край», объ которомъ говорено выше.

Въ представленномъ уголкѣ воззрѣній Дюринга мы имѣемъ частное отраженіе его общей философской физіономіи и вмѣстѣ съ тѣмъ рельефный образчикъ его нравственно-политическихъ взглядовъ. Полное довѣріе къ жизни и ея естественнымъ факторамъ въ значительной мѣрѣ оправдываетъ придуманную имъ для своей философіи кличку—Wirklichkeits-philosophie; по крайней мѣрѣ, въ томъ смыслѣ, что онъ никогда не старается затушевать дѣйствительный характеръ человѣческой природы. Можетъ быть, вся громада природы, природа въ цѣломъ, рисуется Дюрингу въ слишкомъ благодѣтельномъ для человѣка освѣщеніи, но относительно добродѣтелей отдѣльнаго человѣка онъ чуждъ всякихъ иллюзій. Исходнымъ пунктомъ своихъ разсужденій онъ беретъ человѣка какъ онъ есть, съ его низкими и высокими, грубыми и мягкими побужденіями. Онъ стремится построить идеально прекрасное зданіе, прямо изъ этихъ грубыхъ кирпичей; будучи увѣренъ, что игра страстей, заложенныхъ въ человѣка природой, должна привести къ благополучному концу и что

жизнь сама по себѣ имѣетъ громадную цѣну, онъ естественно ничего не прячетъ ни отъ другихъ, ни отъ себя. Каждое ощущеніе или волненіе ему дорого уже потому, что оно ощущеніе, волненіе, проявленіе жизни, и если представляется хоть какая-нибудь возможность положить его къ подножію идеально лучшихъ формъ общежитія, Дюрингъ никогда не упуститъ случая. Единственный пока русскій критикъ Дюринга, г. Козловъ, считаетъ изложенную теорію мести результатомъ стремленія къ оригинальничанью, въ особенности по сколько она соприкасается съ теоріей нравственности. Это совсѣмъ несправедливо, если только не питать странной мысли, что *вся* философія Дюринга есть не болѣе, какъ плодъ оригинальничанья. Едва ли кто-нибудь способенъ утверждать такую дикость, а между тѣмъ страницы, посвященныя теоріи мести, ничѣмъ не отличаются, по духу и формѣ, отъ остальныхъ писаній Дюринга. Вездѣ онъ тотъ же страстный жизнелюбецъ, точно жадный скряга неустанно шагающій по большимъ дорогамъ и закоулкамъ жизни и разыскивающій способныя поднять строй личной жизни ощущенія и волненія. Мы уже сообщили его взгляды на чувство зависти. Примѣрно такъ же смотритъ онъ и на ревность.

Горячій сторонникъ улучшенія гражданскаго положенія женщины, Дюрингъ думаетъ, что энергическая, ничѣмъ не стѣсняемая взаимная любовь брачущихся служитъ лучшимъ ручательствомъ за доброкачественность имѣющаго произойти отъ этого брака плода. Здѣсь сказывается все то же безграничное довѣріе къ жизни въ ея естественныхъ факторахъ, все то же преклоненіе передъ живымъ чувствомъ, волнующимъ человѣка. Дюрингъ торопится заявить, что любовь и сама по себѣ, независимо отъ тѣхъ благопріятныхъ результатовъ, которые она даетъ какъ средство, есть драгоцѣнный даръ природы. Но сюда же примыкаетъ и защита ревности, какъ чувства отвращенія къ постороннимъ половымъ примѣсямъ, находящимся въ противорѣчіи къ нашему собственному аффекту. Такою законною, потому что естественною, ревностью часто сопровождается любовь до брака. Но ревность становится отвратительною и исчадіемъ несправедливости, когда она истекаетъ изъ господства одной стороны надъ другой, когда она, слѣдовательно, является стремленіемъ наложить оковы на чужую, равноцѣнную волю.

Что касается теоріи мести, то, по крайней мѣрѣ, какъ основаніе уголовнаго права, она въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ не такъ нова и оригинальна, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда. И это вполнѣ натурально, потому что Дюрингъ несомнѣнно правъ, видя въ уголовномъ правѣ общественную организацію мести и концентрацію ея въ рукахъ власти. Хотя въ разсказѣ о превращеніи личной и кровной мести въ уголовную юстицію Дюрингъ упустилъ изъ виду нѣкоторыя существенныя черты (изъ которыхъ особенно важна идея мстящаго божества), но общее теченіе дѣла изображено имъ вѣрно. И уже поэтому месть, какъ теоретическое основаніе уголовнаго права, должна была время отъ времени всплывать наружу. Намъ неизвѣстна однако ни одна теорія уголовнаго права, въ которой реальный фактъ мести такъ прямо, такъ полно, такъ, скажемъ, безцеремонно обращался бы въ принципъ справедливости. Другія особенности теоріи Дюринга состоятъ, во-первыхъ, въ идеѣ отрицательнаго происхожденія права и, во-вторыхъ, въ той постановкѣ вопроса объ отношеніи личности къ обществу, которая одна насъ здѣсь занимаетъ.

Дюрингъ имѣетъ въ виду не только объяснить существующее, но и опредѣлить перспективу долженствующаго быть. Для этого изъ міра дѣйствительности онъ беретъ, во-первыхъ, психическій фактъ ощущенія мести и соціологическій фактъ общественной организаціи мести. Онъ не думаетъ сокрушать эти два факта или какъ-нибудь подкапываться подъ нихъ. Онъ напротивъ на нихъ именно, какъ на реальныхъ столбахъ, строитъ свое идеальное зданіе. Чувство мести, говоритъ онъ (сдвали, между прочимъ, основательно), несокрушимо, да оно и полезно, и важно. Общественная ея организація необходима, да она и есть въ наличности, по крайней мѣрѣ, въ принципѣ, хотя фактическое ея осуществленіе иногда такъ несостоятельно, что сквозь ея прорѣхи правомѣрно прорываются потоки неудовлетворенной личной мести. Но, продолжаетъ онъ, въ теоріяхъ криминалистовъ, скрывающихъ, игнорирующихъ идею мести, какъ источникъ и показатель справедливости, мечъ Ѳемиды прикрываетъ собою всякую данную форму общественныхъ отношеній. Правомъ называется совокупность этихъ отношеній, каковы бы они ни были; преступленіемъ, правонарушеніемъ признается нарушеніе этихъ отношеній. Но должны быть выработаны нѣкоторыя общія истины, съ точки зрѣнія которыхъ возможенъ былъ бы судъ надъ самыми этими отношеніями. Этотъ судъ, это мѣрило дается судьбами личности: «Если какая-нибудь форма общества, хотя бы и соціалистская, вздумаетъ выводить уголовное право не изъ индивидуальности отдѣльнаго человѣка, надъ нею можно поставить крестъ. Права человѣка существуютъ и всегда бу-

дутъ существовать не милостью какой-нибудь общественной формы, а напротивъ, формы эти должны основываться на правахъ человѣка. Личность есть единственный исходный пунктъ и цѣль всякаго права; общественныя формы изъ нея выходятъ и къ ней же опять примыкаютъ. Всякій союзъ лишь по стольку живетъ истинною жизнью, по скольку въ немъ выразилась свободная воля отдѣльныхъ личностей. Поэтому и право способно къ жизни въ той мѣрѣ, въ какой имъ приняты въ соображеніе основныя влеченія индивидуальной человѣческой природы. Пока этого нѣтъ, природа сама заботится о все болѣе и болѣе полномъ осуществленіи своихъ заповѣдей, пользуясь для этого тѣмъ мотивомъ, который побуждаетъ отдѣльныхъ личностей отвѣчать противодѣйствіемъ на обиду и насиліе; такимъ образомъ, дѣйствія и учрежденія вводятся въ русло справедливости». (Cursus der Philosophie, 237).

Понятно, значитъ, въ какомъ смыслѣ Дюрингъ называетъ уголовное право ключомъ къ уразумѣнію всей области права. Но очевидно, что лежащая по его мнѣнію въ основаніи уголовнаго права месть есть только показатель степени претерпѣнной личностью несправедливости, нѣчто вродѣ натуральнаго термометра и притомъ термометра не совсѣмъ вѣрнаго, потому что, какъ онъ и самъ очень вѣрно замѣчаетъ, месть по необходимости, по самой своей природѣ хватаетъ дальше внѣшняго итога нанесеннаго личности зла. Едва ли мы поэтому ошибемся, если скажемъ, что съ точки зрѣнія самого Дюринга идея мести требуетъ своего дополненія въ видѣ положительнаго воздаянія каждому по достоинству, и по отношенію ко всей области права имѣетъ не самостоятельное значеніе, а производное отъ нравственнаго закона равноцѣнности соприкасающихся воль. Само чувство мести коренится въ этомъ законѣ и имъ должно ограничиваться, какъ и чувства зависти и ревности. На немъ же должны быть построены всѣ общественныя функціи и отношенія, причемъ нормальная роль уголовной юстиціи только и будетъ состоять въ общественной организаціи мести. Ей предоставляется, слѣдовательно, совершенно спеціальная функція возстановленія достоинства обиженной личности и униженія воли, нанесшей ей обиду. Самое же содержаніе интересовъ и достоинства личности, равно какъ опредѣленіе условій ихъ развитія, должно быть выведено не изъ мести, а изъ какого-нибудь болѣе общаго и притомъ положительнаго основанія, по Дюрингу—изъ закона равноцѣнности соприкасающихся воль, хотя и подъ контролемъ мести.

Такъ оно и по самому Дюрингу выходитъ. Вся его теорія «автономіи личности», всѣ его соображенія о политической, юридической и экономической организаціи общества могутъ быть построены независимо отъ идеи мести, а, слѣдовательно, и отъ уголовнаго права.

По мнѣнію Дюринга, ученіе объ «основныхъ началахъ человѣческаго общежитія» находится еще въ пеленкахъ. Наиболѣе выдающееся въ этой области явленіе составляетъ Руссо, но и тотъ недостаточно глубоко вникъ въ предметъ, схоронивъ волю личности въ «верховной власти народа». Для выясненія политическаго права совершенно достаточно схемы двухъ соприкасающихся воль, но осуществленіе его предполагаетъ присутствіе цѣлаго общества, какъ бы третьяго лица, незаинтересованнаго въ спорѣ. Каково бы ни было это третье лицо—единичное или коллективное, оно должно только поддерживать справедливость, то-есть исходить изъ интересовъ личности, не навязывая ей «рабскаго права» и не превращая общество въ «мирное кладбище свободы». Большинство такъ же мало имѣетъ правъ посягать на интересы и достоинства личности, какъ и любой отдѣльный человѣкъ. Но нравственная роль большинства велика, такъ какъ въ немъ различныя уклоненія взаимно сокращаются, вслѣдствіе чего можетъ возникнуть рѣшеніе, болѣе вѣрное и безпристрастное, чѣмъ какое доступно одному индивиду. Дѣло сводится слѣдовательно къ свободному союзу для взаимной охраны неприкосновенности личности. Въ основу такого союза должна лечь «die Individual-souveränität». О строѣ большинства современныхъ государствъ Дюрингъ невысокаго мнѣнія. Но даже еслибы государственный строй былъ и гораздо лучше, замѣчаетъ онъ, на него все-таки слѣдуетъ смотрѣть только какъ на средство, а не какъ на конечную цѣль, стоящую выше личной жизни. «Индивидуальная жизнь есть единственная самодовлѣющая дѣйствительность, и потому всѣ политическія учрежденія должны играть по отношенію къ ней служебную роль». Личная жизнь можетъ быть пожертвована обществу, но эта жертва должна основываться на взаимности и сочувствіи—случай довольно рѣдкій въ обычной современной жизни—а не на преклоненіи передъ античною нелѣпостью всепоглощающаго цѣлаго. Въ этихъ видахъ раздѣленіе политическихъ функцій должно быть доведено до минимума. Такъ военное искусство должно быть принадлежностью всѣхъ и каждаго. Союзъ, въ которомъ обособилась спеціально военная каста, не можетъ гарантировать своимъ членамъ свободу. Всѣ и каждый должны

владѣть оружіемъ и въ случаѣ надобности быть въ состояніи исполнять обязанность вождя, который, разумѣется, долженъ быть избираемъ. Общее военное образованіе должно быть такъ высоко поднято, чтобы спеціалисты-техники не отдѣлялись непроходимою пропастью отъ профановъ и всегда подлежали бы контролю. Понятно, что самый вопросъ объ участіи въ войнѣ рѣшается самою личностью. Хотя она можетъ при этомъ встать въ противорѣчіе съ общимъ рѣшеніемъ, изъ чего должны произойти столкновенія, но безъ подобныхъ болѣе или менѣе тяжелыхъ подробностей могутъ обойтись только вполнѣ идеальныя общества, изъ которыхъ война изгнана. Точно также должно стать всеобщимъ юридическое образованіе, благодаря чему личность выйдетъ изъ подъ опеки спеціалистовъ-юристовъ. Дѣло это вовсе не трудное, потому что, «по крайней мѣрѣ, девять десятыхъ содержанія юриспруденціи обязаны своимъ существованіемъ обособленію юристовъ и пропасти, которую вырыла политическая опека между ними и обществомъ». Теорія и законодательство должны поступиться множествомъ схоластическихъ и мертвыхъ подробностей, только затемняющихъ простыя правовыя отношенія. Соотвѣтственныя измѣненія произведутся, конечно, и въ самомъ строѣ общества, а затѣмъ воспитаніе должно быть такъ направлено, чтобы люди съ юности знакомились съ правовыми, то-есть политическими и общественными отношеніями. Только при такихъ условіяхъ возможенъ истинно народный судъ, плохой обломокъ котораго представляетъ нынѣшній судъ присяжныхъ.

Однако это только этапные пункты на пути исторіи. «Вполнѣ мыслимо, что нравственно усовершенствованная индивидуальность будетъ нѣкогда существовать безъ особенныхъ охранительныхъ союзовъ и держаться только того чисто положительнаго вида сообщества, которое по техническимъ основаніямъ необходимо для производительной дѣятельности» (Cursus, 304).

Понятно, что требуемое Дюрингомъ соединеніе политическихъ функцій въ лицѣ всѣхъ и каждаго можетъ осуществиться только въ сравнительно ничтожныхъ по размѣрамъ общественныхъ группахъ, а не въ большихъ государствахъ. Можно бы было поэтому думать, что въ вопросѣ о централизаціи и децентрализаціи онъ станетъ безусловно на сторону послѣдней. И дѣйствительно, усиленная централизація есть по его мнѣнію и причина, и симптомъ смерти: центральной силы не хватаетъ для сдерживанія все далѣе отодвигающейся и все болѣе развивающейся периферіи. Какъ бы ни была подавлена эта периферія въ политическомъ отношеніи, но ея экономическое развитіе, не встрѣчая усиленныхъ препятствій, можетъ наконецъ вызвать и политическое сознаніе. На этомъ однако Дюрингъ не останавливается. Имѣя въ достоинствѣ и интересахъ личности опредѣленный критерій и признавая лишь относительное значеніе за различными общественными формами, именно, насколько онѣ хороши или дурны, какъ средства для цѣлей индивидуальной жизни, онъ не даетъ безусловнаго рѣшенія по вопросу о централизаціи. Бываютъ моменты, говоритъ онъ, когда вражда съ централизаціей есть дѣло ретроградное; именно, когда дѣло идетъ объ обузданіи мѣстныхъ нарушителей закона равноцѣнности воль. Наоборотъ, децентрализація, при всей почтенности приципа, можетъ иногда состоять въ усиленіи мѣстныхъ гнетущихъ элементовъ. Такое самоуправленіе есть не болѣе, какъ «реакціонная романтика», какими бы благообразными вывѣсками она ни прикрывалась. Значитъ, мѣрила достоинства политическихъ формъ надо искать не въ нихъ самихъ, а въ судьбахъ личности.

Сообразно этому, и въ области экономическихъ отношеній намъ прежде всего представляется слѣдующее соображеніе: «Индивиды суть нѣчто большее, чѣмъ простые атомы общественнаго или государственнаго тѣла; они — верховные носители всякаго общенія и его политическихъ формъ. Поэтому соціалитарное (терминъ, исключительно принадлежащій Дюрингу) экономическое ученіе имѣетъ дѣло прежде всего съ реальными людьми и затѣмъ уже съ образуемыми ими союзами. Такъ называемая атомистика, хотя и не ею одною достигается ясность и точность, есть въ политической экономіи, какъ и въ строгой наукѣ о природѣ, признакъ, что туманности общихъ представленій уступаютъ мѣсто строгому различенію дѣйствительныхъ элементовъ явленій (Cursus der National- und Socialökonomie. Leipz. 1876, 2 изданіе, 4). Такая постановка вопроса существенно сближаетъ нашего автора съ классической экономіей и такъ называемой манчестерской школой. И дѣйствительно, Дюрингъ отдаетъ должную дань этой школѣ, но полагаетъ, что основные принципы ея не доведены ею до логическаго конца. Логическій же конецъ этотъ состоитъ въ «самохозяйствѣ (Selbstwirthschaft) труда или, другими словами, въ экономической автономіи политически и общественно свободныхъ людей» (ibid. 515). Уже Адамъ Смитъ набросалъ очеркъ свободнаго общества, въ которомъ экономическія стремленія отдѣльныхъ личностей должны были слѣдовать безъ всякаго стѣсненія своему естественному пути. Но онъ не отдѣлилъ

дѣйствительно естественныхъ условій отъ условій, наложенныхъ на личность историческимъ ходомъ развитія политическихъ и общественныхъ отношеній. Правда, онъ ратовалъ противъ монополій и тому подобныхъ искусственныхъ стѣсненій, но его анализъ шелъ не глубоко и не касался многихъ сторонъ общественной жизни, которыя однако обращаютъ его свободное общество въ совсѣмъ несвободное. Преемники Смита не исправили этой ошибки и часто обращали ее въ умышленный недостатокъ. За исправленіе ея взялись люди другого лагеря.

Когда говорятъ объ экономической власти человѣка надъ природой, то забываютъ обыкновенно, что исторически власть эта развивалась путемъ власти человѣка надъ человѣкомъ. Болѣе или менѣе значительное земледѣльческое хозяйство до сихъ поръ всегда и вездѣ предполагало гнетъ человѣка надъ человѣкомъ въ видѣ рабскаго или крѣпостнаго труда. Съ теченіемъ времени, этотъ гнетъ слабѣлъ, принимая форму менѣе непосредственной зависимости и нынѣ онъ состоитъ главнымъ образомъ въ наемномъ трудѣ, на которомъ слѣдовательно и покоится все нынѣшнее богатство. Манчестерская школа это очень хорошо знала, но все-таки находила возможнымъ говорить о благодѣтельныхъ послѣдствіяхъ свободной будто бы при этихъ условіяхъ конкуренціи. Тутъ происходитъ нѣчто аналогичное судьбамъ права. Какъ тамъ правомъ признается совокупность фактическихъ отношеній, каковы бы они ни были, такъ и здѣсь наука беретъ подъ свое покровительство эмпирически данный порядокъ, не подвергая его дальнѣйшему вопросу. Это даже больше, чѣмъ простая аналогія, потому что юридическая и экономическая области соприкасаются главнымъ образомъ на институтѣ собственности. Для юридической части ученія мы уже имѣемъ корректуру въ лицѣ закона равноцѣнности воль. Очевидно, что монополизація природы, захватъ ея силъ въ исключительное пользованіе, когда это отзывается ущербомъ на другихъ, есть обида этимъ другимъ, насиліе надъ ними, ничѣмъ не уступающее тѣлесному поврежденію. «Фактъ власти надъ вещью еще не составляетъ права; онъ можетъ оказаться правомъ только въ томъ случаѣ, если будетъ доказано, что игнорированіе его составляетъ обиду, вызывающую чувство мести». Но и это право все-таки не было бы историческимъ правомъ собственности, потому что послѣднее, какъ уже было говорено, включаетъ въ себѣ, подъ видомъ господства надъ вещью, господство надъ людьми, которое ничѣмъ не можетъ быть оправдано. Что же касается экономической стороны вопроса, то здѣсь законъ равноцѣнности воль выступаетъ въ видѣ закона равноцѣнности силъ, въ равное время приложенныхъ къ труду. Но въ эту область мы теперь не пойдемъ. Мы только отмѣтимъ нѣсколько чертъ, характеризующихъ самый предметъ экономической науки съ точки зрѣнія идеи автономіи личности.

То, что Адамъ Смитъ называлъ «національнымъ богатствомъ» и сдѣлалъ предметомъ своего изслѣдованія, было представленіемъ, умѣренно говоря, смутнымъ. Это было собственно богатство экономически господствующихъ классовъ, но въ глазахъ изслѣдователя играло роль всеобщаго богатства, богатства народа или народовъ. Мы и до сихъ поръ выражаемся столь же неопредѣленно. Какъ въ политикѣ часто говорятъ о государственномъ благѣ, общественномъ благосостояніи, государственномъ могуществѣ и т. п., разумѣя въ дѣйствительности благо и мощь извѣстныхъ группъ интересовъ, такъ и въ политической экономіи съ «національнымъ богатствомъ» расправляются очень щедро, подставляя его на мѣсто богатства извѣстныхъ классовъ общества. Происходящая отсюда путаница можетъ быть устранена, очевидно, только «атомистикой», то-есть разложеніемъ общественнаго состава на индивиды и солидарныя группы индивидовъ. Напримѣръ, колоніальная торговая политика или сношенія съ экономически неразвитымъ и, слѣдовательно, полузависимымъ народомъ могутъ создавать громадныя богатства, которыя, однако, добываясь не изъ средствъ родной страны и сосредоточиваясь въ рукахъ магнатовъ торговли и промышленности, никоимъ образомъ не составляютъ части національнаго богатства. Но этого мало. Если правда, а это несомнѣнно правда, что до сихъ поръ власть надъ природой пріобрѣталась при посредствѣ власти надъ людьми, то внутри страны, въ районѣ національнаго богатства, рядомъ съ богатствомъ должна стоять нищета, какъ его логическій коррелатъ. Богатство однихъ даже можетъ измѣряться нищетою другихъ, ибо богатство тѣмъ больше, чѣмъ большее количество людей находится у него въ услуженіи. Понятно, что съ развитіемъ производства нищета принимаетъ болѣе благообразныя формы, но корень вопроса о національномъ богатствѣ отъ этого нисколько не измѣняется.

Въ виду малой у насъ извѣстности Дюринга, намъ приходится оговориться, что все вышеизложенное представляетъ лишь небольшую долю и притомъ одной только стороны его нравственно-политическаго вѣроисповѣданія. Но какъ ни бѣгло, какъ ни отрывочно сдѣланъ нашъ очеркъ, мы думаемъ, что рѣзкость Дюрингової постановки

вопроса объ отношеніи личности къ обществу для читателя очевидна. А это-то намъ нока только и нужно. Мы видѣли «мечту» Ренана, гдѣ личность утопаетъ въ «божественной массѣ» мірового цѣлаго и теряется въ ней, какъ ничтожная пылинка въ волнахъ солнечнаго свѣта. Мы видѣли теорію Дюринга, гдѣ личная жизнь представляется единственною самодовлѣющею дѣйствительностью, которой весь міръ долженъ служить подножіемъ. Очень поучительно наблюдать взаимныя отношенія этихъ двухъ полюсовъ современной нравственно-политической мысли. Оба стоятъ другъ противъ друга вооруженные съ головы до ногъ и нимало не сдерживая своей ярости. Тотъ реальный, «научный» адъ, та возможность истребить весь шаръ земной, которыми грозитъ Ренанъ, къ счастью, конечно, только въ «мечтѣ», направлены какъ бы непосредственно противъ Дюринга, этого апологета зависти во имя равенства и мести во имя справедливости. Въ свою очередь месть, которою дышитъ Дюрингъ, и терроръ, который онъ обѣщаетъ надругателямъ надъ достоинствомъ личности, есть какъ бы непосредственный отвѣтъ Ренану. Иначе и быть не можетъ, когда рознь во взглядахъ на самый коренной вопросъ жизни достигаетъ такой степени и когда взгляды эти составляютъ плоть отъ плоти и кость отъ кости самой исторіи. Тѣ благодушные русскіе писатели, которые, оставляя на нашу долю смиренномудріе, терпѣніе и любовь, склонны видѣть въ «насильственности» общую характеристическую черту европейской цивилизаціи, могутъ порадоваться при видѣ этого сходства двухъ противоположныхъ крайнихъ ученій. Мы не пойдемъ за ними. Мы постараемся извлечь другіе, менѣе двусмысленные, болѣе скромные, но, можетъ быть, болѣе полезные уроки изъ представляющагося намъ зрѣлища.

Утопія Ренана не имѣетъ сама по себѣ рѣшительно никакихъ правъ на титулъ научности, хотя и претендуетъ на него. Но общій ходъ мыслей Ренана, ея, такъ сказать, общая физіономія находится въ тѣснѣйшей связи со многими нравственно-политическими ученіями, съ бо́льшимъ правомъ опирающимися на науку. Дюрингъ же есть несомнѣнный человѣкъ науки, и хотя его теорія автономіи (собственно сильнѣе: суверенитета) личности стоитъ на довольно шаткомъ основаніи, но разработана послѣдовательно и разносторонне, такъ что подъ нее можно бы было подвести и другой, болѣе прочный фундаментъ, не колебля самой постройки. Изъ этого слѣдуетъ, что русскій человѣкъ, просто-ли многоглаголющій о наукѣ или дѣйствительно уважающій науку, долженъ приложить довольно много стараній и самостоятельныхъ усилій мысли для выработки себѣ нравственно-политическаго символа вѣры. Давно прошло то время, когда европейская литература была въ этомъ отношеніи настолько единодушна, что затрудненіе выбора почти не существовало. По правдѣ сказать, она никогда не была достаточно единодушна, но съ теченіемъ времени рознь достигла такихъ размѣровъ и такой интенсивности, что прежнія отношенія кажутся по сравненію мирною идиліей. Значитъ, человѣку, преклоняющемуся передъ европейскою наукой, недостаточно ткнуть, зажмуря глаза, пальцемъ въ длинный списокъ именъ людей науки и такимъ образомъ добыть себѣ непререкаемый авторитетъ; ибо, попавъ, напримѣръ, подобно г. Чичерину, въ Фредерика Бастіа, можно попасть пальцемъ въ небо, какъ попалъ и самъ этотъ знаменитый покойникъ, надписавъ надъ своими «Harmonies économiques»: digitus Dei est hic (здѣсь перстъ божій). Выгоднѣе, повидимому, положеніе того упорнаго русскаго человѣка, который, памятуя свое смиренномудріе, терпѣніе и любовь не хочетъ знать европейской науки. Однако это только повидимому, ибо, приступивъ къ самостоятельному рѣшенію какого-нибудь важнаго общаго вопроса—скажемъ вопроса объ отношеніи личности къ обществу — онъ увидитъ, что единственные два возможные послѣдовательные отвѣта на этотъ вопросъ уже существуютъ въ европейской литературѣ. Можно, конечно, искать для нихъ другой обоснованія, но, въ концѣ концовъ, все-таки придется примкнуть къ тому или другому готовому рѣшенію. Но такъ какъ ихъ два, то надо выбирать.

Поучительно также для русскаго читателя слѣдующее обстоятельство. Говоря условнымъ политическимъ жаргономъ, утопія Ренана есть мечта буржуазная. Она—внучка тѣхъ самыхъ освободительныхъ идей, которыя когда-то съ такимъ громомъ разбивали цѣпи и оковы, наложенныя на личность исторіей. Она перемѣнила фронтъ. Она предлагаетъ личности добровольно надѣть вѣнецъ мученическаго терпѣнія и цѣпи преданности и любви. Добровольно, а въ противномъ случаѣ мудрецы, уразумѣвшіе цѣли природы, нашлютъ на нее казни, адъ и, наконецъ, всеобщее разрушеніе. Съ другой стороны, идея Дюринга есть родная дочь того негодованія противъ разнузданности личности, которое овладѣло благородными сердцами, когда праздникъ свободы превратился въ сатурналію. Она тоже перемѣнила фронтъ. Она находитъ, что личности не было дано должнаго простора, что шире и святѣе идеи личности для человѣка нѣтъ ничего. Эта перемѣна фронта двухъ армій, готовыхъ ко

взаимному истребленію, собственно говоря, исчерпываетъ собою весь современный моментъ нравственно-политической мысли. Она тѣмъ поучительнѣе, что происходитъ не только въ головахъ одиночныхъ мыслителей, а и на почвѣ исторіи, коренясь въ самой механикѣ взаимнаго тренія интересовъ.

КРИТИКА УТИЛИТАРИЗМА *).

Нравственная философія утилитаризма. Историко-критическое изслѣдованіе А. Мальцева. Спб. 1879.

Книга г. Мальцева принадлежитъ къ числу тѣхъ, отъ обсужденія которыхъ мы систематически уклоняемся. На оберткѣ ея напечатано: «Печатать дозволяется по опредѣленію с.-петербургской духовной академіи, 2-го декабря 1878 г. Ректоръ академіи протоіерей Іоаннъ Янышевъ». Наше воздержаніе совершенно естественно въ виду тѣхъ общихъ условій, въ которыхъ стоитъ русская литература, и тѣхъ особенныхъ условій, которыми обставлены сочиненія духовнаго содержанія. Мы и на этотъ разъ не думаемъ измѣнять своему правилу, столь настоятельно рекомендуемому обстоятельствами: многое въ книгѣ г. Мальцева останется для насъ неприкосновеннымъ. Но книга эта отличается нѣкоторыми такими качествами, которыя не только должны остановить на себѣ вниманіе читателя, но и даютъ матеріалъ для соображеній, не имѣющихъ ничего общаго съ собственно духовнымъ содержаніемъ книги.

Книга г. Мальцева состоитъ изъ двухъ частей. Первая занимается историческимъ изложеніемъ системъ утилитарной нравственности, вторая представляетъ критическій разборъ основныхъ началъ нравственной философіи утилитаризма. Для насъ, да вѣроятно и для большинства читателей, особенный интересъ представляетъ первая часть. По тому-ли, по сему-ли, но наша жизнь сложилась такъ, что нравственные вопросы имѣютъ особенную привлекательность для русскаго человѣка. Къ чисто политической мысли онъ пристраститься не имѣлъ ни времени, ни возможности. Отвлеченное философское мышленіе и точное знаніе также требуютъ для своей разработки такихъ условій, которыхъ въ достаточномъ размѣрѣ нѣтъ подъ руками у русскаго человѣка. И если читатель потрудится возстановить въ своей памяти подробную картину нашего увлеченія, лѣтъ 12—15 тому назадъ, естественными науками, то онъ безъ сомнѣнія убѣдится, что источникъ этого увлеченія былъ чисто нравственнаго характера. Равнымъ образомъ наши толки объ искусствѣ, которыми мы всѣ, кажется, до пельзя надоѣли другъ другу, истекали изъ нравственнаго принципа и къ нему же возвращались. Такъ ужъ какъ-то на роду написано русскому человѣку класть душу свою въ нравственные вопросы. Оно и понятно. Это именно такіе вопросы, правильному разрѣшенію которыхъ неблагопріятныя внѣшнія условія очень и очень, конечно, препятствуютъ, но интересъ къ которымъ отъ внѣшнихъ обстоятельствъ довольно независимъ. Мало того, тяжелыя внѣшнія условія могутъ съ особенною силою направить мысль внутрь души и сосредоточить весь интересъ духовной жизни на нравственномъ вопросѣ. А между тѣмъ мы до сихъ поръ не имѣемъ обстоятельной исторіи нравственныхъ ученій. Мы хорошенько не знаемъ, какъ, излюбленные нами и самой исторіей нашей и текущей дѣйствительностью навязываемые намъ, вопросы рѣшались въ разныя времена. Историческій очеркъ системъ утилитарной нравственности, составляющій первую часть книги г. Мальцева, конечно, не восполняетъ этого пробѣла, но при своей сжатой обстоятельности, добросовѣстности и относительной полнотѣ, онъ все-таки будетъ полезенъ. Этому много способствуетъ и точка зрѣнія автора на послѣдовательное развитіе разбираемаго имъ ученія.

Извѣстно, что утилитаризмъ находится у насъ въ числѣ опальныхъ «измовъ». «Утилитаризмъ» есть въ устахъ нѣкоторыхъ нашихъ дѣятелей науки и литературы почти бранное слово, хотя ни одинъ изъ этихъ господъ не потрудился толкомъ уяснить, что это собственно значитъ «утилитаризмъ» и почему онъ такъ вреденъ. Тѣмъ болѣе чести г. Мальцеву, который рѣшился отнестись нравственно къ нравственной доктринѣ. Не-

*) 1880, февраль.

большая заслуга, говоря вообще, но у насъ не малая. Вотъ какъ резюмируетъ г. Мальцевъ исторію развитія доктрины утилитаризма.

«Она начала съ системъ самаго грубаго эгоизма и абсолютно отвергла существованіе какихъ бы то ни было безкорыстныхъ мотивовъ въ человѣческой природѣ и кончила признаніемъ самыхъ высокихъ и благородныхъ свойствъ, коренящихся въ симпатіи и благожелательности. *Личное* эгоистическое счастье, какъ единственная цѣль дѣятельности, мало-по-малу, перешло сначала въ *національное*, а затѣмъ, наконецъ, въ *общее* или, говоря точнѣе, въ счастье «наивозможно бо́льшаго числа людей» и даже не только людей, то-есть существъ мыслящихъ, но и всѣхъ вообще существъ, одаренныхъ *чувствомъ*, куда, очевидно, включается даже все обширное царство животныхъ. Грубый *мотивъ* дѣятельности: «все для *меня* самого и *только* для меня» переходитъ чрезъ дѣйствіе ассоціаціи идей, мало-по-малу, въ мотивъ болѣе или менѣе гуманный, альтруистическій, пока, наконецъ, болѣе безпристрастный и тонкій анализъ не открываетъ въ душѣ человѣка съ самаго начала существованіе подобныхъ безкорыстныхъ мотивовъ поведенія. Начавши съ прямого антитезиса доктринѣ стоицизма, утилитарная доктрина, сглаживая свои наиболѣе грубыя и рѣзкія черты, мало-по-малу, старается приблизиться не только къ стоицизму, но и усвоить себѣ всѣ лучшія качества и стороны ученія другихъ системъ нравственности и, въ концѣ концовъ, въ лицѣ доктрины Милля дойти до тѣснѣйшаго сближенія или, по крайней мѣрѣ, непротиворѣчія ученію христіанства. Подводя итогъ изложенному нами историческому развитію утилитарной доктрины, мы не можемъ не закончить словами одного современнаго французскаго изслѣдователя-моралиста, утверждавшаго, что «мало было такихъ системъ, исторія которыхъ представляла бы собою видъ прогресса, болѣе правильный и постоянный, чѣмъ какой даетъ намъ исторія системъ утилитарной нравственности».

Такое отношеніе къ изучаемой доктринѣ гарантируетъ, если не вѣрность критики, то, по крайней мѣрѣ, добросовѣстность и безпристрастіе ея, безпристрастіе въ лучшемъ смыслѣ слова. И дѣйствительно, г. Мальцевъ обнаруживаетъ въ своемъ трудѣ эти качества въ такой мѣрѣ, въ какой они не особенно часто встрѣчаются въ нашей ученой литературѣ. Вслѣдствіе этого не только общій тонъ книги г. Мальцева, но и многія отдѣльныя его замѣчанія, даже такія, съ которыми по существу мудрено согласиться, очень поучительны. Но г. Мальцевъ обладаетъ и еще однимъ, не заурядным у насъ качествомъ, а именно онъ ни мало не заженъ педантократическими предразсудками. Европейскій ученый, будучи, говоря вообще, гораздо болѣе ученымъ, чѣмъ нашъ, давно уже отказался отъ дикой идеи, что изъ Назарета не можетъ быть ничего путнаго. Онъ беретъ интересный фактъ, новое наблюденіе, плодотворную идею, вѣрное обобщеніе, правильный выводъ тамъ, гдѣ ихъ находитъ, и не думаетъ, чтобы все это составляло исключительную и неотъемлемую собственность педантократическаго цеха. У насъ не такъ. У насъ, напримѣръ, г. Хлѣбниковъ говоритъ, что, хотя вопросы, касающіеся брака и семейства, нерѣдко затрогиваются въ журнальныхъ и газетныхъ статьяхъ, «но нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, рѣшать ихъ на основаніи легкой фельетонной болтовни»; надо, дескать, наше, настоящихъ ученыхъ людей, участіе. И затѣмъ уже, то-есть обливъ журналистику презрѣніемъ за неосновательность, г. Хлѣбниковъ начинаетъ излагать тотъ неосновательный и возмутительный вздоръ, образцы котораго приведены въ январской книжкѣ «Отеч. Записокъ». Или вотъ, напримѣръ, г. Слонимскій, ученый, вѣроятно, очень заслуженный, хотя и весьма мало извѣстный, напечаталъ въ январскомъ номерѣ «Слова» статью «Политико-экономическія школы», въ которую не приминулъ инкрустировать такую фразу: «странно искать «науку» въ горячихъ разсужденіяхъ журнальнаго бойца или требовать добросовѣстной солидности отъ увлекающагося фельетониста. Можетъ быть, и странно. Можетъ быть, еще страннѣе то обстоятельство, что въ статьѣ г. Слонимскаго, статьѣ, мимоходомъ сказать, очень недурной, нѣтъ ни одной мысли и ни одного указанія, которыя бы не были уже развиты въ разныхъ горячихъ разсужденіяхъ журнальныхъ бойцовъ. Такихъ примѣровъ можно отыскать множество. Между русскими учеными считается признакомъ хорошаго тона, прежде чѣмъ изложить свой собственный вздоръ, назвать вздоромъ то, что говорилось по данному вопросу журналистикой; или, повторяя давнымъ давно заявленное журналистикой, лягнуть «журнальныхъ бойцовъ». C'est du bon ton. Г. Мальцевъ не раздѣляетъ такого взгляда. Онъ, не обинуясь, цитируетъ «журнальныхъ бойцовъ», если находитъ у нихъ что-нибудь, по его мнѣнію, дѣльное. И я думаю, что онъ поступаетъ правильно, а господа педантократы не понимаютъ, сколь они смѣшны.

Какъ уже сказано, многое въ книгѣ г. Мальцева останется для насъ неприкосновеннымъ. Не разборъ этой книги предлагается читателю, а лишь нѣсколько мыслей по одно-

му изъ вопросовъ, затрогиваемыхъ ею, а именно, по вопросу объ отношеніи утилитаризма къ эгоизму.

Въ противность ходячему мнѣнію, отождествляющему утилитаризмъ и эгоизмъ, г. Мальцевъ полагаетъ, что только первыя грубѣйшія системы утилитарной нравственности были окрашены эгоистическимъ характеромъ, отъ котораго утилитаризмъ постепенно освобождался по мѣрѣ своего развитія; а именно, въ нравственномъ ученіи Гельвеція утилитаризмъ впервые выросъ до утилитаризма національнаго, а, начиная съ Юма, становится универсальнымъ. Мы думаемъ, что ходячее мнѣніе совсѣмъ невѣрно, но едва ли также правъ и г. Мальцевъ. Онъ подводитъ всѣ нравственныя ученія къ двумъ типамъ или школамъ: стоической, интуитивной или раціональной съ одной стороны, и эпикурейской, индуктивной или утилитарной—съ другой. Первая признаетъ нравственные принципы апріорными, прирожденными человѣку, непосредственно различаемыми, не требующими доказательствъ и не зависимыми отъ опыта. Вторая школа, напротивъ того, видитъ въ нравственныхъ требованіяхъ нѣчто выведенное изъ опыта, нѣчто вытекающее изъ стремленія человѣка къ счастью. Эта классификація нравственныхъ теорій не нова, и, можетъ быть, по этому самому г. Мальцевъ не счелъ нужнымъ сколько-нибудь обстоятельно мотивировать ее. Нельзя не замѣтить въ самомъ дѣлѣ, что онъ довольствуется въ этомъ отношеніи соображеніями, крайне скудными и, такъ сказать, тусклыми. Онъ находитъ именно, что принимаемая имъ классификація нравственныхъ ученій «какъ нельзя болѣе соотвѣтствуетъ существующему дѣленію принциповъ въ области познавательной или теоретической, гдѣ идеалистическое и реалистическое, формальное и матеріальное, апріорное и апостеріорное знаніе разсматриваются всегда, какъ противоположныя между собой; при томъ же нужно замѣтить, что сенсуализмъ въ познавательной области всегда шелъ рука объ руку съ утилитаризмомъ въ области практической, нравственной». Вотъ и всѣ основанія, по которымъ г. Мальцевъ предлагаетъ своимъ читателямъ остановиться именно на такой, а не иной классификаціи нравственныхъ ученій. Онъ приводитъ нѣкоторыя другія классификаціи (между прочимъ, и такія, о которыхъ и говорить не стоитъ), но при этомъ остается вѣренъ самому себѣ, то-есть не упоминаетъ о мотивахъ тѣхъ классификацій. Отъ такой послѣдовательности читателю, разумѣется, не легче. Видитъ онъ, что есть люди, классифицирующіе нравственныя теоріи совсѣмъ не такъ, какъ это дѣлаетъ г. Мальцевъ, и имѣющіе, конечно, свои резоны. Но въ чемъ эти резоны состоятъ—остается неизвѣстнымъ. Вотъ напримѣръ, г. Мальцевъ упоминаетъ, въ числѣ прочихъ, классификацію одного изъ новѣйшихъ утилитаристовъ, Сиджвика. Этотъ «авторъ замѣчательнаго сочиненія «The Methods of Ethics» (Lond., 1874), соотвѣтственно тремъ главнымъ методамъ въ области нравственныхъ изслѣдованій, дѣлитъ нравственные принципы на эгоистическіе, интуитивные и утилитарные». Почему Сиджвикъ выдѣлилъ эгоистическіе нравственные принципы въ особую самостоятельную группу, а г. Мальцевъ не выдѣлилъ, читатель не знаетъ. Что же касается оправдательныхъ соображеній, приводимыхъ самимъ г. Мальцевымъ въ пользу своего дѣленія, то слабость ихъ очевидна. Г. Мальцевъ очень доволенъ аналогіей между его классификаціей и «существующимъ дѣленіемъ принциповъ въ области познавательной, теоретической». Между тѣмъ, это даже не аналогія, а чистое тождество, ибо въ характеристикѣ интуитивной и индуктивной школъ онъ довольствуется исключительно теоретическимъ, познавательнымъ моментомъ. Въ самомъ дѣлѣ, вопросъ о происхожденіи нравственныхъ понятій изъ опыта или изъ непосредственнаго врожденнаго чувства есть вопросъ чисто-теоретическій, и очень, значитъ, натурально, что различныя его рѣшенія подходятъ подъ рубрики «существующаго дѣленія принциповъ въ области познавательной». Но, собственно говоря, вопросъ о происхожденіи нравственныхъ понятій только косвеннымъ образомъ входитъ въ область этики. Ученіе о нравственности, о *должномъ* только косвенно затрогивается тѣмъ или другимъ рѣшеніемъ вопроса о происхожденіи нравственныхъ понятій. Два человѣка, рѣшающіе этотъ послѣдній вопросъ единогласно въ пользу, положимъ, опыта, то-есть полагающіе, что источникъ нравственныхъ понятій есть не интуиція, а опытъ, могутъ, тѣмъ не менѣе, совершенно различно смотрѣть на самое содержаніе нравственности, на правила поведенія. И наоборотъ, люди, исповѣдующіе одну и ту же практическую мораль, могутъ расходиться въ пониманіи источника этой морали. Ясно слѣдовательно, что классификація нравственныхъ ученій, имѣющая въ виду только вопросъ о происхожденіи нравственности, никоимъ образомъ не можетъ обнять весь подлежащій изслѣдованію предметъ и необходимо должна въ подробностяхъ болѣе или менѣе запутать изслѣдователя.

Это дѣйствительно и случилось съ г. Мальцевымъ, какъ видно даже изъ вышеприведенной выписки, резюмирующей прогрессъ системъ утилитарной нравственности. По

сколько рѣчь идетъ о все болѣе и болѣе совершенномъ разумѣніи опыта, какъ источника нравственныхъ понятій, дѣло совершенно понятно. Тутъ мы въ самомъ дѣлѣ видимъ ровный и непрерывный прогрессъ. Но зато въ этомъ смыслѣ нѣтъ никакого сближенія утилитаризма съ какими бы то ни было другими, интуитивными школами, ибо опытъ, какъ источникъ нравственности, есть позиція, съ которой утилитаризмъ никогда не сходилъ; онъ только лучше, прочнѣе устраивается на ней при помощи болѣе тонкаго анализа и новыхъ научныхъ данныхъ. Что же касается, такъ сказать, повелительнаго наклоненія утилитаризма, то-есть его правилъ морали, то, безъ сомнѣнія, онъ въ этомъ отношеніи, въ теченіе своей исторіи, неоднократно сближался съ разными интуитивными школами. Но зато эта его сторона не представляетъ такой ровности, постепенности въ своемъ развитіи, какъ изображаетъ г. Мальцевъ. По его мнѣнію, въ утилитарныхъ системахъ «*личное*, эгоистическое счастье, какъ единственная цѣль дѣятельности, мало-по-малу перешло сначала въ *національное*, а затѣмъ, наконецъ, въ *общее* или, говоря точнѣе, въ счастье «наивозможно большаго числа людей», и даже не только людей, то-есть существъ мыслящихъ, но и всѣхъ вообще существъ, одаренныхъ чувствомъ, куда, очевидно, включается даже все обширное царство животныхъ». Можно однако съ увѣренностью сказать, что дѣйствительная картина наслоеній утилитарныхъ системъ далеко не столь проста, что она гораздо пестрѣе. Подтвержденіе этой относительной пестроты можно найти въ книгѣ самого г. Мальцева, не говоря уже о томъ весьма обширномъ матеріалѣ, который этою книгою, къ сожалѣнію, не затрогивается.

Г. Мальцевъ, характеризуя образъ мыслей основателя Киренской школы Аристиппа, между прочимъ, замѣчаетъ: «Само собою понятно, что всѣ удовольствія должны имѣть и имѣютъ, по Аристиппу, чисто *эгоистическій* (курсивъ г. Мальцева) характеръ, направляются исключительно на наше «я». «Какъ можетъ мнѣ придти на умъ, если только я не лишенъ его, заботиться о другихъ, въ особенности же о цѣломъ государствѣ, восклицаетъ Аристиппъ,—государствѣ, которое относится ко всякому человѣку, занятому какою-либо должностью общественною, какъ къ своему рабу?» «Поелику въ государствѣ,—продолжаетъ онъ,—испытываютъ только притѣсненія, то самое лучшее, чтобы избѣгнуть зла, это не привязываться ни къ какому государству, но вездѣ быть какъ бы чужимъ и жить только для себя».

Этому противопоставленію личности государству или какому другому общественному цѣлому, можетъ быть, и приличествуетъ названіе эгоизма. Но печальная судьба всѣхъ «измовъ» состоитъ въ томъ, что они, гуляя по бѣлому свѣту, переходя изъ одной головы въ другую и съ одного языка на другой, обшаркиваются до неузнаваемости: всѣ говорятъ одно и то же слово, но каждый разумѣетъ его по своему. Поэтому нѣтъ нужды спорить о словахъ, но всегда есть большая нужда уговориться, въ какомъ смыслѣ данное слово понимается. Будемъ же разумѣть подъ эгоизмомъ то именно противопоставленіе личности государству, которое выразилось въ приведенныхъ словахъ Аристиппа, и посмотримъ, насколько повинны въ такомъ эгоизмѣ утилитаристы.

Прежде всего замѣтимъ мимоходомъ, что такая же постановка вопроса и такое же его рѣшеніе, какое мы находимъ у Аристиппа, встрѣчается въ болѣе или менѣе рѣзкой формѣ у нѣмецкихъ метафизиковъ (съ особенною опредѣленностью у Фихте), которыхъ г. Мальцевъ, конечно, не зачислитъ въ «эпикурейскую, индуктивную или утилитарную» школу. Этотъ любопытный пунктъ мы однако обойдемъ, потому что онъ завелъ бы насъ слишкомъ далеко въ сторону. Остановимся только на матеріалѣ самого г. Мальцева. Мы видѣли, что онъ считаетъ доктрину Гельвеція поворотнымъ пунктомъ, съ котораго утилитаризмъ разстается съ окраскою личнаго эгоизма. Но уже за сто лѣтъ до Гельвеція мы встрѣчаемъ нравственно-политическое ученіе Гоббса, которое, будучи несомнѣнно утилитарнымъ, тѣмъ не менѣе рѣшаетъ вопросъ объ отношеніи личности къ государству въ смыслѣ совершенно противоположномъ рѣшенію Аристиппа. Для Гоббса государство есть «смертный богъ», «великій Левіаѳанъ», поглощающій и долженствующій поглощать личность. Это громадное, чудовищное животное, живущее своею собственною жизнью. Какъ бы ни была сформирована его голова, то-есть верховная власть, имѣетъ-ли она видъ монархіи, олигархіи или демократіи, она во всякомъ случаѣ абсолютна. Подданные не имѣютъ ни собственности, ни права распоряжаться своими силами и способностями, ни даже собственнаго сужденія о добрѣ и злѣ: критерій того и другого опредѣляется головою Левіаѳана, верховною властью. Наконецъ, «мое самое первое право, право на мою жизнь, принадлежитъ также государству». «Далѣе этого идти уже некуда», замѣчаетъ по этому поводу г. Мальцевъ. Дѣйствительно некуда, если идти въ сторону, противоположную Аристиппу. Тамъ провозглашалось верховенство личнаго мѣстоименія, здѣсь оно безъ остатка тонетъ въ Ле-

віаѳанѣ. Если мнѣнія Аристиппа слѣдуетъ считать выраженіемъ крайняго эгоизма, то въ доктринѣ Гоббса надо признать полное отреченіе отъ всякаго эгоизма. А такъ какъ и Аристиппъ, и Гоббсъ несомнѣнно утилитаристы, то изъ этого видно, что отношенія между утилитаризмомъ и эгоизмомъ совсѣмъ не такъ просты, какъ кажется г. Мальцеву.

Пойдемъ дальше. Слѣдомъ за Гоббсомъ выступаетъ Бернардъ Мандевиль, авторъ у насъ мало извѣстной, но въ высокой степени замѣчательной «Басни о пчелахъ».

Былъ когда-то большой улей. Жизнь въ немъ была устроена на манеръ человѣческихъ обществъ: тутъ были человѣческіе нравы и обычаи, человѣческіе пороки и добродѣтели. Врачи были въ ульѣ настоящіе шарлатаны, проповѣдники—лицемѣры, властители изъ искательныхъ и честолюбивыхъ вельможъ; справедливость была какъ нельзя легче доступна подкупу и злоупотребленіямъ; словомъ, каждая часть государства была добычею явной испорченности и растлѣнія. Но при всемъ томъ это было цвѣтущее и совершенно организованное государство, былъ, говоря словами Мандевиля, «истинный рай». Но случилось какъ-то разъ, что одинъ изъ членовъ этого общества, разбогатѣвшій не совсѣмъ честнымъ путемъ, вознегодовалъ, увидѣвши, что перчаточникъ поставилъ ему вмѣсто козлиной кожи баранью, и началъ проповѣдывать, что вслѣдствіе подобныхъ мошенничествъ страна и народъ неминуемо погибнутъ. Тотчасъ же этому стали слѣдовать и другіе, болѣе плутоватые члены: они вздыхали о всеобщей несправедливости и единогласно взывали къ честности. Юпитеръ внялъ ихъ мольбамъ и избавилъ отъ обмановъ и мошенничествъ этотъ крикливый и недовольный улей. Нравы измѣнились, воцарились всюду миръ и довольство, но зато прекратились искусства и многія отрасли промышленности; прежніе вельможи, утопавшіе въ роскоши и удовольствіяхъ, исчезли безслѣдно. Вмѣстѣ съ этимъ общество утратило весь свой прежній блескъ и могущество, такъ что, столкнувшись однажды съ многочисленнымъ непріятелемъ, оно не могло уже противостоять ему. Большинство пчелъ было избито, а остальные уцѣлѣвшіе члены общества возвратились въ дупло своего дерева и стали влачить скучную, длинную жизнь, на которую ихъ обрекла добродѣтель.

Такъ излагаетъ г. Мальцевъ содержаніе «Басни о пчелахъ». Въ Геттнеровой исторіи англійской литературы XVIII столѣтія читатель найдетъ изложеніе болѣе полное и, въ нѣкоторыхъ второстепенныхъ подробностяхъ, не совсѣмъ совпадающее съ редакціей г. Мальцева. Это, конечно, зависитъ отъ того, что «Басня о пчелахъ» имѣла нѣсколько изданій, которыя авторъ пополнялъ и измѣнялъ. Басня сопровождается предисловіемъ и послѣсловіемъ отчасти догматическаго, отчасти полемическаго характера, гдѣ развиваются теоретическія положенія по предмету этики. Всю эту доктрину, если ее только можно такъ назвать, г. Мальцевъ признаетъ «узко-эгоистическою и мрачною». Въ этомъ отношеніи онъ не обнаруживаетъ оригинальности, ибо таково всеобщее мнѣніе о произведеніи Мандевиля. Однако мнѣніе это совсѣмъ несправедливо. Какъ бы мы ни смотрѣли на «Басню о пчелахъ», увидимъ-ли мы въ ней сатиру, просто откровенно высказанное мнѣніе, мизантропическій парадоксъ, выходку à la Геростратъ — мы во всякомъ случаѣ должны признать за Мандевилемъ очень тонкій, аналитическій и смѣлый умъ, не останавливающійся въ своемъ анализѣ передъ ходячими предразсудками. Но этого мало. Если, какъ думаетъ г. Мальцевъ, Мандевиль серьезно утверждалъ, что развратъ и пороки отдѣльныхъ личностей нужны для общаго блага, то здѣсь нѣтъ эгоизма, по крайней мѣрѣ, въ томъ условномъ смыслѣ, который мы приняли вслѣдъ за г. Мальцевымъ. Аристиппъ рекомендовалъ мудрецу не связывать себя государствомъ, не прилѣпляться къ нему, а Мандевиль, напротивъ, хочетъ, чтобы однѣ пчелы работали до третьяго пота, другія пожинали плоды этихъ трудовъ; однѣ сидѣли на акридахъ и дикомъ медѣ, другія утопали въ роскоши, и т. д., и все это во имя и ради улья. Въ этомъ всеобщемъ жертвоприношеніи онѣ должны сжечь и свою личную нравственность и быть ворами и мошенниками, разратниками, потому что таковы требованія силы, могущества, богатства улья. До такой степени пчелы должны прилѣпиться къ улью и утонуть въ немъ. Если эта доктрина эгоистическая, то Аристиппъ не эгоистъ, а если Аристиппъ теоретикъ эгоизма, то ученіе Мандевиля не эгоистическое. Надо выбирать что-нибудь одно, а ставить ихъ за общую скобку очевидно нельзя. Г. Мальцевъ подводитъ ихъ подъ одну рубрику единственно по недоразумѣнію, состоящему въ томъ, что онъ недостаточно разграничиваетъ познавательную, теоретическую и практическую стороны нравственныхъ ученій. Справедливо, что въ теоретическомъ разумѣніи свойствъ человѣческой природы Аристиппъ, Гоббсъ и Мандевиль болѣе или менѣе сходятся между собою. Но въ смыслѣ практическихъ идеаловъ и разумѣнія *должнаго*, между ними весьма мало общаго.

Что же касается спеціально Мандевиля, то тутъ недоразумѣніе г. Мальцева идетъ

еще дальше. Авторъ «Басни о пчелахъ» не далъ законченной системы морали. Онъ какъ бы наѣздомъ вторгался въ область этики, бросивъ въ нее басню и нѣсколько отрывочныхъ мыслей. Эта недоговоренность, недодѣланность, въ связи съ иносказательною формою pièce de resistance работы—самой басни, безъ сомнѣнія, и составляетъ причину рѣшительности мнѣнія г. Мальцева и другихъ, что Мандевиль сознательно рекомендовалъ безнравственность. Мы видѣли, что и при такомъ толкованіи г. Мальцевъ все-таки не правъ, называя ученіе Мандевиля «узко-эгоистическимъ», ибо при этомъ толкованіи Мандевиль приноситъ личное «я» каждой пчелы въ жертву цѣлому улью. Но это толкованіе не совсѣмъ вѣрно. Спрашивается, какъ связать съ нимъ слѣдующую, напримѣръ, замѣчательную мысль Мандевиля: «Понятія о благородствѣ и неблагородствѣ, честности и безчестности не болѣе какъ произведенія мудрыхъ людей, преслѣдующихъ свои личные интересы». Обѣщая идеальныя блага, вродѣ чести и похвалы со стороны другихъ они (мудрецы) убѣдили простодушныхъ людей *отказаться отъ своего личнаго блага въ пользу цѣлаго общества.* Многіе увлеклись подобной идеей, и вотъ явилось искусственное раздѣленіе общества на благородные и неблагородные классы—раздѣленіе, которое и было, по Мандевилю, потомъ перенесено на самую природу человѣка». Въ напечатанныхъ курсивомъ словахъ слышится ясный протестъ противъ той самой идеи, которая обыкновенно усваивается «Баснѣ о пчелахъ», а затѣмъ во всей тирадѣ не менѣе ясный протестъ противъ «морали джентльмэновъ», какъ называлъ Мандевиль модное въ его время нравственное ученіе Шафтсбёри, и противъ вульгарнаго положенія, что при данномъ строѣ общества личная добродѣтель совпадаетъ съ общимъ благомъ. Анализъ отношеній между личною нравственностью и благомъ общественнаго цѣлаго составляетъ наиболѣе цѣнную и, быть можетъ, единственную цѣнную сторону произведенія Мандевиля. Она должна быть разсмотрѣна совершенно независимо отъ того или другого кодекса морали, который могъ имѣть и проповѣдывать самъ Мандевиль. Училъ-ли Мандевиль такой чудовищной вещи, что добродѣтель есть порокъ, а порокъ—добродѣтель, это дѣло довольно безразличное, хотя бы уже потому, что столь неприкрытое прославленіе порока не можетъ разсчитывать на мало-мальски широкое распространеніе. Для этого нужно хоть и то же слово, да иначе молвить. Но для историка утилитаризма въ высшей степени важно то обстоятельство, что Мандевиль первый съ такою рѣзкостью, съ такою безповоротною рѣшительностью выразилъ мнѣніе о противорѣчіи между личнымъ благомъ пчелы и благомъ улья, какъ цѣлаго. Для историка утилитаризма это потому въ особенности важно, что позднѣйшіе утилитаристы, главнымъ образомъ Бентамъ, твердо вѣрили въ такъ называемую гармонію интересовъ, въ силу которой личное счастье, личное благо, личная добродѣтель совершенно совпадаютъ съ благомъ цѣлаго, и на этомъ именно совпаденіи основывали свою этику. Можетъ показаться, что и Мандевиль есть сторонникъ идеи гармоніи интересовъ, только въ нѣсколько своеобразной формѣ, а именно, онъ полагаетъ, что частные пороки, какъ и частная нищета, гармонически сливаются въ благополучіе цѣлаго. Еслибы г. Мальцевъ подробнѣе изложилъ басню о пчелахъ и примѣчанія къ ней, дѣло было бы яснѣе. Вотъ напримѣръ, что говоритъ, между прочимъ, Мандевиль: «Если рабочихъ надо предохранять отъ голодной смерти, то, съ другой стороны, они ничего не должны получать, что стоило бы сбереженія. Если кто-нибудь изъ низшихъ классовъ общества необыкновеннымъ прилежаніемъ и воздержаніемъ возвышается изъ того состоянія, въ которое былъ поставленъ, то этому никто не долженъ препятствовать: несомнѣнно, что каждому частному лицу, каждому отдѣльному семейству въ обществѣ всего благоразумнѣе быть бережливымъ, но интересъ всѣхъ богатыхъ націй требуетъ, чтобы бо́льшая часть бѣдныхъ никогда не оставалась безъ дѣла и чтобы они всегда проживали то, что они получаютъ... У тѣхъ, кто живетъ поденнымъ трудомъ, нѣтъ ничего, что бы подстрекало ихъ быть услужливыми, кромѣ ихъ нуждъ, смягчать которыя благоразумно, но удовлетворять вполнѣ было бы глупо. Единственная вещь, которая можетъ сдѣлать прилежнымъ рабочаго человѣка, это умѣренная рабочая плата. Слишкомъ малая дѣлаетъ его, смотря по характеру, малодушнымъ или повергаетъ въ отчаяніе, слишкомъ же большая—лѣнивымъ и безпечнымъ. Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что въ свободной націи, гдѣ рабство запрещено, самое вѣрное богатство заключается во множествѣ трудолюбивыхъ бѣдныхъ. Кромѣ того, что они образуютъ неисчерпаемый источникъ для пополненія арміи и флота, безъ нихъ не было бы наслажденій, и произведенія страны не могли бы пріобрѣтать стоимость. Чтобы сдѣлать общество счастливымъ, а народъ довольнымъ даже своимъ жалкимъ положеніемъ, необходимо, чтобы громадное большинство оставалось, какъ въ бѣдности, такъ и въ невѣжествѣ. Знаніе расширяетъ и умножаетъ наши желанія, а чѣмъ менѣе у человѣка желаній, тѣмъ легче будутъ удовлетворены его нужды».

По поводу этихъ именно словъ Мандевиля, Марксъ называетъ его «свѣтлой головой и честнымъ человѣкомъ». И какъ нельзя болѣе справедливо. Надо помнить, что басня о пчелахъ написана до систематизаціи экономическихъ явленій, предпринятой Адамомъ Смитомъ, который, хотя и относитъ въ своей «Теоріи нравственныхъ чувствъ» нравственное ученіе Мандевиля къ «системамъ легкомысленнымъ», но въ «Богатствѣ народовъ» многое заимствуетъ изъ басни о пчелахъ. Мандевиль дѣйствительно свѣтлая голова, потому что даже въ приведенной только выпискѣ заключается въ сжатомъ, такъ сказать, зародышевомъ видѣ значительная и притомъ одна изъ существеннѣйшихъ частей всей классической экономіи. Мандевиль дѣйствительно честный человѣкъ, потому что онъ не прибѣгаетъ ни къ какимъ архитектурнымъ украшеніямъ для приданія горькимъ жесткимъ результатамъ своего анализа изящнаго вида кондитерскаго печенія, на манеръ Бастіа и цѣлой фаланги позднѣйшихъ экономистовъ. Тоже и въ области морали. Если позднѣйшіе утилитаристы, въ особенности Бентамъ, увѣряли людей, а можетъ быть и самихъ себя (тутъ дѣло въ ихъ нравственныхъ и умственныхъ качествахъ), что, въ силу начала пользы, какъ субстрата всей и всякой нравственности, человѣкъ заботится и долженъ заботиться исключительно о себѣ, изъ чего само собою возникаетъ наивозможно большее счастье наивозможно большаго числа людей, то Мандевиль заранѣе приготовилъ рамку для разрушенія этой иллюзіи: если, по мнѣнію Бентама, быть нравственнымъ человѣкомъ самое легкое дѣло изъ всѣхъ человѣческихъ дѣлъ, то, по мнѣнію Мандевиля, та форма общежитія, которая достаточно рельефно обозначалась уже въ его время, требуетъ безнравственности, какъ необходимѣйшаго условія своего существованія. Разница опять-таки выходитъ слишкомъ большая, чтобы Мандевиля и Бентама можно было поставить безъ дальнихъ разговоровъ за одну скобку, хотя оба они сходятся на томъ положеніи, что первичное, присущее человѣческой природѣ свойство есть стремленіе къ личному счастью. Внимательно слѣдя за этою послѣднею стороною дѣла, г. Мальцевъ часто упускаетъ совсѣмъ изъ виду такія стороны, которыя, заслуживая неменьшаго вниманія сами по себѣ, отчасти навязываются ему его собственной задачей. Разъ человѣкъ взялся оцѣнить отношенія эгоизма къ утилитаризму и прослѣдить тотъ, по его мнѣнію, очень ровный путь, которымъ эгоизмъ первыхъ утилитаристовъ постепенно осложнялся общественнымъ моментомъ, отъ него можно требовать, чтобы онъ не валилъ въ одну кучу Аристиппа, Гоббса, Мандевиля и Бентама. Общественный моментъ занимаетъ въ системахъ этихъ четырехъ мыслителей совсѣмъ не однородную роль. Напротивъ, въ каждой изъ нихъ личный и общественный моменты комбинируются такъ рѣзко своеобразно, что немыслимо представить ихъ въ видѣ какихъ-то верстовыхъ столбовъ, ровно, однообразно отмѣчающихъ размѣръ пройденнаго пути.

Переходя къ новѣйшему времени и, останавливаясь на Спенсерѣ, котораго онъ совершенно справедливо признаетъ утилитаристомъ, г. Мальцевъ пользуется, между прочимъ, нѣкоторыми указаніями, сдѣланными кое-гдѣ въ нашей журналистикѣ. Передаетъ онъ ихъ такъ.

«Стóитъ только вникнуть, въ чемъ состоитъ «прогрессъ» по опредѣленію Спенсера, какъ представителя эволюціонной теоріи, и въ чемъ онъ состоитъ по опредѣленію Спенсера же, стоящаго на точкѣ зрѣнія утилитаризма, чтобы видѣть, что между этими двумя теоріями не только не существуетъ никакой аналогіи, но что онѣ совершенно враждебны одна другой. То дифференцированіе общества, та разнородность функцій, въ которыхъ Спенсеръ полагаетъ общественный прогрессъ и совершенствованіе, отнюдь не совпадаютъ съ увеличеніемъ индивидуальнаго счастья, составляющаго идеалъ и исключительную цѣль прогресса, понимаемаго утилитарной школой. Развитіе *общества*, происходящее по типу развитія органическаго, то-есть путемъ перехода отъ простого и одчороднаго къ сложному и разнородному, путемъ послѣдовательныхъ дифференцированій, сталкивается враждебно съ развитіемъ *личности*. совершающимся по тому же закону, и влечетъ за собой необходимо сокращеніе суммы индивидуальнаго счастья. Всякій разъ, когда общество испытываетъ рядъ измѣненій, подобныхъ измѣненіямъ развивающагося организма, входящія въ составъ его недѣлимыя измѣняются по направленію, какъ разъ противоположному. Чѣмъ болѣе осуществляется дефференцированіе органическихъ, общественныхъ функцій, тѣмъ бóльшей достигаютъ онѣ разнородности и усовершенствованія, тѣмъ пропорціонально этому, очевидно, больше уменьшаются разнообразіе и сложность жизни каждаго индивидуальнаго члена такого спеціализирующаго въ своихъ функціяхъ общества, тѣмъ уже и монотоннѣе становится жизнь этого члена, а, становясь же и монотоннѣе, она становится, очевидно, и менѣе счастливою. Въ самыхъ совершенныхъ обществахъ, гдѣ каждая функція спеціализировалась до nec plus ultra, личность низводится на степень простого подчиненнаго органа, изъ самостоятельнаго цѣлаго превращается въ часть, въ атомъ, неза-

мѣтно стираясь и исчезая въ общей массѣ».

Эта аргументація, за воспроизведеніе которой мы можемъ, конечно, только благодарить г. Мальцева, въ данномъ случаѣ доказываетъ или слишкомъ много, или слишкомъ мало. Утилитаризмъ и эгоизмъ, какъ справедливо понимаетъ г. Мальцевъ, двѣ вещи разныя, хотя въ нѣкоторыхъ частныхъ случаяхъ они и могутъ совпадать. Утилитаризмъ есть система, полагающая основой нравственности пользу, но при этомъ вопросъ: чью пользу?—остается совершенно открытымъ. Это, можетъ быть, польза личности, но, можетъ быть, и польза сословія, государства, націи, польза единицы безформенной и чисто-абстрактной, зоологическаго вида, наконецъ, сложная комбинація пользы личности, какъ цѣли, и пользы государства, какъ средства, причемъ (какъ у Гоббса) тощія коровы могутъ пожрать тучныхъ, то-есть средство поглотитъ цѣль. Ни одной изъ нравственныхъ системъ, построенныхъ на подобныхъ основаніяхъ, нельзя будетъ отказать въ названіи системы утилитарной. Можно только требовать, чтобы каждая изъ нихъ строго держалась разъ принятаго отвѣта на вопросъ: «чья польза?»; чтобы, значитъ, напримѣръ, система эгоистической нравственности не выпускала ни на минуту изъ рукъ своего знамени и съ безповоротною послѣдовательностью клала къ ногамъ личности пользу и націи, и государства, и вида, и всякой другой единицы, если между ними и пользою личности произойдетъ столкновеніе. Точно также, разумѣется, и всякая другая утилитарная система, жертвующая пользою личности для пользы лица юридическаго или абстрактной единицы. Только тогда устранится то смѣшеніе языковъ относительно утилитаризма, которое господствуетъ теперь.

Поэтому едва-ли г. Мальцевъ имѣетъ право упрекать Спенсера въ томъ, что тотъ въ своей теоріи прогресса противорѣчитъ «идеалу и исключительной цѣли прогресса, понимаемыхъ утилитарною школою», то-есть индивидуальному счастью. Вполнѣ мыслима утилитарная система, которая, оставаясь утилитарною, требуетъ ломки индивидуальнаго счастья. Еслибы г. Мальцевъ обратилъ больше вниманія на ученія многихъ экономистовъ и на дарвинизмъ (о первомъ изъ этихъ несомнѣнныхъ отроговъ утилитаризма, иногда принимающихъ видъ прямо трактатовъ о нравственности, г. Мальцевъ не говоритъ совсѣмъ, а о второмъ только вскользь), онъ несомнѣнно взялъ бы свой упрекъ Спенсеру назадъ. Еслибы онъ, напримѣръ, по поводу басни о пчелахъ Мандевиля припомнилъ хоть извѣстное изреченіе Дарвина, что мы должны восхищаться злобой пчелиной матки, потому что она полезна для строя пчелинаго улья, то онъ имѣлъ бы очень наглядный случай утилитаризма, построеннаго на убитомъ индивидуальномъ счастьи и на индивидуальномъ зломъ чувствѣ. Зато г. Мальцевъ имѣлъ бы полное право сдѣлать съ гораздо даже большею рѣзкостью, чѣмъ онъ дѣлаетъ, другой упрекъ Спенсеру. Дѣйствительно, не смотря на кажущуюся ясность и единство взгляда на всѣ явленія міра видимаго и невидимаго, Спенсеръ больше, чѣмъ кто-нибудь изъ выдающихся умовъ, грѣшитъ невыдержанностью разъ принятой точки зрѣнія. Онъ просто игнорируетъ указанное выше враждебное столкновеніе личнаго и общественнаго совершенствованія, не обинуясь, называя и то, и другое совершенствованіемъ и, съ удивительнымъ для такого ума легкомысліемъ перепархивая съ точки зрѣнія личнаго утилитаризма, личной пользы на точку зрѣнія пользы «системы наибольшаго производства» или вообще той или другой формы общежитія. То же самое можно сказать и о дарвинизмѣ, съ тою разницей, что дарвинисты бываютъ всякіе, умные и глупые, а законченнаго нравственнаго ученія, опирающагося на дарвинизмъ, пока еще нѣтъ; значитъ, нѣтъ ничего удивительнаго, если мы тутъ встрѣчаемъ цѣлую массу противорѣчій.

Итакъ, аргументація, приводимая г. Мальцевымъ для уясненія внутренняго противорѣчія доктрины Спенсера, доказываетъ слишкомъ мало: жертвуя личнымъ благомъ для блага цѣлаго, Спенсеръ еще не становится въ противорѣчіе съ утилитаризмомъ. Но съ другой стороны аргументація эта доказываетъ въ настоящемъ случаѣ, пожалуй, и слишкомъ много. Вѣрнѣе сказать, она требуетъ слишкомъ много отъ самого г. Мальцева. Если отношенія между личнымъ благомъ и благомъ господствующихъ формъ общественнаго цѣлаго дѣйствительно таковы, какими они освѣщаются этою аргументаціей, и какъ ихъ наглядно изобразилъ хоть тотъ же Мандевиль, то критикъ утилитаризма необходимо долженъ произвести имъ тщательную оцѣнку за свой собственный счетъ. Полученная въ результатѣ этого анализа точка зрѣнія будетъ его руководительницей по всей исторіи утилитаризма и самостоятельно освѣтитъ для него такія важныя стороны различныхъ утилитарныхъ системъ, которыя нынѣ оставлены г. Мальцевымъ почти безъ вниманія. Правда, онъ можетъ возразить, что законъ развитія, «эволюціи», лежащій въ основаніи теоріи прогресса Спенсера, онъ, г. Мальцевъ, допускаетъ только условно, чтобы показать, что даже и въ такомъ случаѣ Спенсеръ неправъ.

Самъ же онъ полагаетъ этотъ законъ недостаточно доказаннымъ вообще и въ приложеніи къ нравственной области въ особенности. Однако это, собственно говоря, вовсе не возраженіе, ибо Мандевиль, не зная закона развитія, тѣмъ не менѣе изъ простого анализа текущей дѣйствительности вывелъ противорѣчіе личнаго блага и блага общественнаго цѣлаго. А со временъ Мандевиля цѣлый рядъ писателей по предмету политической экономіи подтвердилъ и развилъ его анализъ. Г. Мальцевъ не воспользовался этими результатами умственной работы, такъ близко соприкасающейся съ предметомъ его изслѣдованія. Этимъ онъ лишилъ себя не только одной изъ общихъ руководящихъ нитей, но и возможности правильно отнестись ко многимъ частнымъ вопросамъ.

Подобно всѣмъ критикамъ утилитаризма, г. Мальцевъ естественно наталкивается на вопросъ: какимъ образомъ полезное превращается въ нравственно-обязательное и справедливое? На каждомъ шагу мы видимъ, что эти двѣ категоріи отнюдь не совпадаютъ. Сплошь и рядомъ понятія о справедливости и честности совсѣмъ не мирятся съ понятіями о выгодѣ, пользѣ или удовольствіи. Утилитаристы, разумѣется новѣйшіе, имѣютъ очень благовидныя объясненія этого таинственнаго перехода полезнаго въ нравственно-обязательное. Г. Мальцевъ этими объясненіями недоволенъ. Почему онъ недоволенъ и какъ критикуетъ, правильно или неправильно, это для цѣли нашей замѣтки довольно безразлично. Вѣрно то, что объясненія утилитаристовъ по малой мѣрѣ неполны, именно потому, что въ нихъ никогда почти не вводится элементъ противорѣчія личнаго блага и блага общественнаго цѣлаго и не обращается строго-выдержаннаго вниманія на отвѣтъ на вопросъ: *чья* польза? Однако кое-что въ этомъ отношеніи поучительное все-таки есть. Для примѣра возьмемъ Бэна.

По мнѣнію этого писателя, первичный источникъ нравственнаго чувства составляютъ благоразуміе и симпатія, вспомоществуемыя нѣкоторыми «нѣжными эмоціями». Но затѣмъ законъ и общество направляютъ всѣ естественные импульсы къ добру «по искусственному руслу». Власть, законъ, общество, вооруженные наказаніемъ съ одной стороны и наградой съ другой, ассоціируютъ въ умѣ личности представленія о добромъ съ тѣмъ, что награждается, а представленіе о зломъ съ тѣмъ, что наказывается. При продолжительномъ и постоянномъ дѣйствіи такой ассоціаціи идей, дѣло доходитъ, наконецъ, до того, что личная совѣсть становится какъ бы «fac simile самого закона или правленія, подъ которымъ мы живемъ». Теперешняя нравственность не есть ни благоразуміе, ни симпатія въ ихъ примитивныхъ и свободныхъ проявленіяхъ, а систематическое узаконеніе, кодификація этихъ благоразумныхъ и благожелательныхъ дѣйствій, которыя сдѣлались теперь обязательными черезъ санкцію наказанія. Теперь образовался вслѣдствіе этого совершенно отдѣльный мотивъ, созданный человѣческимъ обществомъ искусственно, но сдѣлавшійся затѣмъ столь обычнымъ для каждаго члена общества, какъ вторая природа. Ни одинъ человѣкъ не опредѣляется теперь къ проявленіямъ благоразумія или симпатіи по ихъ собственнымъ чистымъ мотивамъ, но болѣе всего и прежде всего руководится ассоціированной съ ними санкціей обязательности. Однако формы нравственнаго чувства подлежатъ еще и дальнѣйшему развитію. Подобно тому, какъ ученикъ, начинающій свое развитіе усвоеніемъ взглядовъ учителя и даже внѣшнихъ его пріемовъ, впослѣдствіи, съ расширеніемъ круга знаній и степени наблюдательности, уже далеко не все, передаваемое ему, беретъ на слово, а подвергаетъ оцѣнкѣ, въ одномъ сомнѣвается, другое находитъ прямо несостоятельнымъ и отрицаетъ; такъ и форма нравственнаго чувства, начавшаяся съ покорности авторитету, становится на совершенно независимую точку опоры и кончаетъ нерѣдко противорѣчіемъ прежнему авторитету. Ассоціація между добромъ и наградой, зломъ и наказаніемъ разслабляется, расшатывается. Вырабатывается «независимая или самообразовавшаяся» совѣсть, которая можетъ побудить сознательно отречься отъ величайшей награды и одобренія и сознательно пожертвовать жизнью.

Мы передаемъ, разумѣется, только въ самыхъ общихъ и бѣглыхъ чертахъ мысли Бэна. Подвергая ихъ критикѣ, г. Мальцевъ замѣчаетъ, между прочимъ, что законодательства Будды, Конфуція, Солона, Ликурга, Магомета, на которыя ссылается Бэнъ, какъ на прототипы, по которымъ образуется совѣсть послѣдователя Будды, Конфуція, Магомета и проч., эти законодательства, какъ и всѣ другія, вовсе не суть всецѣло произведенія ума одного какого-либо законодателя. Законодатель всегда самъ вырастаетъ на извѣстной почвѣ и въ ней же находитъ уже готовыми вѣками воспитанныя формы нравственнаго сознанія и велѣнія индивидуальной совѣсти. «Законы сами суть результатъ и продуктъ индувидуальныхъ совѣстей, но никакъ не причинъ ихъ», говоритъ г. Мальцевъ. Это, конечно, поправка, требующая однако сама нѣкоторой поправки. Когда г. Мальцевъ говоритъ, что законодательства Солона, Ликурга сами представляютъ только «сборники древнихъ іонійскихъ

и дорійскихъ институтовъ», а Конфуцій есть «послѣдователь и собиратель древнихъ преданій, имѣвшихъ священный характеръ и пользовавшихся уваженіемъ въ Китаѣ», то Бэнъ могъ бы ему возразить, что это не измѣняетъ рѣшенія вопроса, а только отодвигаетъ его назадъ. Это значитъ только, что соображенія Бэна должны быть приложены къ болѣе древнимъ юридическимъ нормамъ и религіознымъ постановленіямъ. Затѣмъ совершенно возможно, что юридическая норма или религіозное постановленіе, совершенно чуждыя личной совѣсти членовъ даннаго общества, тѣмъ не менѣе вводятся, сначала, разумѣется, выдерживая борьбу, встрѣчая препятствія, а по прошествіи нѣкотораго времени, не встрѣчая уже ничего, кромѣ покорности и даже энтузіазма. Въ концѣ-концовъ, г. Мальцевъ не можетъ не признать, что власть, законъ, общественныя учрежденія, давя на личную совѣсть всею своею силою, вооруженною наказаніемъ и наградою, должны оказывать весьма значительное, по крайней мѣрѣ, вторичное вліяніе на формы нравственнаго чувства. Какъ бы ни было, напримѣръ, крѣпостное право подготовлено въ личныхъ совѣстяхъ рабовъ и господъ, оно было, во-первыхъ, подготовлено все-таки формами общественныхъ отношеній, во-вторыхъ, было навязано рабамъ силою, а въ-третьихъ такъ опутало съ теченіемъ времени личную совѣсть обѣихъ сторонъ, что владѣть людьми, какъ вещью, и покоряться людямъ, какъ господамъ, не представлялось дѣломъ безнравственнымъ для огромнаго большинства. Въ концѣ концовъ, вопросъ о причинномъ отношеніи индивидуальной совѣсти къ давленію закона и общественныхъ учрежденій, какъ его ставитъ г. Мальцевъ, нѣсколько напоминаетъ споръ объ томъ, что явилось раньше на свѣтъ, что составляетъ причину и что составляетъ слѣдствіе: курица или яйцо? Курица развивается не иначе, какъ изъ яйца, а яйцо непремѣнно несется курицей. Въ этомъ заколдованномъ кругѣ мы будемъ безплодно вертѣться до тѣхъ поръ, пока не признаемъ, что и курица, и яйцо составляютъ продуктъ длиннаго процесса органическаго развитія. Такъ и въ настоящемъ случаѣ. Нынѣшняя, данная индивидуальная совѣсть есть отчасти продуктъ формъ общежитія, а формы общежитія составляютъ отчасти продуктъ нравственнаго сознанія членовъ общества. Выходъ изъ этого логическаго круга заключается въ томъ, что и данная личная совѣсть, и данныя общественныя учрежденія, и ихъ взаимныя, враждебныя или мирныя отношенія составляютъ продуктъ длиннаго процесса борьбы различныхъ формъ общежитія между собою и съ личностью. Для утилитариста слѣдовательно дѣло опять-таки сводится къ отвѣту на вопросъ: чья польза? А для историка и критика утилитаризма объявляется новая точка зрѣнія, на столько возвышенная, что съ нея, какъ съ вершины высокой горы, открываются во всѣ стороны далекія перспективы. При этомъ, оцѣняя ту или другую утилитарную систему, онъ долженъ будетъ сводить на очную ставку заключающіеся въ ней личный и общественный моменты и путемъ разложенія общественнаго момента на его составныя части опредѣлять практическій характеръ системы.

Какъ уже сказано въ началѣ статьи, мы вовсе не имѣли въ виду всего содержанія книги г. Мальцева. Мы намѣренно оставили въ сторонѣ не только его положительные идеалы, но и преимущественно занимающій автора вопросъ о происхожденіи нравственности. Разрастаются ли нравственныя понятія изъ опыта и личнаго стремленія къ счастію, или въ насъ съизначала вложено сѣмя древа познанія добра и зла—выше сдѣланныя замѣчанія о задачахъ исторіи и критики утилитаризма остаются, кажется, въ своей силѣ. Но само собою разумѣется, что этимъ не устраняется для критика и историка утилитаризма вопросъ о происхожденіи нравственности. Мы оставили этотъ вопросъ въ сторонѣ во-первыхъ, удобства и краткости ради, а во-вторыхъ, потому, что г. Мальцевъ не даетъ ничего въ этомъ смыслѣ новаго и оригинальнаго. По этому поводу мнѣ хочется прибавить только нѣсколько словъ.

Обыкновенно думаютъ, что приписывая нравственнымъ понятіямъ опытное происхожденіе, мы тѣмъ самымъ унижаемъ, грязнимъ нравственность. Наоборотъ, усваивая нравственности интуитивное происхожденіе, то есть собственно говоря отрицая всякое происхожденіе, мы, гласитъ общепринятое мнѣніе, ставимъ нравственность на высокій и прекрасный пьедесталъ. Странный взглядъ! Очень ужъ онъ низко цѣнитъ многовѣковой трудъ всего человѣчества, многовѣковую работу мысли и совѣсти, безконечную цѣпь страданій и наслажденій человѣческихъ, цѣлыя моря крови и слезъ... Всего этого будто бы мало для созданія нравственности! Г. Мальцевъ не совсѣмъ повидимому раздѣляетъ этотъ взглядъ. Онъ думаетъ, что системы нравственности, полагающія основу нравственныхъ понятій въ комбинаціи личнаго и наслѣдственнаго опыта, поднимаются иногда до чрезвычайно высокихъ идеаловъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ утверждаетъ, что эти высокіе идеалы суть, собственно говоря, логически незаконнорожденныя дѣти утилитаризма и другихъ по существу болѣе высокихъ интуитивныхъ нравственныхъ ученій. Эти идеалы противорѣчатъ самой природѣ и внут-

реннему смыслу утилитаризма: его представители, имѣя лучшее сердце, чѣмъ голову, храня въ душѣ своей всѣмъ съизначала розданное сѣмя древа познанія добра и зла, воруютъ жемчугъ и алмазы у другихъ нравственныхъ системъ и на живую нитку нашиваютъ ихъ на грубую ткань своего собственнаго ученія. Не будемъ спорить. Просто посмотримъ лучше на какомъ-нибудь конкретномъ примѣрѣ, какъ судятъ и рядятъ о житейскихъ дѣлахъ самостоятельные носители высокихъ идеаловъ, какъ напримѣръ, самъ г. Мальцевъ.

Г. Мальцевъ не довольствуется сухими, отвлеченными формулами морали и чисто логическимъ ихъ обоснованіемъ и таковою же критикою. Онъ иллюстрируетъ время отъ времени свое изложеніе драматическими эпизодами жизни. Это придаетъ, конечно, извѣстную живость и привлекательность изложенію, но нельзя, къ сожалѣнію, сказать, чтобы выборъ и оцѣнка драматическихъ эпизодовъ были у него всегда удачны. Прежде всего, разъ они допущены, ихъ въ книгѣ г. Мальцева слишкомъ мало, и страдаютъ они вдобавокъ случайностью: такъ, неизвѣстно почему выхваченъ изъ жизни одинъ, а пропущены сотни. Но возьмемъ изъ того, что есть.

Герой романа г. Достоевскаго «Преступленіе и наказаніе», Раскольниковъ очень занимаетъ нашего автора. «Рѣшаясь,—говоритъ г. Мальцевъ,—на убійство старухи закладчицы, пользующейся страданіями ближнихъ, высасывающей ихъ послѣдніе соки и, наконецъ, берущей съ него самого—находящагося наканунѣ голодной смерти, проценты за мѣсяцъ впередъ на закладываемые имъ за полтора рубля послѣдніе отцовскіе часы, Раскольниковъ съ точки зрѣнія утилитарной былъ бы безъ сомнѣнія совершенно правъ. Въ его воспріимчивой душѣ возбуждаются съ одной стороны картины глубокихъ несчастій весьма многихъ людей, несчастій, имѣвшихъ своей причиной ростовщичество этой старухи, паука въ человѣческомъ образѣ, какъ весьма мѣтко называетъ ее одинъ критикъ; съ другой, ему представляется полная возможность, положивши конецъ существованію этого, какъ ему кажется, самаго вреднаго члена общества, осчастливить всю ту массу бѣдняковъ, слезы которыхъ чуялись ему въ хищническихъ деньгахъ старухи». Разбирая затѣмъ душевное состояніе Раскольникова, г. Мальцевъ останавливается на фразѣ романиста: «при всемъ сознаніи неумолимаго долга убить старуху, Раскольникову хочется уклониться отъ исполненія этого долга». При этомъ г. Мальцевъ слово *долгъ* подчеркиваетъ и прибавляетъ вопросительный знакъ. Въ концѣ концовъ, онъ рѣшаетъ, что поступокъ Раскольникова «могъ бы найти себѣ нѣкоторое оправданіе въ криминальномъ кодексѣ утилитаризма». Ну, едва ли! Бентамъ, напримѣръ, строгій защитникъ всякой, добытой законными средствами собственности, не погладилъ бы по головкѣ Раскольникова. Тотъ же Бентамъ, при помощи своей «моральной ариѳметики», доказалъ бы, что Раскольниковъ плохо разсчиталъ, потому что съ убійствомъ старухи-закладчицы весьма мало измѣненій произойдетъ подъ луной. Какъ бы однако ни было, взяли ли бы утилитаристы подъ свою защиту героя «Преступленія и наказанія» или нѣтъ, но они навѣрное откажутъ въ своемъ одобреніи другому преступнику, котораго, вѣроятно по недоразумѣнію, беретъ подъ свою защиту нашъ авторъ.

Въ 1878 году въ маѣ въ газетахъ было напечатано слѣдующее извѣстіе. 9-лѣтній мальчикъ, «глубоко оскорбленный неуваженіемъ со стороны матери къ памяти его отца, послѣ неоднократныхъ упрековъ, рѣшается на самое ужасное преступленіе—на убійство матери. Съ этою цѣлью онъ собственноручно вырываетъ въ погребѣ яму, намѣреваясь скрыть въ ней впослѣдствіи трупъ матери. Въ одну изъ ночей, когда мать его спитъ, онъ беретъ топоръ, приближается къ постели, но не вполнѣ увѣренный въ крѣпкомъ снѣ жертвы, остается ждать. Слабые нервы ребенка однако же не выдерживаютъ такого напряженія, и онъ засыпаетъ. Но съ пробужденіемъ въ немъ все-таки не исчезаетъ идея неудовлетвореннаго чувства справедливости. На слѣдующую ночь онъ снова подходитъ къ крѣпко спящей матери и на этотъ разъ ударомъ топора убиваетъ ее съ разу».

По этому возмущающему душу поводу г. Мальцевъ уже не подчеркиваетъ иронически слова *справедливость* или *долгъ* и не ставитъ при нихъ вопросительнаго знака. Напротивъ, отъ иронiи онъ переходитъ къ паѳосу. Онъ спрашиваетъ: «Найдется ли въ этомъ преступленіи, мотивированномъ такою высоко ревоспроизведенною идеею справедливости, хотя какая-либо іота утилитарной подкладки? Какимъ образомъ могли входить сюда и реагировать хотя бы отдаленныя соображенія полезности? Вопросъ этотъ остается безотвѣтнымъ со стороны утилитарной доктрины и это потому, что она не удѣляетъ особаго, самостоятельнаго мѣста идеѣ справедливости, стараясь урѣзать ея истинное значеніе, свести все содержаніе ея къ тому же принципу пользы или общаго счастья. Недаромъ Кантъ, пораженный высотою и, такъ сказать, неподкупностью нравственныхъ требованій, восклицалъ: «Чувство долга! чудное понятіе, дѣйствующее на душу не посредствомъ увлекательныхъ доводовъ лести или угрозъ...» и т. д., и т. д.

И подумаешь, что всѣ эти прекрасныя слова, и паосъ Канта, и «долгъ», и «справедливость» тратятся по тому поводу, что девятилѣтній щенокъ осмѣлился судить и казнить вольнаго человѣка за вольное чувство, за безобидное счастье, за жизнь, за «неуваженіе» къ трупу! Г. Мальцевъ вызываетъ по этому случаю на бой утилитаристовъ, доказывая, что у нихъ не найдется отвѣта на его вопросъ о поступкѣ паршиваго щенка. Онъ забываетъ, что съ точки зрѣнія утилитаризма, какъ и со всякой другой, есть не только добрыя, а и злыя дѣла, не только справедливость, а и мерзость, и что съ ихъ точки зрѣнія безполезность очень часто совпадаетъ съ мерзостью. А что восхищающее его событіе есть дѣйствительно нѣчто возмутительное, это такъ ясно, что даже доказывать трудно. Одно развѣ могу привести доказательство. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, г. Болеславъ Маркевичъ написалъ романъ (не помню заглавія), въ которомъ идеализировалъ подобный же судъ подобнаго же щенка надъ матерью. Болеславъ Маркевичъ, какъ самостоятельный носитель высокихъ идеаловъ нравственности! Тотъ самый г. Маркевичъ, который еще недавно рѣшительно пристыдилъ г. Тургенева, публично заявивъ, что вѣдь, дескать, вы меня другомъ называли!

Да не приметъ, впрочемъ, этого въ обиду г. Мальцевъ...

ЗАПИСКИ ПРОФАНА.

I *).

О демократизмѣ естественныхъ наукъ.

Бѣда, коль пироги начнетъ печи сапожникъ!—такъ заключилъ 19 октября прошлаго года г. Евтушевскій свой докладъ педагогическому обществу объ «Азбукѣ» и статьѣ «О народномъ образованіи» гр. Толстаго. Сапожникъ, на бѣду взявшійся печи пироги, есть гр. Л. Н. Толстой, человѣкъ, двадцать лѣтъ теоретически и практически занимавшійся педагогическимъ дѣломъ. Кто же послѣ этого не сапожникъ?—И гдѣ основанія для того, чтобы признать самого г. Евтушевскаго пирожникомъ? Мнѣ было бы очень важно получить отвѣтъ на эти вопросы, потому что если гр. Толстой есть,—продолжая метафору г. Евтушевскаго, — дѣйствительно сапожникъ, то что же такое я, собирающійся бесѣдовать съ читателями «Отечественныхъ Записокъ» о произведенной статьей гр. Толстого бурѣ? Т. е. я, пожалуй, знаю, что такое я: профанъ, съ педагогикой совершенно незнакомый и даже только статьей гр. Толстаго натолкнутый на нѣкоторый интересъ къ педагогическимъ вопросамъ. Но въ этомъ-то и дѣло. Какое право имѣю я, профанъ, судить объ этихъ вещахъ, когда даже сужденія человѣка, много лѣтъ занимавшагося дѣломъ обученія и воспитанія, оказываются пирогомъ, испеченнымъ руками къ совсѣмъ иному ремеслу привычнаго сапожника? Смотря на свою писательскую дѣятельность совершенно серьезно, я бы счелъ своею обязанностью отказаться отъ своего намѣренія, еслибы мнѣ кто-нибудь доказалъ, что въ качествѣ профана я не имѣю права вмѣшиваться въ «споръ славянъ между собою». Но, прочитавъ все написанное и сказанное въ послѣдней педагогической распрѣ, я убѣдился, что это мнѣ не можетъ быть доказано. Мало того. Возьмемъ хоть цитату г. Евтушевскаго изъ басни Крылова. Еслибы мы, профаны, не могли имѣть свое сужденіе имѣть и должны были совершенно полагаться на мнѣнія спеціалистовъ, то мы должны положиться и на мнѣнія гр. Толстаго. Онъ спеціалистъ, онъ двадцать лѣтъ педагогіей занимается. Для профана, не смѣющаго имѣть свое сужденіе, это вѣдь единственный объективный признакъ спеціалиста, человѣка, которому надо вѣрить. Если этого признака недостаточно по отношенію къ гр. Толстому, то его недостаточно и по отношенію къ г. Евтушевскому. Поэтому, провозглашая гр. Толстаго сапожникомъ, г. Евтушевскій тѣмъ самымъ говоритъ намъ, профанамъ: господа! не вѣрьте педагогамъ спеціалистамъ на слово;

*) 1875, январь.

не смотря на многолѣтнія занятія своимъ дѣломъ, они могутъ оказаться въ немъ совершенными невѣждами; приглашаю васъ собственными силами убѣдиться въ справедливости моихъ возраженій гр. Толстому. Г. Евтушевскій отворяетъ профанамъ дверь настежь, и я въ нее вхожу.

Да и еще бы меня въ нее не пустили! Вѣдь *нашихъ* дѣтей, дѣтей профановъ обучаютъ и воспитываютъ господа педагоги, и еслибы не было на свѣтѣ профановъ, то господамъ педагогамъ пришлось бы закрыть лавочку, потому что каждый сидѣлъ бы подъ смоковницей своей и самъ обучалъ бы своихъ дѣтей. Имѣемъ же мы, значитъ, право гребовать у нихъ отчета, обязаны они выслушать нашъ голосъ, хотя бы потому только, что мы живемъ и хотимъ жить. Въ концѣ концовъ, вѣдь они *намъ* взялись служить, *наши* нужды удовлетворять. Изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, что мы тунеядцы, а господа педагоги наши благодѣтели. Мы благодарны имъ, но и они должны быть намъ благодарны, потому что между нами происходитъ извѣстный обмѣнъ услугъ. Трудомъ профановъ складываются всевозможныя удобства жизни педагоговъ и даже самое ихъ знаніе и искусство. Безъ сомнѣнія, между профанами въ педагогіи, т. е. людьми, не посвященными въ ея тайны, есть и тунеядцы; но, хотя это, можетъ быть, и лучшіе кліенты педагоговъ (едва ли, впрочемъ: сотни тысячъ экземпляровъ всякихъ задачниковъ и руководствъ обученія грамотѣ не по тунеядцамъ разошлись), мнѣ нѣтъ дѣла до ихъ взаимныхъ отношеній, — пускай вѣдаются, какъ знаютъ. Я имѣю въ виду профановъ, трудомъ оплачивающихъ услуги педагоговъ, т. е. народъ, не простонародье только и не націю, а именно народъ. Съ этой точки зрѣнія я всѣ свои записки буду вести, съ нея же и педагогическую распрю трактовать. Поэтому ее надо нѣсколько пояснить. Недавно я видѣлъ одного народолюбца, который хвастался своей близостью съ мужикомъ—конокрадомъ по профессіи, т. е. едвали не самымъ ненавистнымъ врагомъ мужика-работника, мужика-народа. Довольно часто было писано и говорено, что г. Губонинъ, въ качествѣ бывшаго крѣпостного крестьянина, есть народъ. О совершенной нелѣпости подобныхъ воззрѣній я говорилъ неоднократно и теперь позволяю себѣ просто сослаться на «Литературныя и журнальныя замѣтки» конца 1872 и начала 1873 года. Тамъ было выражено, что народъ есть совокупность трудящихся классовъ общества. Потому педагоги, въ качествѣ работниковъ, суть также народъ, какъ и плотники, химики, литераторы, пастухи. Всѣ эти люди трудомъ зарабатываютъ хлѣбъ свой, слѣдовательно что-нибудь знаютъ, иначе они сидѣли бы безъ работы. Но въ то же время они профаны относительно извѣстныхъ областей знанія. И педагогъ есть въ свою очередь профанъ по отношенію къ сферѣ дѣятельности плотника, химика, литератора, пастуха. Формальнаго договора о взаимности услугъ между всѣми этими людьми не было и быть не могло. Но тѣмъ не менѣе, само собой, въ силу такъ называемаго закона раздѣленія труда вышло, что они взаимно оплачиваютъ трудъ трудомъ и знаніе знаніемъ. Это незамѣтно, объ этомъ нужно говорить только въ силу крайней сложности всей организаціи. Прямой, непосредственный обмѣнъ услугъ между представителями различныхъ профессій составляетъ исключеніе, но вѣдь все-таки педагогъ употребляетъ молоко, масло, творогъ, мясо, шерсть, кожу тѣхъ самыхъ стадъ, которыя пасетъ пастухъ. Я говорю пока вещи совершенно избитыя, даже слишкомъ избитыя, фигурирующія на первыхъ страницахъ любого курса политической экономіи. Поправки, требуемыя этими слишкомъ избитыми положеніями, будутъ въ свое время представлены. А теперь мнѣ нужно выяснить только свою точку зрѣнія, отнюдь, какъ я думаю, не избитую, и притомъ пока именно только выяснить,—оправданіе ея тоже впослѣдствіи. Итакъ, каждый членъ данной совокупности трудящихся классовъ общества или даннаго народа есть въ одно и то же время и свѣдущій работникъ, и профанъ во всѣхъ сферахъ дѣятельности, кромѣ собственной. При существующемъ порядкѣ вещей, онъ, какъ свѣдущій работникъ, только въ исключительныхъ случаяхъ работаетъ на самого себя, т. е. учитъ своихъ дѣтей самъ, пасетъ своихъ коровъ самъ, шьетъ себѣ сапоги самъ, и т. д.; въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ онъ исполняетъ заказы профановъ. А въ качествѣ профана онъ наоборотъ самъ даетъ заказы свѣдущимъ работникамъ. Нѣтъ никакой надобности, чтобы эти заказы были выражены въ той совершенно опредѣленной формѣ, въ какой вы заказываете портному платье и сапожнику сапоги. При сложности общественной организаціи заказъ большею частью подразумѣвается и не имѣетъ опредѣленнаго характера прямо личныхъ отношеній. По разнымъ обстоятельствамъ я не имѣю ни времени, ни способности, ни охоты воспитывать своихъ дѣтей. Съ другой стороны я, какъ одинъ изъ числа оплачивающихъ своимъ трудомъ существованіе спеціалистовъ педагоговъ, имѣю право требовать, чтобы они занялись не сподручнымъ мнѣ дѣломъ воспитанія. Но мнѣ этого и требовать не нужно, потому что педагоги, самымъ своимъ существованіемъ, какъ свѣ-

дущихъ работниковъ, исполняютъ мой не выраженный заказъ; не мой лично разумѣется и не того или другого профана въ частности (частныя сдѣлки родителей съ учителями, гувернерами и пр., — совсѣмъ другое дѣло), а не выраженный заказъ профановъ вообще. А если такъ, то право контроля профановъ надъ трудами спеціалистовъ сомнѣнію подлежать не можетъ. Вопросъ только въ возможности контроля. Какъ можетъ профанъ, съ позволенія читателя, лѣзть съ суконнымъ рыломъ въ калачный рядъ? Какъ можетъ онъ, человѣкъ не свѣдущій, требовать отчета у людей свѣдущихъ, какъ можетъ онъ ихъ учесть? Но чортъ вообще вовсе не такъ страшенъ, какъ его малюютъ. Когда вы примѣриваете сапоги, то не сапожника, а ваше дѣло рѣшать, жмутъ ли вамъ сапоги ноги или нѣтъ. Сапожникъ можетъ, руководствуясь извѣстными объективными признаками, расположеніемъ морщинъ кожи и т. п., приблизиться къ пониманію испытываемой вами боли, но рѣшающій голосъ принадлежитъ все-таки вамъ, а не ему. И, конечно, вы не повѣрите виртуозу-сапожнику, который даже совершенно искренно и вполнѣ ученымъ образомъ сталъ бы вамъ доказывать, что сапогъ, причиняющій вамъ боль, превосходенъ. Это разъ. Во-вторыхъ, профанъ вовсе не значитъ невѣжда. Всѣ человѣческія знанія извѣстнымъ образомъ соприкасаются, переплетаются и разница только въ *степени* замкнутости извѣстной области труда и знанія. Это особенно очевидно во всѣхъ прикладныхъ отрасляхъ науки. Такіе профаны, скажемъ, въ агрономіи, какъ химикъ или ботаникъ, безъ сомнѣнія имѣютъ право быть выслушанными и въ сельско-хозяйственныхъ вопросахъ. Но не говоря уже объ этомъ, всѣ профаны, будучи въ то же время работниками (повторяю, я только такихъ профановъ и имѣю въ виду), должны выработать извѣстные общіе всякому знанію и труду пріемы мысли. Надъ какимъ бы матеріаломъ ни работалъ человѣкъ, хоть бы онъ доски строгалъ, самый процессъ труда не можетъ не отозваться на выработкѣ привычки къ логическому мышленію. И если есть такіе виды труда, которые даже извращаютъ логическую способность (объ этомъ потомъ), то есть и такіе, которые доводятъ ее до болѣе или менѣе высокой степени развитія. Поэтому, если я, профанъ, не могу оцѣнить матеріальную сторону изслѣдованія какого-нибудь спеціалиста, если я даже, положимъ, и приступиться къ ней не могу, то это не мѣшаетъ мнѣ успѣшно контролировать его формальную, чисто логическую сторону. Если спеціалистъ говоритъ: a+b=c, а *потому* a—b=d, то мнѣ даже нѣтъ надобности знать, что именно разумѣется подъ буквами a, b, c и d—я и безъ того вижу, что спеціалистъ сдѣлалъ совершенно произвольный, ни на чемъ не основанный выводъ. Наконецъ, есть и еще одинъ, едва ли не самый важный путь для контролированія профанами работы спеціалистовъ. По крайней мѣрѣ, онъ наиболѣе ясно устанавливаетъ ту точку зрѣнія профана, съ которой я буду судить о разныхъ явленіяхъ нашей умственной жизни. Возьмемъ какую-нибудь довольно замкнутую область знанія, только въ малой степени допускающую всѣ вышепоименованные пути контроля надъ ней со стороны профановъ. Возьмемъ, напримѣръ, чистую химію. Рядомъ съ химикомъ существуютъ: математикъ, плотникъ, педагогъ, пастухъ, полицейскій чиновникъ, физіологъ, земледѣлецъ, солдатъ, политико-экономъ и т. д. Прошу читателя отвлечь, снять, такъ сказать, со всѣхъ этихъ людей ихъ не подходящіе конкретные признаки и видѣть въ нихъ народъ въ смыслѣ совокупности свѣдущихъ работниковъ съ одной стороны и профановъ съ другой. Я не предлагаю читателю видѣть въ трудѣ ихъ метафизическую сущность, я прошу только смотрѣть на нихъ съ извѣстной стороны. Безъ сомнѣнія многіе изъ нихъ совершенно не могутъ произвести учета дѣятельности химика. При такомъ учетѣ физіологъ скажетъ, быть можетъ, довольно вѣское слово по соприкосновенности его спеціальности съ химіей; математикъ и политико-экономъ оцѣнятъ болѣе или менѣе правильно логическую сторону работъ химика; наконецъ, полицейскій чиновникъ, солдатъ, плотникъ должны, повидимому, оставаться совершенно безгласными. Однако это только повидимому. Они имѣютъ полное *право* сказать химику: я, полицейскій чиновникъ, охраняю своимъ трудомъ твою личность и собственность отъ внутреннихъ враговъ, я, солдатъ,—отъ враговъ внѣшнихъ, я, плотникъ, построилъ твой домъ и т. д. Всѣ мы исполняли твои не выраженные заказы; исполнялъ ли ты наши? Если ты извѣстнымъ образомъ обставленъ, то только потому, что существуемъ на свѣтѣ мы, профаны, подѣлившіе между собою заботы о твоемъ существованіи. И химикъ обязанъ дать требуемый у него отчетъ. Понятное дѣло, что въ сложной сѣти общественныхъ отношеній плотникъ, полицейскій чиновникъ, математикъ не могутъ требовать, чтобы химикъ послужилъ именно имъ, какъ полицейскому чиновнику, математику и плотнику; какъ таковые, они по всей вѣроятности и заказовъ никакихъ, даже не выраженныхъ, химику не дѣлали. Но, какъ профаны, они вправѣ требовать, чтобы химики служили профанамъ. Въ свою очередь и химикъ можетъ потребовать такого

же отчета у полицейскаго чиновника, плотника и математика. Затѣмъ надо сводить счеты...

Теперь я сдѣлаю большое отступленіе отъ педагоговъ вообще и настоящей педагогической распри въ особенности. Отступленіе это однако только облегчитъ намъ съ читателемъ дальнѣйшее соглашеніе, а мнѣ лично позволитъ отчасти исполнить давнишнее желаніе и даже обѣщаніе. Да и то сказать,—на педагогіи свѣтъ не клиномъ сошелся, и бесѣдовать съ читателемъ я предполагаю о самыхъ разнообразныхъ вещахъ. Кто интересуется собственно педагогіей, можетъ перевернуть нѣсколько страницъ.

Ни малѣйше не заблуждаясь относительно степени интереса, удѣляемаго читающею публикой отвлеченнымъ вопросамъ общей соціологіи, а тѣмъ паче трудамъ въ этой области того или другого писателя, я думаю однако, что кое-кто изъ читателей не забылъ моего обѣщанія представить нѣкоторыя возраженія г. Южакову. Во всякомъ случаѣ неисполненіе даннаго обѣщанія требуетъ объясненія. Я уже очень давно познакомилъ читателей «Отечественныхъ Записокъ» съ двумя первыми «Соціологическими этюдами» г. Южакова *). Я сильно радовался выступленію г. Южакова на литературное поприще, какъ радуюсь всякому появленію свѣжей мысли и новаго таланта. А тутъ были и особенные поводы радоваться. Среди одинаково ненавистныхъ мнѣ, грубыхъ, неуклюжихъ попытокъ перенесенія истинъ низшихъ наукъ въ соціологію съ одной стороны, и нелѣпыхъ стремленій якобы спасти человѣческое достоинство отрицаніемъ несомнѣнныхъ научныхъ истинъ съ другой,—изслѣдованія г. Южакова представляютъ очень замѣтное явленіе. Общество не есть организмъ, а нѣчто ему совершенно противоположное; прогрессъ соціальный діаметрально противоположенъ прогрессу органическому; половой подборъ, одинъ изъ самыхъ могучихъ факторовъ органическаго прогресса, совершенно утрачиваетъ свою силу въ обществѣ;—вотъ голые результаты двухъ первыхъ этюдовъ г. Южакова. Въ виду этихъ-то результатовъ, весьма цѣнныхъ и важныхъ, я не считалъ нужнымъ выяснить нѣкоторыя мои сомнѣнія, возбужденныя еще первымъ этюдомъ. Каюсь, Римъ для меня дороже, чѣмъ тѣ дороги, которыя ведутъ къ нему. Если человѣкъ стоитъ на дорогѣ, то не все ли мнѣ равно, что онъ придетъ въ Римъ нѣсколько иначе, чѣмъ я пришелъ? не все ли это равно и для дѣла? Пусть г. Южаковъ по своему расшатываетъ нелѣпости соціологовъ-дарвинистовъ и органистовъ, я буду дѣлать то же дѣло по своему: важно только, чтобы люди убѣдились, что это нелѣпости. Кто не убѣдится моими логическими пріемами и доводами, того убѣдятъ, можетъ быть, доводы и пріемы г. Южакова и наоборотъ. Такъ думалъ я, рекомендуя вниманію читателей два первые этюда г. Южакова. Поэтому я сдѣлалъ тогда всего, собственно говоря, одно бѣглое замѣчаніе,—нѣтъ надобности говорить, какое. Г. Южаковъ отвѣтилъ коротенькой «замѣткой на замѣтку г. Михайловскаго» («Знаніе» 1873, № 5), въ которой выразилъ, что между мной и имъ существуетъ, повидимому, кромѣ недоразумѣній, весьма важное разногласіе, и тутъ же обѣщалъ изслѣдованіе о значеніи субъективнаго метода въ соціологіи. Дѣйствительно, въ № 10 «Знанія» за 1873 г. появилась его статья «Субъективный методъ въ соціологіи», въ которой подвергались критикѣ нѣкоторыя мнѣнія мои и еще одного писателя. А еще передъ тѣмъ (№№ 3 и 5) напечатанъ былъ третій этюдъ г. Южакова, — «Условія проявленія естественнаго подбора въ обществѣ»,—въ которомъ, при помощи тѣхъ же пріемовъ и доводовъ, какіе были употреблены въ двухъ первыхъ этюдахъ, доказывается, что естественный подборъ, преломляясь въ соціальной средѣ, утрачиваетъ свое значеніе. Прочитавъ эти двѣ статьи, я нѣсколько измѣнилъ свое мнѣніе о дорогахъ, ведущихъ въ Римъ. Притомъ же г. Южаковъ посвятилъ особую статью полемикѣ. Свое намѣреніе отвѣчать ему я однако откладывалъ отчасти потому, что былъ отвлекаемъ другими занятіями, отчасти потому, что ждалъ дальнѣйшихъ этюдовъ г. Южакова, изъ которыхъ мнѣ особенно важно было дождаться спеціальнаго изслѣдованія соціальной среды. Его до сихъ поръ нѣтъ и, быть можетъ, и не будетъ. Поэтому я рѣшился включить отвѣтъ г. Южакову въ отчетъ о журналѣ «Знаніе», въ которомъ были помѣщены «Соціологическіе этюды» и который, существуя уже пятый годъ, пользуется весьма малымъ вниманіемъ нашей журналистики. Съ одной стороны, я надѣялся, что въ такой работѣ дозволительна будетъ нѣкоторая незакругленность, незаконченность полемики, которая была бы необходима, еслибы я посвятилъ статью только этой полемикѣ, и возможна, еслибы мнѣ были извѣстны нѣкоторыя изъ неопубликованныхъ еще воззрѣній г. Южакова, сопредѣльныхъ съ предметомъ спора. Съ другой стороны предметъ спора такъ широкъ, что слишкомъ соблазнительна была мысль поискать себѣ опоры въ матеріалахъ, заключенныхъ въ научно-популярномъ журналѣ, издающемся уже нѣсколько лѣтъ. Къ сожалѣнію мнѣ пришлось отказаться по разнымъ причинамъ отъ мысли

*) См. томъ I настоящаго изд., стр. 915 и сл.

представить читателю посильный отчетъ о «Знаніи». Слѣды первоначальнаго плана читатель найдетъ однако и въ предлагаемой части моихъ возраженій г. Южакову. Да простятся мнѣ всѣ эти объясненія.

Въ статьѣ г. Южакова «Субъективный методъ въ соціологіи», говорится между прочимъ: «Плохи шансы той партіи, которая отдѣляетъ истинное отъ желательнаго и заявляетъ, что оцѣнка на основаніи ея доктрины можетъ и не совпасть съ оцѣнкою на основаніи категорій истиннаго и ложнаго. Въ апрѣльской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» за истекшій годъ, г. Михайловскій разсматриваетъ насколько демократичны естественныя науки и приэтомъ приходитъ къ заключенію, что въ настоящее время онѣ неблагопріятны демократическимъ идеямъ и что защитникамъ и противникамъ демократизма придется, вѣроятно, помѣняться отношеніями къ естествознанію. Еслибъ это было такъ, то, конечно, это была бы весьма печальная исторія для демократизма и равнялась бы собственному сознанію демократовъ въ томъ, что идеи, проповѣдуемыя ими, находятся въ противорѣчіи съ несомнѣнными истинами, установленными естествознаніемъ. Если г. Михайловскій признаетъ свои идеи не только желательными, но и истинными, то какъ можетъ онъ находить другія истины имъ враждебными? Если демократизмъ истина, то естественныя науки должны быть демократичны или, на худой конецъ, безразличны для демократической доктрины. Если же г. Михайловскій правъ, то демократизмъ— ложная доктрина, но г. Михайловскій демократъ; вотъ каковы бываютъ послѣдствія субъективизма!»

Побѣдоносный восклицательный знакъ, заканчивающій эту тираду, какъ нельзя болѣе умѣстенъ. Я говорилъ вздоръ и вполнѣ уличенъ г. Южаковымъ! Послѣдствія субъективизма ужасны! До такой степени ужасны, что при всемъ моемъ уваженіи къ г. Южакову, мнѣ какъ-то не вѣрится, чтобы я написалъ что-либо подобное. Безъ сомнѣнія г. Южаковъ правъ. Не самъ же онъ выдумалъ тѣ пустяки и ту логическую путаницу, которые мнѣ приписываетъ. Однако съ моей стороны вее-таки весьма простительно стремленіе ухватиться хоть за какую-нибудь соломенку, оправдаться хоть немного. Заглянуть въ апрѣльскую книжку «Отечественныхъ Записокъ». Если бы не тяжесть обвиненія, я бы, разумѣется, никогда не осмѣлился прибѣгнуть къ фактической провѣркѣ утвержденій г. Южакова. Въ спѣшной журнальной работѣ всегда могутъ встрѣтиться неточныя выраженія, обмолвки, недомолвки, логическія ошибки второстепеннаго свойства и т. п. И если бы г. Южаковъ указалъ мнѣ на что-нибудь въ этомъ родѣ, я бы просто повинился: виноватъ-молъ, ошибся, обмолвился. Но тутъ дѣло идетъ не объ мелочи.

Въ «литературныхъ и журнальныхъ замѣткахъ» апрѣльской книжки «Отечественныхъ Записокъ» говорится вотъ что. Бокль въ своей знаменитой «Исторіи цивилизаціи» выставилъ тезисъ: «естественныя науки по существу своему демократичны» — и очень плохо защитилъ его. Самое большое, что можно выжать изъ общихъ мѣстъ, которыя наговорилъ по этому случаю Бокль, состоитъ въ томъ, что наканунѣ первой французской революціи въ обществѣ обнаружился значительный интересъ къ естествознанію. Дѣйствительной связи, существовавшей наканунѣ первой революціи между демократическими началами и естествознаніемъ, Бокль не только не доказалъ, а даже не указалъ. А между тѣмъ, эта связь существовала несомнѣнно. Подрывая авторитетъ католической доктрины, изученіе природы уже тѣмъ самымъ способствовало расшатыванію всей плотно спаянной феодальной системы, а слѣдовательно косвенно служило демократическимъ идеямъ равенства и свободы. Феодальный строй имѣлъ свою верховную санкцію въ католицизмѣ, шатаніе котораго неизбѣжно должно было отозваться и на всемъ зданіи. Во-вторыхъ, болѣе или менѣе пристальное изученіе природы наводило на мысль о несостоятельности общественныхъ неравенствъ, санктированныхъ феодальнымъ правомъ, неравенствъ, основанныхъ не на естественныхъ достоинствахъ и недостаткахъ различныхъ классовъ людей, а на историческихъ преданіяхъ и военномъ бытѣ. Въ-третьихъ, наконецъ, изученіе природы, давая толчокъ техникѣ, способствовало усиленію класса людей промышленныхъ, т.-е. тѣхъ именно, которые добивались осуществленія идей равенства и свободы. Вотъ три пути, которыми наканунѣ первой революціи естественныя науки служили демократическимъ началамъ въ теоретической мысли и практической жизни. Это обстоятельства чрезвычайной важности, но отъ нихъ однако еще очень далеко до тезиса Бокля: естественныя науки по существу своему демократичны. Тѣмъ не менѣе убѣжденіе это, хотя и рѣдко высказываемое въ такой рѣзкой формѣ, принадлежитъ къ числу весьма распространенныхъ. Естествоиспытатель и демократъ какъ-то сплелись для насъ въ одно нераздѣльное цѣлое, не смотря на множество примѣровъ, вполнѣ способныхъ разсѣять это созданіе нашей фантазіи. А между тѣмъ, все вышесказанное показываетъ только, что естественныя науки въ общемъ всегда будутъ служить демократическимъ началамъ

по стольку, по сколько послѣднимъ приходится бороться съ началами феодализма и католицизма. Бороться имъ съ этими началами приходится и до сихъ поръ — князь Бисмаркъ и папа имъ одинаково противны. Но со времени первой революціи прошло безъ малаго сто лѣтъ, въ которыя народились кое-какія новыя общественныя комбинаціи, не допускающія такого простого отвѣта на вопросъ объ отношеніяхъ естественныхъ наукъ къ демократическимъ началамъ. Не говоря о массѣ естественно-научныхъ фактовъ и выводовъ, совершенно въ этомъ отношеніи *безразличныхъ*, не служащихъ ни нашимъ, ни вашимъ, отмѣтимъ слѣдующее. Во-первыхъ, въ своихъ техническихъ приложеніяхъ естественныя науки являются практическими служителями любой формы кооперації. Какова бы ни была данная комбинація политическихъ и общественныхъ силъ —болѣзни изучаются, различные способы леченія практикуются, лекарства изготовляются, каменноугольныя копи развѣдываются и разрабатываются, новыя питательныя вещества открываются, силы электричества, пара и т. п. приспособляются къ требованіямъ этой комбинаціи и проч., и проч., и проч. Все это невозможно безъ изученія природы, безъ естественныхъ наукъ, результаты которыхъ могутъ слѣдовательно идти на потребу и демократическихъ, и всякихъ другихъ началъ. Въ настоящую историческую минуту, по скольку, давая среднему сословію могучія орудія развитія, техника ослабляетъ силу и значеніе феодальныхъ началъ, она вездѣ оказывается союзницей демократическихъ идей. Но не болѣе, какъ по стольку. Не говоря о той долѣ техники, которая въ видѣ стратегическихъ линій желѣзныхъ дорогъ, казенныхъ заводовъ и лабораторій и т. п. служитъ потребностямъ государства, каковы бы ни были его основы, есть у великолѣпнаго развитія техники и другая сторона, не мирящаяся съ демократическими началами равенства и свободы. Тѣ же самыя приложенія естественныхъ наукъ къ практическимъ нуждамъ, которыя расшатываютъ феодализмъ, вмѣстѣ съ тѣмъ концентрируютъ общественную силу въ рукахъ буржуазіи и усиливаютъ гнетъ труда капиталомъ, усиливаютъ имущественное неравенство и приковываютъ рабочаго къ совершенно несвободной дѣятельности. Процессъ этотъ не разъ описанъ и здѣсь онъ отмѣчается только, какъ одинъ изъ пунктовъ враждебнаго столкновенія естественныхъ наукъ съ демократическими началами. «*Причинъ этого враждебнаго столкновенія слѣдуетъ искать, разумѣется, не въ самыхъ естественныхъ наукахъ, даже не въ прикладныхъ ихъ отрасляхъ, а только въ формѣ кооперації. Сами по себѣ, естественныя науки даютъ только свѣдѣнія, а соціальные результаты практическаго приложенія этихъ свѣдѣній зависятъ уже отъ свойствъ данной комбинаціи общественныхъ силъ*». Переходя къ естественнымъ наукамъ по существу, къ теоретическому ихъ значенію, къ тому содержанію, которое они вносятъ въ жизнь помимо практическихъ приложеній, мы видимъ то же самое. «*И здѣсь опять-таки естественныя науки даютъ только свѣдѣнія, а группировка этихъ свѣдѣній обусловливается данною формою кооперації*». Дарвинизмъ, напримѣръ, демократиченъ ровно по стольку, по сколько онъ прямо или косвенно подтачиваетъ еще живыя начала феодализма. Но онъ не только не «демократиченъ по существу», а самымъ рѣзкимъ и опредѣленнымъ образомъ ставитъ неравенство и борьбу за лучшее положеніе въ обществѣ краеугольными камнями своей нравственно-политической доктрины. Таковы и нѣкоторыя другія біолого-соціологическія теоріи, напримѣръ, теорія соціальнаго организма. «*Здѣсь мы не имѣемъ въ виду вопроса о томъ, насколько всѣ эти доктрины удовлетворяютъ требованіямъ логики и научности. Мы разбирали только, справедливо ли приписывать имъ демократическій характеръ. Наше мнѣніе о нихъ, какъ о научныхъ и философскихъ теоріяхъ, читателю извѣстно*».

Вотъ что говорилось въ апрѣльской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ». Я, кажется, могу вздохнуть свободно. Мое разсужденіе очень кратко, очень неполно. Я бы охотно согласился даже, что оно совсѣмъ невѣрно, если бы г. Южаковъ потрудился доказать это. Но тѣхъ пустяковъ и той логической путаницы, которые онъ мнѣ навязываетъ, въ статьѣ нѣтъ. Не смѣя останавливаться на предположеніи, что г. Южаковъ намѣренно извращаетъ мою мысль, я долженъ думать, что онъ самъ статьи не читалъ, а имѣлъ неосторожность положиться на слова какого-нибудь неосновательнаго человѣка. Конечно, и то прискорбно, ибо всякому слуху вѣрить не слѣдуетъ. Во всякомъ случаѣ ясно, что мой субъективизмъ не помѣшалъ мнѣ отличить разныя стороны отношеній естественныхъ наукъ къ демократическимъ началамъ. Ясно также, что объективизмъ (безпристрастіе?) г. Южакова не помогъ ему прочитать написанное мною въ апрѣльской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ». Такая случайная и притомъ только отрицательная проба субъективизма и объективизма, конечно, еще ровно ничего не доказываетъ, и я далекъ отъ мысли основывать на ней что бы то ни было. Я не говорю: вотъ каковы послѣдствія объективизма! Я заявляю толь-

ко, что говорилъ не совсѣмъ то и даже совсѣмъ не то, что мнѣ приписывается почтеннымъ авторомъ «Соціологическихъ этюдовъ». Да послужитъ это возстановленіе частной, мелкой, неважной, но все-таки *истины* (а съ объективной точки зрѣнія всѣ истины равны, т. е. всѣ одинаково важны) нѣкоторымъ вступленіемъ къ моей бесѣдѣ съ г. Южаковымъ о субъективномъ методѣ въ соціологіи.

Считаю полезнымъ нѣсколько подольше остановиться на только-что высказанныхъ мысляхъ.

Просматривая любую книжку «Знанія», мы найдемъ обильныя подтвержденія справедливости всего вышесказаннаго, т. е. невѣрности никѣмъ недоказаннаго, рѣдко кѣмъ опредѣленно высказываемаго, но все-таки огромнымъ большинствомъ нашего общества безмолвно признаваемаго тезиса Бокля. Возьмемъ, напримѣръ, № 3 за прошлый годъ. Въ статьѣ знаменитаго англійскаго психолога Бэна «Духъ и тѣло», напечатанной въ этой книжкѣ, есть слѣдующія, въ высшей степени характеристическія строки: «Есть два способа физическаго наказанія: тяжелая мускульная работа (тяжелая работа вообще, работа машинная) и сѣченіе. Одинъ изъ нихъ дѣйствуетъ на нервы черезъ мышечную ткань, другой черезъ кожу. При этомъ нѣтъ намѣренія причинять боль самимъ мускуламъ или кожѣ; единственная цѣль наказанія—вызвать страданіе нервовъ. Но такъ какъ при сильныхъ наказаніяхъ едва ли возможно избѣгнуть постояннаго вреда для промежуточныхъ тканей, мускуловъ или кожи, то (если отъ такихъ наказаній не хотятъ отказаться) вообще слѣдовало бы придумать какой-нибудь способъ дѣйствовать только на самые нервы. Для этого можно бы было употреблять электричество. Электрическіе удары и токи, особенно на электромагнитной машинѣ Фарадея, въ которой токи постоянно разряжаются и возобновляются, могли бы давать желаемое количество страданія, и градаціи его могли бы быть измѣрены съ научною точностью. На сколько нервы могутъ выдерживать постоянную боль при сильномъ примѣненіи электричества, это остается еще изслѣдовать; вѣроятно, не больше, чѣмъ при равномъ количествѣ боли при наказаніяхъ чрезъ мускулы или кожу; но, по крайней мѣрѣ, вредъ ограничивался бы одною нервною тканью. Если еще необходимо оставлять въ силѣ наказаніе смертною казнью, то многое можно бы было сказать противъ наказанія повѣшеніемъ и за замѣну его электрическимъ ударомъ. Но такъ какъ теперь начинаетъ преобладать мнѣніе, неблагопріятное лишенію жизни въ смыслѣ наказанія, то заключеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ наказаніе электрическими ударами могли бы примѣняться съ должною соразмѣрностью къ строгости наказанія и удовлетворяло бы всѣмъ требованіямъ отмщенія преступникамъ» (стр. 23).

Это разсужденіе очень типично. Бэнъ, одинъ изъ самыхъ видныхъ представителей современной науки, человѣкъ не даромъ стяжавшій европейскую извѣстность, живетъ въ данномъ обществѣ, въ данной формѣ кооперации, въ числѣ учрежденій которой фигурируютъ тѣлесное наказаніе, каторжныя работы и смертная казнь для внутреннихъ враговъ этой общественной формы. Эта общественная форма могла бы, въ лицѣ своихъ оффиціальныхъ представителей, предложить конкурсъ на составленіе проекта замѣны означенныхъ учрежденій, существующихъ уже очень давно и нѣсколько обветшалыхъ, болѣе цѣлесообразными. Но Бэнъ, не дожидаясь объявленія о такомъ конкурсѣ, безкорыстно спѣшитъ предложить услуги науки. Правда, онъ нѣсколько пересаливаетъ въ своемъ усердіи, потому что нѣтъ никакого основанія утверждать, что каторжныя работы и тѣлесное наказаніе практикуются съ спеціальною цѣлью вызвать страданіе первовъ, оберегая при этомъ мускулы и кожу. Сѣкутъ людей и ссылаютъ на каторгу, не имѣя въ мысляхъ подобныхъ тонкостей. А существовавшія не Богъ знаетъ какъ давно, въ видѣ наказаній, урѣзаніе языка, отсѣченіе одной или обѣихъ рукъ, вырываніе ноздрей и т. п. говорятъ прямо противъ предположенія знаменитаго психолога. Нѣтъ, впрочемъ, надобности восходить къ этому времени. Казни и наказанія совершаются въ большей части государствъ публично, причемъ прямо разсчитывается на поврежденіе мускуловъ и кожи—раны, царапины—въ видахъ произведенія извѣстнаго впечатлѣнія на зрителей. Кромѣ того Бэнъ упускаетъ изъ виду нѣкоторыя потребности той самой общественной формы, которой безкорыстно предлагаетъ услуги науки. Общественная форма, пользующаяся трудомъ каторжниковъ, далеко не всегда можетъ согласиться на замѣну каторжной работы тюремнымъ заключеніемъ, хотя бы и сопровождаемымъ извѣстнымъ количествомъ электрическихъ ударовъ въ день. Однако все это только неловкости и недосмотры со стороны знаменитаго психолога. Не они важны. Важенъ общій характеръ проекта Бэна, важны намѣренія человѣка науки. А они очевидны: они цѣликомъ направлены къ тому, чтобы самымъ скрупулезнымъ образомъ, «съ научною точностью», удовлетворить потребностямъ данной общественной комбинаціи, какова бы ни была эта комбинація и каковы бы ни были ея потребности. Обраща-

ясь къ оффиціальнымъ представителямъ даннаго общества, Бэнъ говоритъ: если бы *вы хотьли* удержать смертную казнь, я бы сообщилъ вамъ, почему повѣшеніе слѣдуетъ замѣнить электрическимъ ударомъ. Но вы кажется *не хотите* смертной казни, и я молчу. Однако вотъ чего умолчать не могу: *вы хотите* заставить страдать нервы и *не хотите* портить кожу и мускулы,—это достигается электрическими ударами вѣрнѣе, чѣмъ каторжной работой и плетьми. *Вы хотите* произвести извѣстную степень страданія, ни большую, ни меньшую, чѣмъ какая соотвѣтствуетъ, *по вашему мнѣнію*, извѣстному дѣянію, которое *вы считаете* преступленіемъ,—вотъ вамъ электро-магнитная машина Фарадея, она исполнитъ *ваши желанія* съ научною точностью.

Въ pendant къ проекту Бэна стоитъ привести другой, подобный же. Въ № 8 «Знанія» за 1873 г., въ отдѣлѣ «разныхъ извѣстій» находимъ краткія свѣдѣнія о сочиненіи Гаутона «Principles of Animal Mechanics» (London, 1873). Въ свѣдѣніяхъ этихъ, заимствованныхъ изъ англійскихъ журналовъ, говорится, между прочимъ, что Гаутонъ есть «Ньютонъ мускульной системы» и что ни одинъ анатомъ настоящаго и будущаго времени не можетъ обойти его книгу. Не могу, разумѣется, судить, на сколько основательны эти похвалы, но во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что Гаутонъ пролагаетъ новые пути наукѣ. Онъ пытается приложить математику къ анатоміи, изслѣдуя, напримѣръ, «задачи равновѣсія элиптическаго мускульнаго свода», «теорему Птоломея и нѣкоторыя кривыя третьяго порядка въ приложеніи къ анатоміи» и т. п. Въ замѣткѣ приведены результаты нѣкоторыхъ вычисленій Гаутона, и я вышиу изъ нихъ два-три, чтобы читатель могъ судить объ интересѣ книги. Оказывается, напримѣръ, что высшая энергія, когда либо достигаемая паровозомъ, равняется ⅛ энергіи человѣческаго сердца. Есть любопытныя вычисленія силъ, дѣйствующихъ при актѣ дѣторожденія. На основаніи подобныхъ же вычисленій доказывается, что различіе между человѣкомъ и гориллой гораздо больше, чѣмъ между гориллой и другими обезьянами, причемъ авторъ возстаетъ противъ поспѣшности, съ которою иногда дѣлаются заключенія о сходствѣ различныхъ животныхъ на основаніи анатомическихъ данныхъ. Но для насъ здѣсь важно слѣдующее. Ученый авторъ находитъ, что смертная казнь повѣшеніемъ «недостойна современнаго состоянія науки», и рекомендуетъ сбрасываніе съ извѣстной высоты преступника, на шею котораго надѣта петля и который при этомъ мгновенно умираетъ вслѣдствіе разрыва позвоночнаго столба. Высота, съ которой слѣдуетъ сбрасывать преступника получается по слѣдующему правилу, основанному на точномъ вычисленіи: раздѣлить число 2240 на вѣсъ «паціента», выраженный въ фунтахъ,—частное будетъ искомая высота въ футахъ.

Вотъ два проекта двухъ свѣтилъ науки. Они очень ярко и наглядно обрисовываютъ роль техническихъ приложеній естественныхъ наукъ. Спрашиваю г. Южакова: имѣя передъ глазами эти два проекта, повторитъ ли онъ тезисъ Бокля: естественныя науки по существу своему демократичны? Конечно, нѣтъ. Въ этихъ двухъ проектахъ естествознаніе играетъ роль совѣтника и исполнителя велѣній оффиціальныхъ представителей данной общественной комбинаціи. Ювеналъ говорилъ о грекахъ ученыхъ и художникахъ, наводнявшихъ въ его время Римъ: засмѣйся—онъ разразится ужаснымъ хохотомъ; заплачь—у него такъ и польются слезы; скажешь холодно—онъ ужъ дрожитъ и кутается въ теплое платье; жарко—онъ ужъ потѣетъ. Такъ именно ведетъ себя въ приведенныхъ примѣрахъ наука. Въ этой роли, конечно, нѣтъ ничего демократическаго по существу, хотя въ томъ или другомъ частномъ случаѣ она и можетъ оказаться какъ-нибудь дружественною началамъ равенства и свободы. Такой частный случай былъ и есть на лицо. Когда центральная власть во всѣхъ европейскихъ государствахъ, будучи отвлечена политическими, династическими и военными задачами, допустила частныхъ людей овладѣть техническими приложеніями естествознанія, послѣднія оказались въ самой тѣсной связи съ развитіемъ демократическихъ началъ. И здѣсь собственно оправдалось правило, что техника служитъ тому, что желаетъ и *можетъ* взять ее къ себѣ въ услуженіе. Частная предпріимчивость, вооруженная знаніемъ и богатствомъ, произвела чудеса, передъ которыми померкла сила феодально-католической организаціи. Трудно даже обнять мыслью все значеніе техническихъ приложеній естествознанія въ этомъ великомъ переворотѣ, такъ сильно измѣнившемъ комбинацію общественныхъ силъ. И по скольку техника враждебно сталкивается съ все еще крѣпкими (и даже очень крѣпкими) остатками феодализма и католицизма, она и до сихъ поръ служитъ демократическимъ началамъ. Но, какъ уже сказано, у этой медали есть оборотная сторона. Мы найдемъ ее, не выходя изъ того же № 3 «Знанія» за прошлый годъ. Въ отдѣлѣ «Разныхъ извѣстій» этого нумера напечатана небольшая замѣтка подъ заглавіемъ: «Возрастаніе богатства и заработной платы въ Великобританіи». Это краткое извлеченіе изъ статьи извѣстнаго англійскаго экономиста Фоусета.

По мнѣнію Фоусета народное богатство Великобританіи за послѣднія двадцать пять лѣтъ возросло въ огромной пропорціи. Торговля страны увеличилась въ этотъ періодъ, вѣроятно, болѣе, чѣмъ вчетверо; сумма вывоза поднялась съ 50.000,000 фунт. стерлинг. до 250,000,000; сумма ввоза возросла еще сильнѣе; Англія до такой степени переполнена капиталами, что они у нея черезъ край льются; такъ 90.000,000 фунтовъ стерл. ушло на постройку желѣзныхъ дорогъ въ Индіи; Египту съ 1862 по 1870 дано въ видѣ четырехъ займовъ 36.880,000 фунт. стерл.; громадные капиталы ушли въ Соединенные Штаты во время гражданской войны, въ Турцію, въ Италію и проч. Естественно предположить, что и заработная плата возросла за это время значительно. На дѣлѣ оказывается не то. Такъ напримѣръ, изъ 13 категорій рабочихъ на Canada Engineerings Works въ Биркенгедѣ *шесть* получали въ 1869 г. меньшую плату, чѣмъ въ 1855, *три* категоріи такую же и *четыре*—высшую. Разсматривая вознагражденіе рабочихъ морского арсенала въ Ширнессѣ, плотниковъ, коношатчиковъ, кузнецовъ и др., мы увидимъ, что въ періодъ 1849—1859 г. только для трехъ категорій этихъ рабочихъ плата увеличилась, да и то на 6 пенсовъ (16½ коп.) въ день. Возьмемъ ли мы въ примѣръ 20 различныхъ категорій рабочихъ частныхъ верфей по берегамъ Темзы, мы опять придемъ къ тому же заключенію. Правда, эти рабочіе получали въ 1865 г. большую плату, чѣмъ въ 1851 г., но черезъ четыре года, т. е. въ 1869 г. эта плата возвратилась къ своей первоначальной высотѣ; увеличеніе платы въ 1865 г. было чисто временнымъ слѣдствіемъ спекулятивной горячки, которая предшествовала паникѣ 1867 г. Конечно, плата нѣкоторыхъ классовъ рабочихъ, преимущественно занимавшихся большими постройками въ Лондонѣ и Манчестерѣ, а въ послѣднее время и рудокоповъ, возросла и даже значительно. Но дѣло въ томъ, что цѣны на помѣщеніе, пищу, топливо и другія различныя потребности въ то же время возросли не менѣе значительно. Въ концѣ концовъ, не смотря на увеличеніе промышленности и торговли въ четыре раза, положеніе нѣкоторыхъ классовъ рабочихъ осталось такимъ же, какимъ было лѣтъ двадцать тому назадъ, а положеніе другихъ даже ухудшилось. И техническія приложенія естествознанія тутъ ровно ничего не могутъ сдѣлать. Они не возстановляютъ равновѣсія, а напротивъ, всею своею тяжестью ложатся на ту чашку вѣсовъ, которая уже и безъ того перевѣшиваетъ: «Успѣхи промышленной механики за послѣднія 20 лѣтъ были многочисленны и разнообразны,—не будь ихъ, громадное увеличеніе народнаго богатства Великобританіи въ этотъ періодъ времени было бы невозможно. Но также несомнѣнно, что изобрѣтеніе новыхъ машинъ и приспособленій оставляло безъ дѣла, по крайней мѣрѣ временно, извѣстное число людей. Такъ г. Нэсмитъ сообщилъ въ коммиссіи рабочихъ союзовъ, что введеніе въ его мастерскихъ самодѣйствующихъ машинъ позволило ему сократить на половину рабочихъ, которые прежде у него занимались». Стоитъ вдуматься только въ эту коротенькую замѣтку и принять въ соображеніе различныя побочныя стороны указываемыхъ въ ней явленій, чтобы убѣдиться, что прогрессъ техническихъ приложеній естествознанія не есть прогрессъ равенства и свободы. Неизвѣстный авторъ переводной статьи «О національномъ значеніи научныхъ изслѣдованій» («Знаніе», 1873 г., № 7) горько жалуется на положеніе людей, занимающихся чистымъ естествознаніемъ. Открытія этихъ тружениковъ чистой науки, говоритъ онъ, утилизируются въ видѣ техническихъ приложеній государствомъ и промышленными дѣятелями, но представители науки остаются не при чемъ. Только на долю изобрѣтателей, т. е. не самостоятельныхъ дѣятелей отвлеченной науки, а людей, пользующихся чужими, чисто научными изслѣдованіями, приходится часть золотого дождя, падающаго на фабрикантовъ, заводчиковъ и землевладѣльцевъ. Поэтому, намекая на возможность «министерства науки», авторъ требуетъ отъ правительства и университетовъ матеріальной поддержки людямъ науки въ видѣ учрежденія государственныхъ лабораторій, оплачиваемыхъ каоедръ оригинальныхъ изслѣдованій и т. п. Но съ особенною настойчивостью и съ большимъ запасомъ фактическаго матеріала авторъ доказываетъ, что «величайшія денежныя выгоды отъ открытій получаютъ крупные фабриканты, заводчики, капиталисты и землевладѣльцы, слѣдовательно они и должны въ наибольшей степени, прямо или косвенно, вознаграждать дѣлающихъ открытія». Это сама истина и сама справедливость. Дѣйствительно, не только изобрѣтатели и усовершенствователи паровой машины сослужили службу капиталистамъ, фабрикантамъ и заводчикамъ, давъ имъ возможность нажить громадныя деньги на желѣзно-дорожныхъ предпріятіяхъ и приложеніи силы пара къ производству,—эту службу сослужили и труженики чистой физики и механики. Уаттъ говоритъ, что онъ не могъ бы усовершенствовать своей машины, еслибы предварительныя, чисто научныя изслѣдованія не опредѣлили, сколько теплоты переходитъ въ скрытое состояніе при превращеніи воды въ

паръ. Шееле, открывшему хлоръ и, вѣроятно, при этомъ ни объ чемъ, кромѣ истины и познанія природы, не думавшему, фабриканты обязаны способомъ бѣленія хлопчатобумажныхъ тканей, хотя и не онъ приложилъ свое открытіе къ этому практическому дѣлу. Кронштедтъ только открылъ никкель, но безъ этого открытія не было бы нейзильбера, и проч., и проч., и проч. Какъ организмъ человѣка, принимая самую разнообразную пищу, ассимилируетъ изъ нея только то, что можетъ идти на потребу именно той формы жизни, которая называется человѣческимъ организмомъ, такъ и всякая данная форма общественныхъ отношеній стремится вытянуть все *сей* подходящее изъ любой умственной пищи, претворить эту пищу въ *свою* плоть и кровь, выбрасывая непереваримое *сю*. Значитъ съ этой стороны нечего и разсуждать о демократичности естествознанія. Можетъ быть, блистательныя научныя открытія и изслѣдованія XIX вѣка, размѣнявшись на звонкую монету техническихъ приложеній, и будутъ служить укрѣпленію демократическихъ началъ, но это будетъ зависѣть не отъ нихъ, а отъ формы общественныхъ отношеній, въ которой произойдетъ размѣнъ. Она наложитъ на нихъ свое клеймо и перечеканитъ старую монету.

Едва ли, впрочемъ, есть какая-нибудь надобность настаивать на этомъ пунктѣ. Общественная роль техническихъ приложеній естествознанія слишкомъ извѣстна. Гораздо интереснѣе значеніе теоретическихъ изслѣдованій, независимо отъ техники. Пусть Бэнъ и Гаутонъ желаютъ съ научною точностью угодить потребностямъ общества: казнить и наказывать; пусть открытіе хлора, преобразуясь въ открытіе бѣлильнаго вещества, даетъ лишнее орудіе капиталистической эксплуатаціи; пусть вообще естествознаніе, въ видѣ техническихъ приложеній, напоминаетъ тѣхъ льстивыхъ грековъ, о которыхъ говоритъ Ювеналъ. Пусть такъ. Но, быть можетъ, теоретическія изслѣдованія Бэна о границахъ духа и тѣла, работы Гаутона объ отношеніяхъ математики къ анатоміи, открытіе хлора и т. п., открывая человѣчеству новыя перспективы познанія, расширяя его умственный кругозоръ, вмѣстѣ съ тѣмъ не претворяются въ плоть и кровь непремѣнно данной формы общества, а толкаютъ его въ совершенно опредѣленномъ направленіи, и именно въ демократическомъ. Въ свое время я буду имѣть случай поставить этотъ вопросъ въ самомъ общемъ его видѣ. Теперь это выходитъ изъ предѣловъ моей задачи. Мнѣ достаточно привести слѣдующія слова изъ третьяго этюда г. Южакова: «...вопросъ, который отчасти будетъ трактоваться въ предлагаемомъ этюдѣ, изучался своей существенной частью не со вчерашняго дня, и біологія здѣсь мало новаго повѣдала соціологамъ. Новую постановку вопроса, новые термины, новые аргументы—вотъ что она дала въ руки трезвымъ философамъ; формулы же рѣшенія и шансы pro и contra въ этой тяжбѣ направленій остались тѣ же. Самый важный аргументъ, которымъ снадбила біологія соціальныя теоріи о необходимости, нищеты,—полезность такой необходимости, усовершенствованіе породы, вытекающее изъ нея чрезъ гибель индивидуумовъ. До вмѣшательства біологіи трезвые философы говорили: бѣдность, несчастіе, голодъ царствуютъ повсюду въ обществахъ человѣческихъ,—*это прискорбно*, но таковъ законъ природы; теперь же они измѣнили тонъ: въ нашихъ обществахъ, говорятъ они, масса людей гибнетъ отъ голода, изнуренія, нищеты, но вслѣдствіе этой гибели остаются живы и оставляютъ потомство только наиболѣе совершенныя личности, и гибелью однихъ людей покупается прогрессъ; только такимъ путемъ можетъ осуществляться прогрессъ, и кто скорбитъ о падшихъ жертвахъ, тотъ врагъ прогресса, самъ того не понимая. Таковы выводы соціологовъ трезвой школы изъ біологическихъ обобщеній Дарвина».

Я ничего иного и не говорилъ, когда доказывалъ, что естественныя науки, въ противность мнѣнію Бокля, вовсе не необходимо исполняютъ не выраженные заказы профановъ. Во всемъ этомъ небольшомъ разсужденіи я стоялъ на точкѣ зрѣнія профана, которая, надѣюсь, теперь читателю совершенно понятна. Въ качествѣ профана, я только выслушивалъ рѣчи ученыхъ людей, сопоставлялъ ихъ и подводилъ итоги.

II.

Буря въ стаканѣ педагогической воды.

То же самое предстоитъ мнѣ теперь сдѣлать по отношенію къ педагогіи. Я буду выслушивать мнѣнія педагоговъ, сопоставлять ихъ, повѣрять и затѣмъ подводить итоги. Я знаю, что до сихъ поръ профаны вели себя въ педагогической распрѣ изъ-за статьи гр. Толстого легкомысленно. Я это знаю, потому что читалъ газетныя статьи и слышалъ устные толки объ этомъ предметѣ. Но это ровно ничего не значитъ. Быть можетъ, при искреннемъ желаніи быть добросовѣстнымъ и нелегкомысленнымъ, мнѣ удастся сказать добросовѣстное и нелегкомысленное слово. Каковы бы ни были попытки профановъ оцѣнить значеніе нашихъ педа-

говъ, но первые, несомнѣнно, имѣютъ, право требовать у послѣднихъ отчета. И не только въ силу общихъ соображеній объ отношеніяхъ между спеціалистами и профанами, но и въ силу особеннаго положенія, занимаемаго педагогами: они нашихъ дѣтей къ жизни готовятъ, этого достаточно. Притомъ же педагогика, какъ и всякая прикладная наука, соприкасается со множествомъ предметовъ, быть можетъ, болѣе или менѣе извѣстныхъ тому или другому профану. Я, впрочемъ, охотно признаю, что, не смотря на относительно большую доступность педагогическихъ вопросовъ контролю профановъ, послѣдніе до сихъ поръ принесли мало пользы. Я даже готовъ привести два-три примѣра ихъ легкомыслія. Прежде всѣхъ, если не ошибаюсь, на статью гр. Толстого откликнулись «С.-Петербургскія Вѣдомости». Въ № 274, въ фельетонѣ, посвященномъ текущей журналистикѣ, помѣщена была рецензія, крайне благопріятная взглядамъ гр. Толстого, даже нѣсколько восторженная. Рецензія эта вызвала возраженіе г. Евтушевскаго, которое и было напечатано въ № 278 «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей». То была первая проба того пряного и не совсѣмъ чистаго остроумія, которымъ впослѣдствіи г. Евтушевскій совершенно себя перепачкалъ. Редакція «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» съ своей стороны сопроводила возраженіе г. Евтушевскаго такимъ примѣчаніемъ: «Повидимому фельетонъ нашего сотрудника въ № 274 «Спб. Вѣдомостей» раздражилъ нѣкоторые педагогическіе кружки и далъ поводъ къ недоразумѣніямъ, которыя мы считаемъ долгомъ разсѣять. Выписки изъ оригинальной и остроумной статьи гр. Толстого приведены авторомъ съ очевидною цѣлью указать отрицательныя, слабыя стороны въ дѣятельности нашихъ современныхъ педагоговъ; но это отнюдь не умаляетъ ихъ положительныхъ заслугъ. До сихъ поръ наши педагоги встрѣчали въ печати однѣ только безусловныя похвалы, и гр. Толстому, безспорно, принадлежитъ починъ критическаго къ нимъ отношенія. Критика его, можетъ быть, болѣе или менѣе односторонняя, исключительна, даже пристрастна; но автору ея никакъ нельзя отказать ни въ близкомъ знакомствѣ съ педагогическимъ дѣломъ, ни въ талантѣ, ни въ горячей преданности дѣлу народнаго образованія. Обличая крайности и слабыя стороны современной педагогіи, онъ въ то же время оказываетъ послѣдней несомнѣнную услугу. Мы будемъ ожидать возраженій г. Евтушевскаго гр. Толстому тѣмъ съ большимъ интересомъ, что вполнѣ признаемъ за нимъ, какъ и за нѣкоторыми другими нашими педагогами, знаніе, опытность и извѣстныя заслуги въ томъ важномъ дѣлѣ, которому они себя посвятили». — «С.-Петербургскія Вѣдомости» (старой редакціи) полагаютъ, что говорить подобныя вещи значитъ «разсѣивать недоразумѣнія», тогда какъ это только одна изъ варіацій на тему: можно не соглашаться, но должно признаться. Мнѣ очень хотѣлось бы помянуть чѣмъ-нибудь лучшимъ старую редакцію «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», объ участи которой всякій писатель, безъ различія партій, долженъ искренно сожалѣть. Но очевидно, что здѣсь ничего нельзя выудить. Перехожу къ «Биржевымъ Вѣдомостямъ» (тоже старой редакціи: подобныя оговорки приходится нынѣ дѣлать на каждомъ шагу). Эта газета приняла статью гр. Толстого не менѣе восторженно, но въ какой мѣрѣ она ее поняла, видно изъ того, что въ № 282 она поставила ее безъ малѣйшей оговорки рядомъ со статьей г. Цвѣткова «Новыя идеи въ нашей народной школѣ» («Русскій Вѣстникъ», № 9; что это за статья мы, можетъ быть, увидимъ впослѣдствіи). Въ какой мѣрѣ сознательны и серьезны были восторги «Биржевыхъ Вѣдомостей» видно также изъ фельетона № 293. Тамъ говорится слѣдующее: «авторъ «Войны и мира» весьма мѣтко и живо характеризовалъ наше педагогическое доктринерство... Но отстаивая вѣрный принципъ безхитростности, удобопонятности и содержательности начальнаго обученія, гр. Толстой пожелалъ и на практикѣ рекомендовать свое собственное противоядіе противъ заноснаго подражанія. И здѣсь только очень забавно выяснилось, что талантливый беллетристъ на дѣлѣ весьма неудачный Ланкастеръ (?). Выдуманная имъ начальная математика успѣла заручиться въ послѣднемъ засѣданіи педагогическаго общества лишь общимъ... смѣхомъ. Трудно вообразить, но, сдѣлавъ напряженіе, вообразите себѣ *патріотическую ариѳметику* съ церковно-славянскими цифрами: мыслете-есть плюсъ земля-иже равняется пси-вѣди!» И т. д., и т. д., прямо по остротамъ г. Евтушевскаго, только что выслушаннымъ авторомъ фельетона въ засѣданіи педагогическаго общества Если-бы авторъ фельетона побывалъ на слѣдующемъ засѣданіи педагогическаго общества, то услышалъ бы отъ г. Страннолюбскаго, что вся эта «патріотическая ариѳметика» со включеніемъ «мыслете-есть» и проч. есть изобрѣтеніе не гр. Толстого, а г. Евтушевскаго.

Да, профаны вели себя нехорошо, а между тѣмъ дѣло имъ предстояло вовсе ужъ не особенно трудное, если поставить его въ должныя границы. Конечно, я не рѣшусь толковать, напримѣръ, о техническихъ по-

дробностяхъ обученія грамотѣ: я въ жизнь свою никого не училъ ни по буквослагательному, ни по звуковому методу. Но не на подобнаго рода вещахъ сосредоточивается интересъ затѣянной гр. Толстымъ распри. Вопросъ поставленъ имъ такъ широко, что и профану найдется что сказать. Передо мной на столѣ лежатъ цѣлыя кучи самыхъ разнообразныхъ педагогическихъ сочиненій. Вотъ брошюра г. Мѣдникова (редактора спеціальнаго журнала «Народная школа»), разбирающая статью гр. Толстого. Г. Мѣдниковъ человѣкъ сердитый, за правду стоитъ горой, острить напропалую и такъ и сыплетъ словами: клевета, полузнайство, морочитъ, отсталые взгляды. Я былъ бы вполнѣ готовъ съ священнымъ трепетомъ внимать глаголамъ этого спеціалиста. Но что же мнѣ дѣлать, когда я ясно вижу, что логика его далеко не соотвѣтствуетъ ни степени его остроумія, ни силѣ выраженій. Напримѣръ, онъ дѣлаетъ слѣдующую выписку изъ статьи гр. Толстого: «всѣ педагоги этой школы, въ особенности нѣмцы, основатели ея, исходятъ изъ той ложной мысли, что тѣ самые философскіе вопросы, которые оставались вопросами для всѣхъ философовъ отъ Платона до Канта, разрѣшены ими окончательно. Разрѣшены такъ окончательно, что процессъ пріобрѣтенія человѣкомъ впечатлѣній, ощущеній, представленій, понятій, умозаключеній разобранъ ими до мельчайшихъ подробностей; что составныя части того, что мы называемъ душою или сущностью человѣка, анализироавны ими, подраздѣлены на части и такъ основательно, что уже на этомъ твердомъ знаніи безошибочно можетъ строиться наука педагогіи... Но тѣ философскія разсужденія, которыя педагоги этой школы кладутъ въ основу своей теоріи, не только не абсолютно вѣрны, не только не имѣютъ ничего общаго съ дѣйствительной философіей, но даже и не имѣютъ никакого яснаго, опредѣленнаго выраженія, съ которымъ большинство педагоговъ было бы единомысленно». — Противъ этого можно бы было возразить многое, но уже никакъ не то, что возражаетъ г. Мѣдниковъ. Всѣхъ его возраженій приводить не стоитъ. Достаточно сказать, что изъ приведенныхъ словъ онъ выводитъ съ побѣдоносно насмѣшливымъ видомъ слѣдующее: «оказывается, говоритъ онъ, что существуютъ двѣ философіи: одна съ Платономъ и Кантомъ, которой такъ слѣпо и фальшиво слѣдуютъ педагоги, и другая *дѣйствительная*, безъ Платона и Канта, которую не вѣдаютъ педагоги». Какимъ образомъ это оказывается изъ приведенныхъ словъ гр. Толстого,—это извѣстно одному г. Мѣдникову. Логически и грамматически изъ нихъ слѣдуетъ сдѣлать выводъ діаметрально противоположный, ибо, если вопросы, оставшіеся вопросами для Платона и Канта, порѣшены педагогами, то, значитъ, Платонъ и Кантъ сами по себѣ, а педагоги сами по себѣ. А между тѣмъ г. Мѣдниковъ и еще разъ шалитъ на ту же тему. Гр. Толстой говоритъ: «Народъ допускаетъ двѣ области знанія, самыя точныя и не подверженныя колебаніямъ отъ различныхъ взглядовъ,—языки и математику, а все остальное считаетъ пустяками». По этому поводу г. Мѣдниковъ шалитъ слѣдующимъ образомъ: «любопытно однако знать, откуда нашъ народъ могъ убѣдиться, что только *языки и математика* (замѣтьте не счетъ, не ариѳметика, а математика!), дѣйствительно, самыя точныя *области знанія и не подверженныя никакимъ колебаніямъ?*» Какъ будто гр. Толстой отъ имени народа называетъ языки и математику областями знанія самыми точными и проч.! Я не знаю, стоитъ ли приводить еще образцы критики этого шалуна, очевидно не понимающаго того, что ему говорятъ, и храбро махающаго картоннымъ мечомъ въ пустомъ пространствѣ; впрочемъ, сдѣлаю еще одну выписку. Г. Мѣдниковъ такъ передаетъ и комментируетъ разсказъ гр. Толстого объ одной изъ ошибокъ, допущенныхъ на педагогическомъ опытѣ испытательной коммиссіи московскаго комитета грамотности: «Третья ошибка состояла въ томъ, что г. Протопоповъ, руководитель въ звуковой школѣ, отступалъ (ну не злодѣй ли?) отъ пріемовъ, которые гр. Толстой считаетъ вредными, но которые считаются необходимымъ условіемъ обученія при звуковой методѣ. Отступленіе это заключалось, во-первыхъ, въ томъ, что г. Протопоповъ (сущій врагъ гр. Толстого!) не преподавалъ наглядnаго обученія (ну, скажите, пожалуйста!), а во-вторыхъ, онъ давалъ своимъ ученикамъ книги читать и на домъ (вѣдь не уголовное ли преступленіе!) и въ-третьихъ, что онъ давалъ не исключительно руководства педагоговъ звуковой методы, а «Азбуку» и «Ясную Поляну» самого графа (за это подъ судъ его, подъ судъ!)». Такъ шалитъ издатель спеціально-педагогическаго журнала... Идите съ миромъ, шалунъ! Впрочемъ нѣтъ, подождите еще, не уходите.

Habent sua fata libelli. Пятнадцать лѣтъ тому назадъ графъ Л. Н. Толстой издавалъ спеціально-педагогическій журналъ. Этого журнала и въ обществѣ, и въ литературѣ не замѣчали или трунили надъ нимъ. Были (помнится, въ журналѣ «Время», а можетъ и еще гдѣ-нибудь) отзывы, сочувственные какъ положительной, такъ и отрицательной сторонѣ педагогической дѣятельности гр. Толстого. Но, въ концѣ-концовъ, его педагогическія воззрѣнія оказались все-таки

явленіемъ, пропущеннымъ нашей критикой». Вліянія, я полагаю, они не имѣли никакого и ни въ какомъ смыслѣ. И во всякомъ случаѣ это вліяніе не можетъ идти ни въ какое сравненіе съ впечатлѣніемъ, произведеннымъ статьей гр. Толстого «О народномъ образованіи», напечатанной въ № 9 «Отечественныхъ Записокъ» за прошлый годъ. Въ этой статьѣ, какъ говоритъ самъ авторъ, какъ говорятъ всѣ его противники (его сторонники этого не говорятъ), какъ оно въ дѣйствительности и есть, выражаются въ сущности тѣ же мысли, что выражались пятнадцать лѣтъ тому назадъ въ журналѣ «Ясная Поляна». Но «Ясная Поляна», выражаясь языкомъ школьниковъ, «провалилась», а на долю статьи «Отечественныхъ Записокъ» выпалъ такой громадный успѣхъ, какимъ едва ли можетъ похвалиться какое бы то ни было литературное явленіе прошлаго года: силы нашихъ извѣстнѣйшихъ педагоговъ напряженнѣйшимъ образомъ сосредоточились на опроверженіи или защитѣ положеній и отрицаній гр. Толстого; засѣданія педагогическаго общества никогда не привлекали такого огромнаго числа посѣтителей, какъ въ дни пререканій гг. Страннолюбскаго и Евтушевскаго объ «Азбукѣ» гр. Толстого и статьѣ «Отечественныхъ Записокъ»; въ обществѣ подъ вліяніемъ этой статьи появилось по свидѣтельству г. Евтушевскаго «рѣзкое порицаніе всего новаго направленія педагогики»; наконецъ, газеты всѣхъ партій, всѣхъ цвѣтовъ и оттѣнковъ съ небывалымъ единодушіемъ стали на сторону педагогической ереси гр. Толстого. И надо еще замѣтить, что гр. Толстой отнюдь не принадлежитъ къ числу баловней нашей критики. Правда, ни въ обществѣ, ни въ литературѣ нѣтъ разногласій въ оцѣнкѣ его выходящаго изъ ряда вонъ беллетристическаго таланта, но почти столь же единогласно рѣшена и подписана его несостоятельность, какъ мыслителя. Особенно для насъ замѣчательна эта двойственность репутаціи гр. Толстого. Правильна она или нѣтъ, но она свидѣтельствуетъ по крайней мѣрѣ о совершенномъ безпристрастіи критики. Я разумѣю критику болѣе или менѣе популярную, вліятельную. Есть у гр. Толстого поклонники безусловные, но всѣ, даже самые эти поклонники согласятся, я думаю, что не они создали ходячее представленіе о гр. Толстомъ, какъ писателѣ. Гр. Толстой стоялъ всегда внѣ нашихъ литературныхъ партій, къ нему относились безъ всякихъ заднихъ мыслей, одобряя, по крайнему своему разумѣнію, все достойное одобренія въ его произведеніяхъ и порицая достойное порицанія. Этимъ совершенно чистымъ отъ журнальнаго сора путемъ установилась двойственная репутація гр. Толстого. При такихъ обстоятельствахъ невольно рождается вопросъ: почему же мысли, отчасти не замѣченныя, отчасти даже осмѣянныя двадцать лѣтъ тому назадъ, сдѣлались вдругъ такъ популярны? Вопросъ, мнѣ кажется, высокой важности. Я не имѣю отвѣта, я ищу его. Я думалъ найти его въ многочисленныхъ возраженіяхъ на статью гр. Толстого, но не встрѣтилъ ничего подходящаго. Я началъ, наконецъ, сомнѣваться — дѣйствительно ли важенъ поставленный мною вопросъ? Можетъ быть, въ качествѣ журналиста, необходимо жертвующаго значеніемъ произведенія an und für sich тому впечатлѣнію, которое оно производитъ на общество, я задумался надъ дѣломъ, совершенно второстепеннымъ, пустячнымъ. Но чѣмъ больше я объ этомъ думалъ, тѣмъ больше убѣждался, что я правъ, что поставленный мною вопросъ очень интересенъ, очень важенъ, важенъ даже для поднятаго гр. Толстымъ спеціально педагогическаго вопроса. Я ошибся, впрочемъ, говоря, что ничего подходящаго не нашелъ. Попытку объясненія впечатлѣнія статьи «Отечественныхъ Записокъ» я встрѣтилъ и въ упомянутой брошюрѣ г. Мѣдникова, представляющей, повидимому, отдѣльный оттискъ статьи журнала «Народная школа». Вотъ какъ разъясняетъ дѣло г. Мѣдниковъ: «Появись статья не за подписью гр. Толстого, какъ всѣмъ извѣстнаго писателя, и при томъ не въ «Отечественныхъ Запискахъ», журналѣ весьма извѣстномъ и распространенномъ, а въ какомъ-нибудь болѣе скромномъ органѣ печати — она не только не обратила бы никакого вниманія, а была бы еще отнесена къ числу непослѣдовательныхъ, лишенныхъ логическихъ основаній, странныхъ, эксцентричныхъ, бьющихъ на искусственную оригинальность; скажемъ болѣе, такихъ, подъ которою (такихъ, подъ которою?) не подписался бы ни одинъ изъ постоянныхъ сотрудниковъ «Отечественныхъ Записокъ», А между тѣмъ статья эта удостоилась единодушныхъ похвалъ почти всѣхъ газетъ». Я потому останавливаюсь на этомъ намекѣ на объясненіе, что онъ принадлежитъ не одному г. Мѣдникову. Почти такъ же смотритъ на дѣло редакція журнала «Семья и Школа» (№ 10, примѣчаніе къ письму г. Бунакова). То же самое я слыхалъ и въ обществѣ. Мысль г. Мѣдникова, повидимому, столь лестная, а въ сущности очень нелестная для постоянныхъ сотрудниковъ «Отеч. Записокъ», есть мысль совершенно вздорная. Приложеніе къ «Войнѣ и миру» подписано тѣмъ же гр. Толстымъ, и однако оно ничьихъ похвалъ не удостоилось. Въ свою очередь и «Отеч. Записки» отнюдь не пользуются тою благосклонностью

газетной критики, которая подразумѣвается г. Мѣдниковымъ. Весьма многія статьи нашихъ постоянныхъ сотрудниковъ отнесены этою критикою «къ числу непослѣдовательныхъ, лишенныхъ логическихъ основаній, странныхъ, эксцентричныхъ, бьющихъ на искусственную оригинальность». Положимъ, что въ этомъ обстоятельствѣ виноваты разныя закулисныя стороны литературы, тѣ самыя закулисныя стороны, которыя почти никогда не имѣли мѣста въ оцѣнкѣ произведеній гр. Толстого. Но все-таки въ основаніе объясненій г. Мѣдникова положенъ фактъ не существующій. Что же касается до утвержденія его, что ни одинъ изъ постоянныхъ сотрудниковъ «Отечественныхъ Записокъ» не подписался бы подъ статьей гр. Толстого, то оно рѣшительно неосновательно. И съ чего г. Мѣдниковъ вздумалъ, что редакція «Отечественныхъ Записокъ» напечатала бы статью гр. Толстого, еслибы она въ общемъ не была согласна съ ея собственными взглядами? Объ этомъ стоитъ сказать два, три слова. «Отечественныя Записки», какъ и всякій другой журналъ, не могутъ, разумѣется, брать на себя полную отвѣтственность за все въ нихъ печатаемое. Условія нашей печати для этого слишкомъ неблагопріятны. Я разумѣю не одни цензурныя условія, а и количество и качество наличныхъ литературныхъ силъ. Достойный вниманія фактическій матеріалъ, талантливость его обработки и извѣстная точка зрѣнія на вещи,— вотъ три фактора всякой журнальной статьи. Къ сожалѣнію гармоническое сочетаніе этихъ трехъ факторовъ не составляетъ заурядnаго явленія. Всякому журналу приходится печатать вещи или только ради ихъ богатаго фактическаго содержанія, или только ради таланта автора. Послѣднее обстоятельство обусловливаетъ чаще всего, разумѣется, беллетристическій отдѣлъ журнала. Но и тутъ матеріалъ и точка зрѣнія автора все-таки не могутъ опускаться изъ виду. Напримѣръ, съ этой же книжки «Отечественныхъ Записокъ» начинается печатаніе романа г. Достоевскаго «Подростокъ». Въ немъ читатель найдетъ (т. е. уже нашелъ, потому что, безъ сомнѣнія, прочиталъ романъ г. Достоевскаго раньше моихъ замѣтокъ) сцену у Дергачева, гдѣ молодые люди ведутъ какой-то странный политическій разговоръ. Въ сценѣ есть нѣкоторыя подробности, весьма напоминающія недавнее дѣло (напримѣръ, присутствіе въ обществѣ молодого крестьянина, слова: «надо жить по закону природы и правды» и т. п.). Я уже говорилъ однажды, именно по поводу «Бѣсовъ», о странной и прискорбной маніи г. Достоевскаго дѣлать изъ преступныхъ дѣяній молодыхъ людей, немедленно послѣ ихъ раскрытія, изслѣдованія и наказанія, тему для своихъ романовъ. Повторять все это тяжело да и не нужно. Скажу только, что редакція «Отечественныхъ Записокъ» въ общемъ раздѣляетъ мой взглядъ на манію г. Достоевскаго. И тѣмъ не менѣе «Подростокъ» печатается въ «Отечественныхъ Запискахъ». Почему? Во-первыхъ, потому, что г. Достоевскій есть одинъ изъ нашихъ талантливѣйшихъ беллетристовъ, во-вторыхъ, потому, что сцена у Дергачева со всѣми ея подробностями имѣетъ чисто эпизодическій характеръ. Будь романъ на этомъ именно мотивѣ построенъ, «Отечественныя Записки» принуждены были бы отказаться отъ чести видѣть на своихъ страницахъ произведеніе г. Достоевскаго, даже еслибъ онъ былъ геніальный писатель. Но это только къ слову. Не могу однако удержаться отъ одного замѣчанія, совершенно посторонняго и къ дѣлу не идущаго, но меня толкаетъ случайное сопоставленіе именъ гр. Л. Толстого и г. Достоевскаго. Я не помню, чтобы кому либо изъ нашихъ критиковъ приходило на мысль изучать ихъ вмѣстѣ, параллельно, а это было бы весьма плодотворно. Оба они заняты въ своихъ произведеніяхъ психологическимъ анализомъ, но свѣтлый, ровный, жизнерадостный міръ одного и мрачный, исключительный, напряженный, мистическій міръ другого, могли бы очень рельефно взаимно оттѣниться. Прошу у читателя прощенія за это замѣчаніе и возвращаюсь къ статьѣ гр. Толстого. Статья эта отнюдь не можетъ быть причислена къ журнальному матеріалу, за который редакція не отвѣтственна. Для этого она слишкомъ рѣзка, слишкомъ опредѣленна и затрогиваетъ слишкомъ общіе и вмѣстѣ съ тѣмъ живые, насущные вопросы. Поэтому г. Мѣдниковъ можетъ смѣло взять назадъ свой якобы комплиментъ постояннымъ сотрудникамъ «Отеч. Записокъ».

Итакъ, единственное найденное мною объясненіе неожиданнаго успѣха статьи гр. Толстого никуда не годится. Можетъ быть, этотъ любопытный фактъ разъяснится самъ собой, попутно, при разсмотрѣніи возраженій на статью гр. Толстого.

Позиція профана въ педагогикѣ имѣетъ двѣ несомнѣнныя и очень важныя выгоды. Во-первыхъ, педагогъ учитъ и воспитываетъ чужихъ дѣтей, а профанъ отдаетъ ему своихъ, слѣдовательно, собственно говоря, гораздо болѣе педагога заинтересованъ въ дѣлѣ. Во-вторыхъ, не имѣя никакой теоріи воспитанія и обученія, профанъ тѣмъ паче не имѣетъ теоріи особливо излюбленной. Я не говорю, чтобы это были выгоды безусловныя, особенно вторая: для этого я самъ слишкомъ теоретикъ. Нѣтъ, невыгоды отсутствія теоріи очень велики, но я имѣю въ виду только выгодную сторону этого отсутствія. А эта выгодная сторона несомнѣнно

существуетъ. Дѣло извѣстное, что всякій спеціалистъ склоненъ къ виртуозности, къ оторванности отъ своихъ собственныхъ основныхъ, жизненныхъ задачъ, къ тому, что у насъ называется искусствомъ для искусства. Извѣстенъ даже процессъ, который приводитъ къ этой метаморфозѣ. Процессъ этотъ бываетъ или историческій, совершающійся въ цѣломъ ряду поколѣній, или чисто личный. Дѣло происходитъ обыкновенно такъ. Въ извѣстномъ племени, народѣ, обществѣ, изъ его ли собственной среды или изъ пришельцевъ слагается маленькая кучка счастливо одаренныхъ людей, подслушавшихъ и подсмотрѣвшихъ нѣсколько секретовъ природы. Секреты неважные: какая-нибудь лекарственная трава, совпаденіе какого-нибудь метеорологическаго явленія съ появленіемъ или исчезновеніемъ какого-нибудь питательнаго вещества и т. п. Но обладатели ихъ все-таки могутъ дѣлать нѣкоторыя предсказанія, нѣчто предвидѣть и тѣмъ улучшать свое матеріальное положеніе. Затѣмъ они дѣлаютъ предсказанія и другимъ и не даромъ, а за извѣстныя услуги; ихъ знаніе оплачивается профанами, сами они исполняютъ выраженные или не выраженные заказы профановъ. На этой второй ступени развитія спеціальности, кругъ знаній все расширяется, формируется, подводится подъ извѣстныя рубрики и т. д. Наступаетъ третья ступень: знаніе получаетъ цѣнность само по себѣ, безъ отношенія къ тѣмъ матеріальнымъ выгодамъ, которыя оно дастъ, и даже къ тѣмъ практическимъ вопросамъ, которые оно способно и призвано разрѣшать. Скоро, конечно, сказка сказывается, и не скоро дѣло дѣлается,—многіе и многіе вѣка на это уходятъ, — но, въ концѣ концовъ, получается иногда удивительное явленіе: знаніе, совершенно оторванное отъ жизни и не имѣющее ровно никакой цѣны; знаніе, самому себѣ довлѣющее, знаніе, такъ сказать, въ себя влюбленное, знаніе — Нарцисъ. Не трудно видѣть, что каково бы ни было это довлѣющее себѣ знаніе въ чисто теоретической области (намъ до этого здѣсь нѣтъ дѣла), въ примѣненіи къ практикѣ оно необходимо должно оказаться незнаніемъ. Самъ спеціалистъ, увлеченный потокомъ прогрессивнаго развитія жажды знанія, можетъ и не замѣтить, что онъ

Mit gier'ger Hand nach Schätzen gräbt
Und froh ist, wenn er Regenwürmer findet!

Но профану, какъ человѣку жизни, какъ заказчику, этого нельзя не замѣтить. Приходитъ профанъ къ гетевскому Вагнеру и говоритъ: я охранялъ тебя отъ враговъ внѣшнихъ и внутреннихъ, я строилъ твой домъ, одѣвалъ, обувалъ и кормилъ тебя. Смотри — хорошо ли я исполнялъ свои обязанности относительно тебя; но, ученый мужъ, отдай мнѣ свой долгъ, расплатись со мной: просвѣти меня, удѣли мнѣ частицу того священнаго огня, который ты, благодаря мнѣ, охраняешь и поддерживаешь. Ученый мужъ отвѣчаетъ: перво-на-перво брось вульгарный, чисто животный способъ дѣланія дѣтей; я теперь занятъ проектомъ искусственнаго, химическаго, чисто научнаго способа фабрикаціи людей; когда я добьюсь окончательнаго результата, я сообщу тебѣ свой секретъ. Что тутъ дѣлать профану? Положимъ, онъ до такой степени профанъ, что не можетъ оцѣнить по достоинству теоретическую сторону задачи Вагнера. Но онъ не можетъ не понимать, что ея практическая сторона есть порожденіе полнаго незнанія человѣческой природы. Что же ему остается дѣлать, какъ не оттолкнуть Вагнера, какъ не выкинуть его изъ счета свѣдущихъ работниковъ, солидарныхъ между собою... Длинный историческій процессъ, породившій Вагнера, можетъ иногда уложиться въ предѣлы жизни одной личности. Мы сплошь и рядомъ видимъ ученыхъ и художниковъ, выступающихъ съ жаждою не только знанія и красоты, а и блага профановъ, но къ концу своего поприща запутывающихся въ ненужныхъ и безсмысленныхъ завитушкахъ своей спеціальности.

Нѣтъ необходимости, чтобы въ историческомъ процессѣ развитія какой-нибудь отрасли человѣческаго вѣдѣнія имѣли мѣсто всѣ бѣгло мною намѣченные моменты развитія жажды знанія. Весьма часто всѣ средніе моменты пропускаются, и извѣстная отрасль знанія переходитъ, такъ сказать, отъ молочныхъ зубовъ непосредственно къ гнилымъ, утѣшая себя мыслью, что послѣдніе суть зубы мудрости. Говоря безъ метафоръ, бываетъ такъ, что извѣстный кругъ знаній, еще не сложившись въ науку, еще не открывъ и не объяснивъ законовъ подлежащихъ его вѣдѣнію явленій, имѣя въ своемъ распоряженіи всего, собственно говоря, нѣсколько примѣтъ, нѣсколько чисто эмпирическихъ свѣдѣній,—уже обращается въ науку Вагнера. Такая наука придаетъ важное значеніе вещамъ, не имѣющимъ ровно никакой важности, и знать не хочетъ вещей первостепенной важности. Такъ именно смотритъ на педагогику гр. Толстой. Справедливъ ли его приговоръ?

Надо замѣтить, что возражатели на статью гр. Толстого готовы признать за ней извѣстную долю справедливости. Напримѣръ, въ брошюрѣ г. Евтушевскаго «Отвѣтъ на статью графа Л. Толстого» говорится: «Что касается отрицательной части статьи, нельзя во многомъ не согласиться съ авторомъ. Онъ дѣйствительно хорошо подмѣтилъ и остроумно,

хотя нѣсколько преувеличенно, указалъ злоупотребленія новѣйшими способами обученія дѣтей» (стр. 4). Авторъ признаетъ также, что «за всякимъ новымъ дѣломъ по пятамъ идетъ спекуляторское отношеніе къ нему людей, во всемъ видящихъ наживу. Результатомъ такого отношенія къ новому педагогическому дѣлу было появленіе многихъ учебниковъ и компиляцій, якобы педагогическихъ, которые не выясняютъ новаго дѣла, а только извращаютъ его» (5). Въ другомъ мѣстѣ, возражая на замѣчаніе графа Толстого о разногласіи самихъ педагоговъ по вопросамъ: чему учить? и какъ учить? г. Евтушевскій говоритъ: «согласіе встрѣчаемъ мы между педагогами и образованными людьми въ Германіи, гдѣ начальная школа однообразна для всѣхъ сословій. Такое согласіе встрѣчаемъ во многихъ нашихъ молодыхъ школахъ, гдѣ дѣло ведется людьми, подготовленными къ своему дѣлу. Что же касается дѣйствительно существующаго разногласія между русскими педагогами, то оно объясняется тѣмъ, что въ послѣднее время у насъ развилось великое множество педагоговъ-самоучекъ, такъ называемыхъ автодидактовъ (подобно доморощеннымъ аблакатамъ), эксплоатирующихъ и извращающихъ новое дѣло. Но такое явленіе неизбѣжно, особенно въ Россіи, гдѣ всякій считаетъ себя способнымъ взяться за всякое дѣло и дѣйствуетъ по наитію врожденныхъ способностей» (18). Послѣднія слова представляютъ повидимому шпильку гр. Толстому, но, оставляя этотъ шпилечный смыслъ въ сторонѣ, мы видимъ, что г. Евтушевскій охотно выдаетъ головой кое-кого изъ своихъ собратовъ. Онъ требуетъ только, чтобы не по этимъ плевеламъ судили о самомъ методѣ новѣйшей педагогіи. Это требованіе, конечно, резонное, хотя г. Евтушевскій къ сожалѣнію не сообщаетъ никакихъ признаковъ, по которымъ можно было бы отличить плевелы отъ пшеницы. Впрочемъ, въ данномъ случаѣ это, пожалуй, и не нужно, потому что гр. Толстой цитируетъ не мелкоту какую-нибудь, а исключительно звѣздъ первой величины,— самого г. Евтушевскаго и г. Бунакова. И вообще, упрекъ г. Евтушевскаго, что гр. Толстой не касается самаго метода обученія, вовсе несправедливъ. Прежде всего гр. Толстой даже указываетъ нѣкоторыя достоинства новаго метода. Такъ онъ говоритъ: «Въ общемъ новая школа отстранила нѣкоторые недостатки, изъ которыхъ главные— лишній прибавокъ къ согласной и заучиваніе наизусть опредѣленій, и въ этомъ имѣетъ преимущество передъ старымъ способомъ и даетъ въ чтеніи и письмѣ иногда лучшіе результаты; но зато внесла новые недостатки, состоящіе въ томъ, что содержаніе чтенія есть самое безсмысленное, и въ томъ, что ариѳметика, какъ ученіе, уже совершенно не преподается» («О. З.» 1874 г., № 9, 172). Любопытно, что возражатели съ особенною силой напираютъ на слова гр. Толстого: ни у русскихъ, ни у иностранныхъ педагоговъ я не нашелъ отвѣта на вопросы: чему учить? и какъ учить? я убѣдился даже, что вопросы эти для педагогіи, какъ науки, не существуютъ. Это-то уже кажется критика не той или другой частности, не того или другого злоупотребленія новѣйшими способами обученія дѣтей. Господамъ возражателямъ надлежало парировать эту критику, а не «кивать на Петра». Но парировать господа возражатели не могли, потому что они даже не поняли замѣчанія гр. Толстого. Напримѣръ, г. Евтушевскій, приведя упомянутыя слова гр. Толстого, съ чрезвычайно хитрымъ и вмѣстѣ побѣдоноснымъ видомъ преподноситъ ему списокъ русскихъ и иностранныхъ педагогическихъ сочиненій, въ которыхъ, дескать, вопросы: какъ учить? и чему учить? разрѣшаются. Очевидно, гр. Толстой потому не нашелъ отвѣтовъ на эти вопросы, что и не искалъ ихъ, ибо русскіе и иностранные педагоги толкуютъ объ нихъ много и дѣльно. Я думаю однако, что гр. Толстой не сказалъ бы, что читалъ педагогическія книжки, еслибы онъ ихъ не читалъ, да вѣдь и не Богъ знаетъ какая это мудрость. Я думаю, что г. Евтушевскій просто не понялъ словъ гр. Толстого. Убѣждаетъ меня въ этомъ слѣдующее. Поразивъ своего противника спискомъ сочиненій, въ которыхъ вопросы, чему и какъ учить, разрѣшаются, г. Евтушевскій, для вящшаго подтвержденія своей мысли и опроверженія мысли гр. Толстого, дѣлаетъ краткій очеркъ исторіи педагогики. Онъ дѣлитъ ее на три періода, причемъ третій характеризуется такъ: «Придавая равное значеніе какъ формальной, такъ и матеріальной цѣли обученія, педагоги этого періода (послѣдней формаціи, какъ ихъ насмѣшливо называетъ наша печать) развитіе умственныхъ способностей учащагося ставятъ въ зависимость отъ содержанія науки и отъ процесса познанія учащимися законовъ науки въ стройной педагогической системѣ. Содержаніе учебнаго предмета и методъ его сообщенія учащимся зависитъ отъ соотвѣтствія учебнаго матеріала съ возрастомъ и развитіемъ учащагося. Обученіе начинается съ укрѣпленія, поясненія и обобщенія тѣхъ знаній, которыя дѣти приносятъ въ школу. Ученикъ сознательно воспринимаетъ содержаніе предмета, а не на вѣру—одною памятью; самъ дорабатывается», и т. д., и т. д. Что это такое? Зачѣмъ г. Евтушевскій говоритъ все это? Неужели въ поученіе гр. Толстому? Послѣдній вѣдь очень хорошо пони-

мастъ и неоднократно говоритъ, что «каждый педагогъ извѣстной школы твердо вѣритъ, что тѣ пріемы, которые онъ употребляетъ, суть наилучшіе». Зачѣмъ же г. Евтушевскій печатаетъ свою рекламу новой педагогикѣ? Это именно только реклама, говорящая, что въ новой школѣ все идетъ прекрасно. Но вѣдь въ этомъ-то и вопросъ. Не рекламировать надо, а *показать научныя основы* извѣстныхъ педагогическихъ пріемовъ. Фабриканты Ждановы, рекламируя свою воздухоочистительную жидкость, говорятъ, что она превосходно очищаетъ зараженный воздухъ. Съ своей стороны фабриканты карболовыхъ препаратовъ утверждаютъ, что ихъ фабрикаты дѣйствуютъ несравненно лучше. Но и тѣ, и другіе только рекламируютъ. Доказать же свои объявленія они могутъ не голымъ описаніемъ превосходныхъ свойствъ своихъ продуктовъ, а опытомъ и раціональнымъ объясненіемъ дѣйствія фабрикатовъ. Приведите мнѣ полное и добросовѣстное описаніе опытовъ и въ особенности покажите мнѣ результаты химическаго анализа, который показалъ, что дезинфекція происходитъ на основаніи такихъ-то и такихъ-то дознанныхъ законовъ химическаго сродства. Отъ фабрикантовъ воздухоочистительныхъ жидкостей подобныхъ доказательствъ требовать нельзя, но отъ педагоговъ можно и должно. Пусть они назовутъ тѣ законы психологическихъ и физіологическихъ явленій, которые они примѣняютъ къ обученію дѣтей. Притомъ же г. Евтушевскій въ своей рекламѣ совершенно невѣрно изображаетъ дѣло. У него выходитъ такъ, какъ будто педагоги «новѣйшей формаціи» составляютъ нѣчто единое и цѣлое, какъ будто между ними нѣтъ никакихъ или, по крайней мѣрѣ, рѣзкихъ разногласій. Но положеніе вещей вовсе не таково. Въ этомъ легко убѣдиться при чтеніи любого педагогическаго сочиненія, не чисто догматическаго, а удѣляющаго часть своего вниманія критикѣ и полемикѣ.

Возьмемъ статью «Обученіе русской грамотѣ», напечатанную въ октябрьской и ноябрьской книжкахъ «Семьи и Школы» за прошлый годъ. Статья эта составлена редакціей «по Миропольскому». Редакцію «Семьи и Школы» и г. Миропольскаго г. Евтушевскій не назоветъ ни автодидактами, ни людьми, гоняющимися за наживой, ни злоупотребителями новѣйшихъ способовъ обученія. Эти люди авторитетные. Послушаемъ же ихъ. Статья начинается прямо съ такихъ репримандовъ: «Мы далеки отъ того положенія, когда понятія о методахъ обученія вырабатались съ достаточною ясностью и, принятыя въ теоріи и на практикѣ, не возбуждаютъ противорѣчивыхъ толковъ, взаимно другъ друга отрицающихъ. Мы страдаемъ теперь не недостаткомъ методовъ, а ихъ обиліемъ. Пересматривая массу нашихъ азбукъ, легко убѣдиться, что имѣя великое множество «методъ», мы не выработали еще *одного* правильнаго, разумнаго метода, который бы удовлетворялъ *вполнѣ* всѣмъ требованіямъ современной дидактики. Не говоря уже о «столпянцахъ» (находящихся внѣ вмѣняемости), готовыхъ каждую манипуляцію, каждое движеніе возвести въ «методъ» и носиться съ нимъ, какъ съ писаной торбой, по пословицѣ; даже въ средѣ педагоговъ понятія о раціональномъ способѣ обученія грамотѣ весьма сбивчивы и неопредѣленны... Взять хоть «методъ» (яко бы) Золотова: каковъ онъ по существу—звуковой или буквенный? Баронъ Корфъ многими считается за знатока методовъ обученія грамотѣ; но вотъ что онъ отвѣчаетъ намъ: «метода Золотова *стоитъ между* буквослагательною и звуковою». «Стоитъ между»—это очень хорошо; это все равно, что сидѣть между двухъ стульевъ—положеніе, говорятъ, не вполнѣ спокойное. Однако же въ этомъ «стоитъ между» сказывается совершенное непониманіе почтеннымъ авторомъ «Нач. Школы» существа «методы» Золотовской» (№ 10, 117). Вотъ какъ описываютъ положеніе вещей спеціалисты. Я не знаю кому собственно принадлежатъ приведенныя слова—редакціи «Семьи и Школы» или г. Миропольскому, но для удобства разговора буду считать всю статью, принадлежащею перу г. Миропольскаго; кстати редакція заявляетъ, что статья проредактирована г. Миропольскимъ особо для «Семьи и Школы». Очевидно, картина, нарисованная г. Миропольскимъ, весьма мало соотвѣтствуетъ рекламѣ г. Евтушевскаго. А ужъ г. Миропольскаго онъ автодидактомъ не назоветъ. Это человѣкъ, проглотившій многое множество педагогической премудрости. Для характеристики его, какъ ученаго, можетъ на первый разъ служить слѣдующее ничтожное, но все-таки очень любопытное обстоятельство. Въ статьѣ его *два раза* (№ 10, 120, и № 11, 167) повторяется такая цитата: «Въ школьной жизни, говоритъ Дистервегъ, нѣтъ ничего хуже затишья. Движеніе — признакъ жизни. Кто принимаетъ участіе въ изслѣдованіяхъ и преніяхъ, кто принадлежитъ къ испытывающимъ и все провѣряющимъ, тотъ, очевидно, стремится овладѣть истиной». Изреченіе, собственно говоря, совершенно вѣрное, но развѣ не могъ г. Миропольскій выразить заключенную въ немъ мысль отъ себя? Когда писатель въ подтвержденіе своихъ словъ цитируетъ другого писателя, то это дѣлается по одному изъ двухъ соображеній: либо цитата представляетъ вѣское слово спеціалиста *въ его спеціальности*, либо извѣстная мысль выражена въ

ней особенно удачно, ярко, сильно. Въ настоящемъ случаѣ оба резона не имѣютъ мѣста; мысль выражена Дистервегомъ крайне тяжело и неудобоваримо, что, можетъ быть, зависитъ отъ перевода; слова его имѣютъ къ его спеціальности столько же отношенія, какъ и ко всякой другой; ихъ могъ бы сказать и Кузьма Прутковъ, и Ньютонъ, и Наполеонъ, и Платонъ, и любой нѣмецкій колбасникъ, и любой англійскій лордъ. Какое же такое особенное значеніе могутъ они имѣть для г. Миропольскаго, который на пространствѣ нѣсколькихъ листовъ съ такимъ апломбомъ приводитъ ихъ два раза. Magister dixit! вотъ и все. Совершенно незначительныя слова Дистервега, представляющія общее мѣсто, достойное прописей, цитируются г. Миропольскимъ два раза единственно потому, что это слово Дистервега. Повторяю, это обстоятельство ничтожное, мелочь, но все-таки эта мелочь даетъ нѣкоторое понятіе о г. Миропольскомъ, какъ ученомъ, Можно думать, что онъ бываетъ froh, wenn er Regewürmer findet и что его отношенія къ наукѣ при всей почтительности не особенно правильны. Но, скажетъ читатель, г. Миропольскій довольно грозную атаку повелъ противъ нашихъ педагогическихъ авторитетовъ, вонъ какъ знаменитаго барона Корфа отдѣлалъ. Да, это правда. Но подождите конца похода. Въ той педагогической неурядицѣ, которую описалъ г. Миропольскій, его больше всего возмущаетъ не отсутствіе *одного* правильнаго, разумнаго метода, удовлетворяющаго и т. д., а такія обстоятельства, какъ приписываніе золотовской методы Золотову, тогда какъ она изобрѣтена Жакото; приписываніе какого-то третьестепеннаго пріема обученія грамотѣ барону Корфу, тогда какъ онъ изобрѣтенъ Стефани и Зельтзамомъ и т. п. Вообще, г. Миропольскій, повидимому, только потому сердитъ на своихъ собратовъ, что они сидятъ не въ должномъ порядкѣ. Ему отнюдь не приходитъ въ голову извѣстный крыловскій стихъ о пересаживающихся музыкантахъ («а вы, друзья, какъ ни садитесь, все въ музыканты не годитесь»). Нѣтъ, ему кажется, что онъ сдѣлаетъ большую услугу наукѣ, если дастъ каждому педагогу возможность правильно называть тотъ методъ обученія, который имъ употребляется. Подобно тому мольеровскому герою, который довольно поздно узналъ, что онъ всю жизнь говорилъ прозой, наши педагоги должны получить отъ г. Миропольскаго этикетки съ точнымъ обозначеніемъ ихъ собственныхъ методовъ. Начинается классификація методовъ, коихъ оказывается семь; буквосочетательный, букворазлагательный, слогосоставительный, слогоразлагательный, звуковой синтетическій, звуковой аналитическій, звуковой синкретическій. Такимъ образомъ, всѣ методы уставлены въ ранжиръ, и изъ рядовъ выскакиваетъ, какъ беззаконная комета среди расчисленныхъ свѣтилъ, только какой-то странный методъ «буквосочетанія звуковъ или звукосочетанія». (№ 10, 123). Куда вы лѣзете, баронъ! покрикиваетъ г. Миропольскій, важно прохаживаясь передъ фронтомъ, у васъ своего метода вовсе нѣтъ, вы синтетическій звуковикъ! Г. Золотовъ, равняйтесь, сюда пожалуйте, въ звуковой апалитическій! вотъ тамъ, гдѣ Зельтзамъ, Вейнгардъ, Шольцъ, Фибль, Прейсъ стоятъ... Естественное дѣло, что такого знатока методовъ стоитъ спросить, какого метода онъ держится самъ. Г. Миропольскій предвидитъ этотъ вопросъ и обязательно отвѣчаетъ: «пусть будетъ полная свобода въ выборѣ метода обученія грамотѣ, но пусть выборъ дѣлается *сознательно*, на вѣрныхъ и серьезно обдуманныхъ *основаніяхъ*, а не «по прихоти случайной», не на вѣру и авторитетъ, не на (по?) преданіе и рутинное желаніе охранять statu quo во имя собственнаго спокойствія, лѣни, инерціи» (№ 10, 120). Замѣтьте, сколько фальши и педантства въ этихъ красивыхъ, хоть и не совсѣмъ грамматически расположенныхъ, словахъ. Ученый мужъ классифицировалъ всѣ методы обученія грамотѣ. Я спрашиваю его, который же мнѣ выбрать? Онъ отвѣчаетъ: выбирайте любой, вы совершенно свободны, но выбирайте *на вѣрныхъ основаніяхъ*. Сказалъ ли онъ мнѣ что нибудь? Нѣтъ, ровно ничего не сказалъ. Онъ только замазалъ мой вопросъ красивымъ негодованіемъ противъ лѣни и инерціи, безсознательности и необдуманности. Что методъ, выбранный на *вѣрныхъ* основаніяхъ, *вѣренъ*, это я и безъ него зналъ: мнѣ нужны были указанія его, ученаго мужа, въ чемъ именно состоятъ вѣрныя основанія выбора. Какъ же не сказать вмѣстѣ съ гр. Толстымъ, что у педагоговъ просятъ хлѣба, а они даютъ камень? Впрочемъ, вслѣдъ затѣмъ ученый мужъ снисходительно замѣчаетъ, что «здѣсь не лишне (еще бы лишне!) сказать о критеріи для выбора метода обученія грамотѣ, о чемъ высказываются различныя мнѣнія и существуютъ заблужденія». Ну вотъ, слава Богу! Сейчасъ различіе мнѣній, а тѣмъ паче заблужденія будутъ устранены, и вопросъ о методѣ прояснится. Но увы! читатель опять получаетъ камень вмѣсто куска хлѣба! Поговоривъ о томъ, что природа «идетъ медленно спѣша» и что природа «творитъ свое дѣло, по выраженію поэта, безъ спѣха, безъ отдыха», г. Миропольскій заключаетъ: «Методъ обученія долженъ быть *развивающимъ*, а все обученіе *воспитывающимъ*, оба же *согласны съ природой* и ходомъ *естественнаго* развитія дитяти; вотъ

критерій для оцѣнки правильнаго метода обученія грамотѣ». Достойно замѣчанія, что именно подчеркнутыя г. Миропольскимъ слова, т.-е. тѣ, которымъ онъ придаетъ особенное значеніе, лишены всякаго опредѣленнаго содержанія. Читатель, привыкшій къ сакраментальнымъ словечкамъ, въ родѣ *естественный* ходъ развитія дитяти, *согласное съ природой* обученіе и т. п., можетъ сердиться, сколько угодно, г. Миропольскій тоже, но я утверждаю, что и читатель, и г. Миропольскій не понимаютъ приведеннаго опредѣленія критерія.

Я позволю себѣ уклониться на одну минуту отъ бесѣды съ г. Миропольскимъ и сказать два слова съ другими педагогами, именно, съ гг. А. и Я. Симоновичъ. Эти педагоги, если не ошибаюсь, издатели «Дѣтскаго Сада», люди, мимоходомъ сказать, относящіеся къ своему дѣлу крайне серьезно и добросовѣстно, издали въ прошломъ году сборникъ статей изъ «Дѣтскаго Сада» подъ заглавіемъ «Практическія замѣтки объ индивидуальномъ и общественномъ воспитаніи малолѣтнихъ дѣтей». Въ предисловіи къ первому тому сборника читаемъ: «Изъ нѣкоторыхъ статей мы выпустили то, что не соотвѣтствуетъ болѣе научнымъ взглядамъ. Такъ напримѣръ, вопросъ о наслѣдственности съ того времени пріобрѣлъ силу, а въ первомъ изданіи мы полагали, что ребенокъ—это tabula rasa, что изъ него можетъ выйти, что угодно воспитателю или окружающей средѣ. Въ этомъ изданіи взглядъ этотъ измѣненъ; ребенокъ уже при рожденіи имѣетъ извѣстную индивидуальность» (XI). На оберткѣ сборника значится, что въ него вошли статьи изъ «Дѣтскаго Сада» за 1866, 1867 и 1868 г. Слѣдовательно, весьма существенные изъ взглядовъ гг. Симоновичъ на *естественный* ходъ развитія дѣтей радикально измѣнились въ нѣсколько лѣтъ. И они объ этомъ прямо заявляютъ и дѣлаютъ нужныя по ихъ мнѣнію поправки въ своихъ теоріяхъ. Такая прямота, такая откровенность и готовность поступаться своими взглядами, разъ они оказываются невѣрными, весьма рѣдко встрѣчаются между педагогами. Большею частію они издаютъ свои учебники, трактаты и руководства вторымъ, третьимъ изданіемъ, вовсе не справляясь съ движеніемъ настоящей, признанной науки, открывающей и объясняющей законы явленій. Благодаря гр. Толстому, я перечиталъ много русскихъ педагогическихъ сочиненій и, за исключеніемъ Ушинскаго, не встрѣтилъ ссылокъ, напримѣръ, на новѣйшую англійскую психологію или на теорію Дарвина (зато же Ушинскій и считается между педагогами восьмымъ чудомъ свѣта). Попадаются въ литературѣ указанія на этнологію, какъ на подспорье педагогики, но этихъ указаній слѣдуетъ искать не въ педагогической литературѣ. Говоря это, я разумѣю преимущественно нашихъ наиболѣе выдающихся, «знаменитыхъ» педагоговъ. Чѣмъ болѣе педагогъ «знаменитъ», тѣмъ рѣже встрѣчаются у него свидѣтельства его знакомства съ движеніемъ науки. Это не оттого происходитъ, что педагоги, подобно Эпикуру, не любятъ цитировать. Совсѣмъ напротивъ. Мы видѣли при какихъ обстоятельствахъ г. Миропольскій цитируетъ Дистервега. Г. Евтушевскій въ своемъ отвѣтѣ гр. Толстому даже совсѣмъ ни къ селу, ни къ городу Instauratio magna Бэкона упомянулъ. Нѣтъ, педагоги, напротивъ, очень любятъ ссылаться на авторитеты, но это авторитеты или спеціально педагогическіе (тутъ ужъ всякое лыко, всякій Фибль, Шольцъ идетъ въ строку), или очень старые психологическіе (позже Гербарта рѣдко, а большею частью дѣло не идетъ дальше Локка). Изъ новыхъ поминается иногда Спенсеръ, но нѣтъ ссылокъ на его «Основанія психологіи», а только на статьи о воспитаніи. Изъ этого слѣдуетъ, кажется, заключить, что педагоги наши съ настоящей собственно наукой вовсе незнакомы и не желаютъ знакомиться. Г. Миропольскій, напримѣръ, до такой степени мало знакомъ съ исторіей мысли, что однажды въ педагогическомъ обществѣ во всеуслышаніе заявилъ: «я никогда не встрѣчалъ другого такого геніальнаго мыслителя, какъ Коменскій» (педагогъ XVI вѣка). Вотъ Моисей и пророки! Педагоги вполнѣ полагаются на тѣ посредствующіе, большею частью нѣмецкіе, чисто педагогическіе авторитеты, которые, вѣроятно, по ихъ мнѣнію, извлекли уже все нужное изъ біологіи и психологіи. Они до такой степени вѣлись съ одной стороны въ безсодержательныя фразы, а съ другой въ мелкія педагогическія примѣты и ощупью находимые рецепты, что не считаютъ нужнымъ хоть время отъ времени освѣжать свои познанія тѣми изслѣдованіями, на которыхъ по ихъ собственнымъ словамъ строится все зданіе педагогики. Они очень много толкуютъ о естествѣ и о психологіи, но полагаютъ, что, осѣдлавъ Локка, можно на немъ ѣздить до скончанія вѣка. Вотъ почему я и указываю на серьезное и добросовѣстное отношеніе къ дѣлу гг. Симоновичъ. Теперь посмотримъ, что извлекли гг. Симоновичъ изъ Дарвина. На стр. Ш того же предисловія напечатано: «Дарвинъ доказалъ, что особенности организма передаются по наслѣдству потомству и не только особенности физическія, но и нравственныя. Дарвинъ, цитируя всевозможныхъ авторовъ, писавшихъ о наслѣдственности, приводитъ поразительные случаи передачи потомству рѣдкихъ и оригинальныхъ физическихъ особенностей. Нрав-

ственныя качества, лежащія въ основѣ общественности, какъ-то дружелюбіе, любовь къ ближнему, вѣрность и т. п., тоже передаются по наслѣдству. *По теоріи естественнаго подбора люди рождаются съ наклонностью къ хорошей нравственности, ибо они унасльдываютъ тѣ качества, которыми владѣютъ потомки, живущіе въ обществѣ*; всѣ люди, не обладающіе элементарными нравственными качествами, необходимыми для жизни въ общественной средѣ, гибнутъ, не дают отъ себя потомства (тутъ, разумѣется, не одно поколѣніе, а нѣсколько). Поэтому мы должны разсматривать каждаго рождающагося ребенка не какъ tabulam rasam, индиферентное существо; нѣтъ, ребенокъ уже обладаетъ извѣстною индивидуальностью, обусловленною качествами родителей, прародителей и расположенною уже къ извѣстнымъ хорошимъ нравственнымъ качествамъ». Все это очень наивно (вся книга проникнута наивностью), а подчеркнутая мною фраза даже лишена смысла. Но я вижу тутъ, по крайней мѣрѣ, искреннее желаніе наполнить то пустое пространство, даже плохо огороженное, надъ которымъ высится красивая вывѣска: естественное развитіе дитяти. Ничего подобнаго у г. Миропольскаго нѣтъ. Онъ говоритъ: развитіе, естественный ходъ, согласный съ природой,—даже, повидимому, не подозрѣвая, что это слова, слова, слова, пустыя формы, получающія значеніе только по тому опредѣленному содержанію, которое въ нихъ вкладывается Петромъ, Иваномъ, Сидоромъ. Петръ, Иванъ, Сидоръ обязаны сказать, что̀ именно разумѣютъ они подъ этими словами, иначе они ровно ничего не сказали и никакой разговоръ съ ними невозможенъ. Я очень радъ, что могу сослаться на жемчужину русскихъ педагоговъ, Ушинскаго, который дѣйствительно понималъ свое дѣло несравненно шире всѣхъ гг. Миропольскихъ, Евтушевскихъ и Бунаковыхъ. На стр. VII предисловія къ первому тому его «Педагогической антропологіи» говорится: «Мы имѣемъ полное право спросить воспитателя, какую цѣль онъ будетъ преслѣдовать въ своей дѣятельности, и потребовать на этотъ вопросъ яснаго и категорическаго отвѣта; мы не можемъ въ этомъ случаѣ удовольствоваться общими фразами, вродѣ тѣхъ, какими начинаются большею частью нѣмецкія педагогики. Если намъ говорятъ, что цѣлью воспитанія будетъ сдѣлать человѣка *счастливымъ*, то мы въ правѣ спросить, что такое разумѣетъ воспитатель подъ именемъ *счастья*... Та же самая неопредѣленность будетъ и тогда, если на вопросъ о цѣли воспитанія отвѣчаютъ, что оно хочетъ сдѣлать человѣка *лучше*, *совершеннѣе*... Изъ этой неопредѣленности не выходитъ воспитаніе и тогда, когда говоритъ, что хочетъ воспитывать человѣка *сообразно его природѣ*. Гдѣ же мы найдемъ эту нормальную человѣческую природу, сообразно которой хотимъ воспитывать дитя? Руссо, опредѣлившій воспитаніе именно такимъ образомъ, видѣлъ эту природу въ дикаряхъ и притомъ въ дикаряхъ, созданныхъ его фантазіей».—Не странно ли, что многоученый г. Евтушевскій считаетъ теоріи Руссо пройденною ступенью въ педагогикѣ, а многоученый г. Миропольскій выражаетъ критерій воспитанія тѣми же буквально словами, которыми выражалъ его Руссо? Вся разница въ томъ, что Руссо вкладывалъ въ слова «согласно съ природой» вѣрное или невѣрное, но совершенно опредѣленное содержаніе, а г. Миропольскій не вкладываетъ никакого. Это ли прогрессъ педагогики?

Покончивъ съ критеріемъ, г. Миропольскій переходитъ къ изложенію звуковыхъ методовъ. Здѣсь читатель найдетъ удивительно полный ассортиментъ курьезовъ, монстровъ и раритетовъ, цѣлый маленькій музей. Не все въ немъ принадлежитъ самому г. Миропольскому; но все изобрѣтено и изготовлено тѣмъ или другимъ болѣе или менѣе авторитетнымъ педагогомъ. Я заставляю читателя скучать, мнѣ и самому скучно возиться со всей этой педантской дребеденью. Поэтому я приведу изъ музея г. Миропольскаго возможно малое количество монстровъ и раритетовъ. Я затрудняюсь только въ выборѣ, все хорошо, все одинаково оправдываетъ жесткій приговоръ гр. Толстого: вопросы—какъ учить? и чему учить? для педагогіи, какъ науки, не существуютъ. Благодаря статьѣ г. Миропольскаго, мы имѣемъ цѣлую галлерею портретовъ людей, умственно и нравственно изломанныхъ и точно старающихся перещеголять другъ друга въ изломанности. Вотъ люди, и между ними есть крупные авторитеты, чуть ли даже не Дистервегъ и Любенъ, совѣтующіе «для болѣе отчетливаго усвоенія звукового матеріала грамоты» разсказывать дѣтямъ, что̀ происходитъ съ языкомъ, глоткой, дыханіемъ при произношеніи буквъ. Нѣкоторые даже изобрѣтаютъ особенную терминологію и вмѣсто *а* говорятъ: «ротъ широко!» вмѣсто *е*: «поднимп языкъ!» вмѣсто *і*: «языкъ вверхъ!» вмѣсто *о*: «ротъ кругло!» вмѣсто *у*: «ротъ просто впередъ!». Ради Вольфганга, Ратихія и Амоса Коменскаго, зачѣмъ это? почему это?—Вотъ педагогъ Газеръ, очень хорошій, очень знаменитый педагогъ. Онъ придумалъ, что письмо есть ни что иное, какъ изображеніе различныхъ положеній нашего рта при произношеніи звуковъ; что напримѣръ буква *о* есть изображеніе круглаго положенія рта при произношеніи звука, что *r* есть такое же изображеніе прикасающагося къ верхней части неба языка при произношеніи этого

звука и т. п. Это, конечно, штука очень забавная и даже не лишенная остроумія, но все-таки только штука, каковою ее признаетъ и г. Миропольскій. — Вотъ самъ Миропольскій, совѣтующій «при изученіи» двугласныхъ (ай, ой) «заставлять ученика произнести одинъ за другимъ звуки, напримѣръ, *а* и *и*; потомъ — заставлять повторять ихъ произношеніе, постепенно *ускоряя*, пока они сами собой не перейдутъ въ звукъ *ай*. Или можно получить тотъ же результатъ такимъ путемъ: протягиваютъ гласную, положимъ *а*, и затѣмъ *вдругъ* коротенько прибавляютъ *и*, которое неизбѣжно при такомъ звукосочетаніи обращается въ ***краткое й*** (*ай*)». Какая въ самомъ дѣлѣ отличная штука! (она мнѣ почему-то гармонику напоминаетъ) и какую возвышенную радость долженъ былъ испытывать многоученый Вагнеръ-Миропольскій, изобрѣтя этотъ «пріемъ» (можетъ быть, даже «методъ») изученія двугласныхъ! — Вотъ очень ученый и недавно умершій педагогъ Фогель. Объ этомъ удивительномъ человѣкѣ стоитъ поговорить нѣсколько дольше. Въ своемъ методѣ обученія чтенію, говоритъ г. Миропольскій, онъ выходитъ изъ общеизвѣстнаго факта, что дѣти ничего не пишутъ съ такою охотой, ничѣмъ такъ не восхищаются, какъ умѣньемъ писать «*свое имя*» («С. и П.» № 11, 157). Я прошу читателя запомнить эту исходную точку Фогеля. Взамѣнъ обѣщаю, что это уже будетъ послѣдняя экскурсія въ кунсткамеру г. Миропольскаго. Итакъ, дѣти любятъ писать свое имя. *Поэтому* Фогель составилъ особенный букварь съ картинками, извѣстный подъ названіемъ Fischbuch'a, потому что первая картина въ немъ изображаетъ рыбу (Fisch). Съ этой рыбой идутъ такого рода упражненія.

«Учитель спрашиваетъ: «Что это такое?» Ученики, конечно, отвѣчаютъ: «это рыба». Учитель нѣсколько разъ громко и раздѣльно заставляетъ произнести данное слово. Фогель обращаетъ вниманіе на произношеніе учащихся, что при звуковомъ обученіи имѣетъ несомнѣнно важное значеніе. Произношеніе должно быть: а) чистое и членораздѣльное, b) медленное и явственное, c) громкое и выразительное, такъ чтобы произносимыя учениками слова соотвѣтствовали свойству выражаемой ими мысли. Общее правило: «хоромъ отвѣчать всегда тихо и въ тактъ; одиночно — громко, для всего класса, а не подъ носъ себѣ».—«Отвѣты учениковъ должны быть даваемы всегда въ видѣ цѣлыхъ предложеній». Увѣрившись, что слово *рыба* всѣ ученики произносятъ ясно и отчетливо, учитель переходитъ къ предметной бесѣдѣ о рыбѣ. «Гдѣ живетъ рыба?»—(Рыба живетъ въ водѣ). «Какъ рыба попала на классную доску?»—(На доскѣ рыба нарисована). «Поэтому, какая эта рыба»?—(Это нарисованная рыба). «Какъ называется (указывая на голову) эта часть рыбы?» — (Это голова рыбы). «Сколько глазъ у рыбы?»—«Сколько глазъ у каждаго изъ насъ?»—«Покажите правый глазъ!»—«Лѣвый!»—«Для чего служатъ глаза?»—«Слѣдовательно, что могутъ рыбы дѣлать глазами?» *Рыбы могутъ видѣть.*—«Повторите хоромъ всѣ этотъ отвѣтъ!»—«Слышатъ ли рыбы?» (Молчаніе). «Чѣмъ мы слышимъ?»—«Посмотрите, есть ли у рыбы уши?»—«Ахъ, бѣдная рыба вѣрно не слышитъ, потому что наружныхъ ушей у рыбы не видно. Говорите всѣ: у рыбы наружныхъ ушей нѣтъ!» (въ тактъ).—«Не жалѣйте, впрочемъ, о рыбѣ, можетъ быть, она и слышитъ. Есть маленькая рыбка, которая подплываетъ къ намъ, когда мы позвонимъ въ колокольчикъ. Замѣчено также, что всякій шумъ рыбу пугаетъ и она уходитъ отъ шума въ глубь воды. Что изъ этого можно заключить?»—*Рыбы слышатъ.* «Повторите хоромъ отвѣтъ! Говорите: «рыбы могутъ видѣть, могутъ слышать». «А нюхаетъ ли рыба?»—(Молчаніе). «Чѣмъ мы нюхаемъ (обоняемъ)?»—«Поищите носъ у рыбы».—«Ахъ, мы не находимъ у рыбы носа!» «Говорите: *у рыбы нѣтъ носа!* (хоромъ подъ тактъ)». И т. д.

Еслибы я не боялся надоѣсть читателю хуже горькой рѣдьки, я бы привелъ еще изъ одной старой статьи гр. Толстого указаніе, что нѣмецкіе педагоги ухитряются еще и не такія мученія продѣлывать надъ дѣтьми при помощи «фишъ-буха». То, что приводитъ (и одобряетъ) г. Миропольскій, не смотря на всю свою безсмысленность, не можетъ даже и въ сравненіе идти съ разсказомъ графа Толстого. Надо видѣть, чтобы вѣрить. (См. сочиненія Толстого, т. IV, стр. 54 и слѣд.). Съ меня довольно. Я напоминаю только, что исходная точка всего метода Фогеля есть тотъ «общеизвѣстный фактъ, что дѣти ничѣмъ такъ не восхищаются, какъ умѣньемъ писать *свое имя*». Какъ эта совершенно опредѣленная исходная точка вяжется съ пыткой надъ фишъ-бухомъ — г. Миропольскій не объясняетъ...

Статья г. Миропольскаго въ качествѣ кунсткамеры представляетъ особенныя удобства для ознакомленія съ той безпорядочной кучей общихъ мѣстъ, лишенныхъ всякаго содержанія, и мелкихъ рецептовъ вродѣ метода изученія двухгласныхъ (а—и, а—и, ай), съ той безпорядочной кучей, которая называется педагогикой. Но въ томъ, что современная педагогика дѣйствительно не наука и не искусство, а какая-то игрушечная лавка (впрочемъ игрушки въ ней достаются кошкамъ-педагогамъ, а на долю мышекъ-ребятъ выпадаютъ слезки), читатель можетъ убѣдиться и изъ весьма многихъ другихъ педагогическихъ сочиненій. А между тѣмъ, какимъ апломбомъ, какимъ невѣроятнымъ чувствомъ собственнаго достоинства проникнуты эти фабриканты игрушекъ для собственнаго развлеченія! Напримѣръ, тотъ самый г. Миропольскій, который такъ либерально предоставлялъ учителю полную свободу выбора метода обученія, пишетъ: «Нечего и прибавлять, что при соединеніи гласныхъ и согласныхъ — учитель всего болѣе долженъ беречься *звуко-*

сочетанія, — эта зараза вкрадывается незамѣтно, а устраняется съ большими затрудненіями». Почему звукосочетаніе—зараза, а фишъ-бухъ—не зараза? Въ другомъ мѣстѣ, приведя какую-то бесѣду г. Паульсона, далеко лучшую фишъ-буха и ничѣмъ не худшую всякихъ другихъ педагогическихъ рецептовъ, г. Миропольскій восклицаетъ: «Неудачнѣйшій изъ неудачныхъ пріемовъ!» Наконецъ, тотъ же г. Миропольскій заявилъ однажды въ педагогическомъ обществѣ: «Въ то время, какъ мы здѣсь обсуждаемъ этотъ вопросъ (рѣчь шла о баллахъ), рѣшенія его нетерпѣливо ожидаютъ въ отдаленныхъ мѣстностяхъ нашего обширнаго отечества». И вотъ среди этихъ-то людей, самодовольныхъ до безобразія, вполнѣ увѣренныхъ, что они призваны вязать и рѣшить, кокетничающихъ другъ передъ другомъ и передъ зеркаломъ, копающихся въ мелочныхъ и ни на чемъ не основанныхъ, совершенно произвольныхъ положеніяхъ и отрицаніяхъ, является графъ Толстой съ очень простымъ и яснымъ вопросомъ: каковы научныя основанія вашей дѣятельности? Понятно, что уже одинъ этотъ вопросъ, произнесенный властно и возвышеннымъ голосомъ (будь онъ заданъ мирно и тихо, на него не обратили бы вниманія) долженъ былъ взбудоражить муравейникъ. Однако, до сихъ поръ изъ муравейника не раздалось еще ни одного настоящаго, т. е. прямого отвѣта. Возраженія направлены главнымъ образомъ или на замазываніе заданнаго вопроса, или на огражденіе собственной личности (г. Евтушевскаго, г. Бунакова), или на другія стороны статьи графа Толстого, сторопы также высокой важности. Графъ Толстой говоритъ педагогамъ: ваши дѣйствія, ваши руководства, ваши методы и пріемы не имѣютъ за себя никакого научнаго оправданія. Но если бы даже они были дѣйствительно вполнѣ научны, и вы могли бы подвести подъ каждое свое предписаніе извѣстные, наукой дознанные законы явленій, — васъ не хочетъ знать народъ; я съ своей стороны, не зная иного критерія педагогики, признаю въ этомъ дѣлѣ верховнымъ авторитетомъ волю народа.

Педагоги были возмущены и оскорблены до глубины души. И я это понимаю. Какъ! Ихъ рѣшеній «нетерпѣливо ждутъ въ различныхъ мѣстностяхъ нашего обширнаго отечества»; они изучили не только такого геніальнаго мыслителя, какъ Амосъ Коменскій, но и Шольца, и Шмальца, и Фибля, и Крибля,—и ихъ зовутъ на судъ профановъ! Они, уже открывшіе секретъ искусственнаго приготовленія дѣтей по самому естественному методу, должны прислушиваться къ голосу невѣжественныхъ людей, не имѣющихъ ни малѣйшаго понятія не только объ Амосѣ Коменскомъ, но и о Шольцѣ, и Шмальцѣ! Конечно, такой возмутительной вещи можетъ потребовать только обскурантъ, ретроградъ, поборникъ тьмы, невѣжества и попятнаго движенія! Я понимаю это настроеніе многоученыхъ педагоговъ. Я понимаю, что буквоѣду Вагнеру, увѣровавшему à force de forger, что изъ его реторты вотъ-вотъ выскочитъ гомункулъ, тяжело и даже невозможно признать, что 1) всѣ его пріемы совершенно ненаучны и что 2) еслибы они и были научны, то люди-профаны не пожелаютъ имѣть сношенія съ его гомункуломъ. Пусть приходитъ человѣкъ семи пядей во лбу, пусть онъ цѣлый годъ сряду, не переставая, убѣждаетъ Вагнера краснорѣчивѣйшими доводами, Вагнеръ останется непоколебимъ. Онъ будетъ барахтаться и отбрыкиваться до изнеможенія, потому что сдайся онъ—и ему жить нечѣмъ, не только въ переносномъ смыслѣ, духовномъ, но и прямо въ матеріальномъ: если все общество, всѣ профаны убѣдятся, что гомункулъ есть вздоръ, профаны откажутся содержать его, ему придется искать другого поприща дѣятельности, а онъ ничего кромѣ своего притотовленія гомункула не знаетъ. Можетъ быть, даже очень вѣроятно, что яснаго сознанія этихъ опасностей у Вагнера нѣтъ, но тѣмъ не менѣе они такъ близки, что онъ ихъ инстинктивно чуетъ. Поэтому, говоря въ своихъ запискахъ о педагогахъ, я отнюдь не имѣю въ виду убѣдить самихъ этихъ ученыхъ мужей,—это былъ бы совершенно напрасный трудъ; я имѣю въ виду только тѣхъ читателей, которые по старой памяти о нынѣ уже увы! поблекшемъ ореолѣ, окружающемъ нашихъ педагоговъ, не вникая въ дѣло сами, повѣрили бы господамъ педагогамъ на-слово.

Прежде всего укажу на практическую сторону требованія графа Толстого. Недавно одинъ пріѣзжій изъ провинціи человѣкъ, совершенно чуждый педагогическимъ вопросамъ, но народъ знающій, разсказывалъ мнѣ слѣдующее. Въ деревнѣ открылась школа, была приглашена учительница, кажется, воспитанница семинаріи. Желающихъ учиться набралось сразу столько, что школа оказалась полнымъ полна. Въ торжественный день открытія школы, послѣ разныхъ церемоній, происходилъ первый пробный урокъ, при которомъ, кромѣ почетныхъ посѣтителей, присутствовали и родители учениковъ, преимущественно бабы. Бабы эти осадили прежде всего учительницу, молоденькую барышню, просьбами приглядѣть «за моимъ-то», «моего-то, вотъ что въ углу сидитъ» хорошенько обучить. Барышня, видимо тяготясь этими докуками,

отвѣчала однако любезно. Наконецъ, бабъ успокоили. Начинается урокъ. Учительница спрашиваетъ: «ну, дѣти, куда вы пришли?»— Нѣкоторые молчатъ, нѣкоторые говорятъ: учиться, въ училище, въ школу. — «Нѣтъ, нѣтъ, не такъ. Поднимите лѣвыя руки и всѣ вмѣстѣ заразъ говорите: мы пришли въ школу».—Послѣ длинной возни съ лѣвой рукой и «хоровымъ отвѣтомъ» учительница спросила, гдѣ полъ, гдѣ потолокъ и т. д., не выпуская изъ виду ни лѣвыхъ рукъ, ни хоровыхъ отвѣтовъ. Тянулась эта исторія очень долго. Мой знакомый, чуждый, какъ я сказалъ, педагогикѣ, былъ въ большомъ недоумѣніи и наконецъ ушелъ. Слѣдомъ за нимъ ушло нѣсколько бабъ, которыя были еще въ большемъ недоумѣніи. Они обратились къ нему съ вопросами: какое же это ученіе, на ученіе будто не похожее? Дальнѣйшей исторіи школы я не знаю, но мой знакомый полагаетъ, что мужики и бабы скоро разберутъ своихъ дѣтей, и школа опустѣетъ. Конечно, мужики и бабы невѣжественны, но что же прикажете дѣлать, если учить крестьянскихъ ребятишекъ по превосходнѣйшимъ и вполнѣ естественнымъ методамъ, приближающимся къ фишъ-буху, значитъ разогнать учениковъ? Очевидно, что если и допустить, что знаніе педагоговъ есть дѣйствительно знаніе въ теоретическомъ смыслѣ (чего однако допустить нельзя), то въ примѣненіи къ практикѣ оно обращается въ совершенное незнаніе, ибо приводитъ къ совершенно непредвидѣннымъ результатамъ. Знать что-нибудь — вѣдь это почти то же, что предвидѣть результаты этого чего-нибудь. Наши педагоги очень часто толкуютъ объ исторіи педагогики, т. е. о томъ, какъ Шмальцъ улучшилъ методъ Шольца, но они никогда не говорятъ объ исторіи народнаго образованія. А между тѣмъ это предметъ по малой мѣрѣ не менѣе интересный и вдобавокъ соприкасающійся прямо съ жизнью тѣхъ профановъ, для которыхъ собственно Шмальцъ и улучшилъ методъ Шольца. Я посовѣтовалъ бы педагогамъ не побрезгать хоть недавно вышедшей книгой г. Владимірскаго-Буданова «Государство и народное образованіе въ Россіи XVIII вѣка». Изъ нея они увидѣли бы, какъ трудно быть насильно милымъ народу. Изо всѣхъ педагоговъ практическую сторону поднятаго графомъ Толстымъ вопроса принялъ во вниманіе только г. Страннолюбскій, пользующійся въ Петербургѣ, какъ преподаватель математики, большою извѣстностью, хотя и не сочинившій никакой методики. 2-го ноября прошлаго года г. Страннолюбскій читалъ въ педагогическомъ обществѣ отчетъ о «Счетѣ», части «Азбуки» графа Толстого. Онъ высказалъ при этомъ о педагогическихъ пріемахъ графа Толстого весьма лестное мнѣніе. Хотя особенно цѣнны взгляды г. Страннолюбскаго, какъ спеціалиста, на ариѳметику графа Толстого, но весь его отчетъ долженъ быть признанъ образцовымъ по ясности, доказательности и логичности. Между прочимъ, въ отчетѣ говорится: «Мнѣ случалось лично присутствовать при обученіи грамотѣ и счету въ школахъ, устроенныхъ для рабочихъ и притомъ городскихъ, слѣдовательно, настроенныхъ, по отношенію къ школѣ, болѣе благопріятно, сравнительно съ сельскимъ населеніемъ. Я замѣтилъ слѣдующій фактъ. При открытіи школы она сразу наполнялась массою учениковъ. На первыхъ урокахъ обнаруживалось самое напряженное и усиленное вниманіе къ дѣлу. Видно было, что народъ дѣйствительно желаетъ учиться; но, мало-по-малу, вниманіе и усердіе ослабѣвали, зачастую слышались даже жалобы, что учатъ не тому, чему нужно. Классы рѣдѣли, и школа должна была дѣлать уступки или плестись черезъ пень въ колоду, а иногда приходилось даже закрывать нѣкоторые классы, потому что они умирали, такъ сказать, естественною смертью. Родители, а черезъ нихъ и ученики, приступая къ изученію грамоты, ожидаютъ, что ихъ начнутъ учить читать, покажутъ имъ буквы, научатъ ихъ соединять эти буквы въ слоги, затѣмъ въ слова и т. д., и сдѣлаютъ это приблизительно какъ нибудь въ томъ родѣ, какъ они объ этомъ слышали отъ своихъ грамотныхъ собратьевъ. А вмѣсто того они видятъ, что ихъ начинаютъ учить шикать, шипѣть, жужжать, мычать, словомъ, воспроизводить множество звуковъ, можетъ быть, и совершенно необходимыхъ при обученіи чтенію по звуковому методу. но, тѣмъ не менѣе, представляющихся ученикамъ занятіемъ, чуждымъ той цѣли, для которой они пожертвовали своимъ отдыхомъ, а иногда и заработкомъ».

Я былъ на томъ засѣданіи педагогическаго общества, когда г. Страннолюбскій говорилъ свою любопытную рѣчь. Въ противоположность большинству произведеній нашихъ педагоговъ, въ рѣчи этой совсѣмъ не было ни общихъ мѣстъ, ни ссылокъ на сомнительные педагогическіе авторитеты. Г. Страннолюбскій говорилъ просто и дѣльно въ настоящемъ смыслѣ этого слова—ничего ненужнаго и неумѣстнаго. Не всѣ однако такъ смотрѣли. За мной сидѣли какія-то двѣ барыни, которыя когда дѣло дошло до выписаннаго мною изъ отчета г. Страннолюбскаго мѣста, не безъ ехидства шептали: «уклоняется, уклоняется!» Это было бы, конечно, очень смѣшно, когда бы не было такъ грустно. Послѣ уже я узналъ, что около

именъ гг. Евтушевскаго и Страннолюбскаго, какъ наиболѣе видныхъ петербургскихъ преподавателей математики, группируются какія-то партіи,—сидѣвшія за мной барыни были, вѣроятно, «евтушистки» и, можетъ быть, принадлежатъ къ числу готовящихся на роли учительницъ. Но какъ же у нихъ, значитъ, выворочены головы, если онѣ самую суть дѣла могли принять за уклоненіе отъ него! Вотъ истинная зараза, а не какое-то тамъ звукосочетаніе. Существованіе маленькой группы влюбленныхъ въ себя педагоговъ-Нарцисовъ само по себѣ еще не составляетъ большой бѣды. Зрѣлище это даже не лишено нѣкотораго увеселительнаго характера. Но эти Нарцисы размножаются въ ужасающей прогрессіи. Каждый Нарцисъ дастъ толчекъ нѣсколькимъ Нарцисикамъ, а тѣ въ свою очередь плодятся и множатся. Вмѣстѣ съ тѣмъ научное и практическое значеніе педагогики убываетъ въ прогрессіи, не менѣе ужасающей. Наглядно этотъ порядокъ вещей можетъ быть представленъ такъ:

Ушинскій смотрѣлъ на свое дѣло широко, по крайней мѣрѣ, въ теоретическомъ отношеніи (я знаю только его «Антропологію»), обладалъ большой эрудиціей, серьезно и добросовѣстно старался подыскать научныя основанія педагогикѣ, изучалъ подлинныхъ психологовъ, біологовъ и философовъ и, кажется, не особенно высоко цѣнилъ педагогическіе рецепты и примѣты.

Отъ Ушинскаго пошли гг. Евтушевскіе, Миропольскіе, Бунаковы и проч. Они тоже обладаютъ большою эрудиціей, которая однако уже сортомъ пониже. Мы видѣли, что Коменскій есть для г. Миропольскаго самый геніальный мыслитель, какого онъ когда-нибудь «встрѣчалъ». Платонъ и Аристотель, Кантъ и Контъ, Спиноза и Юмъ—все это идетъ уже за Коменскимъ и даже, вѣроятно, за Дистервегомъ, а можетъ быть, и за Шольцемъ и Шмальцемъ. Г. Евтушевскій въ своей «Методикѣ ариѳметики» (стр. 4) цитируетъ педагога Диттеса для подтвержденія, что «субстанція души такъ сокрыта отъ насъ, какъ сущность свѣта, теплоты, электричества». Но кому какое дѣло до того, что это сказалъ Диттесъ? Эту совсѣмъ не спеціально педагогическую мысль высказывали люди не Диттесу чета, люди, обозначившіе собою извѣстныя ступени развитія философской мысли. Ихъ-то и слѣдовало цитировать, если уже тутъ нужна была цитата. Но этихъ людей г. Евтушевскій не знаетъ, а Диттеса, ученика учителей и даже, можетъ быть, ученика учениковъ — знаетъ. Поэтому г. Евтушевскій весьма почтительно относится даже къ ничтожнѣйшимъ изъ спеціально педагогическихъ авторитетовъ и въ тоже время необыкновенно развязно выказываетъ совершенно вздорныя или, по крайней мѣрѣ, несовмѣстимыя мысли изъ области философіи и психологіи. Такъ, въ своемъ отвѣтѣ графу Толстому и въ «Методикѣ ариѳметики» онъ очень развязно утверждаетъ, что «со времени Локка и Гербарта психологія выбилась изъ оковъ схоластики и метафизики»; что душа ребенка представляетъ «чистую таблицу» (tabula rasa); что «математическія аксіомы можно считать врожденными человѣку» и еще многое въ этомъ родѣ или вѣрнѣе въ этихъ весьма несходныхъ родахъ.

Отъ г. Евтушевскаго идутъ «евтушисты». Эти люди, вѣроятно, признаютъ г. Евтушевскаго (а можетъ быть, г. Миропольскаго) самымъ геніальнымъ мыслителемъ, какого они только встрѣчали, хотя, впрочемъ, другихъ встрѣчъ они не искали; превосходно знаютъ новѣйшихъ русскихъ педагоговъ и цитируютъ ихъ съ тою же почтительностью, съ какой тѣ въ свою очередь цитируютъ Дистервега и Диттеса; но уже не обезпокоиваютъ себя изученіемъ не только тѣхъ мыслителей первой величины, которыхъ изучалъ Ушинскій, а даже излюбленныхъ ихъ учителями нѣмецкихъ педагоговъ. Это, впрочемъ, не мѣшаетъ представителямъ третьяго періода развитія на Руси педагогики говорить о нѣмецкихъ педагогахъ съ такою же развязностью, съ какою г. Евтушевскій говоритъ о врожденности математическихъ аксіомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ о дѣтской душѣ, какъ о «чистой таблицѣ». Въ № 229 «Биржевыхъ вѣдомостей» за прошлый годъ приведены образцы сочиненій народныхъ учителей, писанныхъ ими на рязанскихъ лѣтнихъ учительскихъ съѣздахъ. Одинъ писалъ (орѳографія подлинника): «Перейдя лужокъ и нашедъ множество насѣкомыхъ, показываемая дѣти, всмотрѣвшись и объяснивъ, происхожденіе, пользу или вредъ и части, какъ то учитъ знаменитый Песталоцій и Урстъ»...

Можетъ быть, это писалъ не прямо «евтушистъ», а ученикъ евтушиста, значитъ, представитель еще четвертаго поколѣнія. Возможна, наконецъ, и такая ступень паденія, на которой педагоги будутъ весьма хорошо знать и помнить ничтожнѣйшія изреченія какого-нибудь Иванова или Петрова изъ «евтушистовъ», но вмѣстѣ съ тѣмъ не сумѣютъ грамотно написать даже фамилію г. Евтушевскаго, не говоря ужъ о Дистервегѣ и Шольцѣ, а тѣмъ паче о Локкѣ или Гербартѣ. Въ такомъ случаѣ получается извѣстная градація спеціальнаго образованія «привидѣннаго и мечтательнаго, отъ котораго вкусивши человѣцы глупѣйшіи бываютъ неученыхъ, ибо весьма темны суще мнятъ себя быти совершенны» (слова Ос-

ованa Прокоповича; приведены у Владимірскаго-Буданова, l. c. 5). Градаціи умаленія научности дѣйствительно вполнѣ соотвѣтствуетъ градація самомнѣнія и презрѣнія къ профанамъ. Г. Евтушевскій еще удостоиваетъ нѣсколькихъ словъ замѣчаніе гр. Толстого, что народъ не хочетъ учиться по новѣйшимъ и вполнѣ естественнымъ и превосходнѣйшимъ методамъ, «евтушистки» уже полагаютъ, что самое упоминаніе о требованіяхъ народа есть уклоненіе отъ настоящаго дѣла. Что же касается до того педагога, который разсматриваетъ «пользу или вредъ и части, какъ то учитъ знаменитый Песталоцій и Урстъ»,—то даже и подумать страшно о степени его презрѣнія къ профанамъ.

Но, какъ бы ни было велико презрѣніе педагоговъ къ требованіямъ профановъ, какъ бы оно ни было даже законно (если законность его возможна),—въ окончательномъ результатѣ практическій вопросъ о методахъ обученія рѣшается все-таки профанами. (Я не имѣю пока въ виду проектовъ обязательнаго обученія, это вопросъ особый и притомъ очень сложный). Въ этомъ я вижу фактическое, осязательное оправданіе той точки зрѣнія, съ которой будутъ вестись предлагаемыя читателю записки и на которой, по отношенію къ народному образованію, стоитъ и гр. Толстой. Фактически очевидно, что профаны суть дѣйствительные, а не гипотетическіе заказчики спеціалистовъ, и что спеціалисты по необходимости суть только исполнители выраженныхъ или не выраженныхъ заказовъ профановъ. Народъ не хочетъ учиться по-вашему: необыкновенная простота и ясность уже одного этого указанія (я въ настоящую минуту только его и имѣю въ виду) гр. Толстого естественно должны были смутить душевный міръ педагоговъ. Тутъ вышло нѣчто вродѣ разсказа о капитанѣ Копѣйкинѣ: разсказчикъ, увлеченный полетомъ своей фантазіи и разработкой частностей исторіи капитана Копѣйкина, забываетъ свою собственную цѣль—доказать тождество капитана Копѣйкина съ Чичиковымъ, и вдругъ ему напоминаютъ, что у Чичикова обѣ ноги цѣлы, а капитанъ Копѣйкинъ ходитъ на костыляхъ! Совершенно такая же исторія могла бы случиться съ знаменитымъ докторомъ Фогелемъ, если только его педагогическая теорія вѣрно разсказана г. Миропольскимъ (въ дѣйствительности она устроена, я думаю, немножко поаккуратнѣе). Докторъ Фогель говоритъ: дѣти очень любятъ писать свое имя, и на этомъ фактѣ я основываю свой методъ обученія; вотъ рыба, у нея есть голова, у нея нѣтъ наружныхъ ушей, возблагодаримъ Создателя, который намъ далъ наружныя уши, и т. д., и т. д. Докторъ Фогель мчится все дальше въ лѣсъ, рубитъ все больше дровъ и вполнѣ доволенъ собственной персоной. Вдругъ ему кто-нибудь напоминаетъ: а гдѣ же собственное имя ребенка? Замѣчаніе до послѣдней степени простое, но отнимающее весь смыслъ у фишъ-буха, то-есть тотъ смыслъ, который авторъ («по Миропольскому») намѣревался вложить въ свою теорію. Съ нашими педагогами случился подобный же, но гораздо болѣе важный казусъ. Они сказали: цѣль нашей жизни или, по крайней мѣрѣ, дѣятельности есть образованіе народа; будемъ же изучать существующіе методы обученія; вотъ Дистервегъ, вотъ Диттесъ, вотъ Шольцъ, Шульце, и т. д., и т. д. Педагоги втягиваются въ сравненіе, обсужденіе, классифицированіе различныхъ превосходныхъ методовъ; бранятъ другъ друга за незнаніе того метода, котораго они сами придерживаются препираются о томъ, какой пріемъ для изученія двугласныхъ лучше: сближать ли, постепенно ускоряя звуки *а* и *и*, или послѣ *а* коротенько обрывать; уличаютъ и хвалятъ другъ друга и въ жару всѣхъ этихъ разговоровъ не замѣчаютъ, что совершенно отошли отъ своихъ цѣлей. Вдругъ имъ говорятъ, что народъ не хочетъ у нихъ учиться. Положимъ, что заявленіе гр. Толстого, что народъ хочетъ учиться ариѳметикѣ, русскому и славянскому языку, невѣрно (я думаю, что оно совершенно вѣрно, но не въ этомъ пока дѣло). Остается все-таки никѣмъ неопровергнутый фактъ отвращенія народа отъ жужжанія, шипѣнія, вопросовъ о количествѣ ногъ у человѣка и собаки, о полетѣ лошади и т. п. Напоминаніе объ этомъ фактѣ для людей, окончательно въѣвшихся въ рецепты и примѣты, ужасно, ибо лишаетъ смысла всю ихъ дѣятельность. Этотъ смыслъ летитъ, какъ ключъ, ко дну, и въ наличности оказываются только ни на что непригодныя, хотя и замысловатыя подробности; все равно, какъ послѣ утопленника, можетъ быть, краснваго, умнаго, геніальнаго, великаго, на поверхности воды остается безсмысленно плавающая шапка. Является группа людей, воображавшихъ себя свѣдущими работниками, тогда какъ они просто люди, неспособные и не желающіе исполнять данные имъ заказы. Направленіемъ самаго своего труда они исключаютъ себя изъ общества взаимно оплачивающихся тружениковъ. Имъ не остается даже возможности злораднаго упрека, что безъ насъ, дескать, дикой безграмотности не предвидится конца. Гр. Толстой поставилъ вопросъ очень широко и очень ясно. Онъ говоритъ: если вы не примете во вниманіе требованій народа, онъ съ оника уй-

детъ отъ васъ, значитъ, вы-то, по крайней мѣрѣ, ему ничего не дадите; если же вы покоритесь волѣ народа и дадите ему то немногое, чего онъ проситъ, его требованія расширятся. Далѣе гр. Толстой считаетъ необходимымъ «равномѣрное, по всѣмъ одинаковое разлитіе образованія, хотя въ самой низшей степени, а потомъ уже предполагаетъ дальнѣйшее, опять же равномѣрное поднятіе образованія». «Земско же министерское вѣдомство, продолжаетъ гр. Толстой— какъ будто считаетъ нужнымъ дать нѣкоторымъ счастливцамъ избраннымъ, $^1/_{20}$ всѣхъ, образованіе, какъ образчикъ того, какъ оно хорошо». Изъ всего этого видно, что программа гр Толстого отнюдь не страдаетъ тою узкостью, какая ей приписывается его оппонентами.

Гр. Толстому было сдѣлано много возраженій, есть между ними даже и резонныя, но ни одно изъ нихъ не касается основныхъ его положеній. Напримѣръ, г. Бунаковъ доказалъ гр. Толстому при помощи «Толковаго словаря» Даля, что слова «косарь», «лиска», «пекарка», «истопка» употреблены имъ, г. Бунаковымъ, правильно. Можно бы было указать и еще нѣсколько подобныхъ возраженій. Но всѣ они клонятся главнымъ образомъ къ тому, чтобы оправдать въ какой-нибудь мелочи того или другого педагога,—вопросъ, кромѣ самого этого педагога, мало для кого интересный. Затѣмъ представлено еще много возраженій свойства весьма либеральнаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно не идущихъ къ дѣлу. Представлять либеральныя, но не идущія къ дѣлу возраженія весьма легко, — самая благодарная работа, именно потому, что и легко, и либерально. Въ особенности легка эта работа по отношенію къ людямъ, уже переступившимъ ступень ходячаго либерализма, уваженія къ наукѣ и другимъ хорошимъ вещамъ, оставившимъ эту ступень позади себя и смотрящимъ на дѣло шире и свободнѣе, чѣмъ это допускается тою пройденною ступенью. Къ числу такихъ людей принадлежитъ и графъ Толстой, а потому либеральныхъ, но не идущихъ къ дѣлу возраженій онъ получилъ цѣлую кучу. Напримѣръ, въ статьѣ «Отечественныхъ Записокъ» гр. Толстой говоритъ между прочимъ, что, посвятивъ себя педагогической дѣятельности въ деревнѣ, онъ сразу *почувствовалъ* непригодность стариннаго церковнаго способа обученія. По этому поводу г. Евтушевскій съ свойственною полуученымъ спеціалистамъ надменностью заявляетъ, что личное чувство не можетъ имѣть никакого значенія въ рѣшеніи научныхъ вопросовъ. Отрицаніе церковнаго способа обученія для гр. Толстого есть уже давно пройденная ступень; поэтому онъ не считаетъ нужнымъ подробно разсказывать весь процессъ наблюденій и умозаключеній, приведшій его къ убѣжденію въ негодности этого способа; весь этотъ разсказъ онъ замѣняетъ словомъ *почувствовалъ*, справедливо полагая, что никто и не сомнѣвается въ неудобствахъ церковнаго способа обученія, что это вовсе не составляетъ «научнаго вопроса». Считаетъ ли его таковымъ г. Евтушевскій съ своимъ легкимъ, либеральнымъ, но отнюдь не рыцарскимъ нападеніемъ на невинное слово *почувствовалъ?* Другой примѣръ. Гр. Толстой упоминаетъ раза два въ своей статьѣ, что наши земства слишкомъ разборчивы, имѣютъ свои особенно любимые и особенно не любимые типы народныхъ учителей, и въ частности говоритъ, что излюбленный типъ нѣкоторыхъ земствъ есть учительница. Гр. Толстой полагаетъ, что такая разборчивость намъ вовсе не къ лицу. Г. Мѣдниковъ, не желая упустить удобнаго случая для обнаруженія своихъ высокихъ чувствъ, разражается по этому поводу слѣдующей истинно комической тирадой: «Но что же намъ сказать о другомъ, любимомъ уже типѣ земства—учительницахъ въ *шиньонахъ*? какъ иронически добавляетъ гр. Толстой. Съ грустью можемъ мы сказать, что русской женщинѣ выпала дѣйствительно горькая доля! Гдѣ же ей и быть, какъ не въ народной школѣ? Кто же, какъ не она, можетъ смягчить грубые, закоснѣлые въ невѣжествѣ нравы? Не сама ли природа дала ей для того всѣ ея неоцѣненныя качества? А тутъ, по слову гр. Толстого, ей нѣтъ мѣста даже (!) въ области воспитанія, въ народной школѣ... Пьяный солдатъ, отставной писарь, дьячекъ, прохожій — и тѣ имѣютъ право учить и находятъ себѣ покровителей, вродѣ гр. Толстого, а ей, одной ей, нѣтъ и здѣсь мѣста»... (20). Богъ мой, какъ любезно! совершенно какъ въ салонѣ! но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ либерально! Одно могу сказать. Возмутившіе галантнаго и либеральнаго г. Мѣдникова *шиньоны* помянуты гр. Толстымъ въ такомъ видѣ: «учитель въ сюртукѣ и учительница въ шиньонѣ». Но г. Мѣдниковъ, какъ истый рыцарь, за сюртукъ не вступается, а только за шиньонъ... Кстати, о либерализмѣ, уваженіи къ женщинамъ и педагогахъ. 3 ноября 1873 г. въ педагогическомъ собраніи происходила слѣдующая возмутительная сцена: г. Евтушевскій грубо, дерзко, оскорбительно уличалъ г-жу Андреевскую въ двукратной лжи, именно въ приписываніи ему словъ, которыхъ онъ будто бы не говорилъ. Стенографическій отчетъ показываетъ однако, что г. Евтушевскій дѣйствительно говорилъ слова, приписываемыя ему г-жею Андреевскою. (См. стенографическія записки педагогическаго общества, № 5 «Семьи и Школы» за 1874 г.). И никто изъ

господъ педагоговъ, г. Мѣдниковъ у comprіs, не сказалъ г. Евтушевскому того, что слѣдовало ему въ этомъ случаѣ сказать. А нацарапать ни къ селу, ни къ городу либеральныхъ и галантныхъ словъ о «горькой долѣ русской женщины» — это мы можемъ».

Но вернемся къ гр. Толстому. Изо всѣхъ либеральныхъ, но не идущихъ къ дѣлу возраженій на статью «Отечественныхъ Записокъ» едва ли не самое важное основывается на слѣдующихъ словахъ гр. Толстого: «Можетъ быть, дѣти готентотовъ, негровъ, можетъ быть, иныя нѣмецкія дѣти не знаютъ того, что имъ сообщаютъ въ такихъ бесѣдахъ; но русскія дѣти, кромѣ блаженныхъ, всѣ, приходя въ школу, знаютъ не только, что внизъ, что вверхъ, что лавка, что столъ, что два, что одинъ и т. п., но, по моему опыту, крестьянскія дѣти, посылаемыя родителями въ школу, всѣ умѣютъ хорошо и правильно выразить мысли, умѣютъ понимать чужую мысль (если она выражена по-русски) и знаютъ считать до 20 и болѣе». Это мѣсто статьи въ связи съ довольно частымъ и не совсѣмъ лестнымъ упоминаніемъ о нѣмцахъ, привлекло усиленныя нападенія возражателей. Оно дало имъ поводъ распространиться о вредѣ ложнаго патріотизма, фальшивой идеализаціи народа, національнаго самомнѣнія и проч. Между тѣмъ, въ сущности это все выстрѣлы, бьющіе мимо цѣли. Такъ какъ всѣ излюбленные нашими педагогами Шольцы, Шульце, Круги, Тюрки, Фибли, Прейсы, Зельтзамы и проч., и проч., и проч. суть нѣмцы, и такъ какъ они сочинили не мало смѣхотворныхъ вещей, то какъ же было обойти нѣмцевъ и смѣхотворность? Но главное, всѣ эти дѣти готентотовъ и нѣмецкія дѣти, противопоставляемыя русскимъ ребятамъ, представляютъ очевидно просто manière de parler. Кто знаетъ прежнія статьи гр. Толстого, тотъ знаетъ, что гр. Толстой считаетъ и нѣмецкихъ дѣтей мучениками школы, очень хорошо безъ всякаго наглядnаго обученія понимающими, что у собаки четыре ноги, что птица летаетъ, а лошадь не летаетъ, что потолокъ вверху, а полъ внизу и проч. Наконецъ, тутъ даже не въ воззрѣніяхъ гр Толстого дѣло. Пусть онъ идеализируетъ народъ, пусть онъ преисполненъ національнаго самомнѣнія, но онъ указываетъ факты, надо ихъ провѣрять и опровергать, что, впрочемъ, нѣкоторые возражатели по силѣ возможности и дѣлаютъ. Такъ г. Бунаковъ ссылается на свой личный опытъ, не приводя, впрочемъ, конкретныхъ примѣровъ, на доклады костромской губернской управы, на показанія барона Корфа. Дѣйствительно, эти доклады и показанія рисуютъ крестьянскихъ дѣтей весьма похожими на блаженныхъ. Баронъ Корфъ приводитъ факты даже болѣе поразительные, чѣмъ тѣ, которые у него заимствовалъ г. Бунаковъ. Въ «Русской начальной школѣ» барона Корфа разсказывается между прочимъ, что «изъ сорока учениковъ школы казеннаго селенія, расположеннаго въ одной верстѣ отъ бывшаго помѣщичьяго имѣнія, *ни одинъ* не далъ отвѣта на мой (бар. Корфа) вопросъ: были ли когда-нибудь крѣпостные люди въ Россіи? Тотъ же вопросъ предложенъ мною и въ такой школѣ, гдѣ я видѣлъ дѣтей, отцы которыхъ до 1861 г. принадлежали помѣщику, и только *одинъ* ученикъ сказалъ, что когда-то люди были крѣпостными, но не могъ даже приблизительно объяснить, было ли это сто лѣтъ тому назадъ или когда?» (53). Бар. Корфъ утверждаетъ, что не только десяти, а и четырнадцатилѣтнія дѣти «очень часто» не могутъ сказать, какъ ихъ фамилія, который имъ годъ, гдѣ у нихъ правая и гдѣ лѣвая рука, что больше — аршинъ или сажень, какъ называются различныя части тѣла и т. п. Костромскіе учителя въ свою очередь показываютъ, что дѣти часто не знаютъ, сколько у собаки ногъ и т. п. Нѣкоторыя изъ этихъ явленій я понимаю. Понимаю, напримѣръ, что крестьянскій мальчикъ не знаетъ своей фамиліи, потому что вѣдь у него ея часто просто нѣтъ: отецъ прозывается такъ, сынъ иначе, а слово «фамилія» совсѣмъ часто неизвѣстно. Понимаю тоже разсказъ бар. Корфа о нелѣпыхъ словахъ мальчика при объясненіи ему бар. Корфомъ слова «безсмертный». Но за всѣмъ тѣмъ остаются все-таки удивительныя вещи. Правда, бар. Корфъ оговаривается, что онъ «говоритъ о безлюдной, степной мѣстности». Но даже всѣ его объясненія все-таки не объясняютъ дѣла. Онъ говоритъ: «такова ихъ домашняя обстановка, но и можетъ ли она быть иною? о чемъ бесѣдуетъ крестьянинъ съ сыномъ?» Какъ бы ни была однако скудна эта бесѣда и всѣ другія бесѣды мальчика съ родными, чужими взрослыми и ровесниками, но, по крайней мѣрѣ, хоть названія «различныхъ частей тѣла» изъ нихъ могутъ же быть почерпнуты. Извѣстно, что во многихъ губерніяхъ 8—10-лѣтнія дѣвочки такъ прямо и называются «нянъками», потому что на нихъ лежитъ обязанность нянчить младшихъ ребятъ, смотрѣть за ними и даже таскать ихъ. Неужто же такая нянька не можетъ назвать различныхъ частей тѣла? Я не сомнѣваюсь въ вѣрности показаній бар. Корфа, онъ несомнѣнно получалъ тѣ отвѣты, о которыхъ говоритъ, но не могу не искать объясненія имъ гдѣ-нибудь на сторонѣ. И, мнѣ кажется, что гр. Толстой представилъ такое объясненіе. Онъ вѣдь не отрицаетъ, что дѣти часто даютъ ни съ чѣмъ несообразные отвѣты. Онъ только говоритъ, что это часто зависитъ отъ несообразности вопросовъ, несообразности, возведенной въ

систему. Разсказавъ, какъ одинъ уже довольно большой мальчикъ, обученный по новѣйшимъ способамъ, положилъ на экзаменѣ руку *на* книгу, когда ему сказали: положи *подъ* книгу, графъ Толстой прибавляетъ, что онъ видѣлъ много такихъ примѣровъ. И зависятъ они по его мнѣнію отъ того, что ребенокъ «не можетъ и не хочетъ вѣрить, чтобы его серьезно спрашивали, потолокъ внизу или наверху, или сколько у него ногъ». Я вѣрю этому объясненію, во-первыхъ потому, что, какъ справедливо замѣтилъ въ своемъ рефератѣ г. Страннолюбскій, гр. Толстой обнаружилъ въ «Дѣтствѣ и отрочествѣ» глубокое пониманіе дѣтской души, придающее его мнѣніямъ извѣстную авторитетность, а во-вторыхъ потому, что оно и вполнѣ естественно. Представьте себѣ только мальчика, приведеннаго учиться и вдругъ огорошеннаго разспросами о количествѣ его ногъ. Что мудренаго, что мальчикъ сбитъ съ толку именно неожиданною для него легкостью вопроса и подозрѣваетъ, что вопросъ имѣетъ какой-то особенный, неизвѣстный для него смыслъ: онъ вѣдь учиться приведенъ, т. е. узнавать неизвѣстное. А и то сказать: какъ еще задавалъ, напримѣръ, баронъ Корфъ свой вопросъ о различныхъ частяхъ тѣла? Онъ, можетъ быть, спрашивалъ: гдѣ у тебя позвоночный столбъ? или что-нибудь въ этомъ родѣ, можетъ быть, даже гораздо хуже. Есть же въ его «Нашемъ Другѣ» вопросъ: «назови душевныя качества піявки» (213). На этотъ вопросъ, конечно, и самъ баронъ Корфъ не отвѣтитъ или отвѣтитъ несообразностью.

Какъ бы то ни было, но насколько я могу судить по разнымъ разговорамъ, изо всѣхъ нападеній на гр. Толстого наибольшее впечатлѣніе произведено упреками въ фальшивой идеализаціи русскаго народа, въ ложномъ патріотизмѣ. На это есть особенные резоны. Для подобныхъ упрековъ была уже подготовлена почва прежними сужденіями критики о гр. Толстомъ. Недаромъ г. Мѣдниковъ ссылается на статьи журналовъ шестидесятыхъ годовъ. Не смотря на довольно единодушное мнѣніе, существующее въ нашемъ обществѣ о гр. Толстомъ, именно, какъ о блестящемъ беллетристѣ и плохомъ мыслителѣ, онъ у насъ совершенно не оцѣненъ, мало того,—просто неизвѣстенъ. По странному смѣшенію понятій этотъ, глубоко оригинальный и яркій писатель причисляется у насъ обыкновенно, или, по крайней мѣрѣ, считается очень близкимъ къ безцвѣтнѣйшему отрогу славянофильства, къ такъ называемымъ «почвенникамъ» («Время», «Эпоха», отчасти «Заря», преданія которыхъ, замаранныя разными посторонними примѣсями, кое-какъ хранятся нынѣ въ «Гражданинѣ»). Посильную оцѣнку воззрѣній гр. Толстого я постараюсь представить въ слѣдующій разъ. Эта общая оцѣнка дастъ намъ возможность вполнѣ оцѣнить въ частности и его педагогическія воззрѣнія. Можетъ быть, тогда намъ уяснятся и причины неожиданнаго успѣха статьи «Отечественныхъ Записокъ». Успѣхъ этотъ для меня пока все-таки неожиданъ и необъяснимъ.

III *).

О жаждѣ познанія.

Я хотѣлъ начать сегодняшнюю свою бесѣду съ читателемъ прямо съ гр. Л. Н. Толстого. Но о немъ, чего добраго, заболтаешься, а на моемъ письменномъ столѣ, съ котораго я только-что успѣлъ снять коллекцію произведеній нашихъ педагоговъ, накопилось уже опять нѣсколько сочиненій, требующихъ отзыва. Нелегка, читатель, обязанность ежемѣсячно бесѣдовать съ тобой о явленіяхъ умственной жизни русскаго общества. Первое дѣло, я обо многомъ говорить не смѣю—не велѣно, а все, о чемъ говорить можно, въ общемъ до такой степени ординарно, вяло, мелко, узко, представляетъ такъ мало выдающагося, что иногда просто руки опускаются. Съ чего я, спрашивается, стану занимать ваше вниманіе новымъ произведеніемъ г. А, когда рѣшительно столько же правъ на него (т. е. на ваше вниманіе) имѣютъ новыя произведенія гг. Б, В, Г, Д. и т. д. вплоть до Ѳиты и Ѵжицы? Или какія основанія имѣю я бесѣдовать о благородствѣ чувствъ гг. А и Б, когда ихъ ученость, логическая способность и стиль столь же возвышенны? Вообще, почему я долженъ остановиться именно на такомъ-то писателѣ, а не на другомъ, и именно на такой-то сторонѣ его дѣятельности, а не на иной? Нужна же какая-нибудь руководящая нить, даже въ томъ случаѣ, когда въ данный моментъ литература представляетъ нѣчто выдающееся. Если бы я совершенно отказался отъ всякой активной роли въ своихъ бесѣдахъ и желалъ бы только угодить читателю, такъ и то, какъ я угадаю, что̀ именно его интересуетъ? а можетъ, какъ разъ о томъ, что его интересуетъ, я не могу сказать ни одного путнаго слова. Можно говорить о литературныхъ талантахъ. Разговоръ очень пріятный, но о наличныхъ талантахъ, кажется, ужъ столько переговорено, что едва-ли я сумѣю прибавить что-нибудь отъ себя, а будутъ новые таланты, о нихъ и рѣчь новая будетъ. Можно говорить о фактическомъ содержаніи собственно научныхъ произведеній. Но это мнѣ не по плечу. Я—профанъ. Да и то сказать:

*) 1875, февраль.

знай я превосходно полицейское право или астрономію и упорно веди вполнѣ научную бесѣду объ этихъ предметахъ, у меня въ скоромъ времени оказалось бы, вѣроятно, два съ половиной читателя. Остается, значитъ, бесѣдовать о точкѣ зрѣнія того или другого писателя. Именно этотъ характеръ бесѣдъ и усвоенъ мною, какъ наиболѣе соотвѣтствующій моимъ силамъ. Какъ Чичиковъ путешествовалъ для познанія всякаго рода мѣстъ, такъ я занимаюсь русской литературой для познанія всякаго рода точекъ зрѣнія. Что-жъ, вѣдь и это можетъ пригодиться. Если же мнѣ напомнятъ, что Чичиковъ только на словахъ познавалъ всякаго рода мѣста, а втайнѣ скупалъ мертвыя души, я скажу: можетъ быть, и я скупаю мертвыя души, но какое вамъ дѣло? Все это я къ тому говорю, чтобы читатель не требовалъ отъ меня того, чего я ему дать не могу, во избѣжаніе недоразумѣній. Найдется много очень замѣчательныхъ литературныхъ явленій, о которыхъ я не скажу ни слова, а иногда, можетъ быть, распространюсь о сочиненіи плохомъ, сухомъ или по общему приговору неинтересномъ, ради особенностей точки зрѣнія автора.

У древнихъ римлянъ существовалъ законъ, по которому кредиторы могли разрѣзать на части тѣло несостоятельнаго должника, причемъ каждому кредитору предоставлялось право на извѣстную, соотвѣтственную размѣру долга часть должничьяго мяса. Этотъ удивительный законъ припоминается мнѣ очень часто и по очень разнообразнымъ поводамъ, между прочимъ, и всякій разъ, когда мнѣ въ качествѣ профана приходится имѣть дѣло съ болѣе или менѣе непреклоннымъ спеціалистомъ. Какъ бы ни мотивировали приведенный законъ римскіе законодатели, тѣмъ ли, что занятая сумма пошла на потребу должника и превратилась въ его плоть и кровь, или чѣмъ другимъ, но они во всякомъ случаѣ были спеціалистами какого-то права (затрудняюсь сказать какого) заимодавцевъ. Я полагаю даже, что они сами были заимодавцами или, по крайней мѣрѣ, состояли въ очень близкихъ отношеніяхъ къ этому почтенному и полезному люду. Съ своей спеціально заимодавческой точки зрѣнія они весьма послѣдовательно видѣли въ кредиторѣ только кредитора и въ должникѣ только должника. Между тѣмъ, кредиторъ и должникъ не только берутъ и даютъ взаймы, а вмѣстѣ съ тѣмъ, любятъ и ненавидятъ, пьютъ и ѣдятъ, родятся и умираютъ, смѣются и плачутъ, имѣютъ женъ, дѣтей, друзей, родину, вообще, живутъ. Положимъ, кредиторы могутъ все это замять въ себѣ и, явившись къ несостоятельному должнику, разрѣзать его на части во славу идеи заимодавческаго права, но должникъ, конечно, не посмотритъ на себя съ спеціально-заимодавческой точки зрѣнія. Онъ, можетъ быть, покорится необходимости, но въ качествѣ профана въ заимодавческомъ правѣ даже не признаетъ его правомъ. И это довольно извинительно, потому что вѣдь его рѣжутъ на части, у него жизнь отнимаютъ, и онъ естественно не можетъ признать правильность уравненія: жизнь должника = суммѣ его долговъ. Съ точки зрѣнія профана это такая же безсмыслица, какъ напримѣръ: 5 фунтовъ = 3 аршинамъ, ибо жизнь представляется профану суммою многихъ жизненныхъ процессовъ, съ долгами несоизмѣримыхъ. Хотя въ случаѣ проникновенія спеціальной точки зрѣнія въ область законодательства, профанъ и вынужденъ покориться силѣ вещей, но это обстоятельство все-таки не разрѣшаетъ противорѣчія: точки зрѣнія профана и спеціалиста остаются враждебными или, по крайней мѣрѣ, чуждыми до полноты обоюднаго непониманія. Однако профанъ долженъ молчать. Но онъ можетъ, наконецъ, и заговорить, если человѣкъ, воспитанный на формулѣ: жизнь человѣка равна суммѣ его долговъ, начинаетъ объяснять съ ея помощью различныя явленія жизни. Представимъ себѣ, что такой человѣкъ отрицаетъ, напримѣръ, жизнь животныхъ, не признаетъ ее жизнью, потому что, дескать, животныя взаймы не берутъ, или какъ нибудь переноситъ свою точку зрѣнія въ область медицины или исторіи человѣчества и т. п. Тутъ профанъ имѣетъ полную возможность сказать спеціалисту: нѣтъ, многоуважаемый, это ужъ ты шалишь; рѣзать меня за долги на части ты можешь, но коверкать мои понятія тебѣ никто не давалъ права!

Повторяю, древній римскій законъ мнѣ часто вспоминается. Вспомнился и при чтеніи книги г. Риттиха: «Племенной составъ контингентовъ русской арміи и мужскаго населенія Европейской Россіи». Я долженъ предупредить читателя, что г. Риттихъ, при сильной склонности къ литературному образу выраженія, иногда не совсѣмъ хорошо владѣетъ русскимъ языкомъ. Это, конечно, дѣло второстепенное и даже вовсе не стоящее вниманія. Главное дѣло въ томъ, что г. Риттихъ поставилъ себѣ задачу: опредѣлить, какія изъ населяющихъ Россію племенъ наиболѣе пригодны для различныхъ родовъ военной службы. Оказывается изъ его изслѣдованія, что чуваши годятся въ драгуны, вотяки въ линейныя войска, караимы въ гвардію, нѣмцы въ каптенармусы, нѣкоторые бѣлоруссы никуда не годятся, и проч., и проч. Да не подумаетъ читатель, что я припомнилъ варварскій римскій законъ съ цѣлью приготовить его къ какимъ-нибудь столь же варварскимъ предложеніямъ г. Рит-

тиха. Совсѣмъ напротивъ. Книга г. Риттиха вся проникнута гуманностью, на сколько это возможно для спеціалиста военнаго дѣла, которое само по себѣ, конечно, не есть дѣло гуманное. Не говоря о частностяхъ, вродѣ совѣтовъ щадить религіозныя убѣжденія солдать изъ раскольниковъ, сама основная задача автора не лишена нѣкотораго гуманнаго характера. Въ самомъ дѣлѣ, если, напримѣръ, чувашъ, по своимъ физическимъ и нравственнымъ качествамъ, будетъ себя наилучше чувствовать въ драгунахъ, то было бы очень негуманно помѣщать его въ какую-либо другую часть войскъ, въ артиллерію что-ли. Въ добавокъ онъ въ артиллеріи и пользы такой не принесетъ, какъ въ драгунахъ. Тутъ, значитъ, даже имѣется въ виду нѣчто вродѣ фурьеровскаго travail attrayant. Авторъ говоритъ: «Пѣхота, кавалерія, артиллерія, флотъ, техническія и нестроевыя части имѣютъ свои особыя и имъ однимъ принадлежащія требованія по тѣлосложенію, развитію и унаслѣдованнымъ занятіямъ народовъ, причемъ будущая солдатская выправка зависитъ отъ обработки природныхъ качествъ рекрута военною школою и отъ соотвѣтственнаго распредѣленія людей по ихъ наклонностямъ и способностямъ». Съ этимъ, кажется, нельзя не согласиться, такъ что произведеніе г. Риттиха должно быть признано полезной книгой. И тѣмъ не менѣе, профанъ никогда не примирится съ этой ученой, гуманной и полезной книгой, единственно ради непреклонной спеціальности ея точки зрѣнія. Прежде всего, профанъ постарается умалить значеніе нѣкоторыхъ ея выводовъ и положеній, могущихъ представляться важными и вѣрными только непреклонному спеціалисту. Распредѣляя національности по различнымъ родамъ оружія, г. Риттихъ высказываетъ нѣсколько положеній совершенно вѣрныхъ и очевидныхъ и для профана. Такова, напримѣръ, мысль о пополненіи флота жителями береговъ морей, рѣкъ и озеръ. Но уже и тутъ попадаются вещи по малой мѣрѣ странныя. Напримѣръ, г. Риттихъ говоритъ: «равнодушіе лугового черемиса къ жизни и опасностямъ лѣсной и бродячей жизни, вѣчно-угрюмый нравъ, особенно привычка къ липеніямъ въ пищѣ, теплотѣ, *эта вѣчная трубка и наклонность къ горячимъ напиткамъ суть задатки для жизни моряка*» (220). Всѣмъ извѣстна склонность моряковъ къ спиртнымъ напиткамъ, но все-таки, почему «вѣчная трубка и наклонность къ горячимъ напиткамъ» фигурируютъ въ числѣ признаковъ людей, *годныхъ* во флотъ? Безъ сомнѣнія, у г. Риттиха есть свои резоны, но профанъ ихъ никогда не пойметъ, не по недостатку свѣдѣній, а по невозможности для него стать на точку зрѣнія непреклоннаго спеціалиста. И если его потянутъ во флотъ на томъ основаніи, что онъ куритъ трубку и пьетъ водку, онъ, можетъ быть, будетъ очень сильно барахтаться. Въ концѣ концовъ, онъ будетъ однако, если идеи г. Риттиха восторжествуютъ, водруженъ во флотъ. Описавъ на двухъ страницахъ экономическій бытъ, нравственный и умственный характеръ чувашъ, разсказавъ, что «шапка у нихъ русская, поярковая», что они народъ «необыкновенно трудолюбивый», прекрасно обращаются съ женами, хорошо ѣздятъ верхомъ, чрезвычайно строго исполняютъ всякіе договоры и обязательства, очень добродушны и проч.; разсказавъ все это, г. Риттихъ совершенно неожиданно заключаетъ: «На основаніи всего вышеизложеннаго и принимая во вниманіе, что служба въ драгунахъ требуетъ съ одной стороны хорошаго кавалериста, а съ другой стрѣлка и что при исполненіи такой двойной службы необходимы тѣ качества, которыми обладаютъ чуваши, полагалось бы цѣлесообразнымъ пополнять ими ряды драгунъ» (218). Далѣе г. Риттихъ положительно утверждаетъ существованіе «унтеръ-офицеровъ отъ природы». Именно, сообщивъ, что населеніе средней Россіи состоитъ изъ 96% великоруссовъ и 4% разныхъ мелкихъ племенъ, авторъ говоритъ: «Къ этой полосѣ относятся кромѣ того два весьма замѣчательные контингента: ремесленники и люди способные отъ природы быть унтеръ-офицерами» (283). Столь же непреклонно вѣритъ авторъ въ зависимость «совѣстливости» отъ умѣнья ѣздить верхомъ. Киргизы, говоритъ онъ, «дѣлаютъ безостановочно по 8—10 верстъ въ часъ, вплоть до исполненія своего совѣстливаго порученія, которое является именно потому такимъ, что оно исполняется человѣкомъ, со врожденными способностями къ верховой ѣздѣ» (222). Это не совсѣмъ по-русски сказано, но понять все-таки можно. Весьма близко къ объясненію «совѣстливости» киргизовъ въ исполненіи порученій стоитъ объясненіе характера малороссовъ. Авторъ полагаетъ, что малороссы не годятся въ кавалерію, ибо у нихъ мало лошадей, и пашутъ они волами. «Это неуклюжее животное, продолжаетъ онъ, двигаясь тихо и мѣрно, подъ управленіемъ шеста и словъ «цопъ, цобе» (вправо, влѣво), своею медленностью вырабатываетъ въ вожакѣ или хозяинѣ такую же медленность въ движеніяхъ и характерѣ» (77). Этихъ выписокъ, число которыхъ я могъ бы значительно увеличить, кажется, совершенно достаточно, чтобы видѣть, что г. Риттихъ имѣетъ свою спеціальную, такъ сказать, военно-этнографическую логику, психологію и исторію. Боюсь, что читатель найдетъ эти про-

дукты спеціальной военно-этнографической точки зрѣнія достойными нѣкотораго вниманія только въ качествѣ курьезовъ. Они несомнѣнно курьезны, но дѣло въ томъ, что многіе совершенно аналогичные продукты непреклонно спеціальныхъ точекъ зрѣнія представляютъ ходячія монеты въ обществѣ; на нихъ покупаютъ, за нихъ продаютъ и не замѣчаютъ ихъ курьезности только потому, что привыкли къ нимъ. Лежачаго не бьютъ, говоритъ пословица. Логика, психологія и исторія г. Риттиха до такой степени очевидно несостоятельны, что у меня не хватитъ духа не только опровергать ихъ, но даже посмѣяться надъ ними. Не мало можно бы было исписать веселыхъ и остроумныхъ страницъ по поводу зависимости совѣсти отъ привычки къ верховой ѣздѣ или существованія унтеръ-офицеровъ отъ природы. Но право у меня рука не поднимается, когда я вижу, что насмѣяться надъ г. Риттихомъ такъ легко, а въ то же время всѣ съ почтеніемъ слушаютъ экономиста или моралиста, высказывающихъ вещи, ничѣмъ не лучшія. Г. Риттихъ говоритъ профану: ты — унтеръ-офицеръ отъ природы,—выходи на линію; или: ты хорошо обходишься съ женой и свято исполняешь договоры,—надѣвай драгунскій мундиръ; римскій юристъ говоритъ: ты только должникъ,—подавай сюда свое тѣло, мы его разрѣжемъ; экономистъ говоритъ: ты только рабочій —значитъ, имѣть дѣтей не твое дѣло; историкъ-провиденціалистъ говоритъ: ты пѣшка, которая будетъ въ свое время поставлена, куда слѣдуетъ, для того, чтобы, кому слѣдуетъ, было сказано шахъ и матъ,—поэтому не дыши; моралистъ говоритъ: ты духъ,—умерщвляй свою плоть, эту бренную оболочку духа, и проч. Всѣ эти опредѣленія и предписанія, всѣ эти изъявительныя и повелительныя наклоненія суть ягоды одного и того же поля. Нѣкоторыя изъ нихъ пользуются большимъ кредитомъ, другія меньшимъ, но всѣ они подлежатъ однимъ и тѣмъ же критическимъ пріемамъ. Профанъ долженъ отвѣтить людямъ науки: если я отъ природы—*только* унтеръ-офицеръ, то, конечно, мнѣ, дѣлать больше нечего, какъ выбѣгать на линію; если рѣшено, что я—только драгунъ, то, безъ сомнѣнія, и мое хорошее обхожденіе съ женой и добросовѣстное исполненіе договоровъ сами по себѣ цѣны не имѣютъ и представляютъ лишь элементы моей драгуноспособности; если я—только должникъ, тѣло мое должно быть отдано въ распоряженіе кредиторовъ; если я—только рабочій инструментъ, то дѣтей имѣть мнѣ, дѣйствительно, не полагается, какъ не полагается ихъ имѣть рычагу, блоку, зубчатому колесу и проч. Но именно всѣхъ этихъ «только» я допустить не могу. Во-первыхъ, потому, что непреклонные спеціалисты тянутъ меня въ разныя и часто противоположныя стороны, а не разорваться же мнѣ pour les beaux yeux всѣхъ посягающихъ на меня якобы наукъ. Во-вторыхъ, всѣ это непреклонные спеціалисты, смотря на меня съ одной какой-нибудь стороны, видятъ во мнѣ составную часть то того, то другого механизма или, пожалуй, организма. Фактически я дѣйствительно составляю часть, смотря по обстоятельствамъ, то военнаго, то промышленнаго и т. п. механизма, и когда тиски этого механизма сжимаютъ меня съ достаточною силою, я покоряюсь; напримѣръ, въ случаѣ признанія меня драгуноспособнымъ, я оставляю жену, съ которою обращался такъ хорошо, и людей, въ сношеніяхъ съ которыми былъ такъ добросовѣстенъ, и надѣваю драгунскій мундиръ. Но покориться не значитъ примириться. Пусть, кто хочетъ, смотритъ на меня какъ на часть чего-то надо мной стоящаго и на меня посягающаго, я не переставъ видѣть въ себѣ полнаго человѣка, цѣльную и нераздѣльную личность. Я хочу жить всею доступной для человѣка жизнью, значитъ, не стану ни плоть умерщвлять въ угоду моралисту, ни отъ любви отказываться въ угоду экономисту, ни работать не перестану, ни отъ духовныхъ наслажденій не откажусь. И только въ такое надо мной стоящее цѣлое войду, какъ часть, сознательно и добровольно, которое гарантируетъ мнѣ цѣльность, нераздѣльность, полноту моей жизни. И только ту науку признаю я достойною священнаго имени науки, которая расчищаетъ мнѣ жизненный путь, а не загромождаетъ его укрѣпленіемъ и безъ того крѣпкой практики. Наука римскаго юриста, отдававшая мясо должника на удовлетвореніе мести заимодавцевъ, мести, прикрывавшейся, вѣроятно, мантіей справедливости, есть въ моихъ глазахъ не наука, а пособница, попустительница и даже подстрекательница заимодавцевъ: она меня ничему не учитъ, она учитъ заимодавца, какъ ему держать въ страхѣ должниковъ и какъ удовлетворять свою месть; онъ ее поэтому и признаетъ наукой, а я нѣтъ. Точно также не признаю я наукой науку г. Риттиха, потому что она не меня учитъ, а другихъ, и именно, учитъ ихъ, какъ со мной поступать. Не наука, съ моей точки зрѣнія, и наука Мальтуса, и наука ходячей морали, потому что, если они меня, повидимому и, учатъ, то такимъ вещамъ, которыхъ я выполнить не могу, не вывернувъ предварительно своей природы наизнанку; значитъ, въ концѣ-концовъ, все-таки ничему не учатъ, ибо добровольно вывернуться наизнанку нельзя.

И пусть не говорятъ, что наукѣ нѣтъ до насъ никакого дѣла, что она имѣетъ болѣе возвышенныя цѣли, чѣмъ исполненіе нашихъ желаній, что она двигаетъ цивилизацію, служитъ истинѣ и проч. Мы требуемъ отъ науки служенія намъ, не военному дѣлу, не промышленной организаціи, не цивилизаціи, даже не истинѣ, а именно намъ, профанамъ. Я вижу негодованіе спеціалиста познаванія, я слышу его грозный протестъ: какъ! наука должна погнуться передъ требованіями толпы невѣжественныхъ и неумѣющихъ цѣнить знаніе людей! наука, жрица Истины, должна отвернуться отъ своего божества, сузить свои задачи и угождать и кадить профанамъ! она должна обманываться и обманывать!—Я предполагаю, что спеціалистъ познаванія, а, можетъ быть, и большинство читателей скажетъ или подумаетъ что нибудь въ этомъ родѣ, потому что подобныя возраженія я уже получалъ. Но подождите негодовать, у насъ есть свои резоны.

Прежде всего что возмутило васъ? Развѣ мы одни такъ смотримъ на дѣло? Русскіе заводчики не признаютъ научнаго достоинства за ученіемъ свободной торговли,—почему? Потому что ученіе это враждебно сталкивается съ ихъ интересами. Англійскіе заводчики, напротивъ, считаютъ протекціонизмъ явленіемъ, совершенно несоотвѣтствующимъ требованіямъ науки политической экономіи,—почему? Потому что доктрина свободной торговли соотвѣтствуетъ ихъ выгодамъ, служитъ имъ. Правда и тѣ, и другіе не говорятъ этого прямо, а утверждаютъ, что они собственно очень безпокоятся объ отечественной промышленности и распространеніи цивилизаціи, но имя не мѣняетъ вещи. Мы только проще и откровеннѣе. Мы прямо говоримъ: наука должна служить намъ. Я заявляю фактъ. Профаны смотрятъ на дѣло именно такимъ образомъ. Допустимъ, что это грубо, эгоистично, дерзко, невѣжественно, все, что хотите, но эта грубость, этотъ эгоизмъ, эта дерзость налицо. Надо, значитъ, съ ними считаться. Надо же вамъ, все познающимъ, знать, что мы считаемъ себя вашими заказчиками и требуемъ исполненія нашихъ заказовъ. Вы скажете: а намъ какое дѣло до вашихъ требованій? мы свое дѣло дѣлаемъ нелицепріятно, и конецъ. Положимъ, вольному, конечно, воля. Бываютъ однако такіе мрачные моменты въ исторіи, когда свѣточъ науки грозятъ задуть враждебные вѣтры и когда сочувствіе профановъ было бы ей очень полезно, но до сихъ поръ наука этого сочувствія не заработала. Вы скажете, что это все-таки не резонъ, чтобы кривить душой и фальсифицировать истину въ угоду кому бы то ни было, а слѣдовательно и профанамъ. О да, конечно! Но если вы потрудитесь попристальнѣе вглядѣться и въ свои собственныя задачи и въ наши требованія, то увидите, что мы отнюдь не приглашаемъ науку ни отворачиваться отъ истины, ни кадить намъ, ни суживать свои задачи, ни обманывать, ни обманываться. Напротивъ, мы рекомендуемъ ей единственный путь къ истинѣ, расширяемъ ея задачи и вполнѣ готовы выслушать отъ нея самыя горькія истины.

Вы говорите, что мы не умѣемъ цѣнить знанія. Кто вамъ сказалъ? Мы давнымъ-давно выставили рядъ вопросовъ:

Отчего у насъ начался бѣлый вольный свѣтъ?
Отчего у насъ солнце красное?
Отчего у насъ младъ свѣтелъ мѣсяцъ?
Отчего у насъ звѣзды частыя?
Отчего у насъ ночи темныя?
Отчего у насъ зори утреннія?
Отчего у насъ вѣтры буйные?
Отчего у насъ дробенъ-дождикъ?
Отчего у насъ умъ-разумъ?
Отчего наши помыслы?
Отчего у насъ міръ-народъ?

Вы видите, что насъ интересуютъ тѣ же вещи, что и васъ. И намъ знакома одолѣвающая людей жажда познанія. И тамъ, гдѣ рѣчь можетъ идти только о познаніи, какъ напримѣръ, въ вопросахъ о томъ, отчего у насъ начался бѣлый вольный свѣтъ и отчего у насъ солнце красное, мы безконечно благодарны людямъ науки: они поятъ насъ, жаждущихъ, кормятъ насъ, алчущихъ познанія, удовлетворяютъ насъ. Не совсѣмъ таковы послѣдніе три вопроса нашей, можетъ быть, не совсѣмъ ладно скроенной программы:

Отчего у насъ умъ-разумъ?
Отчего наши помыслы?
Отчего у насъ міръ-народъ?

Мы не можемъ ставить эти вопросы такъ просто и сухо, какъ готовы ставить вопросы о внѣшней, внѣ человѣка лежащей природѣ. Тутъ въ насъ говоритъ не одна жажда познанія, она сплетается съ жаждой блага и справедливости. Не только умственнаго, а и нравственнаго удовлетворенія требуемъ мы отъ науки общественной. Въ этой области наши «отчего?» звучатъ часто грустью, укоромъ, протестомъ, негодованіемъ. О, люди науки! ваши задачи не сузятся, увѣряю васъ, если вы дадите намъ подходящіе, удовлетворяющіе отвѣты, если вы поймете наши вопросы такъ, какъ мы ихъ понимаемъ. И будьте увѣрены, ваши отвѣты будутъ оцѣнены по достоинству.

Вы говорите, что мы невѣжественны. Это неправда. Мы—работники, какъ и вы, а работать нельзя безъ знаній. Но пусть такъ, пусть мы невѣжественны. Въ сравненіи съ

вами мы, конечно, невѣжественны. Но вѣдь потому-то мы къ вамъ и обращаемся, потому-то вы и должны удовлетворить насъ. Кого же просвѣщать, какъ не темныхъ, кого учить, какъ не неучей? Но у насъ съ вами и особенные счеты есть. Мы отчасти потому невѣжественны, что вы очень учены. Мы подѣлили между собой заботы о вашемъ благосостояніи, благодаря чему у васъ оказался досугъ, который вы посвятили исканію истины, а мы остались въ темнотѣ. Мы служимъ вамъ, послужите и вы намъ. Если вамъ все-таки кажется, что такое служеніе унизитъ и извратитъ науку, то это простое недоразумѣніе.

Что есть истина? спрашивалъ Пилатъ и не получилъ отвѣта. Что есть истина? гдѣ критерій истинности нашихъ понятій? спрашиваю я людей науки. Совокупность отвѣтовъ на этотъ вопросъ обнимаетъ, собственно говоря, всю исторію человѣческой мысли, и я, конечно, далекъ отъ намѣренія представить здѣсь весь ходъ развитія понятій о критеріи истины. Да это намъ вовсе и не нужно. Я утверждаю, что наука должна служить намъ, профанамъ. Я основываю это требованіе прежде всего на взаимности услугъ между людьми науки и профанами. Ученый, отказывающійся исполнять невыраженные заказы профановъ и оплачивать своимъ трудомъ ихъ безчисленныя услуги, тѣмъ самымъ обращается въ тунеядца. Но я иду дальше. Я говорю, что, только служа намъ, наука можетъ разсчитывать достигнуть истины, такъ что интересы самой науки, если она только дѣйствительно хочетъ истины, заставляютъ ее служить намъ. Само собою разумѣется, что въ качествѣ профана я не могу разсчитывать подтвердить это свое положеніе такими доказательствами, которыя вполнѣ соотвѣтствовали бы установившемуся типу научныхъ доказательствъ. Отъ меня этого, конечно, никто и не потребуетъ. Но съ моей стороны все-таки весьма естественно желаніе поискать себѣ опоры въ наукѣ, именно въ современной, положительной, признанной наукѣ, а не въ пройденныхъ уже ступеняхъ развитія мысли. Поэтому метафизическіе и и еще болѣе ранніе отвѣты на вопросъ о критеріи истинности нашихъ понятій важны здѣсь для насъ развѣ только въ отрицательномъ смыслѣ. Намъ интересны главнымъ образомъ отношенія *науки* къ вопросу объ истинѣ и о критеріи истинности.

Жажда познанія, жажда истины есть законнѣйшая потребность человѣка. Но, наблюдая эту жажду въ другихъ и въ самихъ себѣ, мы видимъ, что она способна принимать весьма различныя направленія и удовлетворяться на разнообразныя манеры. Элементарнѣйшая форма жажды познанія состоитъ въ томъ, что человѣкъ интересуется только тѣми истинами, которыя ему нужны для ближайшихъ практическихъ цѣлей. Напримѣръ, человѣкъ задумалъ построить какую нибудь фабрику и, желая вести дѣло самъ, познакомился съ соотвѣтствующей частью механики и технологіи и затѣмъ почилъ на лаврахъ или, вѣрнѣе, на тѣхъ продуктахъ, которые производятся на его фабрикѣ. Такого рода жажда познанія, удовлетворяясь извѣстнымъ кругомъ уже добытыхъ другими истинъ, для насъ неинтересна. Обращаясь къ менѣе легко удовлетворяемой потребности истины, мы встрѣчаемъ, во первыхъ, метафизику. Здѣсь жажда познанія получаетъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ сильнѣйшее или, по крайней мѣрѣ, напряженнѣйшее развитіе. Во всякомъ случаѣ она въ этой формѣ представляетъ крайнюю противоположность потребности, удовлетворяющейся маленькой группой истинъ, необходимыхъ для злобы дня въ буквальномъ смыслѣ слова. Вполнѣ презирая практику и даже не умѣя къ ней приступиться, метафизика жаждетъ познанія для познанія, ищетъ истины для истины. Метафизики, напримѣръ, спорили очень много о томъ, существуетъ ли реальный міръ, т. е. этотъ столъ, это перо, эта свѣчка, этотъ пишущій человѣкъ и т. д., существуютъ ли они въ дѣйствительности или это только призракъ, обманъ, а настоящая дѣйствительность лежитъ гдѣ-то за реальнымъ міромъ, въ качествѣ его субстрата. Много остроумія, силы и тонкости мысли, всѣхъ лучшихъ даровъ человѣческой природы потрачено было на этого рода споры, причемъ субстратомъ всего реальнаго міра, единосущимъ, дѣйствительнымъ бытіемъ поочередно признавались вода, число, духъ, матерія, воля, опять духъ, опять матерія и т. д. Профаны никогда не могли примириться съ этими измышленіями. Практическую сторону этой невозможности Прудонъ, съ свойственною ему силою и яркостью выраженій, описалъ такъ: Le peuple, éminemment pratique, demandait à quoi servirait toute cette philosophie, et la manière d'en faire usage: et comme on lui répondait, avec Schelling, que la philosophie éxiste par elle même et pour elle même; que ce serait faire injure à sa dignité que de lui chercher un emploi, le peuple s'est moqué des philosophes, et tout le monde a fait comme le peuple. Т. е. народъ, практикъ по преимуществу, спрашивалъ, на что годится вся эта философія и какъ слѣдуетъ ее прилагать къ жизни; ему отвѣтили, устами Шеллинга, что философія существуетъ въ себѣ и для себя, что было бы оскорбительно для ея достоинства искать ей какого-нибудь примѣненія; тогда народъ отвергъ философовъ и весь міръ послѣдовалъ его примѣру. Это—только практи-

ческая сторона дѣла, ясно обрисовывающая неизбѣжную противоположность точекъ зрѣнія профана и спеціалиста познаванія. Но и наука, въ силу теоретическихъ соображеній, тоже отвергла съ своей стороны метафизику, такъ что, ссылаясь не только на свою собственную практику, а и на науку, мы имѣемъ полное право сказать: пусть мертвые хоронятъ мертвыхъ. Остается та форма жажды познанія, которая создала науку. Въ этой области открываются законы явленій, т. е. нѣчто подлежащее повѣркѣ чуть не каждую минуту, въ этой области нѣтъ толченія на мѣстѣ, въ ней есть свои преданія, преемственный, такъ сказать, рядъ истинъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе очищающихся отъ постороннихъ примѣсей. Послушаемъ же, что скажетъ намъ наука объ истинѣ и о критеріи истинности. Я замѣчаю однако, что и въ самой наукѣ есть, по крайней мѣрѣ, два теченія, двѣ формы жажды познанія, очень хорошо различимыя. Я вижу, во-первыхъ, множество людей науки, занятыхъ, напримѣръ, перечисленіемъ видовъ и разновидностей животныхъ, растеній, минераловъ и подробнѣйшимъ описаніемъ ихъ свойствъ. Такой-то видъ такого-то рода такого-то семейства жесткокрылыхъ отличается такими-то пропорціями головы и туловища, такою-то окраскою концовъ надкрылій и такимъ-то числомъ полосокъ вдоль спины; существуетъ однако тамъ-то, тамъ-то и тамъ-то разновидность этого вида, отличающаяся двойнымъ числомъ полосокъ на спинѣ и удиненнымъ туловищемъ; открытіе этой замѣчательной разновидности посчастливилось сдѣлать мнѣ, и я позволилъ себѣ прибавить къ ея родовому названію, въ честь нашего знаменитаго ученаго Буквоѣдуса, прилагательное **Bukwojedii**. Вотъ приблизительное содержаніе весьма многихъ ученыхъ изслѣдованій, на которыя тратятся годы и годы; вотъ какими акридами и дикимъ медомъ можетъ иногда удовлетворяться человѣкъ, алчущій познанія. Этого рода ученые едва-ли когда-нибудь думаютъ объ истинѣ, но она, по всей вѣроятности, смутно представляется имъ чѣмъ-то вродѣ точной копіи съ маленькаго уголка дѣйствительности, причемъ ученому нѣтъ никакого дѣла до остального міра, а слѣдовательно и до мѣста, которое занимаетъ въ немъ изученный имъ уголокъ: онъ изучаетъ его ради него самого, хоть бы онъ мѣднаго гроша не стоилъ. Замѣчательно, что такія изслѣдованія существуютъ и возможны почти исключительно въ такъ называемыхъ конкретныхъ наукахъ (зоологія, ботаника, минералогія, исторія, какъ ее долбятъ въ училищахъ) которыя представляютъ низшій типъ науки и до сихъ поръ открыли собственными силами только развѣ очень малое число законовъ явленій.

Если мы, наконецъ, обратимся къ высшему типу научныхъ изслѣдованій, къ сферамъ знанія, наиболѣе по общему приговору разработаннымъ, то встрѣтимся съ совсѣмъ иными понятіями объ истинѣ и о задачѣ науки. Мы увидимъ, напримѣръ, математика, который оперируетъ надъ понятіями, не имѣющими себѣ никакого пособія въ дѣйствительности, и который слѣдовательно никоимъ образомъ не можетъ видѣть въ истинѣ копію съ дѣйствительности. Мы увидимъ физика, говорящаго о свойствахъ матеріи, химика, разсуждающаго о сродствѣ, астронома, изучающаго законы тяготѣнія, и т. п., и однако всѣ эти понятія матеріи, сродства, тяготѣнія, возбужденія, сознанія, по выраженію одного нѣмецкаго писателя, могутъ быть сравнены съ кредитнымъ билетомъ, который находится въ обращеніи, но котораго никто не выкупаетъ и который слѣдовательно имѣетъ чисто условную цѣнность. Наука не приписываетъ имъ характера истинъ, соотвѣтствующихъ метафизическимъ сущностямъ, якобы дознаннымъ и познаннымъ; нѣтъ, наука вводитъ въ свое построеніе эти понятія чисто условно, охотно сознаваясь, что слова матерія, сродство, тяготѣніе выражаютъ нѣчто въ сущности неизвѣстное. Мы увидимъ рядъ чрезвычайно смѣлыхъ гипотезъ, которыя, можетъ быть, никогда не подтвердятся, которыя составляютъ сознательный, условленный самообманъ. Принимая, напримѣръ, гипотезу свѣтоноснаго эфира, разныхъ другихъ гипотетическихъ дѣятелей, разсуждая объ ихъ свойствахъ съ такою увѣренностью, какъ еслибы они были ею смѣрены и взвѣшены, наука говоритъ: это—только гипотеза, а не истина, это—собственно говоря, обманъ, но я опираюсь на него, какъ на истину, потому что это удобно, потому что этотъ обманъ даетъ мнѣ возможность часто съ большою точностью предвидѣть измѣненія въ томъ или другомъ явленіи. Что же это значитъ? Что можетъ быть путнаго изъ Назарета? Куда заведетъ насъ это, повидимому, ослабленіе стремленія къ истинѣ?

Для отвѣта на эти вопросы я позволю себѣ рекомендовать вниманію читателя небольшую и очень популярно изложенную статью г. Добровольскаго. «Видимъ-ли мы предметы такими, какими они существуютъ въ природѣ». («Знаніе» 1873, № 1). Это—вступительная лекція курса физіологіи зрѣнія, читанная въ медико-хирургической академіи. Авторъ держится воззрѣній Гельмгольца, и статья представляетъ слѣдовательно вѣрное отраженіе взглядовъ современной положительной науки.

Вѣрны ли наши зрительныя впечатлѣнія? Видимъ ли мы предметы такими, какими они существуютъ въ дѣйствительности? спраши-

ваетъ г. Добровольскій. Повидимому, отвѣчать на этотъ вопросъ очень легко. Вамъ нужно перескочить черезъ оврагъ. Вы измѣряете глазомъ разстояніе, напрягаете въ соотвѣтственной степени мускулы рукъ и ногъ и прыгаете: вы перепрыгнули, значитъ, глазъ не обманулъ васъ. Вы говорите: вотъ квадратная доска, и прямое измѣреніе сторонъ ея подтверждаетъ, что вы не ошиблись,—это дѣйствительно квадратная доска. Подобныя безчисленныя повѣрки зрительныхъ впечатлѣній, при помощи другихъ органовъ чувствъ, доказываютъ полное соотвѣтствіе этихъ впечатлѣній и видимыхъ предметовъ. Однако есть факты, противорѣчащіе такому убѣжденію. Сплошь и рядомъ намъ приходится, опредѣливъ глазомѣромъ, напримѣръ, извѣстное разстояніе, убѣдиться вслѣдъ за тѣмъ, что мы ошиблись. Да и тѣ случаи, въ которыхъ мы завѣдомо безошибочно опредѣляемъ на глазъ извѣстное разстояніе или извѣстную форму предмета, совсѣмъ не такъ просты, какъ оно кажется съ перваго раза. Я вижу шаръ и не ошибаюсь, это—дѣйствительно шаръ. Но дѣло въ томъ, что я съ ранняго дѣтства имѣлъ въ рукахъ разнаго рода шары, ощупывалъ ихъ, бралъ ихъ въ ротъ и т. д. Такъ что теперь, когда я безошибочно опредѣляю глазомъ шарообразную форму, я не могу сказать, что именно принадлежитъ чистому зрительному впечатлѣнію и что—позабытому мной, но долгому и сложному навыку, въ которомъ участвовало не одно чувство зрѣнія. Далѣе, мы знаемъ о существованіи иллюзій и галлюцинацій, т. е. зрительныхъ впечатлѣній, не соотвѣтствующихъ видимымъ предметамъ или же являющихся безъ вызова какимъ-нибудь внѣшнимъ предметомъ. Еще важнѣе слѣдующее обстоятельство. Спеціальное отправленіе глаза состоитъ въ воспріятіи свѣтовыхъ лучей, идущихъ къ нему отъ предметовъ. Но будемъ ли мы раздражать зрительный нервъ электричествомъ, кислотой, будемъ ли мы его давить, рвать, рѣзать, на всѣ эти раздраженія онъ отвѣтитъ свѣтовыми явленіями. Если мы будемъ просто давить на свой собственный глазъ, то тоже получимъ, кромѣ ощущенія боли, ощущеніе свѣта. Такимъ образомъ органъ зрѣнія отвѣчаетъ свѣтовыми явленіями на такія раздраженія, которыя не имѣютъ ничего общаго со свѣтомъ. Какъ же можно въ виду этого допустить вѣрность нашихъ зрительныхъ впечатлѣній? Возьмите листъ красной бумаги, сдѣлайте въ немъ маленькую вырѣзку, подложите подъ него листъ черной бумаги и покройте бѣлой папиросной бумагой: черный цвѣтъ подкладки будетъ казаться зеленымъ, а если замѣнить красную бумагу зеленой, то подкладка покажется краснаго цвѣта. Хотя мы очень хорошо знаемъ условія этого зрительнаго обмана, но тѣмъ не менѣе, это — все-таки обманъ: зрительное впечатлѣніе не соотвѣтствуетъ дѣйствительности. Есть люди, слѣпые на нѣкоторые цвѣта, преимущественно на красный. Киноварь для всѣхъ краснаго цвѣта, а для человѣка, страдающаго такимъ недостаткомъ зрѣнія, она будетъ чернаго цвѣта. Это случай ненормальный, но онъ все-таки показываетъ, что свойства предметовъ зависятъ не только отъ ихъ природы, но и отъ природы тѣхъ органовъ, на которые они дѣйствуютъ. Къ тому же заключенію приводятъ насъ и всѣ вышеприведенные примѣры обмановъ зрѣнія. Всѣ они свидѣтельствуютъ, что въ актѣ зрѣнія сталкиваются далеко не тождественные моменты субъективный и объективный: что мы всегда видимъ предметы сообразно устройству нашего органа зрѣнія, но далеко не всегда сообразно свойствамъ самихъ предметовъ, словомъ, что предполагаемая гармонія между наблюдающимъ субъектомъ и наблюдаемымъ объектомъ не существуетъ.

Мы получимъ совершенно удовлетворительное понятіе объ общемъ значеніи этихъ отклоненій наблюденія отъ дѣйствительности, если нѣсколько пристальнѣе разсмотримъ одно явленіе, уже отмѣченное выше. Чтобы видѣть предметъ, надо, чтобы идущіе отъ него лучи свѣта попали въ глазъ и, пройдя глазныя среды, дали обратное изображеніе предмета на сѣтчаткѣ, чтобы въ сѣтчаткѣ было вызвано ощущеніе и чтобы это ощущеніе передалось при помощи волоконъ зрительнаго нерва мозгу, гдѣ уже изъ него образуется представленіе о предметѣ. Только зрительный аппаратъ, состоящій изъ сѣтчатки, зрительнаго нерва и извѣстной части мозга, способенъ производить свѣтовыя ощущенія и соотвѣтственныя представленія. Солнечные лучи воспринимаются и нервами осязанія, но здѣсь происходитъ ощущеніе теплоты, свѣтовыхъ же ощущеній не можетъ дать ни одинъ нервъ, кромѣ зрительнаго. То же самое повторяется и съ другими нервами: на языкѣ уксусъ даетъ ощущеніе кислаго вкуса, а на соединительной оболочкѣ вѣкъ—осязательное ощущеніе болѣзненнаго жженія. Слѣдовательно, *одинъ и тотъ же предметъ* производитъ въ насъ *различныя* ощущенія не потому, что въ немъ самомъ произошли какія-нибудь измѣненія, а потому, что онъ дѣйствуетъ на *различные* органы чувствъ. Съ другой стороны мы видѣли, что зрительный аппаратъ отвѣчаетъ свѣтовыми явленіями на всякія раздраженія. *Что бы ни дѣйствовало* на органъ зрѣнія,—свѣтъ ли, электричество ли, механическое ли давленіе и проч., онъ дѣлаетъ только свое спе-

ціальное дѣло. Слѣдовательно, объектъ, дѣйствительность играетъ здѣсь совершенно подчиненную роль; не объектъ опредѣляетъ характеръ впечатлѣнія, а извѣстный нервный аппаратъ воспринимающаго субъекта. Отсюда слѣдуетъ выводъ:

«Качество нашихъ ощущеній главнымъ образомъ зависитъ отъ особенностей нервнаго аппарата и потомъ уже — слѣдовательно только вовторыхъ—отъ особенностей тѣхъ раздражителей или предметовъ, которые дѣйствуютъ на нервы. Къ сферѣ какого чувства принадлежитъ данное ощущеніе, это вовсе не зависитъ отъ наружныхъ предметовъ, а исключительно только отъ рода возбуждаемыхъ ими нервовъ. Какое особенное ощущеніе произойдетъ въ сферѣ какого-либо опредѣленнаго чувства—это прежде всего зависитъ отъ натуры внѣшняго предмета, который вызоветъ ощущеніе. Вызовутъ ли во мнѣ солнечные лучи свѣтовое ощущеніе или ощущеніе теплоты — это зависитъ только отъ того, буду ли я ихъ воспринимать чрезъ посредство зрительнаго нерва или же чрезъ посредство нервовъ кожи. Получу ли я при этомъ ощущеніе краснаго или синяго цвѣта, слабаго или сильнаго свѣта, ощущеніе жгучей или только слабой теплоты—это будетъ зависѣть, какъ отъ рода дѣйствующихъ лучей, такъ и отъ состоянія нервнаго аппарата (115).

„Теперь уже ясно, продолжаетъ г Добровольскій (117), что о равенствѣ зрительныхъ представленій съ объектами не можетъ быть и рѣчи. Есть ли какой-нибудь смыслъ искать сходства, а тѣмъ болѣе равенства между этимъ столомъ и представленіемъ о немъ—продуктомъ психической дѣятельности? Представленіе о какомъ либо предметѣ и самый предметъ принадлежатъ двумъ совершенно различнымъ мірамъ, которые также мало допускаютъ между собою какое либо сравненіе, какъ луна и уксусъ, какъ цвѣта и тоны или, еще лучше, какъ буквы какой-нибудь книги со звукомъ того слова, которое они изображаютъ. Наши зрительныя впечатлѣнія суть *дѣйствія*, которыя видимые предметы оказываютъ на нашу нервную систему, на наше сознаніе. А всякое дѣйствіе зависитъ какъ отъ натуры дѣйствующаго предмета, такъ и отъ натуры того объекта, на который производится дѣйствіе. Ожидать и требовать представленія, которое бы пунктуально и неизмѣнно передавало намъ натуру представляемаго предмета, слѣдовательно было бы истинно въ абсолютномъ смыслѣ, значило бы ожидать дѣйствія, которое было бы совершенно независимо отъ натуры того предмета, на который произведено дѣйствіе, что составляетъ уже осязательное противорѣчіе и безсмыслицу. Всѣ наши представленія, въ томъ числѣ и зрительныя, носятъ на себѣ субъективный характеръ: мы можемъ называть ихъ образами предметовъ, но характеръ ихъ существенно зависитъ отъ нашего сознанія и его особенностей".

Свойство, качество предмета есть только *дѣйствіе* предмета или, вѣрнѣе, постоянная способность предмета дѣйствовать, при благопріятныхъ условіяхъ, извѣстнымъ образомъ на другіе предметы или на наши чувства. Поэтому несправедливо видѣть въ свойствахъ предметовъ ихъ неотъемлемую принадлежность внѣ всякаго отношенія къ другимъ предметамъ. Изъ этого видно, что нелѣпо и спрашивать, напримѣръ, краснаго ли цвѣта киноварь или это — оптическій обманъ. Краснота совсѣмъ не есть непзбѣжное свойство киновари самой по себѣ или отражаемаго ею свѣта. «Ощущеніе краснаго цвѣта есть нормальная реакція нормально устроенныхъ глазъ на свѣтъ, отраженный киноварью. Слѣпой на красный цвѣтъ видитъ киноварь черною, потому что у него въ нервномъ аппаратѣ недостаетъ элементовъ, на которые могли бы дѣйствовать лучи свѣта, отраженные киноварью; и это есть нормальная реакція киновари на его особымъ образомъ устроенные глаза; онъ долженъ только знать, что его глаза иначе устроены, чѣмъ глаза другихъ людей. И одно ощущеніе есть не болѣе истинно и не болѣе ложно, чѣмъ другое, хотя людей, воспринимающихъ красный цвѣтъ, гораздо больше, чѣмъ лишенныхъ этой способности. Вообще, красный цвѣтъ киновари существуетъ только по столько, по сколько существуютъ глаза, могущіе ощущать его». Такимъ образомъ нельзя даже спрашивать: видимъ ли мы предметы такими, каковы они въ дѣйствительности?—потому что объ этой дѣйствительности мы, внѣ условій нашей природы вообще и природы нашего органа зрѣнія въ частности, не можемъ имѣть никакого понятія. Тѣмъ не менѣе повѣрка нашихъ зрительныхъ впечатлѣній другими органами чувствъ остается налицо. Мы устраиваемъ на нихъ значительную часть своей практической жизни, пользуемся ими, и съ успѣхомъ, на каждомъ шагу. Въ чемъ же дѣло? Недоразумѣніе разрѣшается очень просто, если мы примемъ, что наши ощущенія, изъ которыхъ путемъ психической дѣятельности слагаются представленія о предметахъ, суть извѣстные символы, извѣстные знаки, не произвольно нами выбранные, а навязанные намъ самою природой, самыми условіями нашего существованія. Знаки эти нами заучиваются съ ранняго дѣтства путемъ сложнаго, отчасти произвольнаго опыта. Какъ ребенокъ постепенно заучиваетъ буквы, не имѣющія никакого сходства съ выражаемыми ими звуками, потомъ слоги, слова, съ которыми связываются опредѣленныя понятія; такъ тотъ же ребенокъ долгимъ опытомъ знакомится съ зрительными ощущеніями, пока, наконецъ, научится вырабатывать изъ нихъ правильныя, т. е. пригодныя для жизни представленія о предметахъ. Разъ отъ однихъ и тѣхъ же предметовъ получаются всегда одни и тѣ же знаки, т. е. ощущенія, а отъ разныхъ всегда разные, — такой системы знаковъ для насъ совершенно достаточно, тѣмъ болѣе, что иной и взять не откуда. Нечего спрашивать, вѣрно ли само по себѣ мое зрительное представленіе о столѣ, на кото-

ромъ я пишу, и о различныхъ его качествахъ. «Представленіе о столѣ, которое я имѣю, есть истинно и вѣрно, если я могу изъ него напередъ вѣрно и точно опредѣлить, какое ощущеніе я буду имѣть, если я приведу мой глазъ и мою руку въ то или другое положеніе относительно стола. Другого какого-нибудь сходства между представленіемъ и представляемымъ предметомъ ни вообразить себѣ, ни понять нельзя» (123).

Я полагаю, что этотъ маленькій частный трактатъ даетъ очень отчетливое понятіе о современныхъ отношеніяхъ положительной науки вообще къ истинѣ. Она, эта наука, вовсе не расположена видѣть въ истинахъ вѣрную копію съ дѣйствительности; для нея истина есть только, если можно такъ выразиться, извѣстный, спеціальный случай равновѣсія между субъектомъ и объектомъ, между человѣкомъ и природой и другими людьми. Наука не боится обмана даже въ такой мѣрѣ, въ какой его боялась и боится метафизика, хотя, въ концѣ концовъ, истина достается положительной наукѣ, а не метафизикѣ. Положительной наукѣ нѣтъ никакого дѣла до всѣхъ субстанцій и соотвѣтствующихъ имъ критеріевъ истинности нашихъ понятій. Она прямо говоритъ, что для нея даже безразлично—истинно или призрачно наше познаніе природы само по себѣ, т. е. вполнѣ ли оно соотвѣтствуетъ дѣйствительности, истинной природѣ вещей. Важно только, чтобы это познаніе удовлетворяло требованіямъ человѣческой природы, и критерія истинности слѣдуетъ искать уже въ томъ удовлетвореніи. Такимъ образомъ надъ вопросомъ объ истинѣ, выше его наука ставитъ вопросъ объ условіяхъ человѣческой природы. Прежде всякаго другого познанія человѣкъ долженъ познать свою природу, свои границы. Человѣку свойственно стремиться къ истинѣ, познавать, и это требованіе его природы подлежитъ удовлетворенію. Но человѣкъ не Богъ, находящійся внѣ всякихъ условій и опредѣленій. Онъ занимаетъ въ іерархіи существъ, населяющихъ міръ, высокое, но совершенно опредѣленное мѣсто, обусловленное его организаціей. Существа высшія его, существа низшія его имѣютъ понятіе о мірѣ, весьма отличныя отъ его понятій и однако они не болѣе и не менѣе истинны, чѣмъ его собственныя. По моему столу ползаетъ ранняя муха, отогрѣтая высокой температурой комнаты. Безъ сомнѣнія она имѣетъ о столѣ представленіе, совершенно отличное отъ моего, но разъ природа ея удовлетворяется этимъ представленіемъ, оно для нея истинно. И если есть мухи-метафизики, то онѣ будутъ совершенно тщетно выбиваться изъ силъ, стараясь усвоить себѣ какія-нибудь высшія или вообще иныя, напримѣръ, человѣческія понятія о вещахъ. Совершенно также и человѣку надлежитъ, по совѣту Фейербаха, «довольствоваться даннымъ міромъ», т. е. такимъ, какимъ онъ данъ для него, человѣка. Я не знаю, что имѣлъ въ виду авторъ извѣстной картины, изображающей истину обнаженной женщиной съ факеломъ въ рукѣ. Но я знаю, что факелъ истины, обнаженной отъ условностей человѣческой природы, неспособенъ освѣтить даже малѣйшее пространство, и не ему бороться съ окружающимъ человѣчество мракомъ. Можетъ показаться, что все это праздный разговоръ, потому что не все ли равно сказать: истина, или: удовлетвореніе познавательной потребности человѣческой природы? Повидимому, тутъ дѣло просто въ словахъ. Оно, пожалуй, и такъ, но исторія обволакиваетъ часто слова такими оболочками, которыя необходимо время отъ времени ликвидировать, устранять, чтобы вывести на бѣлый свѣтъ настоящій смыслъ слова. Не понимая старыхъ и новыхъ грѣховъ теософіи и метафизики, можно подыскать любопытные примѣры неосновательныхъ понятій объ истинѣ въ средѣ людей, претендующихъ на положительное мышленіе. Недалеко ходить,—русскій переводчикъ послѣдняго сочиненія Герберта Спенсера «Изученіе соціологіи» говоритъ въ предисловіи: «Совершенно послѣдовательно и строго логически авторъ, шагъ за шагомъ, пробиваетъ дорогу объективной истинѣ тамъ, гдѣ *цѣлый рядъ условій, связанныхъ съ природою человѣка* и съ внѣшними условіями, *стоитъ препятствіемъ къ правильному пониманію общественныхъ фатковъ* (VIII). Переводчикъ утверждаетъ также, что Спенсеръ въ этомъ сочиненіи «самымъ рѣшительнымъ образомъ разрушаетъ заблужденія, господствующія среди большинства по отношенію къ критикѣ соціальныхъ явленій». Сейчасъ мы увидимъ, какъ и что разрушаетъ Спенсеръ. Но спрашивается, какое заблужденіе можетъ быть горше и опаснѣе мнѣнія, что можно *правильно* понять общественные факты, если тому препятствуетъ «цѣлый рядъ условій, связанныхъ съ природой человѣка»? Одно изъ двухъ: или надо признать правильнымъ пониманіе, соотвѣтствующее условіямъ человѣческой природы, или надо вовсе отказаться отъ правильнаго пониманія. Иной исходъ возможенъ только для человѣка, *върующаго*, что правильное пониманіе сообщено ему супранатуральнымъ путемъ, и видящаго въ этомъ высшемъ происхожденіи своего пониманія гарантію его правильности; да еще для метафизика, убѣжденнаго въ возможности познанія нумена, вещи въ себѣ, субстрата, сущности явленій. Человѣку науки не приходится такъ презирать

свою собственную природу. Природа человѣка—не заборъ, черезъ который можно перелѣзть и благополучно очутиться на чужомъ дворѣ, это—самъ человѣкъ. Пусть г. Гольдсмитъ (переводчикъ Спенсера) попробуетъ перепрыгнуть черезъ самого себя. Если это ему удастся, я повѣрю, что Спенсеръ пробилъ объективной истинѣ дорогу даже тамъ, гдѣ этого сдѣлать *физически* невозможно. До тѣхъ же поръ, пока г. Гольдсмитъ предлагаемаго мною фокуса не исполнитъ, я, примѣняясь къ научнымъ соображеніямъ, изложеннымъ г. Добровольскимъ, держусь того мнѣнія, что мнѣ рѣшительно все равно правильно или неправильно понялъ Спенсеръ изучаемые имъ факты; вѣрнѣе сказать, не все равно, но этотъ вопросъ о «правильности» понятій Спенсера стоитъ для меня на второмъ планѣ; прежде всего я желаю знать, удовлетворяютъ ли они требованіямъ человѣческой природы: коли удовлетворяютъ, значитъ, правильны.

Гоббсъ очень справедливо говорилъ, что слова суть счеты умныхъ людей, которые пользуются ими для вычисленій, а для глупцовъ они деньги. Неисчислимы выгоды, которыя могли бы происходить отъ сознательной замѣны износившихся словъ другими, что къ сожалѣнію крайне трудно. Но люди могутъ, по крайней мѣрѣ, отъ времени до времени ревизовать свой политическій, философскій, научный жаргонъ съ цѣлью увидать, не произошло ли какого-нибудь важнаго измѣненія въ смыслѣ общеупотребительныхъ словъ, соотвѣтствуютъ ли они тѣмъ понятіямъ, которыя должны ими выражаться. Посмотримъ, какія выгоды можетъ дать замѣна слова «истина» словами «удовлетвореніе познавательной потребности человѣка». Прежде всего такое опредѣленіе уже заключаетъ въ себѣ критерій истинности нашихъ понятій, критерій, который, собственно говоря, руководилъ человѣкомъ испоконъ вѣку и который можно найти на днѣ всѣхъ философскихъ системъ и всѣхъ научныхъ изслѣдованій. Что бы ни признавалъ мыслитель гарантіей вѣрности своихъ понятій, какими бы сочетаніями словъ онъ ни описывалъ свой критерій истины, но, въ концѣ концовъ, онъ признавалъ какое-либо положеніе истиннымъ только потому, что оно удовлетворяло его жаждѣ познанія. Я не сытъ, говоритъ человѣкъ съ неудовлетвореннымъ аппетитомъ; я не знаю, говоритъ человѣкъ съ неудовлетворенною жаждою познанія. Когда вы накормите голоднаго и сообщите истину не знающему, они скажутъ: я сытъ, я знаю. И всегда такъ было, есть и будетъ, всегда люди признавали, признаютъ и будутъ признавать истиннымъ то, что насыщаетъ ихъ потребность знанія. Правда, предлагаемый критерій не высказывался, онъ выходилъ наружу въ болѣе или менѣе извращенномъ видѣ, но это зависитъ уже не отъ самаго критерія, а отъ личныхъ свойствъ изслѣдователей и мыслителей. Но кромѣ этого объединенія значительной части исторіи мысли, нашъ критерій имѣетъ еще ту неоцѣнимую выгоду, что онъ объединяетъ области теоретическую и практическую, всѣ изъявительныя и повелительныя наклоненія всѣхъ человѣческихъ глаголовъ и всю дѣятельность человѣка. Не трудно видѣть, что красота, польза, справедливость въ отдѣльности представляютъ такіе же частные случаи равновѣсія между субъектомъ и объектомъ, между человѣкомъ и природой и другими людьми, какъ и истина; все это—различные способы удовлетворенія различныхъ требованій человѣческой природы. Итакъ, выраженіе: цѣль науки есть изысканіе истины, служеніе истинѣ—не то что неправильно, а даетъ поводъ къ неправильнымъ толкованіямъ и должно быть замѣнено положеніемъ: цѣли науки состоитъ въ удовлетвореніи извѣстной потребности человѣческой природы, или, что то же, въ служеніи человѣку, или, что опять-таки то же самое, въ исполненіи заказовъ человѣка. Такимъ образомъ понятая цѣль науки, конечно, не обязываетъ ее ни гнуться передъ толпой невѣжественныхъ людей, ни отворачиваться отъ истины, ни кадить людямъ, ни обманывать, ни обманываться. Напротивъ, цѣль эта, указывая предѣлъ, его же наука по природѣ человѣка пройти не можетъ, тѣмъ самымъ *расчищаетъ* путь къ доступной человѣку истинѣ. Притомъ цѣль состоитъ въ удовлетвореніи именно потребности познанія и слѣдовательно отнюдь не требуетъ какихъ-нибудь успокаивающихъ, льстящихъ, но ложныхъ свѣдѣній или обобщеній.

Читатель можетъ остановить меня такими замѣчаніями. Допустимъ, скажетъ онъ, что все это вѣрно, но вѣдь требовалось доказать, что наука должна служить профанамъ, а до сихъ поръ доказывалось только, что она должна служить человѣку. Развѣ профанъ есть человѣкъ по преимуществу? И не правильнѣе ли сказать, что наука удовлетворяетъ познавательной потребности самого изслѣдователя? Но и тутъ не впадемъ ли мы въ полный хаосъ, такъ какъ должны будемъ признать истинами всѣ нелѣпости, которымъ нѣкогда люди вѣрили и которыя въ свое время удовлетворяли ихъ познавательной потребности. Напримѣръ, какіе-нибудь дикари вѣрятъ, что громъ есть сердитая рѣчь разгнѣваннаго божества, и ихъ познавательная потребность вполнѣ удовлетворяется такимъ объясненіемъ: что-жъ, и это тоже истина? Да и въ средѣ совре-

менныхъ мыслящихъ людей существуетъ много разногласій, свидѣтельствующихъ о томъ, что познавательная потребность можетъ удовлетворяться различными вещами.

Что касается до вѣрованій вродѣ того, что громъ есть сердитый говоръ разгнѣваннаго Юпитера, Тора, Перуна, то всѣ они относятся къ такому періоду развитія народа или личности, когда потребность познанія находится въ зачаточномъ состояніи. Это—продукты не познавательной потребности, а нѣкоторой другой, которую я назову потребностью творчества, которая тоже подлежитъ удовлетворенію и въ процессѣ исторіи удовлетворяется различно. Однако и въ этомъ періодѣ развитія потребность познанія существуетъ и даетъ себя знать. И въ этомъ періодѣ развитія человѣкъ работаетъ, слѣдовательно нѣчто знаетъ и знаетъ такъ, что элементарнѣйшія изъ добытыхъ имъ истинъ удовлетворяютъ насъ и понынѣ. Контъ приводитъ, не знаю откуда взятое имъ, замѣчаніе Адама Смита, что никогда ни въ какой миѳологіи не существовало бога тяжести. Работая, напримѣръ, влѣзая на дерево за птичьими яйцами или за плодами, пуская камнемъ или дубиной въ преслѣдуемую имъ дичь и т. п., самый отдаленный нашъ предокъ, очень хорошо *зналъ* нѣкоторые законы тяжести, которые удовлетворяютъ потребности познанія и людей XIX вѣка, признаются ими истинными. Вообще трудъ и положительное знаніе связаны самыми неразрывными узами. Для поддержанія существованія нуженъ трудъ, для успѣшнаго труда нужно знаніе. Поэтому, переходя отъ кочевого быта къ осѣдлому, отъ звѣроловства къ скотоводству, отъ скотоводства къ земледѣлію, люди самымъ процессомъ труда выработали длинный рядъ истинъ, необходимо остающихся истинами и для насъ. Разница въ томъ только, что потребность познанія съ теченіемъ времени расширилась и уже не удовлетворяется истинами элементарными, жаждетъ истинъ высшихъ, сложнѣйшихъ и ихъ систематизаціи. Такимъ образомъ хаосъ, долженствующій, повидимому, произойти отъ принятія нашего критерія истинности понятій, нѣсколько разсѣевается: есть множество истинъ, удовлетворяющихъ человѣческую природу вообще, всякаго человѣка—новозеландца и Ньютона, князя Мещерскаго и Аристотеля. Безъ сомнѣнія однако, по мѣрѣ измѣненія физической и психической природы человѣка, весьма часто представляется не только расширеніе познавательной потребности: бываютъ и многочисленные случаи отрицанія предшествовавшихъ понятій, признанія ихъ ложными. Одинъ писатель съ большою ученостью и остроуміемъ доказывалъ, что общій процессъ исторіи ведетъ къ ослабленію зрѣнія относительно способности охватывать глазомъ извѣстное пространство и вмѣстѣ съ тѣмъ къ изощренію его въ дѣлѣ различенія цвѣтовъ и ихъ оттѣнковъ. Извѣстно, что дикари видятъ гораздо дальше и лучше людей цивилизованныхъ. Съ другой стороны изъ сопоставленія нѣкоторыхъ мѣстъ Иліады и Одиссеи слѣдуетъ заключить, что во времена Гомера греки не умѣли различать такіе цвѣта, какъ голубой и зеленый. Если это справедливо *), то передъ нами чрезвычайно любопытный случай весьма важнаго измѣненія организаціи зрительнаго аппарата, измѣненія, совершившагося въ относительно короткій историческій промежутокъ и, очень можетъ быть, имѣвшаго результатомъ или спутникомъ нѣкоторое измѣненіе психической природы человѣка. Это измѣненіе могло повести къ тому, что многія изъ понятій, удовлетворявшихъ познавательную потребность древнихъ грековъ, насъ уже удовлетворять не способны. Ближайшій примѣръ—цвѣта, напримѣръ, хорошей бирюзы и ярко зеленой травы. Грекъ полагалъ, что эти предметы одного и того же цвѣта; мы знаемъ, что они различнаго цвѣта, и потому утверждаемъ, что грекъ заблуждался, что его понятія были неистинны. А между тѣмъ, они удовлетворяли его потребности познанія, слѣдовательно, были истинны. Ну да, *были* истинны, потому что удовлетворяли, а теперь ложны, потому что не удовлетворяютъ. Хаоса тутъ все-таки нѣтъ никакого. Съ нашими понятіями можетъ случиться то же самое. Въ нашей оптикѣ принято, что впечатлѣнія различныхъ цвѣтовъ зависятъ отъ разницы въ длинѣ волнъ свѣтового эфира: самыя, напримѣръ, длинныя волны даютъ впечатлѣніе краснаго цвѣта. Но есть волны слишкомъ длинныя для нашего глаза, есть и слишкомъ короткія, ихъ мы воспринимать не можемъ; нельзя однако поручиться, чтобы глазъ нашъ не получилъ съ теченіемъ времени способности воспринимать и нѣкоторыя изъ нихъ. Во всякомъ случаѣ теперь мы всѣ, за вычетомъ ничтожнаго процента людей съ исключительно устроенными глазами, различаемъ цвѣта одинаково, и никакого спора о цвѣтѣ бирюзы и травы между нами быть не можетъ. Если мы теперь обратимся къ разногласіямъ, существующимъ въ наукѣ, то увидимъ, что они вертятся главнымъ образомъ около одного и того же центра. Возьмемъ хоть вопросъ о происхожденіи видовъ. Есть люди, принимавшіе участіе въ его обсужденіи, но стоящіе однако внѣ науки, примѣшивающіе къ дѣлу посторонніе, преимущественно религіозные элементы. До нихъ

*) Теорію эту слѣдуетъ теперь считать опровергнутою.

намъ нѣтъ дѣла. Научный же споръ ведется изъ-за того, какая теорія наиболѣе удовлетворяетъ нашей потребности познанія. Нѣтъ разговора о томъ,истинны ли какъ-нибудь сами по себѣ понятія неизмѣняемости видовъ, ихъ измѣняемости подъ вліяніемъ борьбы за существованіе, ихъ измѣняемости подъ вліяніемъ особаго закона развитія. Все дѣло въ томъ, которая изъ этихъ теорій можетъ насытить данную потребность познанія, которая изъ нихъ можетъ наилучше объяснить извѣстную группу явленій и уничтожить наибольшее количество сомнѣній и недоразумѣній. Пройдутъ года, вѣка, и нынѣ торжествующая теорія уступитъ мѣсто другой. Это однако отнюдь не ведетъ къ индиферентизму по отношенію къ истинѣ. Какъ бы тамъ ни было въ прошедшемъ и будущемъ, но въ данную минуту сознаваемое мною, какъ истина, удовлетворяетъ меня; я не могу думать, что не обладаю истиной, какъ не могу думать послѣ сытнаго обѣда, что я голоденъ. Практически для насъ безразлична не истина, а, напротивъ, судьба нашихъ истинъ въ тѣ времена, когда природа человѣка измѣнится достаточно сильно для того, чтобы ими не удовлетворяться. Точно такъ же не ведетъ къ индиферентизму и то обстоятельство, что и во всякую данную минуту существуетъ разногласіе, различное пониманіе однѣхъ и тѣхъ же вещей. Я все-таки признаю и не могу не признавать истиной то, что удовлетворяетъ меня, хотя очень хорошо знаю, что природа Петра и Ивана удовлетворяется понятіями, отличными отъ моихъ. Это обстоятельство ведетъ только къ установленію весьма важнаго практическаго правила для всякаго пропагандиста истины. Если вы, удовлетворяя новой потребности своей природы, желаете распространить какую-нибудь истину, то не разсчитывайте внушить ее Ивану или Петру, не возбудивъ въ немъ предварительно соотвѣтственной потребности познанія, т. е. той жажды истины и тѣхъ сомнѣній и недоразумѣній, которыя въ васъ самихъ погашены вашей истиной.

Но такимъ образомъ мы все-таки приходимъ къ тому, что истина есть удовлетвореніе познавательной потребности того или другого изслѣдователя. При чемъ же тутъ природа человѣка вообще, а тѣмъ паче при чемъ тутъ профанъ? Но вѣдь изслѣдователь есть все-таки человѣкъ, и слѣдовательно на его способности и силы наложены природою тѣ же границы, въ которыхъ долженъ существовать человѣкъ вообще. И хотя природа человѣка намъ не вполнѣ извѣстна, но мы имѣемъ относительно ея столько свѣдѣній, что можемъ не безъ успѣха контролировать ими заблужденія отдѣльныхъ личностей, при чемъ подъ заблужденіями слѣдуетъ разумѣть уклоненія отъ извѣстнаго намъ типа. Люди вообще видятъ красный цвѣтъ, но есть отдѣльныя личности, неспособныя его различать, и мы признаемъ ихъ сужденія о красныхъ предметахъ заблужденіями, единственно потому, что организація ихъ зрительнаго аппарата представляетъ нѣкоторое уклоненіе отъ организаціи, общей подавляющему большинству людей Съ нимъ самимъ, со слѣпымъ на красный цвѣтъ, конечно, ничего не подѣлаешь, если онъ будетъ упорно вѣрить только самому себѣ, хотя и его могутъ убѣдить логическія доказательства и путь косвеннаго опыта. Онъ можетъ, напримѣръ, много разъ выходить навстрѣчу быку въ красномъ плащѣ, не сознавая, что онъ красный, и много разъ быкъ, по природѣ своей приходящій отъ краснаго цвѣта въ раздраженіе, будетъ его бодать. Эта осязательная повѣрка можетъ его убѣдить въ томъ, что онъ человѣкъ особенный, ненормальный; мы же, посторонніе зрители, знаемъ это и безъ несчастныхъ опытовъ съ быкомъ. Точно также мы очень хорошо знаемъ, что между сознаніемъ человѣка и внѣшнимъ міромъ находится какъ бы полупрозрачный занавѣсъ, недопускающій насъ познать объективную истину, сущность вещей. Мы знаемъ, что самыя отвлеченныя наши идеи, въ концѣ концовъ, коренятся въ мірѣ чувственнаго опыта, что такова уже природа человѣка. Поэтому, если какой-нибудь изслѣдователь будетъ упорно стоять на намѣреніи пріобрѣсти внѣчувственныя познанія и проникнуть въ невѣдомую сущность вещей, мы можемъ съ увѣренностью сказать, что либо онъ не получитъ удовлетворенія потребности познанія, либо удовлетворится не по-человѣчески, т. е. окажется особеннымъ, ненормальнымъ, т. е. съ общечеловѣческой точки зрѣнія заблуждающимся человѣкомъ, которому грозятъ какіе-нибудь своего рода рога раздраженнаго быка. Мы не только знаемъ, что такого рода попыткамъ познать непознаваемое грозитъ фіаско, но можемъ догадываться, въ чемъ состоитъ историческій процессъ, приводящій къ этимъ уклоненіямъ отъ нормы человѣческой природы. Этотъ-то процессъ и убѣждаетъ меня въ томъ, что профанъ есть дѣйствительно человѣкъ по преимуществу, что именно ему должна служить наука, если хочетъ быть достойною своего имени и познавать только то, что доступно познанію, но зато все, что доступно. Я сейчасъ объясню свою мысль. Но сначала обратимся къ «Изученію соціологіи» Спенсера.

IV.

Объ изученіи соціологіи.

Признаюсь, я съ нѣкоторымъ страхомъ приступаю къ бесѣдѣ о книгѣ Спенсера. Не въ томъ дѣло, что она блещетъ ученостью, остро-

умѣмъ, умомъ, мастерствомъ изложенія. Все это обычныя качества произведеній Спенсера. Но никогда еще не выказывалъ онъ такого подавляющаго презрѣнія къ намъ, профанамъ, никогда не говорилъ такихъ для насъ обидныхъ и вмѣстѣ горькихъ словъ. Вся книга, собственно говоря, направлена къ тому, чтобы показать намъ наше ничтожество и нелѣпую суетливость, чтобы доказать намъ, что каждый нашъ жизненный шагъ, не соотвѣтствуя требованіямъ науки, вздоренъ и даже гибеленъ. Мы, несчастные, стараемся устроить свою жизнь какъ-нибудь получше, разсчитываемъ, какъ намъ поступить въ томъ или другомъ случаѣ, но Спенсеръ доказываетъ намъ, что всѣ наши разсчеты и старанія рѣшительно никуда не годятся! Впрочемъ съ этимъ бы еще можно примириться. Не въ первый и не въ послѣдній разъ приходится намъ выносить презрительное отношеніе къ намъ людей науки. Да и сами мы очень хорошо знаемъ, что мы люди темные, профаны, обязанные почтительно выслушивать попреки людей науки, потому что вѣдь они не только попрекаютъ насъ, а и учатъ, они ниспровергаютъ наши неосновательныя сужденія и замѣняютъ ихъ основательными, критикуютъ наши дѣйствія и даютъ ясныя указанія, какъ слѣдуетъ дѣйствовать. Только въ благодарность за эти драгоцѣнныя указанія мы и разрѣшаемъ имъ говорить намъ обидныя слова, а не давай они намъ этихъ указаній и только глумись надъ нашей темнотой, мы ихъ высокомѣрія не стерпѣли бы, да и оно было бы совершенно незаконно. Что же — каковы совѣты и указанія умнаго, ученаго и остроумнаго Спенсера? Не знаю, какъ кому покажется, но мнѣ его книга очень напомнила одинъ эпизодъ изъ моего дѣтства. Мнѣ случайно попалась подъ руку очень странно подобранная груда книгъ: тутъ были сочиненія Пушкина, Монте-Кристо, Вѣчный жидъ, Сказанія Курбскаго, Котляревскаго малороссійскій переводъ Энеиды (изъ котораго я и до сихъ поръ помню, что «Эней бувъ паробокъ моторный», и что «зла Юнона, суча дочка, раскудакдакталась якъ квочка»), Карамзина Исторія государства россійскаго, Три мушкатера, какой-то учебникъ ботаники, Кандидъ Вольтера въ переводѣ прошлаго столѣтія и проч. Все это я глоталъ съ невообразимою жадностью, но нѣсколько разъ каждую книгу и ужъ, конечно, безъ малѣйшей системы. Нѣкто, имѣвшій надо мной власть, полагая, что такое жадное чтеніе должно мѣшать моимъ учебнымъ занятіямъ и что многія изъ глотаемыхъ мною книгъ не соотвѣтствуютъ моему возрасту, уговаривалъ меня, урезонивалъ, наконецъ, просто отнималъ книги. Но ничто не помогало, я таскалъ книги тайкомъ, таскалъ огарки свѣчъ и читалъ цѣлыя ночи напролетъ. Припоминая теперь все это, я ясно вижу, что многіе совѣты моего руководителя были прекрасны, но онъ не умѣлъ или не догадывался сдѣлать то, что было дѣйствительно нужно. Ему стоило только, признавъ мою жажду чтенія неистребимою, какою она и была, дать ей надлежащее удовлетвореніе, то-есть вынуть изъ библіотеки книги неподходящія и замѣнить ихъ подходящими. Онъ мнѣ и рекомендовалъ нѣсколько книгъ, но это были все сочиненія, не возбуждавшія во мнѣ ни малѣйшаго интереса и весьма мало понятныя. Такъ что, въ концѣ-концовъ, не смотря на всѣ прекрасные совѣты и указанія, я былъ вполнѣ предоставленъ самому себѣ, какъ будто никакихъ совѣтовъ и указаній мнѣ никогда никто не давалъ. Книга Спенсера очень напомнила мнѣ образъ дѣйствія моего руководителя. Разница только въ томъ, что вмѣсто того расположенія ко мнѣ, которымъ былъ проникнутъ мой яко-бы руководитель, Спенсеръ обдаетъ меня глубочайшимъ презрѣніемъ. Читатель, надѣюсь, согласится со мной, прочитавъ тѣ нѣсколько комментаріевъ къ книгѣ Спенсера, которые я намѣренъ сдѣлать.

«Сидя въ деревенской пивной, съ трубкой въ зубахъ, рабочій съ полною опредѣленностью высказывается о томъ, что слѣдовало бы предпринять парламенту относительно foot and mouth disease» (особая болѣзнь рогатаго скота, недавно появившаяся въ Англіи). Такъ начинается первая глава книги Спенсера: «Почему оно (изученіе соціологіи) намъ нужно». Затѣмъ идетъ, какъ это всегда бываетъ у Спенсера, рядъ подобныхъ же примѣровъ опредѣленности, но вмѣстѣ съ тѣмъ и полнѣйшаго легкомыслія сужденій профановъ о явленіяхъ общественной жизни. Этого рода примѣры разсыпаны и по всей книгѣ. Многіе изъ нихъ чрезвычайно удачно выбраны; но, какъ это опять-таки всегда случается со Спенсеромъ, они подъ конецъ рѣшительно утомляютъ читателя внимательнаго и отвлекаютъ мысль читателя невнимательнаго въ разныя стороны не только безъ нужды, а даже во вредъ дѣлу. Дѣйствительно, въ той массѣ самыхъ разнообразныхъ примѣровъ, какую Спенсеръ всегда выставляетъ въ защиту каждаго изъ своихъ положеній, не мудрено затерять нитку основной мысли. Многочисленные примѣры, которые должны бы были собственно быть только поясняющими иллюстраціями, получаютъ непропорціональное значеніе, поглощаютъ собою текстъ, мысль. Но хуже всего то, что самъ Спенсеръ, переходя отъ иллюстраціи къ иллюстраціи, часто увлекается за предѣлы собственной задачи и доказы-

ваетъ совсѣмъ не то, что желалъ бы доказать, а нѣчто гораздо болѣе общее и проблематическое. Это—тоже старый грѣхъ Спенсера, но онъ никогда до сихъ поръ не обнаруживался съ такой рѣзкостью какъ въ «Изученіи соціологіи».

Профаны произносятъ обыкновенно весьма самоувѣренно совершенно неосновательныя сужденія о ходѣ общественныхъ дѣлъ. Вотъ первая тема Спенсера. Подъ профанами онъ разумѣетъ не только рабочихъ, толкующихъ о томъ, какъ въ томъ или другомъ случаѣ долженъ поступить парламентъ. Нѣтъ, онъ караетъ и тѣхъ людей науки, которые полагаютъ, что о соціальныхъ явленіяхъ можно трактовать безъ всякой подготовки, и которые однако очень хорошо знаютъ, что въ несравненно болѣе простыхъ областяхъ знанія подготовка требуется и громадная. Если бы, говоритъ Спенсеръ, мы обратились къ членамъ математическаго общества, которые, посвятивъ себя изученію законовъ количественныхъ отношеній, знаютъ, что, какъ ни просты эти законы по существу, но требуютъ цѣлой жизни для полнаго ихъ пониманія; если бы мы попросили любого изъ нихъ высказать свое мнѣніе по какому-нибудь вопросу общественной политики, то готовность, съ которой онъ сталъ бы отвѣчать, должна бы, повидимому, привести къ заключенію, что въ тѣхъ случаяхъ, когда факторы явленія такъ многочисленны и такъ перепутаны, самое поверхностное пониманіе людей и вещей можетъ представить достаточныя данныя для правильнаго сужденія. Слѣдуетъ рядъ примѣровъ той осторожности, съ которою люди приступаютъ къ рѣшенію вопросовъ изъ наукъ естественныхъ, и той распущенности, съ которою тѣми же людьми рѣшаются вопросы политическіе. Подобной же критикѣ подвергаются и различныя мѣры, предпринимаемыя государственными людьми безъ всесторонняго изученія той среды и тѣхъ орудій, которыя затрогиваются и выдвигаются мѣропріятіемъ. Все это намъ, профанамъ, какъ нельзя болѣе въ руку. Намъ только и нужно, чтобы люди науки и люди государственные попристальнѣе занялись общественными дѣлами. Если мы и рѣшаемся смѣть свое сужденіе имѣть, то вѣдь пока не существовали, какъ науки, физика, химія, физіологія, мы и въ этихъ сферахъ рѣшались выражать свои мнѣнія и, конечно, часто совершенно неосновательныя, но какъ только наука явилась, мы умолкли и стали прислушиваться къ ея голосу: пусть явится соціологія, со всѣми импозантными признаками науки, и мы замолчимъ. Такъ что намъ пока не приходится претендовать на Спенсера. Но, къ сожалѣнію, увлеченный рядомъ своихъ иллюстрацій, онъ заходитъ уже слишкомъ далеко. Желая показать, что изученіе фактовъ соціальныхъ сопряжено даже съ гораздо большими трудностями, чѣмъ какія представляются въ области математики и естествознанія, желая дать понятіе о трудности задачи соціолога, онъ готовъ отчасти даже самую задачу похѣрить. Онъ удивляется, «какимъ образомъ кто-нибудь, а тѣмъ болѣе человѣкъ научно образованный, можетъ думать, что спеціальные результаты спеціальныхъ политическихъ дѣйствій могутъ быть вычислены, когда онъ видитъ необычайную сложность вліяній, отъ которыхъ зависитъ развитіе, жизнь и смерть каждаго человѣка, а тѣмъ болѣе каждаго общества» (21). Еще рѣзче говоритъ онъ о «крайней сложности соціальныхъ явленій и проистекающей отсюда трудности положиться на *какіе-либо* заранѣе вычисленные результаты» (24). Одна группа его примѣровъ завершается такимъ выводомъ: «какъ бы мы ни разсматривали происхожденіе общественныхъ явленій, мы всегда увидимъ, что спеціальныя цѣли, которыхъ ожидали и къ которымъ приготовлялись, были достигнуты только временно или совсѣмъ не были достигнуты, между тѣмъ какъ измѣненія, происшедшія въ дѣйствительности, возникли изъ причинъ, самое существованіе которыхъ было неизвѣстно» (21). Надо замѣтить, что примѣры, изъ которыхъ слѣдуетъ этотъ выводъ, подобраны не совсѣмъ хорошо. Я приведу только одинъ. Въ домахъ умалишенныхъ принято замѣнять слабый внутренній контроль пацієнтовъ усиленнымъ наружнымъ, и однако, говоритъ Спенсеръ, «система нестѣсненія» имѣла гораздо большій успѣхъ, чѣмъ система сумасшедшихъ рубахъ. Одинъ врачъ, «обладающій большою опытностью въ леченіи умалишенныхъ, недавно засвидѣтельствовалъ, что у помѣшанныхъ желаніе бѣжать бываетъ очень сильно, когда употребляютъ замки и ключи, но почти исчезаетъ, когда ихъ не употребляютъ, и мѣра, состоящая въ уничтоженіи замковъ и ключей, въ 95 случаяхъ изъ 100 имѣла полный успѣхъ». Это одно изъ доказательствъ «вреда, часто причиняемаго мѣрами, которыя считаются полезными». Что мѣры, признаваемыя полезными, часто оказываются вредными, это, конечно, очень справедливо, но нельзя изъ этого выводить заключеніе, что всякая мѣра *всегда* (мы всегда увидимъ, говоритъ Спенсеръ) нецѣлесообразна и что результаты ея не подлежатъ никакому вычисленію. Достаточно указать на мѣру, принятую психіатромъ, о которомъ упоминаетъ Спенсеръ. Наблюденіе этого врача, конечно, подлежитъ провѣркѣ, но если оно подтвердится, то вотъ и цѣлесообразная мѣра съ напередъ вычисленными результатами: не употребляйте

ключей и замковъ въ домахъ умалишенныхъ и изъ 100 паціентовъ только 5 сдѣлаютъ попытку бѣжать. Положимъ, что это—только отрицательное указаніе, но нетрудно видѣть, что выводъ Спенсера все-таки слишкомъ рѣзокъ и огуленъ. Вѣдь много можно найти и въ исторіи признанной науки примѣровъ понятій, которыя нѣкогда считались истинными и затѣмъ оказались ложными. Изъ этого не слѣдуетъ однако, что надо отказаться отъ истины, да отказаться и невозможно. Такъ-то и тутъ: люди совершаютъ очень много дѣйствій, въ разсчетѣ на ихъ полезные результаты, и ошибаются, получаютъ результаты вредные, но перестать дѣйствовать все-таки нельзя, это значитъ перестать жить. Еслибы Спенсеръ ограничился только нападками на скороспѣлыя рѣшенія, завѣдомо необдуманныя дѣйствія и излишнее регламентаторство въ области политики, то онъ былъ бы тысячу разъ правъ. Но онъ дѣлаетъ больше, онъ подрываетъ всякую возможность введенія науки въ область практики, потому что наука значитъ предвидѣніе, и тамъ, гдѣ предвидѣніе невозможно, невозможна и наука. Правда, въ двухъ слѣдующихъ главахъ («Существуетъ ли соціальная наука?» и «Характеръ соціальной науки») Спенсеръ утверждаетъ, что хотя соціальная наука и не существуетъ, но вполнѣ возможна, и что вышеприведенныя его замѣчанія относятся именно только къ спеціальнымъ дѣйствіямъ политическихъ причинъ, которыя предвидѣть дѣйствительно невозможно. Онъ полагаетъ, что случайности исторіи не могутъ составить предмета науки, но существуетъ классъ явленій болѣе общихъ, изслѣдованіе которыхъ можетъ дать вполнѣ опредѣленную группу научныхъ истинъ. Во всякомъ случаѣ, руководить практикой, указывать намъ, профанамъ, способы достиженія различныхъ жизненныхъ цѣлей наука, въ лицѣ Спенсера, отказывается и признаетъ подобнаго рода указанія даже невозможными. Спенсеръ почти готовъ допустить, какъ принципъ, что, какъ человѣкъ ни умудряйся, какъ ни разсчитывай, а результаты его дѣйствій непремѣнно будутъ представлять нѣчто совершенно противоположное его намѣреніямъ. Такое безусловное недовѣріе къ силамъ человѣческаго разума Спенсеръ обнаруживаетъ не въ первый разъ. Въ «Соціальной статикѣ» онъ указывалъ на запрещенія браковъ между бѣдными, результаты которыхъ выразились множествомъ незаконныхъ рожденій, на мѣры противъ торговли неграми, которыя повели къ разнымъ варварскимъ ухищреніямъ торговцевъ и проч. Онъ приводилъ цѣлый рядъ примѣровъ въ подтвержденіе той же мысли, что развивается въ «Изученіи соціологіи», а самую мысль въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ выражалъ даже рѣзче. Такъ Спенсеръ изъ всѣхъ силъ громилъ людей, имѣющихъ дерзость «критиковать божій міръ съ точки зрѣнія своего кусочка мозга», стремящихся «поправлять ошибки Всевѣдущаго» и вмѣшивающихся въ «гигантскій планъ», которымъ Богъ ведетъ насъ къ счастью. Презрѣніе къ суетливости и самоувѣренности профановъ заставило его въ «Соціальной статикѣ» сдѣлать такое напряженіе ума, что ему удалось даже отчасти предвосхитить теорію Дарвина («Статика» вышла въ 1850 г.). Именно, онъ говорилъ, что «во всей природѣ дѣйствуетъ строгая дисциплина, которая, хотя нѣсколько жестока, но за то весьма благодѣтельна». Онъ указывалъ на безпощадную борьбу за существованіе («всеобщее взаимное преслѣдованіе»), царящую въ природѣ и уничтожающую слабыхъ, старыхъ, неловкихъ, и тѣмъ самымъ предохраняющую расу отъ ухудшенія. Онъ указывалъ отчасти и на половой подборъ, приводящій столь же жестокимъ путемъ къ столь же благодѣтельнымъ послѣдствіямъ. Исходя отсюда, онъ требовалъ уничтоженія всякой опеки надъ слабыми членами общества и доходилъ даже до отрицанія всѣхъ санитарныхъ мѣръ. Онъ желалъ, чтобы мы, профаны, были вполнѣ предоставлены своему невѣжеству и выкарабкивались изъ него, какъ сами знаемъ, ибо, дескать, неисчислимы пагубныя послѣдствія той рьяной заботливости о грубыхъ, невѣжественныхъ профанахъ, которою будто бы преисполнено современное общество. «Становиться между невѣжествомъ и его естественными послѣдствіями, говорилъ Спенсеръ,—значитъ изъявлять слишкомъ большія претензіи и мечтать превзойти благостью самого Бога».

Въ «Изученіи соціологіи» отношеніе его къ практикѣ осталось то же самое. Онъ все такъ же не вѣритъ въ возможность предвидѣть послѣдствія даже самыхъ маловажныхъ практическихъ шаговъ. Но чѣмъ же мотивируется это невѣріе, если отброшена мысль, что самимъ Богомъ, ради счастья человѣчества, предписаны извѣстныя страданія, которыя поэтому не должно пытаться устранить? Въ наиболѣе опредѣленной формѣ отвѣтъ на этотъ вопросъ данъ Спенсеромъ на стр. 29 перваго тома: «Вѣроятно, говоритъ онъ, — что въ соціологіи, какъ и въ біологіи, накопленіе фактовъ, болѣе критическое ихъ сопоставленіе и выводы, сдѣланные при помощи научныхъ методовъ, будутъ сопровождаться возрастающимъ сомнѣніемъ въ выгодахъ, которыхъ можно достигнуть той или другой мѣрой, и возрастающимъ опасеніемъ за неблагопріятныя послѣдствія, которыя могутъ быть вызваны этими мѣ-

рами. Вѣроятно, что названное для индивидуальнаго организма не совсѣмъ точно, хотя и довольно удачно, vis medicatrix naturae (цѣлебная сила природы) будетъ найдено въ аналогичной формѣ и въ общественномъ организмѣ». Вотъ, значитъ, на что надо возложить всѣ надежды. Но, сколько мнѣ извѣстно, vis medicatrix naturae никогда не играла сколько нибудь существенной роли въ наукѣ объ индивидуальномъ организмѣ, хотя, безъ сомнѣнія, очень часто повторялись и повторяются слова: надо предоставить организмъ самому себѣ. На дѣлѣ даже люди, совершенно отрицающіе медицину, требуютъ не того, чтобы больной организмъ былъ предоставленъ собственнымъ силамъ, а того, чтобы онъ былъ перенесенъ въ другую среду или чтобы окружающія его условія были измѣнены. Какъ бы однако тамъ ни было съ vis medicatrix naturae въ ученіи объ индивидуальномъ организмѣ, ея значеніе въ соціологіи осложняется тѣмъ, что проявляться она можетъ только при посредствѣ личностей, личности же дѣйствуютъ по извѣстному плану, цѣлесообразно и такимъ образомъ мы отброшены все-таки къ первоначальной задачѣ, къ вопросу о томъ: могутъ ли быть предвидимы результаты нашихъ дѣйствій? Значитъ, vis medicatrix naturae намъ ни на волосъ не помогла. Это намъ совершенно уяснится, если мы ближе вглядимся въ какой-нибудь изъ многочисленныхъ примѣровъ, приводимыхъ Спенсеромъ въ доказательство несостоятельности человѣческаго разума въ практикѣ. «Желаніе уничтожить или уменьшить какое-нибудь зло, говоритъ Спенсеръ,— часто ведетъ къ необдуманнымъ поступкамъ, что̀ видно, напримѣръ, изъ поспѣшности, съ какою стараются поднять упавшаго человѣка: какъ будто очень опасно оставить его лежащимъ и нисколько не опасно неосторожно поднять его» (I, 28). Итакъ, люди до такой степени неспособны предвидѣть послѣдствія своихъ поступковъ, что даже въ такихъ простыхъ случаяхъ, какъ паденіе человѣка, не смотря на всѣ благія намѣренія, только накостятъ своему ближнему. Хорошо. Но передъ нами стоитъ все-таки указанный и разъясненный фактъ нашего неблагоразумнаго поведенія. Нельзя ли утилизировать его разъясненіе? Нельзя ли воспитывать людей такимъ образомъ, чтобы они не спѣшили поднимать упавшаго человѣка? Можетъ быть, и можно, но послѣдовательный скептикъ не имѣетъ права останавливаться на этомъ положительномъ рѣшеніи. И надо правду сказать, скептицизмъ его въ этомъ отношеніи можетъ имѣть весьма серьезныя основанія. Еслибы я обладалъ терпѣніемъ въ подборѣ доказательствъ, талантомъ и эрудиціей Спенсера, я безъ особеннаго труда доказалъ бы, что устраненіе поспѣшности, съ которою люди бросаются поднять упавшаго человѣка, можетъ имѣть самыя гибельныя послѣдствія. Я бы закончилъ свое разсужденіе слѣдующей ироническої фразой: какъ будто очень опасно неосторожно поднять человѣка и какъ будто нисколько не опасно заглушить въ людяхъ систематическимъ воспитаніемъ драгоцѣннѣйшій изъ ихъ инстинктовъ—инстинктъ сочувствія къ несчастію ближняго! Дѣйствительно, послѣдовательному скептику, знающему, что самыя, повидимому, ничтожныя причины производятъ иногда прямыя или косвенныя слѣдствія громадной важности, такому скептику очевидно не приходится пропускать безъ протеста предложенный проектъ воспитанія. Это вѣдь — тоже *мѣра* и, можетъ быть, похуже многихъ. Теперь введемъ въ наше разсужденіе спасительную vis medicatrix naturae. Очевидно она можетъ на занимающемъ насъ пунктѣ дѣйствовать только двоякимъ образомъ: либо оставляя поспѣшность, съ которою люди бросаются и проч., на мѣстѣ, либо устраняя ее. Иного исхода нѣтъ, а оба эти исхода нами забракованы. Что же такое эта vis medicatrix naturae, какъ не совсѣмъ ненужная, ничего необъясняющая, никому непомогающая съ боку припека?

Одно дѣло говорить намъ, профанамъ, что всѣ мѣры, направленныя къ хорошу, ведутъ собственно къ худу, и другое дѣло самому послѣдовательно держаться вѣры во всемогущую vis medicatrix naturae. Отрицать, отрицать и только отрицать возможность предвидѣнія результатовъ нашихъ дѣйствій на словахъ, конечно, можно, но очень трудно устроить всѣ свои отрицанія такъ, чтобы изъ-за нихъ не выглядывало никакого положенія. Спенсеръ написалъ книгу, т. е. совершилъ нѣкоторое положительное дѣйствіе. Зачѣмъ онъ его совершилъ, когда подобно всѣмъ другимъ людямъ онъ не въ состояніи предвидѣть, какія послѣдствія могутъ проистечь изъ изданія его книги? Этотъ наиболѣе общій упрекъ въ непослѣдовательности, какой только можетъ быть сдѣланъ Спенсеру, я пока только ставлю, отлагая его разсмотрѣніе до конца главы. Теперь отмѣчу кое-какія частности.

Въ главѣ «Біологическая подготовка» читатель найдетъ громы, во многихъ отношеніяхъ справедливые, противъ филантропіи, которую, впрочемъ, Спенсеръ понимаетъ чрезчуръ широко. Между прочимъ онъ ратуетъ противъ невниманія къ тѣмъ фактамъ, что «физическія качества общества понижаются вслѣдствіе искусственнаго предохраненія слабѣйшихъ членовъ его» и что и «нравственныя и умственныя качества общества понижаются

отъ искусственнаго сохраненія индивидуумовъ, менѣе другихъ способныхъ заботиться о самихъ себѣ». Спенсеръ утверждаетъ, что устраненіе извѣстныхъ затрудненій и опасностей, съ которыми нужно бороться посредствомъ ума и дѣятельности, имѣетъ самыя гибельныя послѣдствія. Во-первыхъ, такое устраненіе ведетъ къ пониженію способности бороться съ затрудненіями вообще, каковое пониженіе закрѣпляется путемъ наслѣдственной передачи. Но этимъ еще не исчерпывается все зло. «Эти члены населенія, незаботящіеся о самихъ себѣ, неизбѣжно налагаютъ на другихъ лишній трудъ доставленія имъ необходимыхъ средствъ къ жизни или трудъ надлежащаго наблюденія надъ ними, или и того, и другого вмѣстѣ. Такимъ образомъ, лучшіе члены населенія принуждены работать сверхъ своихъ силъ, потому что на нихъ лежитъ, кромѣ заботы о самихъ себѣ и своихъ дѣлахъ, еще и забота о сохраненіи худшихъ членовъ общества и ихъ потомства». (II, 518). Это хорошо сказано—умно и справедливо. Мы, профаны, давно ужъ замѣчаемъ, что многое въ жизни оттого неладно идетъ, что на долю нѣкоторыхъ выпадаетъ ужъ слишкомъ много затрудненій и опасностей, а на долю другихъ слишкомъ ужъ мало, такъ что они совершенно неспособны заботиться сами о себѣ. Вотъ только любопытно было бы узнать, кого именно Спенсеръ разумѣетъ подъ «слабѣйшими», «негодными», «неспособными»? Собственно говоря, въ этомъ все дѣло.

Обратитесь теперь, читатель, къ стр. 455 книги Спенсера. Желая доказать лишній разъ свою завѣтную мысль о неспособности людей къ предвидѣнію политическихъ фактовъ, Спенсеръ утверждаетъ, что даже въ обыденной жизни на каждомъ шагу вы чувствуете, какъ мало работаютъ люди головой. Доказательства свои онъ представляетъ въ видѣ разсказа о примѣрномъ времяпровожденіи цивилизованнаго человѣка въ теченіе дня. Мистеръ Спенсеръ просыпается и, одѣваясь, беретъ склянку съ укрѣпляющимъ лекарствомъ, которое ему предписано въ маленькихъ дозахъ. Но только-что онъ отсчиталъ нѣсколько капель, какъ слѣдующія начинаютъ течь по бокамъ склянки, вслѣдствіе дурного устройства горлышка. Кое-какъ справившись съ этимъ неудобствомъ, мистеръ Спенсеръ беретъ въ руки зеркало, желая придать своей физіономіи вполнѣ приличный джентельмену видъ. Оказывается, что зеркало никакъ нельзя удержать въ томъ, положеніи, какое нужно мистеру Спенсеру! Онъ беретъ другое зеркало изъ своего несессера и удовлетворяется, хотя все-таки замѣчаетъ, что и это зеркало недостаточно цѣлесообразно устроено. Идетъ мистеръ Спенсеръ завтракать, спрашиваетъ себѣ рыбы, а къ ней сои,—съ бутылкой сои повторяется та же непріятная исторія—сконапель истоаръ — что съ аптекарской склянкой: соя прилипаетъ къ рукамъ и пачкаетъ скатерть! Чортъ знаетъ, что такое! Но это еще не конецъ. Мистеръ Спенсеръ позавтракалъ, беретъ газету и садится къ камину. Въ каминѣ мало угля. Мистеръ Спенсеръ хочетъ прибавить нѣсколько кусковъ угля, но съ ними ему «приходится бороться довольно долго», потому что каминные щипцы дурно дѣлаютъ свое дѣло. Наконецъ, каминъ готовъ, и мистеръ Спенсеръ начинаетъ читать. Но не успѣлъ онъ еще докончить даже перваго столбца газеты, какъ ему пришлось нѣсколько разъ мѣнять положеніе своего тѣла, и онъ «невольно приходитъ къ мысли, что люди до сихъ поръ еще не умѣютъ дѣлать удобныхъ креселъ!»

Разсказавъ эту печальную повѣсть, Спенсеръ меланхолически заключаетъ: «Таковы впечатлѣнія, доставляемыя первымъ часомъ вашего дня; но и во все продолженіе его повторяется то же». Ужасно! Какъ только еще живы люди, вынужденные выносить изъза людской глупости цѣлый день столь невѣроятныя безпокойства и мученія! А какъ подумаешь о времяпровожденіи тоже очень цивилизованныхъ джентльменовъ въ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ Россійской имперіи, какъ подумаешь, въ какомъ видѣ имъ подаютъ рыбу и сою... Да что! Я навѣрно знаю, что даже не во всѣхъ петербургскихъ ресторанахъ подаютъ грѣтыя тарелки: жиръ стынетъ, осѣдаетъ на губахъ... брр!.. Но вполнѣ понимая, что мистеръ Спенсеръ и всякій другой цивилизованный человѣкъ очень много страдаетъ отъ того, что люди глупы и невѣжественны, я не могу однако заглушить нѣкоторыя недоумѣнія, возбуждаемыя во мнѣ его разсказомъ о ежедневныхъ мукахъ цивилизованнаго человѣка. Вся эта бутада мистера Спенсера представляетъ не простое отрицаніе способности людей къ цѣлесообразной дѣятельности; она содержитъ въ себѣ нѣчто положительное, именно требованіе хорошаго устройства аптекарскихъ склянокъ, ручныхъ зеркалъ, каминныхъ щипцовъ и креселъ. Спенсеръ даетъ даже нѣкоторыя указанія, что именно надо сдѣлать со щипцами, зеркалами и креслами, чтобы сдѣлать ихъ удобными. Со стороны всякаго другого человѣка заявленіе подобныхъ требованій не представляло бы ничего незаконнаго. Въ самомъ дѣлѣ, отчего же не пожелать хорошей обстановки и множества мелкихъ житейскихъ удобствъ. Но можетъ ли Спенсеръ поручиться за благопріятность всѣхъ послѣдствій улучшенія аптекарскихъ склянокъ, зеркалъ, щипцовъ, креселъ и проч.? Я думаю, что

нѣтъ. Во-первыхъ, по тому общему соображенію, положенному въ основаніе всей книги Спенсера, что «спеціальныя цѣли, которыхъ ожидали и къ которымъ приготовлялись, достигаются только временно или совсѣмъ не достигаются, между тѣмъ какъ измѣненія, происходящія въ дѣйствительности, возникаютъ изъ причинъ, самое существованіе которыхъ было неизвѣстно». Значитъ негодованіе Спенсера на людскую глупость и его проекты превосходнаго устройства щипцовъ и креселъ по малой мѣрѣ столь же нецѣлесообразны, какъ и критикуемыя имъ дѣйствія грубыхъ, невѣжественныхъ профановъ. Но положимъ, что, благодаря крайней простотѣ и ясности критическихъ замѣчаній Спенсера, голосъ его не будетъ гласомъ вопіющаго въ пустынѣ, профаны его послушаются и станутъ дѣлать внутреннюю поверхность щипцовъ шероховатою, ручныя зеркала устраивать такъ, чтобы центръ тяжести приходился по срединѣ линіи, соединяющей точки опоры и проч. Положимъ, что цивилизованный человѣкъ вслѣдствіе подобныхъ реформъ избавится отъ множества мелкихъ непріятностей обыденной жизни. Но каковы будутъ болѣе отдаленныя послѣдствія этого улучшенія? Они могутъ оказаться, смѣю думать на основаніи соображеній самого Спенсера, весьма гибельными для человѣчества. Изъ описанія неудачнаго дня цивилизованнаго человѣка можно усмотрѣть только одну черту его организаціи: онъ принимаетъ утромъ укрѣпляющее лекарство, онъ, значитъ, слабъ, онъ одинъ изъ тѣхъ слабѣйшихъ членовъ общества, искусственное поддержаніе существованія которыхъ тѣмъ гибельнѣе, что они могутъ передать дурныя качества своей организаціи цѣлому ряду потомковъ. А между тѣмъ, проектированными реформами этому слабому, «негодному» человѣку гарантируются мельчайшія подробности безпечальнаго существованія; у него отнимаются даже такіе поводы къ борьбѣ съ препятствіями, какъ неудобно захватываемые щипцами куски угля. Во что же съ теченіемъ времени обратится въ немъ самомъ и его потомкахъ способность самодѣятельности, способность заботиться о себѣ? Какимъ бременемъ ляжетъ онъ своимъ потомствомъ на «лучшихъ членовъ общества»? Хорошо еще, еслибы такой человѣкъ былъ единственнымъ въ своемъ родѣ экземпляромъ. Хорошо еще, еслибы имъ былъ именно самъ мистеръ Спенсеръ. Онъ двигаетъ впередъ науку, удѣляетъ намъ, хотя и съ презрительной миной, кой-какія крохи отъ своей роскошной умственной трапезы, такъ что мы готовы ему сказать: живи! живи, хотя бы съ помощью укрѣпляющаго лекарства, потому что, если ты и произведешь не совсѣмъ здоровое потомство и примешь такимъ образомъ дѣятельное участіе въ пониженіи расы, то отплатишь намъ съ лихвой разливаемымъ тобой умственнымъ свѣтомъ; живи! мы тебѣ и щипцы, и кресла, и зеркало по твоимъ желаніямъ устроимъ. Но вѣдь улучшенными щипцами, креслами и аптекарскими склянками будутъ пользоваться не только Спенсеры, а и всякая, съ позволенія сказать, сволочь, которая станетъ, благодаря такой заботливости о ея удобствахъ, еще болѣе негодною...

Читатель, надѣюсь, понимаетъ, что, не смотря на шуточный тонъ, мои замѣчанія совершенно серьезны. Поговорите съ любымъ русскимъ заводчикомъ. Онъ вамъ навѣрное скажетъ, что всякія правительственныя мѣры, направленныя ко благу фабричныхъ рабочихъ, каковы, напримѣръ, установленіе нормальнаго рабочаго дня, запрещеніе малолѣтнимъ работать и т. п., ведутъ вовсе не къ благу, а къ худу. Онъ вамъ наговоритъ весьма много хорошихъ словъ о вредѣ правительственной опеки, о необходимости предоставить рабочаго, ради его собственныхъ интересовъ, самому себѣ, а чего добраго, скажетъ нѣчто и объ ухудшеніи расы путемъ поддержки людей непредусмотрительныхъ и неспособныхъ къ самодѣятельности. Если же вы заговорите съ нимъ о русской торговой политикѣ, онъ почти навѣрное скажетъ вамъ, что хотя, дескать, жить теперь можно, но все-таки надо бы повысить пошлины на заграничные товары. Другими словами, онъ потребуетъ себѣ того-же покровительства, той же опеки, которыя отрицаются имъ по отношенію къ рабочимъ. Это спеціальный случай. Но возьмите разсужденія болѣе общаго характера. Спенсеръ не первый и не послѣдній, конечно, говоритъ о вредѣ филантропіи, причемъ не первый и не послѣдній разумѣетъ подъ филантропіей кучу весьма несходныхъ между собою вещей. Тутъ есть и милостыня, подаваемая ради спасенія души на томъ свѣтѣ, и филантропія въ узкомъ смыслѣ слова, благотворительность, bienfaisance, и, наконецъ, всякія мѣры, направленныя къ нѣкоторому огражденію карасей отъ аппетита щукъ. Все это объединяется въ понятіи вредной, искусственной поддержки слабыхъ и негодныхъ. Между тѣмъ эти люди, такъ заботящіеся о высокомъ уровнѣ человѣческой породы, подчасъ сами только въ томъ и сильны, на то только и годны, чтобы толковать о вредѣ огражденія слабыхъ и негодныхъ отъ естественной гибели. Это однако не мѣшаетъ имъ, слабѣйшимъ и негоднѣйшимъ (я не о Спенсерѣ лично говорю), требовать такого порядка вещей, который посылалъ бы имъ жареныхъ рябчиковъ въ ротъ. Они

говорятъ: не становитесь между невѣжествомъ и его естественнымъ наказаніемъ—страданіемъ: пусть гибнутъ невѣжды, пусть гибнутъ всѣ слабые, потому что какъ же они, черти, даже не могутъ намъ порядочныхъ скляночекъ, зеркалъ, шипцовъ, креселъ и жареныхъ рябчиковъ подать! Имъ, повидимому, и въ голову не приходитъ, что еслибы имъ, защитникамъ человѣческаго достоинства, сами валились въ ротъ жареные рябчики, то для нихъ не оставалось бы иного занятія, какъ рожать дѣтей, наслѣдственно неспособныхъ бороться даже съ ничтожнѣйшими препятствіями. А за этимъ слѣдовало бы ужъ, разумѣется, не повышеніе уровня физическихъ, умственныхъ и нравственныхъ силъ человѣческой породы.

Въ сущности скептицизмъ Спенсера относительно возможности какихъ бы то ни было цѣлесообразныхъ политическихъ мѣръ имѣетъ крайне смутный характеръ. Какъ и слѣдовало ожидать, онъ очень часто разсуждаетъ о практическихъ дѣлахъ совершенно также, какъ и всѣ мы грѣшные, т. е. предлагаетъ отмѣнить то-то и то-то и ввести то-то и то-то, мотивируя свои предложенія требованіями справедливости и возможностью осуществленія. Въ одномъ мѣстѣ онъ даже прямо говоритъ: «Когда недостойные тѣмъ или другимъ способомъ прямо или косвенно лишаютъ достойныхъ принадлежащаго имъ по праву или мѣшаютъ имъ спокойно преслѣдовать свои цѣли, тогда естественно можетъ явиться требованіе: вмѣшайтесь поскорѣе и будьте на дѣлѣ защитниками, которыми считаетесь по имени» (528). Зачѣмъ же было столь много и рѣзко говорить о неспособности людей предвидѣть результаты вмѣшательства въ ходъ политическихъ дѣлъ? Значитъ бываютъ же такіе случаи, когда можно и должно дѣйствовать политически, не полагаясь на таинственную vis medicatrix naturae. Надо только знать, кто именно недостойные и достойные, въ чемъ состоитъ право, по которому нѣчто кому нибудь принадлежитъ, въ чемъ состоятъ прямые и косвенные способы лишенія достойныхъ чего-нибудь, принадлежащаго имъ по праву, какъ помѣшать недостойнымъ посягать на права достойныхъ. Къ сожалѣнію, Спенсеръ самъ для себя закрылъ пути, ведущіе къ разрѣшенію значительной части этихъ вопросовъ, потому что, въ концѣ-концовъ, онъ все-таки отрицаетъ возможность предвидѣть послѣдствія той или другой политической мѣры; скептицизмъ этотъ, безъ сомнѣнія, повелъ и къ тому, что онъ оставилъ безъ разсмотрѣнія и всѣ сопредѣльные вопросы. Это, конечно, резонно. Если я вполнѣ увѣренъ, что нѣтъ никакой возможности ни при какихъ обстоятельствахъ придумать и провести мѣру, которая укротила бы недостойныхъ, то какая мнѣ надобность разсуждать о томъ, кто именно эти недостойные? Но, можетъ быть, матеріаловъ для отвѣта на всѣ эти вопросы слѣдуетъ искать тамъ, гдѣ Спенсеръ толкуетъ объ общихъ соціологическихъ истинахъ, въ частяхъ его сочиненія, трактующихъ о теоретической сторонѣ науки, которая одна, какъ Спенсеръ и предупреждалъ, только и заслуживаетъ названія науки. Обратимся туда.

Тамъ насъ ждетъ однако не меньшее число двусмысленностей и противорѣчій. По истинѣ удивленія достойно, какъ такой крупный умъ, обладающій громадной эрудиціей, навыкшій къ умственнымъ операціямъ въ самыхъ разнообразныхъ областяхъ знанія, можетъ оказаться до такой степени безсильнымъ, лишь только рѣчь зайдетъ о явленіяхъ общественной жизни. Спенсеръ писалъ довольно много по соціологіи, но, за исключеніемъ небольшого, но въ высшей степени замѣчательнаго очерка теоріи народонаселенія въ «Основаніяхъ біологіи», все имъ въ этой области написанное, полно самыхъ грубыхъ, азбучныхъ, для любого профана очевидныхъ ошибокъ. Я лично, впрочемъ, чрезвычайно многимъ обязанъ Спенсеру. Я прочиталъ его «Опыты», когда мои взгляды на задачи, предѣлы и методъ соціологіи еще не вполнѣ опредѣлились, лучше сказать, не сложились въ такой рядъ, который представлялъ бы перспективу, заканчивающуюся истиной. Тутъ-то мнѣ и помогъ Спенсеръ. По прочтеніи его опытовъ мнѣ стало ясно: вотъ какъ *не слѣдуетъ* обращаться съ соціологическимъ матеріаломъ. Это былъ не просто отрицательный выводъ, еще не дающій ничего положительнаго. Нѣтъ, Спенсеръ стоялъ возлѣ самой истины, такъ сказать, уперся въ нее, но уперся... затылкомъ. Мнѣ кажется, что въ такомъ же положеніи по отношенію къ истинѣ Спенсеръ находится и въ «Изученіи соціологіи» и, надо думать, останется и въ «Основаніяхъ соціологіи», надъ которыми онъ теперь работаетъ.

«Едва ли, говоритъ Спенсеръ, кто-нибудь можетъ изучать соціологическіе предметы съ тѣмъ же чувствомъ, какъ предметы другого рода. Для точнаго наблюденія и правильныхъ выводовъ необходимо спокойное состояніе духа, которое готово признавать или выводить одну какую-нибудь истину совершенно такъ же, какъ и другую. Но къ истинамъ соціологіи почти невозможно относиться такимъ образомъ. Въ изслѣдованіе ихъ каждый вноситъ болѣе или менѣе сильныя чувства, которыя заставляютъ его ревностно искать одного заключенія, забывая о другомъ, съ нимъ несходномъ, заставляютъ уклоняться отъ какого-нибудь иного заключенія, кромѣ того, которое уже извѣстно. И хотя, можетъ быть, изъ десяти мыслящихъ людей только одинъ сознаетъ, что его сужденіе искажено предубѣжденіемъ, но даже и этотъ одинъ не

признаетъ предубѣжденія въ полной мѣрѣ. Правда, что личныя чувства мѣшаютъ дѣлу почти во всякой области изслѣдованія; является большею частью какое-нибудь предвзятое понятіе и извѣстная доля самолюбія, которая мѣшаетъ отказаться отъ него. Но особенность соціологіи состоитъ въ томъ, что, при изученіи ея фактовъ и выводовъ, личное чувство дѣйствуетъ необыкновенно сильно. Здѣсь непосредственно затрогиваются личные интересы; удовлетворяется или оскорбляется чувство, возникшее изъ этихъ интересовъ; пріятно или непріятно возбуждается другое чувство, которое имѣетъ отношеніе къ существующей формѣ общества... Ни въ какомъ другомъ случаѣ наблюдателю не приходится дѣлать изслѣдованія свойствъ такого аггрегата, къ которому онъ самъ принадлежитъ. Его отношеніе къ изучаемымъ фактамъ можно себѣ представить, если сравнить отношеніе одной клѣточки, составляющей часть живого тѣла, къ тѣмъ фактамъ, которые представляетъ тѣло, какъ цѣлое. Говоря вообще, жизнь гражданина возможна только при правильномъ исполненіи тѣхъ функцій, которыя выпали на его долю, и онъ не можетъ совершенно избавиться отъ понятій и чувствъ, которыя внушаетъ ему эта жизненная связь съ обществомъ. Здѣсь слѣдовательно является трудность, какой не представляетъ никакая другая наука. Мысленно оторваться отъ всѣхъ родственныхъ, національныхъ и гражданскихъ привязанностей; забыть всѣ интересы, предубѣжденія, наклонности, предразсудки, которые порождены въ немъ жизнью его общества и его времени; смотрѣть на всѣ перемѣны, которыя совершались и совершаются въ обществѣ, безъ малѣйшаго отношенія къ національности, вѣрѣ и къ личному благосостоянію, — *все это такія вещи, на которыя обыкновенный человѣкъ неспособенъ вовсе, а человѣкъ исключительный способенъ только въ очень несовершенной степени*». (Объ изученіи соціологіи, I, 109).

Совершенно подобныя мысли читатель найдетъ на стр. 124, 127, 175, 255, а также во многихъ мѣстахъ второго тома, выраженными въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ еще рѣзче. Эти-то часто повторяемыя Спенсеромъ слова, безъ сомнѣнія, и навели г. Гольдсмита на мысль, что Спенсеръ пробиваетъ объективной истинѣ дорогу даже туда, куда доступъ ей загражденъ условіями человѣческой природы. Но вѣдь это легко сказать: пробиваетъ!

Представляю на усмотрѣніе читателя слѣдующее краткое разсужденіе: желудокъ человѣческій неспособенъ переваривать камни; хотя и существуетъ, кажется, въ Африкѣ племя, питающееся отчасти комочками глины, но даже и оно не можетъ ими питаться исключительно. Спрашивается, въ виду этого разсужденія, имѣлъ-ли бы я право убѣждать кого-нибудь: а вы все-таки постарайтесь питаться камнями! Казалось бы, нѣтъ. А между тѣмъ Спенсеръ дѣлаетъ нѣчто именно въ этомъ родѣ. Онъ многократно увѣряетъ читателя, что даже исключительный человѣкъ не можетъ, разсуждая о явленіяхъ соціологическихъ, оторваться отъ симпатій и антипатій, отъ всѣхъ почему-нибудь близкихъ ему интересовъ и только *познавать*, что онъ не можетъ этого сдѣлать не по какой-нибудь частной, второстепенной, устранимой причинѣ, а по самой природѣ своихъ отношеній къ общественнымъ явленіямъ. И столь же многократно тотъ же самый Спенсеръ совѣтуетъ остерегаться вліянія симпатій и антипатій, устранять ихъ, забывать всякіе общественные и личные интересы и только познавать. Да какъ же это сдѣлать, если оно невозможно? Когда Спенсеръ указываетъ, какъ на причину заблужденій, на безсознательное смѣшеніе наблюденія съ выводомъ (139) или совѣтуетъ, при изученіи историческихъ фактовъ, обращаться къ подлиннымъ источникамъ (166) и т. п., онъ даетъ очень дѣльные совѣты и пишетъ прекрасныя страницы (каковыхъ въ отдѣльности въ книгѣ не мало). Но только развѣ г. Гольдсмитъ да еще какой-то весьма гордый (уже не знаю чѣмъ) г. А. С. въ «Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» могутъ повѣрить, что онъ пробиваетъ дорогу объективной истинѣ въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ предлагаетъ бороться съ тѣмъ, что по его собственному сознанію непреоборимо. Онъ спрашиваетъ читателя: ты можешь ли левіаѳана на удѣ вытащить на берегъ? и самъ отвѣчаетъ: не можешь, потому то, потому то и потому то, удочка твоя тонкая, достаточно толстой тебѣ взять не откуда, силы у тебя мало, левіаѳанъ очень тяжелъ, и проч. И тутъ же совѣтуетъ: смотри же, какъ закинешь удочку, хорошенько наблюдай за поплавкомъ, да и не сразу тащи, какъ клюнетъ, и проч. Развѣ это серьезный разговоръ? развѣ это наука? Но наука Спенсера имѣетъ еще одну удивительную особенность. Этого мало, что онъ до послѣдней степени неряшливо, даже не пытаясь свести концы съ концами, относится къ возможности для соціологіи преодолѣть субъективныя затрудненія. Положимъ, что онъ, именно онъ, Гербертъ Спенсеръ, есть избранный изъ избранныхъ, исключительный изъ исключительныхъ, сосудъ божественной, сверхъ-человѣческой мудрости, единственный на земномъ шарѣ экземпляръ, способный открыть объективную истину тамъ, гдѣ къ ней не могутъ приблизиться даже величайшіе, послѣ него разумѣется, люди. Положимъ, что онъ открылъ какимъ-то невѣдомымъ, таинственнымъ путемъ рядъ истинъ, могущихъ составить науку. Остается, повидимому, желать, чтобы эти истины, если ужъ онѣ не могутъ быть простыми смертными открыты, получили возможно большее распространеніе и вліяніе, тотчасъ вслѣдъ за ихъ открытіемъ. Конечно, и это довольно хитро, но разъ мы очутились въ области таинственнаго, со стороны творца науки естественно, по крайней мѣрѣ, желаніе,

чтобы его дѣтище пользовалось почетомъ и вліяніемъ, соотвѣтственными его высокому происхожденію и значенію. Жрецъ, вѣрующій или увѣряющій, что онъ получилъ истину непосредственно отъ какого-нибудь Юпитера, можетъ скрывать ее ради интересовъ своей касты, ради того, чтобы держать въ своихъ рукахъ невѣжественную толпу. Турецкій султанъ можетъ не желать распространенія истины, если она подрываетъ окружающій его ореолъ. Но человѣкъ науки только объ томъ и думаетъ, чтобы разлить истину по всему бѣлому свѣту, ему нечего бояться, нечего прятать. И дѣйствительно, въ великихъ двигателяхъ науки всегда почти замѣчается страстное желаніе распространить добытыя ими истины, сдѣлать ихъ по возможности общимъ достояніемъ. Да и что можетъ быть естественнѣе такого отношенія къ дѣлу? Не такова наука Спенсера. Онъ прямо заявляетъ, что ея распространеніе не только невозможно,—это само собой,—а и нежелательно! Невозможная и нежелательная, такъ сказать, непотребная наука! Профанамъ остается только обратиться въ ряды восклицательныхъ и вопросительныхъ знаковъ передъ такимъ изумительнымъ, небывалымъ явленіемъ.

Спенсеръ исходитъ изъ того положенія, что «характеръ аггрегата опредѣляется характеромъ составляющихъ его единицъ» (72), каковое положеніе подтверждается имъ по обыкновенію утомительнымъ множествомъ примѣровъ. Надо замѣтить, что Спенсеръ иногда придаетъ этому положенію такое значеніе, что въ аггрегатѣ, скопленіи какихъ-нибудь единицъ не можетъ обнаружиться новыхъ свойствъ и силъ, т.-е. такихъ, которыми не обладали бы составляющія единицы. Это, конечно, совсѣмъ невѣрно. Но для насъ важенъ тотъ смыслъ, который Спенсеръ нанчаще придаетъ приведенному положенію и на которомъ онъ строитъ сильнѣйшіе бастіоны своей соціологической крѣпости. Если даны свойства единицъ, то свойства ихъ аггрегата тѣмъ самымъ уже заранѣе опредѣлены; изъ извѣстныхъ единицъ могутъ получиться только извѣстнаго рода аггрегаты; отношенія между аггрегатомъ и составляющими его единицами постоянны. Вотъ мысль Спенсера. Въ приложеніи къ соціологіи она получаетъ такой видъ. Общество есть аггрегатъ людей, поэтому должно существовать такое же соотвѣтствіе между обществомъ и его членами, какое вездѣ въ природѣ существуетъ между аггрегатомъ и составляющими его единицами. Если даны извѣстныя физическія, умственныя и нравственныя качества какой-нибудь группы людей, то люди эти могутъ образовать изъ себя далеко не всякую форму общества, а только такую, которая соотвѣтствуетъ ихъ личнымъ свойствамъ. Отсюда слѣдуетъ, что учрежденія, существующія въ какомъ-нибудь обществѣ, непремѣнно соотвѣтствуютъ характеру членовъ общества, степени ихъ совершенства; и было бы напрасною мечтой замѣнить эти учрежденія учрежденіями высшаго типа: несовершенные люди не вынесутъ такого бремени благополучія. Все и всегда находится на томъ мѣстѣ и является въ то время, гдѣ и когда ему надлежитъ явиться. Все въ свое время полезно и необходимо, все въ свое время исчезаетъ, какъ негодное и невозможное. Это относится не только къ учрежденіямъ, а и къ понятіямъ. Извѣстныя понятія, будучи сами по себѣ весьма неправильны, тѣмъ не менѣе вполнѣ соотвѣтствуютъ данному состоянію общества и дѣлаютъ полезное и необходимое дѣло.

„Для радикала, говоритъ Спенсеръ, очевидно, что предразсудки торія не позволяютъ ему видѣть много зла въ настоящемъ и добра въ будущемъ. Для торія не подлежитъ сомнѣнію, что радикалъ не сознаетъ добра, скрытаго въ учрежденіи, которое хочетъ онъ уничтожить, и не умѣетъ понять зла, которое должно произойти отъ перемѣны, предлагаемой имъ. *Ни тому, ни другому не приходитъ въ голову, что его противникъ играетъ не менѣе полезную роль, чѣмъ онъ самъ.* Радикалъ, который носится съ своимъ недостижимымъ идеаломъ, не замѣчаетъ, что энтузіазмъ его способенъ лишь нѣсколько подвинуть вещи впередъ, да и то совсѣмъ не въ томъ направленіи, какъ онъ ожидалъ, онъ никакъ не согласится, что тормозящій консерватизмъ торія можетъ имѣть полезное вліяніе. Торій, упрямо отстаивающій старый порядокъ, не въ состояніи видѣть, что *послѣдній хорошъ только относительно, и что приверженность къ нему служитъ только охраной противъ преждевременныхъ нововведеній;* въ то же время онъ не въ состояніи видѣть *въ яромъ антагонизмѣ и радужныхъ надеждахъ радикала тѣ силы, безъ которыхъ прогрессъ невозможенъ.* Такимъ образомъ ни тотъ, ни другой неспособенъ оцѣнить должнымъ образомъ свою роль или роль противника и въ той мѣрѣ, въ какой онъ не понимаетъ ея, онъ теряетъ способность вѣрной оцѣнки соціологическихъ явленій“ (433).

Но такая способность вѣрной оцѣнки очевидно и нежелательна, потому что, оцѣнивъ необходимость торія, радикалъ, конечно, утратитъ часть своего энтузіазма и радужныхъ надеждъ, а это силы, безъ которыхъ прогрессъ невозможенъ. Обратно, если торій признаетъ необходимость энтузіазма и радужныхъ надеждъ радикала, онъ перестанетъ быть надежной охраной противъ преждевременныхъ нововведеній, преждевременныхъ, значитъ вредныхъ, нежелательныхъ. Всѣ заблужденія необходимы и полезны, только истина ненужна и вредна! Это—прямой выводъ изъ разсужденій Спенсера. Но мы имѣемъ и непосредственное его заявленіе въ этомъ смыслѣ:

Я не имѣю намѣренія сказать, что эта господствующая неспособность къ научному пониманію соціальныхъ явленій заслуживаетъ сожалѣнія.

Какъ замѣчено выше, это явленіе составляетъ часть того необходимаго равновѣсія, какое должно быть между существующими мнѣніями и требуемыми въ настоящее время формами соціальной жизни. Для сохраненія равновѣсія въ данной фазѣ человѣческаго характера должны существовать извѣстныя, приспособленныя къ этой фазѣ учрежденія и такой строй мыслей и чувствованій, который находился бы въ достаточной гармоніи съ этими учрежденіями. *Слѣдовательно, пока необходимости желать, чтобы при нынѣшнемъ среднемъ уровнѣ человѣческой природы распространялись въ массахъ идеи, которыя естественны только при болѣе высокомъ развитіи общества и при болѣе высокомъ типѣ гражданъ, сопровождающемъ такое состояніе общества...* Мнѣ кажется, что если въ наше время человѣкъ, находящійся въ положеніи Гладстона, думаетъ, такъ, какъ думаетъ Гладстонъ, то это — фактъ очень желательный. Еслибы у насъ во главѣ управленія государствомъ стоялъ человѣкъ, у котораго преобладало бы чисто научное пониманіе вещей и который слѣдовательно расходился бы съ нашимъ настоящимъ общественнымъ состояніемъ, послѣдствія, по всей вѣроятности, были бы вредны и, быть можетъ, даже гибельны для общества" (593). А Гладстонъ, надо замѣтить, уличался за страницу передъ этимъ въ томъ, „что онъ чувствуетъ отвращеніе не только къ научному объясненію жизненныхъ и общественныхъ явленій, какъ явленій, подчиненныхъ опредѣленнымъ законамъ, но и къ научному объясненію явленій неорганическаго міра" (592).

До мистера Спенсера, очевидно, такъ же высоко, какъ до всевѣдущаго и всеблагого Бога, передъ которымъ все одинаково ничтожно. Притомъ же мистеръ Спенсеръ въ Англіи живетъ. Научите же меня, темнаго профана, г. Гольдсмитъ или вы, гордый г. А. С., отвѣтьте мнѣ на нѣсколько вопросовъ: чему учитъ, чему научила васъ наука Спенсера? Почему его книга называется «Изученіе соціологіи» и почему въ ней совѣтуется принимать при изученіи соціологіи такія-то и такія-то предосторожности, когда изученіе соціологіи, во-первыхъ, невозможно, а во-вторыхъ, вредно? Вотъ вы, г. Гольдсмитъ, объясняете въ предисловіи, что Спенсеръ самымъ рѣшительнымъ образомъ разрушаетъ заблужденія, господствующія среди большинства по отношенію къ критикѣ соціальныхъ явленій. Дѣйствительно, Спенсеръ съ первой же строки обрушивается на какого-то несчастнаго рабочаго, который, сидя въ пивной, самоувѣренно критикуетъ соціальныя явленія, тогда какъ не имѣетъ никакой подготовки. Это такъ. Но, ради таинственнаго покрывала Изиды, разскажите мнѣ, зачѣмъ станетъ этотъ рабочій учиться, исправлять свои заблужденія, готовиться къ изученію соціальныхъ явленій; зачѣмъ всѣ разсужденія Спенсера объ «умственной дисциплинѣ», о «біологической подготовкѣ», о «психологической подготовкѣ», когда 1) даже исключительный человѣкъ неспособенъ къ правильному пониманію соціологіи и когда 2) Гладстонъ, не въ пивной сидящій, а стоящій во главѣ государства, весьма полезенъ именно потому, что не имѣетъ никакой научной подготовки? Даже и вообще научная несостоятельность оказывается полезною и необходимою, а о заблужденіяхъ политическихъ и говорить нечего. Необходимы и полезны заблужденія радикала; необходимы и полезны заблужденія торія; полезны были и русскіе аболиціонисты, и русскіе крѣпостники; необходима и полезна книга Спенсера; необходимъ и полезенъ г. Гольдсмитъ, превозносящій эту книгу; необходимъ и полезенъ я, находящій, что книга эта, не смотря на умъ, ученость и остроуміе автора, не стоитъ мѣднаго гроша. Я потому только и осмѣливаюсь выражаться такъ рѣзко, что вполнѣ убѣжденъ въ необходимости и полезности всего, что бы я ни сказалъ. Полезенъ и необходимъ даже тотъ рабочій, который, сидя въ пивной, высказываетъ возмутительно неосновательные взгляды. Другое дѣло, если бы онъ проповѣдывалъ истину: ну тогда, можетъ быть, онъ оказался бы вреднымъ, ибо общество не дожило еще до возможности внимать гласу истины. Истина, наука могутъ оказаться вредными! Вотъ заключеніе, къ которому приходятъ спеціалисты познаванія и къ которому никогда не придемъ мы, профаны, съ своей наивной вѣрой въ науку...

Объясните мнѣ еще, господа, что значитъ этотъ фатальный refrain, которымъ Спенсеръ заканчиваетъ многія главы своего сочиненія: «Очищая свои заключенія сколько возможно отъ ошибокъ, въ которыя впадаемъ такимъ образомъ, мы должны предоставить окончательное устраненіе этихъ ошибокъ будущему, когда ослабленіе антагонизма между обществами будетъ сопровождаться ослабленіемъ интенсивности этихъ чувствъ» (359). «Отсюда мы должны придти къ заключенію, что препятствіе къ безпристрастнымъ сужденіямъ можетъ уменьшиться лишь по мѣрѣ увеличенія соціальнаго развитія» (362). «Степень предразсудка находится въ извѣстномъ необходимомъ отношеніи къ фазѣ развитія даннаго времени. Онъ можетъ ослабѣвать лишь по мѣрѣ прогрессивнаго движенія общества» (435). Я вамъ скажу, что значитъ этотъ припѣвъ. Мистеръ Спенсеръ «находится на вершинѣ пирамиды въ числѣ избранниковъ міровой интеллигенціи, а все остальное тамъ внизу: расы, племена, общественные слои и пласты, смуты и катастрофы, вѣковая эксплоатація и кровавые взрывы народныхъ массъ, голодъ и моръ, ужасы пролетаріата, ненависть и ярость нищеты, рабства и отчаянія,—все это представляется ему въ видѣ правильнаго чертежа съ клѣточками различныхъ цвѣтовъ: синенькими, красненькими, зеленненькими... Каждая клѣточка является въ свое время и занимаетъ свое мѣсто, а за ней другая, третья. Мудрецъ (т. е. все онъ же, мистеръ

Спенсеръ) отмѣчаетъ ихъ съ джентльменскимъ спокойствіемъ, а когда кто-нибудь попробуетъ нарушить его позитивный міръ, онъ сейчасъ же опшеломитъ его возгласомъ: «Sommes nous positivistes, oui ou non?». Эта характеристика принадлежитъ не мнѣ, а г. Боборыкину и относится собственно не къ мистеру Спенсеру, а къ нѣкоему Оресту Федоровичу ванъ-деръ-Гильзену, одному изъ дѣйствующихъ лицъ повѣсти «Въ усадьбѣ и на порядкѣ» («Вѣстникъ Европы» № 1-й). Но это — только одна половина морали приведеннаго припѣва. Есть и другая. Пока мистеръ Спенсеръ, сидя на вершинѣ пирамиды, презрительно объясняетъ намъ, профанамъ, что нашъ радикализмъ и нашъ консерватизмъ сами по себѣ одинаково нелѣпы, но все-таки одинаково необходимы и полезны; пока онъ въ своемъ стремленіи къ чистой, объективной истинѣ приходитъ къ заключенію, что истина ненужна, безполезна и даже вредна, а заблужденіе, напротивъ, нужно и полезно,—мы, «чернь непросвѣщенна и презираемая имъ», на своихъ плечахъ выносимъ дѣло исторіи, прогресса и — истины. Замѣтьте этотъ удивительный результатъ, г. Гольдсмитъ. Пусть самъ Спенсеръ держитъ истину въ рукахъ; это, конечно, вздоръ, но я готовъ ему повѣрить, во избѣжаніе лишнихъ препирательствъ. Однако, вѣдь одна ласточка все-таки весны не дѣлаетъ. Вы, я, Иванъ, Демьянъ, Кузьма, Ерема — всѣ мы, какъ доказываетъ Спенсеръ, изъ его книжки мало чему научимся (я говорю — ровно ничему, если не считать кое-какихъ частностей) *не отъ него*, значитъ, получитъ міръ истину. Она явится, какъ результатъ соціальнаго развитія, каковое развитіе совершается *нами*, нашимъ радикализмомъ и консерватизмомъ, нашими надеждами и страхами, тою нелѣпою торопливостью, съ которою мы бросаемся поднимать упавшаго человѣка; тѣми несообразными политическими планами, обсужденіемъ которыхъ мы промежъ себя занимаемся, словомъ, всею тою вѣковою работой жизни, работой профановъ, которую Спенсеръ съ высоты якобы науки оплевываетъ. Зачѣмъ же плевать въ колодезь, на днѣ котораго завѣдомо находится истина? Тоже вѣдь и напиться когда-нибудь захочется...

Не смотря на крайне суровое отношеніе Спенсера къ профанамъ, онъ имъ милостиво разрѣшаетъ заблуждаться, сколько ихъ душѣ угодно. Будемъ же заблуждаться, т.-е. заблуждаться съ точки зрѣнія Спенсера, а по-нашему, по-человѣчески, я готовъ сказать: по-гуманному,—искать удовлетворенія своей познавательной потребности, какова она въ данную минуту.

Соціологія по Спенсеру должна заниматься отношеніями, существующими между членами общества и ихъ аггрегатомъ, т.-е. обществомъ.

«Начиная съ типовъ людей, образующихъ несвязные и небольшіе общественные аггрегаты, такая наука должна показать, какимъ образомъ личныя качества, качества ума и чувства, препятствуютъ прогрессу аггрегаціи. Она должна объяснить, какимъ образомъ незначительныя измѣненія въ личной природѣ, происходящія отъ измѣненія условій жизни, дѣлаютъ возможными большіе аггрегаты. Она должна прослѣдить на нѣсколько значительныхъ аггрегатахъ, регулирующихъ и дѣйствующихъ, возникновеніе общественныхъ отношеній, въ которыя вступаютъ ихъ члены. Она должна указать тѣ болѣе сильныя и продолжительныя общественныя вліянія, которыя, видоизмѣняя характеръ единицъ, облегчаютъ дальнѣйшую аггрегацію и дальнѣйшую соотвѣтственную сложность общественнаго строя. Соціальная наука должна указать, какія общія черты, опредѣляемыя общими чертами людей, существуютъ въ обществахъ всевозможныхъ порядковъ и величинъ, начиная отъ самыхъ незначительныхъ и простыхъ и до самыхъ большихъ и цивилизованныхъ; какія менѣе общія черты, отличающія извѣстныя группы обществъ, происходятъ отъ особенностей, отличающихъ извѣстныя расы людей, и какія особенности каждаго общества можно прослѣдить до особенностей отдѣльныхъ членовъ его. Въ каждомъ изъ этихъ случаевъ главными предметами ея изученія должны быть ростъ, развитіе, и функціи общественнаго аггрегата, какъ происшедшіе вслѣдствіе взаимодѣйствія отдѣльныхъ личностей, природа которыхъ отчасти похожа на природу людей вообще, отчасти на природу родственныхъ расъ, отчасти же имѣетъ совершенно исключительный характеръ» (77).

Вотъ программа, отчетливая и достаточно полная, которую мы готовы признать, но съ однимъ маленькимъ измѣненіемъ. Пусть всѣ пункты ея остаются на мѣстѣ, но пусть центръ тяжести всей программы нѣсколько передвинется. Мы желали бы, чтобы наука занималась не столько тѣмъ, что способствуетъ росту и усложненію общественныхъ аггрегатовъ и что препятствуетъ ихъ прогрессу, сколько тѣмъ, какія формы этихъ аггрегатовъ болѣе и какія менѣе удовлетворяютъ требованіямъ человѣческой природы или, пожалуй, какія изъ нихъ способствуютъ матеріальному благосостоянію и духовному росту и развитію составляющихъ аггрегатъ единицъ. Пусть Спенсеръ или кто другой изучаетъ всѣ вопросы, которые выставлены въ его программѣ. Но профаны попросили бы людей науки отвѣтить и на ихъ вопросы, научить ихъ тому, чему они хотятъ учиться, удовлетворить ихъ жаждѣ познанія. Кажется, въ этомъ желаніи нѣтъ ничего дерзкаго или чрезвычайнаго. Напротивъ, мы обращаемся къ людямъ науки съ полнымъ довѣріемъ къ ихъ силамъ и съ полнымъ уваженіемъ къ ихъ учености. На первый взглядъ предлагаемое нами измѣне-

ніе программы соціологіи совершенно ничтожно. Въ самомъ дѣлѣ, не все ли равно спросить: какія измѣненія въ характерѣ единицъ облегчаютъ дальнѣйшую аггрегацію и дальнѣйшую соотвѣтственную сложность общественнаго строя? или: какими измѣненіями отзывается на характерѣ единицъ ростъ и усложненіе общественнаго строя? Повидимому, эти два вопроса представляютъ только разныя стороны одной и той же задачи. Ихъ можно, пожалуй, сравнить съ сложеніемъ и вычитаніемъ, которыя взаимно повѣряютъ другъ друга. Здѣсь даже нѣтъ перемѣщенія центра тяжести всей программы, а есть только легкое измѣненіе тона предполагаемаго изслѣдованія. Но вѣдь тонъ дѣлаетъ музыку.

Характеръ предлагаемаго измѣненія тона соціологическихъ изслѣдованій читатель лучше всего можетъ усвоить на какомъ-нибудь примѣрѣ столкновенія обѣихъ точекъ зрѣнія на задачи соціологіи. У меня есть въ запасѣ примѣръ, по истинѣ блестящій. Я почерпнулъ его изъ перваго тома новаго непріодическаго изданія, редактируемаго В. П. Безобразовымъ—изъ «Сборника государственныхъ знаній». Весь сборникъ, какъ блистающій несомнѣнною академическою ученостью, моему скромному сужденію не подлежитъ. Профессоръ петербургскаго университета, профессоръ кіевскаго университета, дѣйствительный членъ академіи наукъ, профессоръ академіи генеральнаго штаба и проч., — вотъ кто вноситъ свои лепты (и, конечно, не лепты вдовицы) въ «Сборникъ государственныхъ знаній»! Имъ и книги въ руки. Въ сборникѣ есть, впрочемъ, одна статья князя А. И. Васильчикова, который, сколько мнѣ извѣстно, не профессоръ ни университета, ни академіи генеральнаго штаба и не членъ академіи наукъ. Это не мѣшаетъ однако его статьѣ быть интересной и поучительной. Дѣло идетъ объ эмиграціи (такъ статья и озаглавлена: «Эмиграція»). Авторъ ставитъ положеніе: «однимъ изъ вѣрнѣйшихъ признаковъ степени благосостоянія народа можетъ служить большее или меньшее стремленіе жителей къ водворенію въ данной странѣ и наоборотъ, признакомъ недовольства своимъ бытомъ— стремленіе къ переходу, выходу изъ своего отечества въ чужіе края». Кажется, это положеніе сомнѣнію подлежать не можетъ, оно имѣетъ даже нѣсколько тавтологическій характеръ. Затѣмъ кн. Васильчиковъ слѣдитъ за судьбами эмиграціи преимущественно въ Англіи и Германіи. Изъ его изслѣдованія оказывается, что эмигранты отнюдь не представляютъ такого отребья общества, которое отваливается, такъ сказать, въ силу своей гнилости и испорченности. Нѣтъ, главная масса эмигрантовъ состоитъ изъ людей трудолюбивыхъ, успѣвшихъ, какъ выражается авторъ, въ «азартной игрѣ наемнаго труда» сдѣлать нѣкоторыя сбереженія; за ними остается еще масса бѣднѣйшихъ, которые не переселяются только за неимѣніемъ средствъ оплатить самый переѣздъ и заведеніе новаго хозяйства вдали отъ родины. Видѣть причины эмиграціоннаго движенія въ густотѣ населенія нельзя, потому что Ирландія населена менѣе Англіи, а эмиграція изъ нея сильнѣе; какой-нибудь Мекленбургъ населенъ менѣе средней Германіи, а эмиграція изъ него сильнѣе. Главнѣйшихъ причинъ эмиграціи кн. Васильчиковъ указываетъ двѣ. Одна изъ нихъ относится спеціально къ Германіи, въ которой за послѣднее время эмиграціонное движеніе усилилось, благодаря распространенію на всю Германію прусскихъ военныхъ порядковъ: бѣгутъ отъ военной службы. Затѣмъ, какъ въ Германіи, такъ и въ Англіи эмиграціонное движеніе коренится въ аграрномъ строѣ, въ крайне неравномѣрномъ распредѣленіи поземельной собственности, въ поглощеніи крестьянскихъ земель дворянскими помѣстьями, словомъ, въ «господствѣ сословно-помѣстнаго элемента». Надо замѣтить, что статья кн. Васильчикова составляетъ отрывокъ, изъ большого сочиненія о землевладѣніи и, какъ всякій отрывокъ, содержитъ много недомолвокъ. Однако факты сгруппированы авторомъ все-таки на столько отчетливо, что выводъ его представляется вполнѣ правильнымъ. Не такого, впрочемъ, мнѣнія держится редакція «Сборника государственныхъ знаній». Она снабдила статью своими примѣчаніями и возраженіями, изъ которыхъ любопытнѣе другихъ заключительное. «Переселеніе, говоритъ редакція сборника, есть всемірно-историческій фактъ, который сопутствуетъ въ той или другой степени, въ томъ или другомъ видѣ, всѣ періоды исторіи, и безъ котораго были бы даже немыслимы развитіе и распространеніе человѣческой культуры. Поэтому нельзя смотрѣть на эмиграцію въ общей ея совокупности, какъ на болѣзненное или анормальное явленіе, хотя въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ оно и вызывается недугами и неустройствами общества. Итакъ, почтенный авторъ совершенно правъ, разсматривая движеніе западно-европейской эмиграціи, какъ послѣдствіе болѣе или менѣе неудовлетворительныхъ соціальныхъ и политическихъ условій каждой страны; но тѣмъ не менѣе, она исторически необходима и благодѣтельна для распространенія европейской цивилизаціи въ другихъ частяхъ свѣта».

Не смотря на краткость этого примѣчанія ученой редакціи, въ немъ формулированъ

очень опредѣленный взглядъ на эмиграцію. Это, можно сказать, цѣлое изслѣдованіе, освобожденное отъ чисто фактической части, такъ что мы имѣемъ полное право ставить его рядомъ и сравнивать съ изслѣдованіемъ кн. Васильчикова. А такое сравненіе весьма любопытно и для насъ въ эту минуту какъ нельзя болѣе подходящее. Редакція «Сборника государственныхъ знаній» не отрицаетъ, собственно говоря, выводовъ кн. Васильчикова, она ихъ только, такъ сказать, поглощаетъ соображеніями о распространеніи европейской цивилизаціи. Съ другой стороны и кн. Васильчикову, безъ сомнѣнія, очень хорошо извѣстно вліяніе эмиграціи на распространеніе цивилизаціи,—объ этомъ, хотя мелькомъ, упоминается и въ статьѣ,—но для него это вліяніе поглощается соображеніями о судьбѣ отдѣльныхъ представителей цивилизаціи. Изслѣдованіе редакціи «Сборника государственныхъ знаній» отвѣчаетъ на вопросъ: какія измѣненія должны претерпѣть въ своемъ экономическомъ положеніи единицы аггрегата для «развитія и распространенія» (редакція даже и въ выборѣ терминовъ сошлась со Спенсеромъ) всего аггрегата? Изслѣдованіе кн. Васильчикова отвѣчаетъ на вопросъ: какія формы общественной аггрегаціи стѣсняютъ положеніе единицъ аггрегата? Очевидно, что второй типъ соціологическаго изслѣдованія, представителемъ котораго намъ служитъ статья кн. Васильчикова, по малой мѣрѣ, столь же законенъ, какъ и первый, преимущественно рекомендуемый Спенсеромъ и практикуемый редакціей «Сборника государственныхъ знаній». Въ самомъ дѣлѣ, есть люди, которымъ любопытно знать, до какой степени долженъ обнищать крестьянинъ (единица) Мекленбурга (аггрегатъ), чтобы мекленбургская цивилизація разрослась и дала нѣкоторые ростки даже въ Америкѣ; а есть и такіе, которые желаютъ знать, какія измѣненія необходимы въ мекленбургской цивилизаціи для того, чтобы крестьянинъ не нищалъ и не бѣжалъ съ родины. Наука имѣетъ полную возможность отвѣчать и на тотъ, и на другой вопросы, которые, повидимому, опять-таки суть только разныя стороны одной и той же задачи. И безъ сомнѣнія, въ математикѣ или въ естествознаніи два вопроса, находящіеся въ подобныхъ взаимныхъ отношеніяхъ, не могутъ вызвать никакого разногласія между изслѣдователями. Я говорю: 2+2=4, вы говорите: 4—2=2. Вы мнѣ не дѣлаете никакого возраженія; производя надъ тѣми же числами дѣйствіе обратное тому, которое совершаю я, вы только провѣряете и дополняете меня. Вы не скажете тономъ возраженія: конечно, этотъ человѣкъ правъ, 2+2 дѣйствительно равняется 4, *но все-таки* 4—2 равняется 2. Это было бы празднословіе. То же и въ естествознаніи. Я говорю: соединеніе въ извѣстной пропорціи кислорода и водорода даетъ воду; вы говорите: разлагая воду, я получаю кислородъ и водородъ,—мы не споримъ, мы говоримъ одно и то же. Или, положимъ, дарвинистъ говоритъ: если въ данной мѣстности значительному числу видовъ насѣкомыхъ удастся выработать зеленую окраску покрововъ, дающую имъ возможность скрываться въ зелени деревьевъ, то насѣкомоядным птицамъ придется положить зубы на полку (ученый, конечно, такъ вульгарно и ненаучно не выразится, но это все равно). Другой говоритъ: если въ данной мѣстности появляются насѣкомоядныя птицы, ихъ жертвами будутъ преимущественно насѣкомыя незеленаго цвѣта. Оба эти человѣка безъ малѣйшаго разногласія описываютъ отношенія между птицами и зелеными насѣкомыми, хотя одинъ имѣетъ въ виду участь птицъ, а другой судьбу насѣкомыхъ. Наши два типа соціологическихъ изслѣдованій представляютъ нѣчто, повидимому, совершенно аналогичное, и однако редакція «Сборника государственныхъ знаній» испещрила статью кн. Васильчикова примѣчаніями, возражаетъ ему. Я полагаю, что въ свою очередь и кн. Васильчиковъ могъ бы снабдить примѣчаніями примѣчанія редакціи. Я думаю, что онъ написалъ бы приблизительно слѣдующее: «Я рѣшительно не понимаю, какимъ образомъ изъ «недуговъ и неустройствъ» обществъ можетъ произойти нѣчто благодѣтельное, кромѣ развѣ стремленія излечить недуги и прекратить неустройства. Признать эмиграцію исторически необходимою я, пожалуй, могу, но въ такой же мѣрѣ исторически необходимы мысли и усилія мои и другихъ людей, направленныя къ устраненію причинъ, порождающихъ эмиграцію. Сокращая обѣ половины уравненія на историческую необходимость, выводя ее изъ круга нашихъ разсужденій, какъ служащую и нашимъ, и вашимъ, и слѣдовательно никому не служащую, я получаю два явленія: причины эмиграціи и стремленіе устранить ихъ,—съ ними я и буду имѣть дѣло. Что касается до благодѣтельнаго значенія эмиграціи въ дѣлѣ распространенія европейской цивилизаціи, то это возраженіе меня крайне удивляетъ. Я вамъ указываю, что европейская цивилизація заражена страшною язвой, вы со мной, по крайней мѣрѣ, отчасти соглашаетесь и вы же требуете, чтобы я радовался распространенію этой больной цивилизаціи и не пытался ее лѣчить. Но еслибы она переносила за океанъ даже только лучшіе свои соки, а весь

негодный прахъ отрясала бы отъ ногъ своихъ на порогѣ Европы, такъ вѣдь этотъ-то прахъ и претитъ мнѣ, и нѣтъ мнѣ никакого дѣла до распространенія цивилизаціи за океаномъ, когда кругомъ меня все тотъ же прахъ, прахъ и прахъ». Вотъ что приблизительно возразилъ бы ученой редакціи кн. Васильчиковъ. Очевидно, что такого разговора между двумя серьезными математиками или естествоиспытателями быть не можетъ. Разногласіе между кн. Васильчиковымъ и редакціей «Сборника государственныхъ знаній» выходитъ, казалось бы, изъ предѣловъ той потребности познанія, которая одна царитъ въ наукѣ о природѣ. Потребность познанія въ авторѣ статьи объ эмиграціи и въ ученой редакціи насыщена одинаково и однимъ и тѣмъ же. И той, и другой сторонѣ одинаково извѣстно, что эмиграція порождается главнымъ образомъ преобладаніемъ сословно-помѣстнаго элемента и имѣетъ послѣдствіемъ распространеніе и развитіе цивилизаціи. Повидимому, весь кругъ явленій, относящихся къ эмиграціи, объясненъ, связанъ цѣпью причинъ и слѣдствій, и остается только радоваться торжеству истины. Явленіе это намъ особенно дорого по своей крайней наглядности. Тутъ, конечно, не можетъ быть и рѣчи объ извращеніи фактовъ въ угоду какимъ-нибудь интересамъ, о которомъ такъ много говоритъ Спенсеръ: фактическая сторона дѣла разработана обоими изслѣдованіями одинаково. И тѣмъ не менѣе, есть все-таки какой-то остатокъ, неподдающійся, повидимому, изслѣдованію, такъ какъ редакція «Сборника» и кн. Васильчиковъ и по установленіи истины все-таки о чемъ-то препираются и въ сущности расходятся самымъ кореннымъ образомъ. Существованіе этого остатка обусловливается тѣмъ, что рядомъ съ категоріями истиннаго и ложнаго, господствующими въ наукѣ о природѣ,—въ изслѣдованіи объ эмиграціи, какъ и во всякомъ соціологическомъ изслѣдованіи, являются категоріи полезнаго и вреднаго, справедливаго и несправедливаго, нравственнаго и безнравственнаго. И здѣсь мы подходимъ къ едва ли не самому страшному изъ современныхъ теоретическихъ вопросовъ. Можетъ ли быть подчиненъ научной дисциплинѣ означенный соціологическій остатокъ? Вопросъ этотъ дѣйствительно страшный. Дѣло въ томъ, что разногласія, подобныя тѣмъ, которыя раздѣляютъ кн. Васильчикова и редакцію «Сборника государственныхъ знаній», а подобныхъ разногласій нѣсть числа, — настоятельно требуютъ скораго разрѣшенія. Они соприкасаются съ нашей обыденной практической жизнью, они можно сказать составляютъ ее; и чтобы ни говорилъ Спенсеръ о неспособности людей предвидѣть послѣдствія своихъ дѣйствій, но люди, гонимые съ родины мекленбургской цивилизаціей, не могутъ не дѣйствовать, не могутъ и желать укрѣпленія и развитія этой цивилизаціи. Наука Спенсера очевидно безсильна передъ тѣмъ соціологическимъ остаткомъ, который не поддается прямому познаванію. А наука Спенсера къ сожалѣнію не есть только его наука, она, если не по содержанію своему, то по пріемамъ есть типическая представительница современныхъ соціологическихъ изслѣдованій вообще. Если же наука Спенсера не заблуждается относительно границъ, задачъ и метода соціологіи, то соціологическій остатокъ долженъ поступить въ вѣдѣніе какихъ-нибудь другихъ формъ умственной дѣятельности, — метафизики, теологіи. Это неизбѣжно, потому что мы ждать не можемъ. Мы даемъ наукѣ заказъ: научите насъ, отчего происходитъ эмиграція, — и получаемъ удовлетворительный отвѣтъ. Мы даемъ другой заказъ: научите насъ, справедливъ ли или нравственъ ли тотъ порядокъ вещей, который гонитъ насъ съ родины,—и вмѣсто отвѣта получаемъ нендущія къ дѣлу разсужденія о распространеніи цивилизаціи и о ростѣ общественныхъ аггрегатовъ. Если такъ, и ничего инаго отъ науки добиться нельзя, я отвернусь отъ нея. Я пойду къ метафизикѣ и попытаюсь удовлетвориться ея разсужденіями о внутренней цѣлесообразности историческаго процесса, о великомъ планѣ развитія исторіи, предначертанномъ ея сущностью и потому безусловно справедливомъ; я пойду къ другимъ формамъ мысли, которыя тоже хоть съ грѣхомъ пополамъ удовлетворятъ меня. Что станется тогда съ наукой? Уже г. Владиміру Соловьеву толпа апплодировала за поруганіе науки. И, можетъ быть, эта толпа состояла не изъ однихъ пустопорожнихъ людей. Можетъ быть, въ средѣ ея были люди, измученные тѣми вопросами, которые современная наука разрѣшить не хочетъ или не можетъ и разрѣшить которые г. Владиміръ Соловьевъ выразитъ, по крайней мѣрѣ, желаніе и надежду.

V *).

Объ истинѣ, совершенствѣ и другихъ скучныхъ вещахъ.

— О чемъ у васъ нынче статья-то?

— Объ истинѣ больше...

— Экъ вы! Я думалъ о педагогахъ. Вы бы прописывали въ заголовкѣ, о чемъ пишите, чтобы знать, стоитъ ли читать...

---

*) 1875, мартъ.

Такой разговоръ происходилъ у меня съ однимъ джентльменомъ по выходѣ февральской книжки «Отечественныхъ Записокъ». Совѣтъ джентльмена насчетъ заголовка я принялъ къ свѣдѣнію и исполненію, потому что это совѣтъ резонный. Но гораздо большее впечатлѣніе на меня, признаюсь, произвело восклицаніе: экъ вы! я думалъ о педагогахъ... Надо было слышать это презрительно сожалительное «экъ вы!», чтобы понять произведенное на меня имъ впечатлѣніе. Я и самъ задумался, экъ я, въ самомъ дѣлѣ! объ истинѣ! Кому это нужно? Какое имѣетъ отношеніе истина къ *умственной* жизни русскаго общества? Оправившись однако, я сообразилъ, что бесѣдовавшій со мной джентльменъ только потому сказалъ: экъ вы! что мало наблюдалъ и размышлялъ.

Надо замѣтить, что собесѣдникъ мой— отчасти педагогъ. Адвокатъ на его мѣстѣ сказалъ бы, можетъ быть: экъ вы! объ истинѣ! я думалъ о статьѣ Маркова. Художникъ сказалъ бы: экъ вы! я думалъ о передвижной выставкѣ. Сидятъ люди въ своемъ рѣзко обрамленномъ уголкѣ и считаютъ дѣла этого уголка на столько важными, что въ сравненіи съ ними не то что Наполеонъ, а и сама истина есть нѣчто вродѣ бородавки. Отъ времени до времени какая-нибудь случайность освѣщаетъ который-нибудь изъ уголковъ, поднимается скандалъ, копошатся мелкія самолюбія, выползаетъ на бѣлый свѣтъ разная нечисть, вытаскиваются разныя грязныя дѣла, и публицисты получаютъ возможность писать: въ настоящее время наше общество чрезвычайно заинтересовано тѣмъ и тѣмъ-то. Такова умственная жизнь нашего общества. Невеселая, надо правду сказать, картина. Потому невеселая картина, что краски на ней ужъ очень блѣдны и линючи, а отдѣльныя фигуры не связаны никакими общими задачами: никому, ни даже имъ самимъ неизвѣстно, зачѣмъ онѣ тутъ торчатъ. Зачѣмъ, напримѣръ, грубо расталкивая всѣхъ направо и налѣво, лѣзетъ на первый планъ картины этотъ московскій громовержецъ? Онъ кривляется, ломается, визжитъ, грозитъ кулаками. Кому? за что? Картина налицо. Ея сѣрый колоритъ, ея блѣдныя и линючія краски, ея разрозненные образы свидѣтельствуютъ, что тѣхъ опасностей, по поводу которыхъ визжитъ и кривляется громовержецъ, нѣтъ, что если какая опасность есть, такъ она только и состоитъ въ блѣдности красокъ и въ отсутствіи общей задачи композиціи. Онъ и самъ это, конечно, видитъ и все-таки визжитъ и грозитъ кулаками. Онъ заявляетъ, что хочетъ укрѣпленія добрыхъ нравовъ, уваженія человѣческаго достоинства, множества другихъ хорошихъ вещей. Но, конечно, онъ и самъ не вѣритъ своимъ увѣреніямъ. Иначе онъ не имѣлъ бы этой позы кулачнаго бойца, и изъ устъ его не вылетали бы ежеминутно слова, едва-едва только терпимыя въ печати.—А этотъ зачѣмъ? вотъ этотъ, выглядывающій изъ подъ кулака громовержца благообразный, сановитой наружности человѣкъ съ томомъ Шиллера въ одной рукѣ и съ «Мариной изъ Алаго Рога» г. Маркевича въ другой? Онъ кого-то поучаетъ, онъ читаетъ лекцію прекраснодушія, безкорыстія и преданности высшимъ задачамъ духа. Кто тянетъ его за языкъ, кто велитъ ему издѣваться надъ Шиллеромъ и высшими задачами духа?—издѣваться, потому что, какъ всѣмъ извѣстно, онъ уличенъ во взяточничествѣ, которое не имѣетъ ничего общаго ни съ Шиллеромъ, ни съ высшими задачами духа, ни даже съ «Мариной изъ Алаго Рога» г. Маркевича. По его лицу видно, что онъ и не намѣренъ былъ издѣваться: онъ только не зналъ и не знаетъ, зачѣмъ онъ писалъ и говорилъ то, что писалъ и говорилъ.—Вотъ группа людей, очевидно, очень горячо спорящихъ, усиленно жестикулирующихъ. Они бодро идутъ immer vorwärts, все впередъ и впередъ, но повернувшись къ собственной задачѣ затылкомъ: это—сонмъ педагоговъ.—Вотъ каѳедра, и на ней высокая, изможденная фигура магистранта, защищающаго диссертацію на тему, казалось бы, всѣмъ присутствующимъ антипатичную. Но ему не даютъ рта открыть безъ аплодисментовъ. Встаетъ оппонентъ и дрожащимъ голосомъ, едва владѣя собою, выражаетъ свое презрѣніе доктринѣ магистранта. Ему... ему тоже апплодируютъ.— Въ толпѣ слушателей я вижу знакомую мнѣ фигуру человѣка, добивающагося популярности. Онъ мечется, бьется, какъ рыба объ ледъ, онъ льститъ, онъ лжетъ, онъ тамъ, онъ здѣсь. Между тѣмъ, добейся онъ популярности, и онъ не будетъ знать: съ кашей ли ее ѣсть или во щи лить.—Вотъ художники. Всмотритесь въ ихъ лица и произведенія, и вы увидите, что большинство ихъ не знаетъ, зачѣмъ они рисуютъ ту, а не другую картину, почему они выбрали тотъ, а не другой сюжетъ, придали ему такое, а не иное нравственное освѣщеніе.—Вотъ кучка людей, мечтающихъ о привилегированномъ положеніи, фрондирующихъ, толкующихъ о правахъ. Зачѣмъ, когда они любую привилегію и любое право готовы продать за чечевичную похлебку?—Немножко вправо отъ московскаго громовержца, и позади его помѣщается князь Мещерскій. Онъ очевидно обдумываетъ нумеръ «Гражданина». Но зачѣмъ онъ издаетъ газету, когда ему сказать нечего, когда онъ «своихъ словъ не

имѣетъ», когда даже изъ русской грамматики онъ знаетъ только знаки препинанія, а предложенія и части предложенія, между которыми знаки препинанія размѣщаются, суть для него темна вода во облацѣхъ?— Вотъ цѣлый рядъ повѣсившихся, застрѣлившихся, утопившихся, зарѣзавшихся, отравившихся. Ихъ сѣро-зеленые трупы такъ гармонируютъ съ мертвенно-тусклымъ фономъ всей картины, что почти не выступаютъ изъ него. Зачѣмъ они повѣсились, зарѣзались и застрѣлились? Вѣрно вамъ говорю, что, по крайней мѣрѣ, половина ихъ не могла бы отвѣтить на этотъ вопросъ за минуту до самоубійства, а другая половина зарѣзалась и повѣсилась потому, что задала себѣ вопросъ: зачѣмъ я торчу на этой картинѣ? задала вопросъ и не нашла отвѣта; не нашла отвѣта и слилась съ сѣрымъ фономъ картины рядами зеленовато-сѣрыхъ труповъ...

Это не исходъ, очевидно, потому что ни характеръ картины не измѣнился отъ смерти этихъ людей, ни сами они не ушли изъ нея. Напротивъ, смерть пригвоздила ихъ къ картинѣ въ качествѣ, можетъ быть, наиболѣе характеристичной ея подробности. Для живыхъ остается выборъ, возможность, надежда; мертвые ужъ не сойдутъ съ картины. Но эти люди, по крайней мѣрѣ, допрашивали себя. Все остальное движется элементарнѣйшими, только-что не прямо животными побужденіями. Все остальное кричитъ: хлѣба и зрѣлищъ! Хлѣбъ дается профессіей; и вотъ почему мой собесѣдникъ-педагогъ сказалъ: экъ вы! объ истинѣ! Какъ сказалъ бы и адвокатъ, и художникъ, и писатель, и «воинъ, купецъ и пастухъ». Зрѣлища даются случайными поворотами фонаря судьбы, освѣщающими то тотъ, то другой замкнутый уголокъ со всѣми его глупостями и мерзостями; и вотъ почему при всякомъ скандалѣ публицисты получаютъ возможность писать: въ настоящее время наше общество чрезвычайно заинтересовано и т. д. Впрочемъ, къ потребностямъ хлѣба и зрѣлищъ слѣдуетъ еще прибавить потребность быть зрѣлищемъ. Дѣйствительно, никогда еще, можетъ быть, не было до такой степени распространено въ нашемъ обществѣ желаніе блистать, гремѣть, быть центромъ всѣхъ взглядовъ и вниманій. Но такъ какъ краски родной картины все-таки блѣдны и линючи, и блистать и гремѣть, собственно говоря, нечѣмъ, то мы на каждомъ шагу видимъ либо людей, не помнящихъ ничего, кромѣ своей заслуги цѣнностью въ мѣдный грошъ, либо такихъ людей, которые всячески стараются, что называется, угодить публикѣ, льстить ея инстинктамъ, подлаживаются подъ ея вкусы. Въ литературѣ эта потребность быть зрѣлищемъ проявляется всего замѣтнѣе, но она существуетъ не только въ литературѣ.

Самоубійцы и восклицаніе: хлѣба и зрѣлищъ! навели меня на мысль, которой я нѣсколько конфужусь и которую все-таки выскажу. Это — мысль сопоставить наше время со временемъ упадка Рима. Конечно, сходства между этими временами мало. Римъ палъ подъ ударами варваровъ; намъ же не только не грозятъ какіе-нибудь варвары, а напротивъ, мы сами даемъ все сильнѣе чувствовать свою мощь хивинцамъ, бухарцамъ, туркменамъ и другимъ среднеазіатскимъ варварамъ. Но я имѣю въ виду именно различія, а не сходство, и притомъ не всѣ различія, а только одну группу ихъ. Мнѣ собственно вспомнились первые христіане и тѣ изъ римлянъ, которые искренно презирали и ненавидѣли христіанъ, распинали, жгли, отдавали ихъ на растерзаніе львамъ и тиграмъ. Смѣшно сопоставлять это время съ нашимъ, но такъ, ради контраста только, пусть читатель припомнитъ ту яркую картину, на которой фигурируютъ въ катакомбахъ, на улицахъ и площадяхъ римскихъ ряды христіанъ и ихъ враговъ. Какая удивительная опредѣленность въ каждомъ дѣйствіи! Какъ всѣмъ этимъ людямъ ясны ихъ задачи, какъ смѣло одни убиваютъ, другіе умираютъ, какъ понятны имъ причины и цѣли ихъ дѣятельности! Не въ томъ дѣло, что здѣсь имѣется столкновеніе двухъ религій, изъ которыхъ одна издыхаетъ, а другая нарождается, а въ томъ, что и христіане, и римляне (далеко не всѣ, конечно) имѣли религію. Она именно сообщала ихъ чувствамъ, помысламъ и дѣйствіямъ ту опредѣленность, которой не хватаетъ нашимъ чувствамъ, помысламъ и дѣйствіямъ и отсутствіе которой въ мертвенно-тусклой картинѣ нашей общественной жизни можетъ быть объяснено только отсутствіемъ религіи. Надо оговориться. Россія, конечно--христіанское государство, и, говоря объ отсутствіи въ нашемъ обществѣ религіи, я разумѣю это слово не въ богословскомъ смыслѣ. Въ области богословія я до такой степени профанъ, что даже не осмѣливаюсь приступиться къ ней. Подъ религіей я разумѣю такое ученіе, которое связываетъ существующія въ данное время понятія о мірѣ съ правилами личной жизни и общественной дѣятельности; связываетъ такъ прочно, что для исповѣдующаго это ученіе поступить противъ своего нравственнаго убѣжденія въ такой же мѣрѣ невозможно, какъ согласиться, что, напримѣръ, дважды два равняется стеариновой свѣчкѣ. Очевидно, что первые христіане обладали такимъ ученіемъ. Ихъ понятія о прошедшемъ, настоящемъ и будущемъ вселенной были самымъ тѣснымъ, неразрывнымъ образомъ связаны съ понятіями о нравственной жизни, и связь эта была такого возбуждающаго

свойства, что давала имъ возможность дѣйствовать съ полною опредѣленностью. Очевидно также, что мы такого ученія не имѣемъ; наши понятія о существующемъ стоятъ сами по себѣ, понятія о долженствующемъ существовать—тоже сами по себѣ, наконецъ,наши дѣйствія—опять сами по себѣ. Въ этомъ все наше горе, здѣсь именно коренится причина блѣдности красокъ и разрозненности образовъ картины современной русской общественной жизни. На одномъ изъ общихъ собраній членовъ общества вспомоществованія нуждающимся литераторамъ г. Кавелинъ читалъ статью, въ которой скорбѣлъ о нравственной рыхлости русскаго человѣка, каковая рыхлость можетъ прекратиться только выработкой собственной, русской философіи. Я думаю, что это немножко мало. Философія объединяетъ, правда, представленія о сущемъ и долженствующемъ быть, но объединяетъ ихъ только въ мысли (и притомъ въ мысли нѣсколькихъ десятковъ, сотъ человѣкъ) а не въ жизни. Она не сообщаетъ той *религіозной* преданности идеѣ, которая одна способна разрушить нравственную рыхлость. Мало объединить области теоретической мысли: надо «разсыпанную храмину» понятій сложить такъ, чтобъ она побуждала къ дѣйствію въ извѣстномъ направленіи. Понятно, что быть въ этомъ смыслѣ религіознымъ—дѣло трудное и становится тѣмъ труднѣе, чѣмъ съ одной стороны болѣе расширяются завоеванія науки, а съ другой усложняется общественная жизнь. Возьмемъ людей, безъ всякихъ прикрасъ руководствующихся элементарнѣйшими потребностями хлѣба и зрѣлищъ или, еще лучше, потребностью, формулированной Щедринымъ однимъ словомъ: жрать! Міръ есть для нихъ какъ бы воплощеніе двухъ началъ: жрущаго и пожираемаго—представленіе совершенно ясное. Цѣли своей жизни — жранью—они преданы фанатически. И какъ однако имъ все-таки трудно жить на свѣтѣ! Жрать даромъ не даютъ. Надо изучить, по крайней мѣрѣ, тотъ уголокъ міра, среди котораго и на счетъ слабости и глупости котораго предполагается жрать, а такое изученіе требуетъ иногда большихъ усилій. Далѣе, какъ бы низко ни пало общество, оно не позволитъ жрать вполнѣ откровенно, безъ всякой маски. Въ «Не все коту масляница» Островскаго Аховъ, будучи убѣжденъ, что Ипполитъ его, собственно говоря, обокралъ на 15,000, требуетъ, чтобы тотъ ему, по крайней мѣрѣ, такъ, для виду только, въ ноги поклонился. Совершенно такъ же общество требуетъ отъ обжирающаго его человѣка, чтобъ онъ хоть для вида на Синай слазилъ или о Шиллерѣ и высшихъ задачахъ духа потолковалъ. И приходится лѣзть и толковать, притворяться, придавать физіономіи вдохновенный видъ, голосу искренность, а не только спрягать во всѣхъ наклоненіяхъ глаголъ жрать! Такими-то затрудненіями обставлено послѣдовательное проведеніе даже программы, укладывающейся въ одно слово: жрать! Такъ трудно быть религіозными даже этимъ людямъ. Людямъ съ болѣе широкою программою, конечно, еще труднѣе, потому что имъ нужно познать бо̀льшій кругъ явленій и ориентироваться въ болѣе сложной сѣти фактовъ. Однако возможно все-таки большее или меньшее приближеніе къ идеалу религіозности и большее или меньшее удаленіе отъ него. И я думаю, что не ошибусь, если скажу, что современной русской дѣйствительности до него, какъ до звѣзды небесной, далеко.

Позволительно, надѣюсь, желаніе, чтобы этотъ порядокъ вещей измѣнился; всякому позволительно желаніе принести свой камень на сооруженіе храма. А это сдѣлать невозможно, не сводя каждое явленіе нашей умственной жизни къ нѣкоторому общему и отвлеченному началу. Поэтому я смѣло продолжаю бесѣду объ истинѣ, совершенствѣ и другихъ скучныхъ вещахъ. Я только задаю вопросы людямъ, призваннымъ и взявшимся ихъ разрѣшать. И хоть отвѣтовъ, по всей вѣроятности, не получу, но самая постановка этихъ вопросовъ не лишена значенія. Они вертятся въ головахъ и мутятъ души многихъ профановъ. Я этому не только вѣрю, я это знаю. Порукой могутъ служить хоть бы тѣ самоубійцы, которые покончили жизнь изъ-за вопроса: зачѣмъ я торчу на этой картинѣ? Во многихъ эти вопросы находятся, такъ сказать, въ скрытомъ состояніи, но они даютъ себя знать, какъ даетъ себя знать ребенокъ, скрытый въ утробѣ матери. Для многихъ было бы большимъ облегченіемъ не то, что отвѣтить, а хоть формулировать, выразить «проклятые» вопросы. Можетъ быть, я облегчу имъ муки родовъ идеи. Будемъ же говорить объ истинѣ, совершенствѣ и другихъ скучныхъ вещахъ.

Далеко не всѣ умные и ученые люди чувствуютъ потребность въ религіи въ смыслѣ ученія, обнимающаго единымъ принципомъ міръ физическій и нравственный и вмѣстѣ съ тѣмъ съ почти физической силой движущаго человѣка въ извѣстномъ направленіи. Говоритъ, напримѣръ, о необходимости религіи и Спенсеръ (глава о догматическихъ воззрѣніяхъ въ «Изученіи соціологіи»), но онъ разумѣетъ ее въ богословскомъ смыслѣ. Онъ говоритъ именно, что ничто не въ состояніи вытѣснить «того чувства, которое одно можетъ быть названо религіознымъ, чувства, возбуждаемаго чѣмъ-то лежащимъ за предѣлами человѣчества и всѣхъ другихъ явленій»; ничто не въ состояніи «исклю-

чить изъ нашего ума идею о силѣ, которой человѣчество служитъ лишь слабымъ и малолетнымъ выраженіемъ» (466). Повторяю, я въ эту область не осмѣливаюсь вступать. Я привелъ слова Спенсера только для того, чтобы показать, что разумѣютъ онъ и многіе другіе ученые люди, когда говорятъ о религіи. Скажу только, что религія Спенсера, какъ и всякая другая религія подобной формы, не содержитъ въ себѣ существеннѣйшаго признака религіи: она неспособна управлять человѣческими дѣйствіями. Христіанскіе мученики только потому шли съ бодрымъ духомъ на растерзаніе львамъ, зарывались въ катакомбы и пр., что имъ было вполнѣ извѣстно то нѣчто, лежащее за предѣлами человѣчества и всѣхъ другихъ явленій, которое въ религіи Спенсера неизвѣстно. Но если ученые люди такъ двусмысленно относятся къ религіи, то едва ли не всѣ они требуютъ простого объединенія представленій о физическомъ мірѣ и понятій о мірѣ нравственномъ, т. е. требуютъ религіи минусъ ея непреоборимо движущая сила. Такое объединеніе стало даже общимъ мѣстомъ, модной фразой, которую способенъ сказать всякій хлыщъ въ любой великосвѣтской гостиной и всякій буквоѣдъ, ничего дальше своего носа не видящій. Къ сожалѣнію, весьма часто бываетъ, что, достигнувъ состоянія общаго мѣста и модной фразы, распространясь, повидимому, чуть не по всему лицу земли, идея, сама по себѣ чистая и безупречная, какъ весталка, становится, какъ весталка же, безплодною. Такъ именно случилось съ идеей единства міра физическаго и нравственнаго. Большихъ усилій стоило людямъ убѣдиться, что между этими двумя мірами нѣтъ той пропасти, которую вырыло невѣжество нашихъ предковъ. И хотя немало еще есть людей, берегущихъ эту пропасть, какъ нѣчто священное, но наука уже засыпала ее почти доверху; проходъ отъ міра физическаго къ нравственному, отъ природы къ человѣку свободенъ и всѣмъ желающимъ идти впередъ доступенъ. Но затѣмъ является вопросъ: одни ли и тѣ же пріемы изслѣдованія должны быть употреблены въ этихъ двухъ сферахъ человѣческаго вѣдѣнія? Съ перваго раза кажется, что на этотъ вопросъ надо дать утвердительный отвѣтъ. Таковой и былъ данъ. А между тѣмъ изученіе міра нравственнаго отъ этого не подвинулось впередъ, можно сказать, ни на одинъ шагъ, а въ нѣкоторыхъ пунктахъ даже назадъ отодвинулось. Впередъ и назадъ—это, конечно, такія слова, которыя всякій можетъ разумѣть по своему, но которыя всякій можетъ употреблять, если при этомъ объясняетъ, что именно онъ подъ ними разумѣетъ. Я говорю, что изученіе предмета подвигается впередъ, прибываетъ, когда охватываетъ все большій и большій кругъ фактовъ; изученіе предмета отодвигается назадъ, убываетъ, когда кругъ объясняемыхъ имъ явленій суживается, потому ли, что оно само утрачиваетъ силу, или потому, что жизнь опережаетъ его, выставляя новыя, недоступныя ему явленія. Что же мы видимъ въ области нравственно-политическихъ наукъ въ связи съ идеей единства міра нравственнаго и физическаго? Мы видимъ г-жу Ройе, Спенсера, многочисленныхъ второстепенныхъ дарвинистовъ, которые провозглашаютъ борьбу за существованіе верховнымъ нравственнымъ принципомъ и совѣтуютъ отнять костыль у хромого, чтобы онъ, разбивъ лобъ о тротуары шикарныхъ лондонскихъ, парижскихъ и т. д. улицъ, избавилъ общество отъ себя, слабаго и негоднаго члена. Это называется современною моралью. Но эта мораль давнымъ-давно практиковалась и практикуется у дикарей, которые избиваютъ своихъ стариковъ, тоже въ качествѣ слабыхъ и негодныхъ членовъ общества. Жизнь давно опередила эту мораль. Какъ морали, ей въ современномъ обществѣ никто не слѣдуетъ и надо надѣяться не будетъ слѣдовать, хотя многіе слѣдуютъ ей, какъ животному инстинкту, который и волка побуждаетъ ѣсть болѣе слабаго волка. Мы видимъ политическую экономію—одинъ изъ древнѣйшихъ отроговъ идеи единства міра физическаго и нравственнаго—которая упорно держится старыхъ формулъ, хотя онѣ совершенно неспособны объяснить, напримѣръ, возникновеніе рабочихъ союзовъ и другихъ явленій современной экономической жизни. Мы видимъ соціологію. Впрочемъ соціологіи мы не видимъ, а только слышимъ объ ней, слышимъ, правда, очень много, а видимъ только рядъ аналогій, параллелей между обществомъ и организмомъ, какія проводились и тридцать, и сто лѣтъ тому назадъ. Мы все-таки только на порогѣ соціологіи и на этомъ самомъ порогѣ наталкиваемся на странность, которая именно и мѣшаетъ намъ проникнуть дальше. Дѣйствительно, «соціологи», болѣе или менѣе тупоумные, слѣдуя примѣру вороны, которая никогда не сворачиваетъ въ сторону, твердо стоятъ на томъ, что въ силу единства міра слѣдуетъ понятія о мірѣ физическомъ и пріемы выработки ихъ цѣликомъ перенести въ соціологію. Болѣе серьезные люди смотрятъ на дѣло иначе. Напримѣръ Спенсеръ, какъ мы видѣли въ прошлый разъ, повидимому, очень хорошо понимаетъ, что наука объ обществѣ не можетъ быть построена изъ тѣхъ же матеріаловъ и тѣми же способами, изъ какихъ и какими строится наука о природѣ. По крайней мѣрѣ, онъ говоритъ, что соціологіи приходится бороться съ трудностями

какія не встрѣчаются въ наукахъ физическихъ. Изъ этого слѣдуетъ, что, не смотря на единство міра физическаго и нравственнаго, пріемы изслѣдованія того и другого не могутъ быть вполнѣ сходны. И однако Спенсеръ при «изученіи соціологіи» никакихъ особенныхъ, ей свойственныхъ, пріемовъ не употребляетъ. Г. Южаковъ написалъ статью въ опроверженіе рекомендуемаго мною для соціологіи субъективнаго метода, который ему представляется въ видѣ какого-то савраса безъ узды, носящагося по полю единственно подъ вліяніемъ своихъ капризовъ. Г. Южаковъ утверждаетъ въ этой статьѣ, что, собственно говоря, нѣтъ ни субъективнаго, ни объективнаго метода, а есть одинъ методъ—истинный. Это, можетъ быть, и остроумно, но мало подвигаетъ дѣло впередъ. Но всего любопытнѣе, что послѣ многихъ доказательствъ отсутствія разницы между пріемами физическаго и соціологическаго изслѣдованія г. Южаковъ пишетъ:

«Мысля соціальныя явленія, мы необходимо мыслимъ пользу, вредъ, благо и прочія категоріи, окрашенныя для насъ въ цвѣтъ желательности или нежелательности... Натурально, что и вся наша соціальная терминологія имѣетъ такую же субъективно-телеологическую, какъ называетъ г. Михайловскій, а попросту сказать утилитарную окраску. Поэтому борьба съ этою окраской для всякаго мыслителя и невозможна, и безполезна; всѣ слова, относящіяся къ обществу, запечатлѣны ею; всѣ отвлеченныя и почти всѣ общія конкретныя названія въ соціальной терминологіи непремѣнно или прямо означаютъ, или сознаваютъ пользу, вредъ, благо или что-либо подобное, и, употребляя эти названія, вы необходимо называете и указанные признаки. Такимъ образомъ, еслибы вы даже и не разумѣли ничего подобнаго, ваша фраза противорѣчила бы вашей мысли, и читатели прочли и поняли бы ее иначе; поэтому-то, сказалъ я, борьба безполезна, но она и невозможна, потому что вы ничего другого и разумѣть не можете, если вы лишите слова всего ихъ содержанія, существенныхъ признаковъ, ими сознаваемыхъ. Но какъ же вы тогда будете мыслить? Мышленіе требуетъ различенія и сходства, но вы уничтожили въ вашихъ словахъ все, чѣмъ ихъ сознаваніе различалось, именно — игнорируете свойства означаемыхъ явленій, на сколько эти свойства отражаются на личностяхъ, точнѣе и проще, игнорируете всѣ эти свойства. Такимъ образомъ, пишучи и мысля при помощи нашихъ языковъ, нельзя избыть утилитарнаго элемента». («Знаніе» 1873, № 68).

Это заявленіе г. Южакова устраняетъ чуть не половину причинъ спора между нами, но зато ведетъ за собой рядъ новыхъ недоразумѣній. Если, мысля соціальныя явленія, мы *неизбѣжно* мыслимъ вредъ, пользу, благо и т. п.; если, съ другой стороны, мысля явленія природы, мы *можемъ* и *должны* избѣгать этихъ элементовъ, то, по моему мнѣнію, изслѣдованія физическое и соціологическое не могутъ быть сходны. Г. Южаковъ держится противнаго мнѣнія. Не смотря на вышеприведенное, онъ стоитъ на томъ, что «существованіе въ изслѣдуемомъ явленіи цѣлей, какъ категорій пріятнаго и желательнаго, не должно вводить какого-либо особаго элемента въ процессъ изслѣдованія, измѣняющаго существенно методъ» (58). «Желательно только истинное», прибавляетъ г. Южаковъ.—Я думаю, что это совсѣмъ невѣрно. Истинное, конечно, желательно, но точно также желательно полезное, пріятное, справедливое, красивое, питательное, вкусное и проч. Я желаю съѣсть кусокъ ростбифа. Мои понятія о ростбифѣ, о его удобоваримости и т. п. могутъ быть истинны или ложны, но самъ ростбифъ не есть ни истина, ни ложь: онъ не имѣетъ никакого отношенія къ категоріи истиннаго несоизмѣримъ съ истиной; онъ желателенъ въ качествѣ питательнаго и вкуснаго, а не въ качествѣ истиннаго. Я желаю какого-нибудь потогоннаго, напримѣръ, липоваго цвѣта. О значеніи липоваго цвѣта для моего организма я могу имѣть понятія истинныя или ложныя, но желательно здѣсь не истинное, а цѣлебное. Я желаю отмѣны вреднаго и несправедливаго учрежденія. Я могу ошибаться и не ошибаться относительно послѣдствій такой отмѣны, но желаю я все-таки не истиннаго, а полезнаго и справедливаго. Это не значитъ, что я отворачиваюсь отъ истины, не хочу ея. Совсѣмъ напротивъ. Я очень хорошо знаю, что въ выработкѣ понятій цѣлебнаго, питательнаго, полезнаго, справедливаго необходимо принимаетъ участіе, и весьма важное, категорія истиннаго. Но это не мѣшаетъ мнѣ различать то, что я по природѣ своей воспринимаю различно. Истина есть удовлетвореніе только познавательной потребности человѣка, и думать, что она способна удовлетворять *всѣ* потребности, также неосновательно, какъ думать, что мозгъ способенъ исполнять всѣ отправленія животнаго организма. Мозгъ имѣетъ свои опредѣленныя функціи, весьма важныя; ему приходится работать при всѣхъ почти другихъ отправленіяхъ организма, но все-таки мозгъ неспособенъ вырабатывать, напримѣръ, кровь или желчь, переваривать пищу и проч. То же самое и съ категоріей истиннаго. Для признанія ростбифа питательнымъ, липоваго цвѣта цѣлебнымъ, извѣстнаго порядка вещей справедливымъ, необходимо обладать извѣстнымъ количествомъ истинъ, но насытитъ меня не истинное, а питательное, вылѣчитъ не истинное, а цѣлебное, моей потребности воздавать каждому должное удовлетворитъ не истинное, а справедливое. Но понятное дѣло, что познаніе есть необходимый посредникъ между наукой и всѣми требованіями человѣческой природы, потому что съ иной стороны къ наукѣ нѣтъ и доступа. Когда я говорю, что такой-то поступокъ нравственъ, такой-то по-

рядокъ вещей справедливъ, такое-то сочетаніе цвѣтовъ и формъ красиво и т. п., я утверждаю только тотъ *фактъ*, что мои нравственныя или эстетическія требованія удовлетворены. Требованія эти не имѣютъ непосредственныхъ связей съ потребностью познанія. Эта послѣдняя получаетъ, правда, немедленно тоже удовлетвореніе: она удовлетворяется *новымъ* явленіемъ, новымъ фактомъ,—*заявленіемъ или какимъ-нибудь выраженіемъ* перваго факта, но именно только заявленіемъ его, а не имъ самимъ. Еслибы данный фактъ и не удовлетворялъ моихъ нравственныхъ или эстетическихъ требованій; еслибы я заявилъ, что онъ безнравственъ или некрасивъ, то потребность познанія была бы удовлетворена и этимъ заявленіемъ—я нѣчто узналъ. Изъ этого однако отнюдь не слѣдуетъ, что желательно только истинное. Изъ этого слѣдуетъ только то, что мы можемъ различать два рода истинъ: одни свидѣтельствуютъ о существованіи извѣстныхъ явленій и отношеній между ними; другія свидѣтельствуютъ о степени удовлетворенія, которое эти явленія даютъ различнымъ требованіямъ природы наблюдателя, помимо потребности познанія. Послѣднія субъективны. Въ соціологіи имѣютъ мѣсто и тѣ, и другія истины. Прошлый разъ мы видѣли столкновеніе кн. Васильчикова съ редакціей «Сборника государственныхъ знаній», которое очень наглядно поясняетъ то, что я хочу сказать. Мы видѣли, что познавательная потребность обѣихъ спорящихъ сторонъ удовлетворяется вполнѣ одинаковымъ описаніемъ причинъ и слѣдствій эмиграціи. Эмиграція имѣетъ причиною главнымъ образомъ преобладаніе сословно-помѣстнаго элемента, а слѣдствіемъ — распространеніе цивилизаціи. Вотъ истина, которую желательно было получить обоимъ изслѣдователямъ, но для нихъ желательна не только истина: кромѣ нея, для кн. Васильчикова желательно уничтоженіе причинъ эмиграціи, а для редакціи «Сборника» — распространеніе цивилизаціи путемъ эмиграціи. Въ этой второй части изслѣдованія истина перваго рода, истина, утверждающая существованіе явленій — не причемъ, не въ ней совсѣмъ дѣло. Ни той, ни другой сторонѣ для соглашенія, строго говоря, нѣтъ надобности въ пріобрѣтеніи еще какихъ-нибудь свѣдѣній. Для соглашенія имъ нуженъ одинаковый уровень нравственнаго развитія. Г. Южаковъ не совсѣмъ вѣрно толкуетъ мою мысль, когда говоритъ, что я «объявляю недостаточною квалификацію даннаго (соціологическаго) вывода, какъ истиннаго или ложнаго, и требую вдобавокъ квалификаціи, какъ желательнаго и нежелательнаго». И предается по этому поводу совсѣмъ неосновательнымъ восклицаніямъ на ту тему, что—дескать—какъ! такъ по вашему истина можетъ быть нежелательна и проч.? Ничего подобнаго я никогда въ мысляхъ не имѣлъ. Если у меня и вырвались какія-нибудь неточныя выраженія, давшія поводъ заблужденію г. Южакова, то общій тонъ моихъ работъ могъ бы все-таки подсказать ему иное заключеніе. Истина всегда желательна, и сомнѣваюсь, чтобы въ сотнѣ, другой печатныхъ листовъ, которые я на своемъ вѣку исписалъ, г. Южаковъ могъ найти хотя одинъ случай признанія какой-нибудь истины нежелательною; хотя, безъ сомнѣнія, мнѣ случалось говорить объ истинахъ неважныхъ, нестоющихъ вниманія. Но дѣло въ томъ, что не всѣ соціологическіе выводы подходятъ подъ компетенцію истинъ, утверждающихъ существованіе явленій и ихъ отношеній. Беру тотъ же примѣръ. Причина эмиграціи есть преобладаніе сословно-помѣстнаго элемента, а результатъ ея есть распространеніе цивилизаціи. Вотъ соціологическій выводъ, вполнѣ объективный и цѣликомъ находящійся въ вѣдѣніи категорій истиннаго и ложнаго. Мы можемъ разсуждать о томъ: соотвѣтствуетъ ли этотъ выводъ всѣмъ извѣстнымъ намъ соотносящимся фактамъ, содержитъ ли онъ въ себѣ полную или неполную истину и т. д. Но на этой объективной ступени соціологическое изслѣдованіе можетъ останавливаться только въ крайне рѣдкихъ случаяхъ, и въ нашемъ примѣрѣ это невозможно. Рядомъ съ потребностью познанія становится та потребность нравственнаго суда, которая молчитъ или, по крайней мѣрѣ, должна молчать въ изслѣдованіи физическомъ. Кн. Васильчиковъ, удовлетворяя этой потребности, говоритъ или подразумѣваетъ, что преобладаніе сословно-помѣстнаго элемента несправедливо. Редакція «Сборника государственныхъ знаній» дѣлаетъ иной выводъ. Они никакой истины не отвергаютъ: одинъ изъ нихъ признаетъ нежелательнымъ, другая—желательнымъ извѣстный порядокъ вещей, а не истину. И оба эти вывода подлежатъ опять-таки нравственному суду, суду чисто субъективному. Найдется, конечно, много людей, которые станутъ извращать добытую обоими изслѣдованіями истину, признаютъ ее нежелательною. Это будетъ неправильное, ненаучное отношеніе къ дѣлу. Но, положимъ, является такой смѣлый и откровенный человѣкъ, вродѣ гр. Орлова-Давыдова, который скажетъ: изслѣдованіе кн. Васильчикова фактически вѣрно, но его соціологическій выводъ: «преобладаніе сословно-помѣстнаго элемента несправедливо», этотъ соціологическій выводъ безнравственъ и, слѣдовательно, нежеланъ. Какъ бы я ни симпатизировалъ кн. Васильчикову, какъ бы я ни разногласилъ съ гр.

Орловымъ-Давыдовымъ въ понятіяхъ о нравственномъ и безнравственномъ, но я не могу сказать, что послѣдній не имѣетъ права судить о выводѣ кн. Васильчикова съ этой стороны. Я могу сказать, что понятія этого человѣка о нравственности весьма жалки, но не могу сказать, что самый *пріемъ* его оцѣнки даннаго соціологическаго вывода неумѣстенъ. Напротивъ, онъ вполнѣ умѣстенъ. Пока рѣчь шла только о существованіи извѣстныхъ фактовъ, связанныхъ цѣпью причинъ и слѣдствій, этотъ человѣкъ держался категорій истиннаго и ложнаго. А когда потребовался судъ нравственный, онъ его далъ и не могъ не дать, потому что подлежащій суду выводъ не имѣетъ прямой связи съ категоріями истиннаго и ложнаго.

Вотъ какъ я понимаю отношенія между желательнымъ вообще и истиннымъ въ частности, и вотъ что слѣдовало опровергать г. Южакову, а не измышленную имъ самимъ фантазію о нежелательности истины—фантазію, которая по крайней своей нелѣпости и не стоила бы опроверженія. Ему надлежало прежде всего доказать, что категоріи истиннаго съ одной стороны и нравственнаго, справедливаго, благого, полезнаго, должнаго съ другой, имѣютъ болѣе прямую, болѣе непосредственную связь, чѣмъ какая предполагается мною. Онъ именно такъ думаетъ. Онъ говоритъ: «желательно только истинное; *нравственное есть не болье, какъ истинныя начала общественности,* т. е. наиболѣе полно приспособляющія жизнь къ условіямъ соціальнаго существованія» (1. с. 58). Къ сожалѣнію, мысль эта не получаетъ удовлетворительнаго развитія не только въ полемической статьѣ г. Южакова, а и въ его этюдѣ о естественномъ подборѣ, одна глава котораго посвящена вопросу о нравственности. Тамъ доказывается, что «нравственно то, что соотвѣтствуетъ реальнымъ или идеальнымъ началамъ общественности» («Знаніе» 1873, № III, 81). Сравните это опредѣленіе съ предыдущимъ. Допустимъ, что сказать: *истинныя* начала общественности все равно, что сказать: *идеальныя или реальныя начала общественности.* Но *есть* и *соотвѣтствуетъ* во всякомъ случаѣ глаголы очень различные. И питательность соотвѣтствуетъ извѣстнымъ физическимъ истинамъ, но она не есть истина.

Надѣюсь, что читатель признаетъ за мной одну заслугу: я не только не стараюсь замазать предстоящія мнѣ трудности, а напротивъ, ставлю ихъ, какъ говорится, ребромъ. Спрашивается, какъ же можетъ быть построена соціологія? Какъ и всякая другая наука, какъ и наука вообще, она должна удовлетворять только потребности познанія; потребность познанія удовлетворяется только истиной; а между тѣмъ соціологія имѣетъ дѣло не только съ категоріями истиннаго и ложнаго, а и съ совершенно самостоятельными категоріями нравственнаго, справедливаго, должнаго. Какъ тутъ быть? На первый взглядъ представляется неизбѣжнымъ просто выкинуть изъ соціологическаго построенія категоріи нравственнаго и справедливаго. Такъ именно и поступаютъ чистые объективисты. Они говорятъ: наука должна познавать причинную связь явленій, установлять законы ихъ возникновенія, развитія и прекращенія, и больше ей дѣлать нечего; иной задачи нѣтъ и у соціологіи. Разъ выясненъ какой-нибудь соціологическій процессъ, желать измѣненія его было бы безумно и недостойно человѣка науки; онъ долженъ принимать истину и здѣсь съ такими же распростертыми объятіями, какъ въ механикѣ или химіи; одобрять или не одобрять какой нибудь порядокъ вещей, прилагать къ нему мѣрку нравственнаго суда, по малой мѣрѣ, безполезно и во всякомъ случаѣ ненаучно, ибо объ этомъ порядкѣ вещей наука только и можетъ сказать, что онъ порожденъ извѣстными причинами и даетъ извѣстныя послѣдствія. Страннымъ образомъ однако эта программа, повидимому, столь удобоисполнимая, столь простая, столь, такъ сказать, прямолинейная, столь, наконецъ, сходная съ программами наукъ естественныхъ, прочно установившихся, страннымъ образомъ эта программа, хотя и многими заявляется, но рѣшительно никѣмъ послѣдовательно не выполняется. Она не выполнена и Спенсеромъ, не смотря на всѣ его величественные аллюры. Соціологъ-объективистъ разсуждаетъ очень спокойно и величественно, что политическихъ фактовъ не слѣдуетъ ни одобрять, ни порицать, а слѣдуетъ только познавать ихъ, и среди этихъ разсужденій нѣтъ-нѣтъ да и одобритъ что-нибудь, и сплошь и рядомъ одобритъ что-нибудь очень дрянное. Я думаю, что подобныя уклоненія объективистовъ отъ собственной своей программы должны быть объясняемы не частными какими-нибудь причинами, а внутреннимъ противорѣчіемъ ихъ доктрины и несостоятельностью ихъ метода.

Г. Южаковъ—тоже объективистъ, но онъ относится къ задачѣ соціологіи нѣсколько иначе. Впрочемъ, не легко понять, почему онъ считаетъ себя объективистомъ и даже что именно онъ называетъ объективизмомъ. Онъ говоритъ:,«собственно говоря, нѣтъ ни объективнаго, ни субъективнаго метода, а есть только одинъ истинный, логическій. Если объективность заключается въ томъ, чтобы игнорировать значеніе общественныхъ событій для личностей и личности для

общественныхъ событій; чтобы отмахиваться отъ соціологическихъ выводовъ, вытекающихъ изъ этическихъ теоремъ, то это вовсе не объективность и безпристрастіе, а просто опасное для науки заблужденіе, непониманіе того, что различные элементы общественнаго цѣлаго находятся въ тѣсной зависимости между собой. Богъ съ ней, съ такой объективностью; я готовъ выдать ее головой. Но если, съ другой стороны, субъективность состоитъ въ томъ, чтобы вмѣсто признанія желательнымъ и должнымъ истиннаго объявлять истиннымъ все желательное; въ томъ, чтобы снимать съ изслѣдователя соціолога узду всякихъ общеобязательныхъ логическихъ формъ мышленія; въ томъ, чтобы теоремы одной изъ областей науки, какъ бы эта область ни была важна сама по себѣ, возводить въ методологическій критерій всякаго общественно-научнаго мышленія; если *это* значитъ субъективный методъ, то да будетъ всякій соціологъ подальше отъ такого орудія, и чѣмъ талантливѣе мыслитель, тѣмъ опаснѣе для науки подобное направленіе» (61). На это я замѣчу только слѣдующее: 1) сказать, что, собственно говоря, нѣтъ ни субъективнаго, ни объективнаго метода, а есть только истинный—значитъ ровно ничего не сказать. На этомъ основаніи (?) можно, пожалуй, отрицать существованіе индуктивнаго и дедуктивнаго метода. Но это никому, ни даже самому отрицателю, не помѣшаетъ, смотря по условіямъ задачи, употреблять въ одномъ случаѣ индукцію, а въ другомъ выводъ. Психологи спорятъ о томъ, какъ и когда надо примѣнять въ психологіи методъ самонаблюденія (субъективный) и физіологическій (объективный). Г. Южаковъ можетъ и имъ сказать, что нѣтъ ни физіологическаго метода, ни метода самонаблюденія, а есть одинъ методъ—истинный, логическій. Я думаю однако, что, выслушавъ это рѣшеніе, психологи спорить не перестанутъ, и не по упрямству, а потому, что рѣшеніе г. Южакова ничего не рѣшаетъ. 2) Я убѣжденъ, что исключительно объективный методъ въ соціологіи невозможенъ и никогда никѣмъ не примѣняется. Я только называю объективистами людей, которые сами претендуютъ на этотъ титулъ, и не хуже г. Южакова знаю, что объективности и безпристрастія въ ихъ изслѣдованіяхъ нѣтъ. 3) Снимать съ соціолога узду общеобязательныхъ логическихъ формъ мышленія я никогда не думалъ, а напротивъ, всегда предлагалъ надѣть ее. 4) Почему г. Южаковъ заявляетъ себя сторонникомъ «объективной критики» и «объективнаго метода», если послѣдній, по его словамъ, не существуетъ, а существуетъ только методъ «истинный»?

Въ другомъ мѣстѣ г. Южаковъ говоритъ «Михайловскій замѣчаетъ, что нравственная оцѣнка есть результатъ субъективнаго процесса мысли, но право самъ г. Михайловскій никогда не въ состояніи будетъ разъяснить, какой такой есть *объективный процессъ* мысли. Всѣ процессы мысли суть процессы мыслящаго субъекта и, какъ субъективные, всѣ они противополагаются процессамъ *мыслимымъ*, объекту». (67). Это называется возраженіемъ. Всѣ процессы мысли *субъективны*—это правда: субъективны всѣ наши понятія, всѣ наши истины, Но вѣдь г. Южаковъ говоритъ же объ *объективной* критикѣ, объ *объективныхъ* истинахъ? Надо думать, что онъ придаетъ этимъ выраженіямъ какой-нибудь особенный смыслъ потому что критика въ качествѣ процесса мысли должна быть непремѣнно субъективною. Пусть же онъ ужъ и мнѣ позволитъ говорить объ объективномъ и субъективномъ процессахъ мысли, придавая этимъ словамъ извѣстное, опредѣленное значеніе. И напрасно г. Южаковъ полагаетъ, что я не сумѣю объяснить, что я разумѣю подъ тѣми или другими употребляемыми мною терминами. Отчего же? что другое, а это я могу объяснить г. Южакову.

Мужъ убилъ жену; пуля пробила жертвѣ черепъ и засѣла въ мозгу; раненая еще жива, но приблизительно черезъ часъ, черезъ два она умретъ; она блѣдна, лицо ея покрыто холоднымъ потомъ, ноги конвульсивно содрагаются; величина и форма отверстія, пробитаго пулей, показываютъ, что убійца стрѣлялъ изъ револьвера № 3; убійца будетъ наказанъ. Вотъ заключенія, къ которымъ приводитъ наблюдателя *объективный* процессъ мысли. Заключенія о страданіи жертвы, о степени нравственнаго развитія убійцы, о его психическомъ состояніи въ моментъ убійства даются *субъективнымъ* процессомъ мысли. Мы имѣемъ здѣсь рядъ фактовъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, нѣкоторые мы воспринимаемъ двоякимъ способомъ: они и выражаются двояко. Всѣ присутствующіе и даже отсутствующіе, читавшіе протоколъ судебнаго слѣдователя, согласны относительно подробностей объективнаго выраженія событія. Если тутъ и выйдутъ какія-нибудь разногласія, то они могутъ быть немедленно устранены. Если, напримѣръ, возникнутъ какія-нибудь сомнѣнія относительно размѣровъ орудія убійства, то стоитъ только позвать экспертa или взять въ оружейномъ магазинѣ образцы пуль, и споръ конченъ. Иное уяснится свидѣтелями, иное обстановкой убійства и проч. Но относительно результатовъ субъективнаго процесса мысли такого согласія, по всей вѣроятности, не будетъ, если только всѣ наблюдатели вслѣдствіе счастли-

вой случайности не будутъ обладать одинаковою воспріимчивостью къ страданію и одинакимъ уровнемъ нравственнаго развитія. По всей же вѣроятности, между наблюдателями будутъ люди очень нервные, которые найдутъ, что покойница страдала ужасно, и люди съ болѣе крѣпкими нервами, люди, стоящіе на ступени нравственнаго развитія Дюма-фиса, которые найдутъ, что по дѣломъ вору и мука, и люди съ инымъ нравственнымъ складомъ, которые осудятъ убійцу. Конечно, можетъ быть, съ теченіемъ времени, когда приведется въ исполненіе знаменитый кардіографъ г. Ціона и другія подспорья для объективнаго изслѣдованія субъективныхъ ощущеній (въ родѣ термометра), число разногласій относительно результатовъ субъективнаго процесса мысли сократится. Но и это возможно только въ извѣстныхъ предѣлахъ. Мы сидимъ вдвоемъ въ комнатѣ, температура которой, какъ показываетъ термометръ равна 15°, но, не смотря на то, вамъ жарко, а мнѣ холодно. Такъ будетъ всегда, пока люди не уравняются въ степени воспріимчивости къ теплу. Въ высшей степени нелѣпо поступилъ бы человѣкъ, который сталъ бы доказывать, что мнѣ не холодно, потому что термометръ показываетъ 150. Если только я не имѣю особенныхъ причинъ притворяться, то мое заявленіе: мнѣ холодно—есть истина, но истина чисто субъективная. Заявленіе, что ртуть въ термометрѣ подвинулась вверхъ до извѣстной черточки скалы—тоже истина, но истина объективная, которую способенъ вполнѣ усвоить всякій зрячій человѣкъ. Въ ожиданіи кардіографа и другихъ приспособленій въ этомъ родѣ, въ ожиданіи нѣкоторыхъ теоретическихъ открытій, напримѣръ, изслѣдованія измѣненій нервной ткани, сопровождающихъ измѣненіе психическаго состоянія — мы должны признать значительную часть нашихъ соціологическихъ и даже психологическихъ понятій результатами субъективнаго процесса мысли.

Результатъ одной и той же причины выражается двояко: извѣстными жестами и извѣстными (собственно—неизвѣстными) измѣненіями нервной ткани, вообще движеніемъ съ одной стороны и извѣстнымъ психическимъ состояніемъ съ другой. Вполнѣ законно и необходимо изслѣдованіе и той, и другой стороны явленія, но произвести его и въ той, и другой области однимъ и тѣмъ же методомъ невозможно, такъ какъ объ стороны явленія воспринимаются нами различно. Для изслѣдованія движенія достаточно привести органы чувствъ, вооруженные или невооруженные, въ извѣстное отношеніе къ наблюдаемому явленію. Для изслѣдованія психическаго состоянія этого мало: тутъ нужно употребить иные пріемы, нужно пережить самому это состояніе, поставить себя на мѣсто человѣка, находящагося или находившагося въ этомъ состояніи, и изслѣдователь приближается къ истинѣ на столько, на сколько онъ способенъ переживать чужую жизнь. Спенсеръ совершенно справедливо говоритъ, что въ подобныхъ случаяхъ «мы встрѣчаемся съ необходимостью извѣстнаго рода и въ тоже время съ затрудненіемъ. Необходимость состоитъ въ томъ, что въ сношеніяхъ съ другими людьми и въ объясненіи ихъ дѣйствій мы должны представить себѣ ихъ мысли и чувства въ формѣ своихъ собственныхъ мыслей и чувствъ. Затрудненіе же состоитъ въ томъ, что представляя ихъ такимъ образомъ, мы всегда будемъ справедливы только отчасти и нерѣдко будемъ весьма несправедливы. Понятіе, которое одинъ составляетъ объ умѣ другого, неизбѣжно болѣе или менѣе соотвѣтствуетъ складу его собственнаго ума: оно бываетъ автоморфическимъ. И его автоморфическія сужденія тѣмъ дальше отстоятъ отъ истины, чѣмъ болѣе его собственный умъ отличается отъ того ума, о которомъ онъ долженъ составить себѣ понятіе». (Изученіе соціологіи, 170). Результаты изслѣдованія чужихъ мыслей и чувствъ въ формѣ своихъ собственныхъ мыслей и чувствъ я называю результатами субъективнаго процесса мысли. Тамъ, гдѣ этого условія нѣтъ, процессъ мысли объективенъ. Г. Южаковъ можетъ признавать эти термины неудачными, но разъ имъ придается опредѣленное значеніе, онъ не можетъ называть ихъ ничего незначущими.

Все это я пишу только въ объясненіе того, какъ я понимаю смутившія г. Южакова слова: объективный и субъективный процессъ мысли. И если въ вышенаписанное закралось нѣсколько словъ собственно о методѣ, то это сдѣлалось помимо моей воли. Возвращаясь къ г. Южакову, я повторяю, что его понятія о субъективномъ и объективномъ для меня не совсѣмъ ясны (я не говорю, что они неясны ему самому). Во всякомъ случаѣ, онъ признаетъ себя объективистомъ, но отличается отъ другихъ объективистовъ тѣмъ, что не изгоняетъ изъ соціологіи нравственнаго элемента. Онъ только отождествляетъ нравственный судъ съ судомъ истины, такъ какъ для него категоріи нравственнаго и безнравственнаго и вообще желательнаго и нежелательнаго не имѣютъ самостоятельнаго значенія, а суть тѣже категоріи истиннаго и ложнаго въ приложеніи къ соціологической области. Сколько я понимаю, въ этомъ именно и состоитъ, по г. Южакову, настоящій объективизмъ.

На первый взглядъ его положеніе чрез-

вычайно удобно. Ему стоитъ только опредѣлить «истинныя начала общественности» и затѣмъ, когда нужно произнести нравственный судъ, предстоитъ только прикинуть къ данному явленію мѣрку найденныхъ «истинныхъ началъ»—и дѣло въ шляпѣ. Но бѣда въ томъ, что затрудненіе здѣсь не разрѣшено, а только отодвинуто, потому что истинныя начала общественности не могутъ быть опредѣлены безъ участія въ изслѣдованіи нравственной оцѣнки явленій, каковая оцѣнка, повторяю, есть результатъ субъективнаго процесса мысли. (Таково, по крайней мѣрѣ, мое мнѣніе, и я не могу признать его опровергнутымъ г. Южаковымъ). Такимъ образомъ, объективный методъ не подвигаетъ насъ впередъ. Пора однако спросить: что такое методъ? Методомъ называется совокупность пріемовъ, помощью которыхъ находится истина или, что то же, удовлетворяется познавательная потребность человѣка. Въ одномъ случаѣ пригоденъ одинъ методъ, въ другомъ — другой, смотря по природѣ явленій, на которыя устремлена потребность познанія. Если явленія допускаютъ опытное изслѣдованіе, то къ нимъ прилагается методъ опытный, если нѣтъ— наблюдательный или умозрительный. Если явленія очень сложны и относительно нихъ имѣется уже извѣстный кругъ свѣдѣній, то употребляется дедуктивный методъ, въ противномъ случаѣ—индуктивный. Гдѣ природа явленій допускаетъ провѣрку всего процесса изслѣдованія каждымъ человѣкомъ, имѣющимъ достаточно свѣдѣній, тамъ употребляется объективный методъ. Гдѣ для провѣрки изслѣдованія требуется, кромѣ свѣдѣній, извѣстная воспріимчивость къ природѣ явленій, тамъ употребляется методъ субъективный. Послѣдній вовсе не ведетъ, какъ думаетъ г. Южаковъ, къ полной логической разнузданности, хотя, конечно, можно и съ нимъ, какъ со всякимъ другимъ методомъ, обращаться неправильно; съ нимъ даже больше, чѣмъ съ другимъ, потому что онъ труднѣе. Но тамъ, гдѣ нельзя примѣнять объективнаго метода, методъ субъективный, не смотря на всѣ свои трудности, долженъ быть примѣняемъ. Онъ нисколько не обязываетъ отворачиваться отъ общеобязательныхъ формъ мышленія, потому что онъ по характеру своему противоположенъ только объективному методу, а не индукціи и дедукціи, не опыту и наблюденію. Совершенно такъ же, какъ индуктивный методъ по характеру своему противоположенъ дедуктивному, но не исключаетъ ни опыта, ни наблюденія, ни умозрѣнія. Далѣе, субъективный и объективный методы противоположны только по характеру, но ничто не мѣшаетъ имъ уживаться совершенно мирно рядомъ, даже въ примѣненіи къ одному и тому же кругу явленій. Субъективнымъ методомъ называется такой способъ удовлетворенія познавательной потребности, когда наблюдатель ставитъ себя мысленно въ положеніе наблюдаемаго. Этимъ самымъ опредѣляется и сфера дѣйствія субъективнаго метода, размѣръ законно подлежащаго ему района изслѣдованій. Наблюдатель—человѣкъ и, слѣдовательно, можетъ себя мысленно поставить только въ положеніе такого же, какъ и онъ, человѣка. Метафизики примѣняютъ субъективный методъ къ изученію внѣшней природы, и это неправильно, потому что противорѣчитъ самому смыслу субъективнаго метода. Но затѣмъ, какъ удачно выразился Спенсеръ, при объясненіи дѣйствій людей мы должны представить себѣ ихъ мысли и чувства въ формѣ собственныхъ мыслей и чувствъ. И слѣдовательно, въ этой области субъективный методъ законенъ и неизбѣженъ. Но рядомъ съ нимъ можетъ примѣняться и объективный методъ. Въ многократно упомянутыхъ изслѣдованіяхъ князя Васильчикова и редакціи «Сборника государственныхъ знаній» есть выводы, полученные объективнымъ методомъ, на основаніи статистическихъ данныхъ, — выводы, которые можетъ провѣрить всякій грамотный человѣкъ, потому что для такой провѣрки требуются только нѣкоторыя, весьма элементарныя свѣдѣнія изъ ариѳметики и географіи; а ставить себя мысленно въ чужое положеніе вовсе не требуется. Но когда кн. Васильчиковъ утверждаетъ, что преобладаніе сословно помѣстнаго элемента несправедливо, то мы имѣемъ выводъ, полученный субъективнымъ методомъ. Тутъ нужна была извѣстная воспріимчивость къ страданіямъ обитателей Мекленбурга и Ирландіи, нужно было мысленно поставить себя на ихъ мѣсто и перетерпѣть все перетерпѣнное ими. Это можетъ сдѣлать не всякій, знающій ариѳметику и географію, и провѣрить *весь* процессъ изслѣдованія, приведшій автора къ данному выводу, можетъ только человѣкъ извѣстнаго нравственнаго склада, способный прикинуть къ собственной персонѣ положеніе ирландцевъ и мекленбуржцевъ. Даже еслибы кн. Васильчиковъ сказалъ только, что мекленбургскіе порядки *вредны*, такъ и то оставался бы вопросъ: кому вредны? Люди, дорожащіе интересами мекленбургскихъ бароновъ, способные поставить себя только на ихъ мѣсто, сказали бы, что *не вредны*. И дѣйствительно, баронамъ не вредны. Въ изслѣдованіи, въ которое замѣшаны мысли и чувства людей, субъективный методъ неизбѣженъ. Его неизбѣжно употребляютъ и такъ называемые объективисты, утверждающіе, что они безпристрастны, что они въ своемъ стремленіи къ истинѣ отрѣшились отъ всякихъ симпатій

и антипатій. Они говорятъ пустяки. Въ ихъ нравственномъ аппаратѣ просто недостаетъ нѣкоторыхъ винтовъ, вслѣдствіе чего они неспособны поставить себя въ положеніе мекленбуржцевъ; но это нисколько не мѣшаетъ имъ симпатизировать мекленбургскимъ Rittergutsbesitzer'амъ и умѣть мысленно переноситься на ихъ мѣсто. Г. Скальковскій утверждаетъ въ своихъ «Путевыхъ впечатлѣніяхъ», что Кастеларъ только потому сталъ республиканцемъ, что въ этой партіи было вакантное мѣсто вождя, въ другихъ же партіяхъ первыя мѣста были заняты, а то Кастеларъ былъ бы монархистомъ того или другого оттѣнка. Можетъ, оно и вѣрно, а можетъ быть, и не вѣрно. Можетъ быть, г. Скальковскій только потому пришелъ къ такому заключенію, что по нравственному своему складу онъ неспособенъ представить себя въ положеніи человѣка, который ради идеи отказывается отъ какого-нибудь перваго мѣста. А можетъ быть, его нравственное величіе,такъ сказать, не вмѣстилось въ особѣ Кастелара и, подмѣтивъ въ этомъ человѣкѣ нѣкоторыя слабости, онъ рѣшилъ: нѣтъ, этотъ человѣкъ только корыстолюбецъ и честолюбецъ, а не искренній республиканецъ. Неизвѣстно, признаетъ ли г. Скальковскій поведеніе Кастелара нравственнымъ или безнравственнымъ, но во всякомъ случаѣ его умозаключеніе получено субъективнымъ путемъ, съ помощью, конечно, объективныхъ данныхъ вродѣ разговоровъ Кастелара, его дѣйствій и т. п. Субъективный путь изслѣдованія употребляется всѣми тамъ, гдѣ дѣло идетъ о мысляхъ и чувствахъ людей. Но характеръ научнаго метода онъ получаетъ тогда, когда примѣняется сознательно и систематически. Для этого изслѣдователь долженъ не забывать своихъ симпатій и антипатій, какъ совѣтуютъ объективисты, сами не исполняя своего совѣта, а только выяснить ихъ, прямо заявить: вотъ тотъ родъ людей, которымъ я симпатизирую, въ положеніе которыхъ я мысленно переношусь; вотъ чьи чувства и мысли я способенъ представить себѣ въ формѣ своихъ собственныхъ чувствъ и мыслей; вотъ что для меня желательно и вотъ что нежелательно, кромѣ истины. Г. Южаковъ спрашиваетъ: неужели субъективисты играютъ въ руку недобросовѣстнымъ мыслителямъ? Нѣтъ, мы требуемъ прежде всего добросовѣстности.

Я понимаю побужденія, заставляющія г. Южакова чураться субъективизма. Ему кажется, что мы ставимъ желательное на мѣсто истиннаго и тѣмъ самымъ уничтожаемъ науку, которая имѣетъ дѣло только съ истиною. Выше я старался уже распутать это недоразумѣніе. Мнѣ остается разъяснить затрудненіе, мною самимъ поставленное въ наиболѣе рѣзкой формѣ. Какъ можетъ быть построена соціологія, если она, какъ наука, должна удовлетворять только потребности познанія, а, какъ соціологія, принуждена имѣть дѣло съ категоріями нравственнаго и безнравственнаго, которыя стоятъ совершенно независимо отъ категорій истиннаго и ложнаго? Въ связи съ этимъ находится другой вопросъ: какъ можетъ быть построена соціологія, если огромная доля[ея истинъ по своей субъективности можетъ быть правомѣрно признана однимъ изслѣдователемъ и отвергнута другимъ?—Затрудненія эти однако не такъ велики, какъ кажутся съ перваго взгляда. Они отчасти свойственны и другимъ наукамъ; но главнымъ образомъ составляютъ особенность соціологіи и показываютъ, что она должна по характеру своему значительно отличаться отъ наукъ естественныхъ. Вѣдь и наши познанія о природѣ не всѣ одинаково всѣмъ доступны. Человѣкъ, неимѣющій достаточныхъ предварительныхъ свѣдѣній, не повѣритъ, что земля ходитъ около солнца. И такихъ людей много. Что нужно сдѣлать, чтобы всѣ люди имѣли одинаковыя понятія объ отношеніяхъ солнца и земли? Нужно ихъ всѣхъ учить. Субъективныя разногласія сообщеніемъ свѣдѣній не устраняются, потому что и порождаются они не различіемъ въ количествѣ знаній, а различіемъ симпатій и антипатій, различіемъ общественныхъ положеній, препятствующимъ людямъ представлять себѣ чужія мысли и чувства въ формѣ собственныхъ. Я ссылаюсь опять на кн. Васильчикова и редакцію «Сборника государственныхъ знаній», количество свѣдѣній которыхъ объ эмиграціи одинаково и которые однако препираются. Поэтому одна изъ задачъ соціологіи состоитъ въ опредѣленіи условій, при которыхъ субъективныя разногласія исчезаютъ. Соціологія должна начать съ нѣкоторой утопіи. Я нарочно пишу это слово, которое могъ бы обойти, потому что лучше же я скажу его самъ въ томъ смыслѣ, какъ я его понимаю, чѣмъ дожидаться, чтобы кто-нибудь наклеилъ на мою мысль этотъ ярлыкъ по своему. Всѣ утописты заблуждались, предполагая возможнымъ опредѣлить идеальное общество до мельчайшихъ подробностей, но самая задача—опредѣлить условія, при которыхъ изъ общественной жизни устраняется все, съ точки зрѣнія изслѣдователя нежелательное—самая эта задача вполнѣ научна. Трудности ея ничуть не больше другихъ затрудненій, встрѣчаемыхъ на своемъ пути наукою.

Итакъ, разногласіе субъективныхъ заключеній представляетъ дѣйствительно весьма важное неудобство. Неудобство это однако для соціологіи неизбѣжно, борьба съ нимъ лицомъ къ лицу, въ открытомъ полѣ для науки невозможна. Не въ ея власти сооб-

щить изслѣдователю тѣ или другія соціологическія понятія, такъ какъ они образуются всею его обстановкой. Она можетъ сообщать знанія, но вліять на измѣненіе понятій можетъ только косвенно и вообще говоря въ весьма слабой степени. Роль науки слишкомъ велика и почтенна, чтобы слѣдовало бояться указывать предѣлы ея компетенціи. Наука не властна надъ моимъ желудкомъ, не властна и надъ моей совѣстью. Если совѣсть моя не возмущается порядкомъ вещей, который обезпечиваетъ мнѣ праздную жизнь и побуждаетъ вести жизнь развратную, то, что бы ни говорила наука о праздной и развратной жизни, мои соціологическія понятія не измѣнятся. Пусть г. Южаковъ, сколько ему угодно, доказываетъ, что они не суть истинныя начала общественности, я буду признавать истинными только существующія начала. Но изъ этого не слѣдуетъ, что наука должна сидѣть сложа руки и отложить всякія попеченія объ устраненіи или хоть облегченіи такого важнаго неудобства, какъ разногласіе понятій о нравственномъ и безнравственномъ, справедливомъ и несправедливомъ, вообще желательномъ и нежелательномъ. Она должна сдѣлать въ этомъ направленіи то, что можетъ сдѣлать. А можетъ она вотъ что: признавъ желательнымъ устраненіе субъективныхъ разногласій, опредѣлить условія, при которыхъ оно можетъ произойти. Это изслѣдованіе обнимаетъ, конечно, и исторію возникновенія и развитія субъективныхъ разногласій, причемъ будетъ опираться и на данныя объективной науки—данныя низшихъ наукъ и факты историческіе и статистическіе. Но въ основѣ изслѣдованія будетъ лежать субъективное начало желательности и нежелательности, субъективное начало потребности. Замѣтимъ, что устраненіе субъективныхъ затрудненій само по себѣ не есть что-либо истинное, но не есть и что-либо ложное. Оно желательно само по себѣ, удовлетворяя потребности, отличной отъ потребности познанія, и прямыхъ связей съ категоріями истиннаго и ложнаго не имѣетъ, хотя и находится въ соотвѣтствіи съ рядомъ извѣстныхъ истинъ. Такова одна изъ задачъ соціологіи. Но вмѣстѣ съ тѣмъ это задача типическая. Таковы всѣ общія задачи соціологіи. Признавъ нѣчто желательнымъ или нежелательнымъ, соціологъ долженъ найти условія осуществленія этого желательнаго или устраненія нежелательнаго. Само собою разумѣется, что ничто кромѣ неискренности или слабости мысли не помѣшаетъ ему придти къ заключенію, что такія или такія-то желанія не могутъ осуществиться вовсе, другія могутъ осуществиться только отчасти. Задачи соціологіи такимъ образомъ существенно отличаются отъ наукъ естественныхъ, въ которыхъ субъективное начало желательности остается на самомъ порогѣ изслѣдованія, потребность познанія субъективна, какъ и всѣ потребности. Выборъ предмета изслѣдованія, выборъ предмета, на который устремляется жажда познанія натуралиста, всецѣло зависитъ отъ личныхъ качествъ изслѣдователя. Одинъ желаетъ изучать движеніе планетъ, другой желаетъ перечислять виды клоповъ и проч. Но когда изслѣдованіе начато, натуралистъ не вводитъ въ него, по крайней мѣрѣ, не долженъ вводить элементъ субъективный. Онъ можетъ сказать: я желаю перечислять виды клоповъ, но не можетъ сказать: я желаю, чтобы видовъ клоповъ было столько-то. Соціологъ, напротивъ, долженъ прямо сказать: желаю познавать отношенія, существующія между обществомъ и его членами, но кромѣ познанія я желаю еще осуществленія такихъ-то и такихъ-то моихъ идеаловъ, посильное оправданіе которыхъ при семъ прилагаю. Собственно говоря, самая природа соціологическихъ изслѣдованій такова, что они и не могутъ производиться отличнымъ отъ указаннаго путемъ. Дѣло только въ томъ, что въ настоящее время для большей части соціологовъ неясенъ весь процессъ ихъ собственныхъ изслѣдованій. Нѣкоторые моменты этого процесса остаются, такъ сказать, въ скрытомъ состояніи, что не мѣшаетъ имъ однако вліять на ходъ изслѣдованія. Все равно, какъ рѣка, которая течетъ иногда на нѣкоторомъ протяженіи подъ землей: ея на этомъ пространствѣ не видно, но тамъ и рыбы плаваютъ, и берега заносятся или отмываются, вообще, происходятъ тѣ же явленія, что и въ поверхностной части русла. Конечно, не всегда процессъ изслѣдованія неясенъ самому соціологу: иногда нѣкоторые моменты процесса имъ по недобросовѣстности мысли просто скрываются. Тутъ ужъ ничего не подѣлаешь, тутъ наука опять безсильна для прямой борьбы; но она можетъ и должна открыть, что именно скрадено въ данномъ изслѣдованіи, каковы желанія, которыя не посмѣлъ или не сумѣлъ выразить соціологъ и которыя однако оставили свои слѣды въ его работѣ. Само собою разумѣется, что если скрадены не только нѣкоторые моменты внутренняго процесса изслѣдованія, а и факты, то они должны быть тоже возстановлены. Благодаря подобнымъ скрадываніямъ и не систематическому, а случайному и тайному примѣненію субъективнаго метода, большинство соціологовъ выражаетъ программу своей науки совсѣмъ не такъ, какъ мы сейчасъ объ ней говорили. Такова, напри-

мѣръ, программа Спенсера, приведенная мною въ прошлый разъ. Существенная задача соціологіи, какъ мы ее опредѣлили, состоитъ въ выясненіи общественныхъ условій, при которыхъ та или другая потребность человѣческой природы получаетъ удовлетвореніе. Спенсеръ понимаетъ дѣло наоборотъ. Онъ полагаетъ, что соціологія должна показать, какія измѣненія должны произойти въ людяхъ для того, чтобы общество прогрессировало. Это—совершенно обратная задача. Оно не такъ замѣтно на общей формулѣ, но мы видѣли, что въ переводѣ на конкретный примѣръ задача Спенсера выражается такъ: до какой степени долженъ обнищать мекленбургскій крестьянинъ (т. е. до какой степени у него должна быть отнята возможность удовлетворять своимъ потребностямъ) для того, чтобы мекленбургская цивилизація процвѣтала?

Такъ ищутся «истинныя начала общественности»...

VI.

Борьба за индивидуальность.

Признаюсь, то презрительно-сожалительное «экъ вы! объ истинѣ!» съ котораго я началъ свою бесѣду, не выходитъ у меня изъ головы. Ради него именно я начинаю новую главу. Я разсчитываю на то, что иной читатель, соскучившійся на предыдущихъ страницахъ, заинтересуется перерывомъ: можетъ быть, дескать, теперь пойдетъ «повеселѣе». Да простится мнѣ эта невинная хитрость. Я не принадлежу къ числу тѣхъ величественныхъ олимпійцевъ, которые говорятъ, что имъ все равно—читаютъ ихъ или нѣтъ; признаться, я имъ даже немножко не вѣрю, и во всякомъ случаѣ мнѣ это не все равно: я очень хочу, чтобы меня читали, хотя и приходится иногда говорить о «скучныхъ вещахъ». Впрочемъ, читатель, завлеченный моей невинной хитростью, можетъ быть, и не ошибется: послѣдующее будетъ, кажется, «повеселѣе».

Что такое совершенствованіе? Вопросъ, не смотря на свою краткость, представляется до такой степени неопредѣленнымъ, что отвѣтить на него нѣтъ, повидимому, никакой возможности. И ради этой то неопредѣленности многіе ученые люди боятся даже упоминанія о совершенствѣ. Боязнь эта однако совсѣмъ неосновательна. Въ поставленномъ вопросѣ недостаетъ только дополненія, и разъ вы спросите: что такое совершенствованіе биліардной игры или что такое совершенствованіе организаціи или иного какого-нибудь явленія, вопросъ не представитъ трудностей, рѣзко отличныхъ отъ другихъ затрудненій, представляющихся человѣческому уму. Во всякомъ случаѣ, слова: совершенство, совершенствованіе, совершенный и проч. до такой степени укрѣпились въ обиходѣ нашей рѣчи, что необходимо придать имъ какое-нибудь опредѣленное значеніе во избѣжаніе путаницы, двусмысленностей и взаимнаго непониманія. Такъ и дѣлаютъ ученые люди, но боязнь слова все-таки мѣшаетъ имъ и заставляетъ ихъ, если позволено будетъ такъ выразиться, вилять. Напримѣръ, г. Южаковъ въ своемъ третьемъ соціологическомъ этюдѣ говоритъ: «Совершенствованіе—*понятіе относительное, если подъ нимъ не разумѣть приспособленія,* а если его понимать такимъ образомъ, то придется сознаться, что совершенствованіе можетъ идти не только безконечно различными, но даже и прямо противоположными путями» («Знаніе» 1873, № 3, 41). Я называю это виляніемъ (я не хочу сказать грубое слово, но мнѣ не приходитъ на умъ другого). Зачѣмъ г. Южакову вдругъ понадобилось понятіе *не*относительное, т. е. абсолютное? Наука покончила съ абсолютами, и г. Южаковъ вообще къ нимъ пристрастія не имѣетъ. Это видно и изъ приведенныхъ его словъ. Совершенствованіе, какъ приспособленіе, есть тоже понятіе относительное, потому что допускаетъ разницу степеней и различіе путей совершенствованія. Но виляніе на этомъ не останавливается. На стр. 71 того же этюда, приведя мнѣніе Спенсера, что промышленное усовершенствованіе требуетъ *высшей* формы человѣчества для своего приведенія въ дѣйствіе, г. Южаковъ замѣчаетъ: «Если съ одной стороны это вѣрно, то съ другой, разумѣется, нѣтъ. Если управляющій промышленнымъ предпріятіемъ долженъ обладать большимъ знаніемъ и умомъ (хотя, быть, можетъ и просто большимъ знаніемъ), то отъ большинства рабочихъ предпріятія съ усовершенствованіемъ производства большею частію требуется даже меньше умственной самодѣятельности. Автоматичность фабричной работы вошла въ поговорку». Это опять-таки виляніе. Почему бы не сказать, что степень автоматичности рабочаго и есть именно степень его совершенства? Отсутствіе умственной самодѣятельности есть въ рабочемъ результатъ его приспособленія къ условіямъ усовершенствованнаго производства, а «совершенствованіе есть понятіе относительное, если подъ нимъ не разумѣть приспособленія; если же его понимать такимъ образомъ, то придется сознаться, что совершенствованіе можетъ идти не только безконечно различными, а и прямо противоположными путями». Нѣкоторыя домашнія животныя, между прочимъ, тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ они жир-

нѣе и глупѣе: это—результаты приспособленія. Точно также рабочій можетъ быть признанъ тѣмъ болѣе совершеннымъ, чѣмъ онъ автоматичнѣе: это — тоже результатъ приспособленія. Весьма многіе публицисты и экономисты именно на этомъ основаніи требуютъ, чтобы рабочимъ образованіе было даваемо только въ той ограниченной степени, какая допускаетъ возможность ихъ приспособленія къ условіямъ жизни фабричнаго рабочаго или прислуги. И должно сознаться, что эти экономисты и публицисты логически совершенно правы. Дѣйствительно, высокообразованный рабочій или лакей необходимо нарушатъ гармонію существующихъ порядковъ: они не въ состояніи будутъ приспособиться къ условіямъ современной фабричной жизни или къ условіямъ положенія прислуги, т. е. будутъ весьма несовершенными рабочими или лакеями. Если г. Южаковъ скажетъ, что они совершенствуются въ своемъ человѣческомъ достоинствѣ, то я спрошу, гдѣ у него основаніе для такого заключенія? Эти люди не приспособились—и конецъ, потому что «совершенство—понятіе относительно, если» и т. д.

Біологи и соціологи, будучи самимъ языкомъ человѣческимъ вынуждены дать какое-нибудь опредѣленное значеніе словамъ: совершенство, совершенствованіе и т. п., выработали два мѣрила, которыя однако весьма часто сталкиваются враждебно. Одно мѣрило, выработанное трудами Бэра, Мильнъ-Эдвардса и другихъ, таково: живыя существа совершенствуются, переходя отъ простого къ сложному, дифференцируясь, раздробляясь на несходныя части. Критеріемъ совершенства живыхъ существъ признается здѣсь степень разнородности ихъ частей и степень раздѣленія между этими частями труда. Такъ взрослое животное совершеннѣе своего зародыша, потому что организація его сложнѣе, оно состоитъ изъ большаго числа и болѣе разнородныхъ частей, трудъ жизни распредѣленъ въ немъ по большему числу органовъ. По той же причинѣ млекопитающія совершеннѣе рыбъ, человѣкъ совершеннѣе собаки. Этотъ критерій стоитъ очень прочно въ наукѣ. Онъ признается и Дарвиномъ, который однако наиболѣе способствовалъ установленію другого мѣрила совершенства. Дарвинисты признаютъ, что живыя существа тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ болѣе они приспособлены къ условіямъ своего существованія. Въ первомъ критеріи принята въ соображеніе, такъ сказать, широта жизни, количество и разнообразіе силъ и способностей организма, количество и разнообразіе тѣхъ отношеній къ окружающему міру, въ которыя организмъ способенъ вступать. Критерій приспособленія имѣетъ въ виду главнымъ образомъ экономію жизни. Приспособляясь, живое существо утрачиваетъ ненужные ему по условіямъ жизни органы и отправленія и тѣмъ съ большимъ успѣхомъ сосредоточиваетъ свои силы на выработкѣ органовъ и отправленій нужныхъ. Этимъ достигается полное равновѣсіе между организмомъ и окружающимъ міромъ. Дарвинъ выяснилъ процессъ приспособленія и выгоды, находящіяся въ борьбѣ за существованіе на сторонѣ приспособленныхъ. Онъ не отрицалъ при этомъ прямо критерія совершенства, установленнаго Бэромъ, онъ даже на него часто ссылается. Тѣмъ не менѣе однако, мѣрило сложности и мѣрило приспособленія далеко не всегда совпадаютъ. Напримѣръ, для нѣкоторыхъ паразитовъ органы зрѣнія и движенія составляютъ совершенно лишнее бремя. Приспособляясь, паразиты утрачиваютъ эти ненужные органы и соотвѣтственныя отправленія; въ борьбѣ за существованіе болѣе приспособленные, болѣе слѣпые и неподвижные одерживаютъ побѣду, такъ какъ силы ихъ тѣмъ удобнѣе сосредоточиваются на нужныхъ по условіямъ жизни функціяхъ. Съ точки зрѣнія приспособленія это будетъ совершенствованіе, прогрессъ; съ точки зрѣнія сложности и разнородности функцій, это будетъ, напротивъ, регрессъ, удаленіе отъ идеала совершенства. Подобныхъ случаевъ картина органическаго міра представляетъ много, и тѣмъ не менѣе ученые люди не особенно стараются внести въ нихъ какой-нибудь свѣтъ и почти всѣ болѣе или менѣе виляютъ. А между тѣмъ, для насъ, профановъ, столкновеніе обоихъ критеріевъ совершенства интересно во многихъ отношеніяхъ. Мы не боимся словъ и хотя знаемъ, что совершенство есть понятіе относительное, но все-таки желали бы имѣть для своего обихода опредѣленную путеводную нить. Пусть конецъ этой нити теряется въ дали вѣковъ и во мракѣ неизвѣстности, но все-таки мы желали бы знать: приспособляться намъ или усложняться нужно, чтобы стоять на *пути* къ совершенству.

Тѣмъ пріятнѣе мнѣ привести здѣсь воззрѣнія на этотъ предметъ одного изъ знаменитѣйшихъ современныхъ ученыхъ—Геккеля. Этотъ ученый настаиваетъ на необходимости особаго ученія объ индивидуальности, которое называетъ тектологіей. Индивидуальность есть для него понятіе относительное, допускающее градацію. Онъ принимаетъ шесть ступеней индивидуальности, взаимныя отношенія которыхъ опредѣляетъ слѣдующими «тектологическими тезисами».

Пластиды (клѣточки и цитоды) тѣмъ совершеннѣе, *чѣмъ больше число входящихъ въ ихъ составъ молекулъ, чѣмъ молекулы зависимѣе другъ отъ друга и отъ цѣлой*

пластиды и тѣмъ, наконецъ, сама пластида централизованнѣе и независимѣе отъ высшей индивидуальности. Органъ тѣмъ совершеннѣе, *чѣмъ больше число составляющихъ его пластидъ, чѣмъ эти составныя части зависимѣе другъ отъ друга и отъ цѣлаго органа и чѣмъ болѣе централизованъ и независимъ отъ высшей индивидуальности самъ органъ.* Пропуская двѣ среднія ступени—антимеры и метамеры, переходимъ къ личностямъ, организмамъ или недѣлимымъ въ тѣсномъ смыслѣ слова. Организмы тѣмъ совершеннѣе, *чѣмъ разнороднѣе ихъ органологическое и гистологическое строеніе, чѣмъ разнообразнѣе функціи ихъ составныхъ частей, чѣмъ эти части зависимѣе другъ отъ друга и отъ всего цѣлаго и чѣмъ самъ организмъ централизованнѣе и независимѣе отъ высшей индивидуальности—колоніи.* Колоніи или общества тѣмъ совершеннѣе, *чѣмъ разнороднѣе составляющіе ихъ организмы, органы и ткани, чѣмъ зависимѣе пластиды, органы, антимеры, метамеры и личности между собой и отъ всей колоніи и чѣмъ централизованнѣе сама колонія.* (Generelle Morphologie der Organismen, I, 372).

Геккель, къ сожалѣнію, только бросилъ свою идею тектологіи, не давъ ей надлежащаго развитія. Я попробую выяснить ея значеніе. Наглядно взаимныя отношенія различныхъ ступеней индивидуальности можно бы было выразить системою концентрическихъ круговъ, изъ которыхъ каждый обнимаетъ, поглощаетъ собою сосѣдній кругъ съ меньшимъ радіусомъ и самъ въ свою очередь обнимается, поглощается сосѣднимъ кругомъ съ большимъ радіусомъ. Всѣ эти круговыя линіи различны, потому что описаны различными радіусами, но вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ сходны, потому что описаны изъ одного центра, и взаимныя отношенія ихъ покоятся на различіи радіусовъ при общности центра; а будемъ ли мы при этомъ сравнивать два сосѣдніе круга, дальше или ближе отстоящіе отъ центра, это само по себѣ безразлично. Эта стройная и величественная картина, обнимающая взаимныя отношенія всѣхъ живыхъ аггрегатовъ отъ послѣдней цитоды до цивилизованнаго общества включительно, по своей простотѣ и логическому изяществу достойна стоять рядомъ съ обобщеніемъ Дарвина. Она его по истинѣ дополняетъ. Она представляетъ тоже своего рода безпощадную борьбу за существованіе. Вездѣ, на всемъ обширномъ полѣ жизни, рядомъ съ борьбой за преобладаніе того или другого вида и того или другого организма, недѣлимаго въ тѣсномъ смыслѣ слова, идетъ борьба между различными ступенями индивидуальности. Она началась съ возникновеніемъ органическаго міра (имѣя, конечно, свои корни въ мірѣ неорганическомъ) и можетъ окончиться только съ прекращеніемъ жизни на землѣ.

Взглянемъ на нѣсколько эпизодовъ этой вѣковѣчной борьбы. Возьмите гидру и выверните ее, какъ перчатку, на изнанку: она будетъ жить; разрѣжьте ее на куски, каждый отрѣзокъ будетъ жить, какъ цѣлая гидра. Что это значитъ? Это значитъ, что гидра слишкомъ несовершенна, чтобы поглотить жизнь составляющихъ ее частей, подчинить ихъ своей зависимости. Внутренняя и внѣшняя поверхность тѣла гидры ничѣмъ не отличаются и всегда могутъ замѣнить другъ друга. У нея есть только нервно мускульная система, но нѣтъ обособленныхъ нервовъ и мускуловъ. Если гидра когда нибудь поднимется на высшую ступень развитія, усовершенствуется, то это усовершенствованіе только въ томъ и будетъ состоять, что части гидры подчинятся цѣлому. Внѣшняя и внутренняя поверхности обособятся, приспособятся къ опредѣленнымъ функціямъ, нераздѣльная нервно-мускульная система раздробится, все органологическое и гистологическое строеніе гидры станетъ болѣе разнороднымъ. Это усовершенствованіе цѣлой гидры можетъ быть куплено только цѣною независимости и самостоятельности ея частей. Тогда отрѣзки гидры уже не въ состояніи будутъ вести самостоятельную жизнь: они будутъ мертвыми частями. Цѣлое побѣдитъ свои составныя части въ великой борьбѣ ступеней индивидуальности. Конечно, это борьба только въ метафорическомъ смыслѣ, но вѣдь и Дарвинова борьба за существованіе въ большей части случаевъ только метафора.—Существуетъ головоногое, которому удалось закрѣпостить, подчинить себѣ всѣ части, за исключеніемъ одной—щупальца, которое можетъ отдѣляться отъ своего цѣлаго, вести самостоятельную жизнь и даже размножаться. Централизаціонная сила головоногаго оказывается недостаточною въ борьбѣ съ этимъ мятежнымъ органомъ, извѣстнымъ натуралистамъ подъ своимъ собственнымъ самостоятельнымъ именемъ Hectocotylus. Онъ самъ способенъ занять мѣсто на той же ступени индивидуальности, на которой стоитъ все головоногое, и потому не подчиняется ему. Усовершенствованіе головоногаго будетъ состоять между прочимъ въ подчиненіи отщепенца; усовершенствованіе же Hectocotylus—въ дальнѣйшей независимости, для чего ему потребуется въ свою очередь подчинить себѣ всѣ свои части и распредѣлить между ними весь трудъ, необходимый для самостоятельной жизни. Борьба можетъ имѣть и тотъ, и другой исходъ. Въ высшихъ животныхъ эта борьба окончилась

побѣдой цѣлаго организма: ни ноги, ни легкія, ни голова, ни печень млекопитающаго или птицы неспособны къ самостоятельной жизни; они закрѣпощены цѣлому, обречены ему на пожизненное служеніе. Тѣмъ справедливѣе это относительно низшихъ ступеней индивидуальности, входящихъ въ составъ организма. Клѣточки низшихъ формъ органической жизни всегда могутъ дать начало новой цѣльной жизни, потому что содержатъ въ себѣ всю сумму свойствъ, для жизни необходимыхъ. Искусственно раздражая тѣло гидры, вы можете вызвать почкованіе и на такихъ мѣстахъ, гдѣ оно обыкновенно не происходитъ—такъ мало разнятся между собой клѣточки гидры и такъ онѣ еще индивидуальны, что чуть не каждая можетъ развиться въ цѣлый организмъ. Въ высшихъ животныхъ это уже невозможно. Тамъ только ничтожная доля клѣточекъ способна развиться въ самостоятельнаго представителя жизни и, слѣдовательно, не приспособилась къ тѣмъ или другимъ спеціальнымъ формамъ службы цѣлому. Но и эта доля способна только повторить развитіе своего цѣлаго и не можетъ, какъ Hectocotylus, образовать новый, совершенно непохожій на свою метрополію организмъ.—Это были эпизоды борьбы организма съ низшими ступенями индивидуальности. Но организму приходится бороться и съ высшею, надъ нимъ лежащею ступенью—съ обществомъ или колоніей, какъ говорятъ натуралисты, разумѣя подъ этимъ словомъ общества низшихъ организмовъ. Антагонизмъ цѣлаго и частей даетъ себя знать и здѣсь: и между этими ступенями индивидуальности идетъ съ перемѣннымъ счастьемъ постоянная борьба. Вотъ странное животное, давно привлекшее вниманіе ученыхъ людей своимъ удивительнымъ строеніемъ. Это—сифонофора,—колонія, общество медузъ и полиповъ, до такой степени диффференцированныхъ и закрѣпощенныхъ обществу, что каждый изъ нихъ превратился въ двигательный, или осязательный, или половой органъ цѣлаго, хотя эти спеціальные аппараты и могутъ еще иногда отдѣляться и вести самостоятельную жизнь. Эти полуорганы, полунедѣлимые образовались путемъ почкованія, но централизаціонная сила сифонофоры не дала имъ возможности образовать изъ себя группу вполнѣ равныхъ и самостоятельныхъ организмовъ; она искалѣчила ихъ сообразно нуждамъ цѣлаго, отняла у нихъ полную жизнь и раздала ее имъ по частямъ. А вотъ рядомъ колонія сальпъ, тоже продуктъ почкованія, но здѣсь борьба имѣла исходъ болѣе благопріятный для организмовъ и менѣе благопріятный для общества: организмы не изуродованы. Чѣмъ сильнѣе успѣютъ развиться отдѣльные полипы и медузы, тѣмъ меньше вѣроятности для существованія сифонофоры; еслибы этимъ полуорганамъ удалось усовершенствоваться до ступени полнаго организма, сифонофора исчезла бы съ лица земли. Обратно, чѣмъ сильнѣе жизненный процессъ цѣлой сифонофоры, чѣмъ она совершеннѣе, тѣмъ несовершеннѣе ея части.—Пойдемъ въ муравейникъ. Это—весьма высоко развитое общество. Я ужъ не говорю о томъ, что въ немъ есть истинныя политическія учрежденія, каковы республиканскій образъ правленія и рабство, что муравейникъ занимается хлѣбопашествомъ, скотоводствомъ, сооруженіемъ сложныхъ зданій, собираніемъ обширныхъ запасовъ питательнаго и строительнаго матеріаловъ и проч. Придерживаясь только тектологическихъ тезисовъ Геккеля, я убѣждаюсь, что муравейникъ есть общество, высоко стоящее на лѣстницѣ совершенства. По Геккелю отношенія между обществомъ и составляющими его организмами выражаются такъ: общество тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ 1) разнороднѣе организмы, чѣмъ 2) организмы зависимѣе между собою и отъ всего общества и чѣмъ 3) централизованнѣе само общество. Муравейникъ въ весьма высокой степени удовлетворяетъ этимъ требованіямъ совершенства. Муравьи, изъ которыхъ сложилось общество, очень разнородны: у нѣкоторыхъ видовъ разнородность доходитъ до существованія пяти кастъ, рѣзко отличающихся и по наружности, и по занятіямъ, и по способностямъ. Зависимость между этими кастами очень велика, такъ какъ тутъ есть безполые рабочіе, неспособные размножаться, есть плодовитые самцы и самки, иногда неспособные не только работать, а даже брать пищу въ ротъ и переходить съ мѣста на мѣсто: ихъ кормятъ и переносятъ рабы. Извѣстенъ опытъ Губера, отдѣлившаго плодовитыхъ самцовъ и самокъ одного рабовладѣльческаго вида: не смотря на обиліе пищи, они начали ужъ дохнуть съ голоду, и только впущенный къ нимъ Губеромъ рабъ помѣшалъ имъ всѣмъ погибнуть. Такъ что разнородность и зависимость—налицо. Централизація полнѣйшая, потому что отдѣльные муравьи никакихъ личныхъ желаній не имѣютъ и никакихъ личныхъ цѣлей не преслѣдуютъ. Исторія муравьиныхъ обществъ намъ неизвѣстна, но, можетъ быть, многіе и многіе вѣка прошли прежде, чѣмъ сложилось теперешнее стройное, строго прилаженное муравьиное общество. Это были вѣка борьбы двухъ ступеней индивидуальности, борьбы, окончившейся побѣдой общества надъ организмомъ.

Стоило бы сходить еще въ пчелиный улей: но мы пойдемъ лучше прямо къ людямъ. Беру мудрыя книги мудраго Платона: «Рес-

публика» и «Законы». Многое бы можно было оттуда позаимствовать пригоднаго для насъ, но я сдѣлаю только одно заимствованіе. Въ кн. III «Республики» Сократъ доказываетъ собесѣдникамъ, что есть три рода разсказовъ: одинъ сполна ведется отъ лица самого разсказчика, какъ въ диѳирамбахъ, другой сполна подражательный, какъ въ трагедіяхъ и комедіяхъ, третій—смѣшанный, какъ въ эпопеяхъ. Рѣчь собственно идетъ о воспитаніи воиновъ, и имъ рекомендуется заниматься своимъ воинскимъ дѣломъ, по возможности избѣгая подражаній кому бы то ни было изъ невоиновъ. Если ужъ они будутъ подражать, такъ пускай подражаютъ положеніямъ, соотвѣтствующимъ ихъ воинской природѣ, пусть въ разсказѣ подражаютъ храбрымъ, умѣреннымъ, великодушнымъ людямъ. Затѣмъ идетъ довольно забавный списокъ, кому и чему воинъ не долженъ подражать: женщинамъ, рабамъ, злымъ и подлымъ людямъ, сумасшедшимъ, кузнецамъ, гребцамъ, вообще рабочимъ, ржанію лошадей, мычанію быковъ, шуму рѣкъ, моря, грома. Если же, продолжаетъ Сократъ, среди насъ явится человѣкъ, «особенно искусный въ подражаніи и способный принимать множество различныхъ формъ», то мы его примемъ, какъ великаго, божественнаго человѣка, украсимъ его вѣнками и обольемъ благовоніями, но скажемъ ему, что республика наша создана не для подобныхъ ему людей: мы удовольствуемся менѣе великими, но болѣе полезными поэтами и разсказчиками, которые будутъ строго слѣдовать установленнымъ нами правиламъ о несовмѣстности нѣсколькихъ занятій въ одномъ лицѣ. Въ VIII книгѣ «Законовъ» Сократъ рекомендуетъ всѣмъ заниматься только своей профессіей; чтобы воинъ воевалъ, работникъ работалъ, мыслитель мыслилъ и, въ частности, чтобы сапожникъ шилъ именно сапоги и т. п. Сократъ грозитъ за нарушеніе этого правила очень строгими наказаніями—штрафами, тюрьмой, изгнаніемъ, дабы нарушитель зналъ, что онъ «долженъ быть однимъ человѣкомъ, а не многими».

Я не сумѣю представить читателю лучшее, болѣе яркое и наглядное изображеніе фатальной, на скрижаляхъ законовъ природы записанной, вѣковѣчной борьбы общества съ личностью. Устами Платона говоритъ само общество. Оно инстинктивно чувствуетъ, что актеръ, рапсодъ или поэтъ, способный принимать «множество различныхъ формъ», великъ, что онъ—совершенство. Но это совершенство мѣшаетъ совершенствованію общества, потому что онъ слишкомъ широкъ, глубокъ, великъ; онъ не сумѣетъ, хотя бы и хотѣлъ, да и не захочетъ подчиниться «установленнымъ нами правиламъ». Это—своего рода Hectocotylus. И великаго человѣка выпроваживаютъ, обливъ его благоуханіями и увѣнчавъ цвѣтами. Послѣднее, конечно, потому только, что дѣло идетъ о поэтѣ, рапсодѣ или актерѣ. Съ другими Платонъ поступилъ бы иначе, другимъ онъ и рекомендуетъ штрафы, тюрьму и изгнаніе,—

Die wenigen, die was davon erkannt,
Die thöricht g'nug ihr vollees Herz nicht wahrten,
Dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten,
Hat man von je gekreuzigt und verbannt...

Какъ и всякое цѣлое, общество тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ однороднѣе, проще, зависимѣе его части, его члены. Вотъ почему Платонъ, стоя на точкѣ зрѣнія всепоглощающаго греческаго государства, совершенно послѣдовательно требовалъ подъ угрозой наказанія, чтобы мыслитель только мыслилъ, сапожникъ только шилъ сапоги, воинъ только воевалъ и т. д. Въ самомъ дѣлѣ, если-бы сапожникъ, кромѣ сапоговъ, а воинъ, кромѣ оружія стали бы еще заниматься мышленіемъ; еслибы, съ другой стороны, мыслитель, не оставляя мышленія, принялся шить сапоги—они стали бы совершеннѣе, т. е. каждый изъ нихъ сталъ бы разнороднѣе и независимѣе отъ другихъ членовъ и отъ цѣлаго общества. А изъ тектологическихъ тезисовъ Геккеля слѣдуетъ, что совершенствованіе общества можетъ быть куплено только цѣною извѣстной степени паденія его членовъ. Да и безъ тезисовъ Геккеля очевидно, что воинъ, просвѣтленный мыслью, могъ иногда задуматься совсѣмъ не въ интересахъ общества и отказаться воевать въ такую минуту, когда обществу это нужно. Тоже и съ сапожникомъ, и съ мыслителемъ. Въ гидрѣ нѣтъ обособленныхъ мускуловъ и нервовъ, а есть мускуло-нервы; въ высшихъ животныхъ борьба между различными ступенями индивидуальности приводитъ къ обособленію мускуловъ и нервовъ, къ раздѣльному ихъ существованію. Точно также въ низшихъ, несовершенныхъ обществахъ, централизаціонная сила которыхъ слаба, сапожникъ-мыслитель возможенъ. Совершенствованіе общества раздробляетъ эти функціи, ставитъ сапожника отдѣльно отъ мыслителя и въ этомъ именно раздробленіи почерпаетъ свою силу. Высадите мыслителя-сапожника на необитаемый островъ, и онъ будетъ жить, какъ живетъ отрѣзокъ гидры, потому что онъ привыкъ и къ умственному и къ физическому труду; высшая индивидуальность, общество, не побѣдило еще его окончательно. Высадите на необитаемый островъ только мыслителя или сапожника, и имъ будетъ жить очень трудно. Можетъ быть, даже они не справятся съ своимъ положеніемъ и погибнутъ, какъ погибаютъ нога или печень высшаго животнаго, потому

что онѣ закрѣпощены нѣкоторому высшему цѣлому и къ самостоятельной жизни неспособны.

Безъ сомнѣнія, человѣкъ есть существо настолько сложное и разнородное или совершенное, что не можетъ уже войти въ составъ не только такихъ совершенныхъ обществъ, какъ сифонофора, но даже и такихъ, какъ муравейникъ. Онъ не можетъ быть въ такой степени поглощенъ обществомъ; борьба чаще кончается въ его пользу. Но все-таки тутъ дѣло только въ градаціи. Я попробую представить ее въ такомъ видѣ. Нѣкоторые изъ составляющихъ сифонофору полиповъ и медузъ суть просто половые органы, всѣ остальные безполы. Это—высшая изъ одержанныхъ обществомъ надъ организмомъ побѣдъ. Въ пчелиномъ роѣ есть трутни, которые хотя и составляютъ, собственно говоря, въ совокупности половой органъ общества и ради этого отправленія только и терпятся, но все-таки самостоятельно ѣдятъ, летаютъ. Существуютъ и безполыя рабочія пчелы. Это—меньшая степень побѣды общества: превратить однихъ пчелъ въ простые органы труда, а другихъ въ простые органы размноженія рою не удалось, но искалѣченіе все-таки весьма сильно. Наконецъ въ человѣческомъ обществѣ безполый рабочій возможенъ только въ идеѣ—въ теоріи мальтузіанцевъ. Поэтому человѣческое общество никогда не достигнетъ степени совершенства сифонофоры, но его борьба съ личностью никогда не кончится, причемъ шансы борьбы будутъ клониться, то въ ту, то въ другую сторону.

Такъ идутъ дѣла на землѣ. Вотъ теорія, обнимающая единымъ принципомъ весь міръ и минующая даже тѣнь пристрастія къ личности человѣка: онъ только—одинъ кругъ изъ цѣлой системы концентрическихъ круговъ. Можно бы было дополнить картину размышленіями о концентричности различныхъ ступеней общественности: объ томъ, какъ семья, совершенствуясь, искажаетъ личности; какъ родъ, совершенствуясь, искажаетъ не только личность, а и семью; какъ племя, совершенствуясь, искажаетъ и личность, и семью, и родъ, и т. д., и т. д. Но читатель можетъ безъ труда самъ сдѣлать эти выводы изъ моей теоріи, а мнѣ, признаюсь, она уже надоѣла и хочется сказать: nicht! Въ нѣмецкихъ книгахъ часто встрѣчаются длинные, длинные періоды, повидимому, нѣчто утверждающіе; и только въ концѣ періода читатель находитъ частицу nicht, которая заставляетъ все прочитанное «понимать наоборотъ», въ отрицательномъ смыслѣ. Теорія, выведенная мною изъ тектологическихъ тезисовъ Геккеля, должна быть тоже закончена частицей nicht. Впрочемъ въ общемъ я все-таки считаю ее вѣрною и не могу простить ей только одного, именно того, что она признаетъ наиболѣе совершеннымъ то общество, которое наиболѣе уродуетъ своихъ членовъ. Это можетъ показаться непослѣдовательнымъ, нелогичнымъ съ моей стороны; если во всемъ мірѣ царитъ формула: цѣлое тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ несовершеннѣе его части, а части тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ несовершеннѣе цѣлое; если во всемъ мірѣ царитъ этотъ фатальный антагонизмъ, то съ какой стати выдѣлять изъ общаго закона человѣка и человѣческое общество? Я имѣю однако свои резоны, которые будутъ приведены ниже. А теперь я желалъ бы знать, какъ отнесутся къ моей теоріи борьбы за индивидуальность чистокровные объективисты и какъ отнесется къ ней г. Южаковъ.

Чистокровные объективисты, каковы Спенсеръ и многочисленные органисты заграничные и нашей отечественной фабрикаціи, весьма близко подходятъ къ изложенной теоріи. Уподобляя общество организму, прогрессъ соціальный--прогрессу органическому, экономическое раздѣленіе труда—физіологическому, людей—органамъ, они именно говорятъ, что общество тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ несовершеннѣе составляющіе его люди. Я думаю однако, что подписать въ такой опредѣленной формѣ итогъ подъ своими якобы научными изслѣдованіями они не посмѣютъ. Постоянно играя словами, они вмѣстѣ съ тѣмъ боятся словъ. До нихъ мнѣ впрочемъ здѣсь нѣтъ дѣла. Г. Южаковъ интереснѣе. Собственно ради него я и написалъ длинный періодъ съ nicht на концѣ. Теоріи органистовъ онъ считаетъ заблужденіемъ. Я съ своей стороны считаю ихъ не только заблужденіемъ, а и позорнѣйшимъ пятномъ на умственной жизни XIX вѣка. Но это не мѣшаетъ мнѣ думать, что доводы его противъ нихъ неудовлетворительны, вѣрнѣе сказать, недостаточны, по той точкѣ зрѣнія, на которой онъ стоитъ. Посмотримъ, что можетъ возразить г. Южаковъ противъ изложенной теоріи борьбы за индивидуальность.

Г. Южаковъ разсуждаетъ въ первомъ изъ своихъ «Соціологическихъ этюдовъ» такимъ образомъ. Общество есть аггрегатъ, т. е. цѣлое состоящее изъ частей. Но это еще ничего не опредѣляетъ, потому что и небесныя тѣла, и клѣточки, и вселенная, и организмы,—все это аггрегаты. Общество есть не вообще только аггрегатъ, а *живой* аггрегатъ, подобно организму. Какъ и организмы «общества постоянно поглощаютъ, ассимилируютъ особей и меньшія общества, которыя встрѣчаютъ; чрезъ посред-

ство размноженія они ассимилируютъ неорганическое вещество и элементарныя силы природы; они этого достигаютъ непосредственно, прямо ассимилируя неорганическое вещество и силы въ видѣ средствъ и орудій; они такимъ образомъ возобновляются, растутъ, приспособляются. Общественный процессъ, слѣдовательно, является не только процессомъ интеграціи и дисинтеграціи, подобно всѣмъ процессамъ природы, но также процессомъ постояннаго обмѣна вещества и силы и постояннаго приспособленія внутреннихъ и внѣшнихъ отношеній, подобно всѣмъ *жизненнымъ* процессамъ». Кромѣ того общества, какъ и организмы, суть аггрегаты сложные, т. е. слагающіеся не прямо изъ молекулъ. Простыхъ организмовъ, слагающихся непосредственно изъ гипотетическихъ «физіологическихъ единицъ» Спенсера или изъ «зачатковъ» Дарвина, въ природѣ весьма мало. Большинство организмовъ представляетъ собою результаты интеграціи, слитія другихъ организмовъ, менѣе сложныхъ. Процессъ этой интеграціи таковъ. Какіе-нибудь простые организмы размножаются, вслѣдствіе чего образуется группа ихъ, общество организмовъ, имѣющихъ между собою нѣкоторую связь. Затѣмъ вслѣдствіе различія во вліяніи внѣшнихъ силъ на различныя части группы, одни изъ нихъ развиваютъ преимущественно такія-то отправленія, другія—преимущественно такія-то. Это процессъ дифференцированія, но вмѣстѣ съ тѣмъ идетъ впередъ и интеграція: гомологическія, сходныя, однородныя части срастаются. Образовавшіяся этимъ срощеніемъ части еще болѣе спеціализируютъ свои отправленія и т. д., пока организмы не превратятся въ органы, а общество въ недѣлимое, въ организмъ. «Этимъ путемъ интегрированія низшихъ организмовъ, при дифференцированіи ихъ отправленій, и произошли всѣ высшіе организмы. Общественность, какъ неполная интеграція, есть повсюду начало процесса, индивидуальность—его результатъ».

До сихъ поръ г. Южаковъ говоритъ тоже самое, что и Спенсеръ, и другіе органисты, и теорія борьбы за индивидуальность. Спенсеръ, можетъ быть, предпочелъ бы даже меньшую опредѣленность, меньшую рѣзкость постановки вопроса. Въ большей части случаевъ онъ утверждаетъ только что процессы развитія общества и организма сходны, аналогичны и что законы того и другого развитія суммируются въ нѣкоторомъ высшемъ законѣ перехода отъ однороднаго къ разнородному—законѣ, которому равно повинуется все сущее. Впрочемъ, сколько помнится, въ «Основаніяхъ біологіи» развивается именно мысль г. Южакова, что общественность есть начало процесса, завершающагося индивидуальностью, и что общество есть, такимъ образомъ, какъ бы недоразвитый организмъ. Во всякомъ случаѣ оба изслѣдователя признаютъ общество и организмъ живыми аггрегатами, и до сихъ поръ теорія борьбы за индивидуальность только подтверждается. Но далѣе идетъ указаніе различій между органомъ и обществомъ, между индивидуальною и коллективною жизнью. Было бы слишкомъ долго слѣдить за всѣми указаніями г. Южакова, и я разсмотрю только нѣкоторыя, потому что задача моя состоитъ только въ томъ, чтобы показать недостаточность его доводовъ.

Г. Южаковъ говоритъ, что «покамѣсть аггрегатъ представляетъ только общественную интеграцію, всѣ главныя физіологическія функціи отправляются всѣми его составными единицами; онѣ непосредственно питаются, возобновляются, растутъ, размножаются, приспособляются, и т. д.; спеціализація дѣятельности не можетъ распространиться на эти основные жизненные процессы». Въ организмѣ, напротивъ, его составныя части, его органы лишены всей совокупности жизненныхъ отправленій, дифференцированы физіологически и слиты въ одно механическое цѣлое. Рядъ подобныхъ афоризмовъ приводитъ автора къ заключенію, что, «если оставимъ въ сторонѣ низшія формы и остановимся только на высшихъ, напримѣръ, человѣческомъ обществѣ и человѣческомъ организмѣ, то увидимъ бездну между этими двумя формами жизни и должны ихъ признать противоположными по самому направленію жизненнаго процесса при нормальномъ развитіи аггрегатовъ». Здѣсь все, отъ перваго до послѣдняго слова, неосновательно и бездоказательно. Въ этомъ заключеніи я вижу прежде всего звучный ударъ въ пустое пространство. Никто, ни самый нелѣпѣйшій изъ нелѣпологовъ, никогда не говорилъ, что человѣческое общество есть человѣческій организмъ. Эти люди утверждаютъ тезисъ гораздо болѣе общій, именно параллелизмъ общества и организма вообще; съ этой точки зрѣнія человѣческое общество есть не человѣческій, а нѣкоторый совершенно особый организмъ. И нелѣпологи имѣютъ свои резоны, которыхъ г. Южаковъ не опровергъ. Во-вторыхъ, что значитъ «нормальное развитіе аггрегатовъ»? Дѣло идетъ именно объ опредѣленіи нормы развитія различныхъ аггрегатовъ. И если, какъ говоритъ г. Южаковъ, общественность есть повсюду начало процесса, завершающагося индивидуальностью, организаціей, а тѣмъ паче, если такимъ именно путемъ произошли всѣ высшіе организмы, то нормальнымъ развитіемъ общества слѣдуетъ, пожалуй, считать

приближеніе къ организму. Что касается, наконецъ, до противоположности общества и организма по самому направленію жизненнаго процесса, то г. Южаковъ отнюдь не доказалъ ея. Онъ указалъ нѣкоторыя болѣе или менѣе важныя отличія той и другой формы жизни, а въ существованіи, если не этихъ именно, то нѣкоторыхъ отличій вообще, никто не сомнѣвался. Несомнѣнно напримѣръ, что члены общества не связаны механически въ одно конкретное цѣлое, а части организма связаны. Но отъ подобныхъ отличій еще очень далеко до противоположности по направленію жизненнаго процесса. Послѣдняя, повторяю, г. Южаковымъ вовсе не доказывается, а только утверждается, являясь заключительнымъ звѣномъ цѣпи афоризмовъ. Нѣтъ никакой надобности оставлять въ сторонѣ низшія формы, чтобъ убѣдиться, что между двумя сосѣдними индивидуальностями существуетъ бездна и противоположность по самому направленію жизненнаго процесса. Мы видѣли, что таковъ общій законъ природы; но онъ ничего не говоритъ въ пользу г. Южакова. Далѣе, даже афоризмы г. Южакова далеко не всѣ фактически вѣрны. Напримѣръ, онъ говоритъ, что распаденіе связи, соединяющей въ организмѣ его части, прекращаетъ жизненный процессъ, а распаденіе общественнаго аггрегата не влечетъ за собой такого прекращенія. И то, и другое фактически невѣрно, не *истинно*. Распаденіе гидры или листа бегоніи на множество частей отнюдь не прекращаетъ жизненнаго процесса, а напротивъ, имѣетъ результатомъ образованіе нѣсколькихъ жизненныхъ процессовъ. Наоборотъ, распаденіе пчелинаго роя на безполыхъ рабочихъ, трутней и матокъ поведетъ къ тому, что всѣ они перемрутъ. Точно также перемрутъ и члены человѣческаго общества, если оно распадется на представителей физическаго и умственнаго труда. Г. Южаковъ утверждаетъ, что въ организмѣ его части лишены всей совокупности жизненныхъ отправленій, а составныя единицы общества *всѣ* непосредственно питаются, размножаются и проч. Это опять таки фактически невѣрно. Пчелиный рой и муравейникъ суть общества, но безполые муравьи и пчелы не размножаются непосредственно. Г. Южаковъ дастъ далѣе болѣе опредѣленное понятіе общества: онъ называетъ его живымъ аггрегатомъ, создавшимъ свою особую соціальную среду, подъ которою онъ разумѣетъ совокупность политическихъ учрежденій, техническихъ приспособленій, знаній и проч.—словомъ цивилизацію. Онъ полагаетъ, что эта среда, не давая членамъ общества приспособляться пассивно, измѣняться, а напротивъ, позволяя измѣнять окружающій міръ и *его* приспособлять къ своимъ требованіямъ, тѣмъ самымъ не дастъ имъ возможности утратить свои главныя физіологическія функціи. Это неправда. Я опять укажу на муравейникъ и на пчелиный рой. Въ дѣлѣ активнаго приспособленія, въ дѣлѣ созиданія соціальной среды это—единственные соперники человѣка на землѣ, и однако безполые муравьи и пчелы лишены одной изъ главныхъ физіологическихъ функцій. Борьба за индивидуальность, которую ведутъ человѣкъ и общество, не можетъ правда привести къ тому яркому результату, но она ведетъ къ результатамъ того же рода. Еще въ нынѣшнемъ году я доказывалъ—и потому теперь доказывать не буду—что каждая данная общественная форма стремится выжать въ свою пользу весь сокъ изъ каждаго шага цивилизаціи, и ей это слишкомъ часто удается. Г. Южаковъ утверждаетъ, что въ организмѣ отправленія частей служатъ цѣлому, а въ обществѣ напротивъ цѣлое служитъ частямъ. Это можетъ говорить метафизикъ, вродѣ Ушинскаго, предполагающій существованіе цѣлей въ природѣ *), а человѣкъ науки этого сказать не можетъ, потому что онъ скажетъ неправду. Пусть г. Южаковъ мнѣ скажетъ, кто кому служитъ: безполый муравей муравейнику, или наоборотъ? Пусть онъ мнѣ, положа руку на сердце, отвѣтитъ, кто кому служитъ, англійскій пролетарій англійскому обществу, или общество пролетарію? Очевидно, что не я отворачиваюсь отъ истины, а г. Южаковъ.

Я могу остановиться. Я хотѣлъ только, если позволительно такъ выразиться, раздѣть положенія г. Южакова, снять съ нихъ ту аргументацію, ту логическую одежду, въ которую облекъ ихъ г. Южаковъ, по единственно затѣмъ, чтобы вновь одѣть ихъ въ костюмъ, представляющійся мнѣ лучшимъ. Въ сущности объективный методъ далеко не всецѣло господствуетъ въ изслѣдованіи г. Южакова. Онъ несомнѣнно далъ нѣкоторыя болѣе или менѣе цѣнныя указанія тамъ, гдѣ ихъ могъ дать; но г. Южаковъ, какъ всѣ смертные, не обошелъ и субъективнаго начала. Субъективизмъ, симпатіи и антипатіи г. Южакова дали это *желаніе* доказать, что общество и организмъ діаметрально противоположны. Если доказываніе это произошло отчасти въ ущербъ *истинѣ*, то только потому, что авторъ не прибѣгалъ прямо и откровенно къ субъективному *методу*, т. е. не регулировалъ и не систематизировалъ свой субъективизмъ. Зачѣмъ отворачиваться отъ несомнѣнной истины, установленной объек-

*) «Органы тѣлеснаго организма имѣютъ свою цѣль въ цѣломъ; цѣлое общественнаго организма имѣетъ свою цѣль въ органахъ» («Антропологія», т. I, стр. 5).

тивною наукой: цѣлое тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ несовершеннѣе его части? Отчего не посмотрѣть ей прямо въ глаза? Теорія борьбы за индивидуальность истинна, но именно стоя на точкѣ зрѣнія этой борьбы, я и объявляю, что буду бороться съ грозящею поглотить меня высшею индивидуальностью. Мнѣ дѣла нѣтъ до ея совершенства, я самъ хочу совершенствоваться. Пусть она стремится побороть меня, я буду стремиться побороть ее. Чья возьметъ—увидимъ. И, какъ приступъ къ борьбѣ, я ставлю nicht къ теоріи борьбы за индивидуальность, какъ разъ на томъ мѣстѣ, гдѣ она захватываетъ меня. Я не отрицаю ни одного изъ ея положеній, не отворачиваюсь отъ истины. Я только повинуюсь закону борьбы, когда объявляю, что общество *должно* служить мнѣ, и это положеніе субъективно. Я не смѣю сказать, что оно мнѣ *служитъ*, потому что эта была бы недостойная науки неправда, а это невѣрное положеніе объективно.

Я глубоко убѣжденъ, что nicht, поставленное въ концѣ теоріи борьбы за индивидуальность—nicht, чисто субъективное, но не противорѣчащее ни одному изъ данныхъ объективной науки—вполнѣ способно объединить всю область нашихъ знаній и идеаловъ. Мало того, оно одно способно сообщить истинно-религіозную преданность убѣжденіямъ, насколько, разумѣется, это доступно доктринѣ. Религіозная, беззавѣтная преданность идеаламъ создается жизнью, и наука способна дать тутъ только нѣкоторую помощь.

Соблазнительно поговорить еще и еще, но пора кончить. Я обѣщалъ еще доказать, что наука должна служить намъ, профанамъ. Но не знаю, стоитъ ли это доказывать послѣ всего вышесказаннаго. Достаточно припомнить, что такое профанъ. Это—свѣдующій работникъ, разсматриваемый по отношенію ко всѣмъ чуждымъ ему областямъ знанія и жизни. Каждый изъ насъ, какъ свѣдующій работникъ, приспособился къ извѣстной спеціальной профессіи и болѣе или менѣе сжатъ тисками всепоглощающей высшей индивидуальности—общества. Поэтому, служа какой бы то ни было спеціальности, наука будетъ служить высшей индивидуальности, а не человѣку. Какую бы службу наука ни сослужила цивилизаціи, просвѣщенію, техникѣ, какимъ бы то ни было отвлеченнымъ началамъ; какую бы службу она ни сослужила и намъ, какъ плотникамъ, лакеямъ, фабричнымъ рабочимъ, литераторамъ, инженерамъ—все это заберетъ въ свои руки высшая индивидуальность; всѣмъ этимъ она воспользуется въ безпощадной борьбѣ съ нами же и изуродуетъ самихъ людей науки. Какъ профаны, мы носимъ въ себѣ начало свободы, независимости, неприспособленности къ данной формѣ общества, задатокъ лучшаго будущаго, задатокъ успѣшной борьбы за индивидуальность. Поэтому, служа профанамъ, наука служитъ человѣчеству. Потребность познанія какого бы то ни было непреклоннаго спеціалиста, скомканнаго объятіями высшей индивидуальности, непремѣнно болѣе или менѣе извращена.—Онъ не человѣкъ, а органъ, часть человѣка, «палецъ отъ ноги», какъ говоритъ у Шекспира Мененій Агриппа. Его заказы или не могутъ быть исполнены человѣческимъ умомъ, какъ заказы метафизика и чистокровнаго объективиста, или исполненіе ихъ поведетъ къ дальнѣйшему поглощенію человѣка исторически данной формой общества. Исполняйте наши заказы, люди науки, и вамъ дастся истина.

VII *).

Десница и шуйца Льва Толстого.

Въ послѣднемъ своемъ романѣ, «Анна Каренина», гр. Левъ Толстой мимоходомъ бросилъ нѣсколько пренебрежительныхъ словъ въ сторону «разговоровъ о соціологіи и біологіи». Тѣмъ не менѣе я прервалъ свою бесѣду о гр. Толстомъ для соціологіи, а теперь прерываю бесѣду о соціологіи для гр. Толстого и при этомъ дѣлаю скачки только по внѣшности. Внутренняя же связь моихъ бесѣдъ такова, что, не смотря на все пренебреженіе гр. Толстого къ соціологіи, я считаю себя вправѣ поставить вопросъ: который изъ типовъ соціологическихъ изслѣдованій гр. Толстой считаетъ правильнымъ? Мы видѣли, что этихъ типовъ два, и хоть я отнюдь не могу считать различія ихъ вполнѣ исчерпанными, но думаю, что нѣкоторые характерные признаки того и другого намѣчены. Одни изслѣдователи принимаютъ за точку отправленія судьбы общества или цивилизаціи, сводятъ задачу науки къ познанію существующаго и не могутъ или не желаютъ дать руководящую нить для практики. Другіе отправляются отъ судебъ личности, полагая, что общество и цивилизація сами по себѣ цѣны не имѣютъ, если не служатъ удовлетворенію потребности личности; далѣе эти изслѣдователи думаютъ, что наука обязана дать практикѣ нужныя указанія и изучать не только существующее, а и желательное. Который же изъ этихъ двухъ типовъ соціологическихъ изслѣдованій одобряется и который отвергается гр. Толстымъ.

Изучивъ сочиненія этого замѣчательнаго писателя со всѣмъ тщаніемъ, на какое я способенъ, я отвѣчаю: не знаю. И это не потому, что

*) 1875, май.

онъ, должно быть изъ боязни моднаго слова, нѣсколько презираетъ «соціологію». Можно всю жизнь говорить прозой, даже не зная слова «проза». Не важно, нравится кому-нибудь или нѣтъ слово соціологія. Важно то, что всякій, изучающій какое-нибудь общественное явленіе, необходимо держится одного изъ двухъ поименованныхъ типовъ соціологическаго изслѣдованія. Надо держаться котораго нибудь одного, потому что они логически исключаютъ другъ друга. Логически—да, но фактически они могутъ уживаться рядомъ, и въ такомъ случаѣ шуйца не будетъ знать, что дѣлаетъ десница, и наоборотъ. Шуйца и десница гр. Толстого находятся именно въ такихъ взаимныхъ отношеніяхъ. Поэтому-то я и отвѣчаю на свой вопросъ: не знаю. Не знаю, потому что изъ сочиненій гр. Толстого можно извлечь очень рѣзкія сужденія въ пользу обоихъ, логически исключающихъ другъ друга типовъ изслѣдованія. Я представлю читателю сначала десницу гр. Толстого, потомъ шуйцу и наконецъ, сведу ихъ на очную ставку въ области спора, еще и до сихъ поръ волнующаго сердца нашихъ педагоговъ.

Много лѣтъ тому назадъ гр. Толстой занялся педагогіею и занялся такъ, какъ у насъ очень рѣдко кто занимается своимъ дѣломъ. Онъ не только не принялъ на вѣру какой бы то ни было готовой теоріи образованія и воспитанія, но, такъ сказать, взрылъ всю область педагогіи вопросами. Это зачѣмъ? какія основанія такого то явленія? какая цѣль такого-то?—вотъ съ чѣмъ подходилъ гр. Толстой и къ самой сути педагогіи, и къ разнымъ ея подробностямъ. Дѣлалъ онъ это съ истинно замѣчательною смѣлостью. Смѣлость бываетъ разнаго рода. Есть смѣлость дикарей, подбѣгающихъ къ самымъ жерламъ направленныхъ на нихъ пушекъ, чтобы заткнуть ихъ своими шляпами; это—смѣлость невѣждъ, не имѣющихъ понятія о трудностяхъ предпринимаемаго ими дѣла. Есть смѣлость Угрюмъ-Бурчеевыхъ, смѣлость мраколюбцевъ, почерпаемая въ беззавѣтной ненависти къ свѣту. Есть смѣлость нравственно пустопорожнихъ людей, готовыхъ идти въ любой походъ безъ всякаго умственнаго и нравственнаго багажа, безъ знаній и убѣжденій и не разсчитывающихъ на побѣду, но и въ пораженіи не видящихъ чего-нибудь печальнаго или позорнаго. Есть смѣлость отчаянія, когда человѣкъ сознаетъ, что дѣло его проиграно, и бросается въ самый пылъ битвы, чтобы погибнуть. Есть смѣлость бреттеровъ, жаждущихъ борьбы для процесса борьбы. Есть, наконецъ, смѣлость людей, глубоко преданныхъ своему дѣлу и вѣрящихъ, что оно не сегодня, завтра восторжествуетъ, что оно должно восторжествовать. Въ виду идеала, который имъ такъ ясенъ и близокъ, имъ не приходится гнуться передъ господствующими мнѣніями, не приходится въ оставленномъ ими храмѣ видѣть все-таки храмъ и въ низверженномъ ими внутри себя кумирѣ все-таки бога. Педагогическія воззрѣнія гр. Толстого—на лицо (они собраны въ IV томѣ его сочиненій), и всякій непредубѣжденный человѣкъ долженъ признать, что смѣлость его была послѣдняго рода. Онъ, напримѣръ, открыто возставалъ противъ университетскаго образованія въ такое время, когда общество цѣнило его очень высоко; но возставалъ, надо замѣтить, совсѣмъ не съ точки зрѣнія Магницкаго, нынѣ у московскихъ ученыхъ опять получающей вѣсъ и значеніе. Онъ отрицалъ университеты не потому, что боялся свѣта и свободы и не потому, что желалъ какой-нибудь монополіи высшаго образованія, предоставленія его исключительно какому-нибудь одному классу общества. Совсѣмъ напротивъ,—онъ находилъ, что университетское образованіе *не* свободно. Далѣе, онъ, напримѣръ, говоря собственно о народныхъ училищахъ, самымъ серьезнымъ образомъ повторялъ вопросъ знаменитой г-жи Простаковой: зачѣмъ нужна географія? Тутъ двойная смѣлость. Смѣло задать этотъ вопросъ, но еще смѣлѣе указать, что онъ былъ уже заданъ однимъ изъ наиболѣе осмѣянныхъ литературныхъ типовъ и сталъ даже нѣкоторой притчей во языцѣхъ. Я убѣжденъ, что ни одинъ самый завзятый мраколюбецъ, даже полумионческій Аскоченскій этого сдѣлать не посмѣетъ, а посмѣетъ только человѣкъ свободнаго и пытливаго ума, вложившій свой особенный смыслъ въ вопросъ матери Митрофанушки. Только человѣкъ, поднятый знаніемъ дѣла и любовью къ нему на извѣстную высоту, осмѣлится придать нѣкоторое значеніе вопросу глупой Простаковой и тутъ же рядомъ скептически взглянуть на какое-нибудь изрѣченіе весьма ученаго и даже умнаго мужа. Но понятное дѣло, что такая смѣлость и свобода отношеній къ изучаемому предмету не могутъ придтись всѣмъ по плечу. Всегда найдутся, люди, которые, гоняясь за дешевыми лаврами, высыплютъ цѣлыхъ три короба либеральныхъ, но не идущихъ къ дѣлу возраженій въ такомъ родѣ: а! такъ значитъ вы солидарны съ г-жей Простаковой? Поздравввляю! Затѣмъ начинается побѣдоносное нашествіе на г-жу Простакову, которое оканчивается, разумѣется, побѣдой, а побѣда надъ глупой, грубой и необразованной г-жей Простаковой убѣждаетъ возражателей и кое-кого изъ читателей, что они необыкновенно умные и высоко образованные люди. Нѣтъ поэтому ничего удивительнаго въ томъ, что воззрѣнія, высказанныя гр. Толстымъ самымъ

рѣзкимъ опредѣленнымъ образомъ, но съ подробнымъ мотивированіемъ въ журналѣ «Ясная Поляна», были встрѣчены неодобрительно. Даже г. Страховъ, котораго трудно представить рядомъ съ гр. Толстымъ иначе, какъ въ колѣнопреклоненной позѣ, даже и тотъ, хотя и погладилъ его по головкѣ, но въ значительной степени противъ шерсти. Большинство видѣло въ «ясно-полянскихъ» теоріяхъ, сомнѣніяхъ и вопросахъ только мистическій ультра-патріотизмъ и славянофильство, т. е. то именно, что и нынѣ валятъ господа педагоги на гр. Толстого, какъ шишки на бѣднаго Макара.

Изъ критическихъ статей, вызванныхъ педагогическою ересью «Ясной Поляны», для насъ особенно любопытна статья г. Маркова, появившагося въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Любопытна она впрочемъ только потому, что гр. Толстой отвѣтилъ на нее замѣчательной статьей «Прогрессъ и опредѣленіе образованія» (Сочиненія, т. IV, 171—215). Статья г. Маркова мнѣ только и извѣстна по отвѣту гр. Толстого, я не счелъ нужнымъ ее разыскивать. Я уже упоминалъ о прочно установившейся дѣйствительной репутаціи гр. Толстого, какъ изъ ряду вонъ выходящаго беллетриста и какъ плохого мыслителя. Эта репутація обратилась уже въ какую-то аксіому, не требующую никакихъ доказательствъ. Только силой непрокритикованнаго преданія и можно объяснить, напримѣръ, такой фактъ. Въ московскомъ обществѣ любителей россійской словесности кто-то читалъ отрывокъ изъ ненапечатанной еще тогда второй части «Анны Карениной». «С.-Петербургскимъ Вѣдомостямъ» немедленно пишутъ (телеграфировать бы надо!), что отрывокъ изумителенъ, превосходенъ, великъ и проч. И въ подтвержденіе приводится такая черта: когда Анна Каренина, уже пораженная стрѣлой Амура, возвращается въ Петербургъ и встрѣчается съ мужемъ, то ей кажется, будто у него выросли уши. Корреспондентъ такъ и ставитъ восклицательный знакъ, выражая тѣмъ свое изумленіе передъ психологической глубиной и эстетической силой этой подробности. Бываютъ люди, репутація которыхъ, какъ остроумцевъ, до такой степени установилась, что имъ стоитъ только поздравить именинника, разинуть ротъ, мигнуть, попросить стаканъ чаю и т. п., чтобы всѣ присутствующіе пришли въ необычайно веселое настроеніе. Такъ-то вотъ и съ гр. Толстымъ. А между тѣмъ, можетъ быть, тотъ же самый корреспондентъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» считаетъ себя въ правѣ смотрѣть на педагогическія теоріи гр. Толстого сверху внизъ. Это очень возможно, во-первыхъ потому, что этому соотвѣтствуетъ утвердившаяся репутація гр. Толстого, а во-вторыхъ потому, что холопское униженіе стоитъ всегда рядомъ съ холопской заносчивостью. Я не знаю, придется ли мнѣ говорить о гр. Толстомъ какъ беллетристѣ. Вѣроятно, придется. Здѣсь замѣчу только слѣдующее. Говоря о немъ, какъ о первоклассномъ художникѣ, обыкновенно подразумѣваютъ не только его творческую силу, но и языкъ, сильный, точный, сжатый, выразительный и проч. Вотъ и г. Бунаковъ въ письмѣ въ редакцію «Семьи и Школы» (1874, № 10) пишетъ, что напечатанная въ «Отеч. Зап.» статья гр. Толстого есть сплошная нелѣпость и «ложь, написанная увлекательно, остроумно и такимъ прекраснымъ языкомъ, какимъ умѣетъ писать одинъ только авторъ «Войны и мира». Тутъ сказывается все та же двойственная репутація гр. Толстого, которая однако, какъ и большинство ходячихъ репутацій, далеко не вполнѣ основательна. Читатель, надѣюсь, сейчасъ убѣдится, что первая же статья гр. Толстого, на которую я обращаю его вниманіе, «Прогрессъ и опредѣленіе образованія», отличается напротивъ рѣдкою трезвостью, ясностью и силою мысли и вмѣстѣ съ тѣмъ языкомъ крайне неточнымъ, неправильнымъ, а подчасъ и совершенно неуклюжимъ.

Гр. Толстой далъ слѣдующее опредѣленіе: «Образованіе есть дѣятельность человѣка, имѣющая своимъ основаніемъ потребность къ равенству и неизмѣнный законъ движенія впередъ образованія». Это *сказано* до такой степени неточно, неправильно, неуклюже, до такой степени не по-русски, что опредѣленіе выходитъ крайне плохое. Однако тутъ виновата не мысль гр. Толстого, заслуживающая напротивъ большого вниманія, а только его неумѣнье выразить свою мысль. Занявшись практически педагогіей, гр. Толстой пожелалъ найти такое опредѣленіе образованія, которое указывало бы его цѣль и, слѣдовательно, моментъ прекращенія дѣятельности образовывающаго и образовывающагося; опредѣленіе это должно было дать критерій педагогики, т. е. нѣкоторую истину, съ высоты которой можно было бы рѣшить вопросъ о томъ, чему и какъ слѣдуетъ учить. Гр. Толстой разсуждаетъ такъ. Въ обществѣ дѣйствуетъ нѣсколько причинъ, побуждающихъ однихъ образовывать, а другихъ образовываться. Возьмемъ сначала дѣятельность образовывающагося ученика. Онъ можетъ учиться для того, чтобы избѣжать наказанія,— это, по опредѣленію гр. Толстого, «ученіе на основаніи послушанія»; для полученія награды или для того, чтобы быть лучше другихъ,—«ученіе на основаніи самолюбія»; для полученія выгоднаго положенія въ свѣтѣ,— «ученіе на основаніи матеріальныхъ выгодъ

и честолюбія». Гр. Толстой все тѣмъ же неточнымъ и неуклюжимъ языкомъ утверждаетъ, что «на основаніи этихъ трехъ разрядовъ строились и строятся различныя педагогическія школы: протестантскія—на послушаніи, католическія іезуитскія—на основаніи соревнованія и самолюбія, наши россійскія—на основаніи матеріальныхъ выгодъ, гражданскихъ преимуществъ и честолюбія». Могутъ ли быть эти основанія введены въ науку? Нѣтъ, отвѣчаетъ гр. Толстой, главнымъ образомъ по двумъ причинамъ: 1) «при такихъ основаніяхъ нѣтъ общаго критеріума педагогики,—и богословъ, и естественникъ одновременно считаютъ свои школы непогрѣшительными, а не свои школы положительно вредными»; 2) потому что при системѣ образованія, построенной на одномъ изъ перечисленныхъ началъ, «пріобрѣтаются привычка послушанія, раздраженное самолюбіе и матеріальныя выгоды; но это, конечно, не суть прямыя цѣли образованія». Дѣятельность образовывающаго также управляется различными мотивами, изъ которыхъ главные: «желаніе сдѣлать людей такими, которые были бы для насъ полезны (помѣщики, отдававшіе дворовыхъ въ ученье и въ музыканты; правительство, приготовляющее для себя офицеровъ, чиновниковъ и инженеровъ)»; послушаніе и матеріальныя выгоды; самолюбіе, «желаніе сдѣлать другихъ людей участниками въ своихъ интересахъ, передать имъ свои убѣжденія и съ этою цѣлью передать имъ свои знанія». Только этотъ послѣдній мотивъ, только побужденіе учителя уравнять съ собой знанія ученика и соотвѣтственное побужденіе ученика сравняться въ знаніи съ учителемъ, гр. Толстой признаетъ достойнымъ лечь во главу угла науки педагогіи. Какъ только образовывающій передалъ свои знанія образовывающемуся,—цѣль образованія на данномъ пунктѣ достигнута: ученикъ можетъ идти дальше, искать новыхъ учителей, но учитель свое дѣло сдѣлалъ, т. е. прямое, непосредственное дѣло образованія. Но равенство знаній можетъ быть достигнуто не на низшей, а только на высшей степени знанія «по той простой причинѣ, что ребенокъ можетъ узнать то, что я знаю, а я не могу забыть того, что я знаю; и еще потому, что мнѣ можетъ быть извѣстенъ образъ мысли прошедшихъ поколѣній, а прошедшимъ поколѣніямъ не можетъ быть извѣстенъ мой образъ мысли». Это-то и есть «неизмѣнный законъ движенія впередъ образованія». Вотъ что хотѣлъ сказать гр. Толстой своимъ неуклюжимъ опредѣленіемъ образованія.

Я желалъ бы выяснить шуйцу и десницу гр. Толстого по возможности независимо отъ педагогики и затѣмъ уже приложить найденное къ спору гр. Толстого съ педагогами. Пріемъ этотъ кажется мнѣ потому удобнымъ, что мы сразу получимъ такимъ образомъ руководящую нить, и намъ не нужно будетъ долго засиживаться на мелочахъ и частностяхъ текущей педагогической распри, которыя выяснены уже достаточно. Тѣмъ не менѣе обойти на этотъ разъ педагогику совсѣмъ — не представляется никакой возможности. Я долженъ привести теперь же, по крайней мѣрѣ, одинъ выводъ, который дѣлаетъ гр. Толстой изъ своего опредѣленія образованія, собственно для того, чтобы показать, что опредѣленіе это есть не безплодная экскурсія въ область отвлеченной мысли. На основаніи своего опредѣленія образованія гр. Толстой считаетъ возможнымъ указать слѣдующую цѣль науки педагогики: она должна изучать условія, благопріятствующія и препятствующія совпаденію стремленій образовывающихъ и образовывающихся въ одной общей цѣли. Этого-то совпаденія по мнѣнію гр. Толстого и нѣтъ въ дѣлѣ народнаго образованія. Народъ хочетъ учиться, правительства и частныя лица хотятъ его учить, но стремленія эти не имѣютъ до сихъ поръ общей точки, не совпадаютъ. Отсюда всѣ трагикомическія подробности народнаго образованія. Для устраненія ихъ нужно одно—полная свобода для образовывающихся выбора программы ученія. Къ этому послѣднему результату приводятъ гр. Толстого и нѣкоторыя другія соображенія. Но для насъ пока достаточно и сказаннаго.

Замѣчательно, что упомянутая статья «Русск. Вѣстника» (г. Маркова) направлена, какъ можно судить по цитатамъ гр. Толстого, не столько противъ приведеннаго опредѣленія образованія и выводовъ изъ него, сколько противъ самой задачи гр. Толстого. Г. Марковъ считаетъ нелѣпымп самые вопросы о цѣли и критеріи педагогики. Онъ пишетъ: «Ясную Поляну» смущаетъ то обстоятельство, что въ различныя времена люди учатъ различному и различно. Схоластики одному, Лютеръ другому, Руссо по своему, Песталоцци опять по своему. Она видитъ въ этомъ невозможность установить критеріумъ педагогики и на этомъ основаніи отвергаетъ педагогику. А мнѣ кажется, онъ самъ указалъ на этотъ необходимый критеріумъ, приводя упомянутые примѣры. Критеріумъ—въ томъ, чтобы учить, соображаясь съ потребностями времени. Онъ простъ и въ совершенномъ согласіи съ исторіей и логикой. Лютеръ оттого только и могъ быть учителемъ цѣлаго столѣтія, что самъ былъ созданіемъ своего вѣка, думалъ его мыслью и дѣйствовалъ по его вкусу. Иначе его огромное вліяніе было бы или невозможно, или сверхъестественно; не походи онъ на своихъ современниковъ, онъ бы исчезъ безплодно, какъ непонятное,

никому ненужное явленіе,—пришлецъ среди народа, котораго даже языка онъ не понимаетъ. Тоже и съ Руссо и всякимъ другимъ. Руссо формулировалъ въ своихъ теоріяхъ накипѣвшую ненависть своего вѣка къ формализму и искусственности, его жажду простыхъ сердечныхъ отношеній. Это была неизбѣжная реакція противъ версальскаго склада жизни; и если бы только одинъ Руссо чувствовалъ ее,—не явился бы вѣкъ романтизма, не явились бы универсальныя массы (?) переродить человѣчество, декларація правъ, Карлы Моры, и все подобное... Мнѣ непонятно, чего бы хотѣлъ гр. Толстой отъ педагогіи. Онъ все о крайней цѣли, о незыблемомъ критеріумѣ хлопочетъ. Нѣтъ этихъ—такъ по его мнѣнію не нужно никакихъ. Отчего же не вспомнитъ онъ о жизни отдѣльнаго человѣка, о своей собственной? Вѣдь онъ, конечно, не знаетъ крайней цѣли своего существованія, не знаетъ общаго философскаго критеріума для дѣятельности всѣхъ періодовъ своей жизни. А вѣдь живетъ же онъ и дѣйствуетъ; и оттого только живетъ и дѣйствуетъ, что въ дѣтствѣ имѣлъ одну цѣль и одинъ критеріумъ, въ молодости другіе, теперь опять новые и такъ далѣе».

Вотъ образецъ соціологическаго изслѣдованія перваго типа, того самаго, подъ который подходятъ и «Изученіе соціологіи» Спенсера, и изслѣдованіе эмиграціи, представленное редакціей «Сборника государственныхъ знаній». Здѣсь налицо всѣ признаки этого рода изслѣдованій. Г. Марковъ принимаетъ за точку отправленія судьбы общества или цивилизаціи и предлагаетъ учить и учиться не тому, что тотъ или другой учитель или ученикъ считаетъ нужнымъ, полезнымъ, избраннымъ, а тому, что «соотвѣтствуетъ потребностямъ времени», т. е. потребностямъ извѣстнаго историческаго момента. Вмѣстѣ съ тѣмъ г. Марковъ сводитъ задачу науки къ познанію существующаго, такъ какъ отвергаетъ надобность и возможность для педагога подняться выше существующаго порядка вещей или вообще какъ-нибудь отъ него отклониться. Тѣмъ самымъ, наконецъ, г. Марковъ отказывается дать руководящую нить практикѣ. Сказать: учите, соображаясь съ потребностями времени,—значитъ ничего не сказать, потому что потребности времени остаются не выясненными. Я впрочемъ не намѣренъ утомлять читателя собственнымъ своимъ разборомъ мнѣній г. Маркова, во-первыхъ потому, что не въ нихъ совсѣмъ дѣло, а во-вторыхъ потому, что я не сумѣлъ бы сдѣлать этотъ разборъ лучше гр. Толстого. Въ своемъ отвѣтѣ г. Маркову онъ стоитъ на истинно философской высотѣ, и еслибы не портили дѣла нѣкоторыя частности, почти исключительно зависящія отъ неправильности и неточности выраженій, статья «Прогрессъ и опредѣленіе образованія» была бы безукоризненна во всѣхъ отношеніяхъ.

«Со временъ Гегеля и знаменитаго афоризма: «что исторично, то разумно — говоритъ гр. Толстой—въ литературныхъ и изустныхъ спорахъ, въ особенности у насъ, царствуетъ одинъ весьма странный умственный фокусъ, называющійся историческое воззрѣніе, Вы говорите напримѣръ, что человѣкъ имѣетъ право быть свободнымъ, судиться на основаніи только тѣхъ законовъ, которые онъ самъ признаетъ справедливыми, а историческое воззрѣніе отвѣчаетъ, что исторія вырабатываетъ извѣстный историческій моментъ, обусловливающій извѣстное историческое законодательство и историческое отношеніе къ нему народа. Вы говорите, что вы вѣрите въ Бога,—историческое воззрѣніе отвѣчаетъ, что исторія вырабатываетъ извѣстныя религіозныя воззрѣнія и отношенія къ нимъ человѣчества. Вы говорите, что Иліада есть величайшее эпическое произведеніе,—историческое воззрѣніе отвѣчаетъ, что Иліада есть только выраженіе историческаго сознанія народа въ извѣстный историческій моментъ. *На этомъ основаніи историческое воззрѣніе не только не споритъ съ вами о томъ, необходима ли свобода для человѣка, о томъ, есть или нѣтъ Бога, о томъ, хороша или не хороша Иліада, не только ничего не дѣлаетъ для достиженія той свободы, которой вы желаете для убѣжденія или разубѣжденія васъ въ существованіи Бога или въ красотѣ Иліады, а только указываетъ вамъ то мѣсто, которое ваша внутренняя потребность, любовь къ правдѣ или красотѣ занимаютъ въ исторіи: оно только сознаетъ, но сознаетъ не путемъ непосредственнаго сознанія, а путемъ историческихъ умозаключеній.* Скажите, что вы любите или вѣрите во что нибудь,—историческое воззрѣніе говоритъ: любите и вѣрьте, и ваша любовь и вѣра найдутъ себѣ мѣсто въ нашемъ историческомъ воззрѣніи. Пройдутъ вѣка, и мы найдемъ то мѣсто, которое вы будете занимать въ исторіи; но впередъ знайте, что то, что вы любите, не безусловно прекрасно, и то, во что вы вѣрите, не безусловно справедливо; но забавляйтесь, дѣти,—ваша любовь и вѣра найдутъ себѣ мѣсто и приложеніе. Къ какому хотите понятію стоитъ только приложить слово историческое,—и понятіе это теряетъ свое жизненное, дѣйствительное значеніе и получаетъ только искусственное и неплодотворное значеніе въ какомъ-то искусственно составленномъ историческомъ міросозерцаніи».

Вовсе не надо быть педантомъ, чтобы съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ остановиться передъ этими невозможными «не только, а только», «только сознаетъ, но сознаетъ не путемъ сознанія» и т. п., испещряющими рѣчь знаменитаго русскаго писателя. Но Богъ съ нимъ, съ языкомъ гр. Толстого. Я упоминаю объ немъ только для того, чтобы лишній разъ обратить вниманіе читателя на неосновательность ходячихъ репутацій. Больше я этой скучной матеріи касаться не буду. Читатель предупрежденъ и не станетъ строить акіе-либо выводы на отдѣльныхъ выраженіяхъ гр. Толстого, которыя своею грамматическою неуклюжестью и логическою неправильностью слишкомъ часто только за-

темняютъ, даже извращаютъ мысль автора. Будемъ слѣдить только за мыслью гр. Толстого. Она этого стоитъ, по крайней мѣрѣ, съ моей точки зрѣнія, съ точки зрѣнія профана, потому что изъ приведенныхъ неуклюжихъ строкъ такъ и бьетъ тотъ духъ жизни, который намъ, профанамъ, дороже всего. Очевидно, что суть протеста гр. Толстого противъ того, что онъ называетъ историческимъ воззрѣніемъ, сосредоточивается въ подчеркнутыхъ мною словахъ. Значенія историческихъ условій, какъ факторовъ, опредѣляющихъ дѣятельность личности, гр. Толстой вовсе не отрицаетъ. Онъ очень хорошо знаетъ, что Иліада, извѣстныя понятія о божествѣ, извѣстный общественный строй суть продукты историческихъ условій. Но онъ хочетъ не только знать, какое мѣсто въ исторіи занимаютъ его идеалы: онъ хочетъ жить ими и, слѣдовательно, знать ихъ настоящую, теперешнюю цѣну, независимо отъ исторіи. Въ другомъ мѣстѣ гр. Толстой говоритъ весьма опредѣлительно: «Статья «Русскаго Вѣстника» думаетъ, что школы не могутъ и не должны быть изъяты изъ-подъ историческихъ условій. Мы думаемъ, что эти слова не имѣютъ смысла, во-первыхъ потому, что *изъять изъ-подъ историческихъ условій нельзя ничего ни на дѣлѣ, ни даже въ мысляхъ*. Во-вторыхъ потому, что ежели открытіе законовъ, на которыхъ строилась и должна строиться школа, есть, по мнѣнію г. Маркова, изъятіе изъ-подъ историческихъ условій, то мы полагаемъ, что *наша мысль*, открывшая извѣстные законы, *дѣйствуетъ тоже въ историческихъ условіяхъ*, но что нужно опровергнуть или признать самую мысль путемъ мысли для того, чтобы разъяснить ее, а не отвѣчать на нее тою истиною, что мы живемъ въ историческихъ условіяхъ». Изъ этого видно, что г. Марковъ совершенно понапрасну разсыпалъ цвѣты своего краснорѣчія. Гр. Толстому очень хорошо извѣстна сила историческихъ условій. Она ему извѣстна даже лучше, чѣмъ г. Маркову, или, по крайней мѣрѣ, соображенія о ней проводятся гр. Толстымъ дальше и послѣдовательнѣе. Предполагая даже, что потребности времени суть нѣчто для всѣхъ ясное и опредѣленное, я, съ точки зрѣнія все той же силы историческихъ условій, имѣю полное право возставать противъ этихъ потребностей времени, признавать ихъ ложными, дрянными, желать ихъ измѣненія, дѣлать соотвѣтственныя усилія и проч. Потому что, если во мнѣ зародились извѣстныя сомнѣнія и желанія, такъ вѣдь они не съ неба свалились, они тоже опредѣлены историческими условіями. И если мои сомнѣнія и желанія признаются кѣмъ-нибудь неосновательными, то оппонентъ мой долженъ оставить историческія условія въ покоѣ и представить какіе-нибудь иные аргументы «отъ разума» или «отъ опыта». Историческими условіями можно оправдать всякую нелѣпость и всякую мерзость, для чего нѣтъ никакой надобности въ длинныхъ разсужденіяхъ, къ которымъ любятъ прибѣгать въ подобныхъ случаяхъ: довольно указать на существованіе нелѣпости или мерзости,—тѣмъ самымъ они уже оправданы. Но это будетъ, собственно говоря, не оправданіе, а празднословіе, очень удобно опрокидываемое нѣсколькими словами; тѣми самыми словами, которыя сказалъ гр. Толстой: человѣкъ, стремящійся стереть съ лица земли существующія нелѣпости и мерзости, есть тоже продуктъ исторіи. Противъ этого аргумента возраженій нѣтъ. Въ своемъ отвѣтѣ г. Маркову гр. Толстой поставилъ и разрѣшилъ (я не говорю, что это не было дѣлаемо другими, задолго до гр. Толстого) теоретическій вопросъ высочайшей важности. Большихъ усилій стоило людямъ убѣдиться, что нѣтъ дѣйствія безъ причины, что и ихъ, людскія дѣйствія, мысли, желанія, чувства возникаютъ въ концѣ извѣстнаго ряда явленій, смѣняющихъ другъ друга съ физическою необходимостью. Убѣжденіе это завоевывалось шагъ за шагомъ, пробивая себѣ дорогу сквозь цѣлый лѣсъ предразсудковъ. И только въ сравнительно недавнее время оно восторжествовало, благодаря соединеннымъ усиліямъ статистиковъ, историковъ, психологовъ, физіологовъ, философовъ. Но, къ сожалѣнію, мысль о «законосообразности» человѣческихъ дѣйствій, не успѣвъ даже намѣтить весь кругъ своихъ результатовъ, уже успѣла заразиться двумя исконными наслѣдственными недугами человѣчества,—фатализмомъ и оптимизмомъ. Удивляться надо въ самомъ дѣлѣ, какія это цѣпкія и прилипчивыя болѣзни. Трудно даже найти въ исторіи мысли теорію, которая не была бы хоть на короткое время покрыта злокачественною и отвратительною сыпью оптимизма и фатализма. А идея необходимости или законосообразности человѣческихъ дѣйствій находится въ условіяхъ, особенно благопріятныхъ для зараженія. Фатализмъ есть ученіе или взглядъ, недопускающій возможности вліянія личныхъ усилій на ходъ событій. Понятное дѣло, что этому взгляду очень удобно заразить собой теорію необходимости человѣческихъ дѣйствій. Каждый изъ насъ, жалкихъ дѣтищъ вращающагося во вселенной ничтожнаго комка грязи, называемаго землей, есть нѣчто вродѣ шашки, которую сила событій передвигаетъ съ одной клѣтки шахматной доски на другую. Шашка можетъ имѣть въ ходѣ игры важное и неважное значеніе, но она жестоко ошибается, когда думаетъ, что

сама становится на такую-то клѣтку и могла бы, еслибы захотѣла, стать на другую. Въ такомъ родѣ разсуждаютъ многіе статистики, историки и другіе ученые люди не только въ теоретической области познанія существующаго, а и въ практической сферѣ жизни. Намъ, профанамъ, эти разсужденія глубоко противны, мы ихъ не можемъ переварить. И когда ученые люди говорятъ намъ съ презрительно снисходительнымъ видомъ «что-жъ дѣлать! наука не можетъ сказать ничего иного», — мы отвѣчаемъ: «что-жъ дѣлать! эта наука насъ не удовлетворяетъ». Но мы замѣчаемъ, что она не удовлетворяетъ не только насъ, а и самихъ ученыхъ людей. Напримѣръ, ученые люди говорятъ и пишутъ другъ другу панегирики. За что? вѣдь не пишутъ же они панегириковъ камню, падающему на землю сообразно законамъ тяжести, и травѣ, начинающей весной зеленѣть на лугахъ. Ученое открытіе есть такое же звѣно извѣстной цѣпи причинно связанныхъ явленій, какъ и ростъ травы, и паденіе камня; оно не можетъ появиться раньше осуществленія извѣстныхъ историческихъ условій, и ученый, сдѣлавшій открытіе, есть опять-таки не больше, какъ шашка, поставленная ходомъ игры на опредѣленную клѣтку. Ученые люди бранятъ наше невѣжество и стараются просвѣтить насъ. За что бранятъ и зачѣмъ стараются? Одну шашку также мало резонно бранить, какъ другой шашкѣ мало резонно стараться. Очевидно, что есть сферы мысли, въ которыхъ теорія необходимости нашихъ дѣйствій, ихъ полнѣйшей зависимости отъ данныхъ историческихъ условій, удовлетворяетъ человѣческую природу, но есть и такія, гдѣ она равно не удовлетворяетъ и ученыхъ, и неученыхъ людей, гдѣ теорія историческихъ условій на каждомъ шагу путается въ противорѣчіяхъ и сама себя закалываетъ. Это—сфера практической мысли. Заднимъ числомъ, конечно, можно доказать, что Лютеръ, напримѣръ, только потому и могъ быть учителемъ цѣлаго столѣтія, что «самъ былъ созданіемъ своего вѣка, думалъ его мыслью и дѣйствовалъ по его вкусу». Совершенно справедливо, что не будь у него многочисленныхъ и многостороннихъ связей съ своимъ временемъ и своимъ народомъ, онъ пролетѣлъ бы, какъ падучая звѣзда. Но дѣло въ томъ, что еслибы самъ Лютеръ не вѣрилъ, что думаетъ *своею собственною* мыслью и дѣйствуетъ по *своему собственному* вкусу, то реформацію поднялъ бы не онъ, а кто-нибудь другой. Пусть связанный историческими условіями по рукамъ и по ногамъ, Лютеръ обманывался, думая, что онъ свободно выбралъ себѣ цѣль,— этотъ обманъ неизбѣженъ въ практической дѣятельности: онъ есть одинъ изъ необходимыхъ факторовъ тѣхъ самыхъ историческихъ условій, незыблемость которыхъ провозглашаютъ фаталисты. Гордые ученые и вдвое болѣе гордые полуученые люди очень любятъ восклицать: безъ обмана! Восклицаніе это, конечно, очень хорошее и способное собрать вокругъ восклицающаго толпу людей съ разинутымъ отъ умиленія ртомъ. Но отчего же гордые ученые и вдвое болѣе гордые полуученые люди не подумаютъ о томъ, что наиболѣе разработанныя отрасли физической науки допускаютъ иногда завѣдомый обманъ и не конфузятся этого? Метафизики говорятъ: реальный міръ обманъ. Наиболѣе разработанныя отрасли физической науки говорятъ: обманъ—такъ обманъ, намъ до этого дѣла нѣтъ, мы признаемъ данный міръ существующимъ, потому что того требуютъ условія человѣческой природы, а можетъ, это и въ самомъ дѣлѣ обманъ. Наиболѣе разработанныя отрасли физической науки вводятъ въ свои построенія такихъ гипотетическихъ дѣятелей, которыхъ себѣ вполнѣ ясно даже представить нельзя, это—обманы, но наука держится ихъ, потому что въ настоящую, по крайней мѣрѣ, минуту ничто, кромѣ нихъ, не даетъ возможности оріентироваться въ извѣстныхъ рядахъ фактовъ. Почему же это науки разработанныя не боятся обмана въ такой мѣрѣ, какъ науки (если только это—науки) соціальныя, въ которыхъ кто во что горазд, въ которыхъ сколько головъ, столько умовъ, въ которыхъ нѣтъ почти ничего прочнаго, установившагося, общепринятаго? Да именно оттого, я думаю, что то—науки разработанныя, а это — такъ что-то вродѣ наукъ. Вполнѣ свѣтскій человѣкъ можетъ себѣ позволить нѣкоторыя уклоненія отъ установившихся въ его кругу нравовъ и обычаевъ и сдѣлаетъ такъ, что уклоненія эти не только не будутъ колоть глаза, но даже усилятъ основной тонъ принятаго порядка. Неофитъ напротивъ, человѣкъ неопытный, не слившійся всѣмъ своимъ существомъ съ извѣстной общественной атмосферой, будетъ держаться каждой буквы свѣтскаго кодекса, но именно эти его старанія и изобличатъ въ немъ человѣка неопытнаго и неофита. Такъ же и съ наукой. Давно ли у насъ, напримѣръ, такъ много толковали о необходимости индуктивнаго метода и крайней вредности дедуктивнаго. Между тѣмъ какъ разъ въ это время истинные ученые, хоть и не очень гордые, съ величайшимъ успѣхомъ примѣняли дедукцію и двигали ею науку исполинскими шагами впередъ. Они уже прошли ту ступень развитія, на которой индукція признавалась единственнымъ научнымъ методомъ, и прилагали къ дѣлу, смотря по условіямъ своихъ задачъ, то наведеніе, то выводъ. Эти же истинные, хоть и не очень

гордые ученые разсуждаютъ такъ: обманъ— вещь нехорошая, но если ужъ въ томъ или другомъ случаѣ безъ него по условіямъ человѣческой природы обойтись нельзя, такъ дѣлать нечего; надо только помнить, что это—обманъ, введенный въ изслѣдованіе съ опредѣленною цѣлью, и что мы имѣемъ право пользоваться имъ только въ опредѣленныхъ случаяхъ и подъ опредѣленными условіями. Очевидно, что допущенный въ науку въ такомъ видѣ обманъ даже перестаетъ быть обманомъ и становится просто орудіемъ науки. А гордые соціологи продолжаютъ восклицать: безъ обмана! Не желая уподобляться Кифѣ Мокіевичу, я не стану разсуждать о томъ, что было бы, еслибы люди дѣйствительно перестали обманываться на счетъ свободы своей дѣятельности. Но вотъ что я могу сказать, не боясь быть опровергнутымъ ученѣйшими изъ ученыхъ: въ моментъ дѣятельности я сознаю, что ставлю себѣ цѣль свободно, совершенно независимо отъ вліянія историческихъ условій; пусть это обманъ, но имъ движется исторія; я признаю, что и сосѣди мои выбираютъ себѣ цѣли жизни свободно, на этомъ только и держится возможность личной отвѣтственности и нравственности и нравственнаго суда, которыхъ нельзя же вычеркнуть изъ человѣческой души. Дѣйствительно, ихъ вычеркнуть нельзя, надо признать ихъ существованіе, а между тѣмъ они находятся въ противорѣчіи съ познаніемъ причинной связи явленій. Приходится осуждать то, что въ данную минуту не можетъ не существовать. Какъ тутъ быть? Это противорѣчіе извѣстно съ очень давнихъ поръ и много умныхъ и глупыхъ, ученыхъ и неученыхъ головъ билось надъ его разрѣшеніемъ. Эти головы придумали три выхода. Одни, закалая на алтарѣ познанія причинной связи явленій личную отвѣтственность, совѣсть и нравственный судъ, стоятъ на своемъ: безъ обмана! Но это не выходъ, потому что чувство отвѣтственности, совѣсть и потребность нравственнаго суда суть вполнѣ реальныя явленія психической жизни, допускающія наблюденіе и вообще научные пріемы изслѣдованія; они до такой степени реальны, что сами жрецы познанія не чужды имъ въ моментъ жертвоприношенія; они произносятъ нравственный судъ и сознаютъ свое жертвоприношеніе дѣйствіемъ свободнымъ. Другіе приносятъ, напротивъ, въ жертву причинную связь явленій, утверждая, что человѣкъ свободенъ. Если это и выходъ изъ затрудненія, то во всякомъ случаѣ онъ не можетъ быть принятъ наукой, потому что совершенно свободныхъ явленій познавать нельзя, а наука только познаетъ. Третьи наконецъ, признавая противорѣчіе между свободою и необходимостью неразрѣшимымъ по существу, говорятъ, что иногда мы должны признавать человѣческія дѣйствія свободными, а иногда необходимыми. Къ числу этихъ третьихъ принадлежитъ и гр. Толстой. На первый взглядъ это рѣшеніе самое неудовлетворительное, наименѣе научное, потому что ему недостаетъ единства и послѣдовательности. Но это только на первый взглядъ. Вы идете въ мѣсто, лежащее на западъ отъ васъ: по дорогѣ вы натыкаетесь на пропасть, которую обходите, уклоняясь къ сѣверу, потомъ круто сворачиваете къ югу, потому что прямо передъ вами непроходимое болото: не смотря на эти отклоненія отъ пути на западъ, вы идете единственной вѣрной дорогой, потому что, направляясь по вороньему, все прямо, вы провалитесь, утонете и вообще не дойдете до цѣли своей прогулки. Такъ и единство и послѣдовательность въ наукѣ состоятъ вовсе не въ томъ, чтобы всегда и вездѣ употреблять одни и тѣ же пріемы изслѣдованія, а въ томъ, чтобы всегда и вездѣ смотрѣть на вещи такъ, какъ того требуютъ условія научной задачи. Этимъ достигается не только единство науки, но, что всего важнѣе, и примиреніе науки съ жизнью. Поставьте только себя въ положеніе гр. Толстого. Онъ поставилъ себѣ жизненную, живую цѣль, работаетъ для нея, наконецъ, какъ ему кажется, достигъ ея, узналъ, чему и какъ слѣдуетъ учить. Вдругъ является ученый человѣкъ, г. Марковъ, и говоритъ: какимъ вы однако вздоромъ занимаетесь! развѣ вы можете придумать какое нибудь свое собственное рѣшеніе этого вопроса, независимое отъ историческихъ условій, въ которыхъ вы живете? Понятно ли читателю все безобразіе этого рипоста г. Маркова, хотя въ основаніи его лежитъ несомнѣнная истина: гр. Толстой, какъ и всякій другой, не можетъ вылѣзти изъ историческихъ условій. Дѣло въ томъ, что въ словахъ г. Маркова есть истина, но она пристраивается имъ совсѣмъ не къ мѣсту. Это часто бываетъ, что ученые люди суютъ несомнѣнныя истины не туда, гдѣ имъ нужно быть. Очки превосходная вещь, но когда мартышка надѣвала ихъ себѣ на хвостъ, она дѣлала большую ошибку. Мы, профаны, считаемъ своимъ священнымъ правомъ, котораго у насъ отнять никто не можетъ, право нравственнаго суда надъ собой и другими, право познанія добра и зла, право называть мерзавца мерзавцемъ. Законосообразность человѣческихъ дѣйствій есть великая истина, но она не должна посягать на это право, хотя бы уже потому, что она съ нимъ ничего не подѣлаетъ. Въ этой импотенціи не къ мѣсту пристроенной истины заключается собственно комическая сторона ученыхъ набѣговъ на наше право называть

мерзавца мерзавцемъ. Не будь ея, этой комической стороны, можно было бы ужаснуться тому неслыханному насилію надъ человѣческой личностью, которое позволяютъ себѣ нѣкоторые ученые люди, стараясь убѣдить насъ, что мерзавецъ есть только продуктъ исторіи и что мы не смѣемъ даже помыслить о дѣятельности по собственному вкусу, независимо отъ «историческихъ условій» и «потребностей времени». Дыба, испанскій оселъ, нюренбергская желѣзная дѣвица, всѣ ужасы инквизиціи и русскихъ застѣнковъ были бы милыми игрушками въ сравненіи съ этимъ насиліемъ, если бы только оно могло когда нибудь переселиться изъ области словоизверженія въ область живой дѣйствительности. Теперь духъ насилія выражается только тѣмъ, что, какъ очень неправильно по формѣ, но очень мѣтко и вѣрно говоритъ гр. Толстой, «историческое воззрѣніе не только не споритъ съ вами о томъ, необходима-ли свобода для человѣка, о томъ есть или нѣтъ Бога, о томъ хороша или нехороша Иліада, не только ничего не дѣлаетъ для достиженія той свободы, которой вы желаете, для убѣжденія или разубѣжденія васъ въ существованіи Бога или въ красотѣ Иліады, а только указываетъ вамъ то мѣсто, которое наша внутренняя потребность, любовь къ правдѣ или красотѣ занимаютъ въ исторіи». Это—несомнѣнное выраженіе духа насилія. Историческій воззритель, если такое существительное возможно, только потому стремится отравить вамъ извѣстное наслажденіе, что самъ онъ неспособенъ его оцѣнить. Собственныя свои цѣли онъ преслѣдуетъ такъ, какъ будто бы они имѣли вѣчную, непроходящую цѣну. Вонъ, напримѣръ, Спенсеръ сочиняетъ соціологію, которая должна остаться истинною даже въ отдаленнѣйшемъ мракѣ будущаго, а радикалу и торію говоритъ: благословляю васъ на всѣ ваши глупости, потому что онѣ свое опредѣленное мѣсто въ исторіи займутъ; вы оба врете, но ничего, продолжайте, законами исторіи предписано вамъ обоимъ нѣсколько времени поврать и затѣмъ умолкнуть. Ясно, что Спенсеръ потому только можетъ такъ относиться къ радикалу и торію, что ему совершенно чужды волнующіе ихъ интересы, что ему рѣшительно все равно, восторжествуетъ ли который нибудь изъ нихъ, и вообще все равно, какъ пойдутъ дѣла, о которыхъ спорятъ торій и радикалъ. Когда рѣчь идетъ о скверныхъ каминныхъ щипцахъ и неудобныхъ аптекарскихъ склянкахъ, Спенсеръ совершенно измѣняетъ тонъ: онъ не говоритъ, что скверные щипцы займутъ свое мѣсто въ исторіи; онъ просто говоритъ, что щипцы скверны, потому что относится къ щипцамъ и склянкамъ, какъ живой человѣкъ. Величественныя запрещенія искать чего нибудь, не помышляя объ историческихъ условіяхъ, и столь же величественныя дозволенія врать сообразно историческимъ условіямъ, суть продукты умственной мертвечины, мертвеннаго отношенія къ явленіямъ.

Итакъ, значеніе историческихъ условій, какъ факторовъ, опредѣляющихъ дѣятельность личности, несомнѣнно, но столь же несомнѣнны право и возможность для личности судить о явленіяхъ жизни безъ отношенія къ мѣсту ихъ въ исторіи, а сообразно той внутренней цѣнности, которую имъ придаетъ та или другая личность въ каждую данную минуту. Это неизбѣжно вытекаетъ изъ условій человѣческой природы. Противорѣчіе между необходимостью и свободой по существу неразрѣшимо, и мы должны попеременно опираться то на ту, то на другую. Когда на одну, когда на другую? Гр. Толстой отвѣчаетъ на этотъ вопросъ въ статьѣ «Прогрессъ и опредѣленіе образованія». Но рѣзче и рельефнѣе выходитъ отвѣтъ, данный въ много осмѣянномъ одними и много расхваленномъ другими философскомъ приложеніи къ «Войнѣ и миру». Тамъ есть рядъ опредѣленій, изъ которыхъ я приведу слѣдующія два: «Дѣйствія людей подлежатъ общимъ, неизмѣннымъ законамъ, выражаемымъ статистикой. Въ чемъ же состоитъ отвѣтственность человѣка передъ обществомъ, понятіе о которой вытекаетъ изъ сознанія свободы?—вотъ вопросъ права. Поступки человѣка вытекаютъ изъ его прирожденнаго характера и мотивовъ, дѣйствующихъ на него. Что такое есть совѣсть и сознаніе добра и зла поступковъ, вытекающихъ изъ сознанія свободы?—вотъ вопросъ этики». (Сочиненія, VIII, 166). Въ русской литературѣ мнѣ извѣстна только одна постановка вопроса о необходимости и свободѣ человѣческихъ дѣйствій, совпадающая съ постановкою гр. Толстого и не уступающая ей въ ясности и категоричности. Она сдѣлана однимъ изъ сотрудниковъ «Отеч. Зап.» въ статьѣ «Г. Кавелинъ, какъ психологъ» («Отеч. Зап.», 1872, № 11): «Вопросъ о произвольности не существуетъ для науки. Психологія неизбѣжно разсуждаетъ, какъ бы онъ былъ рѣшенъ отрицательно. Логика и этика столь же неизбѣжно разсуждаютъ, какъ бы онъ былъ рѣшенъ положительно».

Я не безъ задней мысли воспользовался случаемъ сопоставить мнѣніе гр. Толстого съ мнѣніемъ «Отечественныхъ Записокъ» и въ особенности радъ тому, что это совпаденіе имѣетъ мѣсто на пунктѣ высокой важности, на такомъ теоретическомъ вопросѣ, который всѣмъ вопросамъ вопросъ. Дѣло въ томъ, что многихъ и до сихъ поръ интри-

гуетъ появленіе въ «Отечественныхъ Запискахъ» статьи гр. Толстого. Такъ увѣряетъ, по крайней мѣрѣ, авторъ напечатанной въ № 4 «Дѣла» статьи «Народъ учить или у народа учиться», г. «Все тотъ же», который и самъ посвящаетъ этому обстоятельству нѣсколько глубокомысленныхъ страницъ. Статья его «посвящается нашимъ профанамъ вообще и профану «Отечественныхъ Записокъ» въ частности». Такое посвященіе, конечно, меня до глубины души тронуло и даже очень мнѣ польстило. Когда я въ своихъ запискахъ обращаюсь къ ученымъ людямъ, я это дѣлаю, собственно говоря, только ради формы, потому что нужна же какая-нибудь форма изложенія. Въ сущности же я вполнѣ былъ увѣренъ, что ученые люди никогда не снизойдутъ до отвѣтовъ на мои вопросы, до разъясненія моихъ недоразумѣній, вообще никогда не обратятъ вниманія на меня, бѣднаго профана. Теперь я боюсь напротивъ, какъ бы мнѣ не возгордиться, потому что мною занялся «Все тотъ же»! Понимаете? все тотъ же... знаменитый... тотъ самый, который и прежде уже много разъ... Впрочемъ, я не знаю, чѣмъ именно прославился г. «Все тотъ же», но вполнѣ увѣренъ, что онъ прославился чѣмъ-нибудь хорошимъ. Мои собственные интересы побуждаютъ меня вѣрить этому, потому что не было бы ничего для меня лестнаго, еслибы «Все тотъ же» оказался какимъ нибудь Петромъ Зудотѣшинымъ, который мои записки «читалъ и Содѣржаніѣ оныхъ нѣ адобрилъ». Притомъ же онъ въ такомъ случаѣ не выбралъ бы для себя столь великолѣпнаго и многозначительнаго псевдонима. Нѣтъ, г. «Все тотъ же» несомнѣнно— человѣкъ ученый и даже знаменитый, хотя и путешествующій инкогнито. Но вотъ что мнѣ кажется страннымъ. Г. «Все тотъ же» находитъ, что безобразія нѣмецкихъ педагоговъ и ихъ русскихъ подражателей указаны гр. Толстымъ фактически вѣрно, и тутъ же глумится надъ темными профанами, которые по указанію гр. Толстого начали-дескать травить педагоговъ; а прежде небось ничего не замѣчали. Что же дѣлать? Я, по крайней мѣрѣ, откровенно покаялся: дѣйствительно не замѣчалъ и даже никогда не думалъ о педагогахъ. Но вотъ г. «Все тотъ же» замѣчалъ, думалъ, совершенно независимо отъ гр. Толстого понималъ, что наша педагогія представляетъ собраніе монстровъ и раритетовъ,—и все-таки молчалъ. Это ужъ даже и не великодушно. Я вполнѣ увѣренъ, что г. «Все тотъ же» двигалъ науку впередъ и написалъ множество замѣчательнѣйшихъ произведеній, но о безобразіяхъ педагоговъ онъ ничего не сказалъ. Это я навѣрное знаю, потому что кромѣ гр. Толстого, о нихъ никто не говорилъ. Что же удивительнаго въ томъ, что мы, профаны, благодаримъ гр. Толстого, а не г. «Все того же»? Еще одна странность. Поговоривъ о славянофильствѣ, почвенности, поглумившись надъ «народной душой» и мистицизмомъ, словомъ, продѣлавъ все то, что обыкновенно продѣлывается людьми, разсуждающими о гр. Толстомъ, г. «Все тотъ же» весьма хитро спрашиваетъ: «не обратились ли наши «профаны» въ Ивановъ Непомнящихъ?» Затѣмъ идутъ опять разсужденія объ отсталости гр. Толстого, о томъ, какъ относился къ ясно-полянскимъ теоріямъ «Современникъ», и о томъ, что появленіе въ «Отечественныхъ Запискахъ» статьи гр. Толстого многихъ удивило. Вотъ удивительный полемическій пріемъ. Вы высказываете извѣстныя мнѣнія, съ ними отчасти соглашаются, но главнымъ образомъ закидываютъ васъ вопросами: а почему ты не сказалъ того-то? а почему «Современникъ» смотрѣлъ на такой-то предметъ иначе? Помилуйте, ваше великолѣпіе, да какое же мнѣ дѣло до «Современника»? Въ «Современникѣ» говорилось напримѣръ, что г. Благосвѣтловъ спалъ на шубахъ въ передней гр. Кушелева-Безбородко. Я не вижу никакого резона, почему я обязанъ повторять это. И зачѣмъ упрекать человѣка за то, что онъ того-то и того-то не хотѣлъ или не успѣлъ сказать? Передъ вами то, что онъ хотѣлъ сказать и сказалъ,—за это его и судите. А въ моихъ запискахъ передъ глазами его великолѣпія, г. «Все того же», было слѣдующее: профаны приносятъ свою благодарность гр. Толстому за то, что онъ открылъ имъ глаза на цѣлый міръ безобразій, которыя 1) отнюдь не имѣютъ ничего общаго съ наукой и 2) топча въ грязь требованія народа, практически безсильны привить ему просвѣщеніе. Вотъ и все, ваше великолѣпіе. На счетъ же славянофильства и другихъ грѣховъ гр. Толстого мною обѣщана была особая бесѣда, которой его великолѣпію слѣдовало бы подождать.

Итакъ, «либеральныя» (если бы вы знали, читатель, какъ мнѣ противно писать это истасканное слово) «Отечественныя Записки» напечатали, къ удивленію многихъ, статью гр. Толстого. Этого мало. Они устами Профана заявили свою солидарность съ этой статьей. Мало и этого. Они рѣшаются заявить, что и помимо этой педагогической статьи они признаютъ многія воззрѣнія гр. Толстого своими собственными. Я привелъ уже одинъ такой случай совпаденія, приведу и другой, болѣе осязательный. Въ томъ же № 11 «Отеч. Зап.» за 1872 годъ есть мои скромныя литературныя замѣтки, въ которыхъ я съ величайшимъ почтеніемъ и сочув-

ствіемъ отношусь къ статьѣ гр. Толстого «Прогрессъ и опредѣленіе образованія» и притомъ къ той именно части статьи, которая наименѣе либерально относится къ цѣлому ряду практическихъ вопросовъ. Такъ что грѣхъ «Отеч. Зап.» есть грѣхъ старый. Будемъ ужъ грѣшить до конца.

Человѣкъ, будучи обязанъ признать всякое историческое явленіе законосообразнымъ, имѣетъ однако логическое и нравственное право бороться съ нимъ, признавая его пагубнымъ, вреднымъ, безнравственнымъ. Отсюда прямой выводъ, что историческій ходъ событій самъ по себѣ совершенно безсмысленъ и, взятый въ своей грубой, эмпирической цѣлости, можетъ оказаться такимъ смѣшеніемъ добра и зла, что послѣднее перевѣситъ первое. Гр. Толстой дѣлаетъ этотъ выводъ. Онъ не только подвергаетъ осмѣянію афоризмъ «что исторично, то разумно», но кромѣ того, довольно подробно анализируя ходячее понятіе прогресса, приходитъ къ заключенію, что историческій путь, которымъ идетъ западная Европа и па который сравнительно недавно вступила Россія, отнюдь не усыпанъ розами. Гр. Толстой полагаетъ далѣе, что этотъ путь развитія не есть единственный и что онъ можетъ и долженъ быть избѣгнутъ Россіей. Извѣстно, что совершенно такъ же смотрятъ на дѣло славянофилы и ихъ выродки—«почвенники». При ближайшемъ однако разсмотрѣніи анализа прогресса гр. Толстого оказывается, что онъ самымъ существеннымъ образомъ отличается отъ славянофильскихъ воззрѣній. Читатель въ этомъ сейчасъ убѣдится.

Покончивъ съ фатализмомъ, гр. Толстой обращается къ оптимизму. Г. Марковъ полагалъ, что искать критерія образованія нѣтъ никакой надобности, потому что дѣло и безъ него очень просто: «каждый вѣкъ кидаетъ въ общую кучу свою горсть, и чѣмъ дольше мы живемъ, тѣмъ выше поднимается эта куча, тѣмъ выше и мы съ ней поднимаемся». Такимъ образомъ все идетъ къ лучшему въ семъ наилучшемъ изъ міровъ, шиповъ становится все меньше, а розы цвѣтутъ и благоухаютъ все роскошнѣе. Гр. Толстой находитъ, что этотъ образъ кучи, возрастающей и вмѣстѣ съ тѣмъ поднимающей насъ, далеко не передаетъ истиннаго смысла исторіи. Движенія исторіи онъ не отрицаетъ, но онъ не согласенъ признавать верхніе, позднѣйшіе слои исторической кучи лучшими только потому, что они—верхніе позднѣйшіе. Онъ требуетъ для оцѣнки историческихъ явленій иныхъ, болѣе сложныхъ пріемовъ, къ выработкѣ которыхъ приступаетъ весьма оригинальнымъ образомъ. Именно онъ задаетъ себѣ вопросъ: кто признаетъ ростъ исторической кучи, обыкновенно называемой прогрессомъ, кто признаетъ его благомъ? «Такъ называемое общество, незанятые классы, по выраженію Бокля». Разсматривая нѣкоторыя, наиболѣе выдающіяся «явленія прогресса» (мы условились не придираться къ неточности и неправильности выраженій), гр. Толстой приходитъ къ заключенію, что они дѣйствительно суть благо для «незанятыхъ классовъ». Напримѣръ, по телеграфнымъ проволокамъ «пролетаетъ мысль о томъ, что возвысилось требованіе на такой-то предметъ торговли, и какъ потому нужно возвысить цѣну на этотъ предметъ, или мысль о томъ, что я, русская помѣщица, проживающая во Флоренціи, слава Богу, укрѣпилась нервами, обнимаю моего обожаемаго супруга и прошу прислать мнѣ въ наискорѣйшемъ времени 40,000 франковъ»; сообщаются свѣдѣнія о «дешевизнѣ или дороговизнѣ сахара или хлопчатой бумаги, о низверженіи короля Оттона, о рѣчи, произнесенной Пальмерстономъ и Наполеономъ III». Изъ всего этого незанятые классы извлекаютъ огромныя выгоды и много удовольствія. Извлекаютъ они ихъ и изъ книгопечатанія, изъ улучшенныхъ путей сообщенія. Но почему же народъ $^{9}/_{10}$ всего населенія цивилизованныхъ странъ, «занятые классы», относятся къ благамъ цивилизаціи по малой мѣрѣ равнодушно, а то и прямо враждебно? Потому, отвѣчаетъ гр. Толстой, что блага цивилизаціи — для народа вовсе не блага, они или проходятъ совершенно мимо его, или приносятъ ему больше зла, чѣмъ пользы. Г. Марковъ ссылался на Маколея. Гр. Толстой утверждаетъ, что изъ знаменитой 3-й главы первой части исторіи Маколея можно выудить только слѣдующіе, наиболѣе выдающіеся факты: «1) Народонаселеніе увеличилось,—такъ что необходима теорія Мальтуса. 2) Войска не было,—теперь оно стало огромно; съ флотомъ—тоже самое. 3) Число мелкихъ землевладѣльцевъ уменьшилось. 4) Города стянули къ себѣ большую часть народонаселенія. 5) Земля обнажилась отъ лѣсовъ. 6) Заработная плата стала на половину больше, цѣны же на все увеличились и удобствъ въ жизни стало меньше. 7) Подать на бѣдныхъ удесятерилась. Газетъ стало больше, освѣщеніе улицъ лучше, дѣтей и женъ меньше бьютъ и англійскія дамы стали писать безъ орѳографическихъ ошибокъ». Гр. Толстой убѣжденъ, что совокупность этихъ явленій, ихъ общій характеръ несомнѣнно выгоденъ для незанятыхъ классовъ, которые поэтому съ своей точки зрѣнія имѣютъ всѣ резоны признавать его благомъ, но они не имѣютъ права навязывать свое воззрѣніе народу; народъ, опять таки съ своей точки зрѣнія, имѣетъ. тоже всѣ резоны относиться къ перечисленнымъ фактамъ вполнѣ равно-

душно, а отчасти и враждебно. «Интересы общества (подъ обществомъ гр. Толстой разумѣетъ такъ-называемые образованные классы) и народа всегда бываютъ противоположны. Чѣмъ выгоднѣе одному, тѣмъ невыгоднѣе другому». Сообразно этому распредѣляются и понятія «общества» и народа о томъ или другомъ историческомъ явленіи въ отдѣльности и объ общемъ направленіи исторіи. Но, спрашивается, неужели мы можемъ положиться на мнѣнія людей грубыхъ и невѣжественныхъ, «проводящихъ жизнь на полатяхъ, въ курной избѣ или за сохою, ковыряющихъ сами себѣ лапти и ткущихъ себѣ рубахи, никогда не читавшихъ ни одной книги, разъ въ двѣ недѣли снимающихъ съ насѣкомыми рубаху, по солнышку и по пѣтухамъ узнающихъ время и не имѣющихъ другихъ потребностей, какъ лошадиная работа, спанье, ѣда и пьянство?» Гр. Толстой самымъ рѣшительнымъ образомъ становится на сторону грубаго, грязнаго и невѣжественнаго народа. «Я полагаю, говоритъ онъ, что эти люди, называемые дикими, и цѣлыя поколѣнія этихъ дикихъ суть точно такіе же люди и точно такое же человѣчество, какъ Пальмерстоны, Оттоны, Бонапарты. Я полагаю, что поколѣнія работниковъ носятъ въ себѣ точно тѣ же человѣческія свойства и въ особенности свойство искать, гдѣ лучше, какъ рыба, гдѣ глубже, какъ и поколѣнія лордовъ, бароновъ, профессоровъ, банкировъ и т. д. Въ этой мысли подтверждаетъ и мое личное, безъ сомнѣнія, малозначущее убѣжденіе, состоящее въ томъ, что въ поколѣніяхъ работниковъ лежитъ и больше силы, и больше сознанія правды и добра, чѣмъ въ поколѣніяхъ бароновъ, банкировъ и профессоровъ, и, главное, подтверждаетъ меня въ этой мысли то простое наблюденіе, что работникъ точно также саркастически и умно обсуживаетъ барина и смѣется надъ нимъ за то, что онъ не знаетъ, что соха, что сволока, что гречиха, что крупа; когда сѣять овесъ, когда гречу; какъ узнать, какой слѣдъ; какъ узнать, тельна ли корова или нѣтъ; и за то, что баринъ живетъ, всю жизнь ничего не дѣлая и т. п. Точно такъ же какъ обсуживаетъ баринъ работника и подтруниваетъ надъ нимъ за то, что тотъ говоритъ табѣ сабѣ, фитанецъ, плантъ и т. п., и за то, что онъ въ праздникъ напивается, какъ животное, и не знаетъ, какъ разсказать дорогу. То же наблюденіе поражаетъ меня, когда два человѣка, разойдясь между собою, совершенно искренно называютъ другъ друга дураками и подлецами. Еще болѣе поражаетъ меня это наблюденіе въ столкновеніяхъ восточныхъ народовъ съ европейскими. Индѣйцы считаютъ англичанъ варварами и злодѣями, англичане — индѣйцевъ; японцы — европейцевъ, европейцы — японцевъ; даже самые прогрессивные народы — французы считаютъ нѣмцевъ тупоголовыми, нѣмцы считаютъ французовъ безмозглыми. Изъ всѣхъ этихъ наблюденій я вывожу то умозаключеніе, что ежели прогрессисты считаютъ народъ неимѣющимъ права обсуждать своего благосостоянія и народъ считаетъ прогрессистовъ людьми, озабоченными корыстными личными видами, то изъ этихъ противоположныхъ воззрѣній нельзя вывести справедливости ни той, ни другой стороны. И потому я долженъ склониться на сторону народа, на томъ основаніи, что 1) народа больше, чѣмъ общества, и что потому должно предположить, что большая доля правды на сторонѣ народа; 2) и главное, потому, что народъ безъ общества прогрессистовъ могъ бы жить и удовлетворять всѣмъ своимъ человѣческимъ потребностямъ, какъ-то: трудиться, веселиться, любить, мыслить и творить художественныя произведенія (Иліада, русскія пѣсни), прогрессисты же не могли бы существовать безъ народа». Въ концѣ-концовъ гр. Толстой объясняетъ, что «весь интересъ исторіи заключается для него не въ прогрессѣ цивилизаціи, а въ прогрессѣ общаго благосостоянія. Прогрессъ же благосостоянія, продолжаетъ онъ, по нашимъ убѣжденіямъ, не только не вытекаетъ изъ прогресса цивилизаціи, но большею частью противоположенъ ей. Ежели есть люди, которые думаютъ противное, то это должно быть доказано. Доказательствъ же этихъ мы не находимъ ни въ непосредственномъ наблюденіи явленій жизни, ни на страницахъ историковъ, философовъ и публицистовъ... Эти люди признаютъ безъ всякаго основанія вопросъ о тождествѣ общаго благосостоянія и цивилизаціи рѣшеннымъ».

Но, можетъ быть, прогрессъ, какъ онъ выразился въ исторіи Западной Европы, есть нѣчто фатальное, нѣчто неизбѣжно обязательное какъ для самой Европы въ будущемъ, такъ и для другихъ странъ, стоящихъ на низшихъ ступеняхъ цивилизаціи? Изъ предыдущаго уже видно, что гр. Толстой долженъ былъ отвѣчать на этотъ вопросъ отрицательно. Онъ такъ и отвѣчаетъ. Онъ говоритъ, что «не считаетъ этого движенія неизбѣжнымъ». Обращаясь къ Россіи, онъ дѣлаетъ нѣсколько бѣглыхъ замѣчаній о разницѣ въ условіяхъ ея жизни и жизни Западной Европы. Я приведу только одно изъ этихъ замѣчаній. Упомянувъ о мнѣніи Маколея, что благосостояніе рабочаго народа измѣряется высотой заработной платы, гр. Толстой спрашиваетъ: «Неужели мы, русскіе, до такой степени не хотимъ знать и не знаемъ положенія своего народа, что повторимъ такое безсмысленное и ложное для насъ положеніе? Неужели не очевидно для

каждаго русскаго, что заработная плата для русскаго простолюдина есть случайность, роскошь, на которой ничего нельзя основывать? Весь народъ, каждый русскій человѣкъ безъ исключенія назоветъ несомнѣнно богатымъ степного мужика съ старыми одоньями хлѣба на гумнѣ, никогда не видавшаго въ глаза заработной платы, и назоветъ несомнѣнно бѣднымъ подмосковнаго мужика въ ситцевой рубашкѣ, получающаго постоянно высокую заработную плату. Не только возможно въ Россіи опредѣлять богатство степенью заработной платы, но смѣло можно сказать, что въ Россіи появленіе заработной платы есть признакъ уменьшенія богатства и благосостоянія. Это правило мы, русскіе, изучающіе свой народъ, можемъ провѣрить во всей Россіи и потому, не разсуждая о богатствѣ государствъ и богатствѣ всей Европы, можемъ и должны сказать, что для Россіи, то-есть для большей массы русскаго народа, высота заработной платы не только не служитъ мѣриломъ благосостоянія, но одно появленіе заработной платы показываетъ упадокъ народнаго богатства».

Этимъ исчерпываются, кажется, всѣ существенные пункты статьи «Прогрессъ и опредѣленіе образованія». Теперь я прошу объяснить мнѣ: что общаго между приведенными воззрѣніями и мистицизмомъ, фатализмомъ, оптимизмомъ, квасным патріотизмомъ, славянофильствомъ и проч., въ которыхъ только лѣнивый не упрекаетъ гр. Толстого. Безъ сомнѣнія его анализъ понятій прогресса и цивилизаціи далеко неполонъ (авторъ впрочемъ и не ставилъ себѣ цѣлью полноту анализа), страдаетъ и другими недостатками. Но дѣло не въ этомъ. Я обращаю только сниманіе читателя на точку зрѣнія гр. Толстого. Она прежде всего не нова. Она установлена лѣтъ приблизительно за тридцать до занимающей насъ статьи, но отнюдь не славянофилами, а европейскими соціалистами. Если гдѣ искать у гр. Толстого славянофильскихъ или «почвенныхъ» тенденцій, такъ именно въ указанной статьѣ, которая, собственно говоря, представляетъ цѣлую политическую программу въ сжатомъ, скомканномъ видѣ. Между тѣмъ, здѣсь-то и выступаетъ всего рѣзче непричастность гр. Толстого къ славянофильству. Въ статьѣ нѣтъ и помину объ одной изъ любимѣйшихъ темъ славянофильства —о великой роли, предназначенной Провидѣніемъ славянскому міру, совершенно посрамить міръ романо-германскій. Мало того, что тема эта не затронута въ статьѣ,—гр. Толстой и вообще не написалъ на нее ни одной строки,—статья отрицаетъ ее въ самомъ корнѣ, ибо гр. Толстой признаетъ, что историческій ходъ событій самъ по себѣ неразуменъ, безсмысленъ, что для человѣка неустранимо сознаніе возможности съ нимъ бороться, свободно ставя передъ собой идеалы. Гр. Толстой съ своей обычной смѣлостью бросаетъ перчатку историческимъ условіямъ, вовсе не имѣя въ виду, соотвѣтствуютъ они или не соотвѣтствуютъ началамъ русскаго, а тѣмъ паче славянскаго національнаго духа. Мистицизмъ, увѣренный, что имъ уловлены пути, которыми Провидѣніе направляетъ человѣчество къ извѣстной цѣли, и пошлая трезвость, не знающая нравственной оцѣнки историческихъ явленій, обѣ эти крайности, такъ часто совпадающія, уничтожены гр. Толстымъ однимъ ударомъ. Не отрицая законовъ исторіи, онъ провозглашаетъ право нравственнаго суда надъ исторіей, право личности судить объ историческихъ явленіяхъ не только, какъ о звеньяхъ цѣпи причинъ и слѣдствій, но и какъ о фактахъ, соотвѣтствующихъ или несоотвѣтствующихъ ея, личности, идеаламъ. Право нравственнаго суда есть вмѣстѣ съ тѣмъ и право вмѣшательства въ ходъ событій, которому соотвѣтствуетъ обязанность отвѣчать за свою дѣятельность. Живая личность со всѣми своими помыслами и чувствами становится дѣятелемъ исторіи на свой собственный страхъ. Она, а не какая-нибудь мистическая сила, ставитъ цѣли въ исторіи и движетъ къ нимъ событія сквозь строй препятствій, поставляемыхъ ей стихійными силами природы и историческихъ условій. Гр. Толстой во всѣхъ своихъ доводахъ опирается единственно на разумъ и логическія доказательства, — что было бы для славянофила почти невозможнымъ подвигомъ при разсужденіяхъ о русскомъ народѣ и европейской цивилизаціи. Правда, какъ и славянофилы, гр. Толстой много говоритъ о народѣ и скептически относится къ благамъ европейской цивилизаціи. Но развѣ сочувствіе народу и критика европейской цивилизаціи составляютъ монополію славянофиловъ? Во всякомъ случаѣ гр. Толстой иначе относится къ обоимъ этимъ пунктамъ свлавянофильской программы. Хотя славянофилы и много толковали о «народѣ», но почти всегда разумѣли подъ этимъ словомъ стихійную совокупность людей, говорящихъ русскимъ языкомъ и населяющихъ Россію. Гр. Толстой не признаетъ этого единства русскихъ людей или, по крайней мѣрѣ, усматриваетъ въ немъ такія два крупныя обособленія, что считаетъ возможнымъ приравнивать ихъ отношенія къ отношеніямъ враждебныхъ національностей. Для него «общество» и народъ стоятъ другъ передъ другомъ въ такихъ же, если можно такъ выразиться, нравственныхъ позахъ, какъ французы и нѣмцы въ тотъ моментъ, когда они взаимно величаютъ другъ друга безмозглыми

и пустоголовыми. Интересы «общества» и народа, говоритъ онъ, всегда противоположны. Правда, славянофилы также указывали на рознь идеаловъ и интересовъ высшихъ и низшихъ слоевъ совокупности русскихъ людей. Они полагали, что рознь эта порождена Петровскимъ переворотомъ и только имъ. Говорятъ, что и гр. Толстой относится къ Петровскимъ реформамъ отрицательно. Я этого не знаю, потому что печатно гр. Толстой въ такомъ смыслѣ не высказывался. Во всякомъ случаѣ это весьма возможно. Но я почти увѣренъ, что печатное изложеніе мнѣній гр. Толстого о Петровской реформѣ вполнѣ обнаружило бы его непричастность славянофильству, хотя бы ужъ потому, что Русь до-Петровскую онъ не можетъ себѣ представлять въ розовомъ свѣтѣ. И въ до-Петровской Руси существовали раздѣльно народъ, «занятые классы» и, какъ выражается гр. Толстой, «общество», правда, грубое, грязное, невѣжественное, но все-таки «общество». Что гр. Толстой именно такъ смотритъ на дѣло, это видно и изъ общаго характера вышеприведенныхъ его воззрѣній, и изъ нѣкоторыхъ прямыхъ указаній. Очень любопытно, напримѣръ, слѣдующее замѣчаніе. Въ статьѣ «Ясно-полянская школа за ноябрь и декабрь мѣсяцы» гр. Толстой разсуждаетъ между прочимъ о преподаваніи исторіи и объ томъ, слѣдуетъ ли ребятамъ только сообщать свѣдѣнія, или же давать пищу ихъ патріотическому чувству. Разсказавъ о впечатлѣніи, произведенномъ на дѣтей повѣстью о Куликовской битвѣ, онъ замѣчаетъ: «Но если удовлетворять національному чувству, что же останется изъ всей исторіи? 612, 812 года — и всего». Это — замѣчаніе глубоко вѣрное само по себѣ и вполнѣ совпадающее съ общимъ тономъ *десницы* гр. Толстого. Дѣйствительно, 1612, 1812 года и отчасти времена монгольскаго ига суть единственные моменты національной русской исторіи, въ которые не было никакой розни между цѣлями и интересами «общества», и народа. Много другихъ блестящихъ войнъ вела Россія, и для «общества», для «незанятыхъ классовъ» Суворовскій переходъ черезъ Альпы или Венгерская компанія могутъ представлять даже большій патріотическій интересъ, чѣмъ 1612 и даже чѣмъ 1812 годъ. «Общество» знаетъ цѣну тѣмъ отвлеченнымъ началамъ, ради которыхъ Суворовъ переходилъ черезъ С. Готардъ или русскія войска ходили усмирять венгровъ. Народъ—профанъ въ этихъ отвлеченныхъ началахъ: они не будятъ въ немъ никакихъ необыденныхъ чувствъ, потому что не имѣютъ съ нимъ жизненной связи. И я увѣренъ, что разсказъ о почти невѣроятномъ подвигѣ перехода черезъ Чертовъ мостъ или о томъ, что Гёргей пожелалъ сдаться русскимъ, а не австрійцамъ,—не могутъ возбудить въ народѣ ни патріотической гордости, ни вообще какого бы то ни было живого интереса, не смотря на то, что въ обоихъ этихъ случаяхъ русское оружіе покрылось неувядаемою славой. Худо ли это, хорошо ли, это—другой вопросъ, но это—такъ. Гр. Толстой, въ той же статьѣ о преподаваніи исторіи, неподражаемо мастерски передаетъ сцену оживленія, возбужденнаго въ Ясно-полянской школѣ разсказомъ о войнѣ 1812 года, особенно тотъ моментъ, когда, по опредѣленію одного изъ учениковъ, Кутузовъ наконецъ «окарачилъ» Наполеона. Суворовъ, Потемкинъ, Румянцевъ и другіе славные русскіе полководцы «окарачивали» почище Кутузова, но они всегда останутся для народа блѣдными и неинтересными фигурами. Вотъ что, я думаю, хотѣлъ сказать гр. Толстой своимъ замѣчаніемъ объ исключительномъ, съ точки зрѣнія народа, характерѣ 1612 и 1812 годовъ. Глубоко патріотическая подкладка «Войны и мира» въ связи съ другими причинами утвердила во многихъ убѣжденіе, что гр. Толстой есть квасной патріотъ, славянофилъ, что онъ падаетъ ницъ передъ всѣмъ, что отзывается пресловутой и едва ли кому-нибудь понятной «почвой», что онъ вѣритъ въ какое-то мистическое величіе Россіи и проч. Одни радовались, другіе бранились, а между тѣмъ, это убѣжденіе рѣшительно ни на чемъ не основано. Оно не оправдывается даже *шуйцей* гр. Толстого, о которой—въ слѣдующій разъ. Я не отрицаю случайныхъ совпаденій воззрѣній гр. Толстого съ тѣмъ или другимъ пунктомъ славянофильскаго ученія, но это совпаденія именно только случайныя. Гр. Толстой написалъ рѣзко патріотическую хронику отечественной войны, онъ написалъ бы, вѣроятно, такую же хронику событій смутнаго времени. Не спорю, онъ впалъ бы, можетъ быть, при этомъ въ нѣкоторую односторонность и преувеличеніе въ оцѣнкѣ грѣховъ и заслугъ той или другой исторической личности, того или другого историческаго факта. Но одно вѣрно: роста и развитія московской, до-Петровской Руси онъ никогда не изобразитъ розовыми, угодными для славянофиловъ красками. Не напишетъ онъ также ничего подобнаго «Богатырямъ» г. Чаева или «Пугачевцамъ» гр. Сальяса. Сравненіе этихъ романовъ съ «Войной и миромъ» очень соблазнительно и, смѣю думать, было бы небезъинтересно съ точки зрѣнія профана. Но я долженъ отказаться отъ этой соблазнительной темы. Скажу только слѣдующее. Ни отъ читателей, ни отъ критики не укрылась подражательность произведеній гг. Чаева и Сальяса; слишкомъ очевидно было, что эти писатели

рабски копируютъ манеру «Войны и мира». Порѣшено было, что это плохія копіи и только, все было сведено къ степени таланта. Только нашъ уважаемый сотрудникъ, г. Скабичевскій, взглянулъ на дѣло нѣсколько иначе. Но будучи все-таки увѣренъ въ славянофильствѣ гр. Толстого, онъ, мнѣ кажется, далеко не вполнѣ измѣрилъ глубину различія между «Войной и миромъ» съ одной стороны, и «Пугачевцами» и «Богатырями»— съ другой. Гг. Чаевъ и Сальясъ дѣйствительно рабски копировали манеру «Войны и мира» и изо всѣхъ силъ старались то же слово такъ же молвить. Насколько неудачны оказались ихъ старанія, это дѣло второстепенное, въ виду того, что они не сумѣли схватить главнаго и существеннѣйшаго въ воззрѣніяхъ гр. Толстого. Они, гг. Чаевъ и Сальясъ, могутъ любую страницу русской исторіи, не моргнувъ глазомъ, обработать на манеръ «Войны и мира», и выйдетъ ни хуже, ни лучше, чѣмъ «Богатыри» и «Пугачевцы», а гр. Толстой призадумается. А если, паче чаянія, не призадумается и въ Суворовскихъ, напримѣръ, походахъ временъ императора Павла увидитъ общенародное русское дѣло, то напишетъ вещь плохую, сравнительно, разумѣется, говоря. Вещь эта будетъ потому плоха, что гр. Толстой не вѣритъ въ единство цѣлей и интересовъ всѣхъ людей, говорящихъ русскимъ языкомъ, на протяженіи всей русской исторіи. Онъ знаетъ, что единство это есть явленіе крайне рѣдкое въ русской, какъ и въ европейской исторіи, что много нужно условій для совпаденія славы оружія съ интересами и идеалами народа. Онъ лишенъ первобытной невинности и наивности людей, считающихъ возможнымъ и даже обязательнымъ горѣть патріотическимъ пламенемъ при всякой побѣдѣ русскаго оружія и вообще на всякой громкой страницѣ русской исторіи. И если бы онъ вздумалъ заставить своихъ героевъ пламенѣть по такимъ же поводамъ, по какимъ пламенѣютъ почти всѣ «герои», т. е. положительные типы гг. Чаева и Сальяса, — это было бы пламя фальшивое, блѣдное, негодное, недостойное мыслящаго и убѣжденнаго художника.

Повторяю, случайныя совпаденія мнѣній гр. Толстого съ славянофильскими воззрѣніями разныхъ оттѣнковъ возможны и существуютъ, но общій тонъ его убѣжденій, по моему мнѣнію, самымъ рѣзкимъ образомъ противорѣчитъ какъ славянофильскимъ и почвеннымъ принципамъ, такъ и принципамъ «оффиціальной народности». Въ этомъ меня нисколько не разубѣждаютъ и слухи объ отрицательномъ отношеніи гр. Толстого къ Петровской реформѣ. Надо, впрочемъ, замѣтить, что только первые, старые славянофилы ненавидѣли и презирали Петра. Теперешніе же эпигоны славянофильства относятся къ нему совсѣмъ иначе. Года два тому назадъ я былъ приглашенъ на вечеръ, на которомъ долженъ былъ присутствовать одинъ довольно извѣстный петербургскій славянофилъ. «Живого славянофила увидите» заманивали меня. Я пошелъ смотрѣть на живого славянофила. Онъ оказался человѣкомъ очень говорливымъ, краснорѣчивымъ и, между прочимъ, съ большимъ пафосомъ доказывалъ, что Петръ былъ «святорусскій богатырь», «чисто русская широкая натура», что въ немъ цѣликомъ отразились начала русскаго народнаго духа. Это напомнило мнѣ, что тоже прикосновенный къ славянофильству г. Страховъ одно время очень старался доказать, что нигилизмъ есть одно изъ самыхъ яркихъ выраженій началъ русскаго народнаго духа... Я думаю, что если гр. Толстой исполнитъ приписываемое ему намѣреніе написать романъ изъ временъ Петра Великаго, то оставитъ эти несчастныя начала народнаго духа, которыя каждый притягиваетъ за волосы къ чему хочетъ, совсѣмъ въ сторонѣ. Быть можетъ, онъ потщится свалить Петра съ пьедестала, какъ личность; быть можетъ, онъ казнитъ въ немъ человѣка, толкнувшаго Россію на путь *европейскихъ формъ* раздвоенности народа и «общества». Славянофильства тутъ все-таки не будетъ. Критика европейской цивилизаціи, представленная въ статьѣ о прогрессѣ гр. Толстымъ, и критика славянофильская не только не имѣютъ между собою ничего общаго, но мудрено даже найти два изслѣдованія одного и того же предмета, болѣе противоположныя и по исходнымъ точкамъ, и по пріемамъ, и по результатамъ. Прошу читателя сравнить воззрѣнія гр. Толстого съ слѣдующими, напримѣръ, строками, заимствованными изъ статьи «Зигзаги и арабески русскаго домосѣда», напечатанной въ № 4 «Дня» за 1865 годъ. Увѣряю васъ, что я не рылся въ книгахъ для того, чтобы выудить этотъ перлъ. Мнѣ хотѣлось найти что нибудь подходящее для сравненія. Я взялъ первое попавшееся подъ руку славянофильское изданіе и, перевернувъ нѣсколько страницъ, нашелъ слѣдующее:

«Всякимъ довольствомъ обильна, величавымъ покоемъ полна, протекала когда-то старинная дворянская жизнь домосѣдская: медъ, пиво варили, соленья солили и гостей угощали на славу—избыткомъ некупленныхъ, Богомъ дарованныхъ благъ. И этой спокойно-беззаботной жизни не смущала залетная мысль, а если бушевала подчасъ кровь застоялая, — пиры и охота, шуты и веселье разгуломъ утоляли взволновавшуюся буйную кровь». Затѣмъ идетъ длинное, длинное, все въ томъ же шутовскомъ стилѣ, описаніе за-

пустѣнія дворянской домосѣдской жизни. Все это просто подходъ, автору просто хочется сказать, что южной Россіи нужны желѣзныя дороги. Поговоривъ и о русскихъ красавицахъ, и объ удалыхъ тройкахъ, и еще не вѣсть объ чемъ, авторъ подступаетъ, наконецъ, съ Божіей помощью къ Ильѣ Муромцу; ну, а ужъ извѣстное дѣло, что отъ Ильи Муромца можно прямымъ путемъ до чего угодно дойти. Авторъ и доходитъ: «Не старцевъ, каликъ перехожихъ, ждетъ томящійся избыткомъ богатствъ несбытыхъ, земель непочатыхъ, южнорусскій край,—ждетъ онъ желѣзнаго пути отъ срединной Москвы къ Черному морю. Ждетъ его могучаго соловьинаго свиста древній престольный городъ Кіевъ; встрепенется, оживетъ въ немъ старый русскій духъ богатырскій; возсіяютъ яркимъ золотомъ потемнѣвшія златоглавыя церкви и звонче раздастся колокольный тотъ звонъ, что со всѣхъ концовъ земли русской утомленныя силы, нажитое, накопленное горе ко святымъ пещерамъ зоветъ, облегченье, обновленье даетъ. Торный, широкій слѣдъ проложила крѣпкая вѣра нетронутая, да тяжелая, жизнію вскормленая скорбь народная — къ городу Кіеву. Но на перепутьи другомъ создали силы народной жизни новый городъ Украйны, Харьковъ торговый,— бьетъ ключемъ здѣсь торговая русская жизнь, сѣверъ съ югомъ здѣсь мѣну ведетъ и стремятся сюда свѣжія, ретивыя русскія рабочія силы къ непочатымъ землямъ Черноморья и Дона, къ просторнымъ новороссійскимъ степямъ, къ Крыму безлюдному, что стономъ стонетъ, рабочихъ рукъ проситъ. И сильный борецъ противъ Кіева древняго— этотъ юный городъ, народной жизнью вновь указанный, созданный. Томятся, ждутъ города и земли—къ кому направится новый желанный путь, кому дастся сила, кому— безплодіе, безсиліе?» Редакція «Дня» съ своей стороны, т. е. г. И. Аксаковъ, не желая уступать въ паясничествѣ своему корреспонденту, дѣлаетъ такое примѣчаніе отъ себя: «Моря и Москвы хочетъ доступить Кіевъ,—пуще моря Москва нужна Харькову: Кіеву—первый почетъ, да жаль обидѣть и Харькова. Или Русь-богатырь такъ казной-мошной отощала и ума-разуму истеряла, что не подъ силу ей богатырскую, не по ея уму-разуму за единый разъ добыть обоихъ путей, обоихъ морей, желѣзомъ сягнуть до Чернаго черезъ Кіевъ-градъ и Азовское на цѣпь къ Москвѣ черезъ Харьковъ взять, чтобы никому въ обиду не стало?»

Я не объ томъ говорю, что гр. Толстой унизится до такого паясничества только въ томъ случаѣ, если у него Богъ разумъ отниметъ. Это само собой разумѣется. Я обращаю вниманіе читателей на внутреннюю поддѣлку фактовъ и понятій, выглядывающую изъ-подъ этой нелѣпой, рѣжущей ухо поддѣлки рѣчи. Нужды «дворянъ-домосѣдовъ» обставляются звономъ кіевскихъ колоколовъ, Ильей Муромцемъ, каликами перехожими, и выходитъ такъ, какъ будто бы ужъ не о дворянахъ-домосѣдахъ рѣчь идетъ, а о величіи всей Россіи. Вмѣсто дворянъ-домосѣдовъ подсовывается «Русь-богатырь». Съ паясничествомъ или безъ паясничества, но славянофилы всегда очень удобно справлялись съ матеріальными благами проклятой ими европейской цивилизаціи. Они только «духа» овропейскаго не любили, они предпочитали начала русскаго или славянскаго духа. Много они объ этомъ духѣ толковали, и потому выходило такъ, что они—необыкновенно возвышенные идеалисты, до которыхъ гр. Толстому, какъ до звѣзды небесной далеко. Въ самомъ дѣлѣ, онъ критикуетъ европейскую цивилизацію совсѣмъ не съ точки зрѣнія какого бы то ни было «духа», а съ точки зрѣнія такой прозаической и матеріальной вещи, какъ «общее благосостояніе». Съ этой точки зрѣнія онъ признаетъ телеграфы, желѣзныя дороги, книгопечатаніе, заработную плату и другія «явленія прогресса», которыхъ онъ не перечисляетъ, явленіями, выгодными для извѣстной, малой части русской націи и невыгодными для другой, большей. Уличайте его въ преувеличеніи, въ парадоксахъ, доказывайте, что его точка зрѣнія не вѣрна, но не валите же на него того, въ чемъ онъ ни на волосъ не грѣшенъ. Не называйте его славянофиломъ, когда мудрено найти точку зрѣнія болѣе противоположную славянофильской, чѣмъ та, на которой онъ стоитъ. Я далекъ отъ мысли признавать славянофиловъ людьми, сознательно подтасовывавшими факты и понятія — напротивъ, наиболѣе видные славянофилы были люди вполнѣ искренніе. Но тѣмъ не менѣе, оставляя въ сторонѣ ихъ богословскія воззрѣнія и панславизмъ (объ чемъ гр. Толстой не написалъ во всю свою жизнь ни одной строчки), не трудно видѣть, что они провозили не мало контрабанды подъ флагомъ началъ русскаго народнаго духа. Въ экономическомъ отношеніи сдѣлать изъ Россіи Европу легче всего при помощи славянофильской программы, за вычетомъ изъ нея одного только пункта—поземельной общины. Какъ это на первый взглядъ ни странно, но оно такъ. Славянофилы никогда не протестовали противъ утвержденія въ Россіи европейскихъ формъ кредита, промышленности, экономическихъ предпріятій. Они требовали только, чтобы производительныя силы Россіи и ея потребители находились въ русскихъ рукахъ. Такъ напримѣръ, они требовали покровительства русской промышленности, попросту говоря, высо-

кихъ тарифовъ. Обставляя это требованіе орнаментами въ вышеприведенномъ стилѣ, т. е. разсужденіями о величіи Россіи и восклицаніями о каликахъ перехожихъ и кіевскихъ колоколахъ, славянофилы не смущались тѣмъ, что покровительственная торговая политика выгодна не Россіи, а русскимъ заводчикамъ. Подъ покровомъ кіевскихъ колоколовъ и каликъ перехожихъ они, сами того не замѣчая, стремились ускорить появленіе въ Россіи господствующихъ въ Европѣ отношеній между трудомъ и капиталомъ, т. е. того, что сами они готовы были отрицать на словахъ и что составляетъ самое больное мѣсто европейской цивилизаціи. Гарантируйте русскимъ фабрикантамъ десятокъ-другой лѣтъ отсутствія европейской конкуренціи, и вы не отличите Россіи отъ Европы въ экономическомъ отношеніи. Недаромъ весьма просвѣщенные русскіе заводчики проникаются необычайною любовью къ Россіи всякій разъ, когда заходитъ рѣчь о тарифѣ. Недаромъ одинъ изъ ораторовъ засѣдающаго въ эту минуту въ Петербургѣ «съѣзда главныхъ по машиностроительной промышленности дѣятелей», кажется, извѣстный своимъ краснорѣчіемъ г. Полетика, воскликнулъ: тогда (т. е. послѣ десятка-другого лѣтъ отсутствія европейской конкуренціи) мы встрѣтимъ враговъ Россіи русскою грудью и русскимъ желѣзомъ! Вотъ образчикъ чисто славянофильскаго пафоса. Русская грудь, русское желѣзо и враги Россіи играютъ тутъ такую же роль, какъ кіевскіе колокола и Илья Муромецъ въ паясничествѣ «Дня» и его корреспондента изъ дворянъ-домосѣдовъ: совсѣмъ объ нихъ рѣчи нѣтъ, совсѣмъ они не нужны, совсѣмъ они даже безсмысленны, потому что врага нужно встрѣчать просто хорошимъ желѣзомъ, а будетъ ли оно русское или англійское—это не суть важно. Русская грудь, русское желѣзо и враги Россіи притянуты сюда въ качествѣ флага, прикрывающаго контрабанду, скрадывающаго разницу между Россіей и русскими заводчиками. Этимъ-то скрадываніемъ и занимались всегда славянофилы. Они знали себѣ одно: или Русь-богатырь такъ казной-мошной отощала и ума-разума истеряла, что не подъ силу ей богатырскую, не по ея умуразуму имѣть своихъ собственныхъ русскихъ заводчиковъ, свои собственныя акціонерныя общества, своихъ собственныхъ русскихъ концессіонеровъ желѣзныхъ дорогъ и проч. Всѣ выработанныя и освященныя европейской цивилизаціей формы экономической жизни принимались славянофилами съ распростертыми объятіями, со звономъ кіевскихъ и другихъ колоколовъ, если они обставлялись русскими и обрусѣлыми именами собственными. А тѣмъ самымъ вызывалось измѣненіе началъ русской экономической жизни въ чисто европейскомъ смыслѣ. Но измѣненіе не могло ограничиться экономической стороной общественной жизни. Допустимъ, что русскіе фабриканты обезпечены отъ европейской конкуренціи, что вслѣдствіе этого Русь-богатырь имѣетъ своихъ собственныхъ святорусскихъ пролетаріевъ и свою собственную святорусскую буржуазію; что значительная часть деревенскаго населенія, стянувшись къ городамъ, передала свои земли собственнымъ святорусскимъ лэндлордамъ и фермерамъ; что появилась болѣе или менѣе высокая заработная плата, появленіе которой гр. Толстой считаетъ для Россіи признакомъ упадка народнаго богатства и проч. Такимъ образомъ русская промышленность и русское сельское хозяйство процвѣтаютъ. Какъ отзовется это измѣненіе на другихъ сторонахъ русской жизни? Вовсе не надо быть пророкомъ, чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, потому что означенное измѣненіе уже отчасти совершается. Мы видимъ, напримѣръ, что народъ забываетъ тѣ свои, чисто народныя пѣсни, которыя такъ восхищали славянофиловъ, какъ выраженіе началъ русскаго духа, и запѣваетъ:

Мы на фабрикѣ живали,
Мелки деньги получали,—
Мелки деньги пятаки
Поспосили въ кабаки.

Или:

Я куплю свому милому
Тотъ ли бархатный жилетъ.

Этой перемѣнѣ должно, конечно, соотвѣтствовать и измѣненіе нравственнаго характера русскаго рабочаго люда. Политическія условія страны опять-таки необходимо должны измѣниться, экономическая сила буржуазіи и лэндлордовъ необходимо повлечетъ ее по пути развитія одного изъ европейскихъ политическихъ типовъ. Въ концѣ концовъ знаменитыхъ началъ русскаго духа не останется даже на сѣмена, хотя процессъ начался звономъ кіевскихъ колоколовъ и вызовомъ тѣни Ильи Муромца.

Можетъ показаться, что первые славянофилы гораздо глубже и, главное, проницательнѣе ненавидѣли европейскую цивилизацію. Я объ этомъ спорить не буду. Замѣчу только, что Кирѣевскіе, Хомяковъ были поглощены преимущественно богословскими и философско-историческими, вообще отвлеченными, теоретическими интересами, что зависѣло отъ условій времени. Какъ только жизнь выдвинула на очередь вопросы практическіе, такъ немедленно обнаружилось внутреннее противорѣчіе славянофильской доктрины, ея безсознательное тяготѣніе къ провозу европейской контрабанды подъ фла-

гомъ началъ русскаго народнаго духа. Вообще, я вовсе не претендую на хотя бы даже приблизительно полный очеркъ славянофильства и связанныхъ съ нимъ ученій. Славянофильство имѣло много почтенныхъ сторонъ и оказало не мало цѣнныхъ услугъ русскому обществу, чего, впрочемъ, отнюдь нельзя сказать о его преемникахъ, о тѣхъ межеумкахъ, которые получили названіе «почвенниковъ»,—умалчиваю о головоногихъ «Гражданина». Я имѣю въ виду только одинъ, но весьма существенный признакъ славянофильства: въ трогательной идилліи или съ бурнымъ паѳосомъ, серьезно или при помощи буфонады, но славянофилы упорно отождествляли интересы и цѣли «незанятыхъ классовъ» (древней или новой Россіи) съ интересами классовъ занятыхъ, вдвигая ихъ въ національное единство. Это справедливо и относительно первыхъ славянофиловъ. Не стану этого доказывать, а просто сошлюсь на г. Страхова. Этотъ, часто очень тонкій и мѣткій писатель, назвалъ Ренана французскимъ славянофиломъ. А Ренанъ смотритъ на вещи такъ: «Мы уничтожили бы человѣчество, еслибы не допустили, что цѣлыя массы должны жить славою и наслажденіемъ другихъ. Демократъ называетъ глупцомъ крестьянина стараго порядка, работавшаго на своихъ господъ, любившаго ихъ и наслаждавшагося высокимъ существованіемъ, которое другіе ведутъ по милости его пота. Конечно, тутъ есть безсмыслица при той узкой, запертой жизни, гдѣ все дѣлается съ закрытыми дверями, какъ въ наше время. Въ настоящемъ состояніи общества преимущества, которыя одинъ человѣкъ имѣетъ надъ другими, стали вещами исключительными и личными: наслаждаться удовольствіемъ или благородствомъ другого кажется дикостью; но не всегда такъ было. Когда Губбіо или Ассизъ глядѣлъ на проходящую мимо свадебную кавалькаду своего молодого господина, никто не завидовалъ. Тогда всѣ участвовали въ жизни всѣхъ; бѣдный наслаждался богатствомъ богатаго, монахъ радостями мірянина, мірянинъ молитвами монаха, для всѣхъ существовало искусство, поэзія, религія». Г. Страховъ правъ: это—истинно славянофильскія воззрѣнія.

Но это не суть воззрѣнія гр. Толстого. Любопытно, что г. Страховъ (статья его о Ренанѣ напечатана въ сборникѣ «Гражданина»), котораго нельзя себѣ представить рядомъ съ гр. Толстымъ иначе, какъ въ колѣнопреклоненной позѣ и который, впрочемъ, столь же охотно преклоняетъ колѣни передъ г. Н. Данилевскимъ и—я не знаю—можетъ быть, даже передъ кн. Мещерскимъ; любопытно, что г. Страховъ вполнѣ согласенъ съ Ренаномъ. Онъ тоже вѣритъ, что толки объ «общемъ благосостояніи» порождены постыдною завистью, смѣнившею восторгъ крестьянина стараго порядка («молодшаго брата»?) передъ «свадебной кавалькадой молодого господина». Но, говоритъ г. Страховъ, Россія гарантирована отъ толковъ объ «общемъ благосостояніи» и отъ духа зависти, гарантирована глубокими началами русскаго народнаго духа, которому противенъ «житейскій матеріализмъ». Увы! на эти гарантіи положилъ руку не кто иной, какъ—horribile dictu! — Левъ Толстой. Онъ, такъ много превознесенный, мѣряетъ западную цивилизацію не началами русскаго духа и не какими нибудь возвышенными мѣрками смиренномудрія и терпѣнія, а «общимъ благосостояніемъ»! Онъ только потому отрицаетъ эту цивилизацію, что она не ведетъ къ общему благосостоянію, и справься она съ этимъ пунктомъ, — гр. Толстой не будетъ ничего имѣть противъ нея. Онъ, гр. Толстой, не смущаясь соображеніями г. Страхова о зависти, утверждаетъ, что «молодшему брату» дѣйствительно нѣтъ никакой причины радоваться на «кавалькаду молодого господина». Этого мало. На гниломъ западѣ мало ли что дѣлается. Но и русскій молодшій братъ, по мнѣнію гр. Толстого, нисколько не заинтересованъ въ томъ, что «русская помѣщица, проживающая во Флоренціи, слава Богу укрѣпилася нервами и обнимаетъ своего обожаемаго супруга»; нечего ему радоваться и тому, что русскій купецъ или фабрикантъ исправно получаетъ телеграммы о дороговизнѣ или дешевизнѣ сахара или хлопчатой бумаги. Молодшій братъ «только слышитъ гудѣніе проволокъ и только стѣсненъ закономъ о поврежденіи телеграфовъ». «Мысли, съ быстротою молніи облетающія вселенную, не увеличиваютъ производительности его пашни, не ослабляютъ надзора въ помѣщичьихъ и казенныхъ лѣсахъ, не прибавляютъ силы въ работахъ ему и его семейству, не даютъ ему лишняго работника. Всѣ эти великія мысли только могутъ нарушить его благосостояніе, а не упрочить или улучшить и могутъ только въ отрицательномъ смыслѣ быть занимательными для него». Вмѣсто того, чтобы приглашать молодшаго брата радоваться процвѣтанію отечественной литературы, гр. Толстой увѣряетъ, что «сочиненія Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина, не смотря на давность существованія, неизвѣстны, не нужны для народа и не приносятъ ему никакой выгоды»; и «чтобы человѣку изъ русскаго народа полюбить чтеніе «Бориса Годунова» Пушкина или исторію Соловьева, надо этому человѣку перестать быть тѣмъ, чѣмъ онъ есть, т.-е. человѣкомъ независимымъ, удовлетворяющимъ всѣмъ своимъ человѣческимъ потребностямъ».

Довольно. Прегрѣшеніе гр. Толстого очевидно. Я лично, впрочемъ, вижу во всемъ этомъ не прегрѣшеніе, а десницу гр. Толстого, свѣжую и здоровую часть его воззрѣній. Я отнюдь не думаю утверждать, чтобы всѣ положительные и отрицательные результаты, къ которымъ пришелъ гр. Толстой, были вполнѣ вѣрны. Главный и общій ихъ недостатокъ состоитъ въ излишней простотѣ. Въ самомъ дѣлѣ, они до такой степени просты, что не могутъ вполнѣ соотвѣтствовать дѣйствительности, всегда сложной и запутанной. Но дѣло не въ этомъ. Разъ установлена извѣстная точка зрѣнія на вещи, все остальное—дѣло поправимое. Только за точку зрѣнія гр. Толстого я и стою. И я искренно говорю, что не понимаю ни того, почему гр. Толстой прослылъ мистикомъ, оптимистомъ, фаталистомъ, славянофиломъ, квасным патріотомъ и проч., ни того, почему его воззрѣнія прошли безслѣдно въ шестидесятыхъ годахъ, когда мы были болѣе или менѣе воспріимчивы къ свѣжей, оригинальной, хотя бы и парадоксальной мысли, ни, наконецъ, того, почему его воззрѣнія возбудили такой шумъ теперь, когда...

VIII.

Нѣсколько мелочей.

Надо однако привести два-три примѣра воззрѣній, господствующихъ теперь. Я возьму на первый случай фактъ мелкій, ничтожный, но отчасти именно въ своемъ ничтожествѣ характерный. Вотъ что я прочелъ недавно въ одной петербургской либеральной газетѣ:

«Въ настоящее время, по словамъ «Саратовскаго Справочнаго Листка», въ Петровскомъ уѣздѣ, въ селѣ Русская Корка крестьяне занимаются выдѣлкою карандашей. Карандаши эти удивляютъ своею дешевизною: 12 дюжинъ стоитъ 50 коп. Отдѣлка довольно чистая. Издѣліемъ этимъ занимаются 12 семействъ, причемъ работу исполняютъ всѣ члены семьи безъ исключенія. Года два или болѣе назадъ тому было извѣстно, что въ Петровскомъ уѣздѣ найдены значительныя мѣсторожденія графита, который по достоинству своему мало уступаетъ уральскому. На обстоятельство это со стороны людей, болѣе или менѣе знающихъ цѣну этому матеріалу, не было обращено никакого вниманія: только въ послѣднее время крестьяне стали употреблять въ дѣло графитъ, приготовляя изъ него карандаши. Въ средѣ спеціалистовъ дѣло это могло бы возбудить живѣйшій интересъ, и люди, обладающіе гораздо болѣе, нежели крестьяне, научными свѣдѣніями, безъ особенной затраты капитала могли бы поднять фабрикацію карандашей до болѣе значительной степени и вытѣснить карандаши, приготовляемые въ прочихъ мѣстностяхъ. Кромѣ того графитъ можетъ быть употребляемъ и на другіе предметы».

Такія извѣстія и соображенія разсыпаны въ нашихъ газетахъ въ громадномъ количествѣ. Не знаю, обращаютъ ли они на себя вниманіе тѣхъ дѣльцовъ, для которыхъ они пишутся, которымъ рекомендуется поднять въ той или другой мѣстности ту или другую отрасль промышленности, но знаю, что они, капля по каплѣ, вливаютъ ядъ въ общественное сознаніе. Разберите только взятый мною на выдержку мелкій фактъ. «Люди болѣе или менѣе знающіе цѣну» графиту, не обратили на его мѣсторожденіе въ Петровскомъ уѣздѣ никакого вниманія. Темные крестьяне устроились безъ нихъ и выдѣлываютъ карандаши хорошо и баснословно дешево. Вдругъ въ литературѣ раздается совѣтъ людямъ, обладающимъ знаніемъ и капиталами: подите, вырвите производство изъ рукъ крестьянъ и вытѣсните карандаши, приготовляемые въ прочихъ мѣстностяхъ. Мы до такой степени свыклись съ такого рода совѣтами, что даже не пытаемся спросить: зачѣмъ? А между тѣмъ вопросъ этотъ былъ бы вполнѣ умѣстенъ, какъ и нѣкоторые другіе вопросы. Напримѣръ, почему эти литературные совѣтники вдругъ такъ прониклись любовью къ саратовскому графиту? Завтра найдется 12 крестьянскихъ семействъ, нашедшихъ графитъ въ Ярославской губерніи и выдѣлывающихъ изъ него дешевые и хорошіе карандаши; литературные совѣтники скажутъ: вырвите этотъ кусокъ изъ крестьянской глотки и вытѣсните саратовскіе и прочіе карандаши. Но послѣзавтра откроется графитъ въ Екатеринославской губерніи, и надо будетъ опять вырывать и опять вытѣснять саратовскіе, ярославскіе и прочіе карандаши. Тамъ дойдетъ очередь до вытѣсненія екатеринославскаго графита и т. д. Гдѣ конецъ этой лавинѣ конкуренціи, въ чемъ ея цѣль? Я понимаю, что я не по ученому разсуждаю,—сказано, профанъ. Но я знаю однако, что ученые люди мнѣ удовлетворительнаго отвѣта не дадутъ. Они будутъ мнѣ говорить объ увеличеніи производства и удешевленіи продукта, каковые разговоры мнѣ, хотя и профану, довольно хорошо извѣстны. Я просто беру мой мелкій, ничтожный фактъ и, не мудрствуя лукаво, разсматриваю его съ разныхъ сторонъ, между прочимъ и съ психологической. Мнѣ любопытно знать, какой интересъ движетъ литературныхъ совѣтниковъ, когда они требуютъ, чтобы производство карандашей было вырвано изъ рукъ крестьянъ и чтобы саратовскіе карандаши вытѣснили всѣ другіе. Въ прямомъ, чисто личномъ смыслѣ, литературные совѣтники въ нашемъ примѣрѣ совершенно безкорыстны. Саратовскіе карандаши и теперь стоятъ на мѣстѣ около $^3/_{10}$ копѣйки штука,—кажется, не дорого. Литературныхъ совѣтниковъ карандаши, какіе бы они ни были, тоже не разоряютъ. Изъ-за чего же они хлопочутъ? Почему имъ далѣе

нужно, чтобы восторжествовали именно саратовскіе карандаши? Опять-таки никакихъ осязательныхъ резоновъ тутъ нѣтъ. Особенныхъ, личныхъ симпатій къ тѣмъ дѣльцамъ, которые заберутъ въ свои руки производство, литературные совѣтники тоже имѣть не могутъ, потому что дѣльцы эти даже неизвѣстны, они еще только призываются. Словомъ, какъ ни вертите, а не отыщете смысла въ усердіи совѣтниковъ. Остается одно: безсознательное, инстинктивное стремленіе вырвать изъ мужицкой глотки кусокъ и отдать его людямъ, обладающимъ знаніемъ и капиталами, превратить самостоятельныхъ хозяевъ въ людей, живущихъ заработной платой. Ничтожный мой примѣръ тѣмъ именно и хорошъ, что онъ ничтоженъ. Карандаши и безъ того такъ дешевы, и пропзводство ихъ такъ не хитро, что пристегнуть къ нимъ шаблонныя разсужденія о національномъ богатствѣ было бы просто совѣстно. Вслѣдствіе этого инстинктивное стремленіе прижать мужика выступаетъ въ оголенномъ видѣ. Еслибы не это стремленіе, литературные совѣтники, даже отправляясь отъ расширенія производства и удешевленія продукта, могли бы преподать совсѣмъ иные совѣты: они могли бы предложить, напримѣръ, Петровскому или Саратовскому земству оказать какое-нибудь нравственное и матеріальное пособіе несвѣдущимъ и бѣднымъ крестьянамъ, занимающимся выдѣлкой карандашей. Но они оголили свои инстинкты.

Инстинкты эти могутъ однако быть болѣе или менѣе прилично одѣты разсужденіями о національномъ богатствѣ, если взять не такую мелочь, какъ саратовскіе карандаши, а всю русскую кустарную промышленность, всю совокупность тѣхъ мелкихъ производствъ, въ которыхъ крестьяне являются и предпринимателями, и капиталистами, и рабочими вмѣстѣ. Такъ именно поступилъ г. Пудовиковъ въ рефератѣ, читанномъ имъ III Отдѣленіи Вольно-Экономическаго общества и напечатанномъ въ сентябрьской книжкѣ «Трудовъ» общества за прошлый годъ. Г. Пудовикова возмущаетъ самая форма кустарнаго производства. Какъ ученый человѣкъ, онъ находитъ ее крайне неправильной. Кустарь, говоритъ онъ, есть «такой промышленникъ, который въ одно и то же время хочетъ соединить въ себѣ и предпринимателя, и рабочаго, и торговца, посредника съ рынкомъ и, наконецъ, земледѣльца. Всѣ эти различныя отрасли труда, по самому понятію о кустарѣ, должны соединяться въ немъ. Въ немъ является скученіе разнороднаго труда, тогда какъ производительность труда является слѣдствіемъ разложенія производства на элементарныя дѣйствія. Кустарный трудъ такимъ образомъ по природѣ своей противоположенъ началу раздѣленія труда, которое одно и даетъ труду способность постепенно увеличивать его производительную силу». Сообразно этому г. Пудовиковъ желаетъ «внести въ трудъ кустарей правильное распредѣленіе, словомъ — сдѣлать изъ нихъ фабричныхъ рабочихъ». Тѣмъ самымъ г. Пудовиковъ полагаетъ помочь и отечественной промышленности, отъ которой кустари отвлекаются земледѣліемъ, и отечественному сельскому хозяйству, отъ котораго они отвлекаются ремеслами, и, наконецъ, самимъ кустарямъ «какъ рабочимъ». Я не знаю въ точности, что значитъ это послѣднее выраженіе, но—чтобы не далеко ходить—я прочиталъ въ августовской книжкѣ тѣхъ же «Трудовъ Вольно-Экономическаго Общества» за тотъ же годъ любопытную статейку священника Веселовскаго «О фабрикаціи полотенъ въ Вязникахъ». Въ статейкѣ этой даже довольно идиллическими красками описывается состояніе вязниковскихъ прядильщиковъ и ткачей до пятидесятыхъ годовъ, когда появились громадныя полотняныя фабрики. Теперь же по свидѣтельству г. Веселовскаго между рабочими свирѣпствуютъ развратъ и нищета. Онъ называетъ фабрики въ нравственномъ отношеніи «институтами пошлостей и безобразій». Въ отношеніи матеріальномъ состояніе рабочихъ очень скверно. Нѣкоторые фабриканты держатъ лавки, въ которыхъ всѣ рабочіе, даже не живущіе въ зданіи фабрики, обязаны покупать все имъ нужное. Въ лавкѣ есть все, «начиная съ простого горшка и кончая кускомъ довольно приличной шелковой матеріи». Продаются эти продукты выше рыночной цѣны, напримѣръ: пшено на базарѣ стоитъ 1 р. 35 к. — 1 р. 50 к., а въ фабричной лавочкѣ 2 р. 25 к.—2 р. 50 к. За покупку въ другомъ мѣстѣ рабочій штрафуется или выгоняется совсѣмъ. Иногда лавка сдается хозяиномъ въ аренду, и тогда арендаторъ получаетъ деньги за забранный рабочими товаръ отъ самого хозяина. Вотъ нѣсколько сценъ съ натуры.

Раздача денегъ. Хозяинъ, «какъ водится, сначала надъ кѣмъ нибудь наругавшись до-сыта, наконецъ, усаживается въ кресло, — неподалеку отъ него арендаторъ лавочки.

— Степанъ Вавиловъ... теѣ причитается за недѣлю полтора рубля... да штрафу съ тея записано три гривенника... Сколько онъ вамъ, Климъ Данилычъ, въ лавочку состоитъ?

— Рунь сорокъ пять-съ копѣекъ-съ, скороговоркой отвѣчаетъ Климъ Данилычъ.

— Экъ, работалъ, работалъ, а еще на свою шею наработалъ,—ну, считайте за нимъ четвертакъ до той недѣли. И Климъ Данилычъ, за вычетомъ 30 коп. штрафа съ Степана Вавилова, получаетъ съ него 1 р. 20 к., „снося на книжку“ до слѣдующей недѣли 25 к., а самъ Степанъ Вавиловъ пошелъ домой безъ гроша.

— Антонъ Филимоновъ?

— Здѣсь-съ! Демьянъ Захарычъ,—да што меня выкликать,—все равно ни шиша не получишь.. Два съ полтиной мнѣ за недѣлю... да штрафъ что ли тамъ какой записали. Вотъ ужъ, примѣрно, Демьянъ Захарычъ, очень то-нсь для насъ обидно... ну што штрафъ,—вѣдь я только полчаса и опоздалъ, а четвертакъ за недѣлю съ костей....

— Да ты што больно ершишься. Не любо, коли штрафуютъ, — ступай... найдемъ на твое мѣсто...

— Мнѣ по лавочкѣ онъ состоитъ четыре тридцать...

— Эко! Два съ полтиной въ недѣлю, а въ лавкѣ позабралъ на четыре слишкомъ! Мотушки! Ступай! Получите, Климъ Данилычъ, а тѣ два съ пятакомъ до слѣдующаго разсчета".

Г. Веселовскій приводитъ далѣе примѣръ, какъ на одной фабрикѣ, при расплатѣ съ рабочими, «нѣсколько десятковъ разъ въ продолженіе сутокъ повторялись сцены въ родѣ слѣдующей:

— Подмастерье Данило Прохоровъ Занозинъ,— здѣсь?

— Здѣсь-съ, ваше высокостепенство.

— Тебѣ, братъ, нынче больно много причитается къ выдачѣ,—смотри-ко-сь,—вѣдь 39 руб. шутка сказать!.. Вѣдь это, братцы, вы меня въ разоръ разорите; ну ко-ся 39 руб.!

— Да! слава те Господи! Копилъ все, ваше высокостепенство,—къ празднику нужны... оброкъ.. подати...

— Нѣтъ, братъ, этакъ нельзя... вотъ тебѣ тридцать, а девять съ костей долой; чай не помнишь, за тобой грѣшки были?

— Никакихъ грѣховъ супротивъ вашего высокостепенства не сознаю-съ, а что касательно скостки... прошу помиловать... За что?

— А! еще сталъ разговаривать... получи 29 рублей, а рубль еще съ тебя штрафу... не гордыбачь!"

Это не беллетристика, а фотографія. Да не смущаются читатели тѣмъ, что всѣ эти «высокостепенства», судя по говору, мелкія, дескать, піявицы изъ своего же брата-мужичка. Оно точно, что изъ своего брата, но вовсе не мелкія піявицы: вязниковскіе полотняные фабриканты имѣютъ милліонные годовые обороты и держатъ по 2, по 3,000 рабочихъ. Такъ что вязниковскіе порядки представляютъ именно то «правильное распредѣленіе труда», котораго желаетъ г. Пудовиковъ. Вязники, конечно, не составляютъ исключенія, хотя не вездѣ кровопійство находится въ столь грубо патріархальномъ состояніи. Петербургскіе фабриканты, напримѣръ, должно быть безъ сравненія гуманнѣй. Въ комиссію по техническому образованію они доставили свѣдѣнія о блистательномъ положеніи рабочихъ на ихъ фабрикахъ, до такой степени блистательномъ, что разсматривавшій эти свѣдѣнія профессоръ Янсонъ нашелъ даже ихъ «въ большинствѣ незаслуживающими довѣрія: такъ въ нихъ все гладко, стройно, положеніе рабочихъ такъ хорошо, что подозрѣніе рождается и при поверхностномъ знакомствѣ съ ними, при сопоставленіи же цифръ въ этихъ свѣдѣніяхъ ясно видно, что нѣкоторыми фабриками и заводами числовыя данныя для этихъ свѣдѣній просто сочинялись и притомъ весьма неловко, безъ всякаго соображенія о томъ, не противорѣчатъ ли данныя одни другимъ». Въ «Трудахъ комиссіи по техническому образованію» прилагательное «петербургскій» получило даже весьма своеобразное нарицательное значеніе. Тамъ говорится о свѣдѣніяхъ, доставленныхъ провинціальными фабрикантами, между прочимъ, слѣдующее: «Изъ нихъ есть такія, но къ счастію немногія, которыя имѣютъ, такъ сказать, характеръ петербургскій, т. е. видно, что они тоже сочинены, но вмѣстѣ съ тѣмъ есть и такія, при чтеніи которыхъ невольно думается, что тутъ говоритъ сама искренность. За эту искренность ручается то безотрадно тяжелое положеніе рабочихъ, которое рисуется при чтеніи этихъ свѣдѣній».

Все это грустная, но всѣмъ извѣстная, старая, хоть и не устарѣвшая, пѣсня. Я только хотѣлъ напомнить читателю, куда стремятся водворить крестьянъ гг. Пудовиковы съ компаніею. И именно потому, что положеніе фабричныхъ рабочихъ, даже избавленныхъ отъ грубой патріархальности «высокостепенствъ», а имѣющихъ патронами людей просвѣщенныхъ, всѣмъ извѣстно; именно поэтому стремленія гг. Пудовиковыхъ получаютъ особенно пикантный характеръ. Казалось бы, тотъ гарниръ, подъ которымъ г. Пудовиковъ подалъ Вольно-Экономическому Обществу свой рефератъ, самъ по себѣ вовсе не необходимо ведетъ къ мысли о разселеніи кустарей по фабрикамъ. Pièce de résistance реферата составляютъ упадокъ сельскаго хозяйства и истощеніе почвы. Кустари, гласитъ онъ, втягиваясь въ подспорное ремесло, которое однако ни въ какомъ случаѣ ихъ прокормить не можетъ, ведутъ свое земледѣльческое хозяйство все небрежнѣе и небрежнѣе. Допустимъ, что это фактически вполнѣ вѣрно. Но это только ставитъ передъ нами новую задачу: какъ устранить упадокъ сельскаго хозяйства, не нарушая экономической самостоятельности крестьянъ, не раздробляя по возможности дохода съ производства на ренту, прибыль на капиталъ, торговый процентъ и заработную плату, не превращая хозяевъ-рабочихъ въ просто рабочихъ? Эта задача сама собой, вполнѣ естественно представляется уму изслѣдователя, если онъ, разумѣется, хоть сколько-нибудь дорожитъ экономическою самостоятельностью крестьянъ. Если скажутъ, что это задача трудная, то вѣдь легкихъ задачъ вообще не такъ чтобы ужъ очень много представлялось въ жизни; она во всякомъ случаѣ, не труднѣе той, которая неизбѣжно возникаетъ изъ послѣднихъ строкъ реферата г. Пудовикова. Положеніе фабричныхъ рабочихъ и въ западной Европѣ,

и у насъ до такой степени неудовлетворительно, что и правительства, и ученые люди, и неученые усиленно занимаются вопросомъ: какъ поправить дѣло, не нарушая «правильнаго», по опредѣленію г. Пудовикова, распредѣленія труда? Смѣю думать, что эта задача столь же неразрѣшима, какъ удовлетвореніе аппетита волковъ съ сохраненіемъ жизни овецъ. Между тѣмъ, въ этомъ направленіи г. Пудовиковъ допускаетъ, вѣроятно, всевозможныя иллюзіи. Во всѣхъ разсужденіяхъ объ упадкѣ русскаго сельскаго хозяйства, очень ученыхъ и глубокомысленныхъ, меня, какъ профана, поражаетъ необыкновенное разнообразіе и разносторонность доводовъ и исходныхъ точекъ и вмѣстѣ съ тѣмъ удивительноеединство стремленій всѣхъ разсуждающихъ. Г. Пудовиковъ приписываетъ упадокъ сельскаго хозяйства кустарной промышленности, никакихъ другихъ причинъ онъ не показываетъ и не видитъ. Въ Самарской губерніи голодъ смѣняется необычайнымъ, давно небывалымъ урожаемъ, который однако оказывается въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ пагубнѣе даже голода, ибо хлѣбъ дешевѣетъ, дѣвать его некуда, платить подати и оброки нечѣмъ,—сиди, какъ собака на сѣнѣ. Кажется, довольно знаменательное явленіе, показывающее, что надъ русскимъ сельскимъ хозяйствомъ тяготѣетъ не только бѣда отъ кустарной промышленности? А г. Пудовиковъ только ужасается тому, что кустарная промышленность забралась даже въ Самарскую губернію! Приходитъ гр. Орловъ-Давыдовъ съ своей знаменитой мыслью о пагубномъ вліяніи на сельское хозяйство сліянія земледѣлія съ землевладѣніемъ. Приходятъ ораторы петербургскаго дворянскаго собранія и говорятъ, что сельское хозяйство падаетъ отъ пьянства, невѣжества, безнравственности мужиковъ, не имѣющихъ надъ собой высшаго нравственно - политическаго контроля. Какіе вѣдь все разнообразные доводы, но какое вмѣстѣ съ тѣмъ единство цѣлей и стремленій. Что значитъ разселить кустарей по фабрикамъ?—вырвать изъ рукъ крестьянъ мелкую промышленность и установить зависимость ихъ отъ фабрикантовъ. Что значитъ отдѣлить земледѣліе отъ землевладѣнія?—отобрать отъ крестьянъ землю и поставить ихъ въ зависимость отъ крупныхъ землевладѣльцевъ. Что значитъ учредить надъ крестьянами высшій нравственно - политическій контроль?—отобрать у крестьянъ предоставленную имъ долю свободы и поставить ихъ въ зависимость отъ привилегированныхъ сословій. Вотъ центръ, въ которомъ сходятся радіусы разсужденій объ упадкѣ сельскаго хозяйства. Я могъ бы показать, что къ тому же ведутъ разсужденія и о другихъ нашихъ нуждахъ и горяхъ. Всѣ дороги ведутъ въ Римъ, и этотъ Римъ есть политически, экономически и нравственно обобранный мужикъ, только что вылупившійся изъ крѣпостного права. Сюда лѣзутъ всѣ, кто съ карандашиками, кто съ чѣмъ-нибудь покрупнѣе, лѣзутъ—я готовъ допустить, — безсознательно и безкорыстно, подъ покровомъ идеи гармоніи и единства интересовъ всѣхъ людей, живущихъ въ Россіи и говорящихъ русскимъ языкомъ. Вотъ нравственный воздухъ, которымъ дышетъ наше общество, втягивая его въ себя понемножку, незамѣтно, но ежедневно. Многіе полагаютъ, что характеристическая черта современнаго настроенія нашего «общества» есть алчность, духъ наживы, презирающій всякія препоны. Это, я думаю, совершенно вѣрно, но я не могу признать удовлетворительными пріемы вліянія на общество, къ которымъ часто прибѣгаютъ люди сознающіе эту истину. Передо мной лежитъ книга фельетониста старыхъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», г. Суворина: «Очерки и картинки». Въ ней собрано нѣсколько старыхъ фельетоновъ и прибавлено нѣсколько новыхъ; между старыми цѣлая группа посвящена нашимъ плутократамъ и кандидатамъ въ плутократы. Все это очень хорошо, но немножко мало (по точкѣ зрѣнія). до такой степени мало, что даже не совсѣмъ хорошо. Хорошо то, что пользующійся популярностью писатель держитъ общественное мнѣніе на сторожѣ. Не хорошо то, что этотъ писатель, разоблачая плутократическія шашни, имѣетъ въ виду почти исключительно интересы все-таки только того, что графъ Толстой называетъ «обществомъ». Напримѣръ, охраненіе интересовъ акціонеровъ отъ фокусовъ и неурядицы правленія компаніи есть тема сама по себѣ почтенная, но исключительное указаніе на нее только способствуетъ сосредоточенію помышленій и чувствъ «общества» на его интересахъ и мѣшаетъ увидѣть тотъ Римъ, о которомъ сейчасъ говорено. Разсуждая, конечно, только съ точки зрѣнія профана, я осмѣливаюсь думать, что иному промышленному или финансовому предпріятію можно отъ души пожелать безсовѣстныхъ и неумѣлыхъ руководителей и исполнителей. Я понимаю, что этотъ тезисъ долженъ многимъ не понравиться и, хоть въ мой планъ не входитъ нравиться кому бы то ни было, умолкаю. Замѣчу однако, что если есть въ моихъ словахъ нѣчто догматическое, т. е. нѣчто, не подлежащее доказательствамъ и обязательное только для вѣрующихъ, то-есть и нѣчто такое, что можетъ быть доказано и должно быть для всѣхъ обязательно, какъ истина. Въ общество является человѣкъ, намѣтившій извѣстную дорогу въ Римъ, т. е. увидѣвшій возможность

обобрать на тотъ или другой манеръ мужика. Положимъ, онъ, подстрекаемый литературными совѣтниками, задумалъ взять въ свои руки производство карандашей въ Петровскомъ уѣздѣ и вытѣснить всѣ карандаши, приготовляемые въ другихъ мѣстностяхъ. Онъ обращается къ публикѣ: господа, такъ и такъ, вотъ мой планъ, но денегъ у меня мало, окажите мнѣ кредитъ, разберите мои акціи, гарантіи—вотъ какія, выгоды ваши—вотъ какія. Положимъ, что все дѣло ведется честно, не муссируется, что предпріятіе не фиктивное, что отчетность ведется правильно; положимъ, словомъ, что моралистамъ нѣтъ пищи для разоблаченій. Публика несетъ сюда свои сбереженія и капиталы, потому что предпріятіе вѣрное, солидное. При этомъ цѣль предпріятія не играетъ рѣшительно никакой роли, и болѣе вѣрный способъ обиранія будетъ естественно пользоваться бо́льшимъ довѣріемъ публики, чѣмъ способъ менѣе вѣрный. Я не моралистъ. Я не говорю: не давайте своихъ денегъ на обираніе мужика, не будьте пособниками въ этомъ дѣлѣ. Давайте, пособляйте, но знайте, по крайней мѣрѣ, на что вы даете деньги и чему пособляете. Знайте, что честность и подлость, умъ и глупость руководителей промышленныхъ и финансовыхъ предпріятій стоятъ къ интересамъ громадной массы населенія Россіи въ гораздо болѣе сложныхъ отношеніяхъ, чѣмъ вы привыкли думать. Знайте, что на личныхъ качествахъ и продѣлкахъ людей, которымъ вы ввѣрили свои капиталы, свѣтъ не клиномъ сошелся, что есть во всякомъ предпріятіи нѣчто глубже ихъ лежащее,—цѣль предпріятія и его значеніе для народа.

Уясненіе этого пункта есть дѣло величайшей важности, но не легко рѣшиться настаивать на немъ. Я рѣшаюсь потому, что уже имѣлъ смѣлость объявить себя профаномъ (на это нужно гораздо больше смѣлости, чѣмъ для присвоенія себѣ великолѣпныхъ титуловъ, которыми подписываютъ свои статьи нѣкоторые мои собраты по ремеслу: «Одинъ изъ немногихъ», «Все тотъ же», «Не изъ фельетонистовъ»). Но зато я рискую быть встрѣченнымъ презрительнымъ пожатіемъ плечъ. Т. е. это ученые люди будутъ пожимать плечами, а неученые, можетъ быть, кое съ чѣмъ и согласятся. Ученые люди будутъ ссылаться на европейскую цивилизацію и европейскую науку, изъ которыхъ первая установила «правильное распредѣленіе труда», иначе говоря, разрушила экономическую самостоятельность мужика, а послѣдняя дала этому порядку вещей свою санкцію. Я готовъ принять эту ссылку. Дѣйствительно, какъ справедливо говорили ораторы петербургскаго дворянскаго собранія, цивилизація обобрала европейскаго крестьянина, разрушивъ сначала поземельную общину и затѣмъ загнавъ обезземеленныхъ по мастерскимъ и фабрикамъ. Дѣйствительно, какъ справедливо полагаетъ г. Пудовиковъ, цивилизація уничтожила кустарную промышленность. Правда, наконецъ, и то, что наука санкціонировала эти измѣненія, выработавъ доктрину «правильнаго распредѣленія труда» и «экономическихъ гармоній», доктрину, которая глубочайшій разладъ интересовъ прикрыла фикціей «національнаго богатства», зависимость рабочаго—фикціей свободы, лишеніе рабочаго собственности поземельной и орудій производства — фикціей «священнаго права собственности». Правда, все это было, но *было* и скоро быльемъ порастетъ. Я не буду ссылаться на настроеніе рабочихъ массъ, которыя справедливо заподозрѣваются въ зависти къ «свадебной кавалькадѣ молодого господина», ни на отъявленныхъ соціалистовъ. Возьмите мирныхъ ученыхъ. Въ то время, какъ князь Лобановъ-Ростовскій и другіе гремятъ противъ общины, какъ противъ негоднаго тряпья, давно брошеннаго Европой и безвозвратно осужденнаго европейской наукой, бельгійскій экономистъ Лавеле тщательно собираетъ свѣдѣнія объ общинномъ землевладѣніи и издаетъ книгу, которая надняхъ вышла въ русскомъ переводѣ подъ заглавіемъ: «Первобытная собственность». Въ книгѣ этой можно найти такія слова: «Германскій и славянскій обычай, обезпечившій каждому человѣку пользованіе общимъ поземельнымъ фондомъ, которымъ онъ могъ поддерживать свое существованіе,—одинъ только сообразенъ съ раціональнымъ понятіемъ о собственности. Исключительно счастливое положеніе нѣкоторыхъ кантоновъ Швейцаріи я приписываю тому факту, что здѣсь сохранились древнія общинныя учрежденія, въ томъ числѣ первобытная общинная собственность», и т. п. Почтенный англійскій юристъ Мэнъ издаетъ книгу «Деревенскія общины на востокѣ и западѣ», проникнутую глубокою симпатіей къ этому учрежденію. А извѣстнѣйшій англійскій экономистъ Милль пишетъ по поводу книги Мэна статью, въ которой говоритъ между прочимъ: «Остается рѣшить вопросъ, старыя или новыя идеи болѣе пригодны управлять человѣчествомъ въ будущемъ; и если замѣна идей прошлаго времени новѣйшими произошла вслѣдствіе обстоятельствъ, уже пережитыхъ міромъ,—то очень можетъ быть, что, по крайней мѣрѣ, въ принципѣ старыя учрежденія будутъ пригоднѣе новѣйшихъ, какъ базисъ лучшаго и болѣе современнаго общественнаго строя... Существующее положеніе поземельной собственности вездѣ, гдѣ его не коснулось ан-

глійское законодательство, поразительно согласуется съ существовавшимъ въ древности общиннымъ строемъ, *на пути къ которому въ настоящее время стоятъ самыя передовыя общества*».

Можно было бы привести цѣлые десятки подобныхъ заявленій людей, солидность и благонамѣренность которыхъ не можетъ быть никѣмъ заподозрѣна. Всѣ эти заявленія, которымъ есть и соотвѣтствующіе жизненные факты, клонятся къ отрицанію пути экономическаго развитія, признаваемаго (во имя европейской науки) нашими учеными единственно «правильными». Всѣ они клонятся къ возстановленію самостоятельности рабочаго люда, къ слитію въ одномъ лицѣ земледѣльца и землевладѣльца, капиталиста и рабочаго, къ признанію интересовъ «общества» и народа не тождественными. Заявленія эти суть такіе же продукты европейской цивилизаціи, какъ и тѣ, которыми по старой памяти восторгаются гг. Пудовиковы съ компаніей. Спрашивается, неужели мы все-таки должны пройти весь путь европейскаго развитія, чтобы затѣмъ вновь придти къ отрицанію его? Я отвѣчу словами графа Толстого, сказанными имъ въ примѣненіи къ другой сферѣ явленій. Намъ давно уже пора къ нему вернуться. Въ статьѣ «О народномъ образованіи» (старой, напечатанной въ IV т. сочиненій), онъ говоритъ: «Мы, русскіе, живемъ въ исключительно счастливыхъ условіяхъ относительно народнаго образованія; наша школа не должна выходить, какъ въ средневѣковой Европѣ, изъ условій гражданственности, не должна служить извѣстнымъ правительственнымъ или религіознымъ цѣлямъ, не должна вырабатываться во мракѣ отсутствія контроля надъ ней общественнаго мнѣнія и отсутствія высшей степени жизненнаго образованія, не должна съ новымъ трудомъ и болями проходить и выбиваться изъ того cercle vicieux, который столько времени проходили европейскія школы, cercle vicieux, состоящій въ томъ, что школа должна была двигать безсознательное образованіе, а безсознательное образованіе двигать школу. Европейскіе народы побѣдили эту трудность, но въ борьбѣ не могли не утратить многаго. Будемъ же благодарны за трудъ, которымъ мы призваны пользоваться, и по тому самому не будемъ забывать, что мы призваны совершить новый трудъ на этомъ поприщѣ».

Такимъ образомъ графъ Толстой, провозглашающій право и обязанность личности бороться съ историческими условіями во имя ея идеаловъ и отрицающій прошлый ходъ европейской цивилизаціи, подаетъ руку послѣднимъ и лучшимъ плодамъ этой цивилизаціи. Эта рука есть десница графа Толстого. Ахъ, если бы у него не было шуйцы!... Если бы не имѣли повода пристегиваться къ его громкому имени всякіе проходимцы, всякіе пустопорожніе люди и межеумки, по заслугамъ не пользующіеся сочувствіемъ общества... Какой бы вѣсъ имѣло тогда каждое его слово, и какое благотворное вліяніе имѣла бы эта вѣскость!...

Какова бы однако ни была шуйца гр. Толстого, но уже изъ предыдущаго видно, до какой степени недобросовѣстно относятся къ нему многіе наши критики, какъ хвалители, такъ и хулители. Замѣчательны, въ самомъ дѣлѣ, усилія, употребляемыя многими для смѣшенія гр. Толстого со всѣмъ, что только есть темнаго и промозглаго въ нашей литературѣ. По поводу статьи «Отеч. Зап.» и «Анны Карениной» въ мрачныхъ, поросшихъ плѣсенью, пропитанныхъ гнилостью и сыростью подвалахъ «Гражданина» и «Русскаго Міра» раздались радостные вопли. Своды подваловъ тряслись отъ криковъ: нашъ! нашъ! онъ—пѣвецъ священныхъ радостей и забавъ «культурныхъ слоевъ общества» и изобличитель «науки, имъ ослушной, суеты и пустоты!» Обитателямъ подваловъ простительно это ликованіе. Понятно, что имъ лестно пристегнуться къ свѣтлому имени. Понятно также, что имъ не ясенъ истинный характеръ воззрѣній гр. Толстого на радости и забавы «культурныхъ слоевъ общества». Много мерзостныхъ подробностей быта этихъ слоевъ изображено въ «Аннѣ Карениной», и обитатели подваловъ, пещерные люди, троглодиты съ гордостью указывали на эти подробности, какъ на нѣчто такое, чего неспособны продѣлать «разночинцы». Еще бы! Но Богъ съ ними, съ пещерными людьми. Имъ многое простится, потому что они почти ничего не понимаютъ. Совсѣмъ иначе приходится взглянуть на статью г. Евгенія Маркова: «Послѣдніе могикане русской педагогіи», напечатанную въ № 5 «Вѣстника Европы». Статьи, болѣе недобросовѣстной, болѣе, скажу прямо, наглой, мнѣ давно не приходилось читать. Г. Марковъ — не то, что Петръ Зудотѣшинъ «Дѣла», величающій себя «Все тѣмъ же». Тотъ простъ и стремителенъ, да и не отрицаетъ нѣкоторыхъ заслугъ гр. Толстого въ дѣлѣ разоблаченія безобразій нашихъ педагоговъ. Г. же Марковъ тщательно облекается въ полную парадную форму либерализма, ежеминутно брякаетъ шпорами либерализма и потряхиваетъ блестящими эполетами либерализма. Статья пропитана лирическимъ и патетическимъ жаромъ, и тѣмъ не менѣе каждая ея строчка, такъ сказать, точеная, дѣланная, высиженная съ весьма непохвальною цѣлью. Звономъ и блескомъ, котораго такъ много, что даже въ глазахъ рябитъ и тошно становит-

ся, прикрывается не непониманіе, а простая передержка. Но такъ какъ статья эта трактуетъ спеціально о педагогіи, то о ней—въ слѣдующій разъ. Надо замѣтить, что авторъ есть тотъ самый г. Марковъ, который нѣкогда полемизировалъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ» съ гр. Толстымъ. и которому послѣдній отвѣчалъ статьей «Прогрессъ и опредѣленіе образованія». Я узналъ объ этомъ изъ слѣдующаго величественнаго заявленія г. Маркова: «Съ гр. Л. Н. Толстымъ мы встрѣчаемся не въ первый разъ. Въ 1862 г. мы напечатали въ «Рус. Вѣстникѣ» статью подъ заглавіемъ «Теорія и практика Ясно-полянской школы», въ которой сдѣлали по возможности полный анализъ, какъ теоретическихъ заблужденій, такъ и практическихъ достоинствъ Ясно-полянской школы. Педагогическій журналъ гр. Л. Н. Толстого закончился отвѣтною статьей на нашу статью и не возобновлялся больше. Мы не были настолько нескромны, чтобы приписать нашему посильному анализу рѣшеніе гр. Толстого прекратить защиту исповѣдуемой имъ теоріи обученія, но все-таки надѣялись, что и наши замѣчанія имѣли, вмѣстѣ съ школьнымъ опытомъ гр. Толстого, нѣкоторое вліяніе на измѣненіе его педагогическихъ убѣжденій. Поэтому теперь, когда оказывается, что гр. Толстой вновь поднимаетъ старое копье и выступаетъ съ проповѣдью тѣхъ самыхъ педагогическихъ началъ, которыя выставлялъ онъ въ 1862 году, на насъ даже лежитъ нѣкоторая нравственная обязанность не отказываться отъ состязанія и явиться на защиту тѣхъ обще-европейскихъ основъ народнаго обученія, которыя мы отстаивали противъ гр. Толстого 12 лѣтъ назадъ».

Право, мнѣ жаль г. Маркова. 12 лѣтъ человѣкъ былъ убѣжденъ, что онъ убѣдилъ и побѣдилъ, спокойно занимался изученіемъ итальянской живописи, недобросовѣстностью адвокатовъ, красотами Крыма и многими другими предметами,—и вдругъ оказывается, что врагъ и не думалъ класть оружіе! Положеніе истинно трагическое. Я не думаю, однако, чтобы изъ него надлежало выходить при помощи тѣхъ пріемовъ, которые г. Марковъ почему-то называетъ исполненіемъ «нравственной обязанности».

IX *).

Нѣчто о г. Марковѣ.

Сердца русскихъ педагоговъ должны трепетать отъ радости. Статья гр. Толстого налетѣла на нихъ, какъ нежданная туча, разразившаяся дождемъ и градомъ; цвѣты педагогіи были прибиты къ землѣ и елеле поднимали свои растрепанные вѣнчики къ небу, прося солнца и тишины. Вся литература, точно сговорившись, дружно поддержала гр. Толстого, а полемическіе опыты гг. Евтушевскаго, Бунакова, Мѣдникова, редакціи «Семьи и Школы» и проч. были такъ слабы, такъ незамѣтны... Но, мало-помалу, сквозь тучу стали пробиваться солнечные лучи. Первымъ лучомъ была статья г. Цвѣткова въ «Русскомъ Вѣстникѣ», появившаяся тотчасъ же вслѣдъ за статьей гр. Толстого въ «Отеч. Запискахъ». Г. Цвѣтковъ есть пещерный человѣкъ, троглодитъ, и нападеніе его на новую педагогію въ лицѣ барона Корфа должно было пріятно щекотать самолюбіе педагоговъ, какъ и всякое нападеніе, исходящее изъ среды пещерныхъ людей. Но все-таки это былъ только, такъ сказать, отрицательный солнечный лучъ. Мало-по-малу, и въ литературѣ, то тамъ, то сямъ стали проскальзывать болѣе или менѣе пріятныя для педагоговъ вещи (я думаю, тутъ много помогло педагогамъ появленіе въ «Русскомъ Вѣстникѣ» «Анны Карениной»), а наконецъ... наконецъ, взошло и солнце, явилась статья г. Маркова «Послѣдніе могикане русской педагогіи» въ майской книжкѣ «Вѣстника Европы». Восемь мѣсяцевъ пребывали педагоги въ томительномъ ожиданіи, восемь мѣсяцевъ г. Евгеній Марковъ работалъ, работалъ, работалъ... Результатъ налицо. Статья г. Маркова во многихъ отношеніяхъ далеко превосходитъ полемическіе опыты гг. Мѣдникова, Евтушевскаго, Бунакова и проч. Тѣ только старались быть развязными; но всякому было ясно, что они чего-то конфузятся. Г. Марковъ дѣйствительно развязенъ и къ конфузу не имѣетъ ни склонностей, ни способности. Гордіевъ узелъ полемики гг. Мѣдниковъ, Евтушевскій, Бунаковъ и проч. старались распутать бойко и съ колкостью, но такъ какъ они своимъ саномъ учителей юношества болѣе пріучены къ степенности, то колкость и бойкость имъ не удавались; при распутываніи узла у нихъ нервически дрожали руки, нервная дрожь слышалась и въ голосѣ. Г. Марковъ, памятуя примѣръ Александра Македонскаго, не распутываетъ узла, а разрубаетъ его. Гг. Мѣдниковъ, Евтушевскій, Бунаковъ и проч. имѣли видъ скромныхъ «штафирокъ», бьющихъ на то, чтобы дѣйствія ихъ имѣли характеръ солидности, и, будучи втянуты въ полемику, наносили удары столь неграціозно, и неуклюже, что напоминали собой разыгравшуюся корову, державшую хвостъ на отлетѣ вверхъ и нѣсколько въ бокъ. Г. Марковъ имѣетъ, напротивъ, видъ блестящаго военнаго офицера изъ

*) 1875, іюнь.

кавалеристовъ, съ лихо закрученными усами, вполнѣ увѣреннаго въ своей непобѣдимости и всѣ дѣла обдѣлывающаго «по-военному». Педагоги вели войну почти исключительно оборонительную и только изрѣдка дѣлали вылазки наступательнаго характера. Г. Марковъ презираетъ оборонительную войну; онъ наступаетъ, вторгается въ непріятельскую страну, жжетъ, рубитъ, разстрѣливаетъ, вѣшаетъ, налагаетъ контрибуціи. Понятно, что сердца педагоговъ должны трепетать отъ радости при видѣ такого побѣдоноснаго союзника. Онъ обладаетъ именно тѣми качествами, недостатокъ которыхъ обнаружили педагоги; онъ есть именно такой герой, какимъ бы они хотѣли быть, но по привычкѣ къ гражданской дѣятельности быть не могутъ.

По человѣчеству я радъ за господъ педагоговъ, если миръ дѣйствительно осѣнилъ ихъ взбаломученныя души. Но я долженъ все-таки сказать, что будь я педагогъ, я бы не обрадовался такому союзнику, какъ г. Марковъ. Мнѣ казалось бы, что такой союзникъ компрометтируетъ меня и мое дѣло, компрометтируетъ именно своею развязностью и неконфузливостью.

Главная задача г. Маркова состоитъ въ томъ, чтобы смѣшать гр. Толстого если не прямо съ грязью, то хоть съ г. Цвѣтковымъ, авторомъ статьи «Новыя идеи въ нашей народной школѣ», напечатанной въ № 9 «Русскаго Вѣстника» за прошлый годъ. Г. Цвѣтковъ есть одинъ изъ «птенцовъ гнѣзда Каткова», т. е. нѣчто вообще злобное, мрачное, воюющее съ вѣтряными мельницами, ежеминутно готовое уличить въ государственномъ преступленіи и верстовой столбъ на большой дорогѣ, и кротко блеющаго барашка, сороку и ворону, и я не знаю кого и что. Одного штриха будетъ достаточно для убѣжденія читателя въ томъ, что г. Цвѣтковъ есть дѣйствительно птенецъ гнѣзда Каткова. Найдя въ книгѣ барона Корфа «Нашъ другъ» нѣсколько практическихъ сельско-хозяйственныхъ совѣтовъ (едва ли особенно нужныхъ и полезныхъ) и нѣсколько указаній на полезныхъ и вредныхъ животныхъ, г. Цвѣтковъ разражается такими громами: «Безъ сомнѣнія, проштудировавъ о любви ради пользы и выгоды и о барышахъ, и о чистомъ доходѣ, ученики будутъ наведены, чтобы и безъ помощи учителя предложить себѣ вопросы въ родѣ слѣдующихъ: какую пользу приноситъ дряхлый старикъ, слабый ребенокъ, калѣка, больной? За что слѣдуетъ любить ихъ? Какой чистый барышъ могутъ принести мнѣ яблоки, что растутъ за заборомъ сосѣда?»

Узнаемъ коней ретивыхъ
Мы по выжженнымъ таврамъ,
Узнаемъ пароянъ кичливыхъ
По высокимъ клобукамъ...

Я, впрочемъ, не мастеръ узнавать ни ретивыхъ коней, ни кичливыхъ пароянъ, не умѣю различатьословъ по ушамъ и птенцовъ гнѣзда Каткова по виртуозности доносовъ. Казалось бы, переходъ отъ вредоносности суслика или мыши къ воровству сосѣднихъ яблокъ невозможенъ, немыслимъ. Но птенцы гнѣзда Каткова давно уже пріучили насъ къ такого рода переходамъ, мало того, притупили въ насъ способность возмущаться этими вольтами и передержками. Было время,—оно отъ насъ очень недалеко,—когда этихъ виртуозовъ можно было даже опасаться, но своимъ изумительнымъ усердіемъ и необычайнымъ искусствомъ, добытымъ продолжительною практикою, они достигли неожиданнаго результата: репутаціи шутовъ, подчасъ дѣйствительно смѣшащихъ, но въ большинствѣ случаевъ слишкомъ назойливыхъ и надоѣдливыхъ. Теперь уже ихъ никто не боится, никто ихъ кликушествомъ не возмущается, рѣдко кого они смѣшатъ. Прочтутъ люди, пожмутъ плечами,—и конецъ. Иначе и быть не можетъ. Фельетонисты «Русскаго Міра» и критики «Русскаго Вѣстника» все обличаютъ кого-то въ разрушеніи семьи, а увидавъ въ послѣднемъ романѣ гр. Толстого Анну Каренину, Облонскаго, Вронскаго, самымъ осязательнымъ образомъ разрушающихъ семейное начало, вдругъ восклицаютъ: «вотъ люди, сохраняющіе среди новыхъ общественныхъ наслоеній лучшія преданія культурнаго общества». Эти несчастные увѣрены, что они говорятъ комплиментъ «культурному обществу»! Такое самозаушеніе было смѣшно, пока оно было вновѣ, но теперь, глядя на него, можно только плечами пожать, потому что шутовство это уже надоѣло. Г. Катковъ изобличалъ разныя интриги и, наконецъ, до того изобличился, что увидѣлъ преступную пропаганду въ распространеніи похвальныхъ отзывовъ о книгахъ г. Безобразова, его, Каткова, собственнаго сотрудника, не бывшаго сотрудника, каковъ напримѣръ г. Тургеневъ, а теперешняго. Г. Цвѣтковъ очень хорошо знаетъ, что истребленіе овражковъ составляетъ въ нѣкоторыхъ губерніяхъ повинность; онъ, вѣроятно, держитъ у себя кошку, исправно истребляющую мышей, и вдругъ проникается необычайной симпатіей къ овражкамъ и мышамъ и за наименованіе ихъ барономъ Корфомъ вредными и любви недостойными обвиняетъ почтеннаго барона въ подговорѣ къ истребленію стариковъ, калѣкъ и къ воровству сосѣднихъ яблокъ... Виртуозность доноса составляетъ общую черту птенцовъ гнѣзда Каткова, но затѣмъ каждый изъ нихъ имѣетъ свою спеціальность.

болѣе или менѣе ни съ чѣмъ несообразную. Имѣетъ ее и г. Цвѣтковъ. Онъ — русскій клерикалъ, т. е. нѣчто нравственно безногое, безрукое и безголовое, ибо клерикализмъ не имѣетъ у насъ на Руси ни даже подобія почвы. Духовенство русское никогда не обнаруживало ни желанія захватить съ свои руки воспитаніе юношества, ни того умѣнья, съ которымъ ухватывались за это дѣло, напримѣръ, іезуиты или протестантскіе пасторы. Да и вообще, прошедшее и настоящее русскаго духовенства таково, что мало-мальски серьезный русскій клерикализмъ просто невозможенъ. Я полагаю, этого и доказывать нечего. Такъ вотъ съ этимъ-то невозможнымъ г. Цвѣтковымъ г. Марковъ и желаетъ смѣшать гр. Толстого. Достигаетъ онъ этого способами по истинѣ изумительными. Онъ, собственно говоря, очень хорошо понимаетъ, что гр. Толстой—самъ по себѣ, а г. Цвѣтковъ—самъ по себѣ. Статьи этихъ писателей появились почти одновременно. Г. Марковъ великодушно допускаетъ, что это—совпаденіе случайное. Онъ даже прямо говоритъ, что «удары, направляемые на нашу зарождающуюся народную школу, идутъ изъ двухъ *совершенно противоположныхъ* лагерей». «И радикалъ (гр. Толстой), и клерикалъ (г. Цвѣтковъ), продолжаетъ г. Марковъ:—сошлись въ общей ненависти къ нашей народной школѣ за ея общечеловѣческій и общеевропейскій характеръ и *разными орудіями съ разнымъ искусствомъ, изъ разныхъ побужденій*, дружно добиваются одной и той же цѣли—избіенія русской народной школы. Этотъ искусственный минутный союзъ напоминаетъ такіе же искусственные минутные союзы теперешнихъ французскихъ политическихъ партій, гдѣ легитимисты идутъ то рядомъ съ бонапартистами, то рядомъ съ ультра-радикалами, чтобы обезсилить единственную пугающую ихъ партію просвѣщеннаго и сознательнаго либерализма».

Г. Марковъ дѣлаетъ въ этихъ словахъ совершенно вѣрное и даже подходящее, но не совсѣмъ полное сравненіе. Справедливо, что крайнія партіи во Франціи часто вступаютъ въ минутные союзы, справедливо и то, что подобные союзы наичаще заключаются въ виду партіи, которую г. Марковъ называетъ «партіей просвѣщеннаго и сознательнаго либерализма» и которую правильнѣе было бы характеризовать русской поговоркой: ни Богу свѣчка, ни чорту кочерга. Но г. Марковъ не сказалъ, какъ поступаютъ въ подобныхъ случаяхъ люди «просвѣщеннаго и сознательнаго либерализма»: они мѣшаютъ шапки, валятъ съ больной головы на здоровую, валятъ грѣхи, напримѣръ, бонапартистовъ на «ультра-радикаловъ» и стараются наловить въ этой мутной водѣ какъ можно больше рыбы. Такъ поступаетъ и г. Марковъ относительно г. Цвѣткова и гр. Толстого. Считая себя, вѣроятно, человѣкомъ просвѣщеннаго и сознательнаго либерализма, г. Марковъ не гнушается пріемами смѣшенія шапокъ, выработанными людьми просвѣщеннаго и сознательнаго либерализма въ Европѣ. Онъ, открыто заявляющій, что г. Цвѣтковъ и гр. Толстой суть представители *совершенно противоположныхъ* лагерей, что они дѣйствуютъ *различными орудіями и изъ различныхъ побужденій;* онъ въ той же статьѣ, ни мало не смущаясь, кладетъ ихъ обоихъ въ ступу просвѣщеннаго и сознательнаго либерализма и съ азартомъ толчетъ ихъ вмѣстѣ пестомъ «жалкихъ словъ».

Приведя изъ статьи гр. Толстого нѣсколько фразъ, г. Марковъ замѣчаетъ: «Итакъ, ясно, что вина новой школы по гр. Толстому въ томъ, что она измѣнила наукѣ, недостаточно научна». Да, гр. Толстой указываетъ и доказываетъ это. Г. Маркову по его словамъ «дорога та живая идея, которая дѣйствуетъ въ новой школѣ и которая собственно и возмущаетъ педагоговъ иного пошиба». Прекрасно. Г. Маркову надлежало бы только показать публикѣ эту «живую идею», доказать всѣмъ смущеннымъ статьей гр. Толстого, что послѣдній говоритъ неправду, что наша педагогія вполнѣ научна. Вѣдь это кажется такъ просто: покажите научныя основанія, въ силу которыхъ г. Миропольскій уличаетъ въ невѣжествѣ барона Корфа и рекомендуетъ благодарить Создателя, который намъ далъ наружныя уши, а вотъ рыбамъ такъ не далъ; покажите научныя основанія, которыми руководствуется г. Бѣловъ, распѣвая:

Сущу нѣтъ уже нисколько,—
Все ужъ скушалъ мой сынокъ,

или г. Бунаковъ, задавая вопросы: сколько у курицы ногъ? и летаетъ ли лошадь? Покажите эти научныя основанія — и споръ немедленно прекратится. Еслибы гр. Толстой и продолжалъ изъ упрямства твердить свое, ему бы никто не вѣрилъ и оставался бы онъ гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. Но г. Марковъ болѣе склоненъ блистать эполетами и шпорами просвѣщеннаго либерализма, чѣмъ говорить дѣло. Поэтому онъ оставляетъ упрекъ гр. Толстого безъ разсмотрѣнія и, только отмѣтивъ его, иронически продолжаетъ: «Новая школа готова совсѣмъ исправиться, стать неизмѣримо научнѣе... но вдругъ повернувшись, встрѣчаетъ нападеніе г. Цвѣткова. Онъ ей говоритъ: 1) Новая школа виновата въ томъ, что она стремится дать *массу научныхъ фактовъ* и свѣдѣній. 2) Новая школа, вмѣсто того, чтобы читать *божественное*», и т. д., и т. д.

Вы возмущены, читатель. И я васъ понимаю. Г. Марковъ, разсыпавшій въ своей

статьѣ объ адвокатахъ сильныя выраженія вродѣ «прелюбодѣи мысли» и «софисты XIX вѣка», брезгаетъ даже софизмомъ,— онъ просто передергиваетъ. Рѣчь идетъ о гр. Толстомъ. Опровергните его и принимайтесь потомъ за г. Цвѣткова,— это вѣдь люди совершенно противоположныхъ лагерей, дѣйствующіе различными орудіями и изъ различныхъ побужденій. Какое же дѣло гр. Толстому до того, въ чемъ обвиняетъ новую школу г. Цвѣтковъ, и обратно—какой резонъ г. Цвѣткову отвѣчать за гр. Толстого? Но г. Марковъ идетъ и дальше на этомъ скользкомъ пути смѣшенія шашекъ. Онъ систематизируетъ пріемъ, который, я боюсь, приличествуетъ только прелюбодѣямъ мысли; возводитъ его въ критическій принципъ. Онъ говоритъ: «Мы не можемъ представить лучшаго опроверженія нашимъ оппонентамъ, какъ устроивъ между ними такую очную ставку; всецѣлое противорѣчіе свидѣтелей,— на основаніи котораго еще премудрый ветхозавѣтный судія посрамилъ двухъ старцевъ, оклеветавшихъ невинную Сусанну, — считается окончательнымъ доводомъ несправедливости на самомъ строгомъ судебномъ процессѣ. Поэтому мы не видимъ нужды приводить послѣ этого (поэтому послѣ этого?), въ разъясненіе истинныхъ цѣлей и сущности новой педагогіи какія-либо авторитетныя свидѣтельства, хотя могли бы сдѣлать это безъ малѣйшаго труда. Что два союзника, одновременно производящіе свое нападеніе съ двухъ различныхъ фланговъ, вдругъ стукнулись лбами, означаетъ одно: что они двигались въ темнотѣ и что они нападали на пустоту». Какъ вамъ нравится, читатель, этотъ новоявленный критическій пріемъ? Нѣкто утверждаетъ, что педагоги не могутъ представить въ оправданіе своей системы научныхъ основаній и что они не сообщаютъ ученикамъ новыхъ свѣдѣній. Другой говоритъ, что педагоги сообщаютъ слишкомъ много научныхъ свѣдѣній. Является г. Марковъ и, подражая премудрому ветхозавѣтному судіи, объявляетъ, бряцая шпорами просвѣщеннаго либерализма: вы противорѣчите другъ другу, слѣдовательно, вы оба врете, а *поэтому* я не стану *послѣ этого* доказывать, что современная педагогія хороша,— это само собой ясно. Напрасно г. Марковъ. Это вовсе не ясно. И лучше бы вамъ «безъ труда» набрать авторитетныхъ свидѣтельствъ, чѣмъ трудиться надъ чисткой эполетъ просвѣщеннаго либерализма. Кромѣ барышень, которыя «къ военнымъ людямъ такъ и льнутъ», блескомъ эполетъ никого и ни въ чемъ убѣдить нельзя. Кто васъ знаетъ, можетъ быть, вы и въ самомъ дѣлѣ можете доказать, что современная педагогія вполнѣ научна и сообщаетъ такое именно количество свѣдѣній, какое нужно. Отзвонили бы, да и съ колокольни долой, а теперь вы можете звонить, сколько вашей душѣ будетъ угодно и все-таки не вырвете у ереси гр. Толстого ни одной души, ибо слишкомъ ясно, что вы занимаетесь прелюбодѣяніемъ мысли. Положимъ, что существуетъ убѣжденіе въ неподвижности земли и солнца и что вы, г. Марковъ, раздѣляете это убѣжденіе (конечно, вы для этого слишкомъ просвѣщенны, но положимъ, къ примѣру). Вы присутствуете при астрономическомъ спорѣ, въ которомъ на вашихъ единомышленниковъ нападаютъ съ одной стороны люди, доказывающіе, что земля обращается около солнца, а съ другой люди, вѣрящіе, что солнце вертится около земли. Вы съ свойственною вамъ развязностью объясняете: и тѣ, и другіе врутъ, ибо противорѣчатъ другъ другу, а еще премудрый ветхозавѣтный судія и проч.; поэтому я не стану доказывать послѣ этого, что солнце и земля неподвижны,— это само собой ясно. Безъ сомнѣнія, такой критическій пріемъ и добытый имъ результатъ весьма удобны, но могутъ ли они кого-нибудь убѣдить?

Но и это только цвѣтки. На словахъ г. Марковъ предпринимаетъ уличить въ противорѣчіи двухъ людей, по его собственнымъ словамъ, не имѣющихъ между собой ничего общаго. Задача, по крайней мѣрѣ, легкая, если не плодотворная. Но истинная цѣль г. Маркова совсѣмъ не такова: ему нужно, напротивъ, доказать, что гр. Толстой и г. Цвѣтковъ, эти представители совершенно противоположныхъ лагерей, дѣйствующіе разными орудіями и по разнымъ побужденіямъ, суть люди одного и того же лагеря, дѣйствующіе одними и тѣми же орудіями и по однимъ и тѣмъ же побужденіямъ. Это—уже несравненно труднѣйшая задача, и понятно, что разрѣшить ее нельзя безъ нѣкотораго прелюбодѣянія мысли, каковое г. Марковъ и совершаетъ съ удовлетворительнымъ успѣхомъ. Г. Цвѣтковъ категорически заявляетъ, что народное образованіе должно быть сдано на руки духовенства. Гр. Толстой чуждъ этой исключительности. Правда, онъ неоднократно рекомендуетъ священно и церковно-служителей, какъ пригодныхъ народныхъ учителей, но пригодность ихъ онъ видитъ единственно въ томъ, что это учителя дешевые и находящіеся подъ рукой. Выражая сочувственный ему взглядъ народа, онъ говоритъ, что учителемъ можетъ быть «дворянинъ, чиновникъ, мѣщанинъ, солдатъ, дьячокъ, священникъ,— все равно, только бы былъ человѣкъ простой и русскій». Въ другомъ мѣстѣ гр. Толстой спрашиваетъ отъ лица своихъ оппонентовъ: «каковы же будутъ эти школы

съ богомольцами, богомолками, пьяными солдатами, выгнанными писарями и дьячками»? Такія перечисленія въ статьѣ гр. Толстого встрѣчаются не разъ и не два. Ихъ категорическій, нимало не двусмысленный характеръ могъ, кажется, гарантировать гр. Толстого отъ сплетенія съ его именемъ имени г. Цвѣткова. Я не говорю уже объ общемъ тонѣ статьи, который настолько ясенъ, что даже г. Марковъ признаетъ гр. Толстого противникомъ не только господствующихъ въ средѣ нашихъ педагоговъ воззрѣній, а и «церковной педагогіи». Тѣмъ не менѣе, г. Марковъ, продолжая блистать и гремѣть, беретъ въ руки рѣшето просвѣщеннаго и сознательнаго либерализма и столь искусно просѣваетъ вышеозначенныя перечисленія народныхъ учителей, что изъ всѣхъ ихъ на лицо остается одинъ дьячокъ. Правда, мимоходомъ г. Марковъ глумится и надъ писарями, и надъ солдатами, но, въ концѣ концовъ, все-таки сводитъ дѣло къ дьячку. Гр. Толстой полагаетъ, что программа народнаго училища должна ограничиваться русскимъ языкомъ, славянскимъ и ариометикой. Г. Марковъ мѣстами вычеркиваетъ изъ этой программы все, кромѣ «*славянской* грамоты и счета», которыя ставитъ даже въ ковычкахъ, дабы показать, что это подлинное требованіе гр. Толстого. Вы спросите—зачѣмъ эти мелочныя, жалкія дрянныя передержки, надставки и просѣванія? Затѣмъ, что г. Маркову нужно смѣшать гр. Толстого съ г. Цвѣтковымъ, затѣмъ, что «славянская грамота и счетъ» составляютъ, какъ выражается г. Марковъ, дьячковскую программу, которую г. Марковъ желаетъ навязать гр. Толстому. При помощи подобныхъ, крайне нечистоплотныхъ манипуляцій г. Марковъ подходитъ къ вожделѣнному концу и съ напряженнымъ, дѣланнымъ, фальшивымъ паѳосомъ громитъ единовременно и гр. Толстого, и г. Цвѣткова, безразлично цитируя то одного, то другого. Таковы критическіе пріемы людей просвѣщеннаго и сознательнаго либерализма... Они основываются на умѣньи пропустить или вставить въ критикуемомъ произведеніи маленькое, совсѣмъ маленькое словечко, поставить ковычки не тамъ, гдѣ слѣдуетъ, и т. п. Я начинаю думать, что сознательный и просвѣщенный либерализмъ достопочтеннаго г. Маркова состоитъ въ полнѣйшей свободѣ перевирать чужія мысли и слова. Избави Богъ и насъ отъ этакихъ судей.

Гадко рыться въ этомъ «гробѣ повапленномъ», въ этой систематической, систематизированной лжи, облеченной въ полную парадную форму либерализма. Но двѣ-три блестки разсмотрѣть надо, хотя бы потому, что нѣкоторыя якобы воззрѣнія г. Маркова принадлежатъ не ему лично, а, такъ сказать, подслушаны имъ у гг. Евтушевскаго, Бунакова, Мѣдникова и другихъ возражателей гр. Толстого.

Гр. Толстой выразилъ мнѣніе, что критерій педагогіи состоитъ въ свободѣ учащагося, что поэтому народъ долженъ самъ выработать программу своего образованія. Вѣрна ли эта мысль, или нѣтъ,—здѣсь для насъ безразлично. Но вотъ какъ передастъ эту мысль г. Марковъ: «*Вѣчный* критерій педагогіи въ томъ, чтобы *нашъ мужикъ* выбиралъ, какимъ предметамъ нужно учить *человѣчество* въ школѣ и чтобы нашъ русскій школьный учитель, *нашъ русскій дьячокъ* сочинялъ каждый день экспромпты въ классѣ, какъ нужно учить этимъ предметамъ *человѣчество*». Эти Геркулесовы столбы недобросовѣстности не требуютъ комментаріевъ. Поучительнѣе слѣдующія соображенія сознательно либеральнаго автора. Онъ увѣряетъ, будто гр. Толстой такъ мотивируетъ законность предлагаемой имъ программы элементарнаго народнаго образованія: «Гр. Толстой поучаетъ насъ, что русскій мужикъ стоитъ за славянскую грамоту вовсе не для того, чтобы его сынишка могъ выручить полтину за чтеніе псалтыря по покойникѣ: нѣтъ, народъ вполнѣ понимаетъ педагогическое значеніе славянскаго языка, именно, какъ мертваго языка, какъ организма вполнѣ законченнаго,—и за русскую грамоту вовсе не потому, что наровитъ своего мальчишку въ писаря или въ конторщики произвесть. Удивительный народъ гр. Толстого и счетъ понимаетъ не какъ механическое орудіе для нѣкоторыхъ отправленій своего хозяйства и своей торговли вродѣ того, какъ грабли онъ признаетъ полезными для сгребанія сѣна, а соху для пахоты. О совершенно нѣтъ! Народъ гр. Толстого «допускаетъ двѣ области знанія, самыя точныя и неподверженныя колебаніямъ отъ различныхъ взглядовъ—языки и математику». Народъ этотъ, видите ли, «*постигъ*, что одинъ мертвый, одинъ живой языкъ, съ ихъ этимологическими и синтаксическими формами и литературой, и математика» — основы знанія, «открывающія ему пути къ самостоятельному пріобрѣтенію всѣхъ другихъ знаній». Остальныя науки онъ «отталкиваетъ какъ ложь» и (—) говоритъ: «мнѣ одно нужно знать—церковный и свой языкъ и законы чиселъ». Именно, законы; это стремленіе къ «законамъ чиселъ» такъ естественно и поучительно во взглядахъ нашего русскаго мужичка!»

Я потому обращаю вниманіе читателя на эту тираду, что она фигурируетъ и у гг. Евтушевскаго, Мѣдникова, Бунакова и

проч. Г. Марковъ только обдалъ ее сокомъ просвѣщеннаго и сознательнаго либерализма, т. е. сдѣлалъ двѣ-три поддѣлки, излагая мысли гр. Толстого. Подчеркнутаго мною слова «*постигъ*» у гр. Толстого нѣтъ, а тамъ, гдѣ у меня стоитъ знакъ (—) слѣдовало бы вставить имѣющіяся у гр. Толстого слова «какъ будто». Признаюсь, мнѣ стыдно дѣлать эти замѣчанія, стыдно возиться съ этими безстыдными вставками и пропусками. Но что же дѣлать, если г. Маркову не стыдно? Маленькія это словечки, но малъ золотникъ, да дорогъ. Слово *не* еще меньше, но если г. Марковъ вычеркнетъ его изъ предложенія: «авторъ Послѣднихъ могиканъ» не добросовѣстенъ»,— то получитъ о своей персонѣ совершенно превратное понятіе. Еслибы гр. Толстой увѣрялъ, что народъ постигъ педагогическое значеніе законовъ чиселъ или славянскаго языка съ его этимологическими и синтаксическими формами, то это былъ бы такой смѣшной вздоръ, изъ-за котораго Мальбругу-Маркову не стоило бы въ походъ ѣхать. Но дѣло въ томъ, что гр. Толстой ничего подобнаго не утверждаетъ. Онъ заявилъ фактъ, какъ я думаю, несомнѣнный: народъ желаетъ знать русскую и славянскую грамоту и ариометику или счетъ. Желаніе это обусловлено его обстановкой, его практическою жизнью. Удовлетворяя этому желанію, вы откроете народу «пути къ самостоятельному пріобрѣтенію всѣхъ другихъ знаній». Народъ, безъ сомнѣнія, не разумѣетъ подъ ариометикой или счетомъ — изученіе законовъ чиселъ, но вѣдь это не мѣшаетъ ариометикѣ быть именно наукою о законахъ чиселъ. А слѣдовательно, ничто не мѣшаетъ сказать: народъ *какъ будто* понимаетъ великое теоретическое значеніе математики. Программа начальнаго образованія выработана или, вѣрнѣе сказать, выработалась изъ самой практической жизни, и теоретическими соображеніями народъ при этомъ не задавался. Г. Толстой ее комментируетъ, вотъ и все. Ясно или нѣтъ?

Я долженъ однако съ прискорбіемъ сказать, что среди самыхъ беззастѣнчивыхъ фальсификацій и плоско-либеральной болтовни г. Маркова есть одно очень важное указаніе, и еслибы онъ имъ только и ограничился, а «нравственную обязанность» перевирать чужія слова оставилъ бы въ сторонѣ, то нельзя было бы не поблагодарить его. Г. Марковъ дѣлаетъ много любопытнѣйшихъ выписокъ изъ такихъ статей «Ясной Поляны», которыя не вошли въ собраніе сочиненій гр. Толстого и потому большинству теперешней читающей публики совершенно неизвѣстны. Я приведу только одну изъ этихъ выписокъ, правда, большую, съ сохраненіемъ курсивовъ г. Маркова, которые въ этомъ случаѣ являются вполнѣ умѣстными и дѣйствительно бьющими въ цѣль.

„... Общество въ дер. Подосинкахъ нашло своего учителя и на предложеніе мое замѣстить выбраннаго ими учителя другимъ объявило, что оно *не нуждается* въ новомъ учителѣ и *своимъ довольно*. Учитель этотъ былъ *отставной дячокъ*, уже 20 лѣтъ занимавшійся обученіемъ дѣтей... Онъ предложилъ *учить дешевле*, чѣмъ въ другихъ школахъ... Я посѣтилъ эту школу во время ея *упражненія*. Когда мы вошли, все было тихо тамъ; 24 мальчика, сидѣвшіе съ вырѣзными указками чинно вокругъ длиннаго стола, *вдругъ запѣли* на разные голоса. Во главѣ всѣхъ сидѣлъ сынъ огородника, *лѣтъ 16-ти*, въ синемъ кафтанѣ. Онъ запѣвалъ: „*надъющіеся на ты*"; сосѣдъ его, водя указкой по засаленной азбучкѣ, пѣлъ: „слова подъ титлами: ангелъ, ангельскій, архангелъ, архангельскій"; и снова начиная: слова подъ титлами: ангелъ и т. д.; третій: „буки-арцы-азъ—бра"; четвертый—„премудрость". Когда я вошелъ въ избу, они закричали, потомъ встали. *Учителя не было*. Я спросилъ, зачѣмъ они встали? Они объяснили, что меня ждали, и что такъ имъ было приказано. Я попросилъ ихъ сѣсть и продолжать; всѣ начали опять съ тѣхъ же словъ: „падѣющіеся, слова подъ титлами" и т. д. Здѣсь я въ первый разъ видѣлъ классическую старинную школу"... Какъ устраиваются подобныя школы гр. Толстой описываетъ на слѣдующей страницѣ: „учитель устраиваетъ столъ, лавки, назначаетъ время ученья, обыкновенно съ *8-ми часовъ до сумерокъ*; отцы обязаны снабдить неграмотныхъ дѣтей азбучками, грамотныхъ часовникомъ или псалтыремъ, смотря по степени успѣха. Весьма часто родитель покупаетъ или достаетъ *Богъ знаетъ какую книжку* вмѣсто азбучки, иногда не можетъ достать псалтыря, когда уже мальчикъ началъ учить псалтырь, и ученикъ учитъ не то, что слѣдовало ему учить по порядку курса. Такъ здѣсь я засталъ псалтырщика, *читающаго уже всю выученную* наизусть азбуку, потому что единственный псалтырь былъ занятъ... Родители, приводя дѣтей въ школу или на домъ къ учителю, *всегда при ученикѣ просятъ наказывать, бить* и говорятъ почти одну и туже обычную фразу, имѣющую цѣлью внушить мальчику страхъ и убѣдить учителя въ томъ, что родитель передаетъ ему свою власть надъ сыномъ... Входя въ школу, всѣ молятся Богу, садятся за книги, вновь крестятся и цѣлуютъ эти книги. *Книга для нихъ есть божество вродѣ идоловъ у чувашей, которое они просятъ быть милостивымъ къ нимъ*. Каждому задается стишокъ, который онъ долженъ выучить (стишокъ — строка или двѣ)... Начинается то самое пѣніе, которое я засталъ. *Учитель поручаетъ старшему смотрѣть за порядкомъ, самъ же большею частію уходитъ*. Порядокъ состоитъ въ томъ, чтобы каждый безостановочно продолжалъ кричать свои пять или шесть словъ. Самый лучшій изъ такихъ классическихъ учителей въ продолженіе дня едва ли обойдетъ всѣхъ учениковъ, спроситъ заданный урокъ и зададитъ новый, т.-е. часъ времени въ продолженіе дня употребитъ на занятіе со всѣми. Обыкновенный же пріемъ такого рода учителей состоитъ въ томъ, чтобы поручать ученье старшему ученику, самому же *въ продолженіе недѣли заняться съ учениками много 3 — 4 часа*. Всѣ такіе учителя непремѣнно закабаливаютъ къ себѣ въ школу хотя одного грамотнаго подъ предлогомъ доучивать его, а въ сущности этотъ полуграмотный и есть учитель. Настоящій же учитель занимаетъ только полицей-

скую должность *прикрикнуть, пріударить*, собрать деньги и изрѣдка только указать и спросить урокъ. Такими учителями очень часто бываютъ люди, почти цѣлый день занятые постороннимъ дѣломъ—*причетники, писаря, и такихъ то учителей и вытекающую изъ ихъ занятій методу* предлагаютъ вышеприведенные указы консисторіи и циркуляры министерства внутреннихъ дѣлъ о волостныхъ училищахъ".

«Да, прибавляетъ г. Марковъ, и не только консисторіи, но и самъ гр. Толстой, который въ 1862 г. удивлялся, *какъ можно предлагать* въ учителя безграмотныхъ и безполезныхъ причетниковъ, цѣлый день *занятыхъ посторонниимъ дѣломъ*, — въ 1874 г. удивляется, напротивъ, какъ можно обходить тѣхъ же самыхъ причетниковъ, оскорбляется, что этимъ «дешевымъ учителямъ» предпочитается «любимый типъ» учителей, окончившихъ курсъ учительской школы, и хлопочетъ, чтобы вмѣсто теперешнихъ школъ, съ правильно подготовленными наставниками, были заводимы сотни школъ, подобныхъ Подосинковской, у солдатъ, причетниковъ и дворниковъ, дешевле, чѣмъ по два рубля въ мѣсяцъ».

Въ другихъ мѣстахъ гр. Толстой выражается еще рѣзче. Онъ называетъ «старинныхъ учителей» палачами и живодерами и говоритъ, что не видалъ еще стариннаго учителя—«кроткаго человѣка и не пьяницу». Что касается до требованій народа, то въ той же «Ясной Полянѣ» гр. Толстой неоднократно говорилъ, что родители требовали, чтобы дѣтей ихъ били и ничему, кромѣ азбуки, не учили. «Что намъ рихметика!— говорилъ одинъ мужикъ гр. Толстому—копѣйка за хлѣбъ копѣйка за лукъ, вотъ и вся рихметика. У насъ солдатъ рихметики не учитъ, потому *знаетъ что не нужно*». Изъ школъ, которыя заводилъ гр. Толстой, дѣло шло успѣшно только въ такихъ, «*гдѣ учитель ни на шагъ не сдавался на требованія крестьянъ*, а прямо говорилъ: «не нравится, возьми изъ школы и отдай солдатамъ»; гдѣ онъ толковалъ, что «*я не пойду тебя учить, какъ пахать*, хоть ты и для меня бы пахалъ, *такъ и ты не учи меня, какъ учить*, хотя я и учу тьоего сына»,—*тамъ понемногу крестьяне сдавались*». Я не имѣлъ возможности провѣрить цитаты г. Маркова, а изъ предыдущаго видно, что почтенному писателю этому вѣрить на слово нельзя. Можетъ быть, онъ и тутъ нѣчто просѣялъ и нѣчто прибавилъ. Но цитатъ этихъ слишкомъ много, и есть же граница у всякой недобросовѣстности. Должно поэтому думать, что 12 лѣтъ тому назадъ гр. Толстой не возлагалъ надеждъ на солдатъ, прохожихъ, богомолокъ и причетниковъ, которыхъ нынѣ рекомендуетъ въ народные учителя, и относился къ требованіямъ народа и его свободѣ выбирать программу образованія не столь довѣрчиво, какъ теперь. Это уже не противорѣчіе между гр. Толстымъ и г. Цвѣтковымъ, что ни мало не поучительно, это—противорѣчіе гр. Толстого съ самимъ собой и притомъ не только противорѣчіе его взглядовъ 1862 г. со взглядами 1874, какъ думаетъ г. Марковъ. Нѣтъ, гр. Толстой совершенно справедливо заявляетъ, что его основныя воззрѣнія со временъ «Ясной Поляны» не измѣнились. Поэтому то, что является противорѣчіемъ теперь, было и тогда противорѣчіемъ.

Мы здѣсь имѣемъ первый случай столкновенія десницы гр. Толстого съ шуйцей, которое (столкновеніе) есть только одно звѣно изъ цѣлой цѣпи и можетъ быть правильно оцѣнено только въ совокупности всѣхъ этого рода явленій литературной дѣятельности этого искренно и глубоко уважаемаго мною писателя.

X.

Десница и шуйца гр. Толстого.

(Продолженіе).

Какъ ни просты, какъ ни ясны соображенія гр. Толстого о значеніи для народа явленій, которыя принято называть прогрессивными, но приходятъ къ нимъ сравнительно очень и очень немногіе люди. И это совершенно понятно. «Мы всѣ, вверху стоящіе, что городъ на горѣ, дабы всѣмъ видѣнъ былъ» — естественно должны принимать близко къ сердцу казовую сторону цивилизаціи. Цивилизація разбудила въ насъ извѣстныя потребности и затѣмъ сама же удовлетворяетъ этимъ потребностямъ въ извѣстномъ порядкѣ и въ извѣстной степени. Наслажденія умственною дѣятельностью, искусствомъ, политическою дѣятельностью, матеріальною обстановкой, созданной цивилизаціей, такъ велики, такъ осязательны, что намъ вполнѣ естественно добиваться ихъ и затѣмъ просто наслаждаться, когда они въ той или другой мѣрѣ добыты. Мы очень хорошо знаемъ цѣну, заплаченную за нихъ нами самими, и именно поэтому даже не задаемъ себѣ вопроса, — не оплачиваетъ ли наши наслажденія еще кто-нибудь, кромѣ насъ? А если онъ намъ и представится, то мы невольно отъ него отмахиваемся, что даже очень удобно, благодаря сложности и запутанности явленій жизни. Теперь, напримѣръ, раздаются повсюду жалобы на оскудѣніе беллетристическихъ талантовъ. Критика припоминаетъ Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Грибоѣдова, припоминаетъ вторую серію большихъ талантовъ—Льва Толстого, Гончарова, Тургенева — и сѣтуетъ, что источникъ наслажденія поэтическими произве-

деніями какъ бы изсякъ, не дастъ ничего новаго и грозитъ даже совершенно высохнуть, какъ только неумолимая смерть унесетъ представителей прежняго, блестящаго періода русской поэзіи. Таланты есть и теперь и еслибы мы не имѣли образцовъ талантовъ болѣе сильныхъ, мы были бы можетъ быть совершенно довольны своимъ настоящимъ. Но въ общемъ счетѣ группы поэтовъ 20—30 и затѣмъ 40 годовъ несомнѣнно примируютъ надъ всѣмъ, что народилось лучшаго въ послѣднія пятнадцать — двадцать лѣтъ. Изъ новѣйшихъ беллетристовъ—у кого не хватаетъ выдержки и законченности, у кого—тонкости пониманія и изящества кисти, словомъ, всѣ такъ или иначе съ изъяномъ, всѣ не даютъ намъ тѣхъ наслажденій, которыя мы уже имѣли случай испытывать. Представимъ себѣ теперь, что нижеслѣдующее объясненіе этого прискорбнаго явленія вполнѣ вѣрно: поэты двадцатыхъ — сороковыхъ годовъ были хоть и не очень богатые люди, но все-таки въ большинствѣ случаевъ помѣщики, обезпеченные крѣпостнымъ правомъ. Они имѣли полную возможность развивать свои таланты на досугѣ, учиться болѣе или менѣе пристально съ измала, посѣщать заграничные университеты, исполнить рецептъ Гоголя, по которому слѣдуетъ написать повѣсть и дать ей «отлежаться» съ годъ, потомъ переписать ее и опять отложить и т. д. до восьми разъ. При такой обстановкѣ ни одна случайная искра духовнаго интереса не могла пропасть совсѣмъ даромъ и должна была преимущественно разгораться пламенемъ поэтическаго таланта, ибо поэзія составляла нуть не единственное, болѣе или менѣе свободное поприще умственной дѣятельности. Нынѣ талантовъ нарождается, можетъ быть, и не меньше, но одни совсѣмъ затираются безпощадной борьбой за существованіе, такъ что и не показываются даже, а другіе недоразвиваются. Возвратите крѣпостное право или подождите, пока вырастутъ и окрѣпнутъ, т. е. передадутся нѣсколько разъ по наслѣдству большіе промышленные капиталы, и русская беллетристика опять расцвѣтетъ. Я очень хорошо понимаю, что это объясненіе далеко не полное но думаю, что оно въ значительной степени вѣрно. Положимъ, что мнѣ удалось бы доказать это со всею возможною въ такого рода вопросахъ точностью. Какъ бы вы приняли эту диссертацію, мой благосклонный читатель? Если бы вы были крѣпостникомъ, вы бы одобрительно промычали и сказали бы: ну вотъ, я всегда это говорилъ! Если бы вы были чѣмъ-нибудь вродѣ г. Скальковскаго, вы сказали бы, что къ крѣпостному праву возрата нѣтъ, но поставить поэзію въ зависимость отъ капитала — не вредно. Если бы вы были не крѣпостникомъ и не г. Скальковскимъ, а только русскимъ Ренаномъ, г. Страховымъ, вы бы сказали: конечно, «потъ многихъ есть необходимое условіе развитія немногихъ» и, хоть крѣпостное право омерзительно, но нужно что-нибудь этакое — «фантастическое и неопредѣленное, долженствующее произвести на зрителя легкое, но пріятное впечатлѣніе», какъ говорится въ афишахъ фокусниковъ. Крѣпостникъ и г. Скальковскій для насъ здѣсь ни мало не интересны, ибо рѣчь идетъ о поэзіи, до которой имъ дѣла нѣтъ. Г. Страховъ, конечно, интереснѣе, ибо онъ способенъ наслаждаться поэзіей и знаетъ цѣну этому наслажденію. Онъ дѣйствительно можетъ потребовать чего-нибудь «фантастическаго и неопредѣленнаго» единственно ради интересовъ русской литературы и—мало того—способенъ сказать это смѣло, публично. Но гг. Страховы очень рѣдки въ природѣ. Большинство моихъ благосклонныхъ читателей, я полагаю, не рѣшатся заявить симпатій къ «фантастическому и неопредѣленному», отчасти похожему, а отчасти совсѣмъ непохожему на крѣпостное право, не рѣшатся заявить не только публично другимъ, а и внутри себя, сами себѣ. Да, господа, какъ бы ни были убѣдительны мои доводы, хоть бы вы подъ нихъ не сумѣли иголки подточить, вы не то, что не согласились бы со мной, а не хотѣли бы согласиться. Вамъ было бы больно, обидно признать, что, можетъ быть, чистѣйшія ваши наслажденія взросли при помощи такого удобренія, какъ крѣпостное право; до такой степени больно, что вы отогнали бы отъ себя эту мысль, какъ пискливаго комара, не дающаго спокойно заснуть. Но еслибы, продолжая гипотезу неопровержимой точности моихъ доказательствъ, вы и согласились со мной, вамъ было бы въ высокой степени трудно долго удержаться на рекомендуемой мною точкѣ зрѣнія, и вы бы, можетъ быть, пропустили, не поморщившись, напримѣръ, слѣдующія строки статьи «Современная бездарность», напечатанной въ № 5 «Дѣла» (мнѣ неизвѣстно, принадлежатъ ли эти строки автору статьи или Гальтону, о книгѣ котораго статья трактуетъ, но это все равно): «Нынче, какъ всегда, хозяйство на человѣческія силы (?) совершенно въ пренебреженіи, и всѣ обычаи и строй жизни клонятся не къ тому, чтобы увеличивать массу людей (?) и массу мыслящаго мозга, а къ тому, чтобы ихъ уменьшить. Любопытнѣйшій фактъ этого рода представляетъ древняя Греція. Нигдѣ и никогда не было такой массы выдающихся геніальныхъ людей, какъ въ Аттикѣ. Милліоны европейцевъ въ теченіе двухъ тысячъ лѣтъ

не произвели ничего подобнаго Сократу, Периклу, Фидію, и даже величайшій европеецъ—лордъ Бэконъ едва равняется второстепенному человѣку древности—Платону. Еслибы порода древнихъ грековъ могла сохраниться, распространиться и размножиться по другимъ странамъ, въ этомъ бы заключалось величайшее благо для всей послѣдующей цивилизаціи и размѣръ этого блага мы даже не въ состояніи себѣ вообразить. Но общественная нравственность древняго міра крайне извратилась. Браковъ избѣгали, потому что они вышли изъ моды, многія изъ самыхъ честолюбивыхъ и образованныхъ женщинъ открыто вели распутную жизнь и потому не имѣли дѣтей, а матери будущихъ поколѣній принадлежали къ классамъ общества менѣе интеллектуальнымъ».

Эти строки дали вамъ, безъ сомнѣнія, много пищи для размышленій, очень интересныхъ. Такъ, вы размышляли, можетъ быть, о томъ, есть ли какія-нибудь основанія для признанія Бэкона величайшимъ европейцемъ, Платона—второстепеннымъ человѣкомъ древности, а Перикла—не превзойденнымъ никѣмъ въ послѣдующіе вѣка; о томъ, возможно ли и вообще какое-нибудь основаніе для подобныхъ сравненій; о томъ, хорошо или дурно, что честолюбивѣйшія изъ гречанокъ не имѣли дѣтей и т. п. Но весьма вѣроятно, что вы, какъ и авторъ приведенныхъ строкъ, совершенно упустили изъ виду одно немаловажное и уже несомнѣнное—не то, что мое объясненіе расцвѣта и оскудѣнія русской поэзіи — обстоятельство: «болѣе интеллектуальные» классы общества аѳинскаго, всѣ эти Сократы, Платоны, Фидіи и Периклы взросли на рабствѣ и сами открыто признавали институтъ этотъ необходимымъ условіемъ своего блеска. Вы не задавали себѣ вопроса: какъ отразилась бы на послѣдующей цивилизаціи сохраненіе и распространеніе «породы древнихъ грековъ», съ точки зрѣнія этой коренной ея складки. Почему вы не задали себѣ этого вопроса? Во-первыхъ потому, что вамъ, какъ образованному человѣку, мудрый Сократъ и изящнѣйшій Фидій несравненно ближе, чѣмъ темная масса «менѣе интеллектуальныхъ» греческихъ рабовъ. Во-вторыхъ потому, что Сократъ и Фидій и сами по себѣ замѣтнѣе, ярче темной массы. Въ-третьихъ, наконецъ, потому, что связь Сократа и Фидія съ рабствомъ производитъ столь непріятное, отталкивающее впечатлѣніе, что вы инстинктивно его избѣгаете.

Замѣтьте, благосклонный читатель, что я объ васъ не дурного, а напротивъ, очень хорошаго мнѣнія: я предполагаю, что связь мудрости Сократа и искусства Фидія съ рабствомъ или высокаго поэтическаго таланта гр. Л. Н. Толстого съ крѣпостнымъ правомъ производитъ на васъ обидное, отталкивающее впечатлѣніе. Но нѣкоторые изъ читателей имѣютъ, вѣроятно, право на еще лучшее о нихъ мнѣніе. Потому ли что они вышли изъ рядовъ темной массы, на себѣ испытывающей невидную сторону блеска цивилизаціи; потому-ли, что они люди очень большого ума, непозволяющаго имъ отворачиваться даже отъ непріятной истины; потому ли, наконецъ, что они случайно одарены тонкой и воспріимчивой нравственной организаціей, но они признаютъ фактъ означенной связи и признаютъ не на манеръ крѣпостника или г. Страхова. Для такихъ людей возникаетъ рядъ очень мучительныхъ вопросовъ. Сократъ мудръ, Фидій прекрасенъ, но взростившее ихъ рабство омерзительно. Можно ли разорвать ненавистную, связывающую ихъ цѣпь? или надо признать эту связь фатальною и отказаться отъ надежды обладать философіей и искусствомъ, или, напротивъ, продолжать плодить мысль и красоту на почвѣ чистаго рабства или одного изъ его видоизмѣненій? Если я, «интеллектуальный» человѣкъ, сознаю, что интеллектъ мой и всѣ связанныя съ нимъ наслажденія куплены цѣною «пота многихъ», то каково должно быть мое поведеніе? Отказаться отъ интеллектуальныхъ наслажденій я не могу, признать ихъ происхожденіе безгрѣшнымъ—тоже не могу.

Повторяю, очень немногіе способны задать себѣ эти вопросы, не потому, чтобы ихъ постановка представляла какія-нибудь непреодолимыя логическія трудности, напротивъ, логически они крайне просты, но потому, что тутъ становится поперекъ дороги весь складъ нашей жизни, все наше воспитаніе, всѣ привычныя, ежедневныя впечатлѣнія. Даже die Wenigen, die was davon erkannten, не могутъ пройти весь свой жизненный путь твердымъ, увѣреннымъ шагомъ и почти неизбѣжно впадаютъ въ рядъ противорѣчій. Не избѣгъ этихъ противорѣчій и гр. Толстой. Я этому не удивляюсь. Въ статьѣ г. Маркова упоминается, что онъ богатый помѣщикъ; изъ романовъ его явствуетъ, что онъ коротко знаетъ высшій свѣтъ и, вѣроятно, имѣетъ съ нимъ многостороннія и прочныя связи; онъ очень тонкій художникъ и такъ горячо говоритъ объ искусствѣ, что долженъ придавать эстетическому наслажденію высокую цѣну. И этому-то человѣку, имѣющему возможность наслаждаться всѣми лучшими благами цивилизаціи, совокупность какихъ-то неизвѣстныхъ намъ обстоятельствъ вложила въ голову мысли, изложенныя мною въ прошлый разъ. Еслибы такія мысли пришли въ голову человѣку, лично неспособному или матеріальною обстановкою лишенному возможности вкушать плоды цивилизаціи, то тутъ не было бы ничего удиви-

тельнаго. И обойтись безъ противорѣчій такому человѣку было бы весьма легко. Напримѣръ, человѣкъ, по своей собственной винѣ или по винѣ обстоятельствъ невѣжественный или лишенный потребности познанія, можетъ весьма послѣдовательно, ни разу въ жизни себѣ не противорѣча, отрицать знаніе, поскольку оно отрицается точкою зрѣнія гр. Толстого. Но самъ гр. Толстой находится въ совершенно иномъ положеніи. Возьмемъ его литературную дѣятельность. Онъ — блестящій писатель, пользующійся громадною извѣстностью, онъ — художникъ, т. е. творецъ и несомнѣнно глубоко наслаждается актомъ поэтическаго творчества, онъ издавалъ журналъ и печаталъ въ другихъ журналахъ и отдѣльными изданіями свои произведенія. Между тѣмъ, онъ пришелъ къ слѣдующимъ воззрѣніямъ на книгопечатаніе:

„Для меня очевидно, что распространеніе журналовъ и книгъ, безостановочный и громадный процессъ книгопечатанія былъ выгоденъ для писателей, редакторовъ, издателей, корректоровъ и наборщиковъ. Огромныя суммы народа косвенными путями перешли въ руки этихъ людей. Книгопечатаніе такъ выгодно для этихъ людей, что для увеличенія числа читателей придумываются всевозможныя средства; стихи, повѣсти, скандалы, обличенія, сплетни, полемика, подарки, премін, общества грамотности, распространенія книгъ и школы для увеличенія числа грамотныхъ... Но ежели число журналовъ и книгъ увеличивается, ежели литература такъ хорошо окупается, то, стало быть, она необходима, скажутъ мнѣ наивные люди. Стало быть, откупа необходимы, что они хорошо окупались? отвѣчу я... Литература, такъ же какъ и откупа, есть только искусная эксплоатація, выгодная только для ея участниковъ и невыгодная для народа... У насъ есть разные журналы... (гр. Толстой перечисляетъ тогдашніе журналы), есть сочиненія Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина. И всѣ эти журналы и сочиненія, не смотря на давность существованія, неизвѣстны, ненужны для народа и не приносятъ ему никакой выгоды. Я говорилъ уже объ опытахъ, дѣланныхъ мною для привитія нашей общественной литературы народу. Я убѣдился, въ чемъ можетъ убѣдиться каждый, что для того, чтобы человѣку изъ русскаго народа полюбить чтеніе „Бориса Годунова“ Пушкина или исторію Соловьева, надо этому человѣку перестать быть тѣмъ, чѣмъ онъ есть, т.-е. стать человѣкомъ независимымъ, удовлетворяющимъ всѣмъ своимъ человѣческимъ потребностямъ. Наша литература не прививается и не привьется народу, надѣюсь—люди, знающіе народъ и литературу, не усомнятся въ этомъ... Всякій добросовѣстный судья, неодержимый вѣрою прогресса, признается, что выгодъ книгопечатанія для народа не было... Но скажутъ, можетъ быть, признавая мои доводы справедливыми, что прогрессъ книгопечатанія, не принося прямой выгоды народу, содѣйствуетъ его благосостоянію тѣмъ, что смягчаетъ нравы общества; что разрѣшеніе крѣпостного вопроса напримѣръ, есть только произведеніе прогресса книгопечатанія. На это я отвѣчу, что смягченіе нравовъ общества еще нужно доказать, что я лично его не вижу и не считаю нужнымъ вѣрить на слово. Я не похожу, напримѣръ, чтобы отношенія фабриканта къ работнику были человѣчнѣе отношеній помѣщика къ крѣпостному... Главное же, что я имѣю сказать противъ такого аргумента, есть то, что, взявъ въ примѣръ, хотя особожденіе отъ крѣпостного права, я не вижу, чтобы книгопечатаніе содѣйствовало его прогрессивному разрѣшенію. Ежели бы правительство въ этомъ дѣлѣ не сказало своего рѣшительнаго слова, то книгопечатаніе, безъ сомнѣнія, разъяснило бы дѣло совершенно иначе. Мы видѣли, что большая часть органовъ требовала бы освобожденія безъ земли и приводила бы доводы столь же кажущіеся разумными, остроумными, саркастическими. Прогрессъ книгопечатанія, какъ и прогрессъ электрическихъ телеграфовъ, есть монополія извѣстнаго класса общества, выгодная только для людей этого класса, которые подъ словомъ прогрессъ разумѣютъ свою личную выгоду, вслѣдствіе того всегда противорѣчащую выгодѣ народа. Мнѣ пріятно читать журналы отъ праздности, я даже интересуюсь Оттономъ, королемъ греческимъ. Мнѣ пріятно написать или издать статейку и получить за нее деньги и извѣстность. Мнѣ пріятно получить по телеграфу извѣстіе о здоровьи моей сестрицы и знать навѣрное какой цѣны я долженъ ожидать за свою пшеницу. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ нѣтъ ничего предосудительнаго въ удовольствіяхъ, которыя я при этомъ испытываю, и въ желаніяхъ, которыя я имѣю, чтобы удобства къ такого рода удовольствіямъ увеличивались, но совершенно несправедливо будетъ думать, что мои удовольствія совпадаютъ съ увеличеніемъ благосостоянія всего человѣчества“. (Сочиненія, т. IV, 192 и слѣд.)...

Я не скуплюсь на выписки изъ IV тома сочиненій гр. Толстого какъ потому, что мнѣ нужна самая точная передача его мыслей, такъ и потому, что излагаемыя мною воззрѣнія гр. Толстого, я увѣренъ, совершенно неизвѣстны огромному большинству моихъ читателей. Такъ прочно установилась какимъ-то чудомъ его репутація, какъ плохого мыслителя, что IV томъ его сочиненій, въ которомъ собраны педагогическія статьи, мало кѣмъ читается, не смотря на то, что тамъ есть страницы, даже въ чисто художественномъ отношеніи превосходящія, можетъ быть, все, написанное гр. Толстымъ. Между тѣмъ, именно въ этомъ томѣ слѣдуетъ искать ключа ко всей литературной дѣятельности нашего знаменитаго романиста. Всякій писатель можетъ подвергаться и подвергается крайне краснорѣчивымъ сужденіямъ, во-первыхъ потому, что судьи обладаютъ различными степенями критической способности, во-вторыхъ, потому, что они держатся различнаго образа мыслей. Но относительно гр. Толстого существуетъ еще третья и, поистинѣ, удивительная причина: не смотря на всю свою извѣстность, онъ неизвѣстенъ. Будемъ же изучать его.

Я прошу читателя серьезно вдуматься въ душевное состояніе писателя, пришедшаго къ вышеприведеннымъ воззрѣніямъ на книгопечатаніе и литературу, — писателя не ради куска хлѣба и не по какимъ-нибудь

случайнымъ обстоятельствамъ, а такого, какъ гр. Толстой, т. е. писателя по призванію, неудержимо гонимаго на литературное поприще избыткомъ творческой силы. Положеніе истинно трагическое. Гр. Толстой совершенно справедливо говоритъ, что нѣтъ ничего предосудительнаго въ желаніи написать статейку и получить за нее и деньги, и извѣстность. Конечно, это времяпрепровожденіе само по себѣ ни мало не предосудительно. Но гр. Толстой знаетъ, что этимъ именно непредосудительнымъ путемъ «огромныя суммы народа перешли въ руки» лицъ, прикосновенныхъ къ литературѣ и книгопечатанію; что такъ именно слагается вся литература, эта «искусная эксплоатація, выгодная только для ея участниковъ и невыгодная для народа». Человѣку, не напечатавшему во всю жизнь ни одной строки или писательствующему не по внутренней потребности дѣлиться съ читателями возникающими въ немъ мыслями и образами,—легко сказать то, что говоритъ гр. Толстой. Съ другой стороны, есть много людей, совершающихъ ужасныя преступленія и, тѣмъ не менѣе, спокойныхъ душой, потому что ихъ дѣйствія для нихъ не суть преступленія, они не сознаютъ ихъ преступности. Словомъ, когда сознаніе и потребности находятся тѣмъ или другимъ способомъ въ равновѣсіи, жить легко. Гр. Толстой, напротивъ, ясно сознаетъ, что литература есть одинъ изъ видовъ эксплоатаціи народа, и, тѣмъ не менѣе, участвуетъ въ ней и не можетъ не участвовать, потому что, какъ вѣчному жиду, таинственный голосъ не уставалъ говорить: иди, иди, иди! такъ и гр. Толстому внутренній голосъ, голосъ его богато одаренной природы, не устаетъ говорить: пиши, пиши, пиши! Это столкновеніе неудержимой потребности съ неумолимымъ сознаніемъ составляетъ драму, перипетіи которой должны быть тщательно изучены каждымъ, желающимъ получить правильное понятіе о литературной дѣятельности гр. Толстого. Я не намѣренъ трактовать объ «Аннѣ Карениной», во-первыхъ потому, что она еще не кончена, во-вторыхъ потому, что объ ней надо или много говорить, или ничего не говорить. Скажу только, что въ этомъ романѣ несравненно поверхностнѣе, чѣмъ въ другихъ произведеніяхъ гр. Толстого, но, можетъ быть, именно вслѣдствіе этой поверхностности яснѣе, чѣмъ гдѣнибудь, отразились слѣды совершающейся въ душѣ автора драмы. Спрашивается, какъ быть такому человѣку, какъ ему жить, какъ избѣжать той отравы сознанія, которая ежеминутно вторгается въ наслажденіе удовлетворенной потребности? Безъ сомнѣнія, онъ, хотя бы инстинктивно, долженъ изыскивать средства покончить внутреннюю душевную драму, спустить занавѣсъ, но какъ это сдѣлать? Я думаю, что если бы въ такомъ положеніи могъ очутиться человѣкъ дюжинный, онъ покончилъ бы самоубійствомъ или безпробуднымъ пьянствомъ. Человѣкъ недюжинный будетъ, разумѣется, искать другихъ выходовъ, и такихъ представляется не одинъ. Г. Толстой испробовалъ, кажется, ихъ всѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ мы видимъ цѣлый рядъ очень естественныхъ колебаній въ самыхъ этихъ пробахъ и рядъ отклоненій отъ основной (можетъ быть, не вполнѣ сознаваемой самимъ авторомъ) задачи. Задача эта состоитъ въ томъ, чтобы, оставаясь писателемъ, перестать участвовать въ «искусной эксплоатаціи» или, по крайней мѣрѣ, какънибудь вознаградить народъ за эту эксплоатацію. Есть для этого прямой путь—стать чисто народнымъ писателемъ, внести свою лепту въ созданіе литературы, которая могла бы «привиться» народу. Но даже при наличности всѣхъ другихъ благопріятныхъ условій, это—дѣло крайне трудное въ техническомъ отношеніи. Гр. Толстой испробовалъ, впрочемъ, хотя отчасти, и этотъ путь нѣсколькими разсказами и статейками, вошедшими въ «Азбуку». Здѣсь кстати будетъ сдѣлать слѣдующее замѣчаніе. Я уже говорилъ, что взгляды гр. Толстого на различныя «явленія прогресса», при несомнѣнно глубокой и оригинальной точкѣ зрѣнія, часто слишкомъ просты и, такъ сказать, прямолинейны для того, чтобы вполнѣ соотвѣтствовать сложной и запутанной дѣйствительности. Этою излишнею простотою страдаетъ и его взглядъ на литературу и книгопечатаніе. Что теперешняя наша литература, вообще говоря, не прививается и не привьется народу, это вѣрно. Существуютъ однако исключенія. Я не буду объ нихъ распространяться и укажу только на самого гр. Толстого, который напечаталъ разсказъ «Кавказскій плѣнникъ» сначала въ журналѣ «Заря», т. е. для «общества», а потомъ въ «Азбукѣ», т. е. для народа. Можетъ быть, «Кавказскій плѣнникъ» и, помнится, еще одинъ разсказъ были напечатаны въ «Зарѣ» только, какъ образцы разсказовъ для народа. Но есть и другіе этого рода примѣры. Наша критика (т. е. часть «общества») весьма много хвалила и хулила, вообще, обсуждала солдатика Платона Каратаева въ «Войнѣ и мирѣ»,—романъ этотъ написанъ, конечно, не для народа,—между тѣмъ, очень характерный разсказъ Каратаева о невинно сосланномъ на каторгу купцѣ вошелъ въ «Азбуку» подъ заглавіемъ «Богъ правду видитъ». Во всякомъ случаѣ, дѣятельность гр. Толстого, какъ народнаго писателя, поглотила сравнительно ничтожную долю его силъ. Намъ, «обществу», онъ далъ «Дѣтство и отрочe-

ство», «Войну и миръ», а народу не далъ, какъ писатель, конечно, ничего даже отдаленно похожаго на что-нибудь равноцѣнное. Это зависитъ прежде всего отъ того, что ему представился другой и тоже прямой путь служенія народу—дѣятельность педагогическая, къ которой его толкнулъ другой даръ природы—«педагогическій тактъ». Этотъ педагогическій тактъ гр. Толстой и самъ знаетъ за собой, да объ немъ свидѣтельствуетъ и г. Марковъ, ссылающійся на свое личное знакомство съ веденіемъ дѣла въ школѣ гр. Толстого. Но о педагогической дѣятельности гр. Толстого рѣчь пойдетъ ниже. Однако народнымъ писателемъ гр. Толстой не сдѣлался, я думаю, не только потому, что нашелъ въ педагогіи иной способъ отплаты за эксплоатацію, въ которой онъ участвуетъ наравнѣ съ другими писателями. Тутъ есть и другая причина. Кругъ его умственныхъ интересовъ и слишкомъ широкъ, и слишкомъ узокъ для роли народнаго писателя. Съ одной стороны, онъ владѣетъ запасомъ образовъ и идей, недоступныхъ народу по своей высотѣ и широтѣ. Съ другой стороны, онъ, какъ человѣкъ извѣстнаго слоя общества, слишкомъ близко принимаетъ къ сердцу мелкія, узкія радости и тревоги этого слоя, слишкомъ ими занятъ, чтобы отказаться отъ поэтическаго ихъ воспроизведенія. Забавы аристократическихъ салоновъ и бури дамскихъ будуаровъ, не смотря на все ихъ ничтожество, очевидное для самого графа Толстого, очевидно его интересуютъ. Эти интересы — новый элементъ совершающейся въ его душѣ драмы—мѣшаютъ ему не только быть народнымъ писателемъ, но и идти по другому, косвенному пути къ примиренію потребности поэтическаго творчества съ сознаніемъ нѣкоторой его грѣховности. Въ самомъ дѣлѣ, рѣдко кому дано счастье умѣть писать для народа,—я называю это счастьемъ, хотя бы уже потому, что имѣть милліоны читателей пріятнѣе, чѣмъ тысячи или сотни,—гр. Толстой можетъ и не обладать нужными для этого силами и способностями. Но разъ онъ увѣренъ, что нація состоитъ изъ двухъ половинъ и что даже невинныя, «непредосудительныя» наслажденія одной изъ нихъ клонятся къ невыгодѣ другой, — что можетъ мѣшать ему посвятить всѣ свои громадныя силы этой громадной темѣ. Трудно даже себѣ представить, чтобы какія-нибудь иныя темы могли занимать писателя, носящаго въ душѣ такую страшную драму, какую носитъ въ своей гр. Толстой: такъ она глубока и серьезна, такъ она захватываетъ самый корень литературной дѣятельности, такъ она, казалось бы, должна глушить всякіе другіе интересы, какъ глушитъ другія растенія цѣпкая павилика. И развѣ это недостаточно высокая цѣль жизни: напоминать «обществу», что его радости и забавы отнюдь не составляютъ радостей и забавъ общечеловѣческихъ; разъяснять «обществу» истинный смыслъ «явленій прогресса»; будить, хоть въ нѣкоторыхъ, болѣе воспріимчивыхъ натурахъ сознаніе и чувство справедливости? И развѣ на этомъ обширномъ полѣ негдѣ разгуляться поэтическому творчеству? Гр. Толстой много и сдѣлалъ въ этомъ направленіи. Противопоставленіемъ двухъ означенныхъ половинъ въ «Казакахъ», севастопольскихъ очеркахъ, во многихъ мѣстахъ «Войны и мира», въ «Утрѣ помѣщика» и др. онъ доставилъ много хорошей духовной пищи общественному сознанію. Сюда же относятся его педагогическія статьи и самое изданіе журнала «Ясная Поляна», который, будучи продуктомъ книгопечатанія и, слѣдовательно, «искусной эксплоатаціи», тѣмъ не менѣе, навѣрное, вносилъ миръ въ совѣсть гр. Толстого. Нельзя того же сказать о тщательномъ изученіи и изображеніи радостей и тревогъ аристократическихъ салоновъ и бурь дамскихъ будуаровъ. Надѣюсь, читателю понятно, что эта тема удовлетворяетъ только потребность творчества гр. Толстого, причемъ онъ долженъ сознавать, что уклоняется отъ жизненнаго пути, представляющагося ему правильнымъ, или, по крайней мѣрѣ, долженъ сознавать, что идетъ путемъ неправильнымъ. Правда, онъ тутъ получаетъ удовлетвореніе и какъ человѣкъ извѣстнаго слоя общества, которому можетъ быть не чуждо и все человѣческое, но въ особенности близки интересы, чувства и мысли именно этого слоя. Это—такъ, но въ этомъ-то и состоитъ отклоненіе отъ пути, признаваемаго гр. Толстымъ правильнымъ, тутъ то и начинается его *шуйца*, что опять-таки должно быть ему самому яснѣе, чѣмъ кому-нибудь. Въ самомъ дѣлѣ, что значитъ предавать тисненію тончайшій и подробнѣйшій анализъ различныхъ перипетій взаимной любви Анны Карениной и флигель адъютанта графа Вронскаго, или исторіи Наташи Безуховой, née графини Ростовой и т. п.? Говоря словами самого гр. Толстого, обнародованіе во многихъ тысячахъ экземпляровъ анализа, напримѣръ, ощущеній графа Вронскаго при видѣ переломленнаго хребта любимой его лошади, само по себѣ не оставляетъ «предосудительнаго» поступка. Ему «пріятно получить за это деньги и извѣстность», а намъ, «обществу», не всему, конечно, а преимущественно свѣтскимъ людямъ и кавалеристамъ, очень любопытно посмотрѣться въ превосходное художественное зеркало. Когда дѣло идетъ о герояхъ произведеній г. Тургенева, колеблющихся между юною и неопытною дѣвою

съ одной стороны, и страстнымъ, стремительнымъ демономъ въ юбкѣ съ другой, о душевномъ состояніи автора не можетъ быть и разговора: оно прозрачно, какъ кружева страстнаго демона и цвѣтъ лица юной дѣвы, ибо г. Тургеневъ не смущенъ воззрѣніями гр. Толстого на роль книгопечатанія и литературы. Но гр. Толстой имѣетъ эти воззрѣнія. Поэтому ему должно быть крайне обидно слышать похвалы людей вродѣ критиковъ «Русск. Вѣстника», «Русск. Міра» и «Гражданина», которые увѣрены, что, какъ выразился одинъ изъ нихъ, «литература ничѣмъ другимъ не можетъ питаться, какъ интересами образованнаго круга, потому что они одни только суть истинные національные интересы въ формѣ сознательной и пріуроченной къ интересамъ цивилизаціи», («Русск. Вѣстникъ» 1874, № 4, статья о «Пугачевцахъ» гр. Сальяса). Конечно, это только мое предположеніе, что гр. Толстому обидно слышать эти похвалы, но предположеніе, кажется, весьма вѣроятное. Другой изъ этихъ пещерныхъ критиковъ заявилъ, что герои «Анны Карениной» суть «люди, сохраняющіе *среди новыхъ общественныхъ наслоеній лучшія преданія культурнаго общества*». Эти несчастные не знаютъ, что по мнѣнію гр. Толстого «въ поколѣніяхъ работниковъ («новыя общественныя наслоенія») лежитъ и больше силы, и больше сознанія правды и добра, чѣмъ въ поколѣніяхъ бароновъ, банкировъ, профессоровъ и лордовъ» («культурное общество»). Эти несчастные не подозрѣваютъ, что для гр. Толстого «требованія народа отъ искусства законнѣе требованій испорченнаго меньшинства такъ называемаго образованнаго класса»; что для гр. Толстого не то что гр. Сальясъ съ своими «Пугачевцами», а такіе великаны, какъ Пушкинъ и Бетховенъ, не стоятъ пѣсни о «Ванькѣ-клюшничкѣ» и напѣва «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ» (Сочиненія, т. IV, 380). Эти несчастные не понимаютъ, что то, что имъ нравится въ гр. Толстомъ, есть только его *шуйца*, печальное уклоненіе, *невольная* дань «культурному обществу», къ которому онъ принадлежитъ. Они бы рады были изъ него лѣвшу сдѣлать, тогда какъ онъ, я думаю, былъ бы счастливъ, еслибы родился безъ шуйцы. Повторяю, я только предполагаю, что гр. Толстому должно быть обидно слышать похвалы пещерныхъ людей, которыя (похвалы) относятся только къ его шуйцѣ. Но мнѣ лично всегда бываетъ обидно за гр. Толстого, когда я вижу усилія, и не безуспѣшныя, пещерныхъ людей замарать его своимъ нравственнымъ сосѣдствомъ. Обидно не потому, что я самъ желалъ бы стоять рядомъ съ гр. Толстымъ, хотя, разумѣется, и это привлекательно, но потому, что, марая его своимъ нечистымъ прикосновеніемъ, они отняли у общества чуть не всю его десницу. Почему читающей публикѣ рѣшительно неизвѣстны истинныя воззрѣнія гр. Толстого? Отчего они не коснулись общественнаго сознанія? Много есть тому причинъ, но одна изъ нихъ, несомнѣнно, есть нравственное сосѣдство пещерныхъ людей, холопски, т. е. съ разными привираніями и умолчаніями лобызающихъ шуйцу гр. Толстого. Я на себѣ испыталъ это. Я поздно познакомился съ идеями гр. Толстого, потому что меня отгоняли пещерные люди, и былъ пораженъ, увидавъ, что у него нѣтъ съ ними ничего общаго. Полагаю, что это не исключеніе, а общее правило.

Драма, совершающаяся въ душѣ гр. Толстого, есть тоже моя гипотеза, но гипотеза законная, потому что безъ нея нѣтъ никакой возможности свести концы его литературной дѣятельности съ концами. Гипотеза же эта объяснятъ мнѣ все.

Члены, употребляя терминологію гр. Толстого, «общества» или, говоря языкомъ пещерныхъ людей, «культурнаго общества» представляются нашему автору людьми испорченными, исполненными лжи, мелкими даже въ лучшихъ проявленіяхъ ихъ духа. Онъ говорятъ, напримѣръ: «*страшно сказать*: я пришелъ къ убѣжденію, что все, что мы сдѣлали по этимъ двумъ отраслямъ (по музыкѣ и поэзіи), все сдѣлано по ложному, исключительному пути, не имѣющему значенія, не имѣющему будущности и ничтожному въ сравненіи съ тѣми требованіями и даже произведеніями тѣхъ же искусствъ, образцики которыхъ мы находимъ въ народѣ. Я убѣдился, что лирическое стихотвореніе, какъ напримѣръ. «Я помню чудное мгновенье», произведенія музыки, какъ послѣдняя симфонія Бетховена, — не такъ безусловно и всемірно хороши, какъ пѣсня о «Ванькѣ-клюшничкѣ» и напѣвъ «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ»; что Пушкинъ и Бетховенъ нравятся намъ не потому, что въ нихъ есть абсолютная красота, но потому, что мы также испорчены, какъ Пушкинъ и Бетховенъ, потому, что Пушкинъ и Бетховенъ одинаково льстятъ нашей уродливой раздражительности и нашей слабости». Нѣсколько раньше въ той же статьѣ («Ясно-Полянская школа за ноябрь и декабрь мѣсяцы») читаемъ: «Картина Иванова возбудитъ въ народѣ только удивленіе предъ техническомъ мастерствомъ, но не возбудитъ никакого, ни поэтическаго, ни религіознаго чувства, тогда какъ это самое поэтическое чувство возбуждено лубочною картинкой Іоанна Новгородскаго и чорта въ кувшинѣ Венера Милосская возбудитъ только законное отвращеніе предъ наготой, предъ на-

глостью разврата—стыдомъ женщины. Квартетъ Бетховена послѣдней эпохи представится непріятнымъ шумомъ, интереснымъ развѣ только потому, что одинъ играетъ на большой дудкѣ, а другой на большой скрипкѣ. Лучшее произведеніе нашей поэзіи, лирическое стихотвореніе Пушкина, представится наборомъ словъ, а смыслъ его презрѣнными пустяками. Введите дитя народа въ этотъ міръ, вы это можете сдѣлать и постоянно дѣлаете посредствомъ іерархіи учебныхъ заведеній, академій и художественныхъ классовъ, онъ прочувствуетъ и прочувствуетъ искренно и картину Иванова, и Венеру Милосскую, и квартетъ Бетховена, и лирическое стихотвореніе Пушкина. Но войдя въ этотъ міръ, онъ будетъ дышать уже не всѣми легкими, уже его болѣзненно и враждебно будетъ охватывать свѣжій воздухъ, когда ему случится вновь выйдти на него».

Я бы могъ привести десятки подобныхъ цицатъ и даже жалѣю, что литературныя приличія и недостатокъ мѣста мѣшаютъ мнѣ перепечатать цѣлую треть IV т. сочиненій гр. Толстого. Можетъ показаться, что приведенныя строки, какъ и многія другія, опять-таки сближаютъ гр. Толстого съ славянофилами: тѣ вѣдь тоже доказывали, что добро, правда и красота живутъ только въ народѣ, мы же, цивилизованные люди, со временъ Петра питаемся зломъ, ложью и безобразіемъ. На самомъ дѣлѣ разница между гр. Толстымъ и славянофилами громадна и здѣсь. Ему *страшно сказать* то, что онъ говоритъ и ему дѣйствительно должно быть страшно, потому что самъ онъ не можетъ отказаться отъ Иванова и Бетховена и промѣнять картину Иванова на лубочную картину Іоанна Новгородскаго и чорта въ кувшинѣ. Послѣдняя, какъ онъ замѣчаетъ, «замѣчательна по силѣ религіозно-поэтическаго чувства», но «*уродлива*», удовлетворить его, значитъ, она не можетъ. Славянофилы были увѣрены, что они, такіе-то, Хомяковъ или Аксаковъ, не только поняли величіе народныхъ идеаловъ, но слились или по крайней мѣрѣ, во всякую данную минуту могутъ слиться съ народомъ во всѣхъ своихъ воззрѣніяхъ религіозныхъ, поэтическихъ, политическихъ и проч. Гр. Толстой смотритъ на дѣло гораздо глубже, искреннѣе и правѣе. Онъ помнитъ, что и самъ онъ захваченъ волной цивилизаціи и что нѣтъ у него силы уйти отъ нея, какъ нѣтъ ея у героя «Казаковъ» Оленина, нѣтъ у героя «Анны Карениной» Константина Левина, нѣтъ у героя «Утра помѣщика» Нехлюдова и проч. Частое повтореніе этого драматическаго мотива въ произведеніяхъ гр. Толстого очень характерно, — онъ, этотъ мотивъ, переживается имъ самимъ въ жизни, въ дѣйствительности. Часто гр. Толстого ставятъ рядомъ съ г. Тургеневымъ и вдвигаютъ его героевъ въ рядъ надломленныхъ, безхарактерныхъ людей, ведущихъ свое родословное дерево, кажется, съ Евгенія Онѣгина. Оно отчасти, можетъ быть, и вѣрно, но гр. Толстой рисуетъ этихъ людей въ такой обстановкѣ и въ такіе моменты ихъ жизни, которые не приходили въ голову ни одному изъ нашихъ крупныхъ романистовъ. Въ этомъ-то и состоитъ глубокая оригинальность его, какъ беллетриста. Онъ не предается фальшивой идеализаціи удальца, вора и пьяницы Лукашки, которому завидуетъ Олениннъ, или ямщика Илюшки, по поводу котораго Нехлюдовъ размышляетъ; зачѣмъ я не Илюшка! или того народа, жизнью котораго такъ хочетъ и такъ не можетъ жить Константинъ Левинъ. Даже въ знаменитомъ Платонѣ Каратаевѣ, затасканномъ нашей критикой, я не вижу фальшивой идеализаціи, какъ не вижу ея въ признаніи лубочной картинки уродливою, но полною религіозно-поэтическаго чувства. Но авторъ ставитъ дѣло такъ, что во всѣхъ этихъ грубыхъ и невѣжественныхъ дѣтяхъ народа оказывается нѣчто достойное зависти людей образованныхъ и тонко развитыхъ. Что это за нѣчто, и почему гр. Толстой стоитъ на немъ такъ упорно? Я думаю, что устами Нехлюдова, Оленина, Левина и проч. гр. Толстой самъ завидуетъ Лукашкамъ и Илюшкамъ, потому что у Илюшекъ и Лукашекъ свѣтлѣе, тише въ душѣ, чѣмъ у него, гр. Толстого; свѣтлѣе и тише не только потому, что они—люди грубые и невѣжественные, а и потому, что они не виноваты, напримѣръ, передъ авторомъ «Войны и мира» и «Анны Карениной», а онъ передъ ними виноватъ: онъ участвовалъ и участвуетъ въ «искусной эксплуатаціи», совершающейся при посредствѣ книгопечатанія, телеграфовъ, желѣзныхъ дорогъ и другихъ «явленій прогресса». Фальшивое положеніе, въ которомъ находится авторъ «Войны и мира» и «Анны Карениной» (не онъ одинъ, конечно) немыслимо для Лукашекъ и Илюшекъ, а это, конечно, должно гарантировать этимъ грубымъ и невѣжественнымъ людямъ нѣкоторое превосходство надъ блестящимъ и тонко-развитымъ писателемъ. Съ другой стороны, превосходство надъ ними гр. Толстого тоже не можетъ подлежать сомнѣнію. Въ чемъ же дѣло? Намъ отвѣтитъ самъ гр. Толстой словами сказанными имъ по отношенію къ дѣтямъ, но очевидно справедливыми и относительно Лукашекъ и Илюшекъ.

„Воспитывая, образовывая, развивая или, какъ хотите, дѣйствуя на ребенка, мы должны имѣть и имѣемъ безсознательно одну цѣль: достигнуть наибольшей гармоніи въ смыслѣ прав-

ды, красоты и добра. Если бы время не шло, если бы ребенокъ не жилъ всѣми своими сторонами, мы бы спокойно могли достигнуть этой гармоніи, добавляя тамъ, гдѣ намъ кажется недостаточнымъ, и убавляя тамъ, гдѣ намъ кажется лишнимъ. Но ребенокъ живетъ, каждая сторона его существа стремится къ развитію, перегоняя одна другую, и большею частью *самое движеніе впередъ этихъ сторонъ его существа мы принимаемъ за цѣль и содѣйствуемъ только развитію, а не гармоніи развитія*... Большею частью воспитатели выпускаютъ изъ виду, что дѣтскій возрастъ есть первообразъ гармоніи, и развитіе ребенка, которое независимо идетъ по неизмѣннымъ законамъ, принимаютъ за цѣль.. Воспитатели какъ-будто объ одномъ только стараются, какъ бы не прекратился процессъ развитія и, если думаютъ о гармоніи, то всегда стараются достигнуть ея, приближаясь къ неизвѣстному для насъ первообразу въ будущемъ, удаляясь отъ первообраза въ настоящемъ и прошедшемъ. Какъ бы ни неправильно было развитіе ребенка, всегда еще остаются въ немъ первобытныя черты гармоніи. Еще умѣряя, но крайней мѣрѣ, не содѣйствуя развитію, можно надѣяться получить хоть нѣкоторое приближеніе къ правильности и гармоніи. Но мы такъ увѣрены въ себѣ, такъ мечтательно преданы ложному идеалу взрослаго совершенства, такъ нетерпѣливы мы къ близкимъ намъ неправильностямъ и такъ твердо увѣрены въ своей силѣ исправить ихъ, такъ мало умѣемъ понимать и цѣнить первобытную красоту ребенка, что мы скорѣй, какъ можно скорѣй раздуваемъ, залѣпляемъ кидающіяся намъ въ глаза неправильности, исправляемъ, воспитываемъ ребенка... *Идеалъ нашъ сзади, а не спереди* (курсивъ гр. Толстого)... Учить и воспитывать ребенка нельзя и безсмысленно по той простой причинѣ, что ребенокъ стоитъ ближе меня, ближе каждаго взрослаго къ тому идеалу гармоніи правды, красоты и добра, до котораго я въ своей гордости хочу возвести его. Сознаніе этого идеала лежитъ въ немъ сильнѣе, чѣмъ во мнѣ. Ему нуженъ отъ меня только матеріалъ для того, чтобы исполняться гармонически и всесторонне“ (т. IV, 250).

Въ этомъ разсужденіи есть очень важный недосмотръ, значительно колеблющій все разсужденіе, именно недосмотръ закона наслѣдственности. Гр. Толстой полагаетъ, что слово Руссо,—человѣкъ родится совершеннымъ,—«есть великое слово и, какъ камень, останется твердымъ и истиннымъ». Къ сожалѣнію это совсѣмъ не вѣрно. Камень давно разсыпался, ибо сынъ сифилитика родится не совершенствомъ, а сифилитикомъ, сынъ идіота имѣетъ много шансовъ сдѣлаться не совершенствомъ, а слабоумнымъ, сынъ дряблаго барича—несовершенствомъ, а дряблымъ баричемъ и проч. Однако извѣстная доля истины все-таки заключается въ разсужденіи гр. Толстого, потому что сынъ, напримѣръ, дряблаго барича все-таки имѣетъ возможность развиться правильнѣе, «гармоничнѣе» своего отца, и дисгармонія его физическихъ и духовныхъ силъ не имѣетъ такого рѣзкаго, законченнаго характера, какъ у взрослаго. Я, впрочемъ, не на это хочу обратить вниманіе читателя. Пусть онъ подставитъ въ приведенномъ разсужденіи вмѣсто «взрослаго» человѣка—человѣка цивилизованнаго, члена «общества», хоть самого гр. Толстого, а вмѣсто ребенка—народъ, и онъ получитъ очень точное понятіе о воззрѣніяхъ гр. Толстого на отношеніе цивилизованныхъ людей къ Лукашкамъ и Илюшкамъ. Лукашка и Илюшка сравнительно съ нами—люди отсталые. Но для гр. Толстого и въ этомъ отношеніи идеалъ не впереди насъ, а сзади. Г. Марковъ или иной какой-нибудь яснолобый либералъ сочтетъ себя, конечно, вправѣ по этому случаю патетически загоготать: такъ вотъ куда насъ приглашаютъ эти друзья народа! они предлагаютъ намъ обратиться въ забубенныхъ Лукашекъ вмѣсто того, чтобы этимъ самымъ Лукашкамъ дать питательную и вкусную духовную пищу! Подъ маской любви къ народу они желаютъ оставить его въ состояніи, мало чѣмъ отличающемся отъ состоянія дикарей! Но поздно спохватились, господа! Народъ самъ понимаетъ, что ему нуженъ свѣтъ, и не поддается на эту удочку! И проч., и проч., и проч., листовъ приблизительно на пять печатныхъ съ площадными остротами и патетическими завываніями. Но все это яснолобый либералъ прогогочетъ совершенно втунѣ. Втунѣ пропотѣетъ онъ надъ отшлифовкой своего пафоса и остроумія, ибо, не смотря на высокій стиль и благородное, хотя и дѣланное негодованіе, всѣ его фразы далеко не стоятъ истраченной имъ бумаги, исписанныхъ имъ чернилъ и притупленныхъ перьевъ. Гр. Толстой очень хорошо понимаетъ, что возврата къ состоянію Лукашекъ и Илюшекъ для насъ, людей цивилизованныхъ, нѣтъ. Оттого-то онъ и гонитъ Оленина изъ казачьей станицы и не даетъ душевнаго покоя Нехлюдову и, безъ сомнѣнія, благополучно женитъ Константина Левина на Кити Щербацкой. Понимаетъ гр. Толстой и нежелательность возврата къ Лукашкамъ, даже если бы возвратъ этотъ былъ возможенъ. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ было полезно и справедливо начинять Лукашекъ и Илюшекъ тою цивилизаціей, которою начинены яснолобые либералы, ибо свѣта не только что въ окошкѣ, его довольно много разлито во вселенной. Знаетъ же гр. Толстой, что изъ ребенка непремѣнно выйдетъ взрослый человѣкъ, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ ребенокъ долженъ былъ обратиться именно въ такихъ взрослыхъ людей, какъ напримѣръ, г. Марковъ или г. Цвѣтковъ. Лукашка и Илюшка составляютъ для гр. Толстого идеалъ не въ смыслѣ предѣла, его же не прейдеши, не въ смыслѣ высокой *степени* развитія, а въ смыслѣ высокаго *типа* развитія, неимѣвшаго до сихъ поръ возможности подняться на высшую ступень. Цѣль воспитанія, гово-

ритъ гр. Толстой, должна состоять не въ развитіи, а въ гармоніи развитія. Это справедливо не только относительно воспитанія. Въ обществѣ и литературѣ то и дѣло раздаются требованія развитія, напримѣръ, нашей азіатской торговли или желѣзной промышленности или сельскаго хозяйства въ Россіи; въ любой педагогической книжкѣ слово «развитіе» повторяется чуть не чаще, чѣмъ буква г; одинъ очень тупой актеръ доказывалъ какъ-то при мнѣ, что актрисы—женщины неразвитыя; я очень хорошо помню, какъ въ шестидесятыхъ годахъ меня развивали и какъ я самъ развивалъ другихъ,—тогда это было въ большой модѣ; Писаревъ доказывалъ, что Шекспиръ неразвитъ, потому что вѣритъ въ привидѣнія, и что Щедринъ неразвитъ, потому что не занимается популяризаціей естественныхъ наукъ и проч., и проч., и проч. Во всѣхъ этихъ случаяхъ говорится о развитіи, какъ о чемъ-то вполнѣ ясномъ и себѣ довлѣющемъ. Между тѣмъ, трудно найти понятіе менѣе опредѣленное и самостоятельное. Я вполнѣ согласенъ съ г. Полетикой и другими заводчиками, что желѣзная промышленность наша должна развиваться, я согласенъ и съ гр. Орловымъ-Давыдовымъ, что наше сельское хозяйство подлежитъ развитію. Но наше согласіе немедленно прекращается, какъ только я узнаю *типъ* развитія, предлагаемый этими учеными людьми. Я говорю: пусть лучше наша желѣзная промышленность, наше сельское хозяйство остаются до поры до времени на низкой степени развитія, чѣмъ имъ развиваться дальше, сильнѣе, но по англійскому типу. Еслибы я, профанъ, публиковалъ свои собственныя идеалы развитія сельскаго хозяйства и желѣзной промышленности, то гг. Полетика и Орловъ-Давыдовъ въ свою очередь объявили бы, что *такого* развитія они не хотятъ. Точно такжс, когда говорятъ: этотъ человѣкъ неразвитъ или мало развитъ, надо ему помочь развиться, то фраза эта получаетъ опредѣленное содержаніе только по объясненіи предлагаемаго типа развитія. Конечно, выраженіе гр. Толстого: «гармоническое развитіе» тоже требуетъ поясненія. Но онъ его и даетъ. Относительно Лукашекъ и Илюшекъ онъ съ особенною силою и очень часто упираетъ на то, что эти люди «сами удовлетворяютъ своимъ человѣческимъ потребностямъ». Изъ совокупности его воззрѣній слѣдуетъ заключить, что въ этомъ-то и состоитъ идеалъ, находящійся сзади насъ. Дайте этому типу подняться на высшую ступень, но не подмѣнивайте его инымъ типомъ развитія на томъ только основаніи, что этотъ иной типъ развитъ высоко. Такъ разсуждаетъ гр. Толстой, и я думаю, что воззрѣнія его оправдываются и наукою, и справедливостью. Гармоническимъ развитіемъ наука—и физическая, и нравственная—можетъ назвать только полное, разностороннее и равномѣрное развитіе всѣхъ силъ и способностей. Если же я не самъ удовлетворяю своимъ потребностямъ, какъ Лукашка и Илюшка удовлетворяютъ своимъ, а пользуюсь чужими услугами, то, значитъ, нѣкоторыя мои силы остаются безъ работы, и гармонія моей жизни нарушена, я—человѣкъ искаверканный, хотя бы нѣкоторыя другія мои силы получили колоссальное развитіе. Поэтому гр. Толстой совершенно правъ, утверждая, что идеалъ нашъ—позади насъ. Пусть трудно осуществить его въ настоящемъ и будущемъ, потому что работа жизни становится все многосложнѣе и, слѣдовательно, все труднѣе сохранить или возстановить гармонію силъ. Но идеалъ все-таки поставленъ, возможно приближеніе къ нему, которое и есть истинный путь прогресса. У насъ, напротивъ, прогрессомъ называется вся совокупность отклоненій отъ этого пути.

Итакъ, гр. Толстой завидуетъ чистотѣ совѣсти и гармоническому развитію Лукашекъ и Илюшекъ. Но онъ не можетъ завидовать скудости ихъ понятій, многимъ печальнымъ сторонамъ ихъ образа жизни, ихъ невѣжеству, ихъ грубости. Напротивъ, онъ желалъ бы отъ души поднять ихъ на высшую ступень развитія. Въ силу совершающейся въ его душѣ драмы онъ долженъ считать это даже своей обязанностью. Но можетъ ли онъ, могутъ ли цивилизованные люди вообще это сдѣлать? и если могутъ, то какъ слѣдуетъ приняться за дѣло? Гр. Толстой очевидно мучительно, болѣзненно занятъ этимъ вопросомъ. Есть что-то лихорадочное въ его пріемахъ,—онъ то даетъ одно рѣшеніе, то беретъ его назадъ, то опять къ нему возвращается, то боится вмѣшательства цивилизованныхъ людей, то призываетъ его, то удаляется въ будуары Карениныхъ и Курагиныхъ и старается отыскать въ этомъ мірѣ хоть что-нибудь «гармоническое», то топчетъ этотъ міръ. Эта лихорадка умственной работы тѣмъ поразительнѣе, что совершается подъ покровомъ наружнаго спокойствія, которое принято называть объективизмомъ. Лихорадка эта вполнѣ понятна. Вѣдь всѣ мы—люди изломанные, искалѣченные, всѣ мы—либо жалкіе и наивные эгоисты, воображающіе, что наши радости и горести суть радости и горести цѣлаго народа, даже всего человѣчества, либо, какъ гр. Толстой, чувствуемъ себя виноватыми и мучимся завистью къ чему-то такому, что намъ рѣшительно недоступно, что для насъ даже и не вполнѣ, не въ своемъ эмпирическомъ, на-

личномъ видѣ, желательно. Противъ насъ стоитъ міръ грубости и невѣжества, въ которомъ однако есть задатки такой красоты, такой правды, такого добра, которыя при благопріятныхъ условіяхъ должны затмить насъ совсѣмъ, да и теперь уже отчасти затмѣваютъ. И въ этотъ-то міръ, для его-то блага мы должны что-то большое и важное внести, мы-то, виноватые и искалѣченные! Должны, потому что намъ говоритъ это совѣсть, но можемъ ли? Не напортимъ ли мы только? Не лучше ли предоставить дѣло на волю божію, какъ говорили въ старину въ судебныхъ рѣшеніяхъ?

Тутъ вытягивается шуйца гр. Толстого. Критика наша достаточно говорила о непріязненномъ отношеніи гр. Толстого къ историческимъ лицамъ, пытающимся дѣйствовать на свой страхъ, по своему крайнему разумѣнію—непріязненномъ отношеніи, доходящемъ до ненависти и презрѣнія, и о его пристрастіи къ людямъ смирнымъ и недѣятельнымъ, сознающимъ себя слабыми орудіями цѣлесообразнаго хода исторіи. Мнѣ было очень смѣшно читать «Критическій фельетонъ» въ № 5 «Дѣла», гдѣ авторъ съ комическою серьезностью увѣряетъ, что онъ впервые разоблачаетъ съ этой стороны «Войну и миръ». Я не вижу никакой надобности повторять то, что было говорено такъ много разъ въ разныхъ журналахъ и газетахъ. Я прибавлю только то, чего наша критика не договорила. Еслибы мнѣ пришлось трактовать о философской подкладкѣ «Войны и мира», я бы опровергалъ ее не отъ своего имени, а отъ имени гр. Толстого, заимствуя возраженія отчасти изъ его педагогическихъ статей, а отчасти изъ «Войны и мира» же. Я бы не сталъ, напримѣръ, разбирать, насколько основательно приписывать какой-нибудь разумной, цѣлесообразной силѣ такую нелѣпую и недостойную комедію, какъ кровавое движеніе народовъ сначала съ запада на востокъ, а потомъ съ востока на западъ. Допустимъ, что всѣ доводы гр. Толстого въ пользу разумности и цѣлесообразности всѣхъ подробностей этого, измолотившаго сотни тысячъ человѣческихъ жизней, движенія вполнѣ резонны. Но вѣдь это движеніе туда и обратно заняло въ исторіи всего нѣсколько лѣтъ. Движеніе европейской цивилизаціи совершается уже много вѣковъ, а гр. Толстой, какъ мы видѣли въ прошлый разъ, превосходно доказалъ, что это движеніе нецѣлесообразно и неразумно, что съ нимъ слѣдуетъ бороться. Еслибы какимъ-нибудь непонятнымъ чудомъ *одинъ* кровавый эпизодъ этого многовѣковаго движенія и оказался вдругъ разумнымъ и цѣлесообразнымъ, то передъ такимъ явленіемъ слѣдуетъ только вложить палецъ удивленія въ ротъ изумленія. Стараться же его постигнуть было бы совсѣмъ напраснымъ трудомъ. Не сталъ бы я тоже обсуждать увѣренія гр. Толстого, что Наполеонъ, Александръ, Кутузовъ были тѣ именно люди, какіе только и могли быть выставлены историческими условіями. Я бы просто припомнилъ кое-что изъ того, что гр. Толстой говорилъ г. Маркову въ статьѣ «Прогрессъ и опредѣленіе образованія». Напримѣръ: «очень можетъ быть забавно разсуждать вкривь и вкось о тѣхъ историческихъ условіяхъ, которыя заставили Руссо выразиться именно въ той формѣ, въ какой онъ выразился». Или: «историческое воззрѣніе можетъ породить много занимательныхъ разговоровъ, когда дѣлать нечего, и объяснить то, что всѣмъ извѣстно» и т. п. Такая очная ставка гр. Толстого съ гр. Толстымъ же была бы въ томъ отношеніи полезна, что навела бы на необходимость объяснить эти противорѣчія. Что умный человѣкъ заблуждается, въ этомъ еще нѣтъ ничего особенно поразительнаго: не заблуждаются только неразсуждающіе. Но что умный человѣкъ такъ рѣзко противорѣчитъ себѣ, это заслуживаетъ большого вниманія, потому что причины, толкающія его къ противорѣчіямъ, должны непремѣнно быть очень серьезны и очень поучительны. Какъ уже сказано, для меня всѣ эти причины сводятся къ столкновенію потребностей гр. Толстого съ его сознаніемъ. Подтвердить однако эту мысль анализомъ «Войны и мира» я не берусь. Это потребовало бы слишкомъ много времени и слишкомъ большого труда. Къ счастью, у гр. Толстого есть одна небольшая, но высоко художественная повѣсть, содержащая въ сжатомъ видѣ всѣ нужные для меня элементы. Къ счастью также, наша критика, сколько мнѣ, по крайней мѣрѣ, извѣстно, не занималась ею. Значитъ я не рискую надоѣсть читателю. Повѣсть эта называется «Поликушка», напечатана она въ III томѣ сочиненій гр. Толстого.

Дворовый Поликей — человѣкъ добрый и вообще недурной, но слабый. Въ числѣ его слабостей есть страстишка къ воровству, которую онъ пріобрѣлъ на конномъ заводѣ отъ конюшаго, перваго вора по всему околотку. Любитъ онъ тоже выпить. Послѣдній его подвигъ состоялъ въ томъ, что онъ въ барской конторѣ укралъ дряпные стѣнные часы. Барыня, женщина нервная, чувствительная и безтолковая, «стала его урезонивать, говорила, говорила, причитала, причитала, и о Богѣ, и о добродѣтели, и о будущей жизни, и о женѣ, и о дѣтяхъ, и довела его до слезъ. Барыня сказала:

— Я тебя прощаю, только обѣщай ты мнѣ никогда впередъ этого не дѣлать.

— Вѣкъ не буду! Провалиться мнѣ, разорвись моя утроба! говорилъ Поликей и трогательно плакалъ. Поликей пришелъ домой и дома, какъ теленокъ, ревѣлъ цѣлый день и на печи лежалъ. Съ тѣхъ поръ ни разу ничего не было замѣчено за Поликеемъ».

Однако репутація вора ему много вредила и, когда пришло время рекрутскаго набора, на него всѣ указывали. Надо было сдавать троихъ. Относительно двоихъ изъ нихъ не было никакихъ колебаній ни у барыни, ни у міра. Третьимъ староста предлагалъ барынѣ или Поликея, или изъ семьи Дутлова, стараго и не бѣднаго мужика, у котораго было два сына и племянникъ. Староста желалъ выгородить Дутловыхъ и сдать Поликушку. Барыня жалѣла и Дутловыхъ, но горой стояла за Поликея. «Одно только скажу тебѣ, говорила она, что Поликея я ни за что не отдамъ. Когда послѣ этого дѣла съ часами онъ самъ признался мнѣ и плакалъ, и клялся, что онъ исправится, я долго говорила съ нимъ и видѣла, что онъ тронутъ и искренно раскаялся. («Ну, понесла!» подумалъ староста). Съ тѣхъ поръ вотъ семь мѣсяцевъ, а онъ ни разу пьянъ не былъ и ведетъ себя прекрасно. Мнѣ его жена говорила, что онъ другой человѣкъ сталъ. И какъ же ты хочешь, чтобы я теперь наказала его, когда онъ исправился? Да развѣ это не безчеловѣчно отдать человѣка, у котораго пять человѣкъ дѣтей и онъ одинъ? Нѣтъ, ты мнѣ лучше не говори про это, Егоръ...». Порѣшили на Дутловыхъ и жеребій выпалъ племяннику. Между тѣмъ, еще во время разговора со старостой, у безтолковой барыни блеснула блажная мысль послать Поликея въ городъ получить порядочныя деньги «три полтысячи рублевъ» (на ассигнаціи), какъ потомъ съ гордостью говорилъ Поликушка. Она не думала, разумѣется, что рискуетъ, искушая человѣка; она была вполнѣ увѣрена, что деньги будутъ привезены сполна, ибо знаніе человѣческаго сердца подсказало ей, что ея краснорѣчіе окончательно обратило вора и пьяницу на путь истины. Она, кажется, въ своемъ приказаніи только и руководствуется, что желаніемъ обнаружить свою силу и проницательность. Сцены тревоги семьи Поликея, когда его позвали къ барынѣ (какъ думали въ первую минуту, для сообщенія вѣсти о рекрутчинѣ), и сборовъ Поликея въ дорогу я передавать не стану, какъ потому, что онѣ мнѣ здѣсь не нужны, такъ и потому, что ихъ пришлось бы выписывать цѣликомъ, чтобы оцѣнить ихъ мастерство и правдивость. Въ особенности поразительна жена Поликея, въ которой сначала нѣтъ, кажется, ничего, кромѣ отчаянія, а потомъ, когда Поликей принесъ извѣстіе объ удивительномъ приказаніи барыни, радость и гордость борются съ тревожнымъ опасеніемъ, что Поликей не выдержитъ искуса. Намъ нужно отмѣтить только одну подробность: шапка у Поликея оказалась столь безобразно-рваная, что надо было ее чинить; жена засовала внутрь выбившіеся изъ-подъ покрышки хлопки и зашила кое-какъ дыру. Поликей, наконецъ, ѣдетъ, гордый, счастливый и съ твердымъ рѣшеніемъ исполнить порученіе свято. И дѣйствительно онъ благополучно миновалъ всѣ кабаки и полпивныя, получилъ деньги и поѣхалъ домой, пріятно мечтая о благодарности и уваженіи, которыя его тамъ ждутъ. Конвертъ съ деньгами онъ для вѣрности положилъ въ шапку и, пока не заснулъ въ телѣжкѣ, неоднократно ощупывалъ конвертъ и засовывалъ его поглубже въ шапку. Одно изъ этихъ движеній и погубило его. «Плисъ на шапкѣ былъ гнилой, поясняетъ разсказчикъ, *и именно потому, что наканунѣ Акулина старательно зашила его въ прорванномъ мѣстѣ, онъ разлѣзся съ другого конца, и именно то движеніе, которымъ Поликей, снявъ шапку, думалъ въ темнотѣ засовать глубже подъ хлопки письмо съ деньгами, это самое движенье распороло шапку и высунуло конвертъ однимъ угломъ изъ-подъ плису*». Словомъ, Поликей вернулся безъ денегъ и повѣсился. Жена его мыла ребятъ въ ту минуту, когда узнала объ этомъ. Она бросилась къ повѣсившемуся, и въ это время одинъ изъ ребятъ захлебнулся и умеръ. Этого уже не могла вытерпѣть многострадальная женщина и сошла съ ума, причемъ барыня еще разъ блистательно обнаружила свою чувствительность и безтолковость. Я разсказываю, такъ сказать, бѣгомъ; и несчастія семьи Поликушки, сбитыя въ кучу, могутъ показаться нѣсколько аляповатыми. Но кто читалъ или прочтетъ «Поликушку» въ подлинникѣ, тотъ этого не скажетъ. Дѣло этимъ не кончается. Старикъ Дутловъ, сдавъ въ городѣ своего племянника, на обратномъ пути нашелъ потерянный Поликеемъ конвертъ съ деньгами, представилъ его чувствительной и безтолковой барынѣ и получилъ отъ нея всѣ «три полтысячи» въ подарокъ. «Пускай возьметъ всѣ, нетерпѣливо говорила барыня горничной. Что, ты меня не понимаешь? Эти деньги несчастныя, никогда не говори мнѣ про нихъ. Пускай возьметъ себѣ этотъ мужикъ, что нашелъ. Иди, ну иди же!» Часть этихъ денегъ счастливый Дутловъ (тоже мастерская фигура: прижимистый старикъ, смѣсь хитрости съ искренностью, простоты съ торжественностью, типичный великорусскій мужикъ) употребилъ на наемъ охотника за своего племянника. Вотъ какъ, значитъ, иногда не-

ожиданно разыгрываются житейскія драмы. Цивилизованный человѣкъ, чувствительная и безтолковая барыня, самоувѣренно рѣшила, что имѣетъ достаточно и ума, и власти, и житейскаго опыта для того, чтобы благодѣтельствовать и даже окружить нѣкоторымъ почетомъ семью Поликушки. Вмѣшательство ея опредѣлило также идти въ рекруты Дутлову. Но комбинація разныхъ мелкихъ обстоятельствъ вродѣ починенной шапки и нахожденія денегъ именно Дутловымъ, комбинація, не лишенная, вѣроятно, нѣкоторой разумности и цѣлесообразности, перевернула все вверхъ дномъ. То именно, что̀ гордый, но слабый разумъ, какъ чувствительной барыни, такъ и Поликея и жены его, старался направить къ счастію Поликушки, обрушилось страшною тяжестью на всю его семью и раздавило ее. А Дутлову, напротивъ, выпалъ самый счастливый билетъ лотереи.

Если смотрѣть на «Поликушку», какъ на анекдотъ, т. е. какъ на разсказъ объ единичномъ, необыкновенномъ, исключительномъ, не подлежащемъ какому-нибудь обобщенію случаѣ, то можно, конечно, только сказать: да, очень странное стеченіе обстоятельствъ. Но широкій, преимущественно склонный къ обобщеніямъ умъ гр. Толстого не годится для анекдотовъ: онъ ихъ никогда не писалъ и, я думаю, не будетъ писать. Совсѣмъ у него иначе голова устроена. И въ «Поликушкѣ» слѣдуетъ видѣть отраженіе нѣкоторыхъ задушевныхъ, общихъ понятій автора. Съ точки зрѣнія господствующихъ о гр. Толстомъ мнѣній дѣло объясняется очень просто: недовѣріе къ человѣческому разуму, неспособному понять цѣлей Провидѣнія, гордо помышляющему о своихъ собственныхъ цѣляхъ и терпящему въ концѣ концовъ полное пораженіе. Это—такъ. Я знаю, что гр. Толстой имѣетъ такія воззрѣнія, я знаю, что въ этомъ направленіи онъ можетъ унизиться (въ философскомъ отношеніи) даже до такой фразы: «не случайно, а цѣлесообразно окружила природа земледѣльца земледѣльческими условіями, а горожанина—городскими» (т. IV, 21). Но я не могу только отмѣтить поразительное явленіе и затѣмъ пройти мимо. Я съ величайшимъ недоумѣніемъ останавливаюсь передъ нимъ и спрашиваю себя: какъ могъ сказать такую плоскость такой человѣкъ, какъ гр. Толстой, который такъ отчетливо, такъ глубоко понимаетъ неразумность и нецѣлесообразность историческаго хода событій и такъ страстно и настойчиво борется съ нимъ, ища при этомъ опоры въ своемъ разумѣ и ставя передъ собой свои особенныя цѣли? Мнѣ кажется, что я нашелъ отвѣтъ, который и предлагаю читателю. Скажу однако, что если бы гипотеза, построенная мною для объясненія литературной дѣятельности гр. Толстого, оказалась даже несостоятельною, но если мнѣ удастся сообщить при этомъ читателю хоть часть того интереса, который возбуждаетъ во мнѣ этотъ писатель, такъ я и тѣмъ буду доволенъ. Потому что онъ глубоко поучителенъ даже въ своихъ многочисленныхъ противорѣчіяхъ. Мнѣ кажется, что корень несчастій, обрушившихся на семью Поликея, заключается для гр. Толстого въ чувствительной и безтолковой барынѣ, въ цивилизованномъ человѣкѣ, слабомъ и исковерканномъ, но самоувѣренно вмѣшивающемся въ жизнь народа. Наблюденіе, чисто теоретическія соображенія и чувство совѣсти и отвѣтственности привели его къ заключенію, что цивилизованный человѣкъ плохъ. Но наблюденіе же, теоретическія же соображенія и опять-таки чувство отвѣтственности привели его къ другому заключенію: цивилизованный человѣкъ обязанъ дѣйствовать и дѣйствовать въ извѣстномъ направленіи. Изъ этого послѣдняго заключенія проистекаетъ вся десница гр. Толстого, смѣлость его мысли, благородство стремленій, энергія дѣятельности. Но эта нитка ежеминутно грозитъ оборваться на соображеніяхъ о негодности цивилизованнаго человѣка: вотъ и самого гр. Толстого все тянетъ къ міру дамскихъ будуаровъ. Мысль труситъ, стремленія замираютъ, энергія слабѣетъ, и вся надежда возлагается на какое-то туманное цѣлесообразное начало, которое безъ насъ и наперекоръ намъ устроитъ все по своему. Въ этотъ же психическій моментъ совершаются и другія явленія. О пристрастіи гр. Толстого къ семейному началу наша критика тоже говорила такъ много, что мнѣ нужно только договорить недоговоренное ею. Доводы гр. Толстого въ пользу преобладающаго, всепоглощающаго значенія семейнаго начала, доходящіе до апоѳеоза «сильной и плодовитой самки» Наташи Безуховой (въ «Войнѣ и мирѣ» есть прямо логическіе доводы, кромѣ логики образовъ), очень удобно опровергаются, какъ и нѣкоторые его философско-историческіе взгляды, его же собственными соображеніями. Я, впрочемъ, не стану этимъ заниматься и обращу вниманіе читателя на слѣдующее любопытное обстоятельство. Замѣчательно, что, вводя читателей въ міръ крестьянскій, народный, гр. Толстой не предается преувеличенной идеализаціи семейнаго начала и даже совсѣмъ этой стороны жизни не касается. Этимъ умолчаніемъ, если его поставить рядомъ съ гимнами «сильной и плодовитой самкѣ» въ цивилизованномъ быту (и чѣмъ выше общественный слой, тѣмъ сильнѣе авторъ поетъ этотъ гимнъ), гр. Толстой какъ будто говоритъ: обитателямъ салоновъ и будуаровъ

надо бросить мысль о какой бы то ни было политической и общественной дѣятельности, она имъ не по плечу; если есть у нихъ семья, такъ это—лучшее, что у нихъ есть, внѣ этой сферы они могутъ только вредить; народъ — другое дѣло. Кромѣ того, пропаганда всепоглощающаго семейнаго начала въ цивилизованномъ быту представляетъ гр. Толстому нѣкоторую точку опоры, нѣкоторое оправданіе его экскурсіямъ въ міръ салоновъ и будуаровъ. Нужно же найти что нибудь хорошее тамъ, куда его помимо его воли такъ и тянетъ его шуйца; нужно же противопоставить что-нибудь этимъ Курагинымъ и Облонскимъ, Карениннымъ и Вронскимъ. Но гдѣ лежитъ центръ тяжести ихъ жизни? что ихъ больше всего занимаетъ? Разрушеніе семейнаго начала. Значитъ, и противопоставить имъ можно только семейное начало.

Повторяю, все это гипотеза. Но безъ нея гр. Толстой для меня — неразрѣшимая загадка. И если читатель ее приметъ, то пойметъ, конечно, что въ вопросѣ о народномъ образованіи, который состоитъ собственно въ томъ, какъ и что мы, цивилизованные люди, должны и можемъ передать народу, что въ этомъ вопросѣ гр. Толстой не могъ обойтись безъ противорѣчій.

XI*).

Шуйца и десница гр. Толстого.

(Окончаніе).

Терпимость рѣзко отличаетъ гр. Толстого отъ другихъ нашихъ педагоговъ. Онъ не дѣлаетъ себѣ изъ того или другого способа обученія грамотѣ любимаго конька и не ѣздитъ на немъ съ тѣмъ комическимъ видомъ Георгія Побѣдоносца, образцомъ котораго мы любовались въ статьѣ «Семьи и школы», составленной «по Миропольскому». Гр. Толстой полагаетъ, что всѣ существующіе способы обученія грамотѣ имѣютъ свои достоинства и свои недостатки, что они могутъ и должны примѣняться, смотря по обстоятельствамъ, т. е. смотря по особенностямъ учениковъ и учителей. Если гр. Толстой и смѣется иногда надъ тѣмъ или другимъ способомъ, то только потому, что ему, этому способу, придается кѣмъ-либо изъ педагоговъ значеніе всевластнаго кумира. Тутъ гр. Толстой сходится, можно сказать, со всѣми педагогами-теоретиками и практиками отъ Ушинскаго до какого-нибудь дьячка съ «азами», но также и расходится со всѣми ими въ томъ смыслѣ, что не творитъ себѣ кумира. Терпимость эта не идетъ однако далѣе обученія грамотѣ. За этой первой ступенью образованія начинается уже полный разладъ между гр. Толстымъ и другими педагогами. Разладъ этотъ находится въ ближайшей связи съ другой чертой, еще рѣзче выдѣляющей гр. Толстого изъ среды нашихъ педагоговъ.

Г. Евтушевскій принималъ въ прошломъ году дѣятельное участіе въ устройствѣ семейныхъ или домашнихъ, не помню названія, школъ, предназначенныхъ для дѣтей извѣстнаго класса общества — средняго или выше средняго достатка. Вопросъ объ этихъ школахъ разрабатывался, помнится, и въ «Семьѣ и школѣ». Съ годъ тому назадъ баронъ Корфъ публиковалъ въ газетахъ объ устроенной имъ гдѣ-то въ Швейцаріи школѣ, опять-таки, конечно, для людей средняго и выше средняго достатка. Въ виду дѣтей этого класса пропагандируются и фребелевскіе сады. Вообще, если вы прослѣдите теоретическую и практическую дѣятельность нашихъ извѣстнѣйшихъ педагоговъ, т. е. посмотрите, гдѣ и кому они даютъ уроки, для кого пишутъ статьи и книги, объ чемъ бесѣдуютъ въ педагогическомъ обществѣ, то увидите, что они много, очень много работаютъ для «общества». Гр. Толстой, напротивъ, какъ общественный дѣятель, т.-е. поскольку его дѣятельность подлежитъ нашему сужденію, очень мало интересуется образованіемъ и воспитаніемъ высшихъ классовъ общества. Если ему случалось писать, напримѣръ, объ университетскомъ образованіи или о значеніи классическаго образованія (которое онъ, мимоходомъ сказать, рѣшительно отрицаетъ), то только къ слову, для разъясненія нѣкоторыхъ теоретическихъ вопросовъ, поставленныхъ имъ ради удобнѣйшаго разрѣшенія коренного для него вопроса, — вопроса объ образованіи народномъ. Этимъ сопоставленіемъ я отнюдь не думаю бросить какую-нибудь тѣнь на педагоговъ: наши дѣти не менѣе дѣтей народа нуждаются въ образованіи. Я только констатирую фактъ. Фактъ этотъ чреватъ чрезвычайно важными послѣдствіями. Педагогъ, привыкшій къ атмосферѣ семействъ средняго и выше средняго достатка и казенныхъ или частныхъ учебныхъ заведеній, обезпеченныхъ казеннымъ содержаніемъ или крупной платой учениковъ, естественно приходитъ къ мысли объ образованіи идеальномъ. Какъ ни неудовлетворительны въ разныхъ отношеніяхъ наличныя учебныя заведенія и семейная обстановка достаточныхъ людей, но тутъ имѣются большія, часто громадныя матеріальныя средства, поэтому педагогу можетъ хотя слабо мерцать пріятная мысль дать своимъ ученикамъ такое образованіе, которое онъ считаетъ

*) 1875, іюль.

наилучшимъ, наиболѣе соотвѣтствующимъ, какъ у насъ выражаются, «послѣднему слову науки». Это совершенно въ порядкѣ вещей. Но совершенно въ порядкѣ вещей и діаметрально противоположный взглядъ гр. Толстого. По отношенію къ народному образованію онъ считаетъ просто безсмысленнымъ вопросъ: какъ дать наилучшее образованіе? Чтобы видѣть, что это вопросъ дѣйствительно безсмысленный, надо взять какой-нибудь рѣзкій примѣръ наилучшаго образованія. Я, напримѣръ, полагаю, что наилучшая программа образованія дана Контовой классификаціей наукъ, и если бы у меня имѣлись матеріальныя средства и другія благопріятныя условія, я обучалъ бы своихъ дѣтей сперва математикѣ (въ извѣстной послѣдовательности ея подраздѣленій), потомъ астрономіи, затѣмъ физикѣ, химіи, біологіи и, наконецъ, наукамъ общественнымъ. Большее или меньшее приближеніе къ этой программѣ возможно для людей со средствами, это — «наилучшее образованіе» (т. е. одно изъ наилучшихъ, потому что другіе могутъ выставить другія программы), но какъ его дашь народу?

Конечно, если бы вопросъ стоялъ такъ просто и рѣзко, такъ ребромъ, то не могло бы быть никакихъ пререканій между гр. Толстымъ и педагогами. Было бы ясно, что они толкуютъ о совершенно разныхъ вещахъ. Но дѣло выходитъ гораздо сложнѣе. Педагоги впосятъ въ народное образованіе привычки мысли, выработанныя въ совсѣмъ иной сферѣ, но съ перваго же шага наталкиваются на практическую необходимость сбавить кое-что съ требованій «постѣдняго слова науки». Съ другой стороны и гр. Толстой имѣетъ, какъ и всякій человѣкъ, свои идеалы «наилучшаго образованія» и не можетъ не желать поднятія уровня требованій народа и условій его жизни до этихъ идеаловъ. Разница до сихъ поръ выходитъ, значитъ, все-таки какъ будто только количественная. Но она получаетъ характеръ очень яснаго качественнаго различія, какъ только вы вглядитесь въ отношенія обѣихъ спорящихъ сторонъ къ народу и къ идеаламъ наилучшаго образованія. Педагоги вполнѣ увѣрены въ безусловныхъ достоинствахъ своихъ идеаловъ и вмѣстѣ съ тѣмъ смотрятъ на народъ, какъ на грубую, глупую и невѣжественную толпу. Примѣняясь къ этой грубости, глупости и невѣжеству, они дѣлаютъ извѣстныя урѣзки въ своихъ идеалахъ и, напримѣръ, вмѣсто ряда наукъ въ извѣстной послѣдовательности, предлагаютъ народу какую-то педагогическую окрошку, составленную изъ безсвязныхъ обрывковъ разнообразнѣйшихъ знаній, или низводятъ наглядное обученіе, представляющееся имъ послѣднимъ словомъ науки, до уровня вопросовъ о полетѣ лошади и количествѣ ногъ у ученика. Выходятъ и волки сыты, и овцы цѣлы; и идеалы наилучшаго образованія сохранены, и сдѣлано снисхожденіе къ глупости мужика. Гр. Толстой находится въ иномъ положеніи. Не идеализируя мужика, не отрицая ни его грубости, ни его невѣжества, онъ видитъ въ немъ задатки громадной духовной силы, которой нужно только дать толчокъ. Къ идеаламъ же наилучшаго образованія, какъ и вообще къ идеаламъ «общества» цивилизованныхъ людей, онъ относится, напротивъ, крайне скептически. На основаніи изложенныхъ мною воззрѣній гр. Толстого можно бы было уже a priori сказать, что онъ долженъ отрицательно относиться къ дѣятельности нашихъ педагоговъ: это вѣдь только частный случай столкновенія «общества» съ народомъ. И надо правду сказать, что трудно бы было найти область мысли и дѣятельности, по отношенію къ которой скептицизмъ гр. Толстого былъ бы законнѣе. Благодаря стеченію благопріятныхъ для господъ педагоговъ обстоятельствъ, они пользовались до сихъ поръ какимъ то страннымъ succés de silence. Родители и различныя казенныя и общественныя учрежденія раскупали ихъ книжки въ громадномъ для Россіи количествѣ экземпляровъ; земства различныхъ губерній вызывали ихъ для устройства учительскихъ съѣздовъ и чтенія лекцій; многіе изъ нихъ стяжали себѣ титулъ «нашего извѣстнаго педагога» и проч. Мнѣ извѣстны, правда, случаи разочарованія земства въ выписанномъ имъ изъ Петербурга патентованномъ педагогѣ, а также случаи разочарованія родителей въ періодическихъ и непріодическихъ педагогическихъ изданіяхъ. Но всѣ подобныя недовольства и разочарованія какъ-то мало всплывали наружу, отчасти, можетъ быть, по свойственной русскому человѣку привычкѣ къ долготерпѣнію и молчанію, отчасти изъ боязни осрамиться сомнѣніемъ въ ореолѣ научности и степенности, втихомолку, но прочно окружившимъ головы «нашихъ извѣстныхъ педагоговъ». Бываетъ это, что въ обществѣ появляется человѣкъ съ репутаціей скромности, приличія, степенности, и всѣ привыкаютъ его видѣть, и никто не рѣшается заговорить объ его нескромностяхъ и неприличіяхъ, и всѣ, Богъ знаетъ почему, точно условились, смотрятъ сквозь пальцы на его поведеніе. Такъ было и съ педагогами, пока гр. Толстой не вторгся съ своей критикой. Благодаря его иниціативѣ, профаны—кто старательнѣе и смѣлѣе, а кто (какъ я, грѣшный) и впервые — заглянули въ творенія нашихъ извѣстныхъ педагоговъ, прислушались къ ихъ изустнымъ преніямъ

и увидѣли, что за внѣшнимъ обликомъ учености, за терминологіями, классификаціями и перечисленіями Шольцевъ и Шмальцевъ скрывается нѣчто микроскопически малое. Намъ говорятъ, что гр. Толстой есть врагъ науки, ибо отрицаетъ возможность научнаго построенія педагогики. Обвиненіе важное, и мы его сейчасъ разсмотримъ. Но справедливо оно или нѣтъ, а все-таки нельзя ставить дилемму: на чьей сторонѣ правда,— на сторонѣ науки, или на сторонѣ гр. Толстого? Это дилемма безсмысленная, потому что въ научномъ дѣлѣ, въ предѣлахъ компетенціи науки, правда всегда на ея сторонѣ. Надо разрѣшить другой вопросъ, надо посмотрѣть, имѣемъ ли мы право подставлять науку вмѣсто нашихъ педагоговъ, надо поставить вопросъ: на чьей сторонѣ правда: на сторонѣ ли педагоговъ или на сторонѣ гр. Толстого? Намъ говорятъ, что безобразія, указанныя гр. Толстымъ, суть второстепенныя и третьестепенныя частности, что дѣло совсѣмъ не въ нихъ, а въ томъ общемъ научномъ духѣ, которымъ проникнуты наши педагоги. Такъ покажите же намъ этотъ научный духъ. Мы видимъ, что нашъ извѣстный педагогъ г. Миропольскій уличаетъ въ невѣжествѣ нашего извѣстнѣйшаго педагога барона Корфа, что въ такомъ же невѣжествѣ извѣстнѣйшія редакціи «Семьи и Школы» и «Народной Школы» уличаютъ извѣстнаго педагога г. Бѣлова и проч., и проч. Возможны ли такія взаимныя уличенія въ средѣ людей, проникнутыхъ единымъ научнымъ духомъ? Мы видимъ далѣе, что, не смотря на всѣ требованія профановъ, не смотря даже, вѣроятно, на свое собственное желаніе, и педагоги, и ихъ заступники не представили до сихъ поръ оправданія своимъ претензіямъ на научность. Спириты сдѣлали въ этомъ отношеніи несравненно больше. Они все-таки представили нѣкоторый суррогатъ законовъ извѣстныхъ явленій. Пусть педагоги покажутъ, какими законами и какого рода явленій оправдываются ихъ пріемы обученія, ихъ программы образованія элементарнаго, средняго и высшаго. Говорятъ, гдѣ-то тамъ, за моремъ, все это ужъ сдѣлано. Ну, тѣмъ лучше: коли вы на готовыхъ хлѣбахъ живете, тѣмъ легче вамъ отвѣтить на задаваемые вамъ вопросы. Наука или искусство ваша педагогія, но она должна вѣдаться съ законами какихъ-нибудь явленій. Если она наука,—разскажите намъ открытые вами законы; если она искусство,—разскажите, какія вы ставите задачи и почему именно эти, а не другія, и въ силу опять-таки какихъ законовъ разсчитываете вы достигнуть желаемаго результата. Пока ничего подобнаго не сдѣлано, наука будетъ сама по себѣ, а педагоги тоже сами по себѣ. На самомъ дѣлѣ означенные вопросы послѣ Ушинскаго даже и въ голову не приходятъ педагогамъ: они движутся ощупью или по эмпирическимъ рецептамъ нѣмецкихъ педагоговъ, они играютъ въ науку, какъ малыя дѣти играютъ въ куклы. Поэтому нападать на пресловутый общій духъ, проникающій нашихъ педагоговъ, не только не значитъ оказывать неуваженіе наукѣ, а напротивъ, показываетъ въ нападающемъ желаніе выгородить науку изъ недостойной ея игры. А что педагоги на каждомъ шагу повторяютъ слово *наука*, такъ это ровно ничего не значитъ. Въ Писаніи говорится, что не всѣ, призывающіе имя Христово, попадутъ въ царство небесное. Спириты часто поминаютъ науку, и астрологи, и схоластики тоже ее поминали. Въ комедіи Поисара «Галилей» дѣвушка и крестьянинъ, наслышавшись объ учености знаменитаго флорентинца, обращаются къ нему съ просьбой предсказать имъ судьбу. Къ великому ихъ негодованію Галилей оказывается недостаточно ученымъ. Но ихъ выручаетъ ученѣйшій профессоръ Помпей. Онъ говоритъ:

Вы все узнаете, ступайте вслѣдъ за мною!
. . . . . .
Вамъ объяснится все, согласно съ совпаденіемъ
Рожденья вашего, планетъ соединеніемъ,
Небесной схемою и прочимъ. Я читалъ
Заэля, Магина, Боната; изучалъ,
Что знали Пиѳагоръ, Агриппа, Авиценна,
Дуретъ и прочіе. Мгла неба сокровенна,
Но я проникъ въ нее. Знакомы мнѣ равно
И міръ, и небеса. Ничто мнѣ не темно:
Ни сидеральныхъ буквъ мудреные законы,
Ни тайны магіи, ни катабибазоны,
Ни смыслъ Алмоходенъ, ни множество иныхъ
Вещей, ни сонмъ примѣтъ и добрыхъ, и дурныхъ
Въ соединеньяхъ ихъ годичныхъ и первичныхъ,
Ни числа градусовъ и формулъ ихъ различныхъ,
Ни объясненіе Двѣнадцати домовъ,
Ни день рожденія, ни самый мигъ родовъ,
Впередъ предсказанный ab horis, тріедино...
(Переводъ г. Пушкарева).

А когда Галилея ведутъ на судъ инквизиціи, профессоръ Помпей восклицаетъ:

Теперь могу спокойно
Окончить жизнь свою; Римъ мститъ—и мститъ достойно
За Аристотеля...

Не смотря на нѣкоторыя частныя ошибки и заблужденія, профессоръ Помпей былъ насквозь проникнутъ научнымъ духомъ, ибо твердо вѣрилъ въ Дистервега... то бишь, Аристотеля и изучалъ Фибля, Шольца и Шмальца... то бишь, Заэля, Магина, Боната...

Но обратимся къ гр. Толстому. Въ народѣ лежатъ задатки громадной духовной силы, которые нуждаются только въ толчкѣ. Толчокъ этотъ можетъ быть данъ только нами, представителями «общества», больше ему неоткуда взяться, а мы даже обязаны его дать. Но онъ долженъ быть данъ съ крайнею осторожностью, чтобы какъ-нибудь не затоптать

или не испортить лежащихъ въ народѣ зачатковъ силъ, а это тѣмъ возможнѣе, что сами мы—люди помятые, болѣе или менѣе искалѣченные, дорожащіе разнымъ вздоромъ. Какъ же быть? Никогда уму человѣческому не представлялся вопросъ болѣе важный и тревожный. Онъ находится въ ближайшей связи съ вопросами, волнующими мыслящихъ людей и рабочія массы въ Европѣ. Гр. Толстой, какъ мы видѣли, полагаетъ, что, если русскій мужикъ будетъ прогрессомъ промышленности и сельскаго хозяйства согнанъ съ земли, взамѣнъ которой ему будетъ предложена заработная плата, какъ фабричному или сельскому рабочему, то, какъ бы ни была высока эта плата, мужикъ будетъ обобранъ; обобрано будетъ его будущее, онъ будетъ лишенъ экономической самостоятельности. Съ точки зрѣнія гр. Толстого, вполнѣ раздѣляемой и мною, такія же опасности для народа предстоятъ и на пути прогресса образованія. Опасности здѣсь даже больше, потому что не такъ бросаются въ глаза. Тернистый путь промышленнаго прогресса, его обоюдоострый характеръ изученъ, можно сказать, вполнѣ, и только тупоуміе, рутина и своекорыстіе отворачиваются на этомъ пунктѣ отъ горькихъ истинъ. Не то съ прогрессомъ образованія. Всякій *способенъ* понять, что заработная плата, какъ бы она ни была высока, есть *часть* дохода, даваемаго тѣмъ или другимъ производствомъ, а доходъ съ крестьянскаго земельнаго надѣла, какъ бы онъ ни былъ малъ и обремененъ платежами, есть цѣлый доходъ. Но обыкновенно говорятъ, что лучше большая часть, чѣмъ малое цѣлое, а потому, дескать, показателемъ роста народнаго богатства должна быть признана высота заработной платы, а не количество земельныхъ собственниковъ. Это не то, что невѣрное рѣшеніе вопроса, а неправильная его постановка. Порядокъ, при которомъ большинство населенія живетъ заработною платою, и порядокъ, при которомъ это большинство состоитъ изъ самостоятельныхъ хозяевъ, принадлежатъ не къ различнымъ *ступенямъ*, а къ различнымъ *типамъ* развитія. Поэтому здѣсь и сравнивать надо типы развитія. Извѣстный типъ развитія можетъ быть выше другого и все-таки стоитъ на низшей ступени. Напримѣръ, имѣя въ виду *степени экономическаго развитія* Англіи и Россіи, всякій долженъ будетъ отдать преимущество первой. Но это не помѣшаетъ мнѣ признать Англію низшимъ (въ экономическомъ отношеніи) *типомъ* развитія. Это различеніе типовъ и ступеней развитія весьма важно и могло бы, если бы постоянно имѣлось въ виду, избавить насъ отъ множества недоразумѣній и безплодныхъ пререканій. Я прошу читателя приложить его къ приведенному уже мною въ прошлый разъ утвержденію Гр. Толстого, что пѣсня «о Ванькѣ-Клюшничкѣ» и напѣвъ «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ» выше любого стихотворенія Пушкина и симфоніи Бетховена. Безъ сомнѣнія, въ «Ванькѣ-Клюшничкѣ» и «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ» нѣтъ той тонкости и разнообразія отдѣлки, нѣтъ даже той *односторонней* глубины мысли и чувства, какими блестятъ Пушкинъ и Бетховенъ, они ниже послѣднихъ въ смыслѣ ступеней развитія, но они принадлежатъ къ высшему *типу* развитія, находящемуся пока на низкой ступени, но могущему имѣть *свой* прогрессъ. Эту *возможность* развитія, болѣе широкаго и глубокаго, чѣмъ какимъ вы обладаете сами, вы отнимете, если вамъ удастся подсунуть народу Пушкина вмѣсто «Ваньки-Клюшничка» и Бетховена вмѣсто «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ», вы оберете мужика въ духовномъ отношеніи, прямо сказать, ограбите его. Ограбите даже въ томъ случаѣ, если вамъ удастся всучить мужикупменно такіе свои перлы и адаманты, какъ Пушкинъ и Бетховенъ. Но вѣрнѣе предположить, что народъ получитъ не ихъ, а что-нибудь вродѣ «послѣдняго слова куплетистики», какъ рекламировался недавно въ газетахъ какой-то сборникъ французско-нижегородскихъ каскадныхъ шансонетокъ.

Я не знаю, хорошо ли я излагаю мысли гр. Толстого. Но я разсчитываю на читателя, на его искреннее и серьезное отношеніе къ дѣлу, которое исправитъ недостатки моего изложенія. Я, впрочемъ, стараюсь быть, какъ можно понятнѣе, точнѣе и хватаюсь съ этою цѣлью за всевозможныя средства. Съ тою же цѣлью я сдѣлаю теперь небольшое отступленіе къ вышедшему въ прошломъ году замѣчательному труду г. Владимірскаго-Буданова «Государство и народное образованіе въ Россіи XVIII вѣка». Я не могу согласиться со многими воззрѣніями почтеннаго автора, напримѣръ, съ его пристрастно-враждебнымъ отношеніемъ къ Петру I, объ чемъ, впрочемъ, говорить не буду, такъ какъ это завлекло бы меня слишкомъ далеко. Я не могу, къ сожалѣнію, исчерпать даже всѣ тѣ стороны изслѣдованія г. Владимірскаго-Буданова, которыя находятся въ ближайшей связи съ вопросами, поднятыми въ обществѣ статьей гр. Толстого. Главное достоинство труда г. Владимірскаго-Буданова состоитъ въ томъ, что онъ не изолируетъ вопроса о народномъ образованіи, не отрываетъ его отъ сопредѣльныхъ съ нимъ общественныхъ вопросовъ. Мы къ этому совсѣмъ не пріучены. У насъ разсуждаютъ о звуковомъ методѣ, о фребелевскихъ садахъ, о классическомъ и реальномъ образованіи и проч. почти исключительно отвлеченно, безъ отношенія къ той средѣ, въ которой должны

будутъ дѣйствовать звуковой или иной методъ обученія грамотѣ, фребелевскіе сады и классическое и реальное образованіе. Такія разсужденія, безъ сомнѣнія, могутъ имѣть свою цѣну, но, слыша ихъ, я всегда припоминаю одинъ любопытный историческій примѣръ: одни и тѣ же общія теоретическія начала отразились во Франціи—первой революціей, а въ Германіи—прусско-государственной философіей Гегеля. Это отъ того зависѣло, что эти общія теоретическія начала встрѣтили въ Германіи одну комбинацію общественныхъ силъ, а во Франціи—совершенно другую, а потому и преломились тамъ и тутъ въ діаметрально-противоположномъ видѣ. Изъ этого не слѣдуетъ, разумѣется, что отвлеченныя разсужденія о томъ или другомъ факторѣ общественной и государственной жизни должны быть совсѣмъ исключены изъ нашего умственнаго обихода. Напротивъ, они вполнѣ умѣстны, пока мы не выходимъ изъ области теоріи; временное, сознательное выдѣленіе одного какого-нибудь фактора изъ всей совокупности жизненныхъ явленій можетъ въ этомъ случаѣ составить даже превосходный научный пріемъ. Но въ вопросахъ практическихъ необходимо должны быть приняты во вниманіе тѣ силы и тѣ сочетанія силъ, съ которыми изслѣдуемый факторъ столкнется въ дѣйствительности. Въ этомъ именно отношеніи цѣнно произведеніе г. Владимірскаго-Буданова, которое я беру на себя смѣлость рекомендовать особенному вниманію нашихъ педагоговъ и изъ котораго они извлекутъ несравненно больше пользы себѣ и обществу, чѣмъ изъ всѣхъ Шольцевъ и Шмальцевъ вмѣстѣ. Развѣ не поучителенъ, въ самомъ дѣлѣ, для нашихъ гордыхъ педагоговъ хоть такой примѣръ? Извѣстный Янковичъ де-Міріево представилъ Екатеринѣ проектъ народнаго образованія, заслужившій одобреніе. До тѣхъ поръ народное образованіе было въ рукахъ дьячковъ и велось крайне плохо. Съ принятіемъ проекта Янковича де-Міріево частнымъ лицамъ воспрещено было производить обученіе, если они напередъ не изучали новаго метода въ главномъ народномъ училищѣ и не получили установленнаго свидѣтельства о дозволеніи открыть школу изъ приказа общественнаго призрѣнія, которому были подчинены всѣ народныя школы губерніи. Методъ и объемъ обученія, рекомендованные Янковичемъ де-Міріево, а равно и соотвѣтственныя книги, изданныя для народныхъ училищъ, представляли тоже «послѣднее слово науки» того времени и были, относительно говоря, ничѣмъ не хуже пріемовъ современной педагогіи. Но мужикъ былъ уже тогда грубъ и невѣжественъ. Онъ до такой степени упорно отдавалъ своихъ дѣтей по старому дьячкамъ, что правительство, не смотря на все свое могущество, должно было пойти на сдѣлки. Черезъ нѣсколько лѣтъ по открытіи нѣжинскаго училища смотритель его и городничій получили ордеръ, начинавшійся такъ: «Высочайшая воля есть, чтобы юношество обучаемо было по вновь изданнымъ книгамъ, и на тотъ конецъ заведены народныя училища съ немалымъ отъ казны содержаніемъ. Хотя взяты были дѣти отъ дьячковъ и приведены въ училище, но пробыли тамъ одинъ день, а потомъ болѣе мѣсяца никто не являлся. Причиною тому дьячки, кои обучаютъ по старому методу; родители же почитаютъ въ томъ только науку, что дѣти ихъ въ церквахъ читать могутъ псалтирь». Затѣмъ, рядомъ съ нѣкоторыми репрессивными мѣрами, ордеръ предписывалъ понедѣльникъ, вторникъ и среду до обѣда посвящать ученью въ училищѣ по новымъ методамъ, а среду послѣ обѣда, четвергъ, пятницу и субботу отдать на съѣденіе дьячкамъ! О сильномъ противодѣйствіи приходскихъ школъ новымъ свидѣтельствуетъ и другой документъ, относящійся къ новгородъ-сѣверской школѣ: «Нельзя оставить безъ примѣчанія, что и сіе полезнѣйшее заведеніе (народное училище), какъ и всякое другое, имѣетъ упрямаго себѣ соперника закоренѣлый обычай: многимъ и теперь кажется еще, что прежнее трудное и для нѣжныхъ нервовъ тягостное буквъ названіе удобнѣе теперешняго и что съ стараго букваря и часовника обучать дѣтей легче, нежели изъ книгъ, изданныхъ для народныхъ училищъ!» Вотъ, господа педагоги! Сто лѣтъ тому назадъ ваши предшественники отскакивали съ своимъ послѣднимъ словомъ науки отъ народа, какъ отъ стѣны горохъ. Прошло сто лѣтъ, а вы все еще имѣете право жаловаться, что «многимъ кажется еще (!), что прежнее трудное и для нѣжныхъ нервовъ тягостное буквъ названіе удобнѣе теперешняго и что съ стараго букваря и часовника обучать дѣтей легче, нежели изъ книгъ, изданныхъ для народныхъ училищъ». Положимъ, народъ грубъ, глупъ и невѣжественъ, но возьмите же хоть часть вины на себя. Прислушайтесь хоть къ голосу историка народнаго образованія въ Россіи XVIII вѣка, котораго изученіе предмета привело къ такому заключенію: «Каково бы ни было достоинство (этого) образованія, все же остается вѣрнымъ, что степень сочувствія массъ къ извѣстнымъ явленіямъ соціальнаго характера должна быть необходимо принимаема мѣркою для оцѣнки пригодности административныхъ мѣръ» (Владимірскій-Будановъ, 5). Его великолѣпіе г. «Все тотъ же» надменно спрашиваетъ: «Народъ учить или у народа учиться?» Кое чему можно и у народа поучиться, но

народъ учить, конечно, нужно. Но какъ учить? Вотъ хоть бы вы, г. «Все тотъ же», чѣмъ великолѣпію то предаваться, придумали бы такую программу, которая представила бы мостъ, перекинутый отъ нашихъ познаній къ невѣжеству народа. Безъ такого моста ничего не подѣлаешь, а построить его немножко труднѣе, чѣмъ заниматься великолѣпіемъ.

Для ближайшей цѣли этой главы моихъ записокъ важнѣе однако другая сторона изслѣдованія г. Владимірскаго-Буданова, именно, его взгляды на отношеніе различныхъ формъ народнаго образованія къ сословнымъ дѣленіямъ общества. «Несомнѣнно,—говоритъ авторъ,—что роскошный цвѣтъ образованія классическихъ народовъ есть результатъ соціальнаго строя ихъ, основаннаго на рабскомъ трудѣ (это и есть то неудобопонятное «хозяйство на умъ», которое такъ восхищаетъ журналъ «Дѣло»), что блестящіе, хотя и безплодные, лепестки средневѣковаго образованія, при крайнемъ невѣжествѣ массъ запада Европы, есть одинъ изъ результатовъ феодальной власти владѣльцевъ надъ сельскимъ населеніемъ и промышленной торговой монополіи городскихъ общинъ; чѣмъ выше неравенство экономическихъ сословій, тѣмъ выше неравенство образованія на обоихъ крайнихъ предѣлахъ общества, т. е., чѣмъ оно болѣе блестяще вверху, тѣмъ оно ничтожнѣе внизу. Мало-по-малу, этотъ печальный фактъ стремится перейти въ юридическую норму; владѣющіе классы стремятся утвердить мысль, что низшіе слои населенія *не должны* пріобрѣтать образованіе, что оно въ рукахъ неимущаго есть огонь въ рукахъ дитяти». Таково вліяніе рѣзко-сословнаго строя общества на судьбы народнаго образованія. Но и формы образованія, въ свою очередь, вліяютъ на сословный строй общества. Сюда-то и относятся любопытнѣйшія страницы изслѣдованія г. Владимірскаго-Буданова. Онъ полагаетъ, что въ до-петровскомъ обществѣ вліяніе сословнаго строя на распредѣленіе степеней образованія было весьма ничтожно. Образованіе на всѣхъ своихъ ступеняхъ было въ тѣ времена свободное и всесословное и, что особенно важно, не профессіональное, а общее. Принципомъ образованія была «людскость» (Humanität), а не потребности той или другой сословно-профессіональной группы. Это относится не только къ элементарному образованію, которое по самой сущности своей не можетъ быть профессіональнымъ (и потому при господствѣ профессіональной системы просто не имѣетъ мѣста). Правительство и изъ высшаго образованія не дѣлало орудія сословій. «Образованіе, какъ цѣль правительственныхъ заботъ, есть «мудрость», т. е. *высшее общее образованіе*, которое по схемѣ Крыжанича и привилегіи московской академіи состоитъ въ полномъ развитіи человѣческихъ силъ и способностей, въ томъ, что составляетъ «едино на потребу», къ которому все приложится. Зная, что источникъ благосостоянія церковнаго и государственнаго есть мудрость, «ни о чесомъ же, говоритъ правительство, тако тщаніе сотворяемъ, якоже о изобрѣтеніи премудрости, съ нею же вся благая отъ Бога людемъ дарствуются». Ни къ какой другой сторонней цѣли государство не направляетъ этой мудрости; она сама себѣ составляетъ цѣль и высочайшую, чистѣйшую задачу государства. Средствами для достиженія этой мудрости правительство признаетъ слѣдующую систему наукъ: «благоволимъ храмы чиномъ академіи устроити и во оныхъ хощемъ сѣмена мудрости, т. е. науки гражданскія и духовныя, наченше отъ грамматики, піитики, риторики, діалектики и философіи разумительной, естественной и нравной, даже до богословіи, учащей вещей божественныхъ и совѣсти очищенія постановити». Крыжаничъ уясняетъ эту систему; по его схемѣ знаніе (scientia) раздѣляется на духовное и мірское; первое есть богословіе, второе состоитъ изъ трехъ составныхъ частей: наукъ прикладныхъ («механики»), математики и философіи. Послѣдняя (согласно съ привилегіей московской академіи) опредѣляется, какъ логика, физика и этика. Первая заключаетъ въ себѣ всю филологическую часть человѣческаго вѣдѣнія (грамматику, риторику съ піитикой и діалектику). Вторая («философія естественная») заключаетъ всѣ науки естественныя. Третья («философія нравная») заключаетъ въ себѣ юридическія, экономическія и соціальныя науки, вѣнецъ которыхъ составляетъ политика—«царственная мудрость»(IV).

Петру и его преемникамъ предстояло или идти по тому же пути, только улучшая и расширяя его, т е. снабжая элементарныя, приходскія школы лучшими учителями, расширяя и уясняя программы средняго и высшаго образованія и т. д., или, напротивъ, сойти съ этого пути, замкнувъ образованіе въ извѣстныя сословно-профессіональныя рамки. Правительство избрало второй выходъ. Г. Владимірскій-Будановъ полагаетъ, что русскія сословія, преимущественно же дворянское и духовное, одолжены своею организаціей главнымъ образомъ узаконеніямъ о профессіональномъ образованіи. Два принципа господствуютъ въ нашемъ законодательствѣ XVIII вѣка: 1) всякій долженъ учиться тому, что составляетъ профессію его отца, 2) отсюда само собою слѣ-

дуетъ, что никто сторонній не можетъ быть допущенъ къ этой профессіи. Наисильнѣйшее приложеніе принципы эти получили къ профессіи духовенства, результатомъ чего и было образованіе рѣзко обособленнаго духовнаго сословія. Г. Владимірскій-Будановъ естественно отдаетъ значительную долю своего изслѣдованія этому рѣзкому примѣру, подтверждающему его воззрѣнія на вліяніе образованія на сословный строй. Однако, онъ съ большимъ тщаніемъ слѣдитъ и за другими проявленіями того же принципа. Не говоря уже о дворянствѣ, которому системою профессіональнаго образованія была предоставлена высшая военная и гражданская служба, и о сословіи подъячихъ, читатель найдетъ въ книгѣ много примѣровъ регламентированія законодательствомъ въ сословномъ смыслѣ даже отдѣльныхъ частныхъ видовъ военной и гражданской службы. Такъ напримѣръ, велѣно было «дѣтей, оставшихся послѣ умершихъ въ службѣ докторовъ, штабъ-лекарей, лекарей, подлѣкарей, аптекарей и прочихъ аптекарскихъ служителей не опредѣлять на службу ни въ какія другія команды, но только въ вѣдомство медицинской канцеляріи, гдѣ отцы ихъ служили». Дѣти горнослужащихъ обучались въ горныхъ школахъ; дѣти военныхъ мастеровыхъ обучались такъ, чтобы «потомъ могли быть добрыми мастеровыми»; дѣти ладожской команды получали образованіе въ особой, спеціальной школѣ, состоявшей при Ладожскомъ каналѣ. Если же дѣти людей извѣстной профессіи оказывались къ ней неспособными, то ихъ все-таки стремились удержать какъ-нибудь вблизи отъ нея. Напримѣръ, солдатскія дѣти обучались въ гарнизонныхъ школахъ и предназначались въ военную службу. Въ случаѣ же неспособности, велѣно ихъ было обучать мастерствамъ слесарному, кузнечному, столярному, портному и прочимъ художествамъ, какія при арміи и полкахъ потребны и по воинскому штату опредѣлены. Неспособныхъ дѣтей духовнаго сословія рекомендовалось обучать иконописному мастерству. Я привожу эти мелкіе примѣры потому, что въ нихъ направленіе законодательства отразилось яснѣе, чѣмъ въ узаконеніяхъ, напримѣръ, о профессіональномъ образованіи дворянства. Такимъ образомъ «людскость, «полное развитіе человѣческихъ силъ и способностей перестали существовать, какъ цѣли образованія. Правительство имѣло въ виду исключительно нужды государства, которыя пріурочило къ сословнымъ цѣлямъ и интересамъ. Когда вслѣдствіе этого профессіональная система получила преобладающее, исключительное значеніе, образованіе элементарное оказалось не въ авантажѣ, во-первыхъ уже потому, что оно есть образованіе общее, а во-вторыхъ потому, что имъ должны были пользоваться низшіе классы общества, ни къ какой спеціальной государственной службѣ неприспособленные.

Нѣкоторыя достойныя вниманія поправки къ исторической части изслѣдованія г. Владимірскаго-Буданова читатель найдетъ въ рецензіи г. Андреевскаго, напечатанной въ I т. «Сборника государственныхъ знаній». Я совершенно уклоняюсь отъ бѣсѣды объ этой сторонѣ воззрѣній автора и обращаю вниманіе читателя только на его соціологическіе выводы.

«Человѣческая мысль и нравственная дѣятельность, говоритъ авторъ, не призваны къ исключительному служенію государству» (236). И въ другомъ мѣстѣ: «Профессіи, всегда склонныя къ наслѣдственности, могутъ не переходить въ сословія только при томъ единственномъ условіи, если выборъ ихъ совершается въ лѣтахъ сравнительно зрѣлыхъ, послѣ предварительнаго общаго образованія. Только общее образованіе можетъ уяснить для человѣка его спеціальныя способности и опредѣлить его свободную волю въ ту или другую сторону практической дѣятельности. Въ немъ та сила, которая освобождаетъ человѣка отъ условій, данныхъ ему извнѣ его происхожденіемъ и положеніемъ. Поэтому всякому можетъ показаться весьма страннымъ, что тотъ самый XVIII вѣкъ, который принесъ намъ образованіе, былъ вмѣстѣ съ тѣмъ эпохою развитія сословій. Секретъ разрѣшается тѣмъ, что правительство начала XVIII вѣка не имѣетъ вовсе въ виду общаго (человѣческаго, гуманнаго) образованія. Цѣлью его мѣръ по народному образованію было не образованіе, а государственная служба» (142). При этомъ слѣдуетъ однако замѣтить, что по сознанію самого автора сословія уже существовали въ до-петровской Руси; не Петръ, а XVIII вѣкъ, такъ сказать, обострилъ ихъ. Но повторяю, конкретные историческіе факты, трактуемые г. Владимірскимъ-Будановымъ, я оставляю совсѣмъ въ сторонѣ и смотрю только на ихъ общее соціологическое значеніе. Бываютъ, значитъ, случаи, когда прогрессъ образованія идетъ бокъ-о-бокъ съ прогрессомъ общественныхъ неравенствъ. Очевидно, что явленіе это возможно и помимо усиленной дѣятельности законодательства, направленной исключительно въ сторону сословно-профессіональнаго образованія. Такая дѣятельность законодательства можетъ усилить и ускорить движеніе, которое однако вполнѣ мыслимо безъ нея. Самъ г. Владимірскій-Будановъ указываетъ (141) на организацію у насъ городского сословія, «которое несомнѣнно

представляетъ полный образецъ строгаго сословнаго учрежденія, а между тѣмъ, ни мало не подвергалось вліянію законовъ о народномъ образованіи». Онъ объясняетъ это тѣмъ, что «только т. н. *духовныя* (geistliche, по нѣмецкой терминологіи) профессіи удобно переходятъ въ сословія подъ вліяніемъ законовъ объ изученіи и пріобрѣтеніи профессій. Экономическія же профессіи могутъ перейти въ сословія совершенно независимо отъ законовъ объ обученіи, въ силу стремленія къ корпоративности, присущаго самому духу всякой экономической дѣятельности». Къ этому слѣдуетъ еще, можетъ быть, прибавить, что рѣзкую границу между «духовными» и «экономическими» профессіями провести очень трудно. Какъ бы то ни было, посмотримъ, что происходитъ въ обществѣ или государствѣ, въ которомъ по какимъ бы то ни было причинамъ господствуетъ сословное начало образованія. Мы видимъ здѣсь самую яркую картину борьбы за индивидуальность (прошу читателя припомнить VI главу моихъ записокъ). Побѣда первоначально должна принадлежать высшей индивидуальности—государству. Оно совершенно подчиняетъ себѣ, поглощаетъ отдѣльныя единицы. Оно говоритъ: мнѣ нужны офицеры, солдаты, плотники, священники, подъячіе, какъ простые, несамостоятельные о́рганы моей жизни; съ этою цѣлью я обращаю всѣ эти профессіи въ наслѣдственныя, ибо рядъ поколѣній, воспитанныхъ, напримѣръ, въ школѣ Ладожскаго канала, будетъ наилучше исполнять то, что по моимъ задачамъ должно быть на Ладожскомъ каналѣ исполнено. Но по мѣрѣ того, какъ этимъ путемъ растутъ и крѣпнутъ сословія и сословійца, побѣда въ значительной степени переходитъ на ихъ сторону. *Они* уже своею борьбою направляютъ жизнь государства въ ту или другую сторону. Государство (такъ вездѣ было) въ извѣстный моментъ своего развитія стремится побороть, поглотить сословія и сословійца разными средствами и между прочимъ измѣненіемъ системы образованія, которое становится всесословнымъ и общедоступнымъ (по скольку это во власти законодательства). Борьба ведется съ перемѣннымъ счастьемъ, склоняясь то на одну, то на другую сторону, а пока паны дерутся, у хохловъ чубы болятъ: низшая индивидуальность, личность въ чистомъ и прямомъ смыслѣ слова, человѣкъ—въ духовномъ отношеніи скудѣетъ. Онъ, правда, развивается, можетъ быть, даже весьма сильно и быстро, но всѣ условія его жизни толкаютъ его, какъ выразился бы гр. Толстой, только къ разчитію, удаляя отъ *гармоніи развитія*. Назавло наслѣдственности медицинской профессіи положено указами Анны Іоанновны. Представимъ себѣ, что планъ этотъ получилъ бы дальнѣйшее прочное развитіе, что способныя дѣти медиковъ, аптекарей и пр. въ цѣломъ ряду поколѣній обучались бы, медицинѣ, а малоспособныя, какъ это практиковалось относительно другихъ профессій, пристраивались бы къ толченію разныхъ снадобій въ аптекарскихъ ступкахъ, къ закупориванію стклянокъ, наклеиванію ярлыковъ и пр., и пр. Медицина при этомъ порядкѣ едва ли прогрессировала бы, но корпорація, сословіе медиковъ пользовалось бы, вѣроятно, весьма важнымъ значеніемъ и вѣсомъ въ государствѣ. Однако, это значеніе пріобрѣталось бы насчетъ «гармоніи развитія» личностей, составляющихъ корпорацію. По всей вѣроятности, тѣ спеціальныя силы и способности, которыя требуются медицинской профессіей, получили бы въ этомъ ряду поколѣній весьма высокое развитіе. Но все-таки были бы въ духовномъ отношеніи искалѣчены не только тотъ малоспособный (къ медицинѣ, что не мѣшало бы ему быть геніальнымъ математикомъ, поэтомъ, историкомъ, философомъ) мальчикъ, который осужденъ завязывать до сѣдыхъ волосъ аптекарскія стклянки, но даже и наиболѣе видные члены корпораціи. Ибо въ нихъ, разумѣется, не было бы «полнаго развитія человѣческихъ силъ и способностей», объ которомъ мечталъ Крыжаничъ, или, что тоже, гармоніи развитія, на которой настаиваетъ гр. Толстой. Точно также былъ бы нравственно искалѣченъ первый, лучшій ученикъ школы ладожской команды, искалѣчена бы была его будущность, возможность для него полнаго и всесторонняго раскрытія его духовныхъ силъ.

До сихъ поръ читатель, безъ сомнѣнія, со мной согласенъ, потому что примѣры взяты у меня рѣзкіе и простые. Но попробуйте мысленно постепенно расширять предѣлы профессій медиковъ и ладожской команды. Эти сословійца сложились бы, еслибы сложились, совершенно такимъ же путемъ и дали бы такіе же результаты, какъ и сословія въ общепринятомъ смыслѣ слова,—дворянство, духовенство, купечество. Разница тутъ не качественная, а количественная, почему г. Владимірскій-Будановъ и имѣетъ право разсматривать тѣ и другія вмѣстѣ. Онъ настаиваетъ на томъ, что сословія вездѣ, по крайней мѣрѣ, въ значительную долю времени своего развитія, имѣютъ характеръ профессіональныхъ корпорацій. Для убѣжденія въ этомъ, говоритъ онъ, достаточно однихъ названій древнихъ кастъ востока и сословій классическаго и средневѣковаго міра: жрецы, воины, купцы, земледѣльцы, дедалиды, халкиды, гоплеты,

эгикореи, аргадеи, milites и т. д. Такъ что общіе принципы, несомнѣнные для наслѣдственныхъ медиковъ или наслѣдственныхъ чиновъ ладожской команды, должны быть вѣрны и по отношенію къ наслѣдственнымъ жрецамъ, наслѣдственнымъ воинамъ и пр. Корпоративность, профессія, наслѣдственность и признаніе со стороны государства— вотъ, по мнѣнію г. Владимірскаго-Буданова, главные признаки сословій, очевидно, одинаково приложимые и къ ладожской командѣ, и къ какимъ-нибудь жрецамъ, воинамъ и проч. Поэтому, какъ это на первый взглядъ ни странно, но должно признать, что процессъ исторіи, обобравшій духовную природу чиновъ ладожской команды, обобралъ и духовную природу какихъ нибудь жрецовъ или воиновъ. А впрочемъ, здѣсь даже и на первый взглядъ нѣтъ ничего страннаго. Не ясно ли, что древній воинъ, съ своей односторонне развитою храбростью, драчливостью, жестокостью, грубостью, весьма далекъ отъ гармоніи развитія? Не ясно ли, что нѣкоторыя его способности получили колоссальное развитіе въ ущербъ другимъ духовнымъ его силамъ? И не имѣемъ ли мы поэтому права называть его духовную природу, если не обобранною, то, по крайней мѣрѣ, извращенною? Безъ сомнѣнія, въ новѣйшее время сословія дышатъ не такимъ спертымъ воздухомъ, какъ древнія касты. Въ особенности это должно сказать о такъ-называемомъ третьемъ сословіи въ Европѣ и о средней руки дворянствѣ у насъ. Однако, въ большей или меньшей степени они все-таки остаются сословіями. Спрашивается теперь, каково должно быть міросозерцаніе человѣка, болѣе или менѣе сдавленнаго гранями сословія или какого-нибудь изъ его развѣтвленій? Очевидно, это міросозерцаніе будетъ не совсѣмъ правильное, потому что одностороннее. Оно можетъ быть даже совсѣмъ исковерканнымъ. Гэккель разсказываетъ (въ Generelle Morphologie) къ какимъ результатамъ привели его занятія гимнастикой. «Верхняя часть моей руки, говоритъ онъ, до тѣхъ поръ оставававшаяся почти безъ всякаго упражненія, сдѣлалась въ какихъ-нибудь полтора года почти вдвое толще; это громадное развитіе мускуловъ и связанное съ нимъ упражненіе представленій воли произвели сильное обратное дѣйствіе на другія мои представленія, а этому, въ связи съ другими причинами, я обязанъ тѣмъ, что господствовавшія во мнѣ дотолѣ дуалистическія и теологическія заблужденія смѣнились идеей единства и причинной связи явленій». Этотъ разсказъ знаменитаго ученаго я не потому привелъ, что считаю его очень убѣдительнымъ. Напротивъ, онъ произвелъ на меня нѣсколько комическое впечатлѣніе. Но въ основаніи его лежитъ, я полагаю, несомнѣнная истина. Несомнѣнно, по крайней мѣрѣ, то, что міросозерцаніе людей, у которыхъ въ цѣломъ ряду поколѣній «представленія воли остаются почти безъ упражненія», вообще говоря, должно имѣть свой спеціальный характеръ. Это я говорю о міросозерцаніи вообще, а тѣмъ справедливѣе это относительно той части міросозерцанія, которая вѣдаетъ понятія о явленіяхъ общественной жизни. Несомнѣнно также, что міросозерцаніе это, вообще говоря, должно быть тѣмъ уже, чѣмъ замкнутѣе и обособленнѣе соотвѣтствующіе слои общества. Г. Владимірскій-Будановъ указываетъ на презрѣніе къ труду и узко-утилитарныя понятія русскихъ дворянъ, какъ на результаты профессіональной системы образованія. Я думаю, что явленія эти выработались задолго до XVIII вѣка и, слѣдовательно, профессіональной системы образованія. Но это все равно. Такъ или иначе, а это выраженіе нравственной скудости, обусловленной сословнымъ строемъ. Ихъ можно бы было привести не одно и не два. Подобныя черты нравственной скудости могутъ быть иногда очень тонки и неуловимы, тѣмъ болѣе, что онѣ часто тонутъ въ односторонней духовной роскоши. Онѣ могутъ быть особенно неуловимы теперь, когда сословія все болѣе и болѣе развертываются для силъ, прибывающихъ со стороны, и расплываются въ общемъ понятіи цивилизаціи. Однако черты эти все-таки существуютъ. У насъ, напримѣръ, часто называютъ Пушкина общечеловѣческимъ поэтомъ. Это замѣчательно невѣрно. Пушкинъ есть поэтъ по преимуществу дворянскій, и потому его способенъ принять близко къ сердцу и образованный нѣмецъ, и образованный французъ, и средней руки русскій дворянинъ. Но ни русскій купецъ, ни русскій мужикъ ему большой цѣны не дадутъ. Тотъ кругъ идей и чувствъ, который волновалъ современнаго ему *средняго* дворянина, Пушкинъ исчерпалъ вполнѣ и блистательно. Можно удивляться тонкости его анализа, законченности образовъ, можно, пожалуй, любоваться, какъ глубоко залѣзаетъ онъ иногда въ дворянскую душу, можно, наконецъ, восхищаться красотою его выраженій и стиха, но все это возможно только намъ, образованнымъ людямъ, «обществу». Допустимъ, что онъ блистательно разработалъ всѣ мотивы нашей жизни, чего однако допустить нельзя, но онъ разработалъ мотивы только *нашей* жизни, жизни извѣстнаго, спеціальнаго слоя общества, на которомъ свѣтъ не клиномъ сошелся и который не безъ пятенъ, потому что вѣдь и на солнцѣ есть пятна.

Спрашивается, имѣемъ ли мы право думать, что облагодѣтельствуемъ народъ, прививъ ему Пушкина и другіе наши перлы? Странный вопросъ! развѣ это не перлы и развѣ можетъ идти въ какое-нибудь сравненіе съ ними то, чѣмъ пробавляется въ своей темной долѣ народъ! Да, очень странный вопросъ. Его-то и задаетъ себѣ такъ часто гр. Толстой и отвѣчаетъ отрицательно: нѣтъ, не облагодѣтельствуемъ. Надо замѣтить, что народъ никогда не былъ сословіемъ. Онъ платилъ подати и періодически выдѣлялъ изъ себя единицы для пополненія рядовъ арміи; но никакой дальнѣйшей спеціализаціи въ пользу высшей индивидуальности не подлежалъ, никакой корпораціи не составлялъ и профессіональному образованію не подвергался. Онъ всегда «самъ удовлетворялъ всѣмъ своимъ человѣческимъ потребностямъ», тогда какъ система сословій въ томъ именно и состоитъ, что потребности однихъ удовлетворяются другими. Безъ сомнѣнія, сословная система отразилась и на народѣ весьма сильно, но при этомъ его духовная жизнь просто осталась на низшей ступени развитія, а не подвергалась развитію одностороннему. Поэтому то вопросъ о народномъ образованіи такъ сложенъ и щекотливъ. Мы можемъ здѣсь идти по двумъ, совершенно несходнымъ путямъ: мы можемъ или просто поднять развитіе народа на высшую ступень, не нарушая его гармоніи, т. е. облегчая расцвѣтъ его духовныхъ силъ, или объявивъ все, чѣмъ онъ живетъ теперь, дрянью и глупостью, привить ему свои перлы и адаманты. Гр. Толстой рѣшительно избираетъ первый путь. И весьма любопытно слѣдить, какъ онъ въ своей педагогической дѣятельности на каждомъ шагу допрашиваетъ себя и другихъ: сообщая народу то-то и то-то, не помнемъ ли мы чего-нибудь изъ будущихъ всходовъ, чего-нибудь, можетъ быть, очень дорогого и высокаго? Говорятъ о самоувѣренности графа Толстого о надменной категоричности тона его разсужденій о народномъ образованіи. Это мнѣніе рѣшительно ни на чемъ не основано. Напротивъ, онъ скорѣе слишкомъ осторожный и щепетильный скептикъ. Состояніе его духа, какъ оно сквозитъ во всѣхъ его статьяхъ, напоминаетъ человѣка, который несетъ какой-нибудь очень дорогой, тяжелый и ломкій сосудъ и тревожно и зорко осматривается, какъ бы ему не оступиться. Какъ бы онъ ни пересаливалъ въ этомъ отношеніи, это несравненно лучше, чѣмъ развязность гг. Бунаковыхъ, Миропольскихъ, Мѣдниковыхъ и проч., которые—беру аналогическое сравненіе—носятся, какъ бойкіе ярославскіе половые въ московскихъ трактирахъ. Такой половой все свое достоинство полагаетъ въ томъ, чтобы нести чайный приборъ съ совершенно своеобразнымъ шикомъ, чтобы чашки и чайники франтовато дребезжали на подносѣ, чтобы плечи и руки самого полового ходуномъ ходили. И то, впрочемъ, сказать: онъ не Богъ знаетъ какой севрскій фарфоръ несетъ,— и разобьется, такъ не бѣда.

Что же мы дадимъ народу? воспитаніе? Этого гр. Толстой пуще всего боится.

«Такъ-называемая наука педагогики, говоритъ онъ, занимается только воспитаніемъ и смотритъ на образовывающагося человѣка, какъ на существо, совершенно подчиненное воспитателю. Только черезъ его посредство образовывающійся получаетъ образовательныя или воспитательныя впечатлѣнія, будутъ ли эти впечатлѣнія: книги, разсказы, требованія, запоминанія, художественныя или тѣлесныя упражненія. Весь внѣшній міръ допускается къ воздѣйствію на ученика только настолько, насколько воспитатель находитъ это удобнымъ. Воспитатель старается окружить своего питомца непроницаемою стѣной отъ вліянія міра и только сквозь свою научную школьновоспитательную воронку пропускаетъ то, что считаетъ полезнымъ. Я не говорю о томъ, что дѣлалось или дѣлается у такъ-называемыхъ отсталыхъ людей, я не воюю съ вѣтряными мельницами, я говорю о томъ, какъ понимается и прилагается воспитаніе у такъ называемыхъ самыхъ лучшихъ, передовыхъ воспитателей. Вездѣ вліяніе жизни отстранено отъ заботъ педагога, вездѣ школа обстроена кругомъ китайскою стѣной книжной мудрости, сквозь которую пропускается жизненное образовательное вліяніе только настолько, насколько это нравится воспитателямъ. Вліяніе жизни не признается. Такъ смотритъ наука-педагогика, потому что признаетъ за собой право знать, что нужно для образованія наилучшаго человѣка, и считаетъ возможнымъ устранить отъ воспитанника всякое внѣ-воспитательное вліяніе; такъ поступаетъ и практика воспитанія» (т. IV, 120). «Воспитаніе есть воздѣйствіе одного человѣка на другого, съ цѣлью заставить воспитываемаго усвоить извѣстныя нравственныя привычки. Мы говоримъ: они его воспитали лицемѣромъ, разбойникомъ или добрымъ человѣкомъ; спартанцы воспитывали мужественныхъ людей; французы воспитываютъ односторонніхъ и самодовольныхъ» (123). «Воспитаніе есть принудительное, насильственное воздѣйствіе одного лица на другое, съ цѣлью образовать такого человѣка, который намъ кажется хорошимъ». «Воспитаніе есть возведенное въ принципъ стремленіе къ нравственному деспотизму. Воспитаніе есть, я не скажу, выраженіе дурной стороны человѣческой природы, но явленіе, доказывающее неразвитость мысли и потому не могущее быть положеннымъ въ основаніе разумной человѣческой дѣятельности—науки. *Воспитаніе есть стремленіе одного человѣка сдѣлать другого такимъ же, какъ онъ самъ. (Стремленіе бѣднаго отнять богатство у богатаго, чувство зависти стараго при взглядѣ на свѣжую и сильную молодость, — чувство зависти возведенное въ принципъ и теорію). Я убѣжденъ, что воспитатель только потому можетъ съ такимъ жаромъ заниматься воспитаніемъ ребенка, что въ основѣ этого стремленія лежитъ зависть къ чистотѣ ребенка и желаніе сдѣлать его похожимъ на себя, то есть больше испорченнымъ* (124).

Подчеркнутыя мною строки особенно ха-

рактерны для гр. Толстого, какъ педагога, какъ мыслителя и, наконецъ, какъ общественнаго дѣятеля. Строки эти взяты изъ крайне любопытной статьи «Кому у кого учиться писать: крестьянскимъ ребятамъ у насъ, или намъ у крестьянскихъ ребятъ?» Статья не отвѣчаетъ на поставленный въ заглавіи вопросъ, потому что изъ нея слѣдуетъ вывести только то заключеніе, что у насъ крестьянскимъ ребятамъ учиться нечему, а мы у нихъ учиться не можемъ. Дѣло идетъ о беллетристическихъ опытахъ учениковъ ясно-полянской школы. Я прямо приведу наиболѣе поразительное, наиболѣе способное смутить читателя мѣсто статьи: «На другой день я еще не вѣрилъ тому, что испыталъ вчера. Мнѣ казалось столь страннымъ, что крестьянскій полуграмотный мальчикъ вдругъ проявляетъ такую сознательную силу художника, какой *на всей своей необъятной высотѣ развитія не можетъ достичь Гете.* Мнѣ казалось столь страннымъ, что я, авторъ «Дѣтства», заслуживший нѣкоторый успѣхъ и признаніе художественнаго таланта отъ русской образованной публики, что я въ дѣлѣ художества не только не могу указать или помочь 11-тилѣтнему Семкѣ или Оедькѣ, а что едва-едва—и то только въ счастливую минуту раздраженія—въ состояніи слѣдить за ними и понимать ихъ» (227). Я читалъ, по крайней мѣрѣ, одинъ изъ этихъ разсказовъ (хорошенько не припомню)—«Солдаткино житье». Разсказъ этотъ былъ напечатанъ въ «Ясной Полянѣ» и потомъ перепечатанъ, не помню гдѣ, въ «Азбукѣ» гр. Толстого, или въ отдѣльной книжкѣ, содержавшей нѣсколько такихъ разсказовъ. Читалъ я его, уже предупрежденный статьей гр. Толстого, и признаюсь, все-таки не нашелъ въ немъ тѣхъ красотъ, которыя видитъ гр. Толстой. Весьма можетъ быть, что это зависитъ отъ слабости или испорченности моего эстетическаго чутья. Теоретически, по соображенію съ подходящими фактами другихъ сферъ мысли и жизни, я могу однако понять возможность указываемаго гр. Толстымъ явленія, т. е. возможность художественнаго превосходства Оедьки надъ Гете, не смотря на «необъятную высоту развитія» послѣдняго. Могу я это понять потому, что не смѣшиваю ступеней развитія съ типами развитія. Безъ сомнѣнія Оедькѣ «Фауста» не написать и не понять; не понять ему больного, измученнаго существа Фауста, бросающагося съ вершины ненасытимой жажды познанія въ омутъ чувственныхъ наслажденій, изъ котораго ему удается выплыть только въ аллегорическомъ видѣ. Для этого надо самому до извѣстной степени быть Фаустомъ, самому много переболѣть. А какой же Оедька—Фаустъ? Онъ просто здоровый физически и душевно крестьянскій мальчишка. Фаустъ, послѣ длиннаго ряда похожденій, вдоволь намучившись самъ и намучивши другихъ, примиряется съ жизнью на почвѣ непосредственной практической пользы: онъ, какъ извѣстно, въ концѣ-концовъ, занимается осушеніемъ морского берега. Но этотъ конецъ жизни Фауста наступаетъ для Оедьки, какъ только онъ подрастетъ. Чуть у него силенки прибавилось, онъ уже и занимается чѣмъ-нибудь вродѣ осушенія морского берега, минуя весь тотъ кругъ неудовлетворимыхъ желаній и извращенныхъ чувствъ, который Фаустъ проходитъ только затѣмъ, чтобы убѣдиться въ неудовлетворимости своихъ желаній и извращенности своихъ чувствъ. Результатъ получается довольно странный. Выходитъ, что какъ ни какъ, а высоко развитый Фаустъ имѣетъ всѣ резоны завидовать Оедькѣ, которому совсѣмъ даромъ достается чуть не въ утробѣ матери то самое, чего онъ, высокоразвитый человѣкъ, добивается, уже стоя одной ногой въ гробу. А между тѣмъ, Фаустъ — несомнѣнно высокоразвитый человѣкъ, а Оедька—конечно, человѣкъ неразвитый. Кто же изъ нихъ выше? Когда сравниваютъ питательность или удобоваримость говядины и свинины, то не спрашиваютъ: что питательнѣе—фунтъ говядины или десять фунтовъ свинины? Это вопросъ безсмысленный. Десять фунтовъ свинины, конечно, содержатъ въ себѣ больше питательнаго матеріала, чѣмъ одинъ фунтъ говядины, но это все-таки не рѣшаетъ вопроса о питательности того и другого мяса. Надо взять равныя количества говядины и свинины. Такъ и тутъ. Фаустъ давитъ своимъ развитіемъ Оедьку, но это еще ровно ничего не значитъ. Дайте Оедькѣ возможность подняться на высшую ступень *своего типа* развитія, и тогда сравнивайте. А такъ какъ возможности этой на лицо нѣтъ, то можно сравнивать Фауста и Оедьку не какъ ступени развитія, а только какъ типы. А типъ развитія Оедьки должно признать высшимъ, хотя бы уже потому, что Фаустъ имѣетъ всѣ причины завидовать ему, гармоніи его развитія, не дающей мѣста тѣмъ противорѣчіямъ, неудовлетворимымъ желаніямъ и извращеннымъ чувствамъ, которыми полна душа Фауста. Это, безъ сомнѣнія, должно отразиться и на литературныхъ произведеніяхъ Фауста (или Гете) и Оедьки. Гр. Толстой говоритъ о господствующемъ въ произведеніяхъ Семки и Оедьки чувствѣ мѣры, которое онъ справедливо считаетъ существеннѣйшимъ условіемъ художественнаго произведенія. Это чувство мѣры очевидно совершенно не зависитъ отъ *высоты* развитія.

Высокоразвитый Фаустъ можетъ обладать имъ въ несравненно меньшей степени, чѣмъ Ѳедька или Семка, именно потому, что онъ очень высоко развитъ въ извѣстномъ односторонномъ, болѣе или менѣе извращенномъ направленіи, а односторонность и чувство мѣры—понятія враждебныя. Представимъ себѣ теперь, что Фаустъ или Гете, или хоть гр. Толстой (большинство мыслящихъ цивилизованныхъ людей—немножко Фаусты, отого-то «Фаустъ» и есть величайшее произведеніе Гете) займутся воспитаніемъ Ѳедьки или Семки. Если воспитаніе есть дѣйствительно результатъ желанія сдѣлать другого человѣка себѣ подобнымъ, то Фаустъ, конечно, исковеркаетъ Ѳедьку; онъ заставитъ его пройти множество совершенно ненужныхъ, но мучительныхъ стадій своего развитія. До какой степени гр. Толстой зорко вглядывается въ эту, грозящую Ѳедькамъ и Семкамъ при столкновеніи ихъ съ цивилизованнымъ человѣкомъ, опасность, это видно изъ той же статьи «Кому у кого учиться писать». Авторъ такъ описываетъ свое душевное состояніе въ тѣ минуты, когда онъ убѣдился, что Ѳедька—замѣчательный талантъ:

„Я не могу передать того чувства волненія, радости, страха и почти раскаянія, которые я испытывалъ въ продолженіе этого вечера. Я чувствовалъ что съ этого дня для него раскрылся новый міръ наслажденій и страданій—міръ искусства; мнѣ казалось, что я подсмотрѣлъ то, чего никто никогда не имѣетъ права видѣть—зарожденіе таинственнаго цвѣтка поэзіи. Мнѣ и страшно, и радостно было, какъ искателю клада, который бы увидалъ цвѣтъ папоротника; радостно мнѣ было потому, что вдругъ, совершенно неожиданно открылся мнѣ тотъ философскій камень, котораго я тщетно искалъ два года—искусство учить выраженію мыслей; страшно потому, что это искусство вызывало новыя требованія, цѣлый міръ желаній, несоотвѣтственный средѣ, въ которой жили ученики, какъ мнѣ казалось въ первую минуту“ (223). Черезъ двѣ страницы тѣ же мысли повторяются съ еще большею силой: „Я оставилъ урокъ, потому что былъ слишкомъ взволнованъ“. „Что съ вами? отчего вы такъ блѣдны, вы вѣрно нездоровы“? Спросилъ меня мой товарищъ. Дѣйствительно, я два-три раза въ жизни испытывалъ столь сильное впечатлѣніе, какъ въ этотъ вечеръ, и долго не могъ дать себѣ отчета въ томъ, что я испытывалъ. Мнѣ смутно казалось, что я преступно подсмотрѣлъ въ стекляный улей работу пчелъ, закрытую для взора смертнаго, мнѣ казалось, что я развратилъ чистую первобытную душу крестьянскаго ребенка. Я смутно чувствовалъ въ себѣ раскаяніе въ какомъ-то святотатствѣ. Мнѣ вспоминались дѣти, которыхъ праздные и развратные старики заставляютъ ломаться и представлять сладострастныя картины для разжиганія своего усталаго, истасканнаго воображенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ мнѣ было радостно, какъ радостно должно быть человѣку, увидавшему то, чего никто не видалъ прежде его“...

Въ этой страстной тирадѣ отразился весь гр. Толстой со всѣми своими противорѣчіями, со всею своею любовью къ народу, со всѣми своими надеждами и опасеніями.

Итакъ, гр. Толстой рѣшительно и безповоротно отрицаетъ право образованныхъ, цивилизованныхъ людей воспитывать народъ. Онъ совершенно вычеркиваетъ воспитаніе изъ задачъ педагогіи, и центръ тяжести этого отрицанія составляетъ опасеніе примять и извратить будущность народа, тотъ расцвѣтъ его силъ, который пока лежитъ только in Werden, въ возможности. Къ этому центру сходятся всѣ его аргументы. Другое дѣло—образованіе; его гр. Толстой требуетъ. Образованіе есть для него совокупность всѣхъ жизненныхъ и школьныхъ вліяній, «которыя развиваютъ человѣка, даютъ ему болѣе обширное міросозерцаніе, даютъ ему новыя свѣдѣнія» (IV, 122). Воспитаніе, по гр. Толстому, составляетъ часть образованія, именно принудительную часть, причемъ подъ принужденіемъ разумѣется не столько прямое, физическое или полицейское насиліе, сколько исключительный соображенный только съ желаніями учителя выборъ сообщаемыхъ свѣдѣній и пріемовъ передачи.

Народъ желаетъ учиться, «общество» желаетъ его учить, а толку все-таки никакого не выходитъ, народъ остается невѣжественнымъ, необразованнымъ не только у насъ, а и въ Европѣ, гдѣ на образованіи народа сосредоточено и больше усилій, и больше матеріальныхъ средствъ. Это явленіе побуждаетъ графа Толстого пересмотрѣть основаніе того образованія, которое предлагается народу. Какія это въ самомъ дѣлѣ основанія? Какія имѣетъ основанія школа нашего времени учить тому, а не этому: учить такъ, а не иначе? «Китайскаго мандарина, не выѣзжавшаго изъ Пекина, можно заставлять заучивать изреченія Конфуція и палками вбивать въ дѣтей эти изреченія. Можно было дѣлать это и въ средніе вѣка, *но гдѣ же взять въ наше время ту силу вѣры въ несомнѣнность своего знанія, которая бы могла намъ дать право насильно образовывать народъ?* Возьмите какую угодно средневѣковую школу до или послѣ Лютера, возьмите всю ученую литературу среднихъ вѣковъ,—какая сила вѣры и твердость несомнѣннаго знанія, того, что истинно и что ложно, видна въ этихъ людяхъ! Имъ легко было знать, что греческій языкъ есть единственное необходимое условіе образованія, потому что на этомъ языкѣ былъ Аристотель, въ истинѣ положеній котораго никто не усомнился нѣсколько вѣковъ послѣ. Какъ было монахамъ не требовать изученія Священнаго Писанія, стоявшаго на незыблемомъ основаніи. Хорошо было Лютеру требовать непремѣннаго изученія еврейскаго языка, когда онъ твердо зналъ, что

на этомъ языкѣ самъ Богъ открылъ истину людямъ. Понятно, что когда критическій смыслъ человѣчества еще не пробуждался, школа должна была быть догматическая» (IV, 8) Надо замѣтить, что «пробужденіе критическаго смысла» имѣетъ въ устахъ г. Толстого совершенно особенное значеніе. Это не только возникновеніе сомнѣній въ извѣстныхъ вѣковыхъ понятіяхъ о явленіяхъ природы, но и возникновеніе сомнѣній въ справедливости извѣстныхъ явленій жизни общества, возникновеніе того чувства отвѣтственности, которымъ такъ полонъ самъ гр. Толстой и отсутствіе котораго въ Аннѣ Карениной такъ охотно беретъ подъ свою защиту одинъ изъ пещерныхъ критиковъ гр. Толстого («Анна Каренина во-первыхъ—барыня, во-вторыхъ, будучи барыней. она не сознаетъ въ этомъ обстоятельствѣ никакой вины съ своей стороны и не желаетъ выйти изъ своего привилегированнаго положенія». «Русскій Вѣстникъ», № 5). Изъ этого чувства отвѣтственности вытекаетъ, какъ мы видѣли, обязанность помочь обездоленнымъ выбраться на свѣтъ божій. Но чувство отвѣтственности до такой степени сильно въ гр. Толстомъ и законность его до такой степени ясно представляется его уму, что онъ не можетъ допустить, чтобы всякій имѣлъ право нести народу, въ видѣ образованія, безъ разбора все, что только у него есть за душой. Гр. Толстой и себѣ не даетъ этого права. Мы видѣли, какъ тревожно и пугливо отнесся онъ къ факту разбуженной имъ въ Оедькѣ творческой силы. Онъ какъ будто говоритъ: положимъ, нѣкоторыя понятія представляются мнѣ несомнѣнно истинными и для моего домашняго обихода они годятся, удовлетворяютъ меня; но эта несомнѣнность тонетъ въ моемъ чувствѣ отвѣтственности; откуда мнѣ взять *такую* силу вѣры въ несомнѣнность своего знанія, которая могла бы мнѣ дать право насильно образовывать народъ?

Хотя я профанъ и въ философіи, и въ педагогикѣ и пишу, собственно говоря, просто фельетонъ, но рекомендую читать этотъ фельетонъ съ усиленнымъ вниманіемъ. Не ради меня, а ради гр. Толстого, ради тѣхъ тонкихъ оттѣнковъ его мысли, которыхъ я только комментирую. Усиленное вниманіе требуется кромѣ того и въ виду неточности и небрежности языка гр. Толстого.

Слишкомъ великимъ дѣломъ представляется гр. Толстому народное образованіе, слишкомъ важнымъ и отвѣтственнымъ, чтобы удовольствоваться обыкновенными гарантіями истинности нашихъ понятій. Истина — это вѣдь только случай равновѣсія между потребностью познанія и окружающимъ познаваемымъ міромъ. Она измѣняется съ измѣненіемъ познающаго субъекта и, слѣдовательно, существенно обусловливается всей соціальной обстановкой познающихъ. Вопросъ, слѣдовательно, и съ этой стороны сводится на соціальную почву, что придаетъ новое значеніе постоянно присутствующему на умственныхъ счетахъ графа Толстого опасенію дать народу, какъ онъ говоритъ, камень вмѣсто куска хлѣба. Съ этимъ же опасеніемъ въ головѣ приступаетъ онъ и къ пересмотру основаній принудительнаго образованія или воспитанія, или замыканія ученика въ кругъ свѣдѣній и понятій, который представляется правильнымъ учителю. Основанія эти могутъ быть по его мнѣнію подведены подъ четыре отдѣла: религіозныя, философскія, опытныя и историческія. Это дѣленіе предложено имъ въ статьѣ «О народномъ образованіи» (IV, 5 — 38). Въ статьѣ «Воспитаніе и образованіе» предлагаются нѣсколько отличныя рубрики, но объ нихъ потомъ.

Что касается до образованія, имѣющаго своею основою религію, то гр. Толстой признаетъ за нимъ, и только за нимъ, право принужденія. Такое выдѣленіе религіознаго образованія очевидно вполнѣ законно, потому что религія имѣетъ дѣло съ предметами вѣры, а не познанія. земныя цѣли подчиняетъ спасенію души и всѣ личныя усилія разработать ея догматы отрицаетъ. Но, замѣчаетъ гр. Толстой, «въ наше время, когда образованіе религіозное составляетъ только малую часть образованія, вопросъ о томъ, какое имѣетъ основаніе школа принуждать молодое поколѣніе учиться извѣстнымъ образомъ—остается нерѣшеннымъ». Въ статьѣ «Отеч. Записокъ», по поводу которой г. Марковъ столь либерально сваливаетъ въ одну кучу г. Цвѣткова и гр. Толстого, послѣдній выражается еще опредѣленнѣе: «Теперь всѣми признано. и совершенно справедливо, по моему мнѣнію, что религія не можетъ служить ни содержаніемъ, ни указаніемъ метода образованія, и что образованіе имѣетъ своимъ основаніемъ другія требованія».

Затѣмъ идутъ основанія философскія. Всѣ основатели философскихъ системъ болѣе или менѣе касались задачъ педагогіи и приводили ихъ въ связь съ своими общими философскими воззрѣніями. Но при этомъ задачи педагогіи оказываются столь же многими и разнообразными, какъ и философскія системы. Эти разнообразныя системы не только смѣняютъ другъ друга во времени, но зачастую существовали и существуютъ бокъ-о-бокъ, не поборая другъ друга. Поэтому, даже не разсматривая ихъ, a priori можно сказать, что, по крайней мѣрѣ, большинство ихъ не представляетъ достаточныхъ гарантій правильности выведенныхъ изъ нихъ педагогическихъ теорій. «Прослѣдивъ ходъ исторіи философіи педагогики, вы найдете въ ней не критеріумъ образованія, но, напротивъ,

одну общую мысль, безсознательно лежащую въ основаніи всѣхъ педагоговъ, не смотря на ихъ частое между собою разногласіе, мысль, убѣждающую насъ въ отсутствіи этого критеріума. Всѣ они, начиная отъ Платона и до Канта, стремятся къ одному — освободить школу отъ историческихъ узъ, тяготѣющихъ надъ нею, хотятъ угадать то, что нужно человѣку, и на этихъ болѣе или менѣе вѣрно угаданныхъ потребностяхъ строятъ свою новую школу. Лютеръ заставляетъ учить въ подлинникѣ Священное Писаніе, а не по комментаріямъ святыхъ отцовъ. Бэконъ заставляетъ изучать природу изъ самой природы, а не изъ книгъ Аристотеля. Руссо хочетъ учить жизни изъ жизни, какъ онъ ее понимаетъ, а не изъ прежде бывшихъ опытовъ. Каждый шагъ философіи педагогіи впередъ состоитъ только въ томъ, чтобъ освобождать школу отъ мысли обученія молодыхъ поколѣній тому, что старыя поколѣнія считали наукою, къ мысли обученія тому, что лежитъ въ потребностяхъ молодыхъ поколѣній. Одна эта общая и вмѣстѣ съ тѣмъ противорѣчащая себѣ мысль чувствуется во всей исторіи педагогики; общая, потому что всѣ требуютъ большей мѣры свободы школъ, противорѣчащая, потому что каждый предписываетъ законы, основанные на своей теоріи, и тѣмъ самымъ стѣсняетъ свободу».

Основанія опытныя. Можетъ быть, принудительное образованіе *) можетъ сослаться на опытъ, показать блестящіе результаты, которыхъ оно достигло? Но гдѣ же эти блестящіе результаты? Конечно, въ Европѣ. Гр. Толстой ссылается на свои личныя наблюденія, свидѣтельствующія, что такихъ блестящихъ результатовъ тамъ нѣтъ. Но важнѣйшій изъ аргументовъ состоитъ въ томъ, что новой народной литературы въ Европѣ нѣтъ и что десятое поколѣніе нужно такъ же насильно посылать въ школу, какъ и первое.

Основанія историческія. «Существующія школы выработались историческимъ путемъ, историческимъ же путемъ должны вырабатываться дальше и видоизмѣняться сообразно требованіямъ общества и времени; чѣмъ дальше мы живемъ, тѣмъ школы дѣлаются лучше и лучше». Гр. Толстой рѣшительно отрицаетъ это улучшеніе школъ. Онъ находитъ, что онѣ становятся, напротивъ, все хуже и хуже; хуже относительно, сравнительно съ общимъ уровнемъ образованія, который достигается въ данный историческій моментъ. Онъ употребляетъ очень любопытный пріемъ для повѣрки прогресса школьнаго образованія. Образованіе дается не только школой, оно дается и жизнью,— развитіемъ торговыхъ сношеній, путей сообщенія, бо́льшей степени свободы личности и участія ея въ дѣлахъ правленія, собраніями, музеями, публичными лекціями, литературой и проч. По мѣрѣ того какъ эти побочныя, внѣ-школьныя средства образованія развиваются, значеніе школы падаетъ, она отъ нихъ отстаетъ. Школы въ Парижѣ или Марсели и въ какомъ-нибудь захолустьи Франціи устроены одинаково, и однако народъ въ Парижѣ и Марсели образованнѣе, потому что жизнь тамъ поучительнѣе, чѣмъ въ захолустьи. Въ прежнія времена школа давала все образованіе, какое было доступно исторической минутѣ; теперь она даетъ только ничтожную долю образованія, и чѣмъ дальше, тѣмъ эта доля становится меньше, а главная часть образованія получается не изъ школы, а изъ жизни. Значитъ, относительно говоря, школа не улучшается, а ухудшается, значитъ, принудительное образованіе становится все болѣе незаконнымъ.

Въ концѣ концовъ, у принудительнаго образованія нѣтъ никакихъ основаній. «Наше мнимое знаніе законовъ добра и зла, и на основаніи ихъ дѣятельность на молодое поколѣніе, есть большею частію противодѣйствіе развитію новаго сознанія, невыработаннаго еще нашимъ поколѣніемъ, а выра-

---

*) Я прошу читателя помнить, что это не то, что у насъ называется обязательнымъ обученіемъ. Принудительное образованіе народа есть замыканіе его духовнаго развитія въ кругъ свѣдѣній и понятій, избранный по личному вкусу учителя или общества, или правительства. Что касается до обязательнаго обученія, которое гр. Толстой вскользь, мимоходомъ также отрицаетъ, то о немъ теперь у насъ разговора нѣтъ. Замѣчу только слѣдующее. Обязательное обученіе отрицается многими, я полагаю, только потому, что оно налагаетъ на общество обязанность учить (гр. Толстой, конечно, не принадлежитъ къ числу этихъ многихъ). Кромѣ того слѣдуетъ замѣтить, что при всей непривлекательности насилія въ дѣлѣ образованія (насилія прямого, полицейскаго) нельзя особенно негодовать противъ него тамъ, гдѣ оно не составляетъ явленія исключительнаго. Мнѣ пришлось однажды присутствовать при поразительной картинѣ учета волостного старшины. Поразительно здѣсь было сочетаніе *обязанности* выборныхъ учитывать плута и даже двухъ плутовъ (старшины и писаря) съ полнѣйшею безпомощностью. Я никогда не забуду этой сцены, а это, конечно, еще мелочь. Еслибы возможно было снять съ народа обязанность платить подати, обязанность нести военную службу и всѣ другія многочисленныя обязанности, то обязательное обученіе было бы возмутительнымъ и безсмысленнымъ насиліемъ. Теперь же объ немъ этого сказать нельзя. Я знаю, что гр. Толстой со мной не согласится. Но защита обязательнаго обученія можетъ и не противорѣчить отрицанію принудительнаго образованія, какъ его понимаетъ гр. Толстой. Составьте только для обязательнаго обученія программу не по своему личному вкусу, а возможно подходящую къ требованію народа, если дѣло обойдется при этомъ безъ насилія, тѣмъ лучше.

батывающагося въ молодомъ поколѣніи; оно есть препятствіе, а не пособіе образованію» (эта вѣчная борьба «отцовъ и дѣтей» довольно часто поминается гр. Толстымъ, какъ явленіе дѣйствительно поучительное). Эту точку зрѣнія гр. Толстой весьма послѣдовательно проводитъ по всѣмъ ступенямъ образованія. Стоя на ней, онъ самымъ рѣшительнымъ образомъ отрицаетъ теперешнее устройство университетовъ и гимназій, какъ заведеній, несоображенныхъ съ потребностями молодого поколѣнія, съ вырабатывающимся въ немъ «новымъ сознаніемъ». Столь же рѣшительно отрицаетъ онъ и нынѣшнюю организацію народнаго образованія въ тѣсномъ смыслѣ слова. Извѣстна его ересь: учите народъ тому, чему онъ хочетъ учиться, критерій образованія есть свобода учащагося

Но куда же дѣнется при этомъ наука педагогики? Куда дѣнутся Шульцы и Шмальцы и Фибли?—Они сдадутся въ архивъ, какъ сданы въ архивъ алхимики, астрологи и многіе другіе ученые люди. — Но съ ними будетъ похоронена наука, образованіе останется безъ научнаго кормила и научнаго весла! Къ такого рода возгласамъ подалъ отчасти поводъ самъ гр. Толстой нѣсколькими неточными и неправильными выраженіями и тѣми противорѣчіями, которыя, согласно моей гипотезѣ, изложенной въ прошлый разъ, неизбѣжны для гр. Толстого. Ну да и заступиться за науку противникамъ гр. Толстого было лестно: наука вещь хорошая, и въ защиту ея можно написать много прекрасныхъ и даже вполнѣ вѣрныхъ, хотя и общеизвѣстныхъ фразъ. Въ сущности же гр. Толстой, не смотря на всю свою непочтительность къ Урстамъ и Фиблямъ, на дѣлѣ не только не отрицаетъ науки педагогики, но даетъ ей вполнѣ ясное, оригинальное и весьма глубокое опредѣленіе. Я уже его приводилъ. Образованіе есть извѣстное отношеніе двухъ людей или двухъ группъ людей, стремящихся къ равенству познаній: одни стремятся передать знанія, другія стремятся ихъ получить. «Задача науки образованія есть *только* изученіе условій совпаденія этихъ двухъ стремленій къ одной общей цѣли и указаніе условій, которыя препятствуютъ этому совпаденію» (IV. 36). Не смотря на подчеркнутое мною *только*, повидимому съуживающее предѣлы науки, я не знаю опредѣленія болѣе полнаго и широкаго, болѣе способнаго поставить педагогику на дѣйствительно научную высоту. Но гр. Толстой не воспользовался всѣми выгодами этого истинно блестящаго опредѣленія. Скажу болѣе,—онъ ими и не могъ воспользоваться, вслѣдствіе слишкомъ страстнаго и лихорадочнаго отношенія къ дѣлу.

Опредѣленіе это, по моему мнѣнію, особенно дорого тѣмъ, что обнимаетъ и учителя, и ученика, и образовывающее общество и образовывающійся народъ. Въ развитіи же своихъ педагогическихъ воззрѣній гр. Толстой далеко не всегда слѣдитъ за объемами этими частями своей собственной формулы науки. Онъ преимущественно имѣетъ въ виду стремленія ученика, народа. Ну хорошо, народъ требуетъ, чтобы его обучали славянскому и русскому языку и ариометикѣ. Эта программа, особенно какъ ее понимаетъ гр. Толстой, можетъ удовлетворить не только ученика, а и учителя. Ну а если-бы народъ требовалъ какой-нибудь ни съ чѣмъ несообразной программы? Гр. Толстой скажетъ, можетъ быть, что такой программы народъ не можетъ потребовать, что требованія его хотя и элементарны, но непремѣнно разумны и справедливы. Это однако не будетъ резоннымъ возраженіемъ, потому что мы вѣдь не можемъ поручиться, что признаваемое нами разумнымъ и справедливымъ дѣйствительно таково: народъ заявилъ требованіе, и мы должны его выполнить, хотя бы оно на нашъ взглядъ и казалось ни съ чѣмъ несообразнымъ. Въ сущности гр. Толстой и самъ понимаетъ возможность такихъ случаевъ и даже приводитъ и комментируетъ нѣкоторые изъ нихъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ постоянно колеблется, отдавая первое мѣсто то требованіямъ учителя, его идеаламъ, то требованіямъ ученика. То вытягивается его десница, поднимается тотъ сильный, смѣлый, энергическій человѣкъ, который рѣшился, во имя истины и справедливости, во имя интересовъ народа, помѣряться со всей исторіей цивилизаціи; то вылѣзаетъ шуйца, тотъ слабый, нерѣшительный человѣкъ, который заявилъ о цѣлесообразности, законности кроваваго движенія народовъ съ запада на востокъ и обратно, о томъ, что Наполеонъ былъ именно такой негодный человѣкъ, какой былъ нуженъ для цѣлей провидѣнія и т. п.

Я приведу примѣры десницы и шуйцы.

Я уже говорилъ, что въ статьѣ «Воспитаніе и образованіе» гр. Толстой располагаетъ основанія принудительнаго образованія нѣсколько иначе, чѣмъ они приведены выше. Правда, тутъ онъ говоритъ не объ основаніяхъ, а о причинахъ принудительнаго образованія или воспитанія. Но на дѣлѣ разницы большой не выходитъ. Будемъ однако и мы говорить о причинахъ такого явленія, какъ насиліе въ образованіи. Причины эти, по мнѣнію гр. Толстого, лежатъ: 1) въ семействѣ, 2) въ религіи, 3) въ государствѣ, 4) въ обществѣ (въ тѣсномъ смыслѣ,—у насъ въ кругу чиновниковъ и дворянства). Причины, лежащія въ религіи.

мы уже видѣли. Причины, лежащія въ государствѣ, гр. Толстой только отмѣчаетъ, какъ имѣющія «неоспоримыя оправданія», и проходитъ мимо. Это очень жаль. Я полагаю, что причины эти не больше и не меньше важны, чѣмъ всѣ другія и никакому исключительному суду не подлежатъ. Я уже рекомендовалъ книгу г. Владимірскаго-Буданова гг. педагогамъ, а теперь рекомендую ее и гр. Толстому. Правительства столь же мало имѣютъ права, какъ и всѣ частныя лица и учрежденія, направлять народное образованіе къ своимъ исключительнымъ цѣлямъ. И чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе сознаютъ это сами правительства. Какъ бы то ни было, но о государственныхъ основаніяхъ принудительнаго образованія гр. Толстой, собственно говоря, просто умалчиваетъ. Остаются причины, лежащія въ обществѣ и въ семьѣ. Первыя гр. Толстой безусловно отрицаетъ, вторыя признаетъ основательными. «Отецъ и мать, онъ говоритъ, какіе бы они ни были, желаютъ сдѣлать своихъ дѣтей такими же, какъ они сами или, по крайней мѣрѣ, такими, какими бы они желали быть сами. Стремленіе это такъ естественно, что нельзя возмущаться противъ него. До тѣхъ поръ пока право свободнаго развитія каждой личности не вошло въ сознаніе каждаго родителя, нельзя требовать ничего другого. Кромѣ того родители болѣе всякаго другого будутъ зависѣть отъ того, чѣмъ сдѣлается ихъ сынъ, такъ что стремленіе ихъ воспитать его по своему можетъ назваться ежели не справедливымъ, то естественнымъ». Уже изъ этихъ строкъ видно, что гр. Толстой намѣренъ дать сильную поблажку семейному принудительному образованію, потому что вѣдь аргументъ «пока право свободнаго развитія каждой личности не вошло въ сознаніе каждаго родителя» и проч., аргументъ этотъ очевидно приложимъ ко всѣмъ родамъ принудительнаго образованія. Пока право свободнаго развитія каждой личности не вошло въ сознаніе каждаго педагога, имъ, пожалуй, тоже нельзя ставить тѣхъ требованій, которыя предъявляетъ гр. Толстой. Поблажка очевидна, а въ дальнѣйшемъ изложеніи она получаетъ весьма солидные размѣры. Четвертая причина принудительнаго образованія лежитъ въ потребности «*общества*, того общества въ тѣсномъ смыслѣ, которое у насъ представляется дворянствомъ, чиновничествомъ и отчасти купечествомъ. Этому обществу нужны помощники, потворщики и участники». Я не стану приводить всѣхъ аргументовъ гр. Толстого противъ принудительнаго «общественнаго», образованія. Они не всегда справедливы, всегда остроумны и очень часто отличаются замѣчательною глубиною. Характеръ ихъ долженъ уже уясниться читателю изъ всего предыдущаго. Я остановлюсь только на точкахъ враждебнаго столкновенія семейнаго насилія въ образованіи съ насиліемъ «общественнымъ». Чтобы удобнѣе прослѣдить всѣ ступени принудительнаго образованія, отъ элементарной школы до университета, гр. Толстой беретъ въ примѣръ исторію образованія сына не крестьянина, а небогатаго купца или мелкопомѣстнаго дворянина. Родители эти, предполагаетъ гр. Толстой, отдали дѣтей въ ученье «въ надеждѣ сдѣлать изъ нихъ себѣ помощниковъ, одному — помочь сдѣлать свое маленькое имѣньице производительнымъ, другому—помочь повести правильнѣе и выгоднѣе торговлю». Но оказывается, что молодые люди, возвращаясь подъ родительскій кровъ по окончаніи университетскаго курса, не только не способны, не могутъ, не умѣютъ и не хотятъ оправдывать надежды родителей, но совершенно чужды родной средѣ, не имѣютъ съ ней ничего общаго. Это возмущаетъ гр. Толстого. «Посмотрите — говоритъ онъ съ укоромъ — какъ сынъ крестьянина пріучается быть хозяиномъ, сынъ дьячка, читая на клиросѣ, быть дьячкомъ, сынъ киргиза-скотовода быть скотоводомъ; онъ смолоду уже становится въ прямыя отношенія съ жизнью, съ природой и людьми, смолоду учится, плодотворно работая». Я отнюдь не думаю защищать наличную систему школьнаго образованія. Но если эта система нехороша тѣмъ, что замыкаетъ ученика въ кругъ понятій и свѣдѣній, избранный личными вкусами воспитателей, то чѣмъ же отъ нея отличается система, при которой сынъ дьячка уже смолоду обрекается быть дьячкомъ и сынъ скотовода скотоводомъ? Почему стремленіе купца засадить своего сына въ лавку менѣе деспотично, чѣмъ стремленія «общества» получить себѣ «помощниковъ, потворщиковъ и участниковъ»? По какому праву вы хотите запереть человѣка въ кругъ идей и чувствъ его среды, даже не справляясь, какова эта среда? На всѣ эти вопросы я не нахожу отвѣтовъ у гр. Толстого, да и не могу найти, потому что всѣ его разсужденія о законности семейнаго принудительнаго воспитанія представляютъ его шуйцу. Они высказаны въ минуту ослабленія мысли и энергіи, когда гр. Толстому хочется предоставить такъ интересующее его дѣло суду и волѣ божіей, предоставить дѣло его собственному теченію, въ надеждѣ, что изъ этого выйдетъ все-таки что-нибудь лучшее, чѣмъ при нашемъ вмѣшательствѣ. На мои вопросы гр. Толстой потому не можетъ дать удовлетворительныхъ отвѣтовъ, что эти же вопросы и тѣмъ же тономъ онъ задаетъ другимъ, когда десница перестаетъ шуйцу. Въ той же статьѣ,

изъ которой взяты приведенныя разсужденія, я нахожу слѣдующія строки: «Я знаю барышника-дворника, постоянно подлыми путями сбивающаго себѣ копѣйку, который на мои увѣщанія и подольщанія отдать славнаго 12-тилѣтняго своего сынишку ко мнѣ въ ясно-полянскую школу, въ самодовольную улыбку распуская свою красную рожу, постоянно отвѣчаетъ одно и то же: «оно такъто такъ, ваше сіятельство, да мнѣ нужнѣе всего прежде нанятать его своимъ духомъ». И онъ его вездѣ таскаетъ съ собой и хвастается тѣмъ, что 12-ти лѣтній сынишка научился обдувать мужиковъ, ссыпающихъ отцу пшеницу. Кто не знаетъ отцовъ, воспитанныхъ въ юнкерахъ и корпусахъ, считающихъ только то образованіе хорошимъ, которое пропитано тѣмъ самымъ духомъ, въ которомъ эти отцы сами воспитались» (125). Въ другой статьѣ («Ясно-полянская школа за ноябрь и декабрь мѣсяцы») тотъ же вопросъ затрогивается и рѣшается еще энергичнѣе. Описывается между прочимъ прогулка гр. Толстого съ нѣкоторыми учениками ясно-полянской школы по лѣсу ночью. Обстановка, предыдущія занятія (только-что читали «Вія» Гоголя), разговоры о разныхъ страшныхъ исторіяхъ, о Кавказѣ, о пѣніи, о музыкѣ, все это подняло тонъ душевнаго настроенія маленькаго общества. Самый процессъ поднятія этого тона описанъ съ изумительнымъ мастерствомъ. Но еще изумительнѣе сопоставленіе этого высокаго тона со «средой», съ тѣмъ міромъ фактической обстановки, въ который надо же было наконецъ вернуться изъ лѣсу. Я не могу привести здѣсь всего описанія прогулки, но не могу отказать себѣ въ удовольствіи выписать, по крайней мѣрѣ, вторую его часть — возвращеніе изъ лѣсу. Не забудьте только, что идутъ люди, полные необыденныхъ чувствъ и мыслей, настроенные на высокій ладъ. Идутъ и вотъ что они встрѣчаютъ:

Мы пошли къ деревнѣ. Ѳедька все не пускалъ моей руки,—теперь, мнѣ казалось, уже изъ благодарности. Мы всѣ были такъ близки въ эту ночь, какъ давно уже не были. Пронька пошелъ рядомъ съ нами по широкой дорогѣ деревни. „Вишь, огонь еще у Мироновыхъ!“ сказалъ онъ. „Я нынче въ классъ шелъ, Гаврюха изъ кабака ѣхалъ, прибавилъ онъ, пья-я-я-яный, распьный; лошадь вся въ мылѣ, а онъ-то ее ожариваетъ... Я всегда жалѣю. Право! за что ее бить“.—„А надысь батя, сказалъ Семка, пустилъ свою лошадь изъ Тулы, она его въ сугробъ и завезла, а онъ спитъ пьяный“. — „А Гаврюха такъ по глазамъ и хлещетъ... и такъ мнѣ жалко стало, еще разъ сказалъ Пронька:—за что онъ ее билъ? слѣзъ, да и хлещетъ“. Семка вдругъ остановился. „Наши ужъ спятъ“, сказалъ онъ, вглядываясь въ окна своей кривой черной избы. „Не пойдете еще“?—„Нѣтъ“.—„Ира-а-щайте, Л. Н.“, крикнулъ онъ вдругъ и, какъ будто съ усиліемъ оторвавшись отъ насъ, рысью побѣжалъ къ дому, поднялъ щеколду и скрылся. „Такъ ты и будешь разводить насъ—сперва одного, а потомъ другого?“ сказалъ Ѳедька. Мы пошли дальше. У Проньки былъ огонь, мы заглянули въ окно: мать, высокая, красивая, но изнуренная женщина съ черными бровями и глазами, сидѣла за столомъ и чистила картошку; на срединѣ висѣла люлька: математикъ 2-го класса, другой братъ Проньки, стоялъ у стола и ѣлъ картошку съ солью. Изба была черная, крошечная, грязная. „Пропасти на тебя нѣтъ!“ закричала мать на Проньку. „Гдѣ былъ?“ Пронька кротко и болѣзненно улыбнулся, глядя на окошко. Мать догадалась, что онъ не одинъ, и сейчасъ перемѣнила выраженіе на нехорошее, притворное выраженіе. Остался одинъ Ѳедька. „У насъ портные сидятъ, оттого свѣтъ“, сказалъ онъ своимъ смягченнымъ голосомъ; „нынѣшняго вечера прощай, Л. Н.“ прибавилъ онъ тихо и нѣжно и началъ стучать кольцомъ въ запертую дверь. „Отоприте!“ прозвучалъ его топкій голосъ среди зимней тишины деревни. Ему долго не отворяли. Я заглянулъ въ окно: изба была большая; съ печи и лавки виднѣлись ноги: отецъ съ портными игралъ въ карты, нѣсколько мѣдныхъ денегъ лежало на столѣ. Баба, мачиха, сидѣла у свѣтца и жадно глядѣла на деньги. Портной, прожженный ерыга, молодой мужикъ, держалъ на столѣ карты, согнутыя лубкомъ, и съ торжествомъ глядѣлъ на партнера. Отецъ Ѳедьки съ растегнутымъ воротникомъ, весь сморщившись отъ умственнаго напряженія и досады переминалъ карты и въ нерѣшительности замахивался на нихъ своею рабочею рукой. „Отоприте!“ Баба встала и пошла отпирать. „Прощайте! еще разъ повторилъ Ѳедька:—всегда такъ давайте ходить“.

Я вижу людей честныхъ, добрыхъ, либеральныхъ, членовъ благотворительныхъ обществъ, которые готовы дать и даютъ одну сотую своего состоянія бѣднымъ, которые учредили и учреждаютъ школы и которые, прочтя это, скажутъ: не хорошо! — и покачаютъ головой. Зачѣмъ усиленно развивать ихъ? Зачѣмъ давать имъ чувства и понятія, которыя враждебно поставятъ ихъ къ своей средѣ? Зачѣмъ выводить ихъ изъ своего быта? скажутъ они. Я не говорю уже о тѣхъ, выдающихъ себя головой, которые скажутъ: хорошо будетъ устройство государства, когда всѣ захотятъ быть мыслителями и художниками, а работать никто не станетъ! Эти прямо говорятъ, что они не любятъ работать, и потому нужно, чтобы были люди не то, что неспособные для другой дѣятельности, а рабы, которые работали бы за другихъ. Хорошо ли, дурно ли, должно ли выводить ихъ изъ ихъ среды и т. д.— **кто это знаетъ? И кто можетъ вывести ихъ изъ своей среды?** Точно это какое-нибудь механическое дѣло. Ѳедька не тяготится своимъ оборваннымъ кафтанишкомъ, но нравственные вопросы и сомнѣнія мучатъ Ѳедьку, а вы хотите дать ему три рубля, катехизисъ и исторійку о томъ, какъ работа и смиреніе, которыхъ вы сами терпѣть не можете, одни полезны для человѣка. Три рубля ему не нужны, онъ ихъ найдетъ, когда они ему понадобятся, а работать научится безъ васъ такъ же, какъ дышать; ему нужно то, до чего довела васъ ваша жизнь, вашихъ десять незабитыхъ работой поколѣній. Вы имѣли досугъ искать, думать, страдать,—дайте же ему то, что вы выстрадали, ему этого одного и нужно; а вы, какъ египетскій жрецъ, закрываетесь отъ него таинственной мантіей, зарываете въ землю талантъ, данный вамъ исторіей. Не бойтесь, человѣку ничто человѣческое не вредно. Вы сомнѣваетесь? Отдайтесь чувству, и оно не обманетъ васъ. Повѣрьте его природѣ, и вы убѣдитесь, что онъ возьметъ только то, что

заповѣдала вамъ передать ему исторія, что страданіями выработалось въ васъ" (280 и слѣд.).

Описаніе прогулки по лѣсу замѣчательно во многихъ отношеніяхъ: и по художественности формы (я преимущественно именно этотъ разсказъ имѣлъ въ виду, когда говорилъ, что въ IV томѣ есть вещи, даже въ чисто-художественномъ отношеніи превосходящія, можетъ быть, все, написанное гр. Толстымъ), и по глубинѣ вложеннаго въ эту форму содержанія, и, наконецъ, для характеристики гр. Толстого. Дѣло въ томъ, что прогулка въ лѣсу есть единственное въ своемъ родѣ художественное произведеніе гр. Толстого. Міръ народа и міръ «общества» часто сопоставляются имъ, но, какъ мы уже видѣли, всегда съ такой стороны, съ которой народъ оказывается выше общества, — цивилизованные люди или завидуютъ народу, или, самоувѣренно вторгаясь въ его жизнь, только портятъ ее. Эффекта этого гр. Толстой достигаетъ не тѣмъ грубымъ пріемомъ, по которому герои одной среды мѣряются съ пигмеями другой; онъ не идеализируетъ мужика, оставляетъ его и пьяницей, и невѣждой, и не дѣлаетъ изъ барина карикатуры. Но свѣтъ и тѣнь располагаются все-таки такъ, что баринъ со всѣмъ своимъ развитіемъ оказывается плохъ, а если не плохъ, такъ въ немъ, по крайней мѣрѣ, по временамъ вспыхиваетъ страстное желаніе жить жизнью мужика. Въ прогулкѣ въ лѣсу тѣ же два міра поставлены иначе, и опять-таки безъ всякаго грубаго эффекта: крестьянскіе мальчики, уже подготовленные своимъ школьнымъ образованіемъ, удаляются на нѣсколько минутъ въ міръ идей и чувствъ, чуждыхъ ихъ средѣ, и затѣмъ возвращаются въ міръ дѣйствительности, къ своимъ пьянымъ и грубымъ отцамъ. Только. Но вы понимаете, что картинка эта въ корень подрываетъ всѣ разсужденія о преимуществахъ семейнаго насилія въ образованіи передъ всѣми другими видами насилія. А затѣмъ и самъ гр. Толстой принимается комментировать эту картинку и доказывать, что онъ былъ правъ, шевеля души Ѳедьки, Семки и Проньки необыденными, несвойственными ихъ средѣ мыслями.

Мысль, вложенная въ прогулку по лѣсу, въ художественной образной формѣ у гр. Толстого нигдѣ больше не воспроизводится. Нигдѣ цивилизованный человѣкъ не рисуется имъ со стороны его духовнаго богатства, со стороны того, чѣмъ онъ можетъ и долженъ быть полезенъ народу. «Десять незабитыхъ работой поколѣній» нигдѣ не представляются гарантіей какой бы то ни было высоты. Напротивъ, они представляются вѣками порчи и извращенія человѣческой природы. Потому-то я и назвалъ прогулку единственнымъ въ своемъ родѣ художественнымъ произведеніемъ гр. Толстого. Однако мысль, вложенная въ прогулку, довольно часто разрабатывается въ его педагогическихъ статьяхъ. Наконецъ, на ней построена вся его педагогическая дѣятельность. Только потому онъ и учитъ, и пишетъ, что признаетъ, за собой право и обязанность сообщить народу нѣчто такое, чего ему не хватаетъ. При этомъ его десница отодвигаетъ всѣ препятствія, какія только попадаются на пути, будь то деспотизмъ семейства или общества, обстановка той или другой среды, тѣ или другіе предразсудки. Но у гр. Толстого есть и шуйца. Она побуждаетъ его, напротивъ, оставлять препятствія въ покоѣ, охранять неприкосновенность установившихся предразсудковъ и среды въ томъ странномъ разсчетѣ, что «не случайно, а цѣлесообразно окружила природа земледѣльца земледѣльческими условіями, горожанина — городскими». Распространите только этотъ афоризмъ, на что вы имѣете полное логическое право, и вы смѣло можете утверждать, что не случайно, а цѣлесообразно природа окружила Карениныхъ, Вронскихъ и Облонскихъ тѣми условіями, которыми они окружены; что не случайно, а цѣлесообразно природа окружила нищаго нищенскими условіями и невѣжду условіями невѣжества. И вы оправдаете всякій мракъ и всякую мерзость и пещерные люди возликуютъ, не подозрѣвая, что для нихъ нисколько не благопріятна исходная точка противорѣчій гр. Толстого, та точка, гдѣ его мысль раздваивается. И вотъ опять поднимается десница гр. Толстого и энергически сметаетъ все, что натворила шуйца. Таково приведенное мною противорѣчіе въ оцѣнкѣ принудительнаго семейнаго образованія. Таковы и другія его, не менѣе бросающіяся въ глаза противорѣчія. Таковы же и противорѣчія указанныя г. Марковымъ. Я ихъ привелъ въ прошлый разъ.

Я хотѣлъ бы, чтобы читатель не только узналъ гр. Толстого, а и получилъ къ нему то уваженіе, которымъ проникнутъ я, чтобы читатель не только не обѣгалъ IV тома сочиненій гр. Толстого, а напротивъ, видѣлъ бы въ немъ ключъ ко всѣмъ произведеніямъ знаменитаго писателя и читалъ бы его съ полною увѣренностью найти въ немъ много и много въ высокой степени поучительнаго; чтобы читатель отнюдь не смущался тѣмъ печальнымъ обстоятельствомъ, что гр. Толстой, какъ мыслитель, опозоренъ похвалами пещерныхъ людей. Но не достигъ ли я скорѣе противоположнаго результата разъясненіемъ цѣлаго ряда, мало того, цѣлой системы противорѣчій гр. Толстого? Не подорвалъ ли я, на-

противъ, въ читателѣ довѣрія къ этому человѣку, способному дать противоположныя сужденія объ одномъ и томъ же предметѣ? Я не могу этого думать, потому что всѣ эти противорѣчивыя сужденія не подорвали же во мнѣ довѣрія и уваженія къ гр. Толстому, какъ къ мыслителю. Дѣло въ томъ, что противорѣчія противорѣчіямъ рознь. Противорѣчія писаки, который говоритъ сегодня одно, а завтра другое, глядя потому, кто ему платитъ и обидѣло или не обидѣло его то или другое учрежденіе или лицо; противорѣчія, вытекающія изъ небрежности легкомыслія, и т. п., словомъ, противорѣчія, вызванныя не внутреннимъ процессомъ умственной работы, постоянно направленной къ одной цѣли, а сторонними причинами, конечно, должны подрывать довѣріе и уваженіе. Не таковы противорѣчія гр. Толстого. Я бы сравнилъ ихъ съ тѣми, которыхъ можно не мало найти у Прудона. Замѣчу, что по складу ума, а отчасти и по взглядамъ гр. Толстой вообще напоминаетъ Прудона. Та же страстность отношенія къ дѣлу, то же стремленіе къ широкимъ обобщеніямъ, та же смѣлость анализа и, наконецъ, та же вѣра въ народъ и свободу. Конечно, противорѣчія Прудона не могутъ быть уложены въ такую правильную систему, какая допускается противорѣчіями гр. Толстого. Прудонъ желалъ положить весь міръ, все познаваемое и непознаваемое, и міръ планетъ, и міръ человѣческихъ дѣйствій, и наши представленія о высшемъ существѣ къ ногамъ Справедливости (Justice). Громадность задачи и страстность работы неизбѣжно приводили къ противорѣчіямъ, общій характеръ которыхъ уловить однако нельзя. Задача гр. Толстого тоже велика, работа его тоже страстна, но у него есть и еще источникъ противорѣчій. Легко было Прудону вѣровать въ народъ и требовать отъ другихъ такой же вѣры, когда онъ самъ вышелъ изъ народа, — онъ вѣровалъ въ себя. Такого непосредственнаго единенія между гр. Толстымъ и народомъ нѣтъ. Легко было Прудону смѣло констатировать оборотную сторону медали цивилизаціи, когда эта оборотная сторона непосредственно давила его и близкихъ его. Такого давленія гр. Толстой не испытываетъ. Легко было Прудону говорить, что, выражаясь словами гр. Толстого, «въ поколѣніяхъ работниковъ лежитъ и больше силы, и больше сознанія правды и добра, чѣмъ въ поколѣніяхъ лордовъ, бароновъ, банкировъ и профессоровъ». Прудону было легко говорить это, когда отецъ его былъ бочаромъ, мать кухаркой, а самъ онъ наборщикомъ; когда онъ имѣлъ право сказать одному легитимисту: «у меня четырнадцать прадѣдовъ крестьянъ, назовите хоть одну фамилію, которая насчитывала бы столько благородныхъ предковъ». Но гр. Толстой находится скорѣе въ положеніи того легитимиста, который получилъ этотъ отпоръ. Оставьте въ сторонѣ вопросъ о томъ, вѣрны или невѣрны тѣ выводы, къ которымъ пришелъ Прудонъ, и тѣ, къ которымъ пришелъ гр. Толстой. Положимъ, что и тѣ, и другіе также далеки отъ истины, какъ пещерные люди отъ гр. Толстого. Обратите вниманіе только на слѣдующее обстоятельство: вся обстановка, всѣ условія жизни, начиная съ пеленокъ, гнали Прудона къ тѣмъ выводамъ, которые онъ считалъ истиной; всѣ условія жизни гр. Толстого, напротивъ, гнали и гонятъ его въ сторону отъ того, что онъ считаетъ истиной. И если онъ все-таки пришелъ къ ней, то, какъ бы онъ себѣ ни противорѣчилъ, вы должны признать, что это—мыслитель честный и сильный, которому довѣриться можно, котораго уважать должно. Самыя противорѣчія такого человѣка способны вызвать въ читателѣ рядъ плодотворныхъ мыслей.

Продолжаю дѣлиться съ читателями тѣми, которыя онъ вызвалъ во мнѣ.

Любопытнѣйшее противорѣчіе гр. Толстого состоитъ въ томъ, что онъ отрицаетъ не только научный характеръ той педагогической окрошки, которую стряпаютъ гг. Миропольскіе и пр., онъ отрицаетъ науку педагогіи въ принципѣ (по крайней мѣрѣ, онъ говоритъ такія слова) и въ то же время даетъ лучшее и полнѣйшее опредѣленіе «науки образованія». Педагогія изучаетъ условія, благопріятствующія и препятствующія совпаденію стремленій ученика и учителя къ общей цѣли равенства образованія. Таково опредѣленіе гр. Толстого. Я полагаю, что оно не только вѣрно и полно, но можетъ служить прототипомъ опредѣленій всѣхъ соціальныхъ наукъ. Не буду объ этомъ распространяться и просто попрошу интересующихся перечитать мою бесѣду съ г. Южаковымъ о субъективномъ и объективномъ началѣ въ соціологіи. Обращу только вниманіе читателя на тѣ спеціальныя выгоды, которыя представляетъ предлагаемая гр. Толстымъ конструкція педагогіи, и которыми самъ онъ не воспользовался. Самъ гр. Толстой обращаетъ попеременно исключительное вниманіе то на одинъ, то на другой элементъ, условія совпаденія которыхъ должны составить предметъ науки. То онъ кладетъ всѣ гири на чашку вѣсовъ образовывающихся и требуетъ, чтобы образовывающій, «общество» слушалось голоса народа и совершенно устранило свои собственныя воззрѣнія; то наоборотъ, что, впрочемъ, въ крайней, исключительной формѣ встрѣчается

у него рѣже, предлагаетъ образовывающему дѣйствовать на свой страхъ. Эти колебанія очевидно вовсе не соотвѣтствуютъ его опредѣленію педагогіи и обусловливаются чисто личными причинами. Онъ боится оставить народъ на произволъ судьбы, но боится и вмѣшательства цивилизованныхъ людей въ его жизнь. Онъ страстно ищетъ такой нейтральной почвы, на которой общество и народъ могли бы сойтись безобидно. Ему кажется, что онъ нашелъ такую почву—въ знаніяхъ. Не пытайтесь, часто говоритъ онъ, формировать вѣрованія, убѣжденія, характеръ учащихся, на то вы не имѣете ни права, ни умѣнья, давайте народу знанія, больше вамъ дать нечего. Но это все-таки не рѣшаетъ вопроса, потому что знанія должны передаваться въ какомъ-нибудь порядкѣ, въ какой-нибудь системѣ. А не будутъ ли этотъ порядокъ и эта система представлять собою уже нѣчто большее, чѣмъ голое мнѣніе? Извѣстное расположеніе знаній и извѣстная ихъ передача могутъ уже формировать убѣжденія и вѣрованія. Въ «Ясной Полянѣ» гр. Толстой много писалъ объ томъ, какія знанія и въ какомъ порядкѣ могутъ сообщаться учащимся въ народной школѣ. Нынѣ онъ значительно упростилъ программу и, повинуясь, какъ онъ справедливо говоритъ, голосу народа, требуетъ для народныхъ школъ ариѳметики и русскаго и славянскаго языковъ. Но съ русскимъ языкомъ опять бѣда, и я удивляюсь, какъ никто изъ оппонентовъ гр. Толстого не обратилъ на это вниманія. Славянская грамота и ариѳметика не даютъ произволу учителя никакого простора; но учиться русскому языку значитъ, между прочимъ, читать; что же мы дадимъ народу читать: можно дать Гоголя, можно дать Франциля Венеціана, разсказы изъ естественной исторіи, «Азбуку» гр. Толстого, книжки барона Корфа, г. Водовозова и пр., и пр. Нужна же какая-нибудь руководящая нить, а съ нею вмѣстѣ поднимается и все, повидимому порѣшенное. Гр. Толстой и самъ чувствуетъ, что знанія не составляютъ нужной ему нейтральной почвы и что для того, чтобы найти ее, надо сдѣлать уступку учителю, его идеаламъ. Въ много разъ упомянутой статьѣ «Воспитаніе и образованіе» онъ говоритъ: «Но какъ же, скажутъ мнѣ, образовывающему не желать посредствомъ своего преподаванія произвести извѣстное воспитательное вліяніе? Стремленіе это самое естественное, оно лежитъ въ естественной потребности при передачѣ знанія образовывающемуся. Стремленіе это только придаетъ образовывающему силы заниматься своимъ дѣломъ, даетъ ту степень увлеченія, которая для него необходима. Отрицать это стремленіе невозможно, и я объ этомъ никогда не думалъ; существованіе его только сильнѣе доказываетъ для меня необходимость свободы въ дѣлѣ преподаванія. Нельзя запретить человѣку, любящему и читающему исторію, пытаться передать ученикамъ то историческое воззрѣніе, которое онъ имѣетъ, которое онъ считаетъ полезнымъ, необходимымъ для развитія человѣка, передать тотъ методъ, который учитель считаетъ лучшимъ при изученіи математики или естественныхъ наукъ: напротивъ, это предвидѣніе воспитательной цѣли поощряетъ учителя. Но дѣло въ томъ, что воспитательный элементъ науки не можетъ передаваться насильственно. Не могу достаточно обратить вниманіе читателя на это обстоятельство. Воспитательный элементъ, положимъ, въ исторіи, въ математикѣ, передается только тогда, когда учитель страстно любитъ и знаетъ свой предметъ; тогда только любовь эта сообщается ученикамъ и дѣйствуетъ на нихъ воспитательно. Въ противномъ же случаѣ, то есть когда гдѣ-то рѣшено, что такой-то предметъ дѣйствуетъ воспитательно и однимъ предписано читать, а другимъ слушать, преподаваніе достигаетъ совершенно противоположныхъ цѣлей, т. е. не только не воспитываетъ научно, но отвращаетъ отъ науки. Говорятъ, наука носитъ въ себѣ воспитательный элементъ (erziehliches Element),—это справедливо и несправедливо, и въ этомъ положеніи лежитъ основная ошибка существующаго парадоксальнаго взгляда на воспитаніе. Наука есть наука и ничего не носитъ въ себѣ. Воспитательный же элементъ лежитъ въ преподаваніи наукъ, въ любви учителя къ своей наукѣ и въ любовной передачѣ ея, въ отношеніи учителя къ ученику. *Хочешь наукой воспитать ученика, люби свою науку и знай ее, и ученики полюбятъ и тебя, и науку, и ты воспитаешь ихъ, но самъ не любишь ее, то сколько бы ты ни заставлялъ учить, наука не произведетъ воспитательнаго вліянія.* (Курсивъ гр. Толстого). И тутъ опять одно мѣрило, одно спасеніе, опять таже свобода учениковъ слушать или не слушать учителя, воспринимать его воспитательное вліяніе, т. е. имъ однимъ рѣшать, знаетъ ли онъ и любитъ ли свою науку» (IV, 167). Послѣднія слова справедливы относительно высшаго образованія. Университеты, какъ настаиваетъ на этомъ гр. Толстой, дѣйствительно могутъ быть устроены такъ, что студенты будутъ имѣть право слушать того или другого профессора, ту или другую науку, въ томъ или другомъ объемѣ, причемъ университеты будутъ уже, разумѣется, не тѣмъ, что они нынѣ. Но какъ примѣнить этотъ принципъ къ народному образованію? Допустивъ полнѣйшее самоуправленіе въ этомъ дѣлѣ, вы дадите рѣшающій голосъ все-таки

не ученикамъ, не Ѳедькѣ, Семкѣ и Пронькѣ, а ихъ отцамъ, тѣмъ самымъ отцамъ, которыхъ ребята встрѣтили послѣ прогулки въ лѣсу. По чисто практическимъ соображеніямъ, требованія этихъ отцовъ до извѣстной степени непремѣнно должны быть уважены, тѣмъ болѣе, что на дѣлѣ, разумѣется, не можетъ быть большого разногласія между поколѣніями отцовъ и дѣтей въ крестьянскомъ быту, они живутъ медленнѣе насъ. Но при опредѣленіи границы, удовлетворенія этихъ требованій, согласно опредѣленію педагогіи, должна быть выслушана и другая заинтересованная сторона. Любовь учителя къ наукѣ и знаніе ея, безъ сомнѣнія, составляютъ первыя и необходимѣйшія условія совпаденія стремленій учителя и ученика. Какъ же быть, если учитель будетъ требованіями учениковъ и ихъ отцовъ оскорбляемъ въ своемъ званіи и въ своей любви къ наукѣ? У него опустятся руки и изъ хорошаго, знающаго и преданнаго дѣлу учителя выйдетъ небрежный и озлобленный. Я полагаю, что предѣлъ законныхъ требованій можетъ быть выраженъ такъ: никакіе отцы, никакіе учители, никакія учрежденія не имѣютъ права ограничивать образованіе молодыхъ поколѣній своими личными цѣлями, дѣлать изъ нихъ, какъ выражается гр. Толстой, себѣ потворщиковъ, помощниковъ и слугъ. Такъ напримѣръ, требованія того барышника, который не хотѣлъ отдавать сына въ школу, а хотѣлъ сдѣлать его прикащикомъ, преданнымъ его, барышника, интересамъ, требованія эти удовлетворенію ни къ какомъ случаѣ не подлежатъ (отсюда одна изъ причинъ законности обязательнаго обученія). Это совершенно соотвѣтствуетъ опредѣленію педагогіи, данному гр. Толстымъ, равно какъ и другимъ его воззрѣніямъ. Въ народѣ онъ цѣнитъ не его грубость, невѣжество и предразсудки, а незапятнанную грѣхомъ «десяти незабитыхъ работой поколѣній» совѣсть и способность самому удовлетворять всѣмъ своимъ нуждамъ, т. е. способность не имѣть слугъ и не быть ничьимъ слугой. Въ «обществѣ» онъ цѣнитъ не инстинктивное или сознательное стремленіе обратить народъ въ своего слугу, а тѣ подлежащія научной повѣркѣ знанія и комбинаціи знаній, которыя даны ему вѣковымъ досугомъ. Я думаю, что программа элементарныхъ народныхъ училищъ, предложенная гр. Толстымъ, за ничтожными исключеніями, можетъ удовлетворить законнымъ требованіямъ и учителей, и учениковъ съ ихъ отцами. Огромное большинство великороссовъ (о другихъ не берусь судить), какъ должно быть извѣстно каждому, по разнымъ причинамъ цѣнитъ именно русскую, славянскую грамоту и ариѳметику. Думаю, что нѣкоторую пользу могутъ принести тутъ и много осмѣянные дьячки и отставные солдаты. Съ этой программой должны быть сообразованы и учительскія семинаріи и другіе разсадники народныхъ учителей, но именно только сообразованы. Для выбора матеріала для русскаго чтенія нужно нѣсколько больше знаній, чѣмъ какими обладаютъ дьячки, священнослужители, отставные солдаты и проч., хотя всѣ эти учители неоспоримо хороши тѣмъ, что дешевы и находятся подъ рукой. Смущенный трудами нашихъ педагоговъ и квази-научнымъ характеромъ ихъ дѣятельности, гр. Толстой отрицаетъ возможность знать какія свѣдѣнія и въ какомъ порядкѣ должны сообщаться ученикамъ, какіе пріемы при этомъ должны употребляться, какое дѣйствіе должно произвести на ученика то или другое педагогическое явленіе, словомъ, опять таки отрицаетъ педагогію. Что Шольцы, Шмальцы и Фибли никому не нужны и менѣе всего народнымъ учителямъ, — это вѣрно. Что наши извѣстные и извѣстнѣйшіе педагоги въ дѣятельности своей движутся ощупью наобумъ, не руководствуясь какими бы то ни было законами педагогическихъ явленій, хотя и много говорятъ о наукѣ,—это тоже вѣрно. Но вѣрно и то, что законы педагогическихъ явленій уловимы. Сошлюсь на самого гр. Толстого. Въ своихъ педагогическихъ статьяхъ онъ, ссылаясь на опытъ и наблюденіе, доказываетъ, что въ дѣтяхъ историческій интересъ является послѣ художественнаго, и что историческій интересъ возбуждается прежде всего познаніями по новой, а не по древней исторіи (353, 354); что интересъ географическій возбуждается познаніями естественно научными и путешествіями (372); что старыя воззрѣнія на міръ разрушаются прежде всего законами физики и механики, тогда какъ насъ учатъ сначала физической географіи, которая отскакиваетъ, какъ отъ стѣны горохъ (365) и проч., и проч. Выработка и провѣрка подобныхъ законовъ педагогическихъ явленій (ими занятъ не одинъ гр. Толстой, ихъ изучаютъ и европейскіе психологи) должны составить предметъ науки — педагогіи и опредѣлять порядокъ матеріала для чтенія въ народныхъ школахъ. Они именно указываютъ на условія совпаденія стремленій ученика и учителя и, слѣдовательно, вполнѣ укладываются въ то опредѣленіе педагогіи, которое далъ гр. Толстой.

Проектъ организаціи школьнаго дѣла, предложенный гр. Толстымъ, я защищать не буду.

Ну что, читатель? Положа руку на сердце,— знали вы гр. Толстого, своего любимаго писателя? Не правъ ли я былъ, говоря, что, не смотря на всю свою извѣстность, онъ совершенно неизвѣстенъ? Будущій историкъ рус-

ской литературы разберетъ, въ чемъ тутъ дѣло, а дѣло-то любопытное, будетъ надъ чѣмъ поработать. Въ ожиданіи этого историка, я только хотѣлъ привлечь вниманіе читателя на тѣ стороны литературной дѣятельности гр. Толстого, которыя доселѣ оставались «явленіемъ, пропущеннымъ нашей критикой».

XII *).

Аракчеевъ.

Въ №№ 1, 3, 4 и 6 «Древней и Новой Россіи» напечатаны очень любопытныя «Черты изъ жизни графа Аракчеева». Статьи эти составлены Н. К. Отто, преимущественно по документамъ грузинскаго архива, и относятся почти исключительно къ частной жизни Аракчеева. Мрачный создатель военныхъ поселеній, сотрудникъ Фотія и Магницкаго, «бѣсъ, лести преданный» (какъ передѣлали современники его знаменитый девизъ «безъ лести преданъ») рисуется здѣсь въ своемъ домашнемъ быту. Свѣдѣнія этого рода встрѣчались и прежде въ нашихъ историческихъ журналахъ, но у г. Отто они едва ли не впервые группируются въ довольно полную картину.

Аракчеевъ воспитывался въ артиллерійскомъ и инженерномъ шляхетскомъ корпусѣ, гдѣ «своимъ необыкновеннымъ усердіемъ и точнымъ исполненіемъ всѣхъ заведенныхъ порядковъ и приказаній обратилъ на себя вниманіе начальства. По отзыву сверстниковъ и современниковъ, онъ, еще будучи сержантомъ въ корпусѣ, обнаруживалъ крутой нравъ и необыкновенную жестокость въ обращеніи съ подчиненными ему товарищами». Съ такимъ нравственнымъ багажемъ выступилъ Аракчеевъ на жизненное поприще, съ нимъ легъ онъ и въ могилу. Жестокъ онъ былъ съ аккуратностью аптекаря и аккуратенъ съ жестокостью палача, доходя и въ томъ, и въ другомъ отношеніи до виртуозности, почти до наивности. Небезъинтересно замѣтить, что еще въ корпусѣ Аракчеевъ предпочиталъ всѣмъ занятіямъ фронтовыя упражненія и математику. Въ другихъ наукахъ онъ былъ слабъ, такъ что до конца жизни остался даже малограмотнымъ. Онъ рѣшительно не цѣнилъ и не понималъ всего, что не цифра, не прямая линія, не геометрическая фигура. Этому соотвѣтствовало и отвращеніе его ко всякаго рода сомнѣніямъ и колебаніямъ, которыя нарушаютъ прямолинейный, шереножный строй нравственной перспективы. Онъ любилъ, чтобы всякая штука была смѣряна, взвѣшена, припечатана казенною или его собственною гербовою печатью, поставлена въ шеренгу и чтобы подъ всякимъ львомъ было четкою писарскою рукою подписано: се левъ, а не собака.

Какъ только пожалованная ему императоромъ Павломъ грузинская волость поступила въ его владѣніе, такъ по всѣмъ деревнямъ началось разрушеніе и созиданіе. Разрушались старые крестьянскіе дома, созидались новые. Въ Грузинѣ за господскою усадьбой вытянулась шеренга розовыхъ домовъ, построенныхъ по одному плану и раздѣлявшихся каждый на двѣ половины; въ каждомъ такомъ домѣ помѣщалось по два семейства. Свиньи были изгнаны, какъ животныя, роющія землю и тѣмъ производящія безпорядокъ. «Усмотрѣно мною въ прошедшую осень,—гласитъ одинъ изъ приказовъ графа, что послѣ запрещенія моего содержатся свиньи въ ближнихъ деревняхъ къ Грузину. Почему симъ письменнымъ указомъ запрещаю и т. д... Если послѣ онаго числа у кого окажутся въ оныхъ деревняхъ свиньи, то оныхъ взять въ госпиталь, а хозяина и хозяйку записать въ книгу, дабы ихъ будущимъ лѣтомъ можно было взять въ садъ на работу на мѣсяцъ». Не менѣе преслѣдовались битыя стекла въ окнахъ, причемъ графъ объяснялъ, что подъ битыми стеклами онъ «разумѣетъ такія, кои разбиты на нѣсколько частей и вываливающіяся изъ рамъ, а съ трещиной позволяется оставлять». Всему рабочему и рогатому скоту вотчины велись изъ года въ годъ описи. Въ извѣстное время весь крестьянскій скотъ сгоняли въ одно мѣсто, производили повѣрку, а молодыхъ животныхъ клеймили каленымъ желѣзомъ, обозначая годъ рожденія. Собственному графскому скоту велись именные списки: «Находятся въ Грузинѣ лошади: «Бородавка», «Кроликъ» и проч. Коровы: «Француженка», «Васильевна» и т. д. Быки: «Емелька», и проч. Вообще, всякихъ описей и записныхъ книгъ въ Грузинѣ было много. Все это Аракчеевъ самъ читалъ и дѣлалъ собственноручныя отмѣтки. Напримѣръ: «Опись положеннаго людского платья въ красномъ сундукѣ. Слѣдуетъ строго наблюдать, дабы не съѣдено было молью все оное платье, которое сдано въ цѣлости 5-го апрѣля 1821 г.» Пріобрѣтеніе каждой даже грошовой вещи отмѣчалось въ особой книгѣ съ обозначеніемъ времени, мѣста и способа пріобрѣтенія. Графъ собственноручно писалъ «реестръ о кушаньяхъ людямъ», въ которомъ, напримѣръ, въ понедѣльникъ приказывалось отпускать: «1) щи съ забѣлкою, 2) похлебка картофельная, которую заправлять мукою, вливая въ оную постнаго масла *двѣ ложки*». Продажа стараго лакейскаго платья также составляла предметъ личныхъ заботъ Аракчеева. Такъ дворецкій, которому была

*) 1875, августъ.

поручена эта операція, доносилъ изъ Петербурга: «Фракъ я еще никакъ не могъ продать, даже онъ былъ долгое время и у Марьи Яковлевны въ думѣ. Многіе его примѣряли, и никому оной не въ пору; а болѣе, ваше с—во, не берутъ, потому что этотъ цвѣтъ не въ модѣ, и никто уже не носитъ этакихъ фраковъ, то и испрашиваю вашего с—ва разрѣшенія, не прикажете ли возвратить фракъ обратно и деньги за другой, проданный, къ вашему с—ву». О каждой разбитой тарелкѣ, о каждомъ испачканномъ коврѣ графу доносилось немедленно, гдѣ бы онъ ни былъ, и онъ аккуратно клалъ на донесеніи свои резолюціи въ такомъ родѣ: «высѣчь (виновнаго) хорошенько». Всякимъ провинностямъ и наказаніямъ велись опять-таки разныя описи, списки и книги. Письма любовницы Аракчеева, Настасьи Минкиной, хранились въ особомъ пакетѣ съ собственноручною графскою надписью: «письма вѣрнаго и безцѣннаго друга Настасьи Ѳеодоровны», чтобы не вышло, значитъ, какой ошибки насчетъ принадлежности этихъ писемъ Настасьѣ Ѳеодоровнѣ или насчетъ вѣрности и безцѣнности друга.

Если-бы въ Грузино попалъ человѣкъ, незнакомый съ жизнью и дѣятельностью Аракчеева, онъ, гуляя по комнатамъ и по саду, долженъ былъ бы на каждомъ шагу изумляться чувствительности создателя Грузина: столько тамъ памятниковъ, украшенныхъ надписями, свидѣтельствующими о благодарности, преданности, любви и другихъ чувствахъ Аракчеева. Но вѣдь мудрено предположить большую чувствительность въ человѣкѣ, который собственноручно выдергивалъ усы у солдатъ и лично осматривалъ высѣченныя спины крестьянъ. Всѣ памятники, которыми усѣяно Грузино, свидѣтельствуютъ не о какихъ-нибудь возвышенныхъ чувствахъ Аракчеева, а только все о той же его аккуратности. Они составляютъ своего рода опись или записную книгу, совершенно подобную тѣмъ, въ которыя вносились разбитыя тарелки, высѣченныя спины, имена лошадей, коровъ и быковъ, доходы, расходы и проч. Едва ли не любопытнѣйшій изъ грузинскихъ памятниковъ есть «руина князя Меньшикова». Грузино нѣкогда было подарено Петромъ I Меньшикову. Аракчеевъ искалъ какихъ-нибудь остатковъ Меньшиковской усадьбы, но ничего не нашелъ. Конечно, розыски свои онъ производилъ не въ качествѣ археолога и даже не въ качествѣ простого любителя старины, а только, такъ сказать, для порядка: жилъ Меньшиковъ, а гдѣ жилъ, неизвѣстно, надо разыскать, занумеровать, сдѣлать соотвѣтственную надпись. Археологъ или почитатель древности могъ бы придти въ отчаяніе отъ неуспѣшности розысковъ, но Аракчееву нечего было отчаяваться. Онъ просто построилъ искусственную развалину, налѣпилъ на нее гербъ Меньшикова, назвалъ ее «руиной князя Меньшикова» и почилъ на лаврахъ: пустая графа въ одной изъ записныхъ книгъ была наполнена. Для большей ясности и аккуратности, однако, Аракчеевъ въ построенномъ имъ въ Грузинѣ соборѣ поставилъ портретъ Петра I и подъ нимъ сдѣлалъ надпись: «Грузинская волость, бывшая во владѣніи монастырей, пожалована государемъ императоромъ Петромъ Первымъ въ 1705 году князю Александру Даниловичу Меньшикову». Рядомъ, подъ портретомъ Павла было означено: «Грузинская волость, въ 2,000 душъ состоявшая, пожалована государемъ императоромъ Павломъ Первымъ въ вѣчное потомственное владѣніе графу Алексѣю Аракчееву 1796 года въ 12-й день». Подъ третьимъ портретомъ, Александра I, положенъ былъ рескриптъ, присланный Аракчееву въ 1810 г., послѣ посѣщенія государемъ Грузина. Въ Грузинѣ есть чугунный портикъ, въ которомъ поставлено колоссальное изображеніе Андрея Первозваннаго, а на фризѣ портика надпись: «Царская награда подданному въ 1820 году». Въ одной изъ комнатъ Грузинскаго дома на серебряномъ пьедесталѣ помѣщенъ мраморный бюстъ Александра I. На серебрѣ подъ бюстомъ вырѣзаны тѣ послѣднія слова, которыя государь написалъ Аракчееву изъ Таганрога: «Прощай, любезный Алексѣй Андреевичъ! Не покидай друга и вѣрнаго тебѣ друга!» (Извѣстно, что Аракчеевъ, не смотря на всѣ чувствительныя надписи, «покинулъ» вѣнценоснаго друга: онъ упорно не ѣхалъ въ Таганрогъ, куда его вызывалъ императоръ, и встрѣтилъ трупъ послѣдняго только въ Новгородской губерніи). Еще ниже вычеканено: «Прилипни языкъ къ гортани моему, аще не помяну тебе на всякъ день живота моего». А на другой сторонѣ пьедестала выражено проклятіе тому, кто рѣшится перелить серебро на другой предметъ. Въ грузинскомъ же домѣ хранятся часы, сдѣланные въ Парижѣ по заказу Аракчеева: когда стрѣлка касалась той минуты, въ которую умеръ Александръ I, часы играли печальный гимнъ. Для большей ясности Аракчеевъ издалъ печатное описаніе часовъ. Въ одной аллеѣ грузинскаго сада лежитъ бѣлая плита съ надписью: «Сынъ въ память родителю». Въ другой аллеѣ поставленъ бюстъ съ надписью: «Столѣтнему крестьянину Исааку Константинову, посадившему въ молодости сіи липы». На одномъ изъ островковъ возвышается деревянный павильонъ съ колоннами, на которомъ обозначено крупнымъ шрифтомъ: «Храмъ, посвященный въ память воспитавшему меня генералу Мелисино».

На другомъ островкѣ лежатъ двѣ плиты, между которыми помѣщена каменная фигура собаки. На одной плитѣ вырѣзано: «Милой Діанкѣ», на другой—«Вѣрному Жучьку».

Но всего характернѣе отразилась аптекарская аккуратность Аракчеева на его отношеніяхъ къ крестьянамъ. Аракчеевъ любилъ говорить о своихъ благодѣяніяхъ крестьянамъ и въ особенно пышныхъ фразахъ на этотъ счетъ разсыпался передъ императоромъ Александромъ. Дѣйствительно, еще и теперь существуетъ въ Грузинѣ мірской банкъ съ капиталомъ въ 30,000 рублей серебромъ, открытый въ 1820 г. Аракчеевымъ, который на основаніе его пожертвовалъ 10,000 р. ассигнаціями. Банкъ донынѣ руководствуется составленнымъ Аракчеевымъ «положеніемъ о заемномъ банкѣ для крестьянъ грузинской вотчины». Еще до основанія банка Аракчеевъ морилъ всю вотчину на устройствѣ великолѣпнаго двадцатипяти-верстнаго шоссе. Постройку шоссе этого онъ оцѣнилъ въ 86,589 р., о каковыхъ издержкахъ представилъ въ комитетъ министровъ, выражая при этомъ желаніе получить изъ казны затраченную сумму, такъ какъ само правительство производитъ обыкновенно подобныя работы. А получивъ деньги, онъ внесъ ихъ въ комиссію погашенія долговъ съ тѣмъ, чтобы проценты со всей суммы обращались на уплату государственныхъ податей съ грузинскихъ крестьянъ. Эти два случая изъ жизни Аракчеева трудно привести въ прямую связь съ его изъ ряду вонъ выходящими скаредностью и узкимъ себялюбіемъ. Можно однако думать, что связь эта существуетъ, потому что въ другихъ подобныхъ случаяхъ она рѣзко бросается въ глаза. Напримѣръ, Аракчеевъ много заботился о здоровьи своихъ крестьянъ. Онъ устроилъ для нихъ больницу, нанималъ доктора, который кромѣ занятій по больницѣ, долженъ былъ объѣзжать всю вотчину для поданія медицинской помощи. Аракчеевъ отдалъ также строжайшій приказъ не позволять дѣтямъ ѣсть сырые плоды и овощи. Онъ составилъ и напечаталъ «Краткія правила для матерей-крестьянокъ грузинской вотчины». Въ правилахъ этихъ объяснялась польза сухого и чистаго бѣлья для младенцевъ, старшинамъ предписывалось осматривать люльки и т. п., а также весьма витіеватымъ слогомъ говорилось о священныхъ обязанностяхъ матери вообще. Напримѣръ: «Сіи пагубныя послѣдствія (болѣзни младенцевъ), столь противныя законамъ Божескимъ и столь ненавистныя въ глазахъ самого человѣчества, проистекающія отъ одной только материнской безпечности и невниманія, лишаютъ жизни младенцевъ, по крайней мѣрѣ, третьей части. Всевидящій Творецъ строго взыщетъ съ родителей, когда смерть дѣтей причинится отъ нерадѣнія ихъ. Они, какъ виновники смерти ихъ, дадутъ отвѣтъ предъ Богомъ и не избѣгнутъ правосуднаго его наказанія. Многолѣтнія и внимательныя наблюденія помѣщика вашего, пекущагося о благосостояніи вашемъ, доставили ему испытанныя средства для исправленія заблужденій вашихъ» и проч. Аракчеевъ требовалъ, чтобы правила эти 1) читались всѣмъ матерямъ вмѣстѣ, по крайней мѣрѣ разъ въ мѣсяцъ, для чего бабы сгонялись въ одну избу, 2) читались священникомъ при крещеніи младенца, 3) хранились въ каждомъ семействѣ у образной кіоты.

Безъ сомнѣнія, эта увѣренность Аракчеева въ абсолютной драгоцѣнности и примѣнимости его «Краткихъ правилъ для матерей-крестьянокъ» смѣшна, но нельзя, по крайней мѣрѣ, отказать этому человѣку въ заботливости о крестьянахъ, въ благихъ намѣреніяхъ, въ безкорыстныхъ побужденіяхъ. Такъ кажется съ перваго взгляда. Въ самомъ дѣлѣ: и больница, и докторъ, и запрещеніе ѣсть сырые овощи, и «Краткія правила», и осмотръ люлекъ. Но всѣ эти факты получатъ совершенно иное освѣщеніе, если ихъ поставить рядомъ съ нѣкоторыми другими. Дѣло въ томъ, что Аракчеевъ только потому такъ хлопоталъ о здоровьи своихъ крестьянъ вообще и младенцевъ въ особенности, что видѣлъ въ нихъ исключительно «души» въ старомъ техническомъ смыслѣ слова: крѣпостныя души, пріумноженіе которыхъ выгодно, а сокращеніе невыгодно. Крестьяне не разъ слыхали отъ Аракчеева слова: «у меня всякая баба должна каждый годъ рожать, и лучше сына, чѣмъ дочь. Если у кого родится дочь, то буду взыскивать штрафъ. Если родится мертвый ребенокъ или выкинетъ баба—тоже штрафъ. А въ какой годъ не родитъ, то представь 10 аршинъ точива (холста)». Вотъ переводъ высокопарныхъ фразъ «Краткихъ правилъ» на настоящій Аракчеевскій языкъ. Вотъ истинное значеніе гуманной заботливости о здоровьи крестьянъ. Это были заботы о здоровомъ скотѣ и его приплодѣ. И до какой дѣйствительно животности удалось Аракчееву довести нѣкоторыя изъ ввѣренныхъ «ему Богомъ душъ», это видно изъ слѣдующаго «рапорта» дворецкаго Степана Васильева: «У меня, ваше с—во, родилась дочь, и я боялся о томъ донести, потому что противу желанія моего родилась дочь, а не сынъ. И по сему самому я не смѣлъ уже просить ваше с—во удостоить меня быть воспріемникомъ новорожденной, какъ льстилъ себя надеждою въ случаѣ рожденія сына» На бракъ въ крестьянскомъ быту Аракчеевъ смотрѣлъ, какъ на нѣчто въ родѣ подбора

царъ животныхъ. Ежегодно къ 1 января ему представляли списки дѣвушекъ и холостыхъ и вдовыхъ мужиковъ съ отмѣткою, знаютъ ли они молитвы. Въ спискахъ графъ собственноручно отмѣчалъ кого и на комъ женить, а если которая-нибудь изъ сторонъ оказывалась несогласною, то онъ клалъ краткую и рѣшительную резолюцію «согласить». Впрочемъ, иногда въ дѣлѣ разрѣшенія браковъ онъ руководствовался совершенно посторонними соображеніями. Такъ въ его бумагахъ сохранились, напримѣръ, такія резолюціи: «Не позволяю (жениться) *за грубость брата*», или: «Позволяю, но если молитвы всѣ не будетъ знать къ великому посту, то больно высѣку». Что касается до устроенной Аракчеевымъ больницы, то и это учрежденіе своеобразно освѣщается слѣдующими, напримѣръ, фактами. Крестьянка Марья Егорова находилась въ бѣгахъ въ сильную стужу и вернулась съ отмороженными ногами, потому что, страха ради Аракчеева, ей никто не рѣшался дать пріютъ. Она была принята въ больницу уже съ антоновымъ огнемъ. На рапортѣ доктора Аракчеевъ написалъ: «Прошу г. Ягодинскаго (докторъ) употребить стараніе, дабы сія молодая баба *осталась способна къ работѣ*». Нѣкоторыхъ же больныхъ крестьянъ отправляли для пользованія въ поселеніе, въ шевелевскій военный госпиталь, гдѣ по приказанію графа присылаемыхъ больныхъ не только лѣчили, а и сѣкли. Вотъ, напримѣръ, рапортъ смотрителя шевелевскаго госпиталя: «18-го ноября 1828 года. Честь имѣю донести, что находившаяся во ввѣренномъ мнѣ госпиталѣ вашего с—ва дворовая женщина Прасковья Григорьева сего числа выздоровѣла и по наказаніи ея розгами отправлена къ штабъ-лекарю Бѣлоцвѣтову».

Любопытно, что, не смотря на всѣ прямыя и косвенныя заботы Аракчеева о здоровьи крестьянъ, бывали годы, когда населеніе Грузина значительно убывало. Въ 1812 г. убыль оказалась въ 7 человѣкъ, въ 1813—33, въ 1818—13, въ 1823—17. Это не единственная неудача Аракчеева. Напримѣръ, пьянствовали его мужики весьма основательно, хотя онъ за это нещадно сѣкъ, заковывалъ въ рогатки, подвергалъ опалѣ цѣлыя деревни. У него на этотъ счетъ были заведены такіе порядки. «Посѣдки» и другія вечеринки были запрещены, пѣніе веселыхъ пѣсенъ—тоже; позволено было пѣть только что-нибудь церковное; всѣ кабаки въ вотчинѣ были закрыты; водку дозволялось покупать только по праздникамъ съ графской мызы (причемъ Аракчеевъ бралъ барыша 1—3 рубля на ведро) и то въ строго опредѣленномъ количествѣ, именно: водка отпускалась крестьянину *по числу имѣющихся у него коровъ*, считая по ¼ штофа на каждую, а къ свадьбамъ по полуштофу; на перевозѣ передъ усадьбой, котораго нельзя было миновать, всякаго проѣзжаго и прохожаго тщательно обыскивали—не везетъ ли водки. Не смотря на всѣ эти строгости, Аракчееву приходилось издавать время отъ времени такіе приказы: «Деревни Мотыльи крестьянинъ Миронъ Ивановъ, по прозванію Мохня, находясь въ числѣ торгующихъ, нѣсколько разъ замѣченъ былъ мною пьянымъ, а наконецъ, къ стыду и грѣху нашему, окончилъ и самую жизнь отъ онаго пьянства. Почему и предписываю тебѣ (головѣ) *оставшихся послѣ его обоихъ братьевъ и все семейство ихъ изъ торгующихъ крестьянъ исключить, послѣ чего никогда никого изъ братьевъ покойнаго ни зачѣмъ не только въ С.-Петербургъ, но и даже въ Новгородъ не отпускать* и однимъ словомъ никогда имъ далѣе Оскуя и Грузина отъ своей деревни не отлучаться, за собственною твоею отвѣтственностью и строгимъ съ тебя самого за оное взысканіемъ». Или: «По случившейся въ деревнѣ Мелеховѣ о праздникѣ дракѣ, запрещаю оной деревнѣ впредь къ обоимъ праздникамъ, какъ пиво варить, такъ и вино покупать—впредь, пока оная деревня заслужитъ оный поступокъ, и тебѣ предписываю строго за онымъ имѣть смотрѣніе на своей отвѣтственности».

Эти приказы очень характерны для Аракчеева своею огульностью. Имѣя своимъ идеаломъ шеренгу, математически правильный рядъ людей, понятій, коровъ, чувствъ, тарелокъ и проч., въ которыхъ отдѣльные элементы внѣ своего номера не имѣютъ рѣшительно никакого самостоятельнаго значенія, онъ естественно долженъ былъ придти къ правомѣрности наказанія братьевъ за пьянство брата и цѣлой деревни за драку нѣсколькихъ человѣкъ. Авторъ книги «Блудовъ и его время», проводя параллель между Аракчеевымъ и Сперанскимъ, говоритъ, что оба они презирали людей, но только, дескать,—каждый на свой манеръ. Объ Аракчеевѣ, я думаю, правильнѣе было бы сказать, что онъ не то что презиралъ людей, а просто не понималъ ихъ. Онъ понималъ табунъ, каждый представитель котораго клейменъ каленымъ желѣзомъ; понималъ шеренгу; въ которой за правофланговымъ слѣдуетъ второй съ фланга, третій и т. д., но людей не понималъ. Человѣкъ цифры, ярлыка и шеренги, онъ не могъ бы, вѣроятно, даже при сильнѣйшемъ напряженіи способности отвлеченія, какую ему далъ Богъ, представить себѣ человѣка внѣ какой-нибудь стихійной или исторической группы, человѣка свободнаго. Онъ не при-

давалъ никакой цѣны личнымъ чувствамъ, мыслямъ и стремленіямъ не потому, чтобы не призиралъ личность—онъ просто не зналъ ея: это была для него китайская грамота. И отсюда его страшная самоувѣренность. Въ невѣжествѣ своемъ онъ былъ вполнѣ увѣренъ, что изъ людей—изъ крестьянъ и солдатъ въ особенности—можно налѣпить, какъ изъ глины, какихъ угодно фигуръ. До какой степени узко, просто и самоувѣренно смотрѣлъ онъ на свои отношенія къ людямъ, видно изъ слѣдующаго любопытнаго приказа его дворецкому. «Люди должны дѣлать все, что нужно; а если дурно будутъ дѣлать, то на это есть розги. Мнѣ очень мудрено кажется, что будто людей нельзя содержать такъ, чтобы они дѣлали свое дѣло. Отчего же солдаты все дѣлаютъ, что имъ прикажутъ, ибо знаютъ, что ихъ накажутъ, если не сдѣлаютъ, что приказано». Этотъ приказъ былъ бы смѣшонъ, еслибы не былъ возмутителенъ, еслибы изъза него не выглядывали люди съ исполосованными, при помощи «аракчеевскихъ» батоговъ и другихъ инструментовъ, спинами, закованные въ рогатки, запертые въ «Эдикуль», какъ называлъ Аракчеевъ собственную грузинскую тюрьму, избитые, оплеванные — потому что Аракчеевъ не гнушался и такими пріемами исправленія, какъ собственноручное избіеніе и плевокъ въ глаза. Къ наивной самоувѣренности, сквозящей въ каждой строкѣ приведеннаго приказа, надо еще прибавить врожденную жестокость и злость Аракчеева. Человѣкъ онъ былъ замѣчательно злой, холодно, безчувственно злой.

Отецъ Аракчеева былъ человѣкъ простой и добрый. Въ числѣ его крѣпостныхъ былъ камердинеръ Василій, котораго онъ очень любилъ и сына котораго, Степана, ростилъ вмѣстѣ съ своимъ Алексѣемъ. Степанъ сталъ камердинеромъ Аракчеева еще во время его гатчинской службы и былъ очень усерденъ, но никакъ не могъ угодить на барина. Аракчеевъ тогда даже не ложился въ постель, а спалъ въ полной формѣ въ креслѣ. При требованіи во дворецъ, Степанъ долженъ былъ летать птицей, чистить барское платье, подавать вещи. При малѣйшей оплошности на него сыпались ругань, побои, пощечины. Степанъ не всегда безмолвно выдерживалъ этотъ каскадъ звѣрства, и Аракчеевъ сталъ его систематически сѣчь. Степанъ даже захворалъ странною болѣзнью, которую одинъ изъ повѣренныхъ Аракчеева описывалъ въ одномъ изъ своихъ докладовъ такъ: «Болѣзнь его для меня странная и похожая болѣе на меланхолическую: онъ имѣетъ разныя воображенія; два дня лежитъ, а день бродитъ». Наконецъ, Степанъ не выдержалъ этой каторжной жизни и на колѣняхъ умолялъ Аракчеева сослать его въ Сибирь. Аракчеевъ отвѣчалъ слѣдующими характеристическими словами: «Знай же и помни, что въ Сибирь не сошлю, а лучше самъ забью». Забиваніе прекратилось со смертью самого Аракчеева, потому что Степанъ, его товарищъ дѣтства, пережилъ его.

Не слѣдуетъ думать, чтобы такова была судьба только близкихъ къ Аракчееву людей, бывшихъ у него постоянно подъ рукой. Аракчеевъ старался, чтобы всѣ у него были всегда подъ рукой и, хотя и не могъ достигнуть этого въ полномъ размѣрѣ, однако своею аккуратностью и системою шпіонства кое-чего въ этомъ отношеніи добился. Въ самомъ центрѣ вотчины, въ деревнѣ Любуни, онъ устроилъ на пригоркѣ высокую башню, въ которой любилъ пить чай. Отъ башни шли во всѣ стороны просѣки, и Аракчеевъ могъ осматривать въ подзорную трубу крестьянскія работы и вообще все, что дѣлалось въ большей части имѣнія. Шпіонство онъ поощрялъ всѣми способами, добиваясь, чтобы ему доносили о всякой рѣшительно мелочи въ такомъ, напримѣръ, родѣ. Гостямъ, пріѣзжавшимъ въ Грузино, прислуживали мальчики-казачки; они получали иногда отъ гостей въ подарокъ деньги. Аракчеевъ требовалъ, чтобы каждый казачокъ въ тотъ же день докладывалъ ему, сколько онъ получилъ, а буде кто изъ нихъ солжетъ или утаитъ, и графу будетъ объ этомъ донесено, то доносчикъ получаетъ всѣ деньги лгуна-утайщика. Такими-то способами Аракчеевъ розыскивалъ виновныхъ, а затѣмъ исправлялъ ихъ. У него въ Грузинѣ всегда стояли кадки съ разсоломъ, въ которомъ мокли розги и палки. Съ свойственною ему аккуратностью онъ лично осматривалъ спины наказанныхъ и былъ такъ требователенъ, что несчастные рѣзали куръ и кровью ихъ мазали себѣ рубцы, чтобы, значитъ, графъ остался доволенъ и не велѣлъ начинать сказку про бѣлаго бычка сначала! Но и здѣсь, какъ и во всей нравственной физіономіи Аракчеева, варварство осложняется своеобразнымъ комическимъ, правильнѣе шутовскимъ, элементомъ. Онъ отдавалъ иногда своихъ дворовыхъ въ солдаты на срокъ, по истеченіи котораго бралъ ихъ къ себѣ обратно, причемъ они должны были давать письменное обѣщаніе исправиться. Обязательство это писалось по установленной формѣ: «Я, нижеподписавшійся, крѣпостной дворовый графа Алексѣя Андреевича человѣкъ, симъ обязуюсь содѣянный мною передъ его сіятельствомъ проступокъ ста-

раться заслужить особеннымъ усердіемъ и добрымъ по должности своей поведеніемъ» и т. д. А иногда отъ наказанныхъ требовалось и пространное изложеніе чувствъ уваженія и любви къ помѣщику. Вотъ письмо дворового Ивана Кузьмина: «Сіятельнѣйшій графъ, всемилостивѣйшій государь! Я рабъ и подданный вашъ есть; но Провидѣнію Всевышняго угодно было обнаружить мое согрѣшеніе предъ вашимъ с—вомъ и во гнѣвѣ своемъ меня наказать. Я вполнѣ заслуживаю онаго и чувствую съ сердечнымъ соболѣзнованіемъ; но, мучась повсечасно угрызеніемъ совѣсти въ преступленіи своемъ, которое влечетъ меня вторичнымъ опять письмомъ прибѣгнуть подъ покровительство ваше, а тѣмъ болѣе будучи зная отеческое милосердіе ваше и изливаемыя неисчетныя повсюду щедроты и покровительства! Но, какъ я по великому вашему гнѣву остаюсь и поднесь презрѣннымъ преступникомъ, о чемъ съ униженіемъ и благоговѣніемъ осмѣливаюсь просить ваше с—во, припадая съ тѣмъ вмѣстѣ къ стопамъ ногъ вашихъ съ воспрянутою къ небу душою, умоляю со слезами и съ чистымъ сокрушеннымъ сердцемъ, великодушный, всемилостивѣйшій графъ, укротите праведный гнѣвъ вашъ и облегчите тѣмъ скорбь съ страданіемъ и мое мученіе, рѣшите судьбу мою тѣмъ, чѣмъ Богъ по сердцу вашему пошлетъ. Я дотолѣ не перестану... Остаюсь во ожиданіи рѣшенія судьбы своей презрѣнный, вѣрноподданный рабъ вашъ. Санктпетербургъ 1831 года, ноября 7». Аракчеевъ требовалъ подобныхъ посланій по такимъ же побужденіямъ, по какимъ воздвигъ «руину князя Меньшикова»—для порядка. Подлинная или искусственная развалина, истинныя или выраженныя по приказанію чувства—ему было все равно лишь бы была соблюдена форма, лишь бы на развалинѣ и на чувствахъ стояли извѣстные ярлыки.

Еще одна черта характера Аракчеева. Человѣкъ суровый, холодный и вдобавокъ громившій въ своихъ приказахъ развратъ въ крестьянскомъ быту, онъ до старости былъ чувствителенъ къ женской красотѣ. Въ его грузинской библіотекѣ было не мало книгъ въ такомъ родѣ: «Путь къ безсмертному сожитію ангеловъ», О вздыханіи голубицы или пользѣ слезъ», «Великопостный конфектъ» и т. д. Но «почти половину» библіотеки составляли книги совсѣмъ иного содержанія. Рядомъ съ «Великопостнымъ конфектомъ» хранились «Любовники и супруги или мужчины и женщины, и то и сіе», «Читай, смѣкай и можетъ быть слюбится», «Нѣжныя объятія въ бракѣ и потѣхи съ любовницами» и проч. Упомянутый уже «Храмъ въ память воспитавшему меня генералу Мелисино» былъ, не совсѣмъ соотвѣтственно своему назначенію, наполненъ соблазнительными картинами, которыя были закрыты зеркалами, отодвигавшимися посредствомъ потаенныхъ пружинъ. Храмъ этотъ стоялъ совершенно уединенно на островѣ, къ нему надо было подъѣзжать на лодкѣ, и Аракчеевъ допускалъ туда только самыхъ близкихъ и довѣренныхъ людей. Тотъ же вкусъ отразился отчасти на выборѣ дессертныхъ тарелокъ, привезенныхъ Аракчеевымъ изъ Парижа. Изъ описи посуды видно, что на ней были изображены «Любовь въ табатеркѣ», «Венера въ бойнѣ», «Любовь заставляетъ плясать трехъ грацій», «Фигура, представляющая воздухъ» и т. п.

Одну минуту я колебался—записывать ли эту послѣднюю черту характера Аракчеева, потому что она нѣсколько разбиваетъ цѣльное впечатлѣніе, производимое всей фигурой «безъ лести преданнаго». Не то, чтобы къ этой мрачной фигурѣ не шло мѣшать «Великопостный конфектъ» съ «Нѣжными объятіями въ бракѣ». Напротивъ, этотъ элементъ могъ бы очень удобно разрастись до juris primae noctis, до крѣпостного гарема и насилій надъ бабами и дѣвками (чего однако, кажется, не было). Но это во всякомъ случаѣ и не коренная, а производная черта нравственной физіономіи Аракчеева. Слабость къ женской красотѣ и къ нецѣломудреннымъ картинкамъ и книжкамъ лежитъ довольно далеко отъ его душевнаго центра тяжести, который сводится къ безусловному, органическому непониманію началъ личности и свободы. Аракчеевъ есть идеальный типъ стараго русскаго крѣпостника. Это не европейскій феодалъ, непризнававшій надъ собой никакихъ ограниченій и опиравшійся на свободный договоръ съ высшею государственною властью. Извѣстно, что русское дворянство росло, падало, опять поднималось, какъ въ цѣломъ, такъ и въ отдѣльныхъ родахъ, не какою-нибудь внутреннею, самостоятельною силою, а повинуясь нуждамъ государства, какъ они понимались въ разное время правительствомъ. Самымъ крѣпостнымъ правомъ оно пользовалось за службу государю и даже по отношенію къ внутреннимъ распорядкамъ въ помѣстьи помѣщики были, по выраженію императора Павла, особаго рода полицеймейстерами. Могли быть и существовали разныя уклоненія отъ такого порядка вещей, но они не имѣли почвы въ какомъ-нибудь общепризнанномъ правѣ. Русскій дворянинъ имѣлъ рабовъ, но и самъ подписывался—«нижайшій рабъ князь Юшка

Ромодановскій». И положеніе его, и его понятія, и чувства вполнѣ соотвѣтствовали такой подписи. Онъ былъ связанъ узами не менѣе прочными, а подчасъ и не болѣе мягкими, чѣмъ какія облекали его крѣпостныхъ. Въ исторіи русскаго дворянства можно найти примѣры личностей, критически относившихся къ тѣмъ или другимъ узамъ, или и къ тѣмъ, и другимъ. Но по положенію вещей отношеніе это могло только «не расцвѣсть и отцвѣсть въ утрѣ насмурныхъ дней». Аракчеевъ же замѣчателенъ именно тѣмъ, что въ немъ никогда не шевелилась критическая мысль. Онъ былъ въ общемъ механизмѣ государства лично столь же ничтоженъ, какъ его дворецкій въ механизмѣ его домашнихъ дѣлъ. И онъ принималъ это положеніе безъ критики; въ немъ самомъ не было того начала личнаго достоинства и той жажды свободной жизни, которыя онъ попиралъ въ своихъ крестьянахъ. И оттого попираніе это совершалось имъ съ совершенно чистою совѣстью, безъ малѣйшаго колебанія и сомнѣнія. Въ самомъ дѣлѣ, если самъ онъ дажо спалъ, не раздѣваясь, то какъ могъ онъ принимать въ соображеніе усталость того несчастнаго дворецкаго, котораго онъ обѣщалъ «самъ забить»? Замѣчательно, что Александръ I, озабоченный въ началѣ своего царствованія планами освобожденія крестьянъ, т. е. уничтоженія тѣхъ самыхъ узъ, о тяжести которыхъ Аракчеевъ никогда не задумывался; замѣчательно, что Александръ I далеко не сразу почтилъ Аракчеева своимъ довѣріемъ и дружбою. Будучи великимъ княземъ, онъ даже ненавидѣлъ и презиралъ своего будущаго министра. Когда императоръ Павелъ въ одну изъ своихъ грозныхъ минутъ исключилъ Аракчеева изъ службы, великій князь, узнавъ, что на его мѣсто назначенъ человѣкъ хорошій, сказалъ: «Ну, слава Богу! эти назначенія — настоящая лотерея, могли бы напасть опять на такого м.....ца, какъ Аракчеевъ» («Русская Старина», 1871, № 2). Впослѣдствіи, вмѣстѣ съ общимъ поворотомъ взглядовъ императора Александра, рѣзко измѣнились и его отношенія къ Аракчееву, однако и тогда благодушный императоръ, по крайней мѣрѣ, по временамъ, повидимому, тяготился своимъ грубымъ совѣтникомъ.

XIII.

Мордвиновъ.

Интересно сопоставить мрачную фигуру владѣльца Грузина съ свѣтлымъ образомъ другого современнаго ему государственнаго человѣка, знаменитаго адмирала Мордвинова. Авторъ монографіи «Графъ Н. С. Мордвиновъ», профессоръ Иконниковъ, говоритъ: «Мордвиновъ и Аракчеевъ, какъ дѣятели разсматриваемой эпохи, представляются какъ бы двуличнымъ Янусомъ, смотрящимъ въ діаметрально противоположныя стороны» (309). Дѣйствительно, мудрено найти двѣ болѣе рѣзкія противоположности, какъ Аракчеевъ и мягкій, гуманный, смѣлый, умный, образованный Мордвиновъ. Это—свѣтъ и тѣнь, Ормуздъ и Ариманъ. Какъ Аракчеевъ уже въ дѣтствѣ обнаружилъ наиболѣе выдающіяся черты своего личнаго характера—строжайшее добровольное подчиненіе всѣмъ установленнымъ правиламъ и жестокость, такъ и Мордвиновъ уже въ раннемъ дѣтствѣ выказался съ совершенно противоположной стороны. Въ воспоминаніяхъ его дочери гр. Н. Н. Мордвиновой: («Воспоминанія объ адмиралѣ графѣ Николаѣ Семеновичѣ Мордвиновѣ и о семействѣ его») читаемъ: «Бабушка моя была строгая мать, дѣдъ—нѣжный отецъ; но какъ въ то время жены уважали и боялись своихъ мужей, то бабушка и не смѣла наказывать дѣтей въ присутствіи дѣдушки; отца моего она называла баловаинымъ сынкомъ, потому что онъ не всегда поддавался ея наказанію: казалось, съ дѣтства понималъ чувство справедливости и иногда убѣгалъ отъ розогъ подъ защиту къ отцу въ кабинетъ, но никогда не жаловался, хотя и чувствовалъ, что онъ не виноватъ». Будучи около десятилѣтняго возраста взятъ во дворецъ для воспитанія съ наслѣдникомъ, Павломъ Петровичемъ, Мордвиновъ кротостью и благоразуміемъ имѣлъ большое вліяніе на смягченіе характера великаго князя» (8). Конечно, это—разсказъ дочери объ отцѣ. Но дѣло въ томъ, что ему ни малѣйше не противорѣчитъ вся послѣдующая, вполнѣ извѣстная жизнь Мордвинова. Свидѣтельства всѣхъ современниковъ полны самыхъ лестныхъ отзывовъ объ этомъ человѣкѣ, и если ему ставится что-нибудь въ упрекъ, такъ только его горячность и сустливость, или, вѣрнѣе, избытокъ дѣятельности, которому соотвѣтствовалъ избытокъ силъ. Довольно того, что онъ былъ прозванъ русскимъ Аристидомъ и что Рылѣевъ, выражая положительно общее мнѣніе, обратился къ нему съ восторженной одой «Гражданское мужество»:

Кто этотъ дивный великанъ,
Одѣянъ свѣтлою бронею,
Чело спокойно, стройный станъ,
И весь сіяетъ красотою?
Кто сей, украшенный вѣнкомъ,
Съ мечомъ, вѣсами и щитомъ,
Презрѣвъ враговъ и горделивость,
Стоитъ гранитною скалой

И давитъ сильною пятой
Коварную несправедливость?
. . . . . .
Лишь Римъ, вселенной властелинъ,
Сей край свободы и законовъ,
Возмогъ произвести одинъ
И Брутовъ двухъ, и двухъ Катоновъ.
Но намъ ли унывать душой,
Когда еще въ странѣ родной
Одинъ изъ дивныхъ исполиновъ
Екатерины славныхъ дней,
Средь сонма избранныхъ мужей,
Въ совѣтѣ бодрствуетъ Мордвиновъ?
. . . . . .

Разсказывать собственно жизнь Мордвинова, его домашній бытъ, семейныя отношенія и пр.—нечего. Никакихъ особенно рѣзкихъ эпизодовъ здѣсь нѣтъ: хорошій семьянинъ, добрый помѣщикъ, любитель просвѣщенія и искусствъ, строгій исполнитель своихъ обязанностей и т. д. Мы не будемъ слѣдить и за перипетіями его долгой служебной карьеры. Въ противоположность Аракчееву, у котораго не было никакихъ идей кромѣ идеи военныхъ поселеній, жизнеописаніе Мордвинова сводится къ анализу его идей.

Мордвиновъ былъ силенъ именно тѣмъ, чѣмъ былъ слабъ Аракчеевъ, критическою мыслью, уваженіемъ къ личности, къ своей и чужой свободѣ. Въ это сторону была направлена вся его многолѣтняя и горячая дѣятельность. Попавъ въ Англію еще молодымъ человѣкомъ (онъ и женатъ былъ на англичанкѣ), Мордвиновъ прочно всосалъ въ себя духъ англійскихъ учрежденій и господствовавшихъ тогда въ Англіи идей. Какъ разъ во время его пребыванія тамъ вышло знаменитое сочиненіе Адама Смита, которое, какъ говоритъ г. Иконниковъ, оказало вліяніе на всю жизнь Мордвинова. Можно думать, что по своей любознательности Мордвиновъ тотчасъ же познакомился съ «Изслѣдованіемъ о природѣ и причинахъ богатства народовъ». Но такъ или иначе, а доктрина Смита дѣйствительно имѣла глубокое вліяніе на Мордвинова въ послѣдующей его жизни. Къ нему скоро прибавилось еще вліяніе Бентама, съ которымъ Мордвиновъ имѣлъ личныя сношенія и котораго онъ ставилъ весьма высоко. Онъ писалъ брату Бентама въ 1806 г.: «Я желаю поселиться въ Англіи и, поселясь тамъ, быть знакомымъ съ вашимъ братомъ. Въ моихъ глазахъ онъ есть одинъ изъ четырехъ геніевъ, которые сдѣлали и сдѣлаютъ всего болѣе для счастія человѣчества — Бэконъ, Ньютонъ, Смитъ, Бентамъ: каждый — основатель новой науки, каждый — творецъ». Съ своей стороны Бентамъ съ свойственными ему узкимъ самодовольствіемъ и болтливостью писалъ о Мордвиновѣ: «Въ числѣ его странностей есть то, что онъ — нѣчто вродѣ сектатора стараго пустынника Квинъ-скверъ-Плэса (это—самъ Бентамъ, жившій въ Queen-Square-Place), будущія изліянія бредней котораго онъ предложилъ переводить на русскій языкъ.

Доктрины Смита и Бентама слишкомъ извѣстны, чтобы о нихъ здѣсь надо было распространяться. Одинъ послѣдовательно провелъ начала свободы и личнаго интереса черезъ всю область наличныхъ тогдашнихъ экономическихъ фактовъ, другой пытался утвердить на тѣхъ же началахъ мораль, политику и юриспруденцію. Извѣстна и дальнѣйшая судьба принциповъ Смита и Бентама; проявившись съ большимъ блескомъ и среди всеобщихъ рукоплесканій, они скоро достигли почти безусловнаго государственнаго и школьнаго авторитета, а затѣмъ стали очень медленно, но постоянно терять кредитъ. Въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго вѣка, когда началась дѣятельность Мордвинова, идеи эти приближались къ апогею своего развитія, хотя и далеко не были общепризнанными. Тѣмъ интереснѣе становятся усилія Мордвинова водворить ихъ въ Россіи. Въ Европѣ идеи Смита и Бентама имѣли свою исторію и свою практическую почву интересовъ. Онѣ не были тамъ новостью и не стояли особнякомъ. Все умственное движеніе, извѣстное подъ именемъ вѣка просвѣщенія, Вольтеръ, Монтескье, энциклопедисты, Тюрго, физіократы, экономисты, матеріалисты, какъ Гольбахъ и Гельвецій, всѣ эти люди стремились къ тому, чтобы разбить оковы, наложенныя на личность средними вѣками, и провозглашали личный интересъ и личную свободу верховнымъ принципомъ всѣхъ политическихъ и философскихъ понятій. Не совсѣмъ новы были принципы Смита и Бентама и у насъ, въ Россіи. Мы ихъ уже получили въ свое время изъ Франціи, въ началѣ царствованія Екатерины, которая, какъ извѣстно, сама была почитательницей корифеевъ французской философіи и была со многими изъ нихъ въ личныхъ сношеніяхъ. Поэтому, прежде чѣмъ говорить о дѣятельности Мордвинова, посмотримъ, самымъ, разумѣется, бѣглымъ образомъ, какъ отразились у насъ идеи предшественниковъ Смита и Бентама.

Въ концѣ 1765 г., тотчасъ послѣ открытія Вольно-Экономическаго Общества, этимъ новорожденнымъ обществомъ было получено отъ неизвѣстнаго лица замѣчательное письмо, которое должно быть признано однимъ изъ выдающихся фактовъ исторіи экономическихъ идей въ Россіи. Вотъ это письмо: «Многопочтенные господа экономическаго общества! Съ великимъ удовольствіемъ многіе честные патріоты услышали о полезномъ

вашемъ установленіи, изъ которыхъ и я себя почитаю не послѣднимъ. По скудоумію моему не въ состояніи я служить вамъ полезнымъ сочиненіемъ, а вмѣсто того позвольте мнѣ въ пользу общества сдѣлать вамъ вопросы: многіе разумные авторы поставляютъ и самые опыты доказываютъ, что не можетъ быть тамъ ни искуснаго рукодѣлья, ни твердо основанной торговли, гдѣ земледѣліе къ уничтоженію или нерачительно производится, что земледѣльство не можетъ процвѣтать тутъ, гдѣ земледѣлецъ не имѣетъ ничего собственнаго. Все сіе основано на правилѣ весьма простомъ: всякій человѣкъ имѣетъ болѣе попеченія о своемъ собственномъ, нежели о томъ, чего опасаться можетъ, что другой у него отъиметъ. Поставляя сіи правила за неоспоримыя, осталось мнѣ просить васъ рѣшить: въ чемъ состоитъ или состоять должно, для твердаго распространенія земледѣльства, имѣніе и наслѣдіе хлѣбопашца? Иные полагаютъ что бъ то состояло въ участкѣ земли, принадлежащей отцу, сыну и потомкамъ его, съ пріобрѣтеннымъ движимымъ и недвижимымъ, какого-бы то званія ни было; другіе, напротивъ того, полагаютъ на одинъ участокъ земли четыре и до восьми человѣкъ родовъ разныхъ и поставляютъ старшаго въ томъ обществѣ главнымъ или такъ называемымъ хозяиномъ; изъ сего послѣдуетъ, что сынъ послѣ отца не наслѣдникъ, слѣдовательно, и собственнаго не имѣетъ, называя собственнымъ только то, что тому обществу принадлежитъ, а не каждой особѣ. Итакъ, нахожусь я въ великомъ недоумѣніи, не знаю, на точной ли или на спекулятивной разумъ слова «собственное» полагаться. Я по сіе время почитаю собственнымъ то, чего ни у меня, ни у дѣтей моихъ безъ законной причины никто отнять не можетъ, и, по моему мнѣнію, то одно можетъ меня сдѣлать рачительнымъ; однако въ семъ моемъ мнѣніи не утверждаюсь, а ожидаю для наставленія мнѣ и потомкамъ моимъ вашего на сіе рѣшенія, пребывая съ непремѣннымъ къ вамъ почтеніемъ, многопочтенные господа экономическаго собранія, вашъ покорный слуга И. Е.».

Авторъ письма, ставя такъ прямо и рѣзко вопросъ о преимуществахъ личнаго и общиннаго землевладѣнія, очевидно, глубоко проникся идеями французскихъ «просвѣтителей», стремившихся развязать узы цеховъ, корпорацій, общинъ, провинцій, государства и дать собственность и свободу отдѣльнымъ личностямъ. Собственно говоря, онъ даже не ставилъ вопроса, а разрѣшалъ его, «поставляя за неоспоримое правило», что «всякой человѣкъ имѣетъ болѣе попеченія о своемъ собственномъ, нежели о томъ, чего опасаться можетъ, что другой у него отъиметъ». Но такое рѣшеніе колебало не только установившуюся, обычную форму крестьянскаго землевладѣнія, оно естественно затрогивало и юридическія отношенія крестьянъ къ помѣщикамъ. Странно было бы настаивать на разрушеніи общиннаго, мірского владѣнія землей, какъ нарушающаго личные интересы и свободу крестьянъ, и въ то же время оставлять неприкосновеннымъ крѣпостное право. Впослѣдстіи, впрочемъ, какъ увидимъ, подобными противорѣчіями перестали гнушаться. Но въ екатерининскую старину люди были проще, и потому на первый разъ члены Вольнаго Экономическаго Общества просто пропустили мимо ушей щекотливое письмо неизвѣстнаго лица. Но подъ буквами И. Е. скрывалась сама императрица Екатерина, хотѣвшая сразу поднять новорожденное экономическое общество до той высоты общихъ теоретическихъ вопросовъ, до которой оно и впослѣдствіи весьма рѣдко поднималось. Замолчать мысли императрицы было,конечно,трудновато. Дѣйствительно, въ первую годовщину общества, 1-го ноября 1766 года, было доложено новое письмо, подписанное тѣми же иниціалами И. Е. Авторъ прилагалъ тысячу червонцевъ на разныя нужды общества, между прочимъ на выдачу премій за рѣшеніе задачъ, предлагаемыхъ обществомъ на конкурсъ, и просилъ первой же задачей поставить вопросъ, выставленный имъ въ прошломъ 1765 году: «въ чемъ состоитъ собственность земледѣльца, въ землѣ ли его, которую онъ обрабатываетъ, или въ движимости, и какое онъ право на то или на другое для пользы общенародной имѣть можетъ?» Императрица была узнана, и общество всполошилось. Назначено было чрезвычайное собраніе, судили, рядили и, наконецъ, объявили задачу. Она, какъ говоритъ авторъ исторіи Вольнаго Экономическаго Общества, произвела въ тогдашнемъ дворянскомъ обществѣ безпокойство. Всѣ поняли, что прежде, чѣмъ рѣшать вопросъ о правахъ крестьянъ на движимую или недвижимую собственность, надо разсмотрѣть права помѣщика на личность крестьянина. Собственно вопросъ о поземельной общинѣ отошелъ на второй планъ во всѣхъ запискахъ, доставленныхъ разными лицами въ общество. И это было вполнѣ естественно. Я обращаю особенное вниманіе читателя на это обстоятельство; ниже оно приведетъ насъ къ нѣкоторымъ очень любопытнымъ соображеніямъ.Первымъ, кажется, откликнулся нѣкто дѣйствительный статскій совѣтникъ А. Сумароковъ. Онъ не разрѣшеніе задачи доставилъ, а возраженіе, написанное именно по поводу неясности и и неполноты задачи. Онъ писалъ между

прочимъ: «Задача ради рѣшенія: что полезнѣе обществу, чтобы крестьянинъ имѣлъ собственнымъ имѣніемъ пожитки ли одни или и земли, до изъясненія рѣшена быть не можетъ; напримѣръ, когда спросится: потребно ли дворянину умѣть писать по-русски, такъ должно промолвить: россійскому дворянину, ибо дворянинъ англійскій можетъ обойтись безъ русской грамоты; такъ и о крестьянахъ: свободному-ли крестьянину или крѣпостному; а прежде надобно спросить: потребна ли ради общаго благоденствія крѣпостнымъ людямъ свобода? На это я скажу: потребна ли канарейкѣ, забавляющей меня, вольность или потребна клѣтка, и потребна ли стерегущей мой домъ собакѣ цѣпь. Канарейкѣ лучше безъ клѣтки, а собакѣ безъ цѣпи. Однако одна улетитъ, а другая будетъ грызть людей; такъ одно потребно для крестьянина, а другое ради дворянина; теперь осталось рѣшить, что потребнѣе ради общаго блаженства, а потомъ, ежели вольность крестьянамъ лучше укрѣпленія, надобно уже рѣшать задачу объявленную. На сіе всѣ скажутъ общества сыны, да и рабы общества сами, что изъ двухъ худъ лучшее, не имѣти крестьянамъ земли собственной: да и нельзя, ибо земли всѣ собственныя дворянскія; такъ еще вопросъ: должны ли дворяне крестьянамъ отдавать купленныя, жалованныя, наслѣдственныя и прочія земли, когда они не хотятъ, и могутъ ли въ Россіи землями владѣть крестьяне: ибо то право дворянъ. Что-жъ дворянинъ будетъ тогда, когда мужики и земля будутъ не его: а ему что останется. Впрочемъ, свобода крестьянская не токмо обществу вредна, но и пагубна, того и толковать не надлежитъ».

Не одинъ Сумароковъ такъ рѣзко отрицательно отнесся къ истинному смыслу задачи, поставленной Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ по иниціативѣ императрицы. Въ числѣ сочиненій, представленныхъ на конкурсъ, было нѣсколько проникнутыхъ тѣмъ же духомъ. Изъ нихъ извѣстна, кажется, только напечатанная въ «Русскомъ Архивѣ» записка «человѣка не грамматикальнаго и никакихъ исторій отъ роду нечитавшаго». Не грамматикальный человѣкъ полагалъ между прочимъ, что «ежели бы поселяне по заморскому отъ господъ не зависѣли, такъ бы у иного помѣщика некому было и студено искрошить, а не только сдѣлать какой фракасей, т. е. поливай или супа, т. е. похлебки или почтета, т. е. пирога. А за моремъ фракасейскихъ мастеровъ имѣется довольное число, и не надобно тамъ ни ложки, ни плошки, понеже, какъ слышно, тамъ въ трактирахъ все сыщешь». Первую премію на конкурсѣ получило сочиненіе француза Беарде де-л'Абея, написанное въ либеральномъ духѣ, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ рекомендовавшее строгую постепенность и осторожность въ дѣлѣ освобожденія крестьянъ. Сочиненіе это было напечатано, но только послѣ долгой борьбы: многіе боялись впечатлѣнія, которое могутъ произвести вольнодумства автора, появившись въ русскомъ переводѣ.

Практическихъ послѣдствій починъ императрицы, конечно, не имѣлъ никакихъ. Случай въ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ показалъ только, что частныя приложенія принциповъ французскихъ «просвѣтителей», вродѣ разрушенія поземельной общины, невозможны въ государствѣ, самыя основанія котораго такъ рѣзко противорѣчатъ этимъ принципамъ. А самыя основанія тогдашняго строя русской жизни Екатерина колебать не рѣшалась, да и едва ли искренно желала ихъ измѣненія: доказательствомъ могутъ служить такіе факты, какъ раздача населенныхъ имѣній въ небывалыхъ дотолѣ размѣрахъ и мѣры относительно крестьянъ малороссійскихъ.

Въ Европѣ провозвѣстниками началъ личной свободы и личнаго интереса явились представители буржуазіи, третьяго сословія, обладавшаго образованіемъ, капиталами и орудіями производства. Для нихъ разрушеніе всѣхъ средневѣковыхъ общественныхъ единицъ и было выгодно, и вполнѣ соотвѣтствовало ихъ исторически выработаннымъ идеаламъ. Но русское среднее сословіе было совсѣмъ въ иномъ положеніи. Не говоря уже о его невѣжествѣ и низкомъ уровнѣ умственнаго развитія, оно и интересами своими враждебно сталкивалось съ идеалами свободы. Европейская буржуазія запѣла гимнъ свободѣ, только пройдя черезъ ступень цеховыхъ монополій и государственнаго покровительства и достаточно окрѣпнувъ на этой ступени. Русское среднее сословіе еще нуждалось въ покровительствѣ и монополіяхъ и потому требовало ихъ. Это—alte Geschichte, которая bleibt immer neu. Какъ разъ около того времени, когда члены Вольнаго Экономическаго Общества бились надъ сочиненіемъ Беарде де-л'Абея, имѣла свои засѣданія знаменитая комиссія по составленію Уложенія, въ учрежденіи которой наиполнѣйше выразились либеральныя стремленія Екатерины. Если привести къ общему знаменателю различныя заявленіядепутатовъ третьяго сословія, то получимъ слѣдующія требованія: запрещеніе дворянамъ производить торговлю и имѣть заводы, каковыя занятія должны быть предоставлены купцамъ; запрещеніе крестьянамъ торговать, помимо купечества, даже продуктами сельскаго хозяйства; предоставленіе купцамъ и фабри-

кантамъ права покупать населенныя имѣнія и людей безъ земли. Словомъ, депутаты средняго сословія требовали монополій и расширенія крѣпостного права, двухъ вещей наиболѣе ненавистныхъ европейскому среднему сословію. И—замѣчательный фактъ, немыслимый на родинѣ либерализма, въ западной Европѣ—дворяне явились въ комиссіи защитниками крестьянъ отъ притязаній средняго сословія! И это не единственный случай діаметрально противоположнаго отраженія европейскихъ политическихъ элементовъ въ зеркалѣ тогдашней русской жизни. Въ умственномъ движеніи Европы въ концѣ прошлаго столѣтія натуралистическій или, пожалуй, матеріалистическій взглядъ на вещи находился въ тѣсной связи все съ тѣмъ же началомъ личной свободы, съ доктриной нелиберализма. У насъ онъ тоже выразился въ обратномъ видѣ. Авторъ «Размышленія о неудобствахъ дать въ Россіи свободу крестьянамъ и служителямъ», написаннаго въ 1785 году, такъ между прочимъ оправдывалъ крѣпостное право: «Если мы возьмемъ физическое положеніе страны нашей, то узримъ, что холодный климатъ, возбраняющій дѣйствія транспираціи, а проницательнымъ своимъ воздухомъ сжимающій наши жилы, побуждаетъ насъ къ пріятію болѣе пищи, нежели въ полуденныхъ климатахъ; а сіе производитъ многокровіе и дѣлаетъ болѣе характеры наши сангвиническими; довольно же всѣмъ извѣстно, что сангвинический характеръ есть характеръ наглый и стремительный въ предпріятіяхъ своихъ, которыя безъ дальняго размышленія и начинаютъ; а если по роду жизни примѣшивается къ оному и флегма, то сіе ничего болѣе не произведетъ, какъ должайшее настояніе суровости и злопамятства. По сему извѣстному хатактеру да разсудитъ каждый, легко ли таковыхъ поселянъ, учиня ихъ свободными, общими законами задержать? (Романовичъ-Славатинскій. Дворянство въ Россіи, 377). Дѣло не въ томъ, что авторъ «Размышленія» говоритъ пустяки, а въ томъ, что пустякамъ этимъ придана модная въ то время естественно-научная форма, въ которую въ Европѣ облекались тогда совсѣмъ иныя идеи.

Такова была судьба европейскихъ идей личной свободы и личнаго интереса въ первый моментъ ихъ появленія въ Россіи. Но они вторично появились въ началѣ царствованія императора Александра I. Стали вновь издаваться Беккарія, Монтескье, на изданіе Адама Смита было отпущено 5,000 руб. изъ казны, съ Бентамомъ проникнутый либеральными стремленіями императоръ имѣлъ личныя сношенія. Во всемъ этомъ движеніи Мордвиновъ игралъ очень видную роль. Его участіе въ планахъ освобожденія крестьянъ мы оставимъ пока въ сторонѣ и посмотримъ сначала, какъ старался онъ проводить свои задушевныя мысли по другимъ вопросамъ. Хотя Мордвиновъ былъ замѣтнымъ человѣкомъ уже при Екатеринѣ и Павлѣ, но собственно настоящая его политическая роль началась съ воцареніемъ Александра I. Да и то онъ былъ назначенъ начальникомъ морского департамента, сначала, кажется, преимущественно какъ человѣкъ технически знакомый съ морскимъ дѣломъ, а не какъ политически нужный въ ту минуту человѣкъ. Какъ бы то ни было, но своимъ умомъ и энергіей онъ необходимо долженъ былъ скоро обратить на себя вниманіе какъ государя, такъ и общества. Такъ и было. Скоро императоръ выразилъ членамъ знаменитаго «неоффиціальнаго комитета», т. е. ближайшимъ своимъ и довѣреннѣйшимъ людямъ, желаніе, чтобы они обращались за содѣйствіемъ къ Лагарпу и Мордвинову. Первымъ политическимъ дѣйствіемъ Мордвинова, положившимъ основаніе его славы, было особое мнѣніе, представленное имъ въ качествѣ члена непремѣннаго совѣта по дѣлу объ Эмбенскихъ водахъ. При Екатеринѣ гр. Салтыкову достались земли на берегу Каспійскаго моря, близъ устья Эмбы, и богатыя рыбныя ловли. Любимецъ Павла, Кутайсовъ, не совсѣмъ чистыми путями добился того, что земли эти перешли къ нему, благодаря шаткости правъ Салтыкова, который получилъ ихъ отъ областного начальства, нарушившаго при этомъ нѣкоторыя постановленія. По смерти Павла Салтыковъ сталъ домогаться возвращенія ему Эмбенскихъ водъ и тяжба ихъ съ Кутайсовымъ поступила на разсмотрѣніе въ непремѣнный совѣтъ. Преобладало, кажется, мнѣніе, что ни Салтыковъ, ни Кутайсовъ не имѣютъ права на спорныя земли, одинъ, потому что получилъ ихъ отъ лица, неимѣвшаго права давать ихъ, а другой, потому что получилъ посредствомъ обмана. Нѣкоторые предполагали отнять земли у Кутайсова, давъ ему какое-нибудь вознагражденіе, но не удовлетворять и домогательствъ Салтыкова. Самое дѣло для насъ нисколько не интересно. Не интересно даже и то, что Мордвиновъ сталъ рѣшительно на сторону Кутайсова. Важны мотивы такого рѣшенія и мысли, изложенныя Мордвиновымъ. Вотъ нѣкоторые пункты его особаго мнѣнія:

„1) Владѣніе Эмбенскихъ водъ и всего, что въ указѣ 1799 года означено, есть собственность гр. Кутайсова. Совѣтъ призналъ сію истину въ первыхъ своихъ засѣданіяхъ.

3) Еслибы сія неотъемленность (собственности) ограничивалась только тѣмъ, чтобы частные люди не могли на нее дѣлать притязаній, то былъ бы законъ достаточный въ турецкихъ областяхъ, но весьма несправедливый въ Россіи,

гдѣ и правительство не можетъ отнять имѣнія ни у кого безъ суда и закона.

4) Изъ сего слѣдуетъ: на собственность частныхъ лицъ въ Россіи правительство не больше имѣетъ права, какъ и всякій частный человѣкъ.

5) Посему, *сколько бы исключительное владѣніе какимъ-либо имѣніемъ не оказывалось противнымъ общему благу, не можно для сего его взять въ общее употребленіе*, да я и не знаю, чтобы гдѣ-нибудь былъ такой законъ терпимъ или полезенъ, ибо никогда общее благо не зиждется на частномъ разореніи.

11) По всѣмъ симъ причинамъ мое замѣчаніе есть: что не можно во-первыхъ взять у гр. Кутайсова эмбенскихъ ловель безъ его согласія, и сіе примѣчаніе относится равно ко всѣмъ проектамъ указовъ. Вторая часть мнѣнія моего состоитъ въ томъ: если у него ихъ возьмутъ, то не должно на нихъ совершенно и земель по берегамъ оставлять въ общемъ и независимомъ владѣніи. Доказательства на сіе суть слѣдующія:

1) . . . . . .

2) *Общее есть правило, что земли общія суть земли дикія.* Одна увѣренность, что труды и капиталы, полагаемые на удобреніе земли, на различныя заведенія, суть неотъемлемая собственность, превратила пустыни въ плодоносныя поля и всегда ихъ превращать будетъ, *доколѣ человѣкъ повиноваться будетъ единому безпрестанному всѣхъ обществъ началу собственной пользы каждаго и наслажденія.*

3) Посему я мыслю, что какъ на водахъ морскихъ неподвижныя строенія должны принадлежать неотъемлемо исключительно ихъ хозяевамъ, такъ и *берега и острова должны быть розданы для заведенія частнымъ людямъ на томъ же правѣ собственности...*

4) Скажутъ, что это бы значило взять у одного, чтобы отдать другому. Не другому но *многимъ*, а въ этомъ-то состоитъ первый законъ исторіи государственной экономіи. Монополія по самому слову значитъ, когда одинъ захватитъ нужное всѣмъ имущество, покоривъ все своей волѣ и корыстолюбію, но когда одною вещью владѣютъ многіе, тогда не все покорено одному, тогда есть соревнованіе въ продажѣ, и цѣна установляется числомъ требователей и количествомъ вещей" (Иконниковъ, 87 и слѣд.).

Вѣрный и строго послѣдовательный ученикъ Смита и Бентама сквозитъ въ каждой строкѣ этого мнѣнія и въ особенности въ подчеркнутыхъ мною словахъ. Историкъ развитія экономическихъ идей въ Россіи долженъ будетъ отмѣтить записку Мордвинова по эмбенскому дѣлу, какъ едва ли не первое рѣзкое выраженіе у насъ англійской, манчестерской школы съ ея безграничнымъ уваженіемъ къ частной собственности и свободѣ. Современниковъ мнѣніе Мордвинова, безъ сомнѣнія, должно было поразить и дѣйствительно поразило своею смѣлостью, не по отношенію къ правительству, такъ какъ императоръ Александръ стоялъ тогда далеко впереди русскаго общества, а по отношенію къ установившимся понятіямъ и существующимъ фактамъ. Императоръ принялъ доводы Мордвинова во вниманіе, но русскому обществу были совершенно чужды, непривычны и свобода его выраженій, и самое направленіе его мысли. Обширныя государственныя имущества, многочисленные случаи пожалованія и конфискаціи частныхъ имуществъ, общинное землевладѣніе, наконецъ, личныя и имущественныя отношенія крестьянъ и помѣщиковъ,—вотъ что привыкли видѣть вокругъ себя и за собой въ своей исторіи русскіе люди, вотъ на чемъ воспитались ихъ экономическія понятія. Каждаго изъ этихъ явленій въ отдѣльности было бы достаточно для того, чтобы задержать, не дать развиться представленію о неприкосновенности частной собственности. А при совокупномъ ихъ дѣйствіи можно положительно сказать, что неприкосновенная, неотъемлемая частная собственность была для огромнаго большинства русскихъ людей совершенно неудобопонятнымъ мнѣніемъ. Столь же новы были и понятія Мордвинова о вредѣ монополій и административнаго произвола и выгодѣ свободной конкурренціи, въ приложеніи къ нашимъ домашнимъ, практическимъ русскимъ дѣламъ. А между тѣмъ, въ воздухѣ уже давно носилось что-то, подготовлявшее къ воспріятію этихъ непривычныхъ мыслей. Нѣтъ поэтому ничего удивительнаго, что записка по эмбенскому дѣлу, какъ и послѣдующія «особыя мнѣнія» Мордвинова, расходились во множествѣ рукописныхъ экземпляровъ и читались образованнымъ обществомъ съ исключительнымъ интересомъ. Во всѣхъ этихъ послѣдующихъ запискахъ Мордвиновъ остался вѣренъ своей программѣ: не должно ничего оставлять «въ общемъ и независимомъ владѣніи», т. е. общинная собственность и государственныя имущества должны быть розданы по частнымъ рукамъ; всякая частная собственность, если она только можетъ опереться на законный документъ, неприкосновенна, каково бы ни было ея происхожденіе (въ дѣлѣ Кутайсова предполагался подлогъ); «сколько бы исключительное владѣніе какимъ-либо имѣніемъ ни оказывалось противнымъ общему благу, не можно для сего его взять въ общее употребленіе», т. е. при непримиримомъ столкновеніи частнаго интереса съ общимъ благомъ, преимущество должно быть отдано первому.

Прилагать эти начала къ разнымъ явленіямъ русской жизни Мордвинову приходилось довольно часто. Онъ оставилъ 13 томовъ in folio разныхъ мнѣній, записокъ, проектовъ по самымъ разнообразнымъ вопросамъ за долгій срокъ 1801 — 1842 гг. Пока только малая часть этихъ матеріаловъ обнародована въ монографіи г. Иконникова и въ спеціальныхъ историческихъ изданіяхъ. Но и этого немногаго достаточно, чтобы видѣть, какъ вѣренъ себѣ и какъ послѣдователенъ былъ этотъ человѣкъ. Онъ истинно стоялъ на стражѣ легальныхъ, закономъ

огражденныхъ, частныхъ интересовъ. Такъ, когда вслѣдствіе возникшихъ въ Крыму столкновеній между русскими помѣщиками и исконными туземными жителями, татарами, военный губернаторъ Михельсонъ предложилъ отобрать земли у русскихъ владѣльцевъ и отдать ихъ татарамъ, Мордвиновъ горячо возсталъ противъ этой мысли. Онъ не отвергалъ, что со стороны помѣщиковъ могли быть захваты и другія несправедливости; онъ соглашался на прекращеніе на будущее время раздачи земель въ Крыму, но онъ находилъ, что разъ пожалованныя земли никакою силою не могутъ быть отобраны. «Собственность, говоритъ онъ, есть первый камень. Безъ оной и безъ твердости правъ, ее ограждающихъ, нѣтъ никому надобности ни въ законахъ, ни въ отечествѣ, ни въ государствѣ. Отъ сего единственнаго источника и связь обществъ воспріяла свое начало». Во всѣхъ столкновеніяхъ казны съ частными лицами Мордвиновъ почти всегда становился на сторону послѣднихъ. Когда манифестомъ 1810 года было признано паденіе ассигнаціоннаго курса, то лица, имѣвшія съ казною контракты на прежнихъ основаніяхъ, просили освободить ихъ отъ обязательствъ, ставшихъ для нихъ слишкомъ невыгодными отнюдь не по ихъ винѣ. Комитетъ министровъ, между прочимъ, отказалъ подрядчикамъ на пеньку и парусныя полотна по черноморскому флоту, а членъ совѣта Саблуковъ выразилъ при этомъ мнѣніе, что подрядчики имѣли въ прежнее время достаточно барыша и могутъ теперь потерпѣть маленькій убытокъ. Мордвиновъ полагалъ, что патріархальное воззрѣніе Саблукова «постановляетъ какъ правило, что можно правительству брать насильственно деньги въ томъ карманѣ, гдѣ предполагать можно, что онѣ находятся». Онъ рѣшительно требовалъ удовлетворенія ходатайства подрядчиковъ, а вслѣдъ за тѣмъ составилъ проектъ третейскихъ судовъ по спорамъ частныхъ людей съ казной. По другому подобному же дѣлу Мордвиновъ выразился, что «казенная копѣйка, какъ и всякая другая, должна по естественному закону и горѣть, и тонуть». Къ возникшему въ началѣ двадцатыхъ годовъ вопросу о составленіи общихъ правилъ, на какомъ основаніи и въ какихъ случаяхъ правительство имѣетъ право касаться частной собственности, Мордвиновъ отнесся рѣшительно отрицательно. Онъ отрицалъ самое право государства налагать по какимъ бы то ни было поводамъ руку на частную собственность. «По опытамъ, которые мы уже имѣли, писалъ онъ, я мыслю, что благоразумнѣе будетъ сочиненіе правилъ для отобранія частной собственности въ пользу общественной предоставить другимъ временамъ, а нынѣ умы человѣческіе взираютъ на частную собственность, какъ на единое право, отъ нихъ неотъемлемое, нераздѣльно отъ правъ, уступленныхъ при переходѣ изъ свободнаго, дикаго, въ зависимое, гражданское состояніе». Въ турецкую войну Мордвиновъ возсталъ противъ запрещенія вывозить хлѣбъ изъ черноморскихъ портовъ: онъ стоялъ на томъ, что никакія обстоятельства не оправдываютъ вмѣшательства правительства въ дѣла частныхъ лицъ. Еще по одному дѣлу о контрактахъ съ казной онъ писалъ Аракчееву: «Мы не паши, засѣдающіе въ диванѣ, но члены законодательнаго сословія и гдѣ частной волѣ нашей нѣтъ мѣста... При недостаткѣ въ доходахъ 112 милліоновъ, безъ вниманія еще къ долгамъ, кажется, что пора приняться за постъ и молитву, коихъ начальное правило есть неприкосновеніе къ чужой собственности и неотлученіе отъ себя строгой нравственности, какъ частной, такъ и государственной».

Съ Аракчеевымъ Мордвиновъ сталкивался не разъ. Грозный владѣлецъ Грузина считалъ Мордвинова «пустымъ» и старался внушить этотъ взглядъ и императору. И дѣйствительно, страшно пустымъ, не понимающимъ самой сути жизни, долженъ былъ представляться Аракчееву Мордвиновъ: онъ не понималъ прелести шеренги и величія табуна, онъ разлагалъ ихъ на атомы и тѣмъ разстраивалъ ряды идущихъ въ ногу и перемѣняющихъ ногу заразъ, по командѣ. Можетъ быть, Аракчеевъ не отказалъ бы Мордвинову въ умѣ, талантахъ, образованіи, но именно пустымъ онъ долженъ былъ его считать. Мордвиновъ не понималъ и очевиднаго для Аракчеева всемогущества розогъ. Почти въ то самое время, какъ грузинскій владыка звѣрствовалъ надъ своей дворней, розыскивая убійцъ своей любовницы, достойной его Настасьи Минкиной; почти въ то самое время, какъ виновники этого дѣла приговаривались къ наложенію клеймъ на лицо и наказанію кнутомъ (изъ 20 наказанныхъ двое умерли на мѣстѣ),— Мордвиновъ подавалъ записку за запиской, требуя уничтоженія смертной казни, кнута и клеймъ. Аракчеевъ былъ, какъ извѣстно трусъ, но по роду своихъ занятій онъ долженъ былъ желать, если не постоянныхъ войнъ, то, по крайней мѣрѣ, многочисленныхъ войскъ. Мордвиновъ и этого не понималъ. Онъ всегда стоялъ за сокращеніе военнаго бюджета и арміи и, если въ молодости и въ поздней старости увлекался проектами завоеванія Константинополя и освобожденія Іерусалима, то, вообще говоря, былъ всегда противъ войны. Замѣчательна записка, поданная имъ императору о мирномъ покореніи Кавказа—распространеніемъ между гор-

цами сѣмянъ цивилизаціи. Одна изъ любимѣйшихъ его мыслей состояла въ необходимости отвлеченія народныхъ силъ отъ внѣшней, военной жизни и сосредоточенія ихъ на внутреннемъ развитіи государства. Внутреннее же развитіе государства совершенно послѣдовательно представлялось ему развитіемъ и усиленіемъ сложной системы частныхъ интересовъ, освобожденныхъ отъ всякихъ стѣсненій и умѣряемыхъ лишь другъ другомъ.

Если Мордвиновъ ограничилъ свою дѣятельность только защитою легально признанныхъ частныхъ интересовъ, то ему не предстояло бы много работы, потому что интересы эти были слабы и количественно, и качественно. Надо было вызвать ихъ къ жизни, создать ихъ. Мордвиновъ это и дѣлалъ. Уже въ 1801 г. онъ подалъ императору Александру грандіозный проектъ «трудопоощрительнаго банка». Этотъ любопытный документъ напечатанъ въ «Русской Старинѣ» (1872, № 1-й) и состоитъ изъ двухъ частей: проекта манифеста о банкѣ и устава банка. Цѣль учрежденія должна была состоять въ поощреніи частной предпріимчивости. Важнѣйшимъ средствомъ предполагалась выдача ссудъ. Лицо, желавшее получить пособіе отъ банка, должно было представить планъ задуманнаго имъ предпріятія, засвидѣтельствованный губернаторомъ или двумя, тремя мѣстными дворянами. Планъ поступалъ въ одно изъ пяти отдѣленій банка завѣдывавшихъ земледѣліемъ, скотоводствомъ, «рукодѣліемъ», «рудокопствомъ» и рыболовствомъ. Тамъ, по разсмотрѣніи плана, назначились условія ссуды, т. е. размѣръ процентовъ, различныя льготы, срокъ ссуды и проч. Въ обезпеченіе предполагалось брать залоги, но можно было удовольствоваться и поручительствомъ третьихъ лицъ. Однако, ссуды были бы не единственнымъ орудіемъ трудопоощрительнаго банка. Онъ долженъ былъ выдавать преміи и награды за различныя промышленныя и сельско-хозяйственныя усовершенствованія, имѣть при себѣ техническое училище, музей, библіотеку, рекомендовать техниковъ, выписывать по порученію книги, инструменты, скотъ, сѣмена и проч., издавать нѣчто вродѣ техническаго журнала и т. д. Средства банка предполагалось получать изъ ассигнаціоннаго банка въ размѣрѣ 2.000,000 руб. въ годъ и кромѣ того неопредѣленную въ уставѣ сумму на содержаніе банковаго штата и выдачу наградъ—изъ государственнаго казначейства. Уставъ банка былъ уже въ 1801 г. подписанъ государемъ, но затѣмъ дѣло объ немъ, не смотря на всѣ настоянія Мордвинова, заглохло, на что онъ жаловался еще изъ 1825 г.

Будучи послѣдовательно морскимъ министромъ, предсѣдателемъ департамента экономіи, предсѣдателемъ департамента гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ, а также президентомъ Вольнаго Экономическаго Общества, Мордвиновъ настойчиво и многосторонне преслѣдовалъ цѣли трудопоощрительнаго банка. Онъ при этомъ не упускалъ случая напереть на тотъ оттѣнокъ преобладанія частныхъ интересовъ, который онъ желалъ придать развитію у насъ промышленности и сельскаго хозяйства. Такъ, онъ требовалъ продажи казенныхъ горныхъ заводовъ, казенныхъ оброчныхъ статей и прямо отрицалъ самое понятіе казеннаго имущества, а относительно общиннаго землевладѣнія еще въ проектѣ манифеста о трудопоощрительномъ банкѣ говорилось: «долженствовало бы, въ согласность дарованнаго нами на покупку земель права, чтобы изъ общихъ и чрезполосныхъ владѣній составились въ теченіе времени удѣльныя и порядочныя имѣнія». Въ уставѣ же указывались и нѣкоторые пути, ведущіе къ этой цѣли. Къ этому центру, т. е. созданію и огражденію частныхъ интересовъ, примыкаютъ и всѣ финансовые проекты Мордвинова, и его критики финансовой практики Гурьева и Канкрина. Онъ былъ не изъ тѣхъ финансовыхъ дѣлъ мастеровъ, которые заняты исключительно нашиваніемъ надставокъ и заплатъ на прорѣхи. Рекомендуя при случаѣ и подобныя заплаты, онъ понималъ однако ихъ паліативный характеръ и настаивалъ на мѣрахъ болѣе или менѣе радикальныхъ, не спеціально финансовыхъ, а экономическихъ и политическихъ.

Противникъ всякой регламентаціи, Мордвиновъ писалъ въ 1825 г.: «По уставу самой природы никакой торгъ, никакое ремесло, ни художество не могутъ процвѣтать безъ свободы въ дѣйствіяхъ своихъ, и свобода есть единственное вѣрное и надежное руководство къ успѣхамъ дѣятельности народной... Предоставляя частной пользѣ свободу дѣйствовать, правительство можетъ только съ своей стороны способствовать распространеніемъ хозяйственныхъ и искусственныхъ всякаго рода свѣдѣній, обнародованіемъ новыхъ изобрѣтеній... и, наконецъ, усиленіемъ мѣръ, чтобы свобода въ дѣйствіяхъ, равно какъ и принадлежность каждаго трудящагося ограждены были отъ всякаго непріязненнаго къ нимъ прикосновенія, въ томъ никакому сомнѣнію неподверженномъ соображеніи, что частная польза и частное обогащеніе суть основаніе и богатство казны, и что безъ первыхъ казенная польза прочною быть не можетъ». Программу эту Мордвиновъ развивалъ во всю свою долгую жизнь, прилагая ее къ самымъ разнообразнымъ предметамъ и съ замѣчательнымъ мужествомъ отстаивая ее не только

при благопріятныхъ условіяхъ, какія представляло начало царствованія Александра I, а при самыхъ неблагопріятныхъ. Кругомъ него многіе сожгли все, чему они поклонялись, Аракчеевъ съ Фотіемъ пробились наверхъ, самъ Сперанскій, родственный Мордвинову по идеямъ и одно время лично близкій ему человѣкъ, не только подвергся опалѣ, а и притихъ духомъ;—Мордвиновъ былъ все тотъ же и выражалъ все тѣмъ же смѣлымъ языкомъ все тѣ же любимыя идеи свободы, личнаго достоинства и неприкосновенности частныхъ интересовъ. Прилагалъ онъ ихъ не только къ частнымъ и низшимъ сферамъ государственной жизни. Когда по иниціативѣ императора Александра въ неофиціальномъ комитетѣ возникъ вопросъ о расширеніи правъ сената, Мордвиновъ представилъ и свое мнѣніе по этому вопросу. Онъ предполагалъ составлять сенатъ изъ лицъ, назначаемыхъ государемъ и выборныхъ отъ губерній. Тотъ же проектъ былъ имъ снова представленъ въ 1811 г. Сторонникъ выборнаго начала вообще, онъ, будучи морскимъ министромъ, возстановилъ въ своемъ вѣдомствѣ баллотировку при производствѣ въ чины, введенную Петромъ I и отмѣненную императоромъ Павломъ.

XIV.

Оборотная сторона медали.

Этотъ умный, образованный, мягкій, гуманный, мужественный, добродѣтельнѣй человѣкъ, искренно и горячо преданный идеаламъ свободы и всю свою жизнь посвятившій защитѣ неприкосновенности личности, этотъ вѣрный и послѣдовательный ученикъ Смита и Бентама,—былъ крѣпостникъ...

Этого мало. Онъ – одинъ изъ типичнѣйшихъ крѣпостниковъ, но крѣпостниковъ новой формаціи, крѣпостниковъ условныхъ, на первый взглядъ не имѣвшихъ и не имѣющихъ ничего общаго съ тѣми безусловными крѣпостниками старой формаціи, образцами которыхъ могутъ служить Сумароковъ, «человѣкъ неграмматикальный и отъ роду никакихъ исторій не читывавшій», или, наконецъ, мрачный владѣлецъ Грузина. Тѣ, подобно Адаму и Евѣ до грѣхопаденія, не чувствовали своей наготы и не сознавали стыда ея. Неграмматикальный человѣкъ могъ откровенно выразить, какъ серьезный доводъ противъ освобожденія крестьянъ, мысль, что у злого помѣщика некому будетъ «и студено искропить, а не только сдѣлать какой фракасей, т. е. поливай, или супа, т. е. похлебки, или почтета, т. е. пирога». Равнымъ образомъ и Сумароковъ могъ съ чистою совѣстью заявить, что, конечно, «канарейкѣ, забавляющей меня, лучше безъ клѣтки, а собакѣ, стерегущей мой домъ, лучше безъ цѣпи, но одна улетитъ, а другая будетъ грызть людей: такъ одно потребно для крестьянина, а другое ради дворянина». Наконецъ, и Аракчеевъ... Впрочемъ Аракчеевъ — особь статья. Фанатикъ шеренги и табуна, онъ, вышеописанная гроза Грузина и военныхъ поселеній, когда потребовалъ императоръ, сталъ въ шеренгу составителей проектовъ освобожденія крестьянъ, и его проектъ былъ не хуже многихъ, не портилъ «ранжира» и «равненія». Что касается Мордвинова, то этотъ пламенный борецъ за свободу и неприкосновенность личности долженъ бы былъ, казалось, сосредоточить на крѣпостномъ правѣ главный огонь своихъ баттарей. Въ самомъ дѣлѣ, если, какъ мы видѣли, крѣпостники старой формаціи возстали противъ постановки вопроса о неудовлетворительности общиннаго землевладѣнія, потому что этимъ вопросомъ затрогивается и крѣпостное право, то какъ долженъ былъ смотрѣть на послѣднее такой ярый противникъ общины, какъ Мордвиновъ? Если человѣкъ возмущается до глубины души каждымъ ущербомъ или оскорбленіемъ, наносимымъ казной подрядчику; если онъ только и говоритъ, что про свободу да про неприкосновенность личности, то какими юпитеровскими громами долженъ онъ поразить крѣпостное состояніе милліоновъ людей, тѣмъ болѣе, когда правительство такъ склонно къ изысканію средствъ освобожденія, какъ оно было склонно при императорахъ Александрѣ и Николаѣ. Никакихъ однако громовъ со стороны Мордвинова не было, а въ такомъ человѣкѣ это есть уже отрицательное свидѣтельство нѣкоторыхъ крѣпостническихъ тенденцій. Но есть и свидѣтельства положительныя. Во вниманіе, вѣроятно, къ высокимъ качествамъ ума и сердца Мордвинова, многіе историки его времени стараются смягчить, замаскировать, стушевать истинное отношеніе знаменитаго адмирала къ крестьянскому вопросу. Такъ поступаетъ отчасти и г. Иконниковъ, хотя онъ добросовѣстно приводитъ многіе относящіеся сюда факты. Такъ поступаетъ и авторъ почтеннаго труда «Дворянство въ Россіи» г. Романовичъ-Славатинскій. Въ числѣ нѣкоторыхъ подготовительныхъ мѣръ къ освобожденію императоръ Александръ желалъ запрещенія продажи людей безъ земли. Вопросъ этотъ обсуждался въ 1820 г. въ государственномъ совѣтѣ. Департаментъ законовъ отстаивалъ это право. «Замѣчательно, говоритъ г. Романовичъ-Славатинскій, что воззрѣніе департамента защищалъ и Мордвиновъ. Но въ основаніи мысли Мордвинова лежала горькая иронія надъ крѣпостнымъ правомъ, что вполнѣ высказалось имъ

при новомъ обсужденіи этого вопроса въ государственномъ совѣтѣ, въ 1838 г. Мордвиновъ опять явился сторонникомъ продажи людей, но высказалъ при этомъ всю подноготную своего правдиваго взгляда. Онъ попросилъ у совѣта дозволенія высказать объ обсуждаемомъ вопросѣ всю истину. «Отъ горькаго корня, говорилъ онъ, не будетъ плода сладка, на рѣдькѣ не вырастетъ ананасъ. Доколѣ рабство между крестьянами существуетъ, до тѣхъ поръ продажа людей по одиночкѣ должна быть допущаема. Она необходима и часто для проданнаго бываетъ благотворна; часто отъ лютаго помѣщика проданный рабъ его переходитъ въ руки мягкосерднаго господина, отъ скудной и тощей своей нивы переселяется на ниву просторную и плодородную». Но ироническая защита Мордвинова не нашла сочувствія въ императорѣ: Николай I къ вопросу относился рѣшительнѣе своего предшественника. Николай I понималъ, что иногда вслѣдствіе продажи рабы переходили отъ мягкосерднаго господина къ лютому, отъ плодородной нивы къ скудной» (343)—Но это понималъ, конечно, и Мордвиновъ; его доводъ былъ не доводъ, а уловка. Что же касается до его иронiи, то она такого сорта, про который говорится: чего смѣешься? надъ собой смѣешься! Мы сейчасъ увидимъ, что Мордвиновъ дѣйствительно и серьезно ждалъ, что отъ горькаго корня получится сладкій плодъ и что на рѣдькѣ вырастетъ ананасъ. А если такъ, то является чрезвычайно любопытное соображеніе. Умный, благородный, смѣлый, послѣдовательный ученикъ Смита и Бентама горячо отстаиваетъ всяческую свободу въ Россіи, кромѣ свободы милліоновъ крѣпостныхъ людей! Не указываетъ ли этотъ поразительный фактъ на несуществованіе нѣкоторыхъ изъяновъ въ доктринахъ Смита и Бентама? Не можетъ ли онъ служить опорою дли научной провѣрки этихъ доктринъ? Я, профанъ, далекъ отъ мысли представить такую провѣрку, да и едва ли настоитъ въ ней большая надобность, такъ какъ ученіе Смита, а тѣмъ болѣе Бентама, и безъ такой провѣрки не пользуется своимъ прежнимъ значеніемъ. Но относительно судебъ экономическихъ идей въ Россіи отступничество Мордвинова отъ либерализма на пунктѣ крѣпостного права имѣетъ серьезное и даже вполнѣ современное значеніе. Если онъ первый совершилъ это отступничество, то не онъ послѣдній. Крѣпостники условные, крѣпостники новой формаціи, существуютъ и понынѣ въ разныхъ формахъ, и иногда весьма и весьма либеральныхъ.

Разсказавъ словами Строганова, какъ по воцареніи Александра въ неофиціальномъ комитетѣ закипѣлъ было вопросъ объ освобожденіи крестьянъ и какія при этомъ интриги и колебанія скоро встрѣтилъ молодой императоръ, г. Иконниковъ замѣчаетъ: «послѣ этого понятно, почему Мордвиновъ, такъ горячо взявшійся съ Лагарпомъ за крестьянскій вопросъ, стоялъ потомъ за его постепенное развитіе» (35). Признаюсь, для меня здѣсь нѣтъ ничего понятнаго. По другимъ вопросамъ Мордвинову случалось сталкиваться съ неменьшими интригами и колебаніями, которыя однако не умѣряли его пыла. Да и никогда не брался онъ горячо за крестьянскій вопросъ и всегда былъ самъ въ числѣ колеблющихся и тормозящихъ движеніе. Что онъ говорилъ императору о необходимости «сдѣлать что нибудь въ пользу крестьянъ» — это такъ. Но изъ приводимыхъ г. Иконниковымъ свидѣтельствъ видно, что онъ съ самаго начала полагалъ, что дѣло должно быть сдѣлано «не иначе, какъ постепенно, незамѣтно, и первымъ шагомъ къ тому могло быть позволеніе тѣмъ изъ крестьянъ, которые не были крѣпостными, покупать земли». Свойственной Мордвинову горячности и стремительности здѣсь отнюдь не видно. И несомнѣнно, что Чарторыжскій, Строгановъ, Кочубей, наконецъ, самъ императоръ далеко опередили въ своихъ требованіяхъ болѣе чѣмъ скромный планъ пылкаго борца за свободу и неприкосновенность личности. Г. Иконниковъ не говоритъ ничего, напримѣръ, объ участіи Мордвинова въ преніяхъ о проектѣ Зубова, который предлагалъ запретить продажу крестьянъ безъ земли и начать дѣло освобожденія съ выкупа казной дворовыхъ. Между тѣмъ, изъ приложеннаго къ «Исторіи царствованія Александра I» Богдановича извлеченія изъ засѣданій неофиціальнаго комитета (которымъ пользовался и г. Иконниковъ) видно, что Мордвиновъ былъ противъ этого проекта. Онъ отрицалъ его «во избѣжаніе неудовольствій и гоненій дворянства и возбужденія слишкомъ большихъ надеждъ въ крестьянахъ». Для того времени слова эти были самыя заурядныя, они выражали мнѣніе толпы. Но вѣдь мы имѣемъ дѣло съ Мордвиновымъ, съ русскимъ Аристидомъ, который, говоря восторженнымъ языкомъ Рылѣева, какъ

Эльбрусъ, кавказскихъ горъ краса,
Невозмутимъ, подъ небеса
Возноситъ верхъ свой горделивый.

Въ разсказѣ о дальнѣйшихъ судьбахъ крестьянскаго вопроса въ царствованіе Александра, г. Иконниковъ опять принужденъ повторить фразу; «Послѣ этого понятно то осторожное положеніе, какое занялъ Мордвиновъ въ рѣшеніи этого вопроса» (235). И опять-таки эта фраза совершенно произволь-

ная, ничто въ предыдущемъ изложеніи ея не оправдываетъ. «Въ нашей литературѣ, продолжаетъ г. Иконниковъ, не разъ было высказано мнѣніе, что Мордвиновъ принадлежалъ къ безусловнымъ консерваторамъ по крестьянскому вопросу, и имя его было поставлено рядомъ съ Шишковымъ, Державинымъ, Ростопчинымъ и др. Но это ошибка, происшедшая отъ недостаточнаго знакомства съ его мнѣніями и его политическими воззрѣніями». При этомъ авторъ указываетъ на одну статью о Растопчинѣ, въ которой, съ цѣлью оправданія мнѣній послѣдняго, приводятся въ параллель нѣкоторыя мысли Мордвинова. Смѣшивать Мордвинова съ Державинымъ, Шишковымъ, Растопчинымъ, конечно, несправедливо, но только потому, что они были крѣпостники безусловные, а онъ—крѣпостникъ условный. Въ принципѣ между ними не было ничего общаго. Въ принципѣ Мордвиновъ признавалъ за крестьянами всѣ тѣ права свободы и неприкосновенности, которыя онъ такъ горячо отстаивалъ въ приложеніи къ лицамъ, привилегированныхъ положеній. Державинъ, Ростопчинъ, Карамзинъ, Каразинъ и проч., напротивъ, смотрѣли на крестьянъ, вродѣ какъ на особую породу людей, по основнымъ свойствамъ своимъ неправоспособную. Но если имѣть въ виду ближайшіе практическіе результаты, положеніе вещей, которое желалъ бы видѣть Мордвиновъ въ ближайшемъ будущемъ, то окажется, что онъ говорилъ bonnet blanc, а Ростопчинъ, Карамзинъ и проч. — blanc bonnet.

Въ огромной массѣ записокъ, проектовъ и мнѣній Мордвинова есть, кажется, только два документа, болѣе или менѣе затрогивающіе самыя основанія крѣпостного права: проектъ освобожденія, представленный въ 1818 г. и мнѣніе «по рабству крестьянъ», поданное въ государственный совѣтъ въ 1833 г. Любопытно слѣдить, какими нѣжными трелями разливается въ первомъ изъ этихъ документовъ соловей свободы и личныхъ правъ. «Въ природѣ, говоритъ Мордвиновъ, мы видимъ, что всѣ явленія ея суть слѣдствія постоянныхъ причинъ. Тихое и постепенное теченіе времени даетъ жизнь, ростъ и зрѣлость всему; крутыя же быстрыя событія въ естествѣ производятъ вѣчно вихри и бури, наводненія, землетрясенія и разрушенія... Народу, пробывшему вѣка безъ сознанія гражданской свободы, даровать ее изреченіемъ на то воли властителя — возможно, но знанія пользоваться ею во благо себѣ и обществу—даровать законоположеніемъ невозможно. Въ семъ соображеніи дарованіе свободы тогда только не сопровождается никакими ощутительными неудобствами, ни вредными послѣдствіями, когда располагаемо бываетъ съ нѣкоторою постепенностью, когда свободными дѣлаются не всѣ вмѣстѣ и единовременно, безъ воззрѣнія на степень просвѣщенія и спѣлости всего, что въ гражданскомъ состояніи относится къ человѣку, но когда благо это представляется въ видѣ награды трудолюбію и *пріобрѣтаемому умомъ достатку, ибо этимъ только ознаменовывается всегда зрѣлость гражданскаго состоянія*». На этомъ основаніи Мордвиновъ предлагалъ выкупную операцію, причемъ выкупные платежи соразмѣрялись съ возрастомъ откупающихся. Такимъ образомъ свобода водворится постепенно, ее получатъ только достойные, «помѣщики останутся полными владѣтелями земель своихъ и денежныхъ капиталовъ». Выкупные платежи Мордвиновъ распредѣляетъ такъ:

Отъ	2	лѣтъ	до	5	100	рублей.
»	5	»	»	10	200	»
»	10	»	»	15	400	»
»	15	»	»	20	600	»
»	20	»	»	30	1,500	»
»	30	»	»	40	2,000	»
»	40	»	»	50	1,000	»
»	50	»	»	60	500	»

Г. Иконниковъ старается дать понять, что цѣны эти для своего времени были очень умѣренны и соотвѣтствовали силамъ крестьянскаго хозяйства. Едва ли это однако такъ. (Для сравненія см. нѣкоторыя цѣны на «души», приведенныя у Романовича-Славатинскаго, ст. 535, примѣч. 105). Въ доказательство г. Иконниковъ приводитъ между прочимъ слова самого Мордвинова, что если мы вычислимъ имущество крестьянской семьи, состоящее въ домѣ, скотѣ, орудіяхъ, запасахъ и разныхъ пожиткахъ, то едва ли найдемъ столь бѣдное, которое не имѣло бы этихъ вещей на капиталъ, сотни рублей составляющій; большая же часть семействъ представится обладающими достаткомъ, до нѣсколькихъ тысячъ простирающимся». Но если и допустить справедливость этого, такъ и то большинству крестьянъ пришлось бы, для полученіи по плану Мордвинова личной свободы безъ земли, распродать скотъ, запасы и пожитки. Въ концѣ концовъ, планъ Мордвинова могъ бы дать свободу нѣсколькимъ тысячамъ крестьянъ торгующихъ, да бурмистрамъ, приказчикамъ и другимъ чинамъ помѣщичьей администраціи и дворни. И едва ли самъ авторъ проекта, какъ человѣкъ умный, могъ придавать мало-мальски серьезное значеніе своему труду. Освобожденія крестьянъ онъ никогда искренно не желалъ, что особенно ясно видно изъ его мнѣнія «по рабству крестьянъ» (1883). Это именно то мнѣніе, въ которомъ г. Романовичъ-Славатинскій видитъ только *ирониче-*

скую защиту продажи людей въ одиночку. Совершенно справедливо, что Мордвиновъ иронизировалъ, говоря о рѣдькѣ и ананасѣ. Совершенно вѣрно, что онъ считалъ продажу людей въ одиночку и безъ земли только отпрыскомъ главнаго ствола крѣпостного права, и полагалъ, что только съ уничтоженіемъ главнаго ствола погибнутъ и всѣ его вѣтви. Но главнаго-то ствола онъ и не хотѣлъ касаться и даже воздерживалъ отъ такого посяганія другихъ. Всякія частныя исключительныя облегченія тѣмъ или другимъ помѣщикомъ участи крѣпостныхъ Мордвиновъ рѣшительно порицалъ, такъ какъ «подобныя исключенія могутъ поселить негодованіе и ропотъ въ остальныхъ» (Иконниковъ, 231). А къ крѣпостному праву во всемъ его объемѣ относился такъ. Въ упомянутой запискѣ 1833 г. читаемъ: «Въ Европѣ повсюду было рабство; въ Азіи всегда господствовала личная свобода (?!), и оттого-то надъ послѣднею тяготитъ и донынѣ всеобщій деспотизмъ. Всѣ тамъ равно независимы другъ отъ друга и, потому что равные, не имѣютъ законовъ, ограждающихъ жизнь и собственность каждаго. Равенство въ правахъ, состояніяхъ и властяхъ представляетъ только дикое общество. Таково состояніе всѣхъ азіатскихъ народовъ». Затѣмъ онъ говоритъ, что Россія обязана тою ступенью цивилизаціи, которой она достигла, прикрѣпленію крестьянъ, что такъ шло дѣло и въ Европѣ («сей единый есть путь къ свободѣ»). Но въ Европѣ крѣпостное право пало, падетъ и у насъ, утѣшаетъ Мордвиновъ: «Потерпимъ еще нѣсколько, и рабство само собою исчезнетъ въ Россіи, если обращено будетъ вниманіе къ постепенному уменьшенію необходимости содержать крестьянъ въ зависимости отъ помѣщиковъ, на земляхъ коихъ они живутъ. Сіе необходимо послѣдуетъ, когда исчезнетъ на пахатныхъ земляхъ нашихъ паренина; когда земледѣліе помѣстится въ число наукъ; когда въ городахъ нашихъ признаютъ за зданіями право собственности (?); когда употребимъ дѣятельныя мѣры къ возстановленію естественнаго порядка между рождающимися и умирающими, не будемъ считать числа тяголъ или брачныхъ на половину противъ всего населенія, и отъ каждаго брака будемъ имѣть по 2 и по 4 ребенка живыми, и когда помѣщикъ будетъ изобиловать денежнымъ капиталомъ, достаточнымъ къ тому, чтобы принимать работниковъ для посѣва и жатвы».

Ясно, что, не смотря на свою иронію, Мордвиновъ серьезно вѣрилъ въ возможность произрастанія ананаса на рѣдькѣ, всеобщаго благоденствія на крѣпостномъ правѣ. Ясно, что не смотря на свой бурный либерализмъ, онъ желалъ сохраненія крѣпостного права вплоть до того момента, когда помѣщики отъ него сами откажутся. Онъ желалъ только, чтобы «необходимость» крѣпостного права постепенно уменьшалась рядомъ мѣропріятій, направленныхъ къ снабженію помѣщиковъ «денежнымъ капиталомъ». Надо при этомъ замѣтить, что у Мордвинова ни разу даже мимоходомъ не блеснула мысль объ освобожденіи крестьянъ съ землей, онъ едва ли не первый изобрѣлъ знаменитый впослѣдствіи терминъ «свобода отъ земли». Естественное дѣло, что когда помѣщикъ окажется обладателемъ земли и денежнаго капитала, — крѣпостное право потеряетъ для него всякую практическую цѣну. До этого то момента нетерпѣливый Мордвиновъ и предлагалъ «потерпѣть». По сущности своей программа эта не далеко уѣхала отъ мнѣній даже безусловныхъ крѣпостниковъ. Казалось бы Мордвиновъ и «неграмматикальный человѣкъ, никогда отъ роду никакихъ исторій нечитывавшій» — люди совсѣмъ разныхъ лагерей. Оно такъ и есть, а между тѣмъ неграмматикальный человѣкъ тоже согласенъ былъ на освобожденіе въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ. Моментъ этотъ даже опредѣлялся имъ признаками, весьма близкими къ Мордвиновской программѣ: «Когда Россія многонародна столько будетъ, какъ галанское королевство, попы наши такъ грамотны будутъ, какъ попы иноземческіе, дворяне — такіе *астрономы*, какъ аглинскіе и французскіе, а крестьяне знать будутъ букварь... и наша чернь о мастерствахъ заморскихъ лучшее понятіе получитъ и умнѣй станетъ, тогда можно будетъ имъ, крестьянамъ, быть на заморскомъ основаніи». Чѣмъ это хуже соображеній Мордвинова? Конечно, Мордвиновъ не говорилъ, что съ уничтоженіемъ крѣпостного права помѣщику некому будетъ сдѣлать «фракасей», но онъ все-таки имѣлъ главнымъ образомъ въ виду тѣ неудобства, которыя испытаетъ помѣщикъ, лишенный крѣпостного права. Притомъ крѣпостники безусловные были несравненно искреннѣе и послѣдовательнѣе. Державинъ, Каразинъ, возставая противъ попытокъ эмансипаціи, называли помѣщиковъ «полицеймейстерами», «наслѣдственными чиновниками», «генералъ-губернаторами въ маломъ видѣ» и, слѣдовательно, по крайней мѣрѣ на словахъ, видѣли въ дворянствѣ государственный, служебный органъ. Каразинъ представлялъ себѣ весь политическій строй Россіи въ видѣ непрерывной іерархической нити, оканчивающейся «тамъ, у престола монарха міръ». Сумароковъ и неграмматикальный человѣкъ откалзались и разсуждать о стѣсненіяхъ, нала-

гаемыхъ на крестьянина общиннымъ землевладѣніемъ. Словомъ, всѣ они безхитростно и весьма послѣдовательно чурались личной свободы и частныхъ интересовъ вообще. Мордвиновъ же исповѣдывалъ вмѣстѣ съ Смитомъ, что личный интересъ есть единственный двигатель экономической производительности — и лишалъ этого двигателя милліоны крестьянъ; что свобода есть единственная гарантія экономическаго преуспѣянія—и лишалъ этой гарантіи милліоны крестьянъ. Исповѣдуя вмѣстѣ съ Бентамомъ знаменитый принципъ наибольшаго счастья наибольшаго числа людей, онъ вычиталъ изъ суммы этого счастья — счастіе милліоновъ крестьянъ.

Современникъ Мордвинова, Николай Тургеневъ, разсказываетъ объ немъ: «Онъ хотѣлъ политической свободы съ высшей палатой; онъ возставалъ съ благороднымъ и горячимъ самоотверженіемъ противъ всякаго произвола. Я же сочувствовалъ неограниченной власти, защищая необходимость ея для освобожденія страны отъ чудовищной эксплоатаціи человѣка человѣкомъ. Не смотря на то, *я увѣренъ, что онъ никогда не отказался бы способствовать освобожденію крестьянъ, еслибы правительство рѣшительно того пожелало.* Иногда же, съ обыкновенною своею мягкостью и добротою, онъ подсмѣивался надъ моимъ рвеніемъ въ пользу крестьянъ. «Въ вашихъ глазахъ, говорилъ онъ мнѣ, всѣ рабы святые, а ихъ владѣтели тираны». Почти такъ, отвѣчалъ я ему серьезно» (Иконниковъ, 236). Сообразно этому Мордвиновъ неоднократно высказывался въ пользу преобладанія крупнаго землевладѣнія, а въ проектѣ выборнаго сената доказывалъ, что «права политическія должны быть основаны на знатномъ сословіи» (59). Что же касается до вышенапечатанныхъ курсивомъ словъ Тургенева, то эта благодушная увѣренность ни на чемъ не основана, потому что правительства Александра и Николая не разъ рѣшительно желали освобожденія, и Мордвиновъ всегда являлся однимъ изъ тормазовъ благихъ намѣреній правительства.

Дѣятельность его представляетъ любопытнѣйшую иллюстрацію къ европейскимъ политическимъ и особенно экономическимъ ученіямъ конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія. На эти ученія часто жаловались и жалуются, что они при всемъ своемъ либерализмѣ отдаютъ низшіе рабочіе классы общества въ полную зависимость землевладѣльцамъ и капиталистамъ. Сторонники ихъ отвѣчали и отвѣчаютъ, что они стоятъ за личный интересъ безъ различія общественныхъ положеній и за свободу всѣхъ и каждаго. Оно такъ и есть въ дѣйствительности. Но противники этихъ доктринъ не безъ основанія и не безъ успѣха доказываютъ, что онѣ, эти доктрины, только потому такъ преисполнены уваженія къ свободному промышленному прогрессу, что зависимость рабочихъ классовъ уже и безъ всякой регламентаціи достаточно прочно обезпечена— обезземеленіемъ крестьянъ, распаденіемъ средневѣковыхъ общественныхъ группъ, распредѣленіемъ капиталовъ и рабочихъ силъ. И дѣйствительно, мы видимъ, что когда эти доктрины попадаютъ къ намъ, въ Россію, въ страну, бѣдную капиталами и непредставляющую тѣхъ гарантій *свободной зависимости*, какія имѣются въ Европѣ, то-не измѣняя себѣ на другихъ пунктахъ ни на волосъ, онѣ рѣшительно становятся на сторону *зависимости крѣпостной.* Faute de mieux, онѣ не гнушаются и ненавистнымъ имъ въ принципѣ формальнымъ рабствомъ. Это—явленіе глубоко-поучительное.

Оно имѣетъ свои параллели. Мы видѣли, что и крѣпостники, и аболиціонисты, отчасти безмолвно, а отчасти прямо, отвергли екатерининскую постановку вопроса о вредѣ общиннаго землевладѣнія. Они подставили вмѣсто него вопросъ о крѣпостномъ правѣ и направили свои изслѣдованія на этотъ пунктъ. Исторія, очень похожая на эту, случилась и еще разъ, при императорѣ Александрѣ I. Въ 1810 г. Вольное Экономическое Общество поставило задачу: «Изыскать средства, чтобы для казенныхъ или помѣщичьихъ крестьянъ распредѣлить участки земли, имъ принадлежащіе, такъ, чтобы каждый крестьянинъ имѣлъ въ одномъ мѣстѣ всю пашенную и сѣнокосную землю, и чтобы чрезполоснаго между крестьянами одного селенія ни въ пашняхъ, ни въ покосахъ владѣнія не было». (Ходневъ. Исторія В. Э. О., 449). Въ слѣдующемъ году тверской помѣщикъ Зубовъ прислалъ разсужденіе на заданную тему. Онъ предлагалъ уничтожить общину и передѣлы, для чего рекомендовалъ: 1) раздѣлить и пашенныя земли, и покосы во всю длину полей, начиная отъ гумениковъ, для каждаго дома, 2) участки эти предоставить въ полную собственность крестьянамъ, 3) позволить крестьянамъ продавать другъ другу эти земли, платя при этомъ пошлину въ пользу селеній, 4) государственныя повинности взимать съ крестьянъ по количеству земли, 5) что касается количества земли для помѣщичьихъ крестьянъ, то Зубовъ отводилъ имъ 4—5 десятинъ на душу, а остальную землю предоставлялъ въ пользу помѣщиковъ. Записка эта вмѣстѣ съ разборомъ ея, составленнымъ членомъ общества Дурасовымъ, была напечатана въ «Трудахъ». Членъ общества, сенаторъ П. И. Сумароковъ, торжественно вручилъ президенту книжку «Трудовъ», въ которой были напе-

чатаны статьи Зубова и Дурасова, объявляя, что послѣднія «противны общимъ государственнымъ установленіямъ». Въ то же время поступили письменныя заявленія членовъ Галынскаго и Пошмана, въ которыхъ доказывалось: «Предположеніе Зубова и возраженіе на него Дурасова заключаютъ въ себѣ постановленія, клонящіяся къ нарушенію законовъ и къ лишенію дворянъ собственности, потому что Зубовъ предполагаетъ утвердить участки земли въ незыблемую собственность крестьянъ, и потому что въ циркулярномъ предписаніи министра внутреннихъ дѣлъ отъ 10 іюня 1820 г. предписано начальникамъ губерній, чтобы всѣ повиновались порядку, установленному законами, и чтобы никто не покушался предпринимать что-либо вопреки законовъ. Между тѣмъ, изъ предположенія Зубова злонамѣренные люди могутъ имѣть поводъ къ распространенію не основательныхъ толковъ». На этомъ основаніи Пошманъ и Галынскій требовали исключенія статей Зубова и Дурасова. Послѣ долгихъ объясненій собраніе, большинствомъ всего одиннадцати голосовъ противъ десяти, постановило не исключать заподозрѣнныхъ статей.

Изъ этого видно, какъ трудно было при существованіи крѣпостного права затрогивать вопросъ о формахъ крестьянскаго землевладѣнія, не касаясь самаго этого права. Крѣпостники зорко слѣдили за всѣми подобными попытками, видя въ нихъ намекъ на ущербъ своимъ правамъ. Аболиціонисты въ свою очередь отъ отрицанія общины неизбѣжно приходили къ освобожденію крестьянъ. Только люди вродѣ Мордвинова, проникнутые *интимнымъ* духомъ европейскихъ буржуазныхъ теорій, осмѣливались говорить, что община не даетъ простора свободѣ и личнымъ интересамъ крестьянъ, и въ то же время закрывали глаза на вліяніе помѣщичьей власти. Въ настоящее время, съ паденіемъ крѣпостного права, всѣ условія нашей хозяйственной жизни измѣнились въ самомъ корнѣ. Откуда взять фракасейскихъ мастеровъ для современнаго крѣпостника—неграмматикальнаго человѣка, и доступныхъ по денежному капиталу помѣщика работниковъ для современнаго либерала—Мордвинова? Откуда ихъ взять, когда крестьянинъ сидитъ на своей землѣ и когда онъ даже не можетъ ее оставить тамъ, гдѣ существуетъ общинное землевладѣніе? Мы видимъ, что вопросъ этотъ серьезно безпокоитъ нашихъ крѣпостниковъ и нашихъ либераловъ. Всѣ они, забывъ старыя принципіальныя распри, стоятъ на указанной еще Мордвиновымъ «свободѣ отъ земли» и доказываютъ, что община держитъ крестьянина въ зависимости и не даетъ простора его личному интересу, единственному вѣрному залогу экономическаго преуспѣянія. Заручившись репутаціей благонамѣренности, они охотно примѣшиваютъ въ свои разсужденія гимны священному праву собственности, которому угрожаютъ будто какіе-то утопическіе планы, связанные съ существованіемъ общиннаго владѣнія землей. Къ счастью правительство не пугается этихъ разсужденій и до сихъ поръ относится осторожно къ коренному вопросу крестьянской жизни. Такъ еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ, нѣкоторыя земскія собранія, въ видахъ улучшенія крестьянскаго хозяйства, признали необходимымъ ходатайствовать предъ правительствомъ объ облегченіи перехода отъ общиннаго пользованія землей къ подворному, предоставленіемъ каждому домохозяину права требовать отъ общества выдѣла ему поземельнаго участка. Теперь «Московскія Вѣдомости» сообщаютъ, что этотъ вопросъ, по обсужденіи въ министерствахъ внутреннихъ дѣлъ и финансовъ, признанъ общегосударственнымъ, и министерства не нашли возможнымъ разрѣшить его въ томъ или другомъ смыслѣ на основаніи представленныхъ ходатайствъ. Но такъ какъ во всѣхъ почти губерніяхъ есть общества, уже раздѣлившія свои общинныя земли на подворные участки, то признано полезнымъ прежде разрѣшенія этого вопроса собрать только свѣдѣнія, въ какой губерніи крестьяне раздѣлили свои общинныя земли и какое вліяніе имѣла эта мѣра на хозяйство крестьянъ, улучшеніе ихъ быта и исправность въ платежѣ денежныхъ повинностей.

Было бы желательно, чтобы собранныя такимъ образомъ свѣдѣнія были взвѣшены самымъ тщательнымъ образомъ. Въ журналахъ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ найдется цѣлый громадный арсеналъ соображеній за и противъ общины. Остается только ихъ приложить къ новымъ фактамъ. Рекомендую читателю одинъ такой трудъ молодого русскаго ученаго, надѣлавшій нѣкотораго шума въ Москвѣ,—это диссертація г. Посникова «Общинное землевладѣніе». Точка зрѣнія автора весьма замѣчательна. Прежде разсмотрѣнія достоинствъ и недостатковъ общиннаго землевладѣнія, онъ задается вопросомъ: почему оно нынѣ подвергается такимъ усиленнымъ нападкамъ? Онъ отвѣчаетъ такъ: съ паденіемъ крѣпостного права мы стали на рубежѣ, отдѣляющемъ старый хозяйственный строй отъ новаго. Старыя формы жизни еще не окончательно вымерли, но должны вымереть, потому что противорѣчатъ возникающему экономическому строю, существующему въ Европѣ и извѣстному подъ названіемъ капиталистической формы произ-

водства. Форма эта однако можетъ существовать только при наличности наемныхъ работниковъ, опредѣленнаго класса людей, невладѣющихъ ничѣмъ, кромѣ рабочей силы. А ихъ-то у насъ и нѣтъ. Кругомъ жалуются на недостатокъ рабочихъ, на отсутствіе рукъ. Жалобы эти и справедливы, и несправедливы. Несправедливы, потому что нельзя же сказать, что русскій народъ мало работаетъ; но справедливы въ томъ смыслѣ, что нѣтъ класса наемныхъ рабочихъ. Нанимать приходится только тѣхъ, кто не можетъ прокормиться на отведенномъ ему надѣлѣ, или чьи платежи не соотвѣтствуютъ доходу отъ земли. Но эти люди все-таки имѣютъ нѣчто кромѣ рабочей силы; они въ крайнемъ случаѣ имѣютъ убѣжище въ своемъ участкѣ и, слѣдовательно, не находятся въ достаточной зависимости отъ нанимателя. Наниматели поэтому обращаются къ правительству съ требованіемъ установленія извѣстныхъ искусственныхъ отношеній, строгихъ мѣръ противъ отказывающихся отъ работы, введенія рабочихъ книжекъ, запрещенія стачекъ, и проч. Но это, во-первыхъ, мѣры частныя, а во-вторыхъ, онѣ вовсе не соотвѣтствуютъ духу возникающаго хозяйства. Онѣ ему столь же противорѣчатъ, какъ крѣпостное право либеральнымъ стремленіямъ Мордвинова, и допускаются только подъ давленіемъ условій, какъ это всегда бываетъ при возникновеніи новыхъ формъ хозяйства. Главныя же усилія нанимателей направлены на выдѣленіе изъ массы крестьянъ группы «свободныхъ отъ земли» рабочихъ, а для этого должна быть разрушена община. Отсюда всѣ толки о «патріархальной формѣ быта», о «рабской зависимости лица отъ произвола общины», о «насильномъ прикрѣпленіи къ землѣ» и т. п. При этомъ указываются и нѣкоторые дѣйствительно поразительные примѣры, какимъ тяжелымъ бременемъ ложится иногда на крестьянъ владѣніе общинной землей. Въ докладѣ комиссіи 1873 г. приведено свидѣтельство, что бытъ крестьянъ Петербургской губерніи «можетъ быть, даже улучшится, если будетъ отнятъ у нихъ ихъ земельный надѣлъ. Этотъ надѣлъ является источникомъ повинностей, многоразличныхъ обязательствъ, а не обезпеченія быта. Тутъ вопросъ въ томъ, что выгоднѣе: имѣть ли право потомственнаго пользованія землей и отправлять лежащія на ней повинности, или отказаться отъ этого права и не нести соотвѣтственныхъ повинностей. Дѣйствительно, право пользованія землей весьма важно, но сколько за него приходится платить—это даже сказать трудно. Выкупная ссуда здѣсь превышаетъ доходъ, который крестьяне извлекаютъ изъ земельнаго надѣла, такъ что слѣдовало бы сбавить до 40%, и тогда только можно бы было говорить о томъ, обезпечены ли будутъ крестьяне или нѣтъ». Конечно, подобныя явленія не могутъ быть поставлены въ счетъ собственно формы землевладѣнія. Какъ бы то ни было, но они ведутъ къ тому, что многіе бросаютъ земли и идутъ въ наемные рабочіе. Но это все-таки процессъ медленный и частичный. Цѣлесообразнѣе раздѣлъ общинныхъ земель. Мотивы этого рода домогательствъ очень откровенно высказаны однимъ изъ свидѣтелей въ комиссіи 1873 г.: «Одни землевладѣльцы указываютъ на пьянство и распущенность, какъ на главную причину неурядицы, другіе на отсутствіе власти, третьи сулятъ, что все это снимется, какъ рукой, распространеніемъ образованія и т. д. По моему убѣжденію, все это справедливо: всѣ мѣры противъ пьянства, невѣжества и т. д. будутъ очень полезны, но онѣ все-таки не болѣе, какъ паліативы, потому что причины эти чисто второстепенныя. Для того, чтобы рабочіе были хороши, никакихъ регламентацій недостаточно, для этому нужно, чтобы они дорожили своими мѣстами, для чего въ свою очередь необходимо прежде всего, *чтобы у нихъ не было своихъ собственныхъ хозяйствъ;* иначе рабочіе будутъ всегда временными, случайными. *Этотъ вопросъ не можетъ быть радикально разрѣшенъ, не задѣвая самыхъ основъ Положенія 1861 года*».

Итакъ мотивы противниковъ общины ясны. Мордвиновъ въ свое время требовалъ сохраненія крѣпостного права, нынѣшніе либералы требуютъ ниспроверженія «самыхъ основъ» Положенія 19-го февраля. И тотъ, и другіе имѣютъ въ виду необходимость наемныхъ рабочихъ, дорожащихъ своимъ мѣстомъ. Не лишено это обстоятельство и принципіальнаго значенія. Пѣвцы священнаго права собственности, старающіеся запугать соціализмомъ, который, дескать, похѣритъ личную собственность, направляютъ свои усилія къ тому, чтобы «у крестьянъ не было своихъ собственныхъ хозяйствъ», т. е. чтобы лишить ихъ собственности. Но очевидно, что съ наступленіемъ такого порядка вещей общинная зависимость смѣнится зависимостью отъ нанимателя, а интересъ наемнаго работника не составитъ особенно сильнаго стимула, по крайней мѣрѣ, онъ не будетъ личнымъ.

Для оцѣнки однако этого стимула г. Посниковъ употребляетъ другой оригинальный пріемъ. Говорятъ, что частная собственность есть сильнѣйшій двигатель производства, что только онъ можетъ побуждать къ улучшеніямъ въ сельскомъ хозяйствѣ. При этомъ, какъ на образецъ, часто указываютъ на

Англію съ ея высокимъ уровнемъ культуры. Авторъ и беретъ Англію и разсматриваетъ, чему собственно она обязана своею высокою степенью сельскаго хозяйства. Оказывается, что съ точки зрѣнія частной собственности, какъ экономическаго двигателя, англійскіе порядки отнюдь не могутъ быть противопоставляемы, какъ это обыкновенно дѣлается, общинному землевладѣнію. Ибо все, что сдѣлано въ Англіи, сдѣлано не безусловными собственниками, а срочными владѣльцами-фермерами и съ помощью правительства. Собственники только присутствовали при томъ, какъ арендаторы, не смотря даже на краткосрочность арендъ, возводили зданія и вводили всевозможныя улучшенія. Развитіе этой мысли составляетъ главную задачу перваго выпуска труда г. Посникова (въ слѣдующемъ выпускѣ авторъ обѣщаетъ разсмотрѣть вопросы о принудительной обработкѣ полей, о дробимости земли и чрезполосности). Отсюда онъ переходитъ къ передѣламъ великорусской общины и доказываетъ, что передѣлы эти, будучи явленіями одного порядка со сроками аренды въ Англіи, не могутъ помѣшать развитію сельскаго хозяйства и у насъ. Онъ говоритъ только, что сроки передѣловъ, каковы бы они ни были, должны быть строго опредѣлены, примѣняясь къ существующимъ на этотъ счетъ обычаямъ. Другое требованіе состоитъ въ выработкѣ условій вознагражденія за сдѣланныя въ промежутокъ между двумя передѣлами улучшенія.

Итакъ, кромѣ хозяйства, основаннаго на всеобщемъ безправіи, и кромѣ хозяйства, основаго на *свободной зависимости* наемныхъ рабочихъ, возможенъ высокій уровень хозяйства общиннаго, гарантирующаго крестьянамъ ихъ священное право собственности. Устами г. Посникова говоритъ наука...

XV *).

Похороны В. С. Курочкина.

18-го августа, часовъ въ 10 утра, я стоялъ у подъѣзда дома Овсянникова на Фурштадтской улицѣ. Насъ было нѣсколько человѣкъ. Мы ждали выноса тѣла Василія Степановича Курочкина. Этотъ веселый человѣкъ лежалъ въ гробу... Утро было хорошее, теплое. У подъѣзда останавливались мимоходящіе: кухарка съ корзинкой, изъ которой торчали голова курицы и пучокъ моркови, выпившій спозаранку мастеровой, старушка съ ридикюлемъ. Швейцаръ суетился на ступенькахъ подъѣзда. Факельщики въ траурныхъ шинеляхъ равнодушно подергивали траурныя покрышки траурныхъ клячъ и лѣниво перебранивались. Траурныя клячи поводили ушами. Все это наводило тоску, но внутри, въ квартирѣ, было, разумѣется, еще тоскливѣе, и я остался на улицѣ. Вотъ показались пѣвчіе въ извѣстномъ порядкѣ: дисканты впереди, быкообразные басы, гудящіе себѣ въ бороду,— сзади. Вотъ вышли священники, вотъ вынесли гробъ, вотъ поставили его на катафалкъ, и процессія двинулась къ Волковскому кладбищу.

Когда мы нѣсколько отошли отъ дома, и кухарка съ пучкомъ моркови, старушка съ ридикюлемъ, подвыпившій мастеровой и прочій мимоходящій людъ разошелся по своимъ дѣламъ, я оглянулся: насъ, пришедшихъ проводить Курочкина, туда, идѣже нѣсть болѣзнь, ни печаль, ни воздыханіе, но нѣтъ также ни пѣсни, ни театра, ни литературы— насъ было три-четыре десятка человѣкъ! Это было поразительно. Тридцать, сорокъ человѣкъ шло за гробомъ человѣка, который какихъ-нибудь пятнадцать лѣтъ тому назадъ былъ однимъ изъ самыхъ популярныхъ людей въ Россіи, журнала котораго боялись, стихи котораго выдержали не одно изданіе... Не я одинъ былъ пораженъ этою малочисленностью печальнаго кортежа. Я слышалъ, какъ сбъ этомъ говорили кругомъ. Одни говорили, что объявленія о смерти Курочкина были поздно напечатаны и дурно расположены. Другіе говорили, что не кончился еще лѣтній сезонъ, и Петербургъ не весь налицо. Третьи говорили, что

Бывали хуже времена,
Но не было подлѣй...

Я думаю, что правы и тѣ, и другіе, и третьи, но что есть и еще причины малаго сочувствія, выраженнаго покойнику обществомъ.

На могилѣ г. Полетика сказалъ рѣчь. Онъ хорошо говоритъ, господинъ Полетика, гладко говоритъ. Но я бы могъ сказать многое по поводу его рѣчи. Скажу немногое. Не изъ особеннаго желанія полемизировать, а просто для исправленія одной рѣзко невѣрной мысли оратора. Между прочимъ, онъ сказалъ приблизительно такъ: «почему не остановились вы на первыхъ же шагахъ по избранному вами тернистому пути? (ораторъ обращался къ трупу), что побуждало васъ идти по немъ до могилы? Талантъ вашъ. Не въ вашей волѣ, не въ вашихъ силахъ было остановиться. Талантъ вашъ толкалъ васъ впередъ, и за этотъ даръ Божій вы заплатили земными скорбями».

*) 1875, сентябрь.

Красиво сказалъ это г, Полетика. Но неправду сказалъ. За талантъ не платятъ скорбями. И г. Рубинштейнъ—талантъ, и г. Тургеневъ — талантъ, и много есть другихъ людей, которые не платятъ за свой талантъ тѣми земными скорбями, о которыхъ говорилъ г. Полетика: тяжестью поденнаго труда, необезпеченнымъ завтрашнимъ днемъ, оставленіемъ при переселеніи на тотъ свѣтъ семьи безъ куска хлѣба. Этимъ Курочкинъ расплачивался не за талантъ свой, а за нѣчто другое. Г. Полетика вѣдь тоже талантъ, ораторскій, и однако онъ не расплачивается за даръ Божій земными скорбями, т. е. опять-таки тѣми скорбями, о которыхъ онъ говорилъ на могилѣ Курочкина. Гемороемъ и Weltschmerz'омъ онъ онъ, можетъ быть, и страдаетъ. Еслибы однако г. Полетика утилизировалъ свой талантъ только на могилахъ и притомъ людей вродѣ Курочкина, а не на обѣдахъ и притомъ людей въ родѣ г. Кокорева, и не на съѣздахъ машиностроителей (покойный Курочкинъ дѣлалъ изъ этого слова очень забавный каламбуръ), то онъ, можетъ быть, и не обошелся бы безъ кое-какихъ земныхъ скорбей. Самъ по себѣ талантъ есть всегда орудіе личнаго успѣха. Но его можно направить и вправо, и влѣво, и впередъ, и назадъ. Талантъ есть такая же грубая стихійная сила, какъ сила пара, двигающая поѣзда изъ Петербурга въ Москву и изъ Москвы въ Петербургъ, смотря по распоряженію администраціи николаевской дороги. Талантъ отчасти опредѣляетъ родъ дѣятельности человѣка, заставляетъ одного говорить рѣчи, другого пѣть пѣсни, третьяго писать картины. Но не талантомъ опредѣляется содержаніе рѣчей, пѣсенъ и картинъ; не онъ толкаетъ людей къ тому или другому идеалу, не онъ ведетъ ихъ по жизненнымъ путямъ, усѣяннымъ то терніемъ, то розами безъ шиповъ. И еслибы къ моей гортани былъ привѣшенъ языкъ г. Полетики, я говорилъ бы на могилѣ Курочкина не о талантѣ покойника, а о той нравственной искрѣ Божіей, которая дѣйствительно толкала его на тернистый путь жизни изо дня въ день и за которую онъ дѣйствительно заплатилъ скорбями. Велика сила этой искры Божіей: она гнетъ талантъ въ три погибели, дѣлаетъ изъ него послушнаго раба своего, выжигаетъ изъ памяти всѣ противныя сочетанія звуковъ, красокъ, словъ. И всѣ поклонятся этой силѣ, потому что это не будетъ идолопоклонствомъ. А снимать шапку передъ талантомъ—все равно, что снимать ее передъ Монбланомъ, передъ грозой, передъ розой, передъ соловьемъ, передъ красивыми прыжками красавца тигра.

Талантъ Курочкина былъ, если можно такъ выразиться, хоровой. Этимъ я отнюдь не думаю умалять значеніе его таланта, я хочу только характезировать его. Поясняю свою мысль мыслями покойника. Онъ никогда не могъ забыть блестящей поры «Искры» и до конца дней своихъ мечталъ о собственной газетѣ. Еще недѣли за полторы до смерти онъ развивалъ мнѣ одинъ изъ такихъ плановъ. Онъ перебиралъ между прочимъ разныхъ. болѣе или менѣе видныхъ дѣятелей нашей журналистики и сортировалъ ихъ, называя однихъ «газетными людьми», другихъ—негазетными.—Газетнымъ человѣкомъ онъ называлъ такого, который можетъ схватить на лету какой-нибудь даже мелкій фактъ текущей жизни и придать ему извѣстное общее, типическое освѣщеніе. Газетнымъ людямъ онъ отдавалъ преимущество передъ негазетными, не ради ихъ какихъ-нибудь особенныхъ достоинствъ, а ради той пользы, которую они могутъ приносить. Но для этого они, по мнѣнію Курочкина, должны, такъ сказать, разсыпаться. Онъ говорилъ, напримѣръ, о Щедринѣ: представьте, что вмѣсто двухъ, трехъ листовъ въ мѣсяцъ, посвященныхъ одному какому - нибудь явленію, онъ въ тотъ же срокъ будетъ изо дня въ день задѣвать въ газетѣ множество фактовъ и мелкихъ, и крупныхъ, какіе попадутся; ужъ конечно, это будетъ выгодно для общества, потому что Щедринъ не имѣетъ и десятой доли того вліянія, которое могъ, бы имѣть. Въ этомъ есть, я думаю, извѣстная доля правды. Но Курочкинъ упускалъ изъ виду, что далеко не всѣ могутъ такимъ образомъ разсыпаться. Газеты у насъ между прочимъ потому и не имѣютъ того значенія, какимъ онѣ пользуются въ Европѣ, что у насъ по самымъ условіямъ нашей жизни слишкомъ мало «газетныхъ людей». Таланты наши литературные по большей части случаевъ имѣютъ болѣе или менѣе рѣзко сильный характеръ, вслѣдствіе чего у насъ до сихъ поръ могла удаваться только та форма литературнаго сотрудничества, какую представляетъ толстый журналъ. Толстый журналъ можетъ держаться нѣсколькими запѣвалами, въ которыхъ у насъ никогда не было недостатка; но для газеты требуется хоръ, большой и стройный, въ которомъ должны исчезать и голоса запѣвалъ. Хоровыхъ-то голосовъ у насъ и мало, а это, конечно, полагаетъ довольно узкія границы вліянію нашихъ періодическихъ изданій. Армія, въ которой есть и генералы, и штабъ и оберъ-офицеры, но почти нѣтъ солдатъ—вотъ что такое большинство русскихъ журналовъ и газетъ. Если это съ одной стороны богатство, то съ другой—крайняя нищета. Курочкина занимала преимущественно нищенская сторона дѣла. По свидѣтельству людей, знавшихъ Курочкина въ лучшую пору «Искры», онъ былъ

положительно душой газеты, настоящимъ дѣятельнымъ ея организаторомъ, собиравшимъ и распредѣлявшимъ подходящія силы. Не смотря на все свое авторское самолюбіе, онъ топилъ свой талантъ въ дѣлѣ газеты: здѣсь давалъ мысль, предоставляя выработку формы другимъ, тамъ бралъ на себя только форму, и я думаю, что весьма трудно было бы опредѣлить, что именно принадлежало въ «Искрѣ» Курочкину и что другимъ. Онъ и создавалъ и вербовалъ солдатъ, и самъ исполнялъ невидную солдатскую работу. Въ этомъ состояла вся его самостоятельная литературная дѣятельность; внѣ «Искры» онъ былъ только талантливый переводчикъ Беранже. Онъ вполнѣ отвѣчалъ своему собственному идеалу газетнаго человѣка. Я не думаю, чтобы блестящая пора «Искры», даже при вполнѣ благопріятныхъ условіяхъ, могла повториться въ жизни Курочкина, но только потому, что жизненныя неудачи сильно помяли его да и годы взяли свое, хоть онъ умеръ далеко не старымъ человѣкомъ: 42-хъ лѣтъ. Идеалъ же газетнаго человѣка оставался для него до самой могилы все тотъ же. Въ идеалъ этотъ входилъ такой *видъ* самоотверженія и преданности идеѣ, отсутствіе котораго въ писателѣ вполнѣ извинительно. Въ самомъ дѣлѣ, обрекая себя на газетную дѣятельность, какъ ее понималъ Курочкинъ, человѣкъ, во-первыхъ, рискуетъ остаться всю жизнь невиднымъ, никому неизвѣстнымъ работникомъ, утонуть въ псевдонимѣ и анонимѣ. А извѣстность для писателя дѣло заманчивое, да и не для одного писателя. Есть вообще не мало (относительно, а абсолютно, конечно, очень мало) людей, готовыхъ претерпѣть за дорогое дѣло всяческія гоненія, даже, пожалуй, хоть умереть, но съ условіемъ, чтобы міръ зналъ, что такой-то за то-то претерпѣлъ гоненія и умеръ. Но извѣстность еще куда ни шла. Самоотреченіе настоящаго газетнаго человѣка этимъ не ограничивается. Онъ долженъ отказаться отъ личныхъ вкусовъ и желаній. Передъ нимъ мелькаетъ пестрый рядъ явленій, и онъ не имѣетъ права выбирать, засиживаться надъ тѣмъ, что его особенно заняло, потому что въ его распоряженіи всего нѣсколько десятковъ строкъ и нѣсколько дней, можетъ быть, часовъ, даже минутъ времени. Для него въ буквальномъ смыслѣ довлѣетъ дневи злоба его. Газетный человѣкъ прикованъ ко дню, можно сказать, распятъ на днѣ. И что получаетъ онъ за эту каторжную работу? Хлѣбъ насущный («днесь», а завтрашній кусокъ будетъ завтра и заработанъ) и сознаніе, что онъ—полезный и вѣрный слуга общества, вѣрно, по его убѣжденію, направляющій свѣтъ фонаря критики на дебютъ г-жи Савиной, на взятіе Хивы, на самарскій голодъ, на герцеговинское возстаніе, на постройку Литейнаго моста, на дебаты съѣзда машиностроителей, на дебаты французскаго національнаго собранія, на дебаты петербургскаго дворянскаго собранія, на спекуляцію выигрышными билетами, на манію самоубійствъ, на процессъ Овсянникова, и проч., и проч. Это сознаніе есть единственное нравственное удовлетвореніе газетнаго человѣка. Того удовлетворенія, которое дается процессомъ творчества онъ никогда не получитъ, потому что не создастъ ничего крупнаго и никакого личнаго слѣда по себѣ не оставитъ. Онъ можетъ только, цѣпляясь за шероховатости текущей жизни изо дня въ день, капля по каплѣ, вливать въ общественное сознаніе истину и справедливость, какъ онѣ ему представляются.

Курочкинъ могъ находить удовлетвореніе въ такой дѣятельности и принялъ всѣ связанныя съ нею скорби. Поэтому я и назвалъ его талантъ хоровымъ. Но какъ же бы онъ удивился, еслибы могъ слышать изъ своей могилы рѣчь г. Полетики! Замѣнившему въ «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ» Курочкина воскресному фельетонисту, г. Рцы Слово Твердо, кто-то говорилъ на похоронахъ, что тенденція заѣла талантъ покойника, ибо талантъ шире тенденціи. Послѣдняго я не понимаю, какъ не понялъ бы положенія, что пудъ длиннѣе аршина. На счетъ же таланта Курочкина, съѣденнаго тенденціей, скажу слѣдующее: ораторъ, пускающій свой талантъ всюду, гдѣ только есть физическая возможность говорить, обладаетъ, можетъ быть, не очень широкимъ талантомъ, но онъ есть не общественный дѣятель, а говорильщикъ. Курочкинъ, еслибы онъ швырялъ точно также свой талантъ направо и налѣво, былъ бы риомоплетомъ и зубоскаломъ, а не сатирическимъ писателемъ и газетнымъ человѣкомъ. Это такъ же вѣрно, какъ то, что женщина, раздающая свои ласки направо и налѣво, имѣя, быть можетъ, широкое сердце, есть только проститутка. Не ясно ли, что не талантъ толкалъ Курочкина на избранный имъ путь и что не за талантъ расплачивался онъ земными скорбями?

Какъ бы то ни было, онъ расплатился. Судьба въ послѣдній разъ явилась къ нему съ исполнительнымъ листомъ, нанесла ему послѣднюю обиду, прославъ на похороны три-четыре десятка человѣкъ, исключительно писателей. Общество, то самое общество, которому вѣрой и правдой служилъ Курочкинъ, служеніе которому носилось передъ нимъ даже въ самыхъ пылкихъ его мечтахъ, — блистало своимъ отсутствіемъ. Стоитъ ли умирать послѣ этого? Гейне сравниваетъ гдѣ-то не помню себя, или вообще поэта, съ виноградной лозой, которая родила много гроздьевъ, изъ гроздьевъ сдѣлано было

много вина, и вино это бродитъ въ головахъ людей веселитъ ихъ, а старая лоза, всѣми забытая, посохла. Гейне кокетничалъ, сравнивая себя съ этой лозой, но Курочкинъ въ самомъ дѣлѣ похожъ на нее. Я помню похороны Помяловскаго, значеніе котораго, разумѣется, ничтожно сравнительно съ значеніемъ Курочкина, а между тѣмъ за его гробомъ шла толпа народа. Положимъ, что въ Помяловскомъ хоронили надежду и чтили ее, но развѣ заслуга менѣе надежды требуетъ почести? А въ заслугѣ Курочкина могутъ сомнѣваться только тѣ, кто не видитъ заслуги въ его родѣ дѣятельности вообще. Но дѣло въ томъ, что заслуга Курочкина, во-первыхъ, давнишняя—онъ много лѣтъ передъ смертью молчалъ, а во-вторыхъ, его заслуга—«газетная», невидная, неосязаемая, все равно какъ заслуга лозы въ веселомъ расположеніи духа, произведенномъ стакаиомъ шампанскаго: сокъ многихъ гроздьевъ съ многихъ лозъ смѣшался въ этомъ стаканѣ; кто разберетъ, кто станетъ разбирать, какова тутъ доля участія такой-то лозы? Но не только въ Курочкинѣ и родѣ его дѣятельности лежатъ причины скудости сопровождавшаго его гробъ шествія. Провожатые Курочкина въ страну небытія ходили на «литераторскіе» мостки. Такъ офиціально называются мостки, ведущіе къ могиламъ Бѣлинскаго, Добролюбова, Писарева, Ножина, Рѣшетникова. Мы любовались жалкой плитой, придавившей собой остатки Писарева, и еще болѣе жалкимъ, желтымъ, вохрой вымазаннымъ крестомъ, стоящимъ на могилѣ Рѣшетникова. Разговоры были все похоронные. Вспоминали шумныя демонстраціи, рѣчи и проч., сопровождавшія еще не очень давно похороны тружениковъ печати. Да, то было время, а теперь другое. То было время, когда даже смерть писателя, даже его трупъ, бездыханный, безсмысленный, съ провалившимися глазами и уже смердящій — словомъ, совсѣмъ охваченный тлѣніемъ, еще служилъ тѣмъ нетлѣннымъ вещамъ, которымъ служилъ писатель и при жизни. Я опять-таки вспоминаю похороны Помяловскаго. Я живо помню и свое собственное настроеніе, и настроеніе окружающихъ, насколько я тогда умѣлъ наблюдать. Мы не голый обрядъ совершали, не формальное только богослуженіе, мы дѣйствительно служили Богу истины и справедливости. Это было настоящее священнодѣйствіе... Подождите умирать, крупные и мелкіе, видные и невидные генералы и солдаты арміи литературы! Преданные науки люди завѣщаютъ иногда свои скелеты ученымъ учрежденіямъ. Завѣщайте и вы свои трупы на тѣ цѣли, которыя вамъ были дороги въ жизни. Теперь ваше завѣщаніе не будетъ исполнено. Теперь васъ придутъ проводить полсотни такихъ же работниковъ, какъ вы, и на могилѣ вашей спеціалистъ-ораторъ помянетъ въ рѣчи не то, что̀ вамъ было дороже всего, а только талантъ вашъ, какъ будто между вами и талантливымъ цимбалистомъ Беркой Свердловымъ нѣтъ никакой разницы. И найдется еще, пожалуй, добрый человѣкъ, который поскорбитъ о васъ, пожалѣетъ, что вы вели себя не какъ широкосердая, бездушная, похотливая царица Тамара, къ которой, не обинуясь, шли «воинъ, купецъ и пастухъ». Добрый человѣкъ съ самымъ доброжелательнымъ видомъ плюнетъ намъ прямо въ сердце...

Будетъ хныкать. Эта глава не въ счетъ, читатель. Ей собственно не мѣсто въ запискахъ профана. Ее спеціалистъ писалъ, тоже труженикъ печати, который, можетъ быть, и преувеличиваетъ значеніе своей спеціальности. Можетъ быть... можетъ быть, вы скажете: наплевать... Можетъ быть, вы будете правы...

XVI.

Мнѣнія одного Леонарда и трехъ ученыхъ о женскомъ вопросѣ и о прогрессѣ.

Одинъ неблагосклонный, но и не чрезмѣрно сообразительный критикъ одной очень хорошей провинціальной газеты замѣтилъ, что мои выводы и соображенія бываютъ «болѣе или менѣе остроумны, но всегда двусмысленны и болѣе чѣмъ смѣлы». Остроуміе и двусмысленность меня не занимаютъ; но болѣе чѣмъ смѣлость? Не значитъ ли это трусость? Но мнѣ вѣдь и бояться нечего. Я гарантированъ своимъ титуломъ профана отъ всякихъ нападковъ. Пусть придетъ звѣзда какой угодно величины, сіяющая на небосклонѣ науки, философіи, критики ярче алмазовъ и перловъ; пусть она мнѣ скажетъ, что я говорю вздоръ. Я попрошу объясненія и доказательствъ. Если звѣзда мнѣ ихъ дастъ, я скажу: да, я говорилъ вздоръ и благодарю за наставленіе на путь истины и добра. И звѣзда должна будетъ благосклонно улыбнуться, ибо ей и дѣлать больше ничего не останется. Я до такой степени убѣжденъ въ неприступности моего положенія, что считаю всѣхъ моихъ неблагосклонныхъ критиковъ людьми несообразительными. Какова бы ни была величественность ихъ аллюровъ, какъ бы ни старались они придать себѣ нѣкоторую звѣздообразность, я думаю себѣ: шалишь! звѣзда со мной такъ говорить не станетъ; звѣзда понимаетъ, что повинную голову мечъ не сѣчетъ; звѣзда ве-

ликодушна, а ты просто-на-просто несообразительный человѣкъ.

И однако въ эту минуту я трушу, потому что собираюсь писать о разныхъ вещахъ, прикосновенныхъ къ «женскому вопросу». Это въ самомъ дѣлѣ страшно. Объ астрономіи не страшно, о философіи исторіи не страшно, о политикѣ не страшно, а о женскомъ вопросѣ страшно. Очень ужъ много по этому вопросу спеціалистовъ: во-первыхъ, всѣ женщины, во-вторыхъ, всѣ мужчины, въ-третьихъ, всѣ романисты, въ-четвертыхъ, всѣ литературные критики, въ-пятыхъ... да всѣхъ и не перечтешь. Еще и етакъ давно, даже очень недавно, этотъ вопросъ примировалъ надъ всѣми общественными вопросами. Если вы хотѣли заслужить популярность среди молодежи, вы обращались къ женскому вопросу, говорили о правахъ женщины, о женскомъ трудѣ, о свободѣ женщины, — и молодыя сердца сочувственно откликались вамъ. Если вы хотѣли заслужить лестное мнѣніе людей солидныхъ, вы обращались къ женскому вопросу, говорили о святости семьи, о высокомъ назначеніи жены и матери. Если вы желали добиться благосклонности людей ультра-солидныхъ, вы все-таки обращались къ женскому вопросу и разсказывали сальные анекдоты о нигилистахъ, — и глаза ультра-солидныхъ людей покрывались масломъ, они сочувственно хихикали, потряхивая разслабленными колѣнями. Если вы хотѣли тронуть дамскія сердца, вы писали повѣсть во вкусѣ Тургенева, гдѣ въ вѣчную проблему любви старались подставить новыя комбинаціи. Словомъ, женскій вопросъ въ томъ или другомъ видѣ, въ томъ или другомъ рѣшеніи, былъ станціей на пути успѣха въ жизни. Но и помимо успѣха въ жизни мы самымъ усиленнымъ образомъ переживывали женскій вопросъ. Я помню, напримѣръ, что ему были посвящены и первая, и вторая, и третья мои печатныя статьи. За свободу женщинъ, за женскій трудъ я стоялъ горой и безусловно безкорыстно. Малый я былъ крайне угрюмый, дамъ и дѣвицъ тщательно обѣгалъ, а что касается собственно женскаго труда, такъ онъ у меня хлѣбъ отбивалъ. Отчего это такъ было, что мы еще на школьной скамейкѣ, еще не разглядѣвъ путемъ ни одной женщины, ломали себѣ головы надъ разрѣшеніемъ женскаго вопроса, я не знаю, но такъ было. Грѣшно впрочемъ сказать, что мы ломали себѣ головы. Рѣшеніе приходило какъ-то само собой. Богъ знаетъ какъ и откуда. Я помню одинъ очень характерный разговоръ, бывшій у меня съ покойнымъ авторомъ «Гражданскаго брака», Чернявскимъ, очень умнымъ и талантливымъ молодымъ человѣкомъ, хотя комедія его и неумна, и неталантлива. Мы разговаривали о взглядѣ Прудона на женщинъ. Чернявскій утверждалъ, что Прудонъ былъ навѣрное несчастливъ въ семейной жизни, что этого рода біографическія черты его непремѣнно должны быть найдены, потому что иначе нельзя объяснить въ такомъ человѣкѣ, какъ Прудонъ, несочувствія къ свободѣ и самостоятельности женщины. Года за полтора передъ шумнымъ появленіемъ и быстрымъ фіаско «Гражданскаго брака» я потерялъ Чернявскаго изъ виду и не знаю, что именно повліяло на рѣзкій поворотъ его мыслей о женскомъ вопросѣ. Но упомянутый разговоръ помню очень хорошо. Въ немъ очень характерна увѣренность въ существованіи чисто практическихъ, ближайшихъ житейскихъ основъ мнѣній Прудона. Характерна эта увѣренность потому, что мнѣ тогда былъ, помнится, 21 годъ, Чернявскому 23, и мы были бы поставлены въ очень затруднительное положеніе, еслибы кто-нибудь сталъ добиваться — каковы практическія, житейскія основы нашихъ собственныхъ взглядовъ на положеніе женщины. Безъ сомнѣнія, никакихъ такихъ основъ не было. О счастливой или несчастной семейной жизни не могло быть, разумѣется, и рѣчи, и вообще мы ратовали за свободу, права и самостоятельность женщины совершенно безкорыстно и помимо какихъ бы то ни было опредѣленныхъ толчковъ практической жизни. Я полагаю, что женскій вопросъ просто представлялъ удобнѣйшую почву для приложенія несовсѣмъ ясныхъ идеаловъ свободы того поколѣнія, которое стало молодымъ уже по уничтоженіи крѣпостного права. И безъ сомнѣнія, это значеніе въ большей или меньшей степени останется за женскимъ вопросомъ вплоть до того времени, когда онъ перестанетъ быть вопросомъ. Молодежь — всегда молодежь. Въ общемъ, за вычетомъ развѣ нѣкоторыхъ мрачныхъ историческихъ минутъ, она всегда будетъ рваться, хотя бы смутно, къ свѣту и свободѣ, все равно какъ листья растеній всегда будутъ поворачиваться къ солнцу. «То кровь кипитъ, то силъ избытокъ». Куда дѣвать эти силы? Если нѣтъ на лицо такой рѣзко опредѣленной и съ молокомъ матери всосанной политической задачи, какая существовала, напримѣръ, для Инсарова, семья, эта элементарная ячейка общества, сама собой напрашивается стать пробнымъ камнемъ молодыхъ силъ. А трогая съ которой бы то ни было стороны семью, вы неизбѣжно наталкиваетесь на женскій вопросъ. А тутъ еще, какъ разъ въ это время, пробуждаются и крѣпнутъ первые неясные, но настойчивые позывы любви съ ея физіологической основой. Вы молоды, полны стрем-

леній къ добру и желали бы видѣть смутно витающій передъ вами образъ женщины во всемъ блескѣ вашихъ идеаловъ — свободы, силы, знанія, дѣятельности. Даже когда есть въ наличности другія политическія задачи, другія перспективы, въ концѣ которыхъ горитъ свѣточъ правды, добра и свободы, значеніе семьи, какъ пробнаго камня молодыхъ силъ, несовсѣмъ исчезаетъ. Но тутъ за дѣло принимаются главнымъ образомъ сами женщины. Ужъ тѣмъ самымъ, что онѣ, увлеченныя носящимися въ нравственной атмосферѣ идеями и чувствами, идутъ по означеннымъ перспективамъ, онѣ, такъ сказать, дѣлаютъ женскій вопросъ. Если, напримѣръ, итальянка сороковыхъ годовъ, проникнутая общею ненавистью къ австрійскому владычеству, принимала участіе въ революціонномъ движеніи, она не только способствовала освобожденію Италіи, но и давала примѣръ политической дѣятельности женщины.

Но я вамъ разскажу притчу. Одинъ садоводъ былъ въ одинъ прекрасный день огорченъ появленіемъ множества червей на своихъ цвѣтахъ. Онъ сталъ ихъ убивать; убивалъ день, два, три, недѣлю, мѣсяцъ. Какъ встанетъ, такъ и идетъ истреблять червей. Черви стали понемножку убывать. Наконецъ наступилъ еще одинъ прекрасный день, когда садоводъ былъ *огорченъ* совершеннымъ исчезновеніемъ червей. Да, онъ былъ огорченъ. Сначала ему показалось, что онъ радъ, да и естественно было порадоваться. Но скоро онъ замѣтилъ, что ему чего-то недостаетъ и недостаетъ именно, сдѣлавшагося для него привычнымъ занятіемъ, истребленія червей. Садоводъ началъ тосковать и, такъ какъ онъ былъ очень богомоленъ, то скоро сталъ молиться — о ниспосланіи червей. Садоводъ потому пришелъ къ столь безсмысленной молитвѣ, что специализировалъ истребленіе червей, отдѣлилъ его отъ благоденствія цвѣтовъ. Теперь—другая притча. Въ сороковыхъ годахъ одна итальянка принимала дѣятельное участіе въ тогдашнихъ политическихъ волненіяхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ она много думала о женскомъ трудѣ и о самостоятельности женщины, что было вполнѣ естественно, такъ какъ ея политическая дѣятельность враждебно сталкивалась съ множествомъ предразсудковъ. Долго свобода Италіи и независимость общественнаго положенія женщины не раздѣлялись для нея, шли рука объ руку. Но тутъ подоспѣли неудачи 1848 — 1849 годовъ, движеніе было подавлено, наступило затишье, полнѣйшая невозможность дѣйствовать. Но мысль о женскомъ трудѣ и самостоятельности не покидала итальянки. Она искала случая примѣнить ее, занимала разныя общественныя должности и между прочимъ весьма добросовѣстно исполняла обязанность — австрійскаго шпіона...

Это—вздоръ, читатель, этого никогда не было, этого даже не могло быть, потому что — замѣчательная особенность женскаго вопроса—онъ никогда не всплываетъ наружу одновременно съ чисто національными политическими движеніями, каковы были большинство итальянскихъ волненій. Достаточно припомнить весь рядъ польскихъ возстаній, въ которыхъ женщины принимали самое дѣятельное и многостороннее участіе, не претендуя однако ни на какое измѣненіе въ своемъ общественномъ положеніи, оставаясь матерями, сестрами, женами и любовницами, и исключительно въ этомъ семейномъ своемъ положеніи почерпая силу и вліяніе. Наоборотъ, всякое соціальное движеніе почти всегда выдвигаетъ и женскій вопросъ. Да и вообще я разсказалъ притчу объ итальянкѣ совсѣмъ не ради ея фактической стороны. Она каррикатурна, но въ основаніи ея лежитъ истина, подлинный фактъ, естественное и вполнѣ понятное стремленіе женщинъ специализировать женскій вопросъ, помѣщать его въ безвоздушное пространство, отдѣлять его отъ вопросовъ, съ которыми онъ, собственно говоря, неразрывно связанъ, и вслѣдствіе этого придавать ему несоотвѣтственное освѣщеніе. Къ этому склонны и мужчины, но по другимъ, разумѣется, причинамъ. Если справедливы мои предположенія о семьѣ, какъ пробномъ камнѣ молодыхъ силъ, то понятно, что женскій вопросъ долженъ для насъ стоять нѣсколько особнякомъ. Онъ окруженъ нѣкоторымъ, совершенно своеобразнымъ поэтическимъ ореоломъ. Онъ зарождается въ личностяхъ при такихъ условіяхъ и по такимъ причинамъ, которыя рѣшительно не имѣютъ мѣста въ дальнѣйшемъ нашемъ нравственномъ и умственномъ развитіи, порождающемъ критику болѣе сложныхъ общественныхъ группъ: сословія, общества, націи, государства, цивилизаціи. И какъ масло нельзя смѣшать съ водой, чтобы вышла однородная масса, такъ, по крайней мѣрѣ, очень трудно уравнять, привести къ одному знаменателю наши отношенія къ женскому и къ другимъ общественнымъ вопросамъ. Это не какая-нибудь таинственная, необъяснимая особенность женскаго вопроса. То же можетъ случиться и со всякимъ другимъ вопросомъ и часто случается, напримѣръ, съ вопросомъ національнымъ. Въ странахъ, гдѣ въ данное время по какимъ-нибудь обстоятельствамъ напряженно развивается національное чувство и гдѣ, слѣдовательно, молодежь всасываетъ его въ себя инстинктивно, національный вопросъ тоже специализируется, рѣзко отдѣляется

отъ другихъ вопросовъ и мѣряется совсѣмъ особенною мѣркой.

Сложность женскаго вопроса, свидѣтельствующая о многосторонности его связи съ съ другими вопросами, должна, казалось бы, гарантировать его отъ чрезмѣрной спеціализаціи. На дѣлѣ однако гарантія эта выходитъ ненадежная. На дѣлѣ сложность вопроса ведетъ, напротивъ, къ дальнѣйшей спеціализаціи: вопросъ раздробляется, и каждый отдѣльный его кусочекъ, держась подъ общимъ флагомъ женскаго вопроса, получаетъ иногда уродливо непропорціональное развитіе. Такъ напримѣръ, г-жа Ройе, одна изъ ученѣйшихъ, а можетъ быть, и умнѣйшихъ современныхъ женщинъ, такъ прилѣпилась къ тому элементу женскаго вопроса, который называется независимостью женщинъ, что договорилась до желательности и возможности въ будущемъ царства амазонокъ, т. е. такой же зависимости мужчинъ, противъ какой нынѣ протестуютъ женщины. Чѣмъ это лучше садовода, молившагося о ниспосланіи червей, и итальянки, начавшей «молодой Италіей» и кончившей австрійскимъ шпіонствомъ?

Все это я къ тому, что спеціалистовъ по женскому вопросу очень много, такъ что я трушу. О, какъ завидую я смѣлости г. Леонарда! Вы не знаете, что такое Леонардъ? Madame de Kourdukoff — въ панталонахъ. Онъ совершенно внезапно явился въ русской литературѣ во всеоружіи слога, таланта и идей г-жи Курдюковой. Первоначально онъ явился съ требованіемъ, чтобы «Ѳедосѣй le мѣдникъ» и всякій другой работникъ, нанявшійся на сельскія работы, былъ силою на нихъ возвращаемъ въ случаѣ бѣгства. Пожавъ тутъ богатые лавры на почвѣ познаній въ политической экономіи, madame de Kourdukoff въ панталонахъ ринулась въ политику и издала книжку «Германія или Франція? Одна и другая». Столь забавнаго вздора не появлялось въ русской литературѣ со времени произведенія Мятлева. Однако, да идетъ мимо насъ и экономическій, и политическій вздоръ г. Леонарда. Я возьму только вздоръ по женскому вопросу, эпизодически вкрапленный въ политическій вздоръ, т. е. въ брошюру «Германія или Франція?»

Изобразивъ яркими красками картину нравственнаго паденія Франціи вообще, г. Леонардъ переходитъ къ нѣкоторымъ частностямъ. И тутъ онъ по истинѣ великолѣпенъ. Слушайте. «Въ семью вторгся любовникъ, паразитъ, третье лицо, l'autre. Романисты и драматурги Франціи усаживаютъ его все лучше и лучше такъ уже и просторно, что мужу ничего другого не остается дѣлать, какъ держать ключи отъ шкатулки и быть расходчикомъ—мужъ въ кладовой, на хозяйствѣ, а паразитъ въ спальнѣ. Pour peu que cela continue, будутъ брать мужей для черной работы въ кладовыхъ, на заднихъ дворахъ, а вся бѣлая работа, вся творческая и свѣтлая сторона супружества перейдетъ цѣликомъ къ паразиту». Это—печальная, конечно, перспектива, но какъ же быть? или, какъ восклицаетъ Леонардъ de Kourdukoff, «comment sortir, grand Dieu, de ce fourrè? Дюма совѣтуетъ стрѣлять, убивать преступныхъ женъ; онъ говоритъ: «tue-la, tuez les», шлетъ пули à droite et à gauche». Леонардъ de Kourdukoff несогласенъ съ этимъ рѣшеніемъ на основаніи слѣдующихъ любопытныхъ соображеній: «Дюма забылъ, что пуля не лекарство, что женщина прежде всего героиня въ душѣ, жажда каждой женщины быть героиней романа. Поднесите ей романъ и обставьте его всѣми ужасами драмы, и каждая женщина подставитъ сердце подъ пулю. Которая изъ нихъ не пожелаетъ быть убитой въ объятіяхъ возлюбленнаго, какая женщина не пожелаетъ умереть израненной, съ окровавленнымъ сердцемъ, на его рукахъ! Романъ—это поле брани женщины, поле геройскихъ ея подвиговъ... Нѣтъ, тутъ пули не помогаютъ, пули не испугаютъ женщину. Mais il y a les hautes convenances, les grandes nécessités sociales—вотъ что спасительнѣе, ибо никто болѣе женщины не способенъ имъ подчиняться». Исходя изъ такого плодотворнаго начала, Леонардъ de Kourdukoff естественно приходитъ къ плодотворному концу. Сердце, говоритъ онъ, «субтильно и неуловимо, не знаетъ стѣсненій регламентацій». Но объ этомъ и жалѣть нечего. Любовь, ограничивающаяся областью сердца, не творитъ никакого зла, напротивъ—творитъ добро. «Она есть источникъ высокихъ порывовъ души, великихъ подвиговъ человѣчества. Искусства—ея дѣти. Кто бы ее ни внушилъ, мужъ или стороннее лицо, она, если чиста и непорочна, благодарна и возвышена, то всегда облагораживаетъ семью и способствуетъ ея счастью, возвышаетъ душу матери и не даетъ ей забывать среди непривлекательныхъ обыденныхъ занятій, что она женщина,—и тогда каждый шагъ въ ея семьѣ запечатлѣнъ граціей и возвышенностью чувствъ... Encore une pensée: если отъ *прикосновенія* мужчины, положимъ, мужа къ женѣ, потухаетъ обыкновенно, рано или поздно, эта любовь, эта искра, которая творитъ столько чудесъ и въ то же время такъ необходима въ мірѣ, то почему же отъ *неприкосновенія* другого мужчины, третьяго лица, de l'autre, не позволить ей снова возгорѣться? Стало быть все дѣло въ *неприкосновеніи* къ священному тѣлу матери семьи, но мужъ *прикасается*, c'ets

nécessité naturelle, иначе изсякъ бы родъ человѣческій (какая глубина!),—поэтому самому и нуженъ можетъ быть другой, l'autre, который бы *не прикасался* и тѣмъ продолжалъ бы поддерживать существованіе священнаго огня любви въ сердцѣ женщины и не далъ бы ему погибнуть, ибо огонь этотъ долженъ творить добро, поэзію, эстетику всюду—въ семьѣ и внѣ семьи... Но если третье лицо *прикасается*, если онъ прикасается священнаго тѣла замужней женщины—тутъ уже нѣтъ nécessité naturelle, потому что мужъ исполняетъ эту обязанность—то онъ этимъ самымъ уничтожаетъ другое важнѣйшее nécessité: необходимость поддержанія священнаго огня въ сердцѣ женщины—источника высокаго и прекраснаго, онъ его оскверняетъ и разрушаетъ, il perd sa vrai raison d'être и превращается въ злѣйшаго врага общества, разрушителя первой его основы, основной клѣтки государственнаго организма—семьи». Въ концѣ концовъ, «мужъ при полныхъ, исключительныхъ матеріальныхъ правахъ на жену и при этомъ робкое, discret, чистое и нѣжное чувство, полное уваженія, de déférence, благоговѣнія къ женѣ и къ матери (если мужъ его не внушаетъ) со стороны третьяго лица, de l'autre — на этомъ, мнѣ кажется, можно бы было примириться и тѣмъ значительно смягчить, если не уничтожить зло, проистекающее отъ современныхъ нравовъ» («Германія или Франція?» 53 и слѣд.).

Что сказать о человѣкѣ, который, поднявъ на большой дорогѣ старый, истоптанный и протоптанный лапоть, прицѣпляетъ къ нему нѣсколько розовыхъ бантиковъ, выноситъ на рынокъ и выдаетъ за пару отличнѣйшихъ сапогъ? Я думаю — ничего не говорить. Пусть себѣ стоитъ съ лаптемъ людямъ на потѣху, себѣ на срамъ. Я такъ и сдѣлаю. Я изложилъ воззрѣнія m-me Леонардъ de Kourdukoff только въ качествѣ закуски, долженствующей возбудить аппетитъ читателя, приготовить его къ принятію роскошной умственной трапезы, которую я имѣю ему предложить. Въ дальнѣйшемъ у насъ не будетъ рѣчи не только о m-me Леонардъ de Kourdukoff, но, по всей вѣроятности, и о затронутой имъ сторонѣ женскаго вопроса. Она очень пикантна, эта сторона, но различныя ея рѣшенія всѣмъ давно извѣстны, они были, можетъ быть, уже Адаму и Евѣ извѣстны. Новыхъ рѣшеній я не знаю, не считая, разумѣется, рѣшенія г. Леонарда,— онъ сказалъ послѣднее слово.

А трапезу я имѣю предложить читателю дѣйствительно очень роскошную: мнѣнія о различныхъ сторонахъ женскаго вопроса въ связи съ ученіемъ о прогрессѣ, ни мало, ни много—трехъ патентованныхъ русскихъ ученыхъ. Это спеціалисты не по женскому вопросу, такихъ то мы много видали, это спеціалисты по различнымъ отраслямъ настоящей, признанной науки, увѣнчанные учеными степенями магистра и доктора — одинъ историко-филологъ и два естествоиспытателя. Къ сожалѣнію, въ трапезѣ моей есть одинъ маленькій изъянъ. Именно, одинъ изъ ученыхъ, мысли которыхъ я намѣренъ предложить читателю, не трактуетъ прямо о женскомъ вопросѣ. Но предметъ его изслѣдованія находится съ нимъ все-таки въ нѣкоторой связи. Притомъ же, кое-какія его воззрѣнія пригодятся намъ при сопоставленіи изслѣдованій двухъ другихъ ученыхъ. Я начну съ перваго ученаго, съ г. Воеводскаго, только-что получившаго магистерскій дипломъ за диссертацію «Каннибализмъ въ греческихъ миоахъ. Опытъ по исторіи развитія нравственности».

Это—ученый молодой, но настоящій ученый. Онъ упрекаетъ сочиненіе Фюстель-Куланжа «La cité antique» въ «отсутствіи достаточнаго ученаго аппарата» и имѣетъ полное право дѣлать такой упрекъ, потому что его собственное сочиненіе снабжено громаднѣйшимъ ученымъ аппаратомъ. Въ самомъ дѣлѣ, эрудиція молодого магистра громадна и—что особенно цѣнно — довольно разносторонняя. Мнѣ пришлось присутствовать на одномъ любопытномъ диспутѣ въ петербургскомъ университетѣ. Любопытенъ онъ былъ потому, что защищалась диссертація по философіи, а между тѣмъ диспутъ почти исключительно вертѣлся на филологіи, на правильности или неправильности перевода диспутантомъ латинскихъ и греческихъ цитатъ. Диспутъ г. Воеводскаго долженъ былъ имѣть (однако не имѣлъ) совершенно противоположный характеръ, такъ какъ молодой ученый поставилъ и попытался разрѣшить въ своей диссертаціи цѣлый рядъ вопросовъ философскихъ, довольно неплотно завернутыхъ въ филологическое толкованіе греческихъ миѳовъ. Ближайшая цѣль г. Воеводскаго — доказать, что доисторическіе греки, греки «героическаго періода», стояли на такой же приблизительно ступени развитія, на какой и нынѣ стоятъ нѣкоторые дикари, и что въ частности они были людоѣдами. Доказываетъ это авторъ анализомъ греческихъ миѳовъ при томъ предположеніи, что имъ должны были соотвѣтствовать извѣстныя бытовыя явленія. Нашему брату, профану, это предположеніе съ перваго же взгляда можетъ представиться вполнѣ законнымъ, но для ученыхъ филологовъ г. Воеводскій долженъ былъ написать цѣлое историко-философское изслѣдованіе, занп-

мающее чуть не больше половины книги. Профаны не могутъ имѣть никакого особеннаго пристрастія къ доисторическимъ грекамъ. Они были воры, разбойники, грабители, кровожадные звѣри, дѣтоубійцы, людоѣды, доказываетъ г. Воеводскій. Ну— и пусть. Профанъ склоненъ преимущественно думать о томъ, какъ бы нынче-то было поменьше воровъ, грабителей и душегубовъ, какъ бы они-то, нынѣшніе, не ускользали отъ суда науки, а защищать греческихъ героевъ ему нечего. Другое дѣло—ученые филологи. Для нихъ древніе греки—излюбленный народъ, подчасъ болѣе близкій и дорогой, чѣмъ собственный. И не даромъ г. Воеводскій часто упоминаетъ въ своей диссертаціи о томъ, что «при нынѣшнемъ направленіи науки» многіе его выводы должны казаться черезчуръ смѣлыми и просто дикими. Если позволительно будетъ профану смѣть свое сужденіе имѣть, то я скажу, что многіе доводы г. Воеводскаго, отнюдь не будучи дикими, весьма неубѣдительны. Такъ, мнѣ представляется весьма слабо защищеннымъ одно изъ основныхъ положеній автора: «невозможно, чтобы божеству приписывались такія качества и поступки, которые считаются въ данное время непозволительными». Не менѣе слабо, по моему мнѣнію, объясненіе происхожденія людоѣдства. Въ самомъ дѣлѣ, перебравъ различныя мнѣнія объ этомъ предметѣ, авторъ ихъ всѣ отвергаетъ и затѣмъ развиваетъ свою собственную теорію, на основаніи которой онъ «считаетъ необходимымъ производить каннибализмъ отъ ѣденія дѣтей» (177). Вотъ по истинѣ удивительная теорія. Другіе выводятъ каннибализмъ изъ нужды и голода, изъ ненависти, изъ гнѣва, изъ особеннаго вкуса человѣческаго мяса и проч. Все это нашъ авторъ отвергаетъ и выводитъ каннибализмъ изъ «ѣденія дѣтей», т. е. изъ самого себя, ибо ѣденіе дѣтей есть ѣденіе людей, т. е. каннибализмъ.

Все это однако мелочи. Важенъ общій характеръ изслѣдованія г. Воеводскаго, характеръ, вполнѣ соотвѣтствующій современному состоянію науки съ его сильными и слабыми сторонами. Авторъ говоритъ: «Прежній спиритуалистическій взглядъ на исторію человѣчества, какъ на безпрерывное паденіе человѣка отъ полнаго его совершенства до окончательной порчи (теорія дегенераціи), почти вполнѣ уступилъ мѣсто противоположному взгляду (теоріи прогресса) или же, значительно видоизмѣнившись, слился съ нимъ въ новѣйшемъ ученіи, въ такъ называемой теоріи *развитія*. Эта послѣдняя теорія и въ кажущемся паденіи усматриваетъ не что иное, какъ только дальнѣйшіе фазисы развитія, ведущаго въ сущности постоянно къ высшему совершенству всего человѣчества». Упомянувъ въ нѣсколькихъ строкахъ о заслугахъ, оказанныхъ теоріей развитія въ другихъ наукахъ, авторъ заявляетъ, что онъ намѣренъ примѣнить ее къ исторіи нравственности. Онъ и примѣняетъ ее, доказывая, что тамъ, сзади насъ, въ исторической дали, нѣтъ никакого совершенства, а есть разбой, развратъ, людоѣдство, не какъ факты только, но какъ нравственные принципы. При этомъ г. Воеводскій обнаруживаетъ такую эрудицію и такое умѣнье обращаться съ научнымъ матеріаломъ, что магистерскій дипломъ пріобрѣтенъ имъ вполнѣ по праву. Но я вспомнилъ, что мѣсяца за два, за три передъ тѣмъ, въ той же залѣ петербургскаго университета и тѣмъ же историко-филологическимъ факультетомъ былъ увѣнчанъ званіемъ магистра г. Соловьевъ за диссертацію, въ которой доказывалось, что сзади насъ, въ «религіяхъ древняго Востока», лежитъ совершенство, что, подвигаясь исторически впередъ, мысль человѣческая, собственно говоря, падала, что только Гартманъ нѣсколько поправилъ дѣло, а самъ г. Соловьевъ окончательно возстановилъ совершенство. Въ качествѣ профана я былъ очень смущенъ и даже совершенно сбитъ съ толку единовременнымъ увѣнчаніемъ диссертацій гг. Соловьева и Воеводскаго. Такъ какъ верховный судъ науки одобрилъ и того, и другого, то одобрилъ обоихъ и я, но не единовременно, потому что это для профана невозможно, а по очереди. Слушая г. Соловьева и глядя на его аскетическую, византійскую фигуру, поучающую толпу, я думалъ: да, совершенство—тамъ, въ томъ древнемъ, древнемъ мірѣ, изъ котораго вышелъ г. Соловьевъ. Слушая г. Воеводскаго и глядя, какъ онъ, современный, благообразный европеецъ во фракѣ и въ бѣлыхъ перчаткахъ, изящно поигрывая pince-nez, солидно доказывалъ, что древніе греки были людоѣды, я думалъ: ужъ, конечно, совершенство не тамъ, не въ томъ мірѣ разбоя, разврата и крови; оно здѣсь, стоитъ на каоедрѣ и поигрываетъ pince-nez.

Объ г. Соловьевѣ я ничего не говорю, потому что литература и безъ того слишкомъ много чести оказала этому ученому. Что же касается г. Воеводскаго, то къ сожалѣнію его приложеніе теоріи развитія къ исторіи нравственности кажется мнѣ построеннымъ на пескѣ. Теорія развитія, какъ ее понимаетъ Воеводскій, въ примѣненіи къ исторіи нравственности выдвигаетъ два положенія: 1) нѣтъ никакихъ незыблемыхъ, вѣчныхъ нравственныхъ принциповъ: они измѣняются во времени и про-

странствѣ; нѣтъ такихъ поступковъ, которые бы были нравственны или безнравственны сами по себѣ: нравственное сегодня можетъ быть признано преступнымъ сто лѣтъ спустя и наоборотъ; 2) измѣненіе нравственныхъ принциповъ происходитъ не безпорядочно и не отъ лучшаго къ худшему (теорія дегенераціи), а именно отъ худшаго къ лучшему: они совершенствуются. Оба эти положенія не мною навязаны теоріи развитія, а составляютъ неотъемлемую ея принадлежность, самую ея суть, и г. Воеводскій, какъ и всякій сторонникъ теоріи развитія, постоянно говоритъ о нихъ въ своей диссертаціи. Но вѣдь эти два положенія самымъ рѣзкимъ образомъ противорѣчатъ другъ другу. Г. Воеводскій часто предлагаетъ намъ отрѣшиться отъ теперешнихъ понятій о нравственности и признать, что, напримѣръ, людоѣдство, такъ отвратительное на нашъ взглядъ теперь, въ свое время могло быть и было не только безразличнымъ, а и нравственнымъ; что, слѣдовательно, оно не безнравственно по существу. Я тоже предлагаю г. Воеводскому отрѣшиться отъ теперешнихъ понятій о нравственности, о худшемъ и лучшемъ, и объяснить мнѣ, почему онъ считаетъ исчезновеніе людоѣдства переходомъ отъ худшаго къ лучшему? Мнѣ, разумѣется, ни, когда не придетъ въ голову скорбѣть объ томъ, что люди постепенно отвыкаютъ отъ людоѣдства. Но я бы желалъ знать, какія основанія имѣетъ г. Воеводскій считать это отвыканіе прогрессомъ? Я полагаю, что никакихъ научныхъ основаній онъ для этого не имѣетъ. Вѣрно, по крайней мѣрѣ, то, что ихъ нѣтъ въ его книгѣ, не смотря на всю ея ученость. Это—слабость не только г. Воеводскаго: это—слабость теоріи развитія вообще. Но въ другихъ сферахъ познанія люди, по крайней мѣрѣ, ищутъ оправданія для своихъ мѣрокъ совершенства. Въ біологіи, въ палеонтологіи, въ психологіи говорятъ объ усложненіи организма, о его приспособленіи, какъ объ общихъ признакахъ развитія. Дарвинисты говорятъ, напримѣръ, что организмы совершенствуются въ исторіи жизни на землѣ, потому что все лучше приспособляются къ условіямъ существованія. Другіе говорятъ, что прогрессъ состоитъ въ усложненіи организаціи. Хотя и здѣсь ученые люди часто вполнѣ произвольно намѣчаютъ пути и станціи развитія, но, по крайней мѣрѣ, они стараются положить предѣлъ такому произволу, стараются установить мотивы признанія однихъ явленій низшими, другихъ—высшими. Г. же Воеводскаго этотъ предметъ, повидимому, совсѣмъ не занимаетъ. Въ полномъ противорѣчіи съ своимъ собственнымъ требованіемъ, чтобы читатели отрѣшились отъ теперешнихъ понятій о нравственности, онъ безмолвно признаетъ эти теперешнія понятія высшими. Это не простая придирка, потому что указанный недостатокъ имѣетъ существенное вліяніе на весь трудъ г. Воеводскаго, Я бы назвалъ его фанатикомъ современныхъ понятій о нравственности и современной цивилизаціи, еслибы онъ не былъ такъ холодно спокоенъ, такъ непоколебимо самодоволенъ, не въ буквальномъ смыслѣ, доволенъ не только самъ собой, но и своимъ «обѣдомъ и женой» и своей цивилизаціей.

Только въ одномъ мѣстѣ своей диссертаціи г. Воеводскій довольно близко подошелъ къ тому, чего я отъ него требую. Но только подошелъ и затѣмъ отвернулся. «Уже въ самый ранній періодъ человѣческаго развитія, говоритъ онъ (стр. 14), должны были явиться взгляды на окружающую природу и на отношенія людей какъ къ этой природѣ, такъ и на отношенія ихъ другъ къ другу. Въ своемъ первоначальномъ видѣ взгляды эти не могутъ считаться ни моральными, ни религіозными, ни научными, ни, наконецъ, тѣмъ, что мы считаемъ практическими взглядами, а напротивъ, взгляды эти были самаго неопредѣленнаго качества. Если же нужно, не смотря на это, все-таки какъ-нибудь назвать ихъ, то мы назовемъ ихъ *этическими* въ самомъ обширномъ смыслѣ этого слова, не исключающемъ и не сопоставляющемъ въ себѣ ни одного изъ только-что указанныхъ нами элементовъ; не было понятія о томъ, что слѣдуетъ считать религіознымъ долгомъ и что грѣхомъ; не было также понятія о томъ, что нравственно, что разумно, что полезно; было же какое-то очень неопредѣленное и смутное понятіе о томъ, что хорошо и что нехорошо». Въ примѣчаніи къ этому мѣсту г. Воеводскій приводитъ отвѣтъ одного бушмена на вопросъ о различіи добра и зла: «хорошо украсть чужую жену, но худо, если у меня самого украдутъ мою». Я ждалъ, что г. Воеводскій не только разскажетъ, какъ изъ этой первобытной неопредѣленности обособились наши опредѣленныя нравственныя, религіозныя, правовыя, утилитарныя понятія (это онъ отчасти дѣлаетъ), но прослѣдитъ какъ-нибудь эту идею и въ области нравственности, назоветъ высшими нравственными понятіями, напримѣръ, болѣе опредѣленныя (это я именно только къ примѣру говорю) и затѣмъ покажетъ, что теперешнія понятія, напримѣръ, о дѣтоубійствѣ болѣе опредѣленны, чѣмъ первобытныя. Подобная работа была бы очень полезна въ теоретическомъ отношеніи, потому что тогда никто бы уже не смѣлъ уличать г. Воеводскаго въ проти-

ворѣчіи и въ произвольномъ признаніи теперешнихъ понятій высшими. Но не менѣе полезна она была бы и въ практическомъ отношеніи, потому что давала бы руководящую нить и для будущаго. Но ничего такого г. Воеводскій на далъ.

Это, къ сожалѣнію, лишаетъ меня возможности почерпнуть изъ труда г. Воеводскаго что-нибудь для приложенія теоріи развитія къ женскому вопросу. Можно развѣ только сказать, что въ древности положеніе женщины было худо, что тогда женъ даже въ пищу употребляли, находя женское мясо наравнѣ съ дѣтскимъ особенно вкуснымъ, но что съ тѣхъ поръ все улучшается, «развивается». Это, конечно, очень утѣшительно, но вмѣстѣ съ тѣмъ очень скудно. Къ счастью свѣтъ не клиномъ сошелся на г. Воеводскомъ, и теорія развитія не имъ однимъ исповѣдуется. Два русскихъ естествоиспытателя одновременно занялись непосредственнымъ ея приложеніемъ къ женскому вопросу. И хотя они при этомъ пришли къ замѣчательно несходнымъ результатамъ, но, по крайней мѣрѣ, оба вложили болѣе или менѣе опредѣленный смыслъ въ понятія развитія и прогресса. Одинъ изъ этихъ ученыхъ есть г. Шкляревскій, кіевскій профессоръ медицинской физики, сказавшій на прошлогоднемъ университетскомъ актѣ рѣчь «Объ отличительныхъ свойствахъ мужского и женскаго типовъ въ приложеніи къ вопросу о высшемъ образованіи женщинъ». У меня эта рѣчь находится въ видѣ отдѣльной брошюры. Другое произведеніе, на которое я хочу обратить вниманіе читателя, есть статья г. Мечникова: «Возрастъ вступленія въ бракъ» («Вѣстникъ Европы» 1874, № 1).

Въ нашихъ безконечныхъ разговорахъ о женскомъ вопросѣ, о женскомъ трудѣ, о самостоятельности женщины г. Шкляревскій замѣтилъ недостатокъ твердо установленнаго принципа, «на основаніи котораго можно бы было съ научною объективностью обсуждать вопросы о женскомъ трудѣ и женскомъ образованіи». Такой принципъ г. Шкляревскій рѣшился искать и нашелъ путемъ біологическаго изслѣдованія отношеній между мужскимъ и женскимъ элементами въ органической природѣ вообще. А затѣмъ, найдя на основаніи этого принципа общее рѣшеніе женскаго вопроса, онъ переходитъ къ частному вопросу: что должно сдѣлать государство уже теперь для удовлетворенія пробудившемуся стремленію женщинъ къ высшему образованію?

Пойдемте подъ руководствомъ г. Шкляревскаго въ глубь природы, читатель. Тамъ мы увидимъ вѣковѣчную смѣну жизни и смерти: организмы рождаются, живутъ и умираютъ. Смерть жатву жизни коситъ, но именно только коситъ, и не истребляетъ, потому что не всѣ индивидуумы умираютъ. Есть между ними такіе, которые въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ могутъ существовать и существуютъ неопредѣленно долго, вѣка, тысячелѣтія. Въ числѣ клѣточекъ этихъ почти безсмертныхъ индивидовъ есть одна, совмѣщающая въ себѣ всѣ особенности цѣлаго. На ней отражается вся исторія цѣлаго организма, всѣ вліявшія на него и его предковъ внѣшнія событія и всѣ совершавшіеся въ немъ перевороты. Клѣточка эта содержитъ въ себѣ также всѣ входящіе въ составъ организма химическіе элементы и кромѣ того запасъ силы, достаточный для приведенія клѣточки въ самостоятельную дѣятельность. Наступаетъ минута, когда цѣлый организмъ распадается на двѣ части: одна изъ нихъ болѣе или менѣе скоро подкашивается смертью, другая—наша клѣточка—начинаетъ быстро расти и развиваться по образу и подобію цѣлаго, отъ котораго отдѣлилась. Съ теченіемъ времени и она или, вѣрнѣе, развившійся изъ нея организмъ тоже умретъ, но опять-таки не весь, потому что и въ немъ есть такая же клѣточка, унаслѣдывающая особенности цѣлаго и способная къ самостоятельной жизни. Такимъ образомъ индивидъ умираетъ не весь, часть его остается жить въ видѣ второго индивида, часть этого второго въ видѣ третьяго и т. д., и т. д. Индивидъ образуетъ «генеалогическую цѣпь», по которой неопредѣленно долго жизнь переливается отъ одного поколѣнія къ другому. Но жизнь состоитъ въ превращеніи напряженной силы или потенціальной энергіи питательныхъ веществъ въ живую силу или актуальную энергію жизненныхъ процессовъ. Слѣдовательно, по генеалогической цѣпи передается извѣстный запасъ напряженной силы, не растрачиваемый индивидами цѣпи на свои личныя цѣли. Поэтому г. Шкляревскій называетъ ихъ «потенціальнымн индивидами». Было время, когда вся органическая природа состояла исключительно изъ такихъ потенціальныхъ индивидовъ. И для поддержанія непрерывности органической жизни нѣтъ собственно и надобности въ иныхъ ея формахъ. Индивиды генеалогическихъ цѣпей могли бы даже прогрессировать, хотя и медленно: каждая развивающаяся клѣточка наслѣдуетъ всѣ наростанія измѣненій, какія жизнь производитъ въ предшествующихъ членахъ цѣпи и, слѣдовательно, здѣсь имѣется постоянный прогрессъ. Однако такой моногенетическій міръ представлялъ бы большія несовершенства. Случайная преждевременная смерть индивида обрывала бы существованіе всей цѣпи. Еслибы природа пара-

лизировала эту возможность утраты наслѣдія цѣлыхъ поколѣній такимъ образомъ, что не одна, а нѣсколько клѣточекъ индивида получили бы способность къ самостоятельной жизни, то и это представляло бы огромныя неудобства. «Размножаясь въ геометрической прогрессіи, виды представили бы въ очень короткое время громадное число почти тождественныхъ индивидуумовъ. Эти однородные индивидуумы имѣли бы, конечно, и одинаковыя потребности къ поддержанію и улучшенію своего существованія. При недостаткѣ въ окружающей средѣ средствъ къ ихъ удовлетворенію, который не замедлитъ обнаружиться при всякомъ чрезмѣрномъ размноженіи индивидуумовъ, непримиримая, истребительная война закипѣла бы между ними въ безконечно большихъ размѣрахъ, чѣмъ мы наблюдаемъ ее теперь, и въ силу ея весь прогрессъ органическаго міра направился бы главнымъ образомъ на улучшеніе органовъ и способностей къ уничтоженію себѣ подобныхъ. Такимъ образомъ моногенетическій міръ *исключительно женскихъ индивидуумовъ*, вопреки тому, что можно было бы подумать съ перваго взгляда, былъ бы міромъ вражды, насилія, борьбы за существованіе въ самой отвратительной ея формѣ, въ формѣ парricидизма, т. е. истребленія своихъ ближайшихъ родственниковъ для спасенія собственной жизни» (9).

Я подчеркнулъ слова: *исключительно женскихъ индивидуумовъ* потому, что не успѣлъ еще сказать, что, по мнѣнію г. Шкляревскаго, потенціальные индивиды и женскіе—одно и тоже. Хотя моногенетическіе индивиды, собственно говоря, безполы, но на основаніи разныхъ соображеній, которыя я излагать не стану, г. Шкляревскій доказываетъ, что участіе мужскихъ недѣлимыхъ въ явленіяхъ воспроизведенія себѣ подобныхъ играетъ второстепенную роль. Завѣдомо женскіе индивиды производятъ иногда себѣ подобныхъ одни, безъ участія мужскаго элемента; индивиды мужскіе на это неспособны.

Итакъ, органическій міръ былъ нѣкогда исключительно моногенетическимъ и состоялъ изъ потенціальныхъ или женскихъ индивидовъ, связанныхъ въ генеалогическія цѣпи. Такіе индивиды существуютъ и понынѣ на низшихъ ступеняхъ жизни. Первымъ шагомъ, нарушившимъ это однообразіе, было появленіе гермафродитовъ, въ которыхъ мужской и женскій элементы обозначаются все яснѣе. «Такимъ образомъ на основаніи принципа распредѣленія труда совершается освобожденіе гермафродитовъ отъ соотвѣтственной половины генетической дѣятельности, а это открываетъ имъ возможность тѣмъ большаго совершенствованія относительно другихъ отправленій». Наконецъ, моногенезисъ смѣняется вполнѣ опредѣленнымъ амфигенезисомъ, т. е. рожденіемъ отъ двухъ родительскихъ организмовъ, женскаго и мужского. Мужской индивидъ совершенно подобенъ женскому, потенціальному, за исключеніемъ того, что онъ лишенъ способности производить генеалогическую цѣпь. «*Это были, слѣдовательно, какъ бы неудавшіяся или менѣе совершенныя женскія недѣлимыя*». Мужскіе индивиды суть представители живой силы или актуальной энергіи даннаго вида, почему г. Шкляревскій и называетъ ихъ индивидами актуальными. Не смотря на тождественность ихъ организаціи съ организаціей женскихъ индивидовъ, жизненный процессъ тѣхъ и другихъ существенно различенъ. Въ актуальныхъ, мужскихъ индивидахъ запасъ живой силы не дѣлится на двѣ части, онъ весь уходитъ на личныя цѣли индивида, а потому въ нихъ преобладаютъ формы живой силы и механической работы. Въ женскихъ индивидахъ, напротивъ, жизненный процессъ имѣетъ болѣе скрытую форму потенціальной энергіи, потому что часть ихъ силы должна сохраняться въ видѣ запаса для будущихъ поколѣній.

Появленіе актуальныхъ индивидовъ и замѣна моногенезиса амфигенезисомъ имѣли чрезвычайно важныя послѣдствія и радикально измѣнили и формы, и характеръ органической жизни. Прежде всего устранилась опасность той кровавой борьбы, того парricидизма, который, какъ мы видѣли, грозилъ моногенетическому міру. Принципомъ амфигенетическаго міра стала любовь. Она связала тѣснѣйшими узами индивиды актуальные и потенціальные. Вотъ какъ поэтически описываетъ г. Шкляревскій зарожденіе и развитіе этого чувства: «Можно думать, что происхожденіе этого чувства чисто психическое. Одновременное глубокое сходство между потенціальными и актуальными индивидами въ основныхъ чертахъ организаціи и различіе въ характерѣ внѣшнихъ проявленій ея играло, вѣроятно, при этомъ главную роль. Какъ изображеніе въ хрустальной глубинѣ воды, должно было притягивать къ себѣ это странное отраженіе въ другомъ собственнаго существа. Въ немъ чуялось что-то родственное и въ то же время чужое, что-то непосредственно понятное и въ то же время интригующее какою-то тайной. Любопытство должно было сильно возбуждаться этой загадкой, надъ ея разрѣшеніемъ должна была работать и фантазія, и внимательное, трезвое наблюденіе. Передать этому другому существу все, что поражаетъ въ окружающемъ мірѣ или возникаетъ въ глубинѣ собственнаго сознанія, узнать отъ него его собственную повѣсть о томъ

же должно было доставлять совершенно особенное удовольствіе самымъ примитивнымъ существамъ, снабженнымъ самыми элементарными психическими силами» (40).

Планъ моихъ записокъ читателю извѣстенъ: я беру мнѣнія умныхъ или, по крайней мѣрѣ, ученыхъ людей, сопоставляю ихъ, сравниваю и лично на себя беру только подвести итогъ. Такъ и теперь я имѣю въ виду главнымъ образомъ свести на очную ставку мнѣнія гг. Шкляревскаго и Мечникова, прихвативъ по возможности и г. Воеводскаго. Но выписавъ краснорѣчивое изображеніе г. Шкляревскимъ любви, я не могу удержаться отъ одного бѣглаго замѣчанія. Не отрицая ни поэтичности этого изображенія, ни примѣчательности его въ устахъ медика и натуралиста, которыхъ такъ часто упрекаютъ въ матеріализмѣ, не трудно однако видѣть, что изображеніе это грѣшитъ натянутостью. «Фантазія» и способность къ «внимательному трезвому наблюденію» далеко не «самыя элементарныя психическія силы». Указанные г. Шкляревскимъ чисто психическіе моменты любви, безъ сомнѣнія, имѣютъ мѣсто въ высшихъ существахъ, но ужъ, конечно, «примитивнымъ существамъ», даже не современникамъ появленія амфигенезиса, а и гораздо позднѣйшимъ, было не до нихъ. И вообще странно видѣть теорію любви, въ которой блещетъ своимъ отсутствіемъ ея физіологическая основа. Это было бы странно даже по отношенію къ человѣку, а тѣмъ паче по отношенію ко всему амфигенетическому міру. Это впрочемъ мимоходомъ. Перехожу къ дальнѣйшимъ выводомъ нашего автора.

Слѣдствіями укрѣпленія амфигенезиса были обогащеніе, разнообразіе и прочность органическаго міра. Теперь уже исчезла опасность, что со смертью одного индивида оборвется генеалогическая цѣпь и пропадетъ все, добытое трудомъ и жизнью безчисленныхъ поколѣній. Цѣпь, оканчивающаяся актуальнымъ индивидомъ, не исчезаетъ съ нимъ, она прививается къ какой-нибудь другой цѣпи и вливаетъ въ нее весь запасъ усовершенствованій, выработанныхъ рядомъ членовъ первой цѣпи. Отсюда эти усовершенствованія передаются третьей цѣпи и т. д. Вмѣсто изолированныхъ, замкнутыхъ генеалогическихъ цѣпей получается сложная генеалогическая сѣть, перекрещивающаяся въ безчисленныхъ комбинаціяхъ. Слѣдовательно и потенціальные, и актуальные индивиды имѣютъ свои опредѣленныя задачи. Роль первыхъ существенно консервативная, роль вторыхъ—реформирующая, обновляющая. И тѣ, и другіе одинаково необходимы въ экономіи природы. Уничтожьте потенціальные, женскіе индивиды, — и жизнь прекратится, потому что актуальные индивиды сами по себѣ неспособны ее продолжать. Уничтожьте индивиды мужскіе, актуальные, — и жизнь вернется къ первобытной скудости исключительно моногенетическихъ формъ.

Таковъ принципъ, приложеніе котораго къ человѣческому роду должно наконецъ разрѣшить vexata questio—женскій вопросъ. Вы уже, безъ сомнѣнія, догадываетесь, читатель и читательница, каковъ будетъ дальнѣйшій ходъ аргументаціи г. Шкляревскаго. Особенно вы, читательница, потому что съ свойственною вамъ проницательностью, о которой говоритъ и г. Шкляревскій, вы предчувствуете тотъ ворохъ любезностей, которыя повергнетъ къ вашимъ стопамъ этотъ ученый, любезностей, тѣмъ болѣе цѣнныхъ, что онѣ исходятъ отъ ученаго и покоятся на почвѣ науки. Любезностей дѣйствительно много. Прежде всего г. Шкляревскій возстаетъ противъ того довольно распространеннаго мнѣнія, что особенности женской организаціи составляютъ искусственный продуктъ ея особеннаго воспитанія въ жизни *въ цѣломъ ряду поколѣній*. Онъ напоминаетъ, что женщина родится не только отъ женщины, какъ и мужчина не только отъ мужчины, и что поэтому унаслѣдованные результаты воспитанія матери должны парализироваться въ дочери унаслѣдованными результатами воспитанія отца. Можно бы было однако возразить, что тутъ дѣло не въ цѣломъ ряду поколѣній, а въ томъ, что каждая женщина, каковы бы ни были ея природныя, унаслѣдованныя качества, ставится въ извѣстныя, особенныя условія воспитанія и жизни. Но г. Шкляревскій доказываетъ, что эти условія жизни и воспитанія отнюдь не испортили женщины, ибо она должна быть поставлена скорѣе выше, чѣмъ ниже мужчины. Говорятъ, напримѣръ, о физической слабости женщины, называютъ женскій полъ слабымъ. Это вовсе несправедливо. Согласно различію между актуальными и потенціальными индивидами, женщина слабѣе мужчины проявленіями живой силы, но сильнѣе его запасомъ напряженной силы. Такъ, мышечная система и скелетъ у женщинъ слабѣе, чѣмъ у мужчинъ. Это понятно, потому что мышцы и скелетъ составляютъ главный аппаратъ, которымъ мы производимъ работу, т. е. переводимъ нашу потенціальную энергію въ актуальную, въ живую силу. Точно также у женщинъ слабѣе другая форма превращенія потенціальной энергіи въ живую силу: образованіе животной теплоты. У нихъ слабѣе дыхательный процессъ, вслѣдствіе чего медленнѣе метаморфозъ вообще. И это собственно говоря — не недостатки, потому что, не смотря на относительно малый размѣръ мышечно-костной машины у женщинъ, она работаетъ вполнѣ исправно. Медленность же

метаморфоза даже гарантируетъ женщинамъ нѣкоторыя преимущества передъ мужчинами. Благодаря ей, онѣ могутъ довольствоваться меньшимъ количествомъ пищи и меньшей пропорціей кислорода въ воздухѣ. Что же касается до запаса напряженныхъ, потенціальныхъ силъ, то онъ у женщинъ положительно больше. Замѣчено, что женщины чрезвычайно быстро поправляются послѣ трудныхъ болѣзней, гораздо быстрѣе, чѣмъ мужчины; равнымъ образомъ у нихъ быстрѣе заживаютъ раны. Это зависитъ отъ присутствія въ ихъ организмѣ большого числа пластическихъ желѣзъ, которыя представляютъ запасы скопленія клѣточекъ, не имѣющихъ еще опредѣленнаго назначенія. Это, такъ сказать — кладовыя жизни. Изъ хранящихся въ нихъ неприспособившихся къ спеціальной дѣятельности клѣточекъ, смотря по надобностямъ организма, пополняется убыль клѣточекъ крови, мускуловъ, мозга и т. д. У женщинъ таковыхъ кладовыхъ больше, чѣмъ у мужчинъ. Обращаясь къ психической организаціи женщины, мы встрѣчаемся съ мнѣніемъ, что женщина въ этомъ отношеніи ниже мужчины, въ доказательство чего приводится тотъ фактъ, что ея мозгъ приблизительно на четверть фунта легче мозга мужчины. Подробнымъ разсчетомъ, въ который не введены, кромѣ вѣса мозга, вѣсъ всего тѣла, и вѣсъ двигательной системы, г. Шкляревскій доказываетъ, что вѣсъ мозга женщины, не только относительно, а даже абсолютно больше вѣса мозга мужчины. «Этому результату, прибавляетъ авторъ, не слѣдуетъ, конечно, придавать больше значенія, чѣмъ онъ вѣроятно имѣетъ. Кромѣ массы, въ отправленіяхъ мозга несомнѣнно играетъ роль также большая или меньшая тонкость организаціи. *Но не лишено интереса, что именно мужчинѣ придется ссылаться на гипотетическую тонкость организаціи для доказательства равноправности своего мозга съ женскимъ въ психическомъ отношеніи.* Болѣе осязательное преимущество массы оказывается при внимательномъ разсмотрѣніи на сторонѣ женщины». И это относится не только къ органу психической жизни, а и къ ней самой. Бокль называетъ умъ женщины по преимуществу дедуктивнымъ. Вунтъ—преимущественно индуктивнымъ. Г. Шкляревскій не видитъ въ этомъ противорѣчія. Въ основѣ всѣхъ психо-физическихъ явленій лежитъ несознаваемое логическое умозаключеніе, исходный пунктъ котораго есть нѣчто конкретное и, слѣдовательно, мы можемъ назвать нашу психо-физическую дѣятельность индуктивнымъ мышленіемъ. Продукты этого мышленія, вмѣстѣ съ унаслѣдованными продуктами мышленія длиннаго ряда предковъ, составляютъ сферу «безсознательной психической жизни индивида». Область сознательной психической дѣятельности ничтожна въ сравненіи съ сферою дѣятельности безсознательной, но и въ той, и въ другой царятъ одни и тѣ же логическіе законы. Поэтому дедукція можетъ быть названа безсознательной индукціей: ея первая посылка есть въ сущности результатъ индуктивнаго умозаключенія, совершавшагося безсознательно, но по тѣмъ же логическимъ законамъ. Когда говорятъ о находчивыхъ ораторахъ, о вдохновенныхъ поэтахъ, о быстро ориентирующихся практическихъ людяхъ, о геніяхъ и проч., то говорятъ о людяхъ, имѣющихъ въ своемъ распоряженіи богатый и подвижный матеріалъ въ безсознательной сферѣ души. «Представленія и идеи свободно и логически законно притекаютъ къ ихъ сознанію изъ сферы безсознательнаго. Подобнымъ же свойствомъ отличается умственная дѣятельность женщины», прибавляетъ г. Шкляревскій. «Логическій процессъ ея отличается быстротою, потому что первая большая посылка его обыкновенно уже готова въ сферѣ безсознательнаго и тотчасъ представляется ея уму въ подходящемъ случаѣ». Затѣмъ слѣдуютъ нѣкоторыя разсужденія о сообразительности, остроуміи, находчивости, хитрости (не въ смыслѣ однако недостатка правдивости) женщинъ. Разсужденій этихъ я приводить не буду, потому что они и помимо г. Шкляревскаго много разъ высказывались, и еще потому, что они идутъ не «отъ науки», а отъ житейскаго наблюденія, болѣе или менѣе поверхностнаго. Научныхъ доказательствъ, напримѣръ, того, что обычный процессъ женской мысли подобенъ процессу мысли геніальнаго мужчины, г. Шкляревскій не представляетъ. Такъ или иначе, но и здѣсь женщина оказывается скорѣе выше, чѣмъ ниже мужчины. То же самое и въ нравственной области. «Съ понятіемъ нравственности мы соединяемъ нежеланіе руководиться въ своихъ дѣйствіяхъ исключительно личными цѣлями. Такое нежеланіе естественно должно въ большемъ размѣрѣ проявляться въ потенціальныхъ индивидуумахъ, личная жизнь которыхъ составляетъ только частицу заключенной въ нихъ видовой жизни... Интересы личной жизни, по самой сущности женской природы, отступаютъ у нея на гораздо болѣе отдаленный планъ, чѣмъ у живущаго актуальной жизнью индивидуума». Это положеніе опять подтверждается почерпнутыми изъ житейскаго наблюденія разсужденіями о самоотверженіи женщинъ, объ ихъ энергіи въ неудачахъ и т. д. Въ концѣ концовъ: «женскій и мужской типъ человѣка отличается другъ отъ друга существенными чертами. Это отличіе

не составляетъ искусственнаго продукта случайныхъ условій, но коренится въ проходящей черезъ всю органическую природу разницѣ между потенціальными и актуальными представителями даннаго вида. Женщина по натурѣ своей первоначальнѣе, ближе къ основному типу человѣка, отъ котораго мужчина составляетъ нѣсколько одностороннее уклоненіе. Мы не должны поэтому удивляться, что почти всѣ важнѣйшія открытія и изобрѣтенія въ наукѣ, искусствѣ и жизни были сдѣланы мужчинами. Объясненіе этого факта очевидно должно искать въ большей наклонности къ спеціализму и односторонности мужского типа. Между мужчинами, говоритъ знаменитый физіологъ Бурдахъ, встрѣчается больше геніевъ, но зато и больше глупцовъ. Между женщинами, напротивъ, преобладаетъ приближеніе къ среднему типу... Женская натура цѣльнѣе, уравновѣшеннѣе и гармоничнѣе. Уклоненія въ ту или въ другую сторону встрѣчаютъ въ ней несравненно большее противодѣйствіе, чѣмъ въ мужчинѣ. Стыдливость женщины составляетъ какъ бы механическое послѣдствіе этихъ условій ея организаціи равно какъ и ея инстинктивное чутье истины, добра и изящнаго. Вопреки распространенному теперь мнѣнію, мы можемъ, слѣдовательно, утверждать, что *женственность* — не пустое слово; подъ этимъ именемъ скрывается значительная сумма совершенно конкретнаго содержанія».

Вотъ что говоритъ наука, читательницы. Оно лестно, конечно, но не совсѣмъ безопасно. По крайней мѣрѣ, я на вашемъ мѣстѣ не особенно радовался бы этой массѣ любезностей. Дебаты о превосходствѣ мужчинъ или женщинъ, сравненія представителей обоихъ половъ въ физическомъ, умственномъ и нравственномъ отношеніяхъ составляютъ довольно обыкновенно явленіе. Ими занимались и занимаются люди очень различнаго роста. Занимался Прудонъ, который, какъ извѣстно, пришелъ къ заключеніямъ, для женщинъ очень нелестнымъ; занимается и какая-то героиня Островскаго, предлагающая «кавалеру» вести разговоръ о мужчинѣ и женщинѣ съ тѣмъ, чтобы каждый защищалъ «свое званіе». На мѣстѣ женщинъ я бы остерегался защищать такимъ образомъ свое званіе, потому что боялся бы вопроса: если вы и теперь такъ хороши, то какого, съ позволенія сказать, рожна вамъ еще нужно? зачѣмъ требуете вы измѣненія тѣхъ условій жизни, которыя поставили васъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ даже выше мужчины и во всякомъ случаѣ не ниже? Этотъ ядовитый вопросъ скрывается въ восторженныхъ похвалахъ женскому званію, какъ иногда отвратительная жаба прячется въ цвѣтникѣ душистыхъ розъ и фіалокъ. Женщины многократно слыхали такого рода воззванія: о вы — высшія, почти неземныя созданія, вы—вѣнецъ творенія! Недаромъ капуста создана прежде козла, козелъ прежде Адама, а Адамъ прежде Евы. Это потому, что женщина выше мужчины, мужчина выше козла, а козелъ выше капусты. Вы, вѣнецъ творенія, не должны мараться объ дрязги жизни, вамъ должна быть предоставлена болѣе высокая дѣятельность! Васъ должна окружать не грязь земли, а лазурь небесъ, изумрудъ луговъ, алмазы звѣздъ... между прочимъ, пожалуйте въ кухню! На мѣстѣ женщины я бы охотнѣе выслушалъ совсѣмъ другого рода апострофы. Напримѣръ: о, тунеядцы, притупившіе въ себѣ силу мысли бездѣятельностью мозга и силу чувства замкнутостью въ кругѣ интересовъ, діаметръ котораго равенъ вершку! Жалкія созданія, не принимающія прямого участія въ крестномъ пути человѣчества и не понимающія, что значитъ терновый вѣнецъ! и т. п. Эта грубая ругань была бы несправедлива, но, читательницы, выслушавъ ее, вы могли бы сказать: такъ дайте же намъ удлинить діаметръ круга нашихъ интересовъ! пустите насъ на крестный путь человѣчества! вотъ вамъ мой бальный вѣнокъ? давайте сюда терновый! я вамъ покажу, какъ его надо носить!.. Да, timeo Danaos et dona terentes, думалъ бы я, слушая рѣчи, вытекающія изъ медоточивыхъ устъ г. Шкляревскаго. Нѣтъ-ли жабы въ этомъ роскошномъ цвѣтникѣ? Не безъ того. Г. Шкляревскій отнюдь не сторонникъ предоставленія женщинамъ широкой общественной дѣятельности, онъ для этого слишкомъ высоко цѣнитъ «женственность». Наиболѣе ушедшіе впередъ въ примѣненіи женскихъ силъ къ общественной дѣятельности, американскіе порядки онъ не одобряетъ, обращая вниманіе на оборотную сторону этихъ порядковъ, — на статистически дознанныя безплодіе американскихъ женщинъ и физическое вырожденіе кореннныхъ американцевъ вообще. Вырожденіе это состоитъ главнымъ образомъ (и особенно у женщинъ) въ атрофіи желѣзистыхъ тканей, въ недостаткѣ тѣхъ кладовыхъ жизни, о которыхъ было говорено выше. Г. Шкляревскій естественно видитъ въ этомъ наказаніе, налагаемое природой за нарушеніе ея законовъ. Главною сферою дѣятельности женщины, по мнѣнію г. Шкляревскаго, всегда останется и должна оставаться семья. Однако должно ему отдать справедливость, онъ не говоритъ: пожалуйте въ кухню! Онъ вполнѣ согласенъ, что есть незанятыя женскія руки, которымъ должна быть найдена работа, и голодные женскіе желудки, которымъ должна быть пріис-

кана пища. Именно эти соображенія и побудили его сказать свою рѣчь о женскомъ образованіи. Онъ требуетъ только, чтобы образованіе это находилось въ соотвѣтствіи съ тѣми особенностями потенціальныхъ индивидовъ, которыя мы, слѣдуя за нимъ, изложили выше. Вотъ его планъ. 1) Женщины должны получать въ особыхъ школахъ приготовительное образованіе, центромъ тяжести котораго должно быть изученіе отечественнаго языка; къ этому предмету должны примыкать: математика, исторія, элементы естествовѣдѣнія», два иностранные языка (изъ нихъ одинъ—латинскій), одно тоническое и одно изобразительное искусство. Само собою разумѣется, «религіозный христіанскій элементъ, такъ много говорящій душѣ женщины». 2) «Возможно полное гуманическое образованіе, состоящее изъ историческаго, литературнаго и эстетическаго элементовъ». 3) «Профессіональное образованіе, имѣющее главнымъ образомъ въ виду педагогическую дѣятельность женщины, и притомъ въ гораздо большемъ размѣрѣ, чѣмъ это было до сихъ поръ». Послѣднія два требованія достиглись бы учрежденіемъ во всѣхъ университетскихъ городахъ женскихъ педагогическихъ институтовъ съ двумя факультетами — историко-филологическимъ и физико-математическимъ. Что касается до представленія женщинамъ медицинской профессіи, то къ этому вопросу г. Шкляревскій относится нѣсколько двусмысленно. Съ одной стороны онъ настежь отворяетъ двери медицинской профессіи передъ женщинами, требуетъ, чтобы на это дѣло не жалѣли никакихъ расходовъ, чтобы для женщинъ были учреждены стипендіи, чтобы имъ былъ открытъ доступъ ко всѣмъ ступенямъ медицинской профессіи, чтобы имъ были предоставлены всѣ связанныя съ ними официальныя права. Но, во-первыхъ, все это отнесено имъ въ примѣчанія, въ текстѣ же рѣчи медицина не включена въ проектъ женскаго образованія, тамъ профессіональное образованіе ограничено педагогикой. Во-вторыхъ, онъ распахиваетъ двери своей профессіи передъ женщинами не ради ихъ, а ради нуждъ государства, которымъ наличное количество медиковъ-мужчинъ не удовлетворяетъ. Онъ даетъ при этомъ понять что, собственно говоря, медицина мало «гармонируетъ съ особенностями женской натуры» (47) и что женщины, «которыя могутъ съ честью проходить медицинскую карьеру, во всякомъ случаѣ скорѣе исключенія, чѣмъ правила». То же относится и къ карьерѣ юридической (32). Онъ все-таки стоитъ на томъ, что нормальная сфера дѣятельности женщины есть семья; педагогическая профессія цѣнится имъ преимущественно потому, что «она всего менѣе отрываетъ женщину отъ собственной семьи». Но для выполненія своего назначенія въ семьѣ женщина должна получать несравненно болѣе широкое образованіе, чѣмъ получаемое ею теперь. Какое именно — на это отвѣчаетъ его проектъ.

Ласковое теля двухъ матокъ сосетъ,—говоритъ пословица. Г. Шкляревскій есть ласковое теля. Это я заключаю и изъ нѣкоторыхъ побочныхъ орнаментовъ его рѣчи, объ которыхъ говорить не стану, и изъ ея сути. Въ самомъ дѣлѣ, онъ роздалъ всѣмъ сестрамъ по серьгамъ! Его рѣчью могутъ остаться довольны и женщины, и мужчины, и реалисты, и идеалисты, и сторонники, и противники женскаго вопроса, и даже отчасти сторонники весьма различныхъ системъ образованія вообще. Въ подробностяхъ его изложенія читатель найдетъ весьма искусное лавированіе между многочисленными, лежавшими на его пути отмелями и подводными камнями. Не смотря на то, его проектъ женскаго образованія, равно какъ и сопровождающіе его комментаріи, кажется дѣйствительно заслуживаютъ вниманія, объ чемъ, впрочемъ, предоставляю судить другимъ. Я замѣчу только слѣдующее: ни самый проектъ, ни мотивированіе его не имѣютъ непосредственной связи съ трактатомъ о потенціальныхъ и актуальныхъ индивидахъ. Да и вообще слѣдовъ спеціальности автора въ проектѣ нѣтъ, если не считать поэтическаго изложенія состоянія женскаго организма въ возрастѣ 13—16 лѣтъ, которое (состояніе) не позволяетъ давать женщинамъ ни полнаго классическаго образованія (т. е. съ двумя древними языками), ни основаннаго на математикѣ. Вѣрно или не вѣрно это соображеніе, но ради него не стоило уходить въ сѣдую древность исключительно моногенетическаго міра. Однако разъ мы тамъ побывали, резюмируемъ словами самого г. Шкляревскаго результаты нашего путешествія.

Мы видѣли, что отличія между мужчиной и женщиной состоятъ не въ томъ, что у одного пола есть силы или способности, совершенно неизвѣстныя другому, а только въ томъ, что присущее имъ обоимъ количество силы распредѣлено въ различныхъ полахъ неодинаково между различными отправленіями... Какъ отъ мужчинъ, такъ и отъ женщинъ приходится слышать убѣжденіе, что именно мужчина составляетъ высшій типъ. Но вы видѣли, что не только въ психическомъ, но и въ физическомъ отношеніи женщина имѣетъ нѣкоторыя несомнѣнныя преимущества передъ мужчиной, хотя съ другой стороны этотъ послѣдній тоже обладаетъ нѣкоторыми свойствами, въ которыхъ ему уступаетъ женщина. Какъ рѣшить, что выше: большая мышечная сила или большая пластическая сила организма; большая опредѣленность логическаго мышленія или большее богатство безсознательной сферы; сохраненіе-ли общихъ видовыхъ при-

знаковъ или постоянное внесеніе въ нихъ новыхъ комбинацій? Очевидно, всѣ эти свойства равно важны, но такъ какъ они на извѣстной высотѣ развитія до нѣкоторой степени исключаютъ другъ друга, то и оказалось невозможнымъ совмѣщеніе ихъ въ одномъ индивидуумѣ въ болѣе совершенныхъ видахъ. *Прогрессъ въ организмахъ совершается только вслѣдствіе дифференцированія формъ и раздѣленія труда.* Нѣтъ никакого сомнѣнія, что ни спеціально женскія, ни спеціально мужскія особенности не достигли бы даже отдаленно-наблюдаемой теперь полноты развитія, если бы культура ихъ не была предоставлена отдѣльнымъ индивидуумамъ. Мечтать о томъ, чтобы съ помощью воспитанія или общественнаго устройства можно было сдѣлать женщину подобною мужчинѣ, значитъ колоссально заблуждаться относительно размѣровъ нашихъ собственныхъ силъ и относительно нашей независимости отъ общихъ законовъ природы. *Мы безсильны произвести подобный регрессъ нашей природы,*—и въ этомъ наше счастье.

Аминь. Въ подчеркнутыхъ мною строкахъ заключается самая суть воззрѣній г. Шкляревскаго на теорію развитія, та самая суть, около которой ходилъ г. Воеводскій. Г. Воеводскій просто говоритъ: по теоріи развитія все бываетъ сначала дурно, а потомъ постепенно совершенствуется. Г. Шкляревскій дополняетъ это положеніе: все бываетъ сначала дурно, потому что бѣдно, однообразно, а потомъ постепенно совершенствуется, потому что усложняется, дифференцируется. Конечно, это условно, но, по крайней мѣрѣ, я понимаю человѣка, знаю въ чемъ именно по его мнѣнію состоитъ развитіе. Оно состоитъ въ полиморфизмѣ, въ многоформенности. И на первый взглядъ можетъ показаться, что того же мнѣнія держится и г. Воеводскій. Одинъ ученый слѣдитъ, какъ изъ царства моногенезиса образовалось, черезъ ступень гермафродитизма, царство амфигенезиса, и какъ въ этомъ царствѣ мужской и женскій типы ко всеобщему благополучію расходились. Другой ученый слѣдитъ, какъ изъ первобытной бушменской формулы «хорошо украсть и дурно быть обокраденнымъ» образовались болѣе сложныя понятія о добрѣ и злѣ, какъ образовались понятія полезнаго, нравственнаго, религіознаго. Однако я не могу поручиться, что оба ученые понимаютъ теорію развитія одинаково. У г. Воеводскаго раздробленіе, дифференцированіе понятій о добрѣ и злѣ происходитъ внутри *одной и той же личности.* Тотъ же бушменъ, который полагалъ, что хорошо украсть и дурно быть обокраденнымъ, съ теченіемъ времени, вмѣсто простой квалификаціи: хорошо, дурно, — получаетъ возможность болѣе тонкой, сложной, разносторонней оцѣнки. Въ психической жизни сосѣда этого бушмена этотъ же процесъ можетъ повториться до мельчайшихъ подробностей. Такъ что изъ теоріи развитія, какъ она чуть-чуть намѣчена г. Воеводскимъ, еще не слѣдуетъ, чтобы бушменъ и бушменка, развиваясь, перестали походить другъ на друга, какъ то требуется теоріей развитія г. Шкляревскаго. Къ сожалѣнію, благодаря самодовольству г. Воеводскаго, которое помѣшало ему представить хоть какія-нибудь оправданія воззрѣнію, что все совершенствуется, благодаря этому самодовольству, я лишенъ возможности повѣрить его взглядами взгляды кіевскаго профессора. Я не могу даже приблизительно сказать, согласился бы онъ съ воззрѣніями г. Шкляревскаго или нѣтъ, подтвердилъ бы или опровергъ своею историко филологическою эрудиціей эрудицію біологическую. А это, конечно, очень жаль, потому что было бы въ высокой степени интересно свести на очную ставку двѣ звѣзды, равно блистающія на двухъ различныхъ небосклонахъ.

Не поможетъ ли намъ г. Мечниковъ? Онъ—естествоиспытатель по профессіи, но занятъ преимущественно антропологіей, наукой о человѣкѣ, той самой наукой, которая съ одной стороны примыкаетъ къ наукамъ физико-математическимъ и въ частности къ біологіи, а съ другой—къ наукамъ нравственно-политическимъ. Обратимся къ нему. У него мы встрѣтимъ еще болѣе прямое примѣненіе теоріи развитія къ занимающему насъ женскому вопросу.

Не смотря на популярность изложенія и очень небольшой размѣръ изслѣдованія г. Мечникова, я беру на себя смѣлость, хоть мнѣ это и не подобаетъ, назвать его образцовымъ въ смыслѣ, такъ сказать, научнаго изящества: такъ логически оно построено и такъ всесторонне охватываетъ избранный предметъ. Прежде всего авторъ ставитъ общій и общеизвѣстный принципъ: «Если какой-нибудь видъ или индивидуумъ животнаго дѣлаетъ шагъ впередъ противъ своихъ собратій, то отношенія возрастовъ у него мѣняются и тѣмъ самымъ являются причиной различныхъ, иногда довольно сложныхъ, измѣненій». Если мы, напримѣръ, будемъ сравнивать такихъ близкихъ родственниковъ, какъ лягушка и тритонъ, изъ которыхъ первая занимаетъ въ зоологической системѣ нѣсколько высшее мѣсто, то увидимъ, что тритонъ всю жизнь сохраняетъ форму удлиненнаго, ящеровиднаго животнаго съ короткими ногами и длиннымъ хвостомъ; лягушка же только нѣкоторое время имѣетъ такую форму, а съ дальнѣйшимъ развитіемъ теряетъ признаки, сближающіе ее по внѣшности съ тритономъ. То-есть взрослая лягушка меньше похожа на себя въ личиночномъ состояніи, чѣмъ тритонъ, который какъ бы соотвѣтствуетъ лягушкѣ въ ранней стадіи ея развитія; лягушка претерпѣваетъ болѣе глубокія измѣненія, чѣмъ

ея низшій собратъ—тритонъ. Личинки гомара отличаются отъ взрослой формы раздвоенными ногами, приближаясь въ этомъ отношеніи къ нѣкоторымъ мелкимъ морскимъ ракамъ, которые такъ и называются раздвоенноногими; у послѣднихъ этотъ признакъ остается на всю жизнь, тогда какъ у гомара онъ съ теченіемъ времени пропадаетъ и составляетъ признакъ только одной изъ ступеней развитія. Подобныхъ примѣровъ можно было бы привести множество. Обращаясь къ человѣческому роду, мы встрѣчаемъ многостороннее сходство между дѣтьми цивилизованныхъ людей и дикарями. Сходство это свидѣтельствуетъ, что и здѣсь нѣкоторые признаки, свойственные низшимъ расамъ впродолженіе всей жизни, у высшихъ имѣютъ мѣсто только временно, въ раннія фазы развитія. Такъ, лицо европейскаго ребенка, широкое, безъ переносья, съ широкимъ носомъ и толстыми губами, очень напоминаетъ лицо негра. Такъ, вкусы и понятія европейскихъ мальчиковъ напоминаютъ нравы и обычаи дикарей. Леббокъ собралъ много относящихся сюда фактовъ. Онъ же обратилъ вниманіе на сходство многихъ языковъ первобытныхъ народовъ съ языкомъ нашихъ дѣтей, которыя такъ любятъ повторять слоги: папа, цяця, мама, вава, лиля, дядя, няня и т. п. Этого рода слова почти не встрѣчаются въ европейскихъ языкахъ, а въ языкахъ негритянскихъ народовъ, полинезійцевъ, австралійцевъ и проч., напротивъ, очень распространены. Тэйлоръ приводитъ очень много данныхъ въ пользу того мнѣнія, что дѣтскія игры суть остатки обычаевъ, нѣкогда бывшихъ въ употребленіи у взрослыхъ и въ этомъ значеніи и до сихъ поръ сохранившихся у нѣкоторыхъ дикихъ народовъ. Значитъ, мы и здѣсь имѣемъ нѣкоторую аналогію съ приведенными примѣрами лягушки и тритона, гомара и раздвоенноногихъ раковъ.

«Изъ всего сказаннаго неизбѣжно вытекаетъ тотъ простой выводъ, что между отдѣльными возрастами дикаря существуетъ несравненно большее сходство, чѣмъ между возрастами цивилизованнаго человѣка, подобно тому, какъ хвостатая личинка тритона гораздо больше похожа на взрослую форму, чѣмъ головастикъ на лягушку. Личинка тритона съ того момента, когда она потеряла жабры и пріобрѣла четыре ноги, есть уже по всѣмъ признакамъ настоящій молодой тритонъ; соотвѣтствующая же стадія развитія лягушки будетъ еще головастикомъ, личинкой. То же самое—и у человѣка На низшихъ ступеняхъ юноша становится взрослымъ, начиная съ того момента, когда у него появились физическіе признаки взрослаго человѣка, когда онъ достаточно силенъ для того, чтобы собственными руками обезпечивать жизнь свою и своего семейства. На высшихъ же ступеняхъ развитіе продолжается несравненно дольше, такъ какъ цѣль, которой оно должно достигнуть, шире и глубже».

Установивъ такимъ образомъ принципъ, авторъ переходитъ къ его приложенію. Онъ беретъ для изслѣдованія возрастъ вступленія въ бракъ, какъ такой, относительно котораго имѣется всего болѣе точныхъ свѣдѣній. Это—возрастъ, рѣзко раздѣляющій жизнь человѣка на двѣ половины, выражающійся важными измѣненіями организма, встрѣчаемый у дикарей разными торжествами, а у цивилизованныхъ людей заносимый кромѣ того въ разныя книги и подлежащій поэтому статистическимъ вычисленіямъ.

Не могу мимоходомъ не обратить вниманія читателя на эти побужденія ученаго человѣка. Возрастъ вступленія въ бракъ есть практически такой важный моментъ въ жизни человѣка, столько съ нимъ связывается свѣта и тѣни, надеждъ, разочарованій, вообще жизни, что нашъ братъ, профанъ, можетъ тоже надъ нимъ призадуматься. Но нашъ братъ призадумается надъ этимъ моментомъ ради него самого, ради того бурнаго клокотанія жизни, которое овладѣваетъ въ этотъ моментъ человѣкомъ и играетъ имъ какъ расходившаяся волна щепкой. Ученый человѣкъ ничего этого во вниманіе не беретъ. Онъ изслѣдуетъ возрастъ вступленія въ бракъ единственно потому, что такое изслѣдованіе удобно, что для него имѣется достаточное количество статистическихъ и другихъ данныхъ. Этотъ характеръ научнаго безкорыстія г. Мечниковъ очень старается соблюсти. Онъ считаетъ необходимымъ предупредить читателя, что всѣ его соображенія и сопоставленія направлены «для разрѣшенія теоретическихъ вопросовъ общей антропологіи»; что у него «нигдѣ ни прямымъ, ни косвеннымъ путемъ не высказываются и не затрогиваются практическіе вопросы, какъ бы тѣсно они ни находились въ связи съ тѣмъ предметомъ, о которомъ идетъ рѣчь въ настоящей статьѣ». Признаюсь, поообные жесты и мины ученыхъ людей меня всегда очень огорчаютъ. Сами же они часто говорятъ о томъ, что люди практики не обладаютъ нужными для нихъ познаніями и сами же, чреватые знаніемъ, отворачиваются отъ практики. Съ другой стороны читатель слыхалъ, конечно, рѣчи практиковъ, дѣльцовъ; я, дескать, не касаюсь ни прямымъ, ни косвеннымъ образомъ науки, я имѣю въ виду чисто практическій вопросъ. Этакъ, конечно, наука и жизнь, теорія и практика, всегда будутъ глядѣть

въ разныя стороны, и мы, профаны, всегда будемъ представлены сами себѣ.

Какъ бы то ни было, но, не смотря на жесты и мины г. Мечникова (другіе скажутъ, можетъ быть: благодаря этимъ жестамъ и минамъ), изслѣдованіе его пригодно и для насъ, простыхъ смертныхъ. Можетъ быть, это уже отъ самаго предмета зависитъ.

Г. Мечниковъ, приведя многочисленныя свидѣтельства путешественниковъ относительно дикихъ народовъ и нѣкоторыя статистическія данныя относительно народовъ европейскихъ, приходитъ къ такому заключенію: «Половая зрѣлость (pubertas), общая физическая зрѣлость (nubilitas) и брачная зрѣлость (возрастъ вступленія въ бракъ) составляютъ три важныхъ момента въ жизни человѣка, имѣющихъ одну и тоже цѣль: удовлетвореніе стремленій къ поддержанію вида (размноженіе). Въ однихъ случаяхъ (большинство первобытныхъ народовъ) эти три момента совпадаютъ или почти совпадаютъ другъ съ другомъ; въ другихъ же случаяхъ они раздвигаются, между ними появляются промежутки, тѣмъ болѣе длинные, чѣмъ дольше совершается развитіе, и потому наиболѣе ощутительные у наиболѣе цивилизованныхъ народовъ. Эти промежутки, означающіе неравномѣрное и, слѣдовательно, неодновременное развитіе аппаратовъ, служащихъ для одной и той же цѣли, составляютъ доказательство существованія дисгармоніи въ развитіи человѣка». Намъ нѣтъ надобности перечислять здѣсь весь рядъ фактовъ, приведшихъ г. Мечникова къ такому рѣзкому, смѣлому и въ высшей степени важному заключенію. Я возьму у него только два-три фактическія указанія, собственно въ поясненіе мысли автора. У большинства дикихъ народовъ женщина, правильнѣе говоря, дѣвочка съ появленіемъ менструаціи объявляется уже невѣстою и весьма скоро становится матерью. Мальчики съ наступленіемъ половой зрѣлости также считаются женихами. Если это условіе и осложняется нѣкоторыми общественными требованіями, то крайне элементарными. Напримѣръ, у нѣкоторыхъ жителей Африки для вступленія въ бракъ требуется быть собственникомъ нѣсколькихъ трубокъ, стула, сундука, выстроить избу и поймать плѣннаго. У атхинцевъ (жители сѣверныхъ Алеутскихъ острововъ) «вступать въ бракъ позволялось съ 10-лѣтняго возраста, какъ времени, въ которое мальчикъ могъ и долженъ былъ умѣть владѣть байдаркою и стрѣлами и, слѣдовательно, числиться въ числѣ промышленниковъ, а дѣвица — шить». У цивилизованныхъ народовъ, относительно которыхъ имѣются статистическія данныя, браки совершаются несравненно позже. И тутъ есть извѣстная градація. Напримѣръ, браки до 20-лѣтняго возраста у калмыковъ составляютъ больше половины—53,63% всѣхъ браковъ, въ Россіи—47%, въ Сардиніи—15,74%, во Франціи—10,71%, въ Англіи—7,30%, въ Бельгіи—5,60%. Для насъ важны однако не эти числа, а отношенія между естественными, физіологическими и культурными условіями брачнаго возраста. Дикарь женится какъ только въ немъ начинаетъ говорить половой инстинктъ; онъ не встрѣчаетъ при этомъ никакихъ препятствій въ своей культурѣ. У европейскихъ народовъ такого совпаденія условій естественныхъ и культурныхъ—нѣтъ. Напримѣръ, статистика показываетъ, что у англичанокъ средній возрастъ вступленія въ бракъ равняется приблизительно 24 годамъ и $8^1/_2$ мѣсяцамъ; половая зрѣлость у нихъ наступаетъ среднимъ числомъ въ $15^1/_2$ лѣтъ; значитъ, промежутокъ между этими двумя моментами, у народовъ нецивилизованныхъ, вообще говоря, несуществующій, у англичанокъ равняется 9 годамъ и $2^1/_2$ мѣсяцамъ. У француженокъ онъ еще больше—11 лѣтъ. Надо замѣтить, что у европейцевъ (относительно дикарей въ этомъ отношеніи, вѣроятно, нѣтъ никакихъ данныхъ) половая зрѣлость наступаетъ раньше общей зрѣлости организма; а именно, по мнѣнію спеціалистовъ, для европейскихъ дѣвушекъ общая зрѣлость наступаетъ въ 20 лѣтъ, такъ какъ только къ этому времени завершается ростъ тазовыхъ костей. Но если мы примемъ и этотъ возрастъ за такой, на который сама природа указываетъ, какъ на возрастъ вступленія въ бракъ, такъ и то увидимъ, что цивилизація какъ бы отодвигаетъ его на нѣсколько лѣтъ. Разница между возрастомъ общей физической зрѣлости и дѣйствительнымъ возрастомъ вступленія въ бракъ равняется среднимъ числомъ для англичанокъ 4,66 года, для француженокъ — 5,32, для норвежекъ—6,98, для голландокъ—7,78, для бельгіекъ — 8,19 года. Подобный же, хотя менѣе очевидный, результатъ получается и для мужчинъ.

Таковы нѣкоторыя изъ данныхъ, побуждающихъ г. Мечникова сказать, что развитіе человѣка отнюдь не гармонично. Не столько человѣка вообще, сколько современнаго цивилизованнаго человѣка, потому что у первобытныхъ народовъ, у дикарей моменты половой зрѣлости, общей физической зрѣлости и зрѣлости брачной совпадаютъ. Но вѣдь нѣкогда весь родъ человѣческій состоялъ изъ дикарей. Ужъ на что, кажется, греки героическаго періода, а и тѣ были варвары и людоѣды. Слѣдовательно, въ томъ пути, который человѣчество прошло до современнаго уровня цивилизаціи, въ томъ

тріумфальномъ шествіи развитія, которое нѣмецкихъ низшихъ классовъ; представители высшихъ русскихъ сословій—позже русскихъ крестьянъ. Такимъ образомъ дѣйствительный возрастъ вступленія въ бракъ ниже у дикарей, чѣмъ у европейцевъ, и ниже у низшихъ классовъ, чѣмъ у высшихъ болѣе цивилизованныхъ, т. е. цивилизація отодвигаетъ возрастъ вступленія въ бракъ. Тоже подтверждается и нѣкоторыми, очень впрочемъ скудными историческими фактами. Но отодвигая возрастъ вступленія въ бракъ, цивилизація совсѣмъ не въ такъ вліяетъ на возрасты половой зрѣлости и общей физической зрѣлости. Для нагляднаго изображенія отношеній этихъ трехъ моментовъ половой жизни г. Мечниковъ составилъ таблицу «дисгармоническихъ періодовъ». Такъ называетъ онъ, во-первыхъ, промежутокъ отъ наступленія половой до наступленія общей физической зрѣлости, и во-вторыхъ, промежутокъ отъ наступленія общей физической зрѣлости до вступленія въ бракъ. Надо еще замѣтить, что параллельно съ запаздываніемъ возраста вступленія въ бракъ идетъ и сокращеніе самаго числа браковъ. У дикарей холостяковъ почти не бываетъ, у цивилизованныхъ же людей и преимущественно въ высшихъ классахъ, браки заключаются все рѣже и рѣже. Конечно, составленная г. Мечниковымъ таблица дисгармоническихъ періодовъ имѣетъ значеніе только нагляднаго пособія и ничего еще не доказываетъ; не доказываетъ, по крайней мѣрѣ, вліянія цивилизаціи на удлиненіе дисгармоническихъ періодовъ. Иначе пришлось бы помѣстить на вершинѣ цивилизаціи нѣмецкихъ Durchlaucht'овъ и Erlaucht'овъ, потому что они стоятъ послѣдними въ таблицѣ, т. е. у нихъ дисгармоническіе періоды наиболѣе продолжительны. Но это, конечно, зависитъ отъ малаго числа данныхъ, бывшихъ въ распоряженіи нашего автора. Во всякомъ случаѣ, соображая все вышесказанное, онъ считаетъ себя въ правѣ сказать: «Что во всемъ этомъ лежитъ завязка «ненормальная», что, я думаю, каждому кидается въ глаза. Иначе какъ же объяснить тотъ фактъ, что физическое развитіе организма не идетъ въ рядъ съ развитіемъ культурнымъ, производя между обоими все увеличивающуюся пропасть, грозящую всему существованію человѣка?»

Итакъ, намъ грозитъ пропасть, насъ гонитъ въ нее цивилизація, одна изъ формъ развитія. Такъ охотятся африканскіе дикари; они загоняютъ дикихъ звѣрей въ узкое загороженное мѣсто, которое оканчивается у пропасти: туда, тѣснясь другъ къ другу, съ ревомъ ужаса и отчаянія валятся зебры, лани, буйволы, дикія козы и расшибаются объ края и дно пропасти, а ди-

---

трiумфальномъ шествіи развитія, которое дѣлаетъ столь самодовольнымъ г. Воеводскаго, не все пахнетъ розой, не все совершенствуется. Г. Мечниковъ не въ первый уже разъ обнаруживаетъ такое еретическое отношеніе къ теоріи развитія. Въ томъ же «Вѣстникѣ Европы» онъ напечаталъ въ 1871 году статью «Воспитаніе съ антропологической точки зрѣнія», съ которою между прочимъ нашимъ педагогамъ не мѣшало бы познакомиться. Уже тамъ доказывалось, что въ развитіи отдѣльныхъ аппаратовъ человѣческой машины существуютъ несоразмѣрности, усиливающіяся вмѣстѣ съ поступательнымъ ходомъ цивилизаціи. Мы оставимъ однако эту статью совсѣмъ въ сторонѣ, потому что въ статьѣ «Возрастъ вступленія въ бракъ» имѣются всѣ нужныя для насъ данныя.

Иному можетъ показаться, что сообщенные г. Мечниковымъ факты и даже тотъ итогъ, который онъ имъ подводитъ, не представляютъ ничего особенно омрачающаго трiумфальное шествіе человѣчества отъ дикости къ цивилизаціи. Культурныя условія вступленія въ бракъ не совпадаютъ съ физіологическими; аппараты, служащіе для одной и той же цѣли, развиваются неравномѣрно,—ну такъ что же? что тутъ прискорбнаго? Тому, кто задалъ бы себѣ этотъ вопросъ, я предложилъ бы подумать о положеніи человѣка, у котораго нѣтъ рта, но есть желудокъ, требующій пищи. Какія именно неудобства сопровождаютъ несоразмѣрность распредѣленія моментовъ половой дѣятельности, мы сейчасъ увидимъ.

Такіе же результаты, какіе получились изъ сравненія возрастовъ вступленія въ бракъ первобытныхъ и цивилизованныхъ народовъ, получаются и при сравненіи высшихъ и низшихъ классовъ одного и того же народа. Достойны всякаго вниманія соображенія, побудившія г. Мечникова ввести это послѣднее сравненіе въ свое изслѣдованіе. «Въ статистикахъ говорится о Франціи, Англіи, и т. п., какъ о чемъ-то цѣльномъ и единомъ,—говоритъ онъ; между тѣмъ населеніе этихъ странъ состоитъ изъ многихъ группъ, стоящихъ на совершенно различной степени развитія». Въ частности по отношенію къ возрасту вступленія въ бракъ разница между высшими и низшими классами европейскихъ странъ оказывается дѣйствительно очень значительною. Ориентируясь при помощи очень остроумныхъ пріемовъ въ сложныхъ, запутанныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ скудныхъ данныхъ, г. Мечниковъ пришелъ къ заключенію, что англійскія высокопоставленныя лица, пэры, бароны и проч., женятся позже англійскихъ рабочихъ; нѣмецкіе князья и графы—позже

карямъ остается только прикалывать добычу. Но въ чемъ же состоитъ грозящая намъ пропасть? каковы послѣдствія постояннаго удлиненія дисгармоническихъ періодовъ? Г. Мечниковъ отвѣчаетъ: увеличеніе смертности, самоубійства, преступленія, душевныя болѣзни. Я не стану приводить доказательства г. Мечникова. Желающій знать ихъ можетъ обратиться къ его статьѣ. Мнѣ важно представить читателю только итоги. Я ихъ представилъ. Но г. Мечниковъ дѣлаетъ еще къ нимъ маленькое, къ сожалѣнію слишкомъ маленькое дополненіе. Онъ намекаетъ именно на аналогію между жизнью народовъ и жизнью индивидовъ. Какъ послѣдніе, дескать, поживутъ, поживутъ да и умираютъ, такъ должно быть и съ народами: «само развитіе составляетъ источникъ періодичности съ ея концомъ». Конецъ всего — дѣло страшное, когда онъ не конецъ униженію и страданію, а тутъ дѣло идетъ о концѣ нашей цивилизаціи, т.-е. о концѣ всѣхъ благъ, которыя мы связываемъ съ понятіемъ о ней, о концѣ нашихъ гордости и самодовольства. Еслибы еще дѣло шло о концѣ отдѣльныхъ народовъ—такъ куда ни шло. Мы уже свыклись съ этой мыслью и даже не безъ страннаго удовольствія соображаемъ, что вотъ прекрасная машина греческой цивилизаціи перестала дѣйствовать, римляне ее разобрали и употребили на топливо и подтопку для своей собственной печки. Много дровъ пожрала эта печка, и нѣсколько времени огонь горѣлъ ярко, а машина дѣйствовала сильно. Но, поглотивъ однажды слишкомъ большую порцію дровъ-варваровъ, печка развалилась и машина остановилась. Ее тоже разобрали и обломками ея стали топить печку европейской цивилизаціи. Картина прекраснѣйшая, почему она и называется прогрессомъ. Вотъ азіатскіе народы— тѣ не подвержены прогрессу. Тѣ перегорятъ себѣ въ одиночку, и обломки ихъ машинъ безполезно валяются въ степяхъ: тамъ «моетъ ихъ дождь, засыпаетъ ихъ пыль, и вѣтеръ волнуетъ надъ ними ковыль»... Это такъ. Но теперь нѣтъ цивилизаціи вавилонской, персидской, индѣйской, римской, мексиканской, греческой. Есть только одна цивилизація европейская, которая не сегодня-завтра охватитъ всю землю, оставивъ отъ Бухары и Новой Зеландіи, отъ Японіи и Средней Африки одни обгорѣлыя головешки. И вотъ этой-то всепоглощающей и почти всепоглотившей цивилизаціи грозитъ конецъ. Но концу всегда предшествуетъ начало конца. Не наступило ли уже оно? Г. Воеводскій надѣваетъ фракъ, бѣлыя перчатки и снисходительно отвѣчаетъ: помилуйте! все идетъ прекрасно, вы сравните только: тамъ варвары, людоѣды, а здѣсь я, профессоръ Дестунисъ, профессоръ Люгебиль и прочіе изслѣдующіе «всѣхъ вещей дѣйства и причины»; какое же сравненіе! Г. Шкляревскій съ своей стороны поэтически излагаетъ смѣну моногенезиса амфигенезисомъ, какъ исходную точку того прекраснѣйшаго раздѣленія труда между мужчиной и женщиной, которое только въ Америкѣ нѣсколько подгажено, за что американцы и платятся атрофіей желѣзистыхъ тканей. Въ остальномъ все идетъ превосходно и—г. Шкляреский цитируетъ chorus mysticus изъ второй части «Фауста»:

Das *Ewig weibliche*
Zieht uns hinan.

Все идетъ прекрасно, а между тѣмъ г. Мечникову совершенно «понятно, что въ жизни многихъ первобытныхъ народовъ можно нерѣдко замѣтить больше гармоніи и счастья, чѣмъ въ нашей,—обстоятельство, на которое указывали многіе писатели, по преимуществу Ж. Ж. Руссо. Раньше послѣдняго оно поразило Бюффона, выразившаго свою мысль очень изящно (слѣдуетъ цитата). Мы не станемъ здѣсь разбирать подробно этотъ съ давнихъ поръ поставленный на обсужденіе вопросъ, по поводу котораго обѣими партіями было сдѣлано множество преувеличеній; но скажемъ только, что и до сихъ поръ между путешественниками нерѣдко встрѣчаются поклонники идеи Руссо и Бюффона. Наиболѣе рѣзко въ этомъ смыслѣ высказывается Уоллесъ. Да и какъ быть въ этомъ дѣлѣ въ виду, напримѣръ, подобнаго рода заявленія? Во время пребыванія фрегата «Новары» на островѣ Каръ-Никобаръ путешественники, распрашивая туземцевъ о ихъ бытѣ, между прочимъ коснулись вопроса о томъ, какого рода наказанія полагаются у нихъ за различныя преступленія. Туземецъ отвѣчалъ самымъ наивнымъ образомъ: «У насъ никакихъ преступленій не совершается: мы всѣ — народъ хорошій; у васъ же, должно быть, много злыхъ людей; иначе зачѣмъ бы у васъ было столько пушекъ и разнаго оружія».

Человѣкъ науки спрашиваетъ, какъ быть, т.-е. какъ поступать въ виду подобнаго рода заявленій и фактовъ, которыхъ не мало. Странный вопросъ. Какъ быть? Ужъ, конечно, не оставлять безъ разбора высочайшей важности вопросъ, «съ давнихъ поръ поставленный на обсужденіе» и все-таки ни малѣйше не обсужденный. Я прошу читателя отмѣтить въ своей памяти результаты, къ которымъ «теорія развитія» привела двухъ, равно компетентныхъ, хотя и въ различныхъ сферахъ науки работающихъ ученыхъ. По г. Воеводскому и «въ

кажущемся паденіи слѣдуетъ видѣть не что иное, какъ только дальнѣйшіе фазисы развитія, ведущаго въ сущности постоянно къ высшему совершенству всего человѣчества». По г. Мечникову, развитіе ведетъ ко множеству дисгармоническихъ явленій, изъ которыхъ г. Мечниковъ разсмотрѣлъ только касающіеся брачнаго возраста, но уже и они ведутъ къ самоубійствамъ, преступленіямъ, душевнымъ болѣзнямъ и наконецъ, къ смерти цивилизаціи. Это разногласіе поразительно. Но сейчасъ мы увидимъ нѣчто, быть можетъ, еще болѣе поразительное.

Все, что было говорено выше о брачномъ возрастѣ высшихъ и низшихъ классовъ европейскихъ народовъ, относится только къ мужчинамъ. Для женщинъ получаются совсѣмъ другія пропорціи. Такъ, средній возрастъ вступленія въ бракъ англійскихъ пэровъ и бароновъ на 3,69 года *выше* брачнаго возраста англичанъ вообще, т. е. англійскіе высокопоставленные мужчины женятся *позже* другихъ англичанъ. Англійскіе же пэрессы и баронессы выходятъ замужъ *раньше*, чѣмъ англичанки вообще, именно ихъ средній брачный возрастъ ниже общаго на 1,62 года. Подобные же результаты получаются при сравненіи брачнаго возраста нѣмецкихъ принцесъ съ брачнымъ возрастомъ нѣмокъ вообще. Обстоятельство это нисколько не удивляетъ г. Мечникова. Оно находится въ связи съ цѣлымъ рядомъ вполнѣ извѣстныхъ и очень любопытныхъ фактовъ. Статистически дознано, что очень молодые мужчины (моложе 20 лѣтъ) женятся вообще на болѣе взрослыхъ женщинахъ. Затѣмъ въ брачныхъ парахъ 20 — 25 лѣтъ замѣчается наименьшая разница въ возрастѣ мужчинъ и женщинъ, а начиная съ 25 лѣтъ, разница эта очень быстро растетъ и именно такъ, что чѣмъ позже заключаются браки, тѣмъ болѣе возрастъ мужа превышаетъ возрастъ жены. Слѣдовательно, въ тѣхъ культурныхъ группахъ, въ которыхъ мужчины женятся сравнительно поздно, женщины должны выходить сравнительно рано. И такъ культура, развитіе, отодвигая брачный возрастъ вообще, вмѣстѣ съ тѣмъ увеличиваютъ по отношенію къ этому возрасту контрастъ между мужчиной и женщиной. И этотъ фактъ составляетъ только частный случай болѣе общаго антропологическаго закона, по которому на высшихъ ступеняхъ цивилизаціи различія между мужчиной и женщиной сильнѣе и многостороннѣе, чѣмъ на низшихъ. Возьмемъ ли мы физическія особенности обоихъ половъ,— мы придемъ подъ руководствомъ анатомовъ Гушке и Велькера къ заключенію, что «по мѣрѣ увеличенія совершенства расы, увеличивается и разница между полами по отношенію къ вмѣстимости черепной полости; особенно же сильно превосходитъ въ этомъ отношеніи европеецъ европейку сравнительно съ негромъ и негритянкой». Внѣшніе признаки, наиболѣе рѣзко отличающіе мужчину отъ женщины, усы и борода, болѣе развиты у самой совершенной расы, кавказской, а негритянскіе, монгольскіе, американскіе, малайскіе народы въ этомъ отношеніи гораздо женоподобнѣе. Возьмемъ ли мы мелкія подробности одежды,—мы увидимъ, что серьги, браслеты, перья, яркія платья и т. п. у цивилизованныхъ народовъ носятъ только женщины, а у дикихъ и мужчины, и женщины. Одна изъ отличительныхъ чертъ первобытныхъ народовъ есть консерватизмъ, упорство въ сохраненіи разъ установившихся правилъ и обычаевъ. Этотъ консерватизмъ съ развитіемъ цивилизаціи слабѣетъ, но преимущественно въ мужской половинѣ человѣческаго рода. Такъ въ одной изъ самыхъ политически безпокойныхъ странъ, во Франціи, женщины вообще очень консервативны и въ частности отличаются клерикальнымъ, такъ сказать, до-вольтеровскимъ настроеніемъ. Словомъ женщина во всѣхъ отношеніяхъ болѣе или менѣе отстаетъ отъ мужчины, и эта сравнительная отсталость увеличивается съ поступательнымъ ходомъ цивилизаціи. Это зависитъ отъ той особенной роли, которую женщина играетъ по отношенію къ размноженію. «Это послѣднее отправленіе, требуя затраты большаго количества матеріи и дѣятельности, неизбѣжно задерживаетъ личное, индивидуальное развитіе женщины. Многими натуралистами вполнѣ сознанъ тотъ фактъ, что женщина представляется какъ бы соотвѣтствующею мужчинѣ въ юношескомъ возрастѣ, слѣдовательно, задерживается на извѣстной ступени развитія, подобно тому, какъ задерживается развитіе личинкоподобной самки многихъ насѣкомыхъ, самцы которыхъ являются въ видѣ гораздо болѣе развитыхъ существъ».

Вотъ и извольте рѣшать женскій вопросъ на основаніи спеціальныхъ изслѣдованій людей науки! Одинъ натуралистъ говоритъ, что мужчина есть «какъ бы неудавшееся или менѣе совершенное женское недѣлимое». Другой натуралистъ говоритъ, что женщина есть личинка человѣка. И оба придерживаются теоріи развитія! Чортъ возьми, не легко намъ, профанамъ, жить на свѣтѣ! И рады бы мы были благоговѣйно внимать голосу науки и видѣть въ ней высшую инстанцію, куда слѣдуетъ обращаться за разрѣшеніемъ всѣхъ нашихъ сомнѣній, возникающихъ на кочковатой почвѣ практической жизни; рады бы мы были смотрѣть на нее,

какъ на опытную и любящую мать, всегда готовую войти въ положеніе дѣтей. Но, по совѣсти говоря, развѣ это возможно? Я обѣщалъ читателю угостить его на славу роскошной умственной трапезой,—воззрѣніями трехъ русскихъ патентованныхъ ученыхъ. На дѣлѣ я подалъ читателю какой-то ученый кавардакъ, какую-то смѣсь противорѣчій и недомолвокъ. И ужъ, конечно, не я виноватъ въ этомъ. Сопоставленіе изслѣдованій гг. Воеводскаго, Шкляревскаго и Мечникова мнѣ самому улыбалось, пока я его не сдѣлалъ, и разбило всѣ мои надежды, какъ только я ихъ поставилъ рядомъ. Мнѣ случилось слышать упреки, зачѣмъ, дескать, я нападаю на науку, какъ-будто ужъ кругомъ насъ нѣтъ ничего, болѣе достойнаго сѣтованій и обличеній.—Это недоразумѣніе, я полагаю. Многимъ бы я занялся и кромѣ науки, да руки коротки. По силѣ возможности, впрочемъ, я вытягиваю руки... Это разъ. Что же касается науки, то не совсѣмъ почтительно мною представленные публикѣ гг. Евтушевскій, Миропольскій и прочіе наши извѣстные и извѣстнѣйшіе педагоги—не наука, а злѣйшая карикатура на науку. Гг. Воеводскій, Шкляревскій и Мечниковъ—несомнѣнная наука и не только потому, что они магистры и доктора—кто не видалъ увѣнчаннаго невѣжества?—а и потому, что они владѣютъ обширной эрудиціей и значительнымъ умѣньемъ обращаться съ фактами. Въ ихъ рукахъ большая сила; и силу эту я глубоко уважаю. Но кому много дано, съ того много и спросится. Именно мое уваженіе къ наукѣ побуждаетъ меня обращаться къ ней за разрѣшеніемъ томящихъ меня, на ряду съ другими профанами, вопросовъ. И если у меня при этомъ срывается жесткое или насмѣшливое слово, то это—результаты обманутыхъ надеждъ. На г. Леонарда я только показалъ пальцемъ и отпустилъ его съ миромъ, потому что... потому что онъ г. Леонардъ. Я не могу, правда, давать высокую цѣну многимъ изслѣдованіямъ, на которыя затрачено несомнѣнно много умственной силы, остроумія, учености, но изъ которыхъ я не могу сдѣлать никакого употребленія. Это, можетъ быть, очень жалкій взглядъ, но онъ такъ естественъ для профана. Savoir я хочу только pour prévoir, а prévoir только pour agir. Однако я способенъ выслушать длиннѣйшій трактатъ о смѣнѣ моногонезиса амфигенезисомъ, о греческихъ миоахъ, о возрастѣ вступленія въ бракъ, если они хотя отчасти, хоть стороной какъ-нибудь освѣтятъ мнѣ задачу жизни. Но этого-то нѣтъ въ большей части ученыхъ трактатовъ.

Оставимъ въ сторонѣ противорѣчивыя заключенія, къ которымъ пришли г. Воеводскій и г. Мечниковъ, и г. Мечниковъ и г. Шкляревскій. Возьмемъ только г. Мечникова. Отмѣтивъ роль женщины въ размноженіи, какъ причину ея личинкоподобнаго состоянія, онъ продолжаетъ: «Никто, конечно, не выведетъ изъ моихъ словъ, чтобы я утверждалъ, будто женщина неспособна къ развитію и должна во всѣхъ случаяхъ и вѣчно оставаться на личинко подобной стадіи развитія. Я утверждаю только, что прогрессивное развитіе женщины должно совершаться въ ущербъ ея способности размножаться, выкармливать и воспитывать дѣтей, совершенно подобно тому, какъ усиленная дѣятельность рабочихъ пчелъ, муравьевъ и термитовъ могла явиться не иначе, какъ вмѣстѣ съ появленіемъ безплодія или же плодовитости въ экстренныхъ, исключительныхъ случаяхъ. Фактическое доказательство этого мнѣнія представляютъ Соединенные Штаты. Женщины-янки съ давнихъ поръ заботятся о собственномъ развитіи и сдѣлали въ этомъ отношеніи огромные успѣхи, но они совершились видимо на счетъ способности размноженія и семейной жизни. Такимъ образомъ всѣмъ извѣстно, до чего между американскими женщинами распространено вытравленіе плода и употребленіе другихъ средствъ къ уменьшенію плодовитости... Развитіе, съ помощью искусственныхъ мѣръ уменьшающее плодовитость, неизбѣжно ведетъ къ большему приравниванію женщины къ мужчинѣ. Поэтому совершенно понятно отвращеніе, питаемое развитыми женщинами къ тѣмъ особенностямъ женскаго костюма, которыя приближаютъ его къ одѣянію дикарей, а также и къ первобытной патріархальности и консерватизму».

Написалъ это ученый человѣкъ—и ему горя мало, а мнѣ онъ ножъ острый всадилъ. Въ приведенныхъ словахъ г. Мечникова, какъ и во многихъ другихъ его словахъ, явно подразумѣвается, что развитіе есть усовершенствованіе, улучшеніе. Поэтому-то онъ и торопится заявить, что не отказываетъ женщинѣ въ возможности развитія, т.-е. въ лучшемъ будущемъ. Мнѣ непонятно только, зачѣмъ тутъ вытравливаніе плода и другія искусственныя преграды размноженію. Положимъ, что онѣ распространены въ Америкѣ, но это показываетъ только, что женщины-янки стоятъ не на самой высокой ступени развитія. Сколько мнѣ извѣстно, въ біологіи считается общепринятымъ, что развитіе само по себѣ, безъ всякихъ искусственныхъ подмогъ, задерживаетъ плодовитость. Но дѣло не въ томъ, а въ томъ, что женщинѣ, не остающейся на личинкоподобной ступени развитія, грозитъ, какъ показалъ г. Мечниковъ, удлиненіе дисгармоническихъ періодовъ со всѣми его безобразными и печальными послѣдствіями. Извольте

выбирать, читательницы. Я не знаю, чего вамъ пожелать: того ли, чтобы вы вѣчно оставались личинкой (если правда, что вы—личинка), или чтобы на вашу долю выпали тѣ же бѣдствія, связанныя съ удлиненіемъ дисгармоническихъ періодовъ, которыя цивилизація обрушиваетъ на наши мужскія головы. Я не знаю, чего вамъ пожелать, не только ради васъ, а и ради всего человѣчества. Скверно, что цѣлая половина человѣческаго рода находится въ личиночномъ состояніи: такъ ли бы шли дѣла въ нашей юдоли плача, еслибы эта половина принимала участіе въ преемственной работѣ человѣчества. Но скверно будетъ и то, если женщины всѣмъ своимъ персоналомъ ускорятъ движеніе цивилизаціи къ той пропасти, которая, по словамъ г. Мечникова, грозитъ «всему существованію человѣка». Когда бьютъ и недовернувшагося, и перевернувшагося—выбирать трудно. Если же вы введете сюда еще выводы и заключенія гг. Воеводскаго и Шкляревскаго, то получится такой лабиринтъ, въ который и вступить страшно.

Такимъ образомъ, мы видимъ рядъ спеціалистовъ по женскому вопросу, которые отрываютъ его отъ сопредѣльныхъ съ нимъ вопросовъ и даютъ ему непропорціональное освѣщеніе. Мы видимъ Леонардовъ, которые разрубаютъ самые запутанные узлы мимоходомъ, entre la poire et le fromage, но совершенно по-македонски. Мы видимъ, наконецъ, ученыхъ, которые самымъ рѣзкимъ образомъ противорѣчатъ другъ другу относительно самыхъ элементарныхъ началъ занимающаго насъ вопроса. Что же дѣлать намъ, профанамъ? Съ благодарностью взять у ученыхъ людей добытые ими голые факты, а выводы и заключенія сдѣлать самимъ. И пусть не говорятъ, что мы болѣе чѣмъ смѣлы. Наша смѣлость заранѣе оправдана тою безпомощностью, въ которую повергаютъ насъ люди науки.

XVII.

Прудонъ и Бѣлинскій *).

Читатель, конечно, не будетъ пораженъ сопоставленіемъ именъ Прудона и Бѣлинскаго, потому что оно не ново. Прудонъ и Бѣлинскій — современники, имѣвшіе даже общихъ знакомыхъ и друзей. Естественное дѣло, что извѣстныя вѣянія времени, какъ напримѣръ, нѣмецкая философія, нѣкоторые взгляды на задачи общественной жизни и т. п., живо затрогивали ихъ обоихъ. Въ этомъ именно смыслѣ читателю и случалось встрѣчать сопоставленіе ихъ именъ. Я однако отнюдь не думаю проводить параллели между мнѣніями этихъ двухъ писателей, да изъ нижеслѣдующаго будетъ видно, что такія параллели были бы по малой мѣрѣ безплодны, если не прямо невозможны. Другое дѣло—фигуры, личности Прудона и Бѣлинскаго. Онѣ сами собою напрашиваются на сравненіе, тѣмъ болѣе, что недавно появились обширные матеріалы для характеристики того и другого. Во Франціи въ нынѣшнемъ году началось четырнадцатитомное изданіе переписки Прудона. Извлеченія изъ этого изданія до сихъ поръ тянутся въ «Вѣстникѣ Европы», въ статьѣ, озаглавленной: «Пьеръ-Жозефъ Прудонъ въ его письмахъ». Въ нынѣшнемъ же году окончился въ томъ же «Вѣстникѣ Европы» обширный «опытъ біографіи» Бѣлинскаго, составленный г. Пыпинымъ, главнымъ образомъ на основаніи переписки нашего знаменитаго критика. Читатели «Вѣстника Европы» неизбѣжно наталкивались на сравненіе. Натолкнулся и я и хочу подѣлиться съ другими своими впечатлѣніями.

Г. Д—евъ, авторъ статьи «Пьеръ-Жозефъ Прудонъ въ его письмахъ», очевидно — позитивистъ школы Конта и тщательно отыскиваетъ въ своемъ матеріалѣ черты, могущія служить подтвержденіемъ извѣстнаго Контова закона трехъ фазисовъ, въ силу котораго умственное развитіе человѣка, какъ и всего человѣчества, идетъ отъ теологіи черезъ метафизику къ положительной наукѣ. Многія изъ соображеній г. Д—ва очень остроумны и справедливы. Я думаю однако, что по отношенію къ Прудону эта смѣна трехъ фазисовъ во всякомъ случаѣ имѣетъ совершенно второстепенное и чисто внѣшнее значеніе. Что Прудонъ первоначально былъ занятъ теологіей, затѣмъ ринулся въ область метафизики, изъ которой, хотя и никогда не выбился окончательно, но все-таки отдалъ должное положительной наукѣ и ея орудіямъ, опыту и наблюденію — это вѣрно. Но не требуется глубокаго изученія переписки и сочиненій Прудона, чтобы видѣть, что это были ступени развитія не столько его самого, сколько, такъ сказать, оружія, которымъ онъ бился за свои завѣтныя идеи. Это, кажется, отчасти думаетъ и г. Д—евъ, но оставляетъ эту мысль безъ должнаго вниманія. А то бы ему пришлось, чего добраго, убѣдиться, что завѣтныя идеи Прудона даже и вовсе не укладываются въ формулу Конта. Какъ бы то ни было, но г. Д—евъ согласно своей задачѣ слѣдитъ преимущественно за процессомъ философскаго развитія Прудона и потому проходитъ мимо многаго, очень характернаго для Прудона, какъ личности. Восполнить этотъ

*) 1875, ноябрь.

недостатокъ я могу только отчасти, потому что успѣлъ познакомиться только съ двумя первыми томами французскаго изданія переписки Прудона. Кое въ чемъ намъ помогутъ, впрочемъ, его сочиненія.

Литературную свою дѣятельность Прудонъ началъ «Опытомъ всеобщей грамматики» (1837), сочиненіемъ слабымъ, дѣтскимъ, о которомъ читающему люду только и извѣстно, что авторъ впослѣдствіи отъ него отрекся. Совершенно незнакомый съ современными ему филологическими открытіями, даже не подозрѣвая ихъ существованія, Прудонъ производилъ всѣ языки отъ священнаго... Видѣть въ «Опытѣ всеобщей грамматики» явленіе теологическаго фазиса развитія, пожалуй, можно; но вѣдь дѣло-то тутъ просто въ томъ, что бѣдному наборщику попало въ руки нѣсколько книгъ извѣстнаго характера и содержанія. Если мы выкинемъ изъ счета подобныя случайности, то увидимъ, что Прудонъ явился въ литературѣ человѣкомъ вполнѣ готовымъ, т. е. съ идеями, на столько ясными и установившимися, что въ дальнѣйшей дѣятельности онѣ подлежали только развитію, а не измѣненію. Въ прошеніи о стипендіи Сюара (внѣшнюю біографію Прудона я предполагаю читателю извѣстною) Прудонъ много говорилъ о своихъ религіозныхъ убѣжденіяхъ. Но для біографа гораздо интереснѣе то обстоятельство, что секретарь безансонской академіи, Перенъ, потребовалъ измѣненія слѣдующихъ строкъ: «Рожденный и воспитанный среди рабочаго класса, принадлежа ему и нынѣ, и навсегда сердцемъ, разумомъ, привычками, общностью интересовъ и желаній, я былъ бы вполнѣ счастливъ, еслибы привлекъ ваше вниманіе къ этой части общества, которую такъ краситъ названіе «рабочей»; еслибы я оказался достойнымъ чести быть ея первымъ представителемъ передъ вами, если бы я могъ отнынѣ работать безъ отдыха въ философіи и наукѣ, со всею энергіею моей воли и всѣми силами моего разума, для полнаго освобожденія своихъ братьевъ и товарищей». Разсказывая свои планы въ письмѣ къ Перрену, Прудонъ объявляетъ, что онъ не намѣренъ изучать юриспруденцію: „Вся система нашихъ законовъ основана на принципахъ, въ которыхъ нѣтъ ничего философскаго и которые одинаково противны и закону природы, и закону откровенія. Таково, по крайней мѣрѣ, мое мнѣніе. Мнѣ нетрудно было бы подтвердить его многочисленными примѣрами. Условности, основанныя на побѣдѣ, рабствѣ, силѣ, привилегіи или варварствѣ—вотъ суть нашего права». Въ одномъ изъ самыхъ раннихъ писемъ (1838 г.), собранныхъ во французскомъ изданіи, Прудонъ называетъ уже себя «égalitaire», какъ называлъ себя всю жизнь. Получивъ Сюарову стипендію, онъ пишетъ одному другу: «Меня поздравляютъ съ прочностью положенія, съ возможностью сдѣлать карьеру, принять участіе въ погонѣ за мѣстами и жалованьями, достичь почета и блестящаго положенія, сравняться и даже, можетъ быть, превзойти Жоффруа, Пулье и проч. Но никто не сказалъ мнѣ: Прудонъ, ты долженъ прежде всего отдаться дѣлу бѣдныхъ, освобожденію слабыхъ, просвѣщенію народа; ты, можетъ быть, будешь предметомъ ужаса для богатыхъ и сильныхъ; тебя будутъ проклинать держащіе ключи науки и богатства: иди своей дорогой реформатора навстрѣчу преслѣдованіямъ, клеветѣ, горечи, самой смерти. Вѣрь своему назначенію и смѣло предпочти славное мученичество апостола радостямъ и золотымъ цѣпямъ рабовъ. Тебя ли побѣдятъ лесть и соблазны удовольствій и богатства? Ты ли, сынъ народа, отречешься отъ своей совѣсти и предашь свою вѣру? За тобой слѣдятъ глаза твоихъ братьевъ; они мучительно ждутъ придется ли имъ оплакивать паденіе и измѣну того, кто такъ клялся быть ихъ защитникомъ; отблагодарить тебя имъ нечѣмъ, кромѣ благословеній, которыя однако дороже золота. Страдай и умри, если нужно, но говори истину и стой за сироту». Еще дальше Прудонъ выразилъ съ меньшимъ паѳосомъ, но съ тѣмъ большею силою нѣкоторыя воззрѣнія, которымъ онъ также оставался вѣренъ всю жизнь. «Я держусь своихъ принциповъ; я ими никогда не жертвую, что бы ни случилось; я доволенъ своимъ положеніемъ ремесленника.— Я откровенный и неизмѣнный республиканецъ по убѣжденію и чувству; но правда и то, что мой республиканизмъ не совсѣмъ тотъ, который значится у сеидовъ Робеспьера и поклонниковъ Марата; ихъ дѣла— самое сильное ихъ осужденіе». Такъ говорилъ Прудонъ еще до изданія «Опыта всеобщей грамматики». Особенно характерна эта оговорка на счетъ якобинцевъ. Это— частность, но то-то и важно, что даже такая частность, какъ ненависть къ якобинцамъ, уже смолоду отличала Прудона. Второе печатное сочиненіе Прудона было «О праздноваиіи воскресенья». Оно мало читается, хотя и вошло въ собраніе сочиненій Прудона. И дѣйствительно, оно само по себѣ не имѣетъ никакого значенія, но въ біографическомъ смыслѣ оно, напротивъ, очень важно. Можно, пожалуй, опять-таки говорить по поводу его о теологическомъ фазисѣ развитія, потому что тутъ дѣло идетъ о Моисеевомъ законѣ. Но дѣло въ томъ, что «Празднованіе воскресенья» пред-

ставляетъ совсѣмъ не богословское толкованіе установленія субботняго дня и десяти заповѣдей. Это—комментаріи чисто прудоновскія, основанію которыхъ авторъ никогда не измѣнялъ. Заповѣдь «не укради», напримѣръ, толкуется уже прямо въ смыслѣ извѣстныхъ мемуаровъ о собственности. Словомъ, и установленіе субботняго дня, и весь законъ Моисеевъ привлечены Прудономъ только въ качествѣ орудія. Слѣдующая тирада ясно покажетъ въ чемъ дѣло: «Что мы видимъ вокругъ насъ? Съ одной стороны—люди, недовольные и разочарованные среди роскоши, бѣдные даже со всѣми своими богатствами; съ другой—наемники, которымъ нищета запрещаетъ даже думать о своемъ разумѣ и о своей душѣ, они счастливы, когда находятъ работу въ воскресенье!.. И среди всего этого христіанство, указывая на законъ Моисеевъ, безъ дальнѣйшихъ объясненій сохраняетъ празднованіе дня, который сдѣлалъ насъ всѣхъ равными и братьями. Не говоритъ ли оно тѣмъ самымъ: есть время для труда, есть время и для отдыха. Если одни изъ васъ не имѣютъ отдыха, такъ это потому, что у другихъ слишкомъ много досуга. Смертные, ищите истину и справедливость; войдите въ себя, раскайтесь, обновитесь.... Мы должны быть благодарны соборамъ, которые, не то что изящные аббаты восемнадцатаго вѣка, упорно стояли за празднованіе воскресенья. И дай Богъ, чтобы уваженіе къ этому дню было для насъ такъ же священно, какъ и для нашихъ отцовъ! Грызущее насъ зло чувствовалось бы сильнѣе, и лекарство было бы, можетъ быть, скорѣе найдено... Собственность еще не дѣлала мучениковъ, она—послѣдній изъ ложныхъ боговъ. Вопросъ о равенствѣ состояній былъ уже поднятъ, но въ видѣ безпринципной теоріи. Онъ долженъ быть вновь поднятъ во всей его глубинѣ. Проповѣдуемый во имя Бога и освященный голосомъ священника, онъ распространится, какъ молнія... Вотъ задача: *найти состояніе общественнаго равенства, которое не было бы ни коммунизмомъ, ни деспотизмомъ, ни раздробленіемъ, ни анархіей,—но свободою въ порядкѣ и независимостью въ единствѣ* (курсивъ подлинника). А за разрѣшеніемъ этого перваго пункта остается другой: *найти лучшій способъ перехода* (къ этому идеалу). Тутъ вся задача человѣчества». (Oeuvres, II, 150).

Кто знаетъ Прудона, тотъ знаетъ, что въ этихъ строкахъ заключенъ уже весь Прудонъ, какимъ его знаетъ читающій міръ. Для него нѣтъ ничего характернѣе, какъ постановка извѣстнаго, крайняго идеала (выраженнаго часто очень «страшными словами») и затѣмъ выработка переходныхъ ступеней. Къ этому мы еще вернемся, а теперь я обращаю вниманіе читателя главнымъ образомъ на то, что по отношенію къ своимъ завѣтнымъ идеямъ. Прудонъ явился въ литературу человѣкомъ совсѣмъ готовымъ, въ томъ родѣ, какъ родилась Минерва изъ головы Юпитера. Онъ мѣнялъ только пріемы доказательства, съ которыми обращался съ крайнею безцеремонностью. Приведу одинъ только примѣръ, какъ сказалъ бы г. Д—евъ, изъ метафизическаго фазиса его развитія. Извѣстно пристрастіе Прудона къ такъ называемой антиноміи. На этой діалектической штукѣ построена формальная сторона «Системы экономическихъ противорѣчій». Въ одинъ прекрасный день Прудонъ по чисто практическимъ соображеніямъ, которыя нетрудно было бы указать, рѣшаетъ измѣнить свой хваленый методъ. Онъ преспокойно пишетъ: «Я принялъ гегелевскую идею, что антиномія разрѣшается въ высшемъ принципѣ, въ синтезѣ, отличномъ отъ двухъ первыхъ—тезиса и антитезиса. Съ этой логической ошибкой я теперь разстался. *Антиномія не разрѣшается*, и въ этомъ состоитъ основная фальшь всей гегелевской философіи. Оба момента, входящіе въ антиномію, *уравновѣшиваются* или между собой, или съ другими антиномическими моментами. Уравновѣшеніе не есть синтезъ, какъ его разумѣлъ Гегель, а вслѣдъ за нимъ и я. Сдѣлавъ эту оговорку въ интересѣ чистой логики, я сохраняю однако все сказанное въ «Системѣ экономическихъ противорѣчій». (De la justice, 3 éd., 179). Въ другомъ мѣстѣ того же сочиненія онъ громитъ знаменитую «тріаду», какъ опасную глупость и пошлость. Доводы его при этомъ очень слабы; лучше сказать, ихъ нѣтъ совсѣмъ: онъ просто объявляетъ, что «орудіе логики» непремѣнно двучленное (binaire), чему соотвѣтствуетъ и самая суть явленій природы. Очевидно, что «интересы чистой логики» особеннаго значенія для него не имѣютъ. Въ ту минуту онъ былъ занятъ практическою мыслью сплотить буржуазію и рабочихъ въ одно цѣлое и направить эти соединенныя силы на общихъ враговъ, а сообразно этому «тріада» должна была сократиться въ «діаду». Подобныхъ примѣровъ можно бы было привести немало, а между тѣмъ есть основныя воззрѣнія Прудона, проходящія неизмѣнною красною нитью черезъ всѣ его письма и сочиненія, среди всевозможныхъ противорѣчій и удивительныхъ ампутацій, которымъ онъ подвергалъ и метафизику, и всѣ другія орудія своей борьбы.

Противорѣчій можно найти очень много и въ сочиненіяхъ, и въ письмахъ Прудона.

Но это—или чисто логическіе и въ общей системѣ его воззрѣній всегда второстепенные промахи, или результаты минутныхъ вспышекъ подъ напоромъ тревожной исторіи Франціи 30—50 годовъ, или, наконецъ, совершенно сознательное, хладнокровное пригибаніе разныхъ отвлеченныхъ формулъ къ извѣстнымъ практическимъ цѣлямъ. И за всѣмъ тѣмъ Прудонъ можетъ служить образцомъ непоколебимости убѣжденій, особенно поразительной для насъ, русскихъ. Я даже рѣшаюсь сказать, что нѣкоторые взгляды были ему прирожденны. Въ теорію врожденныхъ идей, независимо отъ опыта, я не вѣрю, но думаю, что по скольку извѣстныя мысли и чувства оставляютъ по себѣ слѣды въ нервной организаціи человѣка, они могутъ передаваться по наслѣдству, а, слѣдовательно, человѣкъ можетъ родиться съ совершенно опредѣленными задатками ихъ. Какъ бы то ни было, но основныя воззрѣнія Прудона, которыя только и стоитъ, говоря о немъ, имѣть въ виду, до такой степени неизмѣнны на всемъ пространствѣ отъ «Празднованія воскресенья» до любаго изъ посмертныхъ сочиненій, что прикидывать сюда мѣрку трехъ фазисовъ Конта значитъ жертвовать сутью для формы. Контовъ законъ важенъ, какъ попытка привести различныя стороны жизни къ одному знаменателю мысли, и къ числу лучшихъ страницъ «Курса положительной философіи» относится, напримѣръ, анализъ связи между теологическимъ мышленіемъ и военнымъ бытомъ. Отголосокъ этой связи, можетъ, быть, и существовалъ въ какихъ нибудь дѣтскихъ играхъ и забавахъ Прудона. Но съ того момента, какъ онъ принадлежитъ исторіи, онъ—Прудонъ и никогда ничѣмъ инымъ не былъ.

Съ непоколебимостью убѣжденій, каковы бы ни были самыя убѣжденія, симпатичныя намъ или нѣтъ, мы привыкли связывать представленіе о благородствѣ личности Мы даже склонны мѣрять одно другимъ. Я не намѣренъ разрушать эту совершенно законную ассоціацію идей. Бываютъ однако случаи, когда непоколебимость убѣжденій не исключаетъ возможности нѣкоторыхъ изъяновъ въ личномъ характерѣ ихъ носителя. Я долженъ сказать, что Прудонъ представляетъ собою одно изъ такихъ на первый взглядъ парадоксальныхъ явленій. Уже то обстоятельство, что онъ при крайне невыгодныхъ условіяхъ такъ рано вполнѣ сформировался, показываетъ, что непоколебимость далась ему безъ внутренней борьбы, далась даромъ, въ такомъ родѣ, какъ, напримѣръ, породистому охотничьему щенку даются даромъ, по наслѣдству, чутье и нѣкоторыя повадки, подлежащія только легкой дрессировкѣ. Ниже я попытаюсь дать хоть намекъ на качество и размѣръ полученнаго Прудономъ духовнаго наслѣдства. Но что оно было вообще большое—это очевидно. А если такъ, то непоколебимость является чѣмъ-то фатальнымъ, мало зависящимъ отъ свойствъ личности; лично не совсѣмъ хорошій человѣкъ можетъ быть такъ крѣпко скованъ своимъ духовнымъ наслѣдіемъ, что свергнуть съ себя его иго окажется для него дѣломъ немыслимымъ. Но недостатки его личнаго характера все-таки должны какъ нибудь прорваться, такъ сказать, въ щели основного строя его непоколебимыхъ убѣжденій. Къ сожалѣнію, съ Прудономъ такъ и было. Возьмите, напримѣръ, хоть вышеупомянутое внезапное и, собственно говоря, немотивированное превращеніе «тріады» въ «діаду», предпринятое для минутной практической цѣли. Въ качествѣ профана я вполнѣ способенъ оцѣнить всю глубину изреченія св. Августина: nulla est homini causa philosophandi nisi ut beatus sit. Философія должна служить цѣлямъ человѣка, иначе она не имѣетъ смысла. Но изъ этого не слѣдуетъ, что можно сообразно практическимъ цѣлямъ ломать истину, т. е. то, что мы признаемъ въ данную минуту истиной. Этого не могутъ понять только разные гг. Аверкіевы, Авсѣенки, Антроповы и прочія имена, начинающіяся на А, а впрочемъ, и на нѣкоторыя другія буквы, какъ напримѣръ, на С—Стебницкій. Они стоятъ за чистое искусство», т. е. выгоняютъ изъ его области всякія симпатіи и антипатіи, а сами сознательно извращаютъ въ своихъ произведеніяхъ факты въ угоду... чортъ знаетъ чего. Конечно, всѣ эти «тріады» и «діады» такъ отъ насъ далеки теперь, такъ мало намъ дороги, что подмѣна одной изъ нихъ другою нисколько не оскорбляетъ нашего нравственнаго чувства. Но это именно только потому, что намъ до нихъ дѣла нѣтъ, а во времена Прудона было иначе. Слѣдовательно, добросовѣстнымъ его поведеніе на этомъ пунктѣ никакъ нельзя назвать. Однако настаивать на этомъ я не буду, потому что переписка Прудона открываетъ факты болѣе рѣзкіе и достойные вниманія.

Въ одномъ изъ писемъ 1850 г. встрѣчается слѣдующая фраза, какъ справедливо замѣчаетъ г. Д—евъ, резюмирующая собою всю публицистическую политику Прудона: «Непоколебимость принциповъ, постоянныя сдѣлки (transaction) съ обстоятельствами и людьми». (Та же мысль выражена въ эпиграфѣ къ «Теоріи налога»; Des reformes toujours, des utopies jamais). Въ другомъ письмѣ того же года читаемъ: «Мой планъ былъ бы, еслибы я сдѣлался вашимъ сотрудникомъ—послѣ новаго подтвержденія и

защиты всѣхъ моихъ предъидущихъ заключеній, овладѣть общественнымъ мнѣніемъ посредствомъ новой грандіозной теоріи, которая бы предупредила и поглотила всѣ критики, *теоріи прогресса въ себѣ*, т. е. вѣчнаго движенія революціонныхъ идей—словомъ, философіи реформъ. Этимъ я спасъ бы все: абсолютизмъ принциповъ и медленность примѣненій. Тогда бы поняли, что, если истина есть то, что *есть*, она—еще болѣе то, что *дѣлается* (devient); тогда бы журналъ даже въ своихъ исключеніяхъ изъ общихъ правилъ, могъ быть оправданъ и защищенъ отъ всякихъ упрековъ. Тогда революціонная партія представляется разомъ непоколебимой въ своихъ принципахъ, практической и возможной». Эта идея не представляла, собственно говоря, новости въ Прудонѣ 1850 г.; она была ему всегда присуща, хотя и не въ видѣ ясно сознанной и точно формулированной теоріи. Мы видѣли, что уже въ «Праздноваліи воскресенья» шла рѣчь объ идеалѣ общественнаго равенства и вмѣстѣ съ тѣмъ о подготовительныхъ къ нему ступеняхъ. И таковъ Прудонъ во всемъ. Напримѣръ, его знаменитая «анархія», такъ многихъ пугавшая, не имѣетъ въ себѣ рѣшительно ничего разрушительнаго. Анархія Прудона есть отдаленный, крайній идеалъ, нѣкоторымъ образомъ маякъ, освѣщающій путь. Въ одномъ письмѣ къ Даримону Прудонъ пишетъ: «Наша идея *анархіи* пущена... Послѣ отрицанія государства мы должны дать почувствовать, что дѣло идетъ о довершеніи прогрессивнаго движенія, состоящаго въ упрощеніи usque ad nihilum, а не въ осуществленіи внезапной и прямой анархіи». Таковъ же характеръ и другой знаменитой формулы: собственность есть кража. Отрицанія собственности въ принципѣ здѣсь нѣтъ и помина. Для этого Прудонъ былъ слишкомъ французскій крестьянинъ—это очень важно замѣтить—извѣстный своей безпредѣльной, почти идолопоклоннической привязанностью къ собственности. Прудонъ не только не отрицалъ собственности въ принципѣ, а, напротивъ, хотѣлъ ее, какъ онъ однажды выразился, universaliser, т. е. расширить ея сферу, дать ее тѣмъ, у кого ея нѣтъ. Конечно, ставя единственнымъ основаніемъ права собственности трудъ, онъ колебалъ основы современнаго общества, въ которомъ собственность покоится на весьма различныхъ основаніяхъ. Но опять-таки никакого рѣзкаго переворота онъ не желалъ. Онъ писалъ одному пріятелю, требовавшему нѣкоторыхъ разъясненій: «Въ каждой реформѣ есть двѣ различныя вещи, которыя слишкомъ часто смѣшиваютъ: *переходное состояніе* и *совершенство* или *законченность*. Первое—какъ разъ то единственное дѣло, которое *теперешнее* общество признано исполнить; но какъ же осуществимъ мы этотъ переходный процессъ? Ты найдешь отвѣтъ на этотъ вопросъ, сопоставляя нѣкоторыя мѣста моего второго мемуара». Затѣмъ слѣдуютъ указанія на страницы извѣстнаго письма къ Бланки, гдѣ говорится о постепенномъ сокращеніи рентъ, арендъ и «нападеніи на собственность со стороны процента». Всѣ эти мѣры Прудонъ оставилъ впослѣдствіи болѣе или менѣе въ сторонѣ или измѣнилъ планъ ихъ введенія, но во всякомъ случаѣ и въ ту минуту, когда онъ писалъ свои мемуары о собственности, и тогда, когда онъ думалъ произвести всѣ нужныя и возможныя реформы двумя декретами—о ссудахъ и о налогѣ—и тогда, когда онъ, говоря о своемъ народномъ банкѣ, писалъ: «Я начинаю предпріятіе, которому не было и не будетъ равнаго; я хочу измѣнить основаніе общества, перемѣнить ось цивилизаціи, сдѣлать, чтобы міръ, вращавшійся до сихъ поръ, по волѣ Божіей, отъ запада къ востоку, сталъ двигаться отнынѣ по волѣ человѣка, отъ востока къ западу» (Oeuvres, XVIII, 1)—и позже, и всегда, несмотря на всѣ страшныя слова, Прудонъ былъ противникомъ всякаго насильственнаго переворота и сторонникомъ постепеннаго «прогресса въ себѣ». Системы же, предлагавшія извѣстный, совершенный съ точки зрѣнія авторовъ порядокъ вещей, который вмѣстѣ съ тѣмъ могъ быть осуществленъ немедленно, Прудонъ съ обычною энергіей выраженія называлъ «проклятою ложью». Читатель найдетъ обильныя подтвержденія въ цитатахъ г. Д—ева и еще больше въ сочиненіяхъ Прудона. А намъ предстоитъ здѣсь разрѣшить другой вопросъ.

Легко сказать: непоколебимость принциповъ и постоянныя сдѣлки съ обстоятельствами и людьми! Но какъ привести эту программу въ исполненіе? Какъ провести невредимо корабль принциповъ среди безчисленныхъ рифовъ и подводныхъ камней практической жизни, и въ особенности въ такой бурный историческій моментъ, въ какой довелось жить, мыслить и дѣйствовать Прудону? Не придется ли тутъ иногда, говоря прямо, лгать? Какъ понималъ это дѣло самъ Прудонъ—отчасти видно изъ письма его къ Марку Дюфрессу (1850 г.). Говорю: отчасти, потому что г. Д—евъ, къ сожалѣнію, недостаточно воспользовался этимъ замѣчательнымъ письмомъ, хотя оно почему-то упоминается у него два раза («Вѣстникъ Европы», № 8, 564, и № 9, 123), такъ что трудно даже обозначить съ точностью время, когда оно написано. Дю-

фрессъ задалъ Прудону рядъ политическихъ и соціальныхъ вопросовъ, имѣя въ виду возможность изданія газеты. Прудонъ отвѣчалъ между прочимъ: «Всѣ эти вопросы въ сущности прямо или косвенно сводятся къ слѣдующему: журналъ, о которомъ идетъ рѣчь, будетъ или нѣтъ слѣдовать политикѣ инсуррекціонной и въ какой мѣрѣ? Такъ какъ нѣтъ, да и не будетъ никогда предѣловъ для неудовольствій, какія можно поднимать противъ какого бы то ни было правительства, противъ законности его происхожденія и правоты его дѣйствій; такъ какъ, слѣдовательно, невозможно *логически* остановиться на пути возстанія, а предѣлъ является лишь тогда, когда возмущающійся органъ дѣлается обладателемъ власти,—изъ этого слѣдуетъ, что вопросъ, поставленный вами, предполагаетъ мнѣніе, о нравственности котораго каждый можетъ судить по своему. Журналъ не перестанетъ подбивать къ возстанію до тѣхъ поръ, пока его сотрудники не будутъ министрами, а его глава—президентомъ республики. Съ этой точки зрѣнія я и стану формулировать мои отвѣты на каждое изъ вашихъ вопрошеній». Вотъ образчики этихъ отвѣтовъ. Католицизмъ долженъ быть, по мнѣнію Прудона, преслѣдуемъ «вплоть до уничтоженія, что однако не мѣшаетъ мнѣ надписывать на моемъ знамени: *терпимость*; это—конечно, противорѣчіе». И тутъ же онъ прибавляетъ въ видѣ вопроса: «что вы отвѣтите, когда васъ попросятъ объяснить его, т.-е. это противорѣчіе?» Онъ стоитъ въ принципѣ за избирательное начало въ примѣненіи ко всякой должности. Но на практикѣ общественное благо (salut public) потребуетъ многочисленныхъ исключеній изъ этого принципа, и вотъ опять — новое противорѣчіе. И опять Прудонъ спрашиваетъ: «посмѣете-ли вы объяснить его?». Точно тоже и въ вопросѣ самоуправленія. Прудонъ защищаетъ полную самостоятельность общинъ. «Таковъ для меня, говоритъ онъ, настоящій принципъ, составляющій то, что довольно-таки глупо называли жирондизмомъ». Но государство часто должно быть поставлено выше коммуны для того, чтобы дѣйствовать на нее, какъ импульсъ, какъ руководящее и развивающее начало. Журналу съ абсолютными принципами опять придется противорѣчить себѣ, и его нападки на существующее правительство будутъ потому уже недобросовѣстны, что на мѣстѣ правительства онъ дѣйствовалъ бы точно также. Письмо оканчивается уже приведеннымъ мною выше намекомъ на теорію «прогресса въ себѣ».

Г. Д—еву очень нравится письмо къ Дюфрессу, какъ яркое выраженіе свойственной Прудону безпощадности и свободы критики и презрѣнія къ «условной демократической фразеологіи». Но г. Д—евъ и вообще не страдаетъ по отношенію къ своему герою тѣмъ, что ему въ этомъ героѣ такъ сильно и не совсѣмъ основательно нравится—безпристрастіемъ. Онъ готовъ измолотить всѣхъ современниковъ Прудона (кромѣ Огюста Конта), чтобы сдѣлать изъ ихъ труповъ достойный пьедесталъ для знаменитаго соціалиста. Я, грѣшный профанъ, прочиталъ письмо къ Дюфрессу съ крайне непріятнымъ чувствомъ, да и вообще переписка Прудона нѣсколько ослабила мое уваженіе къ нему, какъ къ личности. Въ письмѣ къ Дюфрессу презрѣніе къ условной демократической фразеологіи—послѣднее дѣло; лучше сказать, дѣло совсѣмъ не въ немъ. Безъ сомнѣнія, письмо дышетъ замѣчательною смѣлостью и мысли, и личнаго характера. Такъ откровенно говорить можетъ только человѣкъ сильнаго ума и глубоко-убѣжденный. Прудонъ здѣсь, выражаясь его собственными словами, называетъ кошку кошкой и недобросовѣстность недобросовѣстностью. Послѣдуемъ же его благому примѣру и скажемъ, что самъ онъ былъ часто очень недобросовѣстенъ. Сама по себѣ теорія «прогресса въ себѣ» и очень разумна и была во Франціи сороковыхъ годовъ вполнѣ умѣстна. Ждать, что земной рай, нарисованный со всѣми мельчайшими подробностями, осуществится завтра, значитъ или имѣть очень скромныя, очень жалкія представленія о земномъ раѣ, или не имѣть самыхъ элементарныхъ понятій объ томъ, какъ идутъ дѣла на землѣ. На такое ожиданіе способны только увлеченіе, которое несетъ извиненіе въ самомъ себѣ, невѣжество или барство, желающее пожинать, не сѣя, и ѣсть рябчиковъ, не жаря ихъ. Поэтому мысль о непоколебимости принциповъ при необходимости согласовать ихъ практическое приложеніе съ обстоятельствами времени и мѣста—глубоко вѣрна, хотя и представляетъ ту опасность, что за нее могутъ ухватиться негодяи и трусы. Но съ этимъ ужъ ничего не подѣлаешь. Самому же Прудону вовсе не предстояли тѣ ужасныя дилеммы, которыя онъ съ такимъ задоромъ ставилъ передъ Дюфрессомъ. Разъ заявлена доктрина «прогресса въ себѣ», можетъ-ли быть заподозрѣно въ недобросовѣстности такое, напримѣръ, разсужденіе: я требую полнѣйшей, безусловной терпимости, но, такъ какъ католицизмъ есть первый и злѣйшій врагъ ея, то во имя терпимости я буду преслѣдовать его «вплоть до уничтоженія»? или: «я требую полной самостоятельности самыхъ дробныхъ общественныхъ единицъ, какова община, но такъ какъ при такихъ-то и такихъ-то условіяхъ самостоятельность общины можетъ быть поддержана только вмѣшательствомъ центральной, государственной власти, то я призываю эту

власть»? Конечно, могутъ представиться многочисленные случаи, въ которыхъ согласованіе непоколебимаго принципа съ жизненною практикой будетъ очень трудно; возможны тутъ разныя ошибки въ разсчетѣ, но объ недобросовѣстности не можетъ быть и рѣчи. Прудонъ это очень хорошо понималъ и потому-то и систематизировалъ рекомендуемый имъ образъ дѣйствія, сложилъ его элементы въ точно-формулированную теорію. Но вотъ гдѣ его недобросовѣстность. Въ полемикѣ, напримѣръ, съ Луи Бланомъ онъ плохо различалъ принципъ и его осуществленіе, цѣль и средства. Вмѣсто того, чтобы держаться своего правила, называть кошку кошкой и стоять на томъ, что будь, дескать, я на вашемъ мѣстѣ члена временнаго правительства, я бы не національныя мастерскія заводилъ, а дѣлалъ бы то-то и то-то—вмѣсто этого онъ громилъ «гувернаментализмъ» Луи Блана и щеголялъ своей «анархіей». Между тѣмъ онъ очень хорошо понималъ, что его анархія есть только маякъ, отдаленный возможный результатъ ряда дѣйствій, которымъ онъ самъ готовъ былъ придать нѣкоторый «гувернаментальный» характеръ. Какъ видно изъ письма къ Дюфрессу, онъ имѣлъ въ мысляхъ возможность занять постъ президента республики и не отбрыкивался отъ этой возможности, а заносилъ ее въ счетъ своихъ соображеній. Въ этомъ нѣтъ ничего достойнаго порицанія. Занявъ постъ президента, онъ сталъ бы, по собственному сознанію, дѣйствовать тѣми же пріемами и способами, какъ Луи Бланъ и всякое другое правительство, хотя и направлялъ бы ихъ иначе. И тутъ опять-таки нѣтъ ничего худого или даже противорѣчащаго *его* идеѣ анархіи. Но громить при этомъ то или другое правительство не за то, что оно плохо распоряжается а за то, что оно вообще распоряжается—это, конечно, недобросовѣстно.

Достойно вниманія, что анархиста Прудона постоянно тянуло къ правительству, какъ видно изъ множества мѣстъ его переписки. Такъ еще въ 1842 г, сообщая другу своему Бергману о задуманномъ имъ сочиненіи, онъ прибавляетъ: «ты, быть можетъ, не удивишься моему предсказанію, что черезъ два года я весь, со всѣмъ моимъ добромъ (avec armes et bagages) перейду къ правительству». По волѣ судьбы однако тотчасъ же вслѣдъ за этимъ письмомъ противъ него было возбуждено судебное преслѣдованіе за третій мемуаръ о собственности. Онъ былъ искренно пораженъ этою неожиданностью, но все-таки послалъ министру Дюшателю свои сочиненія и объяснительную записку. Бергману онъ писалъ по этому поводу. «Надѣюсь, что министръ приметъ благосклонно мои идеи, тѣмъ болѣе, что я объясняю ему (ты это поймешь), какъ самыя радикальныя теоріи могутъ быть обращены въ пользу правительства. Въ самомъ дѣлѣ, если въ обществѣ не должно происходить ни замѣщенія, ни перерыва, то каждая теорія должна доказать, что она необходимо вытекаетъ изъ существующей, о сохраненіи которой она, слѣдовательно, должна, обязана заботиться до тѣхъ поръ, пока не начнетъ дѣйствовать сама». Иногда впрочемъ на него нападаютъ и сомнѣнія такого рода: «Не смѣю еще надѣяться на то, что правительство поймет достоинство моихъ изслѣдованій». Но это рѣдко. Большею частію Прудонъ надѣется и ждетъ: «Мнѣ удается въ одно и то же время быть самымъ крайнимъ реформаторомъ эпохи и пользоваться протекціей власти» (1842); «вопреки всеобщей ненависти у меня всегда есть какой-нибудь министръ, который при случаѣ можетъ помочь мнѣ» (1848). *Въ* 1849, *сидя въ тюрьмѣ*, онъ пишетъ Гильомену: «Я долженъ извѣстить васъ о большомъ дѣлѣ, затѣянномъ между С. Пелажи (тюрьма) и Елисейскимъ дворцомъ. Луи Бонапартъ долженъ ни больше, ни меньше, какъ сдѣлаться компаньономъ «народнаго банка». Я доставлю публикаціи, статуты и т. д.; дѣло пойдетъ на разсмотрѣніе, и, быть можетъ, правительство или президентъ, не знаю ужъ кто изъ нихъ, сдѣлаетъ для насъ то, что сдѣлано было для cités ouvrières: возьметъ на себя починъ акціонерной компаніи посредствомъ крупной подписки». Будучи переведенъ въ крѣпость Дюлленсъ, гдѣ были заключены Распайль, Альберъ, Барбесъ, Бланки и другіе, онъ пишетъ: «Право не знаю, почему я очутился со всѣми этими гражданами, которыхъ я необычайно уважаю... Я — новый человѣкъ, человѣкъ полемики, а не баррикадъ, человѣкъ, который могъ бы достичь своей цѣли, обѣдая каждый день съ префектомъ полиціи». Событія 2 декабря и затѣмъ вторая имперія не только не ослабили этого оригинальнаго убѣжденія Прудона—дѣйствовать заодно съ правительствомъ — а даже поддали ему жару: «я разсчитываю черезъ два-три мѣсяца водрузить ни больше, ни меньше, какъ знамя соціальной республики. Случай представляется великолѣпный, успѣхъ почти вѣрный. Какъ только Бонапартъ сдѣлается императоромъ, я примусь разсуждать о совершившемся фактѣ (ни *за*, ни *противъ*); я буду обсуждать миссію Бонапарта и раціонально подталкивать его ко всѣмъ революціоннымъ препріятіямъ, которыя въ данномъ случаѣ должны, конечно, усилить его популярность, но вмѣстѣ съ тѣмъ подвигать впередъ и демократію». Въ другомъ письмѣ читаемъ: «Разсчитываю я выпустить въ теченіе іюня и іюля три изданія къ ряду, занять положеніе на совер-

шенно новой почвѣ и заставить Елисейскій дворецъ посмотрѣть на союзъ съ республиканцами, какъ на вещь до такой степени желательную, логическую, настоятельно необходимую, что имъ останется только ожидать ее съ достоинствомъ... Слѣдуетъ искуснымъ маневромъ, высшими философскими соображеніями поставить партію, находящуюся нынѣче въ изгнаніи, такъ высоко, не взирая на ея ошибки, чтобы всякая монархическая реставрація показалась чудовищной и чтобы правительство 2-го декабря, слѣдуя логикѣ своего происхожденія, своего предназначенія, своего положенія, было въ постоянной необходимости искать соглашенія. Словомъ сказать: надо сдѣлать изъ революціи единственную программу, возможную для Луи Наполеона; надо, чтобы онъ устремился къ ней для своего счастья и спасенія; надо широко растворить ему эту дверь будущности, популярности, безсмертія; надо закрыть ему всѣ другіе исходы, обрѣзать малѣйшую вѣтвь спасенія, отнять всякій предлогъ, лишить всякой надежды. Надо, говорю я, доказать ему, доказать всѣмъ интеллигенціямъ, что внѣ революціи они пропали, и доказывая это, добиться того, чтобы оно такъ случилось».

Я нарочно привелъ образцы (ихъ много въ письмахъ Прудона) и совершенно искренней увѣренности, что его идеи станутъ руководить правительствомъ, и хитрыхъ макіавелическихъ комбинацій, задуманныхъ на погибель правительства. И тѣ, и другіе проникнуты крайнимъ простодушіемъ, не лишеннымъ своеобразнаго комическаго элемента, особенно если вспомнить, что на дѣлѣ Прудонъ не только никогда ни такъ, ни иначе не проникалъ въ правительственныя сферы, но испыталъ всѣ удовольствія тюрьмы и изгнанія. Трудно даже понять, какъ могъ человѣкъ несомнѣнно сильнаго, огромнаго ума до такой степени плохо оріентироваться въ комбинаціяхъ практической жизни. Но я не на эту сторону дѣла хочу обратить вниманіе читателя. Она свидѣтельствуетъ только о наивности Прудона и его глубокой вѣрѣ въ свои идеи, вѣрѣ, недопускающей даже и тѣни сомнѣнія, что, какъ только извѣстныя «высшія философическія соображенія» будутъ предъявлены Дюшателю или Наполеону—такъ Наполеонъ и Дюшатель немедленно раскроютъ Прудону свои объятія. Это та самая вѣра, которая побуждала Прудона совершенно искренно писать одному другу: «моли Бога, чтобы я нашелъ издателя (для перваго мемуара о собственности)—въ этомъ, можетъ быть, спасеніе Франціи!». Если вы посмотрите на упованія Прудона съ этой точки зрѣнія, то ихъ комическій характеръ нѣсколько поблѣднѣетъ, и вы припомните, можетъ быть, извѣстную поговорку, что между смѣшнымъ и великимъ всего одинъ шагъ разстоянія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ вы невольно поражаетесь тѣмъ обстоятельствомъ, что человѣкъ, не только въ первомъ же своемъ зрѣломъ произведеніи объявившій себя «анархистомъ», но всегда преслѣдовавшій въ другихъ попытки правительственной иниціативы, самъ постоянно тяготѣлъ (хотя и платонически) къ правительству. Если мы даже выкинемъ изъ счета, ради его двусмысленности, планъ подкопа подъ Наполеона III, то многія другія упованія Прудона ясно показываютъ, что онъ совершенно искренно и вполнѣ честно разсчитывалъ дѣйствовать правительственными путями. Оно, какъ мы видѣли, и не противорѣчитъ его собственной доктринѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ противорѣчили и этой доктринѣ, и элементарнымъ понятіямъ о нравственности его нападки на другихъ за то, чѣмъ онъ былъ такъ грѣшенъ самъ. И въ полемикѣ его, всегда страстной и часто очень искусной, это противорѣчіе выражалось многими некрасивыми чертами. Самая умѣренная характеристика его образа дѣйствій въ этомъ отношеніи можетъ быть выражена словомъ «плутоватость»—словомъ, которое онъ въ одномъ письмѣ самъ употребляетъ по отношенію къ себѣ. Но если «плутоватый» человѣкъ, сознавая свою плутоватость и сознательно пуская ее въ ходъ, примется лавировать по самымъ опаснымъ и бурнымъ пространствамъ грязнаго житейскаго моря, то становится «за человѣка страшно», за его нравственную чистоту, потому что замараться вѣдь такъ легко. И Прудонъ замарался. До сихъ поръ мы видѣли только наивность его платоническаго тяготѣнія къ правительственнымъ сферамъ и полнѣйшее безкорыстіе, потому что во всѣхъ своихъ замыслахъ войти въ правительство искреннимъ или коварнымъ другомъ онъ о себѣ не думалъ, ничего лично для себя не добивался. Но онъ все-таки стоялъ на слишкомъ скользкой почвѣ и поскользнулся, и не разъ. Къ сожалѣнію письма, относящіяся къ подобнымъ случаямъ, мнѣ въ оригиналѣ неизвѣстны, а г. Д—евъ скупъ на выдержки изъ нихъ, во-первыхъ, по характеру своей задачи, а во-вторыхъ, надо думать потому, что щадитъ своего героя. Но тѣмъ большую силу получаютъ нѣкоторыя отрицательныя или неодобрительныя сужденія г. Д—ева. Въ 1850 г., сидя въ тюрьмѣ, Прудонъ продолжалъ руководить оттуда своей газетой «Voix du Peuple». Правительство Луи Наполеона подозрѣвало его во всѣхъ рѣзкихъ статьяхъ и потому перевело его въ другую тюрьму и стѣснило его въ выходѣ и пріемѣ друзей. Тогда онъ написалъ пре-

фекту полиціи письмо, въ которомъ просилъ прежнихъ послабленій. Онъ напоминаетъ префекту, что его направленіе никогда не было разрушительнымъ, что на возмущеніе 13 іюня онъ не переставалъ смотрѣть, какъ на дѣло противозаконное, такъ какъ «право возстанія погашается учрежденіемъ всеобщей подачи голосовъ». Далѣе онъ указываетъ на свою постоянную примирительную роль, на неустанное желаніе согласить интересы классовъ, для чего собственно онъ и напечаталъ свои «Признанія революціонера», и, наконецъ на свою безпощадную критику всѣхъ соціалистическихъ утопій, ссылаясь на толки, ходившіе на биржѣ, что онъ, Прудонъ, содѣйствовалъ порядку и возстановленію нормальнаго хода дѣлъ (!) своими нападками на утопистовъ и либерализмомъ своихъ стремленій. «Это письмо, вынужденъ замѣтить г. Д—евъ:—вызвано, конечно, тяжелою дѣйствительностью; но Прудону все-таки не слѣдовало писать его съ такими доводами». Вмѣстѣ съ тѣмъ Прудонъ извѣщалъ префекта, что онъ отказывается отъ всякаго участія въ Voix du Peuple, а редакцію увѣщевалъ поддержать его обращеніе къ префекту «умѣренностью и примирительнымъ духомъ». Изъ другого письма къ префекту видно, что первое подѣйствовало: Прудонъ «усердно благодаритъ» префекта, но проситъ перевести его въ старую тюрьму. Не приводя изъ этого письма ни одной подлинной строки, г. Д—евъ замѣчаетъ: «Письмо это, даже и на совершенно объективный взглядъ, не производитъ хорошаго впечатлѣнія, хотя вполнѣ вѣрно, что такой человѣкъ, какъ Прудонъ, никогда не вдавался въ абсолютизмъ и нетерпимость (?). Но онъ ненавидѣлъ и презиралъ правительство президента, зналъ прекрасно, чего ждать отъ его клики, и находилъ возможнымъ очень мягко переписываться съ префектомъ полиціи». Есть и еще одно любопытное письмо 1850 г., изъ котораго г. Д—евъ не дѣлаетъ никакихъ выдержекъ, а только изображаетъ производимое этимъ письмомъ впечатлѣніе на читателя. Приведя изъ дружескаго письма Прудона рѣзко презрительное выраженіе о Наполеонѣ, г. Д—евъ продолжаетъ: «тѣмъ непріятнѣе наткнуться въ концѣ третьяго тома на письмо къ президенту республики отъ 28 ноября, съ просьбою объ облегченіи участи, хотя письмо это и было потомъ уничтожено, какъ слишкомъ *личное*, по замѣчанію самого автора, находящемуся подъ текстомъ. Письмо это, названное «петиціей», было замѣнено ходатайствомъ объ общей амнистіи. Во всякомъ случаѣ врядъ ли слѣдовало Прудону обращаться къ человѣку, замышлявшему 2-е декабря, во имя солидарности, объединяющей ихъ, какъ враговъ старыхъ партій». Есть еще, тоже нехорошія, письма Прудона къ Plon-Plon, т. е. къ принцу Наполеону, писанныя уже послѣ 2 декабря. Собственноручное письмо такого ничтожества, какъ этотъ проходимецъ, *даже не къ нему адресованное*, а только касающееся его, Прудонъ «сохраняетъ съ гордостью». Онъ говоритъ о «славѣ имени» и «чести дома» Бонапарта.

Къ такимъ некрасивымъ результатамъ пришелъ Прудонъ, спускаясь съ высоты теоріи «прогресса въ себѣ» по наклонной плоскости своей «плутоватости». Что дѣло здѣсь не въ теоріи, а въ личности Прудона—это очевидно. Что поведеніе его далеко отъ рыцарства, это опять-таки—фактъ, на какомъ бы языкѣ вы его ни разсказали, а не только на языкѣ «условной демократической фразеологіи». Я не обвинительный актъ пишу противъ Прудона. Да и очень бы это жалкое дѣло было. Я просто ищу въ его перепискѣ его портрета и не могу не останавливаться преимущественно на такихъ чертахъ, которыя для меня новы, и, смѣю думать, не для одного меня, а для громаднаго большинства читающихъ и думающихъ русскихъ и европейцевъ, привыкшихъ связывать съ личностью Прудона представленіе о чемъ-то безусловно чистомъ, свободномъ отъ малѣйшаго пятна и упрека. Совсѣмъ не весело подбирать эти тусклыя черты, потому что, подбирая ихъ, приходится отрывать нѣчто отъ сердца. Это—не фраза. Со мной согласится всякій, когда-нибудь увлекавшійся какимъ-нибудь историческимъ или живымъ образомъ, именно образомъ, свѣтлою личностью, а не только ея идеями. Дѣло извѣстное, что и на солнцѣ есть пятна, но, какъ ни элементарна эта истина, какъ ни часто она подтверждается, а все-таки нелѣпая природа человѣка беретъ свое и не позволяетъ сказать безъ боли и печали: и ты Брутъ?! Я долженъ признаться, что личность Прудона стояла для меня скорѣе выше, чѣмъ ниже его идей. Сочиненія его поучительны въ совсѣмъ особенномъ смыслѣ. Если вычесть у Прудона то, что въ немъ есть общаго съ другими соціалистами, то, сравнительно говоря, у него мало чему можно научиться въ прямомъ смыслѣ слова, т. е. пріобрѣсти непосредственно отъ него. Но чтеніе его сочиненій дѣйствуетъ замѣчательно возбудительнымъ образомъ, какъ ферментъ. Каждая его книга поднимаетъ въ читателѣ цѣлый рядъ вопросовъ, которые требуютъ отвѣтовъ, цѣлый рядъ мыслей, которыя вторгаются въ вашъ умственный запасъ, требуютъ себѣ въ немъ мѣста, раздвигаютъ и тормошатъ своихъ сосѣдей, требуютъ отъ

васъ пересмотра, критики и самокритики. Сравните, напримѣръ, «Капиталъ» Маркса съ «Системой экономическихъ противорѣчій». У Маркса вы нѣчто узнали, да такъ узнали, какъ будто извѣстныя свѣдѣнія приколочены у васъ въ мозгу двухъ вершковыми гвоздями. Подъ этими страшными гвоздями ничто не поколеблется, ничто не шелохнется. «Система экономическихъ противорѣчій», напротивъ, сравнительно опять-таки говоря, даетъ вамъ мало положительнаго знанія, умственнаго успокоенія. Но она дорога именно тѣмъ состояніемъ умственнаго безпокойства, броженія, которое производитъ. Это объясняется обаяніемъ личности писателя; тѣмъ бурнымъ клокотаніемъ жизни, которымъ она полна и которое брызжетъ изъ каждой строки, то въ видѣ истинно громоноснаго гнѣва, то въ видѣ пламеннаго призыва къ чему-то, не всегда опредѣленному, но всегда высокому и свѣтлому, то въ видѣ почти безумной смѣлости отрицанія и критики. Въ разговорѣ съ однимъ французскимъ соціалистомъ, меня поразила его фраза: nous sommes presque tous proudhoniens, мы почти всѣ—прудонисты. Когда я сталъ добиваться подробностей, то узналъ, что собесѣдникъ мой, во-первыхъ, придаетъ крайне слабое значеніе идеѣ прудоновскаго банка, единственнаго практическаго, положительнаго результата дѣятельности Прудона; а во-вторыхъ, признаетъ завѣтную мысль Прудона—о сочетаніи силъ буржуазіи и рабочаго класса—пережитою, оставленною за флагомъ. Что же остается? Остается идея личности, одинаково не мирящаяся ни съ необузданностью мелкаго эгоизма, систематизированнаго въ ученіи экономистовъ, ни съ планами фаланстеріанцевъ, икарійцевъ и т. п., замыкающими личность въ тѣсныя и фантастическія рамки. Съ этой точки зрѣнія значеніе Прудона для Франціи дѣйствительно громадно въ воспитательномъ смыслѣ. Но воспитаніе это производилось исключительно тѣми шпорами, которыя Прудонъ неустанно и безжалостно давалъ личности въ своихъ сочиненіяхъ, иначе сказать, собственною личностью Прудона. Та же мысль о связи личности Прудона съ его идеями о личности, очень хорошо (но теперь уже не совсѣмъ вѣрно) выражена въ брошюрѣ г. Жуковскаго «Прудонъ и Луи Бланъ» (1866 г.): «Онъ выдѣлялъ себя не во имя новой какой-либо партіи, новой коллективной силы единомышленниковъ, которой бы искалъ и на которую думалъ бы опираться. Нѣтъ, у него никогда не было ни школы, ни кружка, ни партіи, и онъ весьма далекъ былъ отъ желанія организовать подобную партію... Весь протестъ его окружающему заключался въ его собственной личности; на однихъ своихъ плечахъ онъ хотѣлъ вынести всю войну, которую вызывалъ своимъ отрицаніемъ... Личность и прежде всего личность стояла для него на первомъ планѣ; въ этомъ началѣ личности видѣлъ онъ всю силу... Въ силу такого взгляда никто не былъ менѣе способенъ къ интригѣ, къ оправданію поступковъ благою цѣлью, къ половиннымъ сдѣлкамъ, уступкамъ и компромиссамъ; безукоризненность личной дѣятельности онъ ставилъ въ первый законъ политической и гражданской дѣятельности, самую личность, если хотите, ставилъ поэтому выше дѣла... Ту идеальную чистоту личности, которую идеалисты проповѣдывали только на словахъ, онъ хотѣлъ сдѣлать закономъ самаго дѣла... Съ рѣдкой послѣдовательностью онъ хотѣлъ отстоять право и чистоту личности во всѣхъ сферахъ ея дѣятельности и во всѣхъ положеніяхъ. Вотъ почему онъ остался столь же бѣденъ деньгами, какъ немногіе друзья его и единомышленники». Въ этихъ сочувственныхъ словахъ выражено не личное мнѣніе г. Жуковскаго, а почти общее понятіе, къ которому склонялись и заклятые враги Прудона. И вдругъ—плутоватость! Сама по себѣ плутоватость—слишкомъ обычное и неважное явленіе, чтобы ею возмущаться. Но плутоватость въ Прудонѣ и плутоватость, доходящая до похвальбы передъ Наполеономъ, что, дескать, на биржѣ толкуютъ, что я способствовалъ возстановленію порядка и нормальнаго хода дѣлъ, т. е. подготовленію второй имперіи!.. Г. Д—евъ неоднократно съ презрѣніемъ отзывается о моральной оцѣнкѣ фактовъ, доставленныхъ перепиской Прудона. Прежде всего говоритъ онъ—философія, исторія философскаго развитія. Полагаю, что Прудонъ первый не согласился бы встать на такую точку зрѣнія, да и г. Д—евъ далеко не вполнѣ на ней удержался, что очень понятно. Конечно, переписка Прудона служитъ хорошимъ подспорьемъ для изслѣдованія процесса его философскаго развитія, но можно, собственно говоря, обойтись довольно удобно и безъ нея. Возьмите сочиненія Прудона, расположите ихъ въ хронологическомъ порядкѣ, изслѣдуйте и освѣщайте процессъ развитія съ точки зрѣнія Конта или какой угодно другой. Дѣйствительно, для исторіи философскаго развитія Прудона переписка не даетъ ничего существенно новаго, ничего такого, чего нельзя бы было отыскать въ его сочиненіяхъ, но она незамѣнима для характеристики личности и представляетъ въ этомъ отношеніи дѣйствительно новые и неожиданные матеріалы. Всѣ были, напримѣръ, увѣрены, что Прудонъ не имѣлъ и не хотѣлъ имѣть

партіи, на которую разсчитывалъ бы опереться. Оказывается, что это неправда. Партіи онъ дѣйствительно не имѣлъ: онъ имѣлъ только «кружокъ», очень небольшой, за который считалъ себя однако «нравственно отвѣтственнымъ», какъ онъ писалъ префекту полиціи. Но онъ *хотѣлъ* имѣть партію, какъ видно изъ многихъ его писемъ. Всѣ были увѣрены, что онъ мечталъ провести въ жизнь свои идеи единственно на своихъ собственныхъ плечахъ. Оказывается, что это неправда, потому что онъ разсчитывалъ и на плечи Дюшателя и разныхъ другихъ министровъ. Всѣ были, наконецъ, увѣрены, что «никто не былъ менѣе способенъ къ интригѣ, къ оправданію поступковъ благою цѣлью». И это неправда, потому что въ перепискѣ встрѣчаются прямые совѣты выть съ волками по волчьи, а планъ подкопа подъ Наполеона III свидѣтельствуетъ, что интрига и оправданіе поступковъ благою цѣлью были Прудону не совсѣмъ чужды. Ниже я разскажу еще одинъ подходящій эпизодъ изъ его частной жизни.

Но каковы бы ни были пятна на солнцѣ, оно остается солнцемъ. Лично Прудонъ былъ человѣкъ плутоватый, это несомнѣнно, но самъ онъ сильно преувеличивалъ свою плутоватость и способность къ интригѣ. Въ сущности у него былъ только позывъ къ ней, а способности не было вовсе. Плутоватость его достигла предположенныхъ цѣлей только въ полемикѣ, въ которой онъ часто далеко не добросовѣстно, но, по крайней мѣрѣ, внѣшнимъ образомъ успѣшно вывертывался изъ затруднительныхъ положеній. На всѣхъ остальныхъ пунктахъ плутоватость привела къ нулю, если не къ отрицательной величинѣ. Факты говорятъ сами за себя: увѣреніе, что онъ можетъ дѣлать свое дѣло, каждый день обѣдая съ префектомъ полиціи, написано въ тюрьмѣ; вслѣдъ за твердо выраженнымъ намѣреніемъ «перейти со всѣмъ багажемъ въ правительство», какъ мы видѣли, началось судебное преслѣдованіе Прудона,—это, если хотите, черты высокаго комизма. Что же касается до облегченія тюремнаго режима, добытаго плутоватостью, то оно меньше, чѣмъ нуль, потому что облегченіе было ничтожно, а честное имя Прудона компрометтировано. Коварные замыслы противъ правительства Наполеона III поражаютъ своею фантастичностью и черезъ два-три года послѣ ихъ изложенія Прудонъ чествуетъ прихвостня императора—принца Наполеона. Не меньше, можетъ быть, всякаго грѣшнаго потомка грѣшныхъ прародителей Адама и Евы, Прудонъ былъ не прочь и отъ власти и богатства, и отъ интриги и оправданія поступковъ благою цѣлью. Но какъ-то всегда такъ выходило, что либо замыселъ, не смотря на весь умъ Прудона, оказывался ребяческимъ, либо онъ самъ отказывался, напримѣръ, отъ денегъ, когда ихъ могъ получить совершенно безобиднымъ образомъ. Онъ хотѣлъ и не хотѣлъ. Благодаря бѣдности человѣческаго языка, нельзя выразиться яснѣе, а между тѣмъ это противорѣчіе всѣмъ понятно, потому что оно довольно обыкновенно. Власти и богатства Прудонъ, надо замѣтить, никогда не добивался, какъ своихъ личныхъ, своекорыстныхъ цѣлей, но все-таки думалъ о нихъ. Когда вслѣдствіе письма его къ Наполеону было снято запрещеніе съ его книги, онъ былъ очень обрадованъ и писалъ одному другу, что собирается воевать съ клерикалами и консерваторами, надѣется сразу заработать 30,000 франковъ своими изданіями и стать во главѣ настоящей революціонной партіи. Мысль заняться какимъ-нибудь нелитературнымъ практическимъ доходнымъ предпріятіемъ очень часто занимала Прудона. Между прочимъ, въ 1852 году онъ собирался пустить въ ходъ проектъ судоходства между Марселью и Ріо-Жанейро. Сообщивъ это свѣдѣніе, г. Д—евъ замѣчаетъ: «Пикантно при этомъ то, что въ ожиданіи соціальныхъ переворотовъ, Прудонъ каждый разъ собирается дѣйствовать буржуазными средствами: ловкостью, секретомъ и т. д.» Соотвѣтственныхъ фактовъ г. Д — евъ не не приводитъ. Въ томъ же 1852 году Прудонъ писалъ: «Почему мнѣ не двадцать пять лѣтъ вмѣсто сорока четырехъ! Десяти лѣтъ довольно бы мнѣ было, чтобы составить состояніе, безъ котораго человѣкъ съ идеями всегда лишенъ солидности и кредита. Тогда мы могли бы попытать кое-что и вступить въ равныя сношенія съ власть имѣющими... Теперь же я все-таки презрѣнный писака, недостойный вниманія ни со стороны республиканской буржуазіи, ни со стороны буржуазіи бонапартистской». Въ слѣдующемъ году онъ былъ сильно занятъ проектомъ желѣзной дороги изъ Безансона въ Мюльгаузенъ. Въ чемъ состояло его участіе въ этомъ дѣлѣ, изъ изложенія г. Д — ева не видно. Въ всякомъ случаѣ «онъ мечталъ, еслибы предпріятіе это состоялось, получить отъ концессіонера 500,000 франковъ на возобновленіе своего *народнаго банка*». Дѣло это однако лопнуло, потому что концессія была дана не патронамъ Прудона, а Перейрѣ. Такихъ неудачъ въ жизни Прудона было не мало и становится, наконецъ, интереснымъ, почему же замѣчательно умный, талантливый и извѣстный человѣкъ, желающій вдобавокъ добиться извѣстнаго матеріальнаго благосостоянія, не получаетъ его? Что Прудонъ никогда его не получилъ, это читатель, конечно, знаетъ. Всѣмъ извѣстно,

что Прудонъ оставался всю жизнь бѣднякомъ, но до какой степени бѣднякомъ! Издавъ уже свои мемуары о собственности и работая надъ Création de l'ordre, будучи уже, слѣдовательно знаменитостью, сочиненія которой переводились на иностранные языки, онъ писалъ матери: «Отдайте зачинить мои старые башмаки, которые вы должны были получить съ дилижансомъ изъ Пема». Гораздо позже онъ писалъ, что удовольствовался бы 4 или даже 3,000 франковъ въ годъ. «Писать, еще писать и всегда писать! вотъ моя бѣда; кто выведетъ меня изъ этого ада?»—восклицаетъ онъ въ 1852 г., измученный подобной работой. Можно подумать, что онъ былъ просто плохой дѣлецъ, такъ же дурно устанавливавшій въ практику свои промышленные проекты, какъ дурно оріентировался въ политической практикѣ, когда разсчитывалъ, напримѣръ, опереться на Дюшателя. Оно, по всей вѣроятности, отчасти такъ и было. Но былъ въ его жизни, по крайней мѣрѣ, одинъ такой случай, когда онъ могъ съ разу получить порядочный кушъ, и очень любопытно видѣть, какъ онъ съ этимъ случаемъ ряспорядился. Когда дѣло безансонско-мюльгаузенской желѣзной дороги для него лопнуло, министръ финансовъ Мань и выбранный концессіонеръ Перейра нашли, что Прудону слѣдуетъ заплатить 40,000 фр. «отступного», какъ говоритъ г. Д — евъ. Прудовъ отказался. «Я принялъ участіе въ хлопотахъ,—писалъ онъ по этому поводу—и съ цѣлью политическою, и въ интересѣ принципа. Принципъ этотъ: конкуренція, которую я желалъ возбудить между желѣзными путями вѣтвью отъ Безансона до Мюльгаузена. Императоръ рѣшилъ иначе; мнѣ нечего брать вознагражденіе за принципъ. Деньги и идея—двѣ несоизмѣримыя величины». Сколько мнѣ извѣстно, Прудонъ видѣлъ тутъ какую-то борьбу между принципами сенъ-симонистовъ, представителемъ которыхъ въ этомъ дѣлѣ считалъ Перейру, и своими. Изъ 40.000 фр. ему, повидимому, слѣдовала только извѣстная часть, которая для него все-таки должна была составлять изрядную сумму. По крайней мѣрѣ, онъ писалъ нѣсколько позже: «Въ первый разъ подвергся я денежному искушенію; долженъ однако прибавить, что со мной поступили съ добрымъ намѣреніемъ и деликатностью».

Вотъ и разбирайте человѣческое сердце... Г. Д — евъ говоритъ, что планы Прудона дѣйствовать хитростью, ловкостью, подвохами и подводами—«пикантны». Можетъ быть, и пикантны, но я рѣшительно не понимаю, какъ можно просто вкушать и смаковать эту пикантность, не пытаясь дать ей объясненіе. Безъ такого объясненія вся переписка Прудона представляетъ только безпорядочную кучу писемъ, которая даже интереса большого не имѣетъ. Потому что, повторяю, исторія философскаго развитія Прудона можетъ быть выслѣжена и по его сочиненіямъ, а для познанія всякаго рода пикантностей достаточно голаго заявленія, что былъ, дескать, человѣкъ большого ума и высокой честности, но дѣлалъ глупости и гадости.

Г. Д—евъ замѣчаетъ, что въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ Прудонъ оставался до конца жизни французскимъ мужикомъ. Я думаю, что это основаніе всей личности Прудона и всѣхъ его сочиненій. По отзывамъ всѣхъ, имѣвшихъ случай узнать французскихъ крестьянъ, исторія сдѣлала ихъ людьми, что называется, себѣ на умѣ, самостоятельными, упорными, упрямыми, трудолюбивыми, воздержанными и бережливыми до скупости, жесткими эгоистами. Проникающее ихъ личное начало рѣзче всего выражается въ необыкновенной страсти къ собственности. Французскій крестьянинъ бьется, какъ рыба объ ледъ, работаетъ, какъ волъ, отказываетъ себѣ во всемъ, чтобы накопить деньжонокъ и округлить свой наслѣдственный участокъ земли; или же онъ съ этою цѣлью занимаетъ за страшные проценты. Сегодня онъ умеръ и сколоченный съ невѣроятными усиліями клочокъ земли дробится поровну между его сыновьями, изъ которыхъ каждый начинаетъ дѣло округленія вновь, если только его не перетянутъ къ себѣ соблазны городской жизни. Въ семьѣ французскій крестьянинъ—деспотъ и смотритъ на жену свысока, какъ на существо несравненно низшее. Не только общественнаго хозяйства, хотя бы оно не выходило изъ предѣловъ семейнаго, но и общественной жизни онъ не знаетъ. Онъ поглощенъ своею личностью и только ближайшіе ея отпрыски, дѣти, ему близки. Мишле, такъ поэтически описавшій привязанность французскаго крестьянина къ «любовницѣ-землѣ», говоритъ: «Чтобы обладать нѣсколькими футами виноградника, женщина отнимаетъ грудь у своего ребенка и даетъ ее чужому. «Ты будешь жить или умрешь, мой сынъ, говоритъ отецъ, но если ты будешь жить, у тебя будетъ земля». Но это жестко, это нечестиво, скажете вы. Подумайте прежде. «У тебя будетъ земля»; это значитъ: «Ты не будешь наемникомъ, котораго сегодня берутъ, а завтра гонятъ, ты не будешь рабомъ изъ-за дневного пропитанія, ты будешь свободенъ». Свободенъ! Великое слово, содержащее въ себѣ все человѣческое достоинство». (Le peuple, 58). Но сыновья мужика, какъ уже сказано, никогда не останутся вмѣстѣ, каждый изъ нихъ опять-таки замкнется въ свою личную жизнь, къ которой причастны только его

дѣти. Что касается религіозныхъ воззрѣній, то за вычетомъ нѣсколькихъ мѣстностей, гдѣ французскій крестьянинъ суевѣренъ, какъ въ средніе вѣка, и почти идолопоклонникъ, онъ, вообще говоря — крайній скептикъ и человѣкъ равнодушный, индиферентный.

Представьте себѣ теперь, что изъ этой однородной массы выдѣлился человѣкъ громаднаго ума и пытливости—Прудонъ. Каковы бы ни были личныя особенности его ума и характера, но кровная связь съ милліонами людей, обладающихъ такою рѣзко опредѣленною физіономіей, должна была наложить на него свою наслѣдственную печать. Самъ Прудонъ очень хорошо понималъ и очень высоко цѣнилъ эту кровную связь. Онъ съ гордостью говорилъ о своихъ четырнадцати предкахъ-мужикахъ и съ этой же точки зрѣнія написаны многія прекрасныя страницы въ книгѣ «De la justice»: воспоминанія о смерти отца, котораго онъ глубоко уважалъ, о томъ времени, когда самъ онъ былъ пастухомъ, и т. п. Нѣкоторыя наслѣдственно мужицкія черты остались въ Прудонѣ до конца его дней въ совершенно непереваренномъ, неизмѣненномъ его личнымъ развитіемъ видѣ. Таковы его отношенія къ женщинѣ. Они извѣстны. Переписка только подтверждаетъ, что и въ частной жизни онъ на этомъ пунктѣ былъ таковъ же, какъ и въ теоріи. Его отношенія къ женѣ были замѣчательно жестки. Описывая въ одномъ письмѣ ея опасную болѣзнь и ожидая ея смерти, онъ говоритъ только о непріятностяхъ положенія вдовца съ дѣтьми и о неизбѣжной вслѣдствіе этого неурядицѣ въ домашнихъ дѣлахъ. Очевидно, что его извѣстное положеніе, что «женщина—или хозяйка или куртизанка» не было для него фразой, а это—характерная крестьянская мысль Но, конечно, далеко не всѣ типическія мужицкія черты могли сохраниться съ такою полною неприкосновенностью. Въ большей части случаевъ онѣ должны были, сохраняя свой коренной характеръ, подвергнуться извѣстной переработкѣ, хотя бы уже потому, что Прудону приходилось сталкиваться съ такими вещами, которыя въ крестьянскомъ быту не имѣютъ мѣста.

Напримѣръ, французскій мужикъ можетъ болѣе или менѣе хорошо, болѣе или менѣе дурно устраивать свои практическія дѣла, смотря по его ловкости, но онъ во всякомъ случаѣ прежде всего — практикъ и узкій практическій утилитаристъ. Эта черта въ основаніи своемъ досталась по наслѣдству и Прудону, но понятно въ преобразованномъ, такъ сказать, расширенномъ видѣ. Она выразилась его ненавистью ко всякой спеціальности для спеціальности. Искусство для искусства онъ называлъ проституціей, философію для философіи—«торговлей абсолютомъ»; такому же рѣзкому осужденію подвергалась политика и экономія, какъ самостоятельныя, самодовлѣющія цѣли. Прудонъ не понималъ, какъ можно заниматься какою-нибудь спеціальностью для нея самой, а не для счастья человѣка или, какъ онъ говорилъ, для утвержденія справедливости. Въ книгѣ «De la justice» онъ сдѣлалъ даже намекъ на грандіозную теорію, въ силу которой справедливость должна была стать основаніемъ не только общественнаго устройства, а и всѣхъ міровыхъ процессовъ. Въ человѣческихъ же дѣлахъ онъ тѣмъ паче требовалъ служенія справедливости отъ всякой функціи, отъ всякой дѣятельности. Искусство, наука, философія, промышленный прогрессъ, политическія формы сами по себѣ для него ничего не значили. Это несомнѣнно та же практичность французскаго мужика, но поднятая на высшую ступень развитія. Прудонъ это очень хорошо понималъ. Въ одномъ своемъ сочиненіи онъ говоритъ, напримѣръ, что «человѣку народа никогда бы не пришла въ голову такая нелѣпость, какъ декартовское: «я мыслю, слѣдовательно существую». Онъ хочетъ сказать, что для человѣка народа есть гораздо болѣе убѣдительное доказательство существованія — трудъ, дѣятельность вообще, лишь частная, спеціальная, слѣдовательно, подчиненная форма которой есть мышленіе. Другія общія идеи Прудона,—тѣ, которымъ онъ оставался вѣренъ всю жизнь, столь же удобно приводятся въ связь съ духовнымъ наслѣдствомъ ряда поколѣній французскихъ крестьянъ. На первомъ мѣстѣ здѣсь стоитъ идея личности. Грубый эгоизмъ французскаго мужика, просвѣтленный работой геніальнаго ума, преобразился въ начало личнаго достоинства и личной свободы. Наиболѣе трудно поддающійся объясненію съ этой точки зрѣнія фактъ есть прудоновское отрицаніе собственности, на первый взглядъ такъ рѣзко противорѣчащее основной складкѣ французскаго крестьянства. Но это только на первый взглядъ. Прежде всего замѣтимъ, что Прудонъ, совершенно въ духѣ своей родной среды, рѣшительно отрицалъ собственность общинную. Въ силу тѣхъ же причинъ, которыя мѣшаютъ въ этой средѣ даже двумъ братьямъ вести общее хозяйство, Прудонъ всѣми силами боролся съ коммунизмомъ. Свободу и равенство Прудонъ понималъ и цѣнилъ, но третій членъ извѣстнаго девиза резолюціи—братство—былъ для него тарабарская грамота. Что же касается до его отрицанія собственности вообще, то это не болѣе, какъ діалектическій фокусъ.

При употребленіи «критическаго орудія антиномій», отрицаніе очень часто оказывается и должно оказываться утвержденіемъ. Во всякомъ случаѣ критика Прудона ни малѣйше не грозила собственности французскихъ крестьянъ—личной собственности, пріобрѣтенной трудомъ и передаваемой по наслѣдству. Мало того, его критика вполнѣ согласовалась съ этимъ порядкомъ вещей, систематизировала его, представляла лишь его расширеніе. развитіе и облагороженіе. Французскій крестьянинъ, грубый и узкій, надѣляетъ каждаго своего сына собственностью. Это—именно взглядъ Прудона, съ тою разницею, что кругозоръ его былъ шире, обнималъ всѣхъ сыновей всѣхъ отцовъ, т. е. все человѣчество. Онъ хотѣлъ, какъ мы видѣли, universaliser собственность, а не выбросить ее за бортъ.

Если бы у меня было достаточно времени и мѣста, я могъ бы провести это объясненіе и дальше, даже до многихъ мелкихъ подробностей жизни и дѣятельности Прудона. Но сказаннаго для меня достаточно. Читатель, надѣюсь, убѣдился, что Прудонъ былъ потомокъ своихъ предковъ. Это опредѣленіе можетъ показаться смѣшнымъ или страннымъ, но оно вѣрно выражаетъ мысль. Мы сейчасъ увидимъ человѣка, который не былъ потомкомъ своихъ предковъ, у котораго предковъ поэтому какъ бы не было. Прудонъ былъ въ совсѣмъ иномъ положеніи. Онъ представлялъ собою звено прямой, однородной цѣпи, нѣкоторымъ образомъ сосудъ, въ который влились чистые, несмѣшанные соки вѣковой исторіи. Отсюда его довѣріе къ будущему, не впадающее, однако, въ оптимизмъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ терпѣливое отношеніе къ этому будущему, не впадающее однако въ апатію и бездѣятельность. Отсюда такъ проникающая его всего идея «прогресса въ себѣ». Но что для насъ особенно важно, такъ это — вытекающая отсюда прочность основныхъ вѣрованій и убѣжденій. Какова бы ни была степень плутоватости Прудона (лично ли ему принадлежавшей или тоже полученной по наслѣдству), но она или шла на службу основнымъ вѣрованіямъ, или, если отклонялась отъ нихъ, играла роль не важную и второстепенную. За плечами его лежала слишкомъ характерная и непрерывная исторія, чтобы онъ могъ высвободиться изъ подъ ея ига. Это было впрочемъ «благое иго», потому что не отягощало, а облегчало ему жизнь. Если уже у него въ молодости сложились всѣ его главнѣйшія убѣжденія, то тѣмъ самымъ было обойдено множество ошибокъ, внутреннихъ противорѣчій и мукъ. То, что въ массѣ французскихъ крестьянъ было инстинктомъ, въ личности Прудона выразилось сознаніемъ и системой. Сознаніе, конечно, должно было очищать, обтесывать грубость инстинктовъ, но все-таки имѣть въ нихъ свое основаніе. Вотъ почему Прудонъ оставался всегда вѣренъ и не могъ не оставаться вѣрнымъ идеямъ свободы, личной самостоятельности, труда и собственности. Вотъ почему онъ до такой степени глубоко вѣровалъ въ свои идеи, что полагалъ возможнымъ убѣдить любого министра «высшими философскими соображеніями». Въ сущности эти высшія соображенія были далеко не на столько убѣдительны и побѣдительны. Но самому Прудону они казались таковыми, потому что были результатомъ не его личной головной работы, а его плотью и кровью, унаслѣдованною отъ цѣлаго ряда предковъ, въ которыхъ тѣ же идеи пребывали въ видѣ инстинктовъ и неясныхъ позывовъ. При такихъ условіяхъ личные недостатки были почти безсильны.

Я никакъ не думалъ такъ долго останавливаться на Прудонѣ, потому что, по правдѣ сказать, хотѣлъ только оттѣнить имъ фигуру нашего Бѣлинскаго и затѣмъ сдѣлать нѣсколько общихъ выводовъ. А оттѣняютъ другъ друга эти фигуры замѣчательно, потому что при значительномъ сходствѣ по темпераменту, страстности, преданности идеи, логическому безстрашію, трудно найти двухъ людей, исторія внутренней жизни которыхъ была бы до такой степени различна. Это два антипода. Если въ Прудонѣ поражаетъ необычайная стойкость убѣжденій при нѣкоторой плутоватости характера, то въ Бѣлинскомъ наоборотъ поразительна рыцарски честная, святая натура рядомъ съ шатаніемъ и колебаніемъ принциповъ. Эта противоположность наводитъ русскаго человѣка на многія горькія, но и на многія утѣшительныя мысли.

Начать съ того, что вмѣсто однородной, непрерывной характерной цѣпи предковъ Прудона, мы встрѣчаемъ на порогѣ жизни Бѣлинскаго слѣдующую мѣшанину: прадѣдъ неизвѣстенъ; дѣдъ—сельскій священникъ; отецъ—военный лекарь, пользующійся репутаціей вольнодумца и безбожника; мать—мелкая дворянка, владѣющая семьей крѣпостныхъ людей и малограмотная; отецъ въ 1831 г. получаетъ чинъ коллежскаго ассесора, дающій дворянство, причемъ, не смотря на все свое вольнодумство, заболѣваетъ «тщеславіемъ дворянства», какъ извѣщалъ Бѣлинскаго одинъ его родственникъ. Эта мѣшанина не представляетъ въ русской жизни ничего необыкновеннаго, исключительнаго. Весьма можетъ быть, что г. А, критикъ «Русскаго Вѣстника», крайне презрительно говорящій и о Бѣлинскомъ, и о его происхожденіи и обстановкѣ, самъ узрѣлъ свѣтъ при подобныхъ же условіяхъ.

Это бываетъ. Но представьте себѣ, что изъ этой мѣщанины выдѣлился не г. А, а человѣкъ большого ума и пытливости и вдобавокъ съ страшнымъ, неподкупнымъ чувствомъ правды. Что будетъ? Отвѣтъ даетъ біографія Бѣлинскаго. Разсказывать ее я, разумѣется, не буду и остановлюсь только на нѣкоторыхъ ея пунктахъ.

Первымъ крупнымъ жизненнымъ шагомъ Бѣлинскаго была трагедія, которую онъ написалъ, еще бывши студентомъ. Сюжетъ трагедіи былъ заимствованъ изъ крѣпостныхъ отношеній. Герой ея—незаконный сынъ помѣщика и его крѣпостной; трагедія изобилуетъ убійствами и романтическими ужасами, но въ основаніи своемъ взята изъ дѣйствительной жизни. Г. Пыпинъ, ссылаясь на источники, говоритъ, что «именно впечатлѣнія этой жизни (помѣщичьяго произвола и крѣпостныхъ отношеній вообще), негодованіе къ этимъ возмутительнымъ явленіямъ, составлявшимъ «порядокъ вещей», именно и одушевляли его и дали содержаніе его трагедіи». Бѣлинскій возлагалъ большія надежды на свое произведеніе, и въ авторскомъ, и въ денежномъ смыслѣ. Онъ разсчитывалъ напечатать трагедію, поставить ее на сцену и такимъ образомъ «откупиться отъ казны», т. е. выйти изъ казенно-коштныхъ студентовъ и жить на квартирѣ. Онъ потерпѣлъ полное фіаско. Товарищами трагедія одобрена не была, а цензурный комитетъ, состоявшій изъ профессоровъ университета, нашелъ ее «безнравственною, безчестящею университетъ». Эта исторія способствовала исключенію Бѣлинскаго изъ университета. Много онъ послѣ того бѣдствовалъ, но, наконецъ, друзья устроили его вотъ какимъ образомъ. Въ Москвѣ жилъ одинъ богатый баринъ, имѣвшій страсть писать и печататься и извѣстный тогда подъ именемъ Прутикова. Этому-то барину Лажечниковъ и рекомендовалъ Бѣлинскаго, въ качествѣ домашняго секретаря, обязанность котораго состояла въ «исправленіи грамматическихъ и другихъ погрѣшностей въ сочиненіяхъ его превосходительства». Дальнѣйшую исторію Лажечниковъ разсказываетъ такъ. «Вскорѣ Бѣлинскій водворенъ въ аристократическомъ домѣ, пользуется не только чистымъ, даже ароматическимъ воздухомъ, имѣетъ прислугу, которая летаетъ по его мановенію, имѣетъ хорошій столъ, отличныя вина, слушаетъ музыку разныхъ европейскихъ знаменитостей (одна дочь его прев—ва—музыкантша), располагаетъ огромной библіотекой, будто собственной, однимъ словомъ, катается, какъ сыръ въ маслѣ. Но вскорѣ заходятъ тучи надъ этой блаженной жизнью. Оказывается, что за нее надо подчасъ жертвовать своими убѣжденіями, собственной рукой писать имъ приговоры, дѣйствовать противъ совѣсти. И вотъ въ одно прекрасное утро Бѣлинскій исчезаетъ изъ дома, начиненнаго всѣми житейскими благами, исчезаетъ съ своимъ добромъ, завязаннымъ въ носовой платокъ, и сокрэвищемъ, которое онъ носитъ въ груди своей. Его превосходительству оставлена записка съ извиненіемъ нижеподписавшагося покорнаго слуги, что онъ не сроденъ къ должности домашняго секретаря».

Я потому напомнилъ этотъ довольно извѣстный и самъ по себѣ неважный эпизодъ изъ жизни Бѣлинскаго, что въ жизни Прудона имѣется внѣшнимъ образомъ совершенно параллельный фактъ. Такъ что сравненіе очень удобно и напрашивается само собой. Въ началѣ 1841 г. Прудонъ тоже поступилъ домашнимъ секретаремъ къ одному важному барину, занимавшемуся сочиненіемъ по уголовному праву. Обязанность Прудона состояла приблизительно въ томъ же, что долженъ былъ дѣлать Бѣлинскій, но онъ посмотрѣлъ на свою роль совсѣмъ иначе. Онъ не только не бѣжалъ, подобно Бѣлинскому, а задумалъ цѣлый коварный планъ эксплуатаціи патрона въ видахъ своихъ излюбленныхъ идей. Мысль эта его очень занимала, какъ видно изъ нѣсколькихъ писемъ, вошедшихъ въ первый томъ переписки, въ которыхъ онъ очень пространно развиваетъ эту тему. Онъ смѣется надъ своимъ патрономъ и разсчитываетъ заставить его плясать по своей дудкѣ, подсунувъ ему, подъ видомъ его идей, свои собственныя. Онъ хочетъ, поддакивая патрону, его аристократическимъ тенденціямъ, направить все сочиненіе извѣстнымъ образомъ. И когда сочиненіе явится и заслужитъ многочисленыя похвалы,—въ этомъ Прудонъ вполнѣ увѣренъ,—явится настоящій его авторъ, т. е. Прудонъ и предложитъ номинальному автору нѣкоторые логическіе, неизбѣжные выводы изъ него. Патронъ долженъ будетъ принять ихъ, не смотря на все свое къ нимъ отвращеніе, или же признать себя одураченнымъ невѣждой. «Или онъ будетъ кричать: да здравствуетъ равенство! долой собственность! или я сдѣлаю изъ него осла... Надо обращаться съ людьми, какъ съ дѣтьми, золотить пилюли, надувать людей въ ихъ собственномъ интересѣ». «Я сдѣлаю скандалъ изъ этого сочиненія», пишетъ онъ въ другомъ письмѣ. Никакого такого скандала Прудонъ не сдѣлалъ, и вообще весь этотъ коварный планъ далъ въ результатѣ такой же круглый нуль, какъ и всѣ другіе макіавелическіе замыслы Прудона. Но дѣло не въ этомъ, а въ личностяхъ Прудона и

Бѣлинскаго, которыхъ эти двѣ исторіи домашняго секретарства такъ хорошо обрисовываютъ и оттѣняютъ. Ничего подобнаго прудоновскимъ подвохамъ и подходамъ Бѣлинскій никогда въ мысляхъ не имѣлъ и не могъ имѣть. Самая характеристическая его черта есть глубоко, до наивности и ребячества правдивое отношеніе къ людямъ, къ принципамъ, къ фактамъ. Онъ былъ, можно сказать, сама правда, облеченная въ жалкую, слабую плоть. Если мы переберемъ всѣхъ многочисленныхъ и часто взаимноисключающихся боговъ, которымъ Бѣлинскій въ разное время страстно молился и приносилъ жертвы,—театръ, поэзія, Шиллеръ, Гегелевская «дѣйствительность», цивилизація, соціальная идея,—то увидимъ, что во всемъ этомъ онъ искалъ только одного—правды и, собственно говоря, ей одной молился. Какъ только замѣчалась въ томъ или другомъ временномъ богѣ какая-нибудь фальшь, Бѣлинскаго ужъ начинало коробить и щемить, а тамъ—глядишь—кумиръ летитъ отъ взмаха сильной руки бывшаго правовѣрнаго, и бывшій правовѣрный топчетъ его съ неистовствомъ человѣка, обманутаго въ самыхъ лучшихъ своихъ вѣрованіяхъ и упованіяхъ. Изъ этого не слѣдуетъ однако, чтобы въ низвергнутомъ кумирѣ была подмѣчена дѣйствительная фальшь. Жажда правды была въ Бѣлинскомъ безъ преувеличенія ужасающая, она мучила и измучила его. Это свидѣтельствуютъ всѣ его письма. Но потому-то онъ и мучился, что чутье правды не соотвѣтствовало жаждѣ. Какъ путникъ въ степи, метался онъ «духовной жаждою томимъ», мучимый собственнымъ горячимъ, изсушающимъ дыханіемъ. И вдругъ передъ нимъ оазисъ, зеленый, влажный, свѣжій... Увы! Это—только миражъ, ложь, фальшь, но Бѣлинскій часто убѣждался въ этомъ слишкомъ поздно, а затѣмъ слѣдовала новая ломка, новое горе, новое неистовство, тѣмъ болѣе сильное, чѣмъ заманчивѣе былъ предательскій миражъ. Была одна область, въ которой онъ былъ почти непогрѣшимъ,—область эстетическая. Г. Пыпинъ приводитъ очень любопытный разсказъ бывшаго учителя Бѣлинскаго, Попова, о томъ, какъ они вмѣстѣ съ будущимъ великимъ критикомъ, тогда еще студентомъ, читали «Бориса Годунова» Пушкина. Особенно поразила Бѣлинскаго извѣстная сцена въ корчмѣ. «Прочитавъ разговоръ хозяйки корчмы съ собравшимися у нея бродягами, улики противъ Григорія и бѣгство его черезъ окно, Бѣлинскій выронилъ книгу изъ рукъ, чуть не сломалъ стулъ, на которомъ сидѣлъ, и восторженно закричалъ: «Да это—живые; я видѣлъ, я вижу, какъ онъ бросился въ окно!» Эта способность цѣнить правду изображенія и восторгаться ею была въ Бѣлинскомъ развита совершенно необычайно. Пройдетъ много лѣтъ, смѣнится много критиковъ и даже критическихъ пріемовъ, но нѣкоторые эстетическіе приговоры Бѣлинскаго останутся во всей силѣ. Но за то только въ этой области Бѣлинскій и находилъ для себя почти непрерывный рядъ наслажденій. Какъ только эстетическое явленіе осложнялось философскими и нравственно-политическими началами, такъ чутье правды болѣе или менѣе измѣняло ему, между тѣмъ какъ жажда оставалась все та же, и это-то и дѣлало изъ него того великомученика правды, какимъ онъ выступаетъ въ своей перепискѣ. Постоянныя колебанія строя его мыслей особенно поразительны, если поставить ихъ рядомъ съ прочностью, непрерывностью чуть не отъ колыбели до могилы, устойчивостью убѣжденій Прудона.

Я отнюдь не хочу умалить значеніе Бѣлинскаго, да вѣдь я не говорю ничего новаго. Всѣмъ извѣстно, всѣми признано, что Бѣлинскій былъ эстетическій критикъ огромной силы и что онъ не разъ перемѣнилъ свои взгляды вообще и взгляды на искусство въ частности. Но я хотѣлъ бы внушить читателю болѣе почтительное и и, кажется, болѣе правильное отношеніе къ критикѣ Бѣлинскаго. У насъ его нынче не читаютъ, теперешнее подростающее поколѣніе, пожалуй, что и вовсе его не знаетъ. И это на основаніи его репутаціи, вполнѣ впрочемъ вѣрной въ общемъ. Однако изъ этой вѣрности репутаціи слѣдуетъ не то, что Бѣлинскаго читать не нужно, а то, что его могутъ съ пользою читать только люди умственно и нравственно окрѣпшіе. Конечно, у кого въ головѣ нѣтъ царя, того Бѣлинскій можетъ сбить своими противорѣчивыми сужденіями о явленіяхъ литературы и жизни. Но человѣкъ съ царемъ въ головѣ получитъ при чтеніи его сочиненій много наслажденій и много пользы. Судьба Бѣлинскаго очень печальна. Ругать его и до сихъ поръ ругаютъ, даже тѣми самыми кличками, которыми его надѣляли при жизни. Г. Погодинъ, напримѣръ, не смотря на свой почтенный возрастъ, никакъ не можетъ забыть, что Бѣлинскій—«недоучившійся студентъ», Есть молодые щенки, которые тоже на эту тему распространяются. Есть, правда, у Бѣлинскаго почитатели, собственно почитатели его свѣтлаго имени, но многіе изъ нихъ готовы признать, что Бѣлинскій, въ концѣ концовъ, все-таки — пройденная ступень, потому что — дескать — эстетическая критика отжила свое время. Оно такъ, да не такъ. Конечно, многіе вопросы, занимавшіе Бѣлинскаго, для насъ не суще-

ствуютъ. Мы, напримѣръ, ужъ не будемъ разсуждать о томъ, можетъ ли быть сатира причислена къ разряду художественныхъ произведеній. Но возьмите самый элементарный вопросъ эстетической критики: вѣрно ли изображено извѣстное лицо или положеніе въ данномъ литературномъ произведеніи? Главная, не преходящая сила Бѣлинскаго состояла въ умѣньи отвѣтить на этотъ вопросъ. А для этого требуется такое умѣнье ставить себя въ положеніе изображаемыхъ лицъ, такая глубокая способность сочувствія страдающей и наслаждающейся человѣческой личности, что не можетъ быть и сомнѣнія въ значеніи Бѣлинскаго даже до сего дня. Съ позволенія читателя я еще вернусь когда-нибудь къ этой любопытной темѣ, а теперь пойдемте дальше.

Мы видѣли, что трагедія Бѣлинскаго была юношескимъ протестомъ противъ крѣпостного права и другихъ порядковъ добраго стараго времени. Это не могло быть, конечно, одинокимъ явленіемъ, и Бѣлинскій носилъ въ кружкѣ Станкевича прозвище «неистоваго Виссаріона» не только за свои манеры, а и за свое душевное содержаніе. Онъ въ это время сильно увлекался Шиллеромъ и питалъ, какъ говорилъ потомъ самъ, «дикую вражду къ общественнымъ порядкамъ во имя абстрактнаго идеала общества». Долго ли, коротко ли продолжалось это настроеніе (у г. Пыпина этотъ періодъ изложенъ очень неясно и сбивчиво), но Бѣлинскій, наконецъ, бросился въ другую крайность,—въ безусловное оправданіе всякой дѣйствительности въ качествѣ необходимо «разумной». Перемѣна эта совершилась подъ вліяніемъ нѣмецкой философіи, постепенно овладѣвавшей Бѣлинскимъ. До какой степени она имъ овладѣла въ указанномъ направленіи примиренія съ дѣйствительностью, видно уже изъ любопытнѣйшаго письма отъ 7 августа 1837 г. Письмо писано къ одному пріятелю изъ Пятигорска, гдѣ Бѣлинскій въ то время лѣчился.

„Богъ не есть нѣчто отдѣльное отъ міра, писалъ Бѣлинскій, но Богъ въ мірѣ, потому что онъ вездѣ. Да, его, — какъ говоритъ великій Іоаннъ, любимѣйшій ученикъ Христа, — его никто не видалъ; но онъ во всякомъ благородномъ порывѣ человѣка, во всякой свѣтлой его мысли, во всякомъ святомъ движеніи его сердца... Ищи Бога не въ храмахъ, созданныхъ людьми, но ищи въ сердцѣ своемъ, ищи въ любви своей. Утони, исчезни въ наукѣ и искусствѣ, возлюби науку и искусство, возлюби ихъ, какъ цѣль и потребность твоей жизни, а не какъ средство къ образованію и успѣхамъ въ свѣтѣ—и ты будешь блаженъ, а кто достигъ блаженства, тотъ носитъ въ себѣ Бога... Философія — вотъ что должно быть предметомъ твоей дѣятельности. Философія есть наука идеи чистой, отрѣшенной; исторія и естествознаніе суть науки идеи въ явленіи. Теперь спрашиваю тебя: что важнѣе— идея или явленіе, душа или тѣло?.. Но тебѣ нельзя начать прямо съ философіи: тебѣ надо приготовиться къ ней путемъ искусства. Какъ къ душевному просвѣтлѣнію черезъ причастіе христіанинъ готовится путемъ поста и покаянія, такъ искусствомъ ты долженъ очистить свою душу отъ проказы земной суеты, холоднаго себялюбія, отъ обольщенія внѣшней жизни, и приготовить ее къ принятію чистой истины... Только въ философіи ты найдешь отвѣты на вопросы души твоей, только она дастъ миръ и гармонію душѣ твоей и подаритъ тебя такимъ счастіемъ, какого толпа и не подозрѣваетъ... Въ самомъ себѣ въ сокровенномъ святилищѣ своего духа найдешь ты высшее счастіе, и тогда, твоя маленькая комнатка, твой убогій и тѣсный кабинетъ будетъ истиннымъ храмомъ счастія. Ты будешь свободенъ, потому что не будешь ничего просить у міра, и міръ оставитъ тебя въ покоѣ, видя, что ты у него ничего не просишь. Пуще всего оставь политику и бойся всякаго политическаго вліянія на свой образъ мыслей. Политика у насъ въ Россіи не имѣетъ смысла, и ею могутъ заниматься только пустыя головы. Люби добро и тогда ты будешь необходимо полезенъ своему отечеству, не думая и не стараясь быть ему полезнымъ. Еслибы каждый изъ индивидовъ, составляющихъ Россію, путемъ любви дошелъ до совершенства, тогда Россія безъ всякой политики сдѣлалась бы счастливѣйшею страною въ мірѣ... Для Россіи назначена совсѣмъ другая судьба. нежели для Франціи, гдѣ политическое направленіе и наукъ, и искусства, и характера жителей имѣетъ свой смыслъ, свою хорошую сторону... Если хочешь понять назначеніе Россіи, прочти исторію Петра Великаго, — она объяснитъ тебѣ все. Ни у какого народа не было такого государя. Всѣ великіе государи другихъ народовъ ниже Петра... Петръ есть ясное доказательство, что Россія не изъ себя разовьетъ свою гражданственность и свою свободу, но получитъ то и другое отъ своихъ царей, такъ какъ уже многополучила отъ нихъ того и другого. Правда, мы еще не имѣемъ правъ, мы — еще рабы, если угодно, но это оттого, что мы еще должны быть рабами. Россія — еще дитя, для котораго нужна нянька, въ груди которой билось бы сердце, полное любви къ своему питомцу, а въ рукѣ которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости. . Дать Россіи въ теперешнемъ ея состояніи конституцію—значитъ погубить Россію. Въ понятіи нашего народа свобода есть *воля*, а воля—озорничество. Не въ парламентъ пошелъ бы освобожденный русскій народъ, а въ кабакъ побѣжалъ бы пить вино, бить стекла и вѣшать дворянъ, которые брѣютъ бороды и ходятъ въ сюртукахъ. Свобода конституціонная есть свобода условная, а истинная, безусловная свобода настаетъ въ государствѣ съ успѣхами просвѣщенія основаннаго на философіи умозрительной, а не эмпирической, на царствѣ чистаго разума, а не пошлаго здраваго смысла... Наше правительство не позволяетъ писать противъ крѣпостного права, а между тѣмъ исподволь освобождаетъ крестьянъ... Давно ли мы съ тобой живемъ на свѣтѣ, давно ли помнимъ себя, и уже посмотри, какъ перемѣнилось общественное мнѣніе: много ли теперь осталось тирановъ-помѣщиковъ, а которые и остались, не признаютъ ли ихъ самые помѣщики? Видишь ли, что и въ Россіи все идетъ къ лучшему... Власть даетъ намъ полную свободу думать и мыслить, но ограничиваетъ свободу громко говорить и вмѣшиваться въ ея дѣла. Она пропускаетъ къ намъ изъ-за границы

такія книги, которыя никакъ не позволитъ перевести и издать. И что-жъ, все хорошо и законно съ ея стороны, потому что то, что можешь знать ты, не долженъ знать мужикъ, потому что мысль, которая можетъ сдѣлать тебя лучше, погубила бы мужика, который естественно понялъ бы ее ложно. Правительство позволяетъ намъ выписывать изъ-за границы все, что производитъ германская мыслительность, самая свободная, и не позволяетъ выписывать политическихъ книгъ, которыя послужили бы только ко вреду, кружа головы неосновательныхъ людей. Въ моихъ глазахъ эта мѣра превосходна и похвальна...“

Письмо оканчивается панегирикомъ нѣмцамъ и рѣзкимъ осужденіемъ французовъ. Такъ смирился человѣкъ, еще недавно написавшій кровавую трагедію изъ крѣпостного быта и питавшій «дикую вражду къ общественнымъ порядкамъ во имя абстрактнаго идеала». Такъ смирился «неистовый Виссаріонъ». По поводу этого замѣчательнаго письма г. А. «Русскаго Вѣстника» счелъ возможнымъ и умѣстнымъ предаться какимъ-то дряннымъ подмигиваніямъ. Трудно даже понять такое неуваженіе къ святынѣ, потому что приведенное письмо—настоящая святыня, вполнѣ очевидная даже для самаго грубаго глаза, если только онъ хоть разъ въ жизни напрягался, вглядываясь въ даль, чтобы найти тамъ правду. Если бы еще была возможность доказать, что Бѣлинскій противорѣчилъ себѣ изъ-за какихънибудь стороннихъ побужденій, я бы понялъ усердіе критики «Русскаго Вѣстника». Но тормошить грязными руками трупъ великомученника правды, пристраивать свои личныя и, самое большее, катковскія дѣлишки къ тому обстоятельству, что Бѣлинскій въ неустанной погонѣ за правдой ошибался и мѣнялъ свой цвѣтъ, играть на этомъ обстоятельствѣ, какъ на фортепьяно,— какая гадость! И эти—не говорю фарисеи и книжники, потому что это для нихъ все-таки не по шерсти кличка, она все-таки подразумѣваетъ, если не умъ и знаніе, то хоть хитрость и эрудицію—эти пятиалтынные, эти гроши говорятъ объ уваженіи къ личности, къ исторіи, они стоятъ за какую-то «культуру» и негодуютъ на какую-то «тенденціозность»... Во всей перепискѣ Бѣлинскаго, собранной г. Пыпинымъ, нѣтъ ничего трогательнѣе этого письма. Нигдѣ не выразились такъ ясно его глубочайшая преданность и какое-то необыкновенное проникновеніе тѣмъ, что онъ въ данную минуту считалъ правдой. Я ужъ не говорю о содержаніи письма, посмотрите только на его внѣшность, на форму изложенія. Каждая строка здѣсь дорога, каждое сочетаніе и размѣщеніе словъ, какъ свидѣтельство изумительной правдивости Бѣлинскаго. Обыкновенно бурный, часто впадающій даже въ риторику, слогъ не только его сочиненій, а и писемъ, дѣлается тутъ мягкимъ, ровнымъ, спокойнымъ. Иначе и не можетъ писать обладатель правды не воинствующей, а успокоительной, утѣшительной. Я увѣренъ, что и лицо Бѣлинскаго въ это время преобразилось и что говорилъ онъ, не «упорствуя, волнуясь и спѣша», а ровно, спокойно и нѣсколько торжественно, хотя, конечно, по страстности своей натуры долго выдержать этого не могъ. Г. Пыпинъ обращаетъ вниманіе на то, что во время писанія этого письма личныя обстоятельства Бѣлинскаго были «ужасны», хуже чѣмъ когда-нибудь. Это въ самомъ дѣлѣ очень характерный фактъ. Больной, нищій, въ завтрашнемъ днѣ не увѣренный, Бѣлинскій съ невозмутимымъ спокойствіемъ объясняетъ, что все идетъ къ лучшему и что философія даетъ такое счастье, какого толпа и не подозрѣваетъ и какого внѣшняя жизнь не можетъ ни дать, ни отнять. Со стороны смѣшно, если хотите, дико, нелѣпо, фикція, иллюзія, обманъ, ложь, но очевидно, что самъ Бѣлинскій въ ту минуту дѣйствительно обладалъ такимъ счастьемъ, потому что глубоко вѣрилъ, что навѣянный на него философскій вздоръ есть правда. Придетъ время, и Бѣлинскій столь же искренно, столь же цѣльно и полно возстанетъ противъ этой «правды», но тогда она уже не будетъ въ его глазахъ правдой. До этого однако еще далеко. Вотъ еще нѣсколько отрывковъ изъ этой эпохи его развитія, которое шло въ томъ же направленіи все crescendo.

Въ 1838 г. онъ писалъ: «Теперь, когда я нахожусь въ созерцаніи безконечнаго, теперь я глубоко понимаю, что всякій правъ, и никто не виноватъ». «Такова моя натура: съ напряженіемъ, горестно и трудно принимаетъ мой духъ въ себя и любовь, и вражду, и знаніе, и всякую мысль, всякое чувство; но, принявъ, весь проникается ими до сокровенныхъ глубокихъ изгибовъ своихъ. Такъ въ горнилѣ моего духа выработалось самобытно значеніе великаго слова *дѣйствительность*». «*Дѣйствительность*, твержу я, вставая и ложась спать». Въ 1839 г.: «Пріѣзжаю въ Москву съ Кавказа, пріѣзжаетъ М.—мы живемъ вмѣстѣ. Лѣтомъ просмотрѣлъ онъ философію религіи и права Гегеля. Новый міръ намъ открылся. Сила есть право, и право есть сила: — нѣтъ, не могу описать тебѣ, съ какимъ чувствомъ услышалъ я эти слова—это было освобожденіе. Я понялъ идею паденія царствъ, законность завоеваній, я понялъ, что нѣтъ дикой матеріальной силы, нѣтъ владычества штыка и меча, нѣтъ произвола, нѣтъ случайности—и кончилась моя опека надъ родомъ человѣческимъ».

Шиллеръ въ это время предавался сильному поруганію, какъ «личный врагъ» (собственныя слова Бѣлинскаго) «за субъективно-нравственную точку зрѣнія, за страшную идею долга, за абстрактный героизмъ, за прекраснодушную войну съ дѣйствительностью, за все за это, отчего я страдалъ вится уже отмѣченное въ письмѣ съ Кавказа во имя его». Задачей Бѣлинскаго становится самосовершенствованіе, «абсолютная» или «полная жизнь духа». За эту задачу онъ принимается съ своею обычною страстностью и правдивостью, безжалостно роется въ своей душѣ и бичуетъ себя за самолюбіе, тщеславіе, чувственность и проч. Дѣлаетъ онъ это до послѣдней степени просто, искренно, безъ всякой рисовки передъ собой и передъ друзьями. Онъ и тутъ—искренно вѣрующій жрецъ правды, проникнутый важностью своихъ священнодѣйствій и жертвоприношеній. Не смотря на шаткость почвы, на которой онъ стоялъ, вы не встрѣтите въ его самобичеваніяхъ ни униженія паче гордости, ни малѣйшаго кокетства. Находятся помощники въ этой работѣ (особенно Боткинъ); друзья помогаютъ другъ другу въ достиженіи «абсолютной жизни», несутъ одинъ другому всякую душевную мелочь, требуютъ критики и даютъ ее.

Бѣлинскій первый замѣчаетъ всю ложь такихъ «правдивыхъ» дружескихъ отношеній. Уже вскорѣ послѣ своего переѣзда въ Петербургъ онъ пишетъ: «Говорить о себѣ да о себѣ или все о моихъ да своихъ страданіяхъ, забывши, что и другой также думаетъ о себѣ и также богатъ страданіями,— не хорошо и не умно». Но ему все еще жаль Москвы, друзей, кружка. Петербургъ ему очень не нравится, такъ какъ онъ не находитъ тутъ тѣхъ теплыхъ, участливыхъ и, собственно говоря, до назойливости откровенныхъ отношеній, какія оставилъ въ Москвѣ. Мало-по-малу личныя и кружковыя ноты уступаютъ мѣсто другимъ. Уже въ 1840 г. онъ пишетъ: «Въ Петербургѣ съ необитаемаго острова я очутился въ столицѣ, журналъ поставилъ меня лицомъ къ лицу съ обществомъ, — и Богу извѣстно, какъ много перенесъ я! Для тебя еще не совсѣмъ понятна моя вражда къ *москводушію*, но ты смотришь на одну сторону медали, а я вижу обѣ. Меня убило это зрѣлище общества, въ которомъ властвуютъ и играютъ роли подлецы и дюжинныя посредственности, а все даровитое и благородное лежитъ въ позорномъ бездѣйствіи на необитаемомъ островѣ... *Отчего же европеецъ въ страданіи бросается на общественную дѣятельность и находитъ въ ней выходъ изъ самаго страданія?*»... Послѣдняя фраза предвѣщаетъ уже разрывъ съ богомъ разумной дѣйствительности и примиренія, и въ самомъ дѣлѣ, громъ очень скоро разражается. Въ томъ же 1840 г. Бѣлинскій писалъ: «Проклинаю мое стремленіе къ примиренію съ гнусною дѣйствительностью! Да здравствуетъ великій Шиллеръ, благородный адвокатъ человѣчества, яркая звѣзда спасенія, эмансипаторъ общества отъ кровавыхъ предразсудковъ преданія! Да здравствуетъ разумъ, да скроется тьма! какъ восклицаетъ великій Пушкинъ. Для меня теперь *человѣческая личность* выше исторіи, выше общества, выше человѣчества. Это — мысль и дума вѣка! Боже мой! страшно подумать! что со мной было—горячка или помѣшательство— я словно выздоравливающій». «Дѣйствительность—это палачъ». «Боже мой, сколько отвратительныхъ мерзостей сказалъ я печатно, со всею искренностью, со всѣмъ фанатизмомъ дикаго убѣжденія! Болѣе всего печалитъ меня теперь выходка противъ Мицкевича въ гадкой статьѣ о Менцелѣ. Какъ! отнимать у великаго поэта священное право оплакивать паденіе того, что дороже ему всего въ мірѣ и въ вѣчности, — его родины... И этого-то благороднаго и великаго поэта назвалъ я печатно крикуномъ, поэтомъ риѳмованныхъ памфлетовъ! Послѣ этого всего тяжелѣе мнѣ вспоминать о «Горѣ отъ ума», которое я осудилъ съ художественной точки зрѣнія, о которомъ говорилъ свысока и съ пренебреженіемъ, не догадываясь, что это — благороднѣйшее, гуманическое произведеніе, энергическій (и притомъ еще первый) протестъ иротивъ гнусной рассейской дѣйствительности, противъ чиновниковъ, взяточниковъ, баръ-развратниковъ, противъ свѣтскаго общества, противъ невѣжества, добровольнаго холопства *и проч.*, *и проч. и проч.*... Чортъ знаетъ, какъ подумаешь какими зигзагами совершалось мое развитіе, цѣною какихъ ужасныхъ заблужденій купилъ я истину, и какую горькую истину,— что все на свѣтѣ гнусно и особенно вокругъ насъ». «Признаться ли тебѣ въ грѣхѣ... о Шиллерѣ не могу и думать, не задыхаясь, а къ Гете начинаю чувствовать родъ ненависти, и ей-Богу у меня рука не поднимается противъ Менцеля, хоть сей мужъ и по прежнему остается въ глазахъ моихъ идіотомъ. Боже мой,—какіе прыжки, какіе зигзаги въ развитіи! Страшно подумать».

Съ этого времени прыжки и зигзаги развитія, такъ мучившіе Бѣлинскаго, въ общемъ прекращаются. Онъ продолжаетъ еще приходить въ «неистовый» восторгъ передъ вновь открывающимися для него сторонами мысли и жизни, но эти новыя впечатлѣнія уже довольно ровно укладываются въ его

установившееся міросозерцаніе. Такъ напримѣръ, онъ пишетъ: Я весь въ идеѣ гражданской доблести, весь въ пафосѣ правды и чести, и мимо ихъ мало замѣчаю какое бы то ни было величіе. Теперь ты поймешь, почему Тимолеонъ, Гракхи и Катонъ Утическій... заслонили собою въ моихъ глазахъ и Цезаря, и Македонскаго. Во мнѣ развилась какая-то... фанатическая любовь къ свободѣ и независимости человѣческой личности, которая возможна только при обществѣ, основанномъ на правдѣ и доблести». Или: «Я съ трудомъ и болью разстаюсь съ старою идеею, отрицаю ее до нельзя, и въ новую перехожу со всѣмъ фанатизмомъ прозелита. Я теперь въ новой крайности,—это идея соціализма, которая стала для меня идеею идей... альфою и омегою вѣры и знанія. Она поглотила (для меня) и исторію, и религію, и философію. И потому ею я объясняю теперь жизнь мою, твою и всѣхъ, съ кѣмъ встрѣчался и на пути жизни». Жоржъ-Зандъ, которую онъ прежде презиралъ, становится для него «вдохновенною пророчицей, энергическимъ адвокатомъ правъ женщинъ». И т. п. Эти новыя мысли, конечно, уже не враждебно входили въ его психическое содержаніе, потому что то были только частности отрицанія «разумной дѣйствительности» и борьбы съ нею, которая наполнила Бѣлинскаго. Нѣкоторый миръ опять насталъ въ его душѣ, и онъ могъ по временамъ даже не съ ненавистью, а съ тонкимъ юморомъ смотрѣть на своихъ старыхъ, низверженныхъ боговъ. Очень характерно въ этомъ отношеніи длинное письмо къ Боткину отъ 1-го марта 1841 г. «Я имѣю особенно важныя причины злиться на Г. (Гегеля), писалъ Бѣлинскій, ибо чувствую, что былъ вѣренъ ему (въ ощущеніи), мирясь съ рассейскою дѣйствительностью, хваля Загоскина и подобныя гнусности и ненавидя Шиллера. Въ отношеніи къ послѣднему я былъ еще послѣдовательнѣе самого Г., хотя и глупѣе Менцеля... Ты— я знаю—будешь надо мной смѣяться... но смѣйся какъ хочешь, а я,—свое: судьба субъекта, индивидуума, личности важнѣе судебъ всего міра и здравія китайскаго императора (то есть гегелевской (Allgemeinheit). Мнѣ говорятъ: развивай всѣ сокровища своего духа для свободнаго самонаслажденія духомъ, плачь, дабы утѣшиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись къ совершенству, лѣзь на верхнюю ступень лѣстницы развитія, а споткнешься—падай—чортъ съ тобой, таковскій и былъ. Благодарю покорно, Егоръ Оедорычъ (Гегель), кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всѣмъ подобающимъ вашему философскому филистерству уваженіемъ честь имѣю донести вамъ, что еслибы мнѣ и удалось влѣзть на верхнюю ступень лѣстницы развитія,—я и тамъ попросилъ бы васъ отдать мнѣ отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всѣхъ жертвахъ случайностей, суевѣрія, инквизиціи, Филиппа II, и проч., и проч.; иначе я съ верхней ступени бросаюсь внизъ головой. Я не хочу счастья и даромъ, если не буду спокоенъ насчетъ каждаго изъ моихъ братій по крови... Говорятъ, что дисгармонія есть условіе гармоніи: можетъ быть, это выгодно и усладительно для меломановъ, но ужъ, конечно, не для тѣхъ, которымъ суждено выразить своею участью идею дисгармоніи».

Но если Бѣлинскій такимъ образомъ вступилъ, наконецъ, въ свою послѣднюю гавань, изъ которой вышелъ только въ могилу, то миръ въ его измученной душѣ водворился далеко не безусловный. Во-первыхъ, его мучили ошибки прошлаго. Положимъ, что самъ онъ установился окончательно. Но что написано перомъ, того не вырубишь топоромъ. Они были тутъ у всѣхъ на глазахъ, улики его прежнихъ «мерзостей». Не такой онъ человѣкъ, чтобы не сознаваться въ своихъ ошибкахъ, прятать ихъ, но вѣдь годы ушли на эти ошибки, невозвратные годы, которыхъ впереди Богъ еще вѣсть много ли будетъ. Да и, наконецъ, извѣстно, что ренегатъ, отступникъ, если онъ отступникъ искренній, отступившій правды ради, а не ради какихъ-нибудь вѣсомыхъ или невѣсомыхъ земныхъ благъ, есть злѣйшій врагъ своей прежней вѣры, потому что ненависть къ извѣстному строю мыслей осложняется тутъ покаяніемъ, ненавистью къ себѣ, къ своему прошедшему. А ужъ если такое эгоистическое существо, какъ человѣкъ, доведено до ненависти къ себѣ, то тутъ не можетъ быть и рѣчи о пощадѣ. Страшно дѣйствіе пушечныхъ выстрѣловъ, но оно еще страшнѣе, когда выстрѣлъ направляется на самую пушку, т. е. когда ее разрываетъ. Бѣлинскій совершалъ таинство покаянія съ такою же стремительностью, вѣрою и безпощадностью, какъ и все, что онъ дѣлалъ. Воспоминаніе о «мерзостяхъ» отзывалось на немъ крайне болѣзненно. Мы уже видѣли это въ нѣкоторыхъ письмахъ. Но есть и свидѣтели очевидцы. Напримѣръ, Панаевъ разсказываетъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ», что когда Бѣлинскій увидалъ у него однажды на столѣ книжку журнала, развернутую на одной его старой статьѣ изъ «мерзкихъ» (кажется, это была «Бородинская годовщина»), онъ пришелъ въ крайнее раздраженіе, почти въ ярость. Онъ сталъ даже уличать Панаева, что тотъ ему нарочно подсунулъ эту статью. Это, конечно,

противорѣчитъ тому смиренному типу покаянія, къ которому мы привыкли. Но сила покаянія, боль отвращенія къ своему прошедшему этимъ, надѣюсь, не уменьшаются.

Но чаша жизненной горечи не исчерпывалась для Бѣлинскаго отравой воспоминаній. Будущее было отравлено не меньше, если не больше. Послѣдній результатъ, къ которому привело развитіе Бѣлинскаго, былъ: борьба съ дѣйствительностью. Борьба эта была для него обязательна, во-первыхъ, какъ для человѣка, который отдавался всегда цѣликомъ, безъ остатка и не могъ не вести себя сообразно своимъ убѣжденіямъ; во-вторыхъ, какъ для ренегата, который тѣмъ сильнѣе ненавидѣлъ «разумную дѣйствительность», чѣмъ жарче ей прежде молился. Борьба! борьба, когда «у сокола крылья связаны и пути ему всѣ заказаны»! Надо себѣ представить именно Бѣлинскаго въ этомъ положеніи, его, страстнаго, сильнаго цѣльнаго, вѣрующаго и въ то же время такъ ничтожнаго передъ тогдашнею «разумною дѣйствительностью»... Письма его изобилуютъ жалобами на цензуру и, что особенно характерно, на «произвольность» ея. Онъ бы понялъ и оцѣнилъ серьезную строгость, хотя бы и ненавидѣлъ ее. Напримѣръ: «Мою статью страшно ошельмовали. Горше всего то, что совершенно произвольно; выкинуто о Мицкевичѣ, о шапкѣ мурмолкѣ, а мелкихъ фразъ, строкъ—безъ числа. Но объ этомъ я еще буду писать къ тебѣ, потому что это довело меня до отчаянія, и я выдержалъ нѣсколько тяжелыхъ дней». «Писать нечего и не о чемъ; со дня на день становится невозможнѣе и невозможнѣе. Объ искусствѣ ври что хочешь, а о дѣлѣ, т. е. о нравахъ и нравственности—хоть и не трать труда и времени». «Отъ помарокъ статья лишилась своей ровноты и внутренней діалектической полноты. Ну, да чортъ съ ней! Мнѣ объ этомъ и вспоминать—ножъ вострый». И пр., и пр., и пр. Бѣлинскій разсказываетъ еще одинъ любопытный фактъ, прикосновенный къ цензурнымъ дѣламъ. Фактъ этотъ впрочемъ случился не съ его статьей. Одинъ славянофилъ по знакомству видѣлъ у цензора статью, направленную противъ славянофильства, и «уговорилъ его кое-что смягчить». «Видите-ли, сколько у насъ цензоровъ», прибавляетъ съ негодованіемъ Бѣлинскій.

Но и тутъ еще не конецъ мукамъ этого страдальца. Знаете-ли вы, читатель, что значитъ «исписаться»? Это—почти то-же, что истечь кровью. Это, когда писатель отдалъ вамъ весь запасъ своихъ идей и не получилъ никакой сдачи въ видѣ новыхъ жизненныхъ фактовъ, дающихъ новое возбужденіе. Или, когда онъ, усталый отъ безсонныхъ ночей и напряженной мозговой работы, чувствуетъ, что перо его перестаетъ быстро и свободно двигаться по бумагѣ, а мозгъ упорно отказывается фабриковать мысли и образы; искать же другого образа жизни и пропитанія онъ по обстоятельствамъ и привычкѣ не можетъ, и потому—какъ ни какъ—пишетъ. Вы говорите тогда: онъ исписался, пора ему на смѣну другого. И вы совершенно правы, но отъ этого не легче тому, который исписался, и онъ могъ бы, пожалуй, отъ васъ требовать нѣсколько большаго участія къ его судьбѣ; частица тѣхъ, знаній, которыми вы теперь владѣете, тѣхъ можетъ быть, очень высокихъ мыслей и чувствъ, которыя васъ волнуютъ или успокоиваютъ, принадлежитъ вѣдь и ему, который исписался. Онъ, долго ли, коротко ли, горѣлъ для васъ и, если перегорѣлъ, такъ, можетъ быть, потому, что сильно горѣлъ. Никакой геній не застрахованъ отъ такого конца, потому что нѣтъ на свѣтѣ ничего неисчерпаемаго, кромѣ силы и матеріи, а формы ихъ, въ томъ числѣ и форма писателя, нарождаются и, слѣдовательно, изсякаютъ. Это я только къ слову, къ тому именно слову, что и Бѣлинскій позналъ ужасъ ожиданія конца. Онъ былъ слишкомъ богатая натура, чтобы рано изсякнуть, да и смерть не заставила себя ждать. Но ужасъ ожиданія онъ все-таки позналъ, потому что одно время ему казалось, что онъ исписался: «Взялся было за работу—не могу—лихорадочный жаръ, изнеможеніе. Какъ я испугался! Стало быть, я не могу работать! Стало быть, мнѣ надо искать мѣста въ больницѣ!» «Дѣло прошлое, а я и самъ ѣхалъ заграницу съ тяжелымъ и грустнымъ убѣжденіемъ, что поприще мое кончилось, что я сдѣлалъ все, что дано было мнѣ сдѣлать, что я выписался и... сталъ похожъ на выжатый и вымоченный въ чаѣ лимонъ. Каково мнѣ было такъ думать, можете судить сами: тутъ дѣло шло не объ одномъ самолюбіи, но и голодной смерти съ семействомъ»...

Надо однако подвести итоги этой едва-ли не самой безпорядочной главѣ безпорядочныхъ записокъ профана. Смѣю думать, что, не смотря на ея безпорядочность, я предложилъ читателю вдуматься въ два ряда очень интересныхъ явленій. Съ одной стороны читатель видитъ Прудона, человѣка по натурѣ своей плутоватаго, часто готоваго сфальшивить,—и однако этотъ плутоватый человѣкъ отъ перваго публичнаго заявленія своихъ мыслей и чувствъ до самой могилы остается непоколебимо вѣренъ своимъ убѣжденіямъ. Съ другой—Бѣлинскій, весь проникнутый жаждою правды, органически неспособный покривить душой, — и однако

этотъ человѣкъ всю жизнь остается только великомученикомъ правды и мечется изъ стороны въ сторону, какъ какая-нибудь щепка на волнахъ. Фактъ поразительный! Для Прудона программа жизни готова чуть не съ пеленокъ и готова до многихъ мелкихъ подробностей: цѣль,—«стоять за сироту», т. е. за обездоленный людъ; средства — вполнѣ опредѣленныя; отдаленный идеалъ тоже вполнѣ опредѣленный: анархія; путь къ идеалу—рядъ переходныхъ состояній, изъ которыхъ ближайшія опять-таки вполнѣ (для Прудона, конечно) ясны. Передъ Бѣлинскимъ, напротивъ—мракъ, мракъ и мракъ, лишь по временамъ разсѣкаемый молніей, и то для того, чтобы сказать человѣку: не туда! Неужели же мы, русскіе—до такой степени обойденная порода людей, что даже лучшіе между нами, чистѣйшіе, осуждены на рядъ ошибокъ! Почему тамъ, въ Европѣ правда (все равно какая, лишь бы человѣкъ признавалъ ее правдой) дается сразу даже плутоватому человѣку, а у насъ не дается даже вполнѣ достойнымъ воспринять ее? По тому ли, по сему ли, но таковъ фактъ. Радоваться ему или печалиться? Если я ставлю этотъ вопросъ, значитъ, имѣю резоны разрѣшить его въ радостномъ смыслѣ, потому что на первый взглядъ ничего, кромѣ глубокой печали, параллель Бѣлинскаго и Прудона возбудить въ русскомъ человѣкѣ не можетъ. Въ самомъ дѣлѣ, мы, конечно, можемъ съ гордостью показать Бѣлинскаго цѣлому міру, не скрывая ни одной изъ его святыхъ ранъ. Но раны остаются ранами, т. е. болью и безобразіемъ. Ужъ лучше нѣкоторая плутоватость, особенно если она такъ мало, въ концѣ-концовъ, управляетъ человѣкомъ, какъ это было съ Прудономъ, чѣмъ жажда правды, приводящая къ ряду не только личныхъ мученій, а и ошибокъ. Это—одинъ взглядъ, и я понимаю его и даже раздѣляю. Но долженъ откровенно сознаться, что меня при этомъ подкупаютъ нѣкоторыя идеи Прудона, да можетъ быть, и не одного меня, а и читателя.—Прудонъ пользуется уваженіемъ самыхъ разнообразныхъ читателей, его съ почтеніемъ цитируютъ и г. Страховъ, и г. Градовскій, и многіе другіе степенные, солидные и ученые люди: такъ ужъ Прудонъ ухитрился. Но возьмите вмѣсто него какого нибудь другого непоколебимаго европейскаго человѣка, хоть Бисмарка, который у насъ такимъ всеобщимъ уваженіемъ не пользуется. Бисмаркъ тоже пронесъ свою феодальную подкладку неприкосновенною отъ ранней молодости до сегодня, со включеніемъ момента культуръ-кампфа. Ему тоже непрерывный рядъ предковъ съ рѣзко-опредѣленными нравственными физіономіями оставилъ духовное наслѣдство, иго, которое онъ сбросить только вмѣстѣ съ жизнью. Не знаю, какъ читатель, а я, еслибы мнѣ предложили на выборъ судьбу Бисмарка или Бѣлинскаго, выбралъ бы Бѣлинскаго. И тутъ не будетъ никакого геройства съ моей стороны, потому что я просто не могу представить себѣ себя въ кожѣ Бисмарка; неопредѣленное исканіе правды мнѣ все-таки ближе, понятнѣе, дороже, чѣмъ *такая* опредѣленная правда, какъ правда Бисмарка. Она—просто неправда, и признать ее правдой я даже во снѣ не могу. Изъ этого слѣдуетъ, что непоколебимость убѣжденій, доставляя несомнѣнно личное спокойствіе ихъ обладателю, для посторонняго наблюдателя еще не рѣшаетъ всего. Для этого посторонняго человѣка остается еще любопытный вопросъ: а каковы именно убѣжденія этого непоколебимаго человѣка? Если въ какомъ нибудь углу Европы исторія выработала непоколебимѣйшаго негодяя, то, какъ бы онъ ни былъ лично счастливъ, посторонній человѣкъ имѣетъ полное право подумать: да хоть бы ты разъ въ жизни поколебалъ свои убѣжденія и сдѣлалъ честное дѣло!

Дѣло въ томъ, что европейскій человѣкъ имѣетъ у себя за плечами болѣе или менѣе опредѣленную и непрерывную исторію. Это даетъ ему твердость поступи и подчасъ страшную силу. Но европейскую исторію мы уже вполнѣ знаемъ, и знаемъ, что изъ десяти европейцевъ девять направляютъ свою страшную силу убѣжденія не на защиту сиротъ, какъ направилъ Прудонъ, а на разныя другія и гораздо менѣе симпатичныя вещи. Въ нашемъ отечествѣ, напротивъ, твердой поступи нѣтъ ни у кого, да и откуда ей взяться? Происхожденіе, напримѣръ, большинства пишущей братіи приблизительно такое же, какъ и Бѣлинскаго: немножко дворянства, немножко поповства, немножко вольнодумства, немножко холопства. Да тутъ и не въ одномъ происхожденіи дѣло. Только въ Россіи возможны такіе факты, какъ напримѣръ, демократизмъ Рюриковича князя Васильчикова, радикализмъ графа Льва Толстого и аристократизмъ... аристократизмъ г. Авсѣенки или генерала Фадѣева, и я не знаю еще кого съ фамиліями, несомнѣнно почтенными, но не особенно аристократическими. Перечисленіемъ подобныхъ фактовъ можно бы было занять нѣсколько печатныхъ листовъ, еслибы это было нужно, еслибы и безъ того не было вполнѣ извѣстно, что мы—мѣшанина. Мѣшанина ведетъ прежде всего къ тому, что ни въ одной странѣ въ мірѣ нѣтъ такого количества арлекиновъ, какъ въ нашемъ отечествѣ. Арлекинъ, какъ извѣстно, осиротѣлъ, какъ только родился, и былъ нищъ и

нагъ. Надъ нимъ сжалились два пріятеля, сыновья портныхъ, и принесли одинъ—нѣсколько обрѣзковъ зеленой матеріи, а другой—красной. Любящая Коломбина прибавила еще немножко желтой матеріи. И съ тѣхъ поръ арлекинъ не снимаетъ своего трехцвѣтнаго платья не столько потому, что оно ему нравится, сколько изъ благодарности къ пріятелямъ и Коломбинѣ. И арлекинъ очень веселъ, и ему все трынъ-трава. Большое количество этихъ веселыхъ, пестрыхъ людей—очень непріятная вещь. Въ Европѣ большая часть ихъ непремѣнно была бы пріурочена къ какому-нибудь опредѣленному цвѣту. Но къ какому? Можетъ быть, къ такому, что лучше бы имъ вѣки вѣчные оставаться пестрыми, веселыми льдьми. Но не все же у насъ арлекины, т. е. люди, заразъ облеченные и въ красный, и въ желтый, и въ зеленый цвѣтъ. Какъ ни великъ Бѣлинскій, но онъ—не исключительная единица, а русскій типъ. Это долженъ признать всякій, имѣвшій возможность и, конечно, умѣнье наблюдать разные оттѣнки русскаго общества. Я думаю, что даже именно теперь, среди отвратительныхъ кувырканій изъ-за цѣлковаго и безобразнѣйшаго забвенія самыхъ элементарныхъ нравственныхъ правилъ, — мучается въ разныхъ углахъ Россіи много маленькихъ, невидныхъ, незамѣтныхъ Бѣлинскихъ, безъ его блестящаго таланта, безъ его другихъ умственныхъ качествъ, но не менѣе его жаждущихъ цѣльной правды и способныхъ ей отдаться. Литература этими людьми не занимается, отчасти по причинамъ отъ нея независящимъ, отчасти по привычкѣ сосредоточивать свое вниманіе на явленіяхъ, всплывающихъ на поверхность общественной жизни. Не берусь подтвердить существованіе такихъ людей фактами, но оно объяснимо и a priori. Ихъ должно создавать то же самое отсутствіе исторіи, которое создаетъ и арлекиновъ. Исторія создаетъ силу, твердость, опредѣленность, но во-первыхъ, направляетъ эти силы весьма разнообразно, а слѣдовательно, на чей бы ни было взглядъ далеко не всегда удачно, а во-вторыхъ, создаетъ также многопудовую тяжесть преданія, не дающую свободы критическому духу. Отсутствіе исторіи создаетъ дряблость, нравственную слякоть, но зато, если ужъ выдается въ средѣ, лишенной исторіи, личность, одаренная инстинктомъ правды, то она способна къ гораздо большей широтѣ и смѣлости, чѣмъ европейскій человѣкъ, именно потому, что надъ ней нѣтъ исторіи и мертвящаго давленія преданія. Европейскихъ людей поражаетъ смѣлость русскаго отрицанія. Оно для нихъ—дикость, варварство, и въ этомъ мнѣніи есть извѣстная доля правды. Русскому человѣку, благодаря отсутствію исторіи, нѣтъ причины дорожить даже таблицей умноженія, но нѣтъ также причины дорожить и, напримѣръ, общественными перегородками, которыхъ наша исторія никогда не водружала съ европейскою опредѣленностью и устойчивостью. Я не скрываю ни отъ себя, ни отъ читателя двусмысленности моихъ положеній. Я очень хорошо понимаю, что нѣкоторыя колоссальныя воровства и грабежи возможны только въ Россіи, по отсутствію историческаго воспитанія личности. Но я прибавляю, что по той же причинѣ русскій человѣкъ неспособенъ дорожить многими условными нравственными понятіями, которымъ цѣна дѣйствительно—грошъ и за которыя, однако, европеецъ платитъ очень дорого. Бѣлинскій очень хорошо понималъ эту обоюдоострую истину. Вотъ отрывки изъ двухъ его писемъ.

„Прочти, пожалуйста, повѣсть Диккенса *Битва жизни*; изъ нея ты ясно увидишь всю ограниченность, все узколобіе этого дубоваго англичанина, когда онъ является не талантомъ, а просто человѣкомъ... Уважаю практическія натуры въ hommes d'action, но если вкушеніе сладости ихъ роли непремѣнно должно быть основано на условіи безвыходной ограниченности, душевной узкости — слуга покорный, я лучше хочу быть созерцающею натурою, человѣкомъ просто, но лишь бы все чувствовать и понимать широко, привольно и глубоко. Я—натура русская (онъ прибавляетъ, что и гордится этимъ)... Не хочу быть даже французомъ, хотя эту націю люблю и уважаю больше другихъ. Русская личность - пока эмбріонъ, но сколько широты и силы въ натурѣ этого эмбріона, какъ душна и страшна ей всякая ограниченность и узкость. Она боится ихъ, не терпитъ ихъ больше всего—и хорошо, по моему мнѣнію, дѣлаетъ, довольствуясь пока ничѣмъ, вмѣсто того, чтобы закабалиться въ какую нибудь дрянную односторонность... Русакъ пока еще дѣйствительно—ничего; но посмотри, какъ онъ требователенъ, не хочетъ того, не дивится этому, отрицаетъ все, а между тѣмъ чего-то хочетъ, къ чему-то стремится... Не думай, чтобы я въ этомъ вопросѣ былъ энтузіастомъ. Нѣтъ, я дошелъ до его рѣшенія (для себя) тяжкимъ путемъ сомнѣнія и отрицанія. Не думай, чтобы я со всѣми говорилъ *такъ*: нѣтъ, въ глазахъ нашихъ квасныхъ патріотовъ, славянофиловъ... витязей прошедшаго и обожателей настоящаго, я всегда останусь тѣмъ, чѣмъ они меня до сихъ поръ считали“.

„Многіе, не видя въ сочиненіяхъ Гоголя и натуральной школы такъ-называемыхъ „благородныхъ“ лицъ, а все плутовъ или плутишекъ, приписываютъ это будто бы оскорбительному понятію о Россіи, что въ ней-де честныхъ, благородныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ умныхъ людей быть не можетъ. Это—обвиненіе нелѣпое, и его-то старался я и буду стараться отстранить. Что хорошіе люди есть вездѣ, объ этомъ и говорить нечего; что ихъ на Руси по сущности народа русскаго должно быть гораздо больше, нежели какъ думаютъ сами славянофилы (т. е. истинно хорошихъ людей, а не мелодраматическихъ героевъ), и что, наконецъ, Русь есть по

преимуществу страна крайностей и чудныхъ, странныхъ и непонятныхъ исключеній—все это для меня аксіома, какъ дважды-два четыре. Но вотъ горе-то: литература все-таки не можетъ пользоваться этими хорошими людьми, не впадая въ идеализацію, въ риторику и въ мелодраму, т. е. не можетъ представлять ихъ художественно такими, какъ они есть на самомъ дѣлѣ, по той простой причинѣ, что ихъ тогда не пропуститъ цензурная таможня. А почему? Потому именно, что въ нихъ человѣческое въ прямомъ противорѣчіи съ тою общественною средою, въ которой они живутъ. Мало того: хорошій человѣкъ на Руси можетъ иногда быть героемъ добра въ полномъ смыслѣ слова, но это не мѣшаетъ ему быть съ другихъ сторонъ гоголевскимъ лицомъ: честенъ и правдивъ, готовъ за правду на пытку, на колесо, но невѣжда, колотитъ жену, варваръ съ дѣтьми и т. д. Это потому, что все хорошее въ немъ есть даръ природы, есть чисто человѣческое, которымъ онъ нисколько не обязанъ ни воспитанію ни преданію, словомъ, средѣ, въ которой родился, живетъ и долженъ умереть; потому наконецъ, что подъ нимъ нѣтъ terrain, а, какъ вы говорите справедливо, не плавучее море, а огромное стекло".

Присоединяя свой скромный голосъ къ голосу великаго критика, я по поводу послѣдней выписки изъ переписки Бѣлинскаго напомню читателю еще одну разницу между нимъ и Прудономъ. Прудонъ хоть и посидѣлъ въ тюрьмѣ, но написалъ, напечаталъ и заставилъ читать Европу всѣ свои «страшныя слова», между которыми были, дѣйствительно, страшныя. Бѣлинскій же хотя въ тюрьмѣ и не сидѣлъ, но своихъ мнѣній о шапкѣ-мурмолкѣ вполнѣ обнародовать не могъ. Это различіе имѣетъ свои многочисленныя параллели въ европейской и русской жизни... Затѣмъ я вспоминаю чей-то гордый отвѣтъ на вопросъ о предкахъ. «Я—самъ предокъ», отвѣчалъ вопрошаемый. Не принять ли намъ къ свѣдѣнію и руководству этотъ отвѣтъ? .Какъ вы думаете, читатель? А какъ я этомъ объ думаю, разскажу какъ нибудь потомъ.

XVIII *).

Разныя разности.

Такъ какъ мы, собственно говоря — не потомки, т. е. не получили въ наслѣдство никакого родового духовнаго имѣнія, то будемъ сами предками! Легко сказать, а легко ли сдѣлать?!

Трудно, милостивые государи и государыни, знаю, что трудно, но необходимо, потому что нельзя же вѣчно нищенствовать. А что нищета наша въ самомъ дѣлѣ велика, въ этомъ, кажется, не можетъ быть никакого сомнѣнія. Что бъ мы были безъ суда? спрашивалъ покойный Курочкинъ, и я повторяю вопросъ веселаго покойника Что бъ мы были безъ процессовъ Мясниковыхъ, игуменьи Митрофаніи, Овсянникова и проч.? Что бъ мы были, еслибы время отъ времени не поджигались мельницы и не совершались подлоги, еслибы то г. Спасовичъ, то г. Потѣхинъ не подкатывали по временамъ подъ нашу тишь и гладь боченковъ своего адвокатскаго пороха? Просто ложись въ гробъ и умирай! Было время, когда мы возлагали надежды на Западную Европу: дескать, своей жизни нѣтъ настоящей, такъ будемъ жить жизнью европейскою. Оно и удавалось временами. Мы волновались по случаю паденія или торжества какой-нибудь идеи или какого-нибудь факта во Франціи, въ Германіи и такимъ образомъ обманывали свою жажду жизни, потому что жажда-то жизни всегда была и не можетъ ея не быть, хоть иной разъ она еле-еле даетъ себя знать. Какъ бы тамъ ни было, но теперь мы ужъ отраженіемъ европейской жизни не умѣемъ жить. И нужнаго-то для этого безкорыстія у насъ нѣтъ, и въ Европѣ-то идетъ все больше такая скука, что ею жить нельзя, и наконецъ, собственная наша нищета до того дошла, что мы всякое чутье потеряли. Наслѣдственнаго духовнаго имущества у насъ нѣтъ, надо его самимъ пріобрѣтать, чтобы было возможно и самимъ прожить, и дѣтямъ что-нибудь оставить.

Не я одинъ это говорю. Вотъ примѣры.

Сцена представляетъ «сѣрый гороховый кисель, называемый русскою дѣйствительностью», «безформенную слякоть, въ которой все тонетъ. Ее ничѣмъ не проймешь: хлыстнешь по ней бичомъ, рубецъ тотчасъ затянетъ, кисельная поверхность опять сплывется». «Мы живемъ въ печальное время господства низшихъ требованій. Все, что приподнято надъ уровнемъ полузнанія, представляется намъ посягательствомъ на нашъ умственный комфортъ, на свободу нашего духовнаго нищенства». Вѣдь все это — почти то же, что́ и я говорилъ nur mit Bischen anderen Worten. Но было бы съ моей стороны безсовѣстнѣйшимъ плагіатомъ, еслибы я вздумалъ подписаться подъ дальнѣйшимъ теченіемъ сцены, имѣющей мѣсто въ сѣромъ гороховомъ кисслѣ. Изъ киселя этого вдругъ выдѣляется къ удивленію ни малѣйше не замаранная, лучезарная фигура князя Юхотскаго. Ему 27 лѣтъ. «Лицо его поражаетъ сочетаніемъ чрезвычайной серьезности съ блескомъ молодости, слово стрѣляющей изъ темно-сѣрыхъ, ясныхъ, глубокихъ глазъ. Эти глаза и дополняютъ выраженіе строгаго, прорѣзаннаго чуть видными морщинками лба и какъ будто противорѣчатъ ему: въ ихъ лучистомъ свѣтѣ есть

*) 1875, декабрь.

что-то изящно веселое, смѣлое и своевольное, такъ же, какъ и въ очертаніи губъ, глядя на которыя, непремѣнно хочется видѣть ихъ улыбающимися. Молодой станъ князя обнаруживаетъ почти женственную гибкость, подъ которою однако чувствуется львиная сила мускуловъ». Но не одними только внѣшними качествами сіяетъ князь Юхотскій. Что такое тѣлесная красота?— тлѣнъ. «Рѣчь его скользитъ по предметамъ, осыпая ихъ брызгами остроумія и веселости, и переходитъ въ блестящую импровизацію». Онъ самъ (а кому же лучше знать)? пишетъ своему заграничному другу профессору Овергагену, что на всемъ пространствѣ гороховаго киселя онъ будетъ «единственнымъ носителемъ положительнаго идеала», и что, дескать, «свѣтъ и мракъ, истина и ложь представляются мнѣ нынѣче съ такою опредѣленностью, мысль моя дошла до такого окончательнаго познанія добра и зла, далѣе котораго не простирается нравственная задача жизни». Вотъ каковъ, по собственнымъ и, слѣдовательно, вѣрнѣйшимъ показаніямъ, князь Юхотскій, не смотря на свое происхожденіе изъ гороховаго киселя. Кромѣ того, что онъ окончательно позналъ добро и зло, онъ—замѣчательный ученый; его диспутъ въ университетѣ посрамляетъ всѣхъ «философовъ Васильевскаго Острова и Петербургской Стороны», причемъ философы Песковъ и Коломны, конечно, радуются, что *избѣжали* погрома. Благосклонный читатель, вы послѣ этого не удивитесь, если я скажу вамъ, что на князя Юхотскаго постоянно устремляются то «лучистые» глаза, то «лучезарные», то «сверкающіе», то «блистающіе», то «меркнущіе», то опять «лучистые» и опять «лучистые», и что всѣ эти глаза суть дамскіе. Искушеніе такъ велико, что князь Юхотскій думаетъ: чортъ возьми, чего же я зѣваю! вѣдь я окончательно позналъ добро и зло и порѣшилъ нравственную задачу жизни! Воскликнувъ такимъ образомъ, князь Юхотскій начинаетъ и самъ испускать во всѣ стороны лучистые, лучезарные, сверкающіе, блистающіе, меркнущіе, но преимущественно лучистые взгляды. На этомъ пока занавѣсъ опускается.

Вы догадываетесь, что я вамъ разсказалъ начало романа маркиза Маркевича, виконта Авсѣенки или дюка Антропова. Вѣрно. Это—содержаніе первой части романа виконта Авсѣенки «Млечный путь» («Русскій Вѣстникъ» 1875 г. № 10). Произведенія этихъ сіятельныхъ господъ пользуются такою обширною и вполнѣ заслуженною извѣстностью, что говорить о нихъ нечего. Я хотѣлъ бы обратить вниманіе читателя только на нѣкоторые пріемы этихъ блестящихъ писателей, при помощи которыхъ они скромно сберегаютъ свои исполинскія силы отъ излишней траты. Напримѣръ, герои ихъ часто говорятъ «пламенныя рѣчи», «блестящія импровизаціи» и т. п., но въ сущности они ихъ вовсе не говорятъ, т.-е. читатель ихъ не слышитъ, а долженъ вѣрить господину маркизу или виконту, что блестящая импровизація дѣйствительно имѣла мѣсто. Я хвалю этотъ пріемъ, потому что откуда же маркизу Маркевичу или виконту Авсѣенкѣ взять настоящую пламенную рѣчь и подлинную блестящую импровизацію. Другой пріемъ: герой, проникнутый необычайно глубокими думами, не отвѣчаетъ разговаривающему съ нимъ простому смертному, потому что «мысль его гдѣ-то далеко, въ чистомъ надзвѣздномъ мірѣ». Это тоже хорошо, потому что отвѣтовъ про всѣхъ не наберешься. Наконецъ, за послѣднее время сталъ обрисовываться еще одинъ весьма цѣлесообразный пріемъ: на сценѣ появляется философъ пессимистъ, отрицатель школы Шопенгауера и Гартмана. Въ романѣ маркиза Маркевича «Марина изъ Алаго Рога» показывается самъ Шопенгауеръ, но только, такъ сказать, однимъ ухомъ. Въ романѣ виконта Авсѣенки этотъ образъ уже болѣе «матеріализуется»: профессоръ Овергагенъ пишетъ цѣлыя письма къ князю Юхотскому. Дюкъ Антроповъ съ помощью Божіей пойдетъ, надо надѣяться, еще дальше и изобразитъ, наконецъ, философа-пессимиста съ руками и ногами. Этотъ философъ представляетъ собою изобрѣтеніе чисто механическое; вродѣ махового колеса или безконечнаго ремня, но весьма удобное. Онъ долженъ внушать, что *всякій* идеалъ есть ложь и самообольщеніе, что *всякая* жизнь заслуживаетъ только отрицанія. Поэтому противнику его, князю Юхотскому или иному, нѣтъ никакой надобности пускаться въ разборъ и классификацію идеаловъ и формъ жизни. Онъ можетъ спокойно восклицать; нѣтъ, есть на свѣтѣ положительный идеалъ, и я буду его носителемъ! есть въ жизни много высокаго и цѣннаго, къ чему можно прилѣпиться всей душой! И такимъ образомъ князь Юхотскій можетъ весьма много болтать, оставаясь на достаточной высотѣ отъ болѣе точнаго опредѣленія положительныхъ идеаловъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ можетъ продолжать самыя дружескія сношенія съ своимъ философскимъ противникомъ, потому что между человѣкомъ, *все отрицающимъ*, и человѣкомъ, *неизвѣстно что полагающимъ*, конечно, раздоровъ быть не можетъ. И мирно, значитъ, и хорошо, и экономно.

Это я впрочемъ мимоходомъ. Занимаетъ же меня собственно совпаденіе моихъ мыслей съ мыслями виконта Авсѣенки. Совпаденіе это до извѣстной степени несомнѣнно

существуетъ. Насчетъ, напримѣръ, гороховаго киселя я съ виконтомъ совершенно согласенъ, но, не будучи такъ близокъ (какъ виконтъ Авсѣенко и дюкъ Антроповъ) къ ароматнымъ и блестящимъ сферамъ большого свѣта, я не могу поручиться, что дѣйствительно оттуда раздается благая вѣсть: да будетъ свѣтъ! У самого виконта Авсѣенки всѣ эти блестящія импровизаціи и искорененія нравственныхъ задачъ жизни суть только pia desideria, а не то, чтобы въ самомъ дѣлѣ. На диспутъ Юхотскаго собралось очень много народу, потому что диспутантъ «представлялъ двойной интересъ — блестящаго ученаго и человѣка, принадлежащаго по рожденію и связямъ къ большому свѣту. *Въ первый разъ* еще этотъ большой свѣтъ чувствовалъ себя какъ-бы прикосновеннымъ къ академическому торжеству». Слѣдовательно, виконтъ Авсѣенко предугадываетъ событія, забѣгаетъ впередъ и предлагаетъ вѣрить въ невидимое, какъ-бы въ видимое. Въ дѣйствительности этого *перваго раза* вѣдь еще не было. Это—мечта поэта, и вотъ почему виконтъ Авсѣенко занимаетъ характеристику князя у французскихъ романистовъ, герои которыхъ всегда имѣютъ руки, мускулистыя, какъ руки кузнеца, и бѣлыя, какъ рука герцогини. Предки князя Юхотскаго рядомъ съ предками Авсѣенки бились за отечество и занимали высокіе государственные посты. Они не передали Юхотскому характеризующихъ его философскихъ способностей и склонностей. Стало быть, эта мечта поэта обозначаетъ собою человѣка, который самъ — предокъ. Къ сожалѣнію, это — только мечта, да и мечта плохая, потому что тотъ путь, которымъ князь Юхотскій придетъ съ теченіемъ времени къ своему *первому разу* (да будетъ ему дорога скатертью), всѣ эти блестящія импровизаціи, лучистые, лучезарные и т. д. взоры, бесѣды съ профессорами Овергагенами и проч. — все это дѣло испытанное и переиспытанное. Одно только можно сказать по прочтеніи первой части «Млечнаго пути»: нищета духовная дѣйствительно велика, если во всемъ образованномъ обществѣ только одинъ человѣкъ есть носитель положительнаго идеала, да и то неизвѣстно какого, и этотъ единственный—еще не существуетъ! Обратите вниманіе, что виконтъ Авсѣенко не осмѣливается поставить рядомъ съ идеальнымъ княземъ Юхотскимъ себя, маркиза Маркевича, дюка Антропова, М. Н. Каткова и т. п. Онъ рѣшается implicite объявить, что всѣ эти почтенные люди ни мало не выдѣляются изъ сѣраго гороховаго киселя, а что придетъ со временемъ нѣкоторый князь и князь этотъ будетъ единственнымъ носителемъ положительнаго идеала.

Поищемъ другихъ указаній. Вотъ статья г. Мордовцева «Печать въ провинціи» («Дѣло», №№ 9 и 10). Эту, полную противорѣчій и недомолвокъ, но любопытную статью я приберегаю до другого случая. Здѣсь я приведу только два тезиса г. Мордовцева. Онъ полагаетъ, что въ обществѣ дѣйствуетъ особый законъ (трудно уловить районъ его дѣйствія и степень повелительности, какъ закона) централизаціи или центростремительной силы, повинуясь которой, всѣ выдающіеся общественные элементы стягиваются къ центрамъ, къ большимъ городамъ. Отсюда вытекаетъ тяжелый приговоръ провинціальной печати. Обращаясь далѣе къ Малороссіи, г. Мордовцевъ полагаетъ, что ея историческое прошлое, не лишенное славныхъ моментовъ, играетъ роль тяжелой гири, мѣшающей малороссамъ отдаться жизни настоящаго, какъ это удается великороссамъ, у которыхъ нѣтъ въ прошедшемъ такой гири. Все это очень любопытно и, конечно, по малой мѣрѣ очень спорно. Теперь я только отмѣчаю еще одинъ рецептъ для выхода изъ одолѣвающаго насъ духовнаго нищенства: городъ, большіе города вродѣ Лондона, Парижа и проч.

Обратимся къ статьѣ г. П. Ч. «Отчего безжизненна наша литература» («Недѣля», № 44). Тутъ мы имѣемъ опять новый рецептъ и притомъ совершенно противоположный предыдущимъ. По мнѣнію г. П. Ч. городъ есть наша погибель, а наше спасеніе въ деревнѣ. Но объ г. П. Ч. я бы попросилъ позволенія сказать нѣсколько словъ въ скобкахъ. Онъ снисходительно относится въ «Отеч. Запискахъ». И, конечно, спасибо ему за это. Но когда я увидѣлъ, что въ его небольшой статейкѣ нѣтъ *ни одной* общей мысли, которая не была бы развита въ разное время въ «Отеч. Запискахъ», мнѣ показалось, что одной снисходительности, вдобавокъ не лишенной укорительнаго характера, съ его стороны маловато. И мнѣ стало обидно, не за себя или «Отеч. Записки», а за самого г. П. Ч., которому я желаю всего хорошаго. Во избѣжаніе недоразумѣній замѣчу, что я отнюдь не заподозриваю самостоятельности г. П. Ч., а также вовсе не требую какой-нибудь особенной почтительности къ «Отеч. Запискамъ». Боже избави! Но отношеніе равнаго къ равному, откровеннаго единомышленника къ единомышленнику было бы, я полагаю, довольно умѣстно въ этомъ случаѣ. А то г. П. Ч. точно нарочно не то что выискиваетъ пунктики разногласія, а аффектируетъ тонъ такого выискивающаго. Я гораздо проще и откровеннѣе его. Я прямо скажу, что въ общемъ имѣю честь раздѣлять мнѣнія г. П. Ч., да и нельзя ихъ мнѣ не раздѣлять, потому что я ихъ не разъ высказывалъ, и

только нѣкоторыя частности подчеркнулъ бы я сильнѣе, а нѣкоторыя другія не подчеркнулъ бы вовсе. Но зато я не успокоился бы на окончательныхъ выводахъ г. П. Ч., т. е собственно на ихъ, повидимому, категорической и ясной, а въ сущности туманной и неопредѣленной формѣ. Объ нихъ только я и рѣчь поведу, потому что все остальное въ статьѣ «Недѣли» читателямъ «Отеч. Записокъ» извѣстно.

«Мы не должны и не можемъ идти по пути западной Европы — это несомнѣнно. Приходится прокладывать свой собственный путь, который долженъ вытекать изъ коренныхъ основъ русскаго быта. Но въ чемъ эти основы? А главное: какъ пріурочить намъ и связать съ ихъ сущностью, дѣйствительно, здоровыя стороны европейской цивилизаціи?» Такъ ставитъ г. П. Ч. вопросъ о выходѣ нашемъ изъ состоянія духовнаго нищенства. Значитъ, если исторія не оставила намъ, русскому образованному обществу, никакого духовнаго наслѣдства — что между прочимъ имѣетъ свои и хорошія, и дурныя стороны — то о многомилліонной массѣ русскаго народа этого сказать нельзя. Тамъ, въ этой массѣ была и есть исторія, и намъ надлежитъ сдѣлать ее своей. «Лично я убѣжденъ, продолжаетъ г. П. Ч., что если только намъ суждено скоро услышать «надлежащее слово», его скажутъ люди деревни, а не города, и ужъ всего менѣе Петербурга. Да, скажетъ его деревня, какъ бы презрительно ни думали о ней книжники! Хотѣлось бы выяснить, что *подъ «деревней» подразумѣвается единица, олицетворяющая собою принципъ солидарности, нравственной связи, въ противоположность принципу крайняго индивидуализма и нравственной разобщенности, выразителемъ которой былъ и есть европейскій городъ*. Но это завело бы насъ слишкомъ далеко».

Замѣтьте прежде всего, читатель, необыкновенное совпаденіе на занимающемъ насъ пунктѣ самыхъ разнообразныхъ мнѣній. Виконтъ Авсѣенко пророчитъ: придетъ князь, который отбросить все старое и начнетъ собою новую исторію. Г. Мордовцевъ утверждаетъ, что придетъ городъ. Р. П. Ч. стоитъ на томъ, что придетъ деревня. Но всѣ трое единогласно объявляютъ, что такъ жить нельзя, какъ мы теперь живемъ, что нуженъ поворотъ и поворотъ крутой. Это единогласіе очень поучительно, но поучительно и разногласіе гг. Авсѣенка, Мордовцева и П. Ч. Оно показываетъ, что до выхода намъ не близко. Однако просите и дастся вамъ, толцыте и отверзется. Не теряя золотого времени, я прямо скажу, что симпатичнѣе всѣхъ приведенныхъ рѣшеній для меня рѣшеніе г. П. Ч. Но онъ вуалировалъ свой окончательный результатъ, скрылъ глубокій и страшный смыслъ вопроса. Г. П. Ч. много распространяется на ту тему, что пора, дескать, намъ, и въ частности нашей литературѣ, перестать «трепать заграничныя формулы». Да «трепать» надо бросить. Но я бы желалъ его спросить, не представляютъ ли вышеподчеркнутыя слова заграничной формулы, которая треплется довольно давно? Надо вѣдь правду сказать, что, въ отвлеченномъ своемъ видѣ, формула эта выставлена въ Европѣ нѣсколько раньше, чѣмъ появилась въ изложеніи г. П. Ч. на страницахъ «Недѣли». Конечно, онъ прибавилъ противоположеніе русской деревни и европейскаго города, но и эта прибавка—въ русской литературѣ не новинка. А главное, кто далъ г. П. Ч. право «подразумѣвать» подъ «деревней» единицу, олицетворяющую собою и т. д.? Если вы хотите ждать, что скажутъ люди деревни, такъ и ждите. Если вы утверждаете, что «источникомъ литературныхъ направленій должна сдѣлаться русская жизнь со всѣми своими бытовыми особенностями, которыхъ еще ни одинъ нѣмецъ въ книгу не вписалъ», такъ не забѣгайте впередъ. Можетъ быть, г. П. Ч., основательно изучивъ «русскую жизнь со всѣми ея бытовыми особенностями», убѣдился, что она не выражаетъ собою ничего иного, какъ принципъ солидарности и нравственной связи? Въ такомъ случаѣ ему жить просто, и я ему глубоко завидую, какъ вообще ученымъ людямъ. Я — профанъ и тутъ. У меня на столѣ стоитъ бюстъ Бѣлинскаго, который мнѣ очень дорогъ, вотъ шкафъ съ книгами, за которыми я провелъ много ночей. Если въ мою комнату вломится русская жизнь со всѣми ея бытовыми особенностями и разобьетъ бюстъ Бѣлинскаго и сожжетъ мои книги, я не покорюсь и людямъ деревни; я буду драться, если у меня, разумѣется, не будутъ связаны руки. И если бы даже меня осѣнилъ духъ величайшей кротости и самоотверженія, я все-таки сказалъ бы, по малой мѣрѣ: прости имъ, Боже истины и справедливости, они не знаютъ, что творятъ! Я все-таки, значитъ, протестовалъ бы. Я и самъ сумѣю разбить бюстъ Бѣлинскаго и сжечь книги, если когда-нибудь дойду до мысли, что ихъ надо бить и жечь, но пока они мнѣ дороги, я ни для кого ими не поступлюсь. И не только не поступлюсь, а всю душу свою положу на то, чтобы дорогое для меня стало и другимъ дорого, вопреки, если случится, ихъ бытовымъ особенностямъ.

Ой, люди, люди русскіе,
Крестьяне православные!
Слыхали ли когда-нибудь
Вы эти имена?

То имена великія,
Носили ихъ, прославили
Заступники народные!
Вотъ вамъ бы ихъ портретики
Повѣсить въ вашихъ горенкахъ,
Ихъ книги прочитать...

«И радъ бы въ рай, да дверь-то гдѣ?»— перебиваетъ эту мечту прохожій, спрашивающій впрочемъ о дорогѣ въ балаганъ. Вы знаете эту дверь, г. П. Ч.? не въ балаганъ, а ту, другую? Мнѣ попалась подъ руку, можетъ быть, не совсѣмъ подходящая иллюстрація. Я хочу только сказать, что мнѣ чуждо, къ большому моему сожалѣнію, то состояніе душевнаго спокойствія, съ которымъ г. П. Ч. обобщаетъ свои идеалы со всѣми бытовыми особенностями русской жизни. Я ему завидую, потому что меня мучитъ цѣлый рядъ вопросовъ: что мнѣ дѣлать и какъ мнѣ думать, пока люди деревни не скажутъ своего слова? потому что вѣдь они не завтра его скажутъ; въ состояніи ли я буду безропотно выслушать всѣ ихъ слова? какъ скажутъ они ихъ, т. е. какіе для этого выберутъ органы? Г. П. Ч. все это знаетъ и потому спокоенъ, но онъ напрасно, я думаю, обзоветъ меня «книжникомъ» за то, что я лишенъ его спокойствія.

Я думаю однако, что г. П. Ч. просто не совсѣмъ уяснилъ себѣ представленіе о всѣхъ бытовыхъ особенностяхъ русской «жизни». Это—такія широкія рамки, что въ нихъ мало ли что вложить можно. Г. П. Ч. вложилъ принципъ солидарности и нравственной связи, а другіе вкладываютъ совсѣмъ другое. Вотъ напримѣръ, какими словами начинается введеніе въ третій томъ «Юридическихъ монографій и изслѣдованій» г. Любавскаго, спеціалиста, пользующагося, кажется, въ своемъ кругу солидной репутаціей: «Ни одно государство въ мірѣ не имѣетъ кодекса гражданскихъ законовъ, отличающагося столь *національнымъ* характеромъ, какъ Россія: у насъ гражданскіе законы выработаны дѣйствительною жизнью *русскаго народа* (оба курсива принадлежатъ автору); они не заимствованы изъ правъ римскаго, общегерманскаго или французскаго, не заключаютъ въ себѣ ничего чужеземнаго, импровизированнаго; о нашемъ отечествѣ можно сказать, что оно ipse sibi jus constituit». Если бы это мнѣніе г. Любавскаго было справедливо, то ни литературѣ, ни всему образованному обществу не требовалось бы, конечно, ждать чего бы то ни было отъ деревни, ибо все, что она имѣетъ сказать, можетъ быть усмотрѣно изъ полнаго собранія законовъ Россійской имперіи. Сомнѣваюсь однако, чтобы можно было придумать что нибудь болѣе неосновательное, менѣе соотвѣтствующее дѣйствительности, чѣмъ столь категорическія слова нашего почтеннаго юриста. Спеціалисты, если пожелаютъ, сумѣютъ, конечно, опровергнуть положеніе г. Любавскаго прямыми указаніями на исторію нашего законодательства. А я съ своей стороны предложу читателю другую пробу, которая намъ потомъ и для провѣрки свѣтлаго настроенія г. П. Ч. пригодится.

Недавно вышла любопытная и чрезвычайно полезная книга г. Е. Якушкина «Обычное право». Вышелъ собственно первый выпускъ книги, не дающій, къ сожалѣнію, понятія о размѣрахъ и планѣ всего изданія. Этотъ первый выпускъ содержитъ «матеріалы для библіографіи обычнаго права». Въ немъ имѣются, во-первыхъ, довольно обширное предисловіе или введеніе г. Якушкина; во-вторыхъ, списокъ больше чѣмъ 1,500 книгъ и статей, касающихся русскаго и инородческаго обычнаго права; въ-третьихъ, указатели: систематическій, этнографическій географическій и азбучный. Содержаніе важнѣйшихъ сочиненій, вошедшихъ въ списокъ, тутъ же вкратцѣ сообщается. Все это дѣлаетъ книгу чрезвычайно удобною и въ виду бѣдности по этой части нашей библіографической литературы просто неоцѣненною для всякаго рода справокъ и подбора матеріаловъ. Но книга составлена такъ хорошо, что мы можемъ воспользоваться ею для провѣрки мнѣній гг. Любавскаго и П. Ч., не прибѣгая ни къ какимъ справкамъ. Съ насъ будетъ довольно предисловія г. Якушкина, указателей и сообщеннаго составителемъ краткаго содержанія нѣкоторыхъ главныхъ сочиненій по русскому обычному праву.

Наши законы о расторженіи брака, какъ извѣстно, очень строги. Бракъ можетъ быть расторгнуть только формальнымъ судомъ по просьбѣ одного изъ супруговъ: 1) въ случаѣ доказаннаго прелюбодѣянія другого супруга или неспособности его къ брачному сожитію, 2) въ случаѣ, когда другой супругъ приговоренъ къ наказанію, сопряженному съ лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія, 3) въ случаѣ безвѣстнаго отсутствія другого супруга. «Самовольное расторженіе брака безъ суда, говорится въ законѣ, по одному согласію супруговъ, ни въ какомъ случаѣ не допускается. Равнымъ образомъ не допускаются и никакія между супругами обязательства или иные акты, заключающіе въ себѣ условія жить имъ въ разлученіи, или же какія-либо другія, клонящіяся къ разрыву супружескаго союза». Комментируя эти законы, г. Любавскій, совершенно впрочемъ логически, ухитряется вывести изъ буквы закона нѣкоторыя очень любопытныя частныя ограниченія супружеской свободы. Напримѣръ, жена лица, оскопленнаго уже по вступленіи

въ бракъ, требовать развода не можетъ. Или: если невинный супругъ хочетъ слѣдовать въ ссылку за осужденнымъ, а тотъ этого не хочетъ, то бракъ все-таки остается въ силѣ. Слишкомъ хорошо извѣстно, что въ народномъ быту эта строгость не имѣетъ мѣста. Я не считаю даже нужнымъ перебирать по этому случаю книгу г. Якушкина и ограничусь ссылкой на любопытную статью «Волостной разводъ», напечатанную въ № 45 «Недѣли», такъ какъ въ ней приводятся свѣдѣнія новыя. Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Полтавской губерніи крестьяне въ случаяхъ несчастной супружеской жизни обращаются въ «волость», которая фактически расторгаетъ бракъ, разводитъ супруговъ навсегда или на время, причемъ опредѣляетъ ихъ имущественныя отношенія и отношенія къ дѣтямъ, сообразно особенностямъ каждаго даннаго случая. Первымъ слѣдствіемъ такого «волостного развода» было появленіе «внѣзаконнаго брака», такъ какъ природа человѣческая и экономическія требованія жизни говорятъ, что не добро быти человѣку едину. «Какъ человѣкъ непосредственный, — говоритъ авторъ, — крестьянинъ не понимаетъ, почему нельзя поправить сдѣланной разъ ошибки въ выборѣ; почему благословеніе, разъ данное церковью, безповоротно связываетъ его съ человѣкомъ, который не можетъ ему помогать носить экономическое ярмо, не можетъ приносить ему ничего, кромѣ страданія и горя. И онъ поступаетъ такъ, какъ ему подсказываетъ непосредственное чувство, развившееся подъ вліяніемъ общихъ бытовыхъ причинъ». Дѣти, прижитыя во «внѣзаконномъ бракѣ», признаются всегда со стороны общества наслѣдниками ихъ отцовъ. Вотъ какъ устраивается русскій народъ и, какъ извѣстно, далеко не въ одной Полтавской губерніи. Я думаю, что въ виду подобныхъ фактовъ мудрено поддерживать тезисъ г. Любавскаго, что русское законодательство цѣликомъ и исключительно выросло изъ дѣйствительной жизни русскаго народа. Не могу отказать себѣ въ удовольствіи привести изъ книги г. Якушкина хотя одинъ характерный подходящій фактъ: «въ 1861 году удѣльные крестьяне села Котовки, Бѣлоголовицкаго приказа Трубчевскаго уѣзда, находя по многимъ обстоятельствамъ неудобнымъ имѣть у себя вдоваго священника, постановили приговоромъ водворить къ нему въ домъ вдову солдатку, изъявившую на то согласіе. Приговоръ этотъ былъ засвидѣтельствованъ въ приказѣ и приведенъ въ исполненіе» («Обычное право», XXIII). Этого, я думаю, достаточно, чтобы видѣть, какъ неосновательно обобщеніе г. Любавскаго.

Обращаясь къ тезису г. П. Ч., я оставлю въ сторонѣ всѣ свѣдѣнія объ обычномъ правѣ инородцевъ и буду брать только факты, относящіеся къ коренному русскому населенію. И это я дѣлаю уступку, потому что вѣдь и самоѣды, и якуты, и чуваши — все это тоже люди деревни. Прежде всего нашего брата въ русскомъ обычномъ правѣ поражаетъ присутствіе исторіи, которой не хватаетъ намъ, русскому образованному обществу. Сѣрая, лишенная какихъ бы то ни было яркихъ красокъ, скорбная, постная исторія русскаго народа, не смотря на все это, до такой степени прочна и непрерывна, что во многихъ мѣстахъ народъ и до сихъ поръ живетъ исключительно на основаніяхъ своего исконнаго быта, теряющагося въ отдаленнѣйшемъ мракѣ вѣковъ. Конечно, если разумѣть подъ исторіей процессъ измѣненія вѣрованій, обычаевъ, понятій, то она окажется во многихъ углахъ и закоулкахъ Россіи почти отсутствующею. Но тѣмъ сильнѣе бьетъ въ глаза та сторона исторіи, которая выражается преемственностью передачи духовнаго наслѣдства. У г. Якушкина попадаются два-три любопытныя въ этомъ отношеніи замѣчанія, тѣмъ болѣе любопытныя, что г. Якушкинъ вообще крайне осмотрителенъ въ своихъ сужденіяхъ. Напримѣръ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ существуетъ такой видъ наказанія по обычному праву: виновныхъ запрягаютъ въ телѣгу или сани и ѣздятъ на нихъ, подгоняя кнутомъ. Наказанію этому почти исключительно подвергаются женщины. Иногда это просто дѣло семейнаго самосуда. Вотъ одинъ такой случай, новѣйшій (1874 года). Дѣло было въ Екатеринославской губерніи. Жена бѣжала отъ побоевъ мужа. Въ наказаніе онъ при помощи другого крестьянина перепоясалъ ее веревкой, привязалъ къ оглоблѣ, вмѣсто пристяжной, и шибко погналъ лошадей, осыпая жену ударами нагайки съ узломъ на концѣ. Отъѣхавъ верстъ пять, онъ остановился ночевать, а утромъ поѣхалъ дальше, привязавъ опять жену на мѣсто пристяжной. На дорогѣ онъ остановился у шинка, чтобы выпить съ товарищемъ. Шинкарь отвязалъ жену и предложилъ ей поѣсть, но она отъ усталости и боли упала въ сани. Выйдя изъ шинка, мужъ повезъ было ее въ саняхъ, но черезъ нѣсколько времени опять привязалъ ее къ оглоблѣ и такъ въѣхалъ въ свое село. Иногда это варварское наказаніе опредѣляется сходомъ; мужъ является въ такомъ случаѣ только исполнителемъ общественнаго приговора. Лѣтъ шесть тому назадъ въ слободѣ Новая-Калита Острогожскаго уѣзда одинъ крестьянинъ принесъ жалобу, что жена его ведетъ неприличную жизнь вслѣдствіе дурного вліянія тещи. По рѣшенію деревенскаго схода мать и дочь были выведены на

слободскую площадь, гдѣ имъ приказано было очищать ее отъ отъ навоза. Послѣ этого онѣ были запряжены въ телѣгу, наполненную навозомъ, на которую влѣзъ принесшій жалобу мужъ, и сталъ на нихъ прикрикивать, чтобы онѣ бѣжали шибче. Къ нему присоединилось потомъ еще два-три человѣка. Женщины, запряженныя въ телѣгу, бѣжали, хоть и не скоро. Онѣ вывезли навозъ за слободу и потомъ подвезли телѣгу съ сидящими на ней крестьянами къ крыльцу волостного правленія. Во многихъ мѣстахъ это звѣрство сократилось до простого символа. Такъ въ Олонецкой губерніи, если новобрачная оказывается не дѣвственницею, вколачиваютъ надъ дверью гвоздь, вѣшаютъ на него хомутъ и проводятъ подъ нимъ молодую и ея мать. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ хомутъ надѣвается въ такихъ случаяхъ на мать новобрачной. Малороссы надѣваютъ хомутъ, сдѣланный изъ соломы, на отца, не досмотрѣвшаго за своей дочерью. Приведя эти факты, г. Якушкинъ замѣчаетъ: «Единственное историческое извѣстіе о запряганіи женщинъ въ телѣгу мы находимъ въ лѣтописи: «аще поѣхати будяще Обрину, не дадяше впрячи коня, ни вола, но веляше впрячи 3 ли, 4 ли, 5 ли женъ и повезти Обрина; тако мучиху Дулѣбы» (П. С. Л., т. I, 5). Извѣстіе это не имѣетъ, можетъ быть, прямого отношенія къ существующему у насъ обычаю; но оно во всякомъ случаѣ не лишено нѣкотораго значенія, такъ какъ у насъ запряганіемъ въ телѣгу наказываются почти исключительно однѣ только женщины» («Обычное право», XLI, въ примѣчаніи).

Итакъ солидный и осмотрительный изслѣдователь полагаетъ, что въ народѣ нашемъ сохранилась, такъ сказать, отрыжка нравовъ тѣхъ древнихъ мучителей Дулѣбовъ, которые исчезли такъ безслѣдно, что даже въ поговорку обратились слова: погибоша, аки Обры. Звѣрскіе завоеватели стерты съ лица земли, но ихъ господство не прошло даромъ, и, можетъ быть, прямые потомки тѣхъ самыхъ Дулѣбовъ, которыхъ обры «тако мучиху», ѣздятъ теперь на своихъ женахъ и матеряхъ или надѣваютъ на нихъ хомуты. Le mort saisit le vif, какъ гласитъ французская юридическая поговорка. Изъ нѣдръ исторіи мучители обры продолжаютъ еще мучить своихъ мучениковъ, передавъ имъ свой мучительскій складъ. Конечно, это—только предположеніе, но вѣдь не въ немъ и дѣло. Вѣрно то, что приведенный обычай составляетъ очень древнюю историческую бытовую особенность русской жизни и притомъ довольно распространенную еще очень недавно. Многіе видали, безъ сомнѣнія, лубочныя картинки съ изображеніемъ запряженныхъ въ телѣгу женщинъ; многіе слыхали очень извѣстную залихватскую пѣсню о томъ, какъ

Сынъ на матери капусту возилъ,
Молоду жену въ пристяжку водилъ.

Мнѣ не хочется вдаваться въ область семейныхъ отношеній, потому что объ этомъ у насъ скоро пойдетъ болѣе подробная рѣчь. Но я приведу еще одинъ случай «переживанія» обычая, очевидно вытекающаго изъ глубокой древности. Очень еще недавно въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ охотникъ-рекрутъ, жившій въ семьѣ нанявшаго его крестьянина, получалъ право на всѣхъ молодыхъ женщинъ дома. Это вѣдь чуть не тѣмъ періодомъ развитія пахнетъ, когда людоѣды предоставляютъ жену или женъ плѣннику, обреченному на съѣденіе.

Желательно было бы знать, признаетъ ли г. П. Ч. эти несомнѣнныя бытовыя особенности русской жизни достойными стать источникомъ нашихъ литературныхъ направленій. А снохачество? («Обычное право», стр. 35, 174, 187), а зарываніе живыхъ людей въ землю для прекращенія повальныхъ болѣзней? (XXXV, 180), а безобразныя наказанія за воровство, «по своей обстановкѣ напоминающія торжественный приводъ плѣнника, захваченнаго враждебнымъ ему племенемъ или родомъ»? «Можетъ быть, таково и было ихъ историческое начало», замѣчаетъ г. Якушкинъ (XXXVIII). Можемъ ли мы, образованное русское общество, избавиться отъ своего нищенства, прилѣпившись къ той древней, непрерывной, но мрачной исторіи, которая породила этотъ рядъ съ какой угодно точки зрѣнія отвратительныхъ явленій? Ясно, что вопросъ, занимающій г. П. Ч., гораздо глубже и страшнѣе, чѣмъ ему кажется. Только сахарные Маниловы, да еще трусы и лѣнтяи, отлынивающіе отъ своихъ нравственныхъ обязанностей, могутъ ждать, что «люди деревни», вытерпѣвшіе гнетъ не однихъ Обровъ, такъ вотъ и скажутъ «надлежащее слово», даже предполагая, что они имѣютъ уже фактическую возможность его сказать. Фраза г. П. Ч. есть только фраза (ее давно уже г. Достоевскій сказалъ: «Власы спасутъ себя и насъ»). Вѣдь не ждетъ же онъ самъ слова людей деревни, а говоритъ свои собственныя слова, сложившіяся отчасти подъ вліяніемъ наблюденій надъ бытомъ народа, отчасти подъ вліяніемъ «заграничныхъ формулъ». Какъ ужъ сказано, я имѣю честь раздѣлять многія воззрѣнія г. П. Ч. и въ частности совершенно согласенъ, что литература наша и все общество только тогда избавятся отъ дальнѣйшаго обнищанія—если послѣдній предѣлъ его еще не достигнутъ—когда примутъ во

вниманіе нужды и воззрѣнія народа. Это—единственный для насъ способъ начать новый періодъ русской исторіи. Но не такъ оно просто, какъ думаетъ г. П. Ч.

Если въ этомъ дѣлѣ неумѣстна слащавая маниловщина, то столь же неумѣстно было бы что-нибудь вродѣ окрика Собакевича: одинъ почтмейстеръ—порядочный человѣкъ, да и тотъ свинья. Рядомъ съ варварскими чертами русскаго обычнаго права можно поставить множество высокихъ и по истинѣ умилительныхъ чертъ народнаго характера. Но даже въ такихъ дѣйствіяхъ, которыя съ нашей точки зрѣнія составляютъ завѣдомое преступленіе, обычное право представляетъ часто какую-то совершенно своеобразную смѣсь наивности, насилія и высокой частности. Что вы скажете, напримѣръ, о такомъ способѣ займа хлѣба натурой, который практикуется въ землѣ Войска Донского: въ неурожайные годы нуждающіеся отправляются въ степь и тамъ воруютъ у зажиточныхъ необмолоченный хлѣбъ. Но это—не воровство, а заемъ, потому что при первомъ же хорошемъ урожаѣ хлѣбъ возвращается и складывается на томъ же самомъ мѣстѣ и притомъ всегда двумя или тремя копнами больше, чѣмъ было взято. Иногда оставляется записка, что хлѣбъ, дескать, былъ взятъ изъ крайней нужды и при первомъ урожаѣ будетъ возвращенъ съ прибавкой. Похищеніе лѣса, какъ извѣстно, не считается крестьянами преступленіемъ. Г. Якушкинъ замѣчаетъ, впрочемъ, что не одними крестьянами, и разсказываетъ два близко ему извѣстные случая, изъ которыхъ особенно любопытенъ слѣдующій. Одинъ помѣщикъ самъ нарядилъ подводы, самъ поѣхалъ съ ними ночью въ казенный лѣсъ и тамъ лично распоряжался работами. Утромъ онъ осмотрѣлъ деревья, привезенныя въ усадьбу, и, если попадалось кривое дерево, негодное на постройку, то виноватаго крестьянина онъ тутъ же сѣкъ. Это было незадолго до освобожденія крестьянъ. Какъ бы то ни было, но крестьянъ не грызетъ совѣсть, когда они воруютъ лѣсъ. Этого мало. Въ Пензенской губерніи существуетъ обычай «заворовыванія». Крестьяне вѣрятъ, что укравшій благополучно въ ночь передъ Благовѣщеньемъ, можетъ цѣлый годъ воровать безопасно. Поэтому, не говоря о ворахъ по ремеслу, крестьяне въ эту ночь стараются обезпечить себя на цѣлый годъ отъ штрафовъ за самовольныя порубки: они воруютъ что нибудь у сосѣда, но на слѣдующее же утро возвращаютъ украденное.

Разумѣется, не эти наивныя бытовыя особенности русской жизни прельщаютъ г. П. Ч. «Подразумѣвая» подъ деревней «единицу, олицетворяющую собою принципъ солидарности, нравственной связи въ противоположность принципу крайняго индивидуализма и нравственной разобщенности, выразителемъ которой былъ и есть европейскій городъ», онъ, безъ сомнѣнія, имѣетъ въ виду многоразличныя черты общиннаго элемента Руси. Эти особенности русскаго обычнаго права въ общихъ чертахъ достаточно извѣстны и вмѣстѣ съ тѣмъ слишкомъ важны, чтобы распространяться о нихъ здѣсь, когда мнѣ остается такъ мало мѣста (Въ книгѣ г. Якушкина собраны указанія и по этой части). Значеніе ихъ не я, конечно, буду умалять. Я имѣю честь раздѣлять взглядъ г. П. Ч., что мнѣніе, «будто Россія только отстала отъ Запада, отличается отъ него единственно *степенью* развитія»—ошибочно, и что «центръ тяжести вопроса не въ степени, а въ *типѣ*, въ характерѣ развитія». Но я не рѣшился бы прибавить, какъ это дѣлаетъ г. П. Ч., что «онъ (типъ) всегда былъ и *впредь будетъ иной*». Полагаю, что это слишкомъ сильно сказано. Когда-то и въ Европѣ господствовалъ общинный элементъ, а въ будущемъ есть большая вѣроятность, что типы европейскаго и русскаго развитія съ теченіемъ времени сольются. Это можетъ произойти двумя путями. Или Европа круто повернетъ въ своемъ развитіи и осуществитъ у себя идею «единицы, олицетворяющей собою принципъ солидарности и нравственной связи», чѣмъ въ Европѣ многіе озабочены. Или мы побѣжимъ по торной европейской дорожкѣ, о чемъ у насъ также многіе хлопочутъ. Я думаю даже, что весь интересъ современной жизни для мыслящаго русскаго человѣка сосредоточивается на этихъ двухъ возможностяхъ. Что же касается до розоваго убѣжденія г. П. Ч. на счетъ того, какъ будетъ впередъ, то мнѣ и тутъ остается только завидовать ему. Дѣйствительность не оправдываетъ однако его оптимизма. Въ статическомъ отношеніи дѣйствительность обнаруживаетъ прежде всего крайнее разнообразіе бытовыхъ особенностей русской жизни, а слѣдовательно, и тѣхъ «словъ», которыя люди деревни могутъ въ данную минуту сказать по разнымъ сторонамъ жизни. Слѣдовательно, человѣку, вполнѣ искренно желающему прислушаться къ голосу деревни и обновить себя имъ, надо выбирать. Вы скажете, что это слишкомъ смѣло, что не намъ, нищимъ знаніемъ и совѣстью, налагать руку на вѣковую исторію народа и сортировать ея содержаніе. Можетъ быть, оно и смѣло. Но жизнь часто такъ слагается, что очень смѣлыя дѣйствія оказываются фатально неизбѣжными. Какъ бы мы ни были дрянны и пусты и какъ бы

мы ни относились къ бытовымъ особенностямъ русской жизни, но любой изъ насъ, встрѣтивъ въ дѣйствительности сцену, изображенную въ пѣснѣ, неизбѣжно долженъ будетъ сказать, что капусту на матери возить и жену въ пристяжку водить — свинство. При этомъ совершенно безразлично, какими путями вы дошли до такого убѣжденія,—«трепаніемъ ли заграничныхъ формулъ», чтеніемъ ли чувствительныхъ романовъ или какъ иначе. Важенъ тотъ фактъ, что вы встрѣтились съ несомнѣннымъ свинствомъ, которое иначе квалифицировать не можете. А если вы хоть разъ, хоть на одномъ какомъ-нибудь пунктѣ, дали себѣ право разбора и сортировки народной правды, такъ ужъ останавливаться нѣтъ резона, и вы должны выработать себѣ какіе-нибудь общіе принципы, съ точки зрѣнія которыхъ сортировка возможна. Къ такому же результату приводятъ соображенія о динамической сторонѣ дѣйствительности. Еслибы въ прошломъ народъ нашъ не зналъ ни обровъ, ни другихъ мучителей и въ особенности, еслибы будущее его было столь твердо опредѣлено, какъ это кажется г. П. Ч., тогда, конечно, намъ нечего было бы и соваться въ народную жизнь съ своими идеалами и нравственными требованіями. Но вѣдь этого нѣтъ. Оставляя даже въ сторонѣ прошедшее, мы видимъ, что чуть не съ каждымъ годомъ типъ народной жизни грозитъ измѣненіемъ и приближеніемъ къ европейскому типу. Цѣлые вѣка пронеслись надъ нашимъ народомъ, почти не затронувъ его духовной жизни, но наше время—совсѣмъ не то, что тѣ вѣка замкнутости и черепашьяго хода. Однѣхъ желѣзныхъ дорогъ, обращающихъ почти въ ничто разстоянія между центрами и окраинами, достаточно, чтобы до очень высокой степени ускорить пульсъ народной жизни и заставить ее въ нѣсколько лѣтъ измѣниться сильнѣе, чѣмъ когда то въ нѣсколько вѣковъ. А такъ какъ измѣненія при этомъ могутъ происходить самыя разнообразныя, то намъ предстоитъ опять-таки необходимость выбирать. Вы скажете опять, что это слишкомъ смѣло, а я опять скажу, что это неизбѣжно. Если вы живой человѣкъ—а вѣдь не кукла же вы—такъ у васъ непремѣнно есть свой Ормуздъ и свой Ариманъ, свои понятія о добрѣ и злѣ. Они, какъ жена—не сапогъ, съ ноги не сбросишь.

Итакъ, рецептъ г. П. Ч., не смотря на всю свою близость къ истинѣ, невозможенъ. Оживить нашу литературу, прекратить наше нищенство ожиданіемъ надлежащаго слова, которое скажутъ люди деревни,—нельзя. Для этого пропасть между нами и народомъ слишкомъ глубока. А между тѣмъ г. П. Ч. былъ въ самомъ дѣлѣ близокъ отъ истины. Вернемся на минуту назадъ, къ г. Любавскому.

Говоря, что наше отечество ipse sibi jus constituit, г. Любавскій разумѣетъ только гражданское право. Но такъ какъ въ томъ же третьемъ томѣ его монографій есть статейка: «Сущность и цѣль наказанія», гдѣ комментируются нѣкоторыя статьи уложенія о наказаніяхъ, то не лишнимъ будетъ упомянуть здѣсь о нѣкоторыхъ воззрѣніяхъ народа на уголовное правосудіе.

Извѣстно то теплое, гуманное отношеніе народа къ наказаннымъ преступникамъ, которое такъ полно выражается названіемъ «несчастнаго». «Въ Тобольской губерніи, говоритъ г. Якушкинъ,—какъ мнѣ случалось видѣть самому, нерѣдко цѣлая толпа крестьянокъ выходитъ за околицу и раздаетъ бѣлый хлѣбъ и пироги проходящему мимо этапу. Въ городѣ Верей, Московской губерніи, есть въ высшей степени замѣчательный обычай: въ свѣтлое воскресенье послѣ заутрени весь народъ вмѣстѣ съ духовенствомъ идетъ прямо изъ церкви въ острогъ и, христосуясь съ арестантами, раздаетъ имъ подаяніе». Это—только частныя выраженія существующаго, кажется, по всей Россіи воззрѣнія на наказанныхъ преступниковъ. Эта черта станетъ въ особенности поразительною, если поставить ее рядомъ со строгостью большей части обычныхъ наказаній, строгостью, доходящей даже до смертной казни, по приговору сельскаго схода (такой случай былъ въ 1872 г. въ Самарской губерніи: казненъ былъ воръ и поджигатель). Народъ, крайне, часто до звѣрской жестокости строгій къ преступнику, подлежащему (законно или незаконно) его народному суду, проникается вдругъ поразительною мягкостью, когда преступникъ попадаетъ въ острогъ или ссылается въ Сибирь, т. е. когда онъ осужденъ не народомъ, а властями. Такой же конокрадъ или поджигатель, какой жестоко истязуется самими крестьянами, становится вдругъ въ ихъ глазахъ «несчастнымъ», какъ только его касается рука ненароднаго, чуждаго народу правосудія. Народъ даже не спрашиваетъ, въ чемъ состоитъ его преступленіе; онъ въ острогѣ, въ ссылкѣ — и этого довольно, чтобы смыть съ него пятно преступленія: пятна нѣтъ. Само собою разумѣется, что такое отношеніе къ острогу, тюрьмѣ, ссылкѣ должно имѣть свои глубокія историческія причины. «На образованіе его, говоритъ г. Якушкинъ, вѣроятно, имѣли большое вліяніе недостатки прежняго суда и тягость крѣпостного права, въ силу котораго остроги наполнялись людьми, ссылаемыми въ Сибирь по волѣ помѣщиковъ». Г. Якушкинъ справедливо прибавляетъ, что

какъ бы ни былъ мутенъ источникъ такого теплаго отношенія къ преступнику, вліяніе его благодѣтельно и имѣетъ важное практическое значеніе; оно остается явленіемъ высокимъ. Но происхожденіе его во всякомъ случаѣ показываетъ, что наше право отнюдь не выросло изъ дѣйствительной жизни *русскаго народа*, какъ неосновательно пишетъ и подчеркиваетъ г. Любавскій; что передъ нами здѣсь развертываются два рѣзко различные правовые міра, изъ которыхъ ни одинъ не хочетъ знать другого. Конечно, реформы нынѣшняго царствованія должны сгладить эти рѣзкости. Но фактъ остается фактомъ. Очевидно здѣсь мы имѣемъ уже не простое разногласіе между законодательствомъ и обычнымъ правомъ. Разногласія, пожалуй, если хотите, вовсе даже нѣтъ: пока конокрадъ, поджигатель, убійца не подвергся карѣ закона, онъ—не несчастный въ глазахъ народа, а преступникъ, какъ и въ глазахъ закона, и даже ненавистный врагъ, котораго мужикъ готовъ своеручно и совершенно безжалостно убить. Дѣло мѣняютъ только тѣ формы слѣдствія, суда и наказанія, въ которыхъ и законодательство, и мы, образованные русскіе люди, видимъ гарантіи общественной безопасности и выраженіе справедливости. Этотъ парадоксальный результатъ станетъ совершенно понятнымъ, если мы вспомнимъ, что до новѣйшаго времени законодательство не принимало въ соображеніе интересовъ народа, которые постоянно жертвовались другимъ цѣлямъ и нуждамъ—государственнымъ, военнымъ, сословнымъ. Не будемъ разсуждать о томъ, на сколько такое направленіе нашего законодательства оправдывалось историческою необходимостью. Вѣрно то, что съ освобожденіемъ крестьянъ долженъ былъ бы открыться совершенно новый періодъ нашей политической жизни...

Но законодательныя сферы не про насъ, профановъ, писаны, и я покидаю ихъ тѣмъ охотнѣе, что и заговорилъ о нихъ не ради ихъ самихъ. Не только наше старое законодательство не хотѣло или не могло принимать въ соображеніе интересовъ народа: ихъ и теперь не принимаютъ въ соображеніе ни общество, ни литература. Какъ только крѣпостное право пало, литература логически должна была бы сдѣлать интересы народа мѣриломъ всѣхъ подлежащихъ ея сужденію вопросовъ. Оно такъ сначала и было, но очень недолго. Литература подъ вліяніемъ разныхъ очень сложныхъ обстоятельствъ весьма быстро усвоила себѣ другой тонъ и направленіе. Она ухватилась за разныя отвлеченныя формулы, выработанныя европейской политической жизнью. По-видимому, тутъ-то и должно было начаться ея процвѣтаніе, потому что въ нее какъ бы взошла европейская исторія въ ея результатахъ. На дѣлѣ вѣдь однако этого нѣтъ, да и не можетъ быть. Въ «Отечественныхъ Запискахъ» было много разъ доказываемо, что, напримѣръ, европейскій либерализмъ не имѣетъ у насъ подъ собой никакой почвы вслѣдствіе чего у насъ возможны либералы-крѣпостники, вродѣ гр. Орлова-Давыдова, и либералы-протекціонисты, вродѣ г. Полетики; что европейскій консерватизмъ есть у насъ совершенная безсмыслица, потому что нашимъ консерваторамъ нечего консервировать; что еще большую безсмыслицу представляетъ русскій клерикализмъ и т. д. Но этого мало. Цѣльное и искреннее отношеніе къ европейскимъ формуламъ невозможно для насъ не только по причинамъ, въ насъ лежащимъ, а и потому еще, что сами они даже у себя на родинѣ подвергаются разложенію и скептицизму. Позволяю себѣ привести нѣсколько словъ изъ моихъ «Литературныхъ замѣтокъ» 1873 года. Все равно: мнѣ пришлось бы то же слово и такъ же молвить, придумывать же новыя выраженія для тѣхъ же мыслей скучно и ненужно: «Колесо національнаго богатства только-что начинаетъ вертѣться въ Россіи и притомъ при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Во-первыхъ, огромная часть производительныхъ силъ страны находится еще въ рукахъ народа, т.-е. трудящихся классовъ. Значитъ, для созданія національнаго богатства по программѣ отечественной журналистики, надо отодрать громаду народа отъ земли и орудій производства. Во-вторыхъ, отодраніе это надо производить сознательно, потому что прислушиваемся же мы къ тому, что дѣлается и дѣлалось въ Европѣ; знаемъ же мы, что національное богатство есть нищета народа, что Миллю приходится задумываться, на сколько состоятельны тѣ самыя начала, которыя мы у себя вводимъ. Въ-третьихъ, отодраніе должно быть произведено въ пользу лицъ и интересовъ, еще не существующихъ, а только имѣющихъ образоваться самымъ процессомъ отдиранія. Сознательное, но безцѣльное преступленіе—вотъ что приходится дѣлать современной журналистикѣ при теперешнемъ ея направленіи. Что можетъ быть ужаснѣе такой задачи, такого положенія? И мудрено ли, что эти люди ходятъ и пишутъ, какъ тѣни, что грозный приговоръ потомства, подсказываемый имъ по временамъ совѣстью, связываетъ имъ языкъ и руки, отгоняетъ образы отъ воображенія, мысли отъ разума. Мудрено ли, что имъ нужно опьяненіе хорошими словами и общими мѣстами съ одной стороны, мелочами будничной жизни—съ другой. Я думаю, что самому

закоренѣлому злодѣю нужно напиться пьянымъ, чтобы сознательно совершить безцѣльное убійство. Кто знаетъ, можетъ быть, и въ «Гражданинѣ», и въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» есть большіе таланты, но, придавленные своимъ ужаснымъ, почти невѣроятнымъ положеніемъ, они не могутъ развернуться. Прильпе языкъ къ гортани ихъ. И таково положеніе вещей, что этому надо почти радоваться, за людей, за человѣческую природу радоваться. Еслибы при такомъ дѣлѣ языкъ не прилипъ къ ихъ гортани, это были бы какія-то чудовища, которымъ нѣтъ имени въ зоологіи. И потому я еще разъ говорю: явись въ современную литературу десятки крупныхъ талантовъ, первоклассныхъ мастеровъ техники и ученѣйшихъ людей, они ни на волосъ не измѣнятъ физіономіи литературы — если принесутъ съ собой только таланты, технику и знанія»...

Они должны принести съ собою новую, законную, логически вытекающую изъ строя русской жизни точку зрѣнія; они должны взять интересы народа мѣриломъ всѣхъ общихъ вопросовъ, подлежащихъ ихъ обсужденію. Только тогда прекратится наше духовное нищенство и настанетъ возможность пріобрѣсти какое-нибудь дѣйствительно цѣнное имущество, которымъ могли бы помянуть насъ наши дѣти и внуки. Возьмите любой вопросъ изъ занимающихъ литературу. Вотъ напримѣръ, журналъ «Дѣло» очень безпокоится о какомъ-то «хозяйствѣ на умъ» и вздыхаетъ по интеллектуальному величію древней Греціи. Можетъ ли почтенный журналъ говорить на эту тему свободно, смѣло, искренно, горячо, не оглядываясь по сторонамъ, когда съ рабствомъ, составлявшимъ основу интеллектуальнаго величія древней Греціи—покончено? Конечно, нѣтъ. Почтенный журналъ вынужденъ вяло, безцвѣтно тянуть свою канитель, потому что у него нѣтъ и быть не можетъ ни подлинной вѣры въ то, во что онъ вѣритъ, ни надежды на то, на что онъ надѣется, ни любви къ тому, что онъ любитъ. Будь въ такомъ положеніи человѣкъ семи пядей во лбу, онъ будетъ вялъ, скученъ, блѣденъ, безсиленъ. Возьмите какой-нибудь практическій вопросъ, напримѣръ, вопросъ о провинціальной печати, поднятый г. Мордовцевымъ. Прочтите статью г. Мордовцева и тѣ два или три возраженія, которыя были представлены на нее въ газетѣ «Недѣля». Съ той и другой стороны высказаны ряды аргументовъ и фактовъ и въ пользу, и въ порицаніе какъ принципа централизаціи, такъ и принципа децентрализаціи, самоуправленія. Сообразно этому г. Мордовцевъ умаляетъ, а «Недѣля» возвеличиваетъ роль мѣстной провинціальной печати. Между тѣмъ, споръ этотъ не приводитъ рѣшительно ни къ какому осязательному результату, хоть бы его и не было, и, не смотря на глубокій интересъ сюжета, прошелъ совершенно незамѣченнымъ. И это вовсе не зависитъ отъ малой талантливости и малаго количества знаній спорящихъ сторонъ. Совсѣмъ нѣтъ. Въ спорѣ обнаружились въ совершенно достаточной степени и таланты, и знанія. Но будь они даже несравненно выше, результатъ вышелъ бы тотъ же. Потому что кто у насъ искренно вѣритъ въ принципъ централизаціи и возлагаетъ на него надежды? Никто, ни даже самъ г. Мордовцевъ, который даже не знаетъ, какъ назвать систему фактовъ и мнѣній, на которую опирается. Поглощеніе центрами окраинъ онъ называетъ то теоріей, то «даже и не теоріей, а живымъ фактомъ», то соціологическимъ закономъ, то вродѣ какъ закономъ, то временнымъ уродствомъ, то печальнымъ, то радостнымъ явленіемъ. А кто вѣритъ въ безусловные принципы децентрализаціи и самоуправленія? Опять-таки—никто, ни даже «Недѣля», потому что вѣдь и многіе щедринскіе помпадуры о децентрализаціи хлопочутъ, и феодализмъ представлялъ систему мѣстнаго самоуправленія, и покойный германскій союзъ, со своими десятками Фридриховъ XX рейсъ-шлецскихъ и Рудольфовъ XXX саксенъ-гохкиркенскихъ, былъ федераціей, и остзейскіе бароны на децентрализаціи настаиваютъ. Ясно, что пока принципы централизаціи и децентрализаціи не будутъ сведены къ нѣкоторому третьему принципу, отъ нихъ не зависящему, но могущему дать имъ живой смыслъ и содержаніе, до тѣхъ поръ можно совершенно безслѣдно писать съ точки зрѣнія того и другого даже многотомныя сочиненія о провинціальной печати. Цѣлая подобная библіотека ни на одну іоту не оживитъ литературы. Но откуда же взять этотъ третій принципъ, этого верховнаго судью политическихъ формулъ, удовлетворявшихъ когда-то Европу, а можетъ быть, и теперь кое-кого тамъ удовлетворяющихъ, но на которыхъ наше нравственное чувство никоимъ образомъ успокоиться не можетъ? Я отвѣчаю: принципъ этотъ есть интересы народа. Допустите этотъ принципъ, напримѣръ, въ вопросъ о централизаціи и самоуправленіи и въ частности о столичной и мѣстной печати. Прежде всего окажется, что принципы централизаціи и самоуправленія сами по себѣ, *какъ таковые* (выражаясь нѣмецкимъ философскимъ жаргономъ) суть яйцо, выѣденное исторіей. Почему, напримѣръ, иной сторонникъ децентрализаціи и мѣстнаго самоуправленія вторгается въ остзейскіе порядки и обзываетъ ихъ дурными словами? По-

тому что тамъ эсты и латыши, т. е. народъ, изнываютъ подъ тяжестью средневѣковыхъ привилегій бароновъ. Такъ и откиньте совсѣмъ или, по крайней мѣрѣ, отставьте на второй планъ принципъ самоуправленія, только затемняющій дѣло и ужъ, конечно, ничего не освѣщающій. Признайте разъ навсегда, что въ обоихъ противоположныхъ принципахъ централизаціи и самоуправленія нѣтъ ничего абсолютно цѣннаго, что въ каждомъ частномъ случаѣ, на различныхъ ступеняхъ исторіи и тотъ, и другой получаетъ особенное значеніе и подлежитъ особому изслѣдованію съ точки зрѣнія интересовъ народа.

Но, замѣтьте, *интересовъ* народа, а не голоса деревни. Это—совсѣмъ не одно и то же. Хороши бы мы были, еслибы, проживъ цѣлые вѣка на счетъ деревни и изуродовавъ ее крѣпостнымъ правомъ, сложили теперь руки и сказали бы: шабашъ! мы пусты, какъ шелуха орѣха, мы ни во что не вѣримъ; нѣтъ у насъ своего ничего завѣтнаго; выходи, мужикъ, выходи и поучай насъ! Корми насъ, въ придачу къ хлѣбу, еще и духовной пищей! Это было бы верхъ барства, возмутительнѣйшій его видъ. Неспорно, что у мужика есть чему поучиться, но есть и намъ что ему передать. И только изъ взаимодѣйствія его и нашего и можетъ возникнуть вожделѣнный новый періодъ русской исторіи. Голосъ деревни слишкомъ часто противорѣчитъ ея собственнымъ интересамъ, и задача состоитъ въ томъ, чтобы, искренно и честно признавъ интересы народа своею цѣлью, сохранить въ деревнѣ, какъ она есть, только то, что дѣйствительно этимъ интересамъ соотвѣтствуетъ. Дѣло идетъ объ обмѣнѣ между нами и народомъ, обмѣнѣ честномъ, безъ шулерства и заднихъ мыслей, въ результатѣ котораго получается равенство обмѣненныхъ цѣнностей. О, еслибы я могъ утонуть, расплыться въ этой сѣрой, грубой массѣ народа, утонуть безповоротно, но сохранивъ тотъ свѣточъ истины и идеала, какой мнѣ удалось добыть на счетъ того же народа! О, еслибы и вы всѣ, читатели, пришли къ такому же рѣшенію, особенно у кого свѣточъ горитъ ярче моего и вообще свѣтло и безъ копоти... Какая бы это вышла иллюминація и какой великій историческій праздникъ она отмѣтила бы собою! Нѣтъ равнаго ему въ исторіи...

Принципъ интересовъ народа, не будучи никогда выставленъ съ достаточною силою и на достаточномъ районѣ, не былъ никогда и разбитъ исторіей, а слѣдовательно, мы, по малой мѣрѣ, не знаемъ, можно ли имъ жить. Надо пробовать. Если онъ не выдержитъ пробы, остаются Нирвана и Гартманъ—я не знаю другого выхода. Но прежде, чѣмъ броситься въ эту мертвечину, надо пробовать жить. Но надо помнить, что это—именно проба жизни и что нужно, слѣдовательно, живое отношеніе къ дѣлу, а не заученное проскакиваніе вольтижеровъ сквозь обручи, заклеенные бумагой, не кувырканіе въ мертвыхъ формулахъ. Недавно я слышалъ вотъ какое *радикальное* разсужденіе по поводу дѣла о завѣщаніи Пантелѣевымъ 900,000 на выкупъ крестьянъ Порховского уѣзда. Нѣкто бранилъ газеты, поднявшія по поводу этого дѣла шумъ, т. е. не одобрялъ одно изъ немногихъ проявленій нашими газетами истиннаго нравственнаго чутья. Это—все жалкія слова, говорилъ онъ. Адвокатъ имѣетъ полное право браться за всякое дѣло, если законъ оставляетъ ему нужныя для того лазейки: можно оттягать наслѣдство, оттягивай—только такимъ образомъ, вызвавъ, наконецъ, реакцію, законъ и можетъ быть пополненъ и исправленъ. Крестьяне тутъ тоже не причемъ. Не все ли, во-первыхъ, равно: крестьяне или кто другой окажется обойденнымъ наслѣдниками и адвокатами, а во-вторыхъ, еслибы дѣло шло о какой-нибудь общей радикальной мѣрѣ въ пользу крестьянъ, тогда такъ, а то чего же тутъ волноваться? нѣсколько десятковъ человѣкъ крестьянъ покончатъ съ выкупными платежами — только вѣдь и всего. — И всѣ эти разсужденія, читатель, суть не что иное, какъ мертвечина и крючкотворство. Я ихъ и привожу только, какъ образчикъ мертворожденнаго радикализма. Прежде всего всякая способность а слѣдовательно, и способность различать добро и зло, отъ неупотребленія притупляется. Страна, въ которой адвокаты открыто берутся за всякія дѣла, если законъ предоставляетъ нужныя для того лазейки, не замедлитъ развратиться въ конецъ, насквозь, во всѣхъ слояхъ общества. Это ужъ будетъ дѣло на столько готовое къ тому времени, когда законъ пополнится и исправится, что никакой законъ тутъ ничего не подѣлаетъ. И вотъ почему наши «прелюбодѣи мысли» вредны и подлежатъ преслѣдованію. Не велика бы еще бѣда, еслибы дѣло ограничивалось только гибелью ихъ собственныхъ прелюбодѣйскихъ душъ. Но они, «вверху стоящіе, что городъ на горѣ, дабы всѣмъ виденъ былъ», они, практикующіе неправду съ блескомъ и громомъ, влекутъ за собой все общество въ омутъ позора. Во-вторыхъ, общія мѣры въ пользу крестьянства никоимъ образомъ нельзя ставить рядомъ съ завѣщаніемъ Пантелѣева, нельзя ими мѣрять другъ друга, потому что—эти явленія несоизмѣримы. Будемте говорить объ общихъ и частныхъ, радикальныхъ и палліативныхъ мѣрахъ, напримѣръ, по устройству сельскаго

кредита. При этомъ позволительно сравнивать системы, дающія возможность кулакамъ усилить свое кулачество, съ системами, предоставляющими кредитъ массѣ сельскаго населенія. Но Пантелѣевское завѣщаніе есть дѣло совсѣмъ другого порядка, въ немъ важны тѣ мысли и чувства, которыя сопровождали этотъ актъ. Пантелѣевъ смотрѣлъ, конечно, какъ на нравственный долгъ, на эти 900,000. И это нравственное чувство подлежитъ укрѣпленію, питанію и гарантіи, что долгъ будетъ полученъ кредиторомъ. Гарантіи эти должно представить общество и его представительница—литература. Литература можетъ требовать мѣръ общихъ и радикальныхъ, доказывать недостаточность и даже вредъ мѣръ частныхъ и палліативныхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ она обязана лелѣять, какъ нѣчто драгоцѣнное, каждое проявленіе нравственнаго чувства и любовно оберегать его отъ наскоковъ цивилизованныхъ и нецивилизованныхъ баши-бузуковъ. Въ концѣ-концовъ, только живое нравственное чувство можетъ представить нѣчто подобное той точкѣ въ пространствѣ, которой требовалъ Архимедъ для того, чтобы перевернуть земной шаръ. И вотъ почему я не могу согласиться съ моимъ радикальнымъ собесѣдникомъ насчетъ поведенія нашихъ газетныхъ фельетонистовъ въ дѣлѣ завѣщанія Пантелѣева. Кто знаетъ, можетъ быть, тутъ судьба намъ новое счастье на новый годъ посылаетъ?

XIX *).

О Шиллерѣ и о многомъ другомъ.

Извѣстный знатокъ литературы и тонкій критикъ г. Полетика, который всегда

> Въ Шекспирѣ признавалъ талантъ
> За личность Дездемоны
> И строго осуждалъ Жоржъ-Зандъ
> За то, что носитъ панталоны,

предалъ меня однажды анаѳемѣ по поводу нѣкоторой моей ереси о талантѣ и «искрѣ божіей». Какъ ни ужасна перспектива вновь подвергнуться сокрушительной логикѣ и громоносному краснорѣчію почтеннаго застрапезнаго оратора, но, если Богъ не выдастъ, такъ, можетъ быть, и г. Полетика не погубитъ. Такъ ужъ впрочемъ намъ, профанамъ, на роду написано подвергаться анаѳемѣ спеціалистовъ и вообще знатоковъ. Имъ, конечно, и книги въ руки. Но съ другой стороны, что же и мнѣ-то дѣлать, когда мнѣ попались въ руки книги, вновь поднявшія во мнѣ ересь «искры божіей»? Что дѣлать?! Говорить, писать и опять выносить громы сокрушительной логики и краснорѣчія застрапезныхъ ораторовъ.

Недавно вышло *пятымъ* изданіемъ «Полное собраніе сочиненій Шиллера въ переводѣ русскихъ писателей» (изданіе г. Гербеля). Кстати, почти одновременно явилась по-русски книга Шерра «Шиллеръ и его время» (М. 1875). Пятаго изданія русскія книги, если не считать учебниковъ и сказокъ вродѣ «Гуака» или «Милорда англинскаго», вообще почти не доживаютъ. Поэтому пятое изданіе Шиллера уже само по себѣ составляетъ фактъ, чрезвычайно знаменательный. Пронялъ же, значитъ, насъ, россіянъ, этотъ великій нѣмецкій человѣкъ съ рыжими волосами и голубыми глазами, этотъ «современникъ всѣхъ эпохъ», какъ онъ самъ говорилъ о себѣ, отнюдь впрочемъ не думая пророчествовать. Принимая въ соображеніе, что французовъ, англичанъ, не говоря уже о нѣмцахъ, Шиллеръ пронялъ еще сильнѣе, чѣмъ насъ, было бы любопытно выслѣдить секретъ этого могущества и живучести. Конечно, если свести дѣло къ случайному щедрому дару природы, къ стихійной силѣ таланта, генія, такъ оно, пожалуй, даже вовсе не любопытно: по неизвѣстнымъ намъ причинамъ у зауряднаго виртембергскаго офицера родился въ 1759 году сынъ огромныхъ умственныхъ и поэтическихъ способностей—вотъ и все. Физіологи могутъ биться и ломать головы надъ этимъ фактомъ, но намъ, профанамъ, дѣлать съ нимъ нечего. Насъ занимаетъ другая сторона дѣла. Мы знаемъ въ исторіи литературы, въ исторіи политической немало людей съ огромными умственными силами, ничуть, можетъ быть, не меньшими, чѣмъ тѣ, какими обладалъ Шиллеръ; и однако растратившихъ эти силы либо почти совсѣмъ даромъ, либо оставившихъ по себѣ память позора и ненависти. Далѣе: «таланты отъ Бога», но нѣтъ ли чего-нибудь въ шиллеровской мощи и «отъ рукъ человѣческихъ»? Еслибы удалось съ достаточною точностію опредѣлить и выяснить эту *человѣческую* сторону обаянія великаго поэта, мы были бы въ большомъ выигрышѣ. Мы—не идолопоклонники, которые норовятъ разбить себѣ лобъ передъ величавымъ или грознымъ явленіемъ природы (каковъ самъ по себѣ талантъ, геній). Намъ въ особенности дорого то употребленіе, которое дѣлается изъ таланта; тѣ мотивы, которые заставляютъ человѣка обращать свои силы на такое или иное освѣщеніе тѣхъ или иныхъ фактовъ; тѣ цѣли, которыя преслѣдуетъ человѣкъ, вспомоществуемый щедрымъ даромъ природы. Выясненный съ этихъ сторонъ обладатель таланта пере-

*) 1876 г., апрѣль.

стаетъ быть чѣмъ-то недосягаемымъ, чуждымъ, доступнымъ только волнамъ ѳиміама и восторженнымъ гимнамъ. Онъ перестаетъ быть идоломъ и становится идеаломъ, образцомъ, маякомъ. Изъ нѣсколькихъ тысячъ одному удается оставить по себѣ яркій слѣдъ и служить свѣточемъ цѣлому ряду поколѣній, но это не мѣшаетъ и простымъ смертнымъ, изучая условія работы геніальнаго человѣка, заимствовать у него что возможно, т. е. то, что не связано непосредственно съ стихійной силой таланта. Взять себѣ примѣромъ, образцомъ шиллеровскій талантъ нельзя, если въ собственныхъ творческихъ силахъ недохватокъ, но то употребленіе, которое Шиллеръ дѣлалъ изъ своего таланта, содержитъ—можно съ увѣренностью сказать заранѣе—урокъ поучительный и доступный.

Мы уже давно знаемъ фантастическій образъ художника, вольно, изящно и почти безсознательно порхающаго въ надзвѣздной лазури, охлаждающаго наши земныя боли единственно ароматнымъ прикосновеніемъ своей легкой, изъ чудныхъ невѣсомыхъ матеріаловъ сотканной одежды. Мы давно его знаемъ, и онъ намъ очень надоѣлъ, потому что на повѣрку всегда какъ-то такъ выходило, что изъ подъ невѣсомой одежды выглядывалъ кончикъ уха гг. Болеслава Марковича, Фета или Авсѣенки. Этотъ образъ, когда-то (очень ужъ давно) привлекавшій къ себѣ столько нѣжныхъ сердецъ, улетучился, но нынѣ послѣ него осталось мокрое мѣсто. Повторяю это не совсѣмъ изящное выраженіе «мокрое мѣсто», потому что не могу иначе назвать критическія упражненія большинства нашихъ литературныхъ хроникеровъ. Говорится что-то слякотное о томъ, какъ вредно стѣсненіе для поэта, какъ всякія строго опредѣленныя нравственно-политическія тенденціи сковываютъ талантъ и проч. Не всѣ впрочемъ говорятъ это. Приведу одинъ примѣръ, касающійся «Отеч. Записокъ». Когда одновременно съ появленіемъ «Подростка», «Отеч. Зап.» выразили моими устами сожалѣніе о нѣкоторыхъ печальныхъ поползновеніяхъ чрезвычайно талантливаго автора и заявили, что не могли бы допустить у себя появленіе его романа, если-бы упомянутыя поползновенія переходили извѣстную границу, газетные хроникеры были чрезвычайно взволнованы. Волновались между прочими хроникеры «Кіевск. Телеграфа» и «С.-Петерб. Вѣдомостей». Хроникеръ перваго напустился на насъ за самое напечатаніе «Подростка» и въ оговоркѣ нашей увидѣлъ только лицемѣріе. Хроникеры же «С.-Петерб. Вѣдомостей» (сначала сальясовскій, а потомъ и баймаковскій) прочли въ весьма строгомъ стилѣ противоположнаго свойства нотацію, что какъ, дескать, мы смѣемъ стѣснять талантъ г. Достоевскаго? Привожу это только, какъ примѣръ разноголосицы требованій и спутанности понятій. Отъ всякихъ комментаріевъ воздерживаюсь и спрошу только: не своевременно ли будетъ обратиться къ изученію задачъ и условій творчества признанныхъ всѣмъ міромъ великихъ мастеровъ, дабы узнать какъ слѣдуетъ вести себя нашимъ художникамъ? Шиллеръ для этого, мнѣ кажется, особенно удобенъ. Во-первыхъ, онъ—несомнѣнная звѣзда первой величины, такъ что тутъ и споровъ никакихъ нѣтъ и быть не можетъ; во-вторыхъ, онъ писалъ сочиненія по теоріи искусства. Значитъ, мы имѣемъ здѣсь какъ бы собственныя признанія и эстетическія desideria первоклассnаго мастера. Выгоды—до исключительности рѣдкія, и грѣшно было бы ими не воспользоваться. Не велика еще важность, если какой-нибудь г. Соловьевъ отстаиваетъ ту или другую эстетическую теорію. Можетъ быть, онъ и совершенно правъ; но его собственныя поэтическія произведенія, по крайней мѣрѣ, не служатъ гарантіей пригодности теоріи. Шиллеръ—другое дѣло. Онъ создалъ произведенія великія, создалъ ихъ, соображаясь съ извѣстной эстетической теоріей, а, слѣдовательно, эта теорія дала плодъ вполнѣ осязательный.

Чему же можно поучиться у Шиллера? Можетъ быть, формѣ? Конечно, какъ и у всякаго геніальнаго художника. Однако только до извѣстной степени. Возьмите, напримѣръ, знаменитыхъ «Разбойниковъ». Карлъ Мооръ самымъ нелѣпымъ образомъ вѣритъ подложному письму якобы его отца, ни на минуту не сомнѣвается въ его подлинности, хотя признаетъ его чудовищнымъ и никогда ничего подобнаго не ожидалъ; мало того, это ни съ чѣмъ несообразное письмо вдругъ побуждаетъ его принять страшное рѣшеніе—обратиться въ разбойничьяго атамана. Онъ разражается невѣроятными монологами, изъ которыхъ вотъ одинъ на выдержку: «Люди! люди! лживое, коварное отродье крокодиловъ! Вода—ваши очи, сердце—желѣзо! На уста поцѣлуй, кинжалъ въ сердце! Львы и леопарды кормятъ своихъ дѣтей, вороны носятъ падаль птенцамъ своимъ, а онъ, онъ... Я привыкъ сносить злость, могу улыбаться, когда озлобленный врагъ будетъ по каплѣ точить кровь изъ моего сердца... но если кровная любовь дѣлается измѣнницей, если любовь отца дѣлается Мегерой: о, тогда пылай огнемъ мужское терпѣніе, превращайся въ тигра, кроткая овца и всякая былинка расти во вредъ и погибель!» Полагаю, что нынче и

Дьяченко не рѣшился бы вложить въ уста герою такіе напыщенные монологи и не мотивировалъ бы событія такъ психологически невѣрно и, наконецъ, просто такъ плохо. Скажутъ, что «Разбойники»—юношеское произведеніе. Положимъ, что, даже оставляя въ сторонѣ «Разбойниковъ» и однородныя съ нимъ драматическія вещи: «Заговоръ Фіеско», «Коварство и любовь», мы увидимъ указанные недостатки въ Шиллерѣ: болѣе или менѣе вытянутые монологи и странную внезапность, немотивированность рѣшеній и поступковъ дѣйствующихъ лицъ. Таковъ длиннѣйшій монологъ Вильгельма Телля, когда онъ поджидаетъ въ ущельи Геслера; такова измѣна Бутлера въ «Валленштейнѣ», играющая въ драмѣ существенную роль; таково внезапное зарожденіе земного чувства въ Іоаннѣ д'Аркъ, когда она, «пораженная видомъ Ліонеля, стоитъ неподвижно и рука ея опускается», а между тѣмъ и этою внезапностью существеннѣйшимъ образомъ опредѣляется дальнѣйшее теченіе драмы, и проч. Но не въ этомъ совсѣмъ дѣло. Спрашивается: почему, не смотря на крайнюю незрѣлость и вмѣстѣ съ тѣмъ съ теперешней точки зрѣнія обветшалость формъ «Разбойниковъ», драма эта остается великимъ памятникомъ и прочтется теперь, въ 1876 году, всякимъ мыслящимъ человѣкомъ съ несравненно большимъ наслажденіемъ, чѣмъ безчисленное множество современныхъ и вполнѣ «приличныхъ» драмъ? Скажутъ, такова сила таланта. Но-это не отвѣтъ это—только одно изъ все рѣшающихъ и ничего не объясняющихъ таинственныхъ выраженій, какъ «судьба», «случай», «счастье», «несчастье» и т. п. Для современниковъ Шиллера, въ томъ числѣ и для такихъ, какъ Гёте, «Разбойники» ничуть не выдѣлялись изъ цѣлой массы этого рода произведеній, вродѣ «Ардингелло», «Ринальдо Ринальдини» и т. п. И дѣйствительно, таланта, т. е. собственно творческой способности, въ нихъ не больше. Но въ нихъ есть кромѣ того нѣчто, давшее Шиллеру дальнѣйшіе толчки и оставившее вмѣстѣ съ тѣмъ на «Разбойникахъ» печать вѣковѣчности. Это нѣчто я называю—извините, г. Полетика,—искрой Божіей. Въ чемъ она состоитъ, мы увидимъ сейчасъ нѣсколько ближе.

Если мы обратимся къ другого рода трудамъ Шиллера, то встрѣтимъ нѣчто совершенно аналогичное. Шиллеръ писалъ сочиненія историческія, философскія, и они въ высокой степени поучительны, не смотря опять-таки на крайнюю незрѣлость и вмѣстѣ съ тѣмъ обветшалость какъ его историческаго матеріала, такъ и многихъ его точекъ зрѣнія. Кто ищетъ знаній, тотъ не станетъ читать Шиллера «Исторію отпаденія Нидерландовъ отъ испанскаго владычества», а кто ищетъ образованія философскаго—можетъ смѣло обойти «Философскія письма». И исторія, и философія имѣютъ болѣе компетентныхъ и яркихъ представителей. Но Шиллеръ и въ эти произведенія вложилъ ту же искру Божію, которая блеститъ и понынѣ и невольно приковываетъ къ себѣ всякаго, кто станетъ просто перелистывать теоретическія его сочиненія.

Надобно замѣтить, что г. Гербель совсѣмъ напрасно утверждаетъ, будто его изданіе «можетъ быть названо дѣйствительно полнымъ, такъ какъ въ немъ не опущено ни одной строки и не измѣнено ни одного слова противъ подлинника». Не говоря уже о томъ, что перевести всего Шиллера, не опустивъ ни одной строки и въ особенности не измѣнивъ ни одного слова, нѣтъ никакой возможности, г. Гербель упустилъ изъ виду теоретическія сочиненія Шиллера. Въ пятомъ изданіи перевода «русскихъ писателей» имѣются многія труды Шиллера по исторіи, философіи и теоріи искусства, но, во-первыхъ, далеко не всѣ, а, во-вторыхъ, далеко не самые важные. Издатель, какъ видно изъ предисловія, именно для пятаго изданія приготовилъ и заказалъ многіе переводы, но рѣшительно невозможно понять, почему онъ выбралъ однѣ вещи и отбросилъ другія. Напримѣръ, «Философскія письма» переведены, что составляетъ уже роскошь, мелкіе эстетическіе опыты переведены, а капитальныя вещи, какъ «О прелести и достоинствѣ» (Ueber Anmuth und Würde) и письма объ эстетическомъ развитіи человѣка—нѣтъ. Такимъ образомъ, имѣя подъ руками «Полное собраніе сочиненій Шиллера въ переводѣ русскихъ писателей», я все-таки долженъ буду обращаться къ нѣмецкому подлиннику, и притомъ за самыми важными изъ теоретическихъ сочиненій.

Философскія и историческія работы никогда не были для Шиллера той смѣсью дѣла съ бездѣльемъ, которая называется дилетантствомъ. Каковы бы ни были достигнутые имъ результаты, но онъ работалъ упорно, цѣлыми годами, со страстью. Для человѣка, одареннаго такою громадною творческою силою, было бы очень соблазнительно отдаться ей одной и творить образъ за образомъ, пѣсню за пѣсней, драму за драмой, наскоро приготовляя свой матеріалъ. Шиллеръ избѣжалъ этого искушенія. Онъ никогда не отдѣлялъ своей поэтической способности отъ жажды познанія и выработки нравственно-политическаго идеала. Это бросается въ глаза уже при одномъ перечнѣ его сочиненій. Рядомъ съ трилогіей

«Валленштейнъ» стоитъ «Исторія тридцатилѣтней войны», рядомъ съ «Донъ-Карлосомъ»—«Исторія отпаденія Нидерландовъ», рядомъ съ поэтическими произведеніями—эстетическіе опыты. Никогда никакой сюжетъ не заинтересовывалъ его исключительно съ поэтической стороны, исключительно, какъ нѣчто красивое. Этотъ міровой геній, одинъ изъ величайшихъ поэтовъ, какихъ видѣлъ родъ людской, просто не понялъ бы эстетической теоріи уединенія, обособленія прекраснаго отъ истиннаго и справедливаго. Замѣтьте, что онъ погружался въ историческія изслѣдованія и въ эстетическія изысканія совсѣмъ не для того только, чтобы лучше освоиться съ матеріаломъ и техникой. Это—само по себѣ, а главное—онъ вѣчно стремился растворить эстетическое наслажденіе, подчинить его, отдать на службу нравственно-политическимъ цѣлямъ. Это—замѣчательно выдающаяся, характернѣйшая черта Шиллера и какъ мыслителя, и какъ поэта, и какъ человѣка. Искусство онъ цѣнилъ чрезвычайно высоко, да и мудрено было бы ему цѣнить его иначе—ему, въ душѣ котораго билъ неисчерпаемый родникъ образовъ и пѣсенъ. Но высоту эту онъ полагалъ именно въ служебной роли искусства. Того изъ остроговъ «искусства для искусства», который носитъ названіе безсознательнаго творчества, Шиллеръ совсѣмъ не зналъ. Прочтите его «Письма о Донъ-Карлосѣ» (они есть въ русскомъ изданіи), и вы будете поражены готовностью, съ которою онъ объясняетъ свои цѣли и каждый шагъ своихъ дѣйствующихъ лицъ. Все обдумано, все преднамѣрено, все подлежитъ отчету. Въ первомъ же письмѣ онъ ставитъ такое общее положеніе: «Дурно для автора и его пьесы, если дѣйствіе ея зависитъ отъ догадливости и снисхожденія критика и если авторъ допускаетъ, чтобы впечатлѣніе пьесы производилось качествами, доступными весьма немногимъ головамъ. Что можетъ быть ошибочнѣе положенія художественнаго произведенія, когда оно поставлено на произволъ наблюдателя, и онъ можетъ дать ему произвольное толкованіе и когда нужна помощь, чтобы поставить его на настоящую точку зрѣнія? Если вы хотите намекнуть мнѣ, что моя пьеса находится *въ независимомъ положеніи* *), то этимъ вы говорите мнѣ нѣчто очень дурное». Слѣдовательно, Шиллеръ требовалъ, чтобы поэтическое произведеніе отразилось въ средѣ читателей или зрителей непремѣнно извѣстнымъ образомъ, соотвѣтственно намѣреніямъ автора, дало соотвѣтственные результаты, произвело соотвѣтственное дѣйствіе. Задача безспорно чрезвычайно трудная, принимая въ соображеніе разнокалиберность массы читателей. Но самъ Шиллеръ ее разрѣшилъ блистательно, потому что всѣ его произведенія *несомнѣнны*, если можно такъ выразиться. Онъ владѣлъ тайной заразъ и подниматься на самыя вершины творчества, и говорить со всѣми, быть всѣмъ понятнымъ. Сила и значеніе этой несомнѣнности лучше всего выяснится сравненіемъ. Читатель помнитъ, конечно, какъ въ старые годы каждое новое произведеніе г. Тургенева комментировалось съ самыхъ разнообразныхъ сторонъ и часто совершенно противорѣчивымъ образомъ. Припомните, напримѣръ, баталію изъза «Отцовъ и дѣтей». Одни видѣли въ романѣ оскорбленіе дѣтей и апоѳеозъ отцовъ; другіе наоборотъ апоѳеозъ дѣтей и приниженіе отцовъ; третьи, наконецъ—просто радовались художественной сторонѣ романа, потому что вотъ, дескать, настоящій художникъ «объективировалъ» факты безъ любви и ненависти и предоставляетъ кому угодно толковать произведеніе и такъ, и этакъ. Самъ г. Тургеневъ, не смотря на большую охоту заявлять о себѣ по самымъ ничтожнымъ поводамъ, упорно, долго и двусмысленно молчалъ. *Такихъ* толковъ произведенія Шиллера никогда не возбуждали. И это—совершенно понятно. Потрудитесь попробовать истолковать «Донъ-Карлоса» или «Вильгельма Телля» въ какихъ-нибудь двухъ различныхъ смыслахъ. Это—просто невозможно. Это не значитъ, чтобы Шиллеръ не давалъ работы критикѣ. Напротивъ, онъ и до сихъ поръ даетъ ее желающимъ сколько угодно. Но роль критики ограничивается при этомъ, во-первыхъ, чисто-эстетической и психологической оцѣнкой, а во-вторыхъ—нравственной оцѣнкой идеаловъ Шиллера. Въ этихъ предѣлахъ возможны всяческія разногласія, но сомнѣній въ томъ, что хотѣлъ сказать поэтъ, что онъ любитъ, что ненавидитъ—такихъ сомнѣній быть не могло. Маркизъ Поза, Вильгельмъ Телль, Валленштейнъ, Іоанна д'Аркъ и проч. несомнѣнны, и несомнѣнность эта достигается не тѣмъ, что авторъ исполняетъ обязанность громкимъ шопотомъ подсказывающаго суфлера, не тѣмъ, что онъ грубо и аляповато навѣшиваетъ на своихъ героевъ ярлыки, а вну-

*) Пораженный страннымъ оборотомъ подчеркнутой фразы, я заглянулъ въ подлинникъ и, какъ и слѣдовало ожидать, никакого «независимаго положенія» тамъ не нашелъ. Сказано: dass das meinige sich *in diesem Falle* befände, то-есть просто *въ такомъ* положеніи. Отъ независимости Шиллеръ чураться не сталъ бы и видѣлъ ее именно въ полнотѣ и ясности отношеній между произведеніемъ и читателемъ или зрителемъ.

треннимъ планомъ работы. Для иного, можетъ быть, и заманчива роль великаго жреца искусства, который, совершивъ поэтическое таинство, отходитъ въ сторону, предоставляя другимъ доискиваться его смысла. Но Шиллеръ называлъ это «фальшивымъ» положеніемъ. Художественное творчество было для него не какимъ-нибудь самостоятельнымъ богослуженіемъ, а гражданскимъ актомъ, вслѣдствіе чего онъ естественно долженъ былъ желать несомнѣнности своихъ произведеній. Гёте былъ невысокаго мнѣнія о философскихъ занятіяхъ Шиллера. Онъ писалъ Эккерману: «Грустно было видѣть, какъ такой даровитый человѣкъ носился съ философскими идеями, которыя въ сущности ему ничего не дали» (Цит. у Шерра «Шиллеръ и его время»). Можно съ увѣренностью сказать, что «философскія идеи» дали, напротивъ, Шиллеру очень многое. Я не внѣшній успѣхъ имѣю въ виду, хотя и то надо замѣтить, что, напримѣръ, въ «Прелести и достоинствѣ» самъ Кантъ увидѣлъ «мастерскую» руку. Но главное, что дали Шиллеру философскія занятія, это—внутренній миръ. Они показали ему, что его жажда ясныхъ, несомнѣнныхъ отношеній какъ къ объектамъ поэзіи, такъ и къ читателямъ, имѣетъ свои вполнѣ раціональныя основанія, что она законна. Въ томъ же письмѣ къ Эккерману Гёте совершенно справедливо замѣчаетъ: «Не въ натурѣ Шиллера было относиться безсознательно и инстинктивно къ вопросу, занимавшему его—напротивъ: онъ разсматривалъ его со всѣхъ сторонъ и подвергалъ анализу». Представьте себѣ человѣка, въ которомъ постоянно идетъ сильнѣйшая работа, такъ сказать, образованія поэтическихъ клѣточекъ. Постоянно слагаются въ немъ образы, пѣсни, звуки, риѳмы — словомъ, всѣ разнообразные элементы поэтическаго произведенія. Органическій процессъ выработки этихъ элементовъ самъ по себѣ составляетъ наслажденіе, въ которомъ весьма соблазнительно замкнуться, и въ такомъ случаѣ человѣкъ творитъ, по старинному сравненію, какъ соловей поетъ и роза благоухаетъ. Есть другіе поэты, въ которыхъ рядомъ съ творческою способностью ярко горитъ нравственная «искра Божія». Они стремятся дать своей поэтической силѣ совершенно опредѣленное русло. Таковъ и былъ Шиллеръ. Чтобы читатель видѣлъ, до какой отчетливости доходилъ онъ въ этомъ отношеніи, я приведу слѣдующія слова изъ упомянутыхъ уже писемъ о Донъ-Карлосѣ: «Я выбралъ совершенно доброжелательный характеръ (рѣчь идетъ о маркизѣ Позѣ), неспособный ни на какое эгоистичное стремленіе, я придалъ ему высокое уваженіе къ чужимъ правамъ, я вложилъ въ него цѣль добыть для всѣхъ наслажденіе свободой и, мнѣ кажется, не впалъ въ противорѣчіе съ обыкновеннымъ опытомъ, допустивъ его сойти съ пути и зайти въ деспотизмъ. Въ планъ мой входило, чтобы онъ затянулся въ петлю, приготовленную для всѣхъ, идущихъ по одинаковой съ нимъ дорогѣ. Чего бы мнѣ стоило благополучно провести его и доставить читателю, полюбившему его, чистое наслажденіе всѣми остальными красотами его характера, еслибы я не считалъ болѣе выгоднымъ придерживаться человѣческой природы и подтвердить его примѣромъ опытъ, всегда мало принимаемый въ соображеніе». Направляя свою творческую силу такъ сознательно и такъ настойчиво къ нравственно-политической цѣли, Шиллеръ естественно долженъ былъ считать плохимъ, неудачнымъ произведеніе, допускающее различныя толкованія, хотя бы даваемое имъ эстетическое наслажденіе было очень велико.

Это удовлетвореніе требованію личной своей природы Шиллеръ возвелъ до высоты всеобъемлющей теоріи. Едва ли кто-нибудь выше его ставилъ искусство, относился къ нему восторженнѣе, до такой степени, что многія изъ его стихотвореній покажутся намъ даже приторно-плоскими, если не имѣть въ виду основныхъ задачъ искусства по Шиллеру. Напримѣръ, въ извѣстномъ стихотвореніи «Раздѣлъ земли», Зевсъ говоритъ опоздавшему поэту:

...вся роздана земля:
Ужъ больше не мои ни воды, ни поля;
Но если въ небесахъ захочешь жить со мною,
То небо навсегда отверзто предъ тобою.

Въ «Идеалахъ», въ «Могуществѣ пѣснопѣнія» и проч. выражаются подобныя же мысли и чувства. На первый разъ они могутъ поразить довольно непріятно. Достойно ли въ самомъ дѣлѣ Шиллера пѣть на такую изъѣзженную и плоскую тему, какъ лишеніе поэта даровъ земли и предоставленіе ему неба. Какая мелюзга не пѣла этихъ чувствительныхъ вещей и не купалась въ этой скудной и, въ концѣ концовъ, просто вздорной аллегоріи (небезъинтересно замѣтить, что «Раздѣлъ земли» переведенъ на русскій языкъ *восемь* разъ, именно: Жуковскимъ, Мейснеромъ, Струговщиковымъ, Крешевымъ, Гербелемъ, Зотовымъ, Алмазовымъ и Соловьевымъ). И еслибы мы имѣли въ виду только подобныя отдѣльныя стихотворенія, такъ пришлось бы сказать, что этотъ человѣкъ слишкомъ часто облекалъ въ изящнѣйшія формы довольно скудное содержаніе. Заносчивыя или приторно-сантиментальныя восхваленія поэта—вотъ вѣдь это что такое само по себѣ. Въ сущности же однако здѣсь нѣтъ ни заносчивости, ни приторности, ни пустоты. Правда, Шиллеръ говорилъ часто

почти тѣ же самыя слова о небесномъ величіи поэзіи, которыя испоконъ-вѣку говорятся безчисленнымъ множествомъ поэтовъ и поэтиковъ. Но онъ разумѣлъ подъ поэтомъ совсѣмъ не того идеальнаго ротозѣя съ вѣнкомъ изъ розъ и незабудокъ на головѣ, которому обыкновенно приписывается небожительство. Онъ рѣдко оговаривалъ это обстоятельство, потому что былъ для этого самъ слишкомъ полонъ мыслью объ истинно великомъ значеніи поэзіи. Въ большинствѣ случаевъ онъ просто забывалъ, что есть поэты, непохожіе на него нравственнымъ складомъ. Иногда, впрочемъ, онъ выражался на этотъ счетъ очень саркастически. Напримѣръ: «Многіе изъ нашихъ романовъ и трагедій, особенно такъ называемыхъ драмъ и любимѣйшихъ семейныхъ картинъ... производятъ только опорожненіе слезныхъ мѣшечковъ и сладострастное облегченіе нервныхъ сосудовъ; но духъ выходитъ изъ этихъ упражненій совершенно пустымъ» («О патетическомъ»). Очевидно, что опорожнителей слезныхъ мѣшечковъ Шиллеръ либо совсѣмъ не считалъ поэтами, либо, по крайней мѣрѣ, не ихъ имѣлъ въ виду, когда въ «Раздѣлѣ земли» отдавалъ поэтамъ небо; не ихъ поэзію разумѣлъ, когда гордо говорилъ въ «Художникахъ»:

Лишь свѣтлыми прекраснаго вратами
Въ міръ чудный знанья вступишь ты:
Чтобъ высшій блескъ снести очами,
Постигни прелесть красоты.

Думаю поэтому, что весьма многіе переводчики «Раздѣла земли» и т. п. жестоко ошибаются, полагая видѣть въ этого рода стихотвореніяхъ свою profession de foi. Шиллеръ дѣйствительно высоко цѣнилъ поэзію, но только такую, которая подчиняла красоту идеалу нравственно-политическому. На это указываютъ уже одни заглавія нѣкоторыхъ его статей. Напримѣръ, «Театръ, какъ нравственное учрежденіе», «О нравственной пользѣ эстетическихъ нравовъ». Онъ рекомендовалъ «постигнуть прелесть красоты» *для того*, чтобъ «*высшій* блескъ снести очами». Поэзія была для него «вратами». Слѣдовательно, небеснымъ величіемъ Шиллеръ награждалъ искусство только въ такомъ случаѣ, если оно предварительно послужило земнымъ цѣлямъ.

Я не считаю однако нужнымъ долѣе настаивать на этой темѣ. Что Шиллеръ смотрѣлъ на задачи искусства именно такъ—въ этомъ можетъ убѣдиться всякій, кто потрудится прочитать хоть одинъ, любой изъ его эстетическихъ опытовъ. Доказывать же, что такъ и долженъ относиться къ своему дѣлу художникъ, не стоитъ. «Могій вмѣстити» эту истину, безъ сомнѣнія, уже вмѣстилъ ее, потому что объ этомъ было говорено и переговорено, а не могій пусть до поры до времени посидитъ на вышеупомянутомъ мокромъ мѣстѣ. Я только напоминаю и подчеркиваю фактъ: Шиллеръ, міровой геній, поэтъ, во многихъ отношеніяхъ не имѣющій соперниковъ, творилъ вполнѣ сознательно и видѣлъ въ искусствѣ не самостоятельную цѣль, а великое орудіе для достиженія высшихъ цѣлей. Это—одна сторона нравственной искры Божіей, горѣвшей въ душѣ Шиллера. Ниже намъ еще придется, можетъ быть, къ ней вернуться, а теперь обратимся къ другой особенности Шиллера, пожалуй, еще болѣе занимательной.

Извѣстно, что Шиллеръ есть поэтъ свободы. Извѣстны бурные взрывы республиканизма въ «Разбойникахъ», монументальный образъ свободолюбиваго Веррины въ «Заговорѣ Фіеско», либеральные планы маркиза Позы въ «Донъ-Карлосѣ», политическій протестъ «Коварства и любви», глубоко демократическій характеръ «Вильгельма Телля» и проч., и проч., и проч. Извѣстно, наконецъ, что Шиллеръ, на ряду съ Вашингтономъ, Костюшкой, Уильберфорсомъ, Клопштокомъ, Песталоцци, получилъ отъ французскаго республиканскаго національнаго собранія дипломъ на званіе французскаго гражданина. Изъ всѣхъ этихъ чертъ въ образованномъ обществѣ слагается ходячее, довольно впрочемъ туманное представленіе пламеннаго борца за свободу, демократическія идеи, прогрессъ и проч. Особый однако вопросъ—на сколько это представленіе вѣрно? Среди той поразительной путаницы понятій, которую нынѣ переживаетъ большинство нашего образованнаго общества, выработалась какая-то странная идея совпаденія свободы, демократическихъ принциповъ, прогресса съ фактическимъ поступательнымъ движеніемъ исторіи. Я не говорю о тѣхъ, совершенно уже нелѣпыхъ людяхъ, которые радуются каждому шагу исторіи только потому, что это—*еще* шагъ. Но и гораздо болѣе благоразумные люди склонны думать, что въ цѣломъ, минусъ нѣкоторыя случайныя уклоненія, исторія постоянно предоставляетъ торжествовать свободѣ, демократическимъ идеямъ, прогрессу. Гр. Л. Толстой говоритъ совершенно справедливо, что это *никогда* никѣмъ не было доказано, но всѣми принимается на вѣру. Дѣйствительно, идеи Руссо, нѣкоторыхъ соціалистовъ объявлены парадоксами, хотя онѣ собственно никогда не были опровергнуты. Какъ бы то ни было, но, благодаря привычной ассоціаціи идей, мы представляемъ себѣ всякаго борца за свободу и проч. въ видѣ человѣка, глубоко презирающаго и ненавидящаго все старое, прошедшее, только о томъ и думающаго, какъ бы это

все искоренить, уничтожить. Безъ сомнѣнія, эта ассоціація идей внушена образомъ дѣйствія писателей прошлаго столѣтія и практическихъ дѣятелей первой революціи. Такимъ мы себѣ представляемъ и Шиллера, съ извѣстными, разумѣется, индивидуальными отклоненіями отъ общаго типа революціонера. Такъ, конечно, мы не навязываемъ Шиллеру ядовитой насмѣшливости и скептицизма Вольтера или жестокости какого-нибудь Фукье-Тэнвиля. Думаю поэтому, что многіе читатели не безъ недоумѣнія прочтутъ, напримѣръ, такія слова Шиллера: «Въ ребенкѣ видимъ мы зачатки и назначеніе, въ самихъ же себѣ—исполненіе, и послѣднему всегда безконечно далеко до первыхъ. Оттого-то для насъ ребенокъ есть воплощеніе идеала, хотя еще и не исполненнаго, но заданнаго, и потому насъ трогаетъ въ немъ совсѣмъ не представленіе его немощи или ограниченности, но, напротивъ того, представленіе его чистой и свободной силы, его возможностей, его безконечности» («Наивная и сантиментальная поэзія»). Надо замѣтить, что, по общему смыслу статьи и по прямымъ указаніямъ, сдѣланнымъ раньше, рядомъ съ ребенкомъ должны быть вставлены въ эту цитату «сельскіе нравы и нравы первобытнаго міра». Такимъ образомъ выходитъ, что Шиллеръ говоритъ почти буквально то же, что и гр. Л. Толстой: идеалъ нашъ не впереди, а позади насъ—въ ребенкѣ, въ народѣ, и въ прошедшемъ. Прежде, чѣмъ разсматривать эти воззрѣнія Шиллера подробнѣе, постараюсь сдвинуть съ дороги одно недоразумѣніе. Скажутъ, можетъ быть, что, конечно, Шиллеръ былъ великій поэтъ, но комментировать стихотворца, какъ политическаго писателя, не годится. Но я напомню читателю, что Шиллеръ не имѣлъ рѣшительно ничего общаго съ тѣмъ увѣнчаннымъ незабудками и розами ротозѣемъ, который лѣзетъ на небо только потому, что ничего не умѣетъ дѣлать на землѣ. Шиллеръ пристально слѣдилъ за современными ему великими политическими событіями и обнаруживалъ иногда при этомъ по истинѣ изумительную, почти пророческую проницательность. Напримѣръ, въ 1794 году онъ писалъ: «Французская республика недолговѣчна — она исчезнетъ скоро; республиканское правленіе превратится въ анархію, и рано или поздно явится геніальный человѣкъ, который сдѣлается не только властителемъ Франціи, но покоритъ и большую часть Европы» (Шерръ, 291). И это — не случайное, не единичное предсказаніе. Для меня, впрочемъ, несравненно болѣе глубокимъ свидѣтельствомъ политической проницательности Шиллера служитъ то обстоятельство, что онъ ни въ ту, ни въ другую сторону не поколебался среди революціоннаго ликованія, что онъ до конца дней своихъ остался апостоломъ свободы и вмѣстѣ съ тѣмъ твердо и ясно говорилъ: идеалъ нашъ — сзади.

Вотъ какъ онъ развиваетъ между прочимъ эту мысль въ письмахъ «Объ эстетическомъ развитіи человѣка». Я приведу его взгляды довольно полно и почти въ подстрочномъ переводѣ, потому что сочиненіе это не вошло въ русское изданіе.

„Въ старину (главнымъ образомъ въ Греціи), при прекрасномъ расцвѣтѣ духовныхъ силъ, чувства и духъ еще не подѣлили своихъ владѣній: между ними не было раздора. Поэзія и умозрѣніе были родныя сестры, которыя въ случаѣ надобности могли даже замѣнять другъ друга, потому что обѣ онѣ преслѣдовали истину, только разными путями. Какъ бы высоко ни поднималось умозрѣніе, оно поднимало вмѣстѣ съ собой и матерію, чувственную сторону человѣка. Правда, мысль разлагала человѣческую природу, надѣляя въ увеличенномъ видѣ ея элементами весь кругъ боговъ, но она не разрывала природы человѣка на куски, а только различно комбинировала ее, такъ что каждый отдѣльный богъ былъ все-таки цѣльною личностью. Въ новыя времена совсѣмъ не то. И у насъ элементы человѣческой природы разбросаны въ увеличенномъ видѣ по отдѣльнымъ индивидамъ, но въ кускахъ, а не въ различныхъ смѣшеніяхъ, такъ что для полученія родового единства надо бы было слить нѣсколько индивидовъ. Можно даже сказать, что у насъ душевныя силы и въ дѣйствительности раздѣлены такъ же рѣзко, какъ дѣлитъ ихъ въ отвлеченіи психологъ, и мы видимъ не только отдѣльныхъ субъектовъ, но цѣлые классы людей, въ которыхъ развита только одна часть способностей, а все остальное замерло, едва оставивъ послѣ себя слѣдъ“. Шиллеръ не отрицаетъ преимуществъ теперешнихъ людей, взятыхъ въ совокупности, надъ такою же совокупностью людей древняго міра. Но почему каждый отдѣльный грекъ могъ считаться полнымъ представителемъ своего времени, а каждый отдѣльный нынѣшній человѣкъ—нѣтъ? «Сама цивилизація (Kultur) нанесла новому человѣчеству эту рану. Какъ только, съ одной стороны, расширенный опытъ и точное мышленіе провели демаркаціонныя линіи между различными науками, а съ другой—сложность государственной машины породила обособленіе классовъ и профессій, такъ порвалась и внутренняя связь человѣческой природы, и пагубный споръ раздробилъ ея гармоническія силы. Воображеніе и умозрѣніе настроились взаимно враждебно и стали ревниво слѣдить за неприкосновенностью своихъ границъ. Это раздвоеніе, начатое внутри человѣка, завершилось и обобщилось новыми общественными порядками. Нельзя было, конечно, ожидать, чтобы простая организація первыхъ республикъ пережила простоту древнихъ правовъ и отношеній. Но вмѣсто того, чтобы подняться на высшую ступень жизни, она спустилась до простой и грубой механики. Полипообразная природа греческихъ государствъ, въ которыхъ каждый индивидъ пользовался независимою жизнью и въ случаѣ нужды могъ обращаться въ цѣлое, уступила мѣсто чрезвычайно искусной машинѣ, гдѣ изъ безчисленнаго множества безжизненныхъ частей возникаетъ механическая жизнь цѣлаго. Оторваны были другъ отъ друга церковь и го-

сударство, законы и нравы, наслажденіе и трудъ, средства и цѣли. Вѣчно прикованный къ малому обломку цѣлаго, человѣкъ и самъ развивается только въ видѣ обломка; вѣчно слыша только монотонный шумъ колеса, которое онъ вертитъ, онъ никогда не развиваетъ гармоніи своего существа и вмѣсто того, чтобы отражать въ своей природѣ человѣчество, онъ дѣлается просто оттискомъ своей профессіи, своей науки. Но даже то скудное, частичное участіе, которое еще привязываетъ отдѣльныхъ членовъ къ цѣлому, зависитъ не отъ самостоятельно ими выбранныхъ нормъ (и развѣ можно бы было довѣрить ихъ свободѣ такую сложную и хитрую машину?)—нѣтъ: имъ съ строжайшею точностью предписаны извѣстныя правила, которыми связана ихъ иниціатива. Мертвая буква замѣняетъ свободный разумъ, наловчившаяся память руководитъ вѣрнѣе, чѣмъ геній и изобрѣтательность. Когда должность дѣлается масштабомъ человѣка; когда мы цѣнимъ въ одномъ изъ своихъ согражданъ только память, въ другомъ только разумъ, въ третьемъ только механическую ловкость; когда здѣсь не обращается никакого вниманія на характеръ и ищутся только знанія, а тамъ, напротивъ, духу порядка и легальному поведенію способствуетъ помраченіе разсудка—то что же удивительнаго, что всѣ остальныя способности заглушаются, чтобы воспитать ту, которая одна даетъ почетъ и вознагражденіе? Правда, мы знаемъ, что геній не ограничиваетъ своей дѣятельности предѣлами своей профессіи, но заурядное дарованіе ухлопываетъ всѣ свои скудныя силы на выпавшую ему дробную роль".

Далѣе встрѣчаются многія чрезвычайно глубокія частныя замѣчанія, но мы пока остановимся на этомъ. Уже и теперь видно, что пламенный поборникъ свободы и демократическихъ идей съ крайне непріязненнымъ чувствомъ отворачивается отъ современнаго ему хода вещей, который, надо замѣтить, уже выставилъ великую революцію (письма объ эстетическомъ развитіи появились въ 1795 году) и со вздохомъ смотритъ за цѣлыя тысячелѣтія назадъ. На мой взглядъ это явленіе въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ даже любопытнѣе знаменитаго протеста Руссо противъ цивилизаціи. Руссо не видалъ революціи и, слѣдовательно, физически не могъ такъ или иначе отозваться на осуществленіе зари новой жизни, какъ тогда казалось. Принимая въ соображеніе, что многіе изъ самыхъ видныхъ дѣятелей революціи принадлежали къ жаркимъ поклонникамъ Руссо, мы не можемъ съ достовѣрностью сказать, остался ли бы самъ онъ вѣренъ своему пессимизму. Шиллеръ же жилъ среди всего этого угара надеждъ и упоеній и однако продолжалъ твердить свое. Подобно Руссо, но при нѣсколько иной исторической обстановкѣ, онъ выражалъ недовольство не какимъ-нибудь частнымъ, случайнымъ явленіемъ прогресса, а его общимъ ходомъ; онъ видѣлъ въ немъ гибель человѣчества, для предотвращенія которой и рекомендовалъ свой планъ, сейчасъ увидимъ какой. Извѣстно, что простые люди всегда и вездѣ склонны вздыхать по прошедшему. Все имъ кажется, что когда-то люди были сильнѣе, здоровѣе, больше, богаче, красивѣе, добродѣтельнѣе и проч. Меня всегда удивляло, что ученые люди не обращаютъ никакого вниманія на общераспространенность этого вѣрованія. Въ самомъ дѣлѣ, то въ формѣ сказокъ о богатыряхъ и ихъ привольномъ житьѣ, то въ преданіяхъ о золотомъ вѣкѣ, то въ видѣ личныхъ или почти личныхъ воспоминаній о дѣйствительности, это вѣрованіе распространено рѣшительно по всему земному шару и по всей исторіи человѣчества. Должны же быть у него какія-нибудь фактическія основанія или въ объективной исторіи, или въ свойствахъ человѣческой природы, или въ томъ и другомъ.

Надо однако замѣтить, что это обращеніе за идеаломъ назадъ, въ болѣе или менѣе глубокую и всегда неопредѣленную даль исторіи, распространено только между простыми людьми, необразованными. Люди ученые, если только они не заражены теософическими предразсудками, напротивъ, съ такою же исключительностью вѣрятъ, что не только никакой золотой вѣкъ никогда не существовалъ, но что чѣмъ дальше мы будемъ подвигаться въ прошедшее, тѣмъ большую встрѣтимъ слабость, безпомощность человѣка, тѣмъ большіе найдемъ мракъ и грязь. Это я впрочемъ не совсѣмъ правильно сказалъ «ученые люди». Ученые въ этомъ отношеніи еще не такъ строги, какъ полуученые и только что грамотные. Какой-нибудь писарь, хватившій цивилизаціи, уже чрезвычайно твердо убѣжденъ, что народнымъ представленіямъ о золотомъ вѣкѣ, о кисельныхъ берегахъ и молочныхъ рѣкахъ, о богатыряхъ и привольномъ житьѣ, въ дѣйствительности соотвѣтствовала «одна необразованность-съ и дикость-съ». Среди же людей высокоразвитыхъ встрѣчается иногда какъ бы возвращеніе къ исконному народному вѣрованію, но уже въ формѣ сознательныхъ и болѣе или мѣнѣе разработанныхъ теорій. Это, конечно — случаи особенно любопытные. Одинъ изъ нихъ представляется воззрѣніями Шиллера. Въ письмахъ объ эстетическомъ развитіи человѣка отправнымъ пунктомъ, который служитъ мѣриломъ сравнительнаго первобытнаго превосходства, является древняя Грецiя. Это, конечно, совершенно произвольно. Не трудно бы было показать, что греческая жизнь, даже въ блистательнѣйшую пору своего развитія, была уже охвачена тѣмъ историческимъ процессомъ, который признается Шиллеромъ пагубнымъ. Шиллеръ, повидимому, и самъ чувствовалъ произвольность своего выбора. Въ другихъ сочиненіяхъ онъ, какъ мы уже видѣли, даетъ бо-

лѣе неопредѣленныя указанія на область «дѣтской жизни, сельскихъ нравовъ и нравовъ первобытнаго міра», какъ на нѣчто вродѣ золотого вѣка. Иногда, наконецъ, онъ просто отодвигаетъ свой идеалъ въ совершенно уже неясную даль «природы», подобно Руссо съ его знаменитымъ положеніемъ: все прекрасно, выходя изъ рукъ природы; все портится въ рукахъ человѣка. Очевидно, это—не выходъ изъ произвольности. А въ наше время даже ужъ и совсѣмъ нельзя искать въ «природѣ» какого-нибудь совершенства въ подходящемъ для нашего случая смыслѣ слова. Такимъ образомъ золотой вѣкъ, повидимому, самъ собой угоняется все дальше и дальше назадъ, пока, наконецъ, не расплывается въ полнѣйшемъ туманѣ. Свѣтъ науки, умственнаго развитія ничего, значитъ, собственно говоря, не внесъ въ народное вѣрованіе, не уяснилъ его. Русскій мужикъ, котораго вы не только удешевленіемъ ситца или развитіемъ желѣзно-дорожной сѣти, но даже указаніемъ на крупнѣйшія изъ реформъ нынѣшняго царствованія не разубѣдите въ томъ, что когда-то жить было лучше, находится въ болѣе выгодномъ положеніи, чѣмъ Шиллеръ. Ему кажется, что онъ чуть не по пальцамъ можетъ сосчитать время, протекшее съ тѣхъ поръ, какъ жить стало хуже, и что чуть-ли даже не его дѣдъ былъ богатырь и жилъ вполнѣ привольно; ему это ясно. Шиллеръ же, гоняясь за золотымъ вѣкомъ, гонитъ его все дальше и, наконецъ, совсѣмъ выгоняетъ за предѣлы исторіи. Но тутъ Шиллеръ даетъ своей мысли необыкновенно смѣлый и чрезвычайно замѣчательный оборотъ. Въ третьемъ изъ писемъ объ эстетическомъ развитіи человѣка читаемъ: «Человѣкъ приходитъ въ себя изъ чувственной дремоты, сознаетъ себя человѣкомъ, озирается и видитъ себя въ государствѣ. Гнетъ потребностей повергъ его туда прежде, чѣмъ онъ могъ подумать о свободномъ выборѣ; нужда построила общество по законамъ природы прежде, чѣмъ человѣкъ могъ построить его по законамъ разума. Но съ этимъ положеніемъ онъ, какъ нравственная личность, примириться не можетъ; и плохо было бы, еслибы онъ могъ примириться! И вотъ онъ искусственно обращается къ своему дѣтству, создаетъ въ идеѣ *естественное состояніе*, которое, правда, отнюдь не дано ему опытомъ, но которое вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо для удовлетворенія его разума. Онъ ставитъ себѣ въ этомъ положеніи конечную цѣль, которой онъ въ дѣйствительномъ естественномъ состояніи не зналъ, приписываетъ себѣ выборъ, къ которому онъ тогда способенъ не былъ, и затѣмъ, дѣйствуетъ такъ, какъ будто онъ по собственному выбору обмѣнялъ состояніе независимости на состояніе договора». Изъ этого видно, во-первыхъ, что Шиллеръ готовъ бы былъ отказаться отъ мысли Руссо, что все прекрасно, выходя изъ рукъ природы, и все портится въ рукахъ человѣка. Далѣе приведенныя слова важны, какъ попытка психологическаго объясненія всеобщаго вѣрованія въ золотой вѣкъ. Шиллеръ прямо говоритъ, что идеальное естественное состояніе въ дѣйствительности никогда не имѣло мѣста (отнюдь не дано опытомъ), но что человѣкъ, по свойствамъ своей природы, вѣритъ въ него или же допускаетъ его гипотетически. Слѣдовательно, если въ вышеприведенномъ очеркѣ историческаго процесса греческая жизнь представляется моментомъ идеальнымъ, такъ только потому, что надо же выбрать въ прошедшемъ какую-нибудь, опредѣленную точку для сравненія, а въ сущности произволъ выбора здѣсь неизбѣженъ. Тѣмъ не менѣе однако этотъ очеркъ историческаго процесса остается фактически вѣрнымъ. Онъ неопровержимъ и уязвимъ только развѣ со стороны своей односторонности. Никакія усилія оптимистовъ не могутъ доказать, что онъ ложенъ, но можетъ быть доказано, что въ немъ изложена неполная истина. Обыкновенно оптимисты на это и налегаютъ, перечисляя различныя благодѣянія, полученныя и донынѣ ежедневно получаемыя человѣкомъ въ процессѣ исторіи. Бѣда однако въ томъ, что эти благодѣянія очень хорошо извѣстны тѣмъ, для кого оптимисты читаютъ свой акаѳистъ цивилизаціи и исторіи. Извѣстны они были и Шиллеру. Онъ развилъ ихъ параллельно оборотной сторонѣ медали.

„Въ планъ мой входило, говоритъ онъ:—показать пагубное направленіе характера нашего времени и открыть его источники. Но я охотно допускаю, что, при всей невыгодѣ для индивидовъ такого раздробленія ихъ существа, родъ человѣческій въ цѣломъ не могъ иначе прогрессировать. Не было иного средства развить разнообразные задатки человѣческой природы, какъ противопоставивъ ихъ другъ другу. Этотъ антагонизмъ силъ есть великое орудіе культуры, но только орудіе, потому что, пока онъ продолжается, мы находимся еще на пути къ культурѣ. Въ борьбѣ чистаго и эмпирическаго разума изъ-за исключительнаго преобладанія оба развиваются до возможной зрѣлости и исчерпываютъ каждый свою сферу. Тамъ воображеніе стремится разложить своимъ произволомъ міровой порядокъ, здѣсь въ противовѣсъ ему разумъ поднимается до высшихъ источниковъ познанія и призываетъ себѣ на помощь законъ необходимости. Правда, односторонность въ упражненіи силъ неизбѣжно ведетъ индивидовъ къ заблужденіямъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ родъ, совокупность индивидовъ—къ истинѣ. Уже тѣмъ самымъ, что мы сосредоточиваемъ всю энергію нашего духа въ одномъ фокусѣ и стягиваемъ все свое существо къ одной силѣ, мы прида-

емъ этой силѣ какъ бы крылья и искусственно выводимъ ее далеко за предѣлы, повидимому, назначенные ей природой. Несомнѣнно, что вся сила зрѣнія всѣхъ индивидовъ, данная имъ природой, не могла бы усмотрѣть спутника Юпитера, открываемаго телескопомъ астронома. Точно также сила человѣческаго мышленія никогда не дала бы анализа безконечнаго или критики чистаго разума, еслибы въ нѣкоторыхъ призванныхъ субъектахъ разумъ не получалъ исключительнаго, преобладающаго надъ матеріей развитія, давшаго возможность путемъ напряженнаго отвлеченія заглянуть въ безконечное".

Конечно, это въ количественномъ отношеніи—очень скудныя указанія на благодѣянія цивилизаціи, вполнѣ однако достаточныя для уясненія точки зрѣнія автора. Ясно, что съ точки зрѣнія Шиллера каждое завоеваніе цивилизаціи, каждый шагъ человѣчества впередъ, научный, философскій, промышленный, былъ вмѣстѣ съ тѣмъ шагомъ къ паденію, по скольку онъ покупался цѣною цѣльности и самостоятельности, вообще—судьбы индивида, личности. Поэтому, если удобства изслѣдованія и требуютъ сравненія настоящаго съ какимъ-нибудь опредѣленнымъ моментомъ прошедшаго, то логически вовсе нѣтъ надобности искать въ исторіи какого-нибудь пункта перелома, послѣ котораго началось занимающее Шиллера пагубное движеніе. Оно шло рука объ руку со всѣми пріобрѣтеніями человѣчества: минусъ и плюсъ шли рядомъ.

Спрашивается теперь: представляетъ ли эта совмѣстность плюса съ минусомъ что-нибудь фатально неизбѣжное, или возможно сохраненіе плюса съ устраненіемъ минуса? Шиллеръ полагалъ, что возможно, и рекомендовалъ для этой цѣли эстетическое развитіе. Онъ не вѣрилъ въ модныя въ его время политическія панацеи, которыя по его мнѣнію были безсильны измѣнить теченіе исторіи. Свобода, говорилъ онъ, можетъ быть достигнута только эстетическимъ путемъ, медленнымъ путемъ красоты, облагороженія воображенія, вкуса; только такимъ способомъ можетъ быть достигнута гармонія силъ человѣческой природы, ихъ равновѣсіе, постоянно до сихъ поръ подтачиваемое историческимъ процессомъ. Я не стану, разумѣется, защищать «эстетическое государство» Шиллера, не стану даже излагать эту идею, потому что ошибочность ея не подлежитъ никакому сомнѣнію. Но нельзя не пожелать, чтобы люди чаще ошибались такимъ образомъ. Нельзя не пожелать, чтобы всякій, одаренный какою-нибудь выдающеюся способностью, направлялъ ее такъ же, какъ Шиллеръ свою творческую способность, и притомъ вѣрилъ (хотя бы и преувеличенно), что въ этомъ направленіи заключается спасеніе міра. Я говорю—въ направленіи, а не въ самой способности, въ нравственной искрѣ Божіей, а не въ талантѣ. Этакихъ-то франтовъ мы много видали, которые преувеличиваютъ значеніе своего таланта или рода своей дѣятельности. Преувеличеніе Шиллера—совсѣмъ иного рода, какъ читатель видѣлъ изъ предыдущаго и какъ онъ можетъ судить еще по слѣдующимъ замѣчательнымъ характеристикамъ роли и значенія поэзіи. Въ статьѣ «Наивная и сантиментальная поэзія» читаемъ: «Пока человѣкъ еще чистая, разумѣется, не грубая природа, онъ дѣйствуетъ, какъ нераздѣльное чувственное единство, какъ гармоническое цѣлое. Чувство и разумъ, имчивая и самостоятельная способность еще не успѣли раздѣлиться въ своихъ отправленіяхъ, но скорѣе противорѣчатъ другъ другу (я цитирую по переводу изданія г. Гербеля). Его ощущенія—не безобразная игра случая, его мысли—не пустая игра воображенія: изъ закона необходимости вытекаютъ одни, изъ дѣйствительности—другія. Но когда человѣкъ входитъ въ состояніе цивилизаціи, и искусство налагаетъ на него свою руку, тогда уничтожается въ немъ та чувственная гармонія, и онъ можетъ только выражаться, какъ моральное единство, т. е. какъ стремящійся къ единству. Гармонія ощущенія съ мыслительностью, существовавшая прежде дѣйствительно, существуетъ теперь только идеально; она уже болѣе не въ немъ, но внѣ его, какъ мысль, которая должна еще осуществиться, а не какъ фактъ его жизни. Если приспособить идею поэзіи, которая въ сущности заключается въ томъ только, чтобы дать человѣчеству въ высшей степени его возможное выраженіе, къ обоимъ тѣмъ состояніямъ, то выйдетъ, что въ состояніи естественной простоты, когда человѣкъ еще дѣйствуетъ всѣми своими силами, какъ гармоническое единство, когда цѣлое его природы совершенно выражается въ дѣйствительности, тогда возможно полное подражаніе дѣйствительности должно составлять всю силу поэта. Напротивъ того, въ состояніи цивилизаціи, гдѣ гармонія человѣческой натуры заключается только въ идеѣ силу поэта составляетъ возведеніе дѣйствительности до идеала, или, что одно и то же, представленіе идеала». Яснѣе выражена эта мысль въ замѣткѣ «О стихотвореніяхъ Бюргера». «Можетъ быть, въ наши, столь непоэтическіе дни, какъ для поэзіи вообще, такъ и для лирической въ особенности, откроется достойное назначеніе; можетъ быть, окажется, что, если она съ одной стороны должна уступить мѣсто высшимъ умственнымъ занятіямъ, то сдѣлается тѣмъ необходимѣе съ другой. При разъединеніи и разбитой дѣятельности нашихъ умственныхъ силъ, неизбѣжныхъ при расширенномъ кругѣ знаній и

разобщеніи спеціальностей, почти только одна поэзія еще соединяетъ раздѣленныя силы души, занимаетъ равно сердце, остроуміе и проницательность, разумъ и воображеніе въ гармонической связи и возстановляетъ въ насъ всего человѣка. Она одна можетъ отвратить самое печальное, что только можетъ испытать философствующій умъ, а именно — въ трудѣ изслѣдованій потерять награду своихъ стараній и въ отвлеченномъ умозрѣніи умереть для радостей дѣйствительнаго міра... Но для этого необходимо, чтобы она сама шла съ вѣкомъ, которому оказываетъ такую важную услугу, и чтобы она усвоивала себѣ всѣ его нововведенія». Вы видите, какими тонкими и многочисленными нитями переплеталась для Шиллера роль поэта съ дѣятельностью гражданина. Признавая въ общественномъ смыслѣ, свободы ради, желательнымъ возстановленіе равновѣсія, гармоніи силъ человѣческой природы, Шиллеръ вмѣстѣ съ тѣмъ, съ понятнымъ въ поэтѣ восторгомъ, открывалъ, что поэзія, по самой сути своей, наилучше можетъ этому способствовать. Понятно также, что въ его глазахъ только тотъ поэтъ былъ достоинъ этого имени, который нѣчто давалъ въ этомъ направленіи. Остальные были для него «опоражнивателями слезныхъ мѣшечковъ». И въ тѣхъ же письмахъ объ эстетическомъ развитіи человѣка, гдѣ значеніе искусства поднято до головокружительной высоты, находимъ безпощадное разоблаченіе фактической роли искусства въ исторіи. Въ десятомъ письмѣ, послѣ бѣглаго обзора этой роли, Шиллеръ говоритъ: «Куда бы мы ни взглянули въ прошедшемъ, вездѣ изящный вкусъ и свобода бѣгутъ другъ друга, и красота основываетъ свое господство только на развалинахъ героическихъ добродѣтелей». Не всякаго, значитъ, поэта призналъ бы Шиллеръ своимъ «братомъ по Парнасу» и поклонился бы не всякому, хотя бы и очень крупному таланту.

Итакъ, Шиллеръ теоретически вѣрно поставилъ, но практически неудовлетворительно разрѣшилъ вопросъ величайшей важности. Не попытаться ли намъ разрѣшить его иначе? Попытку эту впрочемъ я, профанъ, не сегодня началъ и не безъ глубокаго внутренняго удовлетворенія вижу, что то тамъ, то сямъ въ литературѣ появляются или прямо профанскія мысли, или нѣчто къ нимъ приближающееся. Предпримемъ маленькое путешествіе по этимъ вновь открытымъ странамъ. A tout seigneur tout honneur. Начнемъ съ маркиза А «Русскаго Вѣстника».

«На плечахъ народа, на его терпѣніи и самопожертвованіи, на его живучей силѣ, горячей вѣрѣ и великодушномъ презрѣніи къ собственнымъ интересамъ создалась независимость Россіи, ея сила и способность къ историческому призванію (и проч., и проч., сокращаю панегирикъ). Мы полагаемъ, что за все это наше образованное общество находится въ долгу передъ народомъ, и что этотъ долгъ далеко не будетъ уплаченъ, если оно сложитъ руки, склонитъ повинную голову и скажетъ: ты лучше насъ, тебѣ и книги въ руки; живи за насъ, вырабатывай для нашего пустого существованія идеалы и формы, а мы будемъ счастливы тѣмъ, что поклонялись тебѣ и потонули въ твоей сермяжной массѣ».

Такъ говоритъ маркизъ А. О, маркизъ, какъ я радъ что вы написали эти (не совсѣмъ впрочемъ основательныя) слова. Такъ радъ, что охотно прощаю вамъ заключающіяся въ нихъ маленькую передержку и плохую пародію на мои выраженія и мысли. Да, что скрывать, я выражалъ желаніе потонуть въ сермяжной массѣ народа; но, замѣтьте, со свѣточемъ истины и идеала въ рукахъ; я выражалъ мысль, что такъ долженъ быть уплаченъ долгъ народу. Такъ именно, я полагалъ, разрѣшается вопросъ, волновавшій Шиллера. Маркизъ, я вамъ прощаю. Прощаю, ибо отнынѣ вы уже не посмѣете повторить, что «литература ничѣмъ другимъ не можетъ питаться, какъ интересами образованнаго класса, потому что они одни только суть истинные національные интересы въ формѣ сознательной и пріуроченной къ интересамъ цивилизаціи». Я наизусть запомнилъ эту вашу фразу и думаю, что она одна способна сохранить васъ отъ объятій забвенія, на кои вы осуждены своимъ ничтожествомъ. Благосклонный маркизъ, я вамъ до такой степени прощаю, что готовъ подать вамъ нѣкоторые доброжелательные совѣты. Вы недовольны, что «у насъ народъ не обнаружилъ богатства тѣхъ творческихъ силъ, которыми создается прогрессъ гражданственный, культурный. У него были и есть свои идеалы, и эти идеалы прекрасны, но они не заключаютъ въ себѣ элементовъ движенія: они, такъ сказать, принадлежатъ растительной жизни». Вамъ такъ понадобились элементы движенія, маркизъ? Куда вы собираетесь двигаться? Но здѣсь маркизъ призываетъ себѣ на помощь газету «Новое Время», изъ которой добываетъ слѣдующее: «Вся программа настоящаго времени, всѣ его стремленія, желанія и цѣли, всѣ руководящіе принципы семидесятыхъ годовъ—словомъ, все ихъ profession de foi можетъ быть исчерпано однимъ словомъ: Европа» и т. д.

Итакъ, «движеніе» и «Европа». Идите съ миромъ, благосклонный маркизъ, я васъ отпускаю; я буду съ читателемъ говорить.

Если вамъ, читатель, кто-нибудь начнетъ совѣтовать «двигаться» или рекомендовать, какъ образецъ, «Европу», то вы смѣло можете прекратить собесѣдованіе въ самомъ началѣ, потому что собесѣдникъ вашъ очевидно не понимаетъ своихъ собственныхъ словъ. «Движеніе» и «Европа», это—просто лишенныя всякаго содержанія слова, пока къ нимъ не будетъ прибавлено дополненіе на вопросъ: какое движеніе? какая Европа? Какъ видно изъ цитаты «Русскаго Вѣстника», Европа провозглашена лозунгомъ семидесятыхъ годовъ въ № «Новаго Времени», отъ 18-го марта. Этого самаго числа (только новаго стиля), пять лѣтъ тому назадъ, въ Парижѣ загорѣлась революція, весьма неосновательно изображенная въ книгѣ г. Ватсона «Эпилогъ прусско-французской войны». Это было «движеніе» и притомъ «европейское». Желаетъ ли «Новое Время» такой Европы, а маркизъ А такого движенія—я не знаю; но знаю, что европейское движеніе было направлено, по крайней мѣрѣ, противъ трехъ тоже движеній и тоже европейскихъ, и всѣ эти европейскія движенія боролись не на животъ, а на смерть. Еще ничего не значитъ, что при этомъ были пролиты рѣки крови, потому что рѣки эти иногда льются въ борьбѣ представителей одного и того же принципа, одного и того же «европейскаго движенія». Нѣтъ, здѣсь шла кровавая борьба между діаметрально-противоположными, взаимно-исключающимися принципами. Какой изъ нихъ вы выберете, вы русскіе европейцы и двигатели? Коммуну вы выберете или Тьера и буржуазію, или Бисмарка и милитаризмъ, или цезаризмъ и вторую имперію или Шамбора и легитимизмъ? А выбирать надо; потому что *Европа*, какъ лозунгъ семидесятыхъ годовъ, рѣшительно ничего не резюмируетъ и не соглашаетъ. И я, и маркизъ А, и «Новое Время», и, я не знаю еще кто—всѣ мы можемъ, пожалуй, даже совершенно правомѣрно кричать: «да здравствуетъ Европа»! и въ то же время быть другъ отъ друга дальше, чѣмъ турецкій султанъ отъ Макъ-Магона. Зачѣмъ же, спрашивается, безъ толку кричать? Семидесятые годы не только не могутъ выразить свою программу словомъ «Европа», но трудно даже найти въ нашей исторіи годы, къ которымъ этотъ лозунгъ менѣе бы подходилъ. Больше всего онъ годился бы для времени, начиная съ прошлаго столѣтія и такъ примѣрно до тридцатыхъ годовъ нынѣшняго. Въ тѣ времена дѣйствительно Европа фактически была нашей путеводной звѣздой, и это было логически возможно, потому что «Европа» еще не развернула заключенныхъ въ ней противорѣчій. Конечно, она и тогда не представляла сплошь однороднаго цѣлаго. но ходъ дальнѣйшей исторіи казалось долженъ былъ окончательно сгладить ея неоднородность. На дѣлѣ вышло иначе. А мы все тянемъ старую, давно истлѣвшую, какую-то обще-европейскую канитель и наивно воображаемъ, что это толченіе на мѣстѣ есть «движеніе». Чудаки мы, право, да и чудаки ли только? Не будемъ однако валить съ больной головы на здоровую, не будемъ приписывать всему обществу того, что угодно брякнуть публицисту «Новаго Времени» или «Русскаго Вѣстника». То европейское движеніе, которое нѣкогда служило намъ путеводной звѣздой, стало нынѣ только однимъ изъ европейскихъ движеній. Но если имѣть въ виду только его, такъ можно съ увѣренностью сказать, что у насъ «программа настоящаго времени, всѣ его стремленія, желанія и цѣли» и т. д. отнюдь не исчерпываются словомъ: «Европа». Европа что ли—комментированныя мною воззрѣнія гр. Льва Толстого, которыя надѣлали столько шуму и, замѣтьте хорошенько несомнѣнность этого результата, оставили за собою побѣду? А пятнадцать лѣтъ тому назадъ гр. Л. Толстой былъ замолчанъ. Согласитесь, что «Европа», по крайней мѣрѣ, на этомъ пунктѣ не сдѣлала у насъ успѣха. А вслѣдъ за гр. Толстымъ начали безбоязненно высказываться въ литературѣ такія не-европейскія вещи, что въ виду ихъ смѣлость заявленія о совпаденіи программы семидесятыхъ годовъ съ «Европой» становится по истинѣ изумительной. А тутъ и переводная литература измѣнила Европѣ. Явились книги Мена, явилась книга Лавеле, европейца краснорѣчиво убѣждающаго насъ отнюдь не увлекаться «европейскимъ движеніемъ». Многіе даже весьма непроницательные наблюдатели подмѣтили, что въ настоящее время происходитъ въ литературѣ и въ обществѣ какое-то очень не-европейское броженіе.

Кстати, о весьма непроницательныхъ наблюдателяхъ и броженіи въ литературѣ. Въ фельетонѣ одной газеты я встрѣтилъ, повидимому, систематическій, а въ сущности крайне курьезный подборъ литературныхъ явленій. Тутъ были свалены въ одну кучу гр. Толстой, г. Евгеній Марковъ (съ его романомъ «Черноземныя поля»), г. Боборыкинъ (съ его предисловіемъ къ «Запискамъ Дурака»), г. П. Ч., г. Энгельгардтъ. Общая скобка, за которую были поставлены всѣ эти писатели, состояла въ стремленіи къ простой деревенской жизни и къ сближенію съ народомъ: это-то и выставлялось характеристической чертой современной литературы. Не знаю, право, какъ назвать эту общую скобку. Она отчасти, конечно, вѣрна, но отчасти рѣшительно никуда не годится, по-

тому что далеко не всякій, взывающій: Господи! Господи! можетъ попасть въ царство небесное. Я не буду утомлять васъ разборомъ всей этой путаницы и обращу ваше вниманіе только на одного г. Евгенія Маркова. Это входитъ въ мою программу путешествія по новооткрытымъ странамъ. Г. Евгеній Марковъ есть тотъ самый г Евгеній Марковъ, который столь побѣдоносно сражался и съ гр. Л. Толстымъ, и съ «упраздниталями современнаго общества»; тотъ самый г. Евгеній Марковъ, который заявилъ, что только *скотамъ* свойственно отрекаться отъ своего прошедшаго, какъ бы оно ни было гнусно (онъ забылъ, что Павелъ отрекся отъ Савла и что именно скоты неспособны на подобное отреченіе). Онъ печатаетъ теперь въ «Дѣлѣ» отмѣнно скучный, нравоучительный и длинный романъ «Черноземныя поля». Тамъ воспѣваются прелести сельской жизни, красота полей, вкусъ парного молока, сближеніе съ народомъ, милыя деревенскія барышни, прочные сельскіе кавалеры. Очень хорошо. Вотъ что пишетъ своимъ друзьямъ удалившійся на лоно природы и тихой сельской жизни среди народа герой романа Суровцовъ:

„Мнѣ живется отлично, гораздо лучше, чѣмъ предполагаете вы, чѣмъ предполагалъ я самъ. Я—царекъ совершенно отдѣльнаго, хотя и тѣснаго, небольшого мірка. Нигдѣ не можетъ развиться такая независимость духа, какъ въ деревенскомъ хозяйствѣ. Но нигдѣ же нѣтъ болѣе строгихъ и точныхъ обязанностей, стало быть, нигдѣ не можетъ развиться въ такой степени чувство собственной отвѣтственности. Я подчиненъ повелителю, отъ требованій котораго уклониться немыслимо, но подчиненіе которому неоскорбительно для самаго гордаго духа. Имя этого повелителя—„роковые законы природы“. Моя судьба зависитъ отъ безснѣжной зимы, отъ морозной весны, отъ дождливаго лѣта. Двигается по небу грозная туча, я долженъ покорно выждать, что ей вздумается сдѣлать со мною. Я не знаю прихотей никакого другого начальства, не имѣю надъ собою никакихъ инстанцій, никакихъ регламентовъ и инструкцій, не подвергаюсь ничьему контролю. И однако я не смѣю сдѣлать ни одной ошибки, не смѣю упустить ни малѣйшей своей обязанности, потому что въ самой ошибкѣ, въ самомъ упущеніи моемъ и моя кара, быстрая, неотвратимая, роковая. Тутъ необходимѣе быть умнымъ, дѣятельнымъ внимательнымъ, чѣмъ на каѳедрѣ профессора, которая все сноситъ—бездарность, лѣнь и даже заблужденія. Предполагали ли вы когда-нибудь такую силу воспитательности въ практическомъ хозяйствѣ? А въ немъ есть еще гораздо болѣе силы, да теперь не хочется говорить много. Кстати, вы остроумничаете надъ моимъ новымъ дѣломъ; обзывая его „эгоистическимъ и матеріальнымъ“. Изъ этого ясно, что вы совершенно не знаете моего дѣла. Такъ знайте же хоть теперь, что сельское хозяйство — дѣло такое же общественное, какъ и ваше профессорство. Вы думаете: деревня Суровцово на Ратской Плотѣ принадлежитъ одному надворному совѣтнику Анатолію Суровцову? Ошибаетесь, друзья мои: надворный совѣтникъ Анатолій Суровцовъ—только одинъ изъ множества владѣльцевъ этого общаго имущества. Оно очень мало, а владѣльцевъ очень много. Владѣтели его — мой ключникъ, мой конюхъ, мой скотникъ, мой садовникъ, моя скотница и всѣ вообще мои рабочіе и крестьяне. Я ихъ вправѣ называть моими, такъ какъ они неизбѣжные мои сотоварищи. Моя доля въ общемъ пользованіи нашимъ имуществомъ, говоря безотносительно побольше ихъ, моя компата почище ихъ, мой столъ повкуснѣе, и я не всегда ѣзжу, какъ они, на простой телѣгѣ. Но сравнительно съ нашими потребностями, они получаютъ нисколько не менѣе моего; они по-своему сыты и нагрѣты не хуже меня и имѣютъ свободные праздники зимніе вечера для игры на балалайкѣ, вышивки и любезничанья съ своими дамами. Я гораздо рѣже имѣю досугъ и почти не имѣю средствъ поразвлечься по своему вкусу. Но главное, ихъ владѣніе деревнею Суровцовой гораздо прочнѣе моего. Я лѣзу въ долги, чтобы какъ-нибудь удовлетворить насущнымъ потребностямъ хозяйства нынче я въ барышѣ, завтра у меня могутъ отобрать мое послѣднее достояніе. А имъ навсегда обезпечено ихъ мѣсячное жалованье и ихъ кусокъ хлѣба. Будетъ ли считаться владѣльцемъ имѣнія надворный совѣтникъ Суровцовъ или купецъ 2-й гильдіи Силай Лаптевъ, Суровцово не обойдется безъ ключника, скотника, конюха и всей рабочей компаніи; и какія бы бѣды ни стряслись лично надо мною. все-таки суровцовскіе мужички будутъ получать ежегодно по 5 руб. сер. аренды съ каждой пахатной десятины такъ-называемаго моего имѣнія. потому что безъ ихъ сохъ и боронъ никакой купецъ Лаптевъ не обработаетъ поля. Но даже при такомъ ограниченіи своихъ правъ, я могу сдѣлать много добра и много зла цѣлой окрестности. Если я сложу руки, не подвину впередъ своего дѣла, не усовершенствую его, мое хозяйство—могила. Некуда наняться, негдѣ ничего заработать, некому продать, не у кого купить сосѣдямъ. Заварилъ я дѣятельное и разнообразное хозяйство—мнѣ всѣ нужны: плотники, кузнецы, копачи окрестности, всѣ имѣютъ у меня заработокъ подъ рукою: у одного я куплю свинью на кормъ, у другого соломы для навоза, у третьяго лошадь куплю и лѣсъ, и доски, и телѣгу, что у кого заготовлено для продажи. У меня то же всякій купитъ что-нибудь нужное, если я не сплю, а завожу, что можно. Купитъ и крупъ, и муки съ мельницы, и жеребенка, и теленка на заводъ. Моя дѣятельность возбудитъ такимъ образомъ экономическую жизнь въ цѣлой мѣстности. Сбытъ и спросъ облегчаются, возвышается заработная плата, въ глухомъ углу достигается извѣстное удобство Развѣ это не общественное дѣло, не общественная заслуга?“.

О, какъ же мнѣ не радоваться, читая идилліи г. Маркова, какъ мнѣ не радоваться такъ соблазнительно описываемому имъ сближенію съ народомъ! Но знаете ли что? Вамъ случалось, конечно, хоронить кого-нибудь очень вамъ близкаго и дорогого, чьимъ лицомъ вы привыкли любоваться. Вы, значитъ, знаете то тяжелое ощущеніе, которое испытывается при видѣ мертвеца, черты котораго такъ похожи на милое лицо и въ то же время такъ непохожи, такъ безобразны. Вотъ это самое испытывалъ я, читая размазистый и слащавый романъ г. Маркова. Что же касается выписанной ти-

рады, то я не буду говорить о крайней наивности Суровцова, повидимому, серьезно думающаго, что онъ благодѣтель цѣлаго околотка. Письмо же Суровцова я привелъ для освѣщенія всей идилліи и для показанія, что г. Евгеній Марковъ отнюдь не есть въ самомъ дѣлѣ какая-нибудь новоткрытая Америка, а обыкновеннѣйшая и избитая до плоскости «Европа». Надо быть дѣйствительно очень непроницательнымъ наблюдателемъ, чтобы увидѣть въ этомъ призывѣ in's Grünu, на лоно природы, что-нибудь характерное для какого бы то ни было времени. Всегда были люди, которые любили пить парное молоко, смотрѣть на деревенскіе хороводы, дышать воздухомъ полей и благодѣтельствовать работой окрестныхъ крестьянъ. Всегда были и люди, склонные къ занятію сельскимъ хозяйствомъ. Во всякомъ случаѣ не могутъ быть поставлены за общую скобку г. Евгеній Марковъ и, напримѣръ, гр. Толстой, какъ онъ выясняется четвертымъ томомъ его сочиненій.

Мы далеко отошли отъ Шиллера, отъ Шиллера—до г. Евгенія Маркова!—но многимъ можетъ показаться, что это даже совсѣмъ не далеко, что Шиллеръ и г. Марковъ совсѣмъ рядомъ стоятъ, потому что оба проповѣдуютъ возвращеніе къ природѣ, къ простотѣ сельскихъ нравовъ. Разница однако въ томъ, что проповѣдь Шиллера и въ сто лѣтъ не состарѣлась, а проповѣдь г. Маркова такъ и родилась мертвой. Разница въ самомъ источникѣ порываній того и другого. Сходство же, если оно есть, исчерпывается второстепенными и чисто внѣшними чертами. Допустимъ, что «Черноземныя поля» въ самомъ дѣлѣ должны быть занесены въ число признаковъ времени, что въ этомъ литературномъ явленіи выразилось не простое тяготѣніе къ парному молоку, свѣжему воздуху и сельско-хозяйственной дѣятельности, какое могло имѣть мѣсто всегда и вездѣ, а осложненное злобой дня, нѣчто характерное для нашего времени, для «семидесятыхъ годовъ». Какая же это такая злоба дня здѣсь сказалась? Суровцовъ ставитъ свою сельско-хозяйственную дѣятельность рядомъ съ профессорскою дѣятельностью своихъ друзей. Онъ весьма справедливо не видитъ между ними типической разницы, хотя одна насаждаетъ плоды знанія, а другая плоды земли. Дѣйствительно то и другое насажденіе могутъ производиться и производятся при совершенно одинаковой общественной обстановкѣ, до такой степени, что если въ числѣ друзей Суровцова есть профессоръ политической экономіи, то онъ, по всей вѣроятности, излагаетъ съ каѳедры тѣ самые принципы, которые изложены въ письмѣ Суровцова. И профессоръ, и сельскій хозяинъ въ настоящемъ случаѣ окружены одной и той же духовной атмосферой. Правда рѣзкая разница обнаруживается въ физической обстановкѣ. Но это очевидно—дѣло личнаго вкуса. Одинъ любитъ атмосферу кабинета, типографіи, аудиторіи, жизни городской, другой—атмосферу лѣсовъ, полей, жизни сельской. Допустимъ—что однако, если и можетъ быть допущено, то только въ весьма скромныхъ размѣрахъ—допустимъ что людей съ деревенскими вкусами нынѣ становится сравнительно все больше, что, утомленные городскимъ шумомъ, измученные вообще городскими условіями жизни, люди усиленно бѣгутъ in's Grüne. Безспорно, это движеніе могло бы имѣть многія, не лишенныя значенія послѣдствія и нѣсколько измѣнить и самый строй общественной жизни, но лишь въ опредѣленныхъ и въ сущности весьма ограниченныхъ предѣлахъ, если при этомъ профессоръ политической экономіи только превратится въ сельскаго хозяина, оставаясь при тѣхъ же принципахъ, смѣняя только каѳедру и теорію на деревню и практику. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ онъ остается представителемъ одного и того же «движенія» (если хотите, «европейскаго»). Мы очень хорошо знаемъ, въ чемъ состоитъ это движеніе: въ увеличеніи производства (въ нашемъ частномъ случаѣ—сельскихъ продуктовъ). Механизмъ этого движенія намъ до такой степени хорошо извѣстенъ, что и сомнѣнія не можетъ быть въ томъ, что отливъ силъ изъ города въ деревню можетъ при немъ продолжаться только весьма короткое время. Оставаясь на нашемъ частномъ случаѣ профессоровъ и сельскихъ хозяевъ, не трудно видѣть что пропорція тѣхъ и другихъ можетъ колебаться только въ очень слабыхъ предѣлахъ. Профессора политической экономіи, исповѣдующіе принципы Суровцова, неизбѣжны тамъ, гдѣ существуютъ или могутъ существовать. Суровцовы, и обратно: Суровцовы возможны только тамъ, гдѣ раздается съ каѳедръ или въ книгахъ голосъ либеральной политической экономіи. Положимъ Петровъ перейдетъ съ каѳедры in's Grüne по слѣдамъ Суровцова, но на его мѣсто непремѣнно явится Ивановъ, а если и Ивановъ уйдетъ, такъ его замѣнитъ, можетъ быть, даже сынъ Суровцова. Понятно, что отъ такого рода перемѣнъ никому ни тепло, ни холодно, кромѣ непосредственно дѣйствующихъ лицъ. Все это «движеніе» есть буря въ стаканѣ воды, не имѣющая ровно никакого общественнаго значенія, и было бы совершенно недостойно литературы видѣть въ ней какой-нибудь признакъ времени,

что-нибудь характерное и важное. Недостойно литературы отмѣчать, какъ нѣчто, заслуживающее вниманія, такую плоскую идеализацію быта современныхъ просвѣщенныхъ помѣщиковъ, какую представляютъ «Черноземныя поля» г. Евгенія Маркова.

Шиллеровскій призывъ имѣетъ совершенно другой характеръ. И для того, чтобы сдѣлать изъ него лозунгъ нашего времени, нужно только дополнить его, сообразно его основному принципу и тѣмъ историческимъ явленіямъ, которыя народились послѣ Шиллера. Не парное молоко (очень впрочемъ хорошая вещь) и не заигрыванія сельскихъ кавалеровъ съ благорожденными деревенскими дѣвицами соблазняли Шиллера въ прошедшемъ и въ волнѣ природы. Онъ завидовалъ тому, что каждый человѣкъ былъ нѣкогда полнымъ носителемъ культуры своего времени или, говоря словами гр. Л. Толстого, самъ удовлетворялъ всѣмъ своимъ человѣческимъ потребностямъ. То движеніе, которое уничтожило этотъ порядокъ вещей, Шиллеръ признавалъ пагубнымъ, хотя очень хорошо понималъ, что именно оно дало намъ и знанія, и матеріальныя богатства. Онъ, конечно, не былъ противъ движенія вообще, желалъ не неподвижности и не обращенія вспять, а того единственно, чтобы и нынѣ каждый человѣкъ былъ полнымъ носителемъ культуры *своего* времени, т. е. опять-таки самъ удовлетворялъ всѣмъ своимъ потребностямъ, кругъ которыхъ постоянно расширяется. При такой постановкѣ вопроса заботы о «движеніи» теряютъ всякій смыслъ, и на первый планъ выдвигается то, что и Шиллеръ, и гр. Толстой называютъ гармоніей развитія. Позднѣйшій историческій опытъ только подтвердилъ анализъ Шиллера и вмѣстѣ съ тѣмъ къ нашему времени вызвалъ въ Европѣ многочисленные частные протесты, совершенно укладывающіеся въ протестъ Шиллера, не только протесты, а и болѣе или менѣе удачныя попытки положительныхъ рѣшеній. Шиллеръ глубоко скорбѣлъ о розни эмпирическаго и чистаго разума, какъ онъ говорилъ, а по нашему— опыта и умозрѣнія. Послѣ него эта рознь достигла одно время колоссальныхъ размѣровъ и считалась необходимымъ условіемъ «движенія» мысли, но нынѣ соглашеніе этихъ двухъ формъ изслѣдованія совмѣщеніе ихъ въ одной и той же личности составляетъ вопросъ безповоротно рѣшенный. Никто не сомнѣвается въ необходимости и возможности такого совмѣщенія. Въ области экономической взглядъ Шиллера по обстоятельствамъ времени не проникъ дальше розни «труда и наслажденія», т. е самой формулы. Послѣ него эта рознь достигла колоссальныхъ размѣровъ и все продолжаетъ расти, сосредоточивая собственность въ однѣхъ рукахъ, представляя трудъ другимъ. Политическая экономія Суровцова и комп. признаетъ эту рознь необходимымъ условіемъ экономическаго движенія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ мы видимъ рядъ попытокъ какъ въ наукѣ, такъ и въ жизни, совмѣстить трудъ и собственность въ одной личности. И надо думать, что необходимость и возможность такого совмѣщенія станетъ скоро тоже внѣ всякихъ сомнѣній. Такъ идетъ дѣло въ Европѣ. Это тоже европейское движеніе, господа. Угодно ли вамъ именно его признать своею путеводною звѣздой? Если да, то такъ и говорите и бросьте канитель «Европы» вообще и «движенія» вообще. Если да, то вмѣсто «Европы» вы имѣете полное право подставить «русскій народъ» въ свою формулу. И тогда выйдетъ: «Вся программа настоящаго времени, всѣ его стремленія, желанія и цѣли, всѣ руководящіе принципы семидесятыхъ годовъ, словомъ— все ихъ profession de foi можетъ быть исчерпано двумя словами: русскій народъ».

XX *).

Газета «Недѣля», «мыслящіе провинціалы», г. Кавелинъ и проч.

Habent sua fata libelli, и статьи, конечно—тоже, и писатели, и литературныя партіи—тоже. Бываетъ такъ, что какая нибудь статья, какой-нибудь писатель, какая-нибудь группа писателей вдругъ становятся модными: о нихъ говорятъ, спорятъ, отъ нихъ проходу нѣтъ—и все это часто вовсе не потому, чтобы въ нихъ блеснула какая-нибудь совершенно новая мысль или вообще какія-нибудь выходящія изъ ряда вонъ достоинства, а по причинамъ, даже внѣ ихъ лежащимъ и почти неуловимымъ. Такъ было недавно съ гр. Львомъ Толстымъ, который пятнадцать лѣтъ тому назадъ прошелъ незамѣченнымъ (не какъ романистъ, разумѣется), а нынѣ, повторивъ почти буквально (и во многихъ отношеніяхъ гораздо слабѣе) свои тогдашнія воззрѣнія, долго занималъ собою литературу и вызвалъ оживленные споры. Но гр. Толстой еще особь статья. Гораздо удивительнѣе тотъ внезапный интересъ, который нынѣ получили гг. Мордовцевъ, П. Ч., «Недѣля» и провинціальная литература. Толками о нихъ переполнены газетные фельетоны; статейка г. П. Ч. послужила темой для разсужденій и г. Пыпина, и публицистовъ «Дѣла», и газетныхъ

*) 1876, май.

хроникеровъ, и вашего покорнѣйшаго слуги; г. Мордовцевъ вызвалъ противъ себя цѣлый походъ въ «Недѣлѣ», въ недавно вышедшемъ казанскомъ сборникѣ «Первый шагъ», въ газетѣ «Сибирь», въ «Донской Газетѣ»; «Недѣля», по мнѣнію многихъ, чуть ли не переворотъ въ литературѣ произвела; провинціальные писатели съ небывалою энергіей стремятся помѣряться съ «столичной прессой». Называя совокупность этихъ явленій достойною удивленія, я разумѣю только ея внезапность, а не внутренній смыслъ вопросовъ, затрогиваемыхъ упомянутыми авторами—смыслъ, безспорно, чрезвычайно важный. Никто — говорю это смѣло — не радуется больше меня тому, что именно эти вопросы занимаютъ общество и ея зеркало — литературу. Точно также радовался я внезапному оживленію, вызванному статьей гр. Толстого. Но тамъ я былъ преимущественно удивленъ тѣмъ, что идеи этого писателя прошли въ свое время безслѣдно. Теперь же я, напротивъ, удивляюсь тому, что П. Ч. и Мордовцевъ, Мордовцевъ и П. Ч., и опять П. Ч. и Мордовцевъ не даютъ никому спать, между тѣмъ, какъ г. П. Ч. и вообще «Недѣля», въ самомъ выгодномъ для нихъ случаѣ, не успѣли даже высказаться, а статьи г. Мордовцева о провинціальной печати представляютъ безпорядочную «игру ума», отъ которой самъ авторъ почти отказался. Конечно, это показываетъ, что такъ или иначе, дурно или хорошо, положительно или отрицательно, но тронуто наболѣвшее мѣсто. Но дѣло въ томъ, что, оставляя въ сторонѣ г. Мордовцева, «новое слово» «Недѣли» не есть новое, оно имѣетъ свою, не Богъ знаетъ какую длинную исторію, но все-таки исторію, которая почему-то упорно игнорируется и самою «Недѣлею», и всѣми, кто обращается къ этой почтенной газетѣ то съ ироніей, то съ овраціями. Провинціальная литература была у насъ до сихъ поръ дѣйствительно какъ бы въ забросѣ, чему однако существуютъ если не оправданія, то очень осязательныя причины. Что же касается до новаго слова «Недѣли», провозглашаемаго съ такой помпой, то соотвѣтственное наболѣвшее мѣсто трогается имъ далеко не впервые. Трогалось оно не одинъ разъ много лучше и много яснѣе. Что же за причина внезапнаго появленія модъ à la П. Ч. и à la «Недѣля»? Вопросъ этотъ представляется мнѣ чрезвычайно интереснымъ. Не знаю только, сумѣю ли я имъ заинтересовать читателя, что было бы очень желательно.

Прежде всего надо установить факты, т. е., во-первыхъ, показать, что упомянутыя явленія дѣйствительно существуютъ и находятся въ извѣстной связи между собой, и, во-вторыхъ, прослѣдить хотя вкратцѣ исторію идей нашихъ Колумбовъ и Америго Веспуччи. Можетъ быть, при этомъ сами собой обрисуются причины занимающей насъ внезапности. Я чувствую себя вполнѣ способнымъ отнестись къ дѣлу совершенно безпристрастно, глубоко сожалѣю объ административныхъ карахъ, постигающихъ «Недѣлю», искренно желаю ея всяческаго успѣха и не только не намѣреваюсь предлагать ей отказаться отъ сути своихъ воззрѣній, а напротивъ, потребую отъ нея большей ясности и опредѣленности... Да, только опредѣленности, потому что сюда подойдетъ, кажется, даже предложеніе отказаться отъ титуловъ Колумба и Америго Веспуччи, съ которымъ я обращусь къ почтенной газетѣ.

Позвольте мнѣ сдѣлать слѣдующую большую выписку изъ статьи г-жи Александры Ефименко: «Одна изъ нашихъ народныхъ особенностей» («Недѣля», №№ 3—5 нынѣшняго года). Она введетъ насъ въ самое сердце вопроса. Напомню читателю, что г-жа Ефименко есть авторъ многихъ очень дѣльныхъ работъ по нашему обычному праву.

«Нѣкоторыя заявленія «Недѣли» о деревнѣ, почвѣ, узкихъ рамкахъ и т. п. встрѣчены были со стороны нашей интеллигентной столицы большимъ вопросительнымъ знакомъ и выраженіемъ крайняго недоумѣнія, которое до сихъ поръ не сходитъ съ физіономіи петербургской печати, какъ только рѣчь коснется «Недѣли» и ея мнѣній. Совсѣмъ иначе отнеслась къ этимъ заявленіямъ провинція, по крайней мѣрѣ, та ея часть, за которою нельзя не признать значенія наиболѣе здоровой части. Между тѣмъ, какъ столица увидала въ нихъ лишь пикантный литературный сюжетъ, дававшій публицисту новую тему для болѣе или менѣе остроумныхъ выходокъ, провинція почуяла въ ихъ заявленіяхъ то, чего не замѣтила столица—жизненную струю, которая можетъ провѣтрить страшно затхлую психическую атмосферу, дать новый толчокъ застоявшимся жизненнымъ отправленіямъ. Кто правъ: проглядѣла ли столица, увлеклась ли миражемъ провинція? Наши личныя симпатіи стоятъ въ этомъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, на сторонѣ провинціи. Намъ дико и чуждо то объективно-литературное отношеніе, которымъ встрѣтила столичная пресса вопросы, затрогиваемые «Недѣлей». Неужели вся сила въ томъ, чтобы показать, что тогда-то и тогда-то, тамъ-то и тамъ-то, такое-то лицо поднимало подобный же вопросъ? или что та или другая мысль не вполнѣ гармонируетъ съ цѣлымъ? или что въ томъ-то и томъ-то мѣстѣ употребленъ терминъ, не вполнѣ удачно схватывающій суть мысли?—спрашивали мы себя, пробѣгая строки боль-

шей части столичныхъ изданій, касавшихся мнѣній «Недѣли». Вѣдь эти вопросы — вопросы общественнаго міросозерцанія, тѣ роковые вопросы, которые въ необычайно запутанной и сложной формѣ ставитъ современному человѣку жизнь, говоря ему, какъ сказочный сфинксъ: или разрѣшай ихъ, или погибай, погибай самою страшною изъ смертей — нравственной смертью живого человѣка, человѣка, находящагося въ полной силѣ сознанія и чувства... И вотъ, когда стоишь въ роковомъ недоумѣніи передъ чудовищемъ, а мысль тревожно бьется и мечется, пытаясь найти разгадку, или, что еще хуже, когда уже послѣ тщетной борьбы начинаетъ ослабѣвать инстинктъ, и ты, въ предсмертной агоніи, чувствуешь, какъ начинаетъ заживо обхватывать разложеніе—можно представить себѣ, что значитъ въ подобномъ положеніи не рѣшеніе вопроса — это было бы ужъ слишкомъ много—а хоть новая его постановка, дающая намекъ на рѣшеніе, хоть самое общее указаніе направленія, которому надо слѣдовать, чтобы придти къ этому рѣшенію. Такъ отнеслась къ дѣлу та часть провинціи, о которой мы, какъ знающіе ее, считаемъ себя вправѣ говорить. Суть въ томъ, что для мыслящаго провинціала рѣшеніе извѣстныхъ вопросовъ (тѣхъ, которые мы назвали вопросами общественнаго міросозерцанія) есть дѣло насущной необходимости, въ болѣе строгомъ смыслѣ этого слова, чѣмъ, напримѣръ (?), для интеллигентнаго столичнаго жителя. Столичный житель можетъ, напримѣръ, рѣшить всѣ свои недоразумѣнія или подысканіемъ готовой формулы изъ имѣющагося ихъ запаса, или видоизмѣненіемъ какой-либо изъ готовыхъ, или, наконецъ, составленіемъ своей новой, и затѣмъ, незадѣваемый жизнью, онъ можетъ себѣ жить да поживать въ томъ душевномъ спокойствіи, которое дается увѣренностью въ истинности своей исходной точки. Совсѣмъ иное положеніе провинціала—положеніе поистинѣ трагическое. Тщетно перерываетъ онъ богатый складъ общеевропейской науки и философіи, пытаясь найти въ немъ то орудіе, которое дастъ ему возможность бороться съ приступающими къ горлу жизненными вопросами и требованіями, тщетно, увлекаясь иллюзіей, хватается то за то, то за другое; жизнь вырываетъ изъ рукъ и ломаетъ, какъ ничтожную тростинку, все, что ему въ первоначальномъ ослѣпленіи кажется такой... Не годится ни то, ни другое, ни третье... а между тѣмъ запасъ, на который ты надѣялся, приходитъ къ концу: гдѣ искать новое орудіе? Или... или сложить безпомощно руки? Но, пока силенъ инстинктъ жизни, онъ не даетъ примириться со вторымъ рѣшеніемъ; надо искать, искать, а между тѣмъ время уходитъ, надежда найти что-нибудь подходящее все слабѣетъ. Но вотъ раздается голосъ, который говоритъ: «не трудитесь напрасно, вы ищите не того, что нужно, и не тамъ, гдѣ нужно; для того, чтобы встрѣтить вызовъ нашей жизни, намъ не годится готовое орудіе, надо готовить новое»... И когда это говорится не голословно, а поддерживается и вѣскими общими соображеніями, и фактическими доказательствами—понятно то сочувствіе, съ какимъ встрѣчается этотъ голосъ. Мы убѣждены, что провинція не ошиблась, отдавъ свои сочувствія мнѣніямъ «Недѣли», выражающимся въ статьяхъ гг. Кавелина, П. Ч. и др.».

Откровенно сознаюсь въ своемъ столичномъ безсердечіи: мнѣ было скучновато и даже непріятно выписывать эту напряженно-страстную тираду. Но я долженъ былъ это сдѣлать, потому что въ ней счастливымъ образомъ сгруппировались всѣ нужные мнѣ элементы.

Соперничество провинціальной литературы со столичною, стремленіе провинціаловъ пикироваться, мѣряться, развивать канитель о своихъ разнообразныхъ преимуществахъ передъ нами, «столичной прессой». Этимъ не одна г-жа Ефименко занимается. Высокое мнѣніе о себѣ провинціальныхъ дѣятелей литературы достигаетъ иногда даже еще большей энергіи выраженія. Такъ, пылкій «литераторъ-обыватель» заявляетъ: «Еслибы вы знали провинцію, вы знали бы и то, что на *десятокъ* вашихъ публицистовъ, фельетонистовъ, рецензентовъ и поддѣльныхъ «провинціальныхъ философовъ» въ провинціи найдутся *сотни* умовъ, передъ которыми ваши завсегдатаи изображаютъ изъ себя жалкое умственное и нравственное убожество» («Первый шагъ», стр. 482). Вотъ какая страшная пропорція! Когда въ прошломъ году «Кіевскій Телеграфъ» сразу лишился *тринадцати* сотрудниковъ, между которыми были самые главные и дѣятельные, въ нѣкоторыхъ нашихъ органахъ было выражено сомнѣніе насчетъ будущности кіевской газеты. Но новая редакція «Кіевскаго Телеграфа» съ гордостью объявила, что провинція, а тѣмъ болѣе такая, какъ Кіевъ, вовсе не такъ бѣдна литературными силами, чтобы газета потерпѣла ущербъ отъ потери тринадцати сотрудниковъ. Конечно, ни одна петербургская или московская редакція не отважится на столь великолѣпное заявленіе.

Приподнесеніе «Недѣлѣ» титула Колумба. Этимъ тоже не одна г-жа Ефименко занимается. Съ разныхъ точекъ зрѣнія этотъ торжественный актъ совершается и марки-

зомъ Голопузенкой «Русскаго Вѣстника», и размазней «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», и размазней «Новаго Времени», и пылкимъ «литераторомъ - обывателемъ» казанскаго сборника «Первый шагъ», и Jean'омъ qui pleure, и Jean'омъ qui rit, и даже самой «Недѣлей»...

И подо всѣмъ этимъ — ложь, конечно, безсознательная и непреднамѣренная; ложь фактическая или ложь умолчанія, или ложь извращенія... И пора, наконецъ, разоблачить эту ложь, которая тянется больше года, маскируясь хорошими вещами. Я приглашаю только читателя не торопить меня и предоставить мнѣ право говорить и о такихъ вещахъ, которыя на первый взглядъ покажутся ему, можетъ быть, мелочью.

«Намъ дико и чуждо то объективно-литературное отношеніе, которымъ встрѣтила столичная пресса вопросы, затрогиваемые «Недѣлей», говоритъ г-жа Ефименко.—Неужели вся сила въ томъ, чтобы показать, что тогда-то и тогда-то, тамъ-то и тамъ-то такое-то лицо поднимало подобный же вопросъ?» Боже меня избави отъ защиты всего наговореннаго по этому, да и по какому бы то ни было поводу «столичной прессой». Столичная пресса, это—такое собирательное имя, въ которомъ суммируются самыя разношерстныя вещи. Однако, такъ презрительно трактуемая г-жей Ефименко задача «показать, что тогда-то и тогда-то, тамъ-то и тамъ-то, такое-то лицо поднимало подобный же вопросъ», эта задача совсѣмъ ужъ не такъ заслуживаетъ презрѣнія. Я даже недоумѣваю, можно ли ее назвать «объективно-литературною». Конечно, если какой-нибудь единичный писатель выразилъ случайно какую-нибудь мысль, которая потомъ заглохла и затерялась, то напоминаніе объ этомъ обстоятельствѣ представляетъ интересъ только для спеціалиста-историка литературы. Журнальный же дѣятель имѣетъ полное право относиться къ нему довольно хладнокровно. Но дѣло получаетъ совсѣмъ иной видъ, когда извѣстная мысль имѣетъ свою исторію. Не пустяки это, не объективно-литературный интересъ—когда цѣлая группа людей живетъ и умираетъ ради той или другой идеи. Тутъ для сторонника этой мысли становится обязательнымъ, не только во имя литературной честности, но и во имя успѣха дѣла, отчетливо знать, постоянно помнить и возможно часто указывать исторію своей мысли. Замѣчательна въ этомъ отношеніи разница между образомъ дѣйствія европейскихъ и многихъ современныхъ русскихъ писателей. Оставимъ въ сторонѣ мелочныхъ эрудитовъ, вродѣ Рошера или Рау, которые такъ любятъ цитировать древнихъ и новыхъ авторовъ, повидимому, единственно «для познанія всякаго рода мѣстъ». Это—не примѣръ, хотя надо замѣтить, что страсть къ познанію всякаго рода мѣстъ дѣлаетъ сочиненія подобныхъ ученыхъ въ своемъ родѣ драгоцѣнными и незамѣнимыми. Возьмемъ крупныхъ дѣятелей науки и литературы. Возьмемъ, напримѣръ, Геккеля. Этотъ человѣкъ несомнѣнно внесъ «новое слово» въ свою область знанія, а между тѣмъ посмотрите, съ какою тщательностью выискиваетъ онъ не только въ современной, а и въ старой литературѣ преемственную исторію своихъ идей. Онъ не презираетъ задачи, презираемой г-жею Ефименко. Напротивъ, онъ дорожитъ каждою чертою, на которую можетъ указать; какъ на родственную себѣ въ духовномъ отношеніи, хотя это вовсе не мѣшаетъ ему часто очень рѣзко полемизировать даже съ тѣми, къ кому онъ такъ или иначе близокъ. Еще яснѣе эта черта въ другомъ видномъ современномъ дѣятелѣ науки—въ Марксѣ. Очевидно, не «объективно-литературный» интересъ руководитъ этими людьми, а, во-первыхъ, требованія литературной честности, и во-вторыхъ—страстное желаніе успѣха своимъ идеямъ. Они понимаютъ, что дѣло ихъ можетъ только выиграть отъ добросовѣстнаго изслѣдованія историко-литературныхъ корней ихъ идей. Геккелю очень важно показать, что въ твореніяхъ такихъ умовъ, какъ Дарвинъ, Гёте, Ламаркъ, Оценъ, его взгляды имѣютъ свою исторію, а частныя изслѣдованія такихъ-то и такихъ-то второстепенныхъ ученыхъ подтверждаютъ ихъ. Точно также важно и Марксу показать, что, напримѣръ, его теорія цѣнности весьма близка къ теоріи такого авторитетнаго писателя, какъ Рикардо, развитой еще пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ. Понятное дѣло, что никакого умаленія заслугъ Геккеля и Маркса отъ такого образа дѣйствій произойти не можетъ. Напротивъ, въ этомъ именно лежитъ одна изъ важнѣйшихъ заслугъ ихъ, и даже не одна заслуга, а нѣсколько; во-первыхъ, заслуга передъ наукой, потому что они даютъ матеріалъ для исторіи развитія идей; во-вторыхъ, заслуга передъ обыкновенной читающей публикой, потому что она получаетъ возможность провѣрять и сравнивать ихъ выводы съ другими; въ-третьихъ, заслуга въ смыслѣ пропаганды, потому что они связываютъ свои идеи со взглядами людей, репутація которыхъ, въ томъ или другомъ отношеніи, стоитъ въ обществѣ высоко. Такой образъ дѣйствія вовсе не требуетъ слащавости и колѣнопреклоненія, порукой въ томъ рѣзкость полемики тѣхъ же Геккеля и Маркса,—а только добросовѣстности. Дѣйствительно, будьте вы

только добросовѣстны и вы непремѣнно изучите занимающій васъ вопросъ по возможности всесторонне, и непремѣнно будете знать и помнить его литературу, и непремѣнно пожелаете распространенія своихъ взглядовъ, и непремѣнно съ этою цѣлью будете разыскивать предшественниковъ и единомышленниковъ и проч. Словомъ, все дѣло въ добросовѣстности. Но этого-то драгоцѣннаго качества и недостаетъ весьма многимъ, даже очень извѣстнымъ нашимъ писателямъ. Я очень хорошо понимаю всю тяжесть этого обвиненія и произношу его совершенно сознательно.

Недавно вышла книга г. Ватсона «Эпилогъ прусско-французской войны». По разнымъ причинамъ я долженъ отказать себѣ въ удовольствіи подробнѣе поговорить объ этомъ, якобы историческомъ сочиненіи. Скажу нѣсколько словъ только объ одной его сторонѣ. Г. Ватсонъ разсказываетъ многія, совершенно невѣроятныя, просто ни съ чѣмъ несообразныя вещи, въ такой же мѣрѣ несообразныя, какъ сообщенія г. Вагнера о похищеніи духами ордена изъ могилы въ Севастополѣ и т. п. (Пусть читатель обратитъ вниманіе, напримѣръ, на стр. 103 «Эпилога прусско-французской войны»). При этомъ г. Ватсонъ оставляетъ читателя въ неизвѣстности относительно источниковъ, изъ которыхъ онъ добылъ свои свѣдѣнія. Только въ предисловіи говорится, что авторъ пользовался сочиненіями, «большею частью» (надобно бы, кажется, сказать «исключительно») враждебными изслѣдуемому имъ историческому явленію. Такое сочиненіе, конечно, не можетъ быть названо добросовѣстнымъ трудомъ. Очевидно автору не очень-то дороги его воззрѣнія, потому что хоть кое-гдѣ въ литературѣ и раздавались похвалы книгѣ г. Ватсона, но это объясняется только закулисными литературными отношеніями и трудностью положенія въ данномъ случаѣ критики; внѣ же литературныхъ дрязгъ, въ публикѣ, взгляды г. Ватсона, благодаря своей очевидной несообразности и презрѣнію къ источникамъ, необходимо должны понести полное фіаско. А потомъ г. Ватсонъ напишетъ, можетъ быть, даже и очень хорошую и очень правдивую книгу, но ему уже никто не повѣритъ, какъ нѣкогда не дано было вѣры шаловливому пастуху, который предварительно надулъ своихъ односельчанъ неумѣстнымъ крикомъ «волки!» Таковы естественныя послѣдствія литературной недобросовѣстности, обнаруживающіяся рано или поздно.

О г. Ватсонѣ я только мимоходомъ. Въ трудѣ его мы имѣемъ образчикъ недобросовѣстнаго, некритическаго отношенія къ историческимъ источникамъ и фактическимъ даннымъ. Насъ будутъ занимать подобные же критическіе пріемы по отношенію къ исторіи идей.

Хотя г-жа Ефименко и не желаетъ знать, гдѣ и когда кто что говорилъ, но это — только вообще, а въ частности весьма рѣзко подчеркиваетъ, что никто другой, какъ «гг. Кавелинъ, П. Ч. и др.» сказали въ «Недѣлѣ» слово, имѣющее обновить литературу и успокоить провинцію. О г. П. Ч. я уже говорилъ и получилъ отъ него возраженіе (мимоходомъ сказать, я одинъ удостоился этой чести: г. П. Ч. простилъ и г. Пыпину, и газетнымъ хроникерамъ; впрочемъ, объ этомъ, не лишенномъ общаго интереса обстоятельствѣ—ниже). Къ сожалѣнію, возраженіе это не таково, чтобы покончить съ недоразумѣніями, и не таково даже, чтобы вызвать дальнѣйшую полемику. Однако я вернусь еще отчасти къ нему въ связи съ нѣкоторыми другими мыслями, высказанными въ «Недѣлѣ». Теперь напомню только, что рѣчь шла о «деревнѣ», о «народно-психологической подкладкѣ», долженствующей обновить литературу, и проч. Въ этомъ состоитъ то «новое слово», которое сказала «Недѣля» по мнѣнію г. Ефименко и самой почтенной газеты. Это же слово, какъ мы видѣли, приписывается и г. Кавелину.

Г. Кавелинъ былъ нѣкогда писатель чрезвычайно дѣятельный, оказавшій многія услуги русской литературѣ и принадлежавшій къ «западническому» толку. Это было настолько давно, что терминъ «западничество» имѣлъ еще вполнѣ опредѣленный и очень важный смыслъ. Со времени памятнаго общественнаго и литературнаго движенія, начавшагося въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, г. Кавелинъ постепенно сходитъ со сцены. Изъ первыхъ рядовъ литературы, въ которыхъ онъ стоялъ въ сороковыхъ годахъ, онъ уходитъ куда-то назадъ, увядаетъ. Въ наши дни онъ опять расцвѣтаетъ, и вотъ ему приписывается даже новое «слово»... Нельзя сказать, чтобы въ періодъ своего увяданія г. Кавелинъ совсѣмъ исчезъ съ литературнаго горизонта и рѣшительно не обращалъ на себя вниманія. Напримѣръ, его прекрасная статья объ общинномъ землевладѣніи, напечатанная въ «Атенеѣ» 1859 года, была замѣчена и оцѣнена по достоинству. Но въ общемъ онъ, въ числѣ многихъ другихъ представителей сороковыхъ годовъ, былъ отодвинутъ силами болѣе свѣжими, молодыми, энергическими. Извѣстно, что это обстоятельство сопровождалось нѣкоторымъ недовольствомъ, даже озлобленіемъ отодвинутыхъ. Г. Кавелинъ остался не чуждъ этому озлобленію, хотя, надо правду сказать, оно никогда не достигало въ немъ такой сте-

нени и не принимало такихъ грубо-полицейскихъ формъ, какъ у многихъ его сверстниковъ. Однако оно было и есть. Помнится, въ 1865 году г. Кавелинъ, по поводу диссертаціи г. Неклюдова, напечаталъ въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» статью (она была, кажется, издана потомъ отдѣльной брошюрой), въ которой весьма недвусмысленно принялъ участіе въ позорной травлѣ разныхъ «измовъ». Это былъ однако голосъ и недостаточно громкій, и недостаточно оригинальный, чтобы остановить на себѣ, въ какомъ бы то ни было смыслѣ, вниманіе общества и литературы. Г. Кавелинъ не заслужилъ ни оиміамовъ, ни ненависти— не то, что г. Тургеневъ, или г. Писемскій, или Щербина и т. п. Теперь, какъ уже сказано, г. Кавелинъ опять расцвѣтаетъ. Эта новая, вторая его извѣстность началась съ долго утомлявшихъ читателей «Вѣстника Европы» психологическихъ этюдовъ, въ которыхъ авторъ обнаружилъ болѣе усердія и благихъ намѣреній, чѣмъ истинно философской мысли и пониманія избраннаго имъ предмета. Статьи г. Сѣченова, нашего журнала и, сколько помнится, «Знанія» не оставили въ этомъ, кажется, никакого сомнѣнія. Г. Кавелинъ хотѣлъ быть оригинальнымъ, новаторомъ, но оказался желающимъ примирить непримиримое. Оказался онъ такимъ, конечно, только для другихъ, а не для самого себя. Затѣмъ, явилось въ «Недѣлѣ» нѣсколько его статей, въ которыхъ развивалась мысль о возможности и необходимости появленія у насъ самостоятельной, оригинальной философской мысли, болѣе или менѣе отличной отъ западно-европейской. Словомъ, г. Кавелинъ явился провозвѣстникомъ *національной* русской философіи. Мнѣ нѣтъ нужды трактовать объ этихъ статьяхъ по существу. Интереснѣе статья «Проектъ поземельной реформы», написанная по поводу достойной лишь смѣха книги г. Миттельштедта «Новыя экономическія начала общественнаго строя». Г. Кавелинъ выразилъ здѣсь нѣсколько очень справедливыхъ мыслей о крестьянствѣ, какъ о важнѣйшемъ, но часто забываемомъ элементѣ русской жизни; о разницѣ между европейскою исторіей и русской, о поземельной собственности, какъ о гарантіи экономической независимости народныхъ массъ. Надо замѣтить, что г. Миттельштедтъ, не смотря на свою фамилію, есть ярый врагъ нѣмцевъ и столь же ярый другъ славянъ. Сообразно этому онъ ставитъ вопросъ о русскомъ сельскомъ хозяйствѣ на чисто національную почву, противъ которой ничего не имѣетъ и его оппонентъ, г. Кавелинъ; онъ только вноситъ извѣстныя поправки, очень, конечно, радикальныя.

Вотъ откуда «мыслящіе провинціалы» получили, по словамъ г-жи Ефименко, «просіяніе своего ума». Что-жъ! Это хорошо. Лучше отсюда, чѣмъ ни откуда или изъ какихъ-нибудь неблаговонныхъ мѣстъ. Но мыслящіе провинціалы могли на этотъ счетъ просвѣтиться гораздо раньше (и, забѣгая впередъ, прибавлю—лучше) изъ другихъ источниковъ, еще въ то время, когда г. Кавелинъ не расцвѣталъ вторично. Мыслящіе провинціалы хотятъ поставить крестъ надъ этими источниками, дабы водрузить знамя «Недѣли» на новооткрытомъ материкѣ, доселѣ не знавшемъ обитателей. Но, можетъ быть, самъ г. Кавелинъ окажется добросовѣстнѣе этихъ жителей необитаемыхъ острововъ? Прекрасный поводъ для обнаруженія этого прекраснаго качества представлялся ему въ статьѣ «Общинное владѣніе», напечатанной въ только что вышедшихъ номерахъ «Недѣли» (3—5 и 6—7). И вотъ какъ г. Кавелинъ поступилъ. Въ бѣгломъ историческомъ очеркѣ отношеній русской литературы и русскаго общества къ поземельной общинѣ онъ говоритъ, что были, дескать, у насъ на этотъ счетъ всегда двѣ партіи: славянофилы и западники. Въ первый разъ споръ возникъ между ними въ сороковыхъ годахъ. Славянофилы видѣли въ общинѣ «воплощеніе высокаго христіанскаго идеала взаимныхъ отношеній между людьми, удержавшееся только у насъ и притомъ только въ крестьянствѣ»; западники, напротивъ, смотрѣли на общину, какъ на остатокъ патріархальнаго быта, не соотвѣтствующій новымъ условіямъ жизни и потому подлежащій разложенію. Споръ въ томъ же смыслѣ получилъ новую пищу въ диссертаціи г. Чичерина (1856 г.), а затѣмъ подошло время отмѣны крѣпостного права. Тутъ пререканія должны были уже спуститься съ высоты чисто теоретическихъ разсужденій на практическую почву. «Поборниками общиннаго владѣнія снова выступили московскіе славянофилы, вооруженные большимъ практическимъ знаніемъ великорусскаго народнаго быта, а противниками ихъ, защитниками личной собственности и участковаго владѣнія — западники, опиравшіеся на законы политической экономіи и блистательные результаты примѣненія ихъ въ западной Европѣ... Члены редакціонныхъ комиссій (вырабатывавшихъ Положеніе 19 февраля) принадлежали, по вопросу объ общинномъ владѣніи, къ одному изъ двухъ воззрѣній, между которыми раздѣлялись, отчасти и теперь раздѣляются мыслящіе русскіе люди».

Прочитавъ этотъ ретроспективный взглядъ на наше недавнее прошлое, я истинно пришелъ въ ужасъ. Страшно за литературу и общество, въ которыхъ возможны подобныя,

якобы историческія обозрѣнія. Какъ могъ написать его г. Кавелинъ, за которымъ утвердилась репутація писателя, хотя не особенно блестящаго, но всегда серьезнаго и добросовѣстнаго? Какъ могла оставить его безъ комментаріевъ «Недѣля», которая, до открытія необитаемыхъ острововъ «Печевіи», «Кавелиніи» и всего архипелага «Недѣліи», была газетой, хотя нѣсколько вялой и скучной, но полезной именно своей добросовѣстностью и отсутствіемъ качествъ, характеризующихъ Ивана Непомнящаго? Безъ сомнѣнія, «Недѣлѣ» очень хорошо извѣстно, что по вопросу объ общинѣ наша литература и общество, «мыслящіе русскіе люди», съ 50-хъ годовъ дѣлятся не на двѣ, а на три, совершенно опредѣленныя партіи; что «воплощеніемъ высокаго христіанскаго идеала» и жалкимъ остаткомъ патріархальнаго быта далеко не исчерпываются понятія русскихъ мыслящихъ людей объ общинѣ; что существовало задолго до открытія Печевіи и Кавелиніи третье воззрѣніе, къ коему во времена своей почтенной скромности «Недѣля» примыкала откровенно и, безъ умолчаній. Это третье воззрѣніе, вполнѣ опредѣленное относительно общины, не касалось однако только ея: оно раздвигалось въ цѣлое міросозерцаніе, которое пользовалось глубокимъ, даже восторженнымъ уваженіемъ однихъ и самою злобною ненавистью другихъ; оно пустило въ обществѣ неистребимые корни, воспитало и, безъ сомнѣнія, воспитаетъ еще не одно поколѣніе, въ томъ числѣ и знаменитый архипелагъ «Недѣлію». Поэтому не объективно-литературный интересъ заставляетъ меня напомнить объ немъ. Литературный хроникеръ «Молвы» предполагаетъ, что нынѣ народилась новая литературная школа «національнаго сознанія». Этотъ терминъ не привился и, я надѣюсь, не привьется. Почтенный хроникеръ зачисляетъ въ эту школу и меня, и знаменитый архипелагъ. Я не могу принять этой чести по причинамъ, которыя отчасти выяснятся ниже; что же касается до архипелага, то какъ осмѣлился бы онъ назвать себя школой русскаго «національнаго сознанія», когда самая помпа открытія его есть ложь на «мыслящихъ русскихъ людей» и недостойное запамятованіе заслугъ русской литературы? Нѣмцы полагаютъ, что они теперь находятся въ періодѣ «національнаго сознанія», и, конечно, они имѣютъ больше правъ на эту вывѣску, чѣмъ какая бы то ни было русская «школа». Но вѣдь они ставятъ памятникъ Арминію въ Тевтобургскомъ Лѣсу, а не говорятъ, что Арминія никогда не было; выискивая вездѣ бойцовъ за то, что имъ теперь кажется хорошимъ, они даже готовы растянуть каждое ничтожное лыко въ огромнѣйшую строку. Здѣсь много тоже лжи, но это — та именно ложь, которая неизбѣжна въ періоды «національнаго сознанія». Здѣсь нѣтъ лжи мелкаго озлобленія на своихъ предшественниковъ за то, что они—предшественники, что они открыли Кавелинію раньше Кавелина или, по крайней мѣрѣ, описали ее лучше его. Дѣлаю эту оговорку въ виду упомянутой выше статьи г. Кавелина въ «Атенеѣ». Хотя статья эта стояла совершенно независимо отъ дѣятельности людей, такъ радикально выскочившихъ нынѣ изъ памяти г. Кавелина и «Недѣли», но была проникнута отчасти тѣмъ же духомъ, отличаясь только меньшею яркостью и послѣдовательностью. Въ статьѣ этой г. Кавелинъ отстаивалъ общину и, слѣдовательно, не видѣлъ въ ней жалкаго остатка патріархальнаго быта, но не видѣлъ въ ней также «воплощенія высокаго христіанскаго идеала». Такимъ образомъ, распредѣляя нынѣ всѣ мнѣнія, высказанныя въ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годахъ, по двумъ рубрикамъ, г. Кавелинъ доводитъ забвеніе даже до самозабвенія. Такъ именно думалъ я, прочитавъ №№ 3—5 «Недѣли». Это было бы, по крайней мѣрѣ, логично и добросовѣстно, на сколько возможна добросовѣстность въ некрасивомъ положеніи, въ которое поставилъ себя г. Кавелинъ. Но №№ 6 — 7 разочаровали меня. «Недѣля» дѣйствительно херитъ свое собственное прошлое, почерпая нравственное вознагражденіе въ репутаціи Колумба и Америго Веспуччи. Г-жа Ефименко и другіе провинціальные писатели, провозглашающіе открытіе новаго архипелага, тоже херятъ свое прошлое. Но г. Кавелинъ... pas si bête. Свою статью онъ заканчиваетъ такъ: «Такіе же взгляды высказывали мы семнадцать лѣтъ тому назадъ въ статьѣ, напечатанной въ «Атенеѣ», издававшемся въ 1859 году въ Москвѣ»...

Итакъ, семнадцать лѣтъ тому назадъ существовали московскіе славянофилы, существовали враги общины, опиравшіеся на законы политической экономіи и блистательные результаты личнаго землевладѣнія въ западной Европѣ, да еще существовалъ... г. Кавелинъ. Правда это, г. Гайдебуровъ? (г. Кавелина я не спрашиваю).

Есть впрочемъ въ статьѣ г. Кавелина одно мѣсто, на которое «Недѣля», если захочетъ (въ чемъ я впрочемъ сомнѣваюсь), можетъ указать, какъ на пополненіе указаннаго пропуска. Вотъ это мѣсто цѣликомъ: «Не мало у насъ и такихъ противниковъ и защитниковъ общиннаго землевладѣнія, которые смотрятъ на него сквозь *европейскія очки* (это слово часто раздается на новооткрытыхъ необитаемыхъ островахъ) и примѣняютъ къ нему европейскіе шаблоны.

Консерваторамъ этого пошиба мерещатся въ общинномъ землевладѣніи зародыши европейскаго соціализма и коммунизма, которые со временемъ, когда разовьются, должны разрушить священное право личной собственности. Естественно, что всякій защитникъ общиннаго крестьянскаго землевладѣнія долженъ имъ казаться крайнимъ изъ крайнихъ, краснымъ, чуть-чуть не коммунаромъ и петрольщикомъ. Къ сожалѣнію, есть у насъ и такіе защитники общиннаго владѣнія, которые наивно принимаютъ вызовъ подобныхъ противниковъ и, стоя съ ними на одной почвѣ, примѣняя подобно имъ европейскую мѣрку къ нашимъ общественнымъ явленіямъ, объясняютъ общинное владѣніе въ смыслѣ самыхъ крайнихъ радикальныхъ европейскихъ воззрѣній».

Вотъ единственный намекъ г. Кавелина на существованіе у насъ защитниковъ общины—не славянофиловъ. И какіе это выходятъ у него жалкіе, глупые люди! Къ сожалѣнію, г. Кавелинъ еще пощадилъ ихъ и выразился не достаточно точно. Что въ самомъ дѣлѣ значитъ «объяснять общинное владѣніе въ смыслѣ самыхъ крайнихъ радикальныхъ европейскихъ воззрѣній»? Я думаю, что какъ упрекъ, это—безсмыслица. Я думаю, что высказывая его, г. Кавелинъ обнаружилъ только недостатокъ брезгливости, ибо, поднявъ его прямо съ улицы, не потрудился даже хоть маленько пообчистить приставшую къ нему уличную грязь, а такъ, какъ есть, во всей неприкосновенности безобразія, передалъ его г. Гайдебурову для тисненія. А тотъ тиснулъ... Vous avez bien mérité de la patrie, публицисты «національнаго сознанія»! Требуйте себѣ лавровыхъ вѣнковъ и тріумфальныхъ воротъ, требуйте смѣлѣе, наглѣе—и вы ихъ получите. Но помните, что ваше patrie есть новооткрытый архипелагъ, а его составляютъ едва ли не тѣ самые острова, на которыхъ растетъ трынъ-трава. Поведеніе г. Кавелина относительно исторіи взглядовъ на общину—не случайное: оно входитъ въ систему. Г. Кавелинъ ведетъ свою линію упорно и разносторонне. Такъ, въ той же «Недѣлѣ», онъ напечаталъ въ прошломъ году статью «Бѣлинскій и послѣдующее движеніе нашей критики», изъ которой видно, что со временъ Бѣлинскаго (т. е. со временъ перваго расцвѣта г. Кавелина) критика наша двигалась къ ничтожеству. И здѣсь, значитъ, онъ усиливается похерить все то движеніе, которое отодвинуло его, г. Кавелина, изъ первыхъ рядовъ литературы въ задніе... Объяснять чью-нибудь литературную дѣятельность мотивами уязвленнаго мелкаго самолюбія и чисто личнаго озлобленія—дѣло тяжелое и непріятное. Можетъ быть, приведенные факты допускаютъ иное объясненіе, но это во всякомъ случаѣ—факты, и я попрошу «Недѣлю», если она удостоитъ меня отвѣтомъ, держаться фактовъ же, т. е., напримѣръ, доказать, что литература по вопросу объ общинѣ дѣйствительно исчерпывается славянофилами, западниками—противниками общины, и г. Кавелинымъ, да развѣ еще кучкой глупцовъ, едва заслуживающихъ (и то своею глупостью) упоминанія. Не говорите, господа «мыслящіе провинціалы», о мертвенномъ, «объективно-литературномъ» отношеніи къ дѣлу. Я обвиняю «Недѣлю» не только въ умолчаніи, не только въ извращеніи и въ нарушеніи требованій литературной добросовѣстности. Я обвиняю ее въ томъ, что она отнимаетъ у васъ цѣлую драгоцѣнную литературу. Если вы, вслѣдъ за г. Кавелинымъ и по его наущенію, отвернетесь отъ того, что у насъ было писано по вопросу объ общинѣ, то вы же останетесь въ убыткѣ. Я вовсе не то говорю, чтобы г. Кавелинъ обязанъ былъ испещрить свою статью цитатами въ такомъ, напримѣръ, родѣ: «въ томъ же самомъ «Атенеѣ», гдѣ появилась моя статья, только годомъ раньше, была напечатана статья г. Юрьина, въ которой отношеніе общиннаго землевладѣнія къ различнымъ европейскимъ ученіямъ было разработано вполнѣ безпристрастно и безъ всякихъ европейскихъ очковъ». Или: «въ рѣчахъ В. А. Панаева выразился взглядъ на общину, одинаково далекій и отъ славянофильской доктрины и отъ воззрѣній западниковъ—противниковъ общины». Или: «Экономическій указатель», ратовавшій противъ общины во имя европейскихъ экономическихъ теорій, встрѣтилъ сильнѣйшій отпоръ не со стороны славянофиловъ». И проч., и проч. Это дѣло библіографіи и спеціальной исторіи литературы. Но г. Кавелинъ поднимаетъ руку на цѣлое направленіе, а этого, конечно, не долженъ бы былъ дѣлать человѣкъ, уважающій себя и дорожащій успѣхомъ своихъ идей.

Каковы бы однако ни были мотивы г. Кавелина, но одна ласточка весны не дѣлаетъ. Не могъ бы онъ совершать публично, во всеуслышаніе актъ столь явной литературной недобросовѣстности и получать за это не свистки, а лавровый вѣнокъ, еслибы тому не способствовали какія-нибудь стороннія и болѣе или менѣе общія причины. Для выясненія этихъ причинъ позвольте мнѣ напомнить вамъ въ самыхъ общихъ чертахъ, что именно такъ упорно желаетъ вытереть изъ вашей памяти г. Кавелинъ, и не онъ одинъ, какъ сейчасъ увидимъ. Повторять то, что много разъ уже было говорено, не весело. Но что же дѣлать, если у людей такъ коротка память.

Оживленіе нашей литературы и общества началось съ концомъ крымской войны. Два ряда фактовъ и два теченія мысли вырѣзались при этомъ съ особенною яркостью. Во-первыхъ, была усмирена наша *національная* гордость; во-вторыхъ, оказалось необходимымъ улучшить положеніе *народа* (слушайте, г. Фаустъ Щигровскаго уѣзда и, если вамъ на будущее время придетъ охота опять сочинять невозможныя слова вродѣ «ультранаціоналы», то научитесь, по крайней мѣрѣ, прикладывать ихъ куда слѣдуетъ; запомните разъ на всегда, что нація и народъ, nation и peuple—не синонимы). Это двойственное явленіе отразилось на извѣстной части нашего общества и литературы, наиболѣе живой и энергичной, слѣдующимъ образомъ. Прежде всего утратили всякій смыслъ славянофильство и западничество, какъ самостоятельныя доктрины. Не въ пошломъ эклектизмѣ было дѣло; не то, чтобы явилась надобность или обнаружилось поползновеніе примирить эти два, по существу своему непримиримыя ученія. Нѣтъ, надлежало покончить съ самимъ основаніемъ той и другой доктрины, просто выкинуть его изъ счета. Сообразно этому получилось вполнѣ свободное отношеніе къ «Европѣ», къ выработаннымъ ею теоріямъ, къ ея исторіи, къ ея надеждамъ и разочарованіямъ, а равно и къ Россіи, къ «началамъ русскаго народнаго быта», о которыхъ такъ много толковали славянофилы. Образовалось, такъ сказать, новое высшее судилище, передъ которымъ «европейское» и «русское», «національное», не имѣли сами по себѣ ровно никакого значенія—ни положительнаго, ни отрицательнаго. Русская литература смѣло могла тогда сказать, что для нея «нѣсть эллинъ, ни іудей». Это не былъ какой-нибудь совершенно внезапный скачокъ общественнаго развитія. Къ такому же результату въ общихъ чертахъ пришли уже и наиболѣе чуткіе дѣятели сороковыхъ годовъ—конечно, немногіе. Да наконецъ, и самые завзятые, самые крайніе западники и славянофилы фактически не могли преклоняться передъ «Европой» вообще и передъ «началами русскаго быта» въ частности. Они по необходимости произвольно выкидывали одни изъ «Европы», другіе изъ нашихъ національныхъ особенностей то, что имъ не нравилось, что не соотвѣтствовало ихъ собственнымъ идеаламъ, и только на остатокъ отъ этой операціи навѣшивали ярлыкъ своей доктрины. Затянутые въ корсетъ западничества и славянофильства, они производили эту разборку безсознательно и несвободно. Эта-то сознательность, эта-то свобода и народилась послѣ крымской войны. Мы видимъ въ самомъ дѣлѣ, что лучшіе люди того времени—тѣ самые, которые теперь, черезъ какихъ нибудь пятнадцать-двадцать лѣтъ, когда уже износились сапоги, въ которыхъ мы шли за гробами ихъ, игнорируются и даже оплевываются—эти люди не придавали никакой цѣны титуламъ «европейскій» и «національный». На западѣ или на востокѣ, на сѣверѣ или на югѣ народилась извѣстная идея или извѣстный общественный фактъ—они входили въ новое міросозерцаніе и занимали въ немъ соотвѣтственное положеніе, трактовались въ положительномъ или отрицательномъ смыслѣ по своему содержанію, безъ переклички западничества и славянофильства, которая нынѣ опять входитъ въ моду, безъ какихъ бы то ни было европейскихъ или національныхъ очковъ. Это однако вовсе не значитъ, чтобы для нихъ не имѣла цѣны историческая почва. Если русская жизнь народила или сохранила нѣчто, съ ихъ точки зрѣнія драгоцѣнное, они прямо указывали на это обстоятельство и естественно видѣли въ немъ залогъ успѣха своихъ идей. Такъ было именно съ общиной. Г. Кавелинъ говоритъ: «*Никому* не приходило тогда въ голову, что крестьяне могутъ когда-нибудь, какъ случалось впослѣдствіи, домогаться обращенія участковаго владѣнія въ общинное». *Никому* — это слишкомъ сильно сказано. Г. Кавелину это дѣйствительно не приходило въ голову, какъ видно изъ его статьи въ «Атенеѣ»; но другимъ и именно тѣмъ, кого онъ нынѣ заднимъ числомъ такъ глубоко презираетъ—приходило. Мало того, на этой возможности основывались большія надежды, причемъ историческая прочность общины, ея вѣковѣчность въ жизни русскаго народа представлялась превосходнымъ базисомъ. Г. Кавелинъ вѣроятно именно по этому поводу строитъ свою маленькую (ахъ, какую маленькую!) вавилонскую башню изъ «жупеловъ» вродѣ европейскихъ очковъ, петрольщиковъ, соціалистовъ и проч. и затѣмъ, величественно уперевъ руки въ боки, усаживается на самой вершинѣ башни, воображая, что она дѣйствительно достроена до неба. Господь Богъ, во гнѣвѣ своемъ на строителей вавилонской башни, смѣшалъ ихъ языки. Онъ смѣшалъ и языки строителей маленькой вавилонской башни «Недѣли». «Европейскія очки», въ качествѣ ли упрека или похвалы, очевидно должны быть разбиты въ дребезги, по крайней мѣрѣ, по отношенію къ тому времени, о которомъ мы говоримъ. Въ то время вся признанная, школьная европейская наука считала общину безповоротно сданною въ архивъ и осужденною исторіей на забвеніе. А русская литература тогда не чуралась европейской науки. Поэтому не

стаивалъ «единство цивилизаціи». Много весьма существенныхъ услугъ русскому обществу оказалъ онъ на этомъ поприщѣ. Но продолжая и донынѣ борьбу съ славянофилами все съ тѣмъ же азартомъ или, вѣрнѣе, съ тѣмъ же хладнокровіемъ и тѣми же пріемами, онъ обратился, наконецъ, въ нѣчто вродѣ барона фонъ-Грюнвальюса.

Баронъ фонъ-Грюнвальюсъ,
Извѣстный въ Германіи,
Въ забралѣ и латахъ
На камнѣ предъ замкомъ,
Предъ замкомъ Амальи
Сидитъ, принахмурясь!..
. . . . . .
Года за годами,
Бароны воюютъ,
Бароны пируютъ —
Баронъ фонъ-Грюнвальюсъ
Все въ той же позицьи
На камнѣ сидитъ...

Если баронъ фонъ-Грюнвальюсъ есть г. Пыпинъ, то замокъ Амальи, конечно—«единство цивилизаціи». Этотъ замокъ прекрасной дѣвы (она—дѣва, это вѣрно: по крайней мѣрѣ, она никого не родила и не родитъ) даетъ мнѣ отличный случай для разъясненія новаго слова, сказаннаго «Недѣлей». Такъ какъ при этомъ рѣчь будетъ объ «Отеч. Запискахъ», то да позволено мнѣ будетъ, во избѣжаніе уличеній въ личномъ самолюбіи и раздраженіи, сдѣлать слѣдующее замѣчаніе: руководствуясь личнымъ самолюбіемъ, я долженъ бы былъ только благодарить «Недѣлю», ибо въ нѣкоторыхъ ея прошлогднихъ статьяхъ мнѣ была отведена такая роль въ литературѣ, выше которой не можетъ быть... Я думая, что это—недоразумѣніе со стороны «Недѣли»... Увѣряю васъ, что и это замѣчаніе мнѣ крайне непріятно дѣлать. Но я счелъ его нужнымъ, на всякій случай, потому что читатель бываетъ разный...

Въ своемъ очеркѣ литературы по вопросу объ общинѣ г. Кавелинъ касается и современной литературы, причемъ указываетъ даже на такіе труды, которые еще только имѣютъ появиться (г-жи Ефименко), но зато не упоминаетъ ни работъ г. Клауса, ни, напримѣръ, замѣчательной (таковой она признается всѣми знающими людьми, напримѣръ, г. Е. Якушкинымъ) статьи г. Л—ша, напечатанной у насъ. Однако главная струя забвенія и презрѣнія все-таки устремлена на литературу пятидесятыхъ-шестидесятыхъ годовъ. Обратное отношеніе мы видимъ у другого сотрудника «Недѣли», г. П. Ч. Правда, и онъ коритъ старую литературу за «европейскія очки», но находитъ для нея многія смягчающія обстоятельства. Главные же его громы направлены на литературу нынѣшнюю, причемъ больше всего достается «Отеч. Запискамъ». Я уже упоминалъ, что возраженія г. Пыпина, «Дѣла» и газетныхъ хроникеровъ онъ только принялъ къ свѣдѣнію, тогда какъ мои побудили его написать довольно сердитый отвѣтъ. Точно также, въ статьѣ «Отчего безжизненна наша литература», онъ главнымъ образомъ занятъ промахами (или тѣмъ, что ему кажется промахами) «Отеч. Записокъ». Обращая ваше вниманіе на эти мелочи, я не забываю, что это—мелочи, и значительно сокращаю относящіеся сюда факты. Я надѣюсь однако, что теперь, когда съ г. Кавелинымъ мы уже почти покончили, читатель убѣдился, что мелочи уясняютъ иногда очень многое. Другое отличіе г. П. Ч. отъ г. Кавелина состоитъ въ томъ, что послѣдній, въ сущности повторяя многія мысли литературы пятидесятыхъ - шестидесятыхъ годовъ, или молчитъ объ ней или презираетъ ее; г. же П. Ч. откровенно заявляетъ, что у него съ «Отеч. Записками» «много точекъ соприкосновенія».

Много или мало—это яснѣе обнаружится впослѣдствіи, когда г. П. Ч. потрудится нѣсколько обстоятельнѣе и полнѣе развить свои взгляды, а теперь это—дѣло темное, Взять, напримѣръ, замокъ Амальи, «единство цивилизаціи». Я противопоставилъ ему теорію типовъ и степеней развитія. О типахъ и степеняхъ развитія говоритъ также г. П. Ч., а вслѣдъ за нимъ и г-жа Ефименко. Но говоримъ ли мы одно и то же—это еще неизвѣстно. Теорія типовъ и степеней развитія не представляетъ по существу чего-нибудь новаго. Элементы ея даны и разрабатаны литературой 50—60 годовъ, съ другой точки зрѣнія разработывались они славянофилами еще съ сороковыхъ годовъ Славянофилы вѣдь тоже предполагали, что Европа стоитъ на весьма высокой степени развитія, но что *типъ* національнаго русскаго развитія выше. Если этихъ словъ и не было говорено (да и то было, именно, помнится, въ книгѣ г. Данилевскаго «Европа и Россія»), то суть была именно такова. Конечно, та литература 50—60-хъ годовъ, о которой у насъ идетъ рѣчь, съ этимъ согласиться не могла и утверждала, что цивилизація едина и національностей не знаетъ. Изъ этого однако отнюдь не слѣдуетъ, чтобы ей чуждо было различеніе типовъ развитія, независимо отъ его степени. Она, разумѣется, очень хорошо понимала, что, напримѣръ, средневѣковый и новѣйшій европейскій хозяйственный строй, или французская, англійская и русская система землевладѣнія представляютъ совершенно кореннымъ образомъ различные типы могущіе имѣть свои весьма различныя степени развитія. Если же она продолжала от-

стаивать «единство цивилизаціи, то въ томъ только смыслѣ, что историческій опытъ однихъ народовъ не долженъ проходить даромъ для другихъ; что между всѣми народами неизбѣжно происходитъ обмѣнъ идей; что типы развитія не замыкаются въ рамки національностей, что они могутъ переходить въ другой; что, наконецъ, европейскія массы, равно какъ и лучшіе умы въ Европѣ, чѣмъ дальше, тѣмъ больше тяготѣютъ къ тому типу общественнаго строя, частное выраженіе и невысокую степень развитія котораго представляетъ наша община. Я глубоко убѣжденъ, что все это—сама истина, требующая только, какъ и всякая истина, разъясненія, болѣе точнаго формулированія, дальнѣйшаго развитія и новыхъ приложеній. Такъ напримѣръ, литература 50—60-хъ годовъ, если не исключительно, то преимущественно, подавляющепреимущественно цѣнила въ быту русскаго народа общинное землевладѣніе. Въ 15—20 лѣтъ (и право этимъ нечего гордиться) могли открыться въ народной жизни другія не менѣе драгоцѣнныя явленія, а съ другой стороны и европейская исторія могла выставить новые факты. Въ сущности же положеніе г. Пыпина, какъ барона фонъ-Грюнвальюса, нѣсколько комично не столько потому, что онъ

Все въ той же позицьи
На камнѣ сидитъ,

сколько въ силу свойствъ самой его «позицьи», въ силу ея односторонности. Г. Пыпинъ всегда былъ этимъ грѣхомъ грѣшенъ, но никогда односторонность его не бросалась такъ въ глаза, потому что уравновѣшивалась работами его сотрудниковъ. Теперь онъ такого уравновѣшенія лишенъ, и потому-то такъ ясна дѣвственность его Амальи.

Итакъ, предлагая теорію типовъ и степеней развитія, я только обобщилъ и формулировалъ истины, давно пущенныя въ умственный обиходъ русскаго общества и отчасти забытыя. Я считаю ихъ достояніемъ драгоцѣннымъ и въ особенности рекомендую ихъ имѣть въ виду тѣмъ, кто хочетъ правильно размышлять о сложныхъ и запутанныхъ вопросахъ, въ которыхъ фигурируютъ смежныя, но не покрывающія другъ друга понятія націи и народа. Я не претендовалъ ни на какое «новое слово»—напротивъ: постарался отыскать его даже тамъ, гдѣ едва ли кто предполагалъ его найти—въ старыхъ сочиненіяхъ гр. Л. Толстого. Новое слово приписывается «Недѣлѣ», да и она сама въ этомъ, кажется убѣждена. Что же она высказала? Отвѣчу прямо: «Недѣля» отчасти *почти буквально* (подчеркиваю) повторила все вышеизложенное, только бросивъ камень въ своихъ предшественниковъ, а отчасти подставила вмѣсто идеи народа идею націи. Изъ этой послѣдней операціи не могло выдти ничего, разумѣется, кромѣ ряда противорѣчій, двусмысленностей и туманностей. «Дѣло» и г. Пыпинъ справедливо указали на близость новаго слова «Недѣли» съ идеями славянофиловъ и почвенниковъ. Разница однако въ томъ, что тѣ (въ особенности славянофилы) были несравненно цѣльнѣе, смѣлѣе, послѣдовательнѣе, потому что имъ не мѣшали ингредіенты литературы 50—60-хъ годовъ, которые «Недѣлею» хотя и презираются, но тѣмъ не менѣе эксплуатируются. Вы замѣтили, конечно, несправедливое показаніе г. Кавелина, будто община была въ глазахъ славянофиловъ воплощеніемъ высокаго христіанскаго идеала. Это, конечно, неправда, собственно не полная правда, потому что славянофилы видѣли въ общинѣ главнымъ образомъ продуктъ русскаго національнаго быта, хотя, конечно, пріурочивали сюда и христіанство, точнѣе сказать, православіе. Правда, г. Достоевскій (все-таки не чистый славянофилъ), въ послѣднемъ нумерѣ своего «Дневника писателя», указываетъ на православіе, какъ на коренное начало русскаго народнаго духа, но этимъ отнюдь не исчерпывается славянофильская доктрина. Если же г. Кавелинъ поставилъ дѣло такимъ образомъ, то единственно потому, что и самъ онъ въ пику «европейскимъ очкамъ», склоненъ пристегнуть къ существительному «община» прилагательное «національный», а между тѣмъ объявить себя славянофиломъ не смѣетъ. Это комически наивное стремленіе сѣсть незамѣтно для публики между двухъ стульевъ въ г. Кавелинѣ еще не такъ сильно, какъ въ г. П. Ч. Г. Кавелинъ еще развѣ только въ помыслахъ о національной русской философіи обнаруживаетъ его.

Г. П. Ч. хочетъ «бороться съ застарѣлымъ мнѣніемъ, доставшимся въ наслѣдство отъ продолжительнаго періода, будто Россія только отстала отъ запада, отличается отъ него единственно *степенью* развитія, тогда какъ центръ тяжести вопроса, не въ степени, а въ *типѣ*, въ характерѣ развитія» («Недѣля», 1875 г., № 44-й). Что-жъ! Это хорошо—боритесь, но помните, что борьбу вы можете вести двоякимъ образомъ. Или вы пріурочите борьбу къ знамени національности—и тогда вы предадитесь хвастовству, исключительности и безсознательному выбору элементовъ народнаго русскаго быта—словомъ, болѣе или менѣе повторите сказанное славянофилами. Или же вы выберете знамя народа—и въ такомъ случаѣ будете охотно черпать изъ европейскаго опыта и европейской науки, совершенно

трезво относиться къ приснопамятнымъ особенностямъ русскаго народнаго быта и не откажете Европѣ въ возможности развитія по наилучшему типу, каковъ бы онъ ни былъ въ данную минуту—русскій или европейскій. Г. П. Ч. предпочитаетъ однако шествовать по обѣимъ этимъ путямъ сразу, отчего, конечно, происходитъ путаница. Уже призывъ къ борьбѣ съ «застарѣлымъ мнѣніемъ» оканчивается такимъ афоризмомъ: «а онъ (типъ развитія) у Россіи всегда былъ и впередъ будетъ иной». Не видать, значитъ, Европѣ лучшаго будущаго, какъ своихъ ушей! Вѣчно ей оставаться при ея теперешнемъ непривлекательномъ (такъ характеризуетъ его самъ г. П. Ч.) типѣ! Печально для Европы, но зато недурно для насъ. Я думою даже, что незачѣмъ бороться съ «застарѣлымъ мнѣніемъ», если такъ ясно, что типъ развитія нашего отечества всегда былъ и впередъ будетъ иной. Тамъ что ни говори, а «будетъ иной»... Это—примѣръ національной исключительности и вѣры въ какую-то таинственную, непреодолимую силу основъ народнаго быта, вѣры, которая надѣлала бы намъ много бѣдъ, если бы могла укрѣпиться. А вотъ примѣръ національнаго хвастовства и безсознательнаго подбора элементовъ народнаго быта. Статья «Наша національная особенность» («Недѣля», № 31) начинается такъ: «Въ послѣднее время въ нашей умственной жизни сказывается одна рѣзкая особенность, которую я охарактеризовалъ бы такъ: сознаніе необходимости самобытнаго, національнаго направленія въ разныхъ сферахъ дѣятельности». Затѣмъ поминаются г. Кавелинъ съ его проектомъ національной философіи, генералъ Фадѣевъ, г. Стронинъ, г. Энгельгардтъ, статья гр. Толстого о народномъ образованіи. «Даже,—продолжаетъ г. П. Ч.—въ группѣ лицъ, которыя въ умственномъ отношеніи жили почти исключительно общечеловѣческими идеями, не замѣчая и не зная существующей Россіи, даже въ этой группѣ все болѣе и болѣе укореняется убѣжденіе въ необходимости сначала серьезно ознакомиться съ народнымъ бытомъ». Помянувъ еще русскую музыкальную школу и русскую школу живописи, г. П. Ч. объявляетъ, что «всѣ эти разрозненныя явленія говорятъ, каждое на своемъ языкѣ, что пора перестать мудрить надъ русскою жизнью по иностраннымъ образцамъ и книжкамъ. Это нужно выговорить отчетливо, безъ смягченій. ...Мы имѣемъ дѣло съ своеобразнымъ складомъ общества, который въ цѣломъ до сихъ поръ, правда, далеко уступалъ европейскимъ порядкамъ, но зато имѣетъ много задатковъ развиться въ лучшее устройство скорѣе, чѣмъ остальная Европа, потому скорѣе, что пойдетъ иной дорогой. Истинно національное направленіе, по моему мнѣнію, въ томъ именно и состоитъ, чтобы сознательно идти этой дорогой, *развивая тѣ бытовыя особенности, въ которыхъ заключается залогъ лучшаго будущаго, и отбрасывая безобразные осадки, нанесенные чисто посторонними историческими событіями вродѣ татарскаго ига*». Изъ этого видно, что настоящія особенности русскаго быта всѣ превосходны и составляютъ залогъ лучшаго будущаго, а коли и попадается что безобразное, такъ это—чисто посторонній осадокъ...

Это самохвальство и больше ничего. Сто разъ это было перемолото на славянофильскихъ мельницахъ, которыя своимъ появленіемъ говорили о моментѣ самобытнаго, національнаго развитія въ тысячу разъ опредѣленнѣе, чѣмъ генералъ Фадѣевъ или гг. Кюи и Стасовъ (національная русская музыка). Однако появленіе славянофиловъ окончилось ихъ исчезновеніемъ, да иначе и быть не могло, потому что принципъ національности способенъ прикрыть самыя разнообразныя вещи, и изъ-подъ этой покрышки каждый можетъ произвольно выуживать все, что ему угодно, игнорируя остальное. А ужъ тутъ чего ждать хорошаго? Вотъ, напримѣръ, г. П. Ч. говоритъ объ оригинальной, національной русской оперѣ. Одинъ пойметъ дѣло такъ, что надо брать сюжеты изъ русской жизни и вводить въ оперу народные русскіе мотивы; другой потребуетъ именно такихъ-то сюжетовъ, именно такого-то, а не иного освѣщенія явленій русской жизни, укажетъ, напримѣръ, на «Русалку», какъ на типическое либретто русской оперы; третій потребуетъ совсѣмъ другихъ, но тоже національныхъ русскихъ драматическихъ мотивовъ; г. Кюи (глава вѣдь) скажетъ, что все это—пустяки: можно взять либретто изъ Гейне или изъ Виктора Гюго, но только выгнать мелодію и насадить речитативъ—это и будетъ оригинальная русская опера. А г. П. Ч., наконецъ, увидитъ въ этомъ рѣшеніи одинъ изъ симптомовъ того, что пора, дескать, перестать мудрить надъ русскою жизнью по иностраннымъ книжкамъ. Или вотъ примѣръ изъ практики самого г. П. Ч. Даны два несомнѣнные, тысячами свидѣтелей засвидѣтельствованные факта. Во-первыхъ, крайне строгое, доходящее даже до звѣрства отношеніе крестьянъ къ преступникамъ, подлежащимъ (законно или незаконно) ихъ суду; во-вторыхъ, необычайно мягкое, гуманное отношеніе тѣхъ же крестьянъ къ арестантамъ, каторжникамъ, къ «несчастнымъ», къ преступникамъ, осужденнымъ не ихъ, народнымъ судомъ. Конокрадъ или поджигатель, уличенный или пойманный на мѣстѣ преступленія самими крестьянами, подвергается жестокимъ истязаніямъ и

иногда просто забивается до смерти; такой же конокрадъ, такой же поджигатель, проходя мимо деревни въ кандалахъ, т. е. будучи осужденъ на «законномъ основаніи», получаетъ имя «несчастнаго», добрыя пожеланія, сочувствіе и дорогую лепту вдовицы. Обративъ вниманіе на это любопытное противорѣчіе, г. Е. Якушкинъ, человѣкъ очевидно хорошо знакомый съ великорусскимъ бытомъ, но не зараженный маніей націонализма, предположилъ, что на образованіе гуманнаго отношенія къ каторжнымъ, ссыльнымъ, острожникамъ имѣли вліяніе организація старыхъ судовъ и произволъ помѣщиковъ, ссылавшихъ своихъ крѣпостныхъ въ Сибирь. Мнѣніе г. Якушкина показалось мнѣ оригинальнымъ, вѣрнымъ, и я привелъ его въ «Запискахъ профана», сдѣлавъ нѣкоторые выводы. Г. П. Ч., возражая мнѣ, пишетъ: «Ученые люди только въ послѣднее время дошли, что потому-то и потому преступникъ скорѣе достоинъ сожалѣнія. А наши крестьяне давно зовутъ преступника «несчастнымъ» и (Nota bene) *далеко не потому, что онъ не ими осужденъ*. Прислушайтесь, что лежитъ въ основаніи ихъ взгляда: «не намъ судить!» Сколько непосредственной человѣчности въ этомъ простомъ: не намъ судить! Всего же лучше, что крестьяне относятся такъ не на словахъ только, а на дѣлѣ — матеріально помогаютъ изъ своихъ скудныхъ средствъ». Вотъ и извольте съ такимъ человѣкомъ разговаривать. Надобно, какъ въ сказкѣ про бѣлаго бычка, начинать съ начала: «не намъ судить!» — это прекрасно и дѣйствительно очень гуманно, но почему, когда народъ самъ судитъ, онъ бываетъ жестокъ до звѣрства? Вамъ опять отвѣтятъ лирикой и упорнымъ закрываніемъ глазъ на цѣлую серію несомнѣнныхъ явленій народнаго быта. Вы опять сказку про бѣлаго бычка и т. д., и т. д. Изъ такого отношенія къ дѣлу, конечно, ничего путнаго выйти не можетъ и прежде всего не можетъ сложиться пониманіе народной жизни. Можетъ быть, мнѣніе г. Якушкина совсѣмъ не вѣрно, можетъ быть, гуманное отношеніе крестьянъ къ «несчастнымъ» допускаетъ и требуетъ совсѣмъ иныхъ объясненій. Но лирика и умышленная слѣпота, конечно, ихъ дать не могутъ. Отъ этого именно и славянофильство изморомъ кончилось. Еще одинъ примѣръ лирики и умышленной слѣпоты г. П. Ч., и я покончу съ этой стороной его воззрѣній (у него есть другая, не впримѣръ лучшая). Обративъ его вниманіе на многія, крайне непривлекательныя стороны народнаго быта, я получилъ слѣдующій отвѣтъ: «Даны суевѣрія, идолопоклонство и иныя представленія, съ ними соприкасающіяся: по формѣ—грубо, аляповато, иногда просто возмутительно. А между тѣмъ тутъ въ зародышѣ лежитъ великое чувство: стремленіе подчинить свое эгоистическое *я* чему-то болѣе широкому, высшему, къ которому человѣкъ имѣетъ нравственныя обязанности и чему при случаѣ готовъ жертвовать своей личностью. Важнѣе всего, что это чувство не головное—какъ идейная любовь къ человѣчеству, съ которой у него много общаго—а физіологическое, насквозь проникающее душу и тѣло: простой человѣкъ диспутировать объ этомъ не станетъ и самъ не знаетъ, откуда оно взялось. Какіе чудные узоры могъ бы выткать, опираясь на это чувство, развитой умъ, вооруженный знаніемъ вѣка! И насколько эти узоры были бы выше и, главное, прочнѣе тѣхъ чисто головныхъ симпатій къ человѣчеству и общему благу, которыми пробавляется большинство такъ называемыхъ образованныхъ людей! Смѣю думать, что многимъ, съ высоты своего величія взирающимъ на народныя суевѣрія, нужно горько пожалѣть, что они вмѣстѣ съ грубою внѣшностью, эмансипировались и отъ сути дѣла, за что теперь и расплачиваются своею нравственной дряблостью, которую не можетъ затушевать и излѣчить никакая головная начинка». Долженъ признаться въ своей слабости: я очень люблю оригинальныя мысли, да и въ самомъ дѣлѣ, въ парадоксахъ почти всегда есть нѣчто освѣжающее, озаряющее. Поэтому мнѣ даже прискорбно, что приведенная мысль несомнѣнно очень оригинальная, не имѣетъ рѣшительно никакого фактическаго основанія. И я предполагаю, что г. П. Ч. здѣсь опять-таки умышленно закрываетъ глаза. Кому же въ самомъ дѣлѣ неизвѣстно, что зерно, ядро «суевѣрій и идолопоклонства» — совсѣмъ не таково? Кому неизвѣстно, что, по крайней мѣрѣ, рядомъ (это—большая уступка съ моей стороны) съ самопожертвованіемъ, суевѣрія и идолопоклонство всегда гарантировали пожертвованіе *чужою* личностью, ажъ до человѣческихъ жертвоприношеній и людоѣдства, которое также имѣетъ религіозную санкцію. Всякое идолопоклонство и кровь человѣческая—неразлучные спутники. Велика можетъ быть душевная сила турка, который въ эту минуту рѣжетъ голову христіанина; проникаетъ, можетъ быть, насквозь его душу и тѣло идея признанія надъ собой чего-то высшаго; онъ даже, пожалуй, и собой жертвуетъ, идя въ битву; но кромѣ крови, отсюда ничего не выходитъ. Велика душевная сила вдовы индуса, всходящей на костеръ, если она всходитъ на него добровольно, но что сказать о тѣхъ суевѣріяхъ, которыя установили этотъ обычай, равно какъ и обычай убійства слугъ и рабовъ на могилѣ благороднаго человѣка? Самаго по-

верхностнаго знакомства съ исторіей суевѣрій и идолопоклонства достаточно, чтобы убѣдиться, что стремленіе подчинить свое эгоистическое *я* чему-то высшему играло тутъ ничтожную роль. Оно есть явленіе очень позднее; да и то мученики всегда предполагаютъ мучителей, стоящихъ на одной съ ними почвѣ, хотя и поклоняющихся другимъ идоламъ. Въ огромномъ, подавляющемъ большинствѣ случаевъ, идолопоклонство только санкціонируетъ совершенно эгоистическія стремленія сильныхъ, причемъ слабые приносятся въ жертву. Есть, конечно, и такіе случаи, когда суевѣрія и идолопоклонство не имѣютъ такого характера и когда личность, чувствуя свою слабость, бѣжитъ подъ защиту или спасается отъ угрозъ созданнаго ею сонма идоловъ или лѣшихъ, домовыхъ и т. п. Полагаю, что стремленіе, о которомъ говоритъ г. П. Ч., тутъ, по малой мѣрѣ, не при чемъ.

Будетъ. Г. П. Ч. не только такія вещи говоритъ, онъ способенъ разсуждать здраво, отдавая себѣ ясный отчетъ въ произносимыхъ имъ словахъ. Четыре или пять статей его, напечатанныхъ въ «Недѣлѣ», заключаютъ въ себѣ, наряду съ туманностями и путаницей, мысли очень вѣрныя и очень хорошо изложенныя, которыя я рекомендую вниманію читателя, какъ рекомендую и статью г. Кавелина объ общинномъ землевладѣніи. Я могу здѣсь намѣтить только общій характеръ ихъ. Но для этого посмотримъ сначала, чѣмъ недоволенъ г. П. Ч. въ современной литературѣ и чего онъ отъ нея требуетъ.

Г. П. Ч. очень строгъ. Онъ утверждаетъ, что вся современная литература не знаетъ Россіи, не хочетъ ее знать, смотритъ на нее сквозь европейскія очки, пробавляется «выписными идеалами» и иностранными книжками, черпаетъ свои задачи не изъ русской жизни и т. п. Одно возраженіе г. Пыпина на это огульное обвиненіе выражено такъ хорошо, что мнѣ остается только повторить его. «Неужели дѣйствительно,— говоритъ г. Пыпинъ:—напримѣръ, Щедринъ не видалъ губернскаго города, Писемскій смотрѣлъ сквозь заграничныя очки, Некрасовъ не имѣетъ понятія о деревнѣ, Тургеневъ или Островскій не видали провинціи, Рѣшетниковъ или Скалдинъ писали по заграничнымъ книжкамъ и т. д., и т. д.? Наконецъ, и люди, живущіе въ Петербургѣ, неужели видятъ русскую жизнь *издали*? Намъ кажется наоборотъ, что нѣкоторыя весьма существенныя стороны ея они видятъ такъ близко, какъ едва ли кто можетъ видѣть въ провинціи» («Вѣстникъ Европы», № 1). Это простое замѣчаніе хорошо тѣмъ, что не только устраняетъ добрую половину нареканій г. П. Ч., но указываетъ на несостоятельность самаго его пріема. Въ самомъ дѣлѣ, поименованные писатели извѣстны намъ, такъ сказать, съ головы до ногъ; мы знаемъ, что они въ провинціи бывали, деревню видали, а кое - кто, можетъ быть, даже ни одной иностранной книжки не читалъ. Но вѣдь это — случайность, т. е. случайно знаемъ мы объ нихъ все это. А собственно нѣтъ и не можетъ быть, да и не нужно, пожалуй, такой статистики, которая могла бы подтвердить или опровергнуть показанія г. П. Ч. Но дѣло въ томъ, что замѣчаніе г. Пыпина до такой степени просто, что трудно допустить, чтобы оно не приходило въ голову самому г. П. Ч. Я склоненъ думать, что онъ это только съ горяча, съ разбѣгу объявилъ: никто не бывалъ въ провинціи, никто не видалъ деревни; что хотя онъ и очень сильно напираетъ на этотъ пунктъ, но желаетъ сказать нѣчто другое. Знаніе народной жизни есть дѣло насущнѣйшей необходимости—это несомнѣнно. Литература въ цѣломъ обладаетъ имъ въ очень недостаточной степени— это опять несомнѣнно. Но кажется, здѣсь дѣло не въ одномъ знаніи. П. И. Мельниковъ, напримѣръ, вѣроятно хорошо знаетъ многія стороны русской народной жизни, знакомства-же съ иностранными литературами, по крайней мѣрѣ, не обнаруживаетъ, но я сомнѣваюсь, чтобы его дѣятельность удовлетворяла г. П. Ч. Біографія г. Фауста Щигровскаго уѣзда мнѣ неизвѣстна, и право я объ этомъ рѣшительно не жалѣю: уроженецъ ли онъ Офицерской улицы или знаетъ вдоль и поперегъ Щигровскій и многіе другіе уѣзды, онъ все равно ровно ничего не понимаетъ въ занимающихъ насъ здѣсь вопросахъ. Г. Фетъ живетъ, кажется, безвыѣздно въ деревнѣ, но я не думаю, чтобы его уличенія мужика въ разныхъ пакостяхъ заставляли сердце г. П. Ч. биться сочувственно. Все это, повторяю, такъ просто, такъ понятно, что не могло не представляться уму самого г. П. Ч. если не съ полною ясностью, то хоть какъ-нибудь въ полу-туманѣ. Что-же онъ хотѣлъ сказать? Г. П. Ч. заявляетъ теперь, что, говоря о «людяхъ деревни», онъ очень хорошо помнилъ крайнее разнообразіе, а также очевидную непривлекательность многихъ особенностей народнаго русскаго быта; онъ очень хорошо понималъ, что надо сдѣлать извѣстный выборъ среди этихъ особенностей. Онъ только утверждаетъ, что «сдѣлать этотъ выборъ удовлетворительно могутъ только тѣ, которые *вмѣсто того, чтобы исходить изъ абстрактнаго человѣка*, существующаго внѣ времени и пространства, и *навязывать* (курсивъ принадлежитъ г.

П. Ч.) свой выборъ, предварительно ассимилируютъ наслѣдство русской деревни, психологически срастутся съ нимъ и уже тогда станутъ пускаться въ обобщенія. Это и будутъ «люди деревни», которые одни способны оживить нашу литературу. Sapienti sat». («Недѣля» 1876, № 2). Sapienti, конечно, sat. Sapienti, можетъ быть, и совсѣмъ статьи г. П. Ч. не нужны. Но вѣдь онъ имѣетъ дѣло не съ мудрецами, а съ публикой, съ массой читателей, которая естественно требуетъ нѣсколько большей ясности мысли. Ея только требую и я, потому что чрезвычайно заинтересованъ вообще образомъ мыслей г. П. Ч. Взявъ на себя трудъ привести мыльный пузырь «Недѣли» къ его естественному концу и исполняя эту черную работу, такъ сказать, документально и, какъ надѣюсь повѣритъ читатель, съ порядочной скукой для себя, я хотѣлъ-бы однако бережно отдѣлить и указать все дѣйствительно цѣнное. Тѣмъ болѣе, что рѣчь идетъ о дѣлѣ, интересующемъ меня, какъ профана, больше всего на свѣтѣ, больше даже гг. Менделѣева, Вагнера и тѣхъ графинь и бароновъ, которые подписали протестъ противъ отчета комиссіи для изслѣдованія спиритическихъ явленій, хотя пульсъ нашей общественной жизни едва ли не энергичнѣе всего бьется на этомъ пунктѣ. Нѣчто, дѣйствительное цѣнное, можетъ быть и не быть въ приведенной мысли г. П. Ч., равно какъ и въ «Недѣлѣ» вообще, смотря по дальнѣйшему ея развитію. Опять-таки одно изъ двухъ: или это—старая славянофильская дребедень со всею ея неопредѣленностью, безсознательностью и произвольностью, или прямое наслѣдіе (не говорю: повтореніе) литературы 50—60-хъ годовъ. Можетъ быть, конечно, еще третій исходъ, именно—стремленіе сѣсть незамѣтно для публики между двухъ стульевъ. Во всякомъ случаѣ хорошая мысль должна быть выражена по возможности ясно, иначе хоть бы ея и не было, иначе она можетъ только плодить недоразумѣнія.

Мысль о «народно-психологической подкладкѣ» очень нравится «Недѣлѣ». Она развиваетъ ее и въ редакціонной статьѣ на новый годъ «Наши задачи». Нельзя впрочемъ сказать *развиваетъ*, потому что дѣло выясняется весьма мало. Трудно даже сказать, какъ понимаетъ «Недѣля» народно-психологическую подкладку, а выписывать не хочется, потому что выписокъ, кажется, уже довольно. Почтенная газета прямо заявляетъ, что надо отбросить, при оцѣнкѣ явленій русской жизни, европейскіе шаблоны, но продолжать однако учиться у Европы, «такъ же учиться, какъ мы учились до сихъ поръ». Это, если хотите — наиболѣе ясная, но и наименѣе оригинальная часть profession de foi почтенной газеты. Выражая его, она становится въ ряды работниковъ мысли, давно, какъ уже читатель знаетъ, пущенной въ обиходъ нашей умственной жизни, хотя часто, слишкомъ часто забываемой. Да, это прекрасно, будемъ учиться у Европы, но такъ, какъ подобаетъ учиться взрослымъ людямъ: будемъ руководствоваться ея историческимъ опытомъ, выбирая изъ него подходящее и отбрасывая неподходящее; будемъ изучать ея мыслителей—ничего, что это не наша національная философія, а «иностранныя книжки»—но будемъ изучать критически и прилагать западныя теоріи осмотрительно, какъ потому, что онѣ и сами по себѣ, у себя на родинѣ могутъ оказаться ошибочными, такъ и потому, что условія нашей жизни имѣютъ свои особенности. Будемъ дѣйствовать такимъ образомъ и мы будемъ честными работниками идеи, вотъ уже лѣтъ 15 почти не изсякающей въ русской литературѣ, хотя и пробивающейся иногда едва замѣтной, тонкой струей. Будемъ охранять ее отъ чьихъ бы то ни было и какихъ бы то ни было наскоковъ и расширять, непремѣнно, конечно, расширять, т. е. дополнять и развивать.

Но это—только общая формула, въ которую надо влить опредѣленное содержаніе, надо выяснить какіе именно уроки должны мы получить отъ Европы, какія изъ особенностей русской жизни заслуживаютъ положительнаго и какія—отрицательнаго вниманія. И для этого имѣются въ литературѣ кое-какія указанія, даже не кое-какія; но ничто не мѣшаетъ, конечно, «Недѣлѣ» стоять въ совершенной независимости отъ нихъ. До сихъ поръ въ извѣстной части литературы, наиболѣе все-таки, я думаю, удовлетворяющей требованіямъ «Недѣли», наблюденія надъ русскою жизнью, выводы изъ этихъ наблюденій, опытъ европейской исторіи и научныя теоріи комбинировались вокругъ интересовъ народа, какъ центра. Счастливымъ образомъ (иначе впрочемъ и быть не могло) оказывалось, что, напримѣръ, тѣ самыя экономическія теоріи, которыя фактически въ европейскомъ опытѣ такъ могущественно послужили враждебной народу буржуазіи, ложны именно постольку, поскольку они играли эту роль; содержавшееся же въ нихъ зерно истины, будучи добыто изъ-подъ шелухи, оказалось совершенно иного свойства. Мы (я разумѣю упомянутую часть литературы, къ которой съ гордостью причисляю и себя) взяли это зерно, ассимилировали его, дѣлали изъ него выводы и ставили такимъ образомъ на стражѣ интересовъ народа самую науку. Счаст-

ливымъ образомъ (на этотъ разъ дѣйствительно счастливымъ, потому что могло бы быть и иначе) значительная часть русскаго народа сохранила общину до нашего времени, когда наука и опытъ, теорія и практика достаточно вооружили насъ для надлежащей ея оцѣнки. Она оказалась важной гарантіей интересовъ народа, и мы приняли ее. И т. д., и т. д. Жизнь идетъ впередъ, возникаютъ новыя научныя и философскія теоріи, но онѣ не застаютъ насъ врасплохъ; мы встрѣчаемъ ихъ, какъ и факты дѣйствительной жизни, на сколько они доступны нашему обсужденію, критически, пріурочивая свою критику все къ тому же центру, который естественно становится намъ все дороже. Возможны, конечно, ошибки, недосмотры, торопливость рѣшенія и т. п.; безъ сомнѣнія, ихъ не мало, но вѣдь не въ нихъ и дѣло. Мы говоримъ только о направленіи дѣятельности, а оно прежде всего—ясно. Ни русское, ни европейское происхожденіе не гарантируютъ въ нашихъ глазахъ доброкачественности теоріи или факта. Среди интимнѣйшихъ подробностей народнаго быта мы готовы встрѣтить, не закрывая глазъ, черты прямо враждебныя интересамъ народа; среди самыхъ блестящихъ европейскихъ научныхъ теорій—черты, антипатичныя съ этой же точки зрѣнія и по тому самому невѣрныя (причемъ дѣло идетъ не о фактахъ наблюденія, отъ которыхъ мы не отворачиваемся, а объ ихъ освѣщеніи, обобщеніи); точно также не усомнимся мы извлечь изъ «иностранной книжки» нѣчто подходящее къ нашему верховному критерію. Это не отъ того зависитъ, чтобы мы обладали какими-нибудь необычайными, чрезвычайно самостоятельными умами. Нѣтъ, умами и талантами мы ужъ, конечно, меньше всего хвастаемся. Дѣло гораздо проще. Опредѣленное міросозерцаніе, сохранившееся въ главныхъ своихъ чертахъ два поколѣнія, сообщаетъ чутье, почти инстинктъ, который почти механически высасываетъ изъ каждаго даннаго явленія все подходящее и отбрасываетъ неподходящее. Какъ сложилось это направленіе и чѣмъ оно поддерживается — здѣсь говорить не мѣсто. Но мнѣ хотѣлось бы все-таки сказать на этотъ счетъ нѣсколько словъ; лучше сказать, кое-что напомнить, собственно для выясненія нижеслѣдующаго. Я давно уже отмѣтилъ тотъ фактъ, что въ годину нашего общественнаго возрожденія всплыли наверхъ и завладѣли движеніемъ двѣ группы людей, которыхъ я назвалъ разночинцами и кающимися дворянами. Первые, выйдя изъ низшихъ слоевъ общества, были болѣе или менѣе близки къ народу (ихъ дѣдъ сплошь и рядомъ, какъ у Базарова, землю пахалъ), знали его и принимали его интересы непосредственно къ сердцу, такъ что элементъ «чисто головной», какъ любитъ теперь укорительнымъ тономъ говорить «Недѣля», вовсе не игралъ исключительной роли. Кающіеся дворяне, чуткія души изъ привилегированныхъ классовъ, пристали къ разночинцамъ опять-таки далеко не одними головами. Напротивъ: они влагали въ дѣло подчасъ даже слишкомъ много сердца, чувства, въ ущербъ «чисто-головному» элементу. Чувство это было—чувство отвѣтственности за свое привилегированное положеніе, страстное желаніе омыть грѣхи прошлаго и смыть всѣ его слѣды, стать лучше и чище. Нѣтъ нужды припоминать судьбу этихъ двухъ совмѣстныхъ теченій, которыя то расходились, то твердо шли впередъ, то сбивались съ прямого пути. Это — исторія. Я напоминаю ее только для того, чтобы показать что интересы народа стали намъ дороги по двумъ различнымъ причинамъ: однимъ—по близости къ народу, другимъ—по оторванности отъ него. Послѣдній случай любопытенъ по тому длинному обходу, который нужно было сдѣлать, чтобы придти этимъ путемъ къ нашему міросозерцанію. Самая трудность этого обхода отчасти оправдываетъ то уклоненіе въ сторону, виновниками котораго въ литературѣ были Писаревъ и его школа. Но самое теченіе не изсякло. Кающіеся дворяне не исчезли. Ихъ мучитъ все та же старая душевная боль за свое положеніе. Они, наконецъ, видятъ, что этотъ самый народъ, невѣжественный и нищій, съ точки зрѣнія спокойствія совѣсти выше ихъ, какія бы звѣзды они ни хватали съ неба и даже чѣмъ больше они ихъ хватаютъ; онъ выше не по какимъ-нибудь своимъ національнымъ особенностямъ, а потому что онъ—народъ.

Г. П. Ч. сейчасъ поможетъ мнѣ еще уяснить дѣло. «Недѣля» не одобряетъ того направленія, которое я старался по возможности коротко характеризовать. Она или умалчиваетъ о немъ, или бросаетъ въ него европейскими очками, или просто плюетъ. Сама она смотритъ на дѣло вотъ какъ. Упомянувъ о непригодности для насъ европейскихъ шаблоновъ, не исключающей надобности учиться у Европы, редакція почтенной газеты заявляетъ, что недостаточно однако простого знакомства съ фактами русской жизни: «ихъ еще нужно *почувствовать*, нужно сродниться, срастись съ здоровыми элементами этой жизни, нужно пріобрѣсти то, что мы назвали бы *народной психической подкладкой*» (курсивы «Недѣли»). Идеаловъ своихъ «Недѣля» хочетъ однако искать «не въ избѣ, не въ нынѣшнихъ крестьянскихъ представленіяхъ, съ битьемъ женъ, съ сѣченіемъ дѣтей, суевѣріемъ, предразсудками и

т. п.; эти идеалы, какъ продуктъ высокаго умственнаго развитія, могутъ вырабатываться только людьми высоко развитыми и способными къ самостоятельному мышленію; но эти люди прежде всего должны быть одарены чутьемъ, пониманіемъ народныхъ инстинктовъ и стремленій—словомъ, тѣмъ, что мы назвали народной психологической подкладкой». Это—тѣ же «люди деревни» г. П. Ч. и столь же неудобопонятные. Напрасно только и редакція не прибавила въ концѣ: sapienti sat. Мы бы ужъ такъ и знали, что «Недѣля» для мудрецовъ издается, а для насъ, для профановъ, всѣ эти разсужденія представляютъ только хожденіе вокругъ да около. Въ самомъ дѣлѣ, намъ говорятъ, что необходимо сродниться съ *здоровыми* элементами русской жизни и потомъ уже, благословясь, писать; но намъ не указываютъ, въ чемъ состоятъ эти здоровые элементы, да и не смѣютъ указать, потому что это будетъ во всякомъ случаѣ произвольно: г. Достоевскій будетъ называть здоровыми одни элементы, «Недѣля»—другіе, я—третьи и т. д., и съ мистической «народной психической подкладкой» въ этомъ разнообразіи не разберешься.

До сихъ поръ редакція «Недѣли» и г. П. Ч. только повторяютъ другъ друга. Но къ счастью г. П. Ч. дѣлаетъ шагъ дальше. Онъ ясно понимаетъ, что жизненный вопросъ состоитъ въ какомъ-то обмѣнѣ между нами и народомъ, что мы должны что-то дать ему и взамѣнъ что-то получить, что наша роль состоитъ не въ томъ только, чтобы просвѣщать, а и въ томъ, чтобы просвѣщаться. Онъ даетъ даже замѣчательно опредѣленную формулу этого обмѣна. Всякое міросозерцаніе, говоритъ онъ, слагается изъ двухъ моментовъ: нравственнаго и умственнаго. Мы должны дать народу свое умственное развитіе, а у него позаимствоваться нравственнымъ моментомъ («Недѣля» № 5). Какъ просто! Возьми двѣ груши, разрѣжь ихъ пополамъ, правую половину первой груши приставь къ лѣвой половинѣ второй, а остальное выбрось за окно... Хорошо говорить: дадимъ народу нашу науку («идеи и фактическія знанія») и возьмемъ у него нравственность («нравственные задатки»); но, оставляя пока послѣдніе въ сторонѣ, я не рѣшусь внушить народу многое изъ запаса науки и главнымъ образомъ потому, что операція съ двумя грушами невозможна. Не говоря уже о наукахъ соціальныхъ, въ которыхъ нравственный моментъ такъ рѣзко проникаетъ моментъ умственный, я лично убѣжденъ, что, напримѣръ, дарвинизмъ, какъ чисто біологическая доктрина, обязанъ своимъ происхожденіемъ въ значительной степени нравственно-политическому состоянію современной Европы. Пройдутъ какихъ-нибудь два поколѣнія, можетъ быть, даже меньше, даже навѣрное меньше; если, конечно, нравственно-политическое состояніе Европы сдѣлаетъ тѣ успѣхи, какихъ можно ожидать—и борьба за существованіе, какъ творческій принципъ, будетъ сдана въ архивъ. Конечно, это только мое личное убѣжденіе, но во всякомъ случаѣ очевидно, что не всѣ же наши «идеи» имѣемъ мы право совать народу, даже еслибы онъ былъ готовъ къ ихъ воспринятію. Опять-таки нуженъ выборъ. Нуженъ выборъ и среди «нравственныхъ задатковъ» народа, потому что тамъ тоже всяко бываетъ Укажите мнѣ точку зрѣнія, съ которой этотъ выборъ возможенъ, да не ссылайтесь на русскую народную психологическую подкладку, потому что, вы видите, она безплодна, какъ весталка, какъ и ея прямая противоположность — дѣвица Амалья, возлюбленная барона фонъ-Грюнвальюса.

Но вотъ, наконецъ, еще одно объясненіе г. П. Ч., съ которымъ я уже неизбѣжно долженъ совершенно согласиться. Онъ, я долженъ признаться, очень ловко это устроилъ.

«Нравственные задатки у простонародья вообще, а у нашей деревни въ особенности—правдивѣе, чѣмъ у культурныхъ классовъ, которые у насъ страдаютъ отсутствіемъ историческаго нравственнаго наслѣдства, а на западѣ, хотя и имѣютъ это наслѣдство, но оно, вообще говоря, неудобнаго свойства. Много есть на это причинъ. «Цивилизованный» человѣкъ, вообще говоря, находится въ ненормальномъ положеніи относительно простонародья, всякій это чувствуетъ, понимаетъ—и тѣмъ глубже, чѣмъ онъ образованнѣе—и все-таки остается на своемъ мѣстѣ. Подобный сознательный разладъ, дающій себя чувствовать во всякой мелочи и притомъ постоянно, изо дня въ день, не можетъ не отразиться на нравственной физіономіи. Это—одна сторона дѣла. Затѣмъ товарное хозяйство, порождая bellum omnium contra omnes, медленно, но неизбѣжно подтачиваетъ истинное основаніе нравственности—общественный инстинктъ; причемъ подборъ дѣйствуетъ въ направленіи выживанія тѣхъ, которые при прочихъ равныхъ обстоятельствахъ обладаютъ болѣе эгоистическими наклонностями, «приспособленіе», происходящее въ этомъ смыслѣ, угрожаетъ опасностью уже прямо человѣческой природѣ. Товарное хозяйство, котораго коренныя свойства обнаруживаются съ полной силой только съ того момента, какъ оно сдѣлалось преобладающимъ, еще не успѣло наложить своего рокового клейма на наше крестьянство—въ этомъ его великое преимущество. Наконецъ общинныя и артельныя

привычки слишкомъ крѣпко срослись съ нашимъ крестьянствомъ; не смотря на быстроту измѣненія нравовъ, характеризующую наше время, они, смѣю надѣяться, пережили бы не на одинъ десятокъ лѣтъ даже фактическое уничтоженіе деревенской общины. Всѣ эти обстоятельства, вмѣстѣ взятыя, дѣлаютъ нравственные задатки крестьянства— не говорю прочнѣе: это вѣдь—давнее наслѣдство, а здоровѣе, правдивѣе, человѣчнѣе, наконецъ, чѣмъ даже у тѣхъ группъ, которымъ приходится говорить: я—самъ предокъ (надѣюсь, что потомковъ франковъ и норманновъ и г. М. не станетъ отстаивать въ этомъ отношеніи)».

О, конечно, не стану. Даже потомковъ коренныхъ славянъ, въ которыхъ нѣтъ ни капли франкской, норманской и какой бы то ни было другой инородческой крови, и тѣхъ не стану отстаивать. Да и вообще не стану возражать г. П. Ч. За приведенныя строки, въ которыхъ отчасти такъ искусно резюмированы нѣкоторыя главы «Записокъ профана», я могу только благодарить г. П. Ч. Да еще любоваться ловкостью полемическаго пріема возраженія мнѣ моими собственными мыслями и словами, по пословицѣ: моимъ же добромъ, да мнѣ же челомъ. Какъ тутъ не согласиться? И такъ какъ мы, наконецъ, напали на пунктъ полнѣйшаго согласія, то, отправляясь отъ него, можетъ быть, и договоримся до чего-нибудь путнаго. Изъ приведенныхъ строкъ можно вывести слѣдующія заключенія. Благодаря многоразличнымъ историческимъ условіямъ, народъ нашъ сохранилъ у себя и до сихъ поръ тотъ хозяйственный типъ, который нѣкогда былъ распространенъ едва ли не по всему міру. Значитъ, ничего спеціально русскаго, національнаго въ немъ нѣтъ («это надо выговорить отчетливо, безъ смягченія», говоритъ г. П. Ч., впрочемъ по другому и отчасти даже противоположному поводу). Въ этомъ типѣ люди суть «полные носители культуры своего времени и мѣста», говоря словами Шиллера; «сами удовлетворяютъ всѣмъ своимъ человѣческимъ потребностямъ», говоря словами гр. Л. Толстого; не имѣютъ «товарнаго хозяйства», говоря словами г. П. Ч. (собственно не г. П. Ч., а одной «иностранной книжки», именно «Капитала» Маркса). Этотъ порядокъ не позволяетъ жить одному члену общественной единицы на счетъ другого или, по крайней мѣрѣ, не даетъ самъ по себѣ (а онъ, къ сожалѣнію, рѣдко бываетъ «самъ по себѣ», т. е. не осложняясь посторонними явленіями), не даетъ разыграться такому паразитизму. Общество можетъ быть бѣдно, можетъ быть богато, но это ничѣмъ не отзывается на его внутреннихъ распорядкахъ, на взаимныхъ отношеніяхъ его членовъ *). Понятно, что такой строй жизни помимо своего экономическаго значенія долженъ благопріятствовать высокому нравственному развитію, какую бы формулу нравственности вы ни избрали. Сохранивъ этотъ старый хозяйственный типъ, народъ русскій сохранилъ, разумѣется, и соотвѣтственные «нравственные задатки». Получить ихъ отъ народа было бы для насъ великимъ благомъ и прежде всего успокоеніемъ совѣсти, потому что «цивилизованный» человѣкъ дѣйствительно находится въ фальшивомъ положеніи относительно народа, т. е. не всякій, конечно, цивилизованный человѣкъ, а только тѣ чуткія натуры, въ которыхъ совѣсть разбужена.

Вотъ что значитъ попасть на пунктъ полнѣйшаго согласія. Мы сразу сдѣлали чрезвычайно важный шагъ въ опредѣленіи элементовъ обмѣна между нами и народомъ: отъ него желательно получить совсѣмъ не нравственный моментъ вообще, а тѣ именно нравственные задатки, которые вытекаютъ изъ его экономической независимости, изъ способности самому удовлетворять свои человѣческія потребности. Но мы сдѣлаемъ и еще шагъ, и не одинъ, все отправляясь отъ того же пункта полнѣйшаго согласія. Дѣло въ томъ, что если бы «наслѣдство деревни» только и состояло изъ упомянутыхъ нравственныхъ задатковъ, такъ не пришлось бы намъ и разсуждать теперь такъ много и такъ долго о «Недѣлѣ», о русскихъ литератур-

*) Мѣсяца два тому назадъ въ «Русскомъ Мірѣ», а потомъ и въ другихъ газетахъ, явилась изъ Тамбовской губерніи слѣдующая «выписка изъ курьезнаго прошенія уполномоченныхъ крестьянъ въ уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе»: «На общественныхъ сходахъ почти-что вездѣ одинъ порядокъ. Міроѣды говорятъ, а бѣдные собираются только, чтобы слушать ихъ разговоры. А между тѣмъ равную повинность отбываютъ, и еще богатые закладываютъ себѣ бѣдныхъ за подати, но земляным надѣломъ пользуются не равно: полевая общественная земля наша при дѣлежѣ на душу остается отъ всякаго столба, и остатки составляютъ значительную часть земли, которая не дѣлится по душамъ, а отдается за вино и за безцѣнокъ. Кто отдастъ, тѣ и пользуются всѣми правами; а прочіе отбываютъ денежныя и натуральныя тяготы болѣе первыхъ, отъ неполнаго надѣла земли, почему терпятъ еще большую бѣдность, доходящую до послѣдняго куска хлѣба, но еще менѣе могутъ выносить подати. А посему, покорнѣйше просимъ: *отдѣлить бѣдныхъ крестьянъ въ особое сельское общество отъ богатыхъ*». Газеты наши по этому поводу только и сумѣли сказать, что это—выписка изъ «курьевнаго» прошенія. На самомъ дѣлѣ, однако, это—не курьезъ, а драгоцѣнный матеріалъ для оцѣнки значенія общины. Не смотря на всю тяжесть своего положенія, крестьяне требуютъ не замѣны общиннаго владѣнія участковымъ, а отдѣленія бѣдныхъ крестьянъ въ особое сельское общество отъ богатыхъ, т. е. болѣе строгаго примѣненія общиннаго принципа.

ныхъ партіяхъ и т. д. Ничего бы этого не было, и вообще совсѣмъ иной видъ имѣло бы и наше отечество, и весь міръ. Но старый хозяйственный типъ подвергался очень многимъ и крайне разнообразнымъ постороннимъ вліяніямъ, и подъ этими-то вліяніями въ Европѣ почти совсѣмъ исчезъ, а у насъ, по крайней мѣрѣ, осложнился; вслѣдствіе чего потерпѣли осложненія и вытекающіе изъ него нравственные задатки. Загорались войны, являлись побѣдители и побѣжденные рабы, что прямо клиномъ врѣзывалось въ мораль стараго хозяйственнаго типа. Слабый и неопытный умъ создавалъ рядъ ложныхъ боговъ, а идолопоклонство и суевѣрія, какъ уже было замѣчено, почти всегда санкціонируютъ жертву одной личности для другой. Семейныя отношенія складывались несоотвѣтственно морали стараго хозяйственнаго типа, жена и дѣти признавались почти рабами. И т. д., и т. д. Всѣ эти бури, проносившіяся надъ русской деревней, надъ русскимъ народомъ, оставляли по себѣ слѣды, запятнавшіе нравственные задатки стараго хозяйственнаго типа. Ужъ конечно, крѣпостное право шло прямо въ разрѣзъ съ этими задатками и не могло не привить народу совсѣмъ иныхъ нравственныхъ качествъ, а народъ русскій не одно крѣпостное право вытерпѣлъ. Мимоходомъ сказать, если старый хозяйственный типъ отнюдь не можетъ быть названъ нашимъ національнымъ достояніемъ, то совокупность всѣхъ многоразличныхъ историческихъ осадковъ вполнѣ заслуживаетъ этого названія. Дѣйствительно, старый хозяйственный типъ существовалъ вездѣ и потому не можетъ быть пріуроченъ къ какой-нибудь одной національности. Историческія же условія, видоизмѣнявшія его, войны и другія столкновенія различныхъ группъ людей, комбинируясь въ различныхъ мѣстахъ и въ различное время подъ вліяніемъ тысячи случайностей крайне разнообразно, положили основаніе дѣйствительнымъ національнымъ отличіямъ (я не упускаю изъ виду вліяніе природы, стихійныхъ силъ, а только не ввожу его въ свои соображенія). Но это—мимоходомъ. Такимъ-то, значитъ, образомъ въ народѣ русскомъ, рядомъ съ высокими нравственными задатками, сложились и крайне непривлекательные. Ихъ мы, конечно, у народа вымѣнивать не станемъ. Еще шагъ: нравственныхъ задатковъ, не вытекающихъ изъ экономической независимости, намъ не нужно, какъ бы глубоко ни залегли они въ особенностяхъ русскаго народнаго быта, какъ бы ни были они національны. Такъ какъ значительная часть нравственныхъ задатковъ соприкасается съ семейными отношеніями, то не лишне будетъ замѣтить, что и послѣднія очень удобно подводятся подъ найденный нами критерій. Надо только помнить, что баба—тоже народъ. Тогда національность, напримѣръ, пѣсни о томъ, какъ сынъ на матери капусту возилъ и молоду жену въ пристяжку водилъ, не будетъ уже насъ смущать: національно, да скверно, «деревня», да хуже «города».

Да мы, кажется, половину своей задачи рѣшили. Остается только опредѣлить, что *мы* должны дать народу. А это ужъ совсѣмъ просто. Народъ невѣжественъ, мы обладаемъ знаніями. Знанія вообще не только не могутъ поколебать экономической независимости народа, а напротивъ, только усилить и утвердить ее. Понятно, что даже такія, повидимому, безразличныя знанія, какъ свѣдѣнія о небѣ и землѣ, о солнцѣ и лунѣ, могутъ сами по себѣ только помочь человѣку самому удовлетворять своимъ человѣческимъ потребностямъ. Надо только имѣть въ виду, что въ нашихъ кладовыхъ науки есть много фактическихъ знаній, которыя и намъ самимъ-то не особенно нужны и которыми нѣтъ и подавно надобности обременять непривычную память мужика. Но есть чисто фактическія знанія, даже особенно въ нашемъ смыслѣ драгоцѣнныя. Мы знаемъ исторію Европы и между прочимъ знаемъ, какія обстоятельства въ Европѣ разрушили старый хозяйственный типъ, лишили народъ его экономической независимости. Нашъ народъ этого не знаетъ. Далѣе: говоря объ экономической независимости русскаго народа, мы употребляемъ это выраженіе, конечно, только условно, разумѣя единственно старый хозяйственный типъ. Въ дѣйствительности же, какъ мы уже видѣли, этотъ типъ не въ безвоздушномъ пространствѣ живетъ, въ него со всѣхъ сторонъ во множествѣ вросли явленія совершенно другихъ порядковъ, болѣе или менѣе подрывающія его значеніе; они впились въ него, какъ безобразные черные раки, въ трупъ утопленника. Мы знаемъ всю эту механику—недаромъ же мы въ четырехъ факультетахъ вывариваемся—народъ не знаетъ. Это—все чисто фактическія знанія. Но факты—это только сырой матеріалъ. Наши кладовыя науки наполнены, кромѣ сырья, еще обработанными произведеніями, идеями теоріями, системами. Здѣсь выборъ элементовъ обмѣна съ народомъ долженъ производиться несравненно осмотрительнѣе. Какъ бы ни разрѣзывалъ г. П. Ч. двѣ груши пополамъ и какъ бы ни старался онъ приставить правую половину одной груши къ лѣвой половинѣ другой, но въ области идей, теорій и системъ нравственный и умственный моменты неотдѣлимы. Собственно говоря, даже кругъ чисто фактическихъ знаній находится въ извѣст-

ной зависимости отъ нравственнаго момента, отъ «нравственныхъ задатковъ». Человѣкъ изучаетъ, напримѣръ, ассирійскія древности, систематику паукообразныхъ и проч. потому, что его влечетъ къ этимъ знаніямъ, а влеченіе есть уже нравственный моментъ. Конечно, это влеченіе не можетъ повліять прямо на характеръ фактическихъ знаній о данномъ предметѣ, не можетъ ихъ поколебать, измѣнить. Оно можетъ только, сосредоточивая вниманіе на извѣстномъ кругѣ фактовъ, оставить многіе другіе, быть можетъ, болѣе важные факты безъ разсмотрѣнія. Оттого наши фактическія знанія, разработанныя крайне неравномѣрно и совершенно несоотвѣтственно относительной важности различныхъ разрядовъ фактовъ, въ общемъ однако вѣрны и могутъ быть поэтому безбоязненно предложены народу. Но въ идеи, теоріи, системы, вообще въ группировку фактовъ нравственный моментъ вторгается уже совершенно властно. А такъ какъ многіе свои нравственные задатки мы признаемъ негодными и желаемъ замѣнить ихъ нѣкоторою, вполнѣ опредѣленною частью нравственныхъ задатковъ народа, то ясно, что изо всей массы нашихъ идей мы должны выбрать только тѣ, которыя, по крайней мѣрѣ, не противорѣчатъ экономической независимости народа. Гдѣ и кѣмъ будутъ выработаны эти идеи и теоріи—въ Англіи, на Сандвичевыхъ островахъ, петербуржцемъ, казанцемъ—это рѣшительно все равно. Поясню примѣромъ. Г. П. Ч. напоминаетъ одинъ очень любопытный фактъ. Именно, что хотя крестьянинъ вообще не считаетъ за грѣхъ рубить чужой лѣсъ, потому что не понимаетъ возможности пріобрѣтенія «Богомъ рощеннаго» дерева въ частную собственность, но признаетъ настоящимъ воровствомъ вывозъ изъ лѣса нарубленныхъ дровъ, т. е. того же дерева, но въ которое вложенъ человѣческій трудъ. Это воззрѣніе, конечно, прямо примыкаетъ къ старому хозяйственному типу, въ которомъ на пользованіе чужимъ трудомъ наложена узда. Воззрѣніе это считается множествомъ чрезвычайно ученыхъ экономистовъ и юристовъ совершенно неправильнымъ, но именно поэтому мы и не посмѣемъ понести ихъ теоріи и идеи народу, не подвергая однако ихъ остракизму за то только, что они, дескать — европейцы и умѣютъ только иностранныя книжки сочинять. Нѣтъ, среди самыхъ этихъ иностранныхъ книжекъ мы встрѣчаемъ удивительно близкое къ воззрѣнію крестьянъ одно изъ основныхъ положеній классической политической экономіи, мною уже приведенное: трудъ есть источникъ и мѣрило всякой цѣнности. Экономисты нашили вокругъ этой темы и на ней самой много совсѣмъ неподходящихъ узоровъ, подсказанныхъ забракованными нами нравственными задатками. Но нѣкоторые сильные умы, отчасти потому, что они сильные умы, а отчасти потому, что нравственные задатки у нихъ выдались подходящіе, вывели изъ своего основного положенія нѣсколько экономическихъ законовъ, пригодныхъ рѣшительно для всѣхъ странъ. Это сдѣлано, правда, главнымъ образомъ въ иностранныхъ книжкахъ; но почему же бы намъ не сообщить знаніе этихъ законовъ, въ сущности очень простыхъ, народу, когда мы при этомъ только его же добромъ, да ему же челомъ поклонимся, только не въ видѣ инстинкта, а въ видѣ знанія? когда мы только уяснимъ ему его собственные интересы?

Таковы въ общихъ чертахъ рамки и элементы прямого обмѣна между нами и народомъ. Но мы можемъ, а слѣдовательно, должны сдѣлать и еще нѣчто. Народъ безгласенъ. Онъ подаетъ, напримѣръ, прошеніе (см. выше, въ примѣчаніи), исполненное прямо сказать глубокаго, хотя и инстинктивнаго нравственно-политическаго такта, а представители общественнаго мнѣнія, газеты зачисляютъ его въ разрядъ «курьезовъ». Мы, конечно, тоже не особенно гласны, но все-таки мы пишемъ, разсуждаемъ, говоримъ, вліяемъ на общественное мнѣніе, будимъ другъ въ другѣ мысли и чувства. Направьте все это въ вышеизложенномъ смыслѣ, т. е. въ смыслѣ интересовъ народа или его экономической независимости, и вы получите литературу, достойную названія голоса общественной совѣсти. Усмотритъ ли тутъ «Недѣля» «народно-психологическую подкладку» и «психологическое сращеніе съ здоровыми элементами деревни»—я не знаю, но знаю, что она, во-первыхъ, не будетъ у насъ совершенною новостью, и что она, во-вторыхъ, будетъ совершенно свободно черпать не только матеріалы, а и выводы, какъ изъ иностранныхъ книжекъ, такъ и изъ особенностей русскаго народнаго быта.

Не говорю: sapienti sat, потому что не надо быть мудрецомъ, чтобы понять все это. И знаете чѣмъ, я думаю, отчасти объясняется внезапность открытія необитаемыхъ острововъ архипелага «Недѣліи»? Тѣмъ именно, что «Недѣля», издаваясь для мудрецовъ, считаетъ себя вправѣ говорить невразумительно, и потому многіе могутъ вложить въ ея слова свои собственныя мысли, весьма въ сущности различныя. Съ вышеизложеннымъ «Недѣля» должна будетъ, я думаю, согласиться, потому что мы же вѣдь отправлялись отъ пункта полнѣйшаго согласія. Но ей будетъ жаль «самобытнаго развитія», «національныхъ особенностей», «европейскихъ очковъ» и тому подобныхъ невразумительностей, которыя моею постановкой

вопроса устраняются. Много новыхъ невразумительностей можетъ она наговорить по этому поводу, а я ихъ могу отчасти предвидѣть и беру заранѣе то единственное возраженіе почтенной газеты, которое, на сколько я могъ ознакомиться съ ея духомъ, заслуживаетъ отвѣта. Все такъ, скажетъ «Недѣля», но вы отстаиваете интересы народа вообще, даже еще отвлеченнѣе—интересы труда, а не интересы *русскаго* народа, которые отстаиваемъ мы. Я чрезвычайно упрощаю задачу «Недѣли», дѣлая себѣ отъ ея имени это возраженіе, потому что ничего болѣе яснаго и правдиваго она сказать не можетъ. А между тѣмъ, и это далеко не правдиво. Г. П. Ч. иронически замѣчаетъ, что у насъ очень много занимались европейскимъ рабочимъ вопросомъ, не подозрѣвая, что это — вопросъ намъ чуждый, потому что нашъ домашній рабочій вопросъ поставленъ совсѣмъ иначе. Послѣднее, конечно, вѣрно, но это не подозрѣвалось, а прямо говорилось задолго до открытія необитаемаго острова Печевіи. Мало того, бывало давно и не разъ высказываемо, что рабочій вопросъ у насъ не только имѣетъ другой характеръ и разрѣшается другими путями, но что онъ пока въ европейскомъ своемъ значеніи у насъ просто не существуетъ. За всѣмъ тѣмъ мнѣ хотѣлось-бы показать, что рабочій вопросъ въ Европѣ изучался у насъ не только не слишкомъ много, а напротивъ, слишкомъ мало, но это—длинная и довольно побочная матерія. Я спрошу только П. Ч., почему онъ не протестуетъ противъ чрезмѣрныхъ занятій спиритизмомъ, дарвинизмомъ, позитивизмомъ, римской исторіей, французской исторіей и проч., и проч.? Я не вижу почему, разрѣшая намъ удовлетворять свою любознательность въ самыхъ разнообразныхъ областяхъ знанія и исторіи, онъ выгораживаетъ одинъ изъ нихъ, какъ совершенно намъ чуждый? Если же онъ соблаговолитъ разрѣшить нашей любознательности доступъ и въ эту область, то долженъ будетъ разрѣшить и нѣкоторое сердечное участіе, нѣкоторый интересъ къ роли труда вообще, какъ существуетъ интересъ къ судьбамъ науки вообще, философіи вообще, поэзіи вообще и т. п. Затѣмъ, если положеніе труда у насъ весьма отлично отъ положенія его въ Европѣ, то интересы труда вездѣ одни тѣ же. Если же бы они столкнулись какъ-нибудь враждебно (что едва ли возможно), то я стану на сторонѣ русскаго труда, русскаго народа. Да и помимо такого столкновенія, во всякое данное время, интересы русскаго народа стоятъ для меня на первомъ планѣ. Почему? Во-первыхъ—потому, что я говорю русскимъ языкомъ и имѣю много общаго съ русскимъ народомъ въ нѣкоторыхъ понятіяхъ, привычкахъ, вкусахъ—словомъ, почву для взаимодѣйствія. Во-вторыхъ—потому, что ѣмъ русскій хлѣбъ, что личная моя безопасность, возможность бесѣдовать съ вами и проч. оплачиваются именно русскимъ народомъ. Эти двѣ причины могутъ комбинироваться крайне разнообразно, образовать сочетанія чрезвычайно сложныя, но вы всегда выйдете изъ этихъ затрудненій съ честью, если въ словахъ: русскій *народъ*—подчеркнете существительное. Оно—не только существительное, а и существенное.

Это я говорю. Теперь посмотримъ, что говоритъ «Недѣля». Она говоритъ, что ей дороги интересы именно русскаго народа. Надо, по крайней мѣрѣ, это выговорить «отчетливо и безъ смягченій», а то до сихъ поръ этого не видно. Я вижу, что вы радуетесь проекту національной русской философіи, созрѣвшему на необитаемомъ островѣ Кавелиніи; вижу, что вы радуетесь замѣнѣ мелодіи въ операх речитативомъ, какъ чему-то самобытному, національному, особенному, нашему. Причемъ тутъ русскій народъ! Отъ речитатива ему ни тепло, ни холодно, а отъ національной философіи, когда проектъ ея перейдетъ въ область дѣйствительности, будетъ, можетъ быть, даже холодно. По крайней мѣрѣ, нѣмецкому народу было не особенно тепло отъ національной философіи Гегеля. Не смотря однако на задатки національной исключительности и самохвальства, я далекъ отъ мысли уличать «Недѣлю» въ славянофильствѣ. Она для этого недостаточно смѣла: она, какъ уже сказано, просто хочетъ незамѣтно для публики сѣсть между двухъ стульевъ. Г. П. Ч. говоритъ, напримѣръ, постоянно, что надо перестать трепать заграничныя формулы, забросить иностранныя книжки и т. п. Онъ обрисовался въ своихъ статьяхъ совершенно достаточно, чтобы судить на сколько самъ онъ эмансипировался отъ этихъ зловредныхъ вещей. Онъ писалъ о теоріи Дарвина въ приложеніи къ обществознанію, о книгѣ Лавеле, о типахъ народнаго хозяйства и проч. Статьи эти, если выкинуть изъ нихъ чисто механически приставленныя разсужденія о самобытности и трепаніи заграничныхъ формулъ—вообще хорошія, но чего-нибудь такого, что не было бы или не могло бы быть досель опубликовано въ иностранной или русской литературѣ, чего-нибудь типически новаго въ нихъ нѣтъ. Напримѣръ, вотъ статья «Типы народнаго хозяйства». Очень хорошая статья. Въ ней доказывается, во-первыхъ, что въ основѣ каждаго крупнаго общественнаго явленія лежитъ экономическая причина. Это прежде всего—заграничная формула, почерпнутая

изъ иностранныхъ книжекъ. Г. П. Ч. распространяетъ эту заграничную формулу и на Россію и, конечно, очень хорошо дѣлаетъ, потому что когда славянофилы и почвенники доказывали, что къ основѣ крупныхъ явленій русской жизни, въ отличіе отъ эгоистической Европы, лежатъ какія-то духовно-нравственныя причины—они говорили пустяки. Далѣе, какъ въ этой статьѣ, такъ и въ другихъ развивается идея товарнаго хозяйства, которою освѣщается и европейская и русская исторія. Между тѣмъ, эта идея есть та-же заграничная формула и принадлежитъ не русскому какому-нибудь писателю, подложенному народной психологической подкладкой, а нѣмецкому еврею Марксу. Правда, г. П. Ч. объ этомъ не упоминаетъ, но объ этомъ нечего упоминать, потому что это всѣмъ извѣстно. Относительно русской литературы, которую г. П. Ч. такъ сильно презираетъ, я, конечно, уже изъ вѣжливости долженъ допустить полную его самостоятельность. Однако я встрѣтилъ у него не мало мнѣній, совершенно совпадающихъ съ тѣми, которыя въ русской литературѣ были изложены пятнадцать, двадцать лѣтъ тому назадъ, когда народная психологичессая подкладка не была еще изобрѣтена, и заграничныя формулы, по показанію г. П. Ч., жестоко трепались. Имѣлъ я также удовольствіе встрѣтить подобныя же совпаденія съ нѣкоторыми моими мыслями, хотя я никогда не мечталъ о національной самобытности и, разумѣется, въ числѣ другихъ «мудрю надъ русской жизнью по иностраннымъ книжкамъ». Вообще г. П. Ч. поступаетъ, какъ и всѣ мы грѣшные, лишенные народной психологической подкладки: беретъ факты изъ европейской и русской жизни (большею частію историческіе факты, т. е. занесенные въ сочиненія по русской исторіи; новыхъ или даже мало извѣстныхъ бытовыхъ фактовъ онъ не приводитъ ни одного) и оперируетъ надъ ними при помощи идей, отчасти добытыхъ изъ иностранныхъ книжекъ и русской литературы, отчасти самостоятельно выработанныхъ. Я, конечно, за это не упрекаю его, потому что самъ поступаю точно такъ же, притомъ же онъ дѣлаетъ хорошее дѣло и дѣлаетъ его хорошо. Но зачѣмъ онъ портитъ его туманомъ самобытности, которымъ самъ вовсе не дышетъ? Зачѣмъ онъ вводитъ людей въ соблазнъ, участвуя въ неблаговидномъ открытіи необитаемыхъ острововъ, пытаясь отбить людей отъ заграничныхъ формулъ и иностранныхъ книжекъ, которыми самъ очень хорошо пользуется, и отъ своихъ собственныхъ союзниковъ? Пусть г. Кавелинъ строитъ свою вавилонскую башню—онъ старъ и золъ и, пожалуй, имѣетъ свои причины злиться. Пусть «Недѣля» ему потворствуетъ. А вамъ-то что? Вы—писатель начинающій и, по всей вѣроятности, молоды, передъ вами цѣлая жизнь... Положа руку на сердце, говорю: мнѣ было тяжело писать о г. П. Ч., такъ что я даже колебался—писать ли, и пусть онъ это увидитъ въ самой рѣзкости моей...

Я хотѣлъ было уже написать à la Спасовичъ: я кончилъ, какъ вспомнилъ, что совсѣмъ не кончилъ. Мыльный пузырь «Недѣли», ея новое слово состоитъ въ томъ, что она взяла готовое уже міросозерцаніе, т. е. старое слово, умолчала или обругала тѣхъ, кѣмъ оно было сказано, и механически прицѣпила къ нему совсѣмъ неподходящія подвѣски «самобытности», «европейскихъ очковъ» и проч. Подвѣски эти, конечно, могли только испортить дѣло и затуманить его. Но почему же этотъ мыльный пузырь обратилъ на себя столько вниманія? Собственно на этотъ вопросъ я и хотѣлъ отвѣтить. Меня тутъ особенно «мыслящіе провинціалы» занимаютъ. Но это уже надо до другого раза.

XXI *).

Продолженіе предыдущаго.

Въ своемъ коротенькомъ объясненіи (№ 16) «Недѣля» стоитъ на томъ, что ея воззрѣнія «не лишены нѣкоторой новизны или, по крайней мѣрѣ, самостоятельности». Но почтенная газета, повидимому, не признаетъ ихъ таковыми по существу, потому что ничего не говоритъ объ этомъ. Она гордится только *происхожденіемъ* своего мыльнаго пузыря, какъ я осмѣлился назвать совокупность разсужденій «Недѣли». «Будущій историкъ русскаго общества, — говоритъ она,—замѣтитъ, что нашъ пузырь явился плодомъ не теоретическихъ построеній, а внимательнаго наблюденія надъ фактами жизни, и притомъ не жизни вообще, а именно жизни русской, текущей, современной—и въ этомъ смыслѣ, можетъ быть, назоветъ его новымъ. Этому-то опытно-наблюдательному происхожденію пузыря газета приписываетъ возбужденный имъ интересъ. Въ этой саморекомендаціи любопытно очень осторожно выраженное, но тѣмъ не менѣе сильное презрѣніе или, по крайней мѣрѣ, недовѣріе къ «теоретическимъ построеніямъ» и къ «внимательному наблюденію фактовъ жизни вообще». Мы — не какіе-нибудь теоретики, рекомендуется «Недѣля», мы — наблюдатели, и притомъ наблюдаемъ факты только текущей русской жизни. Если-бы эта саморекомендація была основательна,

*) 1876, іюль.

т. е. фактически вѣрна, такъ, конечно, оставалось бы только жалѣть читателей нашей газеты. Въ самомъ дѣлѣ, какая же ужъ это публицистика, которая запирается въ извѣстный кругъ фактовъ и только изъ него черпаетъ свои—не смѣю сказать теоріи, потому что это будутъ нелюбимыя «Недѣлею» «теоретическія построенія»—а свои, ну, хоть разсужденія, что-ли. Система воззрѣній, какъ бы ее ни называли: теоріей, теоретическимъ построеніемъ, мыльнымъ пузыремъ, основанная на наблюденіяхъ только текущей русской жизни, есть навѣрняка нѣчто очень мизерное и даже прямо теоретически ложное, а практически никуда не годное. Къ счастію для читателей «Недѣли» чортъ не всегда бываетъ такъ страшенъ, какъ его малюютъ, а газеты не всегда такъ нелѣпы, какъ сами себя рекомендуютъ. Я уже упоминалъ о нѣкоторыхъ статьяхъ «Недѣли», въ которыхъ проводятся, напримѣръ, параллели между исторіей Западной Европы и исторіей Россіи, а на основаніи ихъ дѣлаются извѣстные выводы. Помню статью, въ которой авторъ дѣлаетъ «внимательныя наблюденія» надъ историческою жизнью Испаніи. Помню другую, въ которой трактуется объ исторіи древняго Рима. И Испанія, и Римъ даютъ при этомъ автору матеріалъ для нѣкоторыхъ «теоретическихъ построеній», каковыя прикладываются и къ Россіи. Пріемъ, конечно,не новый, но очень хорошій, и отбрыкиваться отъ него, какъ отбрыкивается сама «Недѣля», рѣшительно нѣтъ резона. Что-же касается наблюденій собственно надъ русскою текущею жизнью, то каждая газета ихъ по необходимости дѣлаетъ, и слѣдовъ особенной, выдающейся наблюдательности въ этомъ отношеніи въ «Недѣлѣ» не замѣтно. Гдѣ, въ самомъ дѣлѣ, тѣ наблюденія, о которыхъ говоритъ почтенная газета? Пусть она ихъ укажетъ. Это вѣдь — не иголка, которую не сразу отыщешь. «Недѣля» замѣтила въ обществѣ и литературѣ желаніе выбиться изъ «узкихъ рамокъ». Допуская справедливость этого мнѣнія, едва-ли однако можно допустить для него громкій титулъ «плода внимательнаго наблюденія» и т. д., тѣмъ болѣе, что въ спеціальномъ отдѣлѣ наблюденій надъ фактами русской жизни, во «внутренней хроникѣ», почтенная газета не сообщаетъ нечего особенно отраднаго. «Недѣля» *наблюла* проекты генерала Ѳадѣева и русскую музыкальную школу. Это, конечно—наблюденіе, но особеннаго вниманія для этого не требовалось. «Недѣля» замѣтила, что провинціальные органы относятся къ ней, «Недѣлѣ», не въ примѣръ правильнѣе, чѣмъ столичные. Допуская опять-таки справедливость этого мнѣнія, я готовъ признать за газетой большой критическій талантъ и проницательность, но наблюденіе тутъ во всякомъ случаѣ не при чемъ. «Недѣля» утверждаетъ, что народъ считаетъ наказанныхъ преступниковъ «несчастными» и относится къ нимъ гуманно отнюдь не потому, что они наказаны не по крестьянскому суду. Хотя это высказывается весьма категорически и именно тономъ наблюдателя (самъ, говоритъ, видѣлъ), но это, конечно, не наблюденія, а чисто апріорическій выводъ, подставленный вмѣсто наблюденія. Мотивы чьихъ-нибудь дѣйствій видѣть и вообще наблюдать непосредственно нельзя. До нихъ можно добраться только сложнымъ путемъ теоретическаго комбинированія различныхъ опытовъ наблюденій. Въ настоящемъ случаѣ авторъ нетолько не держится этого безусловно-необходимаго пути соединенія теоріи съ наблюденіемъ, но и просто не хочетъ видѣть фактовъ, именно фактовъ жестокости крестьянскаго суда. Словомъ, да проститъ мнѣ «Недѣля», но она говоритъ неправду, ошибается: опытно-наблюдательная подкладка ея мыльнаго пузыря слишкомъ слаба и ничтожна, чтобы газета имѣла право указывать на нее, какъ на свою особенную заслугу. Повторяю: пусть «Недѣля» укажетъ свои наблюденія. Я буду очень радъ, если я ошибаюсь, если почтенная газета дѣйствительно обогатила литературу массой новыхъ наблюденій.

Пока это не доказано, я не могу, разумѣется, считать несуществующую опытно-наблюдательную подкладку причиною интереса, возбужденнаго «Недѣлею». Причину надо искать гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ. Прежде всего надо для ясности замѣтить, что «интересъ» тутъ не означаетъ сочувствія. Если «Недѣля» получала и выраженія сочувствія, то дѣло все-таки не въ нихъ, а въ томъ, что о мнѣніяхъ этой газеты вообще внезапно заговорили въ самыхъ разнообразныхъ смыслахъ отъ одобрительнаго, даже съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ восторженности, до совершенно ругательнаго. Теперь уже это прошло, до такой степени прошло, что мнѣ, признаюсь, невесело писать объ этомъ. Но дѣлать нечего: вино откупорено — надо его выпить. До какой степени эта внезапность интереса была странна, читатель знаетъ уже изъ прошлой главы, и теперь я приведу только одинъ, чрезвычайно мелкій, но все-таки очень любопытный примѣръ. «Недѣля» употребила какъ-то выраженіе «яснолобые либералы», которое очень понравилось знаменитому критику «Русскаго Вѣстника», г. А. Пещерный человѣкъ не замедлилъ поиграть на этомъ выраженіи въ томъ смыслѣ, что, дескать—ага! петербургская литература сама, наконецъ, начинаетъ сознавать свое горе. Никогда еще, писалъ г. А, петербургская литература не слышала изъ своей собственной среды та-

кого ѣдкаго укора, какъ «яснолобые либералы». Между тѣмъ, не говоря объ общемъ смыслѣ замѣчаній «Недѣли», самое выраженіе, такъ обрадовавшее пещернаго человѣка, было много разъ употреблено раньше въ изданіи, несравненно болѣе распространенномъ, чѣмъ почтенная газета. Почему же г. А не радовался прежде? Этотъ частный и самъ по себѣ ни мало не интересный вопросъ представляетъ только отраженіе болѣе общаго вопроса, который занимаетъ и самое «Недѣлю»: почему ей удалось возбудить столько говора. Сама она объясняетъ это обстоятельство опытно-наблюдательнымъ *происхожденіемъ* своихъ идей. Но, какъ мы видѣли, это пустяки. Вообще говоря, въ исторіи науки и литературы не особенно рѣдко такое явленіе, что однѣ и тѣ же идеи сначала проходятъ безслѣдно, а потомъ, по прошествіи извѣстнаго времени, будучи высказаны другими людьми, сосредоточиваютъ на себѣ всеобщее вниманіе. Это отъ разныхъ причинъ можетъ зависѣть: отъ большей подготовленности общества, отъ большей талантливости послѣдующихъ пропагандистовъ и т. п. Можетъ быть, эти причины были налицо и въ занимающемъ насъ случаѣ, но думаю, что главное дѣло не въ нихъ. Бываетъ и такъ, что первоначальная идея до такой степени осложняется новыми приставками, что перестаетъ быть сама собой и въ этомъ совершенно преобразованномъ видѣ становится или симпатичнѣе, или доступнѣе для пониманія большинства. Это однако отнюдь не непремѣнно совпадаетъ съ внутреннимъ прогрессомъ самой идеи. Весьма возможенъ такой случай, что въ своемъ преобразованномъ разными приставками видѣ идея льститъ грубымъ страстямъ или допускаетъ чрезвычайно различныя толкованія, вслѣдствіе своей неясности, или инымъ какимъ-нибудь, столь же нелестнымъ для нея способомъ заставляетъ о себѣ говорить.

Я думаю, что внезапный интересъ, возбужденный «Недѣлей», именно такого рода. Главнѣйшіе ея выводы и положенія отличаются крайнею невразумительностью, которая съ одной стороны является весьма легкою добычею для самой поверхностной критики, а съ другой — позволяетъ людямъ весьма различнаго образа мыслей толковать эти выводы и положенія по своему. Взять хоть бы, напримѣръ, вышеприведенную саморекомендацію почтенной газеты. Я коснулся ея только со стороны фактической невѣрности, но, еслибы игра стоила свѣчъ, можно бы было написать не мало веселыхъ страницъ насчетъ самой сути этой саморекомендаціи, насчетъ возможности обходиться въ публицистикѣ безъ «теоретическихъ построеній». Съ другой стороны «Недѣля» до такой степени невразумительно противопоставляетъ теоретическія построенія наблюденію, что на ея словахъ могли бы не безъ успѣха поиграть и г. Полетика, и г. Баймаковъ, и г. Скальковскій, и г. А, и вообще всякій, имѣющій свои резоны не любить «теоретическихъ построеній». Конечно, эти господа принялись бы за эту игру только въ томъ случаѣ, еслибы это было имъ нужно, но вѣрно то, что они не такъ охотно заговорили бы о мнѣніяхъ «Недѣли», еслибы она не путалась.

Позвольте мнѣ на минуту оторваться отъ «Недѣли» къ явленіямъ болѣе крупнаго калибра. На востокѣ—опять пожары, кровь и пушечные выстрѣлы. Богъ знаетъ въ который разъ поднимается измученное славянское населеніе Турціи и пробуетъ добиться элементарнѣйшихъ правъ человѣческаго существованія. Мы находимся или наканунѣ великаго историческаго событія, если славянамъ удастся протискаться на свободу сквозь сѣть дипломатическихъ тонкостей и гнилые путы турецкаго владычества, или же наканунѣ одной изъ позорнѣйшихъ страницъ исторіи человѣчества, если и теперь «больной человѣкъ» останется владыкой людей здоровыхъ. Зерно событій до послѣдней степени просто, такъ просто, что даже до рѣдкости. Большинство населенія Турціи представляетъ массу, почти совершенно однородную и въ политическомъ, и въ соціальномъ, и въ религіозномъ, и въ культурномъ отношеніи. Большинство—славяне по національности, христіане по религіи и почти паріи по общественному положенію; слово «райя» обращается на нашихъ глазахъ въ такое же нарицательное имя, какъ и «парія». По замѣчательной особенности юго-славянскихъ племенъ, все, что рѣзко поднималось надъ общимъ уровнемъ этой однородной массы, порывало съ ней всѣ связи заразъ: зародыши юго-славянской аристократіи почти поголовно потурчены и обращены въ мусульманство. Въ Ирландіи, напримѣръ, въ одной изъ несчастнѣйшихъ странъ Западной Европы, есть своя аристократія, свои коренные лэндлорды, которые, будучи такими же католиками и ирландцами, какъ и большинство коренного населенія, не имѣютъ съ нимъ ничего общаго съ точки зрѣнія экономическихъ интересовъ. Въ экономическомъ и до извѣстной степени въ политическомъ отношеніи они естественно тяготѣютъ къ англійской аристократіи, тогда какъ въ другихъ остаются тѣсно связаны съ своимъ народомъ. Южные славяне не знаютъ этой раздвоенности и запутанности, этихъ противорѣчій; національное и народное дѣло для нихъ совершенно совпадаютъ. Далѣе, евро-

пейцы могутъ смотрѣть на славянъ, какъ на варваровъ, дикарей, о судьбѣ которыхъ не стоитъ заботиться. Мы, конечно, такъ смотрѣть не можемъ, хотя бы уже потому, что сами мы въ глазахъ Европы—дикари. Мы можемъ видѣть въ славянахъ только людей, которые по внѣшнимъ обстоятельствамъ до сихъ поръ еще ничего не внесли въ сокровищницу общечеловѣческой цивилизаціи. Они только играли по отношенію къ ней роль щита, принимавшаго удары азіатскихъ ордъ. Но если они такъ поздно начнутъ свою культурную жизнь, то тѣмъ больше вѣроятности, что они избѣгнутъ ошибокъ, по-неволѣ сдѣланныхъ старой Европой въ историческомъ процессѣ ея развитія. Наконецъ, гнетущій славянъ турецкій общественный и государственный строй до такой степени противорѣчитъ самымъ скромнымъ требованіямъ, какія только могутъ быть предъявлены, что о несостоятельности его не можетъ быть споровъ. Такимъ образомъ основныя данныя задачи ясны, какъ Божій день, и сами по себѣ не могутъ вызвать ничего, кромѣ горячаго сочувствія славянамъ. Это—сама азбука, даже для людей, заинтересованныхъ въ дальнѣйшемъ существованіи Турціи въ ея теперешнемъ видѣ. Не мудрено поэтому, что газеты наши, хоть и не сразу, но, наконецъ, выровнялись въ этомъ отношеніи. Я не намѣренъ слѣдить за отношеніями русскихъ газетъ къ славянскому дѣлу (предметъ, впрочемъ, крайне любопытный) и склоненъ говорить болѣе отвлеченнымъ образомъ. Представимъ себѣ идеальную газету, которая, принявъ во вниманіе крайнюю простоту вопроса, съ начала герцеговинскаго возстанія неустанно твердила бы одно: «вотъ около семи милліоновъ полураздавленнаго безобразнымъ политическимъ строемъ люда; онъ поднимается, его терпѣніе перешло всѣ предѣлы, надо помочь ему, словомъ ли, вызвавъ сочувствіе, деньгами ли, дѣломъ ли, помочь во имя самыхъ чистыхъ побужденій сочувствія къ человѣку, неподкупленнаго ничѣмъ, кромѣ незаслуженныхъ страданій этого человѣка и возможности его великой будущности». Естественно, что такая газета постаралась бы опереться и на племенное родство наше со славянами, и на наше съ ними единовѣріе. Естественно также, что она обратила бы вниманіе на важность для русскаго народа образованія на мѣстѣ Турціи славянской федераціи. Такая газета, безъ сомнѣнія, имѣла бы успѣхъ и притомъ успѣхъ ровный и серьезный: ея мнѣніями никто не осмѣлился бы играть, толковать ихъ вкривь и вкось. Съ ними можно бы было только соглашаться или не соглашаться. Если хотите, говору объ этой газетѣ было бы сравнительно немного, но зато читалась бы она сильно и, слѣдовательно, имѣла бы прочное и серьезное вліяніе. Въ самомъ дѣлѣ, ясность подлежащей разрѣшенію политической задачи такова, что стоитъ только крѣпко держаться ея основныхъ данныхъ, чтобы избѣжать какихъ бы то ни было промаховъ: къ ней нѣтъ приступу ни со стороны пошленькихъ заигрываній съ задней мыслью, ни со стороны грубыхъ страстей. Но въ этой неприступной крѣпости немедленно откроются бреши, если газета (какъ это случилось съ русскими газетами) запутаетъ корень вопроса посторонними соображеніями и поставитъ выше этого корня какую-нибудь второстепенную черту. Напримѣръ, многіе придаютъ первенствующее значеніе нашему племенному родству со славянами и вмѣстѣ съ тѣмъ уличаютъ въ бездушіи, своекорыстіи и т. п. англійскихъ государственныхъ людей или австро-венгерскихъ писателей. Но, если мы сочувствуемъ славянамъ главнымъ образомъ потому, что они намъ—родня, такъ тѣмъ самымъ узаконяется бездушное и своекорыстное отношеніе къ нимъ англичанъ или венгровъ: вѣдь они имъ не родня. Желающій смѣло можетъ позабавиться на эту тему, а желающіе всегда есть: кто—по природному зубоскальству, кто—потому, что надо же что-нибудь писать, а кое-кто по искреннему стремленію по возможности уяснить дѣло. Или, напримѣръ, «Новое Время» называетъ «Биржевыя Вѣдомости» (довольно основательно) торгашами, а само, нѣтъ-нѣтъ, да и поставитъ восточный вопросъ на почву дѣлежа турецкаго наслѣдства между англійскими и русскими купцами. Какъ будто это—не то же торгашество, только пошире, и какъ будто, не то что славянамъ, а и русскому народу есть надобность расчищать дорогу русскимъ купцамъ. Путаница эта даетъ пищу говору и, слѣдовательно, создаетъ своего рода успѣхъ. И все это происходитъ оттого, что на простую, ясную и великую идею навѣшиваются неподходящія побрякушки.

Я не говорю, что это—единственный путь успѣха и возбужденія интереса, вѣрнѣе, говора. Но это несомнѣнно—одинъ изъ довольно обыкновенныхъ путей, и имъ-то шла «Недѣля» въ вопросѣ, отчасти соприкасающемся съ тѣмъ, который разрѣшается нынѣ на востокѣ. Я разумѣю вопросъ о національности и народности. Прошлой главѣ записокъ профана «Недѣля» придала совершенно несоотвѣтственный оттѣнокъ, котораго я самымъ тщательнымъ образомъ избѣгалъ и, надѣюсь, избѣгнулъ. «Г. Михайловскій говоритъ, что онъ давно проповѣдывалъ нѣкоторыя истины, выставляемыя «Недѣлей»; г. Скабичевскій въ «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ» то же самое говоритъ о себѣ.

И однако же, ни тому, ни другому, не пришлось возбудить того интереса, который они возбудили теперь». Такъ торжествуетъ «Недѣля». Подождите торжествовать. Еще вопросъ: слѣдуетъ ли вамъ радоваться, или горевать, посыпавъ главу свою пепломъ. Я отвѣчаю, конечно, только за себя и напомню «Недѣлѣ», что тѣхъ рѣжущихъ ухо словъ, которыя она мнѣ приписываетъ, я *не говорилъ*. Я вообще говорилъ не о себѣ, а о цѣломъ литературномъ направленіи. Но, такъ какъ рѣжущія ухо слова уже произнесены, то я, пожалуй, подниму перчатку, брошенную мнѣ «Недѣлей», и буду говорить о себѣ. Во многихъ отношеніяхъ, отчасти, вѣроятно, понятныхъ и «Недѣлѣ», и читателю, это даже удобнѣе, чѣмъ разсуждать о цѣломъ литературномъ направленіи. Остановлюсь на тѣхъ главахъ записокъ профана, въ которыхъ трактуется о гр. Толстомъ. Тамъ представлена была оцѣнка дѣятельности гр. Л. Толстого съ такой точки зрѣнія, которой не прилагалъ къ этому писателю ни одинъ критикъ. Литературная дѣятельность его получила освѣщеніе, совершенно новое и во многомъ противорѣчившее установившимся объ ней понятіямъ, причемъ во главу угла всей оцѣнки была поставлена идея народа, тщательно ограниченная отъ идеи національности. Нѣкоторыя изъ высказанныхъ при этомъ мыслей, пожалуй, близки къ тѣмъ, которыя обезпечили открытіе необитаемаго архипелага Недѣліи. Г. Толстой интересовалъ въ то время читающую публику сильнѣе, чѣмъ когда-нибудь. Однако пространныхъ печатныхъ разговоровъ по поводу этихъ статей не было. Можетъ быть, какіе-нибудь два-три литературные башибазука гикнули и затѣмъ спрятались въ кусты. Но вѣрно то, что ни г. А (даже особенно въ этомъ случаѣ заинтересованный), ни межеумки вродѣ гг. В. М. или Фауста Щигровскаго уѣзда не размазывали выраженныхъ мною мыслей (я не говорю: исключительно мнѣ принадлежащихъ), не мяли ихъ вкривь и вкось своими неумѣлыми или грязными руками. И ужъ, конечно, мнѣ не приходится по этому случаю печаловаться. Можетъ быть, это зависитъ отъ того, что въ упомянутыя статьи вложено меньше таланта и наблюдательности, чѣмъ какіе находятся въ распоряженіи публицистовъ «Недѣли». Я охотно готовъ это допустить и во всякомъ случаѣ не стану спорить. Но я склоненъ думать, что была и еще одна причина сравнительной молчаливости межеумковъ, и причина самая важная: ясность и простота, если можно такъ выразиться, строгость точки зрѣнія. Потому только я и рѣшаюсь поднять перчатку, брошенную «Недѣлей», что мои личные писательскіе достоинства и недостатки тутъ рѣшительно не при чемъ. Не они отняли у баши-бузуковъ и межеумковъ ихъ хлѣбъ насущный—возможность лишній разъ поболтать, а величіе идеи народа, по отношенію къ которой вся моя заслуга состоитъ въ стремленіи вышелушить ее, отдѣлить отъ всѣхъ постороннихъ примѣсей. Кормленіемъ баши-бузуковъ и межеумковъ занялась «Недѣля» и радуется, глядя на аппетитъ, съ которымъ они жуютъ подсунутую имъ пищу. Читатель помнитъ, какъ перепутала «Недѣля» идеи національности и народности. Образовалась мутная вода, въ которую межеумки и баши-бузуки—одни съ комическою серьезностью, другіе съ наглою усмѣшкой—смѣло закидывали свои удочки и выуживали, что попадется. Далѣе, всегда есть люди, которымъ стоитъ только показать палецъ и сказать, что это—коренной русскій, чисто національный палецъ, и они радостно захохочутъ громче мичмана Пѣтухова захохочутъ по той же неразгаданной психологіей причинѣ, по которой щедринскіе вояжеры млѣютъ, вспоминая о русскихъ кушаньяхъ. (Есть, конечно, и такіе субъекты, для которыхъ «русское», что бы то ни было, значитъ приблизительно «свинское»). Вотъ главнѣйшій контингентъ людей, заговорившихъ о «Недѣлѣ». Вотъ передъ кѣмъ волочила она великую идею, изукрасивъ ее лоскутьями славянофильскаго костюма, но не имѣя смѣлости прямо пристать къ этому ученію, и вотъ къ чему сводится значительная доля возбужденнаго ею интереса. Конечно, ничего подобнаго не могло случиться въ другое время и при другихъ обстоятельствахъ. «Недѣля» утверждаетъ, что общество и литература стремятся выбиться изъ «узкихъ рамокъ». Что это справедливо относительно нѣкоторой, очень малой части общества и литературы—это я очень хорошо знаю, хотя и не знаю, одну ли и ту же часть мы съ «Недѣлей» разумѣемъ. Но что подавляющее большинство влачитъ свое нравственное существованіе изо дня въ день, безъ надеждъ и идеаловъ, вяло и апатично—это я тоже очень хорошо знаю. Только теперь, благодаря напряженному моменту турецко-славянской распри, замѣчается нѣкоторое, хотя далеко несоотвѣтствующее важности событій общее возбужденіе. Можетъ быть, дѣла пойдутъ такъ, что черезъ нѣсколько времени мы будемъ съ ужасомъ оглядываться на переживаемое теперь пишущимъ и читающимъ людомъ время, какъ на періодъ скандала и цѣлковаго—этихъ двухъ креугольныхъ камней нашихъ теперешнихъ духовныхъ интересовъ. Я не поздравляю «Недѣлю» съ возбужденнымъ ею интересомъ...

Межеумки, баши-бузуки и руссофилы

quand même не интересны. Есть благонамѣренные, серьезные и вообще хорошіе и неглупые люди, словомъ или письмомъ принявшіе участіе въ открытіи архипелага Недѣліи. (Я имѣю въ виду, конечно, только тѣхъ, которые принимали участіе болѣе или менѣе положительное, а не тѣхъ, которые относились къ архипелагу отрицательно). Это можно объяснить опять-таки только тою же невразумительностью «Недѣли», дозволяющею толковать ея положенія крайне разнообразно. Вотъ, напримѣръ, г-жа Ефименко—почтенный и умный человѣкъ, безъ сомнѣнія, знающій народную русскую жизнь не въ примѣръ основательнѣе гг. П. Ч., Кавелина и Гайдебурова. Но этого мало, что она знаетъ народную жизнь. Она имѣетъ очень правильную точку зрѣнія. Я помню, напримѣръ, ея прекрасную статью «Народныя юридическія воззрѣнія на бракъ», напечатанную должно быть года три тому назадъ въ «Знаніи», гдѣ она не просто отстаивала необходимость изученія народной жизни, а весьма осязательно доказывала это, гдѣ она, слѣдя за обычнымъ брачнымъ правомъ съ рѣдкою тщательностью и знаніемъ дѣла, вмѣстѣ съ тѣмъ далека была отъ фальшивой идеализаціи «деревни». И вдругъ этотъ дѣйствительно дѣльный и серьезный человѣкъ разражается тою странною тирадой, тѣмъ гимномъ въ честь «Недѣли», который я привелъ въ прошлый разъ. Она восторженно говоритъ, какъ о какомъ-то новомъ откровеніи, о такихъ воззрѣніяхъ, которыми въ несравненно болѣе чистомъ видѣ сама давно руководствовалась. Представьте себѣ, что человѣкъ всю жизнь занимался, напримѣръ, астрономіей и издалъ какія-нибудь самостоятельныя работы. Онъ читаетъ въ какомъ-нибудь популярно-научномъ изданіи похвалу астрономіи, какъ наукѣ полезной въ практическомъ отношеніи, возвышающей духъ и т. п.—и вдругъ начинаетъ пѣть восторженную хвалу издателямъ популярнаго листка: «о, господа, какъ я вамъ благодаренъ! вы мнѣ открыли новыя перспективы, вы указали мнѣ новый путь» и т. д. Случай чрезвычайно странный, а отношенія г-жи Ефименко и «Недѣли» приблизительно именно таковы. Г-жа Ефименко благодаритъ «Недѣлю» за то, что та наставила ее на путь, на которомъ сама г-жа Ефименко стояла раньше и тверже «Недѣли»! Этого мало. Г-жа Ефименко, отъ лица «мыслящихъ провинціаловъ», утверждаетъ, что «столичные писатели», именно потому, что они—столичные, не въ состояніи оцѣнить заслугъ столичныхъ писателей «Недѣли»! Ясно, что тутъ есть какое-то недоразумѣніе, хотя, признаюсь, я не могу понять, въ чемъ именно оно состоитъ. Можетъ быть, г-жа Ефименко устала трезво мыслить (такая усталость вообще возможна) и ухватилась именно за тѣ лоскутья, которыми «Недѣля» изукрасила великую идею. Можетъ быть, она поддалась на тѣ грубоватыя похвалы, которыя «Недѣля» давно уже расточаетъ провинціи и провинціальнымъ писателямъ. Можетъ, и другое что-нибудь тутъ замѣшалось, но во всякомъ сдучаѣ будетъ чрезвычайно прискорбно, если г-жа Ефименко намѣрена выступить на какой-нибудь *новый* путь и, слѣдовательно, уклониться отъ своего стараго.

А можетъ, быть и то, что г-жа Ефименко вкладываетъ въ слова «Недѣли» свой собственный смыслъ, какой и въ голову не приходилъ публицистамъ этой газеты. Это очень возможно. Чего, напримѣръ, нельзя вложить въ слѣдующій тезисъ г. П. Ч.: «если только намъ суждено скоро услышать «надлежащее слово», его скажутъ люди деревни, а не города и уже всего меньше Петербурга. Да, скажетъ его деревня, какъ бы презрительно ни думали о ней книжники. Хотѣлось бы пояснить, что подъ деревней здѣсь подразумѣвается единица, олицетворяющая собою принципъ солидарности, нравственной связи, въ противуположность принципу крайняго индивидуализма и разобщенности, выразителемъ котораго былъ и есть европейскій городъ». Въ этихъ словахъ *конкретному* Петербургу, т. е. такому, каковъ онъ теперь во всѣхъ подробностяхъ, съ Невскимъ проспектомъ и уличнымъ ловеласничествомъ, съ «Недѣлей» и ея идеальными стремленіями, съ магазинами, фабриками, монументами, рысаками, ваньками, нищими и проч., и проч., противопоставляется *отвлеченная* деревня, т. е. не такая, какова она въ дѣйствительности, а какъ ее отвлеченно разумѣетъ авторъ, т. е. отвлекая нѣкоторые ея признаки и признавая какъ бы несуществующими остальные. Говорю такъ пространно не столько для читателей, сколько для «Недѣли». Она очень странно понимаетъ слово «конкретный». Такъ, въ передовой статьѣ № 11-го она говоритъ, что о фактахъ и явленіяхъ конкретныхъ разсуждать легко, а «явленія соціально-нравственнаго порядка» труднѣе поддаются оцѣнкѣ. Смѣю увѣрить редакцію, что явленія соціально-нравственнаго порядка столь же конкретны, какъ и всѣ другія, и что вообще *конкретное* можетъ быть правомѣрно противопоставлено только *отвлеченному*. Но противопоставлять *конкретный Петербургъ отвлеченной деревнѣ* все-таки воспрещается основными правилами логики, ибо ничего, кромѣ путаницы, изъ этого произойти не можетъ. Представимъ себѣ полкъ солдатъ, связанный чувствомъ солидарности и нравственной связи. Представить себѣ

это вовсе не такъ трудно, и, вѣроятно, такіе полки существуютъ. Въ такомъ случаѣ, если подъ деревней «подразумѣвать единицу» и т. д., этотъ полкъ надо будетъ считать деревней и отъ него ждать «надлежащаго слова», хотя бы казармы его находились гдѣ-нибудь на Фонтанкѣ, т. е. въ конкретномъ Петербургѣ. Затѣмъ, слѣдуя примѣру г. П. Ч., можно, пожалуй, отвлечь нѣкоторые признаки Петербурга, которые почище, и этотъ отвлеченный Петербургъ противупоставить конкретной деревнѣ. Въ такихъ пріемахъ хорошаго мало. Я знаю, что и господа «мыслящіе провинціалы», и господа «Недѣля» назовутъ все это бездушными придирками столичнаго писателя, руководствующагося только «объективно-литературнымъ интересомъ» и неспособнаго оцѣнить глубину чувствъ, волнующихъ гг. Кавелина, П. Ч., Гайдебурова и проч. Бросьте эти фразы, господа, потому что это — дѣйствительно фразы, или, по крайней мѣрѣ, перестаньте претендовать на титулъ мыслящихъ, вы, господа «мыслящіе провинціалы», и печатать философскія статьи о «нашемъ умственномъ строѣ», о «возможности метафизическаго знанія» и т. п., вы, г-жа «Недѣля». Выступайте во всеоружіи простого непосредственнаго чувства, пойте торжественные гимны или меланхолическіе романсы, не пытаясь уже ничего оправдывать логическими соображеніями. Я понимаю законность и такой формы литературы, потому что понимаю законность чувства, хотя и то сказать: неужто мы въ самомъ дѣлѣ такъ много и напряженно «мыслили», чтобы понадобилась реакція? Я полагаю, господа, что логическая мысль не мѣшаетъ чувству, а, напротивъ, помогаетъ ему. Не безукоризненность и законченность формы отъ васъ требуется. Пишите нескладно, дурно, если не можете писать хорошо, но пишите дѣло, не путайте и безъ того не прочно стоящихъ понятій. «Недѣля», впрочемъ, именно на эту удочку невразумительности поддѣла—не скажу интересъ, потому что это слишкомъ громко —а говоръ...

«Недѣля», бія себя въ грудь, говоритъ: чувствуйте! чувствуйте! И я скажу: чувствуйте, но не думайте, что чувство избавляетъ васъ отъ обязанности правильно мыслить, особенно если вы хотите поучать другихъ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ путать понятія не только не умно, а, пожалуй, что и бездушно.

«Недѣля» говоритъ: наблюдайте, вотъ какъ я. И я скажу: —наблюдайте, но не такъ, какъ «Недѣля», и не думайте, что «теоретическія построенія» непремѣнно враждебны наблюденію, ибо наблюдать безъ какого-нибудь теоретическаго построенія просто невозможно, а оставлять наблюденія въ сыромъ видѣ — по малой мѣрѣ, неразсчетливо.

«Недѣля» говоритъ: бросьте «иностранныя книжки», «европейскіе очки» и изучайте народную русскую жизнь—въ ней ваше спасеніе. Да, изучайте народную русскую жизнь, но иностранныхъ книжекъ не бросайте, а «европейскіе очки» просто разбейте, чтобы объ нихъ и помину не было.—Вы видите, что сама «Недѣля», толкуя о внимательныхъ наблюденіяхъ надъ текущею русскою жизнью, не прочь заглянуть и въ исторію Испаніи и Рима; что, распинаясь за «народную психологическую подкладку», сама она не прочь позаимствоваться иногда теоретическими построеніями нѣмецкаго еврея.

«Недѣля говоритъ: пусть провинція развертываетъ свои силы и въ частности пусть развивается провинціальная печать. Да, пусть, но...

Но этотъ пунктъ требуетъ нѣсколько болѣе подробнаго разсмотрѣнія. Подведемъ сначала итогъ, т. е. отвѣтимъ на вопросъ «Недѣли»: почему она возбудила такой «интересъ»? Вмѣсто отвѣта впрочемъ лучше просто разсказать, какъ дѣло было.

Въ періодъ скандала и цѣлковаго, въ глухое время сплошного сѣренькаго либерализма и отсутствія всякихъ высшихъ интересовъ, существуетъ, между прочими, газета «Недѣля». Она себя держитъ скромно до безцвѣтности, степенно до скуки, но вмѣстѣ съ тѣмъ ровно и добросовѣстно до претерпѣванія разныхъ невзгодъ. Она—типичная «хранительница» традиціи». Признавая порохъ выдуманнымъ, она добросовѣстно заряжаетъ имъ свой маленькій монте-кристо и еженедѣльно тихо стрѣляетъ въ цѣль, дозволяя себѣ только одну роскошь: надписывать надъ мишенью громкія заглавія вродѣ: «Правомѣрное государство», «Непосредственная посредственность», «Непослѣдовательность прогрессивной партіи въ Никольскомъ уѣздѣ» и т. п. Это порождаетъ странныя, двойственныя отношенія къ газетѣ въ обществѣ и литературѣ. Съ одной стороны нельзя не уважать людей, добросовѣстно исполняющихъ свои обязанности, но съ другой—вялость и безцвѣтность не подлежатъ никакому сомнѣнію, ибо всякая, даже самая живая мысль, попадая на страницы почтенной газеты, немедленно какъ-то тускнетъ. Вдругъ въ этомъ скромномъ и аккуратномъ гнѣздышкѣ поднимается какое-то необычное движеніе: «Недѣля» отказывается отъ роли хранительницы традиціи, она свой порохъ выдумала и отнынѣ намѣрена заряжать свой монте-кристо только этимъ, собственной фабрикаціи порохомъ. Аллюры газеты становятся все рѣшитель-

нѣе. Всеобщее недоумѣніе или «вопросительный знакъ», какъ выражается сама газета. Нѣкоторые говорятъ: «Емеля-то нашъ какаковъ?! порохъ выдумалъ». (Я потому только выражаюсь такъ, что разсказываю, какъ было дѣло; самъ же я никогда не рѣшусь назвать «Недѣлю» Емелей, даже для риѳмы). Другіе болѣе глубокомысленные и не знающіе о чемъ писать, унимаютъ: «нѣтъ, позвольте, это дѣло надо разобрать—газета серьезная!» Усматривая затѣмъ радикальную невразумительность разсужденій «Недѣли», гг. газетные рецензенты окончательно торжествуютъ Г. А радостно потираетъ руки: есть, молъ, и намъ чѣмъ поживиться. Г. Стасовъ и тому подобные начинаютъ ходить гоголемъ: русская школа живописи и музыки помянуты и вообще показанъ коренной русскій, національный палецъ, притомъ въ своеобразномъ духу времени мутновато-либеральномъ освѣщеніи. Кто хвалитъ, кто бранитъ, кто такъ себѣ умствуетъ, и «Недѣля» заноситъ въ свою памятную книжку: «сегодняшняго числа возбудили интересъ въ Фаустѣ Щигровскаго уѣзда»; «сегодня г. В. М. поставилъ вопросительный знакъ»; «согодня получено сочувственное письмо изъ провинціи». Между тѣмъ, и серьезные люди привлекаются къ этому клубку. Интересуясь дѣйствительно живыми вопросами, на которые налагаетъ руку «Недѣля», одни открываютъ въ поведеніи газеты не только путаницу, а и совсѣмъ ужъ нехорошія вещи; другіе запутываются въ цѣлой цѣпи невразумительностей, толкуя ихъ каждый по своему.

Вотъ какъ было дѣло. Въ цѣломъ—интересъ, возбужденный «Недѣлей», если только совокупность подразумѣваемыхъ фактовъ заслуживаетъ этого громкаго титула, есть результатъ сцѣпленія мелочныхъ обстоятельствъ въ пустомъ и темномъ пространствѣ. Въ цѣломъ—онъ не имѣетъ ровно никакого общаго значенія. Я говорю *въ цѣломъ* потому, что есть одна подробность въ этой исторіи, которая заслуживаетъ быть выдѣленною. Когда исторія втискиваетъ общество въ такое пустое и темное пространство, въ какомъ мы обрѣтались вплоть до самаго новѣйшаго времени (то-есть до настоящей войны; что будетъ дальше—неизвѣстно), тогда многіе, даже серьезные и живые люди не могутъ удержаться на высотѣ строго-логической мысли. Является потребность примирять непримиримое, бросать якори заразъ въ нѣсколькихъ пунктахъ. Эклектизмъ или даже просто лоскутность получаютъ особенную цѣну. Пусть «Недѣля» вспомнитъ интересъ, возбужденный въ свое время лоскутною философіей Кузена съ братіей. Кругомъ темно, пусто, мрачно, скверно; въ душу закрадывается щемящій скептицизмъ; жизнь не даетъ нужнаго возбужденія, не подкладываетъ въ костеръ дровъ; костеръ гаснетъ, мыслъ устаетъ работать. Являются лоскутники, самоувѣренно предлагающіе свою опору. Они на живую нитку сшиваютъ обрывки разныхъ теорій и выдаютъ этотъ сшивокъ за нѣчто цѣльное, новое и самостоятельное. Усталая мысль за него хватается, потому что онъ и въ самомъ дѣлѣ какъ будто новъ и какъ будто понятнѣе логической теоріи, именно своею грубостью. Мысль, неподдерживаемая жизнью, не можетъ справиться съ теоретическимъ построеніемъ, а ей говорятъ: да ихъ и не надо—теорій-то; нужно наблюденіе и теплота чувствъ. Это, конечно, соблазнительно, и соблазненная мысль не замѣчаетъ, что самъ соблазнитель—чистѣйшій теоретикъ, очень слабый по части наблюденія. Мысль не знаетъ, какъ приложить къ дѣлу «заграничныя формулы», а ей говорятъ, что она смѣло ихъ можетъ забросить и ухватиться за «начала народнаго русскаго быта». Опять та же исторія, и опять соблазненный не замѣчаетъ, что соблазнитель упитанъ заграничными формулами и если отрицаетъ ихъ, то только по своей лоскутности: онъ не иначе какъ эклектически умѣетъ связать свои заграничныя формулы съ тѣмъ, что ему кажется хорошимъ въ началахъ народнаго быта. Въ числѣ увлеченныхъ философіей Кузена были, безъ сомнѣнія, и серьезные люди. Есть они и въ числѣ сочувствующихъ «Недѣлѣ», хотя ихъ, разумѣется, крайне мало. Ради этой-то, очень маленькой, но заслуживающей полнаго вниманія кучки людей, я прошу «Недѣлю» исполнить свое обѣщаніе и дать мнѣ «возможно обстоятельный отвѣтъ» Чтобы не плодить препирательствъ по разнымъ побочнымъ вопросамъ, я попрошу «Недѣлю» сосредоточить свое вниманіе на слѣдующихъ пунктахъ. Во-первыхъ, я утверждаю, что понятія національности и народности сшиты «Недѣлею» лоскутнымъ манеромъ и логически сплошной ткани не представляютъ, хотя и могутъ совпадать эмпирически, въ томъ или въ другомъ частномъ случаѣ. Во-вторыхъ, разрывать «теоретическія построенія» и наблюденія—значитъ тоже лоскутничать, только въ другую сторону. Въ-третьихъ: въ какомъ отношеніи находится «народная русская психологическая подкладка» къ тѣмъ чисто-заграничнымъ, европейскимъ теоретическимъ построеніямъ, которыми освѣщаетъ исторію Россіи, напримѣръ, г. П. Ч.? Въ-четвертыхъ, я утверждаю, что брать умственный моментъ «отъ себя», а нравственный «отъ деревни»—значитъ опять-таки лоскутничать, ибо ни тотъ, ни другой

не представляютъ чего-нибудь однороднаго. Если «Недѣля» будетъ говорить, что она «подразумѣваетъ» подъ деревней то-то, такъ я заранѣе говорю, что мнѣ нѣтъ никакого дѣла до ея подразумѣваній, тѣмъ болѣе, что вѣдь она — наблюдательница и теоретическимъ построеніямъ не довѣряетъ.

Особь статья—провинція. Провинціалы дѣйствительно должны быть благодарны «Недѣлѣ», и я охотно вѣрю почтенной редакціи, когда она говоритъ, что въ ея портфелѣ хранится много сочувственныхъ писемъ изъ провинціи. Еще бы! «Недѣля» уже давно начала доказывать, что провинціальный писатель, именно потому, что онъ—провинціальный, можетъ понимать вещи не въ примѣръ лучше, чѣмъ столичный. Принимая въ соображеніе, что гг. Гайдебуровъ, Кавелинъ, Миллеръ, Бестужевъ-Рюминъ, г-жи Цебрикова, Конради и вообще большинство сотрудниковъ «Недѣли»—суть стародавніе петербуржцы, она обнаружила въ этомъ случаѣ даже значительное самоотверженіе. Правда, не смотря на свою любезность, «Недѣля» встрѣтила кое-гдѣ въ провинціи (въ «Камско-Волжской Газетѣ», въ «Первомъ шагѣ») не совсѣмъ лестную оцѣнку, но все-таки провинціальное сердце—не камень. Но и помимо любезности «Недѣля» заслуживаетъ благодарности провинціи постояннымъ, иногда очень серьезнымъ (а иногда и съ обычнымъ вывертомъ) напоминаніемъ объ ней. Я полагаю, что на этомъ пунктѣ почтенная газета откликается на дѣйствительную и настоятельную потребность. Провинція растетъ, какъ и все, что живетъ. Въ такомъ обширномъ государствѣ, какъ Россія, центры, разумѣется, не могутъ услѣдить за всѣми мѣстными нуждами и интересами. Это еще не есть резонъ для возникновенія и процвѣтанія провинціальной литературы, потому что какія-нибудь необозримыя тундры могутъ имѣть совершенно своеобразную физіономію, весьма мало доступную центрамъ, но не имѣть того, что называется «культурнымъ слоемъ», а, слѣдовательно, и писателей, и читателей. Но дѣло въ томъ, что нынѣ въ провинціи культурный слой все растетъ. Во-первыхъ, какъ ни косо смотрятъ «мыслящіе провинціалы» на петербургскую литературу, но она несомнѣнно создала въ провинціи читателей, возбуждая умственные интересы и такъ или иначе ихъ удовлетворяя. Рядомъ съ этимъ насажденіемъ читателя, онъ возникаетъ и самъ по себѣ, спонтанейно, какъ говорятъ философы. Далѣе, съ уничтоженіемъ крѣпостного права и истребленіемъ выкупныхъ свидѣтельствъ, «культурные люди» по необходимости отвыкаютъ отъ абсентеизма, забываютъ свои экскурсіи заграницу, въ Москву, въ Петербургъ и усаживаются на мѣстѣ. Земскія и судебныя учрежденія въ свою очередь увеличиваютъ контингентъ провинціальныхъ читателей. А гдѣ есть читатель, тамъ есть или скоро будетъ писатель. Въ какой мѣрѣ весь этотъ людъ заслуживаетъ названія мѣстной интелигенціи, это — особый вопросъ. Но это во всякомъ случаѣ—мѣстные читатели, и à la longue ихъ перестаетъ удовлетворять петербургская газета, одна половина которой посвящена иностраннымъ дѣламъ, а другая распредѣляется между Петербургомъ и всей остальной Россіей отъ Перми до Тавриды, отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды. Это такъ просто, такъ естественно, что не надо быть пророкомъ, чтобы предсказать значительное развитіе провинціальной печати въ самомъ непродолжительномъ времени, если, разумѣется, тому не помѣшаютъ внѣшнія обстоятельства. Вообще говоря, здравомыслящій человѣкъ можетъ, конечно, только радоваться этому, какъ одному изъ выраженій разлива знаній и просвѣщенія по лицу земли русской. Но представимъ себѣ, что будущая провинціальная журналистика будетъ окрашена въ цвѣтъ «Гражданина», «Русскаго Вѣстника» или будетъ имѣть характеръ верхнихъ этажей газеты знаменитаго плутосократа г. Полетики. Многіе будутъ этому радоваться, но я, грѣшный человѣкъ, откровенно скажу, что лучше бы въ такомъ случаѣ провинціальной журналистики вовсе не было. Разногласіе это, какъ бы кто ни посмотрѣлъ на мою нетерпимость, показываетъ, что вопросъ провинціальной журналистики сложнѣе, чѣмъ кажется съ перваго взгляда. Мѣстная литература не можетъ просто поставлять занимательное и поучительное чтеніе для мѣстныхъ читателей. Она будетъ такъ или иначе формировать взгляды читателей и вліять на мѣстныя житейскія дѣла. Объ этомъ рѣчь будетъ ниже, а теперь я хочу только сказать, что, кромѣ возникновенія и развитія провинціальной литературы вообще, желательно развитіе благообразное. Мнѣ извѣстны попытки, въ этомъ отношеніи заслуживающія полнѣйшаго сочувствія (конечно, такихъ немного: разъ, два, да и обчелся), но извѣстны также факты, въ высокой степени неблагообразные. Въ настоящую минуту предо мной лежитъ казанскій сборникъ «Первый шагъ» и брошюра г. Гацискаго «Смерть провинціи, или нѣтъ?» Если прибавить сюда пламенное изліяніе г-жи Ефименко, приведенное мною въ прошлый разъ, то мы будемъ имѣть группу горячихъ защитниковъ провинціальной печати, искреннихъ и благонамѣренныхъ, съ которыми говорить можно. Воспользуемся этимъ случаемъ.

«Мы не «грызться» съ вами хотимъ, вовсе нѣтъ... Мы, напротивъ, ищемъ въ васъ союзниковъ». Такъ между прочимъ обращается къ столичнымъ писателямъ г. Литераторъ-обыватель, авторъ очень пространнаго литературнаго обозрѣнія въ «Первомъ шагѣ». Нѣтъ, господа, вы грызться хотите; вы даже прямо грызетесь, и въ этомъ ваша первая бѣда и ошибка. Развѣ не грызня—это заявленіе г. Литератора-обывателя, что на десять столичныхъ писателей въ провинціи найдутся сотни умовъ, которымъ столичные въ подметки не годятся? Развѣ не грызня—эти длинныя, длинныя разсужденія о томъ, что казанскій первый шагъ будетъ петербургскими писателями встрѣченъ или презрительно, или покровительственно? Развѣ не грызня—увѣренія г-жи Ефименко, что столичный писатель есть какая-то бездушная писательная машина, а провинціальный, напротивъ, исполненъ чрезвычайно высокихъ чувствъ? Г. Гацискій говоритъ въ упомянутой брошюрѣ: «Нѣкоторые изъ моихъ друзей настолько нервны, что готовы объявить не только вамъ (г. Мордовцеву), но и петербургской печати войну на жизнь и смерть сейчасъ, сегодня». «Я готовъ дать торжественное обѣщаніе,—пишетъ мнѣ одинъ изъ моихъ друзей,—по принципу не писать ничего въ столичныхъ изданіяхъ, но стѣсняюсь это сдѣлать потому, что могутъ быть случаи, что то или другое негдѣ печатать въ провинціи. Я готовъ встать въ театральную позу и продекламировать: клянусь въ вѣчной враждѣ къ монопольной столичной печати!» (15). Развѣ это—не грызня? Правда, г. Литераторъ-обыватель въ письмѣ въ «Недѣлю» обращаетъ вниманіе на частный, непубличный характеръ этихъ клятвъ и обѣщаній. Но если такой солидный дѣятель провинціальной печати, какъ г. Гацискій, счелъ нужнымъ привести эту выписку изъ частнаго письма, такъ значитъ она характерна. Мнѣ показывали номеръ «Тифлисскаго Вѣстника» (кажется), въ которомъ напечатано «письмо изъ Петербурга». Какъ видно, такихъ писемъ кавказская газета напечатала уже цѣлый рядъ. Мнѣ они неизвѣстны, но судя по тому, что я видѣлъ, анонимный корреспондентъ есть отставной петербургскій литераторъ, занимающійся нынѣ на досугѣ сплетнями. Онъ въ восторгѣ отъ «Перваго шага». Г. Литератора-обывателя онъ признаетъ грозною силою, имѣющею сокрушить столичную печать. Онъ объясняетъ, что давно уже добровольно отрясъ столичный прахъ отъ ногъ своихъ и по принципу сдѣлался провинціальнымъ писателемъ (онъ думаетъ, что сообщать въ «Тифлисскій Вѣстникъ» петербургскія сплетни—значитъ быть провинціальнымъ писателемъ). Въ заключеніе, поручая себя благосклонному вниманію г. Литератора-обывателя, корреспондентъ обѣщаетъ сообщить ему массу фактовъ, кажется, даже документовъ, свидѣтельствующихъ о нравственной дрянности столичныхъ писателей. Не думаю, чтобы редакція «Перваго шага» до того унизилась, чтобы дать у себя мѣсто этимъ фактамъ и документамъ, но не могу поручиться, что злобствующій экс-петербургскій писатель не встрѣтитъ нѣкотораго сочувственнаго отклика въ сердцѣ г. Литератора-обывателя. Грызясь сами, провинціалы увѣрены, что столичные писатели съ нами грызутся, хотятъ и будутъ грызться. Они даже подъискали причину. И г. Гацискій, и г. Литераторъ-обыватель полагаютъ, что для столичныхъ писателей невыгодно развитіе провинціальной печати, которая, дескать, отобьетъ у петербургскихъ и московскихъ изданій подписчиковъ. Это — дѣло издателей, и какъ они на него смотрятъ—мнѣ неизвѣстно. Что-же касается нашего брата, работника, то, предполагая даже, что у насъ нѣтъ на умѣ ничего кромѣ выгоды, развитія провинціальной литературы намъ все-таки бояться нечего: чѣмъ больше мастерскихъ, тѣмъ лучше—есть изъ чего выбирать. Полагаю, что и издателямъ бояться нечего. Петербургскій или московскій конкурентъ для нихъ гораздо страшнѣе казанскаго или саратовскаго: послѣдній—даже не конкурентъ, по крайней мѣрѣ, не только конкурентъ, а отчасти и помощникъ, потому что онъ захватитъ и невспаханное поле, пріучитъ читать того, кто прежде ничего не читалъ, а это и столичнымъ издателямъ на руку. Нигдѣ въ цѣломъ мірѣ развитіе провинціальной печати не сокращало числа подписчиковъ на столичныя изданія—это фактъ—и, можно даже думать, увеличивало его.

Если-же провинціалы искренно и правду говорятъ, что не хотятъ грызться, такъ тѣмъ лучше. Да изъ-за чего намъ въ самомъ дѣлѣ грызться? Грызутся люди изъ-за куска хлѣба—объ этомъ сейчасъ говорено. Грызутся изъ-за личныхъ счетовъ—у насъ ихъ съ провинціалами пока нѣтъ. Грызутся, наконецъ, изъ-за принциповъ. Но какіе-же такіе принципы могутъ послужить въ настоящемъ случаѣ яблокомъ раздора? Провинція и столица? Централизація и децентрализація? Да, отвѣчаютъ провинціалы и переносятъ такимъ образомъ споръ на провинціальную почву. Подумаешь, жирондисты съ якобинцами сражаются... Позволю себѣ просить господъ провинціаловъ смотрѣть на дѣло прямѣе и яснѣе. Провинціалы вообще склонны говорить, что, молъ, мы—

по-просту, по душѣ, а столичные норовятъ все «въ критику, да изъ-подъ политики», какъ говоритъ одна купчиха у Островскаго. Извѣстно, что за такія простецкія рѣчи любятъ прятаться смышленые кулаки, пройдохи, очень ловко обдѣлывающіе свои дѣла «по-просту, по душѣ». Но и дѣйствительно простые и откровенные люди часто повторяютъ подобныя фразы. Вотъ и провинціальные писатели любятъ говорить: мы—волжскіе бурлаки, мы—по-просту, по душѣ. Помилуйте, господа, какіе-же вы волжскіе бурлаки? Этакъ и мы скажемъ, что мы—петербургскіе крючники или ломовые. Не вѣрьте, пожалуйста, г. П. Ч., что мы о провинціи понятія не имѣемъ. Большинство изъ насъ — не петербургскіе уроженцы, связи кое-какія съ провинціей сохраняемъ, бывали (даже!) въ славномъ городѣ Казани, дѣлающемъ нынѣ свой литературный первый шагъ, и очень хорошо знаемъ, что Казань совсѣмъ не сплошь населена бурлаками, что есть въ ней изящнѣйшіе джентльмены и леди, ученые профессора, хорошо откормленные купцы, фабриканты, практикующіе систему штрафовъ и прогуловъ, французскіе рестораторы и парикмахеры, словомъ—все, чему въ большомъ городѣ быть надлежитъ. Но возведеніе въ принципъ провинціальной простоты и душевности не только ошибочно, а и вредно. Говорящій можетъ быть и въ самомъ дѣлѣ простъ и душевенъ, но къ нему весьма легко можетъ пристроиться и пройдоха. Г. Литераторъ-обыватель увидѣлъ «политику» въ моихъ словахъ, что и остзейскіе бароны, и американскіе рабовладѣльцы, и проч. стояли за принципъ децентрализаціи и что безусловные принципы централизаціи и децентрализаціи представляютъ собою яйцо, выѣденное исторіей. Зачѣмъ вы о *безусловныхъ* принципахъ заговорили,—укоряетъ меня г. Литераторъ-обыватель, — это—«политика»; вы вѣдь знаете, что «Недѣля» не за остзейскихъ бароновъ стоитъ, знаете, какъ разумѣетъ она принципъ децентрализаціи. Я очень хорошо знаю, что г. Гайдебуровъ не есть баронъ фонъ-дер-Гайдебургъ. Мало-ли что я знаю, но я не смѣю говорить въ печати такъ «по-просту и по душѣ», какъ бесѣдовалъ-бы я съ г. Литераторомъ-обывателемъ за стаканомъ чаю, не смѣю потому, что требованія публичной бесѣды совсѣмъ иныя. Если человѣкъ публично ставитъ извѣстный принципъ, такъ я требую, чтобы онъ принялъ всѣ его логическія слѣдствія или-же видоизмѣнилъ, или избралъ новый. Того требуютъ логика, уваженіе къ печатному слову и обязанность писателя не путать понятій читателя, не вводить его въ соблазнъ. Того требуетъ, если хотите, именно «душевное» отношеніе писателя къ своему дѣлу и къ своимъ читателямъ. Если американскіе южные штаты опять поднимутъ знамя федераціи на подкладкѣ рабовладѣнія, «Недѣля» должна будетъ или одобрить послѣднее, или измѣнить своему принципу децентрализаціи. Г. Литераторъ-обыватель и тутъ, можетъ быть, найдетъ «политику», потому что, дескать, не объ Америкѣ рѣчь идетъ, а о мѣстныхъ нуждахъ современной Россіи. Нѣтъ, рѣчь идетъ о принципѣ, который долженъ обнять всю группу извѣстныхъ явленій и дать руководящую нить среди стихійной запутанности конкретной жизни. Не имѣя такого общаго принципа, вы и въ мѣстныхъ нуждахъ не разберетесь какъ слѣдуетъ, т. е. безъ противорѣчій.

Возьму примѣръ, какихъ много, десятки, если не сотни. Вотъ два нумера «Оренбургскаго Листка» за нынѣшній годъ (№ 14 и 15). Газета эта, сколько мнѣ извѣстно, скорѣе хорошая, чѣмъ плохая въ сонмѣ провинціальной журналистики. Въ обоихъ упомянутыхъ нумерахъ ея идетъ рѣчь о проектѣ мыловареннаго и стеариноваго завода въ Оренбургѣ. Учредители, имѣя въ виду особенности края и значительное развитіе въ немъ скотоводства, полагаютъ, что предпріятіе не только выгодно для пайщиковъ, для мѣстныхъ потребителей мяса, мыла, свѣчей, для скотоводовъ, но что оно кромѣ того «глубоко мѣстнаго типа». Что это значитъ, я не совсѣмъ хорошо понимаю и отмѣчаю только игру словомъ «мѣстный». «Оренбургскій Листокъ» съ своей стороны такъ привѣтствуетъ проектъ:

«Итакъ, въ непродолжительномъ времени мы будемъ имѣть, дастъ Богъ, и свѣчи стеариновыя хорошія, которыя теперь мы покупаемъ не ниже 30 коп. за фунтъ, и мыло доброкачественное, во всякомъ случаѣ не такое гнилое и вонючее, какимъ угощаютъ насъ мѣстные доморощенные фабриканты въ настоящее время. Помимо того, предпріятіе носитъ на себѣ глубоко мѣстный характеръ; оно лежитъ въ основаніи мѣстныхъ потребностей и по обилію и сподручности матеріаловъ производства обѣщаетъ быть прибыльнымъ. Независимо отъ сего, задуманное предпріятіе есть явленіе отрадное съ точки зрѣнія общественной экономіи. Появленіе въ наше время подобнаго рода компаній и кооперацій показываетъ, что въ русскомъ обществѣ мало-по-малу устанавливается правильный взглядъ на жизнь и ея требованія. То, что еще не такъ давно составляло профессію иностранцевъ или исключительнаго класса въ обществѣ, теперь становится занятіемъ всякаго, кто желаетъ взяться за дѣло, за трудъ, сдѣлавшійся нынѣ знаменемъ всего дѣльнаго, всего лучшаго въ обществѣ» и т. д.

Трудъ, кооперація, наше время, дешевыя свѣчи, благовонное мыло—все это прекрасно и даже чрезвычайно либерально. Но не слѣдуетъ забывать, что явленіе, вызвавшее эти

фразы, крайне просто: акціонерная компанія съ капиталомъ въ полтора милліона. *Мѣстное* значеніе ея дѣятельности выразится не только удешевленіемъ свѣчей и мыла (это еще надвое сказано), но прежде всего искорененіемъ *мѣстныхъ* же мелкихъ заведеній, занятыхъ тѣмъ же дѣломъ, если, разумѣется, такія есть. А они есть. Въ запискѣ учредителей говорится: «Значительныхъ оборотовъ саломъ и крупныхъ фабричныхъ производствъ на мѣстѣ не имѣется, но почти во всякомъ селеніи существуютъ мелкія салотопни, и въ краѣ разбросано до 20 небольшихъ мыловаренныхъ заводовъ, вырабатывающихъ мыло низкаго достоинства». «Оренбургскій Листокъ» въ свою очередь радуется, что мыло у оренбуржцевъ будетъ хорошее, а «не такое вонючее и гнилое, какимъ угощаютъ насъ *мѣстные доморощенные* фабриканты въ настоящее время». Значитъ, эти мѣстные доморощенные, не смотря на свою мѣстность, провалятся подъ давленіемъ колоссальнаго предпріятія «глубоко мѣстнаго типа». Мѣстная газета становится на сторону послѣдняго. Можетъ быть, оно такъ и слѣдуетъ—я не знаю, потому что ни учредители, ни газета не сообщаютъ никакихъ свѣдѣній о «доморощенныхъ». Но очевидно, что человѣкъ, затвердившій: «мѣстныя нужды, мѣстные интересы, развитіе провинціи», не въ состояніи разсудить неизбѣжный споръ между мѣстными доморощенными и «глубоко мѣстнымъ типомъ». Очевидно, что только лоскутникъ можетъ эти расползающіяся въ разныя стороны явленія суммировать въ понятіи «мѣстнаго».

— Все—бездушная логика, все — холодный анализъ! Гдѣ же чувство?! слышу я голоса «Недѣли» и мыслящихъ провинціаловъ. Есть здѣсь и чувства малость, милостивые государи. На первый разъ хоть бы чувства сожалѣнія къ тѣмъ, которые, участвуя въ изготовленіи мутной воды, сами въ ней тонутъ, и чувства ненависти къ тѣмъ, кто въ этой водѣ рыбу ловитъ и будетъ ловить. А коли подумаете (вѣдь вы—мыслящіе), такъ отыщете, можетъ быть, и другія чувства.

Если такимъ образомъ мѣстные интересы могутъ заключать въ себѣ весьма рѣзкія противорѣчія, то и провинціальная литература должна будетъ распасться въ самомъ простомъ случаѣ, по крайней мѣрѣ, на два лагеря. И я не вижу возможности сочувствовать имъ обоимъ заразъ, хотя оба они могутъ быть чисто мѣстными и отстаивать чисто мѣстные интересы. Слѣдовательно, желать возникновенія и развитія провинціальной печати я могу только подъ извѣстными условіями, которыя должны быть ясно оговорены, ибо во всякомъ данномъ случаѣ они могутъ быть и не быть на лицо. Г. Литераторъ-обыватель думаетъ иначе. Онъ полагаетъ, что провинція, какъ провинція, по самой сущности своей носитъ въ себѣ хорошіе задатки. Довольно трудно говорить о литературномъ обозрѣніи г. Литератора-обывателя, потому что, занимая почти девять печатныхъ листовъ и чуть не четверть всего «Перваго шага», оно касается самыхъ разнообразныхъ предметовъ, причемъ авторъ бросается изъ стороны въ сторону, вводитъ много совсѣмъ ненужныхъ разсужденій и проч. Значительная часть обозрѣніи занята опроверженіями статей гг. Мордовцова и Шашкова. О первой я упоминалъ, вторая мнѣ неизвѣстна, но, какова бы она ни была, г. Литераторъ-обыватель не имѣлъ никакого права привлекать заодно къ суду всѣхъ столичныхъ писателей, повинныхъ будто бы во враждебномъ (да еще по принципу) отношеніи къ своимъ провинціальнымъ собратамъ. Такъ что всю эту часть его обозрѣнія можно оставить безъ вниманія. Далѣе г. Литераторъ-обыватель разсматриваетъ общіе признаки провинціальнаго писателя, каковой оказывается 96-й пробы. Затѣмъ онъ обращаетъ вниманіе на одну особенную, спеціальную выгоду провинціальной печати и, наконецъ, предлагаетъ планъ литературной реформы. Обо всемъ этомъ побесѣдовать можно.

„Какова роль провинціальнаго писателя? Столичная печать относится къ нему высокомѣрно или насмѣшливо, не знаетъ для него другого названія, какъ «безвѣстный труженикъ» или «литераторъ-обыватель»; мѣстное общество относится къ нему, какъ къ чудаку-юродивому, или непріязненно и враждебно, какъ къ безпокойному человѣку». Каково матеріальное положеніе провинціальнаго дѣятеля печати? — Совершеннѣйшая нищета, если постороннимъ заработкомъ онъ не обезпечитъ сколько-нибудь своего существованія. Для того, чтобы написать одинъ листъ литературнаго произведенія, дѣятель провинціальной печати долженъ иногда написать десять листовъ канцелярскихъ отношеній, докладовъ, журнальныхъ постановленій и т. д.; или — для того, чтобы два-три часа въ день посвятить работѣ литературной — онъ долженъ пять-шесть часовъ посвятить на бѣготню по урокамъ и т. п. Въ такихъ-то обстоятельствахъ, какую пищу для самолюбія или матеріальнаго разсчета представляетъ дѣятельность провинціальнаго писателя? Никакой; напротивъ, она требуетъ самоотреченія во всѣхъ отношеніяхъ, за исключеніемъ главнаго: самостоятельности взглядовъ. Въ этомъ отношеніи писатель-провинціалъ обладаетъ драгоцѣннѣйшей привилегіей — хранить независимость своего мнѣнія отъ вліянія литературныхъ кружковъ и лагерей, отъ разсчетовъ литературнаго кумовства, отъ поползновеній антрепренера-издателя (такъ какъ или онъ самъ издатель своихъ сочиненій, или издатель отъ него зависитъ, а не наоборотъ). Тѣ лишенія, труды, опасности и болѣзни, которыми онъ завоевываетъ себѣ право быть писателемъ—дѣлаютъ въ его глазахъ печатное слово предметомъ слишкомъ высокимъ, чтобы относиться къ нему безъ достаточнаго уваженія и обращаться съ нимъ за панибрата.

Между тѣмъ какъ столичный писатель сплошь и рядомъ пишетъ для того, чтобы заработать себѣ средства къ жизни, провинціальный — наоборотъ: зарабатываетъ средства къ жизни для для того, чтобы имѣть возможность писать; или короче: первый пишетъ, чтобы жить; второй живетъ, чтобы писать... Маленькая разница, которой объясняется очень многое"... „Качества, составляющія отличительную особенность писателя-провинціала, заключается въ той внутренней психической связи, которая существуетъ между дѣятелемъ и той мѣстностью, областью, территоріей, которой онъ посвящаетъ свою дѣятельность. Безъ этой внутренней связи, которую за неимѣніемъ болѣе подходящаго названія можно назвать мѣстнымъ патріотизмомъ, немыслимо посвятить всю жизнь усердному труду на пользу какого-нибудь края, не имѣя въ виду ни матеріальныхъ выгодъ, ни даже той награды, которую даетъ человѣку почетная извѣстность; напротивъ, очень часто подвергаясь добровольнымъ лишеніямъ въ разныхъ отношеніяхъ, требующимъ иногда даже чрезвычайнаго самоотверженія".

„Кто станетъ отвергать, — говоритъ далѣе авторъ,—что сочувствіе тѣмъ живѣе, чѣмъ ближе его объектъ къ сочувствующему субъекту и чѣмъ продолжительнѣе ихъ связь. Такимъ образомъ мѣстный патріотизмъ есть естественное и неизбѣжное послѣдствіе осѣдлаго общежитія... Трудно не заподозрить въ резонерствѣ того человѣка, который, говоря о своей любви къ человѣчеству, не проявлялъ бы въ то же время способности съ наибольшею живостью сочувствовать интересамъ той части человѣчества, которая въ силу предшествующихъ обстоятельствъ его жизни сдѣлалась для него наиболѣе близкой и родственной. Гарибальди, можетъ быть, величайшій космополитъ нашего времени, но онъ въ то же время и величайшій патріотъ. Его космополитизмъ выросъ на почвѣ патріотизма; потому онъ и носитъ такой живой, практическій, дѣятельный характеръ".

Комбинируя затѣмъ нѣсколько полемическихъ статей петербургскихъ изданій въ томъ направленіи, что столичный писатель безсодержателенъ, нравственно слабъ и проч., авторъ имѣетъ и еще разъ случай представить писателя провинціальнаго со стороны его независимости, свѣжести, самоотверженной честности. О «сотняхъ умовъ» умалчиваю.

Я знаю очень и очень немногихъ провинціальныхъ писателей лично, и они дѣйствительно подходятъ къ описанію г. Л. О. (г. Литераторъ-обыватель такой длинный, что я позволю себѣ его сократить). Но, не говоря уже о томъ, что я знаю такихъ и въ столицѣ (столичную печать огуломъ защищать, конечно, не стану). *общей* характеристикѣ г. Л. О. я, признаюсь, не вѣрю. Не могу похвастаться короткимъ знакомствомъ съ провинціальной журналистикой, но все-таки понятіе имѣю и очень хорошо знаю, что въ ней сплошь и рядомъ находятъ себѣ пріютъ вещи, глубоко возмутительныя по своей пошлости, дрянности, глупости и грубости. Этого и мыслящіе провинціалы отрицать не станутъ. Я помню въ «Камско-Волжской Газетѣ» цѣлый рядъ статей, въ которыхъ огромное большинство провинціальныхъ газетъ подвергалось весьма строгому и весьма справедливому суду. Откуда же, спрашивается, берутся эти безобразія при тѣхъ условіяхъ, которыя г. Л. О. описалъ столь розовыми красками? Онъ не говоритъ, а я не знаю, но нетрудно видѣть, что именно это якобы розовыя (я принимаю въ соображеніе и шипы, безъ которыхъ розы нѣтъ) условія могутъ сдѣлать изъ провинціальнаго писателя нѣчто весьма отличное отъ портрета, написаннаго г. Л. О. Въ самомъ дѣлѣ: можно ли себѣ представить независимое провинціальное изданіе, если члены его редакціи вынуждены посвящать большую часть своего времени на сидѣніе въ разныхъ канцеляріяхъ? Петербургскій писатель зависитъ отъ издателя — это правда и прискорбная правда, но это—еще небольшая бѣда сравнительно съ зависимостью писателей-канцеляристовъ отъ тѣхъ вѣдомствъ, въ коихъ они служатъ и не служить не могутъ. Полагаю, что въ сужденіяхъ о мѣстныхъ дѣлахъ они должны частенько кривить душой, тѣмъ болѣе, если и *мѣстное* общество смотритъ на *мѣстнаго* писателя, какъ на «чудака юродиваго» или «безпокойнаго человѣка». Что касается «мѣстнаго патріотизма», то это тоже оружіе обоюдоострое. Гарибальди дѣйствительно патріотъ-космополитъ. Но вѣдь и патріотизмъ, и космополитизмъ его заключены въ совершенно опредѣленныя принципіальныя рамки. Съ Кавуромъ, тоже патріотомъ, онъ не ладилъ, а въ войнѣ за «независимость» южныхъ штатовъ Америки участія не принималъ. Но чѣмъ толковать о Гарибальди, возьмемъ лучше русскихъ патріотовъ-космополитовъ. Напримѣръ, въ силу предшествовавшихъ обстоятельствъ жизни, «для издателей покойной «Вѣсти» сдѣлалась наиболѣе близкой и родственной извѣстная часть человѣчества», русскаго человѣчества, разумѣется, потому что они никому не хотѣли уступать въ патріотизмѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ они были космополиты, потому что распространяли свое сочувствіе и на польскихъ магнатовъ, и на англійскихъ лордовъ. Или вотъ, напримѣръ, г. Полетика. Патріотъ онъ несомнѣнный, но, такъ какъ предшествующія обстоятельства его жизни сдѣлали для него особенно дорогою и близкою ту часть человѣчества, которая называется русскими металлическими заводчиками, то онъ совершенно космополитически сочувствуетъ всѣмъ заводчикамъ всѣхъ странъ. Такъ и провинціальный писатель дѣйствительно сочувствуетъ той части мѣстнаго человѣчества, которая, въ силу предшествующихъ обстоятельствъ его жизни и проч., но одного эти обстоятельства пришпилили сюда, другого туда (все въ той же мѣстности),

одного къ казанскому бо-монду, а другого, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ къ волжскимъ бурлакамъ. Если вліяніе предшествующихъ обстоятельствъ жизни такъ могущественно и такъ плодотворно, какъ предполагаетъ г. Л. О., то, напримѣръ, «Оренбургскій Листокъ» необходимо и правомѣрно примыкаетъ къ тому изъ борющихся мѣстныхъ интересовъ, къ которому эти обстоятельства его влекутъ. А влекутъ они его къ «глубоко мѣстному типу». Но другую, мѣстную же газету другія обстоятельства столь же необходимо и правомѣрно могутъ повлечь къ «доморощеннымъ». А между тѣмъ которая-нибудь сторона необходимо неправа, и, слѣдовательно, которая-нибудь изъ газетъ оправдываетъ неправое дѣло. Надо еще замѣтить, что г. Л. О. очевидно совершенно неправильно распространяетъ какой-то частный опытъ на всю область провинціальной журналистики. Всѣ тѣ выгоды, которыя, по его мнѣнію, проистекаютъ, напримѣръ, изъ неоплачиваемости литературнаго труда, можетъ быть, и существуютъ въ Казани. Но, напримѣръ, въ Одессѣ или въ Кіевѣ, имѣющихъ сравнительно очень значительную мѣстную литературу, положеніе дѣла очень близко къ столичному и качественно отъ него даже не отличается.

Такимъ образомъ портретъ героическаго провинціальнаго писателя работы Л. О. требуетъ значительныхъ поправокъ. Цвѣтъ лица его слишкомъ свѣжъ, глаза слишкомъ блещутъ огнемъ самоотверженія, чело слишкомъ высоко, вся фигура слишкомъ театральна. Если справедливы соображенія автора о вредѣ полученія писателями гонорара, то оно приноситъ тѣ же плоды и въ провинціи. Тамъ же, гдѣ писатель работаетъ въ прямомъ смыслѣ даромъ, суррогаты авторскаго гонорара могутъ имѣть несравненно болѣе пагубныя послѣдствія. Тамъ, гдѣ мѣстное общество презираетъ мѣстнаго писателя, онъ не можетъ имѣть никакого вліянія и практикуетъ искусство для искусства. Если же предшествующія обстоятельства жизни прочно связали его съ какою-нибудь частью мѣстнаго человѣчества, вопросъ сводится къ опредѣленію достоинствъ и интересовъ послѣдней. Очень, конечно, возможны провинціальные писатели, самоотверженные и преслѣдующіе высокіе цѣли. Но сама провинція тутъ ничего не гарантируетъ. Въ программу жизни такихъ писателей надо еще ввести иногда вѣроятно очень сильную внутреннюю ломку, вслѣдствіе сознательнаго разрыва съ тою частью мѣстнаго человѣчества, съ которою ихъ связала предшествующая жизнь. Они не рождаются съ истиной въ головѣ и съ справедливостью въ сердцѣ. И то, и другое имъ, какъ и столичному писателю, надо брать съ бою, т. е. добывать на свой собственный страхъ, независимо отъ обстановки и часто наперекоръ ей.

Но въ томъ-то и дѣло,—доказываетъ г. Л. О.,—что провинціальному писателю легче, удобнѣе, чѣмъ столичному, добыть истину и справедливость. Г. Л. О. готовъ, пожалуй, допустить, что спасительная формула «провинція» спасительна только по тому, болѣе опредѣленному содержанію, которое можетъ быть въ нее вложено. Онъ готовъ взять это содержаніе въ видѣ голоса «деревни» г. П. Ч. или въ видѣ принципа «интересовъ народа». Онъ, кажется, болѣе склоняется къ формулѣ г. П. Ч. И любопытно видѣть, какъ одна невразумительность фатально влечетъ за собою другія. Г. П. Ч. уже тѣмъ долженъ былъ снискать расположеніе провинціаловъ, что попрекнулъ столичныхъ писателей незнакомствомъ съ провинціей. Поэтому они, *городскіе* жители, простили ему неуваженіе къ *городу* вообще и ухватились за недовѣріе къ одному городу Петербургу. Мы видѣли, что по г. П. Ч. «надлежащее слово скажутъ люди деревни, а *не города*, и ужъ всего меньше Петербурга». Горожане стали рукоплескать. Такова сила невразумительности. Далѣе, такъ какъ «деревня» г. П. Ч. есть нѣчто отвлеченное, а не то, чтобы настоящая, заправская деревня, поддающаяся наблюденію, то «подразумѣвать» подъ нею можно очень многое и очень различное. Г. Л. О. подразумѣваетъ гр. Толстого и г. Энгельгардта. «Только двѣ литературныя силы эмансипировались,—говоритъ онъ,—отъ закваски столичной журналистики и оказались, какъ Антей, отъ прикосновенія къ землѣ какими-то богатырями». Писатели, что и говорить, хорошіе. Но вѣдь у гр. Толстого есть, кромѣ десницы, еще шуйца, и я жду только конца «Анны Карениной», чтебы показать, какую роль эта шуйца можетъ иногда играть. О г. Энгельгардтѣ тоже позволительно оставаться при особомъ мнѣніи, признавая всѣ его достоинства. Да и не двѣ только литературныя силы эмансипировались. Вотъ и г. Фетъ эмансипировался и живетъ, мнѣ говорили, совсѣмъ по сосѣдству съ гр. Толстымъ. Зачѣмъ же г. Л. О. его забываетъ? Правда, черезъ нѣсколько строкъ оказывается, что «эти два рѣзкіе примѣра не единственные въ своемъ родѣ», и перечисляется довольно длинный списокъ статей и авторовъ «Антеевъ», оканчивающійся многозначительнымъ «и т. д.» Но г. Фета я въ этомъ спискѣ не нашелъ. Неужели онъ—не Антей? А если не Антей—такъ почему?

Не стану слѣдить за дальнѣйшимъ сцѣпленіемъ невразумительностей. Петля за петлей, изъ нихъ можно бы было связать нѣчто

очень длинное. Самоотверженно отказываясь отъ гонорара, слѣдующаго за эту обширную работу, предполагаю для краткости голосъ деревни и интересы народа тождественными и ставлю вопросъ въ такой скромной и безобидной формѣ: доступнѣе ли для провинціальнаго писателя изученіе народа, чѣмъ для столичнаго? Съ перваго взгляда кажется, что положительный отвѣтъ несомнѣненъ. Не даромъ же провинціалы говорятъ о себѣ: «мы—мужики, деревенщина, провинція». Но я уже замѣчалъ, что провинціалы говорятъ неправду, что провинціальный писатель—не мужикъ и не деревенщина, а прежде всего горожанинъ, и затѣмъ въ частности профессоръ, чиновникъ, мѣщанинъ, купецъ, помѣщикъ, губернскій аристократъ. «Не обманывайте себя, совѣтуетъ г. Л. О.,—ходя по Невскому проспекту, интересовъ народа не узнаешь». Мы на этотъ счетъ себя ни малѣйше не обманываемъ, но знаемъ, что Проломная, Воскресенская—и какъ еще тамъ зовутъ казанскія улицы—никакой въ этомъ отношеніи привилегіи передъ Невскимъ проспектомъ не имѣютъ; особенно если жизнь проходитъ въ хожденіи изъ дому, что на Поповой горѣ или на Булакѣ, въ канцелярію, что на Проломной, оттуда въ редакцію. что на Воскресенской, и потомъ обратно на Попову гору (прошу гг. казанцевъ извинить, если я перезабылъ ихъ улицы).

И г. Л. О., и г. Гацискій усиленно ратуютъ противъ мнѣнія, что провинціальнымъ писателямъ приличествуетъ собираніе матеріаловъ, а столичнымъ—ихъ обработка. Я думаю, что, чѣмъ опровергать подобныя мнѣнія при помощи восклицательныхъ знаковъ и благороднаго негодованія, гораздо было бы лучше отвѣчать дѣломъ, т. е. обработывать матеріалы. И никто тогда не пикнетъ. Вотъ напримѣръ, въ Ярославлѣ недавно появились два замѣчательныя сочиненія: «Общинное землевладѣніе» г. Постникова и «Обычное право» г. Якушкина. Развѣ посмѣлъ кто-нибудь сказать авторамъ, что они суются не въ свое дѣло? Напротивъ: столичная литература указала, что книга г. Якушкина, будучи по виду простымъ сборникомъ библіографическаго матеріала, представляетъ въ сущности нѣчто очень обработанное. Тѣмъ паче, волей неволей, приметъ столичная литература обработку мѣстныхъ матеріаловъ мѣстными писателями, если эта обработка будетъ обладать дѣйствительными достоинствами. Интересуясь, напримѣръ, въ настоящую минуту исторіей казачества, я рѣшительно не знаю, за что больше благодарить мѣстныхъ писателей: за собираніе матеріаловъ или за ихъ группировку, обработку. Если бы какой-нибудь баши-бузукъ что-нибудь и гикнулъ, такъ это все-таки не резонъ, чтобы съ азартомъ твердить: нѣтъ, мы можемъ обработывать, нѣтъ, вы-то вотъ только чужими руками жаръ загребаете и т. п. Отчего не отмѣтить и поползновенія загребать жаръ чужими руками, но твердить: смѣемъ, можемъ и проч. значитъ ставить себя въ комическое положеніе. Никто не сомнѣвается, что въ провинціи есть умные, знающіе и благонамѣренные люди, а кто имѣетъ странность сомнѣваться, тому ротъ можно зажать только фактами. Не слѣдуетъ однако преувеличивать разницу между Проломной и Невскимъ. Вотъ что говоритъ самъ г. Гацискій: «Въ «Нижегородскомъ Сборникѣ», изданіи нижегородскаго статистическаго комитета, я печатаю доставляемые мнѣ матеріалы цѣликомъ (если дѣлаю поправки относительно языка, а иногда и болѣе существенныя, то лишь, такъ сказать, редакціонныя), и *обработываю* только тѣ матеріалы, которые я самъ *собираю*. Другіе статистическіе комитеты руководствуются иными соображеніями: печатаютъ обработываемые ими самими матеріалы, собранные на мѣстахъ, по селамъ, деревнямъ другими лицами... Такая система, практикуемая, напримѣръ, добросовѣстно моимъ сосѣдомъ, секретаремъ костромскаго статистическаго комитета В. Г. Пироговымъ въ его превосходныхъ трудахъ по отечествовѣдѣнію Костромской губерніи (другія системы болѣе чѣмъ предосудительны), имѣетъ за собой нѣкоторыя выгодныя стороны; но мнѣ, признаюсь, больше нравится моя, хотя бы потому, что «губернскій» обработыватель большею частью пропуститъ мелкія уѣздныя, деревенскія особенности, а онѣ-то и цѣнны». Итакъ, нѣкоторые провинціальные писатели обработываютъ тѣ матеріалы, которые сами же и собираютъ, иные пользуются чужими матеріалами, одни добросовѣстно, другіе недобросовѣстно, и «большею частью» губернскій обработыватель пропускаетъ самое «цѣнное»—деревенскія особенности. Оно и понятно: сидя на Поповой горѣ и т. д. Но вотъ напримѣръ г. Пироговъ, гуляя по Муравьевкѣ и Русиной улицѣ, даетъ по свидѣтельству г. Гацискаго «превосходные труды по отечествовѣдѣнію Костромской губерніи». Думаю поэтому, что можно гулять по Невскому и тѣмъ не менѣе — ну, хоть не превосходны етруды давать, но все-таки кое-что знать, познакомившись съ превосходными трудами. Замѣтьте, что уже «губернскій обработыватель» большею частью пропускаетъ сквозь пальцы самые драгоцѣнные матеріалы. Что же будетъ съ обработывателями «областными», имѣющими сгруппироваться въ газету «Поволжье» и ежемѣсячный журналъ «Волжскій Сборникъ» или «Русскій Сѣверовостокъ», о которыхъ мечтаетъ г. Га-

цискій. Если какой-нибудь Буйскій уѣздъ пропускается сквозь пальцы на Русиной улицѣ, что въ Костромѣ, то въ какомъ видѣ предстанетъ онъ на Булакѣ, что въ Казани? Понятно, что коренному костромичу костромскіе порядки извѣстны настолько же ближе, чѣмъ петербуржцу, насколько послѣднему петербургскіе порядки извѣстнѣе сравнительно съ костромичомъ. Но собственно къ народу они стоятъ одинаково близко или одинаково далеко, смотря по тому, какъ они относятся къ дѣлу. Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ тутъ провинціальному писателю можетъ стать поперекъ дороги именно та «осѣдлость», на которую г. Л. О. возлагаетъ столько надеждъ. Осѣдлость вѣдь не только означаетъ, что человѣкъ живетъ постоянно въ извѣстномъ мѣстѣ. Онъ занимаетъ извѣстное общественное положеніе, связанъ и родственъ съ извѣстною частью мѣстнаго населенія. Возьмите же, напримѣръ, ту же исторію съ оренбургскими мыловарами. Мѣстный писатель, родственный съ «домородженными» или, напротивъ, съ «глубоко мѣстнымъ типомъ», не можетъ рѣшить ихъ споръ такъ безпристрастно, какъ это возможно для петербургскаго писателя (часто вообще не осѣдлаго, даже въ Петербургѣ), если, разумѣется, у него есть подъ руками нужныя данныя, но нѣтъ поползновенія пріобрѣсти акціи оренбургскаго мыловареннаго завода.

Г. Л. О. обращается къ столичнымъ писателямъ съ пламеннымъ призывомъ ѣхать въ провинцію и основывать тамъ литературныя ячейки или же примыкать къ существующимъ. Онъ не скрываетъ, что ихъ ждетъ нищета или почти нищета, необходимость заниматься посторонними литературѣ дѣлами, разнаго рода лишенія и униженія. Но,—говоритъ,—вы будете за все это вознаграждены сознаніемъ плодотворности своей работы. Къ сожалѣнію, г. Л. О. упустилъ изъ виду два условія, ожидающія столичнаго писателя въ провинціи. Петербургъ—не Богъ знаетъ какая прелесть. Иному онъ совсѣмъ не въ моготу приходится. Онъ, можетъ быть, и откликнулся бы на зовъ г. Л. О. и претерпѣлъ бы все, ему предуказываемое. Но когда онъ знаетъ, что, претерпѣвая все это, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ долженъ наложить на уста свои печать молчанія, онъ рѣшаетъ, что игра не стоитъ свѣчъ. Вотъ, когда эта печать снимется, чего я провинціальной литературѣ, конечно, желаю, тогда другой разговоръ будетъ. Но, пожалуй, гостепріимная провинція насъ тогда сама не возьметъ. Въ самомъ дѣлѣ, для того, чтобы быть провинціальнымъ писателемъ, нуженъ, какъ говоритъ самъ г. Л. О., мѣстный патріотизмъ, нужна привязанность къ мѣстному человѣчеству, пріобрѣтенная съ дѣтства. Откуда же намъ это взять? Казанскаго, напримѣръ, патріотизма у насъ нѣтъ и быть не можетъ, а потому г. Л. О. немедленно долженъ будетъ отпустить насъ во-свояси.

Не смотря однако на необходимость мѣстнаго патріотизма, насъ, я думаю, въ дѣйствительности-то возьмутъ. И вотъ почему. Когда въ чаду невразумительности выкидываются за бортъ теоретическія построенія и «иностранныя книжки», а *на мѣсто* ихъ водворяются «наблюденіе» и «коренныя основы русскаго быта», можно говорить, что угодно: и приглашать столичныхъ писателей къ себѣ, и гнать ихъ отъ себя. Иное дѣло—когда осуществится, напримѣръ, «Русскій Сѣверовостокъ». Г. Гацискій предполагаетъ отбить имъ подписчиковъ у столичныхъ ежемѣсячныхъ изданій. Значитъ, онъ долженъ будетъ давать своимъ читателямъ все, что теперь даютъ журналы, только въ улучшенномъ видѣ и съ прибавкой мѣстныхъ интересовъ. Значитъ, ему понадобятся не только мѣстные патріоты, а и другіе мѣстные патріоты, и наблюдатели, и теоретики, и знакомые съ иностранными книжками, и проч. Можетъ быть, и намъ тутъ мѣсто найдется, хотя бы въ качествѣ «трубъ, зовущихъ на бой»—роль довольно почетная, если вспомнить, что такъ называлъ себя Бэконъ. Конечно, могутъ найтись и мѣстныя трубы. Вотъ напримѣръ, г. Л. О., можетъ быть онъ обладаетъ чрезвычайно обширными познаніями о мѣстныхъ, областныхъ интересахъ, но до сихъ поръ онъ ихъ не обнаружилъ. На всемъ огромномъ пространствѣ девяти печатныхъ листовъ онъ—только труба, зовущая на бой.

Начинайте же бой, господа, и мы увидимъ, враги мы съ вами или друзья.

Я не хотѣлъ бы кончить, не сказавъ, что многія замѣчанія г. Л. О. очень остроумны и дѣльны. Таковы, напримѣръ, замѣчанія о роли языка. Но этотъ вопросъ имѣетъ значеніе для нѣкоторыхъ только провинціальныхъ литературъ, о которыхъ я теперь говорить не могу. Такъ какъ рѣчь зашла о языкѣ, то я кончу слѣдующею параболой. Вы—христіанинъ и русскій, а потому желаете распространенія евангелія на русскомъ языкѣ. Сочувствовать распространенію въ русскомъ народѣ евангелія на французскомъ языкѣ вы не можете, потому что народъ этого языка не знаетъ. Распространять Ренана и Штрауса, вообще антихристіанскія сочиненія въ русскомъ переводѣ, вы тоже не станете. Вы твердо помните всѣ части предложенія и говорите: я желаю распространенія евангелія на русскомъ языкѣ.

XXII *).

Все о томъ же.

Все о томъ же, но, надѣюсь, въ послѣдній разъ.

Когда я писалъ о причинахъ говора, возбужденнаго въ литературѣ «Недѣлей», я никакъ не ожидалъ встрѣтить такъ скоро и такое вѣское подтвержденіе своему мнѣнію, какое имѣется теперь въ моемъ распоряженіи. Эту истинно неожиданную поддержку даетъ мнѣ «Вѣстникъ Европы» своимъ внутреннимъ обозрѣніемъ въ августовской книжкѣ. Авторъ обозрѣнія смѣлою и широкою кистью рисуетъ картину современной литературы. Говорю «смѣлой и широкой», потому что — что же въ самомъ дѣлѣ можетъ быть смѣлѣе и шире слѣдующей картины? Вся литература дѣлится на два лагеря— консервативный и либеральный. Какова консервативная печать, каковы ея цѣли и пріемы—это для насъ неинтересно. Что же касается до печати либеральной, то она, по мнѣнію автора, разочаровавшись въ своихъ силахъ, объявила себя несостоятельною и рѣшила ждать голоса «деревни»; ея дѣло состоитъ только въ угадываніи «народной психологической подкладки» и выжиданіи того момента, когда поднимутся непочатыя силы «почвы»: тамъ, а не въ «нѣмецкихъ книжкахъ» лежатъ наши идеалы. Вотъ какъ изображаетъ авторъ современное положеніе литературы и затѣмъ дѣлаетъ ей соотвѣтственныя внушенія. Уже изъ одного этого перечисленія терминовъ изъ лексикона «Недѣли» видно, что авторъ имѣетъ въ виду собственно только эту газету, хотя, надо замѣтить, ни разу не называетъ ея. Но почему же авторъ полагаетъ, что за лексиконъ этотъ можетъ и должна быть привлечена къ отвѣтственности вся «либеральная печать»? Конечно, никакихъ резоновъ для такого перенесенія отвѣтственности съ больной головы на здоровую нѣтъ. «Психологическая подкладка», «деревня» и вообще всѣ соображенія «Недѣли» были встрѣчены кѣмъ сурово, кѣмъ насмѣшливо и во всякомъ случаѣ никѣмъ вполнѣ сочувственно. Сама газета жаловалась, что литература по отношенію къ ней разыграла роль вопросительнаго знака. И это, собственно говоря, характеристика еще крайне мягкая. Такъ что все зданіе, построенное на этомъ фундаментѣ внутреннимъ обозрѣвателемъ «Вѣстника Европы», является воздвигнутымъ «на песцѣ». Такія зданія не составляютъ рѣдкости: возьметъ человѣкъ завѣдомо несуществующій фактъ и поиграетъ на немъ, сколько потребуется. Но любопытно бы было знать: зачѣмъ внутреннему обозрѣвателю «Вѣстника Европы», человѣку, повидимому, солидному, понадобилось устраиваться на песцѣ? зачѣмъ ему понадобилось... какъ бы это поделикатнѣе выразить?.. однимъ словомъ—зачѣмъ ему понадобилось сдѣлать своимъ отправнымъ пунктомъ завѣдомую неправду? Не знаю, ибо чужая душа—потемки. Однако, по нѣкоторымъ бывшимъ примѣрамъ, можно все-таки кое-что усмотрѣть.

Читатель не забылъ, можетъ быть, какъ въ томъ же «Вѣстникѣ Европы», г. Марковъ обработалъ гр. Л. Толстого. Онъ взялъ статью Толстого о народномъ образованіи, взялъ таковую же статью пещернаго человѣка, г. Цвѣткова, слилъ ихъ, не имѣя на то ни логическаго, ни нравственнаго права, воедино и затѣмъ, съ удобствомъ поражая г. Цвѣткова, пламенно восклицалъ: вотъ что говоритъ Толстой! Г. Марковъ остался послѣ этой операціи чрезвычайно доволенъ собой. Оно и понятно: разбить Толстого такъ легко, если подмѣнить его Цвѣтковымъ, а въ концѣ-концовъ лавръ побѣды все-таки, во мнѣніи автора, украсилъ его чело. Внутренній обозрѣватель «Вѣстника Европы» тоже очень доволенъ собой. И это опять-таки понятно. Шутка, въ самомъ дѣлѣ, сказать:—вся «либеральная» литература толкуетъ пустяки о «національно-психологической подкладкѣ» и о прочемъ, и только одинъ обозрѣватель знаетъ твердо, что это— пустяки! Обозрѣватель продѣлалъ совершенно такой же фокусъ, какъ и г. Марковъ. Ему кое-что не нравится въ литературѣ. Не чувствуя себя въ силахъ или, я готовъ допустить, не желая дать себѣ трудъ встать лицомъ къ лицу съ этимъ «кое-чѣмъ» въ его наиболѣе чистой и опредѣленной формѣ, авторъ совершаетъ нѣкоторый подмѣнъ, беретъ форму самую слабую и туманную, оперируетъ надъ ней и затѣмъ торжественно объявляетъ: вотъ какова вся либеральная литература! Каковъ бы ни былъ этотъ поступокъ съ точки зрѣнія логики и морали, но онъ даетъ полную возможность читать наставленія насчетъ «знаменитыхъ уваровскихъ трехъ началъ», острить на тему барона Мюнхгаузена, который самъ себя вытащилъ за волосы изъ болота, защищать «нѣмецкія книжки» и проч. Возьмемъ хоть одинъ примѣръ. Авторъ обозрѣнія беретъ подъ свою защиту «нѣмецкія книжки» и въ тоже время удивляется разсужденіямъ «либеральной печати» о «розни» между народомъ и обществомъ. Никакой, говоритъ, розни нѣтъ, и слово-то это славянофилы выдумали, а внѣ славянофильства оно никакого смысла не имѣетъ: общество есть образованная часть народа — и только; ни-

*) 1876, октябрь.

какой грани, кромѣ разницы образованія, между ними нѣтъ. Конечно, съ славянофилами такъ говорить легко, съ «Недѣлей» и тоже можно. Но съ тѣми, кто «нѣмецкихъ книжекъ» не презираетъ — нельзя, потому что между самыми этими книжками есть не мало такихъ, въ которыхъ о розни, совершенно помимо образованія, говорится и много, и горячо, и съ большимъ запасомъ «образованія». Составитель внутренняго обозрѣнія избралъ благую часть и полемизируетъ, такъ сказать, по линіи наименьшаго сопротивленія. Не отрицая удобствъ такого образа дѣйствій (я не отрицалъ и удобствъ поведенія г. Маркова въ его полемикѣ съ гр. Толстымъ), нельзя, однако, не видѣть, что зданіе, столь явно, на виду у всѣхъ построенное на пескѣ, не заслуживаетъ никакого вниманія. Его можно только отмѣтить и... пройти мимо. Такъ мы и сдѣлаемъ. Я заговорилъ объ августовскомъ внутреннемъ обозрѣніи «Вѣстника Европы» только для того, чтобы подтвердить свои соображенія о роли «Недѣли». Ни малѣйше не сомнѣваюсь, что и для этой почтенной газеты значительная часть наставленій г. внутренняго обозрѣвателя «Вѣстника Европы» по существу совершенно излишня. Но она повела свое дѣло такъ, что дала словоохотливымъ людямъ если не право, то возможность читать ей наставленія о непригодности «знаменитыхъ трехъ уваровскихъ началъ», объ уваженіи къ «нѣмецкимъ книжкамъ» и т. п. Она соблазнила г. обозрѣвателя легкостью критической задачи и невразумительностями своими допустила совсѣмъ неподходящее толкованіе вещей, которыхъ обозрѣватель не посмѣлъ бы съ столь легкимъ сердцемъ касаться, не будь на нихъ накинутъ таинственный покровъ «самобытности», «національности», «деревни» и проч. Не знаю, убѣдится ли «Недѣля» хоть теперь, что именно ея лоскутностью долженъ быть объясненъ «возбужденный ею интересъ; что только благодаря этой лоскутности, на нее накинулись, какъ она говоритъ, съ вопросительными знаками; что, наконецъ, лоскутность эта даетъ всякому прохожему право плюнуть въ нѣчто высокое и святое на томъ основаніи, что это нѣчто завернуто въ лоскутное знамя архипелага «Недѣли»...

Нѣтъ, «Недѣля», повидимому, въ этомъ не убѣдится.

Не знаю: долженъ ли я считать статью г. П. Ч. «Нашимъ критикамъ», напечатанную въ № 34—35 «Недѣли», тѣмъ «возможно обстоятельнымъ отвѣтомъ», который мнѣ обѣщала почтенная газета? Отчасти — да, потому что никакого иного отвѣта до сихъ поръ нѣтъ, хотя времени для составленія его прошло слишкомъ достаточно; притомъ же г. П. Ч. говоритъ не только за себя лично, а и за г. Кавелина, и за всю редакцію. Но вмѣстѣ съ тѣмъ трудно признать «обстоятельнымъ» отвѣтъ, о которомъ самъ авторъ неоднократно отзывается, что онъ отъ него хочетъ «поскорѣе отдѣлаться, какъ отъ непріятной необходимости». Самъ авторъ говоритъ, что онъ «пишетъ уже очень нàскоро и не имѣетъ подъ руками соотвѣтственныхъ №№ «Отечественныхъ Записокъ». Понять роль статьи г. П. Ч. по отношенію къ обѣщанному «обстоятельному» отвѣту я затрудняюсь еще вотъ почему. Единственно въ интересахъ истины и «чтобы не плодить пререканій по разнымъ побочнымъ вопросамъ», я выставилъ нѣсколько положеній (всего четыре), въ которыхъ, какъ мнѣ казалось, заключалась самая суть спора. Именно на этихъ пунктахъ я и предложилъ «Недѣлѣ» сосредоточить свое вниманіе. Въ статьѣ г. П. Ч. удѣляется весьма много, слишкомъ много мѣста пререканіямъ по побочнымъ вопросамъ, тогда какъ нѣкоторыя существенныя возраженія оставляются не только безъ обѣщаннаго обстоятельнаго, а и ровно безъ всякаго отвѣта. Конечно, г. П. Ч. и сама «Недѣля» могутъ признавать несущественнымъ то, что важно съ моей точки зрѣнія. Но въ «обстоятельномъ» отвѣтѣ можно было разсчитывать встрѣтить между прочимъ разъясненіе и этого обстоятельства. Такъ что, повторяю, мнѣ неизвѣстно: представляетъ ли статья г. П. Ч. только нѣкоторое вступленіе къ обѣщанной обстоятельности, или же «Недѣля» ничего болѣе обстоятельнаго въ запасѣ не имѣетъ? Но дѣлать нечего. A la guerre, comme à la guerre. Разсмотримъ возраженія г. П. Ч. въ порядкѣ возрастающей существенности, т. е. начнемъ съ такихъ, которыя въ данную минуту смѣло могли бы не появляться на свѣтъ Божій.

Такою ненужностью является длинное разсужденіе г. П. Ч. (больше $^1/_4$ всей статьи) о нѣкоторыхъ моихъ теоретическихъ воззрѣніяхъ. Авторъ желаетъ показать, что мои «типы и степени развитія» не имѣютъ ничего общаго съ тѣмъ, что онъ разумѣетъ подъ этими самыми выраженіями. Какъ ни прискорбно для меня такое разногласіе, но я бы и на слово повѣрилъ. Самое большое, что требовалось бы въ этотъ случай отъ автора, это — короткое указаніе пунктовъ разногласія, и даже не разногласія, а различнаго пониманія однихъ и тѣхъ же терминовъ, если таковое дѣйствительно существуетъ. Но г. П. Ч. этого показалось мало. Пылая желаніемъ доказать свою самостоятельность, онъ подвергаетъ критикѣ основныя мысли статей «Что такое прогрессъ?» и «Борьба за индивидуальность», причемъ

оказывается, что мысли эти совершенно неосновательны. Я очень благодаренъ автору за вниманіе, не говоря уже о вкрапленныхъ мѣстами въ критику лестныхъ для меня выраженіяхъ. Но смѣю думать, что въ настоящемъ случаѣ онъ, по малой мѣрѣ, не соблюлъ должной экономіи времени и мѣста, ибо, удѣливъ такъ много вниманія недостаткамъ моей теоріи, онъ отнялъ у меня возможность выслушать хотя бы и необстоятельный отвѣтъ на вопросы, о которыхъ собственно только и рѣчь шла. Я не говорю, чтобы онъ былъ утомленъ работой критики. Нѣтъ, онъ совершилъ ее съ легкостью почти военнаго человѣка. Онъ еще въ статьѣ «Что такое прогрессъ?» проницательно усмотрѣлъ фальшь и ненаучные пріемы, но разсчитывалъ, что я исправлюсь; однако я, ни малѣйше не исправившись, печатаю «Борьбу за индивидуальность». И вотъ г. П. Ч. великодушно исправляетъ на полутора страничкахъ то, что я портилъ нѣсколько лѣтъ. Я былъ бы, разумѣется, чрезвычайно огорченъ, еслибы мысли мои о раздѣленіи труда между органами и недѣлимыми (въ этомъ—суть) оказались столь несостоятельны, какъ полагаетъ г. П. Ч. Это, надѣюсь, понятно. Я такъ сжился съ мыслью, что обладаю широкой и многообъемлющей истиной. Когда я переживаю мысленно различные моменты исторіи человѣчества, они такъ привольно, такъ сами собой примыкаютъ къ изгибамъ теоріи борьбы за индивидуальность... И вдругъ—трахъ! Г. П. Ч. однимъ ударомъ вышибаетъ у меня изъ рукъ дорогую мнѣ истину, и я остаюсь съ пустыми руками, и вытягиваю ихъ впередъ, и разбитымъ, рыдающимъ, полнымъ отчаянія голосомъ говорю: копѣечку на погорѣлое мѣсто, г. П. Ч., одну маленькую копѣечку изъ вашего милліоннаго богатства...

Брр! какая скверная картина, потому въ особенности скверная, что претензіи теоріи борьбы за индивидуальность дѣйствительно—большія. Зарѣзаться можно. И если я не рѣжусь, такъ потому, что мнѣ очень смѣшно, а смѣшно потому, что замѣчанія г. П. Ч. или совсѣмъ неумѣстны, или азбучно невѣрны, что составляетъ дѣйствительно комическій контрастъ съ его категорическимъ тономъ. Теперь я однако смѣяться не намѣренъ, потому что теперь, какъ уже сказано, не о теоріи борьбы за индивидуальность рѣчь идетъ. Я посмѣюсь тогда, когда г. П. Ч. подвергнетъ (что онъ обѣщаетъ) критикѣ всю совокупность моихъ писаній. Конечно, можетъ быть, мнѣ и плакать придется. Но для этого г. П. Ч. долженъ повнимательнѣе пересмотрѣть свой багажъ. Въ ожиданіи этого я сдѣлаю всего одно замѣчаніе. «Геккель мимоходомъ высказываетъ мысль, что кромѣ борьбы за существованіе въ дарвиновскомъ смыслѣ происходитъ еще другая борьба, называемая имъ борьбой за индивидуальность, которая кончается не уничтоженіемъ побѣжденной индивидуальности, а приспособленіемъ ея къ пользѣ побѣдившей: такъ клѣточка борется съ органомъ за свою самостоятельность, органъ съ организмомъ, организмъ съ «высшими индивидуальностями» (для человѣка: семья, государство). Г. Михайловскій подхватываетъ мысль Геккеля» и т. д. Такъ говоритъ г. П. Ч. Но если этотъ почти военный человѣкъ будетъ спрошенъ, гдѣ именно у Геккеля все это излагается, то окажется въ чрезвычайно затруднительномъ положеніи, ибо Геккель ни мимоходомъ, ни не мимоходомъ не упоминаетъ о борьбѣ за индивидуальность: отвѣтственность за самый терминъ всецѣло лежитъ на нашемъ покорнѣйшемъ слугѣ; что же касается до отношенія теоріи къ Геккелю, то оно исчерпывается его тектологическими тезисами, въ которыхъ однако о борьбѣ за индивидуальность ни въ тѣхъ выраженіяхъ, которыя приводитъ г. П. Ч., ни въ какихъ-либо подобныхъ—вовсе не говорится. Пересмотрите багажъ, г. П. Ч. Можетъ быть, вы не все нужное для путешествія захватили. Право это—въ вашихъ собственныхъ интересахъ. И въ моихъ, конечно: потому что мнѣ пріятнѣе будетъ выслушать мнѣнія человѣка, достаточно ознакомившагося съ предметомъ разговора. Сдѣлаю, впрочемъ, еще одно замѣчаніе для вящшаго обнаруженія ненужности критической экскурсіи г. П. Ч. Ему пришла въ голову странная мысль доказывать, что мои понятія о разницѣ между типомъ развитія и его степенью коренятся не въ литературѣ 50—60 годовъ, а въ такъ называемомъ законѣ Бэра. Задача уже сама по себѣ довольно-таки неблагодарная и безцѣльная. Но г. П. Ч. легко могъ бы ее сократить до размѣровъ одной, много двухъ, печатныхъ строкъ. Именно, еслибы онъ обратился къ самому Бэру, то нашелъ бы у него чрезвычайно поучительныя разсужденія прямо о Typus der Ausbildung и о Grad der Ausbildung.

Итакъ мимо одну ненужность. Обратимся къ другой. Впрочемъ, объ одной ненужности можно спорить, то-есть можно находить ее вещью чрезвычайно нужною. Дѣло идетъ о г. Кавелинѣ. Признаюсь, когда я просилъ «Недѣлю» не плодить пререканій по разнымъ побочнымъ вопросамъ, я разумѣлъ преимущественно этого человѣка: мнѣнія его всегда какъ-то побочны, да и самъ онъ въ цѣломъ—писатель побочный. Такъ что,

когда «Недѣля уличала меня въ облыжныхъ будто бы показаніяхъ относительно г. Кавелина, я пропустилъ это мимо ушей. Я полагалъ, что указать на поведеніе г. Кавелина слѣдуетъ, но засиживаться на немъ не стоитъ. Теперь его беретъ подъ свою защиту г. П. Ч. И это для меня очень прискорбно, ибо, не взирая на то, что мнѣ можетъ быть скоро придется просить у него одну маленькую копѣечку на погорѣлое мѣсто, я питаю къ нему нѣкоторую слабость. Г. П. Ч. утверждаетъ, что я поступилъ относительно г. Кавелина «недобросовѣстно», и говоритъ вообще съ крайнимъ негодованіемъ объ этомъ эпизодѣ. Ну—дѣлать нечего. Будемъ говорить о г. Кавелинѣ. Я выразилъ мнѣніе, что это одинъ изъ озлобленныхъ «отцовъ», одинъ изъ тѣхъ типическихъ дѣятелей сороковыхъ годовъ, которые, будучи оттерты послѣдующимъ движеніемъ на задній планъ, возымѣли противъ него зубъ. Я оговорился, что озлобленіе г. Кавелина никогда не достигало такой безобразной степени развитія, какъ у нѣкоторыхъ его сверстниковъ, но тѣмъ не менѣе зубъ онъ имѣлъ и имѣетъ и показалъ, его между прочимъ въ двухъ статьяхъ, напечатанныхъ въ «Недѣлѣ»: «Бѣлинскій и послѣдующее движеніе нашей критики» и «Общинное владѣніе». Въ первой онъ доказывалъ, что со временъ Бѣлинскаго (то-есть, самого г. Кавелина) наша критика «двигалась по направленію къ ничтожеству». Во второй онъ «оплевалъ» защитниковъ общины *не*-славянофиловъ. За выраженія, какъ и всегда, отнюдь не стою. Вонъ г. П. Ч. «съ отвращеніемъ» (хотя впрочемъ неоднократно) выписываетъ слово «оплеваніе». Ну и Богъ съ нимъ! Назовите какъ-нибудь иначе: суть отъ этого не перемѣнится, а суть состоитъ въ томъ, что г. Кавелинъ крайне неодобрительно относится къ тому движенію, которое его оттерло, старается его всячески унизить и затушевать. Правда ли это? Г. П. Ч. энергически отвѣчаетъ: нѣтъ. Онъ утверждаетъ, что въ статьѣ о Бѣлинскомъ только современная критика получаетъ удары отъ тяжелой руки г. Кавелина; критика же, непосредственно за Бѣлинскимъ слѣдовавшая, выгораживается. Въ подтвержденіе г. П. Ч. приводитъ даже выписку. Я право не знаю, зачѣмъ онъ ее приводитъ. Изъ нея видно только, что, по мнѣнію г. Кавелина, послѣ Добролюбова критика упала *еще* ниже, т. е. все время двигалась къ ничтожеству. Изъ другихъ мѣстъ это еще очевиднѣе. Напримѣръ:

„Противополагая Бѣлинскаго послѣдующимъ дѣятелямъ, И. С. Тургеневъ, а съ ними и мы, современники Бѣлинскаго, хотимъ только сказать, что *новое движеніе русской литературы продолжало его односторонне, не исчерпало всего того, что имъ намѣчено, не обняло всей полноты его содержанія... Дѣятели, выступившіе вслѣдъ за Бѣлинскимъ*, недолго остановились на идеалѣ нравственной личности, который былъ имъ выдвинутъ. Они скоро перешли къ идеаламъ общественнымъ, соціальнымъ. Но ихъ идеалы не были продолженіемъ и развитіемъ идеаловъ Бѣлинскаго. Послѣдній, въ лучшую пору своей дѣятельности и до конца, твердо стоялъ на реальной почвѣ, не сходя съ нея никогда; *преемники же его были, напротивъ, идеалисты. Такое отклоненіе нашей критики отъ реальнаго направленія въ сторону идеализма и привело ее постепенно къ упадку...* Бѣлинскій дѣйствовалъ прямо на живую почву и источникъ всякаго идеала—на человѣческую нравственную, духовную личность. Послѣдующіе критики относились въ дѣйствительности совсѣмъ иначе. Отжившимъ формамъ жизни они противопоставляли свои, столько же настойчивыя и требовательныя и потому столько же стѣснительныя. Программа была дана, но способы ея выполненія не были указаны. Что же такіе идеалы имѣютъ общаго съ идеалами Бѣлинскаго? *Послѣдніе создали школу въ литературѣ и критикѣ, первые пришли и ту, и другую къ упадку...* Сила, центръ тяжести не могутъ заключаться въ тѣхъ или другихъ формулахъ, а лишь въ умственномъ и нравственномъ строѣ людей и обществъ. *Ближайшіе преемники Бѣлинскаго, какъ идеалисты, не поняли этого».*

Ну, а послѣ нихъ ужъ совсѣмъ кавардакъ пошелъ.

Благосклонный читатель, я усерднѣйше прошу у васъ извиненія. Я вполнѣ понимаю, до какой степени ненужны вамъ эти побочныя мысли побочнаго писателя, вполнѣ понимаю, что разглядывать ихъ въ микроскопъ, обращать ваше вниманіе на ту или другую фразу г. Кавелина, на оттѣнки тона его музыки—по малой мѣрѣ, странно. Мнѣ самому вовсе не любо тратить время на разыскиваніе старыхъ нумеровъ «Недѣли» и выписываніе изъ нихъ тирадъ г. Кавелина. Но вина не моя. Вините г. П. Ч., который своимъ обвиненіемъ въ недобросовѣстности вынуждаетъ меня документально показать, что, по мнѣнію г. Кавелина, со временъ Бѣлинскаго, критика наша «двигалась по направленію къ ничтожеству».

Другой фактъ, ради котораго я опять долженъ лѣзть въ старые №№ «Недѣли». Въ статьѣ объ «Общинномъ землевладѣніи» г. Кавелинъ, перечисляя разныя наши литературныя партіи по этому вопросу, упомянулъ только западниковъ, враждебныхъ общинѣ, и противниковъ — славянофиловъ. Здѣсь были пропущены, слѣдовательно, западники, возлагавшіе надежды на общину, т. е. опять-таки представители того именно литературнаго движенія, которое оттерло г. Кавелина на задній планъ и которое онъ считаетъ началомъ конца здравой критики, источникомъ ея упадка. «Что пропускъ сдѣланъ—это несомнѣнно», соглашается г. П. Ч. (еще - бы!), но, говоритъ, истолковывать

его «въ дурную сторону» отнюдь не слѣдуетъ, потому что другіе сотрудники... «установившаяся репутація газеты»... Позвольте. Объ репутаціи—потомъ: она теперь—подсудимый. Вы же сами говорите, что репутація журнала «Дѣло», хоть и установилась тоже, да совсѣмъ неосновательно. Объ другихъ сотрудникахъ тоже потомъ. Пропускъ г. Кавелина не случайный, хотя бы потому, что онъ очень важенъ, и я рѣшительно не вижу способа истолковать его «въ хорошую сторону». А главное вотъ что: пропускъ—пропускомъ, а кого слѣдовало, г. Кавелинъ все-таки кольнулъ. Въ одномъ мѣстѣ онъ-таки упоминаетъ о западникахъ—сторонникахъ общины, но при этомъ, сказавъ нѣсколько словъ объ ихъ отношеніяхъ къ европейскимъ теоріямъ, онъ замѣчаетъ, что ошибка этихъ людей состоитъ въ «примѣненіи европейской мѣрки къ нашимъ общественнымъ явленіямъ. «Такая невольная (?) мистификація,—продолжаетъ онъ:—*плодъ совершеннаго незнанія и очевиднаго непониманія дѣла, спутываетъ всѣ понятія и окончательно затемняетъ вопросъ*». Я называю это оплеваніемъ. Хоть слово, я согласенъ, очень неизящно, но я полагаю, что оно вѣрнѣе характеризуетъ обзоръ дѣйствія г. Кавелина, чѣмъ утвержденіе г. П. Ч. будто г. Кавелинъ «не сказалъ въ «Недѣлѣ» ни одного оскорбительнаго слова». Странное это дѣло: г. П. Ч., столь деликатный, съ такимъ «отвращеніемъ» относящійся къ жестокости въ полемикѣ, подъ обвиненіемъ въ совершенномъ незнаніи, очевидномъ непониманіи, спутываніи понятій, окончательномъ затемненіи вопроса подъ этимъ обвиненіемъ, довольно-таки оскорбительнымъ для писателя и общественнаго дѣятеля, ни мало не краснѣя, подписываетъ: здѣсь нѣтъ ни одного оскорбительнаго слова... О, г. П. Ч., лучше бы вамъ было исполнить мою просьбу и не плодить пререканій по разнымъ побочнымъ вопросамъ. Сами видите, что это для васъ же невыгодно. Пусть бы г. Кавелинъ былъ самъ по себѣ, а вы—сами по себѣ. Я увѣренъ, что онъ теперь смѣется себѣ въ бороду...

Забавно, что г. П. Ч. пишетъ! «Сама редакція оговорилась относительно письма г. Кавелина, что несогласна въ немъ съ самою постановкою вопроса. Наконецъ, въ «Недѣлѣ» же было помѣщено и возраженіе на это письмо. Все это, г. Михайловскій—факты, факты, факты». О, да, все это—факты, но если бы г. П. Ч. не три, а триста тридцать три раза написалъ это слово, такъ отъ этого все-таки ни малѣйше не измѣнилось бы значеніе этихъ фактовъ. Спрашивается: почему понадобились эти оговорки и возраженія? Надѣюсь, г. П. Ч. не потребуетъ, чтобы я еще и по этому поводу сталъ рыться въ старомъ хламѣ. Такъ, по общимъ соображеніямъ, думаю, что «Недѣля» сама изумилась излишней склонности г. Кавелина принижать критику послѣ Бѣлинскаго, въ чемъ и состояли поправки и возраженія. Зачѣмъ же г. П. Ч. утверждаетъ, что г. Кавелинъ только современной критики не любитъ? А тѣмъ паче—зачѣмъ онъ уличаетъ въ недобросовѣстности людей, которые прочли всю статью г. Кавелина, а «не съ 1303 стр.», какъ рекомендуетъ читать г. П. Ч.? Если же употребить «факты, факты, факты», какъ оружіе противъ сдѣланной мною оцѣнки газеты въ цѣломъ, такъ и это будетъ очень неосновательно. Я ни малѣйше не сомнѣваюсь, что въ «Недѣлѣ» можно найти еще и не такія противорѣчія: я вѣдь и уличалъ ее въ лоскутности, въ лавированіи между двухъ стульевъ, довольно впрочемъ неискуснымъ.

Мнѣ пріятно заявить, что происходящій отсюда туманъ отчасти разсѣвается. Пріятно не только потому, что и вообще хорошо видѣть просіяніе мысли, а еще и потому, что приписываю себѣ въ этомъ дѣлѣ нѣкоторую заслугу. Да не увидитъ здѣсь г. П. Ч. покушенія на его самостоятельность. Нѣтъ—она неприкосновенна. Просто: я самою рѣзкостью постановки вопросовъ побудилъ его выразиться яснѣе. А вмѣстѣ съ тѣмъ уясняется и положеніе «Недѣли». Напримѣръ, побуждаемый моими упреками, г. П. Ч. въ чрезвычайно энергическихъ выраженіяхъ заявляетъ о своемъ сочувствіи и почтеніи къ нашей старой литературѣ. Я этому очень радъ, какъ потому, что это вполнѣ резонно, такъ и потому, что заявленіями этими закрываются нѣкоторые фонтаны газетныхъ рецензентовъ. Такъ забавнику-критику «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» уже не приходится радоваться тому, что, дескать, «Недѣля» мужественно разрываетъ со всѣми традиціями, скромною хранительницею которыхъ доселѣ слыла. Далѣе: опять-таки вызванный мною, г. П. Ч. указываетъ какъ на источникъ своихъ воззрѣній не на таинственную національно-психологическую подкладку, а на книгу («нѣмецкую книжку»), какъ онъ самъ повторяетъ мои слова, «нѣмецкаго еврея». Это тоже очень важно. Можетъ, оно и не понравится кому-нибудь изъ апплодировавшихъ «Недѣлѣ» и даже участвующихъ въ ней (хоть тому же г. Кавелину); можетъ быть, они припомнятъ весь ассортиментъ изрѣченій о европейскихъ мѣрахъ и тому подобномъ, но во всякомъ случаѣ дѣло уясняется. Мнѣ пріятно заявить, что даже самыя слова «европейскія очки», «европейская мѣрка», «заграничныя книжки», «національно-психологическая подкладка», пестрившія

страницы «Недѣли», совершенно не встрѣчаются въ статьѣ г. П. Ч. «Нашимъ критикамъ». Я склоненъ даже думать, что молчаніе, которымъ проходитъ авторъ нѣкоторые вопросы, признаваемые мною въ нашемъ спорѣ весьма существенными, истекаетъ изъ того же просіянія мысли. Напримѣръ: въ одной своей прежней статьѣ онъ съ большимъ задоромъ объявлялъ, что идеалъ нашъ долженъ сложиться такимъ образомъ, что «отъ деревни» въ него долженъ войти «нравственный моментъ», а отъ насъ — умственный. Этотъ пунктъ г. П. Ч. считалъ чрезвычайно существеннымъ и важнымъ. Я же уподоблялъ предлагаемую имъ операцію склеиванію двухъ половинокъ двухъ разрѣзанныхъ грушъ; обращалъ его вниманіе на то, что и нравственный моментъ «деревни», и умственный моментъ такъ называемаго «общества» содержатъ въ себѣ весьма много дрянности и вздора; предлагалъ, наконецъ, на его усмотрѣніе то обстоятельство, что отдѣлить нравственный моментъ отъ умственнаго такъ же трудно, какъ легко разрѣзать грушу пополамъ. Не смѣю думать, чтобы я убѣдилъ его; но вѣрно то, что положеніе насчетъ совокупленія нравственнаго момента деревни съ умственнымъ общества—положеніе, которымъ онъ столь гордился и которому придавалъ такое значеніе, блистаетъ нынѣ полнѣйшимъ отсутствіемъ. Зато встрѣчаются такого рода мысли. Указавъ на разницу между европейскимъ пролетаріатомъ и русскимъ крестьянствомъ, г. П. Ч. говоритъ: «все это—вещи, *давнымъ давно извѣстныя*». Это очень вѣрно и очень тоже способствуетъ уясненію положенія «Недѣли» въ журналистикѣ.

Все это располагаетъ меня къ благодушію, и я готовъ пропустить безъ протеста многое въ статьѣ г. П. Ч., въ особенности, что до меня лично касается. Окончательный результатъ, къ которому онъ приходитъ, можетъ быть выраженъ слѣдующимъ образомъ: «національное» и «народное» могутъ находиться въ весьма разнообразныхъ отношеніяхъ другъ къ другу; въ Европѣ они не совпадали и не совпадаютъ, а у насъ совпадаютъ, потому что крестьянство наше представляетъ «единственную серьезную общественную группу» и ничего подобнаго группамъ, соотвѣтствующимъ европейскимъ феодализму и буржуазіи, у насъ нѣтъ; на этомъ основаніи національнымъ, самобытнымъ можетъ быть у насъ названо только такое умственное, нравственное или политическое движеніе, которое совершается «въ духѣ и интересахъ крестьянства»; всякія другія движенія, хотя бы они и прикрывались національнымъ флагомъ, въ дѣйствительности—«анти-національны». Все это было излагаемо уже въ прежнихъ статьяхъ г. П. Ч., и нынѣ, рекапитулируя, онъ спрашиваетъ: какое правомѣрно я толковать его пониманіе національности, самобытности такъ и иначе, когда оно строго оговорено? Такъ печалуется и негодуетъ г. П. Ч. Да, но еслибы онъ написалъ *только* вышеизложенное, такъ, конечно, у насъ не происходило бы столь длинныхъ и непріятныхъ собесѣдованій. Я полагалъ и полагаю, что «національное» и «народное» принципіально противоположны; но, не говоря уже о томъ, что я всегда твердо помнилъ возможность ихъ эмпирическаго совпаденія, я бы во всякомъ случаѣ не принялъ близко къ сердцу вышеприведенныхъ мнѣній г. П. Ч. Они вѣдь собственно сводятся къ тому предложенію: будемте называть національнымъ движеніемъ такое, которое совершается «въ духѣ и интересахъ крестьянства»; для этого есть такія-то и такія-то основанія въ нашей исторіи. Ну, что-жъ? извольте, если это вамъ нравится—называйте, только блюдите, чтобы какой путаницы не вышло, потому что уже «духъ» крестьянства, какъ терминъ крайне неопредѣленный и двусмысленный, допускаетъ очень различныя толкованія. Вотъ и все, что могъ бы я сказать г. П. Ч., еслибы онъ не пошелъ дальше вышеприведенной маленькой диссертаціи. Но онъ пошелъ дальше.

Признаваемъ правильнымъ управленіе: національное, самобытное=народному. Спрашивается: что здѣсь извѣстно и что составляетъ неизвѣстный x? что представляетъ данную, опредѣленную мѣрку и что—неизвѣстное, подлежащее измѣренію? Можно (не говорю: должно) отвѣчать и такъ, и иначе. Можно, принявъ «интересы крестьянства» («духъ», ради его двусмысленности, лучше устранить) за величину данную, опредѣленную, за мѣрку, опредѣлять этой мѣркой степень самобытности какихъ нибудь явленій: такое-то литературное, положимъ, или политическое явленіе самобытно, національно, потому что соотвѣтствуетъ интересамъ народа, крестьянства. Но можно и наоборотъ взять за мѣрило самобытность національность и ею опредѣлять степень соотвѣтствія даннаго явленія съ интересами народа. Очевидно, что это—два совершенно различные способа сужденія, какъ по исходной точкѣ, такъ и по цѣли, и по удобопримѣнимости. Отъ Пасхи до Рождества—не все равно, что отъ Рождества до Пасхи. Сказать: въ Россіи все, соотвѣтствующее интересамъ народа, національно, очевидно—не то же, что сказать: въ Россіи все національное соотвѣтствуетъ интересамъ народа. Поэтому прежде всего желательно знать: какъ именно будетъ пущено въ ходъ найденное нами уравненіе?

Содержаніемъ національныхъ чертъ, т. е. отличающихъ одну націю отъ всѣхъ другихъ, могутъ быть очень разнообразныя вещи: языкъ, религія, темпераментъ, наружность, обычаи, архитектура, соотношенія соціальныхъ силъ и проч. Содержаніе это крайне текуче: сегодня національныя особенности комбинируются такъ, что центръ тяжести ихъ лежитъ, положимъ, въ религіи; съ теченіемъ времени эта комбинація можетъ совершенно измѣниться и извѣстная религія вычеркнется изъ суммы національныхъ чертъ; измѣненіе это можетъ произойти или тѣмъ способомъ, что вся нація обратится къ другой религіи, или нѣкоторая ея часть охладѣетъ къ вѣрѣ отцовъ, или, наконецъ, сама религія охватитъ своимъ вліяніемъ другія націи, не имѣющія съ первою въ другихъ отношеніяхъ ничего общаго. Далѣе очевидно, что отношенія элементовъ національности къ интересамъ народа крайне разнообразны (разумѣя подъ народомъ совокупность трудящагося люда). Есть элементы въ этомъ отношеніи совершенно безразличные, напримѣръ, русскія національныя полотенца съ красными и синими пѣтухами не имѣютъ какого-нибудь прямого или даже косвеннаго соприкосновенія съ интересами народа. Есть или могутъ быть элементы, завѣдомо враждебные интересамъ народа, напримѣръ, тяжелый историческій гнетъ сдѣлалъ соломеную крышу нашей національной особенностью; таковы же всѣ національные предразсудки и «національные пороки». Разумѣется, могутъ существовать и совершенно противоположныя комбинаціи, но онѣ могутъ быть и не быть. Есть только *одинъ* элементъ національности, который *въ принципѣ* всегда соотвѣтствуетъ интересамъ народа. Это—языкъ. Но зато, какъ это съ перваго взгляда ни странно, языкъ есть наименѣе національная изъ національныхъ особенностей, потому что онъ есть проводникъ общечеловѣческихъ понятій и орудіе развитія народа. Не настаиваю теперь на этомъ, чтобы не отвлечься далеко въ сторону. Но во всякомъ случаѣ очевидно, что второй способъ истолкованія уравненія г. П. Ч. не имѣетъ за себя рѣшительно никакихъ основаній. Подъ страхомъ самой возмутительной неправды нельзя сказать: въ Россіи все національное соотвѣтствуетъ интересамъ народа. Остается, слѣдовательно, другое толкованіе: все, соотвѣтствующее интересамъ народа, у насъ въ Россіи, по особенностямъ нашей исторіи, національно. Здѣсь, конечно, несравненно больше правды и несравненно больше логики. Здѣсь берется одна совершенно опредѣленная особенность русской жизни, какъ она донесена до нашего времени исторіей — именно: особенное соотношеніе соціальныхъ силъ; всѣ другія національныя особенности оставляются въ сторонѣ; хороши ли онѣ или дурны, выгодны или невыгодны и для кого выгодны—до этого намъ дѣла нѣтъ. Передъ нами одинъ драгоцѣнный историческій результатъ: преобладаніе крестьянства, какъ фактора, опредѣляющаго русскую жизнь—результатъ, на который мы можемъ и должны опереться, если хотимъ дѣйствительно жить, а не прозябать безъ вѣры, надежды и любви. При этомъ самый эпитетъ «національный» утрачиваетъ всякій мистическій и всякій исключительный характеръ и служитъ только выраженіемъ исторической, такъ сказать, прочности извѣстной программы дѣятельности.

Если бы г. П. Ч. ограничился такимъ употребленіемъ своего уравненія, мнѣ оставалось бы только радоваться, что нашего полку прибыло. Я съ живѣйшимъ интересомъ и съ полнымъ сочувствіемъ слѣдилъ бы за дальнѣйшими его трудами въ томъ же направленіи. Но г. П. Ч. не хотѣлъ или не умѣлъ удержаться на этой точкѣ. Онъ постоянно перебрасывался и перебрасывается отъ одного толкованія уравненія къ другому, т. е. цѣнитъ явленія то по соотвѣтствію ихъ съ интересами народа, то по ихъ національности. Отсюда естественно—путаница. Первый шагъ въ направленіи этой путаницы, самъ по себѣ еще безобидный, но все-таки скользкій, состоитъ въ слѣдующемъ. Текучесть, измѣнчивость національныхъ признаковъ весьма часто упускается изъ виду. Предполагается такая степень ихъ долговѣчности, которая рѣшительно не оправдывается историческимъ опытомъ, и страннымъ образомъ это предполагается преимущественно относительно такихъ признаковъ, которые наиболѣе измѣнчивы, наименѣе долговѣчны. Нетрудно видѣть, что измѣнчивость національныхъ особенностей должна возрастать вмѣстѣ съ ихъ сложностью: признаки сравнительно простые, элементарные устойчивѣе, чѣмъ сложные, а соотношеніе соціальныхъ силъ есть, конечно, одна изъ самыхъ сложныхъ, если не прямо самая сложная національная особенность. Поэтому весьма неосновательно возлагать надежды (въ смыслѣ долговѣчности) на ту особенность русской жизни, которая занимаетъ г. П. Ч. Положимъ, что теперь его уравненіе соотвѣтствуетъ дѣйствительности. Но дѣйствительность эта можетъ измѣняться; мало того: она, можно сказать, ежедневно измѣняется. Г. П. Ч. противополагаетъ наше крестьянство европейскому пролетаріату, но ему должно быть извѣстно, что эта противоположность съ каждымъ годомъ смягчается и что нужны большія усилія для предотвращенія ея окончательнаго исчезновенія. «Ра-

но-ли, поздно-ли», говоритъ онъ:—а значеніе нашего крестьянства, именно какъ крестьянства, а не какъ народа вообще, подъ которымъ можетъ быть разумѣемъ и европейскій пролетаріатъ, вполнѣ выразится въ жизни. Но и сомнѣнія быть не можетъ въ томъ, что если это случится «поздно», то крестьянство къ тому времени перестанетъ быть крестьянствомъ, каково оно нынѣ. Увѣренность г. П. Ч. показываетъ уже и въ этомъ случаѣ, что онъ кладетъ лишнюю гирю на чашку національности, отчего не можетъ не пострадать другая чашка вѣсовъ, другая половина уравненія—идея интересовъ народа. Дальше въ лѣсъ—больше дровъ. Съ точки зрѣнія г. П. Ч., на сколько она пока выяснилась, не представляется никакой надобности хлопотать о самобытности, національности, напримѣръ литературныхъ явленій или политическаго движенія и сожалѣть о недостаткѣ самобытности. Важно только, чтобы имѣлись въ виду интересы народа и тогда самобытность явится въ придачу. Дѣло извѣстное, что человѣкъ, хлопочущій объ оригинальности, никогда ея не достигаетъ, тогда какъ оригинальность, самобытность, при извѣстныхъ задаткахъ, проявится сама собой, если человѣкъ, забывъ объ ней, просто будетъ слѣдовать влеченіямъ своей природы и своимъ понятіямъ объ истинномъ и справедливомъ. Если справедливо, что въ Россіи все соотвѣтствующее интересамъ народа, національно, по необходимости самобытно, такъ будемъ просто блюсти интересы народа, а заботы о самобытности предоставимъ тѣмъ неосновательнымъ людямъ, которые думаютъ будто въ Россіи все національное соотвѣтствуетъ интересамъ народа. Къ сожалѣнію г. П. Ч. самъ хочетъ заняться этими праздными хлопотами. Такъ какъ на одномъ изъ пунктовъ этихъ хлопотъ г. П. Ч. уличалъ меня въ ратованіи съ собственнымъ изобрѣтеніемъ, то позволю себѣ сдѣлать слѣдующую выписку изъ статьи его «Наша національная особенность»:

„Въ послѣднее время въ нашей умственной жизни сказывается одна рѣзкая особенность, которую я охарактеризовалъ бы такъ: сознаніе необходимости самобытнаго, національнаго направленія въ разныхъ сферахъ дѣятельности. Именно къ этому знаменателю, мнѣ кажется, можно свести разрозненныя заявленія, сдѣланныя разными лицами и по разнымъ побужденіямъ. Г. Кавелинъ высказалъ мнѣніе, что у насъ скоро должна возникнуть собственная философія... Г. Фадѣевъ написалъ цѣлую книгу на ту тему, что въ основу военныхъ преобразованій слѣдуетъ положить наши чисто русскія бытовыя особенности... Сходныя ноты слышны и въ „Политикѣ“ г. Стронина, и въ замѣткахъ г. Энгельгардта, и въ знаменитой статьѣ гр. Толстого о народномъ образованіи. Даже въ группѣ лицъ, которыя въ умственномъ отношеніи жили почти исключительно общечеловѣческими идеями, не замѣчая и не зная существующей Россіи, даже въ этой группѣ все болѣе и болѣе укореняется убѣжденіе, что нужно сначала серьезно ознакомиться съ народнымъ бытомъ... Въ сферѣ искусства національное направленіе заявило себя довольно выразительно именно въ послѣднее время: у насъ уже есть оригинальная опера; теперь слагается своя школа скульптуры и живописи. Всѣ эти разрозненныя явленія говорятъ, каждое на своемъ языкѣ, что пора перестать мудрить надъ русскою жизнью по иностраннымъ образцамъ и книжкамъ. Это нужно выговорить отчетливо, безъ смягченій».

Напротивъ, мой многоуважаемый, смягченія здѣсь необходимы. Перечисленныя вами явленія не составляютъ пока признаковъ времени (и я объ этомъ не горюю). Такого рода попытки всегда были, а наиболѣе крупныя изъ упомянутыхъ вами не принадлежатъ нашему времени. Такова статья гр. Толстого, которая является простымъ повтореніемъ того, что было сказано авторомъ много лѣтъ тому назадъ. Такова русская опера, которая еще больше лѣтъ тому назадъ была создана Глинкой, и, мимоходомъ сказать, Глинка, отнюдь не столь усердно бѣгая за самобытностью, какъ нынѣшніе композиторы, достигъ ея въ несравненно большей степени. Что же касается до русской школы живописи и скульптуры, то свѣдущіе люди говорятъ, что она—миѳъ, хотя несомнѣнно есть превосходные русскіе художники и нѣкоторые изъ нихъ эксплуатируютъ русскіе сюжеты. Извѣстно, какъ слагаются всѣ подобныя «школы». Всякому талантливому, а иной разъ и неталантливому художнику свойственно стремленіе къ *личной* самобытности. Въ случаѣ удачи его манеры, ему подражаютъ другіе; онъ и самъ пропагандируетъ свою манеру. Но почему, скажите, положимъ, лично совершенно самобытная философія г. Кавелина заслуживаетъ преимущественнаго наименованія русской, а столь же лично самобытная философія всякаго другого—не заслуживаетъ? Почему г. Кюи есть глава *русской* школы, когда, допуская его полную личную самобытность, въ его сюжетахъ и музыкѣ нѣтъ рѣшительно ничего обще русскаго? А главное всѣ эти перечисленныя явленія (за исключеніемъ статьи гр. Толстого) не имѣютъ рѣшительно никакого отношенія къ тезису самого г. П. Ч. Перечисленіе это служитъ для него нѣкоторыми пропилеями; вслѣдъ за нимъ онъ говоритъ: «вотъ и въ политической сферѣ мы должны слѣдовать національному направленію, которое состоитъ въ выработанномъ исторіей преобладаніи крестьянства». Но зачѣмъ же эти пропилеи, зачѣмъ весь этотъ подходъ, когда мы должны мѣрять національность соотвѣтствіемъ съ интересами народа, а не наоборотъ? Дорожить интересами народа мы дол-

жны отнюдь не потому, что это какъ-нибудь «національно». Иныя, высшія инстанціи присудили бы насъ къ этому, даже на перекоръ національнымъ особенностямъ, если бы наша жизнь сложилась иначе, а національныя (собственно историческія) особенности представляютъ въ настоящемъ случаѣ только случайно выгодныя условія. Въ другихъ же «сферахъ дѣятельности» еще бабушка надвое сказала—чего стоитъ наша самобытность. Вотъ что дѣйствительно надо выговорить «отчетливо, безъ смягченій». А г. П. Ч. все безпокоится насчетъ національности и самобытности «въ различныхъ сферахъ дѣятельности», до такой степени безпокоится, что, наконецъ, тощія коровы самобытности совершенно, пожираютъ тучныхъ коровъ интересовъ народа; напримѣръ, въ одной изъ его статей выражена такая мысль: «я не сомнѣваюсь, что будь у насъ самостоятельные представители экономической науки—первое ихъ слово было бы за общину». Очевидно здѣсь община играетъ роль тучной коровы, съѣденной тощей коровой «самостоятельности»—иначе не было бы сослагательнаго наклоненія, ибо слово за общину нашими представителями экономической науки сказано было. Вотъ только «самостоятельны» ли они были? Г. П. Ч. не умѣетъ свободно отнестись къ этому вопросу. Съ одной стороны эти люди вѣрно поняли интересы народа и постоянно имѣли ихъ въ виду, значитъ, слѣдовали самостоятельному, самобытному, «національному» направленію. Но съ другой стороны они такъ скептически относились къ принципу національности и были такъ пристрастны къ «европейскимъ теоріямъ» и «заграничнымъ книжкамъ», что самостоятельность ихъ для г. П. Ч. проблематична. Съ такими же пріемами обратился г. П. Ч. къ нашей литературѣ вообще въ статьѣ «Отчего безжизненна наша литература?» Ему (съ его собственной точки зрѣнія) слѣдовало просто сказать, что литература безжизненна потому, что не хочетъ стать лицомъ къ лицу съ интересами народа, оцѣнить ихъ по достоинству вообще, изучить въ частностяхъ и сдѣлать своимъ центромъ тяжести. Но сказать это такъ просто онъ уже потому не могъ, что ему пришлось бы въ такомъ случаѣ въ общемъ повторить мнѣніе, уже давно въ этой самой литературѣ высказанное, хотя бы и не совсѣмъ такъ мотивированное, а онъ лично чрезвычайно самостоятеленъ. Но кромѣ того его безпокоитъ самостоятельность національная. Отсюда—цѣлая вавилонская башня изъ «заграничныхъ книжекъ», «европейскихъ очковъ» и прочаго хлама. Отсюда же—фальшивая ненужная идеализація «деревни»; говорю фальшивая, потому что авторъ совершенно произвольно замѣнилъ дѣйствительно существующую деревню отвлеченнымъ понятіемъ; говорю ненужная, потому что и русскому народу, и русской литературѣ нужна прежде всего правда.

Какъ бы кто ни смотрѣлъ на мою полемику съ «Недѣлей», но есть въ ней, по крайней мѣрѣ, одинъ и притомъ весьма существенный пунктъ, надѣюсь, вполнѣ разъ ясненный. Совокупность упражненій «Недѣли» я назвалъ мыльнымъ пузыремъ. Почтенная газета, со свойственнымъ ей благородным изяществомъ, отвѣчала: «Будущій историкъ русскаго общества замѣтитъ, что нашъ пузырь явился плодомъ *не теоретическихъ построеній*, а внимательнаго наблюденія надъ фактами жизни, и притомъ не жизни вообще, а именно *жизни русской*, текущей, современной—и въ этомъ смыслѣ назоветъ его, можетъ быть, новымъ» Нынѣ г. П. Ч. подтверждаетъ мое предположеніе, что источникъ его воззрѣній составляютъ именно теоретическія построенія и при томъ нѣмецкаго еврея.

Г. П. Ч. «съ отвращеніемъ» относится къ неизящнымъ выраженіямъ въ полемикѣ. Я сознаю, что они нехороши, и жалѣю, что огорчилъ г. П. Ч. Но есть нѣчто гораздо худшее, чѣмъ жесткія выраженія, нѣчто гораздо болѣе заслуживающее отвращенія: это—шарлатанство.

XXIII.

Къ настоящей минутѣ.

Не смотря на различныя уступки, выражающіяся, впрочемъ, преимущественно фигурой умолчанія, «Недѣля», какъ уже сказано, едва ли намѣрена въ ближайшемъ будущемъ разстаться съ своимъ пузыремъ. Она пріискала для него новое примѣненіе въ событіяхъ на Балканскомъ полуостровѣ.

Сначала—маленькое отступленіе или, пожалуй, напоминаніе. Всего какихъ-нибудь два года тому назадъ, «Недѣля» писала: «Газетныхъ рецензентовъ статья (гр. Толстого) плѣнила, кажется, только тѣмъ, что гр. Толстой говоритъ о непригодности нѣмецкаго педантизма къ обученію русскаго человѣка; остальное и самое существенное въ статьѣ, какъ не дѣйствующее на чувство народности, рецензенты обошли молчаніемъ и выдали гр. Толстому похвальный листъ собственно за патріотизмъ... Съ русскимъ заносчивымъ и самоувѣреннымъ читателемъ нужно говорить осторожно. Вы, можетъ быть, и имѣете основаніе относиться отрицательно къ извѣстнымъ сторонамъ теоретизма, но тысячи руссофиловъ поймутъ васъ иначе: они начнутъ плевать (какое слово!) не только на нѣмецкую, но и на всякую теорію и

порѣшатъ авторитетно, что только *русская теорія* безошибочна» (1874, № 42). Статья, изъ которой я заимствую эти строки, не случайная, потому что газета и впослѣдствіи на нее ссылалась, какъ на выраженіе своихъ мнѣній. Строки эти поучительны въ разнообразныхъ смыслахъ. Не буду распространяться о томъ, какъ освѣщается ими «установившаяся репутація» достопочтенной газеты: дѣло ясное. Но если исключить фактически невѣрное показаніе, будто наши газетные рецензенты такіе упорные и пламенные патріоты (хотя теперь и они, конечно, опатріотились), то въ замѣчаніи «Недѣли» найдется кое-что резонное. Сама газета отчасти разыграла нынѣ роль того «заносчиваго и самоувѣреннаго руссофила, который плюетъ не только на нѣмецкую, но и на всякую теорію». Въ среднемъ русскомъ человѣкѣ чрезвычайно легко вызвать какъ крайнее самоуничиженіе, такъ столь же крайнее самохвальство, и легче всего добиться того и другого при помощи разныхъ операцій съ идеей національности. Это очень естественно. «Національность», какъ мы видѣли, слагается изъ такого множества такихъ разнообразныхъ элементовъ, что, вводя ее въ свои соображенія in crudo, мы вступаемъ вмѣстѣ съ тѣмъ въ полнѣйшую неопредѣленность, въ которой—чего хочешь, того просишь. Получается очень сложный инструментъ, изъ котораго всякій болѣе или менѣе искусный артистъ можетъ извлекать очень разнообразные звуки въ очень разнообразныхъ сочетаніяхъ. Вотъ аккордъ, извлеченный «Недѣлей». Въ № 30 за нынѣшній годъ она напечатала статью «Источникъ общественнаго возбужденія», въ которой трактуется настоящій моментъ русской исторіи въ виду турецко-славянской войны. Сгруппировавъ нѣсколько фактовъ, свидѣтельствующихъ о сочувствіи къ славянамъ «всѣхъ безъ изъятія классовъ народа и общества», авторъ спрашиваетъ: въ чемъ же заключается причина такого небывалаго возбужденія? Конечно, говоритъ онъ, «матеріалъ для сочувствія славянамъ существуетъ въ Россіи издавна, это съ одной стороны—политическія традиціи, съ другой—единство религіи... Но и то, и другое есть не болѣе, какъ благопріятныя условія для развитія сочувствія—условія, конечно, очень важныя, но по самому существу своему чисто отрицательныя, пассивныя. Кто же явился положительнымъ, активнымъ двигателемъ, кто воспользовался благопріятными условіями, расколыхалъ эту громадную многомилліонную массу?.. Этотъ источникъ—нѣчто такое, для чего не найдено еще вполнѣ точнаго названія; это—то особенное *настроеніе* интеллигентной части общества, которое начало замѣчаться въ Россіи всего какихъ-нибудь два года назадъ и которое мы назвали однажды *сознаніемъ необходимости самобытнаго, національнаго направленія въ разныхъ сферахъ дѣятельности*» (курсивы «Недѣли»).

«Мы не будемъ—заключаетъ газета—пускаться въ совершенно неумѣстныя теперь доказательства, что это именно такъ». Вотъ это напрасно: доказательства были бы вполнѣ умѣстны. Тогда мы узнали бы, можетъ быть, почему это, напримѣръ, единство религіи составляетъ «отрицательное» условіе сочувствія или почему возбужденіе *«всѣхъ безъ изъятія классовъ народа и общества»* имѣетъ источникомъ какое-то экстренное настроеніе *«интеллигентной части общества»*. Теперь все это остается въ туманѣ. Но за то туманъ налицо. Конечно, если отбросить всякую логическую нить и прицѣплять слово къ слову, какъ въ домино шесть очковъ приставляется къ шести очкамъ, бланкъ къ бланку и т. д., то можно къ славянской войнѣ приставить сознаніе необходимости самобытнаго, *національнаго* направленія и проч. Но если вы попробуете серьезно связать эти двѣ вещи, то встрѣтите непреодолимыя препятствія, столь непреодолимыя, что ихъ даже и на словахъ не объѣдешь. Что старые славянофилы тѣсно связывали свое сочувствіе славянамъ съ понятіемъ о необходимости національнаго направленія въ разныхъ сферахъ дѣятельности—это вѣрно. Но славянофилы—особь-статья. Они не только не говорили, что единство религіи составляетъ отрицательное условіе сочувствія къ славянамъ (что даже ни съ чѣмъ несообразно), а напротивъ—именно въ этомъ единствѣ, въ православіи видѣли главную связь «сочувствія» съ «необходимостью». До какой степени трудно связать эти вещи «Недѣлѣ», видно изъ того, что она не разъ принималась за эту задачу, но все должно быть находила неумѣстнымъ приводить доказательства и отдѣлывалась афоризмами.

Въ № 33 какой-то корреспондентъ изъ Курска «чувствуетъ потребность подѣлиться нѣсколькими мыслями съ уважаемой редакціей «Недѣли» по поводу статьи объ «Источникѣ общественнаго возбужденія». Корреспондентъ подтверждаетъ, что то «настроеніе, о которомъ говоритъ газета, дѣйствительно существуетъ, и затѣмъ приводитъ соотвѣтственные факты. Мы узнаемъ, что въ Курскѣ «славянское движеніе» сосредоточивается въ «общественномъ клубѣ»; что мѣстное общество очень косо смотритъ на газеты, недостаточно ясно и рѣзко сочувствующія славянамъ; что въ Курскѣ даются концерты, на которыхъ поютъ русскій гимнъ и славянскія пѣсни, кричатъ «ура» и «живіо»; что

пожертвованій собрано столько-то и добровольцевъ отправлено столько-то. Корреспондентъ, очевидно, не понялъ, въ чемъ дѣло. Никто не сомнѣвается въ томъ, что національное или, какъ нѣкоторые говорятъ, патріотическое настроеніе охватило Россію, хотя, я полагаю, въ гораздо меньшей степени, чѣмъ кажется и чѣмъ вообще думаютъ. Дѣйствительно, наше возбужденіе, по необходимости выражающееся въ однѣхъ и тѣхъ же формахъ пожертвованій и волонтерства, представляетъ тѣмъ не менѣе явленіе очень сложное, имѣющее не одинъ, а много источниковъ. Что касается до массы народа, то ее несомнѣнно сильнѣе всего двигаютъ чувства религіознаго родства со славянами и традиціонная ненависть къ туркамъ, какъ врагамъ христовой вѣры. Мимоходомъ сказать, религіозному элементу въ настоящей войнѣ вообще отдается мало мѣста, тогда какъ въ дѣйствительности онъ врывается въ событія съ разныхъ сторонъ. Гильфердингъ, человѣкъ наблюдательный и безпристрастный, замѣчаетъ, что помимо враждебныхъ отношеній сербовъ къ болгарамъ и обратно, во всѣхъ сербскихъ земляхъ каждая деревня косо смотритъ на сосѣднюю деревню; мало того: въ каждомъ селѣ царятъ зависть и вражда. Онъ рѣшительно отрицаетъ сознаніе національнаго единства въ сербскихъ областяхъ и утверждаетъ, что только одинъ мотивъ стоитъ выше этой вражды—религіозный. Что касается до религіознаго фанатизма турокъ, то онъ всѣмъ извѣстенъ; для нихъ настоящая война есть война священная. Сообразно этому, сознательно или безсознательно смотрятъ на вещи и посторонніе зрители. Любопытно, что въ извѣстной рѣчи Дюбуа-Рэймона о границахъ познанія, сказанной задолго до настоящихъ событій, въ числѣ задачъ, подлежащихъ разрѣшенію гипотетическаго всевѣдующаго человѣка Лапласа, находится такая: когда заблеститъ греческій крестъ на софійской мечети? Это показываетъ, до какой степени въ общемъ сознаніи будущая судьба Балканскаго полуострова всегда облекалась въ религіозныя формы. Естественно, что соотвѣтственное настроеніе усилилось, когда эта судьба нѣсколько приблизилась такъ или иначе къ своему рѣшенію. Отсюда—наши посылки къ сербамъ походныхъ церквей и знаменъ, напоминающихъ историческіе моменты борьбы съ невѣрными; отсюда—пророчество, что какъ одинъ Михаилъ отдалъ туркамъ Константинополь, такъ другой Михаилъ (Черняевъ) отниметъ его и проч. Я не говорю, что религіозный элементъ составляетъ все въ настоящихъ событіяхъ, не говорю даже, что онъ въ нихъ безусловно премируетъ. Я только напоминаю составъ нашего возбужденія. Безъ сомнѣнія, и славяне были до такой степени придавлены турецкимъ строемъ, что изъ этой придавленности выросли мотивы возстанія, не имѣющіе ничего общаго съ религіознымъ. Безъ сомнѣнія, какъ оффиціальная Англія въ своемъ отрицательномъ отношеніи къ славянамъ, такъ и неоффиціальная Англія въ своемъ отношеніи положительномъ, руководствуются не религіозными мотивами, а (первая) политическими, экономическими и (вторая) чисто гуманными. Безъ сомнѣнія, наконецъ, въ русской «интеллигенціи» религіозный мотивъ несравненно слабѣе, чѣмъ въ массѣ народа, и часто даже совсѣмъ отсутствуетъ. Здѣсь двигателемъ является нѣчто очень сложное, вѣрнѣе—даже сумма многихъ сложныхъ двигателей, среди которыхъ фигурируетъ, разумѣется, и національное чувство, чувство кровнаго родства со славянами. Но если бы это чувство проявлялось даже несравненно сильнѣе, если бы оно поглощало собою всѣ остальные источники возбужденія, чего на самомъ дѣлѣ, конечно, нѣтъ, такъ и то оно не могло бы служить поддержкой мнѣнію «Недѣли» и ея курскаго корреспондента. Одно дѣло — сочувствіе угнетеннымъ соплеменникамъ, и другое дѣло — сознаніе необходимости самобытнаго, національнаго направленія въ разныхъ сферахъ дѣятельности. Послѣднее было бы только въ такомъ случаѣ доказано, еслибы «Недѣля» прослѣдила въ самомъ сочувствіи и въ способахъ его выраженія что-нибудь исключительное, національное, русское. Но развѣ всѣ другіе народы при подобныхъ обстоятельствахъ какъ-нибудь иначе выражаютъ свое сочувствіе къ родственнымъ или даже неродственнымъ страдающимъ народамъ? Безъ сомнѣнія, извѣстныя отличія существуютъ. Такъ, есть разница между генераломъ Черняевымъ и генераломъ Гарибальди; есть разница между курскимъ «общественнымъ клубомъ» и европейскими клубами, какъ центрами политическихъ движеній. Но не думаю, чтобы кто-нибудь настаивалъ на *необходимости* этой разницы и въ ней именно видѣлъ ту желательную самобытность, о которой такъ много говоритъ «Недѣля».

Въ упомянутой статьѣ г. П. Ч. («Нашимъ критикамъ») также говорится объ отношеніи нашего общества къ славянской войнѣ, какъ о самомъ рѣзкомъ признакѣ стремленія къ самобытности, къ національному направленію въ различныхъ сферахъ дѣятельности. Но съ точки зрѣнія г. П. Ч. это еще неосновательнѣе. Мы видѣли, что онъ признаетъ дѣйствительно національнымъ только такое направленіе, которое совершается въ духѣ и интересахъ крестьянства. Гдѣ же доказа-

тельства наличности такого направленія въ современномъ настроеніи нашего общества? При самомъ напряженномъ вниманіи, я его не вижу. Г. П. Ч. можетъ, впрочемъ, легко сдѣлать пробу. Говоря о томъ, что наше крестьянство есть пока сила стихійная, которая однако должна же подняться до силы сознательной, для чего требуется образованіе, г. П. Ч. замѣчаетъ: «средствъ нѣтъ— открыть подписку по всей Россіи, какъ это теперь сдѣлано въ пользу балканскихъ славянъ». Да, вотъ попробуйте. Я съ своей стороны сочту за величайшее счастье записаться однимъ изъ первыхъ на подписномъ листѣ «Недѣли» и на этотъ предметъ увеличу втрое, вчетверо ту скромную лепту, которую вношу въ славянскій комитетъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ я глубоко убѣжденъ, что настоящій моментъ есть одинъ изъ самыхъ невыгодныхъ для такого предпріятія. А между тѣмъ «національное» направленіе охватило Россію. Попробуйте...

И я, грѣшный профанъ, возлагалъ надежды на турецко-славянскія событія и горячее отношеніе къ нимъ русскаго общества. Не въ томъ, правда, смыслѣ, что изъ этого горячаго отношенія вырастетъ что-нибудь самобытное, національное. Нѣтъ, я просто ждалъ хорошаго, а тамъ самобытно ли оно будетъ, или нѣтъ—это мнѣ все равно было. Ждать, кажется, было можно. Кн. Шаховская замѣтила, что запрещеніе молиться у Иверской—невиданное въ Москвѣ дѣло. Да, но гораздо болѣе невиданное дѣло какъ въ Москвѣ, такъ и въ другихъ русскихъ городахъ — эти сотни, даже тысячи людей, толпящихся на площадяхъ и въ вокзалахъ, проникнутыхъ одною мыслью и однимъ чувствомъ (каковъ бы ни былъ ихъ источникъ), громко заявляющихъ свои симпатіи, хотя и совпадающія, повидимому, съ направленіемъ оффиціальной политики, но все-таки отъ нея независимыя. Не обольщая себя надеждой, что при этомъ немедленно всплывутъ наверхъ все дѣйствительно живое въ русскомъ обществѣ, можно было однако съ волненіемъ и ожиданіемъ прислушиваться къ этому свободному голосу. Въ самыхъ обстоятельствахъ, вызвавшихъ возбужденіе, было нѣчто такое, что, казалось, должно было гарантировать оживленію извѣстную высоту, чистоту и достоинство. Гарантіи эти представляются тою крайнею простотой настоящей славянской задачи, о которой я уже какъ-то упоминалъ мелькомъ. Еще тургеневскій Шубинъ, не смотря на свое легкомысліе, очень вѣрно замѣтилъ, что задача Инсарова очень проста: выгнать турку—и баста. Въ этомъ элементарномъ и, если хотите, грубомъ требованіи тонутъ всѣ тѣ рубрики и подраздѣленія общественныхъ вопросовъ, къ которымъ приучила насъ запутанная и сложная европейская исторія. Всякій гнетъ, политическій государственный, религіозный, соціальный, совмѣщается для южнаго славянина въ «туркѣ» непосредственно, или имъ только держится. Строго говоря, здѣсь нѣтъ даже ясно обрисованнаго національнаго вопроса, потому что потурченный славянинъ, отлично помнящій свое славянское происхожденіе, а иногда даже гордящійся имъ, всегда былъ злѣйшимъ врагомъ единоплеменной райи, гораздо злѣйшимъ, чѣмъ природный турокъ. Тѣмъ не менѣе его гнетъ положительнымъ или отрицательнымъ образомъ опирается на гнетъ турецкій, такъ сказать, питается имъ. Не слѣдуетъ однако думать, что дѣло сводится въ этомъ случаѣ къ исламу: болгарскій «помакъ»—тоже мусульманинъ, но онъ ненавидитъ турокъ, какъ только можетъ ненавидѣть кроткій, забитый болгаринъ. Мусульманскій фанатизмъ ренегата-боснява самымъ тѣснымъ образомъ сплетается съ его исконнымъ положеніемъ феодала, сохраненіе котораго онъ купилъ отступничествомъ. При такихъ условіяхъ выгнать турку—значитъ рѣшить соціальный вопросъ. Точно также безобразія греческой духовной іерархіи, иноплеменныхъ, но единовѣрныхъ «владыкъ», равно какъ зачаточной, но уже достаточно гнустной буржуазіи въ сербско-турецкихъ земляхъ, держится опять только турецкимъ владычествомъ. Сметите турокъ— и славянинъ свободенъ, какъ мало кто свободенъ въ Европѣ. Сметите турокъ—и если послѣ этого еще останется несчастное соперничество различныхъ племенъ, то внутри каждаго изъ нихъ не останется никакихъ «самобытныхъ» обособленій, никакого соперничества сословнаго, въ томъ смыслѣ, какъ оно извѣстно Европѣ. Для очищенія воды, въ нее пускаютъ яичный бѣлокъ, который обволакиваетъ всю муть и грязь и выноситъ ее на верхъ—остается только снять эту массу. «Турка» сыгралъ въ исторіи южныхъ славянъ именно такую роль яичнаго бѣлка: онъ выловилъ, притянулъ къ себѣ всѣ «самобытные» и «инобытные «элементы, способные сосать кровь народа, связалъ ихъ судьбу съ своей судьбой, и если бы не тѣ безчисленныя страданія, цѣною которыхъ купленъ этотъ результатъ, можно бы было сказать спасибо «туркѣ», спасибо за сосредоточеніе враждебныхъ народу силъ, за возможность покончить со всѣми ими однимъ ударомъ. Эта ясность, простота и величіе задачи, казалось, должны были гарантировать прямое и честное отношеніе къ ней со стороны сочувствующихъ славянамъ.

Не то вышло на дѣлѣ. Простотѣ задачи была противопоставлена сложность рѣшенія,

ясности — запутанность, величію... величію была сплошь и рядомъ противопоставлена низость и пошлость. Это я—о цѣлой Европѣ, объ исключеніяхъ—потомъ. Яснѣе всего выразилась роль Англіи. Я полагаю, что Англія оффиціальная, на которую сыпалось и сыплется столько заслуженныхъ проклятій, была тѣмъ не менѣе вѣрнымъ представителемъ и блюстителемъ интересовъ своей страны, т. е. Англіи, какъ она въ данную минуту существуетъ—Англіи, имѣющей извѣстную соціальную физіономію, которая можетъ съ теченіемъ времени измѣняться, но въ данную минуту совершенно опредѣленна. Англія давно овладѣла турецкимъ рынкомъ и вытѣснила туземную промышленность. Ея фабрикантъ и купецъ—экономическіе владыки Турціи. Поэтому она самымъ кровнымъ образомъ заинтересована въ продолженіи турецкаго или какого-либо подобнаго владычества. Грѣхъ славянъ передъ Англіей, страшный грѣхъ, котораго она не можетъ простить, пока не измѣнится ея соціальная физіономія, состоитъ въ томъ, что они могутъ «сами удовлетворять своимъ потребностямъ». Пусть уничтожится турецкое владычество, но вмѣстѣ съ тѣмъ пусть извратится грубая натура турецкаго славянина; пусть эти трудолюбивые болгаре и босняки излѣнятся, пусть обособится въ нихъ достаточный классъ тунеядцевъ, пусть въ этихъ полудикихъ черногорцавъ, въ смирныхъ болгарахъ, въ герцеговинцахъ, въ сербахъ разовьются потребности, которымъ они сами удовлетворить не въ состояніи—Англія будетъ молчать. «Что Литва, что Русьли», что турокъ, что сербъ—ей все равно, если за ней останется рынокъ, если сырье Балканскаго полуострова будетъ по прежнему направляться къ ней и отливать обратно въ видѣ обработанныхъ продуктовъ. Это—не капризъ: это—вопросъ о существованіи Англіи, какъ извѣстной комбинаціи соціальныхъ силъ. Закрытіе такого важнаго рынка, какъ турецкій, отзовется на Англіи не финансовымъ только крахомъ, который данъ уже гибелью капиталовъ, вложенныхъ въ турецкія бумаги, а кризисомъ соціальнымъ, и чѣмъ онъ кончится — даже предвидѣть трудно; во всякомъ случаѣ—болѣе или менѣе значительнымъ измѣненіемъ соотношенія общественныхъ силъ. Какова будетъ та новая, измѣненная Англія, это—другой вопросъ; но нынѣшняя Англія имѣетъ, повторяю, въ лицѣ Дизраэли, Дерби и Эллиота—своихъ вѣрныхъ выразителей и представителей. Не помню, въ какой газетѣ прочиталъ я такое разсужденіе, что въ случаѣ европейской войны у Россіи можетъ оказаться совершенно неожиданный союзникъ, именно—внутренній врагъ нашихъ предполагаемыхъ будущихъ враговъ — рабочій вопросъ. Я очень сожалѣю, что не запомнилъ названія газеты, потому что самое перенесеніе вопроса на эту почву заслуживаетъ полнѣйшаго вниманія. Возможна, конечно, и та комбинація, о которой говоритъ газета; но вѣрно то, что въ Англіи рабочій вопросъ долженъ съ паденіемъ турецкаго владычества рѣшительно обостриться. Тѣмъ не менѣе мы и въ нынѣшней Англіи слышимъ энергическіе и благородные голоса въ защиту славянъ. Что это значитъ? Только то, что чувства многихъ англичанъ находятся въ противорѣчіи съ интересами нынѣшней Англіи. До сихъ поръ фактически интересы перевѣшиваютъ чувства, и великой борьбѣ за освобожденіе противопоставляется гнусная спекуляція.

Перейдемъ къ сочувствующимъ. Здѣсь на первомъ мѣстѣ стоятъ русскій народъ и русское общество. Безъ сомнѣнія, и русское правительство сдержанно, но нимало не двусмысленно засвидѣтельствовало свое сочувствіе къ страданіямъ славянъ; но я не чувствую себя призваннымъ обсуждать его образъ дѣйствій. Меня занимаетъ необыкновенное возбужденіе русскаго общества и народа и то воспитательное значеніе, которое могутъ имѣть для нихъ настоящія событія.

Какъ уже сказано, задача, разрѣшаемая на Балканскомъ полуостровѣ, крайне проста, а мотивы нашего участія къ ней очень сложны. Одни сочувствуютъ славянамъ, какъ единовѣрцамъ, другіе—какъ единоплеменникамъ, третьи—какъ страдальцамъ, которыхъ «припекаютъ, рѣжутъ, жгутъ», иные—какъ героямъ, ищущимъ независимости, и проч. Сами по себѣ однако всѣ эти разнородные мотивы могли бы очень удобно сходиться въ фокусѣ немногосложной задачи Инсарова: выгнать турку. Я, ты, онъ, мы, вы, они, отправляясь каждый отъ своего штандпункта, неизбѣжно приходимъ къ одному и тому же результату. Я—христіанинъ и сочувствую славянамъ, какъ христіанамъ, я иду въ волонтеры или даю деньги на тотъ предметъ, чтобы рога луны не надругались надъ крестомъ Христа, а это значитъ выгнать турку. Ты—демократъ и соціалистъ и сочувствуешь славянамъ, какъ безсословному трудящемуся люду, который не можетъ донести до рта имъ самимъ изготовленнаго куска хлѣба; донести кусокъ полностію до рта значитъ выгнать турку. Онъ—добрый и впечатлительный человѣкъ, которому не даютъ жить образы посаженныхъ на колъ болгаръ, распятыхъ и сожженныхъ сербовъ, обезчещенныхъ женъ и дѣтей; чтобы отогнать эти видѣнія, надо выгнать турку и проч. Положимъ, что по окончаніи (удач-

номъ или неудачномъ) дѣла, всѣ мы раздеремся, потому что не каждый день встрѣчаются дѣла, допускающія такое единодушіе; но въ эту минуту ничто не мѣшаетъ Ерошенкѣ умирать подъ командой генерала Черняева и Гольдштейну падать вслѣдъ за Кирѣевымъ. Сопоставьте же всѣ условія нашего возбужденія. Во-первыхъ: мы можемъ быть единодушны, не смотря на разнообразіе исходныхъ точекъ нашего сочувствія къ славянамъ. Во-вторыхъ: мы во всякомъ случаѣ сдвинуты съ обыденной колеи вялой, скучной, бездѣятельной, безцѣльной жизни на широкую дорогу дѣятельнаго сочувствія къ чужимъ страданіямъ. Тонъ нашей жизни приподнятъ. Воздухъ очищается. Самоотверженіе, преданность идеѣ, исполненіе разъ сознаннаго долга, ненависть къ гнету и насилію,—все это море высокихъ, святыхъ чувствъ тутъ подъ бокомъ. Всякій, даже дрянной или пустой человѣкъ, можетъ, окунувшись въ него, окрестившись въ немъ, возродиться. Въ немъ могутъ надолго заговорить заглохшія чистѣйшія струны его души, звенѣть и по окончаніи турецко-славянской распри, отзываться и на другіе запросы жизни. Въ-третьихъ, наконецъ: мы имѣемъ до извѣстной степени возможность не скрывать своихъ чувствъ.

Какъ ни умаляйте значеніе этихъ условій, но въ совокупности они представляютъ нѣчто очень рѣдкое въ русской жизни. Простительно было ждать. И я ждалъ. Я упустилъ изъ виду физическій законъ, по которому солнечный лучъ, встрѣчая среду болѣе плотную, чѣмъ воздухъ, отклоняется, преломляется. Я упустилъ изъ виду элементъ спекуляціи. Вмѣсто того, чтобы дѣлать прямое и простое дѣло, поставленное передъ нами исторіей, мы стали спекулировать. Пристраиваясь къ какому-нибудь предпріятію, спекулянтъ имѣетъ въ виду главнымъ образомъ не осуществленіе его, а тѣ побочныя, не относящіяся прямо къ предпріятію и часто мѣшающія ему выгоды, которыя можно сорвать *на пути* къ осуществленію и вообще внѣ его. Такъ поступили мы и съ славянскимъ вопросомъ. Не буду говорить о мелочахъ, можетъ быть, неизбѣжныхъ въ дѣлѣ, захватывающемъ множество людей. Остановлюсь только на двухъ явленіяхъ, на самохвальствѣ и на той ноздревской политикѣ, которая утверждаетъ, что, дескать, лѣсъ мой, да и за лѣсомъ что — такъ тоже мое.

Давно уже ходятъ слухи, что сербы косятся на насъ, потому что мы будто бы хотимъ Сербію въ Бѣлградскую губернію обратить. Откуда могло въ нихъ явиться такое предубѣжденіе? Правительство наше тутъ очевидно не при чемъ. Сваливать все на инсинуаціи европейской печати, несомнѣнно существующія, тоже нельзя. Мудрено допустить, чтобы какъ эти инсинуаціи, такъ довѣріе къ нимъ сербовъ выросли изъ ничего. Пройдетъ нѣсколько времени, и мы узнаемъ обстоятельно, какъ вели себя въ Сербіи русскіе. Но кое-что мы и теперь уже можемъ видѣть изъ тона русскихъ газетъ.

Недавно надѣлала нѣкотораго шума напечатанная въ «Новомъ Времени» анонимная статья «Наша національная задача». Авторъ не даетъ частныхъ указаній русской политикѣ, а только общую формулу: «помочь славянамъ въ тѣхъ стремленіяхъ, которыя безусловно справедливы, и устроить все остальное въ собственныхъ интересахъ— вотъ роль Россіи». Сама статья даетъ однако вполнѣ достаточный матеріалъ для наполненія этого общаго мѣста плотью и кровью. Авторъ негодуетъ на «рьяныя увѣренія нѣкоторыхъ газетъ въ нашемъ безкорыстіи и самоотверженности»; на высказанное въ печати мнѣніе, что «намъ не нужны завоеванія, что не нуждаемся мы и въ Константинополѣ; на отсутствіе русскаго проекта раздѣла Турціи; на то, что Россія, имѣя еще всего полвѣка тому назадъ возможность обрусить чеховъ, сербовъ и болгаръ, упустила этотъ моментъ. Онъ не только негодуетъ и сожалѣетъ; онъ указываетъ положительныя основанія этихъ своихъ отрицательныхъ чувствъ.

Нѣтъ, говоритъ онъ, и никогда не было ни одного живого. дѣйствительно историческаго народа, который бы не напрягалъ всѣхъ усилій для развитія своей внутренней и внѣшней мощи, который не руководился бы во всѣхъ дѣлахъ интересами своей страны, который бы не стремился дать возможно широкое распространеніе своей рѣчи и т. п. Поступать иначе можетъ только національная дряблость, т. е. народъ, пораженный худосочіемъ и лежащій на болѣзненномъ одрѣ... Беззавѣтное увлеченіе русскаго общества идеею славянскаго освобожденія, именно вслѣдствіе своей беззавѣтности, не можетъ не наводить на грустныя чувства. Здѣсь ясно выступаетъ наружу вся скудость нашей національно-исторической жизни. Только тотъ можетъ беззавѣтно и самоотверженно предаваться въ защиту чужихъ интересовъ, не помышляя о своей странѣ, въ комъ вяло бьется сердце за интересъ послѣдней... На многихъ изъ нашихъ соотечественниковъ непріятно дѣйствуетъ извѣстіе о томъ, что сербы хотятъ завладѣть и Болгаріей, что для знакомыхъ съ славянскими дѣлами— совсѣмъ не новость. Нѣкоторые изъ насъ чуть не озлобились на сербовъ, узнавъ, что для болгарина бѣда—являться въ Сербію подъ своимъ именемъ, что сербы требуютъ, чтобы каждый болгаринъ и болгорка не смѣли иначе называться, какъ сербами, что даже тѣ два болгарскіе батальона, которые пришли подъ начальствомъ русскихъ офицеровъ на помощь сербамъ, чтобы сражаться за общее дѣло, не получаютъ отъ сербовъ, не смотря на критическія обстоятельства послѣднихъ, обмундировки и т. п. Словомъ, сербы не хотятъ уже теперь признавать существованія болгаръ и отказываютъ въ кускѣ

хлѣба голодному болгарину, хотя бы онъ пришелъ къ нимъ на помощь, если не захочетъ называть себя сербомъ и тщательно скрывать свою болгарскую національность. Но мы не только не намѣрены осуждать за это сербовъ, а напротивъ, видимъ въ томъ только горячее національно-патріотическое самосознаніе и доказательство того, что сербы достойны свѣтлой будущности. Они поступаютъ такъ, какъ всякій живой народъ. Развѣ мадьяры не добивались одновременно какъ освобожденія отъ нѣмецкой власти, такъ и мадьяризаціи славянъ и даже нѣмцевъ? Развѣ греки не имѣютъ столь же сильныхъ притязаній на болгаръ, а чехи на словаковъ? Развѣ поляки возставали не за господство надъ русскими (бѣлорусскими и малорусскими) и литовскими племенами, а вовсе не за національную самостоятельность, которая близка была къ осуществленію? Развѣ французы, провозгласившіе принципъ національности, не присоединили къ себѣ довольно недавно итальянской Ниццы и не объявляли потомъ войны Германіи, чтобы овладѣть нѣмецкими землями по Рейну, и развѣ нѣмцы тоже въ недавнее время, не завоевали себѣ датскихъ и французскихъ земель? и т. д.».

Вотъ смѣлое и логическое слово, если не считать той трусости мысли и той нелогичности, которыя заключены въ исходной точкѣ автора. Съ перваго раза можетъ показаться, что это—диссонансъ въ общемъ хорѣ нашихъ газетъ и общественнаго мнѣнія. Самъ авторъ очевидно считаетъ себя единственнымъ въ своемъ родѣ экземпляромъ. Нѣкоторыя газеты (и само «Новое Время» въ томъ числѣ, только впослѣдствіи) сдѣлали легкія оговорки насчетъ «Нашей національной задачи». Дѣйствительно, ничего столь рѣшительно грубаго, столь *обобщенно* наглаго въ русской печати еще пока не появлялось; но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы неизвѣстный авторъ былъ какимъ-то выродкомъ. Нѣтъ, онъ только смѣлѣе и послѣдовательнѣе другихъ; онъ только обобщаетъ и доводитъ до логическаго конца то, что другими высказывалось въ примѣненіи къ частнымъ случаямъ. Если бы авторъ былъ въ самомъ дѣлѣ до такой степени «чужой» нашей литературѣ и общественному мнѣнію, какъ онъ думаетъ или, по крайней мѣрѣ, говоритъ; еслибы мы въ самомъ дѣлѣ были такъ беззавѣтно безкорыстны, то статья его должна бы была вызвать цѣлую бурю негодованія, тѣмъ болѣе, что явилась въ газетѣ, пользующейся рѣдкою у насъ распространенностью. И не по такимъ поводамъ возгорается у насъ нынѣ полемика и сочиняются протесты. А тутъ человѣкъ рѣшается назвать дряблостью, признакомъ отсутствія жизни то, что, повидимому, всѣ считаютъ высокимъ достоинствомъ, чѣмъ вся Россія, повидимому, гордится! И если это ему сходитъ даромъ, такъ значитъ, въ дѣйствительности-то не очень онъ большую дерзость сдѣлалъ, не очень чуждъ тѣмъ, кого уличаетъ въ дряблости; значитъ они не такъ ужъ дряблы...

Трудно говорить объ такомъ щекотливомъ предметѣ, но два-три примѣра привести все-таки можно.

Г. Немировичъ-Данченко утверждаетъ въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», что онъ слышалъ отъ крестьянъ такія рѣчи: «Это, братъ, *наше*, мірское. *Насъ* бьютъ, насъ обижаютъ. Это—не сербъ, а русскій. Какой такой болгаринъ? Послѣ того и владимірецъ—не русскій? А за свое мірское дѣло мы цѣлымъ міромъ и станемъ». Не надо знать прошедшее г. Немировича-Данченко, какъ этнографа-фантазера, чтобы видѣть, что рѣчь эта—грубо сочиненная и не даетъ ни малѣйшаго понятія о дѣйствительномъ характерѣ возбужденія народа. Но она вѣрно изображаетъ настроеніе самого писателя, не умѣющаго отличить Сербію отъ Владимірской губерніи. Согласитесь, что обстоятельство это мало способно успокоить сербовъ насчетъ Бѣлградской губерніи... «Новое Время», безъ сомнѣнія—теперь самая «патріотическая» газета, мнѣнія которой особенно интересны въ виду ея распространенности и, слѣдовательно, соотвѣтствія вкусамъ нашего образованнаго общества. Къ сожалѣнію, я имѣю возможность обратить вниманіе читателя только на одинъ фактъ изъ разряда тѣхъ, которые мнѣ здѣсь нужны. Среди самыхъ пламенныхъ изліяній на тему священнаго принципа національности. «Новое Время» вдругъ замѣчаетъ, что финляндцы мало жертвуютъ на пользу славянъ, и иронически прибавляетъ, что случись, молъ, въ Стокгольмѣ какой-нибудь пожаръ или что-нибудь въ этомъ родѣ, такъ изъ Финляндіи пожертвованія потекли бы рѣкой! Затѣмъ опять провозглашается торжество принципа національности и на минуту прерывается для «патріотическаго» восклицанія: или Финляндія—не русская страна?!—по тому простому поводу, что каталогъ финляндской выставки на русскомъ языкѣ явился позже финнскаго и французскаго. Это—не новыя рѣчи въ русской литературѣ; но можно было разсчитывать, что онѣ не будутъ рѣзать ухо теперь, когда мы такъ проникнуты уваженіемъ къ принципу національности и беремъ подъ свое покровительство угнетенныя націи. Что Финляндія—русская страна, въ этомъ никто не сомнѣвается и меньше всего финляндское населеніе, не имѣющее, кажется, поводовъ жаловаться на тяжесть государственныхъ узъ, связывающихъ Финляндію съ Россіей. Но тѣмъ не менѣе съ чисто *національной* точки зрѣнія самый строгій и придирчивый человѣкъ не имѣетъ права попрекать жителей Финляндіи недостаткомъ

сочувствія къ славянамъ. Другое дѣло— еслибы Финляндія, напримѣръ, въ случаѣ войны, попыталась бы какъ-нибудь уклониться отъ обязанностей, налагаемыхъ на нее государственными узами: въ такомъ случаѣ она подлежала бы суду и расправѣ государства. Но, опираясь на свою единоплеменность съ славянами попрекать въ тоже время жителей какого-нибудь Гельсингфорса тѣмъ, что для нихъ жители Стокгольма ближе, чѣмъ жители Бѣлграда, это прежде всего—сама турецкая безсмыслица, дикость.

И эта, и всѣ подобныя дикости (а ихъ немало) получаютъ свое логическое завершеніе и оправданіе, если мы станемъ на точку зрѣнія неизвѣстнаго автора «Нашей національной задачи». Но зато онъ отбрасываетъ уже всякую сантиментальность, считаетъ ее вздоромъ и позоромъ, откровенно объясняетъ, что нынѣшнія событія важны для насъ, только какъ удобный моментъ «дать возможно широкое распространеніе своей рѣчи и т. п.» Онъ не мещетъ громовъ не только въ пруссаковъ, за насильственный захватъ Эльзаса и Лотарингіи, а даже и въ мадьяръ за стремленіе мадьяризировать славянъ. Нѣтъ, мадьяры—великій историческій народъ, заслуживающій уваженія, и именно потому, что они стремятся давить славянъ и между прочимъ нашихъ ближайшихъ родственниковъ Угорской Руси. Сербы—тоже великій историческій народъ, потому что, еще ничего не видя, позорно гонятъ самое имя болгаръ. Еще одинъ маленькій, но вполнѣ логическій шагъ—и турки могутъ тоже оказаться великимъ историческимъ народомъ. Все это очень смѣло, логично и, повторяю, заслуживаетъ вниманія, какъ обобщеніе неясныхъ, непродуманныхъ аппетитовъ, проскальзывающихъ въ литературѣ слишкомъ часто. Но, спрашивается, что мы выигрываемъ отъ такой постановки вопроса? Мы будемъ «русить», мадьяры «мадьярить», сербы «сербить» и т. д., и т. д., и всѣ будутъ взаимно уважать другъ друга, какъ великіе историческіе народы. Всеобщая драка на подкладкѣ чрезвычайнаго взаимнаго уваженія... Допуская даже, что такое удивительное сочетаніе возможно въ жизни, стоитъ ли изъ-за этого, толкуя о попранныхъ правахъ славянъ, топтать въ то же время самую идею права?

Такова одна путаница, въ которой вращаются люди, спекулирующіе на славянскій вопросъ, то-есть имѣющіе въ виду не столько его непосредственное разрѣшеніе, сколько разныя побочныя цѣли. Но статья «Новаго Времени» типична еще въ другомъ отношеніи. Авторъ много говоритъ объ «интересахъ страны», о «нашихъ интересахъ», о «внѣшней и внутренней мощи Россіи»—кто обо всемъ этомъ теперь говоритъ мало? Онъ произноситъ всѣ эти «слова, слова, слова», даже не пытаясь дать себѣ въ нихъ отчета—кто дѣлаетъ подобныя попытки? Но благодаря все тѣмъ же особенностямъ автора, безотчетность выступаетъ у него рѣзче, чѣмъ у кого-нибудь. Не смотря на національный эгоизмъ его теоріи, онъ лично, по всей вѣроятности, вовсе не какой-нибудь завзятый эгоистъ, по крайней мѣрѣ, этого нельзя заключить изъ его статьи: онъ хлопочетъ объ интересахъ, о могуществѣ какого-то цѣлаго, въ которомъ самъ утопаетъ, какъ ничтожная частица. Не слѣдуетъ тоже непремѣнно думать, чтобы онъ лично былъ человѣкъ очень воинственный, любитель «бранной забавы». Ничто не мѣшаетъ ему быть человѣкомъ, мирно трудящимся на какомъ-нибудь гражданскомъ поприщѣ служенія отечеству. Я себѣ представляю его профессоромъ, вообще педагогомъ-теоретикомъ, проникнутымъ уваженіемъ къ реформамъ нынѣшняго царствованія, очень либеральнымъ, очень вѣрующимъ въ нашъ русскій прогрессъ. Еслибы въ немъ этой вѣры не было (по неблагонамѣренности ли или по озлобленію), такъ онъ не сталъ бы разсуждать теперь о величіи Россіи. Итакъ, ему дороги интересы нынѣшней Россіи. А между тѣмъ онъ сожалѣетъ, что полвѣка тому назадъ былъ упущенъ случай обрусить чеховъ, болгаръ и сербовъ и тѣмъ сослужить службу интересамъ своей страны. Можно сомнѣваться, что такой случай дѣйствительно представлялся пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, но положимъ. Положимъ далѣе, что обрусеніе чеховъ и болгаръ дѣйствительно соотвѣтствовало интересамъ тогдашней Россіи. Во всякомъ случаѣ тогдашняя Россія была не то, что нынѣшняя. Это была чисто-военная держава, разъѣденная гангреной крѣпостного права, въ которой свистѣли розги по учебнымъ заведеніямъ и помѣщичьимъ конюшнямъ, шпицрутены, плети и кнуты по казармамъ и площадямъ, въ которой не было порядочнаго суда и проч., и проч. Я увѣренъ, что авторъ лучше меня можетъ оцѣнить разницу между тогдашней и нынѣшней Россіей. Можно ли же допустить, чтобы интересы двухъ столь различныхъ, хотя и носящихъ одно и то же названіе политическихъ тѣлъ были тождественны? Конечно—нѣтъ. Авторъ просто возрощаетъ цвѣты политическихъ спекуляцій (умозрѣній, умствованій) на почвѣ для него самого неясныхъ словъ, будто бы символически изображающихъ очень опредѣленныя понятія. Въ этомъ онъ сходится съ огром-

нымъ большинствомъ представителей нашей литературы и общественнаго мнѣнія. Рѣдкій изъ нихъ даетъ себѣ трудъ, хоть бы для самого себя, отвѣтить на вопросъ: что именно разумѣетъ онъ, говоря о мощи страны, интересахъ Россіи и т. п.? Отсюда—тѣ забавные политическіе разговоры, которые ведутъ между собой въ «Благонамѣренныхъ рѣчахъ» Плѣшивцевъ и Тебеньковъ. Есть одно очень хорошее правило, способное устранить значительную часть тебеньковско-плѣшивцевскихъ волненій. Надо именно помнить, что «страна» сама по себѣ не пьетъ и не ѣстъ, не учится и не мучится, а все это дѣлаютъ живущіе въ ней люди. На этомъ элементарномъ правилѣ только и можетъ основаться дѣйствительно *гуманная* политика, гуманная совсѣмъ не въ смыслѣ какого-нибудь расплывающагося и безпредметнаго благодушія, а, напротивъ, вполнѣ реальная, ибо въ дѣйствительности реально интересы какой бы то ни было страны не существуютъ независимо отъ интересовъ населяющихъ ее людей. Разъ вы усвоите себѣ это простое и несомнѣнное правило, вы уже безъ труда замѣтите, что, во-первыхъ, положеніе людей во всякой странѣ не одинаково, а, слѣдовательно, не одинаковы и интересы ихъ, и что, во-вторыхъ, положеніе это способно измѣняться во времени. А затѣмъ, заручившись нужными фактическими свѣдѣніями, вы смѣло можете приступить къ обсужденію любого частнаго политическаго вопроса. Вамъ будетъ ясно, какая это такая мадьярская «страна», интересы которой требуютъ мадьяризаціи славянъ, и кому въ Россіи, какому классу людей выгодно и вообще выгодно ли которому-нибудь изъ нихъ, чтобы чехи и сербы заговорили по-русски.

Пока не будетъ прилагаться къ обсужденію политическихъ событій рекомендуемая точка зрѣнія, до тѣхъ поръ мы не выйдемъ изъ мутной воды и не перестанутъ ловить въ ней рыбу охочіе люди. Представьте себѣ разговоръ, участники котораго, съ чрезвычайнымъ энтузіазмомъ употребляя извѣстную группу словъ, какъ слова всѣмъ и притомъ одинаково понятныя, даже не думаютъ что собственно эти слова значатъ, какіе реальные предметы ими обозначаются. Таковы политическіе дебаты нашихъ газетъ. Немудрено, что при такихъ условіяхъ Сербія смѣшивается съ Владимірской губерніей, отъ финновъ требуется, во имя принципа національности, горячее сочувствіе славянамъ, а позорное поведеніе сербовъ относительно болгаръ считается признакомъ великаго историческаго народа. Понятно, что совершенная неопредѣленность употребительнѣйшихъ, почти техническихъ выраженій, каковы: «величіе страны», «интересы націи» и т. п., въ связи съ крайнею смутностью вызываемыхъ ими чувствъ, огульно называемыхъ «патріотическими», открываетъ широкое поле для всевозможныхъ спекуляцій. Если хотите, все это очень естественно. Князь Карлъ румынскій еще въ прошломъ году добивался права раздачи орденовъ и чеканки монеты съ его изображеніемъ—права, котораго онъ, какъ вассалъ Порты, не имѣетъ. Румынская палата депутатовъ очень этому сочувствовала, какъ патріотическому требованію. Оно и въ самомъ дѣлѣ, какъ будто такое расширеніе правъ румынскаго князя способствуетъ окончательному освобожденію Румыніи отъ супрематіи Турціи. Но въ сущности, реально Румынія отъ этого не выигрываетъ рѣшительно ничего, если, конечно, не считать выигрышемъ расширеніе княжеской власти. Между тѣмъ, благодаря смѣшенію понятій, символовъ и словъ, румыны патріотически волновались. Повторяю, все это естественно. Но можно было ожидать, что напряженность настоящихъ событій и тѣ ихъ особенности, которыя я старался характеризовать выше, гарантируютъ насъ отъ подобныхъ спекуляцій, по крайней мѣрѣ, въ качествѣ постороннихъ зрителей. Ничуть не бывало. Генералъ Черняевъ дѣлаетъ смѣшную и ненужную демонстрацію провозглашенія князя Милана королемъ—и мы радуемся... Генералъ Черняевъ заслуживаетъ всякаго уваженія, какъ человѣкъ, преданный своимъ идеямъ. Какъ генералъ, онъ обнаружилъ очень цѣнныя качества, тѣмъ болѣе заслуживающія уваженія, что они выразились не въ блестящихъ побѣдахъ, а въ хладнокровномъ личномъ мужествѣ и умѣньѣ организовать армію при самыхъ невыгодныхъ условіяхъ. Но этого ему показалось мало. Онъ захотѣлъ быть политикомъ, захотѣлъ умствовать и противопоставилъ простотѣ славянской задачи хитросплетенное рѣшеніе. О характерѣ умствованій генерала Черняева мы знаемъ изъ характера «Русскаго Міра», который его бывшій редакторъ перенесъ, къ несчастію, и въ Сербію, гдѣ нужны были только его военные таланты и храбрость. Въ демонстраціяхъ вродѣ той, которую онъ произвелъ, неудача составляетъ рѣшительный приговоръ предпріятію, а неудача вышла полная: самъ Миланъ и армія, провозгласившая его королемъ, оказались въ самомъ унизительномъ положеніи людей, которымъ велѣно взять свое рѣшеніе назадъ. Но еслибы Миланъ и сталъ королемъ, что выиграло бы отъ этого славянское дѣло? Говорятъ: провозглашеніе означало окончательное униженіе вассальныхъ отношеній.

Но, во-первыхъ, уничтоженіе вассальныхъ отношеній гораздо рѣзче выразилось самымъ фактомъ войны, а, во-вторыхъ—титулъ здѣсь ровно ничего не значитъ: Черногорія независима, хотя Николай—черногорскій князь, а не король, а, короли—вассалы тоже бывали. Говорятъ: королевскій титулъ долженъ былъ воодушевить сербовъ, напомнивъ имъ славное прошлое. Но если сербы воспѣваютъ даже донынѣ своихъ старыхъ королей и царей, такъ за то, что они водили ихъ къ побѣдамъ и дѣлили съ ними ужасы пораженія, а князь Миланъ не подъѣзжалъ къ мѣсту сраженія даже на пушечный выстрѣлъ. Да и была ли какая-нибудь надобность напоминать сербамъ прошлое? Они даже слишкомъ хорошо его помнятъ, судя по ихъ отношеніямъ къ несчастнымъ болгарамъ. Нѣкоторыя русскія газеты, надо отдать имъ справедливость, обнаружили въ этомъ случаѣ рѣдкій и совершенно безкорыстный, хотя и безпричинный энтузіазмъ. Корреспондентъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», вдохновившись картинностью момента провозглашенія, радуется, что какъ ни какъ, а это—прецедентъ, на который Миланъ можетъ впослѣдствіи опереться. Впослѣдствіи, т. е. когда минетъ уже всякая, даже мнимая надобность въ объявленіи вассальныхъ отношеній Сербіи прекращенными. Корреспонденту ужасно хочется, чтобы хоть когда-нибудь, если не теперь, маленькій князь превратился въ небольшого короля. Почему? Потому, что корреспондентъ привыкъ умствовать на тему «величія страны» и «мощи націи», не раздумывая о смыслѣ этихъ словъ.

Одно только изъ подобныхъ предательскихъ по своей двухъ-трехъ и болѣе смысленности выраженій, благодаря событіямъ, отчасти развернулось передъ нашимъ пониманіемъ. Это—«помощь Россіи». До послѣдняго времени частная, общественная помощь славянамъ была чисто кружковая и ограничивалась жалкою дѣятельностью славянскихъ благотворительныхъ комитетовъ и наставленіями славянофиловъ вродѣ извѣстнаго хомяковскаго посланія—наставленіями, можетъ быть, и превосходными, но изъ которыхъ шубы не сошьешь. Если что и сдѣлано славянамъ побольше, такъ это была помощь русскаго правительства, а не общества. Тѣмъ не менѣе, какъ славяне возлагали надежды на «помощь Россіи» вообще, такъ и мы не пытались разлагать эту помощь на составные элементы. Теперь для насъ съ неожиданною ясностью открылось, что помощь Россіи можетъ быть двоякая даже троякая. Помощь правительства выражается пока дипломатическими переговорами, но можетъ перейти и въ болѣе дѣятельную. Рядомъ съ ней и независимо отъ нея, хотя, конечно, не противъ видовъ правительства, явилась въ небывалыхъ размѣрахъ частная общественная помощь въ видѣ милліоновъ рублей и тысячъ волонтеровъ. Но и въ ней обособились помощь такъ называемаго «общества», образованныхъ классовъ, и помощь темной массы народа. Повидимому, деньги, жертвуемыя народомъ и обществомъ, совершенно одинаковы, такъ же, какъ и выставляемые ими волонтеры. Тѣмъ не менѣе всѣ сознаютъ, что тутъ есть какая-то разница. Объ этомъ впрочемъ—потомъ. Во всякомъ случаѣ выяснилась возможность частной, приватной помощи Россіи. Но, такъ какъ просіяніе мысли произошло только на одномъ этомъ пунктѣ, да и то неполное, то и тутъ не обошлось безъ спекуляцій, быть можетъ, наиболѣе прискорбныхъ. Самымъ грубымъ образомъ это выразилось въ поведеніи нѣкоторыхъ русскихъ волонтеровъ въ Сербіи, рѣчи которыхъ одинъ фельетонистъ (не безъ сочувствія къ размашистости «русской души») передаетъ такъ: «Напредъ! чортовы сыны и таковскія дѣти. Вина! Я пріѣхалъ кровь свою проливать». Эта сволочь хочетъ, на пути къ освобожденію славянъ, напиться на сербскій счетъ. Они тоже умствуютъ, а не просто «выгнать турку» являются. Боже меня избави отъ обобщенія этого позорнаго явленія. Но и это—фактъ, котораго нельзя снять со счетовъ. Кромѣ того въ постыдномъ поведеніи нѣкоторыхъ русскихъ волонтеровъ отразилось, какъ въ мутной водѣ, все-таки такое настроеніе, которому нечужды и несравненно болѣе порядочные люди. Тотъ же фельетонистъ, разсказавъ какъ русскіе бьютъ болгарскихъ волонтеровъ, умствуетъ уже отъ себя такъ: «Тотъ же русскій офицеръ, который побилъ волонтера, первый за него подставитъ лобъ и навѣрное ляжетъ въ первыхъ рядахъ. Нѣкоторая грубость въ насъ несомнѣнно есть, но это—грубость на хорошей подкладкѣ. Мы пришли, положимъ, спасать своего брата-славянина и вдругъ видимъ, что братъ-славянинъ не хочетъ, чтобы его спасали. Мы его въ зубы!—и все-таки потомъ спасаемъ». Омерзительно! Омерзительна эта способность любоваться на себя даже въ минуту совершенія гнуснаго поступка, эта неудержимая склонность къ самохвальству...

Всякая помощь есть извѣстное доброжелательное отношеніе сильнаго къ слабому. Но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, что помогающій сильнѣе того, кому помогаетъ, во всѣхъ рѣшительно отношеніяхъ, въ которыя можетъ стать къ нему. Не смотря на всю свою силу въ одномъ какомъ-нибудь смыслѣ, онъ можетъ быть убогъ во всѣхъ другихъ.

Наше прошлое не пріучило насъ къ такому анализу нашихъ силъ и слабостей. Россія есть великая держава, голосъ которой имѣетъ громадный вѣсъ въ европейскомъ ареопагѣ, потому что она можетъ выставить милліонъ штыковъ и ту храбрость, то умѣнье умирать своихъ подданныхъ, которыя теперь такъ блистательно развертываются въ сербско-турецкой войнѣ. Эта сила Россіи, какъ великой державы, составляетъ одинъ изъ немногихъ вполнѣ несомнѣнныхъ, непререкаемыхъ результатовъ нашей исторіи. Своею почти исключительною несомнѣнностью онъ затмѣваетъ вопросъ о силахъ Россіи въ другихъ отношеніяхъ—силахъ, которыя имѣли мало возможности обнаружиться. Благодаря этому, мы, образованные русскіе люди, имѣемъ склонность расширять понятіе о силѣ Россіи, какъ цѣлаго, и о различныхъ превосходствахъ русскихъ людей, преимущественно насъ самихъ. Если эта склонность существовала всегда и прежде, то теперь, когда мы дѣйствительно обнаружили нѣкоторую силу, когда наши кровные и близкіе добровольно умираютъ за правое и великое дѣло, а сами мы, воодушевленные хорошимъ чувствомъ, даемъ сравнительно большія деньги—теперь эта склонность еще обострилась. Мы полагаемъ—это несомнѣнно, полагаемъ самымъ осязательнымъ образомъ, потому что даемъ способнаго генерала, храбрыхъ волонтеровъ, деньги, докторовъ, наконецъ, моральный фактъ сочувствія, значеніе котораго трудно взвѣсить, но оно во всякомъ случаѣ велико. Это такъ неожиданно для насъ самихъ, что ослѣпляетъ. Мы помогаемъ, значитъ мы—сила. Мы такъ богаты, что, по увѣренію одного корреспондента, сербы смѣло могутъ вмѣсто пуль стрѣлять въ турокъ серебряными цѣлковыми, потому что Россія пришлетъ ихъ сколько угодно. Мы такъ превосходны, что даже наша кулачная расправа подбита «хорошей подкладкой». Мы такъ превосходны, что должны слѣдовать во всѣхъ сферахъ дѣятельности непремѣнно самобытному національному направленію. Мы такъ велики, что, по увѣренію «Современныхъ Извѣстій», «одинъ видъ присланныхъ изъ Россіи сапогъ производитъ на турокъ паническій страхъ». Мы такъ богаты знаніемъ, что «Недѣля» смѣло можетъ не появляться съ кружкой съ надписью: «на народное образованіе» — мы все равно ничего не положимъ... Ну, а за превосходство требуется, разумѣется, вознагражденіе. Кто требуетъ титула спасителя и дарового вина, кто—Константинополя, кто — гегемоніи Россіи, кто—право рѣшить судьбу народовъ и провозглашать королей, кто—удостовѣренія въ высокихъ качествахъ ума и сердца, кто—сочувствія даже «чиновника совсѣмъ посторонняго вѣдомства», вродѣ финна.

А между тѣмъ нужно только «выгнать турку». Когда я вижу юношу-волонтера, принимающаго передъ собравшеюся въ вокзалѣ публикой красивыя, молодцоватыя позы, то даже и эту маленькую, невинную и, конечно, вполнѣ простительную спекуляцію нахожу совершенно ненужною. Къ чему? Онъ ѣдетъ на такое великое дѣло, что любовь женщинъ, для которыхъ, конечно, только и стоитъ принимать красивыя позы, пойдетъ въ придачу.

Есть, конечно, и исключеніе. Есть сухіе доктринеры, засѣвшіе въ той или другой мертвой формулѣ и ради нея скептически относящіеся къ живому дѣлу. Это большею частью—либералы, затвердившіе отрицательное отношеніе къ «военному подвигу», какъ кто-то изъ нихъ выразился, и ту въ основаніи своемъ совершенно справедливую фразу, что внутреннія дѣла должны примировать надъ внѣшними. Они забываютъ, что военный подвигъ—военному подвигу рознь и что самый крупный фактъ нашей внутренней жизни есть въ настоящее время возбужденіе сочувствія къ угнетенному люду. Нѣкоторые боятся замарать руки о тѣ некрасивыя осложненія этого возбужденія, которыя я назвалъ спекуляціей. Они некрасивы—это правда; они подчасъ отвратительны; они могутъ въ ближайшемъ будущемъ, хотя и временно, тяжело отозваться на насъ самихъ, образованныхъ русскихъ людяхъ, умствующихъ и спекулирующихъ. Но, не говоря уже о томъ, что это будетъ кара по заслугамъ, отъ этого нисколько не мѣняется положеніе славянскаго вопроса. Чьими бы руками ни было свержено турецкое владычество, хотя бы руками пьяной сволочи, радикальное рѣшеніе славянскаго вопроса останется великимъ событіемъ, долженствующимъ отразиться (и, конечно, не къ худу) на соціальной физіономіи Европы. Если читатель скажетъ, что и это—умствованіе, спекуляція, такъ я отвѣчу, что я вовсе не предлагаю отказаться отъ попытки угадать грядущія событія. Я говорю только, что умствованія не должны быть вводимы въ самое дѣло, что не слѣдуетъ добиваться какихъ-нибудь побочныхъ результатовъ, лежащихъ на пути къ освобожденію славянъ или совсѣмъ внѣ этого пути стоящихъ. Еслибы было доказано, что предположеніе о вліяніи сверженія турецкаго владычества на европейскія дѣла ошибочно, то все-таки стоитъ потрудиться надъ уборкой кольевъ, на которые сажаютъ людей, и крестовъ, на которыхъ ихъ проклинаютъ.

Есть и другого рода исключенія. Есть люди, столько же, какъ и сухіе либералы,

гнушающіеся спекуляціей, но все-таки умирающіе не хуже того кулачнаго бойца, который, отдувъ болгарина, подставляетъ за него потомъ лобъ. Не эти люди, къ несчастію, окрашиваютъ собой движеніе нашего общества, хотя можно было надѣяться, что они будутъ замѣтнѣе хоть въ литературѣ. Зато возбужденіе «народа» вполнѣ соотвѣтствуетъ высотѣ задачи. Это возбужденіе по истинѣ поразительно и всѣми нашими публицистами отмѣчено, какъ таковое. Какъ могло оно зародиться и принять такіе неожиданные размѣры? Присматриваясь къ этому явленію, заслуживающему самаго внимательнаго изученія, даже въ чисто научномъ смыслѣ, какъ соціологическій фактъ, одни нанизывали на него свои грошевыя измышленія—мы видѣли, какъ провалилась на этомъ «Недѣля», полагающая, что возбужденіе *народа* зависитъ отъ особеннаго настроенія *интеллигенціи*; другіе, отмѣтивъ безсознательность, стихійность движенія, ставили его въ этомъ смыслѣ ниже сознательнаго возбужденія общества. Трудно еще теперь обнять этотъ фактъ во всей его обширности. Знаю одно: цѣнить народное движеніе ниже движенія нашей интеллигенціи, значитъ грѣшить противъ очевидности. Конечно, народъ имѣетъ до послѣдней степени смутное понятіе о славянскихъ дѣлахъ, такъ что едва различаетъ ихъ сквозь дымку своего невѣжества, а мы все-таки кое-что знаемъ. Но, по какимъ бы то ни было причинамъ, по невѣжеству ли народа, по серьезности ли его, выработанной привычкой къ труду и не позволяющей отклоняться отъ разъ сознанной цѣли въ стороны, по элементарности ли предстоящей задачи, можетъ быть, по всѣмъ этимъ причинамъ вмѣстѣ, эта задача и этотъ народъ оказываются какъ бы созданными другъ для друга. Донской казакъ, самарскій мужикъ, приказчикъ изъ зеленной лавки Андреевскаго рынка, уѣхавшіе волонтерами въ Сербію и бросившіе для этого домъ и семью, старуха, занимающая трешникъ на славянъ, молодица, снимающая съ себя съ тою же цѣлью платокъ—весь этотъ темный людъ не спекулируетъ, не играетъ «величіемъ страны» и «интересами націи»: ни словъ у нихъ такихъ нѣтъ, ни понятій. Но зато, если добиться у нихъ словеснаго выраженія цѣли, ради которой они ѣдутъ умирать и занимаютъ трешники, они выразятъ ее какъ разъ тѣми словами, которыми характеризовалъ Шубинъ дѣло Инсарова и которыя, какъ мы видѣли, дѣйствительно формулируютъ весь вопросъ: «выгнать турку». Допустимъ, что это—совпаденіе чисто случайное. Я боюсь придавать ему большое значеніе, боюсь, чтобы потомъ не разочароваться, потому что, повторяю, не умѣю обнять фактъ во всей его обширности. Но во всякомъ случаѣ, совпаденіе—налицо, а его нѣтъ для интеллигенціи, желающей «ославянить» финновъ, хлопочущей о самобытности, о Константинополѣ, о сербскомъ королевствѣ и о разномъ прочемъ. Безъ сомнѣнія, толчокъ народному возбужденію дается преимущественно религіей—священникъ проповѣдь сказалъ. Къ этому прибавляется еще смутная, традиціонная нелюбовь къ турку. Двигатели интеллигенціи несравненно многообразнѣе. Но вопросъ не столько въ толчкѣ, сколько въ чувствахъ, имъ возбужденныхъ, не въ формѣ, а въ содержаніи. Содержаніе народнаго возбужденія составляютъ сочувствіе къ страждущему и ненависть къ угнетателю. Содержаніе возбужденія интеллигенціи — то же самое, но оно разбавлено водой политическихъ умствованій, разбавлено до такой степени, что его и разсмотрѣть трудно, потому что съ точки зрѣнія интеллигенціи угнетатель можетъ оказаться заслуживающимъ уваженія въ качествѣ великаго историческаго дѣятеля. Оттого народъ находится на высотѣ событій, интеллигенція—ниже ихъ.

XXIV *).

Россія и Европа.

Замѣчено уже, что послѣднія восточныя событія застали насъ врасплохъ. Мы во всѣхъ смыслахъ оказались неприготовленными къ ихъ пониманію, къ воздѣйствію на нихъ, даже просто къ ясному представленію себѣ дѣла. Насъ зачѣмъ-то увѣряли, и мы почему-то повѣрили, что славяне, какъ славяне, какъ родственныя намъ племена, близки нашему сердцу, дороги намъ. Мы отпраздновали по этому случаю имянины сердца, не собственныя и вообще не какихъ-нибудь опредѣленныхъ, живыхъ людей, имена которыхъ извѣстны и могутъ быть найдены въ святцахъ, а дѣйствительно именины сердца, то-есть какое-то туманно - сантиментальное, безпредметное торжество, нѣчто вродѣ поклоненія древнему «невѣдомому богу». Мы обнаружили такое политическое невѣжество или, вѣрнѣе сказать, политическую невоспитанность, которая выдавалась еще рѣзче въ виду важности событій. Эта невоспитанность сказалась, какъ въ Петербургѣ, такъ и въ Сербіи, какъ въ газетныхъ передовыхъ статьяхъ и фельетонахъ, такъ и въ поведеніи добровольцевъ, о которомъ все больше и больше доносятся скверныя вѣсти и которое, если только хоть половина мрачныхъ слуховъ справедлива, способно навсегда по-

*) 1877, январь.

кончить иллюзіи славянъ насчетъ «русскаго имени». Въ этомъ, конечно, еще бѣды большой нѣтъ: зачѣмъ держать въ невѣдѣніи этихъ наивныхъ болгаръ и сербовъ? зачѣмъ поддерживать тотъ миражъ, который они создали себѣ, глядя на насъ издали! Вотъ мы каковы; смотрите на насъ, вложите пальцы въ наши раны и ждите отъ насъ только того, что мы въ состояніи дать; вотъ мы передъ вами нагишомъ, какъ насъ мать, «матушка Русь», родила...

Обидно и больно, потому что могло бы быть иначе, лучше, хоть я ни на минуту не жалѣю о томъ, что сербы узнали часть правды.

Удивляться нашей политической невоспитанности нечего; некого и винить, пожалуй. Можно ли, въ самомъ дѣлѣ, винить въ ней того необузданнаго добровольца, который кулаками расправлялся съ братьями-сербами и болгарами? или того другого, который отличался избіеніемъ проститутокъ? или того третьяго, который былъ безъ просыпа пьянъ всю кампанію? Ничего иного они и дома не дѣлали, а подъ свалившеюся на нихъ съ неба ролью «спасителей» они естественно должны были одурѣть окончательно. Въ своей ненависти они, можетъ быть, даже думали, что поддерживаютъ честь и достоинство русскаго имени предъявленіемъ громадныхъ кулаковъ и желудковъ, способныхъ вмѣщать невѣроятное для серба количество водки и вина! Можно ли удивляться политической невоспитанности г. Суворина, этого добровольца славянофильства, когда роль общественнаго руководителя въ тревожную и важную минуту свалилась на него такъ же съ неба, такъ же внезапно, какъ и роль спасителя на пропойцу и рыцаря кулака? Подумайте только объ этой превратности судебъ. Человѣкъ, бывшій вчера обыкновеннѣйшимъ пьяницей и дантистомъ, сегодня исправляетъ должность спасителя угнетенныхъ! Газета, которая еще вчера зазывала къ себѣ подписчиковъ пикантнымъ романомъ съ раздѣтыми кокотками и тайнами ихъ будуаровъ, ея издатель, прославившійся сколько талантливою игривостью своего остроумія, столько же непостоянствомъ своихъ убѣжденій, и до сихъ поръ извѣстный скорѣе своимъ пренебреженіемъ, чѣмъ сочувствіемъ къ «славянской идеѣ»,—эта газета и этотъ издатель становятся вдругъ руководителями великодушной общественной симпатіи! Изъ горчичнаго зерна, что бы ни говорилъ г. Спасовичъ, вырастетъ не дубъ, а горчица. Винить весь этотъ людъ, претендовать на него, негодовать можно развѣ только по свойственной человѣческой природѣ склонности къ идолопоклонству, и, слѣдовательно, иконоборчеству. Такъ ужъ устроенъ человѣкъ, что ему необходимо сорвать недоброе чувство на комъ-нибудь, на личности, хоть дѣло совсѣмъ не въ ней, а въ тѣхъ общихъ условіяхъ, которыя ее выдвинули. Да не подумаетъ однако читатель, чтобы я повелъ рѣчь объ этихъ общихъ условіяхъ. Я только къ тому, что какъ въ самомъ дѣлѣ странно сложились обстоятельства, странно и совершенно неожиданно! Представимъ себѣ, что года два тому назадъ нашелся бы такой мудрецъ, который предвидѣлъ бы все это разрастаніе маленькаго и въ началѣ почти безнадежнаго герцеговинскаго возстанія. Очень трудно, конечно, вообще допустить возможность такого мудреца, но нѣкоторыхъ подробностей, и немаловажныхъ, онъ, будь онъ хоть семи пядей во лбу, ни за что не предсказалъ бы, даже если бы ему въ общихъ чертахъ извѣстно было, что, вотъ молъ, вступятся въ дѣло Сербія и Черногорія, пойдетъ рѣзня въ Болгаріи, потекутъ такіе ли, сякіе ли добровольцы изъ Россіи, переполнятся газеты славянолюбивыми статьями и проч. Можно, напримѣръ, голову прозакладывать, что мудрецъ предсказалъ бы при этихъ общихъ условіяхъ необыкновенное развитіе и процвѣтаніе славянофильской литературы. Казалось бы, что мы переживаемъ (вѣрнѣе, пережили) минуту необыкновенно для этого удобную. Славянофилы представляли собою уединенную, но сплоченную, твердую единствомъ и силою убѣжденія кучку людей, даже въ такія времена, когда на нихъ косо смотрѣли и сверху, и снизу, и съ правой, и лѣвой стороны. Теперь—не то. Теперь-то бы имъ и развернуться, потому что и общественныя симпатіи, и высшая политика сложились точно по ихъ заказу. Почему же мы не видимъ славянофильскихъ газетъ, славянофильскихъ книгъ, брошюръ, которыя бы освѣщали съ своей точки зрѣнія событія? Я говорю, конечно, о настоящихъ славянофилахъ, о регулярной арміи славянофильства, а не о его добровольцахъ, которыхъ, можетъ быть, даже черезчуръ много, или, по крайней мѣрѣ, черезчуръ они лѣзутъ въ глаза. Правда, г. Владиміръ Ламанскій недавно началъ печатать въ «Новомъ Времени» рядъ статей; но пока онѣ представляютъ не болѣе какъ «взглядъ и нѣчто», да и то газета, пріютившая ихъ, сочла нужнымъ замѣтить, что, конечно, съ авторомъ можно не соглашаться, но должно признаться, что онъ—славистъ. Это впрочемъ мы и безъ примѣчаній знали. Правда гг. Градовскій, Мещерскій, Миллеръ, болѣе или менѣе прикосновенные къ славянофильству, довольно дѣятельны и даже ведутъ изъ глубины русскихъ газетъ переписку съ высокопоставленными англійскими политическими

дѣятелями. Но, во-первыхъ, это—далеко не чистые и не первостепенные представители доктрины; во-вторыхъ, они все-таки не представили чего-нибудь вѣскаго и цѣльнаго; въ-третьихъ, наконецъ, они оказались несравненно менѣе ярки, чѣмъ, напримѣръ, г. Суворинъ. И это достойно вниманія. Г. Суворинъ есть homo novus въ дѣлѣ сочувствія славянамъ, горячій, но неопытный доброволецъ. Онъ, нынѣ такъ настойчиво утверждающій, что славянскій вопросъ есть нашъ внутренній вопросъ, держался еще очень недавно совершенно противоположнаго мнѣнія, которое и высказывалъ, если не съ такимъ благоговѣйно-торжественнымъ энтузіазмомъ, какимъ горитъ нынѣ, зато съ болѣе свойственною ему остроумною игривостью. Весьма возможно, что онъ завтра же оттреплетъ, «славянскую идею» за волосы и даже не просто оттреплетъ, а съ игривыми прибаутками въ такомъ, напримѣръ, родѣ: «трепать-то я тебя треплю, а собственно и трепать не за что, потому что ты безволосая chauve, откуда и шовинизмъ и т. п.» Онъ ужъ знаетъ, какъ это устроить, и не мнѣ его учить. Это очень вѣроятно, потому что я помню въ дѣятельности г. Суворина радикальнѣйшія революціи на маломъ пространствѣ отъ одного воскреснаго фельетона до другого. Отнюдь не для какихъ-нибудь инкриминацій вспоминаю я эти революціи—былъ молодцу не укоръ—я только отмѣчаю фактъ, право поразительный: славянскій вопросъ достигаетъ страшнаго напряженія, и въ это время славянофилы молчатъ, а г. Суворинъ и другіе, которые, какъ выразился о себѣ въ славянскомъ комитетѣ г. де-Воланъ, «имѣли великое счастіе увѣровать въ идею славянства» вчера или третьяго дня, исправляютъ должность славянофиловъ. А, Боже мой! кто ея нынѣ не исправляетъ! Даже г. Скальковскій, и тотъ горитъ славянскимъ пламенемъ столь же ярко, какъ еще недавно горѣлъ пламенемъ, смѣю сказать, безстыжимъ въ трактатахъ объ икрахъ балетныхъ танцовщицъ. А настоящихъ славянофиловъ—тѣхъ, такъ сказать, въ молитвахъ поминаютъ. Почтенные, молъ, были люди, и честь имъ, и хвала. Какъ *были*? Да развѣ они всѣ перемерли и прямыхъ наслѣдниковъ не оставили? Нѣтъ, они существуютъ, но молчатъ, а наслѣдниковъ, должно быть, и вправду не оставили. Что бы ни говорили о возрожденіи «славянской идеи», давно уже, дескать, предуказанной и разъясненной славянофилами, но ихъ теперешнее отсутствіе хотя бы на полѣ литературной битвы показываетъ, что они сданы въ архивъ. Не торжество, а паденіе славянофильства знаменуетъ этотъ размѣнъ на мелкую, да еще фальшивую монету. Налицо всѣ шансы для того, чтобы славянофилы отпраздновали свои именины (именно свои, а не сердца), а имъ поютъ не за здравіе, а за упокой, съ почтеніемъ, съ неожиданнымъ энтузіазмомъ, если хотите, но все-таки за упокой.

Прямо скажу—я не жалѣю объ этой смерти. Но все-таки прискорбно, что мы не имѣемъ возможности именно теперь, въ минуту настоящаго дѣла, а не отвлеченныхъ разсужденій и парадныхъ обѣдовъ съ тостами за процвѣтаніе славянъ, выслушать мнѣнія славянофиловъ. Homo novus славянофильства можетъ быть очень занимателенъ; люди, «имѣвшіе великое счастіе увѣровать въ идею славянства» безъ году недѣлю тому назадъ, могутъ обладать чрезвычайно почтенными качествами. И да будутъ они за это дѣйствительно счастливы, и да получатъ на придачу таковскій крестъ или кучу подписчиковъ. Но несравненно поучительнѣе было бы выслушать мнѣнія людей, которые созданы не настоящей только минутой, которые давно уже, при болѣе спокойныхъ обстоятельствахъ выработали извѣстную точку зрѣнія и которыхъ, слѣдовательно, текущія событія не могли бы застать врасплохъ. А между тѣмъ ихъ-то и не слыхать.

Это ставитъ нашего брата, профана, въ очень затруднительное положеніе. Взять хоть бы поставленный у меня въ заголовкѣ вопросъ. Одни говорятъ, что славянскій вопросъ есть нашъ внутренній вопросъ, другіе, что онъ—внѣшній. Послѣднихъ понять не трудно. Взглянувъ на географическую карту или даже не взглянувъ на нее—ибо они ее и безъ того хорошо знаютъ—они указываютъ на границу Россійской Имперіи. Это рѣшеніе очень простое и понятное, до такой степени простое и понятное, что, будь оно въ придачу къ этимъ качествамъ еще вѣрно, справедливо, то противоположное мнѣніе не могло бы существовать ни единой минуты. Однако оно существуетъ и держится, не смотря даже на отсутствіе вполнѣ солидныхъ, спеціальныхъ защитниковъ. Естественно поэтому въ профанѣ желаніе ознакомиться съ аргументаціей болѣе сильной, основательной, охватывающей предметъ во всей его обширности. Обыкновенный нашъ рессурсъ—иностранная литература—въ этомъ случаѣ понятно помочь не въ силахъ, и единственнымъ источникомъ для ознакомленія съ доводами въ пользу «внутренности» славянскаго вопроса остается старая славянофильская литература.

По многимъ однако причинамъ я выбираю для собесѣдованія съ читателемъ соображеніе далеко не старое, хотя и не имѣющее въ виду текущихъ событій, именно—

«Россію и Европу» г. Данилевскаго. Не даромъ объ этой пятигодовалой книгѣ не давно вновь появились объявленія въ газетахъ. Не даромъ въ Харьковѣ профессоръ Потебня читалъ объ ней публичныя лекціи. Не даромъ нѣкоторыя газеты ссылались на нее, какъ на сочиненіе, содержащее въ себѣ разрѣшеніе славянскаго вопроса. Мудрено дѣйствительно найти книгу, которая представляла бы болѣе полный и обстоятельный итогъ извѣстнаго оттѣнка мнѣній, какихъ?—это ясно видно изъ слѣдующаго положенія автора: «Для всякаго славянина: русскаго, чеха, серба, хорвата, словенца, словака, болгара (желалъ бы прибавить и поляка), послѣ Бога и Его святой церкви, идея славянства должна быть высшей идеей, выше свободы, выше науки, выше просвѣщенія, выше всякаго земного блага, ибо ни одно изъ нихъ для него недостижимо безъ ея осуществленія—безъ духовно, народно и политически самобытнаго славянства; а напротивъ того, всѣ эти блага будутъ необходимыми послѣдствіями этой независимости и самобытности» (132). Читатель сразу видитъ, что мы имѣемъ дѣло съ человѣкомъ, рѣшительно признающимъ славянскій вопросъ нашимъ внутреннимъ вопросомъ. Если прибавить, что это—человѣкъ очень умный, ученый, разносторонній, что, благодаря размѣрамъ книги, спеціально посвященной занимающему насъ предмету (почти 35 печатныхъ листовъ), онъ могъ исчерпать его до дна—то станетъ понятнымъ, почему я обращаюсь за разрѣшеніемъ своихъ сомнѣній къ г. Данилевскому, а не къ текущей газетной печати. Самыя уклоненія г. Данилевскаго отъ чистаго славянофильства дѣлаютъ его книгу особенно для насъ въ этомъ случаѣ пригодною: г. Данилевскій не питаетъ ненависти къ Петру и не путается въ гегеліанской діалектикѣ.

Въ трудѣ г. Данилевскаго есть немало страницъ, на которыхъ говорится о преимуществѣ православія передъ католичествомъ и протестантствомъ и о другихъ чисто богословскихъ вопросахъ. Ихъ я касаться не буду, потому что, въ концѣ концовъ, въ области богословія нѣтъ мѣста ни сомнѣніямъ, ни доказательствамъ. Г. Данилевскій самъ, конечно, это понимаетъ и даже оговариваетъ. Тѣмъ не менѣе онъ и въ этой области не ограничивается свойственнымъ предмету чисто догматическимъ изложеніемъ: онъ и здѣсь тщательно и пространно аргументируетъ, доказываетъ, изслѣдуетъ, испытуетъ, по скольку, разумѣется, это возможно для вполнѣ вѣрующаго православнаго. Г. Данилевскій, независимо отъ своихъ убѣжденій, есть по складу своего ума писатель чисто свѣтскій, стремящійся произвести на читателя логическое давленіе. Даже вѣрованія, которыя, по самой сущности своей, стоятъ не выше или ниже логики, а просто внѣ ея, онъ стремится подкрѣпить доказательствами. Тѣмъ съ большимъ интересомъ слѣдуетъ въ виду этого его качества отнестись къ свѣтской части его труда, которая притомъ несравненно обширнѣе. И дѣйствительно, на первый взглядъ г. Данилевскій поражаетъ, даже утомляетъ своей доказательностью. Каждое свое даже второстепенное положеніе онъ обставляетъ массой аргументовъ, почерпаемыхъ имъ, благодаря обширной и разносторонней эрудиціи, изъ весьма различныхъ сферъ знанія. Въ этомъ отношеніи его манера аргументаціи сильно напоминаетъ Спенсера. Сходство увеличивается еще рѣдкимъ спокойствіемъ изложенія, а также тѣмъ обстоятельствомъ, что центръ тяжести аргументаціи падаетъ на сравненія, метафоры, аналогіи. Въ этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ заключается и сильная, и слабая сторона г. Данилевскаго. Я не сомнѣваюсь, что на многихъ доводы г. Данилевскаго должны дѣйствовать съ извѣстною обаятельностью, даже въ тѣхъ сравнительно многочисленныхъ случаяхъ, когда онъ рѣшительно неправъ или, по крайней мѣрѣ, рѣшительно односторонен. Такова счастливая судьба всѣхъ писателей, широко пользующихся метафорами, сравненіями и аналогіями, которыя, будучи, собственно говоря, вовсе не доказательствами, не имѣя ровно никакой доказательной силы, дѣйствуютъ только успокоительнымъ, усыпляющимъ образомъ на критическую пытливость читателя. Требуется доказать извѣстное положеніе. Одинъ писатель приступаетъ къ задачѣ прямо, заставляя умъ читателя пройти возможно короткій логическій путь; благодаря этой краткости пути, ошибки писателя, въ чемъ бы онѣ ни состояли, легко могутъ обнаружиться даже для неопытнаго читателя. Другой избираетъ путь окольный и уподобляется Баяну, который «аще кому хотяше пѣснь творити, растекашется мыслію по древу, сѣрымъ волкомъ по земли, сизымъ орломъ подъ облаки». Г. Данилевскій почти буквально слѣдуетъ примѣру вѣщаго Баяна. Намѣтивъ извѣстное положеніе, какъ требующее доказательствъ, онъ ищетъ въ разныхъ отрасляхъ знанія случаевъ аналогическихъ, болѣе или менѣе подходящихъ, хотя бы самымъ внѣшнимъ, поверхностнымъ образомъ; для этого онъ растекается мыслію по древу (отправляется въ ботанику), рыщетъ сѣрымъ волкомъ по земли (по геологіи и по исторіи), летаетъ сизымъ орломъ не только подъ, но и надъ облаками (въ области астрономіи) и груп-

пируетъ такимъ путемъ массу образовъ, болѣе или менѣе знакомыхъ читателю и потому мало способныхъ расшевелить его критическую мысль. Немудрено, что при такихъ условіяхъ слабость дѣйствительнаго, настоящаго доказательства не замѣчается читателемъ: водимый авторомъ по разнымъ знакомымъ явленіямъ, онъ такъ привыкаетъ соглашаться съ нимъ, поддакивать ему, что невольно уступаетъ ему и въ той собственно существеннѣйшей части аргументаціи, гдѣ уступать вовсе бы не слѣдовало. Это нисколько не противорѣчитъ тому, что выше было замѣчено о склонности г. Данилевскаго обставлять свои положенія обильными доказательствами. Я говорю только о формѣ аргументаціи—формѣ, имѣющей свои достоинства и недостатки, но прежде всего легковѣсной, не смотря на всю тяжелую артиллерію разносторонней эрудиціи автора. Не хочу я также сказать, чтобы г. Данилевскій аргументировалъ исключительно этимъ способомъ. Нѣтъ, онъ употребляетъ различные пріемы доказательствъ, изъ которыхъ многіе и остроумны, и вѣрны. Но вся совокупность ихъ ведетъ все къ тому же легковѣсному и совершенно незаконному порабощенію читателя, побуждаетъ его соглашаться съ авторомъ, не доказывая или плохо доказывая. Дѣло въ томъ, что г. Данилевскій иногда чрезвычайно пространно, съ большимъ остроуміемъ и съ большою эрудиціей доказываетъ такія положенія, которыя вовсе не требуютъ доказательствъ, не потому, чтобы они были безспорны; нѣтъ, они просто излишни для цѣлей самого автора. Эта роскошь доказательности, доходящая даже до послѣднихъ предѣловъ расточительности, естественно подкупаетъ читателя, и онъ пропускаетъ безъ вниманія отсутствіе доказательности тамъ, гдѣ она была бы необходима.

Я приведу примѣры. Г. Данилевскій считаетъ нужнымъ опровергнуть Ретціусово дѣленіе человѣческихъ племенъ на длинноголовыхъ и короткоголовыхъ или собственно не столько самое дѣленіе, сколько тотъ выводъ изъ него, будто славяне принадлежатъ къ племенамъ низшимъ. Кромѣ отношенія продольнаго діаметра головы (отъ лба къ затылку) къ діаметру поперечному, Ретціусъ принимаетъ въ основу своего дѣленія еще другой признакъ, заключающійся въ направленіи переднихъ частей челюстей (зубныхъ отростковъ) и переднихъ зубовъ. Зубные отростки челюстей и зубы могутъ лежать въ вертикальной плоскости, что составляетъ прямочелюстность (orthognathismus), или они могутъ имѣть косое, выдавшееся впередъ направленіе — косочелюстность (prognathismus). На основаніи этихъ двухъ признаковъ человѣческія племена могутъ быть раздѣлены на четыре отдѣла: длинноголовые прямочелюстные, длинноголовые косочелюстные, короткоголовые прямочелюстные и короткоголовые косочелюстные. Славяне, вмѣстѣ съ литовцами, тюркскими племенами, лапландцами, басками, ретійцами, албанцами и древними этрусками, входятъ въ составъ группы короткоголовыхъ прямочелюстныхъ, между тѣмъ какъ всѣ донынѣ достигшія высокой культуры племена принадлежатъ къ длинноголовымъ. Г. Данилевскій очень основательно замѣчаетъ, что дѣленіе это чисто искусственное. «Здѣсь, говоритъ онъ, выставляется одно насквозь проницающее начало, которое, какъ это обыкновенно бываетъ, соединяетъ разнородное и раздѣляетъ сродное въ другихъ отношеніяхъ (замѣтьте эти прекрасныя слова, читатель). Дѣленіе это не можетъ быть согласовано съ дѣленіемъ по цвѣту кожи, по свойствамъ волосъ, по личному углу и, наконецъ, съ дѣленіемъ лингвистическимъ. Дѣйствительно лингвистически (да и не только лингвистически) славяне—арійцы, между тѣмъ какъ схема Ретціуса отдѣляетъ ихъ отъ большинства остальныхъ арійцевъ. Изъ этого слѣдуетъ, что взаимное отношеніе продольнаго и поперечнаго діаметровъ головы, хотя и можетъ войти въ число признаковъ, характеризующихъ антропологическія группы, но преобладающаго значенія ему давать нельзя». Кажется—чего лучше? Но г. Данилевскому этого мало. Онъ не только, не жалѣя времени и бумаги, перечисляетъ всѣ племена всѣхъ четырехъ группъ Ретціуса, не только замѣчаетъ при этомъ (совершенно неизвѣстно для чего), что Латамъ называетъ восточныя американскія племена американскими семитами, а перуанцевъ—американскими монголами. Всего этого ему мало. Онъ дѣлаетъ salto mortale, великодушно соглашается признать отвергнутые имъ самимъ признаки за существенные и при помощи разныхъ манипуляцій (преимущественно надъ признакомъ направленія зубовъ) доказываетъ, что и съ этой *ложной*, *односторонней* точки зрѣнія можно вывести преимущество славянъ надъ другими племенами. Устраивается этотъ выводъ очень остроумно; но вѣдь онъ вовсе ненуженъ, потому что отвергнуто самое основаніе его. А между тѣмъ въ умѣ читателя безсознательно «до востребованія» залегаетъ слѣдующее: автору довѣриться можно, потому что онъ—человѣкъ ученый; автору довѣриться можно, потому что онъ столь добросовѣстенъ, что готовъ стать на точку зрѣнія своего противника; автору довѣриться можно, потому что онъ пространно доказываетъ то, что даже вовсе не нужно доказывать. Словомъ—довѣріе, довѣріе и довѣріе; но только довѣріе, а не доказательство чего-либо, дѣйствительно требующаго доказательства.

Иногда г. Данилевскій какъ бы разсказываетъ повѣсть о капитанѣ Копѣйкинѣ, которая, какъ извѣстно, живо заинтересовала и даже почти убѣдила слушателей, но имѣла тотъ недостатокъ, что была совершенно неумѣстна, потому что разсказчикъ забылъ одну маленькую, но существенную подробность: безножіе капитана Копѣйкина. Г. Данилевскій вѣритъ, что все происходящее на землѣ и въ частности въ исторіи человѣчества имѣетъ извѣстную, свыше указанную цѣль. Но вотъ онъ встрѣчается съ магометанствомъ и, подобно доктору Панглоссу, спрашиваетъ: какой предопредѣленной цѣли удовлетворило это явленіе? Оно кажется ему явленіемъ загадочнымъ, исторической аномаліей. Магометанство «явилось нѣсколько вѣковъ спустя послѣ того, какъ абсолютная и вселенская религіозная истина была уже открыта». Значитъ, смысла религіознаго прогресса оно имѣть не можетъ. «Нѣкоторые утверждаютъ», что магометанство, будучи далеко ниже христіанства, болѣе приспособлено къ пылкимъ страстямъ народовъ востока. Другіе полагаютъ, что магометанство, болѣе легкое для исполненія и болѣе простое для пониманія, должно служить подготовительною ступенью къ христіанству. Г. Данилевскій старательно и пространно опровергаетъ оба эти мнѣнія. Точно также отказывается онъ оправдать появленіе магометанства какими-нибудь заслугами его передъ другими сторонами цивилизаціи, и отказывается не голословно, а опираясь на фактическія данныя. Правда, можно бы было нѣсколько иначе, чѣмъ онъ, отнестись къ роли арабовъ въ исторіи европейской науки. Можно было бы именно въ ней усмотрѣть искомую авторомъ предопредѣленную цѣль. Но онъ идетъ мимо и тѣмъ еще болѣе убѣждаетъ читателя, что предъ нимъ писатель, которому довѣриться можно, ибо онъ мужественно и добросовѣстно отказывается отъ легкой добычи, могущей подтвердить его философскіе взгляды. Иной читатель можетъ до такой степени увлечься тщательностью этихъ поисковъ, что и не замѣтитъ малоцѣнности искомаго, не потребуетъ даже доказательствъ основанія поисковъ—внутренней цѣлесообразности историческихъ явленій. Позволю себѣ и я аналогію. Представьте себѣ, что вы входите къ пріятелю и застаете его, краснаго и мокраго отъ работы, передвигающимъ мебель, шарящимъ по полу, по угламъ, залѣзающимъ подъ столы и шкафы. Оказывается, что пріятель вашъ, на основаніи нѣкоторыхъ философскихъ соображеній, увѣренъ, что во всякой квартирѣ долженъ находиться грошъ, мѣдная монета въ полкопѣйки, которую и ищетъ. Пріятель исполняетъ заданную имъ себѣ задачу съ такимъ стараніемъ, такъ озабоченно и трудолюбиво, что и вы невольно начинаете вмѣстѣ съ нимъ залѣзать подъ столы и шарить по угламъ. Его поиски дѣйствуютъ на васъ такъ заразительно, что вы забываете задать ему два существенно важные вопроса: во-первыхъ—на сколько серьезны основанія его убѣжденія, что въ каждой квартирѣ долженъ находиться грошъ? во-вторыхъ—нуженъ ли этотъ грошъ, и стоитъ ли изъ-за него терять такъ много времени и употреблять столько усилій? Но вотъ грошъ найденъ—и найденъ, надо замѣтить, просто въ карманѣ пріятеля, который только потому и убѣжденъ въ необходимости присутствія гроша, что предварительно нащупалъ его у себя въ карманѣ. Вы готовы однако встрѣтить этотъ грошъ съ нѣкоторою даже радостью, съ распростертыми объятіями, потому что вы во всякомъ случаѣ участвовали въ поискахъ, вытирали колѣнями пыль подъ столомъ и т. п. Найдена г. Данилевскимъ и предопредѣленная цѣль магометанства, какъ историческаго явленія, и найдена тоже въ карманѣ: цѣль эта, чисто служебная, а не самостоятельная, состоитъ, или вѣрнѣе, состояла въ безсознательномъ огражденіи православія и славянства отъ напора латинства и «романо-германскаго» начала. Понимать это слѣдуетъ такъ, что Европа своими культурными и религіозными элементами ассимилировала бы славянство, еслибы на него не положена была тяжкая, леденящая, но, въ концѣ концовъ, безсильная рука мусульманства. Съ этою то цѣлью—огражденія славянства и православія—было выкинуто изъ нѣдръ исторіи магометанство! Конечно, тутъ есть кое-какіе изъяны, вродѣ потурченныхъ славянъ, обращенныхъ въ магометанство народовъ Кавказа, распространенія мусульманства въ Индіи, Африкѣ и Испаніи, гдѣ, какъ извѣстно, славянъ не отъ чего было ограждать, потому что ихъ и самихъ тамъ не было. Конечно, европейскій историкъ, имѣющій свой собственный предопредѣленный грошъ въ карманѣ, можетъ сказать, что, напротивъ, вся предопредѣленная роль славянъ состояла въ огражденіи романо-германской цивилизаціи отъ напора мусульманъ. Но ничего этого г. Данилевскій естественно знать не хочетъ. Онъ рисуетъ читателю гипотетическую картину распространенія европейской цивилизаціи въ глубь востока во время крестовыхъ походовъ. Представьте себѣ—говоритъ онъ—что крестоносцы присоединили Іерусалимъ къ духовнымъ владѣніямъ папъ, что Византія растаяла среди вновь образованныхъ феодальныхъ государствъ: православіе и сла-

вянство исчезли бы съ лица земли. Г. Данилевскій доказываетъ это съ большимъ увлеченіемъ и очень резонно. Но тутъ-то и наступаетъ фатальный моментъ повѣсти о капитанѣ Копѣйкинѣ. Конечно, погибель православія и славянской національности была бы очень вѣроятна въ случаѣ замѣны Турціи европейскими феодально-католическими организаціями. Но вѣдь крестоносцы двинулись на востокъ только потому, что святыя мѣста были въ рукахъ невѣрныхъ мусульманъ. Не будь послѣднихъ не было бы и крестовыхъ походовъ, а, слѣдовательно, и подавно той картины погибели славянства и православія, которую только что нарисовалъ г. Данилевскій. Значитъ, овладѣвъ Іерусалимомъ, магометане не только не охранили славянства и православія отъ напора латинства и романо-германскаго начала, а, напротивъ, привлекли ихъ въ лицѣ массы крестоносцевъ. Надо отдать справедливость г. Данилевскому, онъ самъ вспоминаетъ о деревянныхъ ногахъ капитана Копѣйкина. Зачѣмъ же было огородъ городить, да еще такой большой? Не затѣмъ же, чтобы начать сказку сначала и замѣтить: «но еслибы этого (Іерусалима въ рукахъ магометанъ) и не было, развѣ можно сомнѣваться, что завоевательный духъ католицизма не оставилъ бы дряхлѣющей Византіи въ покоѣ?»

Привыкнувъ къ такой роскоши аргументаціи, доходящей до опроверженія того, что вовсе опровергать не нужно, и до доказательствъ того, что доказывать въ такой же мѣрѣ ненужно (въ виду собственныхъ цѣлей автора), читатель можетъ пропустить примѣры поразительной бездоказательности. Непосредственно вслѣдъ за вышеприведенной операціей надъ Ретціусовымъ дѣленіемъ человѣческихъ племенъ г. Данилевскій приступаетъ къ опредѣленію «различій въ психическомъ строѣ» Европы и Россіи. Приступаетъ онъ къ этому важному дѣлу повидимому съ чрезвычайною осторожностью. Онъ говоритъ:

«Вѣрно, опредѣлительно схватить и ясно выразить различіе въ психическомъ строѣ разныхъ народностей—весьма трудно. Различія этого рода, какъ между отдѣльными лицами, такъ и между цѣлыми народами имѣютъ только количественный, а не качественный характеръ. Едва ли возможно найти какую-нибудь черту народнаго характера, которой бы совершенно недоставало другому народу; разница только въ томъ, что въ одномъ народѣ она встрѣчается чаще, въ другомъ рѣже, въ большинствѣ лицъ одного племени она выражается рѣзко, въ большинствѣ лицъ другого племени слабо; но эти степени, эта частость или рѣдкость числами невыразимы. Такой статистики еще не существуетъ. Потому всякое описаніе народнаго характера будетъ походить на тотъ, ничего неговорящій наборъ эпитетовъ, которымъ въ плохихъ учебникахъ исторіи характеризуютъ историческихъ дѣятелей; потому и выходятъ эти описанія народнаго характера иногда столь различными у разныхъ путешественниковъ, не рѣдкоодинаково добросовѣстныхъ и наблюдательныхъ. Одному случалось встрѣтить одни свойства, другому другія; но въ какой пропорціи встрѣчаются они вообще у цѣлаго народа, это по необходимости осталось для обоихъ неизвѣстнымъ, неопредѣленнымъ. Для отысканія такихъ свойствъ, которыя можно было бы считать по истинѣ чертами національнаго характера и притомъ существенно важными, надо избрать иной путь, нежели простая описательная передача частныхъ наблюденій. Ежели бы намъ удалось найти такія черты національнаго характера, которыя высказывались бы во всей исторической дѣятельности, во всей исторической жизни сравниваемыхъ народовъ, то задача была бы рѣшена удовлетворительно; ибо, если какая-либо черта народнаго характера проявляется во всей исторіи народа, то необходимо заключить, во-первыхъ, что она есть черта общая всему народу и только по исключенію можетъ не принадлежать тому или другому лицу; во вторыхъ, что это—черта постоянная, независящая отъ случайныхъ и временныхъ обстоятельствъ того или другого положенія, въ которомъ народъ находится, той или другой степени развитія, черезъ которыя онъ проходитъ; наконецъ въ-третьихъ, что это—черта существенно важная, если могла запечатлѣть собой весь характеръ его исторической дѣятельности. Такую черту вправѣ мы, слѣдовательно, принять за нравственный этнографическій признакъ народа, служащій выраженіемъ существенной особенности всего его психическаго строя. *Одна изъ такихъ чертъ, общихъ всѣмъ народамъ романо-германскаго типа есть—насильственность (Gewaltsamkeit)*» (187).

Я нарочно довелъ прелюдію г. Данилевскаго до подчеркнутыхъ мною строкъ, не отдѣленныхъ отъ необычайно осторожнаго вступленія даже абзацомъ. Авторъ не оставляетъ впрочемъ своей мысли безъ доказательствъ. Онъ посвящаетъ цѣлыя 4 (!) страницы на изложеніе *всей* европейской исторіи, въ результатѣ чего получается, разумѣется, сплошная насильственность. Столько же мѣста удѣляетъ авторъ обзору всей русской исторіи, который приводитъ его къ заключенію объ отсутствіи въ ней насильственности. Въ добрый часъ. Но, приглядываясь, вы видите, что въ очеркѣ европейской исторіи упомянута, напримѣръ, торговля неграми, а въ очеркѣ русской исторіи не упомянутъ тотъ фактъ, что русскіе купцы издревле торговали въ Греціи невольниками, не говоря уже о торговлѣ крѣпостными оптомъ и въ розницу. Тамъ перечислены и ліонскія разстрѣливанія, и нантскія потопленія, а здѣсь ни единымъ словомъ не тревожится память пугачевщины, Стеньки Разина, гайдамачины. Я не буду впрочемъ разсматривать, что именно пропущено авторомъ въ обоихъ очеркахъ исторіи. Читатель самъ понимаетъ, что пропущено, должно быть, очень многое. И нельзя не пожалѣть, что г. Данилевскій, тратя такъ много времени

и силъ на ненужныя операціи надъ Ретціусомъ и магометанствомъ, такъ скуденъ въ доказательствахъ по вопросамъ, несравненно болѣе важнымъ.

Таковъ, къ сожалѣнію, общій характеръ книги г. Данилевскаго. Я счелъ нужнымъ обратить на это вниманіе читателя, дабы онъ не смущался кажущеюся доказательностью этого сочиненія и съ должнымъ уваженіемъ къ учености автора, но безъ страха приступилъ вмѣстѣ со мною къ провѣркѣ мнѣній г. Данилевскаго о томъ, что славянскій вопросъ есть нашъ внутренній вопросъ. Здѣсь на первомъ планѣ стоитъ ученіе о «культурно-историческихъ типахъ», довольно близкое къ тому, что недавно говорила «Недѣля, но, не смотря на всѣ недостатки автора, несравненно лучше отдѣланное.

Г. Данилевскій — естествоиспытатель, а естествоиспытатель, трактующій о предметахъ наукъ общественныхъ, представляетъ всегда особенный интересъ для профана. И хотя до сихъ поръ огромное большинство экскурсій естествоиспытателей въ область соціологіи возбуждало во мнѣ разочарованіе, но я не могу отдѣлаться отъ мысли, что имъ предстоитъ въ этомъ дѣлѣ важная роль. На это существуютъ резоны, слишкомъ глубокіе, чтобы затрогивать ихъ мимоходомъ, и слишкомъ далекіе отъ занимающаго насъ предмета, чтобы излагать ихъ подробно. Во всякомъ случаѣ г. Данилевскій доставилъ мнѣ не одно только разочарованіе.

Исторія копитъ массу во всѣхъ отношеніяхъ чрезвычайно разнообразныхъ фактовъ. Историки располагаютъ ихъ въ извѣстномъ порядкѣ, группируютъ, классифицируютъ. Самая общая группировка состоитъ въ раздѣленіи исторіи на древнюю, среднюю и новую. Спрашивается: удовлетворяетъ ли эта схема требованіямъ логики? Г. Данилевскій полагаетъ, что требованія логики состоятъ въ настоящемъ случаѣ въ слѣдующемъ: 1) принципъ дѣленія долженъ обнимать собою всю сферу дѣлимаго, входя въ нее, какъ наисущественнѣйшій признакъ; 2) всѣ предметы или явленія одной группы должны имѣть между собою большую степень сходства или сродства, чѣмъ съ явленіями или съ предметами, отнесенными къ другой группѣ; 3) группы должны быть однородны, то-есть степень сродства, соединяющая ихъ членовъ, должна быть одинакова въ одноименныхъ группахъ. Не трудно видѣть, что требованіямъ этимъ отнюдь не удовлетворяетъ дѣленіе исторіи на древнюю, среднюю и новую, которое впрочемъ едва ли кѣмъ-нибудь и отстаивается. Обращаясь къ наукамъ естественнымъ, классификація объектовъ которыхъ разработана несравненно лучше, г. Данилевскій замѣчаетъ, что органическія формы классифицируются на основаніи двухъ принциповъ: типа и степени развитія. Напримѣръ, въ кольчатыхъ червяхъ, ракахъ, паукахъ, тысяченожкахъ и насѣкомыхъ мы имѣемъ различныя степени одного и того же типа членистыхъ. Безъ подобнаго же принципа классификаціи историческихъ явленій, полагаетъ г. Данилевскій, мы никогда не поймемъ исторіи. Школьная исторія соединяетъ въ одну группу такія явленія, какъ, напримѣръ, Индія, Египетъ и Римъ вплоть до паденія Западной Римской Имперіи, между тѣмъ какъ событіе это не имѣло никакого значенія для Индіи и сравнительно малое для Египта, а Рудольфъ Габсбургскій и императоръ Максимиліанъ, султанъ Баязетъ и султанъ Солиманъ разнесены въ разныя группы. Государства и народы, занесенные въ древнюю исторію, имѣли каждый свою собственную исторію, проходили различныя степени развитія и нѣкоторые совершили весь кругъ своей жизни задолго до паденія Западной Римской Имперіи, а нѣкоторые живутъ и поднесь. Необходимо, слѣдовательно, различать «культурно-историческіе» типы и тѣ степени, которыя они проходятъ и способны проходить, не преобразуясь въ другой типъ.

Не могу достаточно рекомендовать читателю глубокую важность этого ученія. Не слѣдуетъ однако думать, что, усвоивъ его, проникнувшись имъ, вы сразу получите возможность вполнѣ оріентироваться въ пестрой сѣти историческихъ явленій. Именно примѣръ г. Данилевскаго показываетъ, что за такимъ усвоеніемъ должна слѣдовать еще очень важная, хоть и не Богъ вѣсть какая усиленная работа мысли.

Г. Данилевскій при установленіи разницы между типомъ и степенью развитія ссылается на Кювье. Думаю, что въ примѣненіи къ органической жизни ученіе это гораздо лучше развито недавно умершимъ, но незабвеннымъ труженикомъ науки, хотя подъ конецъ жизни и неладившимъ съ ея новымъ теченіемъ—Бэромъ. Но для насъ это здѣсь безразлично. Бэръ, какъ и Кювье, хотя и не столь упорно, видѣлъ въ типахъ органическихъ существъ строго замкнутыя идеальныя единицы, неспособныя переходить одна въ другую и представляющія собою разъ навсегда опредѣленные творческою силою планы, внутри которыхъ только и возможно измѣненіе деталей, подробностей. Той же вѣры держится и г. Данилевскій. Современная наука смотритъ, какъ извѣстно, на дѣло иначе. Все болѣе и болѣе овладѣвающая полемъ науки идея трансформизма (которой Дарвинова теорія есть только частное выраженіе) не признаетъ неподвиж-

ности органическихъ типовъ. Они способны измѣняться, переходить одинъ въ другой. Это нисколько однако не колеблетъ возможности и различенія типовъ и степеней развитія. Типы не неподвижны, но во всякую данную минуту различимы, какъ различимы быстро текущія степени развитія. До извѣстнаго предѣла измѣненія могутъ накопляться въ органическомъ (и въ культурно-историческомъ) типѣ, переводя его только съ одной степени на другую, но можетъ, наконецъ, наступить моментъ, когда преобразуется и самый типъ. Сдѣлавъ эту поправку, которую г. Данилевскій отринетъ, а большинство читателей приметъ и которая пригодится намъ ниже, пойдемте дальше.

Г. Данилевскій по своему обыкновенію непосредственно вслѣдъ за чрезвычайно осторожнымъ вступленіемъ даетъ очень быстрое и неосторожное приложеніе. Тотчасъ же послѣ разсужденій о томъ, какъ бережно нужно обходиться съ классификаціей историческихъ явленій, онъ объявляетъ: «Культурно-историческіе типы или самобытныя цивилизаціи, расположенные въ хронологическомъ порядкѣ суть: 1) египетскій, 2) китайскій, 3) ассирійско-вавилоно-финикійскій, халдейскій или древне-семитическій, 4) индійскій, 5) иранскій, 6) еврейскій, 7) греческій, 8) римскій, 9) ново-семитическій или аравійскій и 10) германо-романскій или европейскій. Къ нимъ можно еще, пожалуй, причислить два американскіе типа: мексиканскій и перувіанскій, погибшіе насильственною смертью и не успѣвшіе совершить своего развитія» (91). Только эти народы, говоритъ г. Данилевскій, играли положительную роль въ исторіи человѣчества. Остальные или являлись только разрушительнымъ, отрицательнымъ элементомъ и, совершивъ свою миссію, исчезали (гунны, монголы), или составляютъ только этнографическій матеріалъ, разнообразящій и обогащающій тотъ или другой культурно-историческій типъ (финскія племена). Сущность историческаго процесса состоитъ въ томъ, что народы, способные сложиться въ культурно-историческій типъ, послѣдовательно выходятъ на арену исторіи, развивая въ возможно высшей степени особенности своей духовной природы, и затѣмъ изнашиваются, уступаютъ мѣсто новому культурно-историческому типу. Каждый культурно-историческій типъ болѣе или менѣе одностороненъ, а потому было бы величайшимъ несчастіемъ для человѣчества, еслибы все оно подпало рѣшительному вліянію какого-нибудь одного типа. «Общечеловѣческая» цивилизація была бы гибелью человѣчества, еслибы была возможна. Но она невозможна. Другое дѣло— цивилизація «всечеловѣческая», представляющая всю совокупность послѣдовательно смѣняющихъ другъ друга культурно-историческихъ типовъ и, слѣдовательно, конкретно несуществующая. Романо-германскій или европейскій культурно-историческій типъ находится нынѣ на перевалѣ отъ высшей кульминаціонной точки своего развитія къ упадку. На смѣну ему идетъ очередной славянскій культурно-историческій типъ.

Вотъ въ самыхъ общихъ чертахъ теорія г. Данилевскаго. Изложеніе ея занимаетъ цѣлую объемистую книгу и сопровождается множествомъ побочныхъ или второстепенныхъ мыслей, которыя мы оставимъ въ сторонѣ. Я хотѣлъ бы обратить вниманіе только на одну частность, до такой степени впрочемъ важную и всю книгу проникающую, что г. Данилевскій, можетъ быть, даже не согласится назвать ее частностью.

Мы видѣли уже образчикъ того, какъ отдѣлываетъ авторъ всю европейскую исторію на четырехъ страницахъ и какъ, на четырехъ же страницахъ, возвеличиваетъ онъ исторію Россіи, не находя въ ней ни сучка, ни задоринки. Это самохвальство которое намъ такъ дорого стоило и несомнѣнно еще будетъ стоить, достигаетъ у г. Данилевскаго просто невѣроятной для солиднаго труда степени. Надо замѣтить, что въ значительной долѣ этого самохвальства онъ чрезвычайно отсталъ. Онъ все еще толкуетъ о презрѣніи къ матеріальнымъ интересамъ, о необычайной кротости и смиреніи, насквозь будто бы проникающихъ русскую исторію. Эта штука стара даже съ точки зрѣнія національнаго хвастовства. Новѣйшіе изслѣдователи русской исторіи, гг. Забѣлинъ, Иловайскій, которыхъ, конечно, никто не упрекнетъ въ недостаткѣ патріотизма или въ «европейскихъ очкахъ» (одно изъ любимыхъ выраженій г. Данилевскаго), не безъ ядовитости и, главное, не безъ патріотизма подтруниваютъ надъ этой чертой старыхъ историковъ. Они находятъ, что похвальба смиреніемъ, кротостью, отсутствіемъ матеріальныхъ интересовъ, будучи въ сущности весьма мало лестна, вмѣстѣ съ тѣмъ несправедлива; что славяне и въ особенности русскіе издревле славились грабежами и насиліями, за что впрочемъ и винить ихъ нельзя, ибо таково было время. А г. Забѣлинъ вспоминаетъ остроумное замѣчаніе Сенковскаго: «Исторія или историческая критика суть, такъ сказать, умственные шахматы, искусная игра въ факты, въ которой проигрывающіе, то-есть читатели, за всякій сдѣланный имъ ловкою діалектикою шахъ и матъ должны платить наличнымъ довѣріемъ». Впрочемъ многія изъ якобы патріотическихъ выходокъ г. Данилевскаго не имѣютъ за собой даже преимуществъ ловкой діалектики. Я приведу одну изъ

нихъ, потому что она находится въ непосредственной связи съ его теоріей культурно-историческихъ типовъ.

Съ обычною своею категоричностью и краткостью въ вопросахъ спорныхъ (при тщательности и пространности въ дѣлахъ, спору по какимъ бы то ни было причинамъ неподлежащихъ) г. Данилевскій объявляетъ: «Общихъ разрядовъ культурной дѣятельности въ обширномъ смыслѣ слова насчитывается (?) ни болѣе, ни менѣе четырехъ — именно: 1) дѣятельность религіозная, 2) дѣятельность культурная въ тѣсномъ значеніи этого слова (научная, художественная, промышленная), 3) дѣятельность политическая, 4) дѣятельность общественно-экономическая». Затѣмъ разными соображеніями доказывается, что въ древнѣйшихъ культурно-историческихъ типахъ эти четыре основанія находились въ хаотическомъ смѣшеніи. Типъ еврейскій развилъ одно изъ нихъ—дѣятельность религіозную; греческій также одно — дѣятельность культурную и именно художественную; римскій также одно—дѣятельность политическую. Эти три культурно-историческіе типа характеризуются поэтому именемъ типовъ *одноосновныхъ*. Германо-романскій типъ — *двуосновной*, именно политико-культурный. Наконецъ, грядущій славянскій культурно-историческій типъ есть *четырехосновной*, ибо, какъ извѣстно, славяне вообще, а мы, русскіе, въ особенности—молодцы на всѣ руки: и по части религіозности, и по части наукъ и искусствъ, и со стороны политическаго смысла, и со стороны общественно-экономической. Мнѣ стыдно выписывать соображенія, на основаніи которыхъ намъ приписывается такое необъятное или всеобъемлющее богатство. Довольно того, что *одна* картина Иванова (только одну ее г. Данилевскій и признаетъ) играетъ при этомъ чрезвычайно важную роль, а преданность австрійскихъ славянъ австрійскимъ государственнымъ интересамъ, противорѣчащая первымъ требованіямъ автора отъ всякаго славянина, *здѣсь* засчитывается въ число признаковъ глубокаго политическаго смысла, присущаго славянамъ. Итакъ, хотя исходная точка г. Данилевскаго состоитъ въ большей или меньшей односторонности каждаго культурно-историческаго типа, но славянскій типъ оказывается все-стороннимъ: общихъ разрядовъ культурной дѣятельности «ни болѣе, ни менѣе, какъ четыре», а славянскій культурно-историческій типъ четырехосновной. На это я могу только сказать: подай, Господи!

Г. Данилевскій рѣшительно отрицаетъ возможность «общей теоріи общества» (167). Тѣмъ не менѣе, когда ему нужно доказать, что реформы нынѣшняго царствованія нисколько не заимствованы съ запада, онъ употребляетъ между прочимъ слѣдующій аргументъ: «Свобода слова не есть право или привилегія политическая, а *право естественное*. Слѣдовательно, въ освобожденіи отъ цензуры, по самой сущности дѣла, не можетъ уже быть никакого заимствованія съ запада, никакого подражанія; ибо иначе и хожденіе на двухъ ногахъ, а не на четверенькахъ, могло бы считаться подражаніемъ кому-нибудь. Сама цензура была результатомъ нашей подражательной жизни—результатомъ, ничѣмъ невызваннымъ: прекращеніе же ея было возстановленіемъ *естественнаго порядка отправленій общественной жизни*» (296). Я не для оцѣнки цензуры въ какомъ бы то ни было смыслѣ привелъ эти слова, а только для указанія признаваемаго самимъ авторомъ «естественнаго порядка отправленій общественной жизни», ученіе о которомъ въ старину называлось естественнымъ правомъ, а нынѣ, пожалуй, могло бы быть названо «общею теоріею общества», не смотря даже на какофонію. Часть этой теоріи мы даже уже нашли въ ученіи о культурно-историческихъ типахъ, часть весьма важную. Обратимся теперь къ ея дальнѣйшему развитію г. Данилевскимъ.

Спрашивается: почему онъ избралъ именно ту схему исторіи, которая приведена выше, т. е. послѣдовательный рядъ десяти культурно-историческихъ типовъ? Почему именно эти типы должны быть нами приняты, а не какіе-нибудь другіе? Если не всякій читатель задастъ автору этотъ вопросъ, такъ только потому, что (авторъ), во-первыхъ, выкладываетъ свою схему съ стремительностью и безапелляціонностью пушечнаго выстрѣла и, во-вторыхъ, противопоставляетъ ее такой дребедени, какъ дѣленіе исторіи на древнюю, среднюю и новую. Схема г. Данилевскаго, конечно, гораздо лучше, но во многихъ отношеніяхъ стоитъ на той же почвѣ. Г. Данилевскій беретъ въ сущности тѣ же элементы, которыми орудуетъ и школьная исторія въ лицѣ разныхъ руководствъ для среднихъ учебныхъ заведеній: тѣ же смѣшанныя, отчасти государственныя, отчасти національныя группы—тотъ же Китай, Вавилонъ, ту же Индію, Грецію, Римъ и проч. Онъ только располагаетъ ихъ иначе. Эта-то общность почвы при несомнѣнныхъ преимуществахъ схемы г. Данилевскаго и создаетъ для читателя такое положеніе, что онъ можетъ пропустить схему безъ критическаго допроса. Но вѣдь серьезно критиковать дѣленіе исторіи на древнюю, среднюю и новую можно только въ планѣ реформы преподаванія исторіи въ гимназіяхъ. Публицисту и соціологу съ ней возиться незачѣмъ. Существуютъ другія попытки группировки исто-

ему не пришлось бы. Еслибы онъ, напримѣръ, обратился къ исторической теоріи Фихте или Гегеля, то встрѣтилъ бы нѣчто близкое къ своему ученію, въ томъ смыслѣ близкое, что оба эти философа тоже признаютъ необходимость послѣдовательной смѣны цивилизацій, представляющихъ извѣстную частную (одностороннюю) идею, осуществляемую въ каждую эпоху народомъ, стоящимъ во главѣ цивилизаціи. Гегель насчитывалъ четыре такія цивилизаціи: древне-восточную, греческую, римскую и германскую, которою, дескать, исторія завершается. Сопоставленіе этой схемы со схемою г. Данилевскаго непремѣнно должно бы было возбудить нѣкоторое сомнѣніе въ читателѣ. Славянинъ Данилевскій заканчиваетъ исторію славянскимъ культурно-историческимъ типомъ, какъ четырехосновнымъ, а нѣмецъ Гегель заканчиваетъ ее германской цивилизаціей, какъ послѣднимъ словомъ саморазвивающагося духа. Поставьте только эти двѣ идеи рядомъ, и всякій, хотя бы смутно, почувствуетъ, что тутъ что-то неладно. Ну, а съ школьнымъ дѣленіемъ исторіи обойтись можно проще. Или, почему г. Данилевскій ничего не сказалъ о законѣ трехъ состояній Конта? Конечно—его добрая воля; но тутъ, повидимому, дѣло было самое подходящее, потому что, хотя Контъ ничего не говоритъ о типахъ и степеняхъ развитія, но, напримѣръ, его теологическій фазисъ можетъ быть признанъ за типъ, проходящій степени фетишизма, многобожія и единобожія. Но въ полемикѣ съ Контомъ г. Данилевскому пришлось бы представить оправданіе національно-государственнаго характера своихъ культурно-историческихъ типовъ, а онъ предпочитаетъ оставить его незащищеннымъ. Это очень удобно достигается полемикой съ гимназическимъ дѣленіемъ исторіи, которое, какъ уже замѣчено, покоится на той же почвѣ замкнутыхъ національно-государственныхъ единицъ. А читатель во всякомъ случаѣ остается въ убыткѣ. Отсутствіе критики въ исходной точкѣ не составляетъ, впрочемъ, какой-нибудь спеціальной особенности сочиненія г. Данилевскаго. Въ моихъ запискахъ мнѣ случалось выражать жалобы

или другого союза, принятаго за центръ тяжести. Въ особенности важно это для книги г. Данилевскаго, собственно говоря, исключительно посвященной доказательствамъ, что славянскій вопросъ есть нашъ внутренній вопросъ, а всѣ европейскіе вопросы—внѣшніе. Г. Данилевскій доказываетъ это очень пространно и, пожалуй, даже убѣдительно, но только для тѣхъ, кто приметъ его исходную точку, выставленную рѣшительно безъ всякаго объясненія. Съ чисто-національной или, вѣрнѣе, съ племенной точки зрѣнія славянскій вопросъ есть для насъ, конечно, вопросъ внутренній. Съ чисто государственной—этого уже отнюдь нельзя сказать съ такою рѣшительностью. Государство есть строго обрамленный фактъ, хотя рамки его могутъ измѣняться, и все, совершающееся по ту сторону этихъ рамокъ, должно быть признано съ чисто государственной точки зрѣнія внѣшнимъ. Но, не смотря на свою кажущуюся ясность, эта точка зрѣнія въ чистомъ видѣ почти неприложима. Трудно внушить какому-нибудь эльзасцу, что вчерашніе внутренніе вопросы стали для него сегодня внѣшними и наоборотъ, хотя по національности онъ и прежде былъ нѣмцемъ, а не французомъ. Но, даже допустивъ, что величаво-строгой наукѣ до желаній и нежеланій эльзасцевъ и лотарингцевъ нѣтъ дѣла, надо во всякомъ случаѣ признать, что нѣмецкія войска, вступивъ во Францію, уже тѣмъ самымъ расширили районъ государственныхъ интересовъ. Для краткости впрочемъ я охотно готовъ допустить, что г. Данилевскій удачно справился съ отношеніемъ національной связи къ связи государственной. Но онъ самъ признаетъ Европу нѣкоторымъ цѣлымъ, недѣлимымъ, и противопоставляетъ ее Россіи, какъ единый романо-германскій культурно-историческій типъ. А между тѣмъ, тамъ живутъ различныя государства и различныя національности—значитъ, дѣйствуетъ какая-то иная связь. До какой путаницы доходитъ вопросъ объ отношеніи различныхъ политическихъ союзовъ, членомъ которыхъ состоитъ современный человѣкъ, видно изъ слѣдующихъ словъ Петерсона, книга кото-

раго «Венгрія и ея жители» недавно вышла по-русски: «Слово *національность* употребляется здѣсь въ томъ смыслѣ, какой ему обыкновенно придается въ восточной Европѣ, а не въ легальномъ значеніи, какъ напримѣръ, во фразѣ: «національность британскаго подданнаго». Идею національности не должно смѣшивать съ понятіями расы и націи. Она не заключаетъ въ себѣ ни понятія объ общности физическихъ свойствъ, подобно первому, ни понятія о верховныхъ политическихъ учрежденіяхъ, подобно второму. Мы говоримъ о еврейской или негритянской расѣ, хотя негритянской націи вовсе нѣтъ, а европейская нація давно уже перестала существовать. Точно также мы говоримъ о швейцарцахъ, какъ о націи, хотя и нѣтъ швейцарской расы. Подъ національностью разумѣютъ извѣстную общность языка и національнаго чувства, ничего не предрѣшая этимъ объ общности происхожденія или о принадлежности ея членовъ къ одному политическому тѣлу. Въ этомъ смыслѣ мы говоримъ о валлійской, бретонской и баскской національностяхъ, хотя нѣтъ ни валлійской, ни бретонской, ни баскской націи. Послѣдняя національность распредѣлена между французской и испанской націей... Что касается Венгріи и венгерцевъ, то читатель долженъ помнить, что существуетъ мадьярская раса, мадьярская или венгерская національность и венгерская нація. Первая обнимаетъ только лицъ чистой мадьярской крови и можетъ имѣть интересъ развѣ для теоретиковъ этнологовъ или антропологовъ. Вторая заключаетъ въ себѣ всѣхъ тѣхъ, кто справедливо или несправедливо считаетъ себя мадьяромъ или желаетъ, чтобы другіе его считали такимъ. Къ венгерской же націи относятся всѣ подданные венгерской короны и граждане венгерскаго государства» (7). Привожу эти слова только съ отрицательною цѣлью, потому что они ровно ничего не уясняютъ, хотя и сказаны почтеннымъ человѣкомъ, написавшимъ очень интересную книгу.

Но еслибы мы даже окончательно уяснили себѣ понятія расы, націи, національности, государства и опредѣлили ихъ взаимныя отношенія (чего г. Данилевскій не сдѣлалъ), то этимъ сдѣлали бы только одинъ, и притомъ сравнительно неважный шагъ. Всѣ эти понятія соотвѣтствуютъ, такъ сказать, вертикальнымъ дѣленіямъ человѣческаго рода. Но существуютъ еще горизонтальныя дѣленія, иногда только перерѣзывающія націю или государство, а иногда далеко выступающія изъ ихъ предѣловъ. Русскій ученый, напримѣръ, физіологъ или лингвистъ, связанъ тѣснѣйшими узами съ ученымъ французскимъ, нѣмецкимъ, англійскимъ и никоимъ образомъ не можетъ считать для себя внѣшними вопросы, занимающіе европейскую науку, которые однако могутъ быть дѣйствительно внѣшними для французскаго крестьянина или англійскаго сапожника. Конечно, еслибы мужикъ или сапожникъ широко понималъ свои интересы, такъ нѣкоторые научные вопросы принималъ бы ближе къ сердцу. Но фактъ во всякомъ случаѣ тотъ, что ученые всѣхъ націй связаны въ одно цѣлое, въ союзъ, имѣвшій даже въ старину названіе république des lettres, а крестьяне и сапожники тѣхъ же самыхъ націй не имѣютъ въ этой «республикѣ» мѣста. Точно также русскій купецъ, вывозящій заграницу сырье, самымъ тѣснымъ образомъ связанъ съ извѣстнымъ слоемъ европейскаго населенія. Для коммерческаго русскаго человѣка состояніе берлинской биржи есть вопросъ внутренній, потому что и въ этомъ случаѣ имѣется прочная связь и своего рода république. Г. Данилевскій много говоритъ объ интересахъ Европы, какъ единаго цѣлаго, о томъ, что они понятны и близки каждому европейцу, но не даетъ никакого опредѣленія этихъ интересовъ, если не считать опредѣленіемъ приписываемое всей Европѣ стремленіе стереть православіе и славянство съ лица земли. Г. Данилевскій твердо увѣренъ, что однимъ изъ самыхъ яркихъ выраженій этого всеевропейскаго стремленія была крымская война. Между тѣмъ въ эту самую войну побѣды русскихъ и между прочимъ синопское сраженіе были привѣтствуемы на парижской биржѣ повышеніемъ фондовъ, а биржа свое дѣло, свой «интересъ» знаетъ, конечно, лучше насъ съ г. Данилевскимъ. Сопоставивъ нѣсколько подобныхъ фактовъ, Прудонъ пишетъ, что удивляться тутъ нечему.

«Капиталъ—космополитъ; онъ не знаетъ ни соперничества государствъ, ни религіозной или расовой ненависти. Что ему, напримѣръ, за дѣло до св. гроба? Поговорите съ нимъ о восточныхъ христіанахъ. Онъ скажетъ: а развѣ русскій императоръ не можетъ имъ покровительствовать точно такъ же, какъ императоръ французовъ и даже лучше?—Но, замѣчаете вы:—дѣло идетъ о преобладаніи католичества надъ православіемъ.—Пятифранковикъ—атеистъ, отвѣчаетъ капиталъ.—Какъ! вы не понимаете, что русскій протекторатъ былъ бы гибелью блистательной Порты?—Это дѣло Порты. Государство, неимѣющее достаточно жизненности для самостоятельнаго существованія, заслуживаетъ такой участи.—Но европейское равновѣсіе?—Пусть Франція, Англія и tutti quanti присоединятся къ Россіи и возьмутъ свои доли трупа. Двѣ или нѣсколько величинъ, умноженныя на одну и ту же величину, остаются въ прежнихъ отношеніяхъ: простой расчетъ! Отчего не принять предложеній императора Николая? — Но вѣдь это ужасно! А слава Франціи?—Я васъ не понимаю, отвѣчаетъ капиталъ» (Manuel du spéculateur à la bourse, 31).

Изъ этого видно, что для признанія «интересовъ Европы» понятіемъ, обширнымъ до безсодержательности, нѣтъ даже надобности вспоминать кровавые эпизоды франко-прусской и версальско-парижской бойни: достаточно просмотрѣть биржевые бюллетени и притомъ за время крымской войны.

Г. Данилевскій стоитъ на томъ, что національность кладетъ свой отпечатокъ на дѣятельность человѣка, даже въ такихъ сферахъ, какъ наука, гарантированная, повидимому, отъ вторженія всякаго субъективнаго элемента. Въ справедливости этого положенія нельзя, мнѣ кажется, сомнѣваться.

Нелегко однако понять слѣдующія слова г. Данилевскаго: «Только при свободномъ отношеніи народовъ одного типа къ результатамъ дѣятельности другого, когда первый сохраняетъ свое политическое и общественное устройство, свой бытъ и нравы, свои религіозныя воззрѣнія, свой складъ мысли и чувствъ, какъ единственно ему свойственные, однимъ словомъ, всю свою самобытность—можетъ быть истинно плодотворно воздѣйствіе завершенной или болѣе развитой цивилизаціи на вновь возникающую. Подъ такими условіями народы иного культурнаго типа могутъ и должны знакомиться съ результатами чужого опыта, принимая и прикладывая къ себѣ изъ него то, что, такъ сказать, стоитъ внѣ сферы народности, т. е. выводы и методы положительной науки, техническіе пріемы и усовершенствованія искусствъ и промышленности» (104). Вотъ превосходный и главное удобоисполнимый рецептъ. Японія нынѣ что-то шевелится, и, кто знаетъ, можетъ быть, изъ нея выростетъ одиннадцатый культурно-историческій типъ. Но для этого она должна остаться при своемъ самобытномъ политическомъ общественномъ устройствѣ, которое состоитъ въ феодализмѣ, и при своей національной религіи, которая между прочимъ такова: жилъ-былъ богъ и умеръ, жилъ-былъ другой богъ и тоже умеръ, жилъ-былъ третій богъ и т. д. до седьмого бога, который женился на богинѣ; однажды онъ бросилъ въ пространство свой драгоцѣнный мечъ, обратившійся при этомъ въ сушу, твердую землю, и проч., и проч., въ такомъ-же родѣ. Такъ вотъ, подъ условіемъ сохраненія этой самобытной религіи, японцы могутъ совершенно безопасно принимать «выводы и методы европейской положительной науки». На что лучше!

«Всѣ эти особенности въ пріемахъ мышленія, въ методахъ взысканія, случайно ли разсѣяны между людьми или сгруппированы по національностямъ—такъ же точно, какъ сгруппированы нравственныя свойства, эстетическія способности. Въ послѣднемъ едва ли можетъ быть какое-нибудь сомнѣніе; а если такъ, то и наука по необходимости должна носить на себѣ отпечатокъ національнаго, точно также, какъ носятъ его искусства, государственная и общественная жизнь, однимъ словомъ, всѣ проявленія человѣческаго духа» (137), «Пусть нѣсколько человѣкъ нарисуютъ на глазъ простой цвѣтокъ (не говоря уже о цѣломъ ландшафтѣ, портретѣ или группѣ лицъ въ мгновеніе какого-нибудь событія)—и въ этомъ цвѣткѣ отразится индивидуальность живописца; а такъ какъ національность входитъ въ составъ индивидуальности, то и можно всегда отличить національный характеръ живописи» (141). Такъ во многихъ мѣстахъ своей книги говоритъ г. Данилевскій, и, повторяю, съ этимъ осложняющимъ значеніемъ національности нельзя не согласиться. Но самъ г. Данилевскій говоритъ, что «національность входитъ въ составъ индивидуальности», входитъ на ряду съ другими факторами, каковы возрастъ, полъ, общественное положеніе. О нихъ г. Данилевскій не говоритъ ничего, какъ будто бы ихъ и не было. Оставимъ въ сторонѣ полъ и возрастъ. Но вотъ, напримѣръ, въ такъ называемой манчестерской школѣ политической экономіи авторъ видитъ выраженіе національнаго англійскаго характера. Слѣдуетъ однако замѣтить, что школа эта создана, положимъ, англичанами, но притомъ извѣстнаго общественнаго класса и поддерживается людьми разныхъ націй, но только того же класса. Англійскіе же рабочіе (равно какъ рабочіе другихъ странъ) и ихъ друзья или не принимали этого ученія вовсе, или перестраивали его совсѣмъ не въ томъ направленіи борьбы, конкурренціи, которое авторъ считаетъ характернымъ для англичанъ, какъ націи. Далѣе авторъ сравниваетъ, напримѣръ, духовныя отправленія грековъ и индусовъ, совершенно забывая, что философская производительность Индіи касается только опредѣленной касты, извѣстнаго слоя индусовъ — браминовъ, жившихъ совершенно отличною отъ остальныхъ классовъ жизнью. Слѣдовательно, и здѣсь мы имѣемъ примѣръ осложненія умственной дѣятельности не національнымъ, а кастовымъ элементомъ. Г. Данилевскій такъ далекъ отъ мысли внести эту поправку въ свою историческую схему, что, даже случайно подходя къ ней вплотную, немедленно отворачивается отъ нея. Напримѣръ, нѣмецкій историкъ Веберъ, соотвѣтственно риомованному раздѣленію сословій, государствъ и вообще обществъ на Lehr-, Wehr- и Nährstand, раздѣляетъ на тѣ же классы и

народы населяющіе Европу, и, конечно, относитъ славянъ къ нэръ-, а нѣмцевъ къ лэръ-штанду, т. е. обрекаетъ славянское племя на матеріальный трудъ въ пользу высшихъ племенъ» (182). По этому поводу г. Данилевскій только и находитъ нужнымъ замѣтить, что вотъ, молъ, какую глупость говоритъ нѣмецкій историкъ Веберъ. Это, конечно—глупость; но такъ какъ фактически лэръ-, вэръ- и нэръ-штанды въ видѣ сословій и другихъ подобныхъ общественныхъ группъ существуютъ, то странно, наткнувшись на этотъ несомнѣнный фактъ, не попытаться опредѣлить его значеніе, по крайней мѣрѣ на ряду съ національностью. Тогда характеръ и значеніе культурно-историческихъ типовъ оказались бы совершенно иными. Это можно видѣть даже изъ микроскопически малаго, что даетъ въ этомъ отношеніи г. Данилевскій. «Слово феодализмъ, говоритъ онъ:—я принимаю *въ самомъ обширномъ смыслѣ*, разумѣя подъ нимъ такое отношеніе между *племенемъ*, достигшимъ преобладанія, и *племенемъ* подчиненнымъ, при которомъ первое не сохраняетъ своей индивидуальности, а разселяется между покореннымъ народомъ. Отдѣльныя личности его завладѣваютъ имуществомъ покоренныхъ, но если не юридически, то фактически оставляютъ имъ пользованіе частію прежней ихъ собственности за извѣстныя подати, работы или услуги въ свою пользу» (248). А черезъ нѣсколько страницъ читаемъ: «Что крѣпостное состояніе (въ Россіи) есть форма феодализма—*въ томъ обширномъ смыслѣ, который выше былъ приданъ этому слову*—въ этомъ едва ли можно сомнѣваться, такъ какъ оно заключало всѣ существенные его признаки: почти безграничная власть лицъ *привилегированнаго сословія* надъ частью народа, подъ условіемъ несенія государственной службы» (274). Но выше феодализмъ «въ обширномъ смыслѣ» характеризовался совсѣмъ не такъ: тамъ это названіе придавалось извѣстному отношенію между двумя племенами; здѣсь оно присвоивается тому же отношенію между двумя сословіями, принадлежащими къ одному племени. Которое же изъ этихъ опредѣленій обширнѣе? Очевидно—второе, потому что оно не обнимается первымъ, а само его обнимаетъ. Наиболѣе общая черта европейскаго феодализма и русскаго крѣпостного права состоитъ въ извѣстныхъ отношеніяхъ двухъ общественныхъ группъ. Затѣмъ европейскій феодализмъ осложняется еще частностью, разноплеменностью этихъ группъ, которая, слѣдовательно, въ феодализмѣ можетъ быть и не быть. Приглядываясь далѣе къ обѣимъ формамъ феодализма, мы найдемъ и другія различія: несравненно большую зависимость русскаго дворянства отъ высшей, государственной власти, несравненно болѣе служилый характеръ его, отсутствіе нѣкоторыхъ сюзеренныхъ правъ, которыя имѣлъ европейскій феодалъ. Но все это —различія въ степени, а не въ типѣ общественныхъ отношеній, какъ отчасти признаетъ и самъ г. Данилевскій. Поэтому мы имѣемъ право сказать: феодализмъ есть культурно-историческій типъ, иногда осложняющійся національною окраской, иногда нѣтъ, и способный имѣть различныя степени развитія, каковыя мы и видимъ въ Англіи, во Франціи, въ Италіи, Германіи, Россіи, Японіи и проч. А разъ мы допустимъ хотя одинъ культурно-историческій типъ, построенный независимо отъ принципа національности, то очевидно должна рушиться вся историческая схема г. Данилевскаго, хотя ученіе о типахъ и степеняхъ развитія остается во всей неприкосновенности и даже получаетъ новую, гораздо болѣе прочную подкладку.

Дѣйствительно, національныя особенности, несомнѣнно существующія, тѣмъ неуловимѣе, чѣмъ онѣ важнѣе, за исключеніемъ языка, о которомъ нѣсколько словъ ниже,—а потому построить на нихъ историческую теорію крайне трудно, чтобы не сказать невозможно. Легко указать чисто физическія особенности націи—овалъ лица, цвѣтъ волосъ и глазъ и т. п., но зато они не имѣютъ ровно никакого значенія въ культурно-историческомъ смыслѣ. Высшія же, духовныя особенности каждый молодецъ можетъ толковать на свой образецъ. Г. Данилевскій увѣряетъ, что мы, какъ нація, представляемъ богатѣйшій, невиданный отъ сотворенія міра четырехосновной типъ, а другіе утверждаютъ, что мы, кромѣ самовара, ничего не выдумали, Г. Данилевскій вслѣдъ за старыми славянофилами утверждаетъ, что мы всегда были кротки, смиренны и ненасильственны, а гг. Иловайскій и Забѣлинъ утверждаютъ противное. Можно, конечно, имѣть для своего собственнаго обихода то или другое на этотъ счетъ мнѣніе, но разсчитывать на его признаніе другими никогда нельзя. Изъ особенностей, которыя можно бы было признать осязательными, г. Данилевскій приводитъ только одно православіе. Но религія по самой сущности своей есть нѣчто международное. Сказано: нѣсть эллинъ, ни іудей. Ни одинъ истинный христіанинъ и въ частности ни одинъ православный не долженъ отказываться отъ мысли, что его религія обниметъ весь міръ. Признать православіе или даже христіанство національною славянскою особенностью уже потому нельзя, что было время, когда славяне были язычниками и въ этой ихъ

языческой вѣрѣ слѣдуетъ искать дѣйствительно національныхъ чертъ. Не даромъ балтійскіе славяне погибли въ борьбѣ съ нѣмцами и христіанствомъ за славянство и язычество. Наконецъ, и нынѣ есть славяне, исповѣдующіе христіанство, но не православіе. Правда, г. Данилевскій утверждаетъ, что поляки, славяне-католики, отреклись отъ коренныхъ славянскихъ началъ. Но, во-первыхъ, онъ не распространяетъ этого приговора на славянъ-католиковъ австрійскихъ, а кромѣ того и болгары едва не обратились въ новѣйшее время въ католичество, чтобы избѣгнуть «насильственности» фанаріотовъ, которыхъ г. Данилевскій, вмѣстѣ со всѣми православными и греками, зачисляетъ въ штаты славянскаго культурно-историческаго типа. Во-вторыхъ, онъ безсиленъ опредѣлить эти коренныя славянскія начала (кромѣ смиренія и православія) Въ-третьихъ, наконецъ, упрекъ этотъ, обращаемый исключительно къ польскому дворянству, я думаю, совсѣмъ несправедливъ. Въ то время, какъ чешское дворянство онѣмечивается, малороссійское ополячивается, юго-славянское онѣмечивается и отурчивается, польская шляхта упорно остается польской. Я рѣшаюсь даже сказать, что значительная до я несчастія Польши состоитъ не въ томъ, конечно, что ея дворянство не онѣмечилось и не отурчилось, а въ томъ, что оно слишкомъ замкнулось въ свои національныя преданія, въ которыхъ феодальный культурно-историческій типъ играетъ существенную роль. Но особенность исторіи польской національности состоитъ только въ извѣстной окраскѣ и въ извѣстной формѣ, степени развитія этого типа, который перерѣзываетъ, такъ сказать, поперекъ романо-германскую, славянскую, отчасти и другія группы, очевидно ошибочно признаваемыя нашимъ авторомъ за самостоятельные культурно-историческіе типы. О Японіи было уже упомянуто. Что же касается Индіи, то крайне осторожный Мэнъ говоритъ прямо: «Процессъ, совершенно подобный феодализаціи, несомнѣнно происходилъ нѣкогда и въ Индіи: тамъ существуютъ и явленія, соотвѣтствующія явленіямъ зарождающагося права личной собственности въ Англіи и въ Европѣ; но феодализація Индіи въ дѣйствительности никогда не завершалась. Характеристическихъ признаковъ ея завершенія недостаетъ». («Деревенскія общины на Востокѣ и Западѣ», 94). Слѣдовательно, и здѣсь мы имѣемъ дѣло съ извѣстною степенью все того же феодальнаго культурно-историческаго типа, при національномъ различіи, достигающемъ иногда, напримѣръ, при сравненіи Японіи съ Германіей или Франціей, даже различія расоваго.

Г. Данилевскій знаетъ, повидимому, только одинъ случай международнаго союза, намекающаго на возможность иного построенія исторіи. Это именно «союзъ партіи «Вѣсти» со всѣми аристократіями». Однако и съ этимъ единственнымъ знакомымъ ему случаемъ онъ справляется далеко неудовлетворительно. Когда онъ говоритъ о томъ, что покойница «Вѣсть» и ея литературные и нелитературные сторонники, протягивая дружескую руку польскому шляхетству, остзейскому рыцарству, а въ принципѣ и вообще всякой аристократіи, работали на пагубу русскаго народа, съ нимъ нельзя не соглашаться. Но самый фактъ остается фактомъ. Авторъ спрашиваетъ: «обвиненія французскихъ демократовъ противъ союза аристократій на гибель свободы и благосостоянія народовъ не примѣняются ли въ полной мѣрѣ къ той партіи, которая говоритъ, что польскій панъ ближе къ ея сердцу, чѣмъ западно-русскій мужикъ». Да, примѣняется, хотя дѣло тутъ выходитъ на столько сложное, что я не прибавилъ бы слова: «въ полной мѣрѣ». Да, примѣняется. Да, польскій магнатъ и остзейскій баронъ ближе къ сердцу людей «Вѣсти», чѣмъ русскій мужикъ. И это такой фактъ, надъ которымъ автору стоило бы подумать, не объясняя дѣла простымъ «европейничаніемъ», въ которомъ онъ одинаково уличаетъ и русскій аристократизмъ, и русскій демократизмъ, и нигилизмъ *), и проч. Въ другомъ мѣстѣ авторъ спрашиваетъ: «Еслибы сходство въ образѣ жизни болѣе соединяло якобы аристократическую партію «Вѣсти» съ остальною массою русскаго народа, могла ли бы эта партія считать польскихъ магнатовъ ближе къ своему сердцу, чѣмъ совершенно по всему чуждыхъ ей русскихъ крестьянъ западныхъ губерній»? Странный на первый взглядъ вопросъ. Зачѣмъ тутъ это «еслибы», когда факты совершенной чуждости съ одной стороны и сердечной близости съ другой— налицо? Но дѣло въ томъ, что авторъ желаетъ показать, какъ утрата «національнаго образа жизни» (онъ разумѣетъ тутъ одежду, архитектуру, подробности обстановки) кла-

*) Кстати о нигилизмѣ. Г. Данилевскій говоритъ. «Самое имя нигилизма, хотя получило, повидимому, на Руси свое происхожденіе, *очевидно*, основано на книгѣ Макса Штирнера «Ich stelle mein Sach auf nichts», съ филистерскимъ цинизмомъ посвященной «meinem lieben Julchen». Какъ профану, мнѣ лестно поправить ученаго человѣка замѣчаніемъ, что такой книги нѣтъ, хотя есть книга Макса Штирнера «Der Einzige und sein Eigenthum», посвященная meinem Liebchen Marie Dähnhardt и предисловіе которой озаглавлено «Ich habemein Sach auf Nichts gestellt». Изъ этого можно заключить, что когда нашъ авторъ говоритъ «очевидно», такъ это не значитъ, чтобы онъ буквально очами видѣлъ, а слѣдуетъ понимать фигурально.

детъ грань между утратившими и народомъ. Изъ совокупности его разсужденій слѣдуетъ заключить, что онъ представляетъ себѣ дѣло такъ: пусть бы издатели «Вѣсти» носили такого же покроя тулупъ, какъ и всякій мужикъ, но не овчинный, а, сообразно своему состоянію и въ видахъ поощренія отечественной промышленности, изъ глазета и парчи (которые приготовляются главнымъ образомъ въ Россіи); жили бы они въ такомъ же точно домѣ, какъ мужикъ, но, опять-таки по своему состоянію, сохраняя стиль постройки, расширяли бы ее и вширь, и вверхъ. И все было бы чудесно. И былъ бы русскій мужикъ близокъ сердцу издателей «Вѣсти», а остзейскій баронъ и польскій магнатъ были бы отъ нихъ за тридевять нравственныхъ земель.

Въ этомъ, я полагаю, можно сомнѣваться. И не то, что можно сомнѣваться, а просто опровергать не стоитъ. Развѣ нѣсколько фактовъ напомнить, даже оставляя древняго *еще* глазетоваго боярина и *уже* овчиннаго мужика въ покоѣ. Современное венгерское дворянство, не смотря на свой чардашъ и венгерскіе сапоги, чувствуетъ необыкновенное и притомъ платоническое расположеніе къ англійскому лордству. Исторія славянъ представляетъ множество подобныхъ примѣровъ, хотя, къ сожалѣнію, лишенныхъ букета платонизма. Такъ высшіе классы балтійскихъ славянъ продали свой народъ нѣмцамъ; такъ продавало свой народъ малороссійское шляхетство полякамъ; такъ сербское дворянство браталось съ турецкими бегами, чтобы встать въ ихъ ряды и вмѣстѣ съ ними топтать и сажать на колъ свой народъ. А все это былъ людъ глазетовый. Г. Данилевскій долженъ занести эту черту въ счетъ добродѣтелей славянскаго культурно-историческаго типа или же признать, что всѣ—люди, всѣ—человѣки, безъ различія національностей.

Читатель не потребуетъ, разумѣется, отъ меня схемы, столь же полной и разработанной, какою является группировка историческаго матеріала у г. Данилевскаго. Я хочу только показать, что ученіе о типахъ и степеняхъ развитія не требуетъ именно того дальнѣйшаго истолкованія, которое даетъ ему г. Данилевскій; что основаніемъ расположенія историческаго матеріала можетъ и, смѣю сказать, должно быть принято взаимное отношеніе общественныхъ силъ, а не національность, роль которой, какъ наличнаго фактическаго дѣятеля, при этомъ вовсе не упраздняется, а только отходитъ на задній планъ. Г. Данилевскій утверждаетъ, что «внесеніе новаго міросозерцанія, новыхъ цѣлей, новыхъ стремленій всегда коренится въ особомъ психическомъ строѣ выступающихъ на дѣятельное поприще новыхъ этнографическихъ элементовъ» (452). А между тѣмъ самъ приводитъ изъ европейской исторіи образцы внесенія новыхъ цѣлей, стремленій и міросозерцанія элементами, новыми совсѣмъ не въ этнографическомъ смыслѣ (см., напримѣръ, стр. 251).

Я вполнѣ однако признаю общія положенія г. Данилевскаго о культурно-историческихъ типахъ и степеняхъ развитія, о смѣнѣ ихъ на аренѣ цивилизаціи, словомъ—всѣ тѣ положенія, которыми еще не предрѣшается вопросъ о характерѣ типовъ, о ихъ строеніи. Вмѣстѣ съ г. Данилевскимъ я думаю, что европейская цивилизація, какъ и всѣ предшествовавшія, односторонняя, но не потому, что она заключена въ необходимо узкія рамки національности (что относительно Европы фактически невѣрно), а потому, что въ ней принимало и принимаетъ активное участіе лишь меньшинство европейскаго населенія. «Народъ» въ тѣсномъ смыслѣ слова, т. е. не въ этнографическомъ, а въ соціологическомъ, долженъ представить тотъ новый элементъ, который дастъ иное теченіе исторіи, создастъ новый культурно-историческій типъ. И проживетъ тогда старая Европа вѣка и вѣка, потому что она помолодѣетъ. Дай Богъ, чтобы къ тому времени Россія и все славянство не состарѣлись.

Теперь—нѣсколько словъ о роли языка. Г. Данилевскій предлагаетъ планъ славянской федераціи, состоящей изъ русской имперіи, королевствъ: чехо-мораво-словакскаго, сербо-хорвато-словенскаго, болгарскаго, румынскаго, эллинскаго и мадьярскаго и цареградскаго округа. Я ничего не скажу объ этомъ планѣ, кромѣ одной подробности: «необходимымъ плодомъ политическаго объединенія славянства явился бы общій языкъ, которымъ не можетъ быть иной, кромѣ русскаго; онъ успѣлъ бы пріобрѣсти должное господство для того, чтобы между всѣми членами славянской семьи могъ бы происходить плодотворный обмѣнъ мыслей и взаимнаго культурнаго вліянія» (456). Г. Данилевскій очень скептически, хотя въ общемъ и сочувственно, относится къ стремленіямъ нѣкоторыхъ «истинныхъ и искреннихъ друзей славянства», ищущихъ «только достиженія духовнаго единства возведеніемъ русскаго языка въ общій языкъ науки, искусства и международныхъ сношеній между всѣми славянскими народами». Онъ полагаетъ, что духовное единство этого рода само собой воспослѣдуетъ за объединеніемъ политическимъ, а до тѣхъ поръ толка ждать нечего. «Не смотря на единство языка, существуетъ ли настоящее духовное единство между Россіей и Галиціей? Да и самому

языку этому не угрожаетъ ли постоянная опасность: то отъ разныхъ искаженій, правительственно въ него вводимыхъ или поддерживаемыхъ, то обращеніемъ его въ языкъ какихъ-то парій, которые устранены отъ науки, отъ литературы, отъ всѣхъ высшихъ проявленій человѣческой мысли?» «Напротивъ того—читаемъ дальше—политическое объединеніе обратитъ распространеніе русскаго языка по всему славянству въ насущную будничную потребность не однихъ только высоко образованныхъ и развитыхъ личностей, не однихъ ученыхъ и литераторовъ, а всякаго практическимъ дѣломъ занимающагося человѣка. Самыя простыя мѣры, принятыя къ обученію въ школахъ русскому языку, могутъ въ немного лѣтъ доставить ему то же распространеніе, то же господство, которое получилъ нѣмецкій языкъ между австрійскими, турецкій—между турецкими, и которое, безъ сомнѣнія, скоро получитъ мадьярскій между венгерскими славянами».

Надо отдать справедливость безпристрастію послѣдняго замѣчанія объ аналогичности роли русскаго языка въ будущей славянской федераціи съ ролью языковъ нѣмецкаго, турецкаго и венгерскаго среди нынѣшнихъ славянъ. Но, къ счастію или къ несчастію, эта аналогія неосновательна. Авторъ не опредѣляетъ ближайшимъ образомъ той гегемоніи, которую онъ предоставляетъ Россіи въ славянскомъ союзѣ, но онъ напираетъ на то, что здѣсь не предвидится поглощенія славянства. Слѣдовательно, надо думать, онъ не имѣетъ въ виду занять администрацію въ славянскихъ земляхъ русскими чиновниками. Слѣдовательно далѣе русскій языкъ долженъ быть по плану только языкомъ науки, искусства и международныхъ сношеній, а для распространенія его рекомендуется только школьное обученіе. Не такова, конечно, роль, напримѣръ, турецкаго языка въ земляхъ сербскихъ, и не этимъ путемъ онъ тамъ распространяется. Но спрашивается: можно ли надѣяться на распространеніе русскаго языка при помощи обязательнаго его преподаванія въ школахъ чешскихъ, сербскихъ, хорватскихъ, болгарскихъ и т. д., а тѣмъ паче въ школахъ включенныхъ въ славянскій союзъ инородныхъ грековъ, румыновъ и мадьяровъ? Положимъ, что въ высшихъ слояхъ всѣхъ этихъ народовъ, въ слояхъ, имѣющихъ надобность и возможность заниматься наукой, искусствомъ и международными сношеніями, сломлено упорство мѣстнаго (собственно національнаго) патріотизма въ пользу, по крайней мѣрѣ, русскаго языка. Положимъ, что все растетъ число сербскихъ, чешскихъ, хорватскихъ, даже румынскихъ, венгерскихъ и греческихъ ученыхъ и литераторовъ, пишущихъ на русскомъ языкѣ. При извѣстныхъ условіяхъ это хотя и въ малой степени, но все-таки возможно. Но уже положительно невозможно, чтобы произведенія этихъ писателей стали доступны массѣ чешскаго, венгерскаго и т. д. народа. Гр. Толстой показалъ, почему русская грамота не распространяется даже въ русской землѣ среди русскаго народа. Ко всѣмъ причинамъ этого печальнаго факта, въ случаѣ осуществленія плана г. Данилевскаго, прибавилась бы еще одна и притомъ страшно тяжеловѣсная. Передо мной лежитъ номеръ сербскаго журнала, на заглавномъ листѣ котораго напечатано: «Отацбина. Књижевность, наука, друштвени животъ. Свеска за іул. 1875». Очень вѣроятно, что народъ сербскій этой Отацбины не читаетъ, но, можетъ быть, по крайней мѣрѣ, иногда является въ ней нѣчто и для «свинопаса» понятное. Замѣните отацбину отечествомъ и этотъ смѣшной на русское ухо дружественный животъ—общественною жизнью, и вы положите непреодолимую преграду для распространенія знаній и просто грамотности въ народѣ. Наука, искусство, просвѣщеніе, цивилизація будутъ идти сами по себѣ, народъ—самъ по себѣ, не оплодотворяя другъ друга. Чешскій, венгерскій и прочіе языки станутъ дѣйствительно, говоря глубоко вѣрными словами самого г. Данилевскаго, языками «какихъ-то парій, которые устранены отъ науки, отъ литературы, отъ всѣхъ высшихъ проявленій человѣческой мысли». Получится рознь, несравненно сильнѣйшая, чѣмъ та, о которой горюетъ нашъ авторъ по отношенію къ Россіи. Вотъ почему посягательства нѣмцевъ и мадьяровъ на языкъ, подвластныхъ имъ славянъ являются дѣйствительно ужаснымъ преступленіемъ. И вотъ почему осмѣлился я недавно, къ удивленію одного благосклоннаго критика, сказать, что языкъ, въ качествѣ орудія общечеловѣческаго развитія, есть наименѣе національная изо всѣхъ національныхъ особенностей. Наименѣе національная и потому въ принципѣ наиболѣе драгоцѣнная; въ принципѣ—потому что въ дѣйствительности любой языкъ можетъ стать проводникомъ самыхъ разнообразныхъ понятій и чувствъ. Не смотря на нѣкоторую парадоксальность формы, я не сказалъ по существу ничего новаго: эта мысль не разъ высказывалась въ литературѣ и даже очень недавно.

Итакъ: есть ли славянскій вопросъ нашъ внутренній вопросъ, или внѣшній? Это какъ вамъ будетъ угодно, читатель. Вы видите, что различные союзы, въ которыхъ живетъ современный человѣкъ, различные узы, которыя связываютъ его съ ближними, гра-

фически могутъ быть изображены не только вертикальными полосами въ видѣ культурно-историческихъ типовъ г. Данилевскаго, а и горизонтальными. Ваше дѣло отдать преимущество тѣмъ или другимъ. Недавно я получилъ въ печати такое возраженіе: положимъ, что вы разсуждаете довольно логически, гладко у васъ все это выходитъ и противъ многаго я ничего не могу возразить; но вотъ вещь, объ которую ломается вся ваша аргументація: непосредственное чувство національности, его вы поколебать логикой не можете. Это—сама истина. Логикой столь же мало можно поколебать чувство, какъ пудами измѣрить какое нибудь пространство. Но зато это и не возраженіе. Это якобы возраженіе показываетъ только, что въ общемъ моя аргументація вѣрна, ибо является надобность апеллировать въ совершенно постороннее вѣдомство. Вамъ непосредственное чувство говоритъ, что славяне, какъ славяне, вамъ братья. Издателямъ «Вѣсти» непосредственное чувство говорило, что имъ братья остзейскіе бароны, какъ бароны. Съ этимъ ничего не подѣлаешь. Я, признаться сказать, хотѣлъ только заинтересовать васъ вопросомъ и буду радъ, если вы извлекли изъ моихъ нехитрыхъ соображеній какіе-нибудь матеріалы для рѣшенія его на свой собственный страхъ. Общаго отвѣта я не имѣю. Скажу только, что культурно-историческіе типы г. Данилевскаго могутъ, въ очень впрочемъ рѣдкихъ случаяхъ, совпадать съ тѣми, которые я съ своей стороны рекомендую вашему вниманію. Но и въ такихъ случаяхъ различать ихъ все-таки слѣдуетъ, ибо нужно даже во всякомъ практическомъ дѣлѣ имѣть какую-нибудь одну теоретическую точку зрѣнія и только ее одну и пускать въ ходъ.

XXV *).

Новь.

«Печатая этотъ небольшой разсказъ и зная, что въ публикѣ ходятъ слухи о большомъ произведеніи, надъ которымъ я тружусь, я чувствую потребность обратиться къ ея снисходительности. Задуманный мною романъ все еще не конченъ; надѣюсь, что онъ появится въ «Вѣстникѣ Европы» въ теченіе нынѣшняго года; а пока—пусть не погнѣваются на меня читатели за настоящее captatio benevolentiae и пусть, въ ожиданіи будущаго, прочтутъ мой разсказъ не какъ строгіе судьи, а какъ старые знакомые—не смѣю сказать: пріятели».

Г. Тургеневъ счелъ нужнымъ сопроводить такимъ примѣчаніемъ разсказъ «Часы». Оно очень характерно, это примѣчаніе. Въ немъ выразилось и сознаніе стародавняго любимца русскаго читающаго люда, что онъ пересталъ быть любимцемъ, и грусть этого сознанія, и желаніе вернуть старыя пріятельскія отношенія, и надежда на осуществленіе этого желанія. Все очень естественныя, законныя чувства. Кто привыкъ «вязать и рѣшать», быть выразителемъ и отчасти даже «властителемъ думъ» своихъ современниковъ, кто привыкъ видѣть, какъ толпа съ волненіемъ ждетъ его слова, тому тяжело очутиться въ положеніи г. Тургенева. Кругомъ сумрачно и холодно, холодныя, чужія лица, нѣсколько даже изумленныя изящною повелительностью манеръ бывшаго любимца. Они знаютъ, конечно, прошедшее любимца, но не переживали его съ нимъ вмѣстѣ, знаютъ только какъ совершившійся фактъ, который былъ и быльемъ поросъ; а потому самоувѣренность и плавная величественность, снисходительная небрежность движеній этого человѣка для нихъ непонятны, нѣсколько даже смѣшны. Очень тоже все это естественно, но отъ того не легче развѣнчанному любимцу, особенно, если онъ знаетъ, какъ знаетъ г. Тургеневъ, что старость-Далила не остригла его волосъ, что онъ—тотъ же Самсонъ, способный по старому волновать и трогать читателя. Ему непремѣнно должно казаться, что все дѣло въ какомъ-то пустячномъ, ничтожномъ недоразумѣніи, устранить которое чрезвычайно легко тоже какимъ-то пустякомъ, въ родѣ граціознаго жеста или пріятной улыбки. Но чортъ ихъ знаетъ, этихъ людей съ такими холодными, чужими лицами, чортъ ихъ знаетъ, въ чемъ они полагаютъ грацію и какую улыбку назовутъ они пріятною! Тутъ такъ легко попасть въ просакъ. Да и положимъ, наконецъ, что искомое найдено; нельзя же его пустить въ ходъ съ поспѣшностью человѣка, напрашивающагося, нуждающагося. Нѣтъ, надо, конечно, показать, что возобновить или вновь установить пріятельскія отношенія очень желательно, но съ другой стороны надо все-таки сохранить отчасти видъ человѣка, которому, собственно говоря, совершенно наплевать. И вотъ, когда этихъ надеждъ, опасеній, сомнѣній, алканій достаточно накопится на душѣ у бывшаго любимца, онъ пишетъ вышеприведенное примѣчаніе къ разсказу «Часы».

А затѣмъ онъ пишетъ «Новь».

Охлажденіе русскихъ читателей къ г. Тургеневу ни для кого не составляетъ тайны, и меньше всѣхъ—для самого г. Тургенева. Охладѣла не какая-нибудь литературная партія, не какой-нибудь опредѣленный разрядъ людей — охлажденіе всеобщее. Надо правду сказать, что тутъ дѣйствительно за-

*) 1877, февраль.

мѣшалось одно недоразумѣніе, пожалуй, даже пустячное, которое нельзя, однако, устранить ни граціознымъ жестомъ, ни пріятной улыбкой, потому что лежитъ оно, можетъ быть, больше въ самомъ г. Тургеневѣ, чѣмъ въ читателяхъ. Г. Тургеневъ—не то, чтобы въ самомъ дѣлѣ Самсонъ, но все-таки сила, навсегда вписавшая свое имя въ исторію русской литературы. Но какія странныя, невозможныя требованія предъявляются этой силѣ публикой! Русская беллетристика не клиномъ сошлась на г. Тургеневѣ. Есть у насъ и другіе крупные таланты, не ниже тургеневскаго, съ которыми однако читатели не обходятся такъ деспотически. Если новое произведеніе, напримѣръ, Толстого, Достоевскаго, вызываетъ иногда сожалѣніе, что авторъ взялъ не ту тему, которую, по тѣмъ или другимъ соображеніямъ, долженъ былъ взять, если даже кое-кто берется при этомъ указывать имъ сюжеты, достойные ихъ пера, то всѣ эти требованія, сожалѣнія, указанія предъявляются примѣнительно къ свойствамъ таланта писателя или къ кругу знакомыхъ ему явленій. Въ общемъ, мы своихъ наличныхъ любимыхъ писателей знаемъ удовлетворительно. Знаемъ, на какія явленія они, по свойствамъ своихъ талантовъ, лучше всего отзываются, знаемъ что они любятъ и чего не любятъ, знаемъ, какія явленія имъ наиболѣе знакомы, и потому рѣдко предъявляемъ имъ какія-нибудь неразумныя требованія. Совсѣмъ не то съ г. Тургеневымъ. Отъ него требуется, чтобы онъ, какъ выражается полупьяный купецъ въ одномъ разсказѣ Горбунова, «ловилъ моментъ». Печатаетъ, напримѣръ, г. Тургеневъ «Вешнія воды» — исторію двухъ любвей одного слабаго человѣка: любовныя дѣла и слабые люди изучены имъ до тонкости, изображаетъ онъ ихъ мастерски, а публика говоритъ: не того мы ждали отъ Тургенева! Печатаетъ много другихъ вещей различнаго достоинства, а публика все свое: долженъ ловить моментъ! Замѣчательно, что требованія эти не останавливаются даже всеобщимъ охлажденіемъ: а когда г. Тургеневъ попытается удовлетворить имъ и дастъ что-нибудь вродѣ «Дыма» или «Нови», публика остается недовольна, вѣрнѣе, неудовлетворена; но развѣ только «Новь» окончательно убѣдитъ читателей въ несправедливости, неисполнимости и даже оскорбительности требованія: лови моментъ. Оскорбительно оно не потому, конечно, что, какъ думали когда-то и какъ думаютъ теперь развѣ какіе-нибудь пятиалтынные критики, поэзія не обязана знать «злобы дня», что поэты «рождены для вдохновенья, для звуковъ сладкихъ и молитвъ». Собственно объ этомъ даже толковать не стоитъ, потому что гдѣ же они, эти поэты, пробавляющіеся исключительно вдохновеніемъ и сладкими звуками? Ихъ нѣтъ. Горсточка какая-нибудь старичковъ осталась, какъ справедливо замѣтилъ г. Тургеневъ въ разговорѣ съ Писаревымъ, а со времени этого разговора воды утекло еще больше. Ну, и Богъ съ ними. Но отъ г. Тургенева требуется не простая отзывчивость на то, что въ насъ и кругомъ насъ дѣлается, что насъ волнуетъ и тревожитъ. Это-то мы разсчитываемъ получить и отъ Толстого, и отъ Достоевскаго, и отъ Островскаго, и отъ Некрасова, и отъ Щедрина. Отъ г. Тургенева требуется нѣчто иное; что именно—трудно сказать, да и едва-ли сами требующіе ясно себѣ представляютъ. Тургеневъ, видите ли, долженъ уловить каждое нарождающееся на Руси общественное явленіе (болѣе или менѣе крупное, разумѣется) въ его типичнѣйшихъ представителяхъ, проникнуться имъ, ввести его въ свою плоть и кровь и затѣмъ выпустить въ видѣ яркихъ, характерныхъ образовъ, да еще съ нѣкоторой перспективой, съ нѣкоторымъ поученіемъ на придачу. Онъ долженъ сказать какое-то «слово», которое вдругъ все разъяснитъ, всему укажетъ свое мѣсто. Ближе говоря, предлагаемая г. Тургеневу спеціальность состоитъ въ изображеніи, такъ называемыхъ, «новыхъ людей», не тѣхъ или другихъ, а вообще новыхъ, т. е. и тѣхъ, которые были новыми лѣтъ пятнадцать тому назадъ, и нынѣшнихъ новыхъ. Другимъ писателямъ предоставляется вся совокупность политическихъ, экономическихъ, нравственныхъ условій, породившихъ тѣхъ или другихъ «новыхъ», а съ г. Тургенева требуются только они. Странная спеціальность вообще, но еще страннѣе навязывать ее именно г. Тургеневу. Г. Тургеневъ прекрасно нарисовалъ намъ нѣсколько типовъ сороковыхъ годовъ. Допустимъ, чтобы не поднимать стараго и теперь ужь, пожалуй, празднаго спора, что въ «Отцахъ и дѣтяхъ» тоже вѣрно схвачены типическія черты «новыхъ людей» того времени. Допустимъ, наконецъ, что и «Новь» въ этомъ отношеніи безукоризненна. Ну, а если г. Тургеневу Богъ дастъ вѣку еще лѣтъ на двадцать и если къ тому времени народятся опять какіе-нибудь новые люди—неужто же можно будетъ требовать, чтобы онъ и ихъ взвѣсилъ и смѣрилъ? Конечно, нѣтъ, и вовсе не потому, чтобы къ тому времени талантъ г. Тургенева долженъ былъ непремѣнно ослабнуть, а просто потому, что эти будущіе люди могутъ потребовать такихъ красокъ, какихъ нѣтъ и не было никогда на палитрѣ г. Тургенева. Представимъ себѣ, что эти будущіе люди будутъ какія-нибудь чрезвычайно спо-

койныя, «уравновѣшенныя» натуры, твердыя, не болѣющія никакой внутренней тревогой. Мы знаемъ очень хорошо, что, напримѣръ, г. Достоевскій, при всемъ своемъ огромномъ талантѣ, такихъ людей не въ состояніи изобразить. Знаемъ мы это потому, что г. Достоевскаго знаемъ, свойства его таланта знаемъ. А г. Тургенева мы не только не знаемъ, хотя объ немъ писано больше, чѣмъ объ комъ-нибудь, а и знать не хотимъ. Иначе мы не создали бы для него странной спеціальности «новыхъ людей», а всякій разъ присматривались бы, таковы ли эти новые люди, чтобы могли подойти подъ особенности таланта г. Тургенева. Но этого мало: тутъ не въ одномъ талантѣ дѣло. Для поэтическаго воспроизведенія какого бы то ни было явленія нужно, во-первыхъ, чтобы художнику оно было знакомо, и чтобы, во-вторыхъ, оно имѣло съ нимъ какія-нибудь нравственныя связи, чтобы оно ему было дорого или ненавистно, возбуждало въ немъ сочувствіе, отвращеніе, презрѣніе, уваженіе, негодованіе—что нибудь. Относительно г. Тургенева мы рѣшительно не интересуемся соблюденіемъ этихъ двухъ необходимѣйшихъ условій. Знаетъ онъ или не знаетъ «новыхъ людей». питаетъ ли онъ къ нимъ какія-нибудь опредѣленныя чувства, или они для него просто совсѣмъ чужіе люди—мы съ этимъ не справляемся. Мы твердимъ свое оскорбительное: лови моментъ! Оскорбительно оно не только потому, что въ немъ выражается вообще неуваженіе (безсознательное, конечно) къ личности г. Тургенева но и потому въ частности, что оно предполагаетъ въ г. Тургеневѣ такое крайнее легкомысліе и такое недостойное его таланта популярничанье, которое заставитъ его сунуться во всякую воду, не спросясь броду. Факты на лицо. Всѣмъ извѣстно, что г. Тургеневъ давно уже живетъ заграницей, наѣзжая въ Россію въ два года разъ на мѣсяцъ, на полтора. Нельзя, конечно, сказать, чтобы онъ порвалъ всѣ нравственныя связи съ своимъ отечествомъ; старыя связи, вѣроятно, болѣе или менѣе сохранились, но ужъ можно навѣрное сказать, что новыхъ связей онъ никакихъ не устроилъ. Все, наиболѣе интимное въ русской жизни за послѣднее время, ему и незнакомо, и нравственно чуждо. Нынче лѣтомъ онъ самъ говорилъ нѣкоему г. П.: «Въ настоящее время многіе близкіе мнѣ люди даже вовсе не знаютъ по-русски». Тѣмъ не менѣе высказывались и въ печати надежды встрѣтить въ «Нови» какое-то откровеніе. Существуетъ, правда, странный предразсудокъ, будто художнику, поэту не нужно короткое знакомство съ предметомъ его картинъ, такъ какъ дескать, въ его распоряженіи имѣется таинственная сила «вдохновенія», «поэтическаго чутья», восполняющая недостатокъ знанія. Но это—нелѣпость, противорѣчащая и здравому смыслу, и наукѣ. Изъ ничего—ничего и не будетъ. Мы знаемъ, что величайшіе художники были вмѣстѣ съ тѣмъ и тружениками, изучавшими свои сюжеты съ неменьшимъ тщаніемъ, чѣмъ какой-нибудь великій ученый свой предметъ. Поэту приходится ставить своихъ героевъ въ самыя разнообразныя положенія, а для этого онъ долженъ знать ихъ вдоль и поперекъ, и безъ такого знанія его не выручитъ никакое вдохновеніе. Въ какое же положеніе ставитъ публика г. Тургенева, требуя отъ него художественнаго изображенія дѣлъ и людей, ему незнакомыхъ, чужихъ?

Но г. Тургеневъ принимаетъ это положеніе и тѣмъ самымъ оправдываетъ оскорбительное къ нему отношеніе массы читателей. Если нельзя прямо сказать, что ему принадлежитъ починъ въ этомъ прискорбномъ недоразумѣніи, то во всякомъ случаѣ онъ не сдѣлалъ ни одного прямого шага для его устраненія. Ему предстояло одно изъ двухъ: или учиться, т. е. изучать намѣченныя имъ для поэтической обработки явленія, изучать долго, упорно, внимательно, а не изъ прекраснаго парижскаго далека, или откровенно отказаться отъ этой поэтической обработки. При его склонности къ публичнымъ заявленіямъ о своихъ дѣлахъ и дѣлишкахъ, онъ могъ бы даже, въ какомъ-нибудь примѣчаніи или въ письмѣ въ редакцію «Вѣстника Европы», довести до общаго свѣдѣнія что-нибудь въ такомъ родѣ: «зная, что въ публикѣ ходятъ слухи о новомъ моемъ произведеніи, написанномъ будто бы на тему «нѣкоторыхъ новыхъ явленій среди нашей молодежи», считаю нужнымъ сказать, что явленія эти мнѣ очень мало извѣстны, а потому и воспользоваться ими я не могу». Но г. Тургеневъ не сдѣлалъ ни того, ни другого. Онъ просто написалъ «Новь». Онъ имѣлъ, конечно, свои резоны, но, говоря по совѣсти и съ полнымъ уваженіемъ къ уму и таланту г. Тургенева, трудно понять эти резоны внѣ легкомысленнаго желанія удовлетворить неразумному запросу.

Содержаніе новаго романа г. Тургенева, конечно, всѣмъ извѣстно и разсказывать его не стоитъ. Написанъ онъ на тему революціоннаго «хожденія въ народѣ». Намъ, въ Россіи живущимъ, трудно судить о степени вѣрности лицъ «Нови» и ихъ дѣлъ. Знаемъ мы эти дѣла только по слухамъ, да изъ нѣкоторыхъ политическихъ процессовъ. Но такъ какъ мы живемъ въ Россіи, то незнаніе наше все-таки, по крайней мѣрѣ, не

превышаетъ незнанія г. Тургенева, а потому какое-какія соображенія для оцѣнки «Нови» у насъ есть. У насъ есть, во-первыхъ, данныя для оцѣнки нѣкоторыхъ подробностей, частностей, не играющихъ существенной роли въ романѣ, но не безъинтересныхъ. Напримѣръ, въ романѣ фигурируетъ нѣкая дѣвица Машурина, очень некрасивая между прочимъ. Вотъ какъ говоритъ объ ней авторъ: «Года полтора тому назадъ она бросила свою родную, дворянскую небогатую семью въ южной Россіи, прибыла въ Петербургъ съ шестью цѣлковыми въ карманѣ; поступила въ родовспомогательное заведеніе и безустаннымъ трудомъ добилась желаннаго аттестата. Она была дѣвица... и очень цѣломудренная дѣвица. Дѣло не удивительное! скажетъ иной скептикъ, вспомнивъ то, что сказано объ ея наружности. Дѣло удивительное и рѣдкое! позволимъ себѣ сказать мы». Этими словами г. Тургеневъ «позволилъ себѣ сказать» просто неправду, основываясь, конечно, на невѣрныхъ свѣдѣніяхъ, доставленныхъ ему кѣмъ-нибудь изъ Россіи. За неимѣніемъ статистики цѣломудрія (вотъ бы хорошо завести, всякій бы зналъ, по крайней мѣрѣ!), нельзя этого доказать; но всѣ мы, живущіе въ Россіи, тѣмъ не менѣе знаемъ, что Машурина съ этой стороны вовсе не составляетъ чего-нибудь «рѣдкаго и удивительнаго». Бываетъ это часто. Такихъ мелочей, гдѣ мы, по необходимости ближе стоящіе къ дѣлу, можемъ съ удобствомъ провѣрить показанія г. Тургенева, можно найти немало. Но Богъ съ ними, съ мелочами. Ошибка въ фальшь не ставится. Одно только можно сказать: какое намъ дѣло до цѣломудрія госпожи Машуриной и какіе ужъ мы съ г. Тургеневымъ контролеры чужого цѣломудрія?

Ошибка въ фальшь не ставится. Но фальшь уже непремѣнно въ счетъ идетъ. А и для этого у насъ, русскихъ читателей, есть не то, что опредѣленныя, объективныя данныя, хотя есть и они, а, такъ сказать, данныя субъективныя, внутри насъ лежащія.

Политическіе процессы слѣдуютъ одинъ за другимъ. Правительство естественно озабочивается пріисканіемъ мѣръ противъ этого рода преступленій. Интересуются ими газеты, интересуется общество. Всѣ хотятъ знать, въ чемъ же дѣло? гдѣ причины этихъ революціонныхъ попытокъ? почему они направлены именно такъ, а не иначе? Всѣ стараются разрѣшить эти вопросы, кто—про себя, кто—публично. Вотъ, напримѣръ, г. Достоевскій, въ декабрьскомъ номерѣ своего «Дневника», объясняетъ дѣло утратою вѣры въ безсмертіе души. Другіе указываютъ на причину на разложеніе семьи утратившей возможность или желаніе направлять своихъ младшихъ членовъ къ строго легальнымъ цѣлямъ. Третьи укажутъ на условія школьнаго воспитанія и образованія. Четвертые—на экономическія условія, и т. д. При всемъ разнообразіи этихъ объясненій, въ нихъ есть одна общая черта: они ищутъ корня дѣла, его общественныхъ причинъ. Это понятно. Каждому русскому естественно искать общихъ причинъ этихъ явленій. Братъ Ивана Сидорова, мужъ Марьи Ивановой, тетка Сидора Иванова интересуются личною судьбою своихъ родственниковъ и подъискиваютъ въ ихъ жизни причины ихъ революціоннаго увлеченія. Но вообще-то говоря, эти личныя исторіи Ивана Сидорова и проч. въ такомъ только случаѣ интересны, если въ нихъ содержится хоть намекъ на исторію общую. Естественно было бы ждать чего-нибудь подобнаго и отъ романа г. Тургенева. Къ сожалѣнію, это не вошло въ его задачу. На то была, конечно, его добрая воля; но дѣло въ томъ, что вслѣдствіе этого его романъ въ значительной степени утрачиваетъ свой raison d'être.

Всѣ дѣйствующія лица «Нови» являются въ извѣстномъ смыслѣ вполнѣ готовыми, что, мимоходомъ сказать, придаетъ имъ какую-то деревянность. Процессъ образованія идей и чувствъ, толкнувшихъ ихъ на опасную дорогу, или совсѣмъ скрытъ (Машурина, Остродумовъ, Соломинъ), или коротенько разсказанъ «словами», да и то очень неполно. Возьмемъ, что есть.

Маркеловъ (фигура едва ли не самая яркая и зачконенная «воспитывался въ артиллерійскомъ училищѣ, откуда вышелъ офицеромъ; но уже въ чинѣ поручика онъ подалъ въ отставку, по непріятности съ командиромъ-нѣмцемъ. *Съ тѣхъ поръ онъ возненавидѣлъ нѣмцевъ, особенно русскихъ нѣмцевъ.* Отставка разстроила его съ отцомъ, съ которымъ онъ такъ и не видѣлся до самой его смерти, а, унаслѣдовавъ отъ него деревню, поселился въ ней. *Въ Петербургѣ онъ часто сходился съ разными умными, передовыми людьми, передъ которыми благоговѣлъ; они окончательно опредѣлили его образъ мыслей.* Читалъ Маркеловъ немного и больше все книги, идущія къ дѣлу: Герцена въ особенности. Онъ сохранилъ военную выправку, жилъ спартанцемъ и монахомъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ онъ страстно влюбился въ одну дѣвушку; но та измѣнила ему самымъ безцеремоннымъ манеромъ и вышла за адъютанта—тоже изъ нѣмцевъ. Маркеловъ *возненавидѣлъ также и адъютантовъ.* Онъ пробовалъ писать спеціальныя статьи о недостаткахъ нашей артиллеріи, но у него *не было никакого таланта изложенія: ни*

одной статьи онъ не могъ даже довести до конца... Ему вообще не везло—никогда и ни въ чемъ: въ корпусѣ онъ носилъ названіе неудачника». Ясно, что Маркелова толкнули на дорогу революціи личныя неудачи. Не поссорься онъ съ командиромъ-нѣмцемъ, онъ продолжалъ бы себѣ служить какъ слѣдуетъ; не отбей у него невѣсту адъютантъ — онъ былъ бы, можетъ быть, прекраснымъ семьяниномъ и заботился бы о созданіи себѣ уютнаго гнѣздышка; имѣй онъ литературный талантъ, онъ писалъ бы спеціальныя статьи для военныхъ изданій и, можетъ быть, оказалъ бы существенныя услуги отечественной артиллеріи. Но такъ какъ онъ былъ «неудачникъ», то изъ него вышелъ революціонеръ. На отвратительномъ пиршествѣ у отвратительнаго Голушкина, Маркеловъ «забарабанилъ глухимъ, злобнымъ голосомъ, настойчиво, однообразно («ни дать, ни взять—капусту рубитъ», замѣтилъ Паклинъ). О чемъ собственно онъ говоритъ, не совсѣмъ было понятно; слово «артиллерія» послышалось изъ его устъ въ моментъ затишья... онъ, вѣроятно, вспомнилъ тѣ недостатки, которые открылъ въ ея устройствѣ. Досталось также нѣмцамъ и адъютантамъ».

Нежановъ, которымъ авторъ особенно занятъ, является въ романѣ даже больше, чѣмъ готовымъ. Онъ чуть не на первой страницѣ заявляетъ свой скептицизмъ, свое желаніе отойти отъ дѣла, въ которое пересталъ вѣрить. Но ни процесса этого разочарованія, ни предшествующаго процесса «очарованія» мы не знаемъ. Все дѣло, повидимому, въ томъ, что Нежановъ—незаконный сынъ вельможи и очень этимъ тяготится, такъ тяготится, какъ это рѣдко бываетъ на Руси, особенно въ томъ кругу, гдѣ вращается Нежановъ. Такимъ образомъ, единственнымъ источникомъ революціоннаго пыла Нежанова оказывается его двусмысленное общественное положеніе. Опять—чисто личная жизненная неудача.

Маріанна. Къ этой дѣвушкѣ г. Тургеневъ относится нѣсколько милостивѣе или, вѣрнѣе, по поводу нея онъ отнесся милостивѣе къ читателямъ. Романъ, въ которомъ изображаются только «поступки», рядъ дѣйствій, безъ внутренняго, психическаго развитія персонажей, былъ бы очень плохъ, даже въ чисто-художественномъ смыслѣ. Въ прежнихъ романахъ г. Тургенева, какъ и въ большинствѣ романовъ, это внутреннее, психическое развитіе сосредоточивалось на процессахъ и перипетіяхъ любви. Постепенное разгораніе или потуханіе страсти, разныя столкновенія на этой почвѣ приковывали къ себѣ вниманіе читателя и заставляли его съ интересомъ слѣдить даже за пустячными внѣшними дѣйствіями, «поступками». «Новь»—романъ политическій, а потому въ немъ психическое движеніе должно хоть отчасти основываться на политическихъ мотивахъ. Но, какъ сказано, всѣ дѣйствующія лица «Нови» оказываются въ этомъ отношеніи точно замороженными. Насчетъ движенія любовнаго мы получаемъ матеріалу очень достаточно: какъ въ госпожѣ Сипягиной поднимается и быстро падаетъ неопредѣленное влеченіе къ Нежданову, какъ зарождается и растетъ въ Неждановѣ любовь къ Маріаннѣ, какіе разнообразные оттѣнки принимаетъ послѣдовательно склонность Маріанны сначала къ Нежданову, а потомъ къ Соломину. Но какъ зарождаются, растутъ, падаютъ чувства и идеи политическія, это остается въ туманѣ. Только Маріанна составляетъ маленькое исключеніе, очень маленькое, хотя авторъ приложилъ даже особенное стараніе къ выясненію ея образа съ этой стороны. Отецъ Маріанны былъ сосланъ за позаимствованіе изъ казеннаго сундука въ Сибирь. Дядя-Сипягинъ пріютилъ Маріанну у себя, но она всегда тяготилась этимъ покровительствомъ, съ болью помнила, что она—«дочь обезчещеннаго отца», что она живетъ изъ милости и что госпожа Сипягина есть ея «покровительница», хотя и «невольная». И вотъ эта гордая, оскорбленная, озлобленная дѣвушка, представляющая нѣчто въ родѣ кучи горючаго матеріала, которая ждетъ только искры со стороны, чтобы вспыхнуть—сталкивается съ Неждановымъ, тоже гордымъ, оскорбленнымъ и озлобленнымъ. Въ одну изъ своихъ свѣтлыхъ минутъ, Нежановъ, подмываемый любовью къ Маріаннѣ и вообще «взвинченный», какъ выражается объ немъ г Тургеневъ, краснорѣчиво, съ жаромъ раскрываетъ свои революціонныя тайны и планы.

„Она его слушала внимательно, жадно; на первыхъ порахъ она изумилась... Но это чувство тотчасъ исчезло. Благодарность, гордость, преданность, рѣшимость—вотъ чѣмъ переполнилась ея душа. Ея лицо, ея глаза засіяли; она положила другую свою руку на руку Нежданова, ея губы раскрылись восторженно... Она вдругъ страшно похорошѣла.

„Онъ остановился, наконецъ, глянулъ на ее и какъ будто впервые увидалъ *это* лицо, которое въ то же время было и дорого ему, и такъ знакомо. Онъ вздохнулъ сильно, глубоко...

„— Ахъ, какъ я хорошо сдѣлалъ, что вамъ все сказалъ! едва могли шевельнуть его губы.

— Да, хорошо... хорошо, повторила она тоже шопотомъ. Она невольно подражала ему, да и голосъ ея угасъ.—И, значитъ, вы знаете, продолжала она, что я въ вашемъ распоряженіи, что я хочу быть тоже полезной вашему дѣлу, что я готова сдѣлать все, что̀ будетъ нужно, пойти, куда прикажутъ, что я всегда всей душой желала того же, что и вы...

„Она тоже умолкла. Еще одно слово, и у нея брызнули бы слезы умиленія. Все ея крѣпкое

существо стало внезапно мягко, какъ воскъ. Жажда дѣятельности, жертвы, жертвы немедленной—вотъ чѣмъ она томилась".

Съ этой минуты Маріанна становится ревностнымъ адептомъ ученій кружка Нежданова, доходя при этомъ даже до совершенной глупости, потому что впослѣдствіи постоянно пристаетъ къ Соломину: когда же вы насъ пошлете? да скоро ли вы намъ прикажете идти? А тому и посылать некуда, и приказывать нечего! Какъ бы то ни было, но вотъ единственное мѣсто во всемъ романѣ, гдѣ г. Тургеневъ пытается выяснить интересный моментъ пробужденія извѣстныхъ стремленій. Немного. Но и это немногое сводится, въ концѣ концовъ, къ случайнымъ обстоятельствамъ личной жизни Маріанны, къ ея несчастной семейной обстановкѣ.

Такимъ образомъ, общественное явленіе сведено у г. Тургенева къ разнообразнымъ, мелкимъ, личнымъ причинамъ. Онъ, разумѣется, самъ понимаетъ, что это невѣрно, что и «червонныхъ валетовъ, напримѣръ, можно тоже представить въ видѣ кучки «неудачниковъ», ни на волосъ не объяснивъ дѣла. Онъ слишкомъ уменъ, чтобы не понимать этого. Наконецъ, заключительныя слова Паклина (которому авторъ вкладываетъ много своихъ собственныхъ, тургеневскихъ шпилекъ и остротъ, а отчасти и серьезныхъ мыслей, предоставляя, впрочемъ, свое серьезное задушевное болѣе Нежданову), заключительныя слова Паклина о Соломинѣ ясно говорятъ, что какая-то общая причина, общій фонъ всѣхъ этихъ отдѣльныхъ личныхъ исторій существуетъ. Какая причина? какой фонъ?—этого г. Тургеневъ не знаетъ и не хочетъ знать. Съ него требуютъ «новыхъ людей». Онъ исполняетъ требованіе, спеціализируетъ свою задачу до уровня неразумнаго закона и, слѣдуя голосу заказчиковъ, предоставляетъ всю совокупность условій, породившихъ «новыхъ людей», другимъ, а себѣ оставляетъ только ихъ висящія на воздухѣ личности и ихъ «поступки». Такова основная фальшь романа. Но, разъ принявъ непосильный заказъ, г. Тургеневъ естественно долженъ былъ пойти и далѣе по этой скользкой дорогѣ фальши. Человѣкъ, который берется, по какимъ бы то ни было побужденіямъ, говорить о предметѣ, для него невидимомъ, какъ о видимомъ, долженъ все время разговора лавировать, многое обходить, многое совсѣмъ постороннее приплетать и т. п. Это случилось и съ г. Тургеневымъ. Замѣчательно, что всѣ *опрошіе* «новые люди» у него очень честны, но чрезвычайно тупы, тупы не случайно, а по велѣнію автора; это уже изъ того видно, что *не* вѣрующимъ (Нежданову, Соломину, Паклину) онъ въ умѣ не отказываетъ и даже цѣнитъ ихъ въ этомъ отношеніи свыше мѣры. Объ Остродумовѣ Паклинъ (очень часто alter ego самого г. Тургенева) выражается такъ: «не все же полагаться на однихъ Остродумовыхъ! Честные они, хорошіе люди, зато глупы! глупы!!! Ты посмотри на нашего пріятеля. Самыя подошвы его сапоговъ, и тѣ не такія, какія бываютъ у умныхъ людей». Машурина, Кисляковъ до такой степени глупы, что составляютъ даже мишень для остроумія автора. О Маркеловѣ прямо говорится, какъ о человѣкѣ съ «ограниченнымъ умомъ», какъ о «существѣ тупомъ». О Маріаннѣ ничего подобнаго не говорится, но ведетъ она себя положительно глупо. Все это не случайно, а непремѣнно такъ и должно было выйти у г. Тургенева. Если вамъ закажутъ романъ изъ китайской жизни, и вы будете имѣть подъ руками только кое-какіе скудные печатные матеріалы, васъ невольно потянетъ къ изображенію людей тупыхъ, ограниченныхъ, потому что ихъ несвѣдущему человѣку изобразить легче: натуры у нихъ несложныя, кругозоръ узенькій, поступки аляповатые. Повернуть дурака можно куда угодно, безъ всякой отвѣтственности, въ душу залѣзть къ нему немудрено. Это сплошная глупость вѣрующихъ еще особенно оттѣняется невидимымъ присутствіемъ ихъ вожака, объ которомъ только и извѣстно, что зовутъ его Василіемъ Николаевичемъ и что всѣ ему повинуются. Г. Тургеневъ, очевидно, самъ чувствовалъ, что ему не справиться съ этимъ типомъ, и потому ни разу не показалъ его читателю. Но тогда зачѣмъ же было огородъ городить?

Глупые люди были до такой степени нужны г. Тургеневу, что онъ оказался вынужденнымъ привлечь къ участію въ ихъ глупостяхъ даже своихъ умницъ. Помните, напримѣръ, какъ Маркеловъ, Неждановъ, Паклинъ и Соломинъ посѣщаютъ Голушкина и супруговъ Субочевыхъ, эту, мимоходомъ сказать, очень плохую и неизвѣстно для чего вставленную пародію старосвѣтскихъ помѣщиковъ Гоголя. Оба эти посѣщенія составляютъ сплошную глупость, не безъ грязнаго оттѣнка вдобавокъ. Даже непонятно, какъ такіе серьезные и умные люди, какими авторъ желаетъ представить Соломина и отчасти Нежданова, могутъ, Богъ знаетъ зачѣмъ, проводить время съ блаженными» Ѳомушкой и Ѳимушкой, пьянствовать съ глупцомъ и негодяемъ Голушкинымъ, болтать при этомъ совсѣмъ неподходящія вещи въ присутствіи совершенно незнакомаго голушкинскаго приказчика, который потомъ и оказывается предателемъ. Неужто даже у умницъ не хватило смысла понять, что рекомендація Голушкина очень

мало надежна? Но такова ужъ сила глупости всѣхъ изображаемыхъ г. Тургеневымъ поступковъ, что, какъ только начнутъ люди «поступать», такъ и распространяютъ кругомъ себя заразу глупости. И все это только потому, что глупыхъ легко рисовать...

Но замѣчательнѣйшую, если можно такъ выразиться, увертку г. Тургенева составляетъ личность Нежданова. Это—старый тургеневскій типъ: надломленная, «вывихнутая», раздвоенная натура, изъ «самоѣдовъ, грызуновъ, гамлетиковъ», какъ говоритъ объ этихъ людяхъ Шубинъ въ «Наканунѣ» (недаромъ Паклинъ называетъ Нежданова «россійскимъ Гамлетомъ»). Онъ не можетъ сдѣлать ни одного шага безъ оглядки внутрь себя. Онъ всегда идетъ не туда, куда его тянетъ, и тянетъ его не туда, куда онъ идетъ. Онъ не можетъ ничему отдаться вполнѣ—ни любви, ни дѣятельности, ни искусству. Несчастный человѣкъ, для котораго мучительная, микроскопически-тщательная копотня въ самомъ себѣ, въ собственной душѣ есть нормальное состояніе. А для того, чтобы перестать прислушиваться къ шуму въ собственныхъ ушахъ и отдаться, хотя бы на самое короткое время, какой-нибудь одной мысли, нераздвоенному чувству, онъ долженъ «взвинтить» себя, искусственно придти въ состояніе нравственнаго опьянѣнія. Все—старыя, знакомыя черты, анализомъ которыхъ г. Тургеневъ стяжалъ свои наиболѣе заслуженные лавры. Вдобавокъ, подобно многимъ старымъ героямъ г. Тургенева, Нежданов насуетъ передъ любимой женщиной, оказывается много ниже и слабѣе ея. Мотивы эти изучены г. Тургеневымъ до тонкости, и надо удивляться той виртуозности, съ которою онъ ихъ разыгрываетъ. Въ изображеніи этихъ людей за г. Тургеневымъ всегда признавалась, кромѣ мастерства, еще одна особенная заслуга: въ нихъ онъ «поймалъ моментъ» ни дальше, ни ближе, какъ приснопамятныхъ сороковыхъ годовъ. Съ нихъ именно начинаются права и обязанности г. Тургенева, какъ ловителя моментовъ, и, каковы бы ни были его послѣдующіе уловы, но этотъ первый былъ очень удаченъ. Всѣ, кто ни писалъ о г. Тургеневѣ, а писали объ немъ очень многіе, разсуждали на эту тему и доказывали, что «гамлетики, самоѣды» суть типичнѣйшіе продукты эпохи. Слава «чуткости» г. Тургенева! Затѣмъ онъ пишетъ «Наканунѣ». Слава чуткости г. Тургенева! Онъ понялъ, что пришелъ конецъ гамлетикамъ и самоѣдамъ, что, если не въ дѣйствительности, то въ мысли современниковъ формируется новый типъ, на первый разъ по необходимости принимающій плоть и кровь болгарина, а не русскаго. Время летитъ дальше, и г. Тургеневъ пишетъ «Отцовъ и дѣтей». Хотя тутъ слава чуткости была провозглашена не совсѣмъ единодушно, но все-таки Базаровъ и гамлетики—небо и земля. Затѣмъ, г. Тургеневъ пишетъ «Дымъ», которымъ коптитъ все направо и налѣво, и, наконецъ, «Новь». Мы, русскіе читатели, пожалуй, опять готовы воспѣть хвалу чуткости, но вдругъ замѣчаемъ на авансценѣ въ поэтическомъ центрѣ романа «черты знакомаго лица». Да—это старый, старый знакомый, это—«лишній человѣкъ». Лишній человѣкъ говорилъ о себѣ: «Про меня ничего другого и сказать нельзя: лишній, да и только. Сверхштатный человѣкъ—вотъ и все. На мое появленіе природа очевидно не разсчитывала и, вслѣдствіе этого, обошлась со мной, какъ съ нежданнымъ и незваннымъ гостемъ. Недаромъ про меня сказалъ одинъ шутникъ, большой охотникъ до преферанса, что моя матушка мною обремизилась». А Нежданов говоритъ: «Въ томъ то и дѣло, я—трупъ; честный, благонамѣренный трупъ, коли хошь... Какое право имѣлъ отецъ втолкнуть меня въ жизнь, снабдивъ меня органами, которые несвойственны средѣ, въ которой я долженъ вращаться? Создалъ птицу, да и пихнулъ ее въ воду!» Мысль жалобы, тонъ, даже выраженія почти одни и тѣ же. Одно, значитъ, изъ двухъ: или г. Тургеневъ пріобрѣлъ совсѣмъ задаромъ репутацію чуткости своими гамлетиками и самоѣдами сороковыхъ годовъ, или оказался не очень чуткимъ въ 1876 году. Дилемма такъ проста, что и указывать на ея разрѣшеніе не стоитъ. Само собою разумѣется, что типичнѣйшіе представители интеллигенціи сороковыхъ годовъ не могутъ быть такими же типичнѣйшими представителями семидесятыхъ: слишкомъ многое измѣнилось на Руси за эти три, четыре десятка лѣтъ. Слова нѣтъ, Нежданови возможны и теперь и даже навѣрное существуютъ. Но не все существующее можетъ занять центральное положеніе въ политическомъ романѣ. Скептикъ, да еще прирожденный скептикъ, невѣрующій, здѣсь особенно неумѣстенъ, потому-что онъ — исключеніе. Можно, пожалуй, и исключеніемъ удовольствоваться, съ тѣмъ однако условіемъ, чтобы въ немъ какъ-нибудь отразилось общее правило. Напримѣръ, можно себѣ представить картину всемірнаго потопа, въ которой самого потопа нѣтъ, а есть только обитатели спасеннаго ковчега. Но въ фигурахъ этихъ спасенныхъ должны отразиться кромѣ радости спасенія, и ужасъ пережитой опасности, и ужасъ воспоминаній о погибшихъ и сочувствіе жертвамъ, павшимъ на гл

захъ спасенныхъ, и много еще другихъ чувствъ. Возможна-ли подобная картина въ дѣйствительности, доступна ли она человѣческимъ силамъ?—пусть судятъ спеціалисты. Но во всякомъ случаѣ, у г. Тургенева нѣтъ ничего подобнаго. Его Нежданов — совсѣмъ исключительное исключеніе. Мы видимъ, что люди гибнутъ. Мы хотимъ знать, откуда у нихъ берется вѣра, гдѣ источникъ силы этой вѣры? Является г. Тургеневъ и съ граціозно-благосклоннымъ жестомъ говоритъ: я вамъ это съ удовольствіемъ покажу. И затѣмъ все наше вниманіе сосредоточиваетъ на душевныхъ мукахъ человѣка невѣрующаго, случайно попавшаго въ водоворотъ! Но мы сами виноваты, что хоть на минуту подумали, что онъ можетъ дать что-нибудь иное. Однако виноватъ тоже, и больше даже нашего виноватъ, самъ г. Тургеневъ. Какъ психологическій типъ, гамлетики ему фактически знакомы и нравственно близки: онъ съ ними росъ. Онъ перепробовалъ, для изображенія различныхъ ихъ оттѣнковъ, много разныхъ обстановокъ. Что мудренаго, если онъ захотѣлъ окружить этотъ излюбленный имъ типъ обстановкой «Нови»? Но надо было сдѣлать это откровенно. Надо было оставить Остродумовыхъ, Машуриныхъ, Маркеловыхъ и особенно Соломина, по возможности, совсѣмъ въ сторонѣ. Маріанну, конечно, удалить нельзя потому что тургеневскій Нежданов немыслимъ безъ женщины, передъ которой онъ пасуетъ. Тогда дѣло было бы ясно: авторъ взялся разрѣшить частную задачу, элементы которой ему знакомы. Можно навѣрное сказать, что г. Тургеневъ написалъ бы на эту тему прекрасную, хоть и подновленную вещь. И въ «Нови» около Нежданова можно найти нѣсколько превосходныхъ страницъ. Но г. Тургеневъ поступилъ какъ разъ наоборотъ. Онъ взялся разрѣшить общую задачу, а, такъ какъ она ему не по силамъ, то онъ долженъ былъ прибѣгать къ разнаго рода уловкамъ: набрасывать вуаль на многое важное и рѣзко выпячивать впередъ многое неважное. Къ числу такихъ уловокъ относится и Нежданов. Вмѣсто того, чтобы просто и скромно пополнить свою коллекцію гамлетиковъ — гамлетикомъ - революціонеромъ, онъ посадилъ его въ передній уголъ цѣлаго политическаго романа съ многозначительнымъ эпиграфомъ. Иначе онъ и не могъ поступить. Если человѣкъ взялся нарисовать лѣсъ, когда у него въ распоряженіи нѣтъ зеленой краски, такъ, конечно, въ картинѣ будутъ и красныя березы, и синія ели. Но онъ могъ не браться...

Г. Тургеневу наклевывалась еще одна частная задача, которую онъ, конечно, не могъ бы исполнить съ такимъ удобствомъ, какъ исторію гамлетика-Нежданова, но на которой стоитъ все-таки остановиться для выясненія фальши романа, какъ цѣлаго. Это — исторія Соломина. Соломинъ — совершенная противоположность Нежданова, хотя, какъ и онъ, не вѣритъ въ планы своихъ товарищей. Онъ—натура цѣльная, здоровая, спокойная, «уравновѣшенная». Онъ любитъ народъ, болитъ его болями, скорбитъ его скорбями, но, будучи увѣренъ, что увлечь народъ планами насильственнаго переворота невозможно, довольствуется «школами и прочимъ» на фабрикѣ, гдѣ служитъ, а, въ концѣ-концовъ, «свой заводъ имѣетъ небольшой, гдѣ-то тамъ въ Перми, на какихъ-то артельныхъ началахъ». Въ общей картинѣ, этотъ человѣкъ, какъ частность, могъ бы занять подобающее ему мѣсто. Такіе люди бываютъ. Ихъ душевная жизнь представляетъ значительный интересъ. Посмотрите же, что сдѣлалъ изъ Соломина г. Тургеневъ. Желая придать его дѣятельности, очень простой и очень скромной (какъ долженъ сознавать самъ Соломинъ, если онъ дѣйствительно «уменъ, какъ день»), многозначительный и даже нѣсколько таинственный характеръ, онъ дѣлаетъ изъ него туманную фигуру, какой-то ходячій, олицетворенный совѣтъ. Соломинъ берется всѣмъ совѣтовать, и всѣ его совѣтовъ слушаются. Самъ авторъ устами Паклина совѣтуетъ слушаться совѣтовъ Соломина. Но вѣдь, чтобы совѣтовать, надо знать дѣло, а г. Тургеневъ его не знаетъ, слѣдовательно, и подсказать Соломину можетъ только очень немногое. Оттого и туманна фигура Соломина и даже совершенно неправдоподобна. Онъ, по рекомендаціи автора, человѣкъ честный, прямой, не виляющій, а между тѣмъ постоянно вилляетъ, то-есть его заставляетъ вилять самъ же авторъ — стоящій въ фальшивомъ положеніи. Напримѣръ, Маріанна, по свой глупости, долженствующей изображать энтузіазмъ, пристаетъ къ нему, чтобы онъ ее «послалъ». Соломинъ уговариваетъ: «Дѣло это еще не такъ скоро начнется, какъ вы думаете. Тутъ нужно еще нѣкоторое благоразуміе. Нечего соваться впередъ, зря. Повѣрьте мнѣ». Такъ какъ, по щучьему велѣнію, по тургеневскому приказанію, всѣ обязаны слушаться Соломина и вѣрить ему, то и Маріанна, не смотря на весь свой пылъ, вѣритъ. Но все-таки пристаетъ. Хорошо, говоритъ, но вѣдь есть «подготовительныя работы... вы намъ укажите ихъ; вы только скажите намъ, куда намъ идти... Пошлите насъ! Вѣдь вы пошлете насъ?

— Куда?

«— Въ народъ... куда же идти, какъ не въ народъ?

«Соломинъ поглядѣлъ пристально на Маріанну.

«— Вы хотите узнать народъ?

«— Да, то-есть не узнать народъ хотимъмы только, но и дѣйствовать... трудиться для него.

«— Хорошо; я вамъ обѣщаю, что вы его узнаете. Я доставлю вамъ возможность дѣйствовать и трудиться для него».

Виляньо и двусмысленности Соломина этимъ не оканчиваются. Маріанна опять пристаетъ, уже послѣ бѣгства отъ Сипягиныхъ, а онъ отвѣчаетъ: «Все это мы устроимъ впослѣдствіи». Наконецъ, самъ Соломинъ входитъ во вкусъ и начинаетъ вызывать Маріанну на признанье. Та и рада. Тогда онъ ей совѣтуетъ: «Вотъ вы сегодня какую-нибудь Лукерью чему-нибудь доброму научите; и трудно вамъ это будетъ, потому что нелегко понимаетъ Лукерья и васъ чуждается, да еще воображаетъ, что ей совсѣмъ не нужно то, чему вы ее учить собираетесь; а недѣли черезъ двѣ или три вы съ другой Лукерьей помучитесь, а пока ребёночка вы помоете или азбуку ему покажете, или больному лекарство дадите. «Вотъ вамъ и начало», прибавляетъ Соломинъ, давая тѣмъ понять, что въ будущемъ предстоятъ новые совѣты, тогда какъ у него ихъ вовсе нѣтъ. Маріанна замѣчаетъ, что она мечтала о другомъ. «Вамъ хотѣлось пожертвовать собой»? спрашиваетъ Соломинъ. Глаза Маріанны заблистали: «да... да... да»! Соломинъ очень хорошо понимаетъ, въ чемъ дѣло, но быстро увертывается въ сторону, и разговоръ кончается такъ:

«— Знаете что, Маріанна... Вы извините неприличность выраженія... но по моему: шелудивому мальчику волосы расчесать — жертва, и большая жертва, на которую немногіе способны.

«— Да я и отъ этого не отказываюсь, Василій Ѳедотычъ.

«— Я знаю, что не отказываетесь! Да, *вы* на это способны. И вы будете пока дѣлать это, а потомъ, пожалуй, и другое.

«— Но для этого надо поучиться у Татьяны!

«— И прекрасно... учитесь. Вы будете чумичкой горшки мыть, щипать куръ... А тамъ, кто знаетъ? можетъ быть, спасете отечество!

«— Вы смѣетесь надо мной, Василій Ѳедотычъ.

«Соломинъ медленно потрясъ головой.

«— О, моя милая Маріанна, повѣрьте: не смѣюсь я надъ вами, и въ моихъ словахъ простая правда. Вы уже теперь, всѣ вы, русскія женщины, дѣльнѣе и выше насъ, мужчинъ.

«Маріанна подняла опустившіеся глаза.

«— Я бы хотѣла оправдать ваши ожиданія, Соломинъ, а тамъ—хоть умереть!

«Соломинъ всталъ!

«— Нѣтъ, живите... живите! Это—главное».

Очевидно, Соломину совѣтовать нечего, иначе онъ не сталъ бы такъ вилять, играть словами, соскакивать съ колеи разговора, все оставляя quelque chose à deviner. Онъ только исправляетъ должность совѣтника по назначенію отъ г. Тургенева, носитъ только титулъ совѣтника. Онъ—титулярный тургеневскій совѣтникъ. Если Маріанна этого не замѣчаетъ, такъ потому единственно, что и сама она исправляетъ должность энтузіастки по назначенію отъ г. Тургенева.

И все это только потому, что г. Тургеневъ возымѣлъ легкомысленное желаніе подать свой голосъ въ чужомъ для него дѣлѣ. Это не могло сойти ему даромъ, даже въ чисто-художественномъ отношеніи. Когда художникъ до такой степени связанъ сѣтью уловокъ, къ которымъ онъ долженъ прибѣгать, дѣло плохо. Хороши въ «Нови» только нѣкоторыя страницы, гдѣ фигурируетъ Неждановъ наединѣ съ самимъ собою, съ Маріанной и въ кабакѣ. Во все остальное основная фальшь романа врывается болѣе или менѣе губительно. Замѣчательна, напримѣръ, та анти-художественная грубость, съ которою г. Тургеневъ вкладываетъ въ «Нови» свои собственныя мысли кому попало (грубость, которой въ немъ прежде не было). Такъ Паклинъ, повидимому, затѣмъ только и существуетъ, чтобы язвить какого-то Скоропихина, который, очевидно, очень не нравится г. Тургеневу. какихъ-то «молодыхъ передовыхъ рецензентовъ», которыми г. Тургеневъ недоволенъ, и т. п., да еще затѣмъ, чтобы закончить романъ восклицаніемъ: «Безымянная Русь»! Такъ Оимушка, «блаженная» старуха, выжившая изъ ума, если онъ у нея когда-нибудь былъ, только посмотрѣла на Соломина, Маркелова и Нежданова, какъ сразу и опредѣлила ихъ характеры, и притомъ столь проницательно, что совершенно совпала съ опредѣленіями самого г. Тургенева. Такъ, г. Тургеневъ, сихъ дѣлъ мастеръ, очень тонко ведетъ линію любви Нежданова и Маріанны, а Татьяна, баба, конечно, умная, но все-таки иныхъ дѣлъ мастеръ, очень быстро замѣчаетъ, что это—любовь не совсѣмъ настоящая.

Въ концѣ-концовъ, мы, русскіе читатели, не только, значитъ, не въ барышахъ отъ «Нови», а даже въ убыткѣ. Всѣ мы, безъ различія партій и направленій, единственно въ интересахъ разъясненія дѣла, можемъ сказать г. Тургеневу слѣдующее. Избранный имъ сюжетъ есть тоже «новь» литературная. До сихъ поръ литература еще не рѣшилась эксплуатировать этотъ сюжетъ. Поэтому къ нему, какъ и ко всякой нови, приложимъ совѣтъ г. Тургенева, взятый имъ «изъ записокъ хозяина-агронома» для эпиграфа:

Поднимать слѣдуетъ новь не поверхностно-скользящею сохой, но глубоко забирающимъ плугомъ».

Читатель прочиталъ не критическую статью, каковая въ настоящемъ случаѣ едва ли даже возможна, а только одну изъ главъ «Записокъ профана».